



Все  
сказки  
Ганса Христиана  
Андерсена



КОЛЛЕКЦИОННОЕ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ  
ИЗДАНИЕ



**Ганс Христиан Андерсен**  
**Все сказки Ганса Христиана Андерсена**



© ООО «ТД Алгоритм», 2018

\* \* \*



## Великий сказочник

«Из тех, чье имя кончается на „сен” никогда ничего не выйдет путного», – говорит одна из сказочных героинь Андерсена. Как это ни странно, но Ганс Христиан, мягко говоря, недолго любил свою фамилию. Для него она была постоянным напоминанием о нищете, беспородности и унижении, которое терпят люди из низших сословий. В Копенгагене, в музее Баккхаз, хранится страница из дневника Андерсена, где писатель убористым почерком вывел длинный столбец с именами знаменитых людей своего времени, чьи фамилии заканчивались на «сен»: Торвальдсен, Якобсен, Хансен, Йенсен и прочие... Этот листок был утешением... или подтверждением, что талантливые люди рождаются как в богатых, так и в бедных семьях.

Однако для большинства людей, окружавших Ганса Христиана, он был человеком невероятно амбициозным и тщеславным, которому удача улыбнулась еще в юности и не оставляла его ни на минуту. Ведь со стороны он казался действительно везунчиком, сумевшим подняться с самых низов общества до его вершины. Если верить английскому писателю Эдмунду Госсе, то «в середине XIX века Андерсен был самым знаменитым человеком во всей Европе». И хотя всю свою жизнь Андерсен совершенно осмысленно шел к славе и признанию, даже он вынужден был удивляться той метаморфозе, что с ним произошла: «Я приехал в Копенгаген оборванным нищим мальчишкой с жалкими пожитками под мышкой, и вот теперь я пью свой горячий шоколад за одним столом с королевой».

Первое признание пришло к Андерсену после романа «Импровизатор», в котором он описал свое путешествие по Италии. Это произведение довольно быстро было переведено на несколько языков, ведь в ту пору не было лучшего чтива, чем заметки путешественника. Тем более что Андерсен вплел их в столь изящную и романтическую канву, что у читателей наворачивались слезы. Казалось, Андерсен достиг, чего хотел. Однажды, когда он был еще мальчишкой, мать спросила у него: «Что же ты собираешься делать?» Андерсен ответил: «Я прослаблю твое имя». Но славы было недостаточно. Он верил, что способен на большее, но найти это



большее тогда не мог. В письме к своему ближайшему другу Эдварду Коллину он писал: «Даже у самого чистого и спокойного озера есть глубины, о которых не догадывается ни один ныряльщик».



*Портрет Ганса Христиана Андерсена. Гравюра из книги 1896 года издания*

Постоянное беспокойство, нервные срывы, желание сделать большее доставляли страдания не только Андерсену, но и его друзьям, которые вряд ли могли помочь писателю укрыться от собственных мыслей. Он не желал никого видеть, но и оставаться подолгу в одиночестве ему было невыносимо. Андерсену всюду чудились насмешки и издевательства. Ему казалось, что глумливый шепот, словно шлейф, тянется за ним сквозь всю его жизнь, из самого детства. «Он безумен так же, как и его дед» – эти слова, сказанные когда-то одной из девочек-соседок, навсегда остались в памяти писателя. «Если бы вы смогли заглянуть в самые недра моей души, вы бы поняли источник моего одиночества и пожалели меня», – писал Андерсен Эдварду Коллину.

Андерсен до самой старости оставался беззащитным ребенком, жаждавшим защиты и утешения. Его самый главный жизненный опыт был извлечен из детства. И именно детские ощущения стали основой его сказок. Мир фантазии и мир реальности для Андерсена всегда составляли единое целое. Он слышал голоса цветов и видел, как грустят старые дома. Приходя в гости к друзьям, у которых были дети, он неизменно становился центром их внимания, и волшебные истории, словно красочный фейерверк, вырывались на свободу, навстречу внимательным слушателям.

Многие из сказок, что были рассказаны детям, не дошли до наших дней. Андерсен их не записывал, считая, что посиделки с детьми – всего лишь шутка или развлечение. И только в 1836 году, когда писателю был 31 год, он решил выпустить первый сборник сказок, который так и называл «Сказки, рассказанные детям». Это была тоненькая брошюрка, в которую вошло всего четыре волшебных истории. Их оказалось достаточно, чтобы взорвать общество и заставить его говорить только о нем. Талантливый скульптор и тезка Андерсена Ганс Христиан Орстед, прочитав первый сборник сказок, сказал: «Благодаря „Импровизатору“ ты стал знаменит, а сказки сделают тебя бессмертным».





*Ганс Христиан Андерсен читает сказки детям*

## Детство

В час ночи 2 апреля 1805 года, в бедном квартале датского города Оденсе появился на свет орущий комочек. Отец семейства старался больше времени проводить со своей женой и новорожденным сыном, читая Хольберга и поражаясь, как может это маленькое существо издавать столь пронзительные звуки. Когда мальчика крестили, священник заметил, что раз он так громко кричит, значит, будет хорошо петь.

Так началась жизнь Ганса Христиана Андерсена. Дом, где провел свое детство будущий сказочник, стоял на Мюнкемёллештраде – одной из самых бедных улиц Оденсе начала XIX века. В левом крыле обитал шляпник с женой и троими детьми, посередине – перчаточник с большим потомством из шести человек, а слева – семейство башмачника Андерсена. Впрочем, для того времени такие коммуналки были обычным делом. И несмотря на то что Оденсе XIX века называли «маленьким Копенгагеном», до столицы ему было далеко. Расположенный на острове Фюн, он неохотно принимал плоды цивилизации и продолжал хранить обряды и традиции, о которых в столице уже успели забыть. Но зато здесь были свой епископ, кафедральный собор, театр и резиденция кронпринца. Дети из бедных районов бегали смотреть на богатые дома состоятельных горожан. И не только дети. Отец Ганса Христиана, кстати сказать, тоже Ганс Христиан, очарованный прекрасными садами благородных семейств, втайне мечтал о собственном доме с садом, в котором бы росли самые прекрасные розы. Он был человеком одаренным, с поистине поэтической душой. Кроме обуви он мог легко мастерить деревянные игрушки и нередко устраивал настоящие театральные представления. Позднее и маленький Андерсен подключился к отцовскому хобби. Вырезать из дерева Христиан так и не научился, но зато легко освоил бумагу и уже в зрелые годы мог обычный листок превратить в тончайший узор, что приводило в восторг слабый пол.

Мать будущего сказочника была женщиной доброй и набожной. Она любила шнапс, белые занавески и верила в привидения. В автобиографии «Сказка моей жизни» Андерсен писал о ее способности держать дом в чистоте. Ведь комната была и спальней, и

столовой, и мастерской башмачника, и местом для забав маленького сына. От отца он унаследовал любовь к книгам, которые заменили ему товарищей по играм; от матери – глубокую веру. Но кроме этих двух близких ему людей были у Андерсена и другие учителя. Его старая бабушка постоянно повторяла: «Христиан такой умный мальчик...Он долго не проживет». Однако подобное убеждение вовсе не мешало старушке рассказывать внуку сказки и легенды, а также время от времени напоминать о том, что лучше бы ему, маленькому мальчику, держаться подальше от деда.

Андерс Хансен Траес – дед Андерсена – также умел вырезать из дерева, но его фигурки имели весьма странный вид. Головы с крыльями или полулюди-полузвери, а то и люди, и звери, и крылья, скроенные воедино. Он был душевнобольным и большую часть времени проводил дома, лишь иногда уходил в лес, откуда возвращался весь обвешанный цветами и ветками. Обычно он тонким голосом распевал песни, и свора мальчишек бежала за ним с дикими воплями. Даже тогда, в детстве, Андерсен чувствовал, что многое унаследовал от деда. Чувствовали это и окружающие. Нередко ему приходилось слышать насмешливые слова своих сверстников: «Ты такой же сумасшедший, как и твой дед». Но, видно, беспокойной была вся мужская ветвь Андерсенов.





*Дом Андерсена в Оденсе. Старинная гравюра*

В 1812 году отец Андерсена отправился на войну с Наполеоном. Романтик в душе, он всегда мечтал о путешествиях, и война, как ему казалось, давала возможность увидеть мир. Через четыре года отец вернулся, но свою силу и здоровье оставил на войне. Однажды вечером, когда у отца начался очередной приступ, мать отправила Христиана в деревню Эйбю, что в нескольких километрах от города. Дорога лежала вдоль реки (в городе поговаривали, что в ней живут души утопленников), через старую рощу к дому колдуньи. Знахарка жила в неприглядном месте в старом обшарпанном доме. Узнав причину визита, она посоветовала мальчику внимательнее смотреть в туман, когда будет возвращаться домой. Если он увидит там фигуру своего отца, значит, смерть уже постучалась в их дом. Андерсен ничего не увидел, а через два дня отца не стало. «Это был первый день в моей жизни, когда я узнал по-настоящему, что такое горе», – позднее вспоминал Андерсен. С этого дня вся жизнь будущего писателя изменилась.

## Призраки прошлого

«Когда-нибудь ваш сын станет знаменитым, и Оденсе зажжет в его честь огни», – сказала прорицательница матери Андерсена, когда он был еще ребенком. Трудно сказать, чем руководствовалась пифия Оденсе, жалостью к мальчишке, над которым смеялся весь город, или действительно она смогла заглянуть в будущее, в 1867 год...

Именно тогда, будучи уже стариком, Ганс Христиан вновь приехал в родной Оденсе. Знаменитый писатель стоял у распахнутого окна городской ратуши. В небе сверкал фейерверк, а на глазах собравшихся под окном людей – слезы восторга. Этого момента Андерсен ждал всю жизнь, но в реальности триумф оказался совсем иным. «У меня ныл зуб, и потоки декабрьского ветра, что врывались в окно, делали боль невыносимой. Я смотрел на собравшихся внизу, слышал звуки торжественного гимна и думал только об одном: когда же, наконец, это все кончится и я уйду спать; прочь от хора, приветственных криков и этого холодного ветра, что приносит столько боли», – вспоминал Андерсен. Однако в ту декабрьскую ночь зубная боль была лишь началом куда более мучительных испытаний – испытаний памятью.

Попав в город детства, 62-летний писатель, будто заново прожил свою жизнь, те времена, когда после смерти отца он отказывался выходить на улицу и сидел дни напролет в крошечной комнатенке на Мюнкемёллештраде. Наступили тяжелые времена. Его мать для того, чтобы прокормить себя и сына, бралась за все, что только подворачивалось под руку. Но что более всего запомнилось самому Андерсену – это стирка. Мать часами простаивала по колено в воде, перестирывая белье господ. Особенно тяжело ей приходилось в зимние месяцы, когда мокрую юбку сковывал мороз, волосы превращались в сосульки, а посиневшие руки продолжали бить и полоскать белье. В те годы мать больше уж не пила свой любимый шнапс, его заменил более эффективный джин. Позднее Андерсен посвятил ей рассказ «Пропадающая», где описал, как ему, мальчишке, приходилось выслушивать от сердобольных соседусшек упреки в адрес матери: «Ты славный мальчик. Мать, верно, полощет белье на реке, а ты тащишь ей чем подкрепиться? Сколько у тебя там – полкосушки?.. Скажи своей

матери, что стыдно ей. Да смотри сам не сделайся пьяницей... Впрочем, что и говорить: конечно, сделаешься! Бедный ребенок». И шансы пристраститься к спиртному у Христиана были. Ведь и ему надо было согреться. Так и грелись: пару плотков выпивала мать, один – сын. Он знал, что она не читает книг, не ищет в жизни большего, чем дано, постоянно зовет в дом предсказательниц и знахарок. Но она любила его, и она была его матерью. «Я работаю сколько хватает сил... Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик».

Холодный ветер бил в стекло. Знаменитый Ганс Христиан сидел, поджав ноги, и все глубже и глубже уходил в воспоминания детства. Зубная боль утихла, но сердце щемило так, что казалось, оно вот-вот разорвется на части. В окне темным силуэтом устремлялся в небо собор Святого Кнуда. Церковь, с которой так много всего было связано. Он знал ее с самого рождения, в ней он пел в церковном хоре и сюда раз в неделю мать водила его на воскресные проповеди. А в дальнем крыле Святого Кнуда (оно скрывалось за башней) располагалась приходская школа. Андерсен все еще помнил хлесткие удары учительской указки...

Он никогда не был прилежным учеником, не учил уроков, не пытался постичь сложную математику и заковыристую грамматику. По дороге в школу он бегло прочитывал заданное, и этого ему казалось достаточно. Андерсен так и не научился писать без ошибок. И учитель столь неистово работал указкой, вколачивая науку в пальцы будущего писателя, что мальчик не мог держать перо. Мать сжалилась над ребенком и перевела его в еврейскую школу, где, как было известно, детей не наказывали. Кроме умного преподавателя в новой школе Андерсен обрел друга. Ее звали Сара. Изящная девочка была единственным ребенком, считавшим, что Христиан милый. Однажды она поцеловала его в щеку и сказала, что, когда вырастет, станет его женой. В благодарность за ее любовь Андерсен рассказал Саре свою самую страшную тайну: «На самом деле я из благородной семьи. Вот увидишь, когда-нибудь передо мной будут снимать шляпу...» Сара рассмеялась и многозначительно покрутила пальцем у виска. Дружба кончилась, и свадьбы не случилось, но память о Саре осталась на всю жизнь. И знаменитая привычка Андерсена носить в петлице цветок была воспоминанием об очаровательной Саре, которая когда-то

подарила ему белую розу.



*Собор Святого Кнуда. 1930 год*

Здание еврейской школы все еще стоит на одной из улиц старого Оденсе, и обветшалая табличка скромно возвещает прохожим о том, что в ней когда-то учился великий сказочник.

Мать не сильно ругала сына за нерадивость в учении, ведь она прочила ему совсем иное будущее. Практичная женщина знала, что прокормить себя и свою семью может лишь тот, кто умеет работать руками. И в один из будничных дней бабка Христиана взяла его с собой на швейную фабрику. Путь был недалеким, всего каких-нибудь двести метров. Первый день работы показался Христиану подарком судьбы. Знакомые его бабки, знавшие о певческом таланте мальчика, попросили его спеть. Чистое и звонкое сопрано так контрастировало с нелепой внешностью Христиана, что не обратить на ребенка внимания могли только глухие да слепые. В восторг пришли даже неотесанные немцы, их, как правило, нанимали на самую грязную работу, как временщиков. Но вслед за успехом пришло горькое



разочарование в людях. На следующий день наемники принялись смеяться над его тонким голоском. Кто-то предложил проверить, а не девочка ли этот долговязый паренек. С Андерсена стянули штаны и под общий гогот проверили... «Мне было так стыдно, что я залился краской и что есть сил кинулся домой... Больше мать не отправляла меня на эту фабрику».

После этого события Андерсен окончательно ушел в себя. Его лучшими друзьями стали деревянные куклы, сделанные когда-то отцом. Он шил им платья, придумывал для них смешные и грустные истории, в которых куклы оживали. Забавно, но Андерсену не хотелось, чтобы его принцы и принцессы говорили на датском языке. Для своих героев он придумал новый язык, некую помесь датского, немецкого, английского и французского. «В ту пору я был очень одинок, но, играя в мой маленький театр, я чувствовал себя по-настоящему счастливым». Андерсен хорошо помнил своего старого толстого кота Карла, который был единственным свидетелем его игр. Он же был слушателем его первых сказок. Карл всем был хорош, но имел один недостаток – быстро засыпал. Тогда одну из придуманных историй Христиан рассказал соседке фрекен Шенк из дома 5 на Мюнкемёллештраде. Та внимательно выслушала мальчика, но лишь посмеялась над его увлечением, заметив, что рассказывать байки удел старух в богадельне. Дальше пошел ее сын Готфред Шенк. Прознав об увлечении Андерсена, он дразнил соседа «писателем пьес» и при каждом удобном случае колотил его почем зря...

Буря стихла, и промерзшие ветви, устав раскачиваться под песню ветра, застыли в мертвой тишине. И этот родной спящий город, который всего несколько часов назад так старался выплеснуть на него свою любовь, снова оставил писателя в одиночестве. Странно, что единственное знакомое лицо, которое встретил Андерсен среди ликующей толпы, было лицо Готфреда Шенка. Он стал довольно полным мужчиной, главой семейства. Его одежда была поношенной и выглядела неопрятно. Неужели это тот забияка, который так любил избивать своего долговязого соседа? Ганс Христиан дал ему один риксдалер (это примерно 200 крон) и почувствовал, что ему неловко смотреть в глаза этому несчастному человеку. Если посчитать, сколько раз после смерти отца Андерсен улыбался, то получалось совсем

немного, но все-таки был момент, когда он мог сказать — я самый счастливый человек в мире.

Это произошло в июне 1818 года. Андерсену исполнилось 13 лет, и он чувствовал себя исключительным, как, впрочем, многие дети этого возраста. Он уже мечтал о театре и представлял себя знаменитым актером. И вдруг в город приехала труппа королевского театра из Копенгагена. Андерсен крутился возле театра Оденсе, пытаясь всеми правдами и неправдами пробраться за кулисы. Он был столь настырен, что в конце концов разносчик афиш пообещал Андерсену провести его за сцену. Мечта сбылась, он оказался в мире иллюзий и надежд. Долговязого, неуклюжего мальчишку трудно было не заметить среди разряженной актерской братии. Тем более что он довольно скоро оказался очень даже полезным. Капризные актрисы легко нашли в нем исполнителя любых желаний, а самовлюбленные столичные светила — восторженного слушателя разных побасенок. Но Андерсену нужно было больше. Он хотел на сцену. Хотел петь, танцевать, в общем, играть эту ненастоящую, но такую праздничную жизнь. Ему повезло, заболел кто-то из второстепенных актеров, и Христиан вышел на сцену.

«Я надел мой красный шелковый костюм, вышел на сцену и сказал те несколько слов, что мне полагалось. Я искренне верил, что в этот момент весь зал смотрит только на меня». Это была незначительная роль в легкомысленной оперетте, и все-таки это был успех. Только одно событие омрачило первый успех. Мать Андерсена, не в силах более выносить тяготы нищеты, решила снова выйти замуж. Ее избранник имел дочь, ремесло башмачника и скверный характер. С отчимом Андерсен не ладил. Испортились и отношения с матерью, которую он ревновал к приемной сестре Карен Мари.

«У меня в те годы появилась привычка сидеть подолгу у реки и наблюдать за работой мельничного колеса. Когда на Оденсе опускался вечер, я начинал петь мои импровизации. Я перекладывал на музыку любые истории, которые приходили мне в голову». Скоро о привычке Андерсена узнал весь город. Многие люди приходили к реке, чтобы его послушать. А благородные семейства приглашали его к себе в дом. «Маленький соловей с острова Фюн» прозвали его первые поклонники. Так к Андерсену пришла первая известность. О нем заговорили как о провинциальном самородке. Что еще было надо

мальчишке, мечтавшем о славе? Денег, чтобы добраться до Копенгагена. Ведь Оденсе был слишком мал для его таланта.

2 сентября 1819 года Андерсен получил свой первый гонорар. Он выступил в доме священника. «Мы собрались в круглой комнате, и этот маленький джентльмен на протяжении двух часов импровизировал и играл сцены из разных пьес. Мы были в восторге, но порой, когда юноша принимался исполнять роли любовников, нам не хватало воздуха от смеха. Так неуклюже он становился на колени, вытягивая свои длинные ступни», – вспоминала одна из дам, видевшая выступление. Как бы там ни было, но уже через полгода Андерсен собрал 13 риксдалеров и в придачу получил рекомендательное письмо к ведущей балерине королевского театра Анне Маргарете Шелл.

В солнечный полдень 4 сентября 1819 года он уже сидел в почтовом дилижансе, готовый покорять мир. «Он вернется, как только увидит бушующее море», – говорила мать Андерсена. Она была уверена, что 14-летний мальчик не осмелится на столь долгое путешествие. Ведь Андерсену предстоял путь не просто в другой город, а на другой остров, на Зеландию, именно там находился город его мечты – Копенгаген.

Мать ошиблась. Ганс Христиан вернулся в Оденсе лишь через 50 лет. И это возвращение принесло ему столько боли и страданий, что, не выдержав и недели, он снова покинул его, уже навсегда.

## Большой город

Сегодня, чтобы добраться из Оденсе в Копенгаген, потребуется чуть более четырех часов. Но в начале XIX века такая поездка занимала минимум два дня. Люди состоятельные могли превратить ее в приятное путешествие, прочие же довольствовались почтовыми дилижансами, в которые набивалось до пяти человек. В тесном трясущемся помещении шуршали дамские платья, слышался плач детей, благоухали ароматы из котомок со съестными припасами, а жесткое сиденье напоминало о кочках и ухабах под колесами. Усевшись в углу одного из таких дилижансов, Ганс Христиан Андерсен начал свое путешествие в столицу. На первой же остановке в Ньюборге он почувствовал себя самым одиноким и несчастным человеком на свете. И дело было не столько в дорожных неудобствах, сколько в щемящем чувстве голода и ощущении, что он достиг конца света. Ведь Ньюборг с давних пор считался воротами в другой мир. Это была крайняя точка острова Фюн. Впереди черной массой волновалось море, отделявшее Фюн от Зеландии – острова, на котором стоит Копенгаген.

Теперь между этими двумя островами протянулся мост, но в начале XIX века о нем не было и речи, так что всякому путешественнику приходилось иметь дело с капризной стихией. Надо сказать, что с морской болезнью в те времена боролись весьма своеобразными способами. Некоторые, например, оборачивали ноги и живот пергаментной бумагой, считалось, что это помогает. Другие всю дорогу жевали лимон или клали под язык мускатный орех. Андерсен за свое недолгое морское путешествие вдоволь насмотрелся на людские причуды. Особенно ему запомнилась одна гувернантка, обвязавшая шерстяной ниткой левое запястье... Но 14-летнего Христиана морской недуг не беспокоил, куда страшнее было созерцать строптивую синеву. Ему казалось, что он плывет над дворцом морского царя, который непременно хочет потопить суденышко. И может статься, одна из царских дочерей сжалится над ним и не даст утонуть...

Сырой туман, поглотивший последние лучи солнца, сомкнулся у кормы, и лишь тусклый свет фонаря освещал ближние канаты... Ночь

сморила море и обитателей судна, а утро следующего дня встретило путников в городе Корсор. «Я стоял в стороне и жевал хлеб, что приготовила мне в дорогу мать. Прочие пассажиры не обращали на меня внимания. И мне было очень одиноко... Но вот возничий протрубил в рожок, и мы тронулись в путь». Почтовый дилижанс затрясся по дорогам Зеландии, устремляясь на северо-запад к Фредериксбергу. В ту пору это была единственная дорога – дорога Роскильде. Так что всякий, кто держал путь на Копенгаген, обязательно оказывался и в Фредериксберге. Здесь же рано утром 6 сентября 1819 года остановился дилижанс Андерсена. Для мальчика это был конечный пункт. Заплатив три риксдалера, он покинул карету и двинулся в город, главной достопримечательностью которого был прекрасный замок – летняя резиденция датских королей. Замок стоял на холме в окружении садов, парков и каналов. В летние месяцы сюда приезжало множество людей, чтобы полюбоваться белой лодкой короля Фредерика VI – любителя водных прогулок и восторженных зрителей. Но час стоял ранний, и его величество еще не выплыли. Так что парки и сады пустовали, зато за пределами королевских владений жизнь была ключом. Торговцы, купцы, скупщики краденого и прочий люд толпились у ворот замка, собираясь направиться в столицу. К этой пестрой компании и примкнул юный путешественник.





*Копенгаген. 1890–1900 годы*

«Если бы перед ним открылся город с домами из мрамора и дворцами из прозрачного стекла, он бы не удивился... он был готов ко всему, но увидел совсем не то, что ожидал», – писал Андерсен в автобиографическом романе «Всего лишь скрипач». Город не просто восхитил – он порастил Христиана.

Копенгаген начала XIX века был весьма невелик и все еще сохранял черты города-крепости, окруженного оборонительными рвами. Четверо ворот вело в его недра, и все они на ночь запирались. Говорили, что прежде, до 1808 года, ключи отдавали королю, и его величество клали их под подушку. Ганс Христиан Андерсен вошел в город через Западные ворота и сразу попал в водоворот столичной жизни. «По узким улочкам с шумом катили кареты и экипажи, люди шумели и кричали, мужчины и женщины, разодетые, как господа, проходили мимо друг друга, не здороваясь», – вспоминал позднее сказочник. Копенгаген был исчерчен каналами, и всюду виднелись корабельные мачты. Их было так много, что город походил на

игольную подушку. Дома тесно липли друг к другу, соревнуясь в изысканности. Но все эти прекрасные особняки были не для Андерсена. Дорогой Христиан узнал, что бедному чужаку лучше всего было бы остановиться на Вестергаде – узкой, невзрачной улице, застроенной приютами, доходными домами и дешевыми гостиницами, в одной из которых он и остановился, взяв комнатку с видом на осколок кирпичной стены. Впрочем, убогий пейзаж сполна заменяла богатая палитра уличных звуков. «Город точно лихорадило. Казалось, все жители вышли на улицу и принялись голосить. Шум и грохот были такими, что закладывало уши. И мне казалось, что все это признаки большого города», – записал Андерсен в одном из дневников. Наивный мальчишка из сонного Оденсе был в восторге, он даже не заметил, какую жуткую вонь источают столь восхитившие его каналы. Андерсен приехал в Копенгаген завоевывать мир и принялся за это нелегкое дело сразу же по прибытии.

Кинув вещи в гостинице, Христиан первым делом справился, где находится театр. На такой простой вопрос не ответил бы разве что немой. Ведь это был золотой век копенгагенского театра. Время, когда главными героями салонов и салонных разговоров становились актеры и драматурги. Об актрисах и танцовщицах кричали разносчики газет, о них шептались в кабаках и на грязных улочках, в том числе и на Вестергаде. Так что в придачу к адресу Христиан получил массу информации о том, кто блистал накануне и чей кошелек отощал в пользу примы-балерины. Услышав имя знаменитый танцовщицы Анны Шелл, Андерсен вспомнил о рекомендательном письме к ней, но не стал спешить с визитом, решив сперва ознакомиться с театром.

Величественное здание возвышалось на углу Конгенс Нюторв – Новой Королевской площади. И сегодня копенгагенцы гордятся правильностью его линий и изысканностью форм. Что же говорить о тех временах? Это был настоящий храм искусства. В общем, Андерсен не разочаровался в своем выборе, и дело оставалось за малым – войти в этот храм. Ему было все равно, в каком качестве: певцом, танцором, драматическим актером или автором пьес. Но поскольку рекомендательное письмо было адресовано балерине, то, как решил сам Христиан, правильнее всего было выбрать карьеру танцора.



*Королевский театр в Копенгагене. 1890–1900 годы*

Дом Анны Маргареты Шелл стоял на одной из самых приятных улиц Копенгагена, на Бредгаде. Свою привлекательность улица не утратила и по сей день. Но существенное изменение в ее облик внесли многочисленные витрины магазинов, которые расположились в старых домах, вытеснив актерскую братию. Ведь Бредгаде располагается неподалеку от театра, и во все времена основными ее обитателями были люди искусства. Балерина Шелл жила в узком строении под номером 19. Однажды утром в ее гостиную явился молодой человек в огромных башмаках, которые при каждом шаге издавали протяжный стон. Это был Андерсен. Беднягу с самого начало ждало разочарование. Рекомендательное письмо, что так услужливо написал ему один из оденских деятелей, оказалось фальшивкой. Мадам Шелл слыхом не слыхивала ни о каком Иверсене, но любезно согласилась принять странного юношу, о чем тут же горько пожалела. С провинциальной непосредственностью Андерсен скинул скрипучие ботинки и торжественно отнес их в угол гостиной. Затем последовало представление. Он пел, читал сцены, пытался музицировать... Но когда дело дошло до танца с тамбурином,

терпение мадам Шелл лопнуло, и она попросила юное дарование немедленно покинуть дом. Эта неудача ничуть не смутила Андерсена. Он был уверен, что рожден для театра, просто дама не увидела его талант. И юноша недолго думая отправился к директору Королевского театра, дабы тот позаботился о его будущем. «Молодой человек, вы слишком тощий для театра», – заявил директор, смерив долговязое тело Христиана презрительным взглядом. «Но если вы одолжите мне хотя бы сотню риксдаллеров, я быстро поправлюсь», – выпалил Христиан и был не прав. Директор раздосадовался и прогнал нахала.

Андерсен все-таки попал в театр, но только в качестве зрителя. На билет он потратил все свои сбережения, и после представления в его кармане лежал всего один риксдаллер, который вскоре был уплачен за номер в гостинице. Христиан остался без денег и без жилья. Казалось, выход один – вернуться обратно в Оденсе...

## Копенгаген XIX века

Копенгаген начала XIX века был далеко не самым передовым городом. В то время как улицы Лондона уже освещались газовыми фонарями, столица Дании все еще утопала в мутном сиянии масляных светильников. А в лунные ночи по решению городского совета выключали и их, в целях экономии. Вот когда начиналось раздолье для охотников за запоздалыми прохожими, среди которых блуждал и Ганс Христиан Андерсен. Правда, вид будущего сказочника был малопритягателен для воров и преступников. Его ботинки прохудились, и отцовское пальто охотно подставляло дыры навстречу промозглому ветру. Юноша с любопытством заглядывал в окна дорогих домов.

Там за тяжелыми гардинами смеялись и музицировали, ели отменные кушанья и пили ароматные вина. Казалось, что эти люди живут совсем в другом городе и не знают, что на старой рыночной площади Гаммельторв зарезали торговку рыбой за то, что она якобы кого-то обвесила. А у водяной колонки подрались два здоровяка, не поделив очередь. Владельцы роскошных домов жили в другом мире. Море, где рыба не воняет, а пахнет; где вместо мокрой картонки мягкая постель; где дымится утренний кофе и из булочки вытекает повидло. Христиан бредил этим миром. Он был уверен, что рожден для него, но надежды Андерсена рушились. Он ехал в город-праздник, а оказался в городе-призраке. Он мечтал о Королевском театре, но прима-балерина выгнала его взащей. Юноше в пору было отчаяться и вернуться в свой родной Оденсе, но не таков был характер у Андерсена. С настойчивостью провинциала он пробивал себе дорогу в театр. И поскольку Христиан был абсолютно уверен в своей исключительности и всесторонней одаренности, проблема с балериной казалась лишь незначительной преградой на пути к сцене. «В конце концов совершенно необязательно быть танцором, если ты имеешь замечательный голос, которого, кстати, никто из знаменитых копенгагенцев еще не слышал». Рассудив таким образом, юный Христиан отправился демонстрировать свое сопрано к профессору Сибони.

Мелкий дождь моросил по брусчатке, тыкался в лицо и длинными каплями вис на носу. Промокший и озябший Христиан стоял на улице Вингардсстраде у дома номер 5. Особняк синьора Жузеппе Сибони светился окнами. Наверху хлопнула фрамуга, выпустив звуки заливистого смеха. Профессор Королевской консерватории давал званый ужин, и Андерсену было как-то неловко врываться на чужой праздник. Но дождь становился сильнее, ветер дул крепче и деваться было некуда. Набравшись храбрости, Христиан решительно дернул колокольчик. Трудно сказать, что ему помогло. То ли служанка была не в силах выслушивать от странного незнакомца всю историю его жизни, а именно с этого начал Христиан, то ли гости устали сами себя веселить, то ли звезды как-то особенно сошлись над головой юноши, но его пригласили в дом.

«Маленький соловей с острова Фюн» развлекал гостей Сибони весь оставшийся вечер. Собравшиеся были довольны. Этот нелепый парень мог заставить смеяться кого угодно. Конечно, большинство из зрителей просто потешались над ним, а Христиану казалось, что это настоящий успех. На самом деле это и был успех. Среди гостей присутствовал известный композитор того времени господин Вейсе. «Уверяю вас, господа, когда-нибудь из этого мальчика выйдет толк», – сказал он и шумно зааплодировал юному дарованию. Вейсе был единственным, кто отнесся к Христиану серьезно, ведь он сам приехал в Копенгаген без гроша и пробился в люди благодаря таланту и, как говорится, добрым людям. Когда вечер закончился, служанка, провожая Андерсена, сообщила ему адрес Вейсе и время для визита.

Вейсе не имел собственного дома. Он снимал апартаменты. По словам Андерсена, его комнаты не отличались особой роскошью, но были уютны. Он жил на Кронпринцгаде и имел удовольствие любоваться королевским садом из окна собственного дома. Андерсен искренне позавидовал этому человеку, ведь он жил рядом с Розенбергом – розовым замком его королевского величества.

«Вы будете получать талоны на обед и ежемесячное пособие в размере 10 риксдалеров, – сообщил композитор юноше. – Кроме того, вам необходимо выучить немецкий: профессор Сибони, итальянец по происхождению, плохо владеет датским. Он будет давать вам уроки вокала. Также побеспокойтесь о жилье, вашего пособия должно хватить на недорогую комнату». Новая жизнь началась. Андерсен



снял комнату у вдовы Торгсен. Она жила в пяти шагах от особняка Сибони, и это было удобно, если не считать, конечно, что комната Андерсена была чуланом без окон, без света, без тепла. «Чтобы заснуть, я сворачивался калачиком и дышал в ладони. Мне казалось, что из моего рта идет пар, будто я сплю на улице... Зато утром я оказывался в прекрасных покоях Сибони...» – писал Андерсен в своем дневнике.

Занятия вокалом были по душе Христиану, но вот беда, характер итальянца Сибони оставлял желать лучшего. «Порой, когда профессор приходил в ярость, я так пугался, что начинал дрожать всем телом, мой голос срывался, а по щекам текли слезы», – вспоминал сказочник об уроках с Сибони. «Раздосадованный синьор Жузеппе прогонял меня прочь, а через минуту звал обратно и в знак примирения дарил мне монету». Надо сказать, что в отличие от Андерсена, который к своим занятиям относился со всей серьезностью, Сибони просто жалел паренька. Он прекрасно знал, что такое мальчишеское сопрано. «Как только начнется ломка голоса, нежные звуки превратятся в криканье», – отвечал он на похвальные речи композитора Вейсе. Так и случилось. Христиан потерял голос, и холеричный итальянец прогнал его прочь. Позднее, рассказывая о том поражении, Андерсен вспоминал старинную датскую песню о соловье, который пел для розы, но налетел на шипы.

Но, несмотря на отчаяние, Андерсен и не думал возвращаться в Оденсе. «Если я не стану знаменитым, то и жить незачем», – писал сказочник в автобиографическом романе «Всего лишь скрипач». Что ж, судьба благоволила к Христиану, и он все-таки вышел на сцену Королевского театра. Это случилось год спустя, когда юноша познакомился с ведущим танцором Копенгагена того времени Огюстом Бурновиллем. Нежный Огюст вызвался обучить Андерсена балету. Дело шло плохо. «Как такое гибкое тело может быть таким неуклюжим?» – удивлялся Бурновилль. Тем не менее Христиан постиг науку пластики и получил очень характерную роль тролля. «Из вас получится превосходный комедийный актер!» – уверяли Христиана артисты театра. Но такое будущее было не для него. Над Андерсеном слишком много смеялись в детстве, и выбрать сознательно профессию шута он не мог, да и не хотел. Тем не менее афишу со своим именем

хранил до конца дней. И позднее, уже будучи известным писателем, вспоминал, как засыпал с этим клочком бумаги под подушкой.

Меланхоличный и замкнутый молодой человек решил испытать последнее средство, чтобы заявить о себе всерьез. Ведь изначально он наметил себе три пути в театр: танцы, вокал и драма. Первые два этапа были пройдены, и о них не стоило вспоминать, оставалось последнее – писать пьесы. И Андерсен начал писать.

Только ленивый не смеялся над его литературными изысками. Тем более что Христиан декламировал свои произведения везде где придется. «Помните, моя дорогая, того юношу, что выступал у нас? – писала в письме к подруге одна из землячек Андерсена. – Он теперь тоже в Копенгагене. Пишет пьесы. Большой чепухи я в жизни не слышала. Но он такой неуклюжий и смешной, что его охотно зовут в дома и просят прочесть что-нибудь свое». Вероятнее всего, Андерсен догадывался, что над ним потешаются. В романе «Всего лишь скрипач» в речь матроса он вложил весьма жесткие слова, обращенные к себе самому: «Они же над тобой смеются, плувец. И зачем ты туда шляешься? Записался в придворные шуты?»

Но такова была цена за возможность стать знаменитым в большом городе. И Андерсен готов был ее заплатить. Он умышленно выбрал роль шута в жизни, а не на сцене.

## Путешествия

Великий сказочник Ганс Христиан Андерсен очень любил фотографироваться. И множество портретов, сохранившихся до наших дней, яркое тому доказательство. Эта страсть писателя многим казалась забавной, ведь ни красотой, ни грацией Христиан не блистал. «Он был очень худым, высоким и не то чтобы некрасивым, а каким-то тусклым, на всем его лице хорошо угадывался только нос. Он был доминантой, которая затмевала и серые глаза, и хорошо очерченный рот», – описывал Андерсена его друг Эдвард Коллин. Но Христиан охотно позировал фотографам, выставляя напоказ свои душевные мытарства. В его портретах трудно увидеть человека, довольного своей судьбой, а ведь ему могли бы позавидовать очень многие.

Он начал писать и уже в 1827 года смог заявить о себе как о поэте. Его поэма «Умиравший ребенок» на шумела больше за рубежом, чем в самой Дании, так как перевел и издал ее один немец, проникнувшийся темой и настроением. Но и датчане не остались в стороне, за Андерсеном прочно закрепилось звание талантливого юноши.

Спустя два года состоялся прозаический дебют «Прогулки от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер». Фантастическая повесть, выполненная в духе Гофмана, вызвала резонанс в обществе. «У вас прекрасный дар – находить жемчуг в сточных канавах. Берегите его», – отозвался о способностях юноши поэт Ингеман. Оборванец с острова Фюн теперь был вхож в лучшие дома Копенгагена. Он был желанным гостем у Коллинов – почтенного семейства, принимавшего известнейших людей города. Частенько навещался на вечера искусств в дом Райбеков. И те и другие принимали в его судьбе активное участие, желая обучить юношу манерам, стилю и дать ему образование. «Как он смешно кланяется! Хорошо, конечно, заботиться об образовании ума, но не надо пренебрегать и манерами! На это обращают в свете большое внимание...» – эти слова, произнесенные когда-то одной из великосветских девиц, навсегда остались в памяти Андерсена, и позднее он вложил их в уста героини из романа «Импровизатор». Подобные шпильки со стороны слабого пола больно кололи

самолюбие Христиана. «Одна благородная дама вызвалась просматривать мои стихи и требовала от меня, чтобы я доставлял ей их переписанными на бумаге с большими полями для пометок. Ей мнилось, что она великий критик...» Еще хуже были попреки мужчин, которые и мысли не допускали, что провинциальный юноша может хоть в чем-то смыслить больше. Но Христиан вырослел и не желал более во всем подчиняться своим благодетелям. Ему хотелось вырваться из тесного круга светских манер и назидательных речей. Он мечтал увидеть мир.

22 апреля 1833 года пароход «Фредерик VI» с Христианом на борту покинул Копенгагенскую гавань, держа путь в Германию. «Поднимем парус! Небо ясно! Кто путешествует – живет!» – писал восторженный Андерсен. Но ликование сменилось меланхолией, как только корабль достиг берегов Германии и путешественник пересел в трясущийся дилижанс. Дорогой Андерсен чувствовал себя дурно. Его терзали сомнения и страхи. На постоялых дворах он, как правило, запирался в комнате сразу после ужина и не выходил оттуда до самого утра. Христиан неоднократно рисковал опоздать, так как покидал свое убежище уже при звуках рожка, в который трубил возничий, возвещая об отправлении экипажа. И если бы не молодой человек, взятый в компаньоны, Андерсен мог бы так и не доехать до земли, которая позднее вдохновила его на первый большой роман, принесший писателю известность.



*Ганс Христиан Андерсен и Йонас Коллин-младший в Бордо. 9 января 1863 года*

Но дорожные неудобства стоили свеч, и в этом Христиан убедился, как только увидел Италию. «Северное небо никогда не стоит так высоко, никогда не тешит глаз такой роскошью красок, как дивное теплое южное небо... Италия – страна фантазии, царство красоты!» Андерсен упивался Италией. Вечный город встретил его торжественной церемонией перезахоронения останков Рафаэля. Это почти мистическое действо сполна возместило убогую римскую гостиницу, где так скверно топили камин, что на ночь приходилось класть в ноги грелку с горячей водой. Но зато в дневное время он находил утешение среди «римских скандинавов», что собирались в «Кафе Греко» на виа Кондотти. Здесь он познакомился с Торвальдсеном и Херцем, которые надолго остались его друзьями. И это было только началом путешествия. Впереди его ждал Неаполь с огнедышащим Везувием и чудесный Капри с Голубым гротом.

Письма из Дании он получил еще в Риме. Этот день был самым мрачным за все его пребывание в Италии – 28 декабря 1833 года. «Сегодня я узнал о смерти моей матери», – записал Андерсен в дневнике, а рядом нарисовал вид из окна гостиницы: римляне кого-то хоронили. Второе письмо было от Коллина. Друг сообщал о провале пьесы, на которую Андерсен возлагал большие надежды. В качестве приписки Коллин заметил, что пора бы немного охладить пыл. Не стоит так много писать. А идея Андерсена издать путевые заметки по Италии, на его взгляд, была просто абсурдна. «Да кто же, скажите мне, купит ваш многотомный труд, трактующий о путешествии, которое проделали до вас тысячи людей? Остановитесь, ради бога, ради вашей писательской чести!..» Андерсен был в отчаянии. В очередной раз его одолевали мысли о самоубийстве, но писатель ограничился холодным ответом другу и покупкой чернил для продолжения работы над книгой.



*Мой сосед-кулинар в Риме. Рисунок из письма Ганса Христиана Андерсена*

Он написал свой роман. «Импровизатор», а именно таковым было название его творения, был принят более чем восторженно. В 1835 году он увидел свет, а спустя два года Христиан был приглашен на завтрак к датскому премьер-министру. Тот отрекомендовался поклонником «Импровизатора» и предложил писателю солидную субсидию. Его узнали и признали все. Зарубежные газеты писали восторженные отклики на роман, а датские издания упорно продолжали поливать стиль и вкус Андерсена как писателя. Не обходили стороной и его безграмотность. Неудивительно, что начиная с 1838 года Христиан предпочитает дорогу уютному креслу у камина в родной Дании. Он путешествовал по Англии, Германии, Швеции, Франции. Восторгался красотами Греции и снимал шляпу, стоя у подножия Акрополя. Позднее, в сказке «Дюймовочка», Греция станет страной, где живут крошечные эльфы, и именно сюда ласточка принесет девочку.



Христиану было 42 года. Он уже успел прославиться как великий сказочник, но ему не хватало одного – серьезного отношения к собственной персоне. Его единственными искренними поклонниками, верившими всему, что говорил этот чудака, были дети. А для него беседы с детьми и сочинение сказок стало счастливой возможностью убежать от слишком взрослого и скучного света.

## **Андерсен и дети**

Любил ли Андерсен детей? На этот вопрос у современников Ганса Христиана было два совершенно противоположных мнения. Одни уверяли, что любил, и даже очень. Другие, напротив, считали, что он боялся и недолго любил маленьких девочек и мальчиков. Согласитесь, довольно необычный спор, если учитывать, что он касается сказочника. Но необычным был и сам Андерсен, и его сказки.



*Рисунок в честь визита Ганса Христиана Андерсена в Лондон. 1857 год*

В его волшебных историях справедливость нередко бывала жестокой. Взять, к примеру, сказку «Девочка, наступившая на хлеб», где юная барышня расплатилась за свой поступок настоящими муками ада. А в сказке «Красные туфельки» маленькая модница так любовалась своими новыми башмачками, что забыла обо всем на

свете. Но пришел справедливый топорик и отрубил ей ноги, разрешив тем самым все проблемы. Подобных сказок в творчестве писателя не так уж и много, всего четыре или пять, и причиной их происхождения, как правило, были зубная боль и глубокая депрессия. Но злые языки критиков уже кричали о нелюбви к детям и неумении научить хорошему привычными методами. Впрочем, с критиками у сказочника никогда не складывались отношения. С самого начала они избрали его любимой мишенью и мучили всю жизнь. Именно им Андерсен посвятил сказку «Улитка и розовый куст», а в придачу сочинил язвительный стишок:

В саду улитка черная сидела,  
На розу злясь: «Как хвалят все ее!  
Как хороша! А мне какое дело?  
Я вот взяла и плюнула в нее!»

Андерсен писал легко. Даже большие истории рождались всего за одну ночь, самое долгое два дня. У него не было проблем с поиском тем. Однажды скульптор Торвальдсен в шутку сказал: «Ну напишите нам новую, забавную историю. Вы ведь можете написать даже о штопальной игле!» И Андерсен написал историю жизни штопальной иглы. «Сказки сами приходят ко мне, – говорил Ганс Христиан. – Их нашептывают деревья, они врываются с ветром. Они всюду, надо только заметить их...»

Но есть у сказок Андерсена одна закономерность – они все грустные. И далеко не все имеют счастливый конец. Знаменитая сказка «Тень», как известно, закончилась смертью человека и победой тени. Столь же невеселый финал и в истории про ночной колпак, в которой хозяин колпака умер в холодном безлюдном доме. А стойкий оловянный солдатик превратился в комочек олова в пламени камина. Из 156 сказок, написанных Андерсеном, 56 заканчиваются смертью героя. Среди них и «Русалочка». Об этой истории Андерсен говорил, что «она – единственная из моих работ, которая трогала меня самого, в то время как я писал ее». Если бы только великий сказочник мог

знать, что спустя годы в Копенгагенской бухте появится скульптура Русалочки, которая станет символом столицы Дании.

Идея украсить город новой скульптурой принадлежала меценату Карлу Якобсену и ваятелю Эдварду Эриксену. В ту пору, а дело было в 1912 году, на сцене Королевского театра шел балет «Русалочка», в котором блистала Эллен Прайс. Именно она и должна была стать натурщицей для Эриксена. Но балерина отказалась позировать голой, предоставив в распоряжение ваятеля лишь свою голову. Этот каприз не остановил скульптора, он воспользовался головой Прайс, а в качестве обнаженной натуры взял собственную жену. Русалочка была готова спустя год – в 1913-м. Ее хотели установить в центре города, но Якобсен, спонсировавший проект, настоял на гавани. «Русалочку должна всегда омыwać вода, как в сказке», – заявил он в качестве аргумента.

Так и вышло. Но символ Копенгагена почти с самого начала преследовали несчастья. Ее сильно повредили во время Второй мировой войны. В 1961 году волосы морской девы выкрасили в красный цвет, а на тело надели абажур. Спустя два года ее снова разукрасили в красный цвет. Городские службы еще не успели вернуть Русалочке прежний облик, как уже в 1964-м ей отрезали голову. В 1976 году снова выкрасили. В 1984-м оторвали руку. В 1990-м отрезали макушку и, наконец, в 1998-м снова отрезали голову. В Копенгагене шутят: у нашей Русалочки клонированная голова. Теперь морская дева приобрела новое лицо. Насколько оно схоже с Эллен Прайс, уже никто не знает, но то, что судьба Русалочки за пределами книги продолжает развиваться в духе Андерсена, никто не сомневается. Ведь грусть и страдания – его излюбленные темы.

## Последние годы жизни

Нюхавн – улица в венецианском стиле. Собственно, это и не улица вовсе, а канал, по обеим сторонам которого выстроились дома. Жить на Нюхавне престижно, а иметь здесь собственный кабачок мечтают многие предприимчивые копенгагенцы. Впрочем, такой улица была не всегда. В XIX веке одна ее сторона считалась элитной, а другая, та, что никогда не видит солнца, – обычной. Именно на этой невзрачной стороне долгое время снимал комнату Ганс Христиан Андерсен. Дом номер 67 сегодня украшает табличка с именем сказочника. Зато на другой, солнечной стороне, там, где разбогатевший на волшебных историях писатель провел свои последние годы, нет ни таблички, ни надписи.

66-летний писатель переехал в эту квартиру 23 октября 1871 года, всего за четыре года до смерти. Он был знаменит, и слава делала его в глазах поклонников вполне симпатичным человеком. Как высказалась одна юная барышня, большая поклонница творчества Андерсена, «он не был красивым мужчиной, но его обворожительная улыбка заставляла думать иначе». Но что могли значить восторженные взгляды молоденьких девиц, если за свою долгую жизнь Андерсен трижды влюблялся и трижды был несчастлив в любви. Он так никогда и не женился, хотя был близок к этому. Его избранницей была знаменитая шведская певица Дженни Линд, но роман закончился ничем. Влюбчивый писатель нашел себе другой объект для обожания и с головой окунулся в новую страсть. К тому же его меланхоличный характер мало кого вдохновлял на совместное проживание. Андерсен побил все рекорды по количеству попыток покончить с собой. Любил ли он жизнь? Пожалуй, да. Но совсем не так, как любят ее другие. Для него жизнь и смерть были неразрывно связаны между собой. И его сказки «Ледяная дева» и «Снежная королева» – это оды смерти. В Дании существует поверие: когда мороз рисует на окне узор, то среди затейливых линий можно увидеть прекрасное лицо – это лицо ледяной девы. Она приходит за теми, чей последний час пробил. Такая дева приходила за его отцом, и именно ее он ждал в доме номер 18 на улице Нюхавн.

Он почти не выходил из дому. Врачи поставили диагноз цирроз печени и обнаружили еще ряд заболеваний. Душевное состояние Ганса Христиана было удручающим. Он хандрил и пребывал в глубокой депрессии. «Я чувствую собственную старость, и даже мои соседи – молодые студенты более не могут зажечь меня своей юностью», – жаловался сказочник. Он постоянно вел дневник, записывая туда все приступы боли и малейшие изменения в самочувствии. Свои волшебные истории Ганс Христиан все чаще предпочитал рассказывать, а не записывать. Но тем не менее к 1872 году на свет появилось две последние сказки – «Рассказ старого Йохана» и «Тетушка Зубная боль». Обе истории Андерсен посвятил самому себе. В ту пору он особое внимание уделял зубам и считал, что их состояние влияет на его творчество. Возможно, так оно и было. В январе 1873 года Ганс Христиан потерял последний зуб, и в то же время сказки покинули дом номер 18. «Волшебные истории больше не приходят ко мне. Я остался совершенно один», – записал Андерсен в дневнике.





*Ганс Христиан Андерсен в доме на улице Ньюхавн. 1874 год*

Но одиночество писателя было скорее внутренним, чем внешним. Его постоянно окружали друзья: Эдвард Коллин с женой и семейство Мельхеоров, чей особняк на окраине Копенгагена Андерсен считал своим родным домом. Доротея Мельхеор выполняла функции сиделки. Она готовила еду, так как горничной Христиан не доверял, и ежедневно приносила ему букет белых роз. Прежде чем поставить их в вазу, Доротея подносила букет к лицу больного писателя, и тот

нежно целовал каждый цветок. Андерсен знал, что умирает, но его мучили страхи быть похороненным заживо. «Прежде чем положите меня в гроб, убедитесь, что я действительно умер», – говорил он мадам Мельхеор.

Видимо, опасения Андерсена были не напрасны. Копенгаген уже готовился к прощанию с великим сказочником. Дети и взрослые собрали средства на памятник писателю. Увековечить Ганса Христиана в бронзе доверили скульптору Огюсту Сабё. Он-то и пожаловал в дом номер 18 с эскизом будущего шедевра. Взглянув на листок, Андерсен пришел в негодование: «Вы хотите, чтобы я читал мои сказки в окружении детей, которые виснут на моих плечах и коленях? Да я и слова не скажу в такой атмосфере!» Сабё был в шоке, но учел пожелание сказочника и детей убрал. Немногим из писателей довелось самим редактировать собственный памятник. И скульптура в королевском парке Розенберг с этой точки зрения настоящий шедевр. Все выполнено по вкусу Андерсена – любимая книга и никаких детей.

После ухода скульптора Сабё Ганс Христиан недовольно заметил: «Они готовят для меня надгробие». А четыре месяца спустя, 4 августа 1875 года, умер. Его похоронили на копенгагенском кладбище Ассистенс. В своем завещании Андерсен просил, когда придет срок, похоронить рядом с ним его друзей Эдварда и Генриетту Коллин, чтобы не было после смерти так же одиноко, как при жизни. Пожелание сказочника было выполнено спустя десять лет, когда супруги скончались. Однако дети Коллинов решили переправить тела родителей в семейный склеп. И Андерсен снова остался в одиночестве, теперь уже навсегда.

*Елена Шмелева*

# Сказки

1830-е

## Затонувший монастырь

Неподалеку от Нойенкирха, среди дремучих лесов притаилась одинокая полянка с озерцом; редко кто сюда заглядывает, да и знают-то о ней немногие. В черных елях, окружающих лужайку и озеро, есть какая-то унылость, нечто навевающее невольный трепет. Они словно окутывают таинственным покровом эти места; здесь не щебечут птицы, сюда не заглядывают солнечные лучи. Само озеро – глубины бездонной, и оттого-то еще больше сторонятся люди этих мест.

В стародавние времена стоял здесь женский монастырь с высокими башнями и с каменными статуями вдоль красных кирпичных стен.

Однажды ненастной зимней ночью набрел на монастырь нищий, больной старик; обессиленный, постучал он в ворота и стал проситься на ночлег. Но сестра привратница была женщина ленивая и жестокосердая, не хотелось ей в стужу спускаться вниз, отмыкать все замки и запоры. И она сердито крикнула старику, чтобы он шел своей дорогой и искал ночлега в другом месте. Но странник так устал и продрог, что дальше не мог идти; он снова стал просить, жалобно плакал, но все было напрасно. Ни настоятельницу, ни остальных монахинь не тронуло его горе. Лишь одна-единственная из обитательниц монастыря, которая еще не дала монашеского обета, сжалилась, видя его слезы, и заступилась за старика. Но монашки только посмеялись над ней, поглумились над ее добротой, да так и оставили беднягу за воротами.

Тут непогода еще пуще разыгралась, а старик прикоснулся своим посохом к стене, и в мгновение ока неприступный монастырь провалился в бездну. Огонь и дым изверглись из страшного жерла, которое тут же заполнилось водой. К утру буря стихла, и на том самом месте, где вчера еще солнце играло на золотых крестах высоких колоколен, теперь раскинулось озеро.

Добросердечная послушница, которая пожалела старика, горячо, всей душой любила одного из самых знатных рыцарей тех краев и потому монастырь казался ей темницей. Не раз ночью порою

пробирался рыцарь тайком через лес к уединенному монастырю. Когда все вокруг погружалось в сон, они переговаривались через решетку в окне ее кельи, и часто, бывало, их свидания кончались лишь на заре.

Пришел он и в ту ненастную ночь. Но какой болью и тревогой наполнилось сердце рыцаря, когда не увидел он больше на прежнем месте монастыря, а лишь услышал, как ревет и клокочет вода, скрытая густыми клубами дыма. Рыцарь стал ломать руки, рыдать и так громко звать любимую, что голос его сквозь бурю разносился далеко вокруг.

– Хоть раз, один лишь раз, – вздыхал он, – приди в мои объятия!

И тут из бездны, над которой пенилось бурное озеро, раздался голос:

– Будь завтра ночью, в одиннадцатом часу, на этом самом месте! На волнах ты увидишь алую, как кровь, шелковую нить, потяни за нее!

Голос смолк. В тоске и горе отправился рыцарь домой, не ведая, что уготовит ему рок. Но в назначенный час он снова пришел на берег озера и сделал все, что повелел ему голос.

Трепетной рукой схватил он алую, как кровь, нить, потянул за нее – и вот перед ним предстала его возлюбленная.

– Неисповедимый рок, – сказала она, – вверг меня, ни в чем не повинную, в бездну вместе с виноватыми, но мне дозволено всякую ночь от одиннадцати до двенадцати беседовать с тобой; преступать же этот час мне нельзя; если я хоть раз нарушу условие, ты никогда меня больше не увидишь. И, кроме тебя, никто не должен меня видеть, не то незримая рука перережет нить моей жизни.

Долго, долго продолжались ночные свидания на берегу озера, и всякий раз рыцарь тянул за алую, как кровь, нить, и из синих вод являлась его возлюбленная. Как счастливы были они оба этими тайными встречами и ничуть не опасались, что их застигнут врасплох в этом безлюдном, внушающем ужас месте! Но зависть и злоба выследили рыцаря, и однажды чужой человек подглядел, как влюбленные рука об руку гуляют по берегу озера. Когда на следующую ночь рыцарь приблизился к милому озеру, воды его в ясном свете месяца алели, будто кровь. Трепетной рукой схватился он за нить, но она побелела и была перерезана.

Стеная, метался рыцарь по берегу, ломал руки, звал свою любимую. Но все было тихо. Тогда безутешный юноша бросился в озеро, и волны

над ним сомкнулись.

1831

## Огниво

Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку; он шел домой с войны. На дороге встретилаь ему старая безобразная ведьма, нижняя губа висела у нее до самой груди.

– Здорово, служивый! – сказала она. – Какая у тебя славная сабля и большой ранец! Вот бравый солдат! Сейчас ты получишь денег сколько твоей душе угодно.

– Спасибо, старая ведьма! – сказал солдат.

– Видишь вон то старое дерево? – сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. – Оно пустое внутри. Влезь наверх, там будет дупло, ты и спустишь в него, в самый низ! А я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса и вытащу назад, когда ты мне крикнешь.

– Зачем мне лезть туда в дерево? – спросил солдат.



— За деньгами! — сказала ведьма. — Знай, что когда ты доберешься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход; там совсем светло, потому что горит добрая сотня ламп. Потом ты увидишь три двери; можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату; посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку: глаза у нее словно чайные чашки! Да ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, живо подойди и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него вволю. Тут одни медные деньги; захочешь серебра — ступай в другую комнату; там сидит собака с глазами что твои мельничные колеса! Но ты не пугайся: сажай ее на передник и бери себе денежки. А хочешь, можешь достать и золота сколько угодно; пойдешь только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на сундуке, глаза — каждый с Круглую башню. Вот это собака так собака! Но ты ее не бойся: посади на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота сколько хочешь!

— Оно бы недурно! — сказал солдат. — Но что ты со мной возьмешь за это, старая ведьма? Ведь уж что-нибудь да тебе от меня нужно?

– Я не возьму с тебя ни полушки! – сказала ведьма. – Только принеси мне старое огниво, которое позабыла там в последний раз моя бабушка.

– Ну, обвязывай меня веревкой! – приказал солдат.

– Готово! – сказала ведьма. – А вот и мой синий клетчатый передник!

Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп.

Вот он открыл первую дверь. Ух! Там сидел пес с глазами, точно чайные чашки, и тарасился на солдата.

– Малый недурен! – сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег, потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.

– Нечего тебе тараситься на меня, глаза заболят! – сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке такую кучу серебра, он выбросил все медяки и набил оба кармана и ранец одним серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу ты пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две Круглые башни и вертелись точно колеса.

– Мое почтение! – сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал.

Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! На все хватило бы! Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Теперь-то он был с деньгами! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь и закричал наверх:

– Тащи меня, старая ведьма.

– Ты взял огниво? – спросила ведьма.

– Ах, правда, чуть не забыл! – сказал солдат, пошел и взял огниво.

Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге с набитыми золотом карманами, сапогами, ранцем и фуражкой.

– Зачем тебе это огниво? – спросил солдат.



– Не твое дело! – ответила ведьма. – Ты ведь получил деньги! Отдай же мне огниво!

– Как бы не так! – сказал солдат. – Сейчас говори, зачем тебе оно, не то я вытащу саблю да срублю тебе голову.

– Не скажу! – уперлась ведьма.

Солдат взял и срубил ей голову. Ведьма так и повалилась, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и отправился прямо в город.

Город был чудесный; солдат остановился в самой лучшей гостинице и потребовал себе самые лучшие комнаты и все свои любимые блюда – теперь ведь он был богачом!

Слуга, который должен был чистить его сапоги, удивился было, что у такого богатого господина сапоги такие плохие, но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат сделался настоящим барином, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут, в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.

– Как бы ее увидеть? – спросил солдат.

– Этого никак нельзя! – сказали ему. – Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а королю это не понравилось.

«Вот бы на нее поглядеть!» – подумал солдат.

Да кто бы ему позволил?!

Теперь-то он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал: он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей; все они называли его славным малым, настоящим барином, а ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда, и остались у него в конце концов всего-навсего две денежки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже зашивать на них дыры; никто из друзей не навещал его, – уж очень высоко было подниматься к нему!

Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было даже денег на свечку; он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но как только, высекая огонь, ударил по кремню, дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами, точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

– Что угодно, господин? – спросила собака.

– Вот так история! – сказал солдат. – Огниво-то, выходит, презабавное: я могу получить все, что захочу! Эй, ты, добудь мне деньжонок! – сказал он собаке.

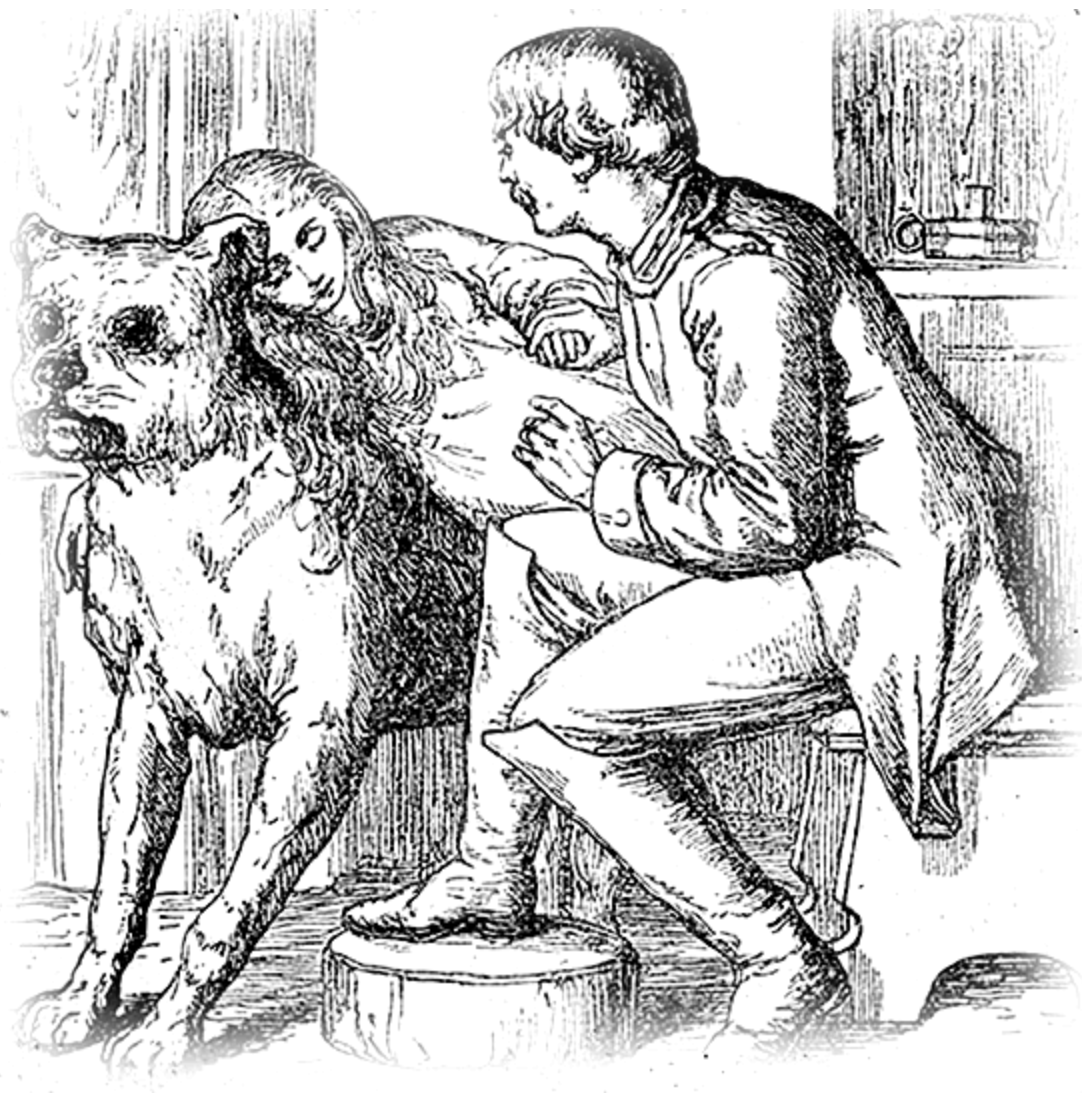
И раз – ее и след простыл, два – она опять тут как тут, а в зубах у нее большой мешок, набитый медяками! Тут солдат и узнал, что за чудное у него огниво. Стоило ударить по кремню раз – являлась собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами, два раза – являлась та, у которой было серебро, а три – являлась собака с золотом.

И вот солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же опять узнали его и ужасно полюбили.

Раз ему и приди в голову: «Почему бы это нельзя видеть принцессы? Все говорят, что она такая красавица! А что толку, если она весь век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся взглянуть на нее? Ну-ка, где мое огниво?» И он ударил по кремню раз – в тот же миг перед ним стояла собака с глазами, точно чайные чашки.

– Теперь, правда, уже ночь, – сказал солдат. – Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша; всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса, и солдат не утерпел и поцеловал ее – он ведь был brave воин, настоящий кавалер!



Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

– Вот так история! – сказала королева.

И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину – она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон, или что другое.

А солдату опять ужасно захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть, но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их

найти!» Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла отыскать настоящих ворот – повсюду стояли кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью.

– Вот куда! – сказал король, увидев первые ворота с крестом.

– Нет, вот куда, муженек! – возразила королева, заметив крест на других воротах.

– Да и здесь крест, и здесь! – зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться.

Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки большой кусок шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса.

Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату; солдат так полюбил принцессу, что от души желал бы стать принцем и жениться на ней.

Собака совсем и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она вскочила с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму.

Как там было темно и скучно! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Очень было невесело слышать это, а огниво свое он позабыл дома в гостинице.

Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата; били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Тут же бежал какой-то мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась в стену тюрьмы, чуть не в окошко, где стоял солдат.

– Эй, ты, куда торопишься? – сказал мальчику солдат. – Без меня ведь дело не обойдется! А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монетки. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монеты, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем!

За городом была устроена виселица, вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на чудесном троне прямо против судей и всего совета.

Солдат уже стоял на лестнице, и ему хотели накинуть веревку на шею, но он сказал, что, прежде нежели казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку табаку, это ведь будет последняя его трубочка на этом свете!

Королю не захотелось отказать, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три – и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами как чайные чашки, собака с глазами как мельничные колеса и собака с глазами как Круглая башня.

– Ну-ка, помогите мне избавиться от петли! – приказал солдат.

И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того за ноги, того за нос да кверху на несколько сажен, и все расшиблись вдребезги!

– Не хочу! – закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими.

Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:

– Милый солдат, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!

Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.

## Маленький Клаус и Большой Клаус

Водной деревне жили два человека; обоих звали Клаусами, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна; так вот, чтобы различить их, и стали звать того, у которого было четыре лошади, Большим Клаусом, а того, у которого одна, Маленьким Клаусом. Послушаем-ка теперь, что с ними было; ведь это целая история!

Всю неделю как есть должен был Маленький Клаус пахать на своей лошадке поле Большого Клауса. Зато Большой Клаус давал ему всех своих четырех, но только раз в неделю, по воскресеньям. Ух ты, как звонко щелкал кнутом Маленький Клаус по всему пятернику, – сегодня ведь все лошадки были как будто его собственные. Солнце так и сияло, колокола звонили к обеду, люди все были такие нарядные и шли с молитвенниками в руках в церковь послушать проповедь священника. Все они видели, что Маленький Клаус пашет на пяти лошадях, и он был очень доволен, пощелкивал кнутом и покрикивал:

– Эх вы, мои лошадушки!

– Не смей так говорить! – сказал Большой Клаус. – У тебя ведь всего одна лошадь!



Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и Маленький Клаус забывал, что не смел говорить так, и опять покрикивал:

– Ну вы, мои лошадушки!

– Послушай, я прошу тебя перестать! – сказал ему, наконец, Большой Клаус. – Если ты скажешь это еще хоть раз, я возьму да хвачу твою лошадь по лбу, вот ей и конец будет!

– Право, я не буду больше! – сказал Маленький Клаус, да вдруг опять кто-то прошел мимо и поздоровался с ним, а он от радости, что пашет так важно на пяти лошадях, опять щелкнул кнутом и закричал:

– Ну вы, мои лошадушки!

– Вот я тебе понукаю твоих лошадушек! – сказал Большой Клаус.

Взял он обух, которым вколачивают в поле колья для привязи лошадей, и так хватил лошадь Маленького Клауса по лбу, что убил ее наповал.

– Эх, нет теперь у меня ни единой лошадки! – сказал Маленький Клаус и принялся плакать.

Потом он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько на ветру, положил в мешок, взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру.

Идти пришлось очень далеко, через большой темный лес, а тут еще как на грех разыгралась непогода, и Маленький Клаус заблудился, а когда опять выбрался на дорогу, совсем уже стемнело. До города было еще далеко, да и домой назад неблизко; до ночи ни за что не добраться ни туда ни сюда.

На дороге стоял как раз большой крестьянский двор; ставни в доме были уже закрыты, но сквозь щели светился огонь.

«Вот тут я, верно, найду себе приют на ночь», – подумал Маленький Клаус и постучался.

Хозяйка отперла, узнала, что ему надо, и велела идти своей дорогой; мужа ее не было дома, а без него она не могла принимать гостей.

– Видно, придется переночевать на дворе! – сказал Маленький Клаус, – ведь хозяйка заперла перед ним дверь.

Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом – сарайчик с плоской соломенной крышей.

– Вон там я и улягусь! – сказал Маленький Клаус, увидев эту крышу. – Чудесная постель! Авось аист не прилетит и не ущипнет

меня за ногу!

Это он сказал потому, что на крыше дома было гнездо и стоял живой аист.

Маленький Клаус влез на крышу сарая, растянулся на соломе и принялся ворочаться с боку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни не доходили до верха окон, и ему видна была вся горница.

В горнице был накрыт большой стол; чего-чего только на нем не было: и вино, и жаркое, и чудеснейшая рыба; за столом сидели хозяйка и пономарь – больше никого.

Хозяйка наливала гостю вино, а он уплетал рыбу, – он был большой до нее охотник.

«Вот бы мне присоседиться!» – подумал Маленький Клаус и, вытянув шею, заглянул в окно. Боже, какой дивный пирог он увидал! Вот так пир!

Но тут он услышал, что кто-то подъезжает к дому верхом, – это вернулся домой хозяйкин муж. Он был очень добрый человек, но за ним водилась одна слабость: он видеть не мог пономарей. Стоило ему встретить пономаря – и он приходил в бешенство. Поэтому пономарь и пришел в гости к его жене в то время, когда мужа не было дома, а добрая женщина постаралась угостить его на славу. Оба они очень испугались, услышав, что хозяин вернулся, и хозяйка попросила гостя поскорее влезть в большой пустой сундук, который стоял в углу. Пономарь послушался – он ведь знал, что бедняга-муж видеть не может пономарей, – а хозяйка проворно убрала все угощение в печку: если бы муж увидал все это, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать.

– Ах! – вздохнул Маленький Клаус на крыше, глядя, как она прятала кушанье и вино.

– Кто там? – спросил крестьянин и вскинул глаза на Маленького Клауса. – Чего ж ты лежишь тут? Пойдем-ка лучше в горницу!

Маленький Клаус объяснил, как он заблудился и попросился ночевать.

– Ладно, – сказал крестьянин. – Только сперва нам надо с тобой подкрепиться с дороги.

Жена приняла их обоих очень ласково, накрыла на стол и вынула из печки большой горшок каши.



Крестьянин проголодался и ел с аппетитом, а у Маленького Клауса из головы не шли жаркое, рыба и пирог, которые были спрятаны в печке.

Под столом, у ног Маленького Клауса, лежал мешок с лошадиной шкурой, с той самой, которую он нес продавать. Каша не лезла ему в горло, и вот он наступил на свой мешок ногой; сухая шкура громко заскрипела.

– Тсс! – сказал Маленький Клаус мешку, а сам опять наступил на него, и шкура заскрипела еще громче.

– Что там у тебя? – спросил хозяин.

– А это колдун мой! – сказал Маленький Клаус. – Он говорит, что не стоит есть кашу, – он наколдовал нам полную печку вкусных вещей – там и жаркое, и рыба, и пирог!

– Вот так штука! – сказал крестьянин, мигом открыл печку и увидел там чудесные кушанья. Их спрятала туда его жена, а он подумал, что это все колдун наколдовал!

Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все на стол, а муж с гостем принялись есть и жаркое, и рыбу, и пирог. Вдруг Маленький Клаус опять наступил на мешок, и шкура заскрипела.

– А что он теперь сказал? – спросил крестьянин.

– Да вот, говорит, что наколдовал нам еще три бутылки вина, они тоже в печке, – ответил Маленький Клаус.

Жене пришлось вытащить и вино. Крестьянин выпил стаканчик, другой, и ему стало так весело! Да, такого колдуна, как у Маленького Клауса, он не прочь был заполучить!

– А может он вызвать черта? – спросил крестьянин. – Вот на кого бы я посмотрел; ведь мне сейчас весело!

– Да, – сказал Маленький Клаус, – мой колдун может сделать все, чего я захочу. Правда? – спросил он у мешка, а сам наступил на него, и шкура заскрипела. – Слышишь? Он отвечает «да». Только черт такой безобразный, что не стоит и смотреть на него!

– Но я его ни капельки не боюсь. А каков он на вид?

– Да он точь-в-точь пономарь!

– Тьфу! – сплюнул крестьянин. – Вот безобразие! Надо тебе сказать, что я видеть не могу пономарей! Но все равно, я ведь буду знать, что это черт, и мне не будет так противно! Теперь, кстати, я набрался храбрости! Только пусть он не подходит слишком близко!

– А вот я сейчас скажу колдуну! – сказал Маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался.

– Ну что?

– Он велит вам пойти и открыть вон тот сундук в углу: там притаился черт. Но надо придерживать крышку, а то он выскочит.

– Так помогите мне придерживать! – сказал крестьянин и пошел к сундуку, куда жена спрятала настоящего пономаря.

Пономарь был ни жив ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук.

– Тьфу! – закричал он и отскочил прочь. – Видел, видел! Точь-в-точь наш пономарь! Вот гадость-то!

Такую неприятность надо было запить, и они пили до поздней ночи.

– А колдуна этого ты мне продай! – сказал крестьянин. – Проси, сколько хочешь, хоть целый четверик денег!

– Нет, не могу! – сказал Маленький Клаус. – Подумай, сколько мне от него пользы!

– Ах, мне страсть как хочется! – сказал крестьянин и стал упрашивать Маленького Клауса.

– Ну ладно, – сказал, наконец, Маленький Клаус, – пусть будет по-твоему! Ты ласково обошелся со мной, пустил меня ночевать, так бери ж себе моего колдуна за четверик денег, только насыпай полный!

– Хорошо! – сказал крестьянин. – Но ты должен взять и сундук, я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почем знать, может быть, он все еще там сидит.

Маленький Клаус отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полный четверик денег, да еще большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук.

– Прощай! – сказал Маленький Клаус и покатыл тачку с деньгами и с сундуком, где все еще сидел пономарь.

По ту сторону леса протекал большой глубокий ручей, такой быстрый, что едва можно было справиться с течением. Через ручей был перекинут новый мост. Маленький Клаус встал посередине моста и сказал нарочно как можно громче, чтобы пономарь услышал:

– К чему мне этот дурацкий сундук? Он такой тяжелый, точно набит камнями! Я совсем измучусь с ним! Брошу-ка его в реку:

приплывет он ко мне домой сам — ладно, а не приплывет — и не надо!



Потом он взялся за сундук одною рукою и слегка приподнял его, точно собираясь столкнуть в воду.

– Постой! – закричал из сундука пономарь. – Выпусти сначала меня!

– Ай! – вскрикнул Маленький Клаус, притворяясь, что испугался. – Он все еще тут! В воду его скорее! Пусть тонет!

– Нет, нет! Это не черт, это я! – кричал пономарь. – Выпусти меня, я тебе дам целый четверик денег!

– Вот это другое дело! – сказал Маленький Клаус и открыл сундук. Пономарь мигом выскочил оттуда и толкнул пустой сундук в воду. Потом они пошли к нему домой, и Маленький Клаус получил еще целый четверик денег. Теперь тачка была полна деньгами.

– А ведь лошадка принесла мне недурной барыш! – сказал себе Маленький Клаус, когда пришел домой и высыпал на пол целую кучу денег. – Вот Большой Клаус-то рассердится, когда узнает, как я разбогател от своей единственной лошади. Только пусть не ждет, чтобы я сказал ему всю правду!

И он послал к Большому Клаусу мальчика попросить меру, которою мерят зерно.

«На что ему эта мера?» – подумал Большой Клаус и слегка смазал дно меры дегтем, – авось, мол, к нему что-нибудь да пристанет. Так оно и вышло: получив меру назад, Большой Клаус увидел, что ко дну прилипли три новенькие серебряные монетки.

– Вот так штука! – сказал Большой Клаус и сейчас же побежал к Маленькому Клаусу. – Откуда у тебя столько денег?

– Я продал вчера вечером шкуру своей лошади.

– С барышом продал! – сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил всех своих четырех лошадей, снял с них шкуры и отправился в город продавать.

– Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! – кричал он по улицам.

Все сапожники и кожевники сбегались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры.

– Четверик денег за штуку! – отвечал Большой Клаус.

– Да ты в уме? – возмутились покупатели. – У нас деньги не водятся четвериками!

– Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! – кричал он опять и всем, кто спрашивал, почему у него шкуры, отвечал: – Четверик денег за штуку!

– Да он нас дурачить вздумал! – закричали сапожники и кожевники, и вот одни схватили свои ремни, другие свои кожаные передники и

принялись хлестать ими Большого Клауса.

– «Шкуры! Шкуры!» – передразнивали они его. – Вот мы покажем тебе шкуры! Вон из города!

И Большой Клаус давай бог ноги! Сроду еще его так не колотили!

– Ну, – сказал он, добравшись до дому, – поплатится же мне за это Маленький Клаус! Убью его!

А у Маленького Клауса умерла старая бабушка; она не очень-то ладила с ним, была злая и жадная, но он все-таки очень жалел ее и положил на ночь в свою теплую постель – авось отогреется и оживет, – а сам уселся в углу на стуле: ему не впервой было так ночевать.

Ночью дверь отворилась, и вошел Большой Клаус с топором в руках. Он знал, где стоит кровать Маленького Клауса, подошел к ней и ударил мертвую бабушку по голове, думая, что это Маленький Клаус.

– Вот тебе! Не будешь больше меня дурачить! – сказал Большой Клаус и пошел домой.

– Вот злодей! – сказал Маленький Клаус. – Это он меня хотел убить! Хорошо, что бабушка-то была мертвая, а то бы ей не поздоровилось!

Потом он одел бабушку в праздничное платье, попросил у соседа лошадь, запряг ее в тележку, хорошенько усадил старуху на заднюю скамейку так, чтобы она не свалилась, когда поедут, и покатыл с ней через лес. Когда солнышко встало, они подъехали к большому постоялому двору. Маленький Клаус остановился и пошел спросить себе чего-нибудь закусить.

У хозяина постоялого двора было много-много денег, и сам он был человек очень добрый, но такой горячий, точно весь начинен перцем и табаком.

– Здравствуй! – сказал он Маленькому Клаусу. – Чего это ты нынче спозаранку расфрантился?

– Да вот, – отвечал Маленький Клаус, – надо с бабушкой в город съездить; она осталась там, в тележке, – ни за что не хочет вылезать. Пожалуйста, отнесите ей туда стаканчик меду. Только говорите с ней погромче, она глуховата!

– Ладно! – согласился хозяин, взял большой стакан меду и понес старухе.

– Вот, внучек прислал вам стаканчик медку! – сказал хозяин, подойдя к тележке, но старуха не ответила ни слова и даже не шевельнулась.

– Слышите? – закричал хозяин во все горло. – Ваш внук посылает вам стакан меду!

Еще раз прокричал он то же самое и еще раз, а она все не шевелилась; тогда он рассердился и запустил ей стаканом прямо в лицо, так что мед потек у нее по носу, а сама она опрокинулась навзничь, потому что Маленький Клаус только посадил ее на скамейку, но не привязывал.

– Что ты наделал? – завопил Маленький Клаус, выскочил из дверей и схватил хозяина за ворот. – Ты убил мою бабушку! Погляди, какая у нее дыра во лбу!

– Вот беда-то! – заохал хозяин, всплеснув руками. – И все это из-за моей горячности! Маленький Клаус, друг ты мой, я тебе целый четверик денег дам и бабушку твою похороню, как свою собственную, только молчи об этом, не то мне отрубят голову, а ведь это ужасно неприятно!

И вот Маленький Клаус получил целый четверик денег, а хозяин схоронил его старую бабушку, точно свою собственную.

Маленький Клаус вернулся домой опять с целой кучей денег и сейчас же послал к Большому Клаусу мальчика попросить меру.

– Как так? – удивился Большой Клаус. – Разве я не убил его? Надо посмотреть самому!

И он сам понес меру Маленькому Клаусу.

– Откуда это у тебя такая куча денег? – спросил он и просто глаза вытаращил от удивления.

– Ты убил-то не меня, а мою бабушку, – сказал Маленький Клаус, – и я ее продал за четверик денег!

– С барышом продал! – сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку, потом положил ее в тележку, приехал с ней в город к аптекарю и предложил ему купить мертвого человека.

– Кто это и где вы его взяли? – спросил аптекарь.

– Это моя бабушка! – ответил Большой Клаус. – Я убил ее, чтобы продать за четверик денег!

– Господи помилуй! – воскликнул аптекарь. – Вы сами не знаете, что говорите! Смотрите, ведь это может стоить вам головы!

И он растолковал Большому Клаусу, что он такое наделал, какой он дурной человек и как его за это накажут. Большой Клаус перепугался, опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, стегнул по лошадям и помчался домой. Аптекарь и весь народ подумали, что он сумасшедший, и потому не стали его ловить.

– Поплатишься же ты мне за это, поплатишься, Маленький Клаус! – сказал Большой Клаус, выехав на дорогу, и, как только добрался до дому, взял большущий мешок, пошел к Маленькому Клаусу и сказал:

– Ты опять одурачил меня? Сперва я убил своих лошадей, а теперь и бабушку! Все это по твоей милости! Но уж больше тебе не дурачить меня!

И вот он схватил Маленького Клауса и засунул в мешок, завязал его, вскинул на спину и закричал:

– Пойду да утоплю тебя!

До реки было не близко, и Большому Клаусу тяжеленько стало тащить Маленького. Дорога шла мимо церкви, оттуда слышались звуки органа и чудное пение. Большой Клаус поставил мешок с Маленьким Клаусом у самых церковных дверей и подумал, что не худо бы зайти в церковь, прослушать псалом, а потом уж идти дальше. Маленький Клаус не мог ведь вылезти из мешка сам, а весь народ был в церкви. И вот Большой Клаус зашел в церковь.

– Ох, ох! – вздыхал Маленький Клаус, ворочаясь в мешке, но, как он ни старался, развязать мешок ему не удавалось.

В это самое время мимо проходил старый, седой как лунь пастух с большой клюкой в руках; он погонял ею стадо. Коровы и быки набежали на мешок с Маленьким Клаусом и повалили его.

– О-ох! – вздохнул Маленький Клаус. – Такой я молодой еще, а уж должен отправляться в Царство Небесное!

– А я, бедняга, такой старик и все не могу попасть туда! – сказал пастух.

– Так развяжи мешок, – закричал Маленький Клаус. – Полежай на мое место и живо попадешь туда!

– С удовольствием! – сказал пастух и развязал мешок, а Маленький Клаус мигом выскочил оттуда.

– Теперь тебе смотреть за стадом! – сказал старик и влез в мешок. Маленький Клаус завязал его и погнал себе стадо дальше.

Немного погодя вышел из церкви Большой Клаус, взвалил мешок на спину, и ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче, – Маленький Клаус весил ведь чуть не вдвое больше против старика пастуха.

«Ишь как теперь легко стало! А все оттого, что я побывал в церкви!» – подумал Большой Клаус, дошел до широкой и глубокой реки, бросил туда мешок с пастухом и, думая, что там сидит Маленький Клаус, закричал:

– Ну вот, вперед не будешь меня дурачить!

После этого он отправился домой, но у самого перекрестка встретил Маленького Клауса с целым стадом!

– Вот тебе раз! – сказал Большой Клаус. – Разве я не утопил тебя?

– Конечно! – сказал Маленький Клаус. – Полчаса тому назад ты бросил меня в реку!

– Так откуда же ты взял такое чудесное стадо? – спросил Большой Клаус.

– Это водяное стадо! – ответил Маленький Клаус. – Вот послушай, сейчас я тебе расскажу, как все было. Спасибо тебе, что ты утопил меня, теперь я разбогател, как видишь! А страшно мне было в мешке! Ветер так и засвистал у меня в ушах, когда ты бросил меня с моста в холодную воду! Я сразу пошел ко дну, но не ушибся – там внизу растет такая нежная, мягкая травка, на нее я и упал. Мешок сейчас же развязался, и прелестнейшая девушка в белом как снег платье, с венком из зелени на мокрых волосах, протянула мне руку и сказала: «А, это ты, Маленький Клаус? Ну вот, прежде всего бери это стадо, а в миле отсюда на дороге пасется другое, побольше, – ступай, я тебе его дарю».

Тут я увидел, что река была для водяных жителей все равно что дорога: они ездили и ходили по дну от самого озера и до того места, где реке конец. Ах, как там было хорошо! Какие цветы, какая свежая трава! А рыбки шныряли мимо моих ушей точь-в-точь как у нас здесь птицы! Что за красивые люди попадались мне навстречу и какие чудесные стада паслись у изгородей и канав!

– Зачем же ты так скоро вернулся? – спросил Большой Клаус. – Уж меня бы не выманили оттуда, если там так хорошо!



– Я ведь это неспроста сделал! – сказал Маленький Клаус. – Ты слышал, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, которое пасется на дороге всего в одной версте оттуда? Дорогой она называет реку – другой дороги они ведь там не знают, – а река так петляет, что мне пришлось бы задать здоровый крюк. Вот я и решил выйти на сушу да пойти напрямик к тому месту, где ждет мое стадо, так я выгадаю почти полмили пути!

– Экий счастливец! – сказал Большой Клаус. – А как ты думаешь, получу я стадо, если спущусь на дно?

– Конечно! – сказал Маленький Клаус. – Только я не могу тащить тебя в мешке до реки, ты больно тяжелый. А вот, коли хочешь, дойди сам да влезь у мешок, а я с удовольствием тебя сброшу в воду!

– Спасибо! – сказал Большой Клаус. – Но если я не получу там стада, я тебя избыю, так и знай!

– Ну-ну, не сердись! – сказал Маленький Клаус, и они пошли к реке. Когда стадо увидело воду, оно так и бросилось к ней: коровам очень хотелось пить.

– Погляди, как они торопятся! – сказал Маленький Клаус. – Ишь, как соскучились по воде, домой, на дно, знать, захотелось!

– Да, да! Ты вот помоги-ка мне лучше, а не то я тебя избыю! – сказал Большой Клаус и влез в большой мешок, который лежал на спине у одного из быков. – Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну!

– Пойдешь! – сказал Маленький Клаус, но все-таки положил в мешок большой камень, крепко завязал мешок и толкнул его в воду.

Бултых! И Большой Клаус пошел прямо ко дну.

– Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков! – сказал Маленький Клаус и погнал свое стадо домой.

## **Принцесса на горошине**

Жил был принц, и хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то было сколько угодно, но были ли они настоящие, он никак не мог дознаться. Так и вернулся он домой ни с чем и очень горевал – уж больно хотелось ему найти настоящую принцессу.

Раз вечером разыгралась непогода: молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил как из ведра, ужас что такое!

Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса!

«Ну, уж это мы узнаем!» – подумала старая королева, но не сказала ни слова, пошла в спальню, сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину; поверх горошины постлала двадцать тюфяков, а еще сверху двадцать пуховиков.



На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром ее спросили, как она почивала.

— Ах, очень дурно! — сказала принцесса. — Я почти глаз не сомкнула! Бог знает что у меня была за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!

Тут-то все и увидали, что она была настоящею принцессой! Она почувствовала горошину через сорок тюфяков и пуховиков — такую деликатною особой могла быть только настоящая принцесса.

И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только никто ее не украл.

Да, вот какая была история!

1835

**Цветы маленькой Иды**



Бедные мои цветочки совсем завяли! – сказала маленькая Ида. – Вчера вечером они были такие красивые, а теперь совсем повесили головки! Отчего это? – спросила она студента, сидевшего на диване.

Она очень любила этого студента – он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезать презабавные фигурки: сердечки с крошками танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой весельчак был этот студент!

– Что же с ними? – спросила она опять и показала ему свой завядший букет.

– Знаешь что? – сказал студент. – Цветы были сегодня ночью на балу, вот и повесили теперь головки!

– Да ведь цветы не танцуют! – сказала маленькая Ида.

– Танцуют! – отвечал студент. – По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают – просто чудо!

– А детям нельзя прийти к ним на бал?

– Отчего же, – сказал студент, – ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.

– А где танцуют самые красивые цветы? – спросила Ида.

– Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором живет король и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы!

– Я еще вчера была там с мамой, – сказала маленькая Ида, – но на деревьях нет больше листьев, и во всем саду ни одного цветка! Куда они все девались? Их столько было летом!

– Они все во дворце! – сказал студент. – Надо тебе сказать, что как только король и придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон – это король с королевой. Красные петушки гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются – это камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Голубые фиалки изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями – гиацинтами и крокусами, а тюльпаны и большие желтые лилии – это пожилые дамы, они смотрят, чтобы танцевали прилично и вообще вели себя чинно.

– А цветочкам не может достаться за то, что они танцуют в королевском дворце? – спросила маленькая Ида.

– Да ведь никто же не знает об этом! – сказал студент. – Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик смотритель с большою связкою ключей в руках, но цветы, как только слышат звяканье ключей, сейчас присмиреют, спрячутся за длинные занавески, что висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазком. «Тут что-то пахнет цветами!» – бормочет старик смотритель, а видеть ничего не видит.

– Вот забавно! – сказала маленькая Ида и даже в ладоши захлопала. – И я тоже не могу их увидеть?

– Можешь, – сказал студент. – Стоит только, как опять пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию; она лежала и потягивалась на диване – воображала себя придворной дамой.

– А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это далеко!

– Не бойся, – сказал студент, – они могут летать, если захотят! Ты видела красивых красных, желтых и белых бабочек, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветами, только соскочили со своих стебельков, забили в воздухе лепесточками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, за то и получили позволение летать и днем; другие должны сидеть смирно на своих стебельках, а они летают, и лепестки их стали наконец настоящими крылышками. Ты сама видела их! А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в королевском дворце! Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе! то-то удивится потом профессор ботаники – который живет тут рядом! Когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце. Тот расскажет об этом остальным, и они все упорхнут. Профессор придет в сад, а там ни единого цветочка, и он в толк не возьмет, куда они девались!

– Да как же цветок расскажет другим? У цветов нет языка!

– Конечно, нет, – сказал студент, – зато они умеют объясняться пантомимой! Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листочками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит – точно они разговаривают.

– А профессор понимает их пантомиму? – спросила маленькая Ида.

– Как же! Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздике; этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, и я очень люблю тебя!» Профессору это не понравилось, и он сейчас ударил крапиву по листочкам, – листочки у нее все равно что пальцы, – да обжегся! С тех пор и не смеет трогать крапиву.

– Вот забавно! – сказала Ида и засмеялась.

– Ну, можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? – сказал скучный советник, который тоже пришел в гости и сидел на диване.



Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезывал затейливые и забавные фигурки, вроде человека на виселице и с сердцем в руках – его повесили за то, что он воровал сердца, – или старой ведьмы на помеле, с мушкой на носу. Все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:

– Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Но Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.

«Так цветочки повесили головки потому, что устали после бала!» И маленькая Ида пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки;

ящик столика тоже битком был набит разным добром. Кукла Софи лежала в своей кроватке и спала, но Ида сказала ей:

– Тебе придется встать, Софи, и полежать эту ночь в ящике; бедные цветы больны, их надо положить в твою постельку, – может быть, они и выздоровеют!

И она вынула куклу из кровати. Софи посмотрела на Иду очень недовольно и не сказала ни слова, – она рассердилась за то, что у нее отняли постель.

Ида уложила цветы в постельку, укрыла их хорошенько одеяльцем и велела им лежать смирно, за это она обещала напоить их чаем, и тогда они встали бы завтра утром совсем здоровыми! Потом она задернула полог, чтобы солнышко не светило цветочкам в глаза.

Рассказ студента не шел у нее из головы, и, собираясь идти спать, маленькая Ида не могла удержаться, чтобы не заглянуть за спущенные на ночь оконные занавески; на окошках стояли чудесные мамины цветы – тюльпаны и гиацинты, и маленькая Ида шепнула им:

– Я знаю, что у вас ночью будет бал!

Цветы стояли себе как ни в чем не бывало и даже не шелохнулись, ну да маленькая Ида что знала, то знала.

В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют! «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» – подумала она и заснула.

Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась; она видела сейчас во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот набивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.

«Хотелось бы мне знать: спят ли мои цветы в кукольной постельке?» – сказала маленькая Ида про себя и слегка приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы; потом она прислушалась, – ей показалось, что в той комнате играют на фортепьяно, да так тихо и нежно, как она никогда еще не слыхала.

– Это, верно, цветы танцуют! – сказала Ида. – Господи, как бы мне хотелось посмотреть!

Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папу с мамой.

– Хоть бы цветы вошли сюда! – сказала она.



Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо! Тогда маленькая Ида не выдержала, потихоньку вылезла из кровати, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. Что за прелесть была там!

В той комнате не горело ночника, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты; на окнах не осталось ни единого цветка – там стояли одни горшки с землей. Цветы очень мило танцевали друг с другом: они то становились в круг, то кружились парами, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки. На фортепьяно играла большая желтая лилия – это, наверное, ее маленькая Ида видела летом! Она хорошо помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа на фрекен Лину!» Все посмеялись тогда над ним, но теперь Иде и в самом деле показалось, что длинная желтая лилия похожа на Лину; она и на рояле играла так же, как Лина: поворачивала свое продолговатое лицо то в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды.

Вдруг маленькая Ида увидела, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кровати и отдернул полог; там лежали больные цветы, но они живо встали и кивнули головками, давая знать, что и они тоже хотят танцевать. Старый Курилка со сломанной нижней челюстью встал и поклонился прекрасным цветам; они совсем не были похожи на больных – прыгнули со стола и принялись веселиться вместе со всеми.

В эту минуту где-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону – это была масленичная верба: она тоже прыгнула со стола к цветам, считая, что она им сродни. Вербка была довольно мила; ее украшали бумажные цветы, а на верхушке ее сидела восковая куколка в широкополой черной шляпе, точь-в-точь как у советника. Вербка прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя деревянными ходульками, – она танцевала мазурку, а другие цветы не умели плясать мазурку, потому что были слишком легки и не могли так топать.

Но вот восковая куколка на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:

– Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Теперь кукла была точь-в-точь сам советник, в его черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая! Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съежилась в маленькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.

Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно – вытягивался ли он во всю длину, или оставался маленькою восковою куколкой в черной широкополой шляпе. Наконец уж цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и верба оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Софи и другие игрушки. Курилка побежал по краю стола, лег на живот и приотворил ящик. Софи встала и удивленно огляделась.

– У вас бал? – проговорила она. – Что же это вы мне не сказали?

– Хочешь танцевать со мной? – спросил Курилка.

– Хорош кавалер! – сказала Софи и повернулась к нему спиной; потом уселась на ящик и стала ждать – авось ее пригласит кто-нибудь из цветов, но никто и не думал. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один, и очень недурно!

Видя, что цветы и не глядят на нее, Софи вдруг свалилась с ящика на пол и наделала такого шума, что все сбегались к ней и стали спрашивать, не ушиблась ли она? Все разговаривали с нею очень ласково, особенно те цветы, которые только что спали в ее кровати; Софи нисколько не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней, а другие цветы кружились около них. Теперь Софи была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кровать, – ей хорошо в ящике!

– Спасибо! – сказали цветы. – Но мы не можем жить так долго! Утром мы совсем умрем! Скажи только маленькой Иде, чтобы она схоронила нас в саду, где зарыта канарейка; летом мы опять вырастем и будем еще красивее!

– Нет, вы не должны умирать! – сказала Софи и поцеловала цветы. В это время дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа цветов. Ида никак не могла понять, откуда они взялись, – должно быть, из королевского дворца. Впереди всех шли две прелестные розы с

маленькими золотыми коронами на головах – это были король с королевой. За ними, раскланиваясь на все стороны, шли чудесные левкои и гвоздики. Музыканты – крупные маки и пионы – дули в пустые стручки от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали – и голубые фиалки, и оранжевые ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье!

Наконец цветы пожелали друг другу спокойной ночи, а маленькая Ида тихонько пробралась в свою кровать, и ей всю ночь снились цветы и все, что она видела.

Утром она встала и побежала к своему столику посмотреть, там ли ее цветочки.

Она отдернула полог – да, они лежали в кроватке, но совсем, совсем завяли! Софи тоже лежала на своем месте в ящике и казалась ужасно сонной.

– А ты помнишь, что тебе надо передать мне? – спросила ее Ида.

Но Софи глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.

– Какая же ты нехорошая! – сказала Ида. – А они еще танцевали с тобой!

Потом она взяла картонную коробочку с хорошенькою нарисованною птичкой на крышке, раскрыла ее и положила туда мертвые цветы.

– Вот вам и гробик! – сказала она. – А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы на будущее лето вы выросли еще красивее!

Йонас и Адольф, норвежские кузены, были бойкие мальчуганы; отец подарил им по новому луку, и они пришли показать их Иде. Она рассказала им про бедные цветы, которые умерли, и позволила похоронить их. Мальчики шли впереди с луками на плечах; за ними маленькая Ида с мертвыми цветами в коробочке. Вырыли в саду могилку. Ида поцеловала цветы и опустила коробочку в ямку, а Йонас с Адольфом выстрелили над могилкой из луков – ни ружей, ни пушек у них ведь не было.

## Дюймовочка



Жила-была женщина; ей страх как хотелось иметь ребеночка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:

– Мне так хочется иметь ребеночка; не скажешь ли ты, где мне его взять?

– Отчего же! – сказала колдунья. – Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что растут у крестьян на полях или что бросают курам; посади-ка его в цветочный горшок – увидишь, что будет!

– Спасибо! – сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были еще плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

– Какой славный цветок! – сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.

Тогда что-то щелкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом ступеньке сидела крошечная девочка, и за то, что она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, ее прозвали Дюймовочкой.

Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки – матрацем, а лепесток розы – одеяльцем; в эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем Дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую; вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть как мило! Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоса никто еще не слыхивал!

Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепесточком Дюймовочка.

– Вот жена моему сынку! – сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Там протекала большая, широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог он сказать, когда увидал прелестную крошку в ореховой скорлупке.

– Тише ты! Она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас, – сказала старуха жаба. – Она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка ее посредине реки на широкий лист кувшинки – это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит, а мы пока разуберем там, внизу, наше гнездышко, и заживете вы в нем на славу.

В реке росло множество кувшинок; их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой.

Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!

А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала свое жильё тростником и желтыми кувшинками – надо же было приукрасить все для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела Дюймовочка, чтобы взять прежде всего ее хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:

– Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживете с ним у нас в тине.

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог сказать сынок.

Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинешенька на зеленом листе и горько-горько плакала – ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше... Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!

Дюймовочка плыла по реке все дальше и дальше, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели:

– Какая хорошенькая девочка!

А листок все плыл да плыл, и вот Дюймовочка попала за границу. Красивый белый мотылек все время порхал вокруг нее и наконец уселся на самый листок – уж очень ему понравилась Дюймовочка! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее.



Мимо летел майский жук, увидел девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый листок поплыл дальше, и с ним мотылек – он ведь был привязан и не мог освободиться.

Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево! Особенно ей жаль было хорошенького мотылька, которого она привязала к листку; ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало.

Он уселся с крошкой на самый большой зеленый лист, напоил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука.

Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни пожимали щупальцами и говорили:

– У нее только две ножки! Жалко смотреть!

– У нее нет щупальцев!

– Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем как человек! Как некрасиво! – сказали в один голос все жучки женского пола.

А Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принес ее, она тоже очень понравилась сначала, а тут вдруг и он нашел, что она безобразна, и не захотел больше держать ее у себя – пускай идет, куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная: даже майские жуки не захотели держать ее у себя! А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием в свете: нежная, ясная, точно лепесток розы.

Целое лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист – там дождик не мог достать ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошли лето и осень; но вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Все певуны птички разлетелись – кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мерзла от холода: платье ее все разорвалось, а она была такая маленькая, нежная – долго ли тут замерзнуть! Пошел снег, и каждая снежинка была для нее то же, что для нас целая лопата снега; мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм! Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист.



Возле леса, куда она попала, лежало большое поле; хлеб давно был убран, одни голые, сухие стебельки торчали из мерзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес. Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши; дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: все помещение было битком набито хлебными зернами, кухня и кладовая у нее были на загляденье! Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна – она два дня ничего не ела!

– Ах ты, бедняжка! – сказала полевая мышь: она была, в сущности, добрая старуха. – Ступай сюда, погрейся да поешь со мною!

Девочка понравилась мыши, и мышь сказала:

– Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки – я до них большая охотница.

И Дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и зажила отлично.



– Скоро, пожалуй, у нас будут гости, – сказала как-то полевая мышь. – Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет куда лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубе. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя; зато ты должна рассказать ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.

Но девочке мало было дела до всего этого: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа – ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубу, был очень богат и учен; по словам полевой мыши, помещение у него было в двадцать раз просторнее, чем у нее, но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветочков и отзывался о них очень дурно – он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она

спела две песенки: «Майский жук, лети, лети» и «Бродит по лугам монах», да так мило, что крот совсем в нее влюбился. Но он не сказал ни слова – он был такой степенный и солидный господин.

Крот недавно прорыл под землей новую длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и ее закопали как раз там, где крот прорыл свою галерею.

Крот взял в рот гнилушку – в темноте это ведь все равно что свечка – и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробрался дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка; хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу, ножки и головка спрятаны в перышки; бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль ее, она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но крот толкнул птичку своими короткими лапами и сказал:

– Небось не свистит больше! Вот горькая участь родиться пичужкой! Слава богу, что моим детям нечего бояться этого! Этакая птичка только и умеет чирикать – поневоле замерзнешь зимой!

– Да, да, правда ваша, – сказала полевая мышь. – Какой прок от этого чириканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой? Много, нечего сказать!

Дюймовочка не сказала ничего, но, когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, эта самая ласточка, которая так чудесно распевала летом! – подумала девочка. – Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!»

Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинков большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку; потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле.

– Прощай, миленькая птичка, – сказала Дюймовочка. – Прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело!

И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась – внутри что-то застучало. Это забилося сердечко птицы: она была не совсем мертвая, а только окоченела от холода, теперь же согрелась и ожила.

Осенью ласточки улетают в теплые края, а если которая запоздает, то от холода окоченеет, упадет замертво на землю, и ее засыплет холодным снегом.

Девочка вся задрожала от испуга – птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном, – но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала принесла листок мяты, которым покрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уже ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках, – другого фонаря у нее не было.

– Благодарю тебя, милая крошка! – сказала больная ласточка. – Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

– Ах, – сказала девочка, – теперь так холодно, идет снег! Останься лучше в своей теплой постельке, я буду ухаживать за тобой.

И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крылышко о терновый куст и потому не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края, как упала на землю и... Да больше она уж ничего не помнила и как попала сюда – не знала.

Всю зиму прожила тут ласточка, и Дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом – они ведь совсем не любили птичек. Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Дюймовочка открыла дыру, которую проделал крот.

Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней, – пускай сядет к ней на спину, и они

полетят в зеленый лес! Но Дюймовочка не хотела так бросить полевую мышь – она ведь знала, что старуха очень огорчится.

– Нет, нельзя! – сказала девочка ласточке.

– Прощай, прощай, милая крошка! – сказала ласточка и вылетела на солнышко.

Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах – уж очень полюбила ее бедная птичка.

– Кви-вить, кви-вить! – прощбетала птичка и скрылась в зеленом лесу.

Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом.

– Летом тебе придется готовить себе приданое! – сказала ей полевая мышь.

Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку.

– Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чем нуждаться не будешь!

И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха мышь наняла четырех пауков для тканья, и они работали день и ночь.

Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и все толковал о том, что вот скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю, – а то она совсем уж как камень стала, – и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада: ей не нравился скучный крот. Каждое утро на восходе солнышка и каждый вечер при закате Дюймовочка выходила на порог мышиной норки; иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло, как хорошо там, на воле!» – думала девочка и вспоминала о ласточке; ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно: должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зеленом лесу!

К осени Дюймовочка приготовила все свое приданое.

– Через месяц твоя свадьба! – сказала девочке полевая мышь.

Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

– Пустяки! – сказала старуха мышь, – Только не капризничай, а то возьму да укушу тебя белым зубом. У тебя будет чудеснейший муж. У

самой королевы нет такой черной бархатной шубки, как у него! Да и в кухне и в погребе у него не пусто! Благодарю Бога за такого мужа!

Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним в его нору, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не выходить на солнышко – крот ведь терпеть его не мог! А бедной крошке было так тяжело навсегда распрощаться с красным солнышком! У полевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него.

И Дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки:

– Прощай, ясное солнышко, прощай!

Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему:

– Кланяйся от меня милой ласточке, если увидишь ее!

– Кви-вить, кви-вить! – вдруг раздалось над ее головой.

Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за гадкого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко.

– Скоро придет холодная зима, – сказала ласточка, – и я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину – только привяжи себя покрепче поясом, – и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, за высокие горы, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.

– Да, да, я полечу с тобой! – сказала Дюймовочка, села птичке на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и крепко привязала себя поясом к самому большому перу.

Ласточка взвилась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было страсть как холодно; Дюймовочка вся зарылась в мягкие перья ласточки и только одну головку высунула, чтобы видеть чудесные места, над которыми она пролетала.

Но вот и теплые края! Тут солнце сияло уже гораздо ярче, небо стояло выше, а около канав и изгородей вился чудесный зеленый и черный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребяташки и ловили больших пестрых бабочек.

Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу чудесного голубого озера, посреди зеленых кудрявых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнезда. В одном из них и жила ласточка, которая принесла Дюймовочку.

– Вот мой дом! – сказала ласточка. – А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок, я тебя посажу в него и ты заживешь как нельзя лучше!

– Ах, как чудесно! – сказала крошка и захлопала ручонками.

Внизу лежали большие куски мрамора – это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска, а между ними росли чудеснейшие крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла прелестная золотая корона, за плечами развевались блестящие крылышки, а сам он был не больше Дюймовочки.

Это был эльф. В каждом цветке живет эльф или эльфа, а тот, который сидел рядом с Дюймовочкой, был сам король эльфов.

– Ах, как он хорош! – шепнула Дюймовочка ласточке.

Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему огромным страшилищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку, – он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки! И он снял свою золотую корону, надел ее Дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут и хочет ли она быть его женой, царицей цветов? Вот это так муж! Не то что гадкий сын жабы или крот в бархатной шубе! И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльф или эльфа – такие хорошенькие, что просто прелесть! Все они поднесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже

могла теперь летать с цветка на цветок! То-то было радости! А ласточка сидела наверху в своем гнездышке и пела им, как только умела. Но самой ей было очень грустно: она ведь крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней.

– Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! – сказал эльф. – Это гадкое имя, а ты такая хорошенькая! Мы будем звать тебя Майей!

– Прощай, прощай! – прощеветала ласточка и опять полетела из теплых краев в далекую Данию. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое «кви-вить», от нее-то мы и узнали эту историю.



## Нехороший мальчик

Жил-был старый поэт, такой настоящий хороший старый поэт. Раз вечером сидел он дома, а на дворе разыгралась ужасная непогода. Дождь лил как из ведра, но старому поэту было так уютно и тепло возле печки, где ярко горел огонь и, весело шипя, пеклись яблоки.

– Бедные те, кто мокнет сейчас под дождем, – сухой нитки на них не останется! – сказал он, потому что он был очень добрый поэт.

– Впустите, впустите меня! Я озяб и весь промок! – закричал за дверями ребенок.



Он плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, ветер так и бился в окошки.

– Бедняжка! – сказал старый поэт и пошел отворять двери.

За дверями стоял маленький мальчик, совсем голенький. С его длинных золотистых волос стекала вода, он дрожал от холода; если бы его не впустили, он бы, наверное, не вынес такой непогоды.

– Бедняжка! – сказал старый поэт и взял его за руку. – Пойдем ко мне, я обогрею тебя, дам тебе винца и яблоко; ты такой хорошенький

мальчуган!

Он и в самом деле был прехорошенький: глазенки у него сияли как две звездочки, а мокрые золотистые волосы вились кудрями — ну совсем ангелочек! — только он весь посинел от холода и дрожал как осиновый лист. В руках у него был чудесный лук; да вот беда — он весь испортился от дождя, краски на длинных стрелах совсем полиняли.

Старый поэт уселся возле печки, взял малютку на колени, выжал его мокрые кудри, согрел ручонки в своих руках и вскипятил ему сладкого вина. Мальчик оправился, щечки у него зарумянились, он спрыгнул на пол и стал плясать вокруг старого поэта.

— Ишь ты, какой веселый мальчуган! — сказал старик поэт. — А как тебя зовут?

— Амур! — отвечал мальчик. — Ты разве не знаешь меня? Вот и лук мой. Я умею стрелять! Посмотри, погода разгулялась, месяц светит.

— А лук-то твой испортился! — сказал старый поэт.

— Вот было бы горе! — сказал мальчуган, взял лук и стал его осматривать. — Он совсем высох, и ему ничего не сделалось! Тетива натянута как следует! Сейчас я его попробую.

И он натянул лук, положил стрелу, прицелился и выстрелил старику поэту прямо в сердце!

— Вот видишь, мой лук совсем не испорчен! — закричал он, громко засмеялся и убежал.

— Нехороший мальчик! Выстрелить в старого поэта, который впустил его к себе, обогрел и приласкал, дал ему чудесного вина и самое лучшее яблоко!

Добрый старик лежал на полу и плакал; он был ранен в самое сердце. Потом он сказал:

— Фи, какой нехороший мальчик этот Амур! Я расскажу о нем всем хорошим детям, чтобы они береглись, не связывались с ним, — он и их обидит.

И все хорошие дети — и мальчики и девочки — стали остерегаться злого Амура, но он все-таки умеет иногда обмануть их: такой плут!

Идут себе студенты с лекций, и он рядом; книжка под мышкой, в черном сюртуке, и не узнаешь его! Они думают, что он тоже студент, возьмут его под руку, а он и пустит им в грудь стрелу.

Идут тоже девушки от священника или в церковь — он уже тут как тут; вечно он преследует людей! А то заберется иногда в большую

люстру в театре и горит там ярким пламенем; люди-то думают сначала, что это лампа, и уж потом только разберут в чем дело. Бегают он и по королевскому саду, и по крепостному валу! А раз так он ранил в сердце твоих родителей! Спроси-ка у них, они тебе расскажут. Да, злой мальчик этот Амур, никогда не связывайся с ним! Он только и делает, что бегают за людьми. Подумай, раз он пустил стрелу даже в твою старую бабушку! Было это давно, давно прошло и быльем поросло, а все-таки не забылось, да и не забудется никогда! Фи! Злой Амур! Но теперь ты знаешь о нем, знаешь, какой он нехороший мальчик!

1835

### Дорожный товарищ



Бедняга Йоханнес был в большом горе; отец его лежал при смерти. Они были одни в своей каморке; лампа на столе догорала; дело шло к ночи.

— Ты был мне добрым сыном, Йоханнес! — сказал больной. — Бог не оставит тебя своей милостью!

И он ласково и серьезно взглянул на Йоханнеса, глубоко вздохнул и умер, точно заснул. Йоханнес заплакал. Теперь он остался крупным сиротой: ни отца у него, ни матери, ни сестер, ни братьев! Бедняга Йоханнес! Долго стоял он на коленях перед кроватью и целовал руки умершего, заливаясь горькими слезами, но потом глаза его закрылись, голова склонилась на край постели, и он заснул.

И приснился ему удивительный сон.

Он видел, что солнце и месяц преклонились перед ним, видел своего отца опять свежим и бодрым, слышал его смех, каким он всегда смеялся, когда был особенно весел; прелестная девушка с золотой короной на чудных длинных волосах протягивала Йоханнесу руку, а отец его говорил: «Видишь, какая у тебя невеста? Первая красавица на свете!»

Тут Йоханнес проснулся, и – прощай все это великолепие! Отец его лежал мертвый, холодный, и никого, никого не было у Йоханнеса! Бедняга Йоханнес!

Через неделю умершего хоронили; Йоханнес шел за гробом. Не видать ему больше своего доброго отца, который так любил его! Йоханнес слышал, как ударялась о крышку гроба земля, видел, как гроб засыпали все больше и больше; вот уж виден только один краешек, но еще горсть земли – и гроб скрылся совсем. У Йоханнеса чуть сердце не разорвалось от горя. Над могилой пели псалмы: чудное пение растрогало Йоханнеса до слез, он заплакал, и на душе у него стало полегче. Солнышко так приветливо сияло на зеленые деревья, как будто говорило: «Не тужи, Йоханнес! Посмотри, как красиво голубое небо – там твой отец молится за тебя!»

– Я буду жить праведно и честно! – сказал Йоханнес. – И тогда тоже попаду на небо к отцу. Вот будет радость, когда мы опять свидимся! Сколько у меня будет рассказов! А он покажет мне все чудеса и красоту неба и опять будет учить меня, как учил, бывало, здесь, на земле. Вот будет радость!

И он так живо представил себе все это, что даже улыбнулся сквозь слезы. Птички, сидевшие на ветвях каштанов, громко чирикали и пели; им было весело, хотя они только что присутствовали при погребении, но они ведь знали, что умерший теперь на небе, что у него выросли крылья, куда красивее и больше, чем у них, и что он вполне счастлив, так как вел здесь, на земле, добрую жизнь. Йоханнес

увидел, как птички вспорхнули с зеленых деревьев и полетели вдаль, и ему самому захотелось улететь куда-нибудь подальше. Но сначала он сколотил на могилу отца деревянный крест, а когда вечером он принес его туда, то увидел, что могила вся усыпана песком и убрана цветами, – об этом позаботились посторонние люди, очень любившие доброго его отца.

На другой день рано утром Йоханнес связал все свое добро в маленький узелок, спрятал в пояс все свое наследство – пятьдесят риксдалеров и еще две мелкие серебряные монетки, и был готов пуститься в путь-дорогу. Но прежде он отправился на кладбище, на могилу отца, прочел над ней «Отче наш» и сказал:

– Прощай, милый отец! Я постараюсь всегда быть добрым, а ты помолись за меня на небе!

Потом Йоханнес свернул в поле. В поле росло много свежих, красивых цветов; они грелись на солнце и качали на ветру головками, точно говорили: «Добро пожаловать! Не правда ли, как у нас тут хорошо?» Йоханнес еще раз обернулся, чтобы взглянуть на старую церковь, где его крестили ребенком и куда он ходил по воскресеньям со своим добрым отцом петь псалмы. Высоко-высоко, на самом верху колокольни, в одном из круглых окошечек Йоханнес увидел крошку домового в красной остроконечной шапочке, который стоял, заслонив глаза от солнца правой рукой. Йоханнес поклонился ему, и крошка домовой высоко взмахнул в ответ своей красной шапкой, прижал руку к сердцу и послал Йоханнесу несколько воздушных поцелуев – вот как горячо желал он Йоханнесу счастливого пути и всего хорошего!

Йоханнес стал думать о чудесах, которые ему предстояло увидеть в обширном и прекрасном мире, и бодро шел вперед все дальше и дальше, туда, где он еще никогда не бывал; вот уже пошли чужие города, незнакомые лица, и он очутился далеко-далеко от своей родины.

Первую ночь ему пришлось провести в поле, на стогу сена, – другой постели взять было негде. «Ну и что ж, – думалось ему, – лучшей спальни не найдется у самого короля!» В самом деле, поле с ручейком, стог сена и голубое небо над головой – чем не спальня? Вместо ковра – зеленая травка с красными и белыми цветочками, вместо букетов в вазах – кусты бузины и шиповника, а вместо умывальника – целый ручей с хрустальной свежей водой, над которым кланялись

камышы и желали ему доброй ночи и доброго утра. Высоко под голубым потолком висел огромный ночник – месяц; уж этот ночник не подожжет полога! И Йоханнес мог заснуть совершенно спокойно. Так он и сделал, крепко проспал всю ночь и проснулся только, когда солнце уже сияло, а птицы пели:

– Здравствуй! Здравствуй! Ты еще не встал?

Колокола звонили к обедне, было воскресенье; народ шел в церковь; пошел за ним и Йоханнес, пропел псалом, послушал слова Божьего, и ему показалось, что он был в своей родной церкви, где его крестили и где он пел псалмы с отцом.

На церковном кладбище было много могил, совсем заросших сорной травой. Йоханнес вспомнил о могиле отца, которая могла со временем прийти в такой же вид, – некому ведь было больше ухаживать за ней! Он присел на землю и стал обрывать сорную траву, поправил покачнувшиеся кресты и положил на место сорванные ветром венки, думая при этом: «Может статься, кто-нибудь сделает то же на могиле моего отца теперь, когда я не могу этого сделать сам!»

У ворот кладбища стоял старый калека нищий; Йоханнес отдал ему свои серебряные монеты и, счастливый и довольный, пошел дальше по белу свету.

К вечеру собралась гроза; Йоханнес торопился дойти до дома, где бы он мог укрыться, но скоро наступила полная темнота. Наконец он дошел до часовни, одиноко возвышавшейся на придорожном холме; дверь, к счастью, была приоткрыта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду.

– Тут я и посижу в уголке! – сказал Йоханнес. – Я страшно устал, и мне надо отдохнуть.

И он сел, сложил руки, прочел вечернюю молитву и сам не заметил, как заснул и спал спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром.

В глухую полночь Йоханнес проснулся; гроза уже прошла, и месяц светил прямо в окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Йоханнес несколько не испугался – совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые злые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в

ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего – выбросить его из гроба за порог.

– Зачем вы это делаете? – спросил их Йоханнес. – Это очень дурно и грешно! Оставьте его покоиться с миром!

– Вздор! – сказали злые люди. – Он надул нас! Взял у нас деньги, не заплатил и умер! Теперь мы не получим с него ни гроша; так вот хоть отомстим ему – пусть валяется, как собака, за дверьми!

– У меня всего пятьдесят риксдалеров, – сказал Йоханнес, – это все мое наследство, но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое! Я обойдусь и без денег, у меня есть пара здоровых рук, да и Бог не оставит меня!

– Хорошо, – сказали злодеи, – если ты заплатишь нам за него, мы не сделаем ему ничего дурного, будь спокоен!

И вот они взяли у Йоханнеса деньги, посмеялись над его простотой и пошли своей дорогой, а Йоханнес хорошенько уложил покойника в гроб, скрестил ему руки, простился с ним и с веселым сердцем вновь пустился в путь.

Идти пришлось через лес; между деревьями, освещенными лунным сиянием, резвились прелестные малютки эльфы; они ничуть не пугались Йоханнеса; они хорошо знали, что он добрый, невинный человек, а ведь только злые люди не могут видеть эльфов. Некоторые из малюток были не больше мизинца и расчесывали свои длинные белокурые волосы золотыми гребнями, другие качались на больших каплях росы, лежавших на листьях и стебельках трав; иногда капля скатывалась, а с нею и эльфы, прямо в густую траву, и тогда между остальными малютками подымались такой хохот и возня! Ужасно забавно было! Они пели, и Йоханнес узнал все хорошенькие песенки, которые он певал еще ребенком. Большие пестрые пауки с серебряными коронами на головах должны были перекидывать для эльфов с куста на куст висячие мосты и ткать целые дворцы, которые, если на них попадала капля росы, сверкали при лунном свете чистым хрусталем. Но вот встало солнце, малютки эльфы вскарабкались в чашечки цветов, а ветер подхватил их мосты и дворцы и понес по воздуху, точно простые паутинки.

Йоханнес уже вышел из леса, как вдруг позади него раздался звучный мужской голос:

– Эй, приятель, куда путь держишь?

– Куда глаза глядят! – сказал Йоханнес. – У меня нет ни отца, ни матери, я круглый сирота, но Бог не оставит меня!

– Я тоже иду по белу свету куда глаза глядят, – сказал незнакомец. – Давай будем товарищами!

– Ладно! – сказал Йоханнес, и они пошли вместе.

Скоро они очень полюбились друг другу: оба они были славные люди. Но Йоханнес заметил, что незнакомец был гораздо умнее его, обошел чуть не весь свет и умел порассказать обо всем.

Солнце стояло уже высоко, когда они присели под большим деревом закусить. И тут к ним подошла старая-престарая бабушка, вся сгорбленная, с клюкой в руках; за спиной у нее была вязанка хвороста, а из высоко подоткнутого передника торчали три больших пучка папоротника и ивовых прутьев. Когда старуха поравнялась с Йоханнесом и его товарищем, она вдруг поскользнулась, упала и громко вскрикнула: бедняга сломала себе ногу.

Йоханнес сейчас же предложил товарищу отнести старуху домой, но незнакомец открыл свою котомку, вынул оттуда баночку и сказал старухе, что у него есть такая мазь, которая сразу вылечит ее, и она пойдет домой как ни в чем не бывало. Но за это она должна подарить ему те три пучка, которые у нее в переднике.

– Плата хорошая! – сказала старуха и как-то странно покачала головой. Ей не хотелось расставаться со своими прутьями, но и лежать со сломанной ногой было тоже неприятно, и вот она отдала ему веники, а он сейчас же помазал ей ногу мазью; раз, два – и старушка вскочила и зашагала живее прежнего. Вот так мазь была! Такой не достанешь в аптеке!

– На что тебе эти веники? – спросил Йоханнес у товарища.

– А чем не букеты? – сказал тот. – Они мне очень понравились: я ведь чужак!

Потом они прошли еще добрый конец дороги.

– Смотри, как заволакивает, – сказал Йоханнес, указывая перед собой пальцем. – Какие страшные мрачные тучи!

– Нет, – сказал его товарищ, – это не облака, а горы, чудные, высокие горы, по которым можно добраться до самых облаков. Ах, как там хорошо! Завтра мы будем уже далеко-далеко!

Горы были совсем не так близко, как казалось: Йоханнес с товарищем шли еще целый день, прежде чем добрались до того места,



где начинались темные леса, взбиравшиеся чуть не к самому небу, и лежали каменные громады величиной с город; подняться на горы было не шуткой, и потому Йоханнес с товарищем зашли на постоянный двор, чтобы переночевать и собраться с силами к следующему утру.

В нижнем этаже, в пивной, собралось много народу: там давалось кукольное представление; хозяин марионеток поставил посреди комнаты свой маленький театр, а народ уселся перед ним полукругом, чтобы полюбоваться представлением. Впереди всех, на самом лучшем месте, уселся толстый мясник с большущим бульдогом. У, как свирепо плядел бульдог! Он тоже уселся на полу и таращился на представление.

Представление началось и шло прекрасно: на бархатном троне восседали король с королевой с золотыми коронами на головах и в платьях с длинными-длинными шлейфами – такая роскошь была им по средствам. У всех входов стояли великолепнейшие деревянные куклы со стеклянными глазами и большими усами и распахивали двери, чтобы проветрить комнаты. Словом, представление было чудесное и совсем не печальное; но вот королева встала, и только она прошла несколько шагов, как бог знает что сделалось с бульдогом; хозяин не держал его, он вскочил прямо на сцену, схватил королеву зубами за тоненькую талию и – крак! – перекусил ее пополам. Вот был ужас!

Бедный хозяин марионеток ужасно перепугался и огорчился за бедную королеву – это была самая красивая из всех его кукол, и вдруг гадкий бульдог изуродовал ее! Но вот народ разошелся, и товарищ Йоханнеса сказал, что починит королеву, вынул баночку с той же мазью, которой мазал сломанную ногу старухи, и помазал куклу; кукла сейчас же опять стала целехонька и вдобавок начала сама двигать руками и ногами, так что ее больше не нужно было дергать за веревочки: выходило, что кукла была совсем как живая, только говорить не могла. Хозяин марионеток остался этим очень доволен; теперь ему не нужно было управлять королевой, она могла танцевать сама, не то что другие куклы!

Ночью, когда все люди в гостинице улеглись спать, кто-то вдруг завздыхал, так глубоко и протяжно, что все повставали посмотреть, что и с кем случилось, а хозяин марионеток подошел к своему маленькому театру – вздохи слышались оттуда. Все деревянные куклы,

и король и телохранители, лежали вперемешку, глубоко вздыхали и таращили свои стеклянные глаза; им тоже хотелось, чтобы их помазали, как королеву, – тогда бы и они могли двигаться сами! Королева же встала на колени и протянула свою золотую корону, как бы говоря: «Возьмите ее, только помажьте моего супруга и моих придворных!» Бедняга хозяин не мог удержаться от слез, так ему жаль стало своих кукол, пошел к товарищу Йоханнеса и пообещал отдать ему все деньги, которые соберет за вечернее представление, если тот помажет четыре-пять лучших из его кукол. Товарищ Йоханнеса сказал, что денег он не возьмет, а потребовал у хозяина большую саблю, которая висела у него на боку. Получив ее, он помазал шесть кукол, которые сейчас же заплясали, да так чудесно, что, глядя на них, заплясали и все живые, настоящие девушки, заплясали и кучер, и кухарка, и лакеи, и горничные, все гости и даже кочерга со щипцами; ну, да эти-то двое растянулись с первого же прыжка. Да, веселая выдалась ночь!

На следующее утро Йоханнес и его товарищ ушли из гостиницы, взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись наконец так высоко, что колокольни внизу казались им красненькими ягодками в зелени, и, куда ни оглянешь, видно было на несколько миль кругом. Такой красоты Йоханнес еще не видывал; теплое солнышко ярко светило с голубого прозрачного неба, в горах раздавались звуки охотничьих рогов. Божий мир был так чудно хорош, что у Йоханнеса выступили от радости на глазах слезы, и он не мог не воскликнуть:

– Боже ты мой! Как бы я расцеловал тебя за то, что ты такой добрый и создал для нас весь этот чудесный мир!

Товарищ Йоханнеса тоже стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на леса и города, освещенные солнцем. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение: они подняли головы – в воздухе плыл большой прекрасный белый лебедь и пел, как не петать ни одной птице; но голос его звучал все слабее и слабее, он склонил голову и тихо-тихо опустился на землю: прекрасная птица лежала у ног Йоханнеса и его товарища мертвой!

– Какие чудные крылья! – сказал товарищ Йоханнеса. – Такие большие и белые, цены им нет! Они могут нам пригодиться! Видишь, хорошо, что я взял с собой саблю!

И он одним ударом отрубил у мертвого лебедя оба крыла.

Потом они прошли еще много-много миль и наконец увидели перед собой большой город с сотнями башен, которые блестели на солнце, как серебряные; в середине города стоял великолепный мраморный дворец с крышей из червонного золота; тут жил король.

Йоханнес с товарищем не захотели сейчас же идти осматривать город, а остановились на одном постоялом дворе, чтобы немножко пообчиститься с дороги и принарядиться, прежде чем показаться на улицах. Хозяин постоялого двора рассказал им, что король – человек очень добрый и никогда не сделает людям ничего худого, но что дочь у него злая-презлая. Конечно, она первая красавица на свете, но что толку, если она при этом злая ведьма, из-за которой погибло столько прекрасных принцев. Дело в том, что всякому – и принцу и нищему – было позволено свататься за нее; жених должен был только отгадать три вещи, которые задумывала принцесса; отгадай он – она вышла бы за него замуж, и он стал бы, по смерти ее отца, королем над всей страной, нет – и его вешали или отрубали ему голову. Вот такая злая была красавица принцесса! Старик король, отец ее, очень грустил об этом, но не мог ничего с ней поделать и раз навсегда отказался иметь дело с ее женихами, – пусть-де она ведается с ними сама как знает. И вот являлись жених за женихом, их заставляли отгадывать и за неудачу казнили – могли бы не свататься, ведь их предупреждали заранее!

Старик король, однако, так грустил об этом, что раз в год по целому дню простаивал в церкви на коленях, да еще со всеми своими солдатами, моля Бога о том, чтобы принцесса стала добрее, но она и знать ничего не хотела. Старухи, любившие выпить, окрашивали водку в черный цвет: чем иначе могли они выразить свою печаль?

– Гадкая принцесса! – сказал Йоханнес. – Ее бы следовало высечь. Уж будь я королем-отцом, я бы задал ей перцу!

В эту самую минуту народ на улице закричал «ура». Мимо проезжала принцесса; она в самом деле была так хороша, что все забывали, какая она злая, и кричали ей «ура». Принцессу окружали двенадцать красавиц амазонок на вороных конях; все они были в белых шелковых платьях, с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белой как снег лошади; вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами; платье на принцессе было из чистого

золота, а хлыст в руках сверкал, точно солнечный луч; на голове красавицы сияла корона, вся сделанная будто из настоящих звездочек, а на плечи был наброшен плащ, сшитый из сотни тысяч красивейших бабочкиных крыльев, но сама принцесса была все-таки гораздо лучше всех своих нарядов.

Йоханнес взглянул на нее, покраснел как маков цвет и не мог вымолвить ни слова: она как две капли воды была похожа на ту девушку в золотой короне, которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах, она была так хороша, что Йоханнес не мог не полюбить ее. «Не может быть, – сказал он сам себе, – чтобы она в самом деле была такая ведьма и приказывала вешать и казнить людей, если они не отгадывают того, что она задумала. Всем позволено свататься за нее, даже последнему нищему; пойду же и я во дворец! От судьбы, видно, не уйдешь!»

Все стали отговаривать его – ведь и с ним случилось бы то же, что с другими. Дорожный товарищ Йоханнеса тоже не советовал ему пробовать счастья, но Йоханнес решил, что бог даст все пойдет хорошо, вычистил сапоги и кафтан, умылся, причесал свои красивые белокурые волосы и пошел один-одинешенек в город, а потом во дворец.

– Войдите! – сказал старый король, когда Йоханнес постучал в дверь.



Йоханнес отворил дверь, и старый король встретил его одетый в халат; на ногах у него были вышитые туфли, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой – держава.

– Постой! – сказал он и взял державу под мышку, чтобы протянуть Йоханнесу руку.

Но как только он услышал, что перед ним новый жених, он начал плакать, выронил из рук и скипетр и державу и принялся утирать слезы лапами халата. Бедный старичок король!

– И не пробуй лучше! – сказал он. – С тобой будет то же, что со всеми! Вот погляди-ка!

И он свел Йоханнеса в сад принцессы. Брр... какой ужас! На каждом дереве висело по три, по четыре принца, которые когда-то сватались за принцессу, но не сумели отгадать того, что она задумала. Стоило подуть ветерку, и кости громко стучали одна о другую, пугая птиц, которые не смели даже заглянуть в этот сад. Кольшками для цветов там служили человечески кости, в цветочных горшках торчали черепа с оскаленными зубами – вот так сад был у принцессы!

– Вот видишь! – сказал старик король. – И с тобой будет то же, что с ними! Не пробуй лучше! Ты ужасно огорчаешь меня, я так близко принимаю это к сердцу.

Йоханнес поцеловал руку доброму королю и сказал, что все кончится хорошо, потому что он без памяти полюбил прекрасную принцессу.

В это время во двор въехала принцесса со своими дамами, и король с Йоханнесом вышли к ней поздороваться. Она была в самом деле прелестна, протянула Йоханнесу руку, и он полюбил ее еще больше прежнего. Нет, конечно, она не могла быть такой злой, гадкой ведьмой, как говорили люди.

Они отправились в залу, и маленькие пажи стали обносить их вареньем и медовыми пряниками, но старик король был так опечален, что не мог ничего есть, да и пряники были ему не по зубам!

Было решено, что Йоханнес придет во дворец на другое утро, а судьи и весь совет соберутся слушать, как он будет отгадывать. Справится он с задачей на первый раз – придет еще два раза; но никому еще не удавалось отгадать и одного раза, все платились головой за первую же попытку.

Йоханнеса ничуть не заботила мысль о том, что будет с ним; он был очень весел, думал только о прелестной принцессе и крепко верил, что Бог не оставит его своей помощью; каким образом поможет он ему – Йоханнес не знал, да и думать об этом не хотел, а шел себе, приплясывая, по дороге, пока наконец не пришел обратно на постоянный двор, где его ждал товарищ.

Йоханнес без умолку рассказывал о прелестной принцессе, о том, как ласково она приняла его, и дожидаться не мог завтрашнего дня, когда пойдет наконец во дворец попытать счастья.

Но дорожный товарищ Йоханнеса грустно покачал головой и сказал:

– Я так люблю тебя, мы могли бы провести вместе еще много счастливых дней, и вдруг мне придется лишиться тебя! Мой бедный друг, я готов заплакать, но не хочу огорчать тебя: сегодня, может быть, последний день, что мы вместе! Повеселимся же хоть сегодня! Успею наплакаться и завтра, когда ты уйдешь во дворец!

Весь город сейчас же узнал, что у принцессы новый жених, и все страшно опечалились. Театр закрылся, торговки сладостями обвязали своих сахарных поросят черным крепом, а король и священники собрались в церкви и на коленях молились Богу. Горе было всеобщее: ведь и с Йоханнесом должно было случиться то же, что с прочими женихами.

Вечером товарищ Йоханнеса приготовил пунш и предложил Йоханнесу хорошенько повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Йоханнес выпил два стакана, и ему ужасно захотелось спать, глаза у него закрылись сами собой, и он уснул крепким сном. Товарищ поднял его со стула и уложил в постель, а сам, дождавшись ночи, взял два больших крыла, которые отрубил у мертвого лебедя, привязал их к плечам, сунул в карман самый большой пучок розог из тех, что получил от старухи, сломавшей себе ногу, открыл окно и полетел прямо ко дворцу. Там он уселся в уголке под окном принцессиной спальни и стал ждать.

В городе было тихо-тихо; вот пробило три четверти двенадцатого, окно распахнулось, и вылетела принцесса в длинном белом плаще, с большими черными крыльями за спиной. Она направилась прямо к высокой горе, но дорожный товарищ Йоханнеса сделался невидимкой и полетел за ней следом, хлеща ее розгами до крови. Брр... вот так был полет! Ее плащ раздувался от ветра, точно парус, и через него просвечивал месяц.

– Что за град! Что за град! – говорила принцесса при каждом ударе розог, и поделом ей было.

Наконец она добралась до горы и постучала. Раздался точно удар грома, и гора раскрылась; принцесса вошла, а за ней и товарищ

Йоханнеса – ведь никто не мог видеть его, он сделался невидимкой. Они прошли длинный-длинный коридор с какими-то странно сверкающими стенами – по ним бегали тысячи огненных пауков, горевших как жар. Затем принцесса и ее невидимый спутник вошли в большую залу из серебра и золота; на стенах сияли большие красные и голубые цветы вроде подсолнечников, но боже упаси сорвать их! Стебли их были гадкими ядовитыми змеями, а самые цветы – пламенем, выходившим у них из пасти. Потолок был усеян светляками и голубоватыми летучими мышами, которые беспрерывно хлопали своими тонкими крыльями; удивительное было зрелище! Посреди залы стоял трон на четырех лошадиных остовах вместо ножек; сбруя на лошадях была из огненных пауков, самый трон из молочно-белого стекла, а подушки на нем из черненьких мышек, вцепившихся друг другу в хвосты зубами. Над троном был балдахин из ярко-красной паутины, усеянной хорошенькими зелеными мухами, блестящими не хуже драгоценных камней. На троне сидел старый тролль; его безобразная голова была увенчана короной, а в руках он держал скипетр. Тролль поцеловал принцессу в лоб и усадил ее рядом с собой на драгоценный трон. Тут заиграла музыка; большие черные кузнечики играли на губных гармониках, а сова била себя крыльями по животу. Вот был концерт! Маленькие домовые с блуждающими огоньками на колпачках плясали по залу. Никто не видал дорожного товарища Йоханнеса, а он стоял позади трона и видел и слышал все!

Постепенно в зал набралось много придворных, они держались очень чинно и прилично, но тот, у кого были глаза во лбу, заметил бы, что придворные – это ни больше ни меньше как простые палки с кочнами капусты вместо голов – тролль оживил их и нарядил в расшитые золотом платья; впрочем, не все ли равно, если они служили только для парада!

Когда пляска кончилась, принцесса рассказала троллю о новом женихе и спросила, о чем бы ей загадать на следующее утро, когда он придет во дворец.

– Знаешь, – сказал тролль, – надо выбрать самое простое, что ему и в голову не придет. Задумай, например, о своем башмачке. Ни за что не отгадает! Вели тогда отрубить ему голову, да не забудь принести мне завтра ночью его глаза, я их съем!



Принцесса низко присела и сказала, что не забудет. Затем тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой, а товарищ Йоханнеса опять летел следом и так хлестал ее розгами, что она стонала и жаловалась на сильный град и изо всех сил торопилась добраться до окна своей спальни. Дорожный товарищ Йоханнеса полетел обратно на постоянный двор; Йоханнес еще спал; товарищ его отвязал свои крылья и тоже улегся в постель – еще бы, устал порядком!

Чуть занялась заря, Йоханнес был уже на ногах; дорожный товарищ его тоже встал и рассказал ему чудесный сон, который он видел ночью; он видел, что принцесса загадала про свой башмачок, и потому просил Йоханнеса непременно назвать принцессе башмачок. Он как раз слышал об этом в горе у тролля, но не хотел рассказывать Йоханнесу.

– Что ж, для меня все равно, что ни назвать! – сказал Йоханнес. – Может быть, твой сон и в руку: я ведь все время думал, что Бог поможет мне! Но я все-таки прощусь с тобой: если я не угадаю, мы больше не увидимся.

Они поцеловались, и Йоханнес отправился во дворец.

Зала была битком набита народом; судьи сидели в креслах, прислонившись головами к подушкам из гагачьего пуха, – им ведь приходилось так много думать! Старик король стоял и вытирал глаза белым носовым платком. Но вот вошла принцесса; она была еще краше вчерашнего, мило раскланялась со всеми, а Йоханнесу подала руку и сказала:

– Ну, здравствуй!

Теперь надо было отгадывать, о чем она задумала. Господи, как ласково смотрела она на Йоханнеса! Но как только он произнес: «башмачок», она побелела как мел и задрожала всем телом. Делать, однако, было нечего – Йоханнес угадал.

Эх! Старик король даже перекувырнулся на радостях – все и рты разинули! И принялись хлопать королю, да и Йоханнесу тоже – за то, что он правильно угадал.

Дорожный товарищ был тоже очень доволен, что все сошло так благополучно, а Йоханнес поблагодарил Бога, надеясь, что он поможет ему и в следующие разы. Ведь на другой день надо было приходиться опять.

Вечер прошел так же, как и накануне. Когда Йоханнес заснул, товарищ его опять полетел за принцессой и хлестал ее еще сильнее, чем в первый раз, так как взял с собой два пучка розог; никто не видал его, и он опять подслушал совет тролля. Принцесса должна была на этот раз загадать о своей перчатке, что товарищ и передал Йоханнесу, снова сославшись на свой сон. Йоханнес угадал и во второй раз, и во дворце пошло такое веселье, что только держись! Весь двор стал кувыркаться – ведь сам король подал вчера пример. Зато принцесса лежала на диване и не хотела даже разговаривать. Теперь все дело было в том, отгадает ли Йоханнес в третий раз; если да, то женится на красавице принцессе и унаследует по смерти старика короля все королевство; нет – его казнят, и тролль съест его прекрасные голубые глаза.

В этот вечер Йоханнес рано улегся в постель, прочел молитву на сон грядущий и спокойно заснул, а товарищ его привязал себе крылья, пристегнул сбоку саблю, взял все три пучка розог и полетел ко дворцу.

Тьма была хоть глаз выколи; бушевала такая гроза, что черепицы валились с крыш, а деревья в саду со скелетами гнулись от ветра, как тростинки. Молния сверкала ежеминутно, и гром сливался в один сплошной раскат. Но вот открылось окно, и вылетела принцесса, бледная как смерть; но она смеялась над непогодой – ей все еще было мало; белый плащ ее бился на ветру, как огромный парус, а дорожный товарищ Йоханнеса до крови хлестал ее всеми тремя пучками розог, так что под конец она едва могла лететь и еле-еле добралась до горы.

– Град так и сечет! Ужасная гроза! – сказала она. – Сроду не приходилось мне вылетать из дома в такую непогоду.

– Да, видно, что тебе порядком досталось! – сказал тролль.

Принцесса рассказала ему, что Йоханнес угадал и во второй раз; случись то же и в третий, он выиграет дело, и ей нельзя будет больше прилетать в гору и колдовать. Было поэтому о чем печалиться.

– Не угадает он больше! – сказал тролль. – Я найду что-нибудь такое, чего ему и в голову прийти не может, иначе он тролль почище меня. А теперь будем плясать!

И он взял принцессу за руки, и они принялись танцевать вместе с гномами и блуждающими огоньками, а красные пауки весело прыгали вверх и вниз по стенам, точно живые огоньки. Сова била в барабан,

сверчки свистели, а черные кузнечики играли на губных гармониках. Развеселый был бал!

Натанцевавшись вдоволь, принцесса стала торопиться домой, иначе ее могли там хватиться; тролль сказал, что проводит ее, и они, таким образом, подольше побудут вместе.

Они летели, а товарищ Йоханнеса хлестал их всеми тремя пучками розог; никогда еще троллю не случилось вылетать в такой град.

Перед дворцом он простился с принцессой и шепнул ей на ухо:

– Загадай о моей голове!

Товарищ Йоханнеса, однако, расслышал его слова, и в ту самую минуту, как принцесса скользнула в окно, а тролль хотел повернуть назад, схватил его за длинную черную бороду и срубил ему саблей гадкую голову по самые плечи!

Тролль и глазом моргнуть не успел! Тело тролля товарищ Йоханнеса бросил в озеро, а голову окунул в воду, затем завязал в шелковый платок и полетел с этим узлом домой.

Наутро дорожный товарищ отдал Йоханнесу узел, но не велел ему развязывать его, пока принцесса не спросит, о чем она загадала.

Большая дворцовая зала была битком набита народом; люди жались друг к другу, точно сельди в бочонке. Совет заседал в креслах с мягкими подушками под головами, а старик король разodelся в новое платье, корона и скипетр его были вычищены на славу; зато принцесса была бледна и одета в траур, точно собралась на похороны.

– О чем я загадала? – спросила она Йоханнеса.

Тот сейчас же развязал платок и сам испугался при виде гадкой головы тролля. Все вздрогнули от ужаса, а принцесса сидела как окаменелая, не говоря ни слова. Наконец она встала, подала Йоханнесу руку – он ведь угадал – и, не глядя ни на кого, сказала с глубоким вздохом:

– Теперь ты мой господин! Вечером сыграем свадьбу!

– Вот это я люблю! – сказал старик король. – Вот это дело!



Народ закричал «ура», дворцовая стража заиграла марш, колокола зазвонили, и торговки сладостями сняли с сахарных поросят траурный креп – теперь повсюду была радость! На площади были выставлены

три жареных быка с начинкой из уток и кур – все могли подходить и отрезать себе по куску; в фонтанах било чудеснейшее вино, а в булочных каждому, кто покупал кренделей на два гроша, давали в придачу шесть больших пышек с изюмом!

Вечером весь город был иллюминирован, солдаты палили из пушек, мальчишки – из хлопушек, а во дворце ели, пили, чокались и плясали. Знатные кавалеры и красивые девицы танцевали друг с другом и пели так громко, что на улице было слышно:

Много тут девиц прекрасных,  
Любо им плясать и петь!  
Так играйте ж плясовую,  
Полно девицам сидеть!  
Эй, девица, веселей,  
Башмачков не пожалей!

Но принцесса все еще оставалась ведьмой и совсем не любила Йоханнеса; дорожный товарищ его не забыл об этом, дал ему три лебединых пера и пузырек с какими-то каплями и велел поставить перед кроватью принцессы чан с водой; потом Йоханнес должен был вылить туда эти капли и бросить перья, а когда принцесса станет ложиться в постель, столкнуть ее в чан и погрузить в воду три раза, – тогда принцесса освободится от колдовства и крепко его полюбит.

Йоханнес сделал все так, как ему было сказано. Принцесса, упав в воду, громко вскрикнула и забилась у Йоханнеса в руках, превратившись в большую, черную как смоль лебедь со сверкающими глазами; во второй раз она вынырнула из воды уже белой лебедью с небольшим черным кольцом вокруг шеи. Йоханнес воззвал к Богу и погрузил птицу в третий раз – и в то же мгновение она опять сделалась красавицей принцессой. Она была еще лучше прежнего и со слезами в чудных глазах благодарила Йоханнеса за то, что он освободил ее от чар.

Утром явился к ним старик король со всею свитой, и пошли поздравления. После всех пришел дорожный товарищ Йоханнеса с палкой в руках и котомкой за плечами. Йоханнес расцеловал его и

стал просить остаться – ему ведь был он обязан своим счастьем! Но тот покачал головой и ласково сказал:

– Нет, настал мой час! Я только заплатил тебе свой долг. Помнишь бедного умершего человека, которого хотели обидеть злые люди? Ты отдал им все, что имел, только бы они не тревожили его в гробу. Этот умерший – я!

В ту же минуту он скрылся.

Свадебные торжества продолжались целый месяц. Йоханнес и принцесса крепко любили друг друга, и старик король прожил еще много счастливых лет, качая на коленях и забавляя своими скипетром и державой внучат, в то время как Йоханнес правил королевством.

## Русалочка



В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хороших васильков, и прозрачная, как стекло, – но зато и глубоко там! Ни один якорь не достанет до дна; на дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, чтобы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки.

Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок; нет, там растут удивительнейшие деревья и цветы с такими гибкими стебельками и листьями, что они шевелятся как живые при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют большие и маленькие рыбы – точь-в-точь как у нас здесь птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с большими остроконечными окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются смотря по приливу или отливу, это очень красиво, потому что в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что и одна из них украсила бы корону любой королевы.

Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла его старуха мать, женщина умная, но очень гордая своим родом: она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как

вельможи имели право носить только по шести. Вообще же она была особа достойная, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все шесть принцесс были прехорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост.

День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточки; рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить.

Возле дворца был большой сад; там росло много огненно-красных и темно-голубых деревьев с вечно колеблющимися ветвями и листьями; плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы – как огоньки. Земля была усыпана мелким голубоватым, как серное пламя, песком; на дне морском на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск, – можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие можно было видеть солнце; оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы было в саду свое местечко; тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка; такая тихая, задумчивая... Другие сестры украшали свои садики разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась; ветви ее перевешивались через статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень, – вершина и корни точно играли и целовались друг с другом!

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных.



Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахли, – не то что тут в море! – что леса там были зеленые, а рыбки, которые жили в ветвях, звонко пели. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее; они ведь сроду не видывали птиц.

– Когда вам исполнится пятнадцать лет, – говорила бабушка, – вам тоже можно будет всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам – а они все были погодки – приходилось еще ждать, и дольше всех – целых пять лет – самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день, – рассказы бабушки мало удовлетворяли их любопытство, им хотелось знать обо всем поподробнее.

Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды; они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал над нею кит, или проходил корабль с сотнями людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки.

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Вот было рассказов, когда она вернулась назад! Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любясь раскинувшимся по берегу городом; там, точно сотни звездочек, горели огни, слышалась музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище.

Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра! Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда хочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... да тут у нее уж и слов не хватало! Окрашенные в пурпуровые и фиолетовые цвета, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их несла к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря.

Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные чудесными рощами, где пели птицы; солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких человечков, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее таявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море; это была собака, но русалка ведь никогда еще не видала собак.

И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьего хвоста!

Четвертая сестра не была такой смелой; она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего; куда ни оглянешь, на много-много миль вокруг одна вода да небо, опрокинутое над водой, точно огромный стеклянный купол; вдали, как морские чайки, виднелись большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины, и огромные киты пускали из ноздрей сотни фонтанов.

Потом пришла очередь предпоследней сестры; ее день рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы — ни дать ни взять жемчужины, рассказывала она, но такие огромные,

выше самых высоких колоколен, построенных людьми! Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую, ветер развевал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загредел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убрали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла себе на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море.

Вообще каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз, – все было для них ново и поэтому нравилось; но, получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали уже говорить, что везде хорошо, а дома лучше.

Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность воды, у всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле, и вот, когда начиналась буря и они видели, что кораблям грозит опасность, они подплывали к ним, пели о чудесах подводного царства и просили моряков не бояться опуститься на дно; но моряки не могли разобрать слов; им казалось, что это просто шумит буря; да им все равно и не удалось бы увидеть на дне никаких чудес: если корабль погибал, люди тонули и приплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не могут плакать, и от этого ей было еще тяжелей.

– Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? – говорила она. – Я знаю, что очень люблю и тот мир, и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

– Ну вот, вырастили и тебя! – сказала бабушка, вдовствующая королева. – Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер!

И она надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий – каждый лепесток был половинкой жемчужины, – потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту восьмерым устрицам.

– Да это больно! – сказала русалочка.

– Ради красоты надо потерпеть! – сказала старуха.

Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венец: красненькие цветочки из ее садика шли ей куда больше, но делать нечего!

– Прощайте! – сказала она и легко и плавно, точно прозрачный водяной пузырь, поднялась на поверхность.

Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажглась ясная вечерняя звезда; воздух был мягок и свеж, а море неподвижно, как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом – не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и реях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков; казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет; в тот день праздновалось его рождение, оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет, и стало светло как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову, и ей показалось, что все звездочки небесные попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи: большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине чудной ночи.

Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль несясь все быстрее и быстрее, паруса развевались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились и засверкали молнии.

Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам; вокруг корабля вставали высокие водяные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля, но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось плохо. Корабль трещал, толстые бревна разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу; грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль перевернулся набок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность; ей и самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела всех бывших на корабле людей; каждый спасался, как умел. Русалочка отыскивала глазами принца и увидела, как он погрузился в воду, когда корабль разбился на части. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умирать! И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они всякую минуту могут раздавить ее самое. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами; но вот наконец она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю; руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись; он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно.



К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску, но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы, и поцеловала его в высокий, красивый лоб; ей показалось, что принц похож на

мраморного мальчика, что стоял у нее в саду; она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания – высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом, где вода была очень тиха, но глубока; сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце.

В это время в высоком белом здании зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морскою пеной – теперь никто не различил бы в этой пене ее беленького личика – и стала ждать: не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она не рассказала им ничего.

Часто и вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созрели в садах плоды, видела, как стоял снег на высоких горах, но принца так больше и не видала и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала; они росли как хотели по тропинкам и дорожкам, переплелись своими стебельками и листочками с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и

рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок, да их самых близких друзей. Одна из русалок тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца.

– Поплыли с нами, сестрица! – сказали русалочке сестры и рука об руку поднялись все вместе на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшены большими картинами. Запяденье, да и только! Посреди самой большой залы журчал большой фонтан; струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она: она же заплывала и в узкий канал, который протекал как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей прекрасной лодке, украшенной развевающимися флагами, – русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся по ветру, то думали, что это лебедь взмахнул крылом. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу; они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда он полумертвым носился по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди, когда она поцеловала так нежно его красивый лоб. А он-то ничего не знал о ней, она ему даже и во сне не снилась!



Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, нежели ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а бывшие в их владении пространства земли с лесами и полями тянулись далеко-далеко, и глазом было их не окинуть! Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

– Если люди не тонут, – спрашивала русалочка, – тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

– Как же! – отвечала старуха. – Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, зато когда нам приходит конец, от нас остается одна пена морская, у нас нет даже могил близких нам. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда уже не будем жить, мы – как тростник; раз срезанный, он не зазеленеет вновь! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает тогда в синее небо, туда, к ясным звездочкам! Как мы можем подняться со дна морского и увидеть землю, где живут люди, так они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда!

– А почему у нас нет бессмертной души? – грустно спросила русалочка. – Я бы отдала все свои триста лет за один день человеческой жизни, с тем, чтобы потом принять участие в небесном блаженстве людей.

– Вздор! Нечего и думать об этом! – сказала старуха. – Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

– Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнышка! Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?

– Можешь, – сказала бабушка, – пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе и ты тоже вкусишь вечного

блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым – твой рыбий хвост, люди находят безобразным; они нисколько не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки – ноги, как они их называют.

Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

– Будем жить – не тужить! – сказала старуха. – Повеселимся вволю свои триста лет – это-таки порядочный срок, тем слаще будет отдых по смерти! Сегодня вечером у нас при дворе бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены – и самое море. Видно было, как к стенам подплывали стаи и больших и малых рыб, сверкавших пурпурно-золотистой и серебристой чешуей.

Посреди зала вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких чудных голосов не бывает у людей. Русалочка же пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце и печалиться о том, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца и, пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки волторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла ради него и ради бессмертной души! Пока сестры танцуют в отцовском дворце, я поплыву к морской ведьме: я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой; тут не было ни цветов, ни даже травы – один только голый серый песок; вода в водоворотах бурлила и шумела, как под

мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами; затем на пути к жилищу ведьмы лежало еще большое пространство, покрытое горячим, пузырившимся илом; это место ведьма называла своим торфяным болотом. За ним уже показалось и самое жилище ведьмы, окруженное диковинным лесом: деревья и кусты были полипами – полуживотными-полурастениями, похожими на стоголовых змей, росших прямо из песка; ветви их были длинными осклизлыми руками с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки, они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали обратно. Русалочка испуганно приостановилась, сердечко ее забилося от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы их не схватили полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между гадкими полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, остовы животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая свое гадкое светло-желтое брюшко, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Гадких жирных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им валяться на своей большой ноздреватой, как губка, груди.

– Знаю, знаю, зачем ты пришла! – сказала русалочке морская ведьма. – Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе – тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь получить вместо своего рыбьего хвоста две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу!

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и растянулись на песке.

– Ну ладно, ты пришла в самое время! – продолжала ведьма. – Приди ты завтра поутру, было бы поздно и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю для тебя питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним на берег еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару чудных, как скажут люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Зато все, кто ни увидит тебя, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную скользкую походку – ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что каждый шаг будет причинять тебе нестерпимую боль, так что изранишь свои ножки в кровь. Согласна ты? Хочешь моей помощи?

– Да! – сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.

– Помни, – сказала ведьма, – что раз ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе больше ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, так что вы станете мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской!

– Пусть! – сказала русалочка и побледнела как смерть.

– Ты должна еще заплатить мне за помощь, – сказала ведьма. – А я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать свой голос мне. Я возьму за свой драгоценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: я ведь должна примешать к напитку свою собственную кровь, для того, чтобы он стал остер, как лезвие меча.

– Если ты возьмешь мой голос, что же останется у меня? – спросила Русалочка.

– Твое прелестное лицо, твоя скользкая походка и твои говорящие глаза – довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся; высунешь язычок, я и отрежу его в уплату за волшебный напиток!

– Хорошо! – сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

– Чистота – лучшая красота! – сказала она и обтерла котел связкой живых ужей, а потом расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, от которой стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал глядя, на них. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, послышался точно плач крокодила. Наконец напиток был готов и имел вид прозрачайшей ключевой воды!

– Вот тебе! – сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая – не могла больше ни петь, ни говорить!

– Если полипы захотят схватить тебя, когда ты поплывешь назад, – сказала ведьма, – брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!

Но русалочке не пришлось этого сделать – полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда – она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.



Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила сверкающий острый напиток, и ей показалось, будто ее пронзили насквозь обоюдоострым мечом, она потеряла сознание и упала как мертвая. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль, зато перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами; она

потупилась и увидала, что вместо рыбьего хвоста у нее были две чудесные ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем голешенька и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду: с каждым шагом русалочка как будто ступала на острые ножи и иголки; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, воздушная, как водяной пузырек, принц и все окружающие только дивились ее чудной, скользящей походке.

Русалочку разодели в шелк и кисею, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!» Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение лишь увеличивало ее красоту, одни глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найденышем, и русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ножки ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала на острые ножи. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви били ее по плечам, они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались облаками, плывшими у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидела в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове; они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной души и должна была в случае его женитьбы на другой превратиться в морскую пену.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» – казалось, спрашивали глаза русалочки, в то время как принц обнимал ее и целовал в лоб.

– Да, я люблю тебя! – говорил принц. – У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи чудного храма, где служат Богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! – думала русалочка. – Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, где был храм, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу девушку, которую он любит больше, чем меня! – И русалочка глубоко-глубоко вздыхала, плакать она не могла. – Но та девушка принадлежит храму, никогда не появится в свет, и они никогда не встретятся! Я же



нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу; с ним отправится большое посольство. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась – она ведь лучше всех знала мысли принца.

– Я должен ехать! – говорил он ей. – Мне надо увидеть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, я же никогда не полюблю ее! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого блаженства и бессмертной души.

– Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? – говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля.

И принц рассказывал ей о бурях, и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах моря, и о том, что видели там водолазы, а она только улыбалась, слушая его рассказы, – она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны; и вот ей показалось, что она видит отцовский дворец; старуха бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. И вот в городе зазвонили в колокола, с высоких башен

раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было – она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались кроткие темно-синие глаза.

– Это ты! – сказал принц. – Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту.

– Ах, я так счастлив! – сказал он русалочке. – То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!

Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли: его свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену!

Колокола в церквях звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. На алтарях были зажжены серебряные светильники, в которых горело ароматное масло; из кадильниц священников струилось благоухание ладана. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии, она думала о своем смертном часе и о том, что она теряет с жизнью.

В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, а на палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; в шатре возвышалось чудное ложе для новобрачных. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся вперед.

Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые всплыла на поверхность моря и увидела то же великолепие и веселье на корабле. И вот она понеслась в

быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге; никогда еще она не танцевала так чудесно! Ее нежные ножки резало, как ножами, но она не чувствовала этой боли – сердцу ее было еще больнее. Лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела бесконечные мучения, тогда как он и не подозревал о том. Лишь одну ночь еще оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души! Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце; принц же целовал красавицу невесту, а она играла его черными волосами; наконец рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, один рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные, роскошные волосы не развевались больше по ветру – они были обрезаны.

– Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! Она дала нам вот этот нож – видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем сделаешься соленой морской пеной. Но спеши! Или он, или ты – один из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы, а наши волосы остригла ведьма! Убей принца и вернись к нам! Торопись, видишь, на небе показалась красная полоска! Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной невесты покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей

невесты – она одна была у него в мыслях! – и нож дрогнул в руках русалочки. Еще минута – и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти: она видела ясное солнышко и каких-то прозрачных чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она могла видеть сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе; голос их звучал как музыка, но такая неземная, что ничье человеческое ухо не могло расслышать ее, так же как ничей человеческий глаз не мог видеть их самих. У них не было крыльев, и они носились по воздуху только благодаря своей собственной легкости. Русалочка увидела, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.

– К кому я иду? – спросила она, поднимаясь на воздух, и ее голос звучал такую же дивною неземною музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки.

– К дочерям воздуха! – ответили ей воздушные создания. – У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она не может иначе, как благодаря любви человека. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут приобрести ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим с собой людям исцеление и отраду. По прошествии же трехсот лет, во время которых мы творим посильное добро, мы получаем в награду бессмертную душу и сможем принять участие в вечном блаженстве человека. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама сможешь обрести себе бессмертную душу.

И русалочка протянула свои прозрачные руки к Божьему солнышку и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с невестой искали ее. Печально смотрели они на

волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка красавицу невесту в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

– Через триста лет мы войдем в Божье царство!

– Может быть, и раньше! – прошептала одна из дочерей воздуха. – Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети, и если найдем там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся, и срок испытания сокращается на целый год.

Дитя не знает, что если мы, залетев в комнату, улыбнемся от радости, наш трехсотлетний срок сократится на целый год, зато если мы встретим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания еще лишний день!

## Новый наряд короля



Давным-давно жил-был на свете король; он так любил наряжаться, что тратил на наряды все свои деньги, и смотры войскам, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него был особый наряд, и как про других королей часто говорят: «Король в совете», так про него говорили: «Король в гардеробной».

В столице короля жилось очень весело; каждый день почти приезжали иностранные гости, и вот раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей, которые умеют изготавливать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличалась еще удивительным свойством — становиться невидимой для всякого человека, который был не на своем месте или непроходимо глуп.

«Да, вот это будет платье! – подумал король. – Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань».

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота, все это припрятывали в карманы и продолжали сидеть за пустыми станками с утра до поздней ночи.

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» – думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но... все-таки пусть бы сначала пошел кто-нибудь другой! А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или негодности своего ближнего.

«Пошлю-ка я к ним своего честного старика министра, – подумал король. – Уж он-то рассмотрит ткань, он умен и с честью занимает свое место».

И вот старик министр вошел в покой, где сидели за пустыми станками обманщики.

«Господи помилуй! – думал министр, тараща глаза. – Я ведь ничего не вижу!»

Только он не сказал этого вслух.

Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни тарашил глаза, все-таки ничего не видел. Да и нечего было видеть.

«Ах ты, господи! – думал он. – Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал! Спаси боже, если кто-нибудь узнает!.. Или, может быть, я не гожусь для своей должности?.. Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!»

– Что ж вы ничего не скажете нам? – спросил один из ткачей.

– О, это премило! – ответил старик министр, глядя сквозь очки. – Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!

– Рады стараться! – сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.

Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота; но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной ниточки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут.

Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а все ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

– Ну, как вам нравится? – спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узоры, которых и в помине не было.

«Я неглуп, – думал сановник. – Значит, я не на своем месте? Вот тебе раз! Однако нельзя и виду подавать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь чудесным рисунком и сочетанием красок.

– Премило, премило! – доложил он королю.

Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани.

Наконец король сам пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка.

С целою свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим изо всех сил на пустых станках.

– Magnifique!<sup>[1]</sup> Не правда ли? – заговорили первые два сановника. – Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок! Какие краски!

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань.

«Да что же это такое! – подумал король. – Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!»

– О да, очень, очень мило! – сказал, наконец, король. – Вполне заслуживает моего одобрения.

И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки, – он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше его самого, и тем не менее



все повторяли в один голос: «Очень, очень мило!» – и советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии.

– Magnifique! Чудесно! Excellent!<sup>[2]</sup> – только и слышалось со всех сторон; все были в таком восторге!

Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей: всем было ясно, что они старались кончить к сроку новый наряд короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток.

Наконец они объявили:

– Готово!

Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держат что-то, приговаривая:

– Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле. Но в этом-то вся и прелесть!

– Да, да! – говорили придворные, но они ничего не видали – нечего ведь было и видеть.

– А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом! – сказали королю обманщики. – Мы нарядим вас.

Король разделся, и обманщики принялись наряжать его: они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и наконец прикрепляют что-то в плечах и на талии, – это они надевали на него королевскую мантию! А король в это время поворачивался перед зеркалом во все стороны.

– Боже, как идет! Как чудно сидит! – шептали в свите. – Какой узор, какие краски! Роскошное платье!

– Балдахин ждет! – доложил оберцеремониймейстер.

– Я готов! – сказал король. – Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд.

Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с полу, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки, – они не смели и виду подать, что ничего не видят.

И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а в народе говорили:

– Ах, какой бесподобный наряд у короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!

Ни единый человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел показаться глупцом или никуда не годным человеком. Да, ни один наряд короля не вызывал еще таких восторгов.

– Да ведь он совсем голый! – закричал вдруг один маленький мальчик.

– Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! – сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

– Да ведь он совсем голый! – закричал, наконец, весь народ.

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца!

И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

# Калоши счастья

## 1. Для начала

Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой Королевской площади; в одном доме собралось большое общество: приходится ведь время от времени принимать у себя гостей – примешь, угостишь и можешь в свою очередь ожидать приглашения. Часть общества уже уселась за карточные столы, другие же гости, с самой хозяйкой во главе, ждали, не выйдет ли чего-нибудь из слов хозяйки: «Ну, надо бы и нам придумать, чем заняться!» – а пока что беседовали между собою о том да о сем.

Так вот, разговор шел себе помаленьку и, между прочим, коснулся Средних веков. Некоторые из собеседников считали эту эпоху куда лучше нашего времени; особенно горячо отстаивал это мнение советник Кнап; к нему присоединилась хозяйка дома, и оба принялись опровергать слова Эрстеда, доказывавшего в только что вышедшем новогоднем альманахе, что наше время, в общем, гораздо лучше Средних веков. Самой же прекраснейшей и счастливейшей эпохой советник признавал времена короля Ханса.

Под шумок этой беседы, прерванной лишь на минуту появлением вечерней газеты, в которой, однако, нечего было читать, мы перейдем в переднюю, где висело верхнее платье, стояли палки, зонтики и калоши. Тут же сидели две девушки, молодая и пожилая, явившиеся сюда, по-видимому, в качестве провожатых каких-нибудь старых барышень или вдовушек. Вглядевшись в них попристальнее, всякий, однако, заметил бы, что они не простые служанки; руки их были слишком нежны, осанка и все движения слишком величественны, да и платье отличалось каким-то особенно смелым, своеобразным покроем. Это были две феи: младшая если и не сама фея Счастья, то горничная одной из ее камерфрейлин, на обязанности которой лежала доставка людям маленьких даров счастья; пожилая, смотревшая очень серьезно и озабоченно, была фея Печали, всегда исполнявшая все свои поручения собственною высокою персоной, – таким образом, она, по

крайней мере, знала, что они исполнены как должно.



Они рассказывали друг другу, где побывали в этот день. Горничной одной из камерфрейлин феи Счастья удалось исполнить сегодня лишь несколько ничтожных поручений: спасти от ливня чью-то новую шляпу, доставить одному почтенному человеку поклон от важного ничтожества и тому подобное. Зато у нее было в запасе кое-что необыкновенное.

— Дело в том, — сказала она, — что сегодня день моего рождения, и в честь этого мне дали пару калош, которые я должна принести в дар человечеству. Калоши эти обладают свойством переносить каждого, кто наденет их, в то место или в условия того времени, которые ему больше всего нравятся. Все желания человека относительно времени или местопребывания будут, таким образом, исполнены, и человек станет, наконец, воистину счастливым!

— Как бы не так! — сказала фея Печали. — Твои калоши принесут ему истинное несчастье, и он благословит ту минуту, когда избавится от

них!

– Ну вот еще! – сказала младшая из фей. – Я поставлю их тут у дверей, кто-нибудь по ошибке наденет их вместо своих и станет счастливым.

Вот какой был разговор.

## 2. Что случилось с советником



Было уже поздно; советник Кнап, углубленный в размышление о временах короля Ханса, собрался домой, и случилось ему вместо своих калош надеть калоши счастья. Он вышел в них на улицу, и волшебная сила калош сразу перенесла его во времена короля Ханса, так что ноги его в ту же минуту ступили в невылазную грязь, – в то время ведь еще не было тротуаров.

– Вот грязь-то! Ужас что такое! – сказал советник. – Вся панель затоплена, и ни одного фонаря!

Луна взошла еще недостаточно высоко; стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На ближнем углу висел образ Мадонны и перед ним зажженная лампада, дававшая, однако, такой свет, что хоть бы его и не было вовсе; советник заметил его не раньше, чем поравнялся с образом вплотную.

– Ну вот, – сказал он, – тут, верно, выставка картин, и они забыли убрать на ночь вывеску.

В это время мимо советника прошло несколько человек, одетых в средневековые костюмы.

– Что это они так вырядились? Должно быть, на маскараде были! – сказал советник.

Вдруг послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы, советник остановился и увидел странное шествие: впереди всех шли барабанщики, усердно работавшие палками, за ними воины, вооруженные луками и самострелами; вся эта свита сопровождала какое-то духовное лицо. Пораженный советник спросил, что означает это шествие и что это за важное лицо?

– Епископ Зеландский! – отвечали ему.

– Господи помилуй! Что такое приключилось с епископом? – вздохнул советник, качая головой. – Нет, не может быть, чтобы это был епископ!

Размышляя о только что виденном и не глядя ни направо, ни налево, советник вышел на площадь Высокого моста. Моста, ведущего к дворцу, на месте, однако, не оказалось, и советник впотьмах едва разглядел какой-то широкий ручей да лодку, в которой сидело двое парней.

– Господину угодно на остров? – спросили они.

– На остров? – сказал советник, не зная, что блуждает в Средних веках. – Мне надо в Кристианову гавань, на Малую Торговую улицу!

Парни только посмотрели на него.

– Скажите мне, по крайней мере, где мост! – продолжал советник. – Ведь это безобразие! Не горит ни единого фонаря, и такая грязь, точно шагаешь по болоту.

Но чем больше он говорил с ними, тем меньше понимал их.

– Не понимаю я вашей борнхольмщины! – рассердился он наконец и повернулся к ним спиной.

Но моста ему так и не удалось найти; перил на канале тоже не оказалось.

– Ведь это же просто скандал! – сказал он.

Никогда еще наше время не казалось ему таким жалким, как в данную минуту!

«Право, лучше взять извозчика! – подумал он. – Но куда же девались все извозчики? Хоть бы один! Вернусь на Новую

Королевскую площадь, там, наверное, стоят экипажи! Иначе мне вовек не добраться до Кристиановой гавани!»

Он снова вернулся на Восточную улицу и уже почти прошел ее, когда над головой его всплыл желтый месяц.

– Боже милостивый! Что это тут нагородили? – сказал он, увидев перед собой Восточные городские ворота, которыми заканчивалась в те времена Восточная улица.

Наконец он отыскал калитку и вышел на нынешнюю Новую Королевскую площадь, бывшую в то время большим лугом. Кое-где торчали кусты, а посередине протекал какой-то ручей или канал; на противоположном берегу виднелись жалкие деревянные лачуги, в которых ютились лавки для аландских шкиперов, отчего и самое место называлось Аландским мысом.

– Или это обман зрения, фата-моргана, или я пьян! – охал советник. – Что же это такое? Что же это такое?

Он опять повернул назад, в полной уверенности, что болен; на этот раз он повнимательнее присмотрелся к домам и увидел, что большинство из них было построено наполовину из кирпичей, наполовину из бревен и многие крыты соломой.

– Нет! Я положительно нездоров! – вздыхал он. – А ведь я выпил всего один стакан пунша, но для меня и этого много! Да и что за нелепость угощать людей пуншем и вареной семгой! Я непременно скажу об этом агентше! Не вернуться ли мне к ним рассказать, что случилось со мной? Нет, неловко! Да и, пожалуй, они улепись!

Он поискал знакомый дом, но и его не было.

– Это ужас что такое! Я не узнаю Восточной улицы! Ни единого магазина! Повсюду какие-то старые, жалкие лачуги, точно я в Роскилле или Рингстеде! Ах, я болен! Нечего тут и стесняться! Вернусь к ним! Но куда же девался дом агента? Или он сам на себя не похож больше?.. А, вот тут еще не спят! Ах, я совсем, совсем болен!

Он натолкнулся на полуотворенную дверь, из которой виднелся свет. Это была одна из харчевен тогдашней эпохи, нечто вроде нашей пивной. В комнате с глиняным полом сидели за кружками пива несколько шкиперов и копенгагенских горожан и двое ученых; все были заняты беседой и не обратили на вновь вошедшего никакого внимания.

– Извините! – сказал советник встретившей его хозяйке. – Мне вдруг сделалось дурно! Не наймете ли вы мне извозчика в Кристианову гавань?

Женщина посмотрела на него и покачала головой, потом заговорила с ним по-немецки. Советник подумал, что она не понимает по-датски, и повторил свою просьбу по-немецки; это обстоятельство в связи с покроем его платья убедило хозяйку, что он иностранец. Ему не пришлось, впрочем, повторять два раза, что он болен, – хозяйка сейчас же принесла ему кружку солоноватой колодезной воды. Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и стал размышлять о странном зрелище, которое он видел перед собой.

– Это вечерний «День»? – спросил он, чтобы сказать что-нибудь, увидав в руках хозяйки какой-то большой лист.

Она не поняла его, но протянула ему лист; оказалось, что это был грубый рисунок, изображавший небесное явление, виденное в Кёльне.

– Вот старина! – сказал советник и совсем оживился, увидав эту редкость. – Где вы взяли такой рисунок? Это очень интересно, хотя, разумеется, все выдуманно! Как объясняют теперь, это было северное сияние, известное проявление воздушного электричества!

Сидевшие поближе и слышавшие его речь удивленно посмотрели на него, а один из них даже встал, почтительно приподнял шляпу и серьезно сказал:

– Вы, вероятно, большой ученый.

– О нет! – отвечал советник. – Так себе! Хотя, конечно, могу поговорить о том и о сем не хуже других!

– Modestia<sup>[3]</sup> прекраснейшая добродетель! – сказал собеседник. – Что же касается вашей речи, то mihi secus videtur<sup>[4]</sup>, хотя я и охотно погожу высказывать свое iudicium<sup>[5]</sup>!

– Смеею спросить, с кем я имею удовольствие беседовать? – спросил советник.

– Я бакалавр богословия! – отвечал собеседник.

Этого было для советника вполне довольно – титул соответствовал покрою платья незнакомца. «Должно быть, какой-нибудь сельский учитель, каких еще можно встретить в глуши Ютландии!» – решил он про себя.

– Здесь, конечно, не locus docendi<sup>[6]</sup>, – начал опять собеседник, – но я все-таки прошу вас продолжать вашу речь! Вы, должно быть, очень



начитаны в древней литературе?

– Да, ничего себе! – отвечал советник. – Я почитаваю кое-что хорошее и из древней литературы, но люблю и новейшую, только не «обыкновенные истории» – их довольно и в жизни!

– «Обыкновенные истории»? – спросил бакалавр.

– Да, я говорю о современных романах.

– О, они очень остроумны и имеют большой успех при дворе! – улыбнулся бакалавр. – Королю особенно нравятся романы о рыцарях Круглого стола, Ифвенте и Гаудиане<sup>[7]</sup>; он даже изволил шутить по поводу них со своими высокими приближенными.

– Этого я еще не читал! – сказал советник. – Должно быть, Хейберг опять что-нибудь новое выпустил!

– Нет, не Хейберг, а Готфрид Геманский! – отвечал бакалавр.

– Вот кто автор! – сказал советник. – Это очень древнее имя! Так ведь назывался первый датский типографщик!

– Да, это наш первый типографщик! – отвечал бакалавр.

Таким образом, разговор благополучно поддерживался. Потом один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей несколько лет тому назад, то есть в 1484 году. Советник подумал, что дело шло о недавней холере, и беседа продолжалась.

Мимоходом нельзя было не затронуть столь близкую по времени войну 1490 года, когда английские каперы захватили на рейде датские корабли, и советник, переживший события 1801 года, охотно вторил общим нападкам на англичан. Но дальше беседа как-то перестала клеиться; добряк бакалавр был слишком невежествен, и самые простые выражения и отзывы советника казались ему слишком вольными и фантастическими. Они удивленно смотрели друг на друга и когда наконец совсем перестали понимать один другого, бакалавр заговорил по-латыни, думая хоть этим помочь делу, но не тут-то было.

– Ну что, как вы себя чувствуете? – спросила советника хозяйка и дернула его за рукав; тут он опомнился – в пылу разговора он совсем забыл, где он и что с ним.

«Господи, куда я попал?»

И голова у него закружилась при одной мысли об этом.

– Будем пить кларет, мед и бременское пиво! – закричал один из гостей. – И вы с нами!

Вошли две девушки; одна из них была в двухцветном чепчике. Они наливали гостям и затем низко приседали; у советника дрожь пробежала по спине.

– Что же это такое? Что же это такое? – говорил он, но должен был пить вместе со всеми; они так приставали к нему, что он пришел в полное отчаяние, и когда один из собутыльников сказал ему, что он пьян, он ничуть не усомнился в его словах и только просил найти ему извозчика, а те думали, что он говорит по-«московитски»!

Никогда еще не случилось ему быть в такой простой и грубой компании. «Подумаешь, право, что мы вернулись ко временам язычества. Это ужаснейшая минута в моей жизни!»

Тут ему пришло в голову подлезть под стол, ползком добраться до двери и незаметно ускользнуть на улицу. Он уже был почти у дверей, как вдруг остальные гости заметили его намерение и схватили его за ноги. О счастье! Калоши снялись с ног, а с ними исчезло и все колдовство!

Советник ясно увидел перед собой зажженный фонарь и большой дом, он узнал и этот дом, и все соседние, узнал Восточную улицу; сам он лежал на панели, упираясь ногами в чьи-то ворота, а возле него сидел и похрапывал ночной сторож.

– Боже ты мой! Так я заснул на улице! – сказал советник. – Да, да, это Восточная улица! Как тут светло и хорошо! Нет, это просто ужасно, что может наделать один стакан пунша!

Минуты две спустя он уже ехал на извозчике в Кристианову гавань и, вспоминая дорогой только что пережитые им страх и ужас, от всего сердца восхвалял счастливую действительность нашего времени, которая со всеми своими недостатками все-таки куда лучше той, в которой ему довелось сейчас побывать. Да, теперь он признавал это, и нельзя сказать, чтобы не поступал благоразумно.

### **3. Приключения ночного сторожа**

– Никак пара калош лежит! – сказал ночной сторож. – Должно быть, того офицера, что наверху живет. У самых ворот оставил!

Почтенный сторож охотно позвонил бы и отдал калоши владельцу – тем более что в окне у того еще виднелся огонь, – да побоялся

разбудить других жильцов в доме и не пошел.

– Удобно, должно быть, в таких штуках! – сказал он. – Кожа-то какая мягкая!

Калоши пришлись ему как раз по ногам, и он остался в них.

– А чудно, право, бывает на белом свете! Вот хоть бы офицер этот, шляется себе взад и вперед по комнате вместо того, чтобы спать в теплой постели! Счастливец! Нет у него ни жены, ни ребят! Каждый вечер в гостях! Будь я на его месте, я был бы куда счастливее!

Он сказал, а калоши сделали свое дело, и ночной сторож стал офицером и телом и душою.

Офицер стоял посреди комнаты с клочком розовой бумажки в руках. На бумажке были написаны стихи, сочинения самого господина офицера. На кого не находят минуты поэтического настроения? А выльешь в такую минуту свои мысли на бумагу, и выйдут стихи. Вот что было написано на розовой бумажке:

«Будь я богат, я б офицером стал, –  
Я мальчуганом часто повторял, –  
Надел бы саблю, каску я и шпоры  
И привлекал бы все сердца и взоры!»  
Теперь ношу желанные уборы,  
При них по-прежнему карман пустой,  
Но ты со мною, Боже мой!

Веселым юношей сидел я раз  
С малюткой девочкой в вечерний час.  
Я сказки говорил, она внимала,  
Потом меня, обняв, расцеловала.  
Дитя богатства вовсе не желало,  
Я ж был богат фантазией одной;  
Ты знаешь это, Боже мой!

«Будь я богат!» – вздыхаю я опять.  
Дитя девицею успело стать.

И как умна, как хороша собою,  
Люблю, люблю ее я всей душою!  
Но беден я и страсти не открою,  
Молчу, вступить не смея в спор с судьбой;  
Ты хочешь так, о Боже мой!

Будь я богат, счастливым бы я стал  
И жалоб бы в стихах не изливал.  
О, если бы сердечком угадала  
Она любовь мою иль прочитала,  
Что здесь пишу!.. Нет, лучше, чтоб не знала,  
Я не хочу смутить ее покой.  
Спаси ж ее, о Боже мой!

Да, такие стихи пишут многие влюбленные, но благоразумные люди их не печатают. Офицер, любовь, бедность – вот треугольник или, вернее, половинка разбитой игральной кости счастья. Так оно казалось и самому офицеру, и он, глубоко вздыхая, прислонился головой к окну.

– Бедняк ночной сторож и тот счастливее меня! Он не знает моих мучений! У него есть свой угол, жена и дети, которые делят с ним и горе и радость. Ах, будь я на его месте, я был бы счастливее!

В ту же минуту ночной сторож стал опять сторожем; он ведь сделался офицером только благодаря калошам, но, как мы видели, почувствовал себя еще несчастнее и захотел лучше быть тем, чем был на самом деле. Итак, ночной сторож стал опять ночным сторожем.



– Фу, какой гадкий сон приснился мне! – сказал он. – Довольно забавный, впрочем! Мне чудилось, что я будто бы и есть тот офицер, который живет там, наверху, и мне было совсем не весело! Мне недоставало жены и моих ребятишек, готовых зацеловать меня до смерти!

И ночной сторож опять заклевал носом, но сон все не выходил у него из головы. Калоши оставались у него на ногах.

Вдруг с неба скатилась звезда.

– Ишь, покатила! – сказал он. – Ну, да их много еще осталось! А посмотрел бы я эти штучки поближе, особенно месяц; тот уж не проскочит между пальцев! По смерти, говорит студент, на которого стирает жена, мы будем перелетать с одной звезды на другую. Это неправда, а то забавно было бы! Вот если бы мне удалось прыгнуть туда сейчас, а тело пусть бы лежало тут, на ступеньках!

Есть вещи, которые вообще надо высказывать с опаской, особенно если у тебя на ногах калоши счастья. Вот послушайте-ка, что случилось с ночным сторожем!

Все мы, люди, или почти все имеем понятие о скорости движения посредством пара, – кто не ездил по железным дорогам или на корабле по морю? Но эта скорость все равно что скорость ленивца-

тихохода или улитки в сравнении со скоростью света. Свет бежит в девятнадцать миллионов раз быстрее самого резвого рысака, а электричество так и еще быстрее. Смерть – электрический удар в сердце, освобождающий нашу душу, которая и улетает из тела на крыльях электричества. Солнечный луч в восемь минут с секундами пробегает более двадцати миллионов миль, но электричество мчит душу еще быстрее, и ей, чтобы облететь то же пространство, нужно еще меньше времени.

Расстояние между различными светилами значит для нашей души не больше, чем для нас расстояние между домами наших друзей, даже если последние живут на одной и той же улице. Но такой электрический удар в сердце стоит нам жизни, если у нас нет, как у ночного сторожа на ногах, калош счастья.

В несколько секунд ночной сторож пролетел пятьдесят две тысячи миль, отделяющих Землю от Луны, которая, как известно, состоит из менее плотного вещества, нежели наша Земля, и мягка, как только что выпавший снег. Ночной сторож опустился на одной из бесчисленных лунных гор, которые мы знаем по лунным картам доктора Медлера, – ты ведь тоже знаешь их? В котловине, лежавшей на целую датскую милю ниже подошвы горы, виднелся город с воздушными, прозрачными башнями, куполами и парусообразными балконами, веявшими в редком воздухе; на взгляд все это было похоже на выпущенный в стакан воды яичный белок; над головой ночного сторожа плыла наша Земля в виде большого огненно-красного шара.

На Луне было много жителей, которых по-нашему следовало бы назвать людьми, но у них был совсем другой вид и свой особый язык, и хотя никто не может требовать, чтобы душа ночного сторожа понимала лунный язык, она все-таки понимала его.

Лунные жители спорили о нашей Земле и сомневались в ее обитаемости – воздух на Земле был слишком густ, чтобы на ней могло существовать разумное лунное создание. По их мнению, Луна была единственно обитаемой планетой и колыбелью первого поколения планетных жителей.

Но вернемся на Восточную улицу и посмотрим, что было с телом ночного сторожа.

Безжизненное тело по-прежнему сидело на ступеньках, палка сторожа, или, как ее зовут у нас, «утренняя звезда», выпала из рук, а

глаза остановились на луне, где путешествовала душа.

– Какой час? – спросил ночного сторожа какой-то прохожий и, конечно, не дождался ответа. Тогда прохожий легонько щелкнул сторожа по носу; тело потеряло равновесие и растянулось во всю длину – ночной сторож был мертв. Прохожий перепугался, но мертвый остался мертвым; заявили в полицию и утром тело отвезли в больницу.

Вот была бы штука, если бы душа вернулась и стала искать тело там, где оставила его, то есть на Восточной улице! Она, наверное, бросилась бы в полицию, а потом в контору объявлений искать его в отделе потерянных вещей и, наконец, уже отправилась бы в больницу. Не стоит, однако, беспокоиться, душа поступает куда умнее, если действует самостоятельно, – только тело делает ее глупой.

Как сказано, тело ночного сторожа привезли в больницу и внесли в приемный покой, где, конечно, первым долгом сняли с него калоши, и душе пришлось вернуться обратно; она сразу нашла дорогу в тело, и раз, два – человек ожил! Он уверял потом, что пережил ужаснейшую ночь в жизни; даже за две серебряные марки не согласился бы он пережить такие страсти во второй раз; но теперь дело было, слава богу, закончено.

В тот же день его выписали из больницы, а калоши остались там.

#### **4. «Головоломное» дело. В высшей степени необычайное путешествие**



Всякий копенгагенец, конечно, знает наружный вид больницы Фредрика, но, может быть, историю эту прочтут не только копенгагенцы, поэтому нужно дать маленькое описание.

Больница отделена от улицы довольно высокою решеткой из толстых железных прутьев, расставленных настолько редко, что, как говорят, многие тощие студенты-медики могли отлично протискиваться между ними, когда им нужно было сделать в неурочный час маленький визит по соседству. Труднее всего в таких случаях было просунуть голову, так что и тут, как вообще часто в жизни, малоголовые оказывались счастливыми.

Ну вот, для вступления и довольно.

В этот вечер в больнице дежурил как раз такой молодой студент, о котором лишь в физическом смысле сказали бы, что он из числа головастых. Шел проливной дождь, но, несмотря на это неудобство, студенту все-таки понадобилось уйти с дежурства – всего на четверть часа, так что не стоило, по его мнению, и беспокоить привратника, тем более что можно было попросту проскользнуть через решетку.



Калоши, забытые сторожем, все еще оставались в больнице; студенту и в голову не приходило, что это калоши счастья, но они были как раз кстати в такую дурную погоду, и он надел их. Теперь оставалось только пролезть между железными прутьями, чего ему еще ни разу не случалось пробовать.

– Помоги Бог только просунуть голову! – сказал студент, и голова его, несмотря на всю свою величину и толщину, сразу проскочила между прутьями, – это было дело калош.

Теперь очередь была за туловищем, но с ним-то и пришлось повозиться.

– Ух! Я чересчур толст! – сказал студент. – А я думал, что труднее всего будет просунуть голову! Нет, мне не пролезть!

И он хотел было поскорее выдернуть голову обратно, но не тут-то было. Шею он мог поворачивать как угодно, но на этом дело и кончалось. Сначала студент наш рассердился, но потом расположение его духа быстро упало на нуль. Калоши счастья поставили его в ужаснейшее положение, и, к несчастью, ему не приходило в голову пожелать освободиться; он только неустанно вертел шеей и – не двигался с места. Дождь лил как из ведра, на улицах не было ни души, до колокольчика, висевшего у ворот, дотянуться было невозможно – как тут освободиться! Он предвидел, что ему, пожалуй, придется простоять в таком положении до утра и тогда уж послать за кузнецом, чтобы он перепилил прутья. Дело, однако, делается не так-то скоро, и пока то да се – успеют подняться на ноги все школьники и жители Новой слободки; все сбегутся и увидят его в этой позорной железной клетке!

– Уф! Кровь так и стучит в виски! Я готов с ума сойти! Да и сойду! Ах, если бы мне только удалось освободиться!

Следовало бы ему сказать это пораньше! В ту же минуту голова его освободилась, и он опрометью кинулся назад, совсем ошалев от страха, который только что испытал благодаря калошам счастья.

Не думайте, однако, что дело этим и кончилось, – нет, будет еще хуже.

Прошла ночь, прошел день, а за калошами никто не являлся.

Вечером давалось представление в маленьком театре на улице Каноников. Театр был полон; между прочими номерами представления было продекламировано стихотворение «Тетушкины

очки»; в нем говорилось о чудесных очках, в которые можно было видеть будущее.

Стихотворение было прочитано превосходно, и чтец имел большой успех. Среди публики находился и наш студент-медик, который, казалось, успел уже позабыть приключение предыдущего вечера. Калоши опять были у него на ногах – за ними никто не пришел, а на улицах было грязно, и они опять сослужили ему службу.

Стихотворение очень ему понравилось.

Он был бы не прочь иметь такие очки: надев их, пожалуй, можно было бы, при известном искусстве, читать в сердцах людей, а это ведь еще интереснее, нежели провидеть будущее, – последнее и без того узнается в свое время.

«Вот, например, – думал студент, – тут, на первой скамейке, целый ряд зрителей; что, если бы проникнуть в сердце каждого? В него, вероятно, есть же какой-нибудь вход, – вроде как в лавочку, что ли!.. Ну и посмотрелся бы я! Вот у этой барыни я, наверно, нашел бы в сердце целый модный магазин! У этой – лавочка оказалась бы пустой; не мешало бы только почистить ее хорошенько! Но, конечно, нашлись бы и солидные магазины! Ах! Я даже знаю один такой, но... в нем уже есть приказчик! Вот единственный недостаток этого чудного магазина! А из многих, я думаю, закричали бы: „К нам, к нам, пожалуйста!“ Да, я бы с удовольствием прогулялся по сердцам, в виде маленькой мысли, например».

Калошам только того и надо было. Студент вдруг весь съежился и начал в высшей степени необычайное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, куда он попал, принадлежало даме, но в первую минуту ему почудилось, что он в ортопедическом институте – так называется заведение, где доктора лечат людей с разными физическими недостатками и уродливостями, – и в той именно комнате, где по стенам развешаны гипсовые слепки с уродливых частей человеческого тела; вся разница была в том, что в институте слепки снимаются, когда пациент приходит туда, а в сердце этой дамы они делались уже по уходе добрых людей: тут хранились слепки физических и духовных недостатков ее подруг.

Скоро студент перебрался в другое женское сердце, но это сердце показалось ему просторным, святым храмом; белый голубь невинности парил над алтарем. Он охотно преклонил бы здесь колени,

но нужно было продолжать путешествие. Звуки церковного органа еще раздавались у него в ушах, он чувствовал себя точно обновленным, просветленным и достойным войти в следующее святилище. Это последнее показалось ему бедною каморкой, где лежала больная мать; через открытое окно сияло теплое солнышко, из маленького ящичка на крыше кивали головками чудесные розы, а две небесно-голубые птички пели о детской радости, в то время как больная мать молилась за дочь.

Вслед за тем он на четвереньках переполз в битком набитую мясную лавку, где всюду натыкался на одно мясо; это было сердце богатого, всеми уважаемого человека, имя которого можно найти в адрес-календаре.

Оттуда студент попал в сердце его супруги; это была старая, полуразвалившаяся голубятня; портрет мужа служил флюгером; к нему была привязана входная дверь, которая то отворялась, то запиралась, смотря по тому, в которую сторону повертывался супруг.

Потом студент очутился в зеркальной комнате, вроде той, что находится в Росенбургском дворце, но зеркала увеличивали все в невероятной степени, а посреди комнаты сидело, точно какой-то далай-лама, ничтожное «я» данной особы и благоговейно созерцало свое собственное величие.

Затем ему показалось, что он перешел в узкий игольник, полный острых иголок. Он подумал было, что попал в сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся, — это было сердце молодого военного, украшенного орденами и слывшего за «человека с умом и сердцем».

Совсем ошеломленный, очутился, наконец, несчастный студент на своем месте и долго-долго не мог опомниться, — нет, положительно фантазия его уж чересчур разыгралась!

«Господи боже мой! — вздыхал он про себя. — Я, кажется, в самом деле начинаю сходить с ума. Да и что за непозволительная жара здесь! Кровь так и стучит в виски! — Тут ему вспомнилось вчерашнее приключение, когда голова у него застряла меж прутьев больничной решетки. — Да, да, вот оно, начало всего! — думал он. — Надо вовремя принять меры. Особенно помогает в таких случаях русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке!»

В ту же минуту он и лежал там, но лежал одетый, в сапогах и калошах; на лицо ему капала с потолка горячая вода.

– Уф! – закричал он и побежал взять душ.

Банщик тоже громко закричал, увидав в бане одетого человека.

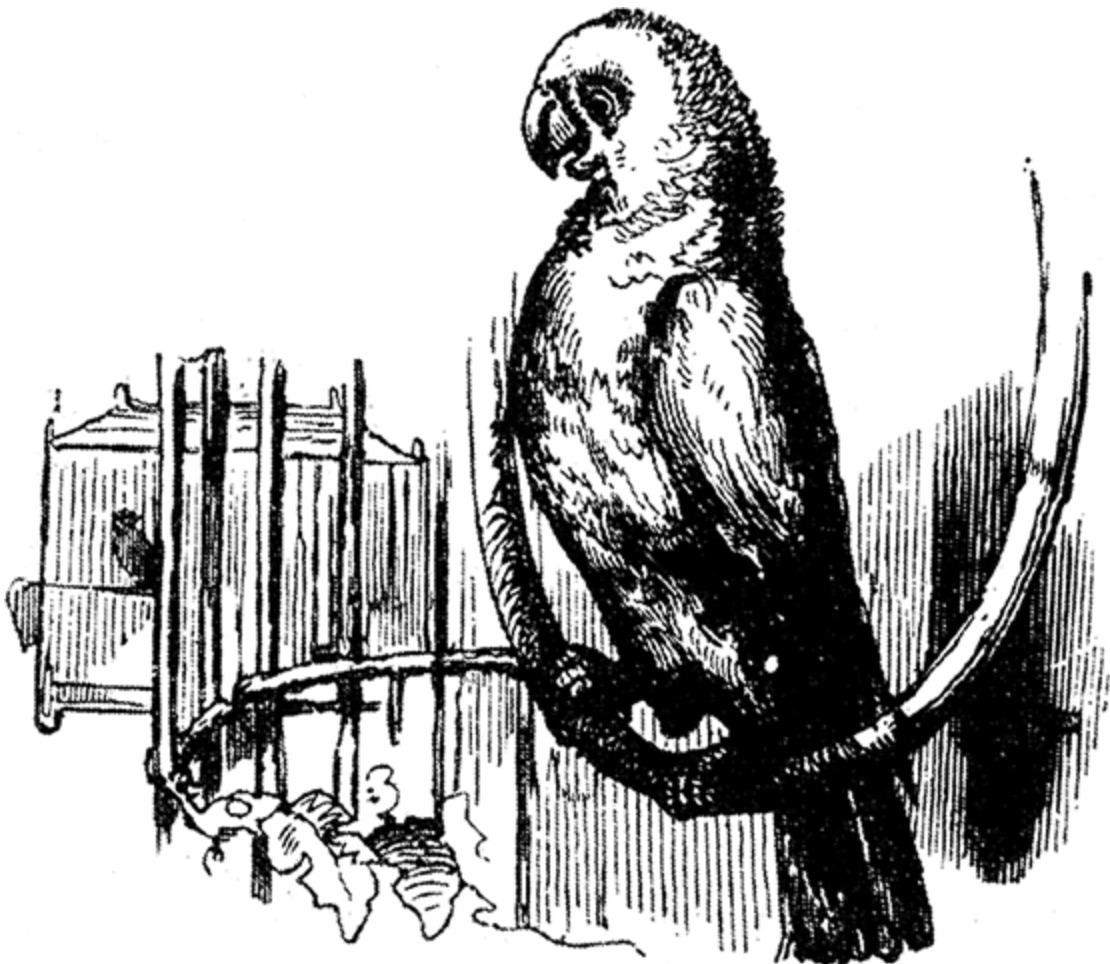
Студент, однако, не растерялся и шепнул ему:

– Это на пари!

Придя домой, он, однако, закатил себе две шпанских мушки, одну на шею, другую на спину, чтобы выгнать помешательство.

Наутро вся спина у него была в крови; вот и все, что принесли ему калоши счастья.

## 5. Превращение письмоводителя



Ночной сторож, которого мы, может быть, еще не забыли, вспомнил между тем о найденных и затем оставленных им в больнице калошах

и явился за ними. Ни офицер, ни кто другой из обывателей той улицы не признал, однако, их за свои, и калоши снесли в полицию.

– Точь-в-точь мои, – сказал один из господ полицейских писмоводителей, рассматривая находку и свои собственные калоши, стоявшие рядом, – сам мастер не отличил бы их друг от друга!

– Господин писмоводитель! – сказал вошедший с бумагами полицейский.

Писмоводитель обернулся к нему и поговорил с ним, а когда вновь взглянул на калоши, то уже и сам не знал, которые были его собственными: те ли, что стояли слева, или что справа?

«Должно быть, вот эти мокрые – мои!» – подумал он, да и ошибся: это были как раз калоши счастья; но почему ж бы и служителю полиции не ошибиться иногда? Он надел их, сунул некоторые бумаги в карман, другие взял под мышку – ему надо было просмотреть и переписать их дома. День был воскресный, погода стояла хорошая, и он подумал, что недурно будет прогуляться в Фредриксбергский сад.

Пожелаем же этому тихому, трудолюбивому молодому человеку приятной прогулки – ему вообще полезно было прогуляться после продолжительного сидения в канцелярии.

Сначала он шел, не думая ни о чем, так что калошам не было еще случая проявить свою волшебную силу.

В аллее писмоводитель встретил молодого поэта, который сообщил ему, что уезжает путешествовать.

– Опять уезжаете! – сказал писмоводитель. – Счастливый вы народ, свободный! Порхаете себе куда хотите, не то что мы! У нас цепи на ногах!

– Они приковывают вас к хлебному местечку! – отвечал поэт. – Вам не нужно заботиться о завтрашнем дне, а под старость получите пенсию!

– Нет, все-таки вам живется лучше! – сказал писмоводитель. – Писать стихи – это удовольствие! Все вас расхваливают, и к тому же вы сами себе господа! А вот попробовали бы вы посидеть в канцелярии да повозиться с этими пошлыми делами!

Поэт покачал головой, писмоводитель тоже, каждый остался при своем мнении, с тем они и распрощались.

«Совсем особый народ эти поэты! – подумал писмоводитель. – Хотелось бы мне побывать на их месте, самому стать поэтом. Уж я бы

не писал таких ноющих стихов, как другие! Сегодня как раз настоящий весенний день для поэта! Воздух как-то необыкновенно прозрачен, и облака удивительно красивы! А что за запах, что за благоухание! Да, никогда еще я не чувствовал себя так, как сегодня!»

Замечаете? Он уже стал поэтом, хотя на вид и не изменился нисколько: нелепо ведь предполагать, что поэты – какая-то особая порода людей; и между обыкновенными смертными могут встречаться натуры куда более поэтические, нежели многие признанные поэты; вся разница в том, что у поэтов более счастливая духовная память, позволяющая им крепко хранить в своей душе идеи и чувства до тех пор, пока они, наконец, ясно и точно не выльются в словах и образах. Сделаться из простого, обыкновенного человека поэтической натурой, впрочем, все же своего рода превращение, и вот оно-то и произошло с письмоводителем.

«Какой чудный аромат! – думал он. – Мне вспоминаются фиалки тетушки Лоны! Да, я был тогда еще ребенком! Господи, сколько лет я не вспоминал о ней! Добрая старая тетушка! Она жила там, за Биржей! У нее всегда, даже в самые лютые зимы, стояли в воде какие-нибудь зелененькие веточки или отростки. Фиалки так и благоухали, а я прикладывал к замерзшим оконным стеклам нагретые медные монетки, чтобы оттаять себе маленькие кругленькие отверстия для глаз. Вот была панорама! На канале стояли пустые зазимовавшие корабли со стоями каркавших ворон вместо команды. Но вот наступала весна, и на них закипала работа, раздавались песни и дружные «ура» рабочих, подрубавших вокруг кораблей лед; корабли смолились, конопатились и затем отплывали в чужие страны. А я оставался! Мне было суждено вечно сидеть в канцелярии и только смотреть, как другие выправляли себе заграничные паспорта! Вот моя доля! Увы!»

Тут он глубоко вздохнул и затем вдруг приостановился.

«Что это, право, делается со мной сегодня? Никогда еще не задавался я такими мыслями и чувствами! Это, должно быть, действие весеннего воздуха! И жутко и приятно на душе! – И он схватился за бумаги, бывшие у него в кармане. – Бумаги дадут моим мыслям другое направление. – Но, бросив взгляд на первый же лист, он прочел: „Сигбрита, трагедия в 5 действиях“. – Что такое?! Почерк, однако, мой... Неужели я написал трагедию? А это что? „Интрижка на

валу, водевиль”. Нет, откуда же все это? Кто это подсунул мне? А вот еще письмо!»

Письмо было не из вежливых; автором его была театральная дирекция, забраковавшая обе упомянутые пьесы.

– Гм! Гм! – произнес письмоводитель и присел на скамейку.

Мысли у него так и играли, душа была как-то особенно мягко и нежно настроена; машинально сорвал он какой-то росший возле цветочек и засмотрелся на него. Это была простая ромашка, но в одну минуту она успела рассказать ему столько, сколько нам в пору узнать на нескольких лекциях ботаники. Она рассказала ему чудесную повесть о своем появлении на свет, о волшебной силе солнечного света, заставившего распуститься и благоухать ее нежные лепесточки. Поэт же в это время думал о жизненной борьбе, пробуждающей дремлющие в груди человека силы. Да, воздух и свет – возлюбленные цветка, но свет является избранником, к которому постоянно тянется цветок; когда же свет гаснет, цветок свертывает свои лепестки и засыпает в объятиях воздуха.

– Свету я обязана своею красотой! – говорила ромашка.

– А чем бы ты дышала без воздуха? – шепнул ей поэт.

Неподалеку от него стоял мальчуган и шлепал палкой по канавке; брызги мутной воды так и летели в зеленую траву, и письмоводитель стал думать о миллионах невидимых организмов, взлетающих вместе с каплями воды на заоблачную для них – в сравнении с их собственной величиной – высоту. Думая об этом и о том превращении, которое произошло с ним сегодня, письмоводитель улыбнулся: «Я просто сплю и вижу сон! Удивительно, однако, до чего сон может быть живым! И все-таки я отлично сознаю, что это только сон. Хорошо, если бы я вспомнил завтра поутру все, что теперь чувствую; теперь я удивительно хорошо настроен: смотрю на все как-то особенно здраво и ясно, чувствую какой-то особый подъем духа. Увы! Я уверен, что к утру в воспоминании у меня останется одна чепуха! Это уже не раз бывало! Все эти умные, дивные вещи, которые слышишь и сам говоришь во сне, похожи на золото гномов, – при дневном свете оно оказывается кучею камней и сухих листьев. Увы!»

Письмоводитель грустно вздохнул и поплядел на весело распевавших и перепархивавших с ветки на ветку птичек.

«Им живется куда лучше нашего! Умение летать – завидный дар! Счастлив, кто родился с ним! Если бы я мог превратиться во что-нибудь, я пожелал бы быть таким маленьким жаворонком!»

В ту же минуту рукава и фалды его сюртука сложились в крылья, платье стало перышками, а калоши когтями. Он отлично заметил все это и засмеялся про себя: «Ну, теперь я вижу, что сплю! Но таких смешных снов мне еще не случалось видеть!» Затем он взлетел на дерево и запел, но в его пении уже не было поэзии – он перестал быть поэтом: калоши, как и всякий, кто относится к делу серьезно, могли исполнять только одно дело зараз: хотел он стать поэтом и стал, захотел превратиться в птичку и превратился, но зато утратил уже прежний свой дар.

«Недурно! – подумал он. – Днем я сижу в полиции, занятый самыми важными делами, а ночью мне снится, что я летаю жаворонком в Фредриксбергском саду! Вот сюжет для народной комедии!»

И он слетел на траву, вертел головкой и пощипывал клювом гибкие стебельки, казавшиеся ему теперь огромными пальмовыми ветвями.

Вдруг кругом него сделалось темно, как ночью, – на него был брошен какой-то огромный, как ему показалось, предмет; это мальчуган накрыл его своей фуражкой. Под фуражку подлезла рука и схватила письмоводителя за хвост и за крылья, так что он запищал, а затем громко крикнул:

– Ах ты, бессовестный мальчишка! Ведь я полицейский письмоводитель!

Но мальчуган расслышал только «пип-пип», щелкнул птицу по клюву и пошел с ней своею дорогой.

В аллее встретились ему два школьника из высшего класса, то есть по положению в обществе, а не в школе. Они купили птицу за восемь скиллингов, и вот письмоводитель вновь вернулся в город и попал в одно семейство, жившее на Готской улице.

«Хорошо, что это сон, – думал письмоводитель, – не то бы я, право, рассердился! Сперва я был поэтом, потом стал жаворонком! Моя поэтическая натура и заставила меня пожелать превратиться в это крошечное созданище! Довольно печальная участь, однако! Особенно если попадешь в лапы мальчишек. Но любопытно все-таки узнать, чем все это кончится?»



Мальчишки принесли его в богато убранную гостиную, где их встретила толстая улыбающаяся барыня; она не особенно обрадовалась простой полевой птице, так она назвала жаворонка, хотя и позволила посадить его на время в пустую клетку, стоявшую на окне.

– Может быть, она позабавит попочку! – сказала барыня и улыбнулась большому зеленому попугаю, важно качавшемуся в кольце в своей великолепной металлической клетке. – Сегодня попочкино рождение, – продолжала она глупо-наивным тоном, – и полевая птичка пришла его поздравить!

Попочка не ответил ни слова, продолжая качаться взад и вперед, зато громко запела хорошенькая канарейка, только прошлым летом привезенная с своей теплой, благоухающей родины.

– Крикунья! – сказала барыня и набросила на клетку белый носовой платок.

– Пип, пип! Какая ужасная метель! – вздохнула канарейка и умолкла.

Письмоводитель, или, как назвала его барыня, полевая птица, был посажен в клетку, стоявшую рядом с клеткой канарейки и недалеко от попугая. Единственное, что попугай мог прокартавить человеческим голосом, была фраза, звучавшая иногда очень комично: «Нет уж, будем людьми!» Все остальное выходило у него так же непонятно, как и щебетание канарейки; непонятно для людей, а не для письмоводителя, который сам был теперь птицей и отлично понимал своих собратьев.

– Я летала под тенью зеленых пальм и цветущих миндальных деревьев! – пела канарейка. – Я летала со своими братьями и сестрами над роскошными цветами и тихими зеркальными водами озер, откуда нам приветливо кивал зеленый тростник. Я видела там прелестных попугаев, умевших рассказывать забавные сказки, без конца, без счета!

– Дикие птицы! – ответил попугай. – Без всякого образования. Нет уж, будем людьми!.. Что ж ты не смеешься? Если это смешит госпожу и всех гостей, то и ты, кажется, могла бы засмеяться! Это большой недостаток – не уметь ценить забавных острот. Нет уж, будем людьми!

– Помнишь ли ты красивых девушек, плясавших под сенью усыпанных цветами деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный

сок диких растений?

– О да! – сказал попугай. – Но здесь мне гораздо лучше! Меня хорошо кормят, и я свой в доме. Я знаю, что я малый с головой, и этого с меня довольно. Нет уж, будем людьми! У тебя, что называется, поэтическая натура, я же обладаю основательными познаниями и к тому же остроумен. В тебе есть гений, но тебе не хватает рассудительности, ты берешь всегда чересчур высокие ноты, и тебе за это зажимают рот. Со мной этого не случится – я обошелся им подороже! К тому же я внушаю им уважение своим клювом и остер на язык! Нет уж, будем людьми!

– О моя теплая, цветущая родина! – пела канарейка. – Я стану воспевать твои темно-зеленые леса, твои тихие заливы, где ветви лобызают прозрачные волны, где растут «водоемы пустыни»; стану воспевать радость моих блестящих братьев и сестер!

– Оставь ты свои ахи и охи! – сказал попугай. – Состри-ка лучше да посмеши нас! Смех – признак высшего умственного развития. Ведь ни лошадь, ни собака не смеются, они могут только плакать; смех – это высший дар, отличающий человека! Хо, хо, хо! – захохотал попугай и опять сострил: – Нет уж, будем людьми!

– И ты попалась в плен, серенькая датская птичка! – сказала канарейка жаворонку. – В твоих лесах, конечно, холодно, но все же ты была там свободна! Улетай же! Смотри, они забыли запереть тебя; форточка открыта, улетай, улетай!

Письмоводитель так и сделал, выпорхнул и сел на клетку. В эту минуту в полуоткрытую дверь скользнула из соседней комнаты кошка с зелеными сверкающими глазами и бросилась на него. Канарейка забилась в клетке, попугай захлопал крыльями и закричал:

– Нет уж, будем людьми!

Письмоводителя охватил смертельный ужас, и он полетел в форточку на улицу, летел, летел, наконец устал и захотел отдохнуть.

Соседний дом показался ему знакомым; одно окно было открыто, он влетел в комнату – это была его собственная комната – и сел на стол.

– Нет уж, будем людьми! – сказал он, бессознательно повторяя остроту попугая, и в ту же минуту стал опять письмоводителем, но оказалось, что он сидит на столе!

– Господи помилуй! – сказал он. – Как это я попал сюда да еще заснул! И какой сон приснился мне! Вот чепуха-то!

## 6. Лучшее, что сделали калоши



На другой день, рано утром, когда письмоводитель еще лежал в постели, в дверь постучали и вошел сосед его, студент-богослов.

– Одолжи мне твои калоши! – сказал он. – В саду еще сыро, но солнышко так и сияет, – пойду выкурить на воздухе трубочку!

Надев калоши, он живо сошел в сад, в котором было одно грушевое и одно сливовое дерево, но даже и такой садик считается в Копенгагене большой роскошью.

Богослов ходил взад и вперед по дорожке; было всего шесть часов утра; с улицы донесся звук почтового рога.

– О, путешествовать, путешествовать! Лучше этого нет ничего в мире! – промолвил он. – Это высшая, заветная цель моих стремлений! Удастся мне достигнуть ее, и эта внутренняя тревога моего сердца и помыслов уляжется. Но я так и рвусь вдаль! Дальше, дальше... видеть чудную Швейцарию, Италию...

Да, хорошо, что калоши действовали немедленно, не то он забрался бы, пожалуй, чересчур далеко и для себя, и для нас! И вот он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в дилижанс вместе с восьмью другими пассажирами. У него болела голова, ныла спина, ноги затекли и распухли, сапоги жали нестерпимо. Он не то спал, не то бодрствовал. В правом боковом кармане у него лежали переводные векселя на банкирские конторы, в левом паспорт, а на груди мешочек с зашитыми в нем золотыми монетами; стоило богослову задремать, и ему чудилось, что та или другая из этих драгоценностей потеряна; дрожь пробегала у него по спине, и рука лихорадочно описывала треугольник – справа налево и на грудь, – чтобы удостовериться в целостности всех своих сокровищ. В сетке под потолком дилижанса болтались зонтики и шляпы и порядочно мешали ему любоваться дивными окрестностями. Он смотрел, смотрел, а в ушах его так и звучало четверостишие, которое сложил во время путешествия по Швейцарии, не предназначая его, однако, для печати, один небезызвестный нам поэт:

Да, хорошо здесь! И Монблан  
Я вижу пред собой, друзья!  
Когда б к тому тугой карман,  
Вполне счастливец был бы я!

Окружающая природа была сурово-величава; сосновые леса на вершинах высоких гор казались каким-то вереском; начал порошить снег, подул резкий холодный ветер.

– Брр! Если бы мы были по ту сторону Альп, у нас было бы уже лето, а я получил бы деньги по моим векселям! Из страха потерять их я и не могу как следует наслаждаться Швейцарией. Ах, если б мы уже были по ту сторону Альп!

И он очутился по ту сторону Альп, в середине Италии, между Флоренцией и Римом. Тразименское озеро было освещено вечерним солнцем; здесь, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, цеплялись друг за друга своими зелеными пальчиками виноградные лозы; прелестные полунагие дети пасли на дороге, под тенью цветущих лавровых деревьев, черных как смоль свиней. Да, если изобразить все это красками на полотне, все заахали бы: «Ах, чудная Италия!» Но ни богослов, ни его дорожные товарищи, сидевшие в почтовой карете, не говорили этого.

В воздухе носились тучи ядовитых мух и комаров; напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками, насекомые кусали и жалили их немилосердно; в карете не оставалось ни одного человека, у которого бы не было искусано и не распухло все лицо. Бедные лошади походили на какую-то падаль — мухи облепили их роями; кучер иной раз слезал с козел и стогнал с несчастных животных их мучителей, но только на минуту. Но вот солнце село, и путников охватил леденящий холод; это было совсем неприятно, зато облака и горы окрасились в чудные блестящие зеленоватые тона. Да, надо видеть все это самому: никакие описания не могут дать об этом настоящего понятия. Зрелище было бесподобное, с этим согласились все пассажиры, но... желудок был пуст, все тело просило отдыха, все мечты неслись к ночлегу, а каков-то еще он будет? И все больше занимались этими вопросами, нежели красотами природы.

Дорога лежала через оливковую рощу, и богослову казалось, что он едет между родными узловатыми ивами; наконец, добрались до одинокой гостиницы. У входа расположилось с десяток нищих калек; самый бодрый из них смотрел «достигшим совершеннолетия старшим сыном голода», другие были или слепы, или с высохшими ногами и ползали на руках, или с изуродованными руками без пальцев. Из лохмотьев их так и глядела голая нищета. «Eccellenza, miserabili!»<sup>[8]</sup> — стонали они и выставляли напоказ изуродованные члены. Сама хозяйка гостиницы встретила путешественников босая, с непричесанной головой и в какой-то грязной блузе. Двери были без задвижек и связывались попросту веревочками, кирпичный пол в комнатах был весь в ямах, на потолках гнездились летучие мыши, а уж воздух!..

– Пусть накроют нам стол в конюшне! – сказал один из путников. – Там все-таки знаешь, чем дышишь!

Открыли окна, чтобы впустить в комнаты свежего воздуха, но его опередили иссохшие руки и непрерывное нытье: «Eccellenza, miserabili!» Все стены были покрыты надписями; половина из них бранила bella Italia<sup>[9]</sup>!

Подали обед: водянистый суп, приправленный перцем и прогорклым оливковым маслом, салат с таким же маслом, затем, как главные блюда, протухшие яйца и жареные петушки гребешки; вино и то отзывалось микстурой.

На ночь двери были заставлены чемоданами; один из путешественников стал на караул, другие же заснули. Караульным пришлось быть богослову. Фу, какая духота была в комнатах! Жара томила, комары кусались, miserabili стонали во сне!

– Да, путешествие – вещь хорошая! – вздохнул богослов. – Только бы у нас не было тела! Пусть бы оно себе отдыхало, а душа летала повсюду. А то, куда я ни явлюсь, в душе все та же тоска, та же тревога... Я стремлюсь к чему-то лучшему, высшему, нежели все эти земные мгновенные радости. Да, к лучшему, но где оно и в чем?.. Нет, я знаю, в сущности, чего я хочу! Я хочу достигнуть блаженной цели земного странствования!

Слово было сказано, и он был уже на родине, у себя дома; длинные белые занавеси были спущены, и посреди комнаты стоял черный гроб; в нем лежал богослов. Его желание было исполнено: тело отдыхало, душа странствовала. «Никто не может назваться счастливым, пока не сойдет в могилу!» – сказал Солон, и его слова подтвердились еще раз.

Каждый умерший представляет собой загадку, бросаемую нам в лицо вечностью, и эта человеческая загадка в черном гробу не отвечала нам на вопросы, которые задавал сам человек за каких-нибудь два-три дня до смерти.

О смерть всеильная, немая,  
Твой след – могилы без конца!  
Увы, ужели жизнь земная  
Моя увянет, как трава?  
Ужели мысль, что к небу смело

Стремится, сгинет без следа?  
Иль купит дух страданием тела  
Себе бессмертия венец?..

В комнате появились две женские фигуры; мы знаем обеих, то были фея Печали и посланница Счастья; они склонились над умершим.

– Ну, – сказала Печаль, – много счастья принесли твои калоши человечеству?

– Что ж, вот этому человеку, что лежит тут, они доставили прочное счастье! – отвечала Счастье.

– Нет! – сказала Печаль. – Он ушел из мира самовольно, не быв отозванным! Его духовные силы не развились и не окрепли еще настолько, чтобы он мог унаследовать те небесные сокровища, которые были ему уготованы. Я окажу ему благодеяние!

И она стащила с ног умершего калоши; смертный сон был прерван, и воскресший встал. Печаль исчезла, а с ней и калоши; она, должно быть, сочла их своей собственностью.

## Ромашка



Вот послушайте-ка!

За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем – желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был всего только понедельник; все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и



училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы, училась познавать благодать Божью. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его звонких песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую певунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все! — думала она. — Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки — им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавки. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава богу, что я стою так близко — увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квир-квир-вит», и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в травку, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!»

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно белые лепестки отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы — они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить, — досталось бы от них ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать

их один за другим. Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепесточки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветочек опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попала в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о воздушном просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце – она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепесточки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно.

– Вот здесь можно вырезать славный кусочек дерна для нашего жаворонка! – сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

– Давай вырвем цветок! – сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

– Нет, пусть лучше останется! – сказал первый из мальчиков. – Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

– Тут нет воды! – жаловался жаворонок. – Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни плоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Как здесь душно!

Ах, я умираю, прощай, красное солнышко, и свежая зелень, и весь Божий мир!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил свой клюв в свежий, прохладный дерн, увидел ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

– И ты завянешь здесь, бедный цветочек! Тебя да этот клочок зеленого дерна – вот что они дали мне взамен всего Божьего мира! Каждая травинка должна быть для меня зеленым деревцом, каждый твой лепесток – благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» – думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

– Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок, и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как бывало: она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю украсили ее цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку – его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о цветочке, который все-таки больше всех любил бедную птичку и всем сердцем желал ее утешить.

## Стойкий оловянный солдатик



Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери – старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир – ну прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они слышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был об одной ноге. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркала, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением

восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, — она была танцовщицей, — а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик совсем не мог видеть ее, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот бы мне такую жену! — подумал он. — Только она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатики принялись стучать в стенки коробки — они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик; она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щелк! — табакерка раскрылась. Там не было табаку, а сидел маленький черный тролль; табакерка-то была с фокусом!

— Оловянный солдатик, — сказал тролль, — нечего тебе заглядываться!

Оловянный солдатик будто и не слышал.

— Ну, постой же! — сказал тролль.

Утром дети встали, и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг — по милости ли тролля или от сквозняка — окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа — только в ушах засвистело! Минута — и он уже стоял на

мостовой кверху ногой: голова его и каске и ружье застряли между камнями мостовой.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдатику не могли; они чуть не наступали на него ногами и все-таки не замечали его. Закричи он им: «Я тут!» – они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице; он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; сильнее, сильнее, наконец хлынул настоящий ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

– Гляди! – сказал один. – Вон оловянный солдатик. Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатику и пустили в канавку. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Ну и ну! Вот так волны ходили по канавке! Течение так и несло – немудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки; стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несет? – думал он. – Да, это все штуки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица, – по мне, будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

– Паспорт есть? – спросила она. – Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и только крепко держал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

– Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта!

Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, там, где кончались мостки, канавка впадала в большой канал! Это было для солдатику так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Канал был уже совсем близко и остановиться было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз; бедняга держался по-прежнему в струнку и даже глазом не моргнул. Лодка завертелась... Раз, два – наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде; дальше больше... вода покрыла его с головой! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему ее больше. В ушах у него звучало:

Вперед стремись, о воин,  
И смерть спокойно встретить!

Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх как тесно! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружье.

Рыба металась туда и сюда, выделявала самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распоролла ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и – чего-чего не бывает на свете! – он очутился в той же самой комнате, увидел тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не обмолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все тролль подстроил! Оловянный солдатик стоял в полном освещении; ему было ужасно жарко, от огня или от любви – он и сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь полинял; кто знает отчего – от дороги или от

горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко, с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом и – конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выбирала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко – все, что осталось от солдатика; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.



## Дикие лебеди



Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было одиннадцать сыновей и одна дочка, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев уже ходили в школу; на груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля; писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть – все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго!

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных деток. Им пришлось испытать это в первый же день: во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости, но мачеха вместо разных пирожных и печеных яблок, которых им давали обычно

сколько угодно, дала им чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню к каким-то крестьянам, а прошло еще несколько времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

– Летите-ка подбру-поздорову на все четыре стороны! – сказала злая королева. – Летите большими птицами без голоса и промышляйте о себе сами!

Но она не могла сделать им такого зла, как бы ей хотелось, – они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их; так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря.

Бедняжка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком – других игрушек у нее не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев; когда же теплые лучи солнца скользили по ее щечке, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» – розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто набожнее тебя?» – книга отвечала: «Элиза набожнее!» И розы и псалтырь говорили сущую правду.

Но вот Элизе минуло пятнадцать лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы и ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот рано утром королева пошла в мраморную купальню, убранную чудными коврами и мягкими подушками, взяла трех жаб,

поцеловала каждую и сказала первой:

– Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню; пусть она станет такою же тупой и ленивой, как ты! А ты сядь ей на лоб! – сказала она другой. – Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и отец не узнает ее! Ты же ляг ей на сердце! – шепнула королева третьей жабе. – Пусть она станет злонравной и мучится от этого!

Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь; но Элиза даже не заметила этого, и, как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы; девушка была так набожна и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на нее.

Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, но кто же стал бы слушать бедных тварей!

Заплакала Элиза и подумала о своих выгнанных братьях, тайком ушла из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так стосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет.

Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги; тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали, точно зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья: все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нулики, как бывало прежде, – нет, они описывали все, что видели и пережили. Картинки же в книжке были живые; птицы распевали, а люди соскакивали со

страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями; но стоило ей захотеть перевернуть лист – они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко, она даже не могла хорошенько видеть его за густой листвой деревьев, но отдельные лучи его пробивались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве: от зелени шел чудный запах, а птички чуть не садились Элизе на плечи. Невдалеке послышалось журчание воды – оказалось, что несколько ручейков стекалось здесь в пруд с чудным песчаным дном. Правда, вокруг густо росли кусты, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная; не шевелил ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья и кусты нарисованы на дне, – так ясно они отражались в зеркале вод.

Увидав в воде свое лицо, Элиза совсем перепугалась – такое оно было черное и гадкое; но вот она зачерпнула горстью воды, потеряла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в чистую прохладную воду. Такой хорошенькой принцессы поискать было по белу свету!

Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды из горсточки и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее: это он ведь повелел расти диким лесным яблокам, чтобы напитать ими голодных; он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чашу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшего ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную чашу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены; никогда еще Элиза не бывала в такой глуши.

Ночью стало еще темнее; во мху не светило ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись и на нее глянул добрыми очами сам

Господь Бог; маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук.

Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву.

Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод; старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут, по лесу, одиннадцать принцев.

– Нет, – сказала старушка, – но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простершие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым в их естественном положении не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и они таки добивались своего.

Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в открытое море.

И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море, но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные камушки, выброшенные на берег морем, – вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все остальные выброшенные морем предметы: стекло, железо и камни – тоже носили следы этой шлифовки, а между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала: «Волны неустанно катятся одна за другой и наконец шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем сухих водорослях лежали одиннадцать белых лебединых перьев; Элиза собрала и связала их в пучок; на перьях еще блестели капли – росы или слез, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого; море представляло собою вечное разнообразие; в несколько часов тут можно было насмотреться больше, чем в целый год на берегу пресных озер. Находила большая черная туча, ветер крепчал, и море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть!» – начинало бурлить, волноваться

и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розоватого цвета, а ветер спал, – море было похоже на лепесток розы; иногда оно становилось зеленым, иногда белым; но как бы тихо оно ни покоилось, у берега постоянно было заметно легкое волнение – вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка.

Когда солнце было близко к закату, Элиза увидела вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах; всех лебедей было одиннадцать, и летели они один за другим, вытянувшись длинною белою лентой. Элиза взобралась на верх обрыва и спряталась за кустик. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями.

В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на земле очутились одиннадцать красавцев принцев, Элизиных братьев! Элиза громко вскрикнула; она сразу узнала их, несмотря на то, что они успели сильно измениться: сердце подсказало ей, что это они! Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали и скоро узнали друг от друга, как жестоко поступила с ними мачеха.



– Мы, братья, – сказал самый старший, – летаем дикими лебедями весь день, пока солнце стоит на небе; когда же оно заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю; случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы со страшной высоты. Живем же мы не тут; далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда

длинна, приходится лететь через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли переночевать. Только по самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище; не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины – и теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину; мы можем оставаться здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольную церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными; тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море, в чудную, но не родную нам страну! Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки!

– Как бы мне освободить вас от чар? – спросила братьев сестра.

Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов.

Элиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев; лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

– Завтра мы должны улететь отсюда и не смеем вернуться раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь! – сказал младший брат. – Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Я достаточно силен, чтобы на руках пронести тебя через лес, – неужели же все наши крылья не смогут перенести тебя через море?

– Да, возьмите меня с собой! – сказала Элиза.

Всю ночь провели они за плетением сетки из гибкой ивовой коры и тростника; сетка вышла большая и прочная; в нее положили Элизу;



превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милой сестрицей, спавшей еще крепким сном, к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев; их набрал и положил к ней самый младший из братьев, и она благодарно улыбнулась ему – она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако – настоящая гора! – и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина, каких ей еще не приходилось видеть! Но по мере того как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные теневые картины мало-помалу исчезли.

Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного: теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру, разыгралась непогода; Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце, – одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее! Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут! И она от всего сердца стала молиться Богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу; молния сверкала за молнией.

Одним своим краем солнце почти уже касалось воды; сердце Элизы затрепетало; лебеди вдруг полетели вниз с невероятною быстротой, и девушка подумала уже, что все они падают; но нет, они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда только Элиза увидела под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало; теперь оно казалось только небольшою блестящею звездочкой; но вот лебеди

ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку; все они едва уместались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг; небо пылало от молний и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество.

На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо; с восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, точно миллионы лебедей, белая пена.

Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с блестящими снежными вершинами; среди гор возвышался огромный замок, обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн; внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не туда ли они летят, но лебеди покачали головами; ведь она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы; человеку путь туда заказан. Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок рухнули, и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей; Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот наконец показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, — так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями.

— Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню.

— Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар! — сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы.

Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах.

«Твоих братьев можно спасти, — сказала она. — Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки точит камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы; у воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться; заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов; потом разомнешь ее ногами, ссучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетишь из них одиннадцать кольчуг с длинными рукавами и набросишь их на лебедей; тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках! Помни же все это!»

И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль: только бы удалось ей спасти милых братьев! Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно.

С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал; слезы его падали ей на руки, и там, куда упала слезинка, исчезали жгучие волдыри и утихала боль.

Ночь Элиза провела за своей работой; отдых не шел ей на ум; она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна-одинешенька, но никогда еще время не летело для нее с такой быстротой. Одна кольчуга была готова, и девушка принялась за следующую.

Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. Элиза испугалась; звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него.

В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья; они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники; самый красивый из них был король той страны; он подошел к Элизе – никогда еще не встречал он такой красавицы!

– Как ты попала сюда, прелестное дитя? – спросил он, но Элиза только покачала головой; она ведь не смела говорить: от ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидал, как она страдает.

– Пойдем со мной! – сказал он. – Здесь тебе нельзя оставаться! Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце!



И он посадил ее на седло перед собой. Элиза плакала и ломала руки, но король сказал:

— Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня!

И повез ее через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру перед ними показалась великолепная столица короля, с колокольнями и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала

и тосковала, безучастно отдалась она в руки прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Богатые уборы так шли к ней, она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля.

Король, однако, не стал его слушать, подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Но она даже ни разу не улыбнулась; казалось, что грусть и тоска навеки стали ее уделом. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу; на полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой кольчуга; все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников.

– Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище! – сказал король. – Тут и работа твоя; может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом!

Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела; она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой.

Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону; с досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно, но она даже не обратила на это внимания: что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям! Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетело из них – она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев, – зато в глазах светилась горячая любовь к доброму красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О! Если

бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания, но – увы! – она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну кольчугу за другой, но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно.

Она знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была рвать ее сама; как же быть?

«О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающей мое сердце! – думала Элиза. – Я должна решиться! Господь не оставит меня!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунною ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы-ламии; они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо них, и они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась во дворец.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее – архиепископ; теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву; итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ.

Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал; злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать: «Неправда, Элиза невинна!» Но архиепископ перетолковывал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатались по щекам короля, сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит, на самом же деле сон бежал от его глаз. И вот он увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни; в следующие ночи повторилось то же самое; он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потаенной комнатке.

Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее; Элиза замечала это, но не понимала причины; сердце ее ныло от страха и от жалости

к братьям; на королевский пурпур катились горькие слезы, блесевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы. Тем временем работа приближалась к концу; не доставало всего одной рубашки, и тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз, нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах; но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в Бога.

Элиза отправилась, но король с архиепископом следили за ней и увидали, как она скрылась за кладбищенскою оградой; подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король отвернулся; между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди!

– Пусть судит ее народ! – сказал он.

И народ присудил – сжечь королеву на костре.

Из великолепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное, сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врвался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею на кладбище крапивы; эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие кольчуги подстилкой и одеялом; но дорожке всего этого ей ничего и не могли дать, и она с молитвой вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмехавшихся над нею уличных мальчишек; ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения и сочувствия.

Вечером у решетки раздался шум лебединых крыл – это отыскал сестру самый младший из братьев, и она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь; зато работа ее подходила к концу, и братья были тут!

Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы – так обещал он королю, – но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти; в эту ночь ей ведь нужно было кончить свою работу, иначе пропали бы даром все ее страдания, и слезы, и бессонные ночи! Архиепископ ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна, и продолжала работать.

Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы,



а дрозд, сидевший за решетчатым окном, всю ночь утешал ее своею веселою песенкой.

На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их пустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя: король еще спал и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать, явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и никаких братьев больше не было – над дворцом взвились одиннадцать диких лебедей.

Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные, длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы; десять кольчуг лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела. Чернь плумила над нею.

– Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось не молитвенник у нее в руках – нет, все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее да разорвем в клочки.

И они теснились вокруг нее, собираясь вырвать из ее рук работу, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели вокруг нее по краям телеги и шумно захлопали могучими крыльями. Испуганная чернь отступила.

– Это знамение небесное! Она невинна, – шептали многие, но не смели сказать этого вслух.

Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей одиннадцать кольчуг, и... перед ней встали одиннадцать красавцев принцев, только у самого младшего не хватало одной руки, вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела закончить последней рубашки, и в ней недоставало одного рукава.

– Теперь я могу говорить! – сказала она. – Я невинна!

И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятия братьев – так подействовали на нее неустанное напряжение сил, страх и боль.

– Да, она невинна! – сказал самый старший брат и рассказал все, как было; и пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание,

точно от миллионов роз, — это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье!

Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король!

## Эльф розового куста



В саду красовался розовый куст, весь усыпанный чудными розами. В одной из них, самой прекрасной меж всеми, жил эльф, такой крошечный, что человеческим глазом его и не разглядеть было. За каждым лепестком розы у него было по спальне; сам он был удивительно нежен и мил, ну точь-в-точь хорошенький ребенок, только с большими крыльями за плечами. А какой аромат стоял в его комнатах, как красивы и прозрачны были их стены! То были ведь нежные лепестки розы.

Весь день эльф играл на солнышке, порхал с цветка на цветок, плясал на крыльях у резвых мотыльков и подсчитывал, сколько шагов пришлось бы ему сделать, чтобы обежать все дорожки и тропинки на одном липовом листе. За дорожки и тропинки он принимал жилки листа, да они и были для него бесконечными дорогами! Раз не успел

он обойти и половины их, глядь – солнышко уж закатилось; он и начал-то, впрочем, не рано.

Стало холодно, пала роса, подул ветер, эльф рассудил, что пора домой, и заторопился изо всех сил, но когда добрался до своей розы, оказалось, что она уже закрылась и ему нельзя было попасть в нее; успели закрыться и все остальные розы. Бедный крошка эльф перепугался: никогда еще не оставался он на ночь без приюта, всегда сладко спал между розовыми лепестками, а теперь!.. Ах, верно, не миновать ему смерти!

Вдруг он вспомнил, что на другом конце сада есть беседка, вся увитая чудеснейшими каприфолиями; в одном из этих больших пестрых цветков, похожих на рога, он и решил проспать до утра.

И вот он полетел туда. Тсс! Тут были люди: красивый молодой человек и премиленькая девушка. Они сидели рядышком и хотели бы век не расставаться – они так горячо любили друг друга, куда горячее, нежели самый добрый ребенок любит своих маму и папу.

– Увы! Мы должны расстаться! – сказал молодой человек. – Твой брат не хочет нашего счастья и потому отправляет меня с поручением далеко-далеко за море! Прощай же, дорогая моя невеста! Я все-таки имею право назвать тебя так!

И они поцеловались. Молодая девушка заплакала и дала ему на память о себе розу, но сначала запечатлела на ней такой крепкий и горячий поцелуй, что цветок раскрылся. Эльф сейчас же влетел в него и прислонился головкой к нежным, душистым стенкам.

Вот раздалось последнее «прощай», и эльф почувствовал, что роза заняла место на груди молодого человека. О, как билось его сердце! Крошка эльф просто не мог заснуть от этой стукотни.

Недолго, однако, пришлось розе покоиться на груди. Молодой человек вынул ее и, проходя по большой темной роще, целовал цветок так часто и так крепко, что крошка эльф чуть не задохся. Он ощущал сквозь лепестки цветка, как горели губы молодого человека, сама роза раскрылась, словно под лучами полуденного солнца.

Тут появился другой человек – мрачный и злой, это был брат красивой молодой девушки. Он вытащил большой острый нож и убил молодого человека, целовавшего цветок, затем отрезал ему голову и зарыл ее вместе с туловищем в рыхлую землю под липой.

«Теперь о нем не будет и помина! – подумал злой брат. – Небось не вернется больше. Ему предстоял далекий путь за море, а в таком пути нетрудно проститься с жизнью; ну вот так оно и случилось! Вернуться он больше не вернется, и спрашивать о нем сестра меня не посмеет».

И он нашвырял ногами на то место, где схоронил убитого, сухих листьев и пошел домой. Но шел он во тьме ночной не один; с ним был крошка эльф. Эльф сидел в сухом, свернувшемся в трубочку липовом листке, упавшем злодею на голову в то время, как тот зарывал яму. Окончив работу, убийца надел на голову шляпу; под ней было страшно темно, и крошка эльф весь дрожал от ужаса и от негодования на злодея.

На заре злой человек воротился домой, снял шляпу и прошел в спальню сестры. Молодая цветущая красавица спала и видела во сне того, кого она так любила и кто уехал теперь, как она думала, за море. Злой брат наклонился над ней и засмеялся злобным, дьявольским смехом; сухой листок выпал из его волос на одеяло сестры, но он не заметил этого, и ушел к себе соснуть до утра. Эльф выкарабкался из сухого листка, приблизился к самому уху молодой девушки и рассказал ей во сне об ужасном убийстве, описал место, где оно произошло, цветущую липу, под которой убийца зарыл тело, и наконец добавил: «А чтобы ты не приняла всего этого за простой сон, я оставлю на твоей постели сухой листок». И она нашла этот листок, когда проснулась.

О, как горько она плакала! Но никому не смела бедняжка доверить своего горя. Окно стояло отворенным целый день, крошка эльф легко мог выпорхнуть в сад и лететь к розам и другим цветам, но ему не хотелось оставлять бедняжку одну. На окне в цветочном горшке росла роза; он уселся в один из ее цветов и глаз не сводил с убитой горем девушки. Брат ее несколько раз входил в комнату и был злобно весел; она же не смела и заикнуться ему о своем сердечном горе.

Как только настала ночь, девушка потихоньку вышла из дома, отправилась в рощу прямо к липе, разбросала сухие листья, разрыла землю и нашла убитого. Ах, как она плакала и молила Бога, чтобы он послал смерть и ей.

Она бы охотно унесла с собой дорогое тело, да нельзя было, и вот она взяла бледную голову с закрытыми глазами, поцеловала холодные губы и отряхнула землю с прекрасных волос.

– Оставлю же себе хоть это! – сказала она, зарыла тело и опять набросала на то место сухих листьев, а голову унесла с собой вместе с небольшою веточкой жасмина, который цвел в роще.

Придя домой, она отыскала самый большой цветочный горшок, положила туда голову убитого, засыпала ее землей и посадила жасминовую веточку.

– Прощай! Прощай! – прошептал крошка эльф; он не мог вынести такого печального зрелища и улетел в сад к своей розе, но она уже отцвела, и вокруг зеленого плода держалось всего два-три поблекших лепестка.

– Ах, как скоро приходит конец всему хорошему и прекрасному! – вздохнул эльф.

В конце концов он отыскал себе другую розу и уютно зажил между ее благоухающими лепестками. Но каждое утро летал он к окну несчастной девушки и всегда находил ее всю в слезах подле цветочного горшка. Горькие слезы ручьями лились на жасминовую веточку, и по мере того как сама девушка день ото дня бледнела и худела, веточка все росла да зеленела, пуская один отросток за другим. Скоро появились и маленькие бутончики; девушка целовала их, а злой брат сердился и спрашивал, не сошла ли она с ума; иначе он ничем не мог объяснить себе эти вечные слезы, которые она проливали над цветком. Он ведь не знал, чьи закрытые глаза, чьи розовые губы превратились в землю в этом горшке. А бедная сестра его склонила раз головку к цветку, да так и задремала; как раз в это время прилетел крошка эльф, прильнул к ее уху и стал рассказывать ей о последнем ее свидании с милым в беседке, о благоухании роз, о любви эльфов... Девушка спала так сладко, и среди этих чудных грез незаметно отлетела от нее жизнь. Она умерла и соединилась на небе с тем, кого так любила.

На жасмине раскрылись белые цветы, похожие на колокольчики, и по всей комнате разлился чудный, нежный аромат – только так могли цветы оплакать усопшую.

Злой брат посмотрел на красивый цветущий куст, взял его себе в наследство после умершей сестры и поставил у себя в спальне возле самой кровати. Крошка эльф последовал за ним и стал летать от одного колокольчика к другому; в каждом жил маленький дух, и эльф

рассказал им всем об убитом молодом человеке, о злом брате и о бедной сестре.

– Знаем! Знаем! Ведь мы выросли из глаз и из губ убитого! – ответили духи цветов и при этом как-то странно покачали головками.

Эльф не мог понять, как могут они оставаться такими равнодушными, полетел к пчелам, которые собирали мед, и тоже рассказал им о злом брате. Пчелы пересказали это своей царице, и та решила, что все они на следующее же утро накажут убийцу.

А ночью – это была первая ночь после смерти сестры, – когда брат спал близ благоухающего жасминового куста, каждый колокольчик раскрылся, и оттуда вылетел невидимый, но вооруженный ядовитым копьем дух цветка. Все они подлетели к уху спящего и стали нашептывать ему страшные сны, потом сели на его губы и вонзили ему в язык свои ядовитые копы.

– Теперь мы отомстили за убитого! – сказали они и опять спрятались в белые колокольчики жасмина.

Утром окно в спальне вдруг распахнулось, и влетели эльф и царица пчел со своим роем; они явились убить злого брата.

Но он уже умер. Вокруг постели толпились люди и говорили:

– Его убил сильный запах цветов.

Тогда эльф понял, что то была месть цветов, и рассказал об этом царице пчел, а она со всем своим роем принялась летать и жужжать вокруг благоухающего куста. Нельзя было отогнать пчел, и кто-то из присутствовавших хотел унести куст в другую комнату, но одна пчела ужалила его в руку, он уронил цветочный горшок, и тот разбился вдребезги.

Тут все увидели череп убитого и поняли, кто был убийца.

А царица пчел с шумом полетела по воздуху и жужжала о мести цветов, об эльфе и о том, что даже за самым крошечным лепестком скрывается кто-то, кто может рассказать о преступлении и наказать преступника.

## Райский сад

Жил-был принц; ни у кого не было столько хороших книг, как у него; он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах, и все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было сказано ни слова: о том, где находится Райский сад, а вот это-то как раз больше всего и интересовало принца.

Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в Райском саду – сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином; в одних цветах лежит история, в других – география или таблица умножения; стоило съесть такой цветок-пирожное – и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики!

В то время принц еще верил всем таким рассказам, но по мере того как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в Райском саду должны быть какие-нибудь совсем другие прелести.

Ах, зачем Ева послушалась змия! Зачем Адам вкусил запретного плода! Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир!

Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже семнадцать лет; Райский сад наполнял все его мысли.

Раз пошел он в лес один-одинешенек – он очень любил гулять один. Дело было к вечеру; набежали тучи, и полил такой дождь, точно небо было одною сплошною плотиною, которую вдруг прорвало и из которой зараз хлынула вся вода; настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы; вода лила с него ручьями, на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные каменные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже готов был упасть от усталости, как вдруг услышал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было бы изжарить целого оленя; да так оно и было: на вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился великолепный олень с



большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая сильная и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим.



– Ну, подходи! – сказала она. – Присядь к огню да обсушись.

– Здесь ужасный сквозняк, – сказал принц, подсев к костру.

– Ужо, как вернутся мои сыновья, еще хуже будет! – отвечала женщина. – Ты ведь в пещере ветров; мои четверо сыновей – ветры. Понимаешь?

– А где твои сыновья?

– На глупые вопросы нелегко отвечать! – сказала женщина. – Мои сыновья не на помочах ходят! Играют, верно, в лапту облаками, там, в большой зале!

И она указала пальцем на небо.

– Вот как! – сказал принц. – Вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины нашего круга, к которым я привык.

– Да тем, верно, и делать-то больше нечего! А мне приходится быть резкой и суровой, если хочу держать в повиновении моих сыновей! Да, я держу их в руках, даром что они у меня упрямые головы!

Видишь вон те четыре мешка, что висят на стене? Сыновья мои боятся их так же, как ты, бывало, боялся пучка розог, заткнутого за зеркало! Я гну их в три погибели и сажаю в мешок без всяких церемоний! Они и сидят там, пока я не смилуюсь! Но вот один уж пожаловал!

Это был Северный ветер. Он внес с собой в пещеру ледяной холод; поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи шаровары и куртку; на уши спускалась шапка из тюленьей шкуры; на бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скатывались градины.

– Не подходите сразу к огню! – сказал принц. – Вы отморозите себе лицо и руки!

– Отморожу! – сказал Северный ветер и громко захохотал. – Отморожу! Да лучше мороза, по мне, нет ничего на свете! А ты что за кислятина? Как ты попал в пещеру ветров?

– Он мой гость! – сказала старуха. – А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок! Понял?

Угроза подействовала, и Северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц.

– Я прямо с Ледовитого океана! – сказал он. – Был на Медвежьем острове, охотился на моржей с русскими промышленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали с Нордкапа; просыпаясь время от времени, я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Презабавная птица! Ударит раз крыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго!..

– Нельзя ли покороче! – сказала мать. – Ты был на Медвежьем острове?

– Да. Там чудесно! Вот так пол для пляски! Ровный, гладкий, как тарелка! Повсюду рыхлый снег пополам со мхом, острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью, – можно подумать, словно кости великанов! Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай; оказалось, что это было жилье, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку; на крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов; они пищали и разевали рты; я взял да и дунул в эти бесчисленные глотки – небось живо отучились разевать рот! У самого

моря валялись, будто живые кишки или исполинские черви с свиными головами и аршинными клыками, моржи!

– Славно рассказываешь, сынок! – сказала мать. – Просто слюнки текут, как слушаешь!

– Ну а потом началась ловля! Как всадят гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед! Тогда и я задумал себя потешить, завел свою музыку и велел моим кораблям – ледяным горам – сдавить лодки промышленников. У! Вот пошел свист и крик, да меня не пересвистишь! Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины! А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их стиснутые льдами суда к югу – пусть похлебают солененькой водицы! Не вернуться им на Медвежий остров!

– Так ты порядком набедокурил! – сказала мать.

– О добрых делах моих пусть расскажут другие! – сказал он. – А вот и брат мой с запада! Его я люблю больше всех: он пахнет морем и дышит благодатным холодком.

– Так это маленький зефир? – спросил принц.

– Зефир-то зефир, только не из маленьких! – сказала старуха. – В старину и он был красивым мальчуганом, ну а теперь не то!

Западный ветер выглядел дикарем; на нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках палица из красного дерева, срубленного в американских лесах, вон как!

– Где был? – спросила его мать.

– В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи и где, кажется, нет никакой надобности в человеке! – отвечал он.

– Что ж ты там делал?

– Смотрел, как низвергается со скалы большая, глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль и в ней возникает радуга. Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол; течение увлекало его с собой, и он плыл вниз по реке вместе со стаей диких уток, но те вспорхнули на воздух перед самым водопадом, а буйволу пришлось полететь головой вниз; это мне понравилось, и я учинил такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки.

– И это все? – спросила старуха.

– Еще я кувыркался по саваннам, гладил диких лошадей и сшибал кокосовые орехи! О, у меня много о чем найдется порассказать, но не все же говорить, что знаешь. Так-то, старая!

И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь; такой уж он был необузданный парень.

Затем явился Южный ветер в чалме и развевающимся плаще бедуинов.

– Экая у вас тут стужа! – сказал он и подбросил в костер дров. – Видно, что Северный первым успел пожаловать.

– Здесь такая жарница, что можно изжарить белого медведя! – возразил тот.

– Сам-то ты белый медведь! – сказал Южный.

– Что, в мешок захотели? – спросила старуха. – Садись-ка вот тут на камень да рассказывай, откуда ты.

– Из Африки, матушка, из земли кафров! – отвечал Южный ветер. – Охотился на львов с готтентотами! Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной наперегонки, да я побыстрее их на ногу! Я доходил и до желтых песков пустыни – она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья, да немногим пришлось им поживиться! Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пустыне! А я принялся валяться по мелкому, мягкому песку и крутить его огромными столбами; вот так пляска пошла! Посмотрела бы ты, как столпились в кучу дромадеры, а купцы накинули на головы капюшоны и попадали передо мною ниц, точно перед своим Аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается смести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники, по крайней мере, увидят, что тут бывали люди, а то трудно и поверить этому, глядя на голую пустыню!

– Ты, значит, только и делал одно зло! – сказала мать. – Марш в мешок!

И не успел Южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрятала в мешок; он было принялся кататься в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смирно.

– Бойкие же у тебя сыновья! – сказал принц.

– Ничего себе! – отвечала она. – Да я умею управляться с ними! А вот и четвертый!

Это был Восточный ветер, одетый китайцем.

– А, ты оттуда! – сказала мать. – Я думала, что ты был в Райском саду.

– Туда я полечу завтра! – сказал Восточный ветер. – Завтра будет ведь ровно сто лет, как я не был там! Теперь же я прямо из Китая, плясал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели! Внизу, на улице, наказывали чиновников; бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам, а это все были мандарины от первой до девятой степени! Они кричали: «Великое спасибо тебе, отец и благодетель!» – про себя же думали совсем другое. А я в это время звонил в колокольчики и припевал: «Тзинг, тзанг, тзу!»

– Шалун! – сказала старуха. – Я рада, что ты завтра отправляешься в Райский сад, это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника Мудрости, да зачерпни из него полную бутылку водицы и для меня!

– Хорошо! – сказал Восточный ветер. – Но за что ты посадила брата Южного в мешок? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой всё спрашивает принцесса Райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, а я подарю тебе целых два кармана зеленого свежего чая, только что с куста!

– Ну, разве за чай, да еще за то, что ты мой любимчик, так и быть, развяжу его!

И она развязала мешок. Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы: еще бы, чужой принц видел, как его наказали.

– Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист! – сказал он Восточному. – Я получил его от старой птицы Феникс, единственной на свете; она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей захотелось знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла свое гнездо и была охвачена пламенем как индусская вдова! Как затрещали сухие ветки, какие пошли от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел, но снесенное ею яйцо, горевшее в пламени, как жар, вдруг лопнуло с сильным треском, и оттуда вылетел молодой Феникс. Теперь он царь над всеми птицами и единственная птица Феникс на свете. Он

проклюнул на этом пальмовом листе дырочку: это его поклон принцессе!

– Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко! – сказала мать ветров.

Все уселись и принялись за оленя. Принц сидел рядом с Восточным ветром, и они скоро стали друзьями.

– Скажи-ка ты мне, – спросил принц у соседа, – что это за принцесса, про которую вы столько говорили, и где находится Райский сад?

– Ого! – сказал Восточный ветер. – Коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе! Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы туда не ступала нога человека! А это ты, наверное, знаешь из Библии?

– Знаю! – сказал принц.

– После того как они были изгнаны, – продолжал Восточный, – Райский сад ушел в землю, но в нем царит прежнее великолепие, по-прежнему светит солнце и в воздухе разлиты необыкновенные свежесть и аромат! Теперь в нем обитает королева фей. Там же находится чудно прекрасный остров Блаженства, куда никогда не заглядывает Смерть! Сядешь мне завтра на спину, и я снесу тебя туда. Я думаю, что это удастся. А теперь не болтай больше, я хочу спать!

И все заснули.

На заре принц проснулся, и ему сразу стало жутко; оказалось, что он уже летит высоко-высоко под облаками! Он сидел на спине у Восточного ветра, и тот добросовестно держал его, но принцу все-таки было боязно: они неслись так высоко над землею, что леса, поля, реки и моря казались нарисованными на огромной раскрашенной карте.

– С добрым утром! – сказал принцу Восточный ветер. – Ты мог бы еще поспать, посмотреть-то пока не на что! Разве церкви вздумаешь считать! Видишь, сколько их? Стоят, точно меловые точки на зеленой доске!

Зеленою доской он называл поля и луга.

– Как это вышло невежливо, что я не простился с твоею матерью и твоими братьями! – сказал принц.

– Сонному приходится извинить! – сказал Восточный ветер, и они полетели еще быстрее; это было заметно по тому, как шумели под

ними верхушки лесных деревьев, как вздымались морские волны и как глубоко ныряли в них грудью, точно плавающие лебеди, корабли.



Под вечер, когда стемнело, было очень забавно смотреть на большие города, в которых то там, то сям вспыхивали огоньки, — так перебегают по зажженной бумаге, словно бегущие домой шаловливые школьники, мелкие искорки. И принц, глядя на это зрелище, захлопал в ладоши, но Восточный ветер попросил его вести себя потише да держаться покрепче — немудрено ведь было и свалиться да повиснуть на каком-нибудь башенном шпиле.

Быстро мчался над дремучими лесами дикий орел, но Восточный ветер мчался еще быстрее; по равнине вихрем мчался казак на своей маленькой лошадке, да куда ему было угнаться за принцем!

— Ну вот тебе и Гималаи! — сказал Восточный ветер. — Это высочайшая горная цепь в Азии; скоро мы доберемся и до Райского сада!

Они свернули к югу, и вот в воздухе разлился сильный пряный аромат цветов. Финики, гранаты и виноград с синими и красными ягодами росли здесь в диком состоянии. Восточный ветер спустился с принцем на землю, и оба улеглись отдохнуть в мягкую траву, где цветы кивали ветру, как бы говоря: «Добро пожаловать!»

— Мы уже в Райском саду? — спросил принц.

– Что ты! – отвечал Восточный ветер. – Но скоро попадем и туда! Видишь эту отвесную, как стена, скалу и в ней большую пещеру, над входом которой свесились, будто зеленые портьеры, виноградные лозы? Мы должны пройти через эту пещеру! Завернись хорошенько в плащ: тут палит солнце, но один шаг – и нас охватит мороз. У птицы, пролетающей мимо пещеры, одно крыло чувствует летнее тепло, а другое – зимний холод!

– Так вот она, дорога в Райский сад! – сказал принц.

Брр... Как им стало холодно, но, к счастью, ненадолго.

Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет, точно от яркого пламени. Ах, что это была за пещера! Над головами путников нависали огромные, имевшие самые причудливые формы каменные глыбы, с которых капала вода. Порой проход так суживался, что им приходилось пробираться ползком, иногда же своды пещеры опять поднимались на недостижимую высоту, и путники шли точно на вольном просторе под открытым небом. Пещера казалась какою-то гигантскою усыпальницей с немymi органами трубами и знаменами, выточенными из камня.

– Мы идем в Райский сад дорогой смерти! – сказал принц, но Восточный ветер не ответил ни слова и указал перед собой рукою: навстречу им струился чудный голубой свет; каменные глыбы мало-помалу стали редеть, таять и стали походить на белые облачка при лунном свете. Тут они вышли на вольный воздух – чудный, мягкий воздух, свежий, как на горной вершине и благоуханный, как в долине роз.

Тут же струилась река; вода в ней спорила прозрачностью с самим воздухом. В реке плавали золотые и серебряные рыбки, и пурпурно-красные угри сверкали при каждом движении голубыми искрами; огромные листья кувшинок пестрели всеми цветами радуги, а чашечки их горели желто-красным пламенем, поддерживаемым чистою водой, как пламя лампы поддерживается маслом. Через реку был переброшен мраморный мост такой тонкой и искусной работы, что, казалось, был сделан из кружев и бус; мост вел на остров Блаженства, на котором находился сам Райский сад.

Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост. Цветы и листья пели чудесные песни, которые принц слышал еще в



детстве, но теперь они звучали такую дивною музыкой, какой не может передать человеческий голос.

А это что? Пальмы или гигантские папоротники? Таких сочных, могучих деревьев принц никогда еще не видывал. Удивительнейшие ползучие растения обвивали их, спускались вниз, переплетались и образовывали самые причудливые, отливавшие по краям золотом и яркими красками гирлянды; такие гирлянды можно встретить разве только в заставках и начальных буквах старинных святцев. Тут были и яркие цветы, и птицы, и самые затейливые завитушки. В траве сидела, блестя распущенными хвостами, целая стая павлинов. Да павлинов ли? Конечно, павлинов! То-то что нет: принц потрогал их, и оказалось, что это вовсе не птицы, а растения, огромные кусты репейника, блестящего самыми яркими красками! Между зелеными благоухающими кустами прыгали, точно гибкие кошки, львы и тигры; кусты пахли оливками, а звери были совсем ручные; дикая лесная голубка, с жемчужным отливом на перьях, хлопала льва крылышками по гриве, а антилопа, вообще такая робкая и пугливая, стояла возле них и кивала головой, словно давая знать, что и она не прочь поиграть.

Но вот появилась сама фея; одежды ее сверкали, как солнце, а лицо сияло такою лаской и приветливою улыбкой, как лицо матери, радующейся на своего ребенка. Она была молода и чудо как хороша собой; ее окружали красавицы девушки с блестящими звездами в волосах.

Восточный ветер подал ей послание птицы Феникс, и глаза феи заблестали от радости. Она взяла принца за руку и повела его в свой замок; стены замка были похожи на лепестки тюльпана, если их держать против солнца, а потолок был блестящим цветком, опрокинутым вниз чашечкой, углублявшейся тем больше, чем дальше в нее всматривались. Принц подошел к одному из окон, поглядел в стекло, и ему показалось, что он видит древо познания добра и зла; в ветвях его прятался змий, а возле стояли Адам и Ева.

– Разве они не изгнаны? – спросил принц.

Фея улыбнулась и объяснила ему, что на каждом стекле время начертало неизгладимую картину, озаренную жизнью: листья дерева шевелились, а люди двигались – ну вот как бывает с отражениями в зеркале! Принц подошел к другому окну и увидал на стекле сон

Иакова: с неба спускалась лестница, а по ней сходили и восходили ангелы с большими крыльями за плечами. Да, все, что было или совершилось когда-то на свете, по-прежнему жило и двигалось на оконных стеклах замка; такие чудесные картины могло начертать своим неизгладимым резцом лишь время.

Фея, улыбаясь, ввела принца в огромный, высокий покой со стенами из прозрачных картин, — из них повсюду выплывали головки, одна прелестнее другой. Это были сонмы блаженных духов; они улыбались и пели; голоса их сливались в одну дивную гармонию; самые верхние из них были меньше бутонов розы, если их нарисовать на бумаге в виде крошечных точек. Посреди этого покоя стояло дерево с пышными ветвями, среди которых сверкали большие и маленькие золотистые, как апельсины, яблоки. То было древо познания добра и зла, плодов которого вкусили когда-то Адам и Ева. С каждого листика капала блестящая красная роса, — дерево точно плакало кровавыми слезами.

— Сядем теперь в лодку! — сказала фея. — Там, над прохладной водой, мы отдохнем и подкрепимся! Представь, лодка только покачивается на волнах, но не двигается, а все страны света сами проходят мимо!

И в самом деле, это было поразительное зрелище: лодка стояла, а берега двигались! Вот показались высокие снежные Альпы с облаками и темными сосновыми лесами на вершинах, протяжно-жалобно прозвучал рог, и из долины неслась звучная песня горного пастуха. Вот над лодкой свесились длинные гибкие листья бананов; поплыли стаи черных как смоль лебедей; показались удивительнейшие животные и цветы, а вдали поднялись голубые горы; это была Новая Голландия, пятая часть света. Вот послышалось пение жрецов, и под звуки барабанов и костяных флейт закружились в бешеной пляске толпы дикарей. Проплыли мимо вздымавшиеся к облакам египетские пирамиды, низверженные колонны и сфинксы, наполовину погребенные в песке. Вот осветились северным сиянием потухшие вулканы Севера. Да, кто бы мог устроить подобный фейерверк? Принц был вне себя от восторга: еще бы, он-то видел ведь во сто раз больше, чем мы тут рассказываем.

— И я могу здесь остаться навсегда? — спросил он.

– Это зависит от тебя самого! – отвечала фея. – Если ты не станешь добиваться запрещенного, как твой прародитель Адам, то можешь остаться здесь навеки!

– Я не дотронусь до плодов познания добра и зла! – сказал принц. – Тут ведь тысячи других прекрасных плодов!

– Испытай себя, и если борьба покажется тебе слишком тяжелою, улетай обратно с Восточным ветром, который вернется сюда опять через сто лет! Сто лет пролетят для тебя, как сто часов, но для греха и соблазна это достаточно долгий срок. Каждый вечер, расставаясь с тобой, буду я звать тебя: «Ко мне, ко мне!» Стану манить тебя рукой, но ты не трогайся с места, не иди на мой зов; с каждым шагом тоска желанья будет в тебе усиливаться и наконец увлечет тебя в тот покой, где древо познания добра и зла. Я буду спать под его благоухающими пышными ветвями, и ты наклонишься, чтобы рассмотреть меня поближе; я улыбнусь тебе, и ты поцелуешь меня... Тогда Райский сад уйдет в землю еще глубже и будет для тебя потерян. Резкий ветер будет пронизывать тебя до костей, холодный дождь – мочить твою голову; горе и бедствия будут твоим уделом!

– Я остаюсь! – сказал принц.

Восточный ветер поцеловал принца в лоб и сказал:

– Будь тверд, и мы свидимся опять через сто лет! Прощай, прощай!

И Восточный ветер взмахнул своими большими крылами, блеснувшими, как зарница во тьме осенней ночи или как северное сияние во мраке полярной зимы.

– Прощай! Прощай! – запели все цветы и деревья. Стаи аистов и пеликанов полетели, точно развевающиеся ленты, проводить Восточного ветра до границ сада.

– Теперь начнутся танцы! – сказала фея. – Но на закате солнца, танцуя с тобой, я начну манить тебя рукой и звать: «Ко мне! Ко мне!» Не слушай же меня! В продолжение ста лет каждый вечер будет повторяться то же самое, но ты с каждым днем будешь становиться все сильнее и сильнее и под конец перестанешь даже обращать на мой зов внимание. Сегодня вечером тебе предстоит выдержать первое испытание! Теперь ты предупрежден!

И фея повела его в обширный покой из белых прозрачных лилий с маленькими, игравшими сами собою золотыми арфами вместо тычинок. Прелестные стройные девушки в прозрачных одеждах

понеслись в воздушной пляске и запели о радостях и блаженстве бессмертной жизни в вечно цветущем Райском саду.

Но вот солнце село, небо засияло, как расплавленное золото, и лилии окрасились в цвет чудеснейших роз. Принц выпил пенистого вина, поднесенного ему девушками, и почувствовал прилив несказанного блаженства. Вдруг задняя стена покоя раскрылась, и принц увидел древо познания добра и зла, окруженное ослепительным сиянием; из-за дерева неслась тихая, ласкающая слух песня; ему почудился голос его матери, певшей: «Дитя мое! Мое милое, дорогое дитя!»

И фея стала манить его рукой и звать нежным голосом: «Ко мне, ко мне!» Он двинулся за нею, забыв свое обещание в первый же вечер! А она все манила его и улыбалась... Пряный аромат, разлитый в воздухе, становился все сильнее; арфы звучали все слаще; казалось, что это пели хором улыбающиеся головки со стен зала. «Все нужно знать! Все надо изведать! Человек – царь па земле!» С дерева уже не капала больше кровь, а сыпались красные блестящие звездочки. «Ко мне! Ко мне!» – звучала воздушная мелодия, и с каждым шагом щеки принца разгорались, а кровь волновалась все сильнее и сильнее.

– Я должен идти! – говорил он. – В этом ведь нет и не может еще быть греха! Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я только полюбуюсь, посмотрю на нее спящую! Я ведь не поцелую ее! Я достаточно тверд и сумею совладать с собой!

Сверкающий плащ упал с плеч феи; она раздвинула ветви дерева и в одно мгновение скрылась за ним.

– Я еще не согрешил! – сказал принц. – Да и не сделаю этого!

С этими словами он раздвинул ветви... Фея спала такая прелестная, какую может быть только фея Райского сада. Улыбка играла на ее устах, но на длинных ресницах дрожали слезинки.

– Ты плачешь из-за меня? – прошептал он. – Не плачь, чудесная! Теперь только я понял райское блаженство; оно течет огнем в моей крови, воспаляет мысли. Силу херувима и вечную жизнь ощущаю я в моем брennom теле. Пусть же настанет для меня потом вечная ночь – одна такая минута дороже всего в мире!

И он поцеловал слезы, дрожавшие на ее ресницах, уста его прикоснулись к ее устам.

Раздался страшный удар грома, какого не слышал еще никогда никто, и все смешалось в глазах принца; фея исчезла, цветущий Райский сад ушел глубоко в землю. Принц видел, как он исчезал во тьме непроглядной ночи, и вот от него осталась только маленькая, сверкающая вдали звездочка. Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал как мертвый.

Холодный дождь мочил ему лицо, резкий ветер леденил голову, и он снова очнулся.

– Что я наделал! – вздохнул он. – Я нарушил свой обет, как Адам, и вот Райский сад ушел глубоко в землю!

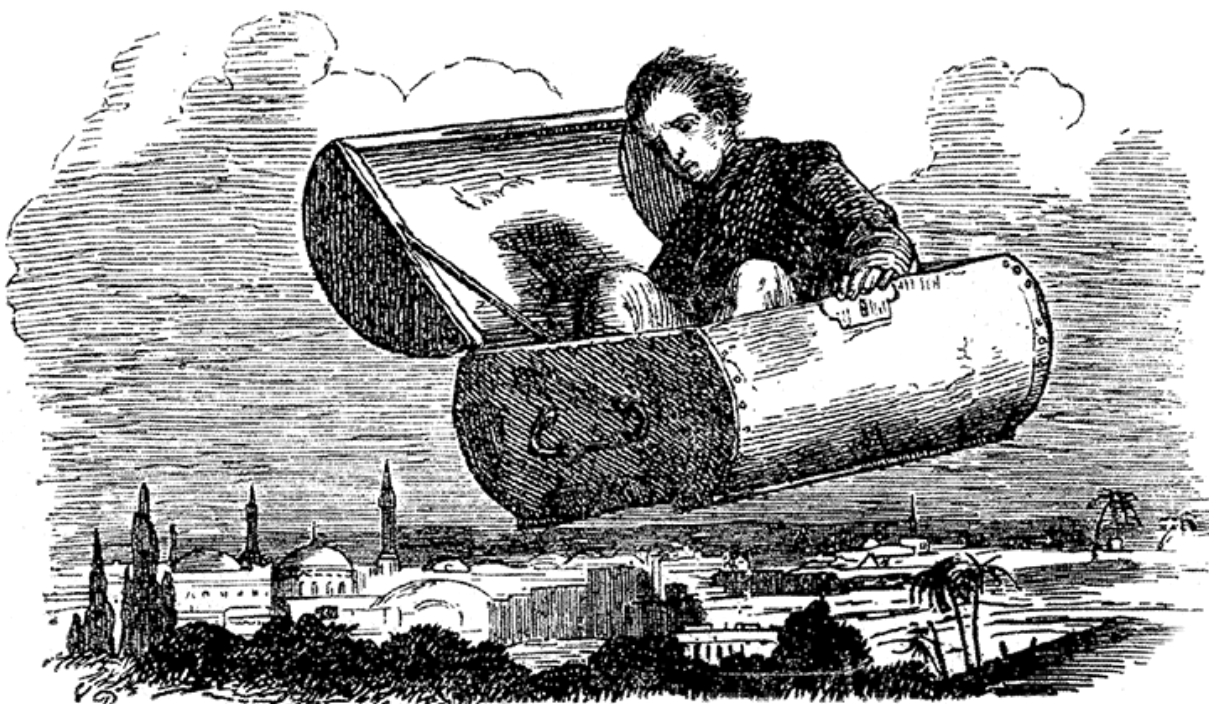
Он открыл глаза; вдали еще мерцала звездочка, последний след исчезнувшего рая. Это сияла на небе утренняя звезда.

Принц встал; он был опять в том же лесу, у пещеры ветров; возле него сидела мать ветров. Она сердито посмотрела на него и грозно подняла руку.

– В первый же вечер! – сказала она. – Так я и думала! Да, будь ты моим сыном, сидел бы ты теперь в мешке!

– Он еще попадет туда! – сказала Смерть – это был крепкий старик с косой в руке и большими черными крыльями за спиной. – И он уляжется в гроб, хоть и не сейчас. Я лишь отмечу его и дам ему время постранствовать по белу свету и искупить свой грех добрыми делами! Потом я приду за ним в тот час, когда он меньше всего будет ожидать меня, упрячу его в черный гроб, поставлю себе на голову и отнесу его вон на ту звезду, где тоже цветет Райский сад; если он окажется добрым и благочестивым, он вступит туда; если же его мысли и сердце будут по-прежнему полны греха, гроб опустится с ним еще глубже, чем опустился Райский сад. Но каждую тысячу лет буду я приходить за ним, для того, чтобы он мог или погрузиться еще глубже, или остаться навеки на сияющей небесной звезде!

## Сундук-самолет



Жил-был купец, такой богач, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулочек в придачу; этого, однако, он не делал — он знал, куда девать деньги, и если тратил скиллинг, то наживал целый далер. Уж такой он был купец! Но вот он умер, и все денежки достались его сыну.

Весело зажил сын купца: каждую ночь — в маскараде, пускал змеев из кредитных бумажек, а круги по воде — вместо камешков золотыми монетами. Немудрено, что денежки прошли у него между пальцев и под конец из всего наследства осталось только четыре скиллинга, и из платья — старый халат да пара туфель. Друзья и знать его больше не хотели — им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице; но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом: укладываться! Отлично; одно горе — нечего ему было укладывать; он взял да и уселся в сундук сам!

А сундук-то был непростой. Стоило нажать замок — и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! — сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками, — только дно потрескивало! Купеческий сын поэтому

крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги: славный прыжок пришлось бы тогда совершить ему! Боже упаси! Но вот он прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город – тут ему было нечего стесняться своего наряда: в Турции все ведь ходят в халатах и туфлях.

На улице встретила его кормилица с ребенком, и он сказал ей:

– Послушай-ка, турецкая мамка! Что это за большой дворец тут, у самого города, еще окна так высоко от земли?

– Тут живет принцесса! – сказала кормилица. – Ей предсказано, что она будет несчастной по милости своего жениха; вот к ней и не смеет являться никто иначе, как в присутствии самих короля с королевой.

– Спасибо! – сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно.

Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось.

Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки о ее глазах: это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки-мысли; о ее белом лбе: это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины; наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток.

Да, чудесные были сказки! А потом он посватался за принцессу, и она сразу согласилась.

– Но вы должны прийти сюда в субботу! – сказала она ему. – Ко мне придут на чашку чаю король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, и вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше – мои родители очень любят сказки. Но мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша – веселое, чтобы можно было посмеяться.

– Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки! – сказал купеческий сын.

Принцесса подарила ему на прощанье саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и недоставало. С тем они и расстались.

Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку; надо ведь было сочинить ее к субботе, а это не

так-то просто, как кажется.

Но вот сказка была готова, и настала суббота.

Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чаю. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.

– Ну-ка, расскажите нам сказку! – сказала королева. – Только что-нибудь серьезное и поучительное.

– Но чтобы и посмеяться можно было! – прибавил король.

– Хорошо! – отвечал купеческий сын и стал рассказывать.

Слушайте же хорошенько!

«Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: родоначальница их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.

– Да, хорошо нам жилось, когда мы были еще зелеными веточками, – говорили они. – Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай – роса, день-деньской светило на нас в ясную погоду солнышко, а птички должны были рассказывать нам сказки! Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье: лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на летнюю и на зимнюю одежду. Но вот явились раз дровосеки, и началась великая революция! И семья наша рассеялась по всему свету! Глава семьи – ствол получил после того место грот-мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если б только захотел; ветви же разбрелись кто куда, а нам вот выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие благородные господа, как мы!

– Ну, со мной не то было! – сказал котелок, рядом с которым лежали спички. – С самого моего появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном и, говоря по правде, занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство – это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе; новости же нам приносит корзинка для провизии; она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе! На днях, слушая ее,



свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок! Да, немножко легкомысленна она, скажу я вам!

– Уж больно ты разболтался! – сказало вдруг огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. – Не устроить ли нам лучше вечеринку?

– Да, конечно. Побеседуем о том, кто из нас всех благороднее! – сказали спички.

– Нет, я не люблю говорить о самой себе, – сказала глиняная миска. – Будем просто вести беседу! Я начну и расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому, а это ведь приятнее всего. Так вот: на берегу родного моря, под тенью датских буков...

– Чудесное начало! – сказали тарелки. – Вот это будет история как раз по нашему вкусу!

– Там в одной мирной семье провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели.

– Как вы интересно рассказываете! – сказала метелка. – В вашем рассказе так и слышна женщина, чувствуется какая-то особая чистоплотность!

– Да, да! – сказало ведро и от удовольствия даже подпрыгнуло, плеснув на пол воду.

Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала.

Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску; она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра!»

– Теперь мы попляшем! – сказали угольные щипцы и пустились в пляс. И боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу! Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула! – А нас увенчают? – спросили щипцы, и их тоже увенчали.

«Все это одна чернь!» – думали спички.

Теперь была очередь за самоваром; он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что простужен и может петь лишь тогда, когда внутри его кипит, – он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ.

На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка, в нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что его слишком глубоко макали в чернильницу, но именно этим оно и гордилось!

– Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо! – сказала оно. – За окном висит в клетке соловей – пусть он споет! Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем.

– По-моему, это в высшей степени неприлично – слушать какую-то пришлую птицу! – сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. – Разве это патриотично? Пусть рассудит корзинка для провизии!

– Я просто из себя выхожу! – сказала корзинка. – Вы не поверите, до чего я выхожу из себя! Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всем! Тогда дело пошло бы совсем иначе!

– Давайте же шуметь! – закричали все.

Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и – все присмирели, никто ни гугу; но не было ни единого горшка, который бы не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать.

«Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье!» – думал про себя каждый.

Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой, как они зафыркали, загораясь!

«Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны! – думали они. – Какой от нас блеск, сколько света!»

Тут они и сгорели».

– Чудесная сказка! – сказала королева. – Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками! Да, ты достоин руки нашей дочери.

– Конечно! – сказал король. – Свадьба будет в понедельник!

Теперь они уже говорили ему «ты» – он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи.

Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию, а в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «ура» и свистели в пальцы; великолепие было несказанное.

«Надо же и мне устроить что-нибудь!» – подумал купеческий сын; он накупил ракет, хлопушек и прочего, положил все это в свой сундук и взвился в воздух.

Пиф, паф! Шш-пшш! Вот так трескотня пошла, вот так шипение!

Турки подпрыгивали так, что туфли летели им через головы; никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог.

Вернувшись со своим сундуком в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» И немудрено, что ему захотелось узнать это.

Ну и рассказов же ходило по городу! К кому он ни обращался, всякий, оказывается, видел и рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.

– Я видел самого турецкого бога! – говорил один. – Глаза у него что твои звезды, а борода что пена морская!

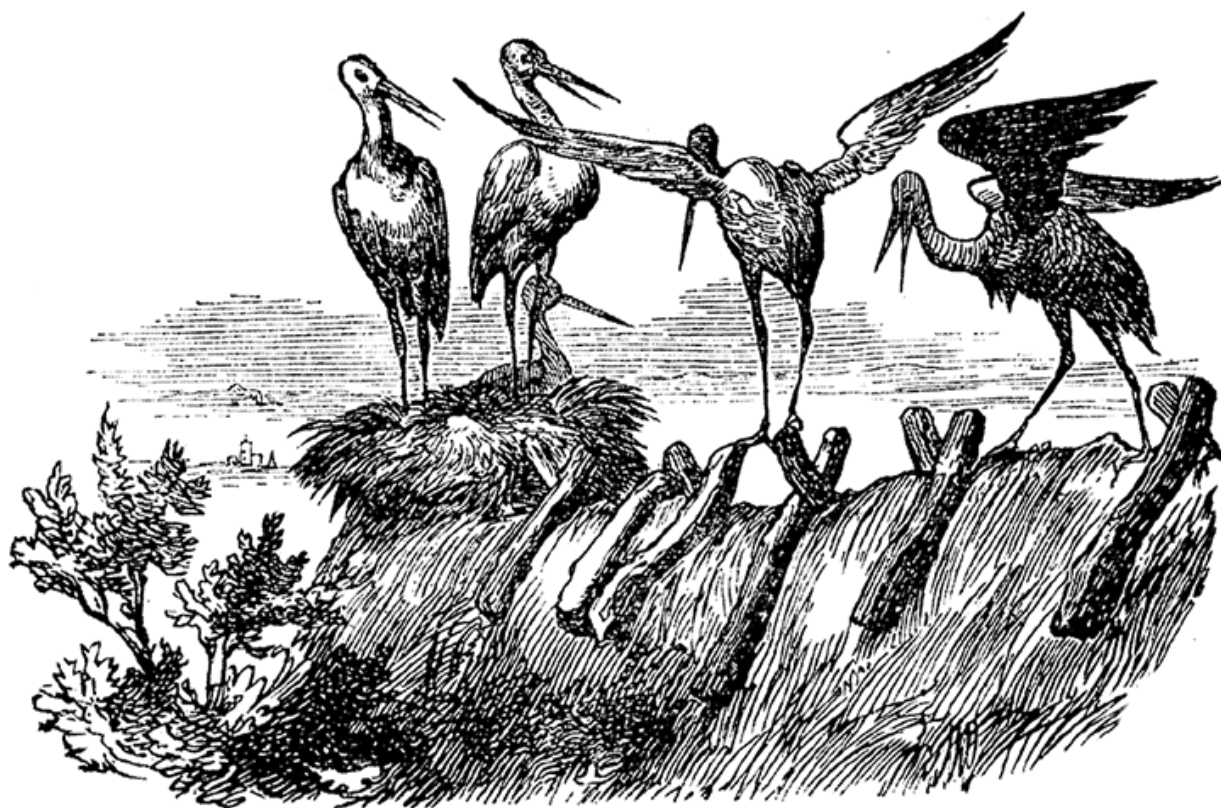
– Он летел в огненном плаще! – рассказывал другой. – А из складок выплядывали прелестнейшие ангельчики.

Да, много чудес рассказали ему, а на другой день должна была состояться и свадьба.

Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук. Да куда ж он девался? Сгорел! Купеческий сын уронил в него искру от фейерверка, сундук тлел, тлел, да и вспыхнул; теперь от него оставалась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте.

А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его, да ждет и до сих пор! Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках!

## Аисты



На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы, — они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах просто так. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.

«Вот важно так важно! — думал он. — У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играла толпа ребятишек; увидав аиста, самый храбрый из мальчуганов затянул, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

Аист, аист белый,  
Что стоишь день целый,  
Словно часовой,  
На ноге одной?  
Или деток хочешь  
Уберечь своих?  
Попусту хлопчешь, —  
Мы изловим их.  
Одного повесим,  
В пруд швырнем другого,  
Третьего заколем,  
Младшего ж живого  
На костер мы бросим  
И тебя не спросим.

— Послушай-ка, что поют мальчики! — сказали птенцы. — Они говорят, что нас повесят и утопят.

— Не нужно обращать на них внимания! — сказала им мать. — Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, его звали Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных.

А мать утешала птенцов.

— Не обращайтесь внимания! — говорила она. — Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

— А нам страшно, — сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головы в гнездо.

На другой день ребятишки опять высыпали на улицу, увидели аистов и опять запели:

Одного повесим,  
В пруд швырнем другого...

– Так нас повесят и утопят? – опять спросили птенцы.

– Да нет же, нет! – отвечала мать. – А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «ква-ква-ква!» А мы съедим их – вот будет веселье!

– А потом? – спросили птенцы.

– Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь изо всех сил, когда ученье начнется!

– Так нас все-таки убьют, как сказали мальчики! Слушай-ка, они опять поют!

– Слушайте меня, а не их! – сказала мать. – После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Там есть тоже река, которая разливается, и тогда вся страна превращается в болото. Ходишь себе по болоту и кушаешь лягушек!

– О! – сказали птенцы.

– Да! Вот прелесть! Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время как нам там будет так хорошо, здесь на деревьях не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на землю белыми лоскутками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

– А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками? – спросили птенцы.

– Нет, кусками они не застынут, но померзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло несколько времени, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озиаться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им вкусных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными

штуками! Доставал головою свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

– Ну, пора теперь и за ученье приняться! – сказала им в один прекрасный день мать, и всем четверем птенцам пришлось вылезть из гнезда на крышу. Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не свалились!

– Смотрите на меня! – сказала мать. – Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни! – И она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули и – бац! – все так и растянулись. Они были еще тяжелы на подъем.

– Я не хочу учиться! – сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо. – Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

– Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас позову их!

– Ай нет, нет! – сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут также держаться в воздухе на распластанных крыльях. Но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчишки и запели:

Аист, аист белый...

– А что, слетим да выключем им глаза? – спросили птенцы.

– Нет, не надо! – сказала мать. – Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо; раз-два-три! Теперь налево, кругом трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволяю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми – вот и покажите себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше, так гораздо красивее и внушительнее!

– Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчишкам? – спросили птенцы.

– Пусть они себе кричат что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

– А мы все-таки отомстим! – шепнули птенцы друг другу и продолжали ученье.

Задорнее всех из ребятишек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то и думали, что ему лет сто, – он был ведь куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неугомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты, и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше как перед самым отлетом их в теплые края.

– Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчики ведь будут правы. Вот увидим!

– Увидишь! – сказали птенцы и усердно принялись за упражнения.

С каждым днем дело шло все лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настала осень; аисты начали готовиться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и вперед над лесами и озерами: им надо было испытать себя – предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не кол с минусом, а пятерку с лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло; лягушек и ужей можно ведь было съесть, что они и сделали.

– Теперь будем мстить! – сказали они.

– Хорошо! – сказала мать. – Вот что я придумала – это будет лучше всего. Я знаю, где тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям – крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получают ничего!

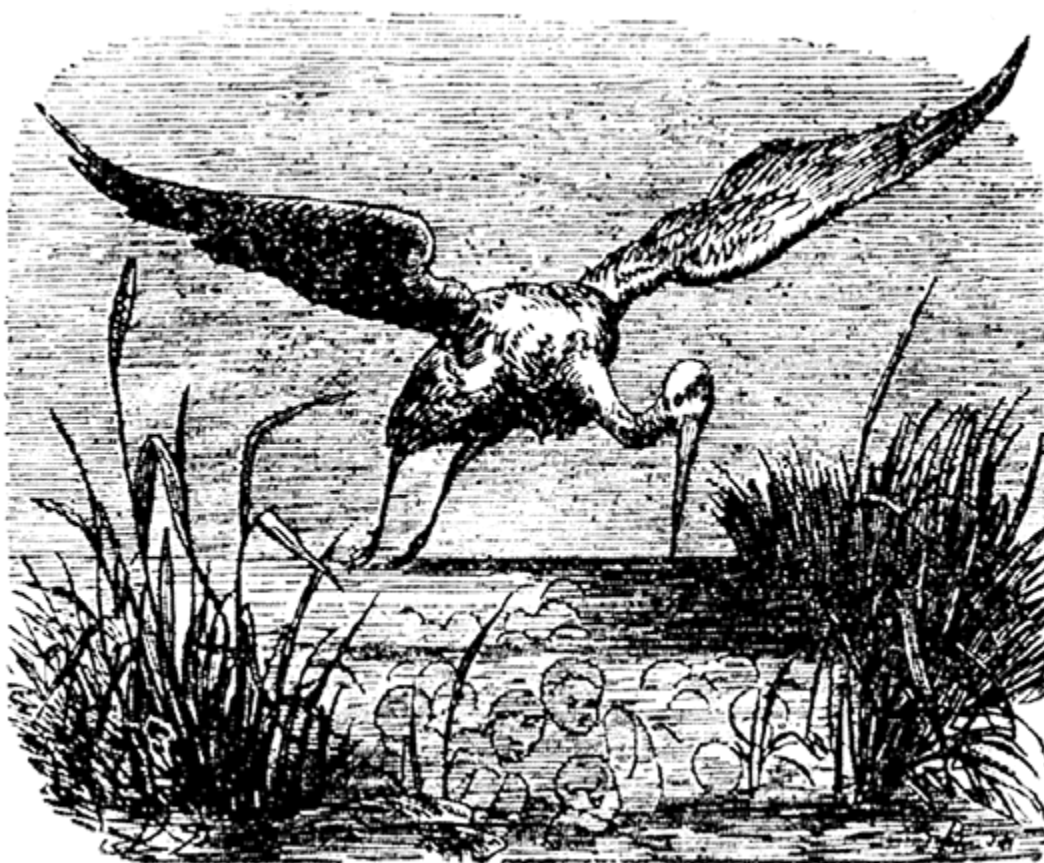


– А тому злему, который первый начал дразнить нас, ему что будет? – спросили молодые аисты.

– В пруду лежит один мертвый ребенок, он заспался до смерти; его-то мы и отнесем злему мальчику. Пусть поплачет, увидав, что мы принесли ему мертвого братца. А вот тому доброму мальчику, – надеюсь, вы не забыли его, – который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем зараз и братца и сестрицу. Его зовут Петер, будем же и мы в честь его зваться Петерами!

Как сказано, так и было сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.

1839



1840-е

## Злой князь

### *Предание*

Жил-был злой, высокомерный князь. Он только и думал о том, как бы покорить себе весь свет, на всех нагнать страх одним своим именем. И вот он шел в чужие земли с огнем и мечом; воины его топтали нивы и зажигали крестьянские дома; красные языки лизали листья на деревьях, а плоды поджаривались на обуглившихся ветвях. Часто бедная мать укрывалась с голеньким грудным малюткой за дымившимися стенами, но воины рыскали повсюду, находили их, и начиналась дьявольская потеха! Злые духи не могли поступать хуже. Но князю казалось, что дела шли как должно. День ото дня росло его могущество, имя его наводило ужас на всех, и удача сопровождала его во всех его деяниях. Из покоренных городов вывозил он золото и богатые сокровища, и в столице его скопились несметные богатства: нигде в свете не было ничего подобного. Он повелел строить великолепные дворцы, церкви и арки, и все, видевшие эти чудные постройки, говорили: «Какой великий князь!» Они не думали о бедствиях, в какие он поверг чужие земли, не слышали стонов и жалоб, раздававшихся в ограбленных и сожженных городах.

Сам князь смотрел на свое золото, на великолепные здания и думал, как другие: «Какой я великий князь! Но мне еще мало всего этого! Хочу большего! Ничья власть в мире не должна равняться с моею, не то что превосходить ее!»

И он пошел войной на всех своих соседей и всех покорил.

Плененных королей он велел приковывать золотыми цепями к своей колеснице всякий раз, как собирался проехаться по улицам столицы. Когда же он сидел за столом, они должны были лежать у ног его и его придворных и хватать куски хлеба, которые им бросали.

Наконец, князь повелел воздвигнуть себе на площадях и во дворцах статуи; он хотел было поставить их в храмах, перед алтарем Господа,

но священники сказали: «Князь, ты велик, но Бог выше тебя, мы не смеем сделать этого».

– Ладно! – сказал злой князь. – Так я покорю и Бога!

И, ослепленный безумною гордостью, он приказал строить диковинный корабль, на котором можно было носиться по воздуху. Корабль был расписан разными красками и походил на павлиний хвост, усеянный тысячами глазков, но каждый глазок был ружейным дулом. Князь сел на корабль; стоило ему нажать одну пружину, из ружей вылетали тысячи пуль, а ружья сейчас же сами собой заряжались вновь. Сто могучих орлов были впряжены в корабль, и вот он взвился в воздух, к солнцу. Земля едва виднелась внизу, горы и леса казались сначала вспаханным дерном, затем нарисованными на плоской ландкарте и наконец вовсе исчезали в облачном тумане. Все выше и выше подымались орлы; тогда Бог выслал одного из своих бесчисленных ангелов, но злой князь встретил его ружейным залпом. Пули отскочили от блистающих крыльев ангела, как градинки; только одна-единственная капелька крови вытекла из белоснежного крыла и упала на корабль, где сидел князь. Она глубоко въелась в дерево и надавила на дно корабля с страшною силой, словно тысячепудовая глыба свинца. Корабль полетел вниз с неимоверною быстротою; могучие крылья орлов переломились; ветер так и свистел в ушах у князя; облака, собравшиеся из дыма от сгоревших городов, теснились вокруг и принимали чудовищные формы: огромных раков, протягивавших к князю сильные клешни, катящихся обломков скал и огнедышащих драконов. Князь лежал на дне корабля полумертвый от страха. Наконец корабль застрял в густых ветвях лесных деревьев.

– Я одолею Бога! – сказал князь. – Я дал себе клятву одолеть его, и быть по сему! – И он приказал строить новые воздушные корабли; строили их семь лет. Велел он также ковать молнии из твердейшей стали, чтобы взять твердыню неба приступом, и собрал воинов со всех концов своего государства; войска покрыли пространство в несколько квадратных миль. Воины готовы были сесть на корабли, князь подошел к своему, но Бог выслал на него рой комаров, один только маленький комариный рой. Насекомые жужжали вокруг князя и жалили его в лицо и руки. Он злобно выхватил меч, но рубил им лишь воздух, в комаров же попасть не удавалось. Тогда он велел принести драгоценные ковры и окутать себя ими с ног до головы, чтобы ни один

комар не мог достать до него своим жалом. Приказ его был исполнен, но один комар ухитрился пробраться под самый нижний ковер, заполз в ухо князя и ужалил его. Словно огонь разлился по крови князя, яд проник в его мозг, и он сорвал с себя все ковры, разодрал на себе одежды и голый принялся метаться и прыгать перед толпой своих свирепых, солдат, а те только потешались над безумным князем, который хотел победить Бога и был сам побежден комариком!

1840

## Оле-Лукойе



Никто не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо подымается по лестнице; потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка приснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из

нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует – и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно – у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети уgomонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета – он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он разворачивает над нехорошими детьми: эти спят всю ночь как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!

Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь сказок – в неделе ведь семь дней.

## **Понедельник**



– Ну вот, – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель. – Прежде всего я украшу комнату!

И в один миг все комнатные цветы выросли в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку; вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а если бы вы захотели попробовать его – слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изумной начинки. Просто чудо что такое! Вдруг послышались ужасные стоны из ящика стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара.

– Что там такое? – сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказалось, что это трещала и скрипела аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы

были распасться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка; он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал, слушая ее! На каждой странице в начале каждой строки стояли чудесные большие и рядом с ними маленькие буквы – это была пропись; возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

– Вот как надо держаться! – говорила пропись. – Вот так, с легким наклоном вправо!

– Ах, мы бы и рады, – отвечали буквы Яльмара, – да не можем! Мы такие плохонькие!

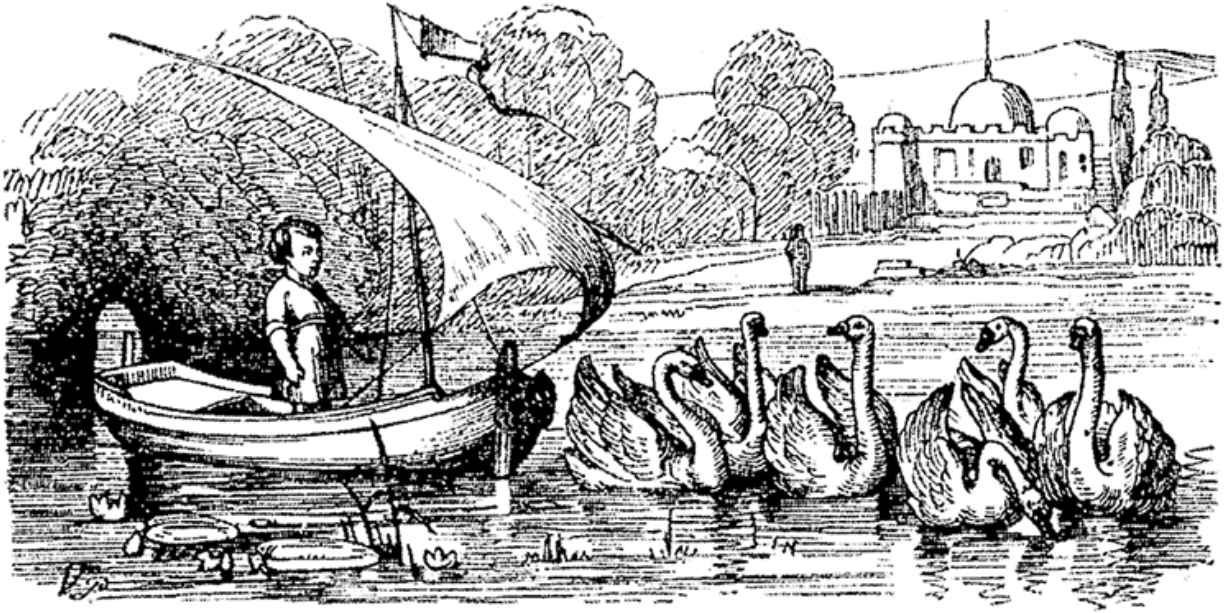
– Так я угощу вас касторкой! – сказал Оле-Лукойе.

– Ай, нет, нет! – закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

– Ну, теперь нам не до сказок! – сказал Оле-Лукойе. – Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар утром проснулся, они смотрели такими же жалкими, как прежде.

## **Вторник**



Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебною спринцовкой до комнатной мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою; все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их суетность; говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность; высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белую краской, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки.



Чудеснейшие рыбы с серебристой и золотистой чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели; всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка.

Да, вот так было плаванье!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо, схватывался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю, но Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его дождем изюма и оловянных солдатиков – вот что значит настоящие-то принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила его. И вот он увидал ее; она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

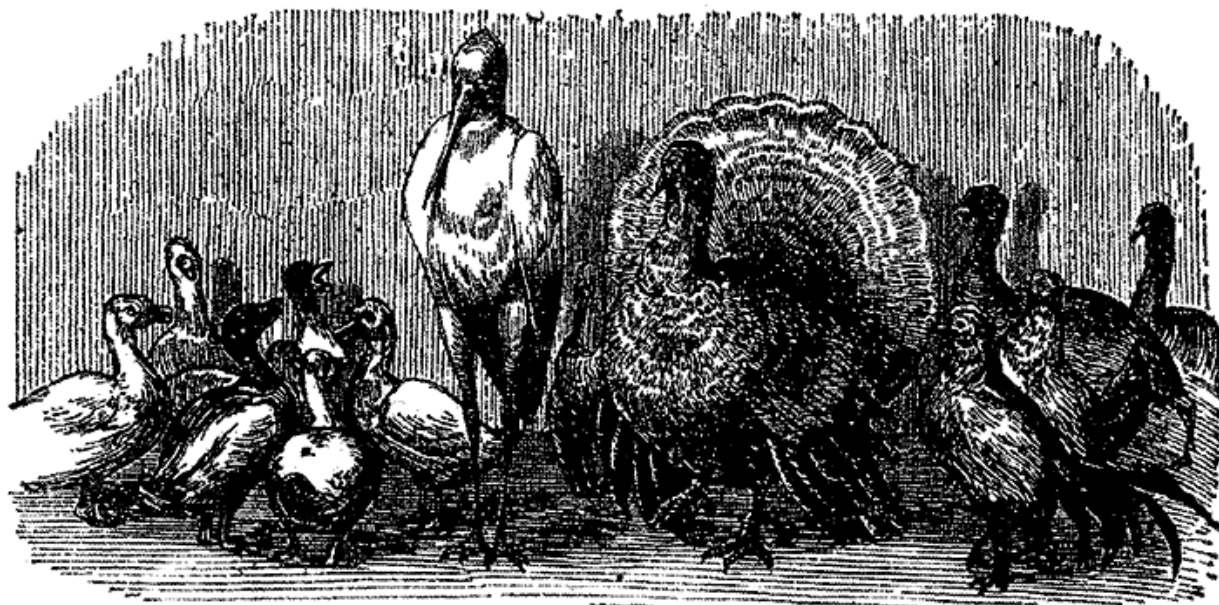
Мой Яльмар, тебя вспоминаю  
Почти каждый день, каждый час!  
Сказать не могу, как желаю  
Тебя увидеть вновь хоть раз!

Тебя ведь я в люльке качала,  
Учила ходить, говорить,  
И в щечки и в лоб целовала,

Так как мне тебя не любить?

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали головами, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.

## Среда



Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с окном. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

– Хочешь прокатиться, Яльмар? – спросил Оле. – Побываешь ночью в чужих землях, а к утру – опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви, – кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась у них из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти

отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распушенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими еще раза два, но все напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и – бух! – упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

– Ишь какой! – сказали куры.

А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и кричали.

И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

– Ну не глуп ли он?

– Конечно, дурак! – сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.

– Какие у вас чудесные тонкие ноги! – сказал индейский петух. – Почему аршин?

– Кряк! Кряк! Кряк! – закричали смешливые утки, но аист как будто и не слышал.

– Могли бы и вы посмеяться с нами! – сказал аисту индейский петух. – Очень забавно было сказано! Да куда, это, верно, слишком низменно для него! Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять сами себя!

И куры кудахтали, утки кричали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу, – он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А куры закудахтали, утки закричали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него сделался пунцовым.

– Завтра из вас сварят суп! – сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кровати.

Славное путешествие совершили они ночью с Оле-Лукойе!

## Четверг

– Знаешь что? – сказал Оле-Лукойе. – Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! – И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. – Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

– А как же я пройду сквозь маленькую дырочку в полу? – спросил Яльмар.

– Уж положишься на меня! – сказал Оле-Лукойе. – Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною с пальчик.

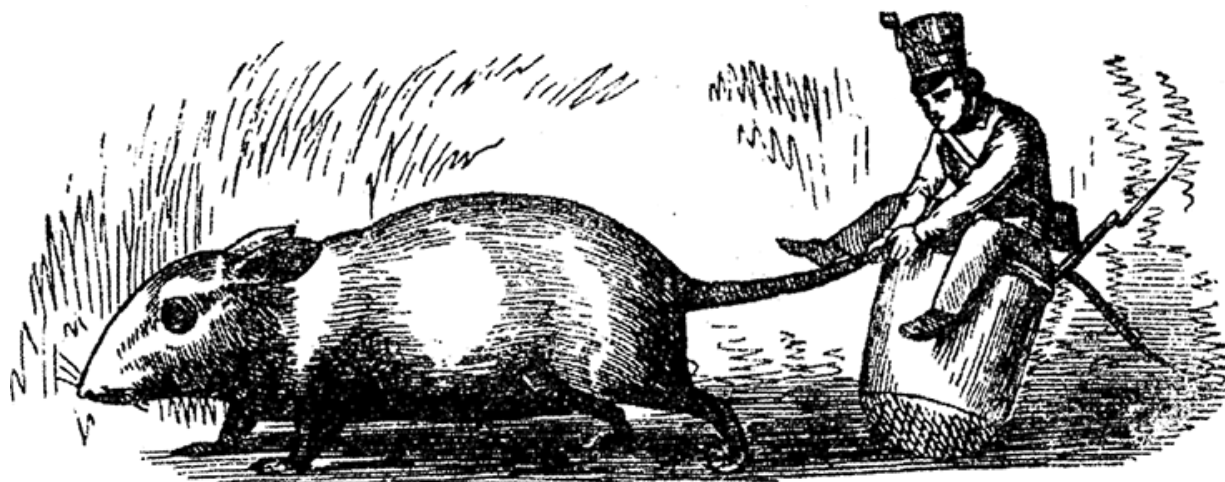
– Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир ведь так красит, ты же идешь в гости!

– Ну хорошо! – согласился Яльмар, и был наряжен чудеснейшим солдатиком.

– Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? – сказала Яльмару мышка. – Я буду иметь честь отвезти вас.

– Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, сударыня! – сказал Яльмар, и вот они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, в котором как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был празднично освещен гнилушками.



– Не правда ли, как хорошо здесь пахнет? – спросила мышка-возница. – Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, – мышки-кавалеры, по самой же середине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и ужасно целовались на глазах у всех. Что ж, они были ведь обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, а счастливая парочка поместилась в самых дверях, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом; другого угощения и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего две первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатной компании, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдата.

## **Пятница**



– Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется заполучить меня к себе! – сказал Оле-Лукойе. – Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, – говорят они мне, – мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! – добавляют они с глубоким вздохом. – Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньги!

– Что будем делать сегодня ночью? – спросил Яльмар.

– Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет обвенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!

– Знаю, знаю! – сказал Яльмар. – Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас же празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

– Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружье на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вот вся комнатная мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружной,  
Как ветер пусть несется!  
Хотя чета наша, ей-ей,  
Ничем не отзовется.

Из лайки оба и торчат  
На палках без движенья,  
Зато роскошен их наряд –  
Ну просто загляденье!

Итак, прославим песней их:  
Ура, невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.

– Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? – спросил молодой.

На совет пригласили бывалую путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые кисти винограда, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.

– Зато там нет нашей зеленой капусты! – сказала курица. – Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча

песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно! Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

– Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! – сказала ласточка. – К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

– Ну, к этому можно привыкнуть! – сказала курица.

– А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!

– То-то и хорошо для капусты! – сказала курица. – Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарница-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть последней дрянью, чтобы не находить нашу страну самою лучшею в мире! Такая дрянь недостойна и жить в ней! – Тут курица заплакала. – Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

– Да, курица – особа вполне достойная! – сказала кукла Берта. – Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам – то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

## Суббота





– А сегодня будешь рассказывать? – спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

– Сегодня некогда! – ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. – Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашку, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых, кивая головами, стояли маленькие китайцы.

– Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! – продолжал Оле. – Завтра ведь святой день, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню – посмотреть, вычистили ли церковные домовые все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле – посмотреть, смёл ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыпятся с неба одна за другой!

– Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! – сказал вдруг висевший на стене старый портрет. – Я прадедушка Яльмара и очень вам благодарен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды – такие же светила, как наша Земля, тем-то они и хороши!

– Спасибо тебе, прадедушка! – отвечал Оле-Лукойе. – Спасибо! Ты – всей семьи голова, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; греки и римляне звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми! Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

– Ну уж, нельзя и своего мнения высказать! – сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

## Воскресенье



– Добрый вечер! – сказал Оле-Лукойе.

Яльмар кивнул ему головкой, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

– А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой.

– Ну, хорошенького понемножку! – сказал Оле-Лукойе. – Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает сказки. Он знает только две: одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

– Сейчас увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала всегда спрашивал:

– Какие у тебя отметки за поведение?

– Хорошие! – отвечали все.

– Покажи-ка! – говорил он.

Приходилось показать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, – позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли – они сразу крепко прирастали к седлу.

– Но ведь Смерть – чудеснейший Оле-Лукойе! – сказал Яльмар. – И я ничуть не боюсь его!

– Да и нечего бояться! – сказал Оле. – Смотри только, чтобы у тебя всегда была хорошая отметка за поведение!

– Да, вот это поучительно! – пробормотал прадедушкин портрет. – Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!

И он был очень доволен.

Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.

## Свинопас



Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось.

Разумеется, с его стороны было несколько смело заявить дочери императора: «Хочешь за меня замуж?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот ждите-ка этого от императорской дочки!

Послушаем же, как было дело.

На могиле покойного отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще

был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза и соловей предназначены были в дар принцессе; их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней.

Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости; других занятий у них не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.

– Ах, если бы тут была маленькая киска! – сказала она.

Но появилась прелестная роза.

– Ах, как это мило сделано! – сказали все фрейлины.

– Больше чем мило! – сказал император. – Это прямо недурно!

Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

– Фи, папа! – сказала она. – Она не искусственная, а настоящая!

– Фи! – повторили все придворные. – Настоящая!

– Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! – возразил император.

И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка.

– Superbe! Charmant!<sup>[10]</sup> – сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.

– Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы! – сказал один старый придворный. – Да, тот же тон, та же манера давать звук!

– Да! – сказал император и заплакал, как ребенок.

– Надеюсь, что птица не настоящая? – спросила принцесса.

– Настоящая! – ответили ей доставившие подарки послы.

– Так пусть себе летит! – сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому.

Но принц не унывал, вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался.

– Здравствуйте, император! – сказал он. – Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?

– Много вас тут ходит да ищет! – ответил император. – Впрочем, постой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую, крошечную каморку рядом со свинными закутками. Весь день

просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку:

Ach, mein lieber Augustin,  
Alles ist hin, hin, hin!<sup>[11]</sup>

Занимательнее же всего было то, что, держа над подымавшимся из горшочка паром руку, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек не чета был какой-нибудь розе!

Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услышала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла: она тоже умела наигрывать на фортепьяно «Ах, мой милый Августин». Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем.

– Ах, ведь и я это играю! – сказала она. – Так свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент.

Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.

– Что возьмешь за горшочек? – спросила она.

– Десять принцессиных поцелуев! – отвечал свинопас.

– Божи избави! – сказала фрейлина.

– А дешевле нельзя! – отвечал свинопас.

– Вот невежа! – сказала принцесса и пошла было, но... бубенчики зазвенели так мило:

Ach, mein lieber Augustin,  
Alles ist hin, hin, hin!

– Послушай! – сказала принцесса фрейлине. – Пойди спроси, не возьмет ли он десять поцелуев моих фрейлин?

– Нет, спасибо! – ответил свинопас. – Десять поцелуев принцессы или горшочек останется у меня.

– Как это скучно! – сказала принцесса. – Ну, придется вам стать вокруг меня, чтобы никто нас не увидал!

Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки; свинопас получил десять принцессиных поцелуев, а принцесса – горшочек.

Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до кухни простого сапожника, о которой бы они ни знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.

– Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

– Еще бы! – подтвердила обер-гофмейстерина.

– Да, но держите язык за зубами, я ведь императорская дочка!

– Помилуйте! – сказали все.

А свинопас (то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ею начинали вертеть по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.

– Но это superbe! – сказала принцесса, проходя мимо. – Вот так попури! Лучше этого я ничего не слыхала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!

– Он требует сто принцессиных поцелуев! – доложила фрейлина, побывав у свинопаса.

– Да что он, в уме? – сказала принцесса и пошла своей дорогой, но сделала два шага и остановилась. – Надо поощрять искусство! – сказала она. – Я ведь императорская дочь! Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!

– Ну, нам это вовсе не по вкусу! – сказали фрейлины.

– Пустяки! – сказала принцесса. – Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу.

– Сто принцессиных поцелуев! – повторил он. – А нет – каждый останется при своем.

– Становитесь вокруг! – скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас стал ее целовать.



– Что это за сборище у свиных закуток? – спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки. – Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задки своих туфель. Туфлями служили ему старые стоптанные башмаки. Эх ты, ну как он зашлепал в них!

Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев – надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

– Это еще что за штуки! – сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. – Вон! – закричал рассерженный император и прогнал из своего государства и принцессу и свинопаса.

Принцесса стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и поливал на них.

– Ах, я несчастная! – плакала принцесса. – Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе, так что принцесса невольно преклонилась перед ним.

– Теперь я только презираю тебя! – сказал он. – Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!

И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь:

Ach, mein lieber Augustin,  
Alles ist hin, hin, hin!

## Гречиха



Часто после грозы видишь, что гречиха в поле опалена дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля, — дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиною посредине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.

Другие поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом — чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в благочестивом смирении свои головы к земле.

Тут же, возле самой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

— Я не беднее хлебных колосьев! — говорила она. — Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого

посмотреть! Знаешь ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?

Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:

– Глупое дерево, у него от старости в животе трава растет!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепесточки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.

– Склони голову! – говорили ей цветы.

– Незачем! – отвечала гречиха.

– Склони голову, как мы! – закричали ей колосья. – Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

– Ну а я все-таки не склоню головы! – сказала гречиха.

– Сверни лепестки и склони голову! – сказала ей и старая ива. – Не гляди на молнию, когда разверзаются облака! Сам человек не дерзает этого; в это время можно заглянуть в самое небо Господне, но за такой грех Господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Мы, бедные полевые злаки, ведь куда ниже, ничтожнее человека!

– Ниже? – сказала гречиха. – Так вот же я загляну в небо Господне!

И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве. Все кругом запылало от молний, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она погибла и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

– О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несется от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я; они прощепетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.

## Бронзовый кабан

Вгороде Флоренции, недалеко от площади дель Грандука, есть небольшой переулок, который зовется, если не ошибаюсь, Порта-Росса. Тут, перед овощным и зеленым рынком, стоит бронзовый кабан искусной работы; изо рта его бежит чистая свежая вода. Само животное совсем уже почернело от времени, одна морда блестит, как полированная: ее отполировали сотни рук бедняков, детей и взрослых, обнимавших ее и подставлявших под струю воды свои пересохшие рты. Посмотреть только, как какой-нибудь хорошенький полунагой мальчуган обнимает красивое животное и приближает свой свеженький ротик к его морде – настоящая картина! Всякий, кто попадет во Флоренцию, без труда найдет это место: стоит только спросить любого нищего, и он сейчас скажет, где находится бронзовый кабан.

Был ранний зимний вечер; горы лежали все в снегу, но на небе сиял месяц, а месяц в Италии светит так, что превращает и ночь в день – не хуже наших темных зимних дней. Да что я – не хуже! Даже лучше, потому что тут светится сам воздух, и небо как будто поднимается выше, тогда как у нас, на севере, эта холодная свинцовая крыша – небо – просто гнетет нас к сырой земле, которая рано или поздно придавит крышку нашего гроба.



В герцогском саду, под сенью пихт, где и зимой цветут тысячи роз, целый день сидел маленький оборвыш. Мальчуган мог бы послужить живым изображением Италии: он так и сиял красотой и в то же время был так жалок, так несчастен... Ему страшно хотелось есть и пить, но никто не подал ему сегодня ни единой монетки. Между тем стемнело, сад пора было запирать, и сторож выгнал мальчика вон. Долго стоял бедняжка, задумавшись, на мосту, перекинутом через Арно, и смотрел на блестящие в воде звезды.

Потом он направился к бронзовому кабану, нагнулся, обхватил его ручонкой за шею и, приблизив ротик к его блестящей морде, стал жадно глотать свежую воду. Тут же валялись несколько листочков салата и пара каштанов – они пошли ему на ужин. На улице не было ни души, мальчик был один-одинешенек, и он уселся на бронзового кабана, склонился курчавою головкой на голову животного и мигом заснул.

В полночь бронзовый кабан шевельнулся, и мальчик явственно услышал: «Держись крепче, малыш, теперь я побегу!» И кабан в самом деле пустился с мальчиком во всю прыть. Вот так езда была!

Прежде всего они направились на площадь дель Грандука; бронзовая лошадь на герцогском монументе громко заржала; пестрые гербы на старой ратуше засветились, точно транспаранты, а Микеланджелов Давид взмахнул пращой; повсюду пробуждалась какая-то странная жизнь. Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» стояли, точно живые; крик смертельного ужаса раздавался по великолепной безлюдной площади.

Возле Палаццо Уффици, под аркой, где собирается во время карнавала вся флорентийская знать, бронзовый кабан остановился.

– Держись крепче! – сказал он мальчику. – Теперь марш вверх по лестнице!

Мальчуган за все это время не проронил ни словечка, трепеща от страха и от радости. Вот они вступили в длинную галерею; мальчик хорошо знал ее: он бывал здесь и прежде. Стены пестрели картинами, повсюду стояли бюсты и статуи, озаренные чудным светом; казалось, здесь царил светлый день. Но еще лучше стало, когда растворилась дверь в боковые залы! Вся эта роскошь была хорошо памятна

мальчику, но на этот раз все являлось ему в каком-то особенном, чудном освещении.

Вот перед ним прелестная нагая женщина – такое совершенство природы могло быть воспроизведено в мраморе только искусством несравненного художника. Ее дивные формы дышали жизнью, у ног ее резвились дельфины, бессмертие сверкало в ее взоре. Люди зовут ее Венерой Медицейской. По обеим сторонам богини разместились мраморные статуи чудных юношей: один точил меч – его зовут «Точильщиком»; на другом же пьедестале боролись гладиаторы. И меч точился, и борцы сражались ради богини красоты.

Весь этот блеск почти ослеплял мальчугана; стены сияли разноцветными красками; все было – сама жизнь, само движение. Тут было еще одно изображение Венеры, земной Венеры, полной жизни и огня, какую грезилась она Тициану. Да, это были два чудных женских образа! Прекрасное, ничем не прикрытое тело Тициановой Венеры покоилось на мягком ложе; грудь ее тихо вздымалась, голова слегка шевелилась, пышные волосы падали на круглые плечи, а темные глаза горели страстью. Ни одна из картин не смела, однако, совсем выступить из рамы. Сама богиня красоты, гладиаторы и точильщик тоже оставались на своих местах: их сковывало сияние, лившееся от изображения Мадонны, Иисуса и Иоанна. Святые перестали быть картинами, это были уже сами святые!

Что за красота, что за блеск царили в этих залах! Бронзовый кабан обошел их шаг за шагом, и мальчик увидел все. Одно зрелище вытеснялось из памяти другим, но одна картина оставила в его душе неизгладимый след, главным образом благодаря изображенным на ней радостным, счастливым детям; мальчик уже раз видел их днем.

Многие прошли бы, пожалуй, мимо этой картины, а между тем это истинное сокровище поэзии. На ней изображен Христос, сходящий в преисподнюю, но вокруг него толпятся не измученные грешники, а язычники. Рисовал картину флорентиец Анджело Бронзино. Лучше всего в ней – выражение на лицах детей твердой уверенности в том, что они взойдут на небо. Двое малюток уже обнимаются друг с другом; один, стоящий повыше, протягивает руки стоящему пониже, указывая при этом пальцем на самого себя, как бы говоря: «Я иду на небо!» На лицах же взрослых написаны робкая, неуверенная надежда и смиренная мольба.

На эту картину мальчик смотрел дольше всего; бронзовый кабан стоял смирно, и вдруг послышался тихий вздох. Откуда он вырвался? Из картины или из груди животного? Мальчик протянул руку к улыбающимся детям, но кабан помчался обратно в аванзалу.

– Спасибо тебе, милый, славный кабанчик! – сказал мальчуган и погладил животное, которое – тук, тук! – сбегало вниз по лестнице.

– Спасибо и тебе! – сказал кабан. – Я помог тебе, а ты помог мне: я могу двигаться, лишь когда на мне сидит невинный ребенок. Тогда я могу даже проходить под лучами лампы, горящей перед образом Мадонны. Всюду могу я входить с тобой, только не в церковь! Но смотреть туда в открытые двери мне не воспрещено! Не слезай же с меня! Если ты слезешь, я стану таким же мертвым, неподвижным, каким ты видел меня днем в переулке Порта-Росса.

– Я не покину тебя, милый кабан! – сказал мальчик, и они вихрем помчались по улицам на площадь, к церкви Санта-Кроче.

Огромные входные двери раскрылись; на алтаре горели свечи, так что в церкви и даже на безлюдной площади было светло.

С надгробного памятника, помещавшегося в левом приделе церкви, струился какой-то удивительный свет, словно вокруг образовалось сияние из сотни тысяч движущихся звезд. На памятнике красовался герб: красная, словно пылающая в огне, лестница на голубом поле. То была гробница Галилея; она очень проста, герб же полон глубокого значения. Он мог бы послужить гербом самого искусства или науки: представителей их ведь тоже ведет к бессмертию пылающая лестница; все пророки искусства и науки, отмеченные дарами Духа, восходят на небо, как пророк Илия.

Изображения, помещавшиеся на мраморных саркофагах в правом приделе церкви, казалось, все ожили. Тут стоял Микеланджело, там – Данте с лавровым венком на челе, здесь – Альфьери, Макиавелли – повсюду великие мужи, гордость Италии<sup>[12]</sup>. Церковь Санта-Кроче великолепна, куда красивее, хоть и не так велика, как мраморный Флорентийский собор.

Складки мраморных одеяний шевелились, а сами изображения великих людей поднимали головы и устремляли взоры на блестящий алтарь, откуда слышалось пение и где кадили золотыми кадилами мальчики в белоснежных одеждах; сильное благоухание струилось из церкви на площадь.

Мальчик протянул руку к светлому сиянию, но в тот же миг бронзовый кабан помчался дальше, и ему пришлось крепко прижаться к шее животного. Ветер так и свистел у него в ушах, двери собора с визгом затворились; тут сознание оставило мальчика, смертельный холод охватил его члены, и – он открыл глаза.

Было уже утро; он полусидел, полулежал, почти совсем соскользнув со спины кабана, который стоял, как и всегда, на своем обычном месте.

Ужас охватил мальчика при одной мысли о той, кого он звал матерью. Она послала его вчера собирать милостыню, но никто не подал ему ничего; голод мучил бедняжку. Еще раз обнял он кабана, поцеловал его в морду, кивнул ему головой и направился в одну из самых узких улиц, где едва-едва мог пройти навьюченный осел. Затем мальчик вошел в полуотворенную, окованную железом дверь и стал подниматься по грязной кирпичной лестнице с веревкой вместо перил. Лестница вела на открытую галерею, всю увешанную лохмотьями; с галереи во двор спускалась другая лестница; посреди двора находился колодец, от которого во все этажи были проведены толстые железные проволоки, а по ним то и дело двигались ведра с водой; ворот скрипел, а вода из ведер плескала на мостовую двора. По узенькой полуразвалившейся кирпичной лесенке мальчик поднялся еще выше; навстречу ему весело сбегали по ступеням двое русских матросов и чуть не сбили мальчугана с ног. Они возвращались с веселой ночной пирушки; за ними шла немолодая, но крепко сложенная женщина с густыми черными волосами.

– Много принес? – спросила она мальчика.

– Не сердись! – взмолился он. – Никто не дал мне ничего!

И он схватился за край платья матери, как бы желая поцеловать его. Они вошли в комнату; описывать ее мы не станем; довольно будет сказать, что тут стоял глиняный горшок с горячими угольями – грелка, или *marito*, как его зовут в Италии. Женщина взяла его и стала греть свои руки.

– Что-нибудь ты принес все-таки? – спросила она, толкнув мальчика локтем.

Ребенок заплакал; она дала ему пинка ногою; он громко завопил.

– Замолчи, не то я разобью твою горластую башку! – сказала она и замахнулась на него грелкой.



Мальчик с криком припал к земле. Дверь отворилась, и вошла соседка, тоже с грелкой в руках.

– Феличита! Что ты делаешь с ребенком?

– Ребенок мой! – отвечала Филичита. – Я могу убить его, если захочу, да и тебя вместе, Джианина!

И она замахнулась грелкой. Соседка подняла на защиту свою, и горшки столкнулись – черепки, уголья и зола разлетелись по всей комнате, а мальчик – за дверь, на двор да на улицу! Бедный ребенок бежал, пока у него нехватило дух, и он поневоле остановился у церкви Санта-Кроче, у той самой, в которой побывал сегодня ночью. Церковь вся сияла в огнях; он вошел, опустил на колени возле первой гробницы направо – это была гробница Микеланджело – и громко зарыдал. Народ приходил и уходил, обедня кончилась, никому не было дела до мальчика; приостановился было и посмотрел на него только какой-то пожилой горожанин, но потом и тот пошел своею дорогой, как другие.

Ребенок совсем обессилел от голода и жажды, заполз в угол между стеной и мраморной гробницей и заснул. Проснулся он только под вечер – кто-то растолкал его; он встал и увидал перед собою того же самого старика.

– Тебе нездоровится? Где ты живешь? Ты целый день здесь? – засыпал он мальчика вопросами.

Мальчик ответил, и старик повел его в маленький домик на одной из боковых улиц неподалеку от церкви. Они вошли в перчаточную мастерскую: пожилая женщина прилежно шила, а по столу перед ней прыгала маленькая беленькая болонка, стриженная так коротко, что сквозь шерстку просвечивало розовое тельце. Болонка кинулась к мальчику.

– Невинные души живо признают друг друга! – сказала женщина и погладила собачку и ребенка.

Добрые люди, накормив и напоив мальчика, позволили ему переночевать у них, а на другой день дядюшка Джузеппе хотел поговорить с матерью мальчугана.

Ребенка уложили на маленькую бедную постель, но она показалась ему княжеской: он привык проводить ночи на жестких камнях мостовой. Спокойно заснул он и видел во сне роскошные картины и бронзового кабана.

Утром дядюшка Джузеппе ушел, а бедный мальчуган пригорюнился: дело кончится тем, что его отведут к матери! И он плакал, целуя беленькую резвую собачку, а добрая женщина ласково кивала им головой.

Ну, с чем-то вернулся дядюшка Джузеппе? Он долго беседовал с женой; та одобрительно покачивала головой и гладила мальчика по головке, говоря:

– Такой милый мальчик! Из него выйдет славный перчаточник, не хуже тебя! У него такие тонкие, гибкие пальцы! Он самую Мадонной назначен в перчаточники!

И мальчик остался у них. Жена перчаточника учила его шить; кормили его хорошо, спал он отлично и сделался веселым, резвым мальчиком, который не прочь был иногда пошалить и подразнить Беллиссиму – так звали собачку; но хозяйка грозила ему пальцем, бранилась и сердилась, что очень огорчало мальчика. Раз как-то он сидел, задумавшись, в своей каморке, в которой сушились и кожи; окна, выходившие на улицу, были огорожены толстыми решетками; мальчик не мог спать: бронзовый кабан не выходил у него из головы, и вдруг он услышал на улице: тук! тук! Это, наверное, кабан! Мальчик бросился к окну, но улица была уже пуста.

– Помоги-ка синьору, возьми ящик с красками! – сказала раз утром хозяйка при виде молодого соседа-художника, тащившего ящик и накатанный на палку холст.

Мальчик взял ящик и пошел за художником. Они отправились в картинную галерею и поднялись по той самой лестнице, которую мальчик так хорошо помнил с той ночи, когда ездил на кабана; он узнал все статуи и картины, чудную мраморную Венеру, Мадонну, Иисуса и Иоанна.

Вот они остановились перед картиной Бронзино, на которой изображен Христос, нисходящий в преисподнюю и окруженный улыбающимися и крепко верящими в свое спасение детьми; бедный мальчик тоже весь просиял улыбкой – он сам чувствовал себя на небе.

– Ну, ступай себе! – сказал ему художник, успевший уже установить свой мольберт.

– Нельзя ли мне посмотреть, как вы перенесете картину сюда, на этот белый холст? – сказал мальчик.

– Теперь я еще не буду писать красками! – отвечал художник и взял угольный карандаш.

Быстро задвигалась его рука, глаза впились в большую картину и, несмотря на то что он делал лишь одни тонкие штрихи, на холсте у него появился тот же воздушный образ Христа, что и на картине, писанной масляными красками.

– Ну, ступай же! – сказал опять художник, и мальчик тихонько побрел домой, сел за стол и стал учиться... шить перчатки.

Но мысли его неслись к картинной галерее, он колол себе иголкой пальцы, работа не спорилась, зато и Беллссиму он больше не дразнил. Вечером мальчик скользнул в отворенную дверь на улицу; было холодно, но на небе сияли чудные ясные звездочки. Он побежал по безмолвным улицам прямо к бронзовому кабану, наклонился к нему, поцеловал его в блестящую морду, потом уселся ему на спину и сказал:

– Как я соскучился по тебе, милый кабан! Надо нам опять прокатиться сегодня ночью!

Бронзовый кабан не шевельнулся, изо рта его по-прежнему бежала струя чистой, свежей воды. Мальчик сидел на нем, точно всадник на коне, как вдруг кто-то потянул его за край платья. Он взглянул и увидел Беллссиму, маленькую, голенькую Беллссиму! Собачка тоже незаметно шмыгнула в дверь и увязалась за мальчиком. Беллссима тяфкала, словно хотела сказать мальчику: «И я тут! А ты куда это забрался?» Явись перед мальчиком огненный дракон, бедняжка не испугался бы его больше Беллссимы. Беллссима на улице и «не одета!», как сказала бы хозяйка. Что же теперь будет?! Зимой собачку никогда не выпускали из дома без теплой, нарочно для нее сшитой, овчинной попонки. Овчинка была украшена бубенчиками и бантиками, привязывалась же к шейке и под брюшком красными ленточками. Сопровождая в таком наряде свою госпожу на прогулку, собачка была похожа на маленького семенившего ножками барашка. «Беллссима тут, и не одетая! Что теперь будет?» Все мечты разлетелись, мальчик поцеловал бронзового кабана, подхватил Беллссиму – бедняжка дрожала от холода – и побежал домой что было мочи.

– Что это у тебя? Куда бежишь? – закричали два попавшихся ему по дороге жандарма; Беллссима залаяла.

– Где ты стащил такую хорошенькую собачку? – спросили они и отняли ее у мальчика.

– Ах, отдайте мне собачку! – умолял мальчуган.

– Если ты не украл ее, скажи дома, чтобы кто-нибудь пришел за ней на гауптвахту.

И они ушли с Беллссимой.

Вот так горе! Что было ему делать: броситься в Арно или идти домой с повинной? Хозяева, конечно, избьют его до смерти! «Ну и пусть, я сам хочу умереть; я пойду тогда к Иисусу и Мадонне!» И он пошел домой, главным образом, для того, чтобы умереть.

Дверь была заперта; он не мог достать до дверного молотка; на улице не было ни души, но на мостовой валялся булыжник, и мальчик принялся колотить им в дверь.

– Кто там? – послышался оклик.

– Я! – сказал он. – Беллссимы нет! Отворите мне и бейте меня до смерти.

Поднялась суматоха; особенно испугалась за бедную собачку хозяйка; она сейчас же взглянула на стену, где висела собачкина попонка: овчинка была на месте.

– Беллссима на гауптвахте! – завопила она. – Ах ты, негодный мальчишка! Как это ты выманил ее? Она замерзнет! Такое нежное созданище в руках грубых солдат!

И дядюшке Джузеппе пришлось отправиться за собачкой. Хозяйка охала, а мальчик плакал; сбежались все соседи, пришел и художник. Он притянул к себе мальчугана, стал расспрашивать, как было дело, и кое-как, клочками и отрывками, узнал всю историю о бронзовом кабане и о картинной галерее. Не сразу можно было понять мальчугана.

Художник утешал мальчика и заступался за него перед старухой, но она успокоилась только тогда, когда дядюшка Джузеппе вернулся с Беллссимой, побывавшей у солдат. То-то была радость! Художник приласкал бедного мальчугана и дал ему целую стопку картинок.

Картинки были чудесные, пресмешные! Особенно хорош был бронзовый кабан – ну совсем как живой! Лучше его и быть ничего не могло! Художник сделал несколько штрихов карандашом, и на бумаге появился бронзовый кабан, да не только он, но и дом, находившийся позади него!

«Вот бы уметь так рисовать и писать красками! Весь мир стал бы моим! Все можно было бы перенести на бумагу!»

На другой день, улучив минуту, когда остался один, мальчик схватил карандаш и попробовал срисовать кабана на оборотной стороне одной из картинок. Удалось! Немножко криво, немножко косо, одна нога толще другой, но все-таки можно было догадаться, что это бронзовый кабан.

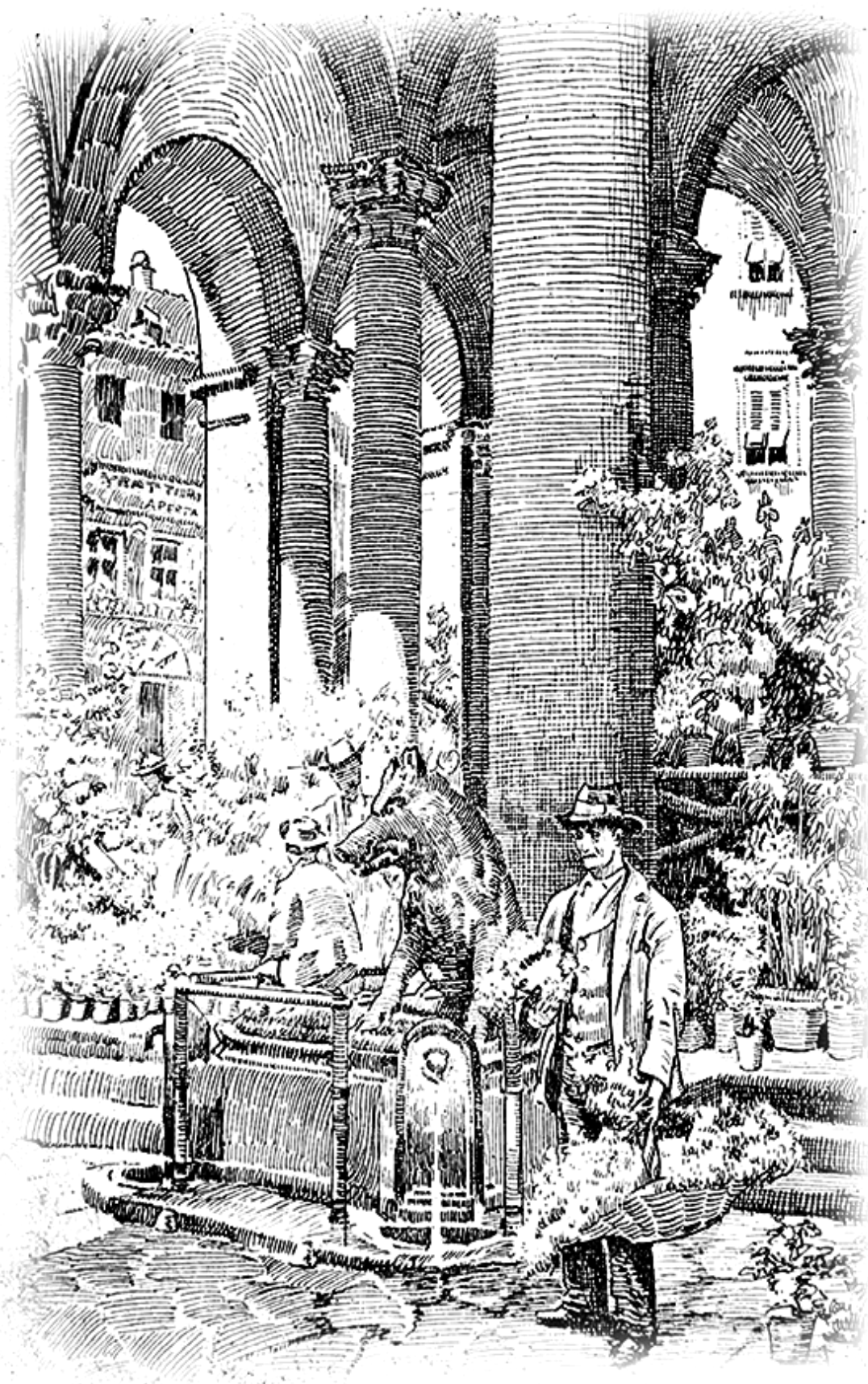
Мальчик ликовал! Правда, карандаш еще плохо слушался его – он отлично замечал это. Но на следующий день рядом с первым бронзовым кабаном стоял другой; этот был уже во сто раз лучше, третий же так хорош, что всякий сразу узнал бы, с кого он был срисован.

Зато плохо шло шитье перчаток, плохо и медленно исполнялись разные маленькие поручения хозяев. Благодаря бронзовому кабану мальчик узнал, что на бумагу можно перенести любую картину, а город Флоренция – настоящий альбом, знай себе перелистывай! На площади делла Тринита стоит стройная колонна; на самой вершине ее – богиня правосудия с завязанными глазами и весами в руках; скоро и она попала на бумагу, перенес же ее туда ученик перчаточника. Коллекция рисунков у него все росла, но все это были пока изображения предметов неодушевленных. Раз запрыгала перед ним Беллиссима, и он сказал ей:

– Стой смирно! Увидишь, какою ты выйдешь хорошенькою на картинке!

Беллиссима, однако, не хотела стоять смирно и пришлось ее привязать. Но и привязанная за хвост и за голову, она все-таки продолжала прыгать и лаять; понадобилось хорошенько затянуть шнурок. Вдруг вошла синьора.

– Безбожный мальчишка! Бедная собачка! – вот все, что она могла вымолвить.



Потом она оттолкнула мальчика, дала ему пинка ногой и выгнала неблагодарного безбожника из дома, покрывая поцелуями и слезами бедную, полузадохшуюся Беллиссиму.

В это время по лестнице поднимался художник, и – тут поворотный пункт нашей истории.

В 1834 году во Флорентийской академии художеств была выставка. Две картины, стоявшие рядом, привлекали толпы зрителей. На картине поменьше был изображен веселый мальчуган, который срисовывал маленькую беленькую коротко стриженную собачку.

Модель, видно, не хотела стоять смирно и потому была прикручена к столу за хвост и за голову шнурком. Жизнь так и была в этой картине ключом, и все были от нее в восторге. Картина принадлежала, как говорили, кисти молодого флорентийца, найденного где-то на улице еще ребенком, воспитанного стариком-перчаточником и самоучкою выучившегося рисовать. Один знаменитый теперь художник случайно открыл его талант, когда мальчугана выгоняли из дома за то, что он, желая срисовать хозяйкину любимицу собачку, связал и чуть-чуть не задушил ее.

Из ученика-перчаточника вышел великий художник – об этом свидетельствовала и упомянутая картина, в особенности же та, большая, что находилась рядом. На ней была всего одна фигура: прелестный оборванный мальчуган крепко спал, сидя на бронзовом кабане из переулка Порта-Росса<sup>[13]</sup>.

Всем зрителям было хорошо знакомо это место. Руки мальчика покоились на голове кабана. Милое бледное детское личико было ярко освещено лучами от лампы, висевшей перед образом Мадонны. Картина была чудная! На угол великолепной золотой рамы был повешен лавровый венок, но между зелеными листьями вилась черная лента и черный флер.

Молодой художник незадолго перед тем умер.

## Побратимы

Мы только что сделали маленькое путешествие и опять пустились в новое, более далекое. Куда? В Спарту! В Микены! В Дельфы! Там тысячи мест, при одном названии которых сердце вспыхивает желанием путешествовать. Там приходится пробираться верхом, взбираться по горным тропинкам, продираться сквозь кустарники и ездить не иначе, как целым караваном. Сам едешь верхом рядом с проводником, затем идет вьючная лошадь с чемоданом, палаткой и провизией и, наконец, для прикрытия, двое солдат.

Там уж нечего надеяться отдохнуть после утомительного дневного перехода в гостинице; кровом путнику должна служить его собственная палатка; проводник готовит к ужину пилав; тысячи комаров жужжат вокруг палатки; какой уж тут сон! А наутро предстоит переезжать вброд широко разлившиеся речки; тогда крепче держись в седле – как раз снесет!

Какая же награда за все эти мытарства? Огромная, драгоценнейшая! Природа предстает здесь перед человеком во всем своем величии; с каждым местом связаны бессмертные исторические воспоминания – глазам и мыслям полное раздолье! Поэт может воспеть эти чудные картины природы, художник – перенести их на полотно, но самого обаяния действительности, которое навеки запечатлевается в душе всякого, видевшего их воочию, не в силах передать ни тот, ни другой.

Одинокий пастух, обитатель диких гор, расскажет путешественнику что-нибудь из своей жизни, и его простой, бесхитростный рассказ представит, пожалуй, в нескольких живых штрихах страну эллинов куда живее и лучше любого путеводителя.

Так пусть же он рассказывает! Пусть расскажет нам о прекрасном обычае побратимства.

– Мы жили в глиняной мазанке; вместо дверных косяков были рубчатые мраморные колонны, найденные отцом. Покатая крыша спускалась чуть не до земли; я помню ее уже некрасивою, почерневшею, но когда жилье крыли, для нее принесли с гор цветущие олеандры и свежие лавровые деревья. Мазанка была стиснута голыми серыми отвесными, как стена, скалами. На вершинах скал зачастую покоились, словно какие-то живые белые фигуры,



облака. Никогда не слышал я здесь ни пения птиц, ни музыкальных звуков волынки, не видал веселых плясок молодежи; зато самое место было освящено преданиями старины; имя его само говорит за себя: Дельфы! Темные, угрюмые горы покрыты снегами; самая высокая гора, вершина которой дольше всех блестит под лучами заходящего солнца, зовется Парнасом. Источник, журчавший как раз позади нашей хижины, тоже слыл в старину священным; теперь его мутят своими ногами ослы, но быстрая струя мчится без отдыха и опять становится прозрачной. Как знакомо мне тут каждое местечко, как сжился я с этим глубоким священным уединением! Посреди мазанки разводили огонь, и когда от костра оставалась только горячая зола, в ней пекли хлебы. Если мазанку нашу заносило снегом, мать моя становилась веселее, брала меня за голову обеими руками, целовала в лоб и пела те песни, которых в другое время петь не смела: их не любили наши властители турки. Она пела: «На вершине Олимпа, в сосновом лесу, старый плакал олень, плакал горько, рыдал неутешно, и зеленые, синие, красные слезы лились на землю ручьями, а мимо тут лань проходила. «Что плачешь, олень, что роняешь зеленые, синие, красные слезы?» – «В наш город нагрянули турки толпой, а с ними собак кровожадных стаи!» – «Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубь!» – Так лань говорила, но вечер настал – ах, лань уж убита и загнан олень!»

Тут на глазах матери наворачивались слезы и повисали на длинных ресницах, но она смахивала их и переворачивала пекшиеся в золе черные хлебы на другую сторону. Тогда я сжимал кулаки и говорил:

«Мы убьем этих турок!»

Но мать повторяла слова песни:

«Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубь!» – Так лань говорила, но вечер настал – ах, лань уж убита и загнан олень!»

Много ночей и дней проводили мы одни-одинешеньки с матерью; но вот приходил отец. Я знал, что он принесет мне раковин из залива Лепанто или, может быть, острый блестящий нож. Но раз он принес нам ребенка, маленькую нагую девочку, которую нес завернутую в козью шкуру под своим овчинным тулупом. Он положил ее матери на колени, и когда ее развернули, оказалось, что на ней нет ничего, кроме трех серебряных монет, вплетенных в ее черные волосы. Отец

рассказал нам, что турки убили родителей девочки, рассказал и еще много другого, так что я целую ночь бредил во сне. Мой отец и сам был ранен; мать перевязала ему плечо; рана была глубока, толстая овчина вся пропиталась кровью. Девочка должна была стать моею сестрою. Она была премиленькая, с нежною, прозрачною кожей, и даже глаза моей матери не были добрее и нежнее глаз Анастасии – так звали девочку. Она должна была стать моею сестрой, потому что отец ее был побратимом моего; они побратались еще в юности, согласно древнему, сохраняющемуся у нас обычаю. Мне много раз рассказывали об этом прекрасном обычае; покровительницей такого братского союза избирается всегда самая прекрасная и добродетельная девушка в округе.

И вот малютка стала моею сестрой; я качал, ее на своих коленях, приносил ей цветы и птичьи перышки; мы пили вместе с ней из Парнасского источника, спали рядышком под лавровой крышей нашей мазанки и много зим подряд слушали песню матери об олене, плававшем зелеными, синими и красными слезами; но тогда я еще не понимал, что в этих слезах отражались скорби моего народа.

Раз пришли к нам трое иноземцев, одетых совсем не так, как мы; они привезли с собою на лошадях палатки и постели. Их сопровождало более двадцати турок, вооруженных саблями и ружьями, – иноземцы были друзьями паши и имели от него письмо. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, потом взобраться к снегам и облакам на вершину Парнаса и наконец увидеть причудливые черные отвесные сколы вокруг нашей мазанки. Всем им нельзя было уместиться в ней на ночь, да они и не переносили дыма, подымавшегося от костра к потолку и медленно пробиравшегося в низенькую дверь. Они раскинули свои палатки на узкой площадке перед мазанкой, стали жарить баранов и птиц и пили сладкое вино; турки же не смели его пить.

Когда они уезжали, я проводил их недалеко; сестричка Анастасия висела у меня за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземных гостей поставил меня к скале и срисовал меня и сестричку; мы вышли как живые и казались одним существом. Мне – то это и в голову не приходило, а оно и в самом деле выходило так, что мы с Анастасией были как бы одним существом, – вечно лежала

она у меня на коленях или висела за спиной, а если я спал, так снилась мне во сне.

Две ночи спустя в нашей хижине появились другие гости. Они были вооружены ножами и ружьями; то были албанцы, храбрый народ, как говорила мать. Недолго они пробыли у нас. Сестрица Анастасия сидела у одного из них на коленях, и когда он ушел, в волосах у нее остались только две серебряных монетки. Албанцы свертывали из бумаги трубочки, наполняли их табаком и курили; самый старший все толковал о том, по какой дороге им лучше отправиться, и ни на что не мог решиться.

– Плюну вверх – ужогу себе в лицо, – говорил он, – плюну вниз – ужогу себе в бороду!

Но как-никак, а надо было выбрать какую-нибудь дорогу!

Они ушли, и мой отец с ними. Немного спустя, мы услышали выстрелы, потом еще и еще; в мазанку к нам явились солдаты и забрали нас всех; и мать, и Анастасию, и меня. Разбойники нашли в нашем доме пристанище, говорили солдаты, мой отец был с ними заодно, поэтому надо забрать и нас.

Я увидел трупы разбойников, труп моего отца и плакал, пока не уснул. Проснулся я уже в темнице, но тюремное помещение наше было не хуже нашей мазанки, мне дали луку и налили отзывавшего смолой вина, но и оно было не хуже домашнего, тоже хранившегося в осмоленных мешках.

Как долго пробыли мы в темнице – не знаю, помню только, что прошло много дней и ночей. Когда мы вышли оттуда, был праздник святой пасхи; я тащил на спине Анастасию, – мать была больна и еле-еле двигалась. Не скоро дошли мы до моря; это был залив Лепанто. Мы вошли в церковь, всю сиявшую образами, написанными на золотом фоне. Святые лики были ангельски прекрасны, но мне все-таки казалось, что моя малютка сестрица не хуже их. Посреди церкви стояла гробница, наполненная розами; в образе чудесных цветов лежал сам Господь наш Иисус Христос – так сказала мне мать. Священник провозгласил: «Христос воскрес!» – и все стали целоваться друг с другом. У всех в руках были зажженные свечи; дали по свечке и нам с малюткой Анастасией.

Потом загудели волынки, люди взялись за руки и, приплясывая, вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных

агнцев; нас пригласили присесть к огню, и я сел рядом с мальчиком постарше меня, который меня обнял и поцеловал со словами: «Христос воскрес!» Так мы встретились: Афтанидес и я.

Мать умела плести рыболовные сети; тут возле моря, это давало хороший заработок, и мы долго жили на берегу чудного моря, которое отзывало на вкус слезами, а игрою красок напоминало слезы оленя: то оно было красное, то зеленое, то снова синее.

Афтанидес умел грести, и мы с Анастасией часто садились к нему в лодку, которая скользила по заливу, как облачко по небу. На закате горы окрашивались в темно-голубой цвет; с залива было видно много горных цепей, выплывавших одна из-за другой; виден был вдали и Парнас с его снегами. Вершина его горела, как раскаленное железо, и казалось, что весь этот блеск и свет исходят изнутри ее самой, так как она продолжала блестеть в голубом сияющем воздухе еще долго после того, как скрывалось солнце. Белые чайки задевали крыльями за поверхность воды; на воде же обыкновенно стояла такая тишь, как в Дельфах между темными скалами. Я лежал в лодке на спине, Анастасия сидела у меня на груди, а звезды над нами блестели ярче церковных лампад. Это были те же звезды, и стояли они над моей головой как раз так же, как тогда, когда я, бывало, сидел под открытым небом возле нашей мазанки в Дельфах. Под конец мне стало грезиться, что я все еще там... Вдруг набежала волна, и лодку качнуло. Я громко вскрикнул — Анастасия упала в воду! Но Афтанидес, быстрый как молния, вытащил ее и передал мне. Мы сняли с нее платье, выжали и потом опять одели ее. То же сделал Афтанидес, и мы оставались на воде до тех пор, пока мокрые платья не высохли. Никто и не узнал, какого страха мы натерпелись, Афтанидес же с этих пор тоже получил некоторые права на жизнь Анастасии.

Настало лето. Солнце так и пекло, листья на деревьях поблекли от жары, и я вспоминал о наших прохладных горах, о свежем источнике. Мать тоже томилась, и вот однажды вечером мы пустились в обратный путь. Что за тишина была вокруг! Мы шли по полям, заросшим тмином, который все еще благоухал, хотя солнце почти совсем спалило его. Нам не попадалось навстречу ни пастуха, ни мазанки. Безлюдно, мертвенно-тихо было вокруг, только падучие звезды говорили, что там, в высоте, была жизнь. Не знаю, сам ли

светился прозрачный голубой воздух или это сияние шло от звезд, но мы хорошо различали все очертания гор. Мать развела огонь, поджарила лук, которым запаслась в дорогу, и мы с сестрицей Анастасией заснули на тмине, нимало не боясь ни гадкого Смидраки<sup>[14]</sup>, из пасти которого пышет огонь, ни волков, ни шакалов: мать была с нами, и для меня этого было довольно.

Наконец мы добрались до нашего старого жилья, но от мазанки оставалась только куча мусору; пришлось делать новую. Несколько женщин помогли матери, и скоро новые стены были подведены под крышу из ветвей олеандров. Мать стала плести из ремешков и коры плетенки для бутылок, а я взялся пасти маленькое стадо священника<sup>[15]</sup>; товарищами моими были Анастасия да маленькие черепахи.

Раз навестил нас милый Афтанидес. Он сильно соскучился по нам, сказал он, и пришел повидаться с нами. Целых два дня пробыл он у нас.

Через месяц он пришел опять и рассказал нам, что поступает на корабль и уезжает на острова Патрос и Корфу, оттого и пришел проститься с нами. Матери он принес в подарок большую рыбу. Он знал столько разных историй, так много рассказывал нам, и не только о рыбах, что водятся в заливе Лепанто, но и о героях, и о царях, правивших Грецией в былые времена, как турки теперь.

Я не раз видел, как на розовом кусте появляется бутон и как он через несколько дней или недель распускается в чудный цветок; но бутон обыкновенно становился цветком, прежде чем я успевал подумать о том, как хорош, велик и зрел самый бутон. То же самое вышло и с Анастасией. И вот она стала взрослой девушкой; я давно был сильным парнем. Постели моей матери и Анастасии были покрыты волчьими шкурами, которые я содрал собственными руками с убитых мною зверей. Годы шли.

Раз вечером явился Афтанидес, стройный, крепкий и загорелый. Он расцеловал нас и принялся рассказывать о море, об укреплениях Мальты, о диковинных гробницах Египта. Рассказы его были так чудесны, точно легенды, что мы слышали от священника. Я смотрел на Афтанидеса с каким-то почтением.

— Как много ты всего знаешь, сколько у тебя рассказов сказал я ему.



— Ты однажды рассказал мне кое-что получше! — отвечал он. — И рассказ твой не идет у меня из головы. Ты рассказывал мне как-то о прекрасном старом обычае побратимства! Вот этому-то обычаю я хотел бы последовать! Станем же братьями, как твой отец с отцом Анастасии! Пойдем в церковь, и пусть прекраснейшая и добродетельнейшая из девушек Анастасия скрепит наш союз и будет сестрой нам обоим! Ни у одного народа нет более прекрасного обычая, чем у нас, греков, побратимство!

Анастасия покраснела, как свежий розовый лепесток, а мать поцеловала Афганидеса.

На расстоянии часа ходьбы от нашего жилья, там, где скалы покрыты черноземом, стоит, в тени небольшой купы дерев, маленькая церковь; перед алтарем висит серебряная лампада.

Я надел самое лучшее свое платье: вокруг бедер богатыми складками легла белая фустанелла; стан плотно охватила красная куртка; на феске красовалась серебряная кисть, а за поясом – нож и пистолеты. На Афганидесе был голубой наряд греческих моряков; на груди у него висел серебряный образок божьей матери, стан был опоясан драгоценным шарфом, какие носят знатные господа. Всякий сразу увидал бы, что мы готовились к какому-то торжеству. Мы вошли в маленькую пустую церковь, всю залитую лучами вечернего солнца, игравшими на лампаде и на золотом фоне образов. Мы преклонили колена на ступенях перед алтарем; Анастасия стала повыше, обернувшись к нам лицом. Длинное белое платье легко и свободно облегало ее стройный стан; на белой шее и груди красовались мониста из древних и новых монет. Черные волосы ее были связаны на затылке в узел и придерживались убором из золотых и серебряных монет, найденных при раскопках старых храмов; богатейшего убора не могло быть ни у одной гречанки. Лицо ее сияло, глаза горели, как звезды.

Все мы сотворили про себя молитву, и Анастасия спросила нас:

– Хотите ли вы быть друзьями на жизнь и на смерть?

– Да! – ответили мы.

– Будет ли каждый из вас помнить всегда и всюду, что бы с ним ни случилось: «Брат мой – часть меня самого, моя святынь – его святыня, мое счастье – его счастье, я должен жертвовать для него всем и стоять за него, как за самого себя».

И мы повторили: «Да!»

Тогда она соединила наши руки, поцеловала каждого из нас в лоб, и все мы опять прошептали молитву. Из алтаря вышел священник и благословил нас, а в самом алтаре раздалось пение других святых отцов. Вечный братский союз был заключен. Когда мы вышли из церкви, я увидал мою мать, плакавшую от умиления.

Как стало весело в нашей мазанке у Дельфийского источника! Вечером накануне того дня, как Афганидес должен был оставить нас, мы задумчиво сидели с ним на склоне горы. Его рука обвивала мой стан, моя – его шею. Мы говорили о бедствиях Греции и о людях, на

которых она могла бы опереться. Наши мысли и сердца были открыты друг другу. И вот я схватил его за руку.

– Одного еще не знаешь ты – того, что было известно до сих пор лишь Богу да мне! Моя душа горит любовью! И эта любовь сильнее моей любви к матери, сильнее любви к тебе!..

– Кого же любишь ты? – спросил Афтанидес, краснея.

– Анастасию! – сказал я.

И рука друга задрожала в моей, а лицо его покрылось смертной бледностью. Я заметил это и понял все! Я думаю, что и моя рука задрожала, когда я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и прошептал:

– Я еще не говорил ей об этом! Может быть, она и не любит меня... Брат, вспомни: я видел ее ежедневно, она выросла на моих глазах и вросла в мою душу!

– И она будет твоей! – сказал он. – Твоей! Я не могу и не хочу украсть ее у тебя! Я тоже люблю ее, но... завтра я уйду отсюда! Увидимся через год, когда вы будете уже мужем и женою, не правда ли?.. У меня есть кое-какие деньги – они твои! Ты должен взять, ты возьмешь их!

Тихо поднялись мы на гору; уже свечерело, когда мы остановились у дверей мазанки.

Анастасия посветила нам при входе; матери моей не было дома. Анастасия печально посмотрела на Афтанидеса и сказала:

– Завтра ты покинешь нас! Как это меня огорчает!

– Огорчает тебя! – сказал он, и мне послышалась в его голосе такая же боль, какая жгла и мое сердце. Я не мог вымолвить ни слова, а он взял Анастасию за руку и сказал:

– Брат наш любит тебя, а ты его? В его молчании – его любовь!

И Анастасия затрепетала и залилась слезами. Тогда все мои мысли обратились к ней, я видел и помнил одну ее, рука моя обняла ее стан, и я сказал ей:

– Да, я люблю тебя!

И уста ее прижались к моим устам, а руки обвились вокруг моей шеи... Но тут лампа упала на пол, и в хижине воцарилась такая же темнота, как в сердце бедного Афтанидеса.

На заре он крепко поцеловал нас всех и ушел. Матери моей он оставил для меня все свои деньги. Анастасия сделалась моею невестой, а несколько дней спустя и женой.



1842

## Роза с могилы Гомера



Все восточные сказания говорят о любви соловья к розе: в тихие звездные ночи несется к благоухающему цветку серенада крылатого певца.

Недалеко от Смирны, возле дороги, окаймленной высокими платанами, видел я цветущий розовый куст. Мимо него проходят, гордо выпрямляя свои длинные шеи и неуклюже ступая по священной земле тонкими ногами, навьюченные верблюды. В ветвях платанов гнездятся дикие голуби, и крылья их блещут на солнце перламутром.

На этом розовом кусте особенно хороша была одна роза; к ней-то и неслась песня соловья; он пел страданиях любви, но роза молчала; ни капли росы не блестело на ее лепестках слезою сострадания; она клонилась вместе с ветвями к лежащему под кустом большому камню.

— Тут покоится величайший из певцов земных! — говорила роза. — Лишь над его могилой буду я благоухать, на нее буду ронять свои

лепестки, оборванные ветром! Прах творца «Илиады» смешался с землею, и из этой земли выросла я! Я, роза с могилы Гомера, слишком священна, чтобы цвести для какого-то бедного соловья!

И соловей пел, пел, пока не умер.

Проходил караван; за начальником каравана шли навьюченные верблюды и черные рабы. Маленький сын его нашел мертвую птицу, и крошечного певца зарыли в могиле великого Гомера, над которой качалась от дуновения ветра роза.

Настал вечер; роза плотнее свернула лепестки и заснула. И снился ей чудный солнечный день; на поклонение к могиле Гомера пришла толпа чужеземцев-франков; между ними был певец из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил ее в книгу и увез с собою в другую часть света, на свою далекую родину. И роза увяла от тоски, а певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал:

– Это роза с могилы Гомера!

Вот что снилось розе; проснувшись, она вся затрепетала от сильного порыва ветра. Капля росы упала с ее лепестков на могилу певца, но вот встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего, – она все еще была ведь в своей теплой Азии.

Послышались шаги, явились чужеземцы-франки, которых видела роза во сне, и между ними был один поэт, уроженец севера. Он сорвал розу, запечатлел на ее свежих устах свой поцелуй и увез ее в страну туманов и северного сияния. Как мумия покоится она теперь в его «Илиаде» и, словно сквозь сон, слышит. Как он говорит, открывая книгу:

– Вот роза с могилы Гомера.

1842

## Ангел

Каждый раз, как умирает доброе, хорошее дитя, с неба спускается Божий ангел, берет дитя на руки и облетает с ним на своих больших крыльях все его любимые места. По пути ангел с ребенком набирают целый букет разных цветов и берут их с собою на небо, где они расцветают еще пышнее, чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему сердцу, а один цветок, который покажется ему милее всех,

целует; цветок получает тогда голос и может присоединиться к хору блаженных духов.

Все это рассказывал Божий ангел умершему ребенку, неся его в своих объятиях на небо; дитя слушало ангела как сквозь сон. Они пролетали над теми местами, где так часто играло дитя при жизни, пролетали над зелеными садами, где росло множество чудесных цветов.

– Какие же взять нам с собою на небо? – спросил ангел.

В саду стоял прекрасный, стройный розовый куст, но чья-то злая рука надломил его, так что ветви, усыпанные большими полураспустившимися бутонами, почти совсем завяли и печально повисли.

– Бедный куст! – сказало дитя. – Возьмем его, чтобы он опять расцвел там, у Боженьки.

Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя, что оно слегка приоткрыло глазки. Потом они нарвали еще много пышных цветов, но кроме них взяли и скромный златоцвет, и простенькие анютины глазки.

– Ну вот, теперь и довольно! – сказал ребенок, но ангел покачал головой, и они полетели дальше.

Ночь была тихая, светлая; весь город спал; они пролетали над одной из самых узких улиц. На мостовой валялись солома, зола и всякий хлам; черепки, обломки алебаstra, тряпки, старые доньшки от шляп, словом, все, что уже отслужило свой век или потеряло всякий вид; накануне как раз был день переезда.

И ангел указал на валявшийся среди этого хлама разбитый цветочный горшок, из которого вывалился ком земли, весь оплетенный корнями большого полевого цветка; цветок занял и никуда больше не годился, его и выбросили.

– Возьмем его с собою! – сказал ангел. – Я расскажу тебе про этот цветок, пока мы летим!

И ангел стал рассказывать:

– В этой узкой улице, в низком подвале, жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он вечно лежал в постели; когда же чувствовал себя особенно хорошо, то проходил на костылях по своей каморке раза два взад и вперед, вот и все. Иногда летом солнышко заглядывало на полчаса и в подвал; тогда мальчик садился на

солнышке и, держа руки против света, любовался, как просвечивает в его тонких пальцах алая кровь; такое сидение на солнышке заменяло ему прогулку. О богатом весеннем уборе лесов он знал только потому, что сын соседа приносил ему весною первую распутившуюся буковую веточку; бедняжка держал ее над головой и переносился мыслью под зеленые буки, где сияло солнышко и распевали птички. Раз сын соседа принес мальчику и полевых цветов, между ними был один с корнем; мальчик посадил его в цветочный горшок и поставил на окно близ своей кровати. Видно, легкая рука посадила цветок: он принялся, стал расти, пускать новые отростки, каждый год цвел и был для мальчика целым садом, его маленьким земным сокровищем. Мальчик поливал его, ухаживал за ним и заботился о том, чтобы его не миновал ни один луч, который только пробирался в каморку. Ребенок жил и дышал своим любимцем, ведь тот цвел, благоухал и хорошел для него одного. К цветку повернулся мальчик даже в ту последнюю минуту, когда его отзывал к себе Господь Бог... Вот уже целый год, как мальчик у Бога; целый год стоял цветок, всеми забытый, на окне, завял, засох и был выброшен на улицу вместе с прочим хламом. Этот-то бедный, увядший цветочек мы и взяли с собой: он доставил куда больше радости, чем самый пышный цветок в саду королевы.



– Откуда ты знаешь все это? – спросило дитя.

– Знаю! – отвечал ангел. – Ведь я сам был тем бедным калекою мальчиком, что ходил на костылях! Я узнал свой цветок!

И дитя широко-широко открыло глазки, вглядываясь в прелестное, радостное лицо ангела. В ту же самую минуту они очутились на небе у Бога, где царят вечные радость и блаженство. Бог прижал к своему сердцу умершее дитя – и у него выросли крылья, как у других ангелов, и он полетел рука об руку с ними. Бог прижал к сердцу и все цветы, поцеловал же только бедный, увядший полевой цветок, и тот присоединил свой голос к хору ангелов, которые окружали Бога; одни летали возле него, другие подальше, третьи еще дальше, и так до бесконечности, но все были равно блаженны. Все они пели – и малые, и большие, и доброе, только что умершее дитя, и бедный полевой цветочек, выброшенный на мостовую вместе с сором и хламом.

## Соловей

В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все окружающие его – китайцы. Дело было давно, но потому-то и сто́ит о нем послушать, пока оно не забудется совсем!

В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из драгоценнейшего фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него и дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики; звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; в чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, а в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» – вырывалось наконец у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал соловья, на следующую же ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое: «Господи, как хорошо!»

Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном; ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье и даже ставили его выше всего; поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал-читал и поминутно кивал головой: ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» – стояло в книге.

– Что такое? – удивился император. – Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моем государстве и даже в моем собственном саду живет

такая удивительная птица, а я ни разу и не слыхал о ней! Пришлось вычитать о ней из книг!

И он позвал к себе первого из своих приближенных; а тот напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только: «Пф!» – а это ведь ровно ничего не означает.

– Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, по имени соловей. Ее считают первой достопримечательностью моего великого государства! – сказал император. – Почему же мне ни разу не доложили о ней?

– Я даже и не слыхал о ней! – отвечал первый приближенный. – Она никогда не была представлена ко двору!

– Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером! – сказал император. – Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!

– И не слыхивал о такой птице! – повторил первый приближенный. – Но я разыщу ее!

Легко сказать! А где ее разыщешь?

Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он ни обращался с расспросами, и не слыхивал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловья-де, верно, выдумали книжные сочинители.

– Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: все это одни выдумки, так сказать, черная магия!..

– Но ведь эта книга прислана мне самим могущественнейшим повелителем Японии, и в ней не может быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня же вечером! Я объявляю ему мое высочайшее благоволение! Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина надавать всем придворным палочных ударов по животу!

– Тзинг-пе! – сказал первый приближенный и опять забежал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных – никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знал весь свет, но ни одна душа при дворе.

Наконец на кухне нашли одну бедненькую девочку, которая сказала:



– Господи! Как не знать соловья! Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот, когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья! Слезы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно матушка целует меня!..

– Кухарочка! – сказал первый приближенный императора. – Я определяю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью! Он приглашен сегодня вечером ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг замычала корова.

– О! – сказали молодые придворные. – Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданыца! Но мы положительно слышали его раньше!

– Это мычит корова! – сказала девочка. – Нам еще далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

– Чудесно! – сказал придворный бонза. – Теперь я слышу! Точь-в-точь наши колокольчики в молельне!

– Нет, это лягушки! – сказала опять девочка. – Но теперь, я думаю, скоро услышим и его!

И вот запел соловей.



– Вот это соловей! – сказала девочка. – Слушайте, слушайте! А вот и он сам! – И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.

– Неужели! – сказал первый приближенный императора. – Никак не воображал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

– Соловушка! – громко закричала девочка. – Наш милостивый император желает послушать тебя!

– Очень рад! – ответил соловей и запел так, что просто чудо.

– Словно стеклянные колокольчики звенят! – сказал первый приближенный. – Глядите, как работает это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

– Спеть ли мне императору еще? – спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император.

– Несравненный соловушка! – сказал первый приближенный императора. – На меня возложено приятное поручение пригласить вас

на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением!

– Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу! – сказал соловей. – Но я охотно отправлюсь с вами, если это угодно императору.

При дворе шла суетня и приготовления к празднику. В фарфоровых стенах и в полу сияли отражения сотен тысяч золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса.

Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и кухарочке – теперь ведь она получила звание лейб-поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатались по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще; пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того.

– Я видел на глазах императора слезы – какой еще награды желать мне! В слезах императора дивная сила! Бог видит – я награжден с избытком!

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.

– Вот самое очаровательное кокетство! – сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже лакеи и горничные объявили, что очень довольны, а это ведь много значит: известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей имел положительный успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в день и раз ночью и приставили к нему двенадцать слуг; каждый держал его за привязанную к его ножке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».

– Ну, вот еще новая книга о нашей знаменитой птице! – сказал император.

Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящичке лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу – и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского».

– Какая прелесть! – сказали все, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании «чрезвычайного императорского поставщика соловьев».

– Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный – как заведенная шарманка.

– Это не его вина! – сказал придворный капельмейстер. – Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе.

Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и сверкал, как браслеты и брошки!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император нашел, что надо заставить спеть и живого соловья. Но куда же он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.

– Что же это, однако, такое! – огорчился император, а придворные называли соловья неблагодарной тварью.

– Лучшая-то птица у нас все-таки осталась! – сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в тридцать четвертый раз.

Никто, однако, не успел еще выучить мелодии наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей не только платьем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам.

– Что касается живого соловья, высокий повелитель мой и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно споет он, у искусственного же все известно наперед! Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве, можно разобрать его и показать всё его внутреннее устройство – плод человеческого ума, расположение и действие валиков, всё, всё!

– Я как раз того же мнения! – сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу.

– Надо и народу послушать ее! – сказал император.

Народ послушал и был очень доволен, как будто до-весела напился чаю. – это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О!» – поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

– Недурно и даже похоже, но все-таки не то! Чего-то недостает в его пении, а чего – мы и сами не знаем!

Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь «императорского ночного столика первым певцом с левой стороны». – император считал более важною именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье двадцать пять томов книг, ученых-преученых и полных самых мудреных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу.

Так прошел целый год; император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, но потому-то пение его им так и нравилось: они сами могли теперь подпевать

птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!

Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать! Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно: зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно, было нельзя. Вот так горе! Только раз в год, да и то едва-едва, позволили заводить птицу. Но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было.

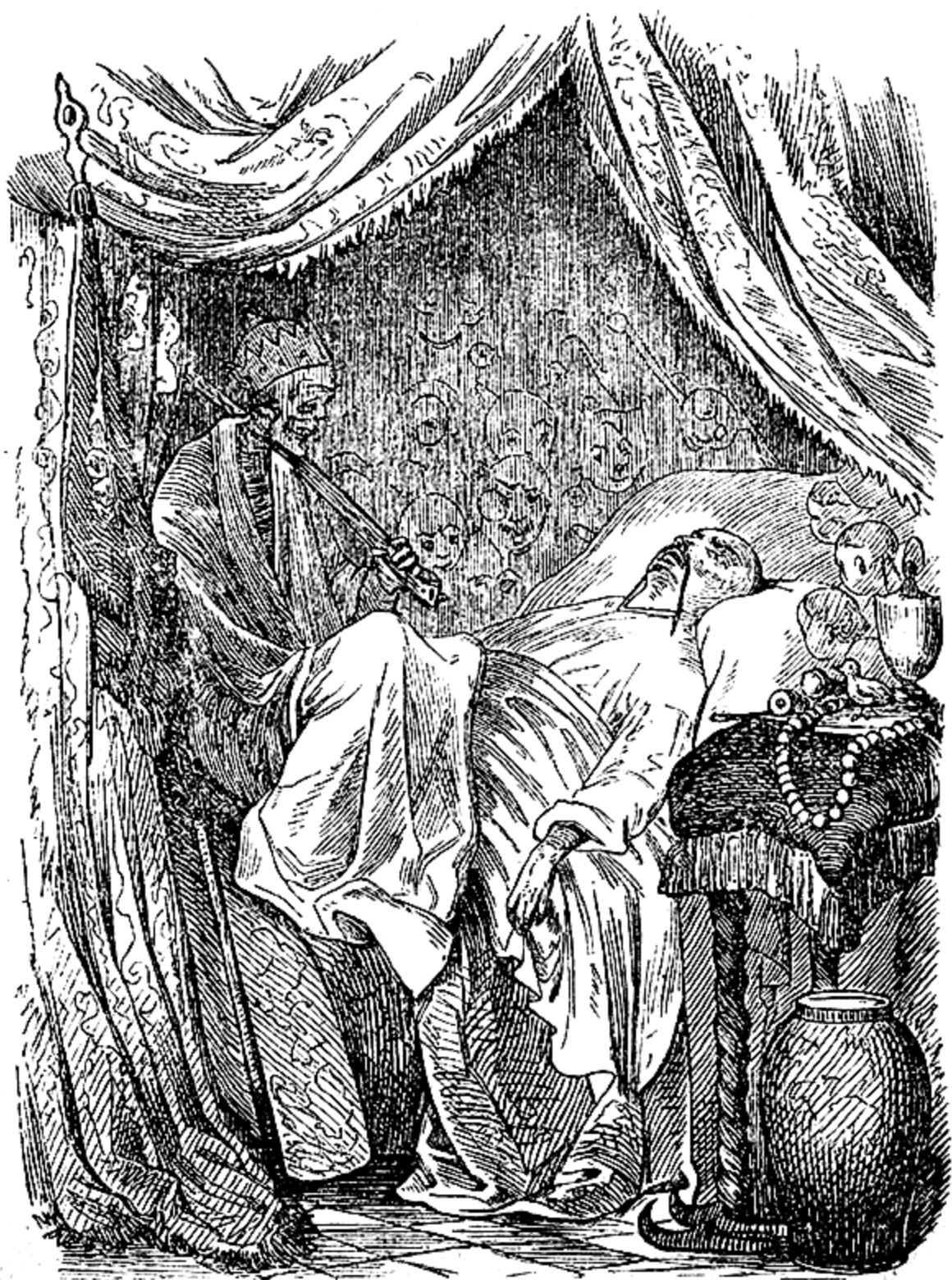
Прошло еще пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя.

– Пф! – отвечал приближенный и покачивал головой.

Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе; все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Лакеи бегали взад и вперед, перебрасываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой кофе. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе, под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижимый и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.

Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела Смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую – богатое знамя. Из складок бархатного балдахина выплывали какие-то странные головы: одни гадкие и злые, другие добрые и милые на вид. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него, в то время как Смерть сидела у

него на груди.



– Помнишь это? – шептали они, одна за другой. – Помнишь это? – И рассказывали ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот.

– Я и не знал об этом! – говорил император. – Музыку сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!

Но они всё продолжали, а Смерть, как китаец, кивала на их речи головой.

– Музыку сюда, музыку! – кричал император. – Пой хоть ты, милая, славная золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но птица молчала – некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо.

Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его, живой соловей. Он пел, и призраки всё бледнели, кровь прилиwała к сердцу императора всё живее и живее; сама Смерть заслушалась соловья и всё повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!»

– А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое знамя? А корону? – спрашивал соловей.

И Смерть отдавала одну драгоценность за другою, а соловей продолжал петь. Вот он запел наконец о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и вылетела в окно.

– Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! – сказал император. – Я узнал тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала самую Смерть! Чем мне вознаградить тебя!

– Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! – сказал соловей. – Я видел слезы на твоих глазах в первый же раз, как пел перед тобою, – этого я не забуду никогда! Слезы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым! Я буду баюкать тебя своею песней!

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.



Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему; все думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел.

– Ты должен остаться у меня навсегда! – сказал император. – Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги!

– Не надо! – сказал соловей. – Она принесла столько пользы, сколько могла! Пусть она остается у тебя по-прежнему! Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилегать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе; моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и поселянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена каким-то особым священным обаянием! Я буду прилетать и петь тебе! Но обещаю тебе одно!..

– Всё! – сказал император и встал во всем своем царственном величии; он успел надеть на себя свое царское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

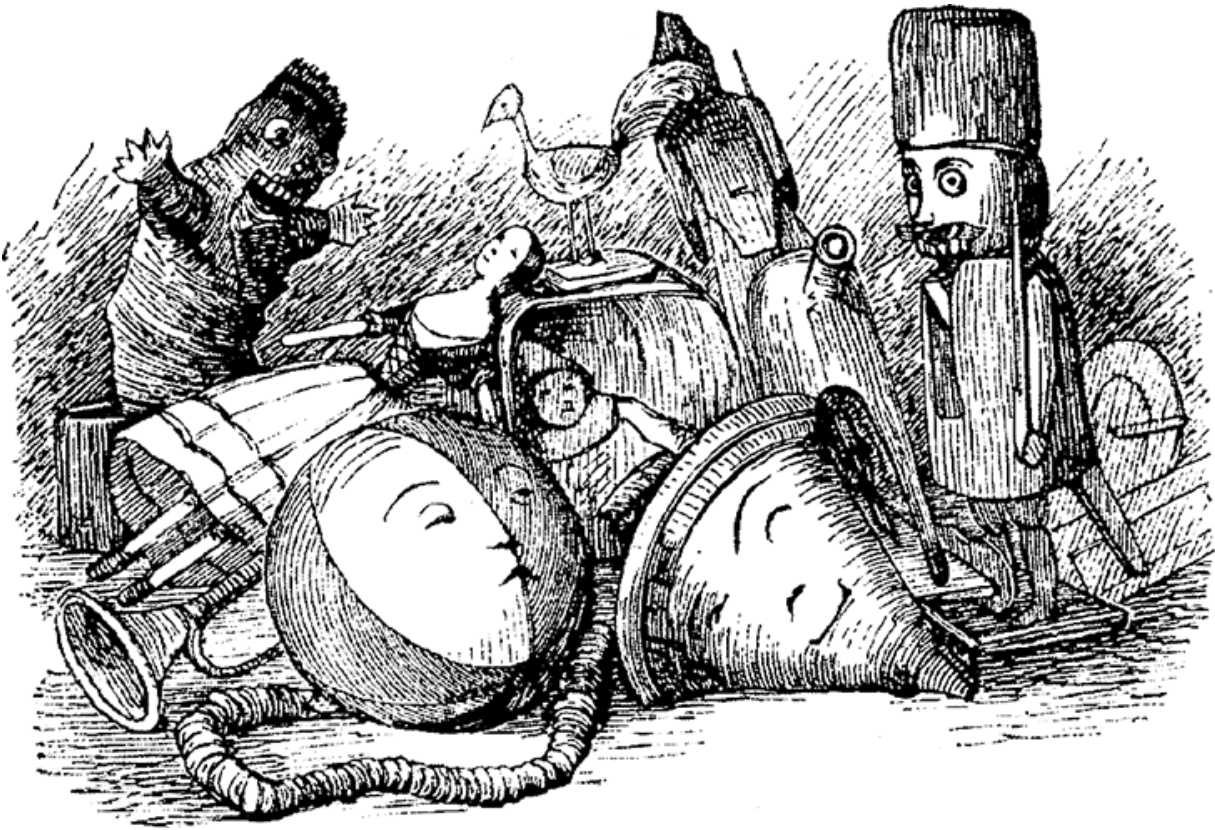
– Об одном прошу я тебя – не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше!

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им:

– Здравствуйте!

## Жених и невеста



Молодчик-кубарь и барышня-мячик лежали рядом в ящике с игрушками, и кубарь сказал соседке:

– Не пожениться ли нам? Мы ведь лежим в одном ящике.

Но мячик – сафьянового происхождения и воображавший о себе не меньше, чем любая барышня, – гордо промолчал.

На другой день пришел мальчик, хозяин игрушек, и выкрасил кубарь в красный с желтым цвет, а в самую серединку вбил медный гвоздик. Вот-то красиво было, когда кубарь завертелся!

– Посмотрите-ка на меня! – сказал он мячику. – Что вы скажете теперь? Не пожениться ли нам? Чем мы не пара? Вы прыгаете, а я танцую. Поискать такой славной парочки!

– Вы думаете? – сказал мячик. – Вы, должно быть, не знаете, что я веду свое происхождение от сафьяновых туфель и что внутри у меня пробка?

– А я из красного дерева, – сказал кубарь. – И меня выточил сам городской голова! У него свой собственный токарный станок, и он с таким удовольствием занимался мной!

– Так ли? – усомнился мячик.

– Пусть больше не коснется меня кнутик, если я лгу! – сказал кубарь.

– Вы очень красноречивы, – сказал мячик. – Но я все-таки не могу. Я уж почти невеста! Стоит мне взлететь вверх, как из гнезда высовывается стриж и все спрашивает: «Согласны? Согласны?» Мысленно я всякий раз говорю: «Да», значит, дело почти слажено. Но я обещаю вам никогда вас не забывать!

– Вот еще! Очень нужно! – сказал кубарь, и они перестали говорить друг с другом.

На другой день мячик взяли. Кубарь смотрел, как он, точно птица, взвивался в воздух все выше, выше... и наконец совсем исчезал из глаз, потом опять падал и, коснувшись земли, снова взлетал кверху; потому ли, что его влекло туда, или потому, что внутри у него сидела пробка – неизвестно. В девятый раз мячик взлетел и – поминай как звали! Мальчик искал, искал – нет нигде, да и только!

– Я знаю, где мячик! – вздохнул кубарь. – В стрижином гнезде, замужем за стрижом!

И чем больше думал кубарь о мячике, тем больше влюблялся. Сказать правду, так он потому все сильнее влюблялся, что не мог жениться на своей возлюбленной, подумать только – она предпочла ему другого!

Кубарь плясал и пел, но не переставал думать о мячике, который представлялся ему все прекраснее и прекраснее.

Так прошло много лет; любовь кубаря стала уже старой любовью.

Да и сам кубарь был немолод... Раз его взяли и вызолотили. То-то было великолепие! Он весь стал золотой и кружился и жужжал так, что любо! Да уж, нечего сказать! Вдруг он подпрыгнул повыше и – пропал!

Искали, искали, даже в погреб слазили, – нет, нет и нет!

Куда же он попал?

В помойное ведро! Оно стояло как раз под водосточным желобом и было полно разной дряни: обгрызенных кочерыжек, щепок, сора.

– Угодил, нечего сказать! – вздохнул кубарь. – Тут вся позолота разом сойдет! И что за дрянь тут валяется?

И он покосился на длинную обгрызенную кочерыжку и еще на какую-то странную круглую вещь, вроде старого яблока. Но это было не яблоко, а старая барышня-мячик, который застрял когда-то в водосточном желобе, пролежал там много-много лет, весь промок и наконец упал в ведро.

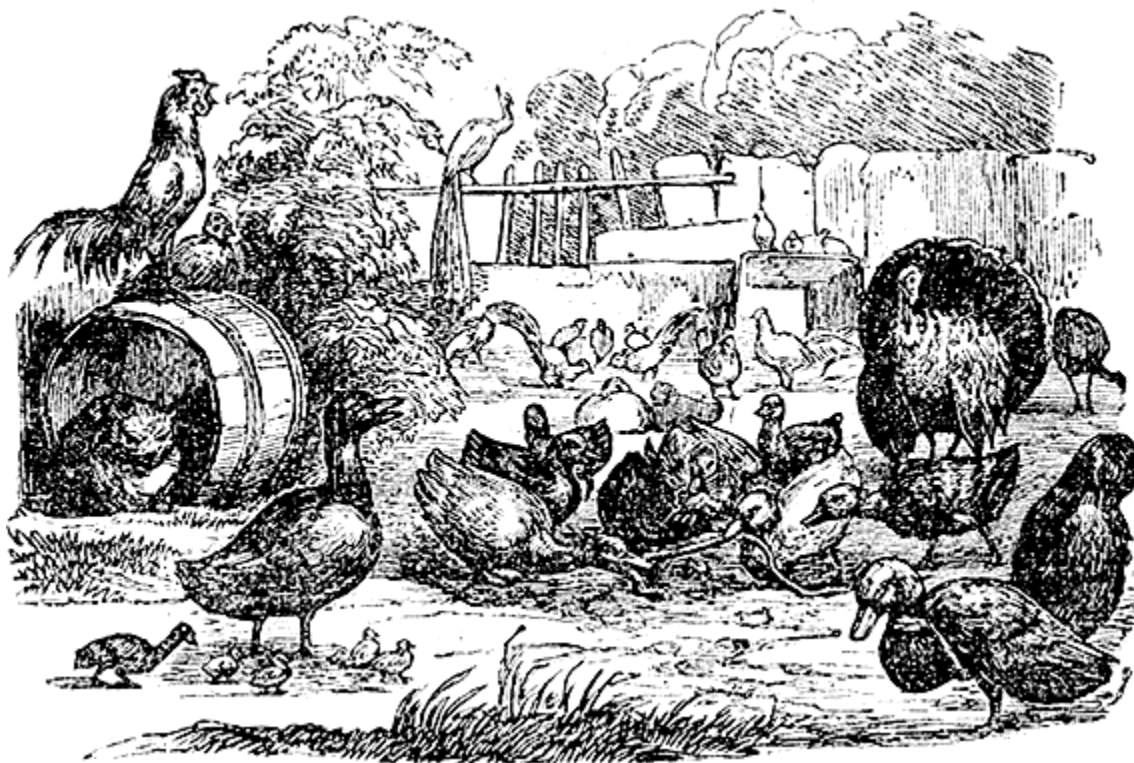
– Слава богу! Наконец-то хоть кто-нибудь из нашего круга, с кем можно поговорить! – сказал мячик, посмотрев на вызолоченный кубарь. – Я ведь, в сущности, из сафьяна и сшита девичьими ручками, а внутри у меня пробка! А кто это скажет, глядя на меня? Я чуть не вышла замуж за стрижа, да вот попала в водосточный желоб и пролежала там целых пять лет! Это не шутка! Особенно для девицы!

Кубарь молчал; он вспомнил о своей старой возлюбленной и все больше и больше убеждался, что это она.

Пришла служанка, чтобы опорожнить ведро.

– А, вот где наш кубарь! – сказала она.

И кубарь опять попал в комнаты и в честь, а о мячике не было и помину. Сам кубарь никогда больше и не заикался о своей старой любви: любовь как рукой снимет, если предмет ее пролежит пять лет в водосточном желобе да еще встретится вам в помойном ведре! Тут его и не узнаешь!



Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стоги; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски – он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в чаще. Да, хорошо было за городом! Прямо на солнышке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой; от самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение, ее мало навещали: другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи! пи!» – послышалось из них: яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики.

– Живо! Живо! – закричала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им – зеленый свет полезен для глаз.

– Как мир велик! – сказали утята.

Еще бы! Теперь у них было куда больше места, чем тогда, когда они лежали в яйцах.

– А вы думаете, что тут и весь мир? – сказала мать. – Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника, но там я отроду не бывала. Ну, все, что ли, вы тут? – И она встала. – Ах нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уж надоело.

И она уселась опять.

– Ну, как дела? – заглянула к ней старая утка.

– Да вот, еще одно яйцо остается! – сказала молодая утка. – Сижу, сижу, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!

– Постой-ка, я взгляну на яйцо! – сказала старая утка. – Может статься, это индюшечье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они ведь страсть боятся воды; уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду – не идут, да и конец! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай учи других плавать!

– Посижу уж еще! – сказала молодая утка. – Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко.

– Как угодно! – сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупка и самого большого яйца. «Пи! пи-и!» – и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оплядела его.

– Ужасно велик! – сказала она. – И совсем не похож на остальных! Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! – и утка очутилась в воде.

– За мной! Живо! – позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали; некрасивый серый утенок не отставал от других.

– Какой же это индюшонок? – сказала утка. – Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, как посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество – мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.

– Вот как идут дела на белом свете! – сказала утка и облизнула язычком клюв – ей тоже хотелось отведать угриной головки. – Ну, ну, шевелите лапками! – сказала она утятам. – Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!

Они так и сделали; но другие утки оглядывали их и громко говорили:

– Ну вот, еще целая орава! Точно нас мало было! А один-то какой безобразный! Его уж мы не потерпим!

И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.

– Оставьте его! – сказала утка-мать. – Он ведь вам ничего не сделал!

– Положим, но он такой большой и странный! – отвечала забияка. – Ему надо задать хорошенькую трепку!

– Славные у тебя детки! – сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. – Все очень милы, кроме одного... Этот не удался! Хорошо бы его переделать!

– Никак нельзя, ваша милость! – ответила утка-мать. – Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать – лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался.

И она провела носиком по перышкам большого утенка.

– Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу!

– Остальные утята очень-очень милы! – сказала старая утка. – Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все – и утки и куры.

– Он больно велик! – говорили все, а индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердито залопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, посмешищем для всего птичьего двора!

Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему:

– Хоть бы кошка утащила тебя, несносного уроды!

А мать прибавляла:

– Глаза бы мои тебя не видали!

Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою.

Не выдержал утенок, перебежал двор и – через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов.

«Они испугались меня, такой я безобразный!» – подумал утенок и пустился с закрытыми глазами дальше, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь.

Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища.

– Ты кто такой? – спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел.

– Ты пребезобразный! – сказали дикие утки. – Но нам до этого нет дела, только не вздумай породниться с нами!

Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы позволили ему посидеть тут в камышах да попить болотной водицы.

Два дня провел он в болоте, на третий день явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали с большим форсом.



– Слушай, дружище! – сказали они. – Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь бродить с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить: «Рап, рап!» Ты такой урод, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех!

«Пиф! паф!» – раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми; вода окрасилась кровью. «Пиф! паф!» – раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники обложили болото со всех сторон; некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки; камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив ни мертв от страха и только что хотел спрятать голову под крыло, как глядь – перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и – шлеп, шлеп – побежала дальше.

– Слава богу! – перевел дух утенок. – Слава богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!

И он притаился в камышах; над головою его то и дело летали дробинки, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться.

К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уж обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка – приходилось упираться в землю хвостом!

Ветер, однако, все крепчал: что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво; можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком; он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки, ее и прозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром пришельца заметили; кот начал мурлыкать, а курица клохтать.

– Что там? – спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому. – Вот так находка! – сказала старушка. – Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!



И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и свет!» Они считали самих себя половиной всего света, притом — лучшею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.

– Умеешь ты нести яйца? – спросила она утенка.

– Нет!

– Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

– Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?

– Нет!

– Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.

– Да что с тобой?! – спросила она. – Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет!

– Ах, плавать по воде так приятно! – сказал утенок. – А что за наслаждение нырять в самую плубь с головой!

– Хорошо наслаждение! – сказала курица. – Ты совсем рехнулся! Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять! О себе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки госпожи, умнее ее нет никого на свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять?

– Вы меня не понимаете! – сказал утенок.

– Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Что ж, ты хочешь быть умнее кота и госпожи, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше Создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя – по этому всегда узнаются истинные друзья! Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускать искры!

– Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! – сказал утенок.

– И с богом! – отвечала курица.

И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за безобразие.

Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал и кружил их по воздуху; наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли градом и снегом, а на изгороди

сидел ворон и каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде! Плохо приходилось бедному утенку.

Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных, больших птиц; утенок сроду не видал таких красавцев: все они были белы как снег, с длинными, гибкими шеями! То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными, большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного гадкого утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц и куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте; ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них; он рад бы был и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать по воде без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем, но с каждой ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидел примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели.

Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком – молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками; утенок между тем влетел в кадку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной, утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежавыпавший снег и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла весна-красна.

Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету; душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.

Ах, как тут было хорошо, как пахло весной! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.

«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

– Убейте меня! – сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное изображение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а – лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!

Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий, – он лучше мог оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами по перышкам.

В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый меньшой из них закричал:

– Новый, новый!

И все остальные подхватили:

– Да, новый, новый! – хлопали в ладоши и приплясывали от радости; потом побежали за отцом с матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелестный!



И старые лебеди склонили перед ним головы.

А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не возгордился — доброе сердце не знает гордости: он вспоминал то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами! Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви, солнышко светило так славно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

— Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком!

## Ель

Влесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом росли подружки постарше – и ели и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали в лесу землянику и малину; набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие соломинки, они присаживались возле елочки отдохнуть и всегда говорили:

– Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая!

Таких речей деревцо и слушать не хотело.

Прошел год – и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год – прибавилось еще одно: так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет ели.

– Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! – вздыхала елочка. – Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!





И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробегал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку – вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревцо подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом – что может быть лучше этого!» – думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревцо спросило у них:

– Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

– Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными, высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Я привез вам поклон от этих важных особ!

– Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

– Ну, это долго рассказывать! – отвечал аист и улетел.

– Радуйся своей юности! – говорили елочке солнечные лучи. – Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненными силами!

И ветер целовал дерево, роса проливалась над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось поскорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

– Куда? – спросила ель. – Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

– Мы знаем! Мы знаем! – прочирикали воробьи. – Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами, золочеными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей!

– А потом?.. – спросила ель, дрожа всеми ветвями. – А потом?.. Что было с ними потом?

– А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

– Может быть, и я пойду такую же блестящую дорогой! – радовалась ель. – Это лучше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло Рождество! Теперь и я стала такую же высокою и раскидистою, как те, что были срублены прошлый год! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла разубранною всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

– Радуйся нам! – сказали ей воздух и солнечный свет. – Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревцо!» Подошло наконец и Рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла, – она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг – елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревцо пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

– Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную, великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и

большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров – так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую кадку с песком, обвернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сладостями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, выросли золоченые яблоки и орехи и закачались куклы – ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек – красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели – большую звезду из сусального золота. Ну, просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

– Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечи! – сказали все.

«Ах! – подумала елка. – Хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечи! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробы? Или, может быть, я врасу в эту кадку и буду стоять тут такую нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иголки, и елочка пребольно обожглась.

– Ай-ай! – закричали барышни и поспешно затушили огонь.

Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее...

Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети поплясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны.

«Что же это они делают? – думала елка. – Что это значит?»

Свечки догорели, их потушили, а детям позволили ободрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали! Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

– Сказку! Сказку! – закричали дети и подтащили к елке маленького, толстенького господина.

Он уселся под деревом и сказал:

– Вот мы и в лесу! Да и елка кстати послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу?

– Про Иведе-Аведе! – закричали одни.

– Про Клумпе-Думпе! – кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смирно и думала: «А мне разве нечего больше делать?»

Она уж сделала свое дело!

И толстенький человек рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился, вошел в честь и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали:

– Еще, еще!

Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка, – лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» – думала елка; она вполне верила всему, что сейчас слышала, – рассказывал ведь такой почтенный человек. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и мне достанется принцесса!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками и игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! – думала она. – Я хочу как следует насладиться своим величием! И завтра я опять услышу сказку про

Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревцо смиренно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать?» – подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? – думала елка. – Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это было довольно: проходили дни и ночи – никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! – думала елка. – Земля затвердела и покрылась снегом; нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу скачут зайчики! Хорошо было... Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

– Пи-пи! – пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще один, маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать между его ветвями.

– Ужасно холодно здесь! – сказали мышенята. – А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

– Я вовсе не стара! – отвечала ель. – Есть много деревьев постарше меня!

– Откуда ты и что ты знаешь? – спросили мышенята; они были ужасно любопытны. – Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

– Нет, такого места я не знаю! – сказало дерево. – Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышенята никогда не слышали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

– Как же ты много видела! Как ты была счастлива!

– Счастлива? – сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. – Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

– О! – сказали мышенята. – Как же ты была счастлива, старая елка!

– Я совсем еще не стара! – возразила ель. – Я взята из лесу только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

– Как ты чудесно рассказываешь! – сказали мышенята и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

– Но они же вернутся! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и мне достанется!

Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него, – она казалась ему настоящей принцессой.

– Кто это Клумпе-Думпе? – спросили мышенята, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила ее слово в слово. Мышенята от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышенят, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

– Вы только одну эту историю и знаете? – спросили крысы.

– Только! – отвечала ель. – Я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого!

– В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечи? Про кладовую?

– Нет! – ответило дерево.

– Так счастливо оставаться! – сказали крысы и ушли.

Мышенята тоже разбежались, и ель вздохнула:

– А ведь славно было, когда эти резвые мышенята сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец... Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» – подумала елка.

Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца – ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

– Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!

Но это не относилось к ели.

– Теперь я заживу! – радовалась она и расправляла свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, на крапиве и сорной траве; на верхушке его все еще сияла золотая звезда.

Во дворе весело играли те самые ребята, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал...

– Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! – крикнул он и наступил на ее ветви; ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе...

– Все прошло, прошло! – сказала бедная елка. – И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь... все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски, – вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!..

Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли во дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!

*1844*



# **Снежная королева**

## ***Сказка в семи историях***

### **История первая**

#### **Зеркало и его осколки**

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-презлющий; то был сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа: он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами или казались стоящими кверху ногами и без животов. Лица искажались до того, что нельзя было и узнать их; случись же у кого на лице веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Дьявола все это ужасно потешало. Добрая, благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой, так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики тролля – у него была своя школа – рассказывали о зеркале как о каком-то чуде.

– Теперь только, – говорили они, – можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете!

И вот они бегали с зеркалом повсюду; скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим Творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы его осколков наделали, однако, еще больше бед, чем самое зеркало.

Некоторые из них были не больше песчинки, разлетелись по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все наизуворот или замечать в каждой вещи одни лишь дурные стороны — ведь каждый осколок сохранял свойство, которым отличалось самое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда. Были между этими осколками и большие, такие, что их можно было вставить в оконные рамы, но уже в эти окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, только беда была, если люди надевали их с целью смотреть на вещи и судить о них вернее! А злой тролль хохотал до колик, так приятно щекотал его успех этой выдумки. Но по свету летало еще много осколков зеркала.

Послушаем же, что было дальше!



## **История вторая**

### **Мальчик и девочка**



В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удастся отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кровель шел водосточный желоб, приходившемуся как раз под окошком каждой мансарды. Стоило, таким образом, шагнуть из какого-нибудь окошка на желоб, и можно было очутиться у окна соседей.

У родителей было по большому деревянному ящику; в них росли коренья и небольшие кусты роз – в каждом по одному, – осыпанные чудными цветами. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желобов; таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями;

образовалось нечто вроде триумфальных ворот из зелени и цветов. Так как ящики были очень высоки и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут!

Зимою это удовольствие прекращалось, окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам – сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выплывал веселый, ласковый глазок – это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться на столько же вверх. На дворе перепархивал снежок.

– Это роятся белые пчелки! – говорила старушка бабушка.

– А у них тоже есть королева? – спрашивал мальчик; он знал, что у настоящих пчел есть такая.

– Есть! – отвечала бабушка. – Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле, вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки; вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами!

– Видели, видели! – сказали дети и поверили, что все это сушая правда.

– А Снежная королева не может войти сюда? – спросила девочка.

– Пусть-ка попробует! – сказал мальчик. – Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает!

Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда и все же живая! Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула

мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу.

На другой день был славный морозец, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше.

Розы цвели все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах: девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей:

Розы цветут... Красота, красота!  
Скоро узрим мы младенца Христа.

Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним, – им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Что за чудное было лето и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно!

Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками – зверями и птицами; на больших башенных часах пробило пять.

– Ай! – вскрикнул вдруг мальчик. – Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он мигал, но ни в одном глазу ничего как будто не было.

– Должно быть, выскочило! – сказал он.

Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное отражалось еще ярче, дурные стороны каждой вещи выступали еще резче. Бедняжка Кай! Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда! Боль в глаз и в сердце уже прошла, но самые осколки в них остались.

– О чем же ты плачешь? – спросил он Герду. – У! Какая ты сейчас безобразная! Мне совсем не больно! Фу! – закричал он вдруг. – Эту

розу точит червь! А та совсем кривая! Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!

И он, толкнув ящик ногою, сорвал две розы и бросил.

– Кай, что ты делаешь? – закричала девочка, а он, увидя ее испуг, сорвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно.

Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят; рассказывала ли что-нибудь старушка бабушка, он придирался к словам. Да хоть бы одно это! А то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу! Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро мальчик выучился передразнивать и всех соседей – он отлично умел выставить напоказ все их странности и недостатки, – и люди говорили:

– Что за голова у этого мальчугана!

А причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он передразнивал даже миленькую маленькую Герду, которая любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда перепархивал снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и поставил под снег полу своей синей куртки.

– Погляди в стекло, Герда! – сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо что такое!

– Видишь, как искусно сделано! – сказал Кай. – Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы они только не таяли!

Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо:

– Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками! – И убежал.

На площади каталось множество детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням, чтобы прокатиться как следует. Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку.

Сани объехали кругом площади два раза Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно ни зги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал – никто не услышал его! Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина – Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега.

– Славно проехались! – сказала она. – Но ты совсем замерз? Полезай ко мне в шубу!

И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу; Кай словно опустился в снежный сугроб.

– Все еще мерзнешь? – спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Каю казалось, что вот-вот он умрет, но нет, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть.

– Мои санки! Не забудь мои санки! – спохватился он.

И санки были привязаны на спину одной из белых кур, которая и полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

– Больше я не буду целовать тебя! – сказала она. – А не то зацелую до смерти!

Кай взглянул на нее; она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему совершенством. Он

совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг Снежная королева взвилась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни; они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей; под ними дули холодные ветры, были волки, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь – днем он спал у ног Снежной королевы.

## История третья

### Цветник женщины, умевшей колдовать



А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто не знал этого, никто не мог сообщить о нем ничего. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим



великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез; горько и долго плакала Герда. Наконец порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выплянуло солнышко.

– Кай умер и больше не вернется! – сказала Герда.

– Не верю! – отвечал солнечный свет.

– Он умер и больше не вернется! – повторила она ласточкам.

– Не верим! – ответили они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

– Надену-ка я свои новые красные башмачки – Кай ни разу еще не видал их, – сказала она однажды утром, – да пойду к реке спросить про него.

Было еще очень рано; она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

– Правда, что ты взяла моего названного братца? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу, – река как будто не хотела брать у девочки лучшую ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берега на целый аршин и быстро понеслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков; воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая ее утешить: «Мы здесь! Мы здесь!»

Лодку уносило все дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие, раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но людей не было ни души.

«Может быть, река несет меня к Каю?» – подумала Герда, повеселела, встала на нос и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо.

Герда закричала им – она приняла их за живых, – но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

– Ах ты, бедная крошка! – сказала старушка. – Как это ты попала на такую большую быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своею клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась, наконец, на суше, хоть и побаивалась чужой старухи.

– Ну, пойдем, да Расскажи мне, кто ты и как сюда попала? – сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! Гм!» Но вот девочка кончила и спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что девочке пока не о чем горевать, – пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее нарисованных в любой книжке с картинками и все умеют рассказывать сказки! Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от полу и все из разноцветных – красных, голубых и желтых – стеклышек; от этого и сама комната была освещена каким-то удивительным ярким, радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла есть их сколько душе угодно; пока же она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и окружали свеженькое, круглое, словно роза, личико девочки золотым сиянием.

– Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! – сказала старушка. – Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобою!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего названного брата Кая, – старушка умела колдовать. Она не была злою колдуньей и колдовала только изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде ее роз вспомнит о своих, а там и о Кая, да и убежит от нее.

Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. У девочки и глаза разбежались: тут были всевозможные цветы, и притом всех времен года. Что за красота, что за благоухание! Во всем свете не сыскать было книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками; девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть на солнышке. Так прошло мною дней. Герда знала каждый цветочек в саду, но как ни много их было, ей все-таки казалось, что какого-то недостает, только какого же? Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами; самым красивым из них была как раз роза – старушка забыла ее стереть, когда загнала живые розы в землю. Вот что значит рассеянность!

– Как! Тут нет роз? – сказала Герда и сейчас же побежала искать их по всему саду – нет ни одной!

Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов, и как только они смочили землю – куст мгновенно вырос из нее, такой же свежий, цветущий, как прежде. Герда обвила его ручонками, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кая.

– Как же я замешкалась! – сказала девочка. – Мне ведь надо искать Кая!.. Не знаете ли вы, где он? – спросила она у роз. – Верите ли вы

тому, что он умер и не вернется больше?

– Он не умер! – сказали розы. – Мы ведь были под землею, где лежат все умершие, но Кая меж ними не было.

– Спасибо вам! – сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала: «Не знаете ли вы, где Кай?»

Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о собственной своей сказке или истории; их наслушалась Герда много, но ни один из цветов не сказал ни слова о Кае.

Что же рассказала ей огненная лилия?

– Слышишь, бьет барабан? Бум! Бум! Звуки очень однообразны: бум, бум! Слушай же заунывное пение женщин! Слушай крики жрецов!.. В длинном красном одеянии стоит на костре индийская вдова. Пламя вот-вот охватит ее и тело ее умершего мужа, но она думает о живом – о том, кто стоит здесь же, о том, чьи взоры жгут ее сердце сильнее пламени, которое сейчас испепелит ее тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра!

– Ничего не понимаю! – сказала Герда.

– Это моя сказка! – отвечала огненная лилия.

Что рассказал вьюнок?

– Узкая горная тропинка ведет к гордо возвышающемуся на скале старинному рыцарскому замку. Старые кирпичные стены густо увиты плющом. Листья его цепляются за балкон, а на балконе стоит прелестная девушка; она перевесилась через перила и смотрит на дорогу. Девушка свежее розы, воздушнее колеблемого ветром цветка яблони. Как шелестит ее шелковое платье! «Неужели же он не придет?»

– Ты говоришь про Кая? – спросила Герда.

– Я рассказываю свою сказку, свои грезы! – отвечал вьюнок.

Что рассказал крошка подснежник?

– Между деревьями качается длинная доска – это качели. На доске сидят две маленькие девочки; платьица на них белые как снег, а на шляпах развеваются длинные зеленые шелковые ленты. Братишка, постарше их, стоит позади сестер, обхватив веревки, потому что руки у него заняты: в одной – маленькая чашечка с мыльной водой, в другой – глиняная трубочка. Он пускает пузыри, доска качается, пузыри разлетаются по воздуху, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Вот один повис на конце трубочки и колышется от дуновения

ветра. Доска качается. Черненькая собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки и хочет вскочить на качели, но доска взлетает кверху, собачонка падает, тявкает и сердится. Дети поддразнивают ее, пузыри лопаются... Доска качается, пена разлетается – вот моя песенка!

– Она, может быть, и хороша, да ты говоришь все это таким печальным тоном! И опять ни слова о Кае! Что скажут гиацинты?

– Жили-были три стройные, воздушные красавицы сестрицы. На одной платье было красное, на другой голубое, на третьей совсем белое. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у тихого озера. То не были эльфы, но настоящие девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, и девушки скрылись в лесу. Вот аромат стал еще сильнее, еще слаще – из чащи леса выплыли три гроба; в них лежали красавицы сестрицы, а вокруг них порхали, словно живые огоньки, светляки. Спят ли девушки или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим!

– Вы навели на меня грусть! – сказала Герда. – Ваши колокольчики тоже пахнут так сильно!.. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки! Ах, неужели и Кай умер? Но розы были под землей и говорят, что его нет там!

– Динь-дан! – зазвенели колокольчики гиацинтов. – Мы звоним не над Каем! Мы и не знаем его! Мы звоним свою собственную песенку; другой мы не знаем!

И Герда пошла к золотому одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.

– Ты, маленькое, ясное солнышко! – сказала ему Герда. – Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного братца?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кае!

– Ранняя весна; на маленький дворик приветливо светит ясное божье солнышко. Ласточки выются возле белой стены, примыкающей ко двору соседей. Из зеленой травки выплывают первые желтенькие цветочки, сверкающие на солнышке, словно золотые. На двор вышла посидеть старушка бабушка; вот пришла навестить ее внучка, бедная служанка, и крепко целует старушку. Поцелуй девушки дороже золота – он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в ее

сердечке, золото и на небе в утренний час! Вот и все! – сказал одуванчик.

– Бедная моя бабушка! – вздохнула Герда. – Как она скучает обо мне, как горюет! Не меньше, чем горевала о Кае! Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы – у них ничего не добьешься, они знают только свои песенки!

И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать, но когда хотела перепрыгнуть через желтую лилию, та хлестнула ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на длинный цветок и спросила:

– Ты, может быть, знаешь что-нибудь?

И она наклонилась к нему, ожидая ответа. Что же рассказала желтая лилия?

– Я вижу себя! Я вижу себя! О, как я благоухаю!.. Высоко-высоко в маленькой каморке, под самой крышей, стоит полуодетая танцовщица. Она то балансирует на одной ножке, то опять твердо стоит на обеих и попирает ими весь свет, – она ведь один обман глаз. Вот она льет из чайника воду на какой-то белый кусок материи, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота – лучшая красота! Белая юбочка висит на гвозде, вбитом в стену; юбка тоже выстирана водою из чайника и высушена на крыше! Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, еще резче оттеняющий белизну платица. Опять одна ножка взвивается в воздух! Гляди, как прямо она стоит на другой, точно цветок на своем стебельке! Я вижу себя, я вижу себя!

– Да мне мало до этого дела! – сказала Герда. – Нечего мне об этом и рассказывать!

И она побежала из сада.

Дверь была заперта лишь на задвижку; Герда дернула ржавый засов, он подался, дверь отворилась, и девочка так, босоножкой, и пустилась бежать по дороге! Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень, а в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого и не было заметно!

– Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха! – сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как болели ее бедные, усталые ножки! Как холодно, сыро было в воздухе! Листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь белый свет!

## История четвертая

### Принц и принцесса



Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон; он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головою, и наконец заговорил:

– Кар-кар! Здррравствуй!

Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька? Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая?

Ворон задумчиво покачал головой и сказал:

– Может быть, может быть!

– Как? Правда? – воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.

– Потихе, потихе! – сказал ворон. – Я думаю, что это был твой Кай! Но теперь он, верно, забыл тебя со своей принцессой!

– Разве он живет у принцессы? – спросила Герда.

– А вот послушай, – сказал ворон, – Только мне ужасно трудно говорить по-вашему! Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

– Нет, этому меня не учили! – сказала Герда. – Бабушка – та понимает даже птичий язык! Хорошо бы и мне уметь!

– Ну, ничего! – сказал ворон. – Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал обо всем, что только сам знал:

– В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Она прочла все газеты в свете и уж позабыла всё, что прочла, – вот какая умница! Раз как-то сидела она на троне, – а веселья-то в этом ведь немного, как говорят люди, – и напевала песенку: «Отчего ж бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!» – подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать, – это ведь так скучно! И вот созвали по барабану всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали: «Вот это нам нравится! Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда! – прибавил ворон. – У меня при дворе есть невеста, она ручная, – от нее-то я и знаю все это.

Невестою его была ворона – каждый ведь ищет жену себе под стать.

– На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья! Да, да! – повторил ворон. – Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою! Народ повалил во дворец валом, пошли давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в



серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее же последние слова, а ей вовсе не этого было нужно! Право, их всех точно опаивали дурманом! А вот выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам был там и видел! Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не давали даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасся бутербродами, но запасливые уж не делились с соседями, думая про себя: «Пусть себе поголодают, отощат – принцесса и не возьмет их!»

– Ну, а Кай-то, Кай? – спросила Герда. – Когда же он явился? И он пришел свататься?

– Постой! Постой! Теперь мы как раз дошли и до него! На третий день явился небольшой человечек, не в карете, не верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои; волосы у него были длинные, но одет он был бедно.

– Это Кай! – обрадовалась Герда. – Так я нашла его! – И она захлопала в ладоши.

– За спиной у него была котомка! – продолжал ворон.

– Нет, это, верно, были его саночки! – сказала Герда. – Он ушел из дома с санками!

– Очень возможно! – сказал ворон. – Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головою и сказал: «Скучненько, должно быть, стоять тут, на лестнице, я лучше войду в комнаты!» Залы все были залиты светом; вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда, – торжественнее уж нельзя было! А его сапоги так и скрипели, но он и этим не смущался.

– Это, наверно, Кай! – воскликнула Герда. – Я знаю, что на нем были новые сапоги! Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке!

– Да, они таки скрипели порядком! – продолжал ворон. – Но он смело подошел к принцессе; она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры со своими горничными, служанками горничных, камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем

дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха, такой он был важный!

– Вот страх-то! – сказала Герда. – А Кай все-таки женился на принцессе?

– Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи, – так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже!

– Да, да, это Кай! – сказала Герда. – Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

– Легко сказать, – ответил ворон, – да как это сделать? Постой, я поговорю с моею невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек!

– Меня впустят! – сказала Герда. – Только бы Кай услышал, что я тут, сейчас бы прибежал за мною!

– Подожди меня тут, у решетки! – сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

– Кар! кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его в кухне – там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец тебе не попасть: ты ведь босая – гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода, и знает, где достать ключ.

И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями, и когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу.

О, как билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Она так живо

представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку... Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз! А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние! Ах, она была просто вне себя от страха и радости.

Но вот они и на площадке лестницы; на шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

– Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, барышня! – сказала ручная ворона. – История вашей жизни – как это принято выражаться – также очень трогательна! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим!

– А мне кажется, кто-то идет за нами! – сказал Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени; лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.

– Это сны! – сказала ручная ворона. – Они являются сюда, и мысли высоких особ уносятся с ними на охоту. Тем лучше для нас – удобнее будет рассмотреть спящих! Надеюсь, однако, что, войдя в честь, вы покажете, что у вас благодарное сердце!

– Не о чем тут и толковать! Само собою разумеется! – сказал лесной ворон.

Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканым цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой – просто оторопь брала. Наконец они дошли до спальни: потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая – красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выплянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.

– Ах ты, бедняжка! – сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гnevаются на них – только пусть они не делают этого впредь, – и захотели даже наградить их.

– Хотите быть вольными птицами? – спросила принцесса. – Или желаете занять должность придворных ворон, на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе – они подумали о старости и сказали:

– Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде; больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручонки и подумала: «Как добры все люди и животные!» – закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на Божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы! Все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошастью и пару башмаков, – она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного брата.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы; у кучера, лакеев и фореиторов – ей дали и фореиторов – красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею – он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была

набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем – фруктами и пряниками.

– Прощай! Прощай! – закричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая, как солнце, не скрылась из виду.

## История пятая

### Маленькая разбойница



Вот Герда въехала в темный лес, но карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они не выдержали и налетели на нее с криками: «Золото! Золото!» Схватили лошадей под уздцы, убили маленьких фореиторов, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

– Ишь, какая славненькая, жирненькая. Орешками откормлена! – сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. – Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый, сверкающий нож. Вот ужас!

– Ай! – закричала она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что любо! – Ах ты, дрянная девчонка! – закричала мать, но убить Герду не успела.

– Она будет играть со мной! – сказала маленькая разбойница. – Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постельке.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. Разбойники захохотали:

– Ишь, как скачет со своей девчонкой!

– Я хочу сесть в карету! – закричала маленькая разбойница и настояла на своем – она была ужасно избалована и упряма.

Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

– Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя! Ты, верно, принцесса?

– Нет! – отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала:

– Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя, – я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку.

Вот карета остановилась; они въехали во двор разбойничьего замка. Он весь был в огромных трещинах; из них вылетали вóроны и вороны; откуда-то выскочили огромные бульдоги и смотрели так свирепо, точно хотели всех съесть, но лаять не лаляли – это было запрещено.

Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь; дым подымался к

потолку и сам должен был искать себе выход; над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

– Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца! – сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердочках больше сотни голубей; все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.

– Все мои! – сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так потрянула его, что тот забил крыльями. – На, поцелуй его! – крикнула она, ткнув голубя Герде прямо в лицо. – А вот тут сидят лесные плутишки! – продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянную решеткой. – Эти двое – лесные плутишки! Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина башка! – И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. – Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом – он смерть этого боится!

С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

– Разве ты спишь с ножом? – спросила ее Герда, покосившись на острый нож.

– Всегда! – отвечала маленькая разбойница. – Как знать, что может случиться! Но Расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету!

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали; маленькая разбойница обвила одною рукой шею Герды – в другой у нее был нож – и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха разбойница кувыркалась. Страшно было глядеть на это бедной девочке.

Вдруг лесные голуби проворковали:

– Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они летели над лесом,

когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде; онадохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих! Курр! Курр!

– Что вы говорите? – воскликнула Герда. – Куда же полетела Снежная королева?

– Она полетела, наверно, в Лапландию – там ведь вечный снег и лед! Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи!

– Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо! – сказал северный олень. – Там прыгаешь себе на воле по огромным, блестящим ледяным равнинам! Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а чертоги ее еще дальше – у Северного полюса, на острове Шпицберген!

– О Кай, мой милый Кай! – вздохнула Герда.

– Лежи смирно! – сказала маленькая разбойница. – Не то я пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

– Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия? – спросила она затем у северного оленя.

– Кому же и знать, как не мне! – отвечал олень, и глаза его заблестели. – Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам!

– Так слушай! – сказала Герде маленькая разбойница. – Видишь, все наши ушли; дома одна мать; немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет – тогда я кое-что сделаю для тебя!

Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала:

– Здравствуй, мой миленький козлик!

А мать надавала ей по носу щелчков, так что нос у девочки покраснел и посинел, но все это делалось любя.

Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

– Еще долго-долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты бываешь уморительным, когда тебя щекочут острым ножом! Ну, да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою Лапландию, но должен за это отнести ко дворцу Снежной королевы вот эту девочку – там ее названный братец.



Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила довольно громко, а у тебя вечно ушки на макушке.

Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее, ради осторожности, и подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть.

– Так и быть, – сказала она затем, – возьми назад свои меховые сапожки – будет ведь холодно! А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша! Но мерзнуть я тебе не дам; вот огромные матушкины рукавицы, они дойдут тебе до самых локтей! Сунь в них руки! Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей безобразной матушки!

Герда плакала от радости.

– Терпеть не могу, когда хнычут! – сказала маленькая разбойница. – Теперь тебе надо смотреть весело! Вот тебе еще два хлеба и окорок! Что? Небось не будешь голодать!

И то и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которою был привязан олень, и сказала ему:

– Ну, живо! Да береги смотри девчонку!

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали, а небо вдруг зафукало и выбросило столбы огня.

– Вот мое родное северное сияние! – сказал олень. – Гляди, как горит!

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии.

## **История шестая**

### **Лапландка и финка**

Олень остановился у жалкой избушки; крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал

лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную – она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.

– Ах вы, бедняги! – сказала лапландка. – Долгий же вам еще предстоит путь! Придется сделать сто миль с лишком, пока доберетесь до Финмарка, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу пару слов на сушеной треске – бумаги у меня нет, – а вы снесете ее финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала пару слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Небо опять фукало и выбрасывало столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финмарка и постучался в дымовую трубу финки – у нее и дверей-то не было.

Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финка, низенькая грязная женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды все платье, рукавицы и сапоги – иначе девочке было бы чересчур жарко, – положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, и потом сунула треску в котел – рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова.

– Ты мудрая женщина! – сказал олень. – Я знаю, что ты можешь связать одной ниткой все четыре ветра; когда шкипер развяжет один узел – подует попутный ветер, развяжет другой – погода разыграется, а развяжет третий и четвертый – подымется такая буря, что ломает в щепки деревья. Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

– Силу двенадцати богатырей! – сказала финка. – Да, много в этом толку!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его: на нем стояли какие-то удивительные письмена; финка принялась читать их и читала до того, что ее пот прошиб.

Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, переменяя ему на голове лед, шепнула:

– Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком и Снежная королева сохранит над ним свою власть.

– Но не поможешь ли ты Герде как-нибудь уничтожить эту власть?

– Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас занимать ей силу! Сила – в ее милом, невинном детском сердечке. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и не мешкая возвращайся обратно!



С этими словами финка подсадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

– Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! – закричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами; тут он спустил девочку, поцеловал ее в самые губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна-одинешенька, на трескучем морозе, без сапог, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи; навстречу ей неслись целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба – небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние, – нет, они бежали по земле прямо на Герду и по мере приближения становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под зажигательным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, самых удивительных видов и форм и все живые. Это были передовые отряда войска Снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие – стоголовых змей, третьи – толстых медвежат с взъерошенною шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Герда принялась творить «Отче наш»; было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие, светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячу кусков. Герда могла теперь смело идти вперед; ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что делал в это время Кай. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она стоит перед замком.

## **История седьмая**

### **Что случилось в чертогах**

### **Снежной королевы и что случилось потом**



Стены чертогов Снежной королевы намела метель, окна и двери проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных северным сиянием зал тянулись одна за другой; самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда! Хоть бы редкий раз устроилась бы здесь медвежья вечеринка с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи, или составила партия в карты с ссорами и дракой, или, наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки лисички – нет, никогда этого не случилось! Холодно, пустынно, мертво! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, ровных и правильных на диво. Посреди озера стоял трон Снежной королевы; на нем она восседала,

когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого, – поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра – складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется «китайской головоломкой». Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала! Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, – слова «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

– Теперь я полечу в теплые края! – сказала Снежная королева. – Загляну в черные котлы!

Котлами она называла кратеры огнедышащих гор – Везувия и Этны.

– Я побелю их немножко! Это хорошо после лимонов и винограда!

И она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте – такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз.

В это-то время в огромные ворота, сделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

– Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!

Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду, а она запела:

Розы цветут... Красота, красота!  
Скоро узрим мы младенца Христа.

Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался:

– Герда! Милая моя Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? – И он оглянулся вокруг. – Как здесь холодно, пустынно!

И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улепись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева; сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами, поцеловала его в глаза, и они заблестали, как ее глаза; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.

Снежная королева могла вернуться когда угодно – его вольная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.

Кай с Гердой рука об руку вышли из пустынных ледяных чертогов; они шли и говорили о бабушке, о своих розах, и на пути их стихали буйные ветры, проплядывало солнышко. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Он привел с собою молодую оленью матку, вымя ее было полно молока; она напоила им Кая и Герду и поцеловала их прямо в губы. Затем Кай и Герда отправились сначала к финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к лапландке; та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать.

Оленья парочка тоже провожала молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с оленями и с лапландкой.

– Счастливого пути! – крикнули им провожатые.

Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с



пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь – она была когда-то впряжена в золотую карету – и девушку. Это была маленькая разбойница; ей наскучило жить дома, и она захотела побывать на Севере, а если там не понравится – и в других местах. Она тоже узнала Герду. То-то было радости!

– Ишь ты, бродяга! – сказала она Каю. – Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света!

Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

– Они уехали в чужие края! – отвечала молодая разбойница.

– А ворон с вороной? – спросила Герда.

– Лесной ворон умер; ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки, а ты вот Расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его.

Герда и Кай рассказали ей обо всем.

– Ну, вот и сказке конец! – сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет в их город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли, и на их дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного городка. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: так же тикали часы, так же двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми.

Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное величие чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное!»

Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма:

Розы цветут... Красота, красота!  
Скоро узрим мы младенца Христа.

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!

*1844*

## Бузинная матушка



Один маленький мальчик раз простудился; где он промочил себе ноги – никто и понять не мог: погода стояла совсем сухая. Мать раздела его, уложила в постель и велела принести чайник, чтобы заварить бузинного чая – отличное потогонное! В это самое время в комнату вошел славный, веселый старичок, живший в верхнем этаже того же дома. Он был совсем одинок, не было у него ни жены, ни деток, а он так любил детей, умел рассказывать им такие чудесные сказки и истории, что просто чудо.

– Ну вот, выпьешь свой чай, а потом, может быть, услышишь сказку! – сказала мать.

– То-то вот, если бы знать какую-нибудь новенькую! – отвечал старичок, ласково кивая головой. – Но где же это наш мальчуган промочил себе ноги?

– Да вот где? – сказала мать. – Никто и понять не может!

– А сказка будет? – спросил мальчик.

– Сначала мне нужно знать, глубока ли водосточная канавка в переулке, где ваша школа. Можешь ты мне сказать это?

– Как раз мне по голенище! – отвечал мальчик. – Но это в самом глубоком месте!

– Вот отчего у нас и мокрые ноги! – сказал старичок. – Теперь следовало бы рассказать тебе сказку, да ни одной новой не знаю!

– Вы сейчас же можете сочинить ее! – сказал мальчик. – Мама говорит, что вы на что ни взглянете, до чего ни дотронетесь, из всего у вас выходит сказка или история.

– Да, но такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие, те приходят сами! Придут и постучатся мне в лоб: «Вот я!»

– А скоро какая-нибудь постучится? – спросил мальчик.

Мать засмеялась, засыпала в чайник бузинного чая и заварила.

– Ну, расскажите же! Расскажите какую-нибудь!

– Да вот если бы пришла сама! Но они важные, приходят, только когда им самим вздумается! Стой, – сказал он вдруг. – Вот она! Гляди на чайник!

Мальчик посмотрел; крышка чайника начала приподыматься, и из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, затем выросли и длинные зеленые ветви. Они росли даже из носика чайника, и скоро образовался целый куст; ветви тянулись к самой постели и раздвигали занавески. Как славно цвела и благоухала бузина! Из зелени ее выглядывало ласково лицо старушки, одетой в какое-то удивительное платье, зеленое, как листья бузины, и все усеянное белыми цветочками. Сразу даже не разобрать было – платье ли это, или просто зелень и живые цветочки бузины.

– Что это за старушка? – спросил мальчик.

– Римляне и греки звали ее Дриадой! – сказал старичок. – Но для нас это слишком мудреное имя, и в Новой слободке ей дали прозвище получше: Бузинная матушка. Смотри же на нее хорошенько да слушай, что я буду рассказывать!

«Такой же точно большой, покрытый цветами куст рос в углу одного бедного дворика в Новой слободке. Под кустом сидели в послеобеденный час и грелись на солнышке старичок со старушкой – старый отставной матрос и его жена. Старички были богаты детьми, внуками и правнуками и скоро должны были отпраздновать свою золотую свадьбу, да только не помнили хорошенько дня и числа. Из

зелени глядела на них Бужинная матушка, такая же славная и приветливая, как вот эта, и говорила: „Я-то знаю день вашей золотой свадьбы!” Но старики были заняты разговором – они вспоминали старину – и не слышали ее.

– Да, помнишь, – сказал старый матрос, – как мы бегали и играли с тобой детьми! Вот тут, на этом самом дворе, мы разводили себе садик! Помнишь, втыкали в землю прутики и веточки?

– Да, да! – подхватила старушка. – Помню, помню! Мы усердно поливали эти веточки; одна из них была бужинная, пустила корни, ростки и вот как разрослась! Мы, старички, можем теперь сидеть в ее тени!

– Правда! – продолжал муж. – А вон в том углу стоял чан с водою. Там мы спускали в воду мой кораблик, который я сам вырезал из дерева. Как он плавал! А скоро мне пришлось пуститься и в настоящее плавание!

– Да, но прежде еще мы ходили в школу и кое-чему научились! – перебила старушка. – Наконец нас подтвермовали. Мы оба прослезились тогда!.. А потом взяли за руки и пошли осматривать Круглую башню, взбирались на самый верх и любовались оттуда городом и морем. После же мы отправились в Фредриксберг и смотрели, как катались по каналам в своей великолепной лодке король с королевой.

– Да, и скоро мне пришлось пуститься в настоящее плавание! Много, много лет провел я вдали от родины!

– Сколько слез я пролила! Мне уж думалось, что ты умер и лежишь на дне морском! Сколько раз вставала я по ночам посмотреть, вертится ли флюгер. Флюгер-то вертелся, а ты все не приезжал! Я отлично помню, как раз, в самый ливень, во двор к нам приехал мусорщик. Я жила там в прислугах и вышла с мусорным ящиком, да остановилась в дверях. Вот погода-то была! В это самое время пришел почтальон и подал мне письмо от тебя. Пришлось же этому письму прогуляться по белу свету! Как я схватила его!.. И сейчас же принялась читать. Я смеялась и плакала зараз... Я была так рада! В письме говорилось, что ты теперь в теплых краях, где растет кофейное дерево! Вот-то, должно быть, благословенная страна! Ты много еще о чем рассказывал в своем письме, и я все это словно видела перед собою. Дождь так и поливал,

а я все стояла в дверях с мусорным ящиком. Вдруг кто-то обнял меня за талию...

– Да, и ты закатила ему такую звонкую пощечину, что любо!

– Ведь я же не знала, что это ты! Ты догнал свое письмо! Какой ты был бравый, красивый, да ты и теперь все такой же! Из кармана у тебя торчал желтый шелковый платок, а на голове красовалась клеенчатая шляпа. Такой щеголь! Но что за погода стояла и на что была похожа наша улица!

– Потом мы женились! – продолжал старый матрос. – Помнишь? А там пошли у нас детки: первый мальчуган, потом Мари, Нильс, Петер и Ганс Христиан!

– Как они все повзросли и какими стали славными людьми! Все их любят!

– Теперь уж и у их детей есть дети! – сказал старичок. – И какие крепыши наши правнуки!.. Сдается мне, что наша свадьба была как раз в эту пору.

– Как раз сегодня! – сказала Бузинная матушка и просунула голову между старичками, но те подумали, что это кивает им головой соседка. Они сидели рука в руку и любовно смотрели друг на друга.

Немного погодя пришли к ним дети и внучата. Они-то отлично знали, что сегодня день золотой свадьбы стариков, и уже поздравляли их утром, но старички успели позабыть об этом, хотя отлично помнили все, что случилось много-много лет тому назад. Бузина так и благоухала, солнышко садилось и светило на прощанье старичкам прямо в лицо, разрумнявая их щеки. Младший из внуков плясал вокруг дедушки с бабушкой и радостно кричал, что сегодня вечером у них будет пир: за ужином подадут горячий картофель! Бузинная матушка кивала головой и кричала „ура” вместе со всеми».

– Да ведь это вовсе не сказка! – сказал мальчуган, когда рассказчик остановился.

– Это ты так говоришь, – отвечал старичок, – а вот спросим-ка Бузинную матушку!

– Это не сказка! – отвечала Бузинная матушка. – Но сейчас начнется и сказка! Из действительности-то и вырастают чудеснейшие сказки. Иначе бы мой благоухающий куст не вырос из чайника.

С этими словами она взяла мальчика на руки; ветви бузины, покрытые цветами, вдруг сдвинулись, и мальчик со старушкой

очутились словно в густой беседке, которая понеслась с ними по воздуху. Вот было хорошо! Бузинная матушка превратилась в маленькую прелестную девочку, но платьице на ней осталось то же – зеленое, все усеянное белыми цветочками. На груди девочки красовался живой бузинный цветочек, на светло-русых кудрях – целый веночек из тех же цветов. Глаза у нее были большие, голубые. Ах, она была такая хорошенькая, что просто загляденье! Мальчик поцеловался с девочкой, и оба стали одного возраста, одних мыслей и чувств.

Рука об руку вышли они из беседки и очутились в саду перед домом. На зеленой лужайке стояла прислоненная к дереву тросточка отца. Для детей и тросточка была живая; они уселись на нее верхом, и блестящий набалдашник стал великолепной лошадиной головой с длинной развевающейся гривой; затем выросли четыре тонких крепких ноги, и горячий конь – эге-гей! – помчал детей вокруг лужайки.

– Теперь мы поскачем далеко-далеко! – сказал мальчик. – В барскую усадьбу, где мы были в прошлом году!

И дети скакали вокруг лужайки, а девочка – мы ведь знаем, что это была сама Бузинная матушка, – приговаривала:

– Ну вот мы и за городом! Видишь крестьянские домики? Огромные хлебные печи выступают из стен, словно какие-то исполинские яйца! Над домиками раскинула свои ветви бузина. Вон бродит по двору петух! Знай себе разгребает сор и выскивает для кур червячков! Гляди, как он важно выступает!.. А вот мы и на высоком холме, у церкви! Какие славные развесистые дубы растут вокруг нее! Один из них наполовину вылез из земли с корнями! Вот мы у кузницы! Гляди, как ярко пылает огонь, как работают тяжелыми молотами полунагие люди! Искры сыплются дождем!.. Но дальше, дальше, в барскую усадьбу!

И все, что ни называла девочка, сидевшая верхом на палке позади мальчика, мелькало перед их глазами. Мальчик видел все это, а между тем они только кружились по лужайке. Потом они отправились в боковую аллею и стали там устраивать себе маленький садик. Девочка вынула из своего венка один бузинный цветочек и посадила его в землю; он пустил корни и ростки, и скоро вырос большой куст бузины, точь-в-точь как у старичков в Новой слободке, когда они были

еще детьми. Мальчик с девочкой взялись за руки и тоже пошли гулять, но отправились не на Круглую башню и не в Фредриксбергский сад; нет, девочка крепко обняла мальчика, поднялась с ним на воздух, и они облетели всю Данию. Весна сменялась летом, лето – осенью и осень – зимою; тысячи картин отражались в глазах и запечатлевались в сердце мальчика, а девочка все приговаривала:

– Этого ты не забудешь никогда!

А бузина благоухала так сладко, так чудно! Мальчик вдыхал и аромат роз, и запах свежих буков, но бузина пахла всего сильнее, ведь ее цветочки красовались у девочки на груди, а к ней он так часто склонялся головою.

– Как чудесно здесь весною! – сказала девочка, и они очутились в свежем, зеленом буковом лесу; у их ног цвела душистая белая буквица, из травки выплывали прелестные бледно-розовые анемоны. – О, если бы вечно царила весна в благоухающих датских лесах!.. Как хорошо здесь летом! – говорила она, и они проносились мимо старой барской усадьбы с древним рыцарским замком; красные стены и фронтоны отражались в прудах; по ним плавали лебеди, заглядывая в темные прохладные аллеи сада. Хлебные нивы волновались под ветром, точно море, во рвах пестрели красненькие и желтенькие полевые цветочки, по изгородям вился дикий хмель и цветущий вьюнок. Вечером же на небе всплыл круглый ясный месяц, а с лугов понесся сладкий аромат свежего сена! Это не забудется никогда! – Как чудно здесь осенью! – снова говорила девочка, и свод небесный вдруг стал вдвое выше и синее. В лесах запестрели среди зелени красноватые и желтые листья. Охотничьи собаки вырвались на волю! Целые стаи дичи с криком полетели над курганами, где лежат старые камни, обросшие ежевикой. На темно-синем море забелели паруса, а в ригах собирались старухи, девушки и дети, они чистили хмель и бросали его в большие чаны. Молодежь распевала старинные песни, а старухи рассказывали сказки про троллей и домовых. – Лучше не может быть нигде!.. А как хорошо здесь зимою! – говорила она затем, и все деревья покрылись инеем; ветви их превратились в белые кораллы. Снег хрустел под ногами, точно у всех были надеты новые сапоги, а с неба посыпались одна за другою падучие звездочки. В домах зажглись елки, обвешанные подарками; все люди радовались и веселились. В деревнях, в крестьянских домиках не умолкали



скрипки, летели в воздух яблочные пышки. Даже самые бедные дети говорили: «Как хорошо зимою!»

Да, хорошо! Девочка показывала все это мальчику, и повсюду благоухала бузина, повсюду развевался красный флаг с белым крестом, флаг, под которым плавал старый матрос из Новой слободки. И вот мальчик стал юношей, и ему тоже пришлось отправиться в дальнее плавание в теплые края, где растет кофе. На прощанье девочка дала ему цветок с своей груди, и он спрятал его в псалтырь. Часто вспоминал он на чужбине свою родину и раскрывал книгу – всегда на том самом месте, где лежал цветочек, данный ему на память! И чем больше юноша смотрел на цветок, тем свежее тот становился и сильнее пахнул, а юноше казалось, что до него доносится аромат датских лесов. В лепестках же цветка ему чудилось личико голубоглазой девочки; он как будто слышал ее шепот: «Как хорошо тут весною, летом, осенью и зимою!» И сотни картин проносились в его памяти.

Так прошло много лет; он состарился и сидел со своею старушкой женой под цветущим кустом бузины. Они держались за руки и говорили о былых днях и о своей золотой свадьбе, точь-в-точь как прадед и прабабушка из Новой слободки. Голубоглазая девочка с бузинными цветочками в волосах и на груди сидела в ветвях бузины, кивала им головой и говорила: «Сегодня ваша золотая свадьба!» Потом она вынула из своего венка два цветочка, поцеловала их, и они заблестели сначала как серебряные, а потом как золотые. Когда же девочка возложила их на головы старичков, цветы превратились в короны, и муж с женой сидели под цветущим, благоухающим кустом, словно король с королевой.

И вот старик пересказал жене историю о Бузинной матушке, как сам слышал ее в детстве, и обоим казалось, что в той истории было так много похожего на историю их собственной жизни. И как раз то, что было в ней похожего, больше всего и нравилось им.

– Да, так-то! – сказала девочка, сидевшая в зелени. – Кто зовет меня Бузинной матушкой, кто Дриадой, а настоящее-то мое имя Воспоминание. Я сижу на дереве, которое все растет и растет; я помню все и умею рассказывать обо всем! Покажи-ка, цел ли еще у тебя мой цветочек?

И старик раскрыл псалтырь: бузинный цветочек лежал такой свежий, точно его сейчас только вложили туда! Воспоминание дружески кивало старичкам, а те сидели в золотых коронах, освещенные пурпурными лучами вечернего солнца. Глаза их закрылись, и, и... да тут и сказке конец!

Мальчик лежал в постели и сам не знал, видел ли он все это во сне или только слышал в сказке. Чайник стоял на столе, но из него не росла бузина, а старичок уже собирался уходить и скоро ушел.

– Какая прелесть! – сказал мальчик. – Мама, я побывал в теплых краях!

– Верю, верю! – сказала мать. – После двух таких чашек крепкого бузинового чая немудрено побывать в теплых краях! – И она хорошенько укутала его, чтобы он не простудился. – Ты таки славно спал, пока мы со старичком сидели да спорили о том, сказка это или быль!

– А где же Бузинная матушка? – спросил мальчик.

– В чайнике! – ответила мать. – И пусть себе там останется!

## Холм лесных духов



Юркие ящерицы бегали по истрескавшемуся корявому стволу старого дерева; они отлично понимали друг друга, потому что говорили по-ящеричьи.

— Ишь, как шумит и гудит в холме у лесных духов! — сказала одна ящерица. — Из-за этого шума я уж две ночи кряду глаз сомкнуть не могу. Точно у меня зубы болят — тогда я тоже не сплю.

— Там что-то затевается, — сказала другая. — Холм, как подыметесь на своих четырех красных столбах, так и стоит, пока не запоют петухи, — верно, хотят его хорошенько проветрить, — а дочери лесного царя выучились новым танцам с притоптыванием. Да, что-то затевается!

— Я говорила с одним моим знакомым, дождевым червяком, — сказала третья, — Он только что выполз из холма, где дни и ночи рылся, и там подслушал кое-что. Видеть эта жалкая тварь ничего не видит, зато бродить ощупью да подслушивать — мастер. В холме ожидают заморских гостей! Важных-преважных! Кого именно — дождевой червяк сказать не хотел, да, пожалуй, и сам не знал. Все блуждающие огоньки приглашены участвовать в факельном шествии —

как это у них называется! И все золото и серебро – а этого добра у них в холме довольно – начищают до блеска и выставляют сушиться на лунный свет.

– Каких же это таких гостей ждут? – толковали ящерицы. – Что там затевается? Слышите, слышите, как там шумит и гудит?

В эту самую минуту холм лесных духов раскрылся, и оттуда, семена ножками, выскочила старая лесная дева; у нее не было спины, но одета она была очень прилично. Это была ключница и дальняя родственница самого лесного царя, а потому носила на лбу янтарное сердце. Ножки у нее так и работали: топ! топ! – и она живо очутилась в болоте у ночного ворона.

– Вас приглашают в холм сегодня же ночью, – сказала она, – Но сначала я попросила бы вас оказать нам большую услугу – оповестить остальных приглашенных. Надо же быть чем-нибудь полезным – своего хозяйства у вас ведь нет! Мы ждем очень важных чужеземцев, троллей с большим весом, и наш лесной царь не хочет ударить лицом в грязь.

– Кого же приглашать? – спросил ночной ворон.

– На большой бал может явиться кто угодно, даже люди, если только они говорят во сне или вообще отличаются чем-нибудь в нашем роде. Званный обед – дело другое, тут надо выбирать да выбирать. Общество должно быть самое избранное! Я уж и то спорила с лесным царем насчет привидений: по-моему, и их нельзя допускать! Прежде всего придется, конечно, позвать морского царя с дочерьми; они не очень-то любят выходить на сушу, ну да ничего, мы посадим их на мокрый камень или еще что-нибудь придумаем – надеюсь, не откажутся! Потом надо позвать всех старых троллей первого класса, с хвостами, затем водяного и домовых, и, наконец, я думаю, нельзя обойти приглашением могильную свинью, мертвую лошадь и церковного карлика: правда, они принадлежат к духовенству и у нас с ними ничего общего, однако же как-никак родня, они нас не забывают и наносят визиты.

– Кар! – крикнул ночной ворон и полетел приглашать.

Дочери лесного царя уже плясали на холме с длинными шарфами, сотканными из тумана и лунного света, – это очень красиво, по мнению тех, кому такие вещи нравятся. Парадная зала холма была разубрана на славу: пол вымыт лунным светом, а стены натерты

ведьминым салом, так что светились, как лепестки тюльпанов, пронизанные солнечным светом! В кухне жарились на вертелах сотни лягушек, готовились ужиные шкурки с начинкой из детских пальчиков и салат из мухоморов, сырых мышинных мордочек и белены. Пиво привезли от самой болотницы, из ее пивоварни, а искрометное селитровое вино добыто из могильных склепов; словом, все было как следует. К десерту готовились груда ржавых гвоздей и осколки церковных стекол.

Старый лесной царь велел вычистить свою золотую корону толченым грифелем; для этого нужно было добыть грифели первых учеников, а это для лесного царя очень трудно. В спальне повесили занавески и прикрепили их слюной ужа. Вот возня-то была! Недаром шумело и гудело.

– Теперь остается покурить здесь волосом и щетиной – и мое дело сделано! – сказала старая лесная дева.

– Папаша! – заговорила самая младшая дочка. – Скажи же, наконец, кто такие эти важные гости?

– Так и быть, – отвечал лесной царь, – скажу. Две из моих дочерей должны быть наготове. Две уж непременно выйдут замуж. Старый норвежский тролль, тот, что живет в скале Довре, владеец множества гранитных дворцов и золотых россыпей, – они у него лучше, чем думают, – едет сюда женить двоих своих сыновей. Старый тролль – истый норвежец старинной закалки, веселый и прямой! Я давно его знаю, мы даже пили с ним на «ты», когда он приезжал сюда жениться. Жена его уж умерла; она была дочь короля меловых утесов на Мёне. Ах, как мне хочется поскорее увидеть старого тролля! Сыновья-то у него, как слышно, не задались, задиры какие-то неотесанные. Ну, да это, может быть, пустые слухи; к тому же они с годами еще исправятся. Надеюсь, вы сумеете вышколить их!

– А когда они будут здесь? – спросила одна из дочерей.

– Смотря по погоде и по ветру, – сказал лесной царь. – Они очень расчетливы и едут морем с оказией. Я было советовал им ехать через Швецию, но старик до сих пор еще косится в ту сторону. Он немножко отстал от века, и вот это мне не нравится.

Вдруг к ним поскакали во всю прыть два сторожевых блуждающих огонька: один был проворнее другого и прибежал первым.

– Едут, едут! – кричали они.

– Подайте мне мою корону и пустите меня на лунный свет, – сказал лесной царь.

Дочери высоко подняли свои шарфы и присели чуть не до земли. Старый тролль из Довре был в короне из ледяных сосулек и полированных еловых шишек, в медвежьей шубе и меховых сапогах. А сыновья его ходили, напротив, с голыми шеями и без подтяжек, чтобы показать спую закалку.

– Разве это холм? – спросил младший, указывая пальцем на холм лесных духов. – По-нашему, по-норвежски, это – дыра!

– Вот так молодцы! – сказал старый тролль. – Дыра идет вниз, а холм вверх! Что ж вы ослепли, что ли?

Особенно удивляло молодцов, по их словам, то, что они так скоро выучились понимать здешний язык.

– Ну, ну, только не представляйтесь, пожалуйста, – сказал им отец. – Можно подумать, что вы совсем неучи.

Потом все вошли в холм, где собралось самое что ни на есть избранное общество, да притом так скоро, точно их всех ветром намело. Каждому было приготовлено особое удобное местечко; морские гости сидели за столом в больших чанах с водой и чувствовали себя совсем как дома. Все вели себя за столом очень прилично, кроме молодых норвежцев-троллей. Они положили ноги на стол, думая, что у них все выходит мило.

– Ноги долой! – сказал старый тролль, и они послушались, хотя и не сразу.

Своих соседок за столом они щекотали еловыми шишками – у них были полные карманы этих шишек, – потом сняли с себя для удобства сапоги и дали их держать дамам. Старый тролль вел себя совсем не так: он рассказывал чудеснейшие истории о величественных норвежских скалах, о пенящихся водопадах, которые с гулом и ревом, подобным раскатам грома и звукам органа, низвергаются в пучину; рассказывал о лососях, что прыгают и борются с течением под звуки золотой арфы водяного; рассказывал о звездных зимних ночах, когда весело звенят упряжные бубенчики, а молодые парни бегают с горящими смоляными факелами по гладкому льду, до того прозрачному, что видно, как под ним мечутся испуганные рыбы. Да, умел-таки он рассказывать! Слушатели словно видели и слышали всё сами: водопады и водяные мельницы шумели, деревенские парни и

девушки пели и отплясывали халлинг. Ух, как! И старый тролль так расхотелся, что вдруг чмокнул старую лесную деву, точно старый дядюшка, а они вовсе и родственниками-то не были!

Потом дочерей лесного царя заставили танцевать. Они прекрасно исполнили несколько танцев, и простых и с притоптыванием, и, наконец, должны были исполнить самый затейливый, проделать то, что они называли выйти из хоровода.

Эх! как они пошли вытягиваться! Где начало, где конец, где рука, где нога – ничего не разберешь, точно стружки закрутились! Под конец они так завертелись, что мертвую лошадь затошнило и она принуждена была выйти из-за стола.

– Бррррр! – сказал старый тролль. – Вот так задали работу своим ножкам! А что они еще умеют, кроме плясок, вытягивания ножек и головокружения?

– А вот сейчас узнаешь, – сказал лесной царь и вызвал самую младшую дочь; она была тонка и прозрачна, как лунный свет; это была самая нежная и изящная из всех сестер; она взяла в рот белый прутик, и вдруг – нет ее, исчезла без следа! Вот было и все ее искусство.

Но старый тролль сказал, что такое искусство в жене ему вовсе не по вкусу, да и сыновьям его вряд ли понравится.

Вторая умела ходить сбоку самой себя – выходило, точно у нее была своя тень, а у троллей и духов ее ведь не бывает!

Третья сестра была совсем иного склада: она обучалась варить пиво у самой бабки-болотницы и отлично умела шпиговать болотные кочки светляками.

– Из нее выйдет отличная хозяйка! – сказал старый тролль, но чокаться с ней не стал, а только подмигнул – он боялся выпить слишком много.

Четвертая вышла с золотою арфой в руках, ударила по одной струне, и все должны были поднять левую ногу – тролли и духи все ведь левши, – ударила по другой, и все должны были плясать под ее музыку.

– Опасная особа! – сказал старый тролль, а молодые тролли взяли да ушли из зала – им уж надоело все это.

– А следующая что умеет? – спросил старый тролль.

– Любить все норвежское, – сказала та, – Я выйду замуж только за норвежца.

А самая младшая сестра шепнула старому троллю на ухо:

– Это она узнала из одной норвежской песни, что при светопреставлении, когда все рушится, уцелеют одни норвежские скалы. Вот ей и хочется попасть в Норвегию: она страсть боится погибнуть.

– Эге! – сказал старый тролль. – Вот оно что! А седьмая и последняя что умеет?

– Перед седьмой есть еще шестая, – сказал старый лесной царь – он умел считать.

Но шестая не хотела даже показаться.

– Я умею только говорить правду в глаза, – сказала она. – Поэтому я никому не нужна, да и дела у меня по горло: я шью себе погребальный саван.

Теперь дошла очередь и до седьмой. Что же она умела? Да она умела рассказывать сказки о чем угодно и сколько угодно.

– Вот тебе мои пять пальцев, – сказал старик тролль. – Расскажи мне сказку о каждом.

И она взяла его руку и принялась рассказывать, а он смеялся до колик. Когда же она дошла до Златоперста, опоясанного золотым кольцом, словно в ожидании обручения, старик сказал:

– Стой! Держи его крепче! Рука эта – твоя! На тебе я сам женюсь!

Сказочница возразила, что он еще не дослушал о Златоперсте и о Петрушке-Бездельнике.

– Зимой дослушаем, – сказал старый тролль. – Послушаем тогда и о них, и об елке, и о березке, и о трескучих морозах, и о дарах хульдры. Тебе предстоит отличиться у нас; там в Норвегии никто не умеет так рассказывать. Мы будем сидеть в горной пещере, при свете сосновых лучин, и пить мед из золотых рогов викингов. Водяной подарил мне парочку таких рогов. И Гарбу придет к нам в гости и споет тебе все песни горных пастушек. Вот веселье-то пойдет у нас! Лососи запрыгают в струях водопада и будут биться о стены пещеры; только не попасть им к нам! Эх! Хорошо в вашей старой славной Норвегии!.. А где же мои молодцы?

Да, куда же они девались? Они бегали по полю и задували блуждающие огоньки, которые так любезно явились участвовать в



факельном шествии.

– Что вы шляетесь? – сказал старый тролль. – Я вот взял вам мать, а вы можете взять за себя которую-нибудь из теток.

Но молодцы сказали, что им больше нравится пить на «ты» и говорить речи, а жениться вовсе не хочется. И вот они говорили речи, пили на «ты» и потом опрокидывали кубки себе на нготь – это значило, что в них не осталось ни капли. Наконец они сняли с себя кафтаны и растянулись на столе отдыхать: они нисколько не стеснялись. А старый тролль пустился со своею молодою невестой в пляс и потом поменялся с ней сапогами – это поновее, чем меняться кольцами!

– Чу! Запел петух! – сказала старая ключница. – Пора закрывать ставни, чтобы солнце не спекло нас.

И холм закрылся.

А по стволу гнилого дерева бегали взад и вперед ящерицы и тараторили:

– Ах, как мне понравился старый норвежский тролль!

– По-моему, молодежь лучше! – сказал дождевой червяк, но ведь он был слеп, жалкая тварь!

## Красные башмаки



Жила-была девочка, премиленькая, прехорошенькая, но очень бедная, и летом ей приходилось ходить босиком, а зимою – в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей щиколотки.

В деревне жила старушка башмачница. Вот она взяла да и сшила, как умела, из обрезков красного сукна пару башмачков. Башмаки вышли очень неуклюжие, но сшиты были с добрым намерением, – башмачница подарила их бедной девочке. Девочку звали Карен.

Она получила и обновила красные башмаки как раз в день похорон своей матери. Нельзя сказать, чтобы онигодились для траура, но других у девочки не было; она надела их прямо на голые ножки и пошла за убогим соломенным гробом.

В это время по деревне проезжала большая старинная карета и в ней – важная старая барыня. Она увидела девочку, пожалела ее и сказала священнику:

– Послушайте, отдайте мне девочку, я позабочусь о ней.

Карен подумала, что это вышло благодаря ее красным башмакам, но старая барыня нашла их ужасными и велела сжечь. Карен приодели и стали учить читать и шить. Все люди говорили, что она очень мила, зеркало же твердило: «Ты больше чем мила, ты прелестна».

В это время по стране путешествовала королева со своею маленькой дочерью, принцессой. Народ сбежался ко дворцу, была тут и Карен. Принцесса в белом платье стояла у окошка, чтобы дать людям посмотреть на себя. У нее не было ни шлейфа, ни короны, зато на ножках красовались чудесные красные сафьяновые башмачки; нельзя было и сравнить их с теми, что сшила для Карен башмачница. В свете не могло быть ничего лучше этих красных башмачков!

Карен подросла, и пора было ей конфирмоваться; ей сшили новое платье и собирались купить новые башмаки. Лучший городской башмачник снял мерку с ее маленькой ножки. Карен с барыней сидели у него в мастерской; тут же стоял большой шкаф со стеклами, за которыми красовались прелестные башмачки и лакированные сапожки. Можно было залюбоваться на них, только старая барыня не могла ничего разглядеть: она очень плохо видела. Между башмаками стояла и пара красных, они были точь-в-точь как те, что красовались на ножках принцессы. Ах, что за прелесть! Башмачник сказал, что они были заказаны для графской дочки, да не прились по ноге.

– Это ведь лакированная кожа? – спросила старая барыня. – Они блестят!

– Да, блестят! – ответила Карен.

Башмачки были примерены, оказались впору, и их купили. Но старая барыня не знала, что они красные, – она бы никогда не позволила Карен идти конфирмоваться в красных башмаках, а Карен как раз так и сделала.

Все люди в церкви смотрели на ее ноги, когда она проходила на свое место. Ей же казалось, что и старые портреты умерших пасторов и пасторш в длинных черных одеяниях и плоеных круглых воротничках тоже уставились на ее красные башмачки. Сама она только о них и думала, даже в то время, когда священник возложил ей на голову руки и стал говорить о святом крещении, о союзе с Богом и о том, что она становится теперь взрослой христианкой. Торжественные звуки церковного органа и мелодичное пение чистых детских голосов

наполняли церковь, старый регент подтягивал детям, но Карен думала только о своих красных башмаках.

После обедни старая барыня узнала от других людей, что башмаки были красные, объяснила Карен, как это гадко, неприлично, и велела ей ходить в церковь всегда в черных башмаках, хотя бы и в старых.

В следующее воскресенье надо было идти к причастию. Карен взглянула на красные башмаки, взглянула на черные, опять на красные – и надела их.

Погода была чудная, солнечная; Карен со старой барыней прошли по тропинке через поле; было немного пыльно.

У церковных дверей стоял, опираясь на костыль, старый солдат с длинною, странною бородой: она была скорее рыжая, чем седая. Он поклонился им чуть не до земли и попросил старую барыню позволить ему смахнуть пыль с ее башмаков. Карен тоже протянула ему свою маленькую ножку.

– Ишь, какие славные бальные башмачки! – сказал солдат. – Сидите крепко, когда заплаете!

И он хлопнул рукой по подошвам.

Старая барыня дала солдату скиллинг и вошла вместе с Карен в церковь.

Все люди в церкви опять глядели на ее красные башмаки, все портреты – тоже. Карен преклонила колени перед алтарем, и золотая чаша приблизилась к ее устам, а она думала только о своих красных башмаках – они словно плавали перед ней в самой чаше. И Карен забыла пропеть псалом, забыла прочесть «Отче наш».

Народ стал выходить из церкви; старая барыня села в карету, Карен тоже поставила было ногу на подножку, как вдруг возле нее очутился старый солдат и сказал:

– Ишь, какие славные бальные башмачки!

Карен не удержалась и сделала несколько па, и тут уж ноги ее пошли плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Карен неслась все дальше и дальше, обогнула церковь и все не могла остановиться. Кучеру пришлось бежать за нею вдогонку, взять ее на руки и посадить в карету. Карен села, а ноги ее все продолжали приплясывать, так что доброй старой госпоже досталось немало пинков. Пришлось наконец снять башмаки, и ноги успокоились.

Приехали домой; Карен поставила башмаки в шкаф, но не могла не любоваться на них.

Старая барыня захворала, и сказали, что она не проживет долго. За ней надо было ходить, а кого же это дело касалось ближе, чем Карен. Но в городе давался большой бал, и Карен пригласили. Она посмотрела на старую барыню, которой все равно было не жить, посмотрела на красные башмаки – разве это грех? – потом надела их – и это ведь не беда, а потом... отправилась на бал и пошла танцевать.

Но вот она хочет повернуть вправо – ноги несут ее влево, хочет сделать круг по зале – ноги несут ее вон из залы, вниз по лестнице, на улицу и за город. Так доплясала она вплоть до темного леса.

Что-то засветилось между верхушками деревьев. Карен подумала, что это месяц, так как виднелось что-то похожее на лицо, но это было лицо старого солдата с рыжею бородой. Он кивнул ей и сказал:

– Ишь, какие славные бальные башмачки!

Она испугалась, хотела сбросить с себя башмаки, но они сидели крепко – она только изорвала в клочья чулки; башмаки точно приросли к ногам, и ей пришлось плясать, плясать по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночью и днем. Ужаснее всего было ночью!

И вот ноги принесли ее на кладбище; но все мертвые спокойно спали в своих могилах. У мертвых найдется дело получше, чем пляска. Она хотела присесть на одной бедной могиле, поросшей дикою рябинкой, но не тут-то было! Ни отдыха, ни покоя! Она все плясала и плясала и, очутившись перед церковью, увидела в ее открытых дверях ангела в длинном белом одеянии; за плечами у него были большие, спускавшиеся до самой земли крылья. Лицо ангела было строго и серьезно, в руке он держал блестящий меч.

– Ты будешь плясать, – сказал он, – плясать в своих красных башмаках, пока не побледнеешь, не похолодеешь, не высохнешь, как мумия! Ты будешь плясать от ворот до ворот и стучаться в двери тех домов, где живут гордые, тщеславные дети; твой стук будет пугать их! Будешь плясать, плясать!..

– Смилуйся! – вскричала Карен.

Но она уже не слышала ответа ангела – башмаки повлекли ее в калитку, за ограду кладбища, в поле, по дорогам и тропинкам.

Раз утром она пронеслась в пляске мимо знакомой двери; оттуда с пением псалмов выносили гроб, украшенный цветами. Тут она узнала, что старая барыня умерла, и ей показалось, что теперь она оставлена всеми, проклята ангелом Господним.

И она все плясала, плясала, даже темною ночью. Башмаки несли ее по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты, колючки которых царапали ее до крови. Так доплясала она до маленького уединенного домика, стоявшего в открытом поле. Она знала, что здесь живет палач, постучала пальцем в оконное стекло и сказала:

– Выйди ко мне! Сама я не могу войти к тебе, я пляшу!

И палач отвечал:

– Ты, верно, не знаешь, кто я? Я рублю головы дурным людям, и топор мой, как вижу, дрожит!

– Не руби мне головы! – сказала Карен. – Тогда я не успею покаяться в своем грехе. Отруби мне лучше ноги с красными башмаками.

И она исповедала весь свой грех. Палач отрубил ей ноги с красными башмаками – пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса.

Потом палач приделал ей вместо ног деревяшки, дал костыли и выучил ее псалму, который всегда поют грешники. Карен поцеловала руку, державшую топор, и побрела по полю.

– Ну, довольно я настрадалась из-за красных башмаков! – сказала она. – Пойду теперь в церковь, пусть люди увидят меня!

И она быстро направилась к церковным дверям; вдруг перед нею заплясали ее ноги в красных башмаках, она испугалась и повернула прочь.

Целую неделю тосковала и плакала Карен горькими слезами; но вот настало воскресенье, и она сказала:

– Ну, довольно я страдала и мучилась! Право же, я не хуже многих из тех, что сидят и величаются в церкви!

И она смело пошла туда, но дошла только до калитки – тут перед нею опять заплясали красные башмаки. Она опять испугалась, повернула обратно и от всего сердца покаялась в своем грехе.

Потом она пошла в дом священника и попросилась в услужение, обещая быть прилежной и делать все, что сможет, без всякого жалованья, из-за куска хлеба и приюта у добрых людей. Жена

священника сжалилась над ней и взяла ее к себе в дом. Карен работала не покладая рук, но была очень тиха и задумчива. С каким вниманием слушала она по вечерам священника, читавшего вслух Библию! Дети очень полюбили ее, но когда девочки болтали при ней о нарядах и говорили, что хотели бы быть на месте королевы, Карен печально качала головой.

В следующее воскресенье все собрались идти в церковь; ее спросили, не пойдет ли она с ними, но она только со слезами посмотрела на свои костыли. Все отправились слушать слово Божье, а она ушла в свою каморку. Там умещались только кровать да стул; она села и набожно стала читать псалтырь. Вдруг ветер донес до нее звуки церковного органа. Она подняла от книги свое залитое слезами лицо и воскликнула:

– Помоги мне, Господи!

И вдруг ее всю осияло, как солнцем, – перед ней очутился ангел Господень в белом одеянии, тот самый, которого она видела в ту страшную ночь у церковных дверей. Но теперь в руках он держал не острый меч, а чудесную зеленую ветвь, усеянную розами. Он коснулся ею потолка, и потолок поднялся высоко-высоко, а на том месте, до которого дотронулся ангел, заблестала золотая звезда. Затем ангел коснулся стен – они раздались, и Карен увидела церковный орган, старые портреты пасторов и пасторш и весь народ; все сидели на своих скамьях и пели псалмы. Что это, преобразилась ли в церковь узкая каморка бедной девушки или сама девушка каким-то чудом перенеслась в церковь? Карен сидела на своем стуле рядом с домашними священника, и когда те окончили псалом и увидали ее, то ласково кивнули ей, говоря:

– Ты хорошо сделала, что тоже пришла сюда, Карен!

– По милости Божьей! – отвечала она.

Торжественные звуки органа сливались с нежными детскими голосами хора. Лучи ясного солнышка струились в окно прямо на Карен. Сердце ее так переполнилось всем этим светом, миром и радостью, что разорвалось. Душа ее полетела вместе с лучами солнца к Богу, и там никто не спросил ее о красных башмаках.

## Прыгуны

Блоха, кузнечик и гусек-скакунок хотели раз посмотреть, кто из них выше прыгает, и пригласили прийти полюбоваться на такое диво весь свет и – кто там еще захочет. Да, вот так прыгуны выступили перед собранием! Настоящие прыгуны-молодцы!

– Я выдам свою дочку за того, кто прыгнет выше всех! – сказал король. – Обидно было бы таким молодцам прыгать задаром!

Сначала вышла блоха: она держала себя в высшей степени мило и раскланялась на все стороны, в жилах ее текла кровь барышни, и вообще она привыкла иметь дело с людьми, а это ведь что-нибудь да значит!

Потом вышел кузнечик; он был, конечно, потяжеловеснее, но тоже очень приличен на вид и одет в зеленый мундир, – он и родился в мундире. Кузнечик говорил, что происходит из очень древнего рода, из Египта, и поэтому в большой чести в здешних местах: его взяли прямо с поля и посадили в трехэтажный карточный домик, который был сделан из одних фигур, обращенных лицевой стороной внутрь; окна же и двери в нем были прорезаны в туловище червонной дамы.

– Я пою, – прибавил кузнечик, – да так, что шестнадцать здешних сверчков, которые трещат с самого рождения и все-таки не удостоились карточного домика, послушав меня, с досады похудели!

И блоха и кузнечик полагали, таким образом, что достаточно зарекомендовали себя в качестве приличной партии для принцессы.

Гусек-скакунок не сказал ничего, но о нем говорили, что он зато много думает. А придворный пес, как только обнюхал его, так и сказал, что гусек-скакунок – из очень хорошего семейства. Старый же придворный советник, который получил три ордена за умение молчать, уверял, что гусек-скакунок отличается пророческим даром: по его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима, а этого нельзя узнать даже по спине самого составителя календарей!

– Я пока ничего не скажу! – сказал старый король. – Но у меня свои соображения!

Теперь оставалось только прыгать.

Блоха прыгнула, да так высоко, что никто и не видал как, и потому стали говорить, что она вовсе не прыгала, но это было нечестно.



Кузнечик прыгнул вдвое ниже и угодил королю прямо в лицо, и тот сказал, что это очень гадко.

Гусек-скакунок долго стоял и думал; в конце концов, все решили, что он вовсе не умеет прыгать.

– Только бы ему не сделалось дурно! – сказал придворный пес и принялся опять обнюхивать его.

Прыг! И гусек-скакунок маленьким косым прыжком очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамеечке. Тогда король сказал:

– Выше всего допрыгнуть до моей дочери – в этом ведь вся суть; но чтобы додуматься до этого, нужна голова, и гусек-скакунок доказал, что голова на плечах у него есть. И притом с мозгами!



И гуську-скакунку досталась принцесса.

– Я все-таки выше всех прыгнула! – сказала блоха. – Но все равно, пусть остается при своем дурацком гуське с палочкой и смолой! Я прыгнула выше всех, но на этом свете надо иметь крупное тело, чтобы тебя заметили!

И блоха поступила волонтером в чужеземное войско и, говорят, нашла там смерть.

Кузнечик расположился в канавке и принялся размышлять о том, как идут дела на белом свете. И он тоже сказал:

– Да, прежде всего тело! Одно тело!

И он затянул песенку о своей печальной доле. Из его-то песни мы и взяли эту историю. Впрочем, она, пожалуй, выдумана, хоть и напечатана.

1845

## Пастушка и трубочист



Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбой в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф – наследство после прабабушки – и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой – розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно

было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы – такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой! У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног! Трудно выговорить такое имя, и немногие устаиваются подобного титула, зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну, да все-таки вырезали! Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платице слегка приподнято и подколото алой розой, на головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочистик, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка; он ведь только представлял трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать из него принца – все равно!

Он премило держал в руках свою лестницу; личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, и это было немножко неправильно, следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой – так их поставили, так они и стояли; стояли, стояли, да и обручились: они были отличною парочкой, оба молоды, оба из одинакового фарфора и оба одинаково хрупки.

Тут же стояла и еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец с кивающей головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал головою обер-унтер-генерал-комиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

– Вот так муж у тебя будет! – сказал старый китаец пастушке. – Я думаю даже, что он из красного дерева! Он сделает тебя обер-унтер-генерал-комиссар-сержантшей! И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках!

– Я не хочу в темный шкаф! – сказала пастушка. – Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

– Так ты будешь двенадцатой! – отвечал китаец. – Ночью, как только в старом шкафу раздастся треск, мы сыграем вашу свадьбу! Да, да, не будь я китайцем!

Тут он кивнул головой и заснул.

Пастушка плакала и смотрела на своего милого.

– Право, я попрошу тебя, – сказала она, – бежать со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться!

– Твои желания – мои! – ответил трубочист. – Пойдем хоть сейчас! Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом!

– Только бы нам удалось спуститься со столика! – сказала она. – Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда!

Трубочист успокаивал ее и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу: таким образом они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и мотали ими, а обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу:

– Бегут! Бегут!

Беглецы испугались немножко и поскорее шмыгнули в ящик предоконного возвышения.

Тут лежали три-четыре неполные колоды карт и кукольный театр; он был кое-как установлен, и на сцене шло представление. Все дамы – и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые – сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты и старались показать, что они о двух головах – как и все карты. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала: это была ведь точь-в-точь их собственная история.

– Нет, я не вынесу! – сказала она трубочисту. – Уйдем отсюда!

Но, очутившись опять на полу, они увидали, что старый китаец проснулся и весь качается из стороны в сторону, – внутри его катался свинцовый шарик.

– Ай, старый китаец гонится за нами! – закричала пастушка и в отчаянии упала на свои тонкие фарфоровые коленки.

– Стой, мне пришла в голову мысль! – сказал трубочист. – Видишь вон там, в углу, большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами? Влезем в нее! Там мы будем лежать на розах и лаванде, а если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью.

– Нет, это не годится! – сказала она. – Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения! Нет, нам остается только пуститься по белу свету куда глаза глядят!

– А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду? – спросил трубочист. – Подумала ли ты, как велик свет? Подумала ли о том, что нам уже нельзя будет вернуться назад?

– Да, да! – отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

– Моя дорога идет через дымовую трубу! Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать! Мы заберемся так высоко, что нас не достанут! В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

– Как тут черно! – сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью.

– Ну вот мы и в трубе! – сказал он. – Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. А они все лезли и лезли, выше да выше! Дорога была ужасная. Но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и уселись на нее – они очень устали, и было от чего!

Небо, усеянное звездами, было над ними, а под ними все домовые крыши. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, чтобы свет был так велик. Она склонилась головкою к плечу трубочиста и заплакала: слезы катились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса.

– Нет, это уж слишком! – сказала она. – Я не вынесу! Свет слишком велик! Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда! Я пошла за тобою куда глаза глядят, а теперь ты, будь любезен, проводи меня обратно, если любишь меня!

Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об обер-унтер-генерал-комиссар-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало.

И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз; нелегко это было! Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо, и они выпянули. Ах! На полу валялся старый китаец: он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части; спина так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

– Ах, какой ужас! – воскликнула пастушка. – Старый дедушка разбился в куски, и мы всему виною! Ах, я не переживу этого!

И она заломила свои крошечные ручки.

– Его можно починить! – сказал трубочист. – Его отлично можно починить! Только не огорчайся! Ему приклеют спину, а в затылок забьют хорошую заклепку – он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей.

– Ты думаешь? – спросила она.

И они опять вскарабкались на столик, где стояли прежде.

– Вот куда мы ушли! – сказал трубочист. – Стоило беспокоиться!

– Только бы дедушку починили! – сказала пастушка. – Или это очень дорого обойдется?

И дедушку починили: приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею; он стал как новый, только кивать головой больше не мог.

– Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! – сказал ему обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног. – А мне кажется, тут гордиться особенно нечем! Что же, отдадут ее за меня или нет?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца – они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться: не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка! Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.

## Хольгер Датчанин

Есть в Дании старинный замок Кронборг; он стоит на самом берегу Эресунна, и мимо него ежедневно проходят сотни кораблей: и английские, и русские, и прусские. Все они приветствуют старый замок пушечными выстрелами: бум! Из замка тоже отвечают: бум! Это пушки говорят: «Здравия желаем!» – «Спасибо!» Зимой корабли не ходят, море замерзает вплоть до самого шведского берега, и устанавливается настоящая дорога. По ней развеваются датские и шведские флаги, и шведы с датчанами тоже говорят друг другу: «Здравия желаем!» и «Спасибо!» – но уже не пушечными выстрелами, а просто пожимая друг другу руки, и ходят друг к другу за булками и кренделями – чужая еда всегда ведь слаще! Но лучше всего здесь. Это все-таки старинный Кронборг. В его глубоком, мрачном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Хольгер Датчанин. Он весь закован в железо и сталь и подпирает голову могучими руками. Длинная борода его крепко приросла к мраморной доске стола. Он спит и видит во сне все, что делается в Дании. Каждый сочельник является к нему ангел Господень и говорит, что все виденное им во сне – правда и что он еще может пока спать спокойно: Дании не угрожает никакая серьезная опасность. А настань эта грозная минута – старый Хольгер Датчанин воспрянет, и мраморная доска стола треснет, когда он потянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету.

Так рассказывал старый дед своему маленькому внуку, и мальчик знал, что все это правда, – рассказывал ведь дедушка. Старик же, рассказывая, вырезывал из дерева большую фигуру самого Хольгера Датчанина. Старый дед занимался вырезыванием фигур для украшения кораблей соответственно их названиям. Теперь вот он вырезал Хольгера Датчанина; герой с длинною седою бородой стоял так прямо и гордо, держа в одной руке меч, а другою опираясь на датский герб. Много еще рассказал старый дед о других замечательных мужах и женах Дании, и под конец внуку стало казаться, будто и он знает теперь не меньше самого Хольгера Датчанина, который ведь видел все это только во сне. Головка мальчика была переполнена всеми этими рассказами, и, улегшись в

постель, он крепко прижал свой подбородок к перине, вообразив, что это у него борода, которая крепко приросла к постели.

А старый дед все еще сидел за своею работой, вырезывая последнюю часть фигуры – датский герб. Наконец работа была кончена, он взглянул на нее и стал припоминать все, что когда-то читал, слышал и сейчас сам рассказывал внуку; потом тряхнул головой, снял и протер очки, опять надел их и промолвил:

– Да, на моем веку Хольгер Датчанин, пожалуй, и не придет, но мальчуган, может быть, увидит его и будет биться с ним рядом, когда дело дойдет до серьезного!



Тут дедушка опять кивнул головой, не сводя глаз с фигуры; чем больше он смотрел на своего Хольгера Датчанина, тем яснее видел, что работа ему очень удалась. Ему стало даже казаться, что фигура вдруг показалась ему раскрашенной, броня заблестела, сердца на датском гербе стали больше и заалели и львы с золотыми коронами на головах запрыгали.



– Да, у нас, датчан, лучший герб в мире! – сказал старик. – Львы – эмблема силы, а сердца – кротости и любви.

Он взглянул на верхнего льва, и ему вспомнился король Кнут Великий, который приковал к датскому трону великую Англию; взглянул на другого – вспомнился Вальдемар, который объединил Данию и покорил вендов; взглянул на третьего – вспомнилась Маргрете, объединившая Данию, Швецию и Норвегию. И алые сердца на гербе вдруг стали еще ярче, каждое обратилось в колышущееся пламя, и мысли старика понеслись вслед за каждым.

Первое пламя привело его в узкую, мрачную темницу, где сидела прекрасная пленница, дочь Христиана Четвертого, Элеонора Ульфельдт; пламя расцвело на ее груди розой и слилось с сердцем этой лучшей, благороднейшей между датскими женами.

– Да, это сердце из датского герба! – проговорил старик.

И его мысли понеслись за пламенем второго сердца. Оно привело его к морю. Пушки палили, корабли исчезали в облаках дыма, и пламя обвило, как орденскую лентой, грудь адмирала Витфельда, который ради спасения датского флота взорвал себя и свой корабль на воздух.

Третье пламя привело его к жалким хижинам Гренландии. Там проповедовал любовь и словом и делом миссионер Ханс Эгед; пламя превратилось в звезду на его груди, в сердце на датском гербе.

И мысли старика опередили четвертое пламя – он знал, куда оно приведет. В жалкой хижине бедной крестьянки стоял Фредрик Шестой и чертил мелом на балке свое имя; пламя заколебалось на его груди, слилось с его сердцем. В крестьянской хижине его сердце стало одним из сердец датского герба. И старый дед вытер глаза: он лично знал этого доброго короля Фредрика с серебристыми седыми волосами и честными голубыми глазами и служил ему. Старик скрестил руки и задумался, молча глядя перед собою. Тут подошла к нему невестка и сказала, что уже поздно, – пора ему отдохнуть, да и ужин на столе.

– Как же хорошо у тебя получилось, дедушка! – сказала она. – Хольгер Датчанин и весь наш герб! Право, я как будто где-то видела это лицо!

– Нет, ты-то не видела! – ответил старый дед. – А вот я так видел, по памяти и вырезал его. Это было, когда англичане стояли у нас на рейде, второго апреля тысяча восемьсот первого года, и когда мы все

опять почувствовали себя прежними молодцами датчанами! Я был на корабле «Дания», в эскадре Стейна Билле, и рядом со мною стоял матрос. Право, ядра словно боялись его! Он весело распевал старинные песни, без устали заряжал орудия и стрелял. Нет, что там ни говори, это был не простой смертный! Я еще вижу перед собою его лицо, но откуда он был, куда девался потом – никто не знал. Мне часто приходило в голову, что это был сам старик Хольгер Датчанин, который приплыл к нам из Кронборга и помог в час опасности. Вот я и вырезал его изображение.

Фигура бросала огромную тень на стены и даже на потолок; казалось, что за нею стоял живой Хольгер Датчанин, – тень шевелилась, но это могло быть и оттого, что свеча горела не совсем ровно. Невестка поцеловала старика и повела его к большому креслу; старик сел за стол, сели и невестка с мужем – сыном старика и отцом мальчугана, который был уже в постели. Дед и за ужином говорил о датских львах и сердцах, о силе и кротости, объясняя, что есть и другая сила, кроме той, что опирается на меч. При этом он указал на полку, где лежали старые книги, между прочим все комедии Хольберга. Как видно, ими тут зачитывались; они ведь такие забавные, а выведенные в них лица и типы давней старины кажутся живыми и до сих пор.

– Вот он тоже умел наносить удары! – сказал дедушка. – Он старался обрубить все уродливости и угловатости людские. – Затем старик кивнул на зеркало, за которым был заткнут календарь с изображением Круглой башни, и сказал: – Тихо Браге тоже владел мечом, но он употреблял его не для того, чтобы проливать кровь, а чтобы проложить верную дорогу к звездам небесным!.. А Торвальдсен, сын такого же простого резчика, как я; Торвальдсен, которого мы видели сами, седой, широкоплечий старец, чье имя известно всему свету! Вот он владел резцом; умел рубить, а я только строгаю! Да, Хольгер Датчанин является в различных видах, и слава Дании гремит по всему свету! Выпьем же за здоровье Бертеля Торвальдсена!

А мальчуган в это время так ясно видел во сне старинный Кронборг, подземелье и самого Хольгера Датчанина, сидящего с приросшею к столу бородою. Он спит и видит во сне все, что совершается в Дании,

видит и то, что делается в бедной комнатке резчика, слышит все, что там говорится, и кивает во сне головой:

– Да, только помните обо мне, датчане! Только помните обо мне! Я явлюсь в час опасности!

А над Кронборгом сияет ясный день; ветер доносит с соседней земли звуки охотничьих рогов; мимо плывут корабли и здороваются: бум! бум! И из Кронборга отвечают: бум! бум! Но Хольгер Датчанин не просыпается, как громко ни палят пушки, – это ведь только «Здравия желаем!» и «Спасибо!». Не такая должна пойти пальба, чтобы разбудить его, но тогда уж он пробудится непременно – Хольгер Датчанин еще силен!

## Колокол

По вечерам, на закате солнца, когда вечерние облака блестели между трубами домов точно золотые, в узких улицах большого города слышен был по временам какой-то удивительный звон, – казалось, звонили в большой церковный колокол. Звон прорывался сквозь уличный шум и грохот экипажей всего на минуту, – городской шум ведь все заглушает, – и люди, услышав его, говорили:

– Ну вот, звонит вечерний колокол! Значит, солнышко садится!

За городом, где домики расположены пореже и окружены садами и небольшими полями, вечернее небо было еще красивее, а колокол звучал куда громче, явственнее.

Казалось, что это звонят на колокольне церкви, схоронившейся где-то в самой глубине тихого, душистого леса. Люди невольно устремляли туда свои взоры, и душой их овладевало тихое, торжественное настроение.

Время шло, и люди стали поговаривать:

– Разве в чаще леса есть церковь? А ведь у этого колокола такой красивый звук, что следовало бы отправиться в лес, послушать его вблизи!

И вот богатые люди потянулись туда в экипажах, бедные – пешком; но дороге, казалось, не было конца, и, достигнув опушки леса, все делали привал в тени росших тут ив и воображали себя в настоящем лесу. Сюда же понаехали из города кондитеры и разбили здесь свои палатки; один из них повесил над входом в свою небольшой колокол: он был без язычка, но зато смазан в защиту от дождя дегтем. Вернувшись домой, люди восторгались романтичностью всей обстановки – сделать такую прогулку, дескать, не то что просто пойти куда-нибудь напиться чаю! Трое уверяли, что прошли весь лес насквозь и всё продолжали слышать чудный звон, но им казалось уже, что он исходит из города. Один написал даже целую поэму, в которой говорилось, что колокол звучит, как голос матери, призывающей своего милого, умного ребенка; никакая музыка не могла сравниться с этим звоном!



Обратил свое внимание на колокол и сам император и даже обещал пожаловать того, кто разузнает, откуда исходит звон, во «всемирные звонари», хотя бы и оказалось, что никакого колокола не было.

Тогда масса народу стала ходить в лес ради того, чтобы добиться обещанного хлебного местечка, но лишь один принес домой более или менее путное объяснение. Никто не проникал в самую чащу леса, да и он тоже, но все-таки он утверждал, что звон производила большая сова, ударяясь головой о дуплистое дерево. Птица эта, как известно, считается эмблемой мудрости, но исходил ли звон из ее головы или из дупла дерева, этого он наверное сказать не мог. И вот его произвели во «всемирные звонари», и он стал ежегодно писать о сове по небольшой статейке. О колоколе же знали не больше прежнего.

И вот как-то раз, в день конфирмации, священник сказал детям теплое слово, и они все были очень растроганы. Это был для них важный день – из детей они сразу стали взрослыми, и предполагалось, что их детские души как на крыльях перенесутся вдруг в оболочку нового, более разумного существа. Погода стояла чудесная, солнечная, и молодежь отправилась прогуляться за город. Из леса доносились могучие, полные звуки неведомого колокола. Девушек и юношей охватило неудержимое желание пойти разыскать его, и вот все, кроме

троих, отправились по дороге к лесу. Одна из оставшихся торопилась домой примерять бальное платье: ведь только ради этого платья и бала, для которого его сшили, она и конфирмовалась в этот именно раз, – иначе ей можно было бы и не торопиться с конфирмацией! Другой, бедный мальчик должен был возвратить в назначенный час праздничную куртку и сапоги хозяйскому сыну, у которого он взял их для этого торжественного случая. Третий же просто сказал, что никуда не ходит без родителей, особенно по незнакомым местам, что он всегда был послушным сыном, останется таким же и после конфирмации и над этим нечего смеяться, – а другие все-таки смеялись.

Итак, молодежь отправилась в путь. Солнце сияло, птички распевали, а молодежь вторила им. Все шли, взявшись за руки; они еще не занимали никаких должностей и все были равны, все были просто конфирмантами и детьми Божьими.

Но скоро двое самых младших устали и повернули назад; две девочки уселись на травке плести венки и не захотели идти дальше, а остальные, добравшись до самой опушки леса, где были раскинуты палатки кондитеров, сказали:

– Ну, вот и добрались до места, а колокола ведь никакого на самом деле и нет! Одно воображение!

Но в ту же минуту из глубины леса донесся такой гармоничный, торжественный звон, что четверо-пятеро из них решили углубиться в лес. А лес был густой-прегустой, трудно было и пробираться сквозь чащу деревьев и кустов. Ноги путались в высоких стеблях дикого яминника и анемонов, дорогу преграждали плети цветущего выюнка и ежевики, перекинутые с одного дерева на другое. Зато в этой чаще пел соловей, бегали солнечные зайчики. Ах, здесь было чудо как хорошо! Но не девочкам было пробираться по этой дороге, они бы разорвали тут свои платья в клочки. На пути попадались и большие каменные глыбы, обросшие разноцветным мхом; из-под них, журча, пробивались свежие болтливые струйки источников. Повсюду слышалось их мелодичное «клюк-клюк»!

– Да не колокол ли это? – сказал один из путников, лег на землю и стал прислушиваться. – Надо это расследовать хорошенько!

И он остался; другие пошли дальше.

Вот перед ними показался домик, выстроенный из древесной коры и ветвей. Высокая лесная яблоня осеняла его своей зеленью и словно собиралась высыпать ему на крышу всю свою благодать плодов. Крыльцо было обвито цветущим шиповником, над ним висел и маленький колокол. Не его ли это звон доносился до города? Все, кроме одного из путников, так и подумали; этот же юноша сказал, что колокол слишком мал и легкий, его нельзя было услышать на таком расстоянии. Кроме того, неведомый колокол имел совсем иной звук, хватавший прямо за сердце! Но юноша был королевич, и другие сказали:

– Ну, этот вечно хочет быть умнее всех!

И они предоставили ему продолжать путь одному. Он пошел; и чем дальше шел, тем сильнее проникался торжественным уединением леса. Издали слышался звон колокольчика, которому так обрадовались его товарищи, а время от времени ветер доносил до него и песни, и говор компании, распивавшей чай в палатке кондитера, но глубокий, полный звон большого колокола покрывал все эти звуки. Казалось, что это играет церковный орган; музыка слышалась слева, с той стороны, которая ближе к сердцу.

Вдруг в кустах послышался шорох и перед королевичем появился мальчик в деревянных башмаках и в такой тесной и короткой куртке, что рукава едва заходили ему за локти. Оба узнали друг друга; бедный юноша был тот самый, которому надо было торопиться возвратить хозяйскому сыну праздничную куртку и сапоги. Покончив с этим и надев свою собственную плохонькую куртку и деревянные башмаки, он отправился в лес один: колокол звучал так дивно, что он не мог не пойти!

– Так пойдем вместе! – сказал королевич.

Но бедный мальчик был совсем смущен, дергал свои рукава и сказал, что боится не поспеть за королевичем, да и, кроме того, по его мнению, колокол надо идти искать направо, – все великое и прекрасное всегда ведь держится этой стороны.

– Ну, в таком случае дороги наши расходятся! – сказал королевич и кивнул бедняку, который направился в самую чащу леса; терновые колючки рвали его бедную одежду, царапали до крови лицо, руки и ноги. Королевич тоже получил несколько добрых царапин, но его

дорога все-таки освещалась солнышком, и за ним-то мы и пойдем – он был brave малый!

– Я хочу найти и найду колокол! – говорил он. – Хотя бы мне пришлось идти на край света!

Гадкие обезьяны сидели в ветвях деревьев и скалили зубы.

– Забросаем его чем попало! – говорили они. – Забросаем его: он ведь королевич!

Но он продолжал свой путь не останавливаясь и углубился в самую чащу. Сколько росло тут чудных цветов! Белые чашечки лилий с ярко-красными тычинками, небесно-голубые тюльпаны, колеблемые ветром, яблони, отягченные плодами, похожими на большие блестящие мыльные пузыри. Подумать только, как все это блестело на солнце! Попадались тут и чудесные зеленые лужайки, окруженные великолепными дубами и буками. На лужайках резвились олени и лани. Некоторые из деревьев были с трещинами, и из них росла трава и длинные, цепкие стебли вьющихся растений. Были тут и тихие озера; по ним плавали, хлопая белыми крыльями, дикие лебеди. Королевич часто останавливался и прислушивался – ему казалось порою, что звон раздается из глубины этих тихих озер. Но скоро он замечал, что ошибся, – звон раздавался откуда-то из глубины леса.

Солнце стало садиться, небо казалось совсем огненным, в лесу воцарилась торжественная тишина. Королевич упал на колени, пропел вечерний псалом и сказал:

– Никогда мне не найти того, чего ищу! Вот и солнце заходит, скоро наступит темная ночь. Но мне, может быть, удастся еще раз взглянуть на красное солнышко, прежде чем оно зайдет, если я взберусь на те скалы, – они выше самых высоких деревьев!

И, цепляясь за стебли и корни, он стал карабкаться по мокрым камням, из-под которых выползали ужи, а безобразные жабы точно собирались залаять на него. Он все-таки достиг вершины раньше, чем солнце успело закатиться, и бросил взор на открывшееся перед ним пространство. Что за красота, что за великолепие! Перед ним волновалось беспредельное чудное море, а там, где море сливалось с небом, стояло, словно большой сияющий алтарь, солнце. Все сливалось, все тонуло в чудном сиянии красок. Лес и море пели, сердце королевича вторило им. Вся природа была одним обширным чудным храмом; деревья и воздушные облака – стройными колоннами,



цветы и трава – богатыми коврами, небо – огромным куполом. Яркие, блестящие краски потухали вместе с солнцем, зато вверх зажигались миллионы звезд, миллионы бриллиантовых огоньков, и королевич простер руки к небу, морю и лесу... В ту же минуту справа появился бедный мальчик в куртке с короткими рукавами и в деревянных башмаках. Он шел своею дорогой, и она привела его сюда так же скоро. Он и королевич бросились друг к другу и обнялись в этом обширном храме природы и поэзии, а над ними все звучал невидимый священный колокол и хоры блаженных духов сливались в одном ликующем «аллилуйя!».

## Бабушка



Бабушка такая старенькая, лицо все в морщинах, волосы белые-белые, но глаза что твои звезды – такие светлые, красивые и ласковые! И каких только чудных историй не знает она! А платье на ней из толстой шелковой материи крупными цветами – так и шуршит! Бабушка много-много чего знает; она живет ведь на свете давным-давно, куда дольше папы и мамы – право! У бабушки есть псалтырь – толстая книга в переплете с серебряными застежками, и она часто читает ее. Между листами книги лежит сплюснутая высохшая роза. Она совсем не такая красивая, как те розы, что стоят у бабушки в стакане с водою, а бабушка все-таки ласковее всего улыбается именно этой розе и смотрит на нее со слезами на глазах. Отчего это бабушка так смотрит на высохшую розу? Знаешь?

Всякий раз как слезы бабушки падают на цветок, краски его вновь оживляются, он опять становится пышной розой, вся комната наполняется благоуханием, стены тают, как туман, и бабушка – в

зеленом, залитом солнцем лесу! Сама бабушка уже не дряхлая старушка, а молодая, прелестная девушка с золотыми локонами и розовыми кругленькими щечками, которые поспорят с самими розами. Глаза же ее... Да, вот по милым, кротким глазам ее и можно узнать! Рядом с ней сидит красивый, мужественный молодой человек. Он дает девушке розу, и она улыбается ему... Ну, бабушка так никогда не улыбается! Ах нет, вот и улыбается! Он уехал. Пронесются другие воспоминания, мелькает много образов; молодого человека больше нет, роза лежит в старой книге, а сама бабушка... сидит опять на своем кресле, такая же старенькая, и смотрит на высохшую розу.

Но вот бабушка умерла! Она сидела, как всегда, в своем кресле и рассказывала длинную-длинную, чудесную историю, а потом сказала:

– Ну, вот и конец! Теперь дайте мне отдохнуть; я устала и сосну немножко.

И она откинулась назад, вздохнула и заснула. Но дыхание ее становилось все тише и тише, а лицо стало таким спокойным и радостным, словно его освещало ясное солнышко! И вот сказали, что она умерла.

Бабушку завернули в белый саван и положили в черный гроб; она была такая красивая даже с закрытыми глазами! Все морщины исчезли, на устах застыла улыбка, серебряная седина внушала почтение. Нисколько и не страшно было взглянуть на мертвую – это была ведь та же милая, добрая бабушка! Псалтырь положили ей под голову – так она велела; роза осталась в книге. И вот бабушку похоронили.

На могиле ее, возле самой кладбищенской ограды, посадили розовый куст. Он был весь в цвету: над ним распевал соловей, а из церкви доносились чудные звуки органа и напевы тех самых псалмов, что были написаны в книге, на которой покоилась голова умершей. Луна стояла прямо над могилой, но тень усопшей никогда не появлялась. Любой ребенок мог бы преспокойно отправиться туда ночью и сорвать розу, просунув ручонку за решетку. Мертвые знают больше нас, живых; они знают, как бы мы испугались, если б вдруг увидели их перед собою. Мертвые лучше нас и потому не являются нам. Гроб зарыт в землю и внутри его тоже одна земля. Листы псалтыря стали прахом, роза, с которой было связано столько воспоминаний, – тоже. Но над могилой цветут новые розы, над ней

поет соловей, к ней несутся звуки органа, и жива еще память о старой бабушке с милым, вечно юным взором! Взор не умирает никогда! И мы когда-нибудь узрим бабушку такую же юною и прекрасною, как тогда, когда она впервые прижала к устам свежую алую розу, которая теперь истлела в могиле.

1845

### Штопальная игла



Жила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.

— Смотрите, смотрите, что вы держите! — сказала она пальцам, когда они вынимали ее. — Не уроните меня! Если упаду на пол, я, чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.

– Вот видите, я иду с целой свитой! – сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю – кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

– Фу, какая черная работа! – сказала штопальная игла. – Я не выдержу! Я сломаюсь!

И вправду сломалась.

– Ну вот, я же говорила, – сказала она. – Я слишком тонка!

«Теперь она никуда не годится», – подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее: кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею шейный платок.

– Вот теперь я – брошка! – сказала штопальная игла. – Я знала, что войду в честь; в ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя – никто ведь не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко, – и самодовольно поглядывала по сторонам, точно ехала в карете.

– Позвольте спросить, вы из золота? – обратилась она к соседке-булавке. – Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маловата она! Постарайтесь ее отрастить – не всякому ведь достается сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в трубу водостока, куда кухарка как раз выливала помой.

– Отправляюсь в плавание! – сказала штопальная игла. – Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

– Я слишком тонка, я не создана для этого мира! – сказала она, сидя в уличной канавке. – Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла тянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

– Ишь, как плывут! – говорила штопальная игла. – Они и понятия не имеют о том, что скрывается тут под ними. – Это я тут скрываюсь! Я тут сижу! Вон плывет щепка: у нее только и мыслей, что о щепке. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться

на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что и напечатано на нем, а он, гляди, как развернулся!.. А я лежу тихо, смиренно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

– Вы, должно быть, бриллиант?

– Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они необыкновенно драгоценны, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

– Да, я жила в коробке у одной девицы, – рассказывала штопальная игла, – Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь и все-то их дело было – вынимать меня и прятать обратно в коробку!

– А они блестили? – спросил бутылочный осколок.

– Блестили? – отвечала штопальная игла. – Нет, блеску в них не было, зато высокомерия!.. Их было пять братьев, все – урожденные «пальцы»; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний – Толстопузый, – впрочем, стоял в стороне от других, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят у человека, то весь человек не годится больше для военной службы. Второй – Тычок-Лакомка – тыкал свой нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну, он же нажимал перо при письме. Следующий – Долговязый – смотрел на всех свысока. Четвертый – Златоперст – носил вокруг пояса золотое кольцо и, наконец, самый маленький – Петрушка-Бездельник – ничего не делал и очень этим гордился. Чванились, чванились, да и проворонили меня!

– А теперь мы сидим и блестим! – сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

– Он продвинулся! – вздохнула штопальная игла. – А я осталась сидеть! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она сидела, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.

– Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, – так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мой глазок, я бы, кажется, заплакала! Впрочем, нет, плакать неприлично!

Раз пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

– Ай! – закричал вдруг один из них: он укололся о штопальную иглу. – Ишь, какая штука!

– Я не штука, а барышня! – заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном платье кажешься стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

– Вон плывет яичная скорлупа! – закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

– Черное на белом фоне очень красиво! – сказала штопальная игла. – Теперь меня хорошо видно! Только бы морская болезнь не одолела, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но морская болезнь ее не одолела, она выдержала.

– Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда надо помнить, что ты не то, что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее и тоньше, тем больше можешь перенести!

– Крак! – сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.

– Ух, как давит! – завопила штопальная игла. – Сейчас меня морская болезнь одолеет! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой врастяжку, ну и пусть себе лежит!

## Девочка со спичками



Морозило, шел снег, на улице становилось все темнее и темнее. Дело было вечером, в канун Нового года. В этот-то холод и тьму по улицам брела бедная девочка с непокрытой головой и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда онигодились! Огромные-преогромные, последнею их носила мать девочки, и они слетели у малыutki с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут.

И вот девочка побрела дальше босая; ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек; одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички; она не выручила ни гроша. Голодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше... Жалко было и взглянуть на бедняжку! Снежные хлопья падали на ее прекрасные вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки, на улицах пахло жареными гусями; сегодня ведь был канун Нового года – вот об этом она думала.



Наконец она уселась в уголке, за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немного согреться. Но нет, стало еще холоднее, а домой она вернуться не смела: она ведь не продала ни одной пачки, не выручила ни гроша – отец прибьет ее! Да и не теплее у них дома! Только что крыша над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками.

Ручонки ее совсем окоченели. Ах! Одна крошечная спичка могла бы согреть ее! Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики! Наконец девочка вытащила спичку. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное, и когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка.

Странная это была свечка: девочке чудилось, будто она сидит перед большою железною печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малышке! Она вытянула было и ножки, но... огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички.

Вот она чиркнула другою; спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю комнату, накрытый белоснежною скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него! Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилок и ножом в спине, так и побежал вперевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна холодная каменная стена.

Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепною елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выплывали пестрые картинки, какими украшают окна магазинов. Малышка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла, огоньки стали подыматься все выше и выше, и она увидела, что это были ясные звездочки; одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собою длинный огненный след.

– Вот кто-то умирает! – сказала девочка.

Покойная бабушка, которая одна в целом свете любила девочку, говорила ей: «Когда падает звездочка, чья-нибудь душа идет к Богу».

Девочка чиркнула об стену новою спичкой; яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, светлая и в то же время такая кроткая и ласковая ее бабушка.

– Бабушка! – вскричала девочка. – Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка, уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая прекрасная елка!

И она поспешно чиркнула всеми оставшимися спичками, которые были у нее в руках, – так ей хотелось удержать бабушку.

И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такою красивою, такою величественною! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе, в сиянии и в блеске, высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха – к Богу!

В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем сгорела.

– Она хотела погреться, бедняжка! – говорили люди.

Но никто не знал, какую красоту она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо!

1845

**Из окна богадельни**



Против зеленого вала, огибающего весь Копенгаген, стоит большое красное здание; в окнах его виднеются цветочные горшки с бальзаминами и мускусом. Обстановка в доме самая неказистая, бедная, да и бедные люди живут тут. Это женская богадельня Вартоу.

Смотри, вот к окну подходит старая дева, обрывает у бальзамина засохшие листики и смотрит на зеленый вал, где резвятся ребяташки. О чем она думает? Прочешь ее мысли – перед тобой развернется целая житейская драма.

Бедные малютки! Как они резвятся! Какие у них розовые щечки, славные веселые глазки, хоть нет ни чулок, ни башмаков! Они пляшут на зеленом валу, на том самом месте, которое, по преданию, прежде все обваливалось, так что образовывалась яма. В эту-то яму заманили игрушками и цветами невинное дитя и засыпали ее, пока дитя забавлялось. С тех пор вал перестал обваливаться и покрылся чудесным дерном. Ребяташки не знают об этом предании, а то они, пожалуй, услышали бы плач ребенка под землей и роса на траве показалась бы им горючими слезами. Они не знают и истории про короля Дании, который, проезжая по валу в виду подступившего неприятеля, клялся не покидать столицы и «умереть в своем гнезде».

Тогда на вал сбежались все горожане – и мужчины и женщины – и принялись лить кипяток на головы врагов, одетых в белое и потому незаметно подкравшихся по снегу к самому валу.

Весело ребятишкам!

Резвись, девочка! Скоро придет время... счастливое время, настанет день конфирмации, и ты придешь сюда рука об руку со сверстницами. На тебе белое платье; недешево обошлось оно твоей матери, хоть и перешито из старого! На плечах у тебя красная шаль, которая спускается чуть не до полу, – зато видно, какая она большая... слишком даже большая. Ты в восторге от своего наряда, и сердечко твое переполнено чувством благодарности к Творцу. А как хорошо тут, на валу!.. Годы идут за годами; немало приходится пережить и тяжелых, мрачных дней, но молодость берет свое, и вот у тебя есть уже жених. Ты и сама не знаешь, как это случилось! Вы встречаетесь, ходите раннею весною на вал и гуляете тут, прислушиваясь к праздничному звону колоколов. Еще нет ни одной фиалки, но в Росенборгском саду одно дерево уже покрыто зелеными почками; перед ним вы останавливаетесь... Дерево каждый год покрывается свежей листвой; не то с сердцем человеческим: его заволакивают облака, куда темнее тех, что покрывают северное небо. Бедное дитя! Брачным ложем твоего жениха становится гроб, и ты остаешься старою девою!

Теперь ты смотришь из окна богадельни на игры детей и видишь, как повторяется твоя история!

Вот такая драма разворачивается перед мысленным взором старой девы, которая смотрит на зеленый вал, где сияет солнышко, а краснощекие ребятишки без чулок и башмаков резвятся и ликуют, как птицы небесные.

## С крепостного вала



Осень; стоим на валу, устремив взор на волнующуюся синеву моря. Там и сям белеют паруса кораблей; вдали виднеется высокий, весь облитый лучами вечернего солнца берег Швеции. Позади нас вал круто обрывается; он обсажен великолепными раскидистыми деревьями; пожелтевшие листья кружатся по ветру и усыпают землю. У подножия вала мрачное строение, обнесенное деревянным частоколом, за которым ходит часовой. Как там темно и мрачно, за этим частоколом! Но еще мрачнее в самом здании, в камерах с решетчатыми окнами. Там сидят заключенные, самые страшные преступники.

Луч заходящего солнца падает на голые стены камеры. Солнце светит и на злых, и на добрых! Угрюмый, суровый заключенный злобно смотрит на этот холодный солнечный луч. Вдруг на оконную решетку садится птичка. И птичка поет для злых и для добрых! Песня ее коротка: «кви-вит!» – вот и все! Но сама птичка еще не улетает; вот она машет крылышками, чистит перышки, топорщится и

взъерошивает хохолок... Закованный в цепи злодей смотрит на нее, и злобное выражение его лица мало-помалу смягчается, какое-то новое чувство, в котором он и сам хорошенько не отдает себе отчета, наполняет его душу. Это чувство сродни солнечному лучу и аромату фиалок, которых так много растет там, на воле, весною!.. Но что это? Раздались жизнерадостные, мощные звуки охотничьих рогов. Птичка улетает, солнечный луч потухает, и в камере опять темно; темно и в сердце преступника, но все же по этому сердцу скользнул солнечный луч, оно отозвалось на пение птички.

Не умолкайте же, чудные звуки охотничьего рога, раздавайтесь громче! В мягком вечернем воздухе такая тишь; море недвижно, словно зеркальное.

1846

### Старый уличный фонарь



Слышали вы сказку про старый уличный фонарь? Она не то чтобы уж очень забавна, но разок все-таки можно послушать.

Так вот, жил-был один почтенный старый уличный фонарь; много лет он честно нес службу, но теперь его решили уволить. Он знал, что сидит на столбе и освещает улицу последний вечер, и чувство его можно было сравнить с чувством старой балетной фигурантки, которая танцует на сцене в последний раз и знает, что завтра ее выставят из театра. Фонарь с ужасом ждал завтрашнего дня: завтра он должен был явиться на смотр в ратушу и представиться «тридцати шести отцам города», которые решат, годен ли он еще к службе или нет.

Да, завтра решится вопрос: отправят ли его светить куда-нибудь в предместье на мост, ушлют ли в деревню или на фабрику или же прямо в переплавку. Из него могло ведь выйти что угодно, но его ужасно мучила неизвестность: сохранит ли он воспоминание о том, что некогда был уличным фонарем или нет? Впрочем, как бы там ни было, ему, во всяком случае, придется расстаться с ночным сторожем и его женой, на которых он смотрел как на родных. Оба они – и фонарь и сторож – поступили на службу в один и тот же день. Жена сторожа в те времена была гордячка и, проходя мимо фонаря, достаивала его взглядом только по вечерам, а днем – никогда. Но в последние годы, когда они все трое – и сторож, и жена его, и фонарь – уже состарились, она тоже стала ухаживать за фонарем, чистить лампу и наливать в нее ворвань. Честные люди были эти старики, ни разу не обделили фонарь ни на капельку!

Итак, фонарь освещал улицу последний вечер, а на завтра должен был отправиться в ратушу. Эти две мрачные мысли не давали ему покоя; поэтому можно представить себе, как он горел. Порою у него мелькали и другие мысли – он ведь многое видел, на многое пришлось ему пролить свет; в этом отношении он стоял, пожалуй, выше самих «тридцати шести отцов города»! Но он и не заговаривал об этом: почтенный старый фонарь не хотел обижать никого, а тем более свое высшее начальство. Фонарь много чего помнил, и время от времени пламя его порывисто вспыхивало, словно в нем шевелились такие мысли: «Да, и обо мне кое-кто вспомнит! Вот хоть бы тот красивый молодой человек... Много уж лет прошло с тех пор. Он подошел ко мне с исписанным листком розовой, тонкой-претонкой бумаги с золотым обрезом. Письмо было написано так изящно, как видно, дамской ручкой! Он прочел его два раза, поцеловал и поднял на меня

сияющие глаза, которые так и говорили: „Я счастливейший человек в мире!” Да, только мы с ним и знали, что написала в этом первом письмеце его возлюбленная. Помню я и еще одни глаза... Удивительно, как перескакивают мысли! По нашей улице двигалась пышная похоронная процессия; на бархатном катафалке везли в гробу тело молодой, прекрасной женщины. Сколько тут было цветов и венков! Горело так много факелов, что мой свет совсем потерялся. Тротуар был заполнен народом – столько людей шло за гробом. Но когда факелы скрылись из виду, я огляделся и увидел человека, который стоял у моего столба и плакал. Никогда я не забуду того скорбного взгляда, который он вскинул на меня».

И много еще о чем вспоминал старый уличный фонарь в этот последний вечер. Часовой, сменяющийся с поста, все-таки знает своего преемника и может перекинуться с ним словечком; фонарь же не знал, кто его сменит, а то он тоже мог бы дать ему кое-какие указания насчет ненастной погоды, насчет того, как далеко заходят лучи месяца на тротуар и с какой стороны обыкновенно дует ветер.

На мостике, перекинутом через водосточную канавку, находились в это время три особы, претендовавшие заместить фонарь; они думали, что выбор преемника зависит от самого фонаря. Одною из этих особ была селедочная головка, светящаяся в темноте; она полагала, что ее появление на фонарном столбе поведет к большой экономии ворвани. Второю была гнилушка, которая тоже светилась и, по ее собственным словам, даже ярче, чем сушеная треска; к тому же она была последним остатком дерева, которое некогда было красой всего леса. Третьим кандидатом был светлячок; откуда он взялся – фонарь никак не мог догадаться, но светлячок был тут и тоже светился, хотя гнилушка и селедочная головка клялись в один голос, что он светит только в известное время, почему его и не следует принимать в расчет.

Старый фонарь ответил, что никто из них не светит настолько ярко, чтобы занять его место, но, конечно, они этому не поверили. Узнав же, что передача должности зависит не от самого фонаря, все трое выразили живейшее удовольствие – он был ведь слишком стар, чтобы сделать верный выбор.

В это время из-за угла подул ветер и шепнул в отдушину фонаря:

– Что я слышу! Ты уходишь завтра? Это последний вечер, что мы встречаемся с тобою здесь? Ну, так вот же тебе от меня подарок! Я



проветрю твою черепную коробку, да так, что ты не только будешь ясно и точно помнить все, что когда-либо слышал и видел сам, но увидишь собственными глазами то, что будут рассказывать или читать при тебе другие, – вот какая у тебя будет светлая голова!

– Не знаю, как тебя благодарить, – сказал старый фонарь. – Только бы меня не переплавили!

– До этого еще далеко, – отвечал ветер. – Ну, сейчас я проветрю твою память. Если ты получишь много таких подарков, как мой, то проведешь старость еще очень и очень приятно!

– Только бы меня не переплавили! Может быть, ты и в этом случае поручишься за мою память?

– Эх, старый фонарь, будь же благоразумен! – сказал ветер и подул. В эту минуту выплянул месяц.

– А вы что подарите? – спросил его ветер.

– Ничего, – ответил месяц, – я ведь на ущербе, к тому же фонари никогда не светят за меня – всегда я за них.

И месяц опять спрятался за тучи – он не хотел, чтобы ему надоедали.

Вдруг на железный колпачок фонаря упала дождевая капля, как будто бы с крыши; но сама капля сказала, что явилась из серого облака, и тоже – как подарок, пожалуй, даже самый лучший.

– Я проточу тебя, и ты, когда пожелаешь, сможешь проржаветь и рассыпаться прахом в одну ночь!

Фонарю это показалось плохим подарком; ветру – тоже.

– Неужто никто не подарит ничего получше? – зашумел он изо всей мочи.

И в ту же минуту с неба скатилась звездочка, оставив за собой длинный светящийся след.

– Это что? – вскричала селедочная головка. – Как будто звезда с неба упала? и, кажется, прямо в фонарь! Ну, если этой должности домогаются такие высокопоставленные особы, то нам тут и делать нечего, остается только откланяться.

Так все трое и сделали. Старый же фонарь вдруг вспыхнул как-то особенно ярко.

– Вот это чудесный подарок! – сказал он. – Ясные звездочки! Как я любовался всегда их чудным светом! Самым моим заветным желанием было светить, как они, но это у меня не получалось, хоть я

и старался, — и вот эти чудные звездочки заметили меня, бедный старый фонарь, и послали ко мне с подарком одну из своих сестриц. Они одарили меня способностью показывать тем, кого я люблю, все, что я помню и вижу сам. А ведь всякое удовольствие только тогда и бывает истинным, полным, когда можешь им поделиться с другими!

— Замечательная мысль, — сказал ветер. — Но ты не знаешь, что этот твой дар зависит от восковой свечки. Ты никому ничего не сможешь показать, если в тебе не будет гореть восковая свечка: об этом-то и не подумали звезды. Они думают, что там, откуда льется свет, непременно есть хотя бы восковая свечка. Но теперь я устал, пора улечься! — добавил ветер и улегся.

На другой день... нет, через него мы лучше перескочим, — в следующий вечер фонарь лежал в кресле. Угадай где? В комнате старого ночного сторожа. Старик попросил у «тридцати шести отцов города» в награду за свою долгую верную службу... старый фонарик. Те посмеялись над его просьбой, но фонарь отдали; и вот фонарь преважно лежал теперь в кресле возле теплой печки и, право, точно вырос, так что занимал собою почти все кресло. Старички уже сидели за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь: они охотно посадили бы его с собой и за стол.

Правда, они жили в подвале, на несколько футов под землей, и, чтобы попасть в их каморку, надо было пройти через вымощенную кирпичами прихожую, — зато в самой каморке было очень чисто и уютно. Двери были обиты по краям полосками войлока, кровать пряталась за пологом, на окнах висели занавески, а на подоконниках стояли два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос Кристиан из Ост-Индии или Вест-Индии. Горшки были глиняные и изображали слонов без спины; вместо спины у них было углубление, набитое землей; в одном слоне рос чудеснейший лук-порей, а в другом — цветущая герань. Первый слон был огородом старичков, второй — цветником. На стене висела раскрашенная гравюра, изображавшая Венский конгресс, тут перед старичками красовались все короли и государи зараз. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно забегали вперед. Пускай уж лучше спешат, чем отстают, говорили старички.

И вот они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, как мы знаем, в кресле, возле теплой печки, и ему казалось, будто весь свет

перевернулся вверх дном. Но вот старый сторож взглянул на него и стал припоминать все, что они пережили вместе, в дождь и в непогоду, в ясные и короткие летние ночи и в снежные метели, когда так и тянет домой, в подвальчик; а фонарь пришел в себя и увидел все это как наяву.

Да, ветер славно его проветрил!

Старички были такие работающие, трудолюбивые; ни один час не пропадал у них даром. По воскресеньям после обеда на столе появлялась какая-нибудь книжка, чаще всего описание путешествия, и старик читал вслух об Африке, об огромных лесах и диких слонах, которые там бродят. Старушка слушала и поглядывала на глиняных слонов, служивших цветочными горшками.

– Могу себе это представить! – приговаривала она.

А фонарь от души желал, чтобы в него вставили восковую свечку, – тогда старушка, как и он сам, воочию увидела бы все: и высокие деревья, перепутавшиеся густыми ветвями, и голых черных людей верхом на лошадях, и целые стада слонов, уминающих толстыми ногами тростник и кусты.

– Что проку в моих способностях, если во мне нет восковой свечки! – вздыхал фонарь. – У моих хозяев только и есть, что ворвань да сальные свечи, а этого мало.

Раз у старичков появилась целая куча восковых огарков; самые большие были сожжены, а короткими старушка вощила нитки, когда шила. Восковые свечки теперь у стариков были, но им и в голову не приходило вставить хоть один огарочек в фонарь.

– Ну вот, я и лежу тут зря со всеми своими редкими способностями, – сказал фонарь. – Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться! Ах, вы не знаете, что я могу превратить эти голые стены в роскошнейшие обои, в густые леса, во все, чего пожелаете! Да и где вам знать это!

Фонарь, вычищенный до блеска, всегда лежал в углу, на самом видном месте. Люди, правда, называли его старым хламом, но старики не обращали на это внимания – они любили фонарь.

Однажды, в день рождения старика, старушка подошла к фонарю, лукаво улыбнулась и сказала:

– Постой-ка, я сейчас устрою иллюминацию ради праздника!

Фонарь задрезжал от радости. «Наконец-то их озарило!» – подумал он. Но налили в него ворвань, а о восковой свечке не было и помину. Он горел весь вечер, но знал теперь, что самый лучший дар его навсегда останется в нем при такой жизни мертвым капиталом. И вот пригрезилось ему – с такими способностями немудрено и грезить, – будто бы старики умерли, а он попал в переплавку. Фонарю было так же страшно, как в тот раз, когда ему предстояло явиться на смотр в ратушу. Но хоть он и мог по своему желанию проржаветь и рассыпаться в прах, он этого не сделал, а попал в плавильную печь и превратился в чудеснейший железный подсвечник в виде ангела, который держал в одной руке букет. В этот букет вставили восковую свечку, и подсвечник занял место на зеленом сукне письменного стола. Комната была очень уютна; все полки здесь были уставлены книгами, а стены увешаны великолепными картинами. Здесь жил поэт, и все, о чем он думал и писал, развертывалось перед ним, как в панораме. Комната становилась то дремучим лесом, освещенным солнцем, то лугами, по которым расхаживал аист, то палубой корабля, плывущего по бурному морю...

– Ах, какие способности скрыты во мне! – воскликнул старый фонарь, очнувшись от грез. – Право, мне даже хочется попасть в переплавку! Впрочем, нет! Пока живы старички – не надо. Они любят меня, каков я есть, я им заменяю ребенка. Они чистили меня, давали мне ворвани, и мне здесь живется не хуже, чем «конгрессу». Чего же еще желать!

И с тех пор фонарь обрел душевное спокойствие, да старый почтенный фонарь и заслуживал этого.

## Соседи



Право, можно было подумать, что в пруду что-то случилось, а на самом-то деле ровно ничего! Но все утки, как те, что преспокойно дремали на воде, так и те, что опрокидывались на головы хвостами кверху – они ведь и это умеют, – вдруг заспешили на берег; на влажной глине отпечатались следы их лапок, и вдали долго-долго еще слышалось их крикание. Вода тоже взволновалась, а всего за минуту перед тем она стояла недвижно, отражая в себе, как в зеркале, каждое деревцо, каждый кустик, старый крестьянский домик со слуховыми оконцами и ласточкиным гнездом, а главное – большой розовый куст в полном цвету, росший над водой у самой стены домика. Но все это стояло в воде вверх ногами, как перевернутая картина. Когда же вода взволновалась, одно набежало на другое, и вся картина пропала. На воде тихо колыхались два перышка, оброненных утками, и вдруг их словно погнало и закрутило ветром. Но ветра не было, и скоро они опять спокойно улеглись на воде. Сама вода тоже мало-помалу успокоилась, и в ней опять ясно отразились домик с ласточкиным гнездом под крышей и розовый куст со всеми его розами. Они были чудо как хороши, но сами того не знали – никто ведь не говорил им

этого. Солнышко просвечивало сквозь их нежные ароматные лепестки, и на сердце у роз было так же хорошо, как бывает иногда в минуты тихого, счастливого раздумья у нас.

– Как хороша жизнь! – говорили розы. – Одного только хотелось бы нам еще – поцеловать теплое красное солнышко да вон те розы в воде! Они так похожи на нас! Хотелось бы, впрочем, расцеловать и тех миленьких нижних птенчиков в гнезде, вон там, внизу! Наверху, над нами, тоже сидят птенчики! Эти верхние высовывают из гнезда головки и попискивают! На них нет еще перышек, как у их отца с матерью. Да, славные у нас соседи и вверху и внизу. Ах, как хороша жизнь!

Верхние и нижние птенчики – нижние-то являлись только отражением верхних – были воробьи; мать и отец их – тоже. Они завладели прошлогодним ласточкиным гнездом и расположились в нем, как у себя дома.

– Это утиные дети плавают по воде? – спросили воробышки, увидав утиные перья.

– Уж коли спрашивать, так спрашивайте поумнее! – отвечала воробыха-мать. – Не видите разве, что это перья, живое платье, какое и я ношу, какое будет и у вас, – только наше-то потоньше! Хорошо бы, впрочем, заполучить эти перышки в гнездо – они славно греют!.. А хотелось бы мне знать, чего испугались утки? Что-нибудь да случилось там, под водой, – не меня же они испугались... Хотя, положим, я сказала вам «пип» довольно громко!.. Пустоголовые розы должны были бы знать это, но они никогда ничего не знают, только глядятся на себя в пруд да пахнут. Надоели мне эти соседки!

– Послушайте-ка этих милых верхних птенчиков! – сказали розы. – Они тоже начинают пробовать голос! Они еще не умеют, но скоро выучатся щебетать! Вот-то будет радость! Приятно иметь таких веселых соседей!

В это время к пруду подскакала пара лошадей; их пригнали на водопой. На одной лошади сидел верхом деревенский парнишка; он снимал с себя все, что было на нем надето, кроме черной широкополой шляпы. Парнишка свистал, как птица, и въехал с лошадьми в самое глубокое место пруда. Проезжая мимо розового куста, он сорвал одну розу и заткнул за ленточку своей шляпы; теперь он воображал себя страсть каким нарядным! Напоив лошадей,

парнишка уехал. Остальные розы глядели вслед уехавшей и спрашивали друг друга:

– Куда это она отправилась?

Но никто этого не знал.

– Хотелось бы и мне пуститься по белу свету! – говорили розы одна другой. – Но и тут у нас среди зелени тоже прекрасно! Днем греет солнышко, а ночью небо светится еще ярче! Это видно сквозь маленькие дырочки на нем!

Дырочками они считали звезды – розы ведь могли и не знать, что такое звезды.

– Мы оживляем собою весь дом! – сказала воробыха. – Кроме того, ласточкино гнездо приносит счастье, как говорят люди; поэтому они очень рады нам! Но вот такой розовый кустик возле самого дома только разводит сырость. Надеюсь, что этих соседей уберут отсюда, тогда на их месте может хоть вырасти что-нибудь полезное! Розы служат ведь только для вида да для запаха, много-много – для украшения шляпы! Я слыхала от моей матери, что они каждый год опадают, и тогда жена крестьянина собирает их и пересыпает солью, причем они получают уже какое-то французское имя, – я не могу его выговорить, да и не нуждаюсь в этом! Потом их кладут на горящие уголья, чтобы они хорошенько пахли. Вот и все; они годны только для услаждения глаз да носа. Так-то!

Настал вечер; в теплом воздухе заплясали комары и мошки, легкие облака окрасились пурпуром, и запел соловей. Песнь его неслась к розам, и в ней говорилось, что красота – солнечный луч, оживляющий весь мир, что красота вечна! Но розы думали, что соловей воспекает самого себя, – и почему бы им не думать этого? Им ведь и в голову не приходило, что песня могла относиться к ним. Они только простодушно радовались ей и думали: «А не могут ли и все воробышки стать соловьями?»

– Мы отлично понимаем, что поет эта птица! – сказали воробышки. – Только вот одно слово непонятно. Что такое «красота»?

– Так, пустое! Только для вида! – отвечала мать. – Там, в барской усадьбе, где у голубей свой дом и где их каждый день угощают горохом и зернами, – я, кстати, едала с ними и вы тоже будете: скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты сам, – так вот, там, во дворе, есть две птицы с зелеными шеями и с хохолком на голове.

Хвост у них может раскрываться, и как раскроется – ну, что твое колесо, да еще весь переливается разными красками, просто глазам невтерпеж. Зовут этих птиц павлинами, и вот это-то и есть красота. Пообщипать бы их немножко, так выглядели бы не лучше нас! Ух! Я бы их заклевала, не будь только они такие огромные!

– Я их заклюю! – сказал самый маленький, совсем еще голенький воробышек.

В домике жила молодая чета – муж с женою. Они очень любили друг друга, оба были такие бодрые, работающие, и в домике у них было премило и преуютно. Каждое воскресное утро молодая женщина набирала целый букет прекраснейших роз и ставила его в стакане с водою на большой деревянный сундук.

– Вот я и вижу, что сегодня воскресенье! – говорил муж, целовал свою миленькую жену, потом оба усаживались рядышком и, держа друг друга за руки, читали вместе утренний псалом. Солнышко светило в окошко на свежие розы и на молодую чету.

– Тошно и глядеть-то на них! – сказала воробыха, заглянув из гнезда в комнату, и улетела.

То же повторилось и в следующее воскресенье – свежие розы ведь появлялись в стакане каждое воскресное утро: розовый куст цвел все так же пышно. Воробышкам, которые уже успели опериться, тоже хотелось бы полететь с матерью, но воробыха сказала им:

– Сидите дома!

И они остались сидеть.

А она летела, летела да как-то и попала лапкой в силок из конского волоса, который прикрепили к ветке мальчишки-птицеловы. Петля так и впилась воробыхе в ножку, словно хотела перерезать ее. Вот была боль! А страх-то! Мальчишки подскочили и грубо схватили птицу.

– Простой воробей! – сказали они, но все-таки не выпустили птицу, а понесли ее к себе во двор, угощая по носу щелчками всякий раз, как она попискивала.

На дворе у них стоял в это время старичок, который занимался варкой мыла для бороды и для рук, в шариках и в кусках. Старичок был такой веселый, вечно переходил с места на место, нигде не жил подолгу. Он увидел у мальчишек птицу и услышал, что они собирались выпустить ее на волю, – на что им был простой воробей!



– Пойдите! – сказал он. – Мы с ней кое-что сделаем. Вот будет красота!

Услышав это, воробиха задрожала всем телом, а старичок вынул из своего ящика, где хранились чудеснейшие краски, целую пачку сусального золота в листочках, велел мальчишкам принести ему яйцо, смазал белком всю птицу и потом обклеил ее золотом. Воробиха стала вся золотая, но она и не думала о своем великолепии, а дрожала всем телом. Старичок между тем оторвал от красной подкладки своей старой куртки лоскуток, вырезал его зубчиками, как петуший гребешок, и приклеил птице на голову...

– Поглядим теперь, как полетит золотая птичка! – сказал старичок и выпустил воробиху, которая в ужасе понеслась прочь. Вот блеск-то был! Все птицы переполошились – и воробьи, и даже ворона, да не какой-нибудь годовалый птенец, а большая! Все они пустились вслед за воробихой, желая узнать, что это за важная птица.

– Прраво, диво! Прраво, диво! – каркала ворона.

– Подожди! Подожди! – чирикали воробьи.

Но она не хотела ждать; в ужасе летела она домой, но силы все более и более изменяли ей; она ежеминутно готова была упасть на землю, а птичья стая все росла да росла. Тут были и большие и малые птицы; некоторые подлетали к ней вплотную, чтобы клюнуть ее.

– Ишь ты! Ишь ты! – щебетали и чирикали они.

– Ишь ты! Ишь ты! – зачирикали и птенцы, когда она подлетела к своему гнезду. – Это, верно, павлин! Ишь, какой разноцветный! Глазам невтерпеж, как говорила мать. Пип! Вот она, красота!

И они все принялись клевать ее своими носиками, так что ей никак нельзя было попасть в гнездо, а от ужаса она не могла даже «пип» сказать, не то что «я ваша мать!». Остальные птицы тоже принялись клевать воробиху и повыщипали у нее все перья. Обливаясь кровью, упала она в самую середину розового куста.

– Бедная птичка! – сказали розы. – Мы укроем тебя! Склони к нам свою головку!

Воробиха еще раз распустила крылья, потом плотно прижала их к телу и умерла у своих соседок, свежих, прекрасных роз.

– Пип! – сказали воробышки. – Куда же это девалась мамаша? Или она нарочно выкинула такую штуку? Верно, пора нам жить своим умом! Гнездо она оставила нам в наследство, но владеть им надо

кому-нибудь одному! Ведь у каждого из нас будет своя семья! Кому же?

– Да уж вам здесь не будет места, когда я обзаведусь женой и детьми! – сказал самый младший.

– У меня побольше твоего будет и жен и детей! – сказал другой.

– А я старше вас всех! – сказала третья.

Воробышки поссорились, хлопали крылышками, клевали друг друга и – бух! – попадали из гнезда один за другим. Но и лежа на земле врастяжку, они не переставали злиться, кривили головки набок и мигали глазом, обращенным кверху. У них была своя манера дуться.

Летать они кое-как уже умели, поупражнялись еще немножко и порешили расстаться, а чтобы узнавать друг друга при встречах, уговорились шаркать три раза левою ножкой и говорить «пип».

Младший, который завладел гнездом, постарался рассестся в нем как можно пошире; теперь он был тут полным хозяином, только недолго. Ночью из окон домика показалось красное пламя и охватило крышу; сухая солома вспыхнула, дом сгорел, а с ним и воробей; молодые же супруги счастливо спаслись.



Наутро вошло солнышко; вся природа смотрела такую освеженною, словно подкрепившеюся за ночь здоровым сном, но на месте домика торчали только обгорелые балки, опиравшиеся на дымовую кирпичную трубу, которая теперь была сама себе госпожою. Развалины еще сильно дымились, а розовый куст стоял все такой же

свежий, цветущий; каждая веточка, каждая роза отражались в тихой воде пруда, как в зеркале.

– Ах, что за прелесть! Эти розы – и рядом обгоревшие развалины строения! – сказал какой-то прохожий. – Прелестнейшая картинка! Надо ею воспользоваться!

И он вынул из кармана книжку с чистыми, белыми страницами и карандаш – это был художник. Живо набросал он карандашом дымившиеся развалины, обгорелые балки, покривившуюся трубу – она кривилась все больше и больше – и на самом первом плане цветущий розовый куст. Куст в самом деле был прекрасен, и ради него-то и срисовали всю картину.

Днем пролетали мимо два воробья, родившиеся здесь.

– Где же дом-то? – сказали они. – Где гнездо? Пип! Все сгорело, и наш братец-забияка тоже сгорел! Это ему за то, что он забрал себе гнездо! А розы таки уцелели! По-прежнему выставляют свои красные щеки! Небось не горюют о несчастье соседей! Несносные! И говорить-то с ними не хочется! Да и вообще здесь стало прескверно! Одно безобразие!

И они улетели.

Раз осенью выдался чудесный солнечный денек, – право, можно было подумать, что стоит лето. На дворе перед высоким крыльцом барской усадьбы было так сухо и чисто; тут расхаживали голуби – и черные, и белые, и сизые; перья их так и блестели на солнышке; старые голубки-матушки топорщили перышки и говорили молоденьким голубкам:

– В грруппы! В грруппы!

Так ведь было красивее и виднее.

– Кто эти серенькие крошки, что шмыгают у нас под ногами? – спросила старая голубка с зеленоваго-красными глазками. – Серые крошки! Серые крошки!

– Это воробышки! Славные птички! А мы ведь всегда славились своею кротостью – пусть же они поклюют с нами! Они не вмешиваются в разговор и так мило шаркают ножкой.

Воробы в самом деле шаркали; каждый из них шаркнул три раза левою ножкой и сказал «пип». Поэтому все сейчас же узнали друг друга – это были три воробья из сгоревшего дома.

– Славно тут едят! – сказали воробы.

А голуби увивались вокруг голубок, самодовольно топорщили перышки, выпячивали зобы, судили и рядили.

– Глядите, глядите вон на ту зобастую голубку! Глядите, как она плотает горох! Ишь, все хватает самые крупные, самые лучшие горошины! Курр! Курр! Глядите, как она выпячивает зоб! Глядите, она скоро облысеет! Глядите, какая душечка, какая злюка! Курр! Курр!

И глаза у них налились от злости кровью.

– В грруппы! В грруппы! Серрые крошки! Серрые крошки! Курр! Курр! – Так это у них шло, идет и будет идти тысячи лет.

Воробьи кушали и слушали и тоже становились было в группы, но это им совсем не шло. Насытившись, они ушли от голубей и посудачили о них, потом шмыгнули под решетку прямо в сад. Дверь в комнату, выходившую в сад, была отворена, и один из воробьев вспрыгнул на порог – он плотно покушал и потому набрался храбрости.

– Пип! – сказал он. – Какой я смелый!

– Пип! – сказал другой. – Я посмелее тебя!

И он прыгнул за порог. Там никого не было, это отлично заметил третий воробышек и залетел на самую середину комнаты, говоря:

– Войти так уж войти или вовсе не входить! Презабавное тут, однако, человечье гнездо! А это что здесь поставлено? Да что же это такое?

Как раз перед воробьями цвели розы, отражаясь в прозрачной воде, а рядом торчали обгорелые балки, опиравшиеся на готовую упасть дымовую трубу.

– Да что же это? Как попало все это в барскую усадьбу?

И все три воробья захотели перелететь через розы и трубу, но ударились прямо об стену. И розы и труба были только нарисованные, а не настоящие: художник написал по сделанному им маленькому наброску целую картину.

– Пип! – сказали воробьи друг другу. – Это так, пустое! Только для вида! Пип! Вот она, красота! Понимаете вы в этом хоть что-нибудь? Я – ровно ничего!

Тут в комнату вошли люди, и воробьи улетели.

Шли дни и годы, голуби продолжали ворковать, чтобы не сказать ворчать, – злющие птицы! Воробьи мерзли и голодали зимой, а летом жили вовсю. Все они обзавелись семьями, или поженились, или как

там еще назвать это! У них были уже птенцы, и каждый птенец, разумеется, был прекраснее и умнее всех птенцов на свете. Они все разлетелись в разные стороны, а если встречались, то узнавали друг друга по троекратному шарканью левой ножкой и по особому приветствию «пип». Самую старшую из воробьев, родившихся в ласточкином гнезде, была воробыха; она осталась в девках, и у нее не было ни своего гнезда, ни птенцов. Ей вздумалось отправиться в какой-нибудь большой город, и вот она полетела в Копенгаген.

Близ королевского дворца, на самом берегу канала, где стояли лодки с яблоками и глиняною посудой, увидела она большой разноцветный дом. Окна, широкие внизу, суживались кверху. Воробыха посмотрела в одно, посмотрела в другое, и ей показалось, что она заглянула в чашечки тюльпанов; все стены так и пестрели разными рисунками и завитушками, а в середине каждого тюльпана стояли белые люди – одни из мрамора, другие из гипса, но для воробыхи что мрамор, что гипс – все было едино. На крыше здания стояла бронзовая колесница с бронзовыми же конями, которыми правила богиня победы. Это был музей Торвальдсена.

– Блеску-то, блеску-то! – сказала воробыха. – Это, верно, красота! Пип! Но тут что-то побольше павлина!

Она еще помнила объяснение величайшей красоты, которое слышала в детстве от матери. Затем она слетела вниз, во двор. Там тоже было чудесно. На стенах были нарисованы пальмы и разные ветви, а посреди двора рос большой цветущий розовый куст. Он склонял свои свежие ветви, усыпанные розами, к могильной плите. Воробыха подлетела к ней, увидав там еще нескольких воробьев. Пип! И она три раза шаркнула левою ножкой. Этим приветствием воробыха встречала из года в год всех воробьев, но никто не понимал его – расставшиеся не встречаются ведь каждый день, – и теперь она повторила его просто по привычке. Глядь, два старых воробья и один молоденький тоже шаркнули три раза левою ножкой и сказали «пип».

– А, здравствуйте! Здравствуйте!

Оказалось, что это были два старых воробья из ласточкиного гнезда и один молодой отпрыск семейства.

– Так вот где мы встретились! – сказали они. – Тут знаменитое место, только пожить нечем! Вот она, красота-то! Пип!

Из боковых комнат, где стояли великолепные статуи, вышло во двор много народу; все подошли к каменной плите, под которой покоился великий мастер, изваявший все эти мраморные статуи, и долго-долго стояли возле нее молча, с задумчивым, но светлым выражением на лицах. Некоторые собирали опавшие розовые лепестки и прятали их на память. Среди посетителей были и прибывшие издалека – из великой Англии, из Германии, из Франции. Самая красивая из дам взяла одну розу и спрятала ее у себя на груди. Видя все это, воробьи подумали, что розы царствуют здесь и что все здание построено, собственно, для них. По мнению воробьев, это было уж слишком большою честью для роз, но так как все люди ухаживали за ними, то и воробьи не захотели отстать.

– Пип! – сказали они и принялись мести землю хвостами и коситься на розы одним глазом. Недолго они смотрели, живо признали своих старых соседок. Это были ведь они самые. Художник, срисовавший розовый куст и обгорелые развалины дома, выпросил затем у хозяев позволение выкопать куст и подарил его строителю музея. На свете не могло быть ничего прекраснее этих роз, и строитель посадил весь куст на могиле Торвальдсена. Теперь он цвел над ней как живое воплощение красоты и отдавал свои розовые душистые лепестки на память людям, являвшимся сюда из далеких стран.

– Вас определили на должность здесь, в городе? – спросили воробьи.

И розы кивнули им; они тоже узнали серых соседей и очень обрадовались встрече с ними.

– Как хороша жизнь! – сказали они. – Жить, цвести, встречаться со старыми друзьями, ежедневно видеть вокруг себя милые, радостные лица!.. Тут каждый день точно великий праздник!

– Пип! – сказали воробьи один другому. – Да, это наши старые соседки! Мы помним их происхождение. Как же! Прямо от пруда да сюда! Пип! Ишь, в какую честь попали! Право, счастье приходит к иным во сне! И что хорошего в таких красных кляксах? Понять нельзя!.. А вон торчит увядший лепесток! Вижу! Вижу!

И каждый принялся клевать его; лепесток упал, но куст стоял все такой же свежий и зеленый; розы благоухали на солнышке над могилой Торвальдсена и склонялись к самой плите, как бы венчая его бессмертное имя.

1847



## Маленький Тук



Да, так вот, жил-был маленький Тук. Звали-то его, собственно, не Туком, но так он прозвал себя сам, когда еще не умел хорошенько говорить: «Тук» должно было обозначать на его языке «Карл», и хорошо, если кто знал это! Туку приходилось нянчить свою сестренку Густаву, которая была гораздо моложе его, и в то же время учить уроки, а эти два дела никак не ладились зараз. Бедный мальчик держал сестрицу на коленях и пел ей одну песенку за другою, заглядывая в то же время в лежавший перед ним учебник географии. К завтрашнему дню задано было выучить наизусть все города в Зеландии и знать о них все, что только можно знать.

Наконец вернулась его мать, которая уходила куда-то по делу, и взяла Густаву. Тук – живо к окну да за книгу, и читал, читал чуть не до слепоты: в комнате становилось темно, а матери не на что было купить свечку.

– Вон идет старая прачка из переулка! – сказала мать, поглядев в окно. – Она и сама-то еле двигается, а тут еще приходится нести ведро с водой. Будь умником, милый Тук, выбеги да помоги старушке!

Тук сейчас же выбежал и помог, но, когда вернулся в комнату, было уже совсем темно; о свечке нечего было и толковать. Пришлось ему ложиться спать. Постелью Туку служила старая деревянная скамья со спинкой и с ящиком под сиденьем. Он лег, но все не переставал думать о своем уроке: о городах Зеландии и обо всем, что рассказывал о них учитель. Следовало бы ему прочесть урок, да было уже поздно, и мальчик сунул книгу себе под подушку: он слышал, что это отличное средство для того, чтобы запомнить урок, но особенно-то полагаться на него, конечно, нельзя.

И вот Тук лежал в постели и все думал, думал. Вдруг кто-то поцеловал его в глаза и в губы – он в это время и спал и как будто не спал, – и он увидел перед собою старушку прачку. Она ласково поглядела на него и сказала:

– Грешно было бы, если бы ты не знал завтра своего урока. Ты помог мне, теперь и я помогу тебе. Господь же не оставит тебя своею помощью никогда!

В ту же минуту страницы книжки, что лежала под головой Тука, зашелестели и стали перевертываться. Затем раздалось:

– Кок-кок-кудак!

Это была курица, да еще из города Кёге!

– Я курица из Кёге! – И она сказала Туку, сколько в Кёге жителей, а потом рассказала про битву, которая тут происходила, – это было даже лишнее: Тук и без того знал об этом.

– Крибле, крабле, бумс! – что-то свалилось; это упал на постель деревянный попугай, служивший мишенью в обществе стрелков города Преете.

Птица сказала мальчику, что в этом городе столько же жителей, сколько у нее в животе гвоздей, и похвалилась, что Торвальдсен был одно время ее соседом.

– Бумс! Я славлюсь чудеснейшим местоположением!

Но маленький Тук уже не лежал в постели, а вдруг очутился верхом на лошади и поскакал в галоп. Он сидел позади разодетого рыцаря в блестящем шлеме с развевающимся султаном. Они проехали лес и очутились в старинном городе Вординборге. Это был большой оживленный город; на холме гордо возвышался королевский замок; в окнах высоких башен ярко светились огни. В замке шло веселье,

пение и танцы. Король Вальдемар танцевал в кругу разодетых молодых фрейлин.

Но вот настало утро, и, едва вошло солнце, город с королевским замком провалился, башни исчезли одна за другой, и под конец на холме осталась всего одна; самый городок стал маленьким, бедным; школьники, бежавшие в школу с книжками под мышками, говорили: «У нас в городе две тысячи жителей!» – но неправда, и того не было.

Маленький Тук опять очутился в постели; ему казалось, что он грезит наяву: кто-то опять стоял возле него.

– Маленький Тук! Маленький Тук! – слышалось ему. Это говорил маленький морячок, как будто бы кадет, а все-таки не кадет. – Я привез тебе поклоны из Корсёра. Вот город с будущим! Оживленный город! У него свои почтовые кареты и пароходы. Когда-то его звали жалким городишкой, но это мнение уже устарело. «Я лежу на море! – говорит Корсёр. – У меня есть шоссейные дороги и парк! Я произвел на свет поэта, да еще какого забавного, а ведь не все поэты заняты! Я даже собирался послать один из своих кораблей в кругосветное плавание!.. Я, положим, не послал, но мог бы послать. И как чудно я благоухаю, от самых городских ворот! Всюду цветут чудеснейшие розы!»

Маленький Тук взглянул на них, и в глазах у него зарябило красным и зеленым. Когда же волны красок улеглись, он увидел поросший лесом обрыв над прозрачным фиордом. Над обрывом возвышался старый собор с высокими стрельчатыми башнями и шпилями. Вниз с журчанием сбегали струи источников. Возле источника сидел старый король; седая голова его с длинными кудрями была увенчана золотой короной. Это был король Роар, по имени которого назван источник, а по источнику и близлежащий город Роскилле. По тропинке, ведущей к собору, шли рука об руку все короли и королевы Дании, увенчанные золотыми коронами. Орган играл, струйки источника журчали. Маленький Тук смотрел и слушал.

– Не забудь сословий! – сказал король Роар.

Вдруг все исчезло. Да куда же это все девалось? Словно перевернули страницу в книжке! Перед мальчиком стояла старушка полотьщица: она пришла из города Соре – там трава растет даже на площади. Она накинула на голову и на спину свой серый холщовый передник; передник был весь мокрый, должно быть, шел дождь.

– Да! – сказала она и рассказала ему о забавных комедиях Хольберга, о короле Вальдемаре и епископе Абсалоне, потом вдруг вся съежилась, замотала головой, точно собираясь прыгнуть, и заквакала.

– Ква! Ква! Как сыро, мокро и тихо в Соре! Ква! – она превратилась в лягушку.

– Ква! – и она опять стала женщиной.

– Надо одеваться по погоде! – сказала она. – Тут сыро, сыро! Мой город похож на бутылку: войдешь в горлышко, оттуда же надо и выйти. Прежде он славился чудеснейшими рыбами, а теперь на дне «бутылки» – краснощекие юноши; они учатся тут развой премудрости: греческому бре-ке-кекс, ква!

Мальчику послышалось не то кваканье лягушек, не то шлепанье сапогами по болоту: все тот же самый звук, однообразный и скучный, под который Тук и заснул крепким сном, да и хорошо сделал.

Но и тут ему приснился сон – иначе, что же все это было? Голубоглазая, белокурая и кудрявая сестрица его, Густава, вдруг стала взрослою прелестною девушкой, и, хотя ни у нее, ни у него не было крыльев, они понеслись вместе по воздуху над Зеландией, над зелеными лесами и голубыми водами.

– Слышишь ты крик петуха, маленький Тук? Ку-ка-ре-ку! Вот из бухты Кёге полетели куры! У тебя будет птичий двор, огромный-преогромный! Тебе не придется терпеть нужды! Ты, как говорится, убьешь попугая и станешь богатым, счастливым человеком! Твой дом будет возвышаться, как башня короля Вальдемара, будет богато разукрашен такими же мраморными статуями, как те, что изваяны близ Престе. Ты понимаешь меня! Твое имя облетит весь мир, как корабль, который хотели отправить из Корсёра, а в Роскилле («Помни про сословия!» – сказал король Роар) ты будешь говорить хорошо и умно, маленький Тук! Когда же наконец сойдешь в могилу, будешь спать в ней тихо...

– Как в Соре! – добавил Тук и проснулся.

Было ясное утро, он ровно ничего не помнил из своих снов, да и не нужно было – нечего загадывать вперед.

Он вскочил с постели, взялся за книгу и живо выучил свой урок. А старая прачка просунула в дверь голову, кивнула ему и сказала:

– Спасибо за вчерашнее, голубчик! Господь да исполнит лучший твой сон.

А маленький Тук и не знал, что ему снилось, зато знает это Господь Бог!

*1847*

## Тень



Вот уж где жжет солнце – так это в жарких странах! Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах делаются неграми. Но мы поговорим пока только о жарких странах; сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине, да скоро отучился от этого и, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера; просто сил никаких не было терпеть эту жару! Ученому, приехавшему из холодных стран, – он был человек умный и молодой еще, – казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье: он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах; жара повлияла и на нее. Оба они – и ученый и тень – оживали только с наступлением вечера.

И, право, любо было посмотреть на них! Как только в комнате зажигали огонь, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже

часть потолка — ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы порасправить члены, любовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах — а в жарких странах перед каждым окном балкон — тоже виднелись люди; дышать воздухом все же необходимо — даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и вверху, на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд — все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду; улицы освещались тысячами огней, люди — кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигалась масса гуляющих, по мостовой катились экипажи, тут пробирались, позванивая колокольчиками, вьючные ослы, там тянулась с пением псалмов похоронная процессия, слышался треск хлопушек, бросаемых на мостовую уличными мальчишками, раздавался звон колоколов... Да, жизнь так и была ключом повсюду! Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым: на балконе красовались чудесные цветы; без поливки они не могли бы цвести так пышно, кто-нибудь да поливал их, — стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам, но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно-прекрасною, по ведь может статься, что ему это только так казалось: но его мнению, здесь, в жарких странах, и все было прекрасно; одна беда — солнце! Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме: там никогда не показывалось ни единой живой души; что же до музыки, то он находил ее страшно скучною.

— Словно кто сидит и долбит все одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает, — дескать, «добьюсь своего!» Напрасно, однако, старается, ничего не выходит!

Раз ночью ученый проснулся; дверь на балкон стояла отворенною, и ветер распахнул портьеры; ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием; цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка, тоже, казалось,

окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и резнул широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери, но девушка уже исчезла, блеск и свет – тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома неслись нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний!..

Все это было похоже на какое-то колдовство! Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами – не через них же постоянно ходили жильцы!

Однажды вечером ученый сидел на своем балконе; в комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома; она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами; стоило шевельнуться ученому – шевелилась и тень, это она умеет.

– Право, моя тень – единственное видимое существо в том доме! – сказал ученый. – Ишь, как славно уселась между цветами! А дверь-то ведь полуотворена; вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне! Да, следовало бы и тебе быть полезною! – сказал он шутя и затем добавил: – Ну-с, не угодно ли пойти туда! Ну? Идешь? – И он кивнул своей тени головой, тень тоже ответила кивком. – Ну и ступай! Только смотри не пропади там!

С этими словами ученый встал, тень его, сидевшая на противоположном балконе, – тоже; ученый повернулся – повернулась и тень, и если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собой портьеры.

Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты.

– Что это значит? – сказал он, выйдя на солнце. – У меня нет тени! Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась? Довольно-таки неприятная история!

И он рассердился, не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине, в холодных странах;



вернись он теперь туда и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал.

Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином; выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и садился и выпрямлялся во весь рост – тень все не являлась. Он несколько раз кашлянул, но и это не помогло.

Досадно было, но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро, и вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил, к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень, – должно быть, корни-то старой остались. Через три недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уже такую большою и длинною, что хоть убавляй.

Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы, прошло много лет.

Раз вечером, когда он сидел у себя дома, слышался тихий стук в дверь.

– Войдите! – сказал он, но никто не входил; тогда он отворил дверь сам – перед ним стоял невероятно худой человек; одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин.

– С кем имею честь говорить? – спросил ученый.

– Я так и думал, – сказал элегантный господин, – что вы не узнаете меня! Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем! Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше? Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю!

При этих словах он забренчал целою связкой дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстою золотою цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блеснули бриллиантовыми перстнями! И золото и камни были настоящие, а не поддельные!

– Я просто в себя не могу прийти от удивления! – сказал ученый. – Что это такое?

– Да, явление не совсем обыкновенное, это правда! – сказала тень. – Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей, а я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своею дорогой, добился, как видите, полного благосостояния, да вот взгрустнулось что-то по вас, захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли – вы ведь должны же умереть! – и, кстати, решил взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине!.. Я знаю, что у вас теперь новая тень; скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово – и я заплачу.

– Нет, так это, в самом деле, ты?! – вскричал ученый. – Вот диво так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком!

– Скажите же мне, не должен ли я вам? – спросила опять тень. – Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу!

– Что за разговоры! – сказал ученый. – Какой там долг! Ты вполне свободен! Я несказанно рад твоему счастью! Садись же, старый дружище, и Расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в том доме напротив?

– Сейчас расскажу! – сказала тень и уселась. – Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе, – где бы вы меня ни встретили, – что я был когда-то вашею тенью! Я ведь собираюсь жениться! Я в состоянии содержать и не одну семью!

– Будь спокоен! – сказал ученый. – Никто не будет знать, кто ты, собственно, такой! Вот моя рука! Даю тебе слово!

– Беру твое слово! – откликнулась тень.

Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья: черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставалось только доньшко да поля; о брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека.

– Теперь я расскажу! – сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая, как собачка, лежала у его ног.

Зачем она это сделала, из высокомерия ли, или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам – неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух: ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожою.

– Знаете, кто жил в том доме? – спросила бывшая тень. – Нечто прекраснейшее в мире – сама Поэзия! Я провел там три недели, а это все равно, что прожить на свете три тысячи лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами, – и коли я так говорю, значит, это правда! Я видел все и знаю все!

– Поэзия! – вскричал ученый. – Да, да! Она часто живет отшельницей в больших городах! Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то заспанными глазами! Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние! Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и...?

– И попал в переднюю! – подхватила тень. – Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак, но в отворенную дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил вконец, если бы я сейчас же вошел к деде, но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда!

– И что же ты там видел? – спросил ученый.

– Все, и я расскажу вам обо всем, но... Видите ли, я не из гордости, а... ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете... я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы».

– Ах, прошу извинить меня! – сказал ученый. – Это я по старой привычке!.. Вы совершенно правы! И я постараюсь помнить это! Но расскажите же мне, что вы там видели?

– Все! – отвечала тень. – Я видел все и знаю все!

– Что же напоминали эти внутренние покои? – спросил ученый. – Свежий ли зеленый лес? Или святой храм? Или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?

– Все там было! – сказала тень. – Я, однако, не входил в самые покои, я оставался в передней, в полумраке, но там мне было отлично, я видел все, и я знаю все! Я ведь провел столько времени в передней при дворе Поэзии.

– Но что же вы видели там? Величавые шествия древних богов? Схватки героев седой старины? Игры милых детей, лепечущих о своих чудных грезах?..

– Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть! Явись вы туда, вы бы не сделали человеком, а сделался им! Я познал там мою собственную натуру, мое природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца! При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих! Но тогда еще я не понимал своей натуры, меня озарило только в передней! Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах; между тем я в качестве человека стеснялся уже показываться в своем прежнем виде; мне нужны были сапоги, приличное платье, словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище... Да, вам я признаюсь в этом, вы ведь не напечатаете этого: я нашел себе убежище под юбкой торговки сладостями! Женщина и не подозревала, что она скрывала! Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах – это так приятно щекочет спину! Взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал и в залы, и на чердак, заглядывал и туда, куда никто не мог заглядывать, видел то, чего никто не должен был видеть! И я узнал, как, в сущности, низок свет! Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным! Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых, бесподобных деток. Я видел то, – добавила тень, – чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидеть, – тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали! Но я писал прямо самым заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где ни появлялся, такой страх! Все так боялись меня и так любили! Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня – платья у меня теперь вдоволь, –

монетчики чеканили для меня монету, а женщины восхищались моею красотой! И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами; вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома!

С этими словами тень ушла.

– Как это все же странно! – сказал ученый.

Шли дни и годы; вдруг тень опять явилась к ученому.

– Ну, как дела? – спросила она.

– Увы! – отвечал ученый. – Я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии; меня это так огорчает!

– А вот меня нет! – сказала тень. – Поэтому я все толстею, а это самое главное! Да, не умеете вы жить на свете! Еще заболеее, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом совершить небольшую поездку – хотите ехать со мной? Мне нужно общество в дороге, так не поедете ли вы... в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие; все издержки я, конечно, возьму на себя!

– Нет, это слишком! – рассердился ученый.

– Да ведь как взглянуть на дело! – сказала тень. – Поездка принесла бы нам большую пользу! А стоит вам согласиться быть моею тенью, и вы поедете на всем готовом!

– Это уж из рук вон! – вскричал ученый.

– Да, таков свет, – сказала тень. – Таким он и останется.

И тень ушла.

Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его: он писал об истине, добре и красоте, а люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец он заболел.

– Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью! – говорили ученому люди, и по его телу пробежала дрожь от мыслей, приходивших ему в голову при этих словах.

– Вам следует ехать куда-нибудь на воды! – сказала тень, которая опять завернула к нему. – Ничего другого вам не остается! Я готов взять вас с собою ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы опишете нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды; моя борода

не растет, как бы следовало, а это ведь своего рода болезнь, – бороду надо иметь! Ну, будьте благоразумны, принимайте мое предложение; ведь мы же поедem как товарищи.

И они поехали. Тень стала господином, а господин тенью. Они были неразлучны: и ехали и ходили всегда вместе – то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый, по доброте сердца, даже и не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек и раз как-то возьми да и скажи тени:

– Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе – выпьем же на «ты», это будет по-приятельски!

– В ваших словах действительно много искреннего доброжелательства! – сказала тень – господином-то теперь была, собственно, она. – И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек ученый, знаете, вероятно, какими странностями отличается натура человеческая! Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги, другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить вам «ты»; таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину.

И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты».

«Это, однако, из рук вон, – подумал ученый. – Я должен обращаться к нему на „вы“, а он меня тыкает».

Но делать было нечего.

Наконец они прибыли на воды. На водах был большой съезд иностранцев. В числе приезжих находилась и одна красавица принцесса, которая страдала чересчур зорким взглядом, а это ведь не шутка, хоть кого будет беспокоить. Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем не похож на всех других людей.

– Хоть и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня-то не проведешь! Я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени!

Любопытство ее было подзадорено, и она недолго думая подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. В качестве принцессы она, без дальнейших церемоний, сказала ему:

– Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени!

– Ваше королевское высочество, должно быть, уже близки к выздоровлению! – сказала тень. – Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом, – теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга! У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей – обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного, и как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, и к ней свою тень! Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою!

«Вот как! – подумала принцесса. – Так я в самом деле выздоровела? Да, эти воды – лучшие в мире! Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительной силой. Но я пока не уеду – теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет!»

Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче; такого танцора принцесса и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну и даже был там, но принцесса как раз в то время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него, и тень это отлично заметила: принцесса уже не пронизывала своего кавалера глазами насквозь. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви, но рассудок все-таки одержал верх, она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей придется управлять. «Умен-то он умен, – сказала она самой себе, – и это прекрасно; танцует он восхитительно, и это тоже хорошо, но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно! Надо его

проэкзаменовать».



И она опять завела с ним разговор и назадала ему труднейших вопросов, на которые и сама не смогла бы ответить. Тень скорчила удивленную мину.

– Так вы не можете ответить мне! – сказала принцесса.

– Все это я изучил еще в детстве! – отвечала тень. – Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам.

– Ваша тень?! – удивилась принцесса. – Это было бы просто поразительно!

– Я, видите ли, не утверждаю, – сказала тень, – но думаю, что она может, – она ведь столько лет неразлучна со мной и кое-чего наслышалась от меня! Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком, и, если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею как с



человеком! Иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует!

– Что ж, это мне нравится! – ответила принцесса и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой природы.

Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно.

«Что это должен быть за человек, – подумала принцесса, – если даже тень его так умна! Для моего народа и государства будет сущим благодеянием, если я выберу его себе в супруги. Да, я так и сделаю!»

И скоро они порешили между собою этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется домой, в свое государство.

– Никто, никто, даже моя собственная тень! – настаивала тень, имевшая на то свои причины.

Наконец они прибыли в страну, которою управляла принцесса, когда бывала дома.

– Послушай, дружище! – сказала тут тень ученому. – Теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что и для тебя! Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мною в королевской карете и получать сто тысяч риксдалеров в год. Но за то ты должен позволить называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-нибудь человеком! А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе; свадьба – сегодня вечером.

– Нет, это уж из рук вон! – вскричал ученый. – Не хочу я этого и не сделаю! Это значило бы обманывать всю страну и принцессу! Я скажу все! Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень – все, все скажу!

– Никто не поверит тебе! – сказала тень. – Ну, будь же благодарен, не то я кликну стражу!

– Я пойду прямо к принцессе! – сказал ученый.

– Ну, я-то попаду к ней прежде тебя! – сказала тень. – А ты отправишься под арест.

Так и вышло: стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса.

– Ты дрожишь! – сказала принцесса, когда тень вошла к ней. – Что-нибудь случилось? Не захворай смотри! Ведь сегодня вечером наша свадьба!

– Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту! – сказала тень. – Подумай... Да, много ли, в сущности, нужно мозгам какой-нибудь несчастной тени!.. Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет – подумай только – своею тенью!

– Какой ужас! – сказала принцесса. – Надеюсь, ее заперли?

– Да! Но я боюсь, что она никогда не придет в себя!

– Бедная тень! – вздохнула принцесса. – Она очень несчастна! Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорее и без шума!

– Все-таки это жестоко! – сказала тень. – Она была мне верным слугой!

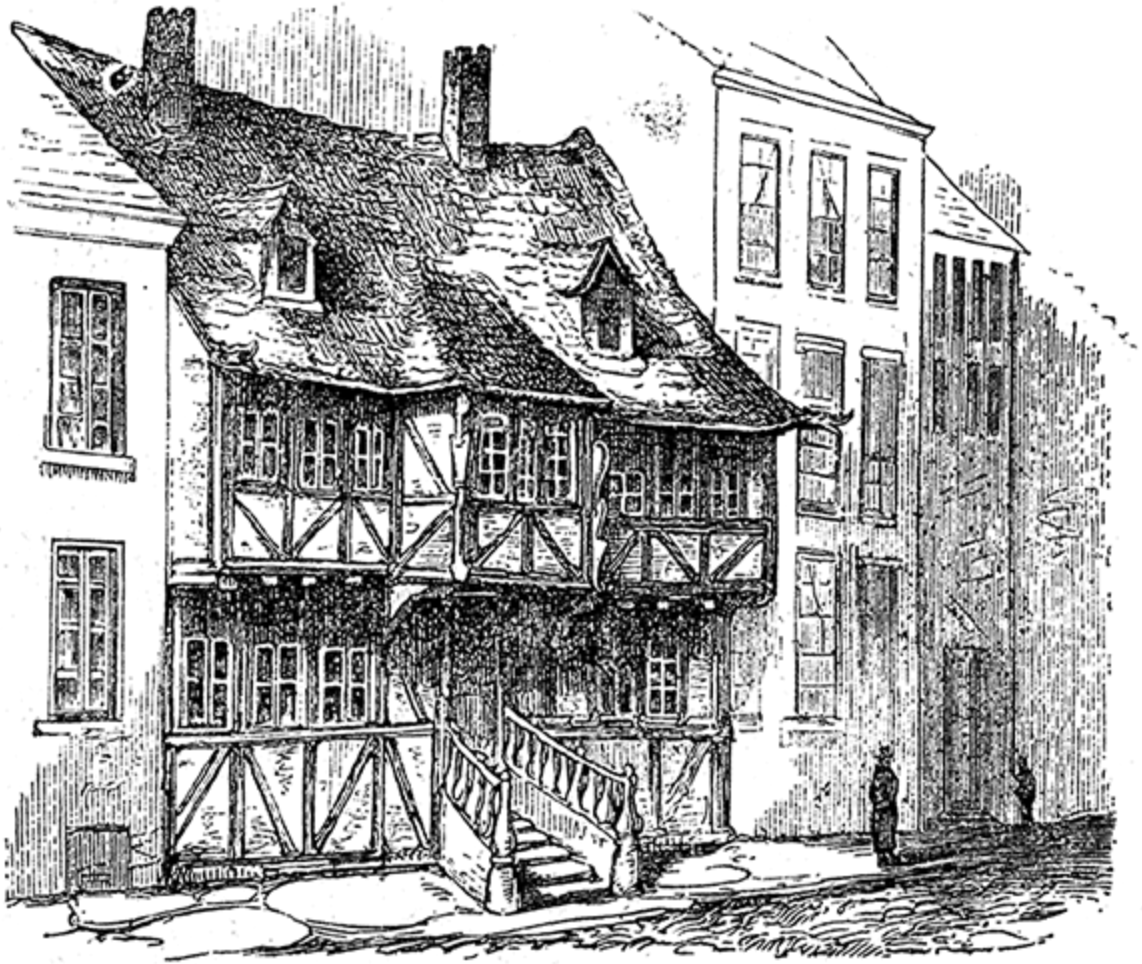
И тень притворно вздохнула.

– У тебя благородная душа! – сказала принцесса.

Вечером весь город был иллюминирован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба! И принцесса с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричал им «ура».

Ученый не слышал этого ликования – с ним уже покончили.

## Старый дом



На одной улице стоял старый-старый дом, ему было почти что триста лет, — год был вырезан на одном из оконных карнизов, по которым вилась затейливая резьба: тюльпаны и побеги хмеля; тут же было вырезано старинными буквами и с соблюдением старинной орфографии целое стихотворение. На других карнизах красовались уморительные рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома образовывал над нижним большой выступ; под самую крышу шел водосточный желоб, оканчивавшийся драконовою головой. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота — желоб был дырявый.

Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и прямыми, ровными стенами; по всему видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и даже думали: «Долго ли он будет торчать тут на позор всей улице? Из-за этого выступа нам не видно, что делается на улице по ту сторону его. А лестница-то, лестница-то! Широкая, будто во дворце, и высокая, словно ведет на колокольню! Зато железные перила как при входе в могильный склеп, а на дверях блестят большие медные бляхи! Просто неприлично!»

Против старого дома, на другой стороне улицы, стояли такие же новенькие, чистенькие домики и думали то же, что их собратья; но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными, сияющими глазами; ему старый дом и при солнечном, и при лунном свете нравился куда больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома с потрескавшеюся и местами пообвалившеюся штукатуркою, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого, воображал всю улицу застроенною такими же домами, с широкими лестницами, выступами и остроконечными крышами, видел перед собою солдат с алебардами и водосточные желоба в виде драконов и змеев... Да, можно-таки было заглядеться на старый дом!

Жил в нем один старичок, носивший короткие панталоны до колен, кафтан с большими металлическими пуговицами и парик, про который сразу можно было сказать: вот это настоящий парик! По утрам к старику приходил старый слуга, который прибирал все в доме и исполнял поручения старичка хозяина; остальное время дня старик оставался в доме один-одинешенек. Иногда он подходил к окну взглянуть на улицу и на соседние дома; мальчик, сидевший у окна, кивал старику головой и получал в ответ такой же дружеский кивок. Так они познакомились и подружились, хоть и ни разу не говорили друг с другом, – это ничуть им не помешало!

Раз мальчик услышал, как родители его говорили:

– Старику живется вообще недурно, но он так одинок, бедный!

В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика:

– Послушай! Снеси-ка это от меня старому господину! У меня два оловянных солдатика, так вот ему один! Пусть он останется у него, ведь старый господин так одинок, бедный!

Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и отнес солдатику в старый дом. Потом тот же слуга явился к мальчику спросить, не пожелает ли он сам навестить старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости.

Медные бляхи на перилах лестницы блестели ярче обыкновенного, точно их вычистили в ожидании гостя, а резные трубачи – на дверях были ведь вырезаны трубачи, выплядывавшие из тюльпанов, – казалось, трубили изо всех сил, и щеки их раздувались сильнее, чем всегда. Они трубили: «Тра-та-та-та! Мальчик идет! Тра-та-та-та!» Двери отворились, и мальчик вошел в коридор. Все стены были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шелковых платьях; рыцарские доспехи бряцали, а платья шуршали... Потом мальчик прошел лестницу, которая сначала шла высоко вверх, а потом опять вниз, и очутился на довольно-таки ветхой террасе с большими дырами и широкими щелями в полу, из которых выплядывали зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и даже вся стена дома были увиты зеленью, так что терраса смотрела настоящим садом, а на самом-то деле это была только терраса! Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов с ослиными ушами; цветы росли в них как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика, зеленые побеги ее разбегались во все стороны, и гвоздика как будто говорила: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне в воскресенье еще цветочек! Еще цветочек в воскресенье!»

С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиною кожей с золотым тиснением.

Да, позолота-то сотрется,  
Свиная кожа остается! –

говорили стены.

В той же комнате стояли разукрашенные резьбою кресла с высокими спинками.

– Садись! Садись! – приглашали они, а потом жалобно скрипели. – Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф. Ревматизм в спине! Ох!

Затем мальчик вошел в комнату с большим выступом на улицу. Тут сидел сам старичок хозяин.

– Спасибо за оловянного солдатика, дружок! – сказал он мальчику. – И спасибо, что сам зашел ко мне!

«Так, так» или скорее «кхак, кхак!» – закричала и заскрипела комнатная мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они мешали друг другу смотреть на мальчика.

На стене висел портрет прелестной молодой дамы с живым, веселым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде: волосы ее были напудрены, а платье стояло колом. Она не сказала ни «так», ни «кхак», но ласково смотрела на мальчика, и он сейчас же спросил старика:

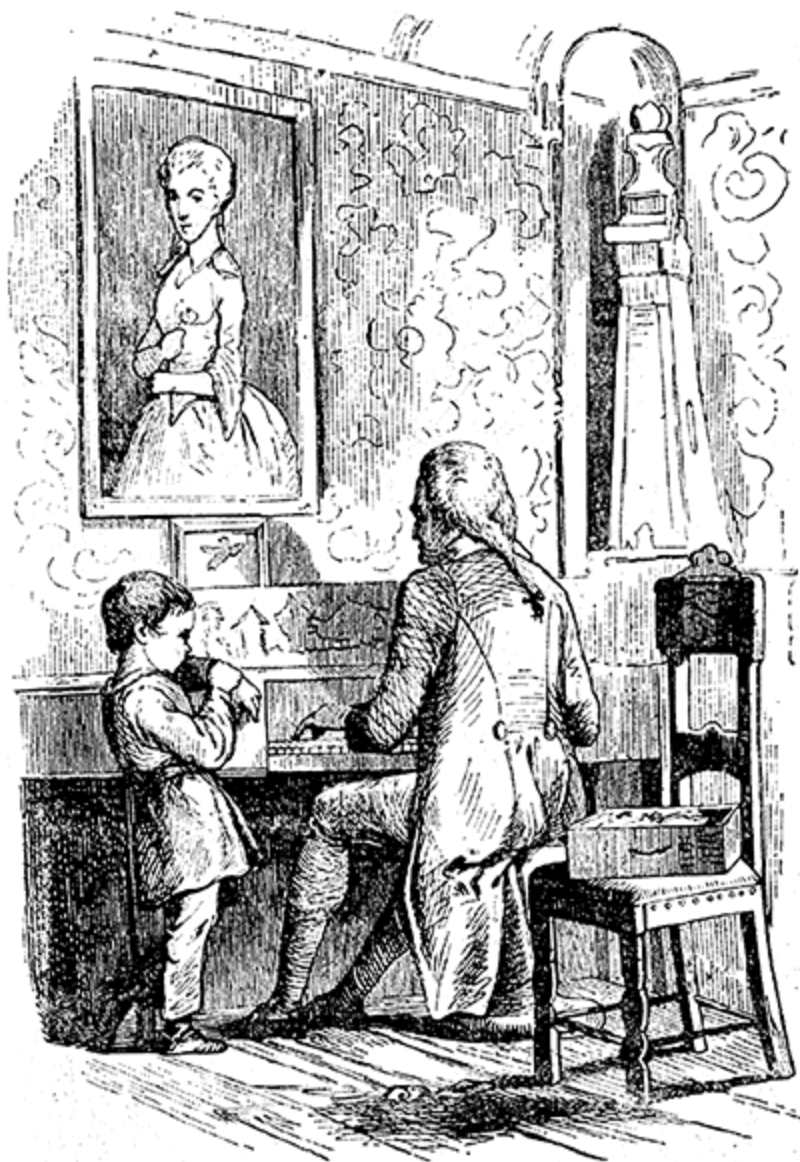
– Где ты ее достал?

– В лавке старьевщика! – отвечал тот. – Там много таких портретов, но никому до них нет и дела: никто не знает, с кого они писаны, – все эти люди давным-давно умерли и похоронены. Вот и этой дамы нет на свете лет пятьдесят, но я знавал ее в старину.

Под картиной висел за стеклом букетик засушенных цветов; им, верно, тоже было лет под пятьдесят – такие они были старые! Маятник больших старинных часов качался взад и вперед, стрелка двигалась, и всё в комнате старело с каждой минутой, само того не замечая.

– У нас дома говорят, что ты ужасно одинок! – сказал мальчик.

– О! Меня постоянно навещают воспоминания прошлого... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов!.. А теперь вот и ты навел меня! Нет, мне хорошо!



И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, городские ремесленники с развешивающимися знаменами. У портных на знаменах красовались ножницы, поддерживаемые двумя львами, у сапожников же не сапоги, а орел с двух головах – сапожники ведь делают всё парные вещи. Да, вот так картинки были!

Старичок хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме, право, было прелестно как хорошо!

– А мне просто невмочь оставаться здесь! – сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. – Тут так пусто и печально. Нет, кто

привык к семейной жизни, тому здесь не житье. Сил моих больше нет! День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше! Тут не услышишь ни душевной беседы, какую вели, бывало, между собою твои родители, ни веселой возни ребятишек, как у вас! Старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него елка? Получает он подарки? Ничего! Вот разве гроб он получит!.. Нет, право, я не выдержу такого житья!

– Ну, ну, полно! – сказал мальчик. – По-моему, здесь чудесно; сюда ведь заглядывают воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц!

– Что-то не видал их, да они мне и незнакомы! – отвечал оловянный солдатик. – Нет, мне просто не под силу оставаться здесь!

– А надо! – сказал мальчик.

В эту минуту в комнату вошел с веселою улыбкой на лице старичок, и чего-чего он только не принес! И варенья, и яблок, и орехов! Мальчик перестал и думать об оловянном солдатике.

Веселый и довольный вернулся он домой. Дни шли за днями; и старик из старого дома, и мальчик по-прежнему кивали друг другу, и вот мальчик опять отправился туда в гости.

Резные трубачи опять затрубили: «Тра-та-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та-та!» Рыцари и дамы на портретах бряцали доспехами и шуршали шелковыми платьями, свиная кожа говорила, а старые кресла скрипели и кряхтели от ревматизма в спине: «Ох!» Словом, все было как и в первый раз, – в старом доме часы и дни шли один, как другой, без всякой перемены.

– Нет, я не выдержу! – сказал оловянный солдатик. – Я уже плакал оловом! Тут слишком печально! Пусть лучше пошлют меня на войну, отрубят там руку или ногу! Все-таки хоть перемена будет! Сил моих больше нет!.. Теперь и я знаю, что это за воспоминания, которые приводят с собою знакомых лиц! Меня они тоже посетили, и, поверь, им не обрадуешься! Особенно если они станут посещать тебя часто. Под конец я готов был спрыгнуть с сундука!.. Я видел тебя и всех твоих!.. Вы все стояли передо мною как живые!.. Это было утром в воскресенье... Все вы, ребятишки, стояли в столовой, такие серьезные, набожно сложив руки, и пели утренний псалом... Папа и мама стояли тут же. Вдруг дверь отворилась, и вошла незваная двухгодовалая сестренка ваша Мари. А ей стоит только услышать



музыку или пение – все равно какое, – сейчас начинает плясать. Вот она и принялась приплясывать, но никак не могла попасть в такт – вы пели так протяжно... Она поднимала то одну ножку, то другую и вытягивала шейку, но дело не ладилось. Никто из вас даже не улыбнулся, хоть и трудно было удержаться. Я таки и не удержался, засмеялся про себя, да и слетел со стола! На лбу у меня вскочила большая шишка – она и теперь еще не прошла, и поделом мне было!.. Много и еще чего вспоминается мне... Все, что я видел, слышал и пережил в вашей семье, так и всплывает у меня перед глазами! Вот каковы они, эти воспоминания, и вот что они приводят с собой!.. Скажи, вы и теперь еще поете по утрам? Расскажи мне что-нибудь про малютку Мари! А товарищ мой, оловянный солдатик, как поживает? Вот счастливец!.. Нет, нет, я просто не выдержу!..

– Ты подарен! – сказал мальчик. – И должен оставаться тут! Разве ты не понимаешь этого?

Старичок хозяин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок: какие-то шкатулочки, флакончики и колоды старинных карт – таких больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь! Старичок отпер для гостя и большие ящики старинного бюро и даже клавикорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина тихие дребезжащие звуки, а сам старичок напевал при этом какую-то заунывную песенку.

– Эту песню певала когда-то она! – сказал он, кивая на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.

– Я хочу на войну! Хочу на войну! – завопил вдруг оловянный солдатик и бросился с сундука.

Куда же он девался? Искал его и сам старичок хозяин, искал и мальчик – нет нигде, да и только.

– Ну, я найду его после! – сказал старичок, но так и не нашел. Пол весь был в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.

Вечером мальчик вернулся домой. Время шло; наступила зима; окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое бы можно было взглянуть на улицу. Снег запорошил надпись и все завитушки на карнизах старого дома и завалил лестницу – дом стоял словно нежилой. Да так оно и было: старичок, хозяин его, умер.

Вечером к старому дому подъехала колесница, на нее поставили гроб и повезли старичка за город, в фамильный склеп. Никто не шел за гробом – все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй.

Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда; портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же, да так там и остался: никто ведь не знал этой дамы, никому и не нужен был ее портрет.

Весною стали ломать старый дом – этот жалкий сарай давно уже мозолил всем глаза, и с улицы можно было заглянуть в самые комнаты с обоями из свиной кожи, висевшими клочьями; зелень на террасе разрослась еще пышнее и густо обвивала упавшие балки. Наконец место очистили совсем.

– Вот и отлично! – сказали соседние дома.

Вместо старого дома на улице появился новый, с большими окнами и белыми ровными стенами. Перед ним, то есть, собственно, на том самом месте, где стоял прежде старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесен железною решеткой, и вела в него железная калитка. Все это выглядело так нарядно, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьев, которые чирикали наперебой, но не о старом доме, – они ведь не могли его помнить; с тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиною. Из него вышел дельный человек на радость своим родителям. Он только что женился и переехал со своею молодою женой как раз в этот новый дом с садом.

Оба они были в саду; муж смотрел, как жена сажала в клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула:

– Ай! Что это?

Она укололась – из мягкой, рыхлой земли торчало что-то острое. Это был – да, подумайте! – оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, валялся в мусоре и наконец много-много лет пролежал в земле.

Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листком, а затем своим тонким носовым платком. Как чудесно пахло от него духами! Оловянный солдатик словно очнулся от обморока.

– Дай-ка мне посмотреть! – сказал молодой человек, засмеялся и покачал головой. – Ну, это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне одну историю из моего детства!

И он рассказал своей жене о старом доме, о хозяине его и об оловянном солдатике, которого послал бедному одинокому старичку. Словом, он рассказал все, как было в действительности, и молодая женщина даже прослезилась, слушая его.

– А может быть, это и тот самый оловянный солдатик! – сказала она. – Я спрячу его на память. Но ты непременно покажи мне могилу старика!

– Я и сам не знаю, где она! – отвечал он. – Да и никто не знает! Все его друзья умерли раньше его, никому не было и дела до его могилы, я же в те времена был еще совсем маленьким мальчуганом.

– Как ужасно быть таким одиноким! – сказала она.

– Ужасно быть одиноким! – сказал оловянный солдатик. – Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!

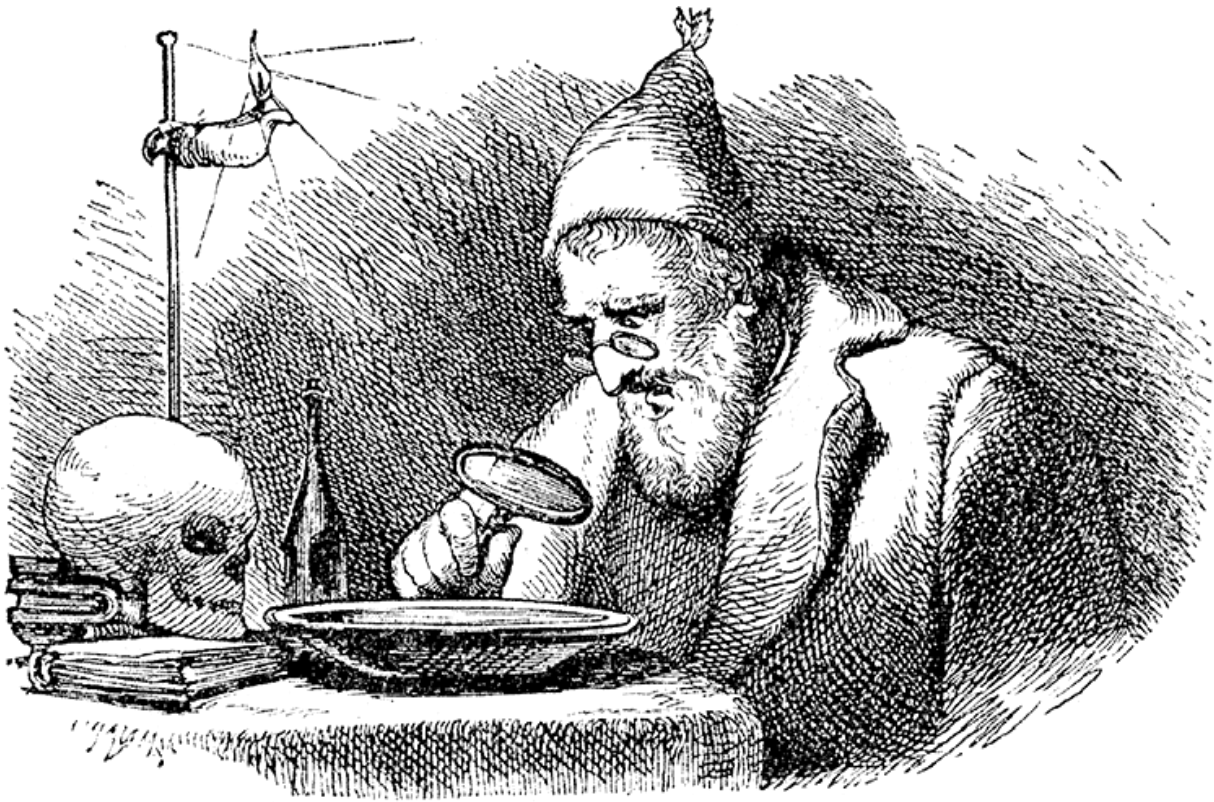
– Счастье! – повторил чей-то голос совсем рядом, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика.

Оказалось, что это говорил лоскуток свиной кожи, которою когда-то были обиты комнаты старого дома. Позолота с него вся сошла, и он был похож скорее на грязный комок земли, но у него был свой взгляд на вещи, и он высказал его:

Да, позолота-то сотрется,  
Свиная кожа остается!

Оловянный солдатик, однако, с этим не согласился.

## Капля воды



Вы, конечно, видали увеличительное стекло – круглое, выпуклое, через которое все вещи кажутся во сто раз больше, чем они на самом деле? Если через него поглядеть на каплю воды, взятой где-нибудь из пруда, то увидишь целые тысячи диковинных зверюшек, которых вообще никогда не видно в воде, хотя они и есть. Смотришь на каплю такой воды, а перед тобой ни дать ни взять целая тарелка живых креветок, которые прыгают, копошатся, хлопочут, откусывают друг у друга то переднюю ножку, то заднюю, то тут уголок, то там кончик и при этом радуются и веселятся по-своему!

Жил-был один старик, которого все звали Копун Хлопотун, – такое уж у него было имя. Он вечно копался и хлопотал над всякой вещью, желая извлечь из нее все, что только вообще можно, а нельзя было достигнуть этого простым путем – прибегал к колдовству.

Вот сидит он раз да смотрит через увеличительное стекло на каплю воды, взятой прямо из лужи. Батюшки мои, как эти зверюшки

копошились и хлопотали тут! Их были тысячи, и все они прыгали, скакали, кусались, щипались и пожирали друг друга.

– Но ведь это отвратительно! – вскричал старый Копун Хлопотун. – Нельзя ли их как-нибудь умиротворить, ввести у них порядок, чтобы всякий знал свое место и свои права?

Думал-думал старик, а все ничего придумать не мог. Пришлось прибегнуть к колдовству.

– Надо их окрасить, чтобы они больше бросались в глаза! – сказал он и чуть капнул на них какую-то жидкостью, вроде красного вина; но это было не вино, а ведьмина кровь самого первого сорта.

Все диковинные зверюшки вдруг приняли красноватый оттенок, и каплю воды можно было теперь принять за целый город, кишевший голыми дикарями.

– Что у тебя тут? – спросил старика другой колдун, без имени, – этим-то он как раз и отличался.

– А вот угадай! – отозвался Копун Хлопотун. – Угадаешь – я подарю тебе эту штуку. Но угадать не так-то легко, если не знаешь, в чем дело!

Колдун без имени поглядел в увеличительное стекло. Право, перед ним был целый город, кишевший людьми, но все они бегали нагишом! Ужас что такое! А еще ужаснее было то, что они немилосердно толкались, щипались, кусались и рвали друг друга в клочья! Кто был внизу – непременно выбивался наверх, кто был наверху – попадал вниз.

– Гляди, гляди! Вон у того нога длиннее моей! Долой ее! А вот у этого крошечная шишка за ухом, крошечная, невинная шишка, но ему от нее больно, так пусть будет еще больнее!

И они кусали беднягу, рвали на части и пожирали за то, что у него была крошечная шишка. Смотрят, кто-нибудь сидит себе смирно, как красная девица, никого не трогает, лишь бы и его не трогали, так нет, давай его тормошить, таскать, теревить, пока от него не останется и следа!

– Ужасно забавно! – сказал колдун без имени.

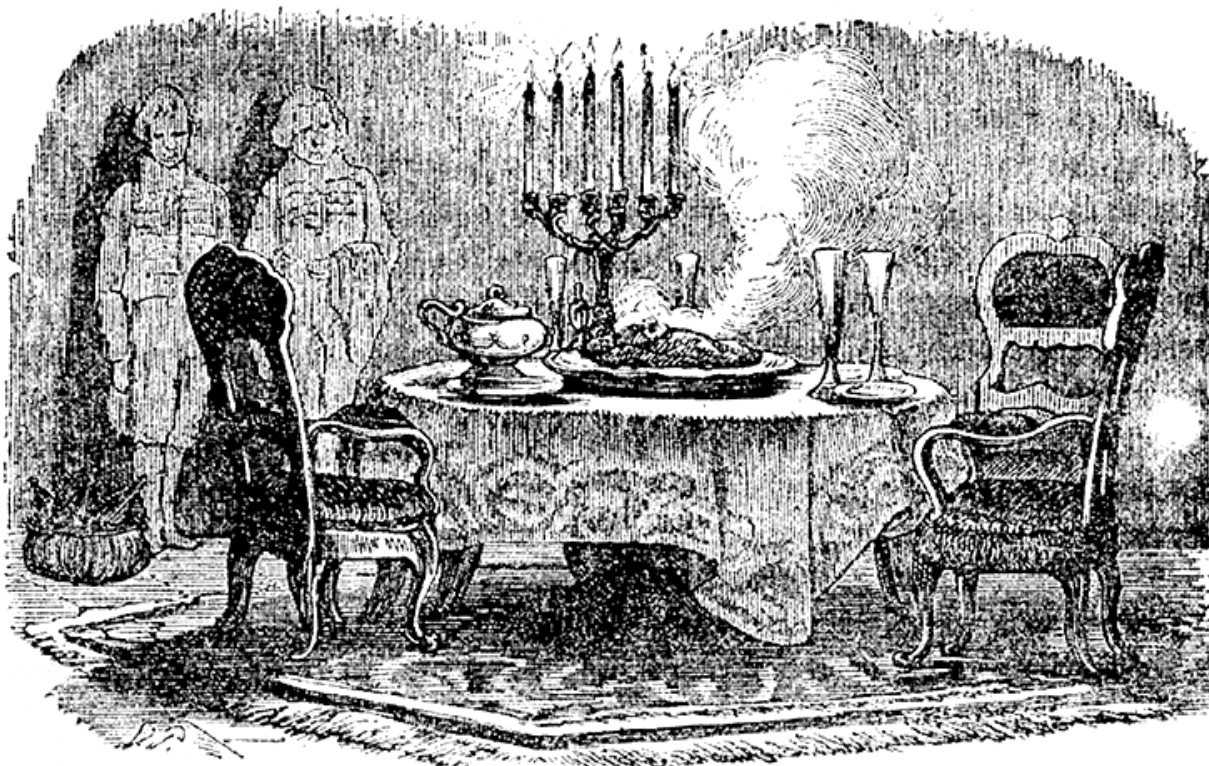
– Ну а что это такое, по-твоему? Можешь угадать? – спросил Копун Хлопотун.

– Тут и угадывать нечего! Сразу видно! – отвечал тот. – Это Копенгаген или другой какой-нибудь большой город, они все ведь

похожи один на другой!.. Это большой город!  
– Капля воды из лужи! – промолвил Копун Хлопотун.

1847

### Счастливое семейство



Самый большой лист у нас, конечно, лист лопуха: наденешь его на животик – вот тебе и передник, а положишь в дождик на головку – зонтик! Такой большущий этот лопух! И он никогда не растет в одиночку, а всегда уж где один, там и много, – такая роскошь! И вся эта роскошь – кушанье для улиток! А самих улиток, белых, больших, кушали в старину важные господа; из улиток приготавливалось фрикасе, и господа, кушая его, приговаривали: «Ах, как вкусно!» Они и вправду воображали себе, что это ужасно вкусно. Так вот, эти большие белые улитки ели лопух, потому и стали сеять лопух.

Была одна старая барская усадьба, где уж давно не ели улиток, и они все повымерли. А лопух не вымер; он себе все рос да рос – его ничем нельзя было заглушить; все аллеи, все грядки заросли лопухом,

так что и сад стал не сад, а лопушиный лес; никто бы и не догадался, что тут был прежде сад, если бы кое-где не торчали еще то яблонька, то сливовое деревцо. Вот в этом-то лопушином лесу и жила последняя пара старых-престарых улиток.

Они и сами не знали, сколько им лет, но отлично помнили, что прежде их было много, что они очень старинной иностранной породы и что весь этот лес был насажен, собственно, для них и для их родичей. Старые улитки ни разу не выходили из своего леса, но знали, что где-то есть что-то называющееся «барскою усадьбой»; там улиток варят до тех пор, пока они не почернеют, а потом кладут на серебряное блюдо. Что было дальше, они не знали. Не знали они тоже и даже представить себе не могли, что такое значит свариться и лежать на серебряном блюде; знали только, что это было чудесно и, главное, аристократично! И ни майский жук, ни жаба, ни дождевой червяк – никто из тех, кого они спрашивали, ничего не мог сказать об этом: никому еще не приходилось быть сваренным и лежать на серебряном блюде!

Что же касается самих себя, то улитки отлично знали, что они первые в свете, что весь лес растет только для них, а усадьба существует лишь для того, чтобы они могли свариться и лежать на серебряном блюде.

Жили улитки тихо, мирно и очень счастливо. Детей у них не было, и они взяли на воспитание улитку из простых. Приемьш их ни за что не хотел расти – он был ведь обыкновенной, простой породы, но старикам, особенно улитке-мамаше, все казалось, что он заметно увеличивается, и она просила улитку-папашу, если он не видит этого так, ощупать раковину малютки! Папаша щупал и соглашался с мамашей.

Раз шел сильный дождь.

– Ишь, как барабанит по лопуху! – сказал улитка-папаша.

– Так и льет! – сказала улитка-мамаша. – Вон как потекло вниз по стебелькам! Увидишь, как здесь будет сыро! Как я рада, что у нас и у сынка нашего такие прочные домики! Нет, что ни говори, а ведь нам дано больше, чем кому-нибудь другому на свете! Сейчас видно, что мы первые в мире! У нас с самого рождения есть уже свои дома, для нас насажен целый лопушиный лес! А хотелось бы знать, как далеко он тянется и что там за ним?

– Ничего! – сказал улитка-папаша. – Уж лучше, чем у нас тут, и быть нигде не может; я, по крайней мере, лучшего не ищу.

– А мне, – сказала улитка-мамаша, – хотелось бы попасть в усадьбу, свариться и лежать на серебряном блюде. Этого удостаивались все наши предки, и, уж поверь, в этом есть что-то особенное!

– Усадьба, пожалуй, давно разрушилась, – сказал улитка-папаша, – или вся заросла лопухом, так что людям и не выбраться оттуда. Да и к чему так спешить? А ты вот вечно спешишь, и сынок наш туда же за тобой. Ведь он уж третий день все ползет вверх по стебельку; просто голова кружится, как поглядишь!

– Ну, не ворчи на него! – сказала улитка-мамаша. – Он ползет осторожно. Он, наверно, утешит нас на старости лет, а ведь нам, старикам, больше и жить не для чего. Только подумал ли ты, откуда нам взять ему жену? Что, по-твоему, там, дальше, в лопухе, не найдется кого-нибудь из нашего рода?

– Черные улитки без домов есть, конечно, – сказал улитка-папаша, – но ведь это же простонародье! Да и много они о себе думают! Можно, впрочем, поручить это дело муравьям: они вечно шныряют взад да вперед, точно за делом, и уж верно знают, где надо искать жену для нашего сынка.

– Знаем, знаем одну красавицу из красавиц, – сказали муравьи. – Только вряд ли она подойдет вам – она ведь королева!

– Это не беда! – сказали старики. – А есть ли у нее дом?

– Даже дворец! – сказали муравьи. – Чудеснейший муравейник с семьюстами ходов!

– Благодарим покорно! – сказала улитка-мамаша. – Сыну нашему не с чего лезть в муравейник! Если у вас нет на примете никого получше, то мы поручим дело комарам: они летают и в дождь и в солнышко и знают лопушиный лес вдоль и поперек.

– У нас есть невеста для вашего сына! – сказали комары. – Шагах в ста отсюда на кустике крыжовника сидит в своем домике одна маленькая улитка. Она живет одна-одинешенька и как раз в таком возрасте, что может выйти замуж. Всего в ста человеческих шагах отсюда!

– Так пусть она явится к нему! – сказали старики. – У него целый лопушиный лес, а у нее всего-навсего один кустик.



За улиткой-невестой послали. Она отправилась в путь и благополучно добралась до лопухов на восьмой день путешествия. Вот что значит чистота породы.

Отпраздновали свадьбу. Шесть светляков светили изо всех сил; вообще же свадьба была очень тихая: старики не любили шума. Зато улитка-мамаша сказала чудеснейшую речь. Папаша не мог, он был так растроган! И вот старики отдали молодым во владение весь лопушиный лес, сказав при этом, как они и всю жизнь свою говорили, что лучше этого леса нет ничего на свете и что если молодые будут честно и благородно жить и плодиться, то когда-нибудь им или их детям доведется попасть в усадьбу: там их сварят дочерна и положат на серебряное блюдо.

Затем старики вползли в свои домики и больше уже не показывались – они заснули!

А молодые улитки стали царствовать в лесу и оставили после себя большое потомство. Попасть же в усадьбу и лежать на серебряном блюде им так и не удалось! Поэтому они решили, что усадьба совсем разрушилась, а все люди на свете повымерли. Никто им не противоречил, – значит, так оно и было.

И вот дождь барабанил по лопуху, чтобы позабавить улиток, а солнце сияло, чтобы зеленел их лопух, и они были счастливы, счастливы! И вся их семья была счастлива – так-то!

## История одной матери



Мать сидела у колыбели своего ребенка; как она горевала, как боялась, что он умрет! Личико его совсем побледнело, глазки были закрыты, дышал он так слабо, а по временам тяжело-тяжело переводил дух, точно вздыхал...

И сердце матери сжималось еще сильнее при взгляде на малютку.

Вдруг в дверь постучали, и вошел бедный старик, закутанный во что-то вроде лошадиной попоны, — попоны ведь греет, а ему того и надо было: стояла холодная зима, на дворе все было покрыто снегом и льдом, а ветер так и хлестал лицо.

Видя, что старик дрожит от холода, а дитя задремало на минуту, мать отошла от колыбели, чтобы налить для гостя в кружку пива и поставить его погреться в печку. Старик же в это время подсел к колыбели и стал покачивать ребенка. Мать опустилась на стул рядом, взглянула на больного ребенка, прислушалась к его тяжелому дыханию и взяла его за ручку.

– Ведь я не лишусь его, не правда ли? – сказала она. – Господь не отнимет его у меня!

Старик – это была сама Смерть – как-то странно кивнул головою; кивок этот мог означать и «да» и «нет». Мать опустила голову, и слезы потекли по ее щекам... Скоро голова ее отяжелела – бедная не смыкала глаз вот уже три дня и три ночи... Она забылась сном, но всего лишь на минуту; тут она опять встрепенулась и задрожала от холода.

– Что это?! – воскликнула она, озираясь вокруг: старик исчез, а с ним и дитя; старик унес его.

В углу глухо шипели старые часы; тяжелая, свинцовая гиря дошла до полу... Бум! И часы остановились.

Бедная мать выбежала из дома, громко призывая своего ребенка. На снегу сидела женщина в длинном черном одеянии, она сказала матери:

– Смерть посетила твой дом, и я видела, как она скрылась с твоим малюткой. Она носится быстрее ветра и никогда не возвращает того, что раз взяла!

– Скажи мне только, какую дорогой она пошла! – сказала мать. – Только укажи мне путь, и я найду ее!

– Я знаю, куда она пошла, но не скажу, пока ты не споешь мне всех песенок, которые певала своему малютке! – сказала женщина в черном. – Я очень люблю их. Я уже слышала их не раз – я ведь Ночь и видела, как ты плакала, напевая их!..

– Я спою тебе их все, все! – отвечала мать. – Но не задерживай меня теперь, мне надо догнать Смерть, найти моего ребенка!

Ночь молчала, и мать, ломая руки и заливаясь слезами, запела. Много было спето песен – еще больше пролито слез. И вот Ночь промолвила:

– Ступай направо, прямо в темный еловый лес; туда направилась Смерть с твоим ребенком!

Дойдя до перекрестка в глубине леса, мать остановилась. Куда идти теперь? У самого перекрестка стоял голый терновый куст, без листьев, без цветов; была ведь холодная зима, и он почти весь обледенел.

– Скажи, не проходила ли тут Смерть с моим ребенком?

– Проходила! – сказал терновый куст. – Но я не скажу, куда она пошла, пока ты не отогреешь меня на своей груди, у своего сердца. Я

мерзну и скоро весь обледенею.

И она крепко прижала его к своей груди. Острые шипы глубоко вонзились ей в тело, и на груди ее выступили крупные капли крови... Зато терновый куст зазеленел и весь покрылся цветами, несмотря на холод зимней ночи, – так тепло у сердца скорбящей матери! И терновый куст указал ей дорогу.

Она привела мать к большому озеру; нигде не было видно ни корабля, ни лодки. Озеро было слегка затянуто льдом; лед этот не выдержал бы ее, а вода была такая глубокая, что вброд не перейти! А ей все-таки надо было переправиться на другой берег, если она хотела найти своего ребенка. И вот мать приникла к озеру, чтобы выпить его все до дна; это невозможно для человека, но несчастная мать верила в чудо.

– Нет, из этого толку не будет! – сказала озеру. – Давай-ка лучше сговоримся! Я собираю жемчужины, а таких ясных и чистых, как твои глаза, я еще и не видывало. Если ты согласна выплакать их в меня, я перенесу тебя на тот берег, к большой теплице, где Смерть растит свои цветы и деревья: каждое растение – человеческая жизнь!

– О, чего я не отдам, чтобы только найти моего ребенка! – сказала плачущая мать, залилась слезами еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в две драгоценные жемчужины. Озеро же подхватило мать, и она одним взмахом, как на качелях, перенеслась на другой берег, где стоял огромный диковинный дом. И не разобрать было – гора ли это, обросшая кустарником и вся изрытая пещерами, или здание; бедная мать, впрочем, и вовсе не видела его – она ведь выплакала свои глаза.

– Где же мне найти Смерть, похитившую моего ребенка? – проговорила она.

– Она еще не возвращалась! – отвечала старая садовница, присматривавшая за теплицей Смерти. – Но как ты нашла сюда дорогу, кто помог тебе?

– Господь Бог! – отвечала мать. – Он сжалился надо мною, сжался же и ты! Скажи, где мне искать моего ребенка?

– Да я ведь не знаю его! – сказала женщина. – А ты слепая! Сегодня в ночь завяло много цветов и деревьев, и Смерть скоро придет пересаживать их. Ты ведь знаешь, что у каждого человека есть свое дерево жизни или свой цветок, смотря по тому, каков он сам. С виду

они совсем обыкновенные растения, но в каждом бьется сердце. Детское сердечко тоже бьется; обойди же все растения – может быть, ты и узнаешь сердце своего ребенка. А теперь что ж ты мне дашь, если я скажу тебе, как поступать дальше?

– Мне нечего дать тебе! – отвечала несчастная мать. – Но я готова пойти для тебя на край света!

– Ну, там мне нечего искать! – сказала женщина. – А ты вот отдай-ка мне свои длинные черные волосы. Ты сама знаешь, как они хороши, а я люблю хорошие волосы. Я дам тебе в обмен свои седые; это все же лучше, чем ничего!

– Только-то? – сказала мать. – Да я с радостью отдам тебе свои волосы!

И она отдала старухе свои прекрасные черные волосы, получив в обмен седые.

Потом она вошла в огромную теплицу Смерти, где росли вперемежку цветы и деревья; здесь цвели под стеклянными колпаками нежные гиацинты, там росли большие, пышные пионы, тут – водяные растения, одни свежие и здоровые, другие – полузачахшие, обвитые водяными змеями, стиснутые клешнями черных раков. Были здесь и великолепные пальмы, и дубы, и платаны; росли и петрушка, и душистый тмин. У каждого дерева, у каждого цветка было свое имя; каждый цветок, каждое деревцо было человеческою жизнью, а сами-то люди были разбросаны по всему свету: кто жил в Китае, кто в Гренландии, кто где. Попадались тут и большие деревья, росшие в маленьких горшках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть не лопались; зато было много и маленьких, жалких цветочков, росших в черноземе и обложенных мхом, за ними, как видно, заботливо ухаживали, лелеяли их. Несчастливая мать наклонялась ко всякому, даже самому маленькому, цветочку, прислушиваясь к биению его сердечка, и среди миллионов узнала сердце своего ребенка!

– Вот он! – сказала она, протягивая руку к маленькому голубому крокусу, который печально свесил головку.

– Не трогай цветка! – сказала старуха. – Но стань возле него и, когда Смерть придет – я жду ее с минуты на минуту, – не давай ей высадить его, пригрозь вырвать какие-нибудь другие цветы. Этого она испугается – она ведь отвечает за них перед Богом; ни один цветок не должен быть вырван без Его воли.

Вдруг пахнуло леденящим холодом, и слепая мать догадалась, что явилась Смерть.

– Как ты нашла сюда дорогу? – спросила Смерть. – Как ты могла опередить меня?

– Я мать! – отвечала та.

И Смерть протянула было свою длинную руку к маленькому нежному цветочку, но мать быстро защитила его руками, стараясь не помять при этом ни единого лепестка. Тогда Смертьдохнула на ее руки; дыхание Смерти было холоднее северного ветра, и руки матери бессильно опустились.

– Не тебе тягаться со мною! – промолвила Смерть.

– Но Бог сильнее тебя! – сказала мать.

– Я ведь только исполняю Его волю! – отвечала Смерть. – Я Его садовник, беру его цветы и деревья и пересаживаю их в великий Райский сад, в неведомую страну, но как они там растут, что делается в том саду, – я не смею сказать тебе!

– Отдай мне моего ребенка! – взмолилась мать, заливаясь слезами, а потом вдруг захватила руками два великолепных цветка и закричала: – Я повырву все твои цветы, я в отчаянии!

– Не трогай их! – сказала Смерть. – Ты говоришь, что ты несчастна, а сама хочешь сделать несчастною другую мать!..

– Другую мать! – повторила бедная женщина и сейчас же выпустила из рук цветы.

– Вот тебе твои глаза! – сказала Смерть. – Я выловила их из озера – они так ярко блестели там; но я и не знала, что это твои. Возьми их – они стали яснее прежнего – и взгляни вот сюда, в этот глубокий колодец! Я назову имена тех цветков, что ты хотела вырвать, и ты увидишь все их будущее, всю их земную жизнь. Посмотри же, что ты хотела уничтожить!

И мать взглянула в колодец: отрадно было видеть, каким благодеянием была для мира жизнь одного, сколько счастья и радости разливал он вокруг себя! Взглянула она и на жизнь другого – и увидела горе, нужду, отчаяние и бедствия!

– Обе доли – Божья воля! – сказала Смерть.

– Который же из двух – цветок несчастья и который – счастья? – спросила мать.

– Этого я не скажу! – отвечала Смерть. – Но знай, что в судьбе одного из них ты видела судьбу своего собственного ребенка, все его будущее!

У матери вырвался крик ужаса:

– Какая же судьба ожидала моего ребенка? Скажи мне! Спаси невинного! Спаси мое дитя от всех этих бедствий! Лучше возьми его! Унеси его в Царство Божье! Забудь мои слезы, мои мольбы, все, что я говорила и делала!

– Я не пойму тебя! – сказала Смерть. – Хочешь ты, чтобы я отдала тебе твое дитя или чтобы унесла его в неведомую страну?

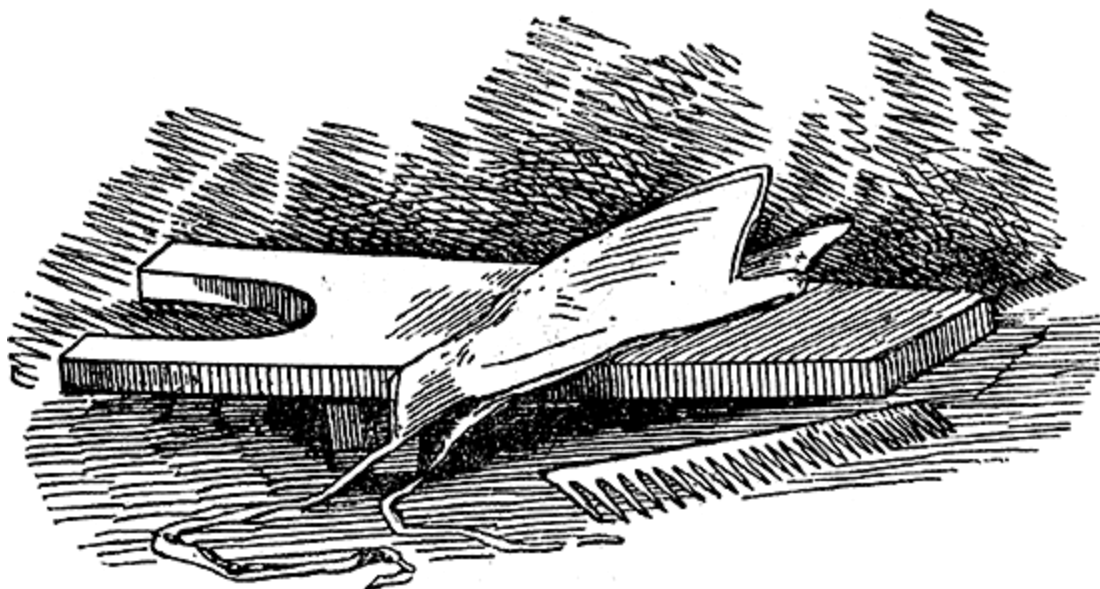
Мать заломила руки, упала на колени и взмолилась Творцу:

– Не внимли мне, когда я прошу о чем-либо, несогласном с Твоею всеблагою волей! Не внимли мне! Не внимли мне!

И она поникла головою...

А Смерть понесла ее ребенка в неведомую страну.

## Воротничок



Жил-был щеголь; у него только и было за душой, что сапожная подставка, гребенка, да еще чудеснейший щегольской воротничок. Вот о воротничке-то и пойдет речь.

Воротничок уже довольно пожил на свете и стал подумывать о женитьбе. Случилось ему раз попасть в стирку вместе с чулочной подвязкой.

– Ах! – сказал воротничок. – Что за грация, что за нежность и миловидность! Никогда не видал ничего подобного! Позвольте узнать ваше имя?

– Ах нет-нет! – отвечала подвязка.

– А где вы, собственно, изволите пребывать?

Но подвязка была очень застенчива, вопрос показался ей нескромным, и она молчала.

– Вы, вероятно, подвязка? – продолжал воротничок. – Вроде пояса, потайного пояса, так сказать? Да-да, я вижу, милая барышня, что вы служите и для красоты, и для пользы.

– Пожалуйста, не заводите со мной разговоров! – сказала подвязка. – Я, кажется, не подала вам никакого повода!

– Ваша красота – достаточный повод! – сказал воротничок.



– Ах, сделайте одолжение, держитесь подальше! – вскричала подвязка. – Вы на вид настоящий мужчина!

– Как же, я ведь щеголь! – сказал воротничок. – У меня есть сапожная подставка и гребенка!

И совсем неправда. Эти вещи принадлежали не ему, а его господину; воротничок просто хвастался.

– Подальше, подальше! – сказала подвозка. – Я не привыкла к такому обращению!

– Недотрога! – сказал воротничок.

Тут его взяли из корыта, накрахмалили, высушили на солнце и положили на гладильную доску.

Появился горячий утюг.

– Сударыня! – сказал воротничок утюжной плитке. – Прелестная вдовушка! Я пылаю! Со мной происходит какое-то превращение! Я сгораю! Вы прожигаете меня насквозь! Ух!.. Вашу руку и сердце!

– Ах ты, рвань! – сказала утюжная плитка и гордо проехала по воротничку.

Она воображала себя локомотивом, который тащит за собой по рельсам вагоны.

– Рвань! – повторила она.

Воротничок немножко пообтрепался по краям, и явились ножницы подровнять их.

– О! – воскликнул воротничок. – Вы, должно быть, первая танцовщица? Вы так чудесно вытягиваете ножки! Ничего подобного не видывал! Кто из людей может сравниться с вами? Вы бесподобны!

– Знаем! – сказали ножницы.

– Вы достойны быть графией! – продолжал воротничок. – Я владею только барином-щеголем, сапожного подставкой и гребенкой... Ах, будь у меня графство...

– Он сватается?! – вскричали ножницы и, осердясь, с размаху так резнули воротничок, что совершенно искалечили его.

Так он попал в отставку.

– Остается присвататься к гребенке! – сказал воротничок. – Удивительно, как сохранились ваши зубки, барышня!.. А вы никогда не думали о замужестве?

– Как же! – сказала гребенка. – Я уже невеста! Выхожу за сапожную подставку!

– Невеста! – воскликнул воротничок.

Теперь ему не за кого было свататься, и он стал презирать всякое сватовство.

Время шло, и воротничок попал наконец с прочим тряпьем на бумажную фабрику. Тут было настоящее тряпичное царство; тонкие тряпки держались, как и подобает, подальше от грубых. У каждой нашлось о чем порассказать, у воротничка, конечно, больше всех; он был страшный хвостун.

– У меня было пропасть невест! – тараторил он. – Так и бегали за мной. Еще бы! Подкрахмаленный, я выглядел таким франтом! У меня даже были собственные сапожная подставка и гребенка, хотя я никогда и не пользовался ими. Посмотрели бы вы на меня, когда я лежал, бывало, набоку! Никогда не забыть мне моей первой невесты – подвязки! Она была такая тонкая, нежная, мягкая! Она бросилась из-за меня в лохань! Была тоже одна вдовушка; она дошла просто до белого каления!.. Но я оставил ее, и она почернела с горя! Еще была первая танцовщица; это она ранила меня – видите? Бедовая была! Моя собственная гребенка тоже любила меня до того, что порастеряла от тоски все свои зубы! Вообще немало у меня было разных приключений!.. Но больше всего жаль мне повязку, то бишь подвязку, которая бросилась из-за меня в лохань. Да, много у меня кое-чего на совести!.. Пора, пора мне стать белой бумагой!

Желание его сбылось: все тряпье стало белой бумагой, а воротничок – как раз вот этим самым листом, на котором напечатана его история, – так он был наказан за свое хвостовство.

И нам тоже не мешает быть осторожнее: как знать? Может быть, и нам придется в конце концов попасть в тряпье да стать белой бумагой, на которой напечатают нашу собственную историю, и вот пойдешь разносить по белу свету всю подноготную о самом себе!

1847

**Лён**



Лен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, а пожалуй, и того нежнее! Солнышко светило ему, тучки поливали его дождичком, и льну это было так же полезно и приятно, как ребенку купание и поцелуй матери, — детишки расцветают от того еще пуще; так и лен.

— Все говорят, что я уродился на славу! — сказал лен. — Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста! Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Мне так хорошо, и я пригожусь на что-нибудь! Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех!

— Да, да, да! — сказали колья изгороди. — Ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем, — вишь, какие мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:

Оплянута не успеешь,  
Как уж песенке конец!

– Вовсе не конец! – сказал лен. – И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет освежающий дождик! Я чувствую, что расту и цвету! Я счастливее всех на свете!

Но вот раз явились люди, схватили лен за макушку и вырвали с корнем. Больно было! Потом его положили в воду, словно собирались утопить, а после того держали над огнем, будто хотели изжарить. Ужас что такое!

– Не вечно же нам жить в свое удовольствие! – сказал лен. – Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним не делали: и мяли, и тискали, и трепали, и чесали – да просто и названий всему не подберешь! Наконец он очутился на прялке. Жжж! Тут уж поневоле все мысли вразброд пошли!

«Я ведь так долго был несказанно счастлив! – думал он во время этих мучений. – Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю! Да, надо, надо!.. Ох!»

И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот наконец из него вышел великолепный большой кусок холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок.

– Но ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как мне, однако, везет! А колья-то все твердили: «Опляннуться не успеешь, как уж песенке конец!» Много они смыслили, нечего сказать! Песенке вовсе не конец! Она только теперь и начинается. Вот счастье-то! Да, если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете! Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный! Это небось получше, чем просто расти или даже цвести в поле! Там никто за мною не ухаживал, воду я только и видал, что в дождик, а теперь ко мне приставили прислугу, всякое утро меня переворачивают на другой бок, всякий вечер поливают из лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска! Ну, можно ли быть счастливее меня!

Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну и досталось же ему! Его и резали, и кроили, и кололи иголками – да, да! Нельзя сказать, чтобы это было приятно! Зато из холста вышло двенадцать пар... таких принадлежностей туалета, которых не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых двенадцать пар вышло!

– Так вот когда только из меня вышло кое-что! Вот каково было мое назначение! Да ведь это же просто благодать! Теперь и я приношу пользу миру, а в этом ведь вся и суть, в этом-то вся и радость жизни! Нас двенадцать пар, но все же мы одно целое, мы – дюжина! Вот так счастье!

Прошли года, и белье изнашивалось.

– Всею на свете бывает конец! – сказало оно. – Я бы и радо было послужить еще, но невозможное – невозможно!

И вот белье разорвали на тряпки. Они было уже думали, что им совсем пришел конец, так их принялись рубить, мять, варить, тискать... Ан глядь – они превратились в тонкую белую бумагу!

– Нет, вот сюрприз так сюрприз! – сказала бумага. – Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только на мне не напишут! Какое счастье!

И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее – так хорошо и умно они были написаны. Слова, которые были написаны на бумаге, означали для людей истинное благодеяние.

– Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками! – говорила бумага. – И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастье нести людям радость и знания! Я все еще не могу прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь это так!

Господь Бог знает, что сама я тут ни при чем, я старалась только по мере слабых сил своих не даром занимать место! И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: «Ну, вот и песенке конец», – тут-то как раз и начинается для меня новая, еще высшая, лучшая жизнь! Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне! Так ведь и должно быть! Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшею мыслью! Счастливее меня нет никого на свете!

Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большому числу людей, нежели одна та

бумага, на которой были написаны рассказы: бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути.

«Да, конечно, так дело-то будет вернее! – подумала исписанная бумага. – Этого мне и в голову не приходило! Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку! На мне ведь все написано, слова стекали с пера прямо на меня! Я останусь, а книги будут бегать по белу свету! Вот это дело! Нет, как я счастлива, как я счастлива!»

Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку.

– Ну, можно теперь и опочить на лаврах! – сказала бумага. – Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться! Теперь только я поняла как следует, что во мне есть! А познать себя самое – большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю – что непременно двинусь вперед! Все на свете постоянно идет вперед, к совершенству.

В один прекрасный день бумагу взяли да и сунули под плиту; ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавочку на обертку масла и сахара.

Дети обступили плиту; им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другою шаловливые, блестящие искорки! Точь-в-точь ребяташки бегут домой из школы! После всех выходит учитель – это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вышел, – ан нет! Он выходит еще много времени спустя после самого последнего школьника!

И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула!

– Уф! – сказала она и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвилось в воздух так высоко, как никогда не мог поднять своих голубеньких цветочных головок лен, и сияла таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись докрасна и все слова и мысли обратились в пламя!

– Теперь я взовьюсь прямо к солнцу! – сказала пламя, словно тысячами голосов зараз, и взвилось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче, воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне. Когда пламя погасло, они еще раз проплясали по

черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребятишки выбежали из школы, за ними вышел и учитель; любо было поглядеть на них! И дети запели над мертвою золой:

Оплянуться не успеешь,  
Как уж песенке конец!

Но незримые крошечные существа говорили:

– Песенка никогда не кончается – вот что самое чудесное! Мы знаем это, и потому мы счастливее всех!

Но дети не расслышали ни одного слова, а если б и расслышали – не поняли бы. Да и не надо! Не все же знать детям!





1850-е

## Птица Феникс

В райском саду под деревом познания цвел розовый куст; в первой же распутившейся на нем розе родилась птица; перья ее отливали чудными красками, полет ее был – сиянием, пение – дивной гармонией.

Но вот Ева вкусила от дерева познания, и ее вместе с Адамом изгнали из рая, а от пламенного меча ангела возмездия упала в гнездо одна искра. Гнездо вспыхнуло, и птица сгорела, но из раскаленного яйца вылетела новая, единственная, всегда единственная в мире птица Феникс. Мифы говорят, что она вьет себе гнездо в Аравии и каждые сто лет сама сжигает себя в гнезде, но из раскаленного яйца вылетает новый Феникс, опять единственный в мире.

Быстрая, как луч света, блистая чудною окраской перьев, чаруя своим дивным пением, летает вокруг нас дивная птица.

Мать сидит у колыбели ребенка, а птица витает над его изголовьем, и от веяния ее крыл вокруг головки ребенка образуется сияние. Залетает птица и в скромную хижину труженика, и тогда луч солнца озаряет хижину, а жалкий деревянный сундук начинает благоухать фиалками.

Птица Феникс не вечно остается в Аравии. Она парит вместе с северным сиянием и над ледяными равнинами Лапландии, порхает между желтыми цветами, питомцами короткого лета, и в Гренландии. В глубине Фалунских рудников и в угольных шахтах Англии вьется она напудренной молью над молитвенником в руках благочестивого рабочего; в цветке лотоса плавает по священным водам Ганга, и глаза молодой индийской девушки загораются при виде ее огнем восторга!

Птица Феникс! Разве ты не знаешь ее, этой райской птицы, священного лебедя песнопений? На колеснице Фесписа сидела она болтливым вороном, хлопая черными крыльями; по струнам арфы исландского скальда звонко ударяла красным клювом лебедя; на плечо Шекспира опускалась вороном Одина и шептала ему на ухо: «Тебя

ждет бессмертие»; в праздник певцов порхала в рыцарской зале Вартбурга.

Птица Феникс! Разве ты не знаешь ее? Это она ведь пропела тебе марсельезу, и ты целовал перо, выпавшее из ее крыла; она являлась тебе в небесном сиянии, а ты, может быть, отворачивался от нее к воробьям с крыльями, раззолоченными сусальным золотом!..

Райская птица, каждое столетие погибающая в пламени и вновь возрождающаяся из пепла, твои золотые изображения висят в роскошных чертогах богачей, сама же ты часто блуждаешь бесприютная, одинокая!.. Птица Феникс, обитающая в Аравии, – только миф!

В райском саду родилась ты под деревом познания, в первой распустившейся розе, и творец отметил тебя своим поцелуем и дал тебе настоящее имя – Поэзия!

1850

### Директор кукольного театра



В числе пассажиров на пароходе находился пожилой господин; лицо у него было такое веселое, довольное, что, не лги оно только, обладателя его приходилось признать счастливейшим человеком на свете. Да так оно и было – он сам сказал мне это. Оказался он моим земляком, датчанином, и директором странствующей труппы. Всю труппу он возил с собою в большом сундуке: он был директором кукольного театра. Природный веселый нрав господина директора прошел через горнило испытания и закалился благодаря эксперименту одного политехника. Последний превратил директора в истинного счастливца. Сразу я не смекнул, в чем было дело; тогда он подробно рассказал мне всю историю. Вот она.

– Дело было в городе Слагельсе, – рассказывал он. – Я давал представление в зале на почтовой станции; сбор был полный, публика блестящая, но совсем зеленая, за исключением двух-трех пожилых матрон. Вдруг входит господин в черной паре, с виду студент, садится и где следует смеется, где следует аплодирует!.. Зритель не из обыкновенных! Я захотел узнать, кто он такой. Слышу – кандидат политехнических наук, командированный в провинцию просвещать народ. В восемь часов вечера представление мое кончилось, детям надо ведь ложиться спать пораньше, а мое дело заботиться об удобствах публики. В девять часов начал читать лекцию и показывать свои опыты кандидат, и теперь я превратился в слушателя. Да, оно и стоило послушать и поглядеть! Правда, большую часть лекции впору было понять разве пастору, как это у нас говорится, но все же я кое-что понял, а главное, усвоил себе мысль, что если мы, люди, способны додуматься до таких вещей, то должны годиться кое на что и после того, как нас упрячут в землю. Кандидат положительно делал маленькие чудеса, но все выходило у него так просто, естественно! Во времена Моисея и пророков такой политехник прослыл бы за одного из первых мудрецов, а в средние века его бы просто сожгли! Всю ночь я не мог заснуть; на другой день вечером я опять давал представление; кандидат снова присутствовал, и я был, что называется, в ударе. Я слышал от одного актера, что он, играя роли первых любовников, всегда имел в виду одну из зрительниц, для нее одной и играл, забывая всех остальных. Такою «зрительницей» стал для меня кандидат; для него я и играл. Представление кончилось, всю мою труппу вызвали, а меня кандидат пригласил к себе распить с ним в

компании бутылочку вина. Он говорил о моем театре, а я – о его науке, и думаю, что оба мы были одинаково довольны друг другом, но я в своем деле все-таки перешеголял его: он-то многих из своих фокусов и сам объяснить не мог. Почему, например, железная пластинка, пропущенная сквозь спираль, намагничивается? Она словно одухотворяется, но как, чем? Вот и с людьми то же самое, думается мне: создатель пропускает их через спираль времени, на них нисходит дух, и вот вам – Наполеон, Лютер или кто-нибудь другой в этом роде. «Мир – ряд чудес, сказал мой кандидат, – но мы так привыкли к ним, что зовем их обыденными явлениями». И он пустился в объяснения; под конец мне стало казаться, что мне как будто приподняли темя и мозговое помещение мое расширилось! Я сознался, что, не уйди уже мое время, я бы сейчас же поступил в политехнический институт, учиться разбирать мир по косточкам, даром что я и без того один из счастливейших людей на свете! «Один из счастливейших людей! – повторил кандидат, словно смакуя мои слова. – Так вы счастливы?» – «Да! – ответил я. – Я счастлив; меня с моей труппой принимают отлично во всех городах. Правда, есть у меня одно желание, которое иногда дразнит меня, как бесенок, и смущает мой веселый нрав... Мне бы хотелось стать директором настоящей труппы!» – «Вы хотели бы оживить своих марионеток? Желали бы, чтобы они сделались настоящими актерами, а вы директором настоящей труппы? – спросил меня кандидат. – Вы думаете, что будете тогда вполне счастливы?»

Сам он этого не думал, а я думал, и мы долго спорили, но каждый остался при своем мнении. Разговаривая, мы не переставали чокаться: вино было доброе, но не простое, что ни говори; иначе пришлось бы объяснить всю историю тем, что я попросту наклюкался! Но пьян я не был, ни-ни!.. Вдруг вижу, всю комнату точно озарило солнцем; лицо кандидата так и светится. Мне сейчас вспомнились сказания о вечно юных богах древности, разгуливавших по свету. Я сказал ему об этом, он улыбнулся, и я готов был поклясться, что передо мною сидит сам переодетый бог или один из сродников богов. Так оно и было; и вот желанию моему суждено было исполниться: куклы должны были сделаться живыми людьми, а я – настоящим директором. По этому случаю мы выпили еще; потом кандидат запрятал всех моих кукол в

сундук, привязал его к моей спине и пропустил меня через спираль. Я и теперь еще слышу, как я шлепнулся на пол!

В самом деле, я лежал на полу, а вся моя труппа выпрыгнула из ящика. Куклы превратились в замечательных артистов – это они сами мне сказали, – а я был их директором. Все было готово к первому представлению, но вся труппа желала поговорить со мною, публика тоже. Первая танцовщица заявила, что, если она не будет стоять на одной ножке, сборы падут; она являлась главным лицом в труппе и требовала соответственного обращения с собою. Кукла, игравшая королев, желала, чтобы с нею и вне сцены обходились как с королевой, – иначе она отвыкнет от своего амплуа! Выходной актер, являвшийся с письмами, воображал себя такою же артистическою величиною, как и первый любовник: нет ни малых, ни великих актеров, все одинаково важны в смысле сценического ансамбля! Трагик же требовал, чтобы вся его роль сплошь состояла из одних сильных мест: за ними ведь следуют аплодисменты и вызовы. Примадонна хотела играть только при красном бенгальском освещении – это ей шло, а голубое было не к лицу. Словом, все жужжали, точно мухи в бутылке, а в середине ее сидел я сам – я был директором! Дыхание спиралось у меня в груди, голова кружилась, я очутился в самом жалком положении, в какое только может попасть человек: меня окружала совсем новая порода людей! Я от души желал упрятать их всех опять в сундук и вовеки не бывать настоящим директором! Я и сказал им прямо, что все они, в сущности, только марионетки, а они за это избили меня до полусмерти.

Очнулся я на своей постели, в своей комнате. Как я попал туда от кандидата, знает он, а не я. Месяц светил прямо на пол, а на полу валялся опрокинутый сундук и вокруг него все мои куклы, малые и большие, – вся труппа! Я зевать не стал, спрыгнул с постели, побросал их всех в сундук, которых ногами вниз, которых головой, захлопнул крышку и сам уселся на нее. Вот-то была картина! Можете вы себе представить ее? Я могу. «Ну-с, теперь вы останетесь там! – сказал я куклам. – А я никогда больше не пожелаю оживить вас!» На душе у меня стало так легко, я опять был счастливейшим человеком. Кандидат политехнических наук просветил меня. Я был до того счастлив, что как сидел на сундуке, так и заснул. Утром – скорее, впрочем, в полдень, я непостижимо долго спал в этот день! – я

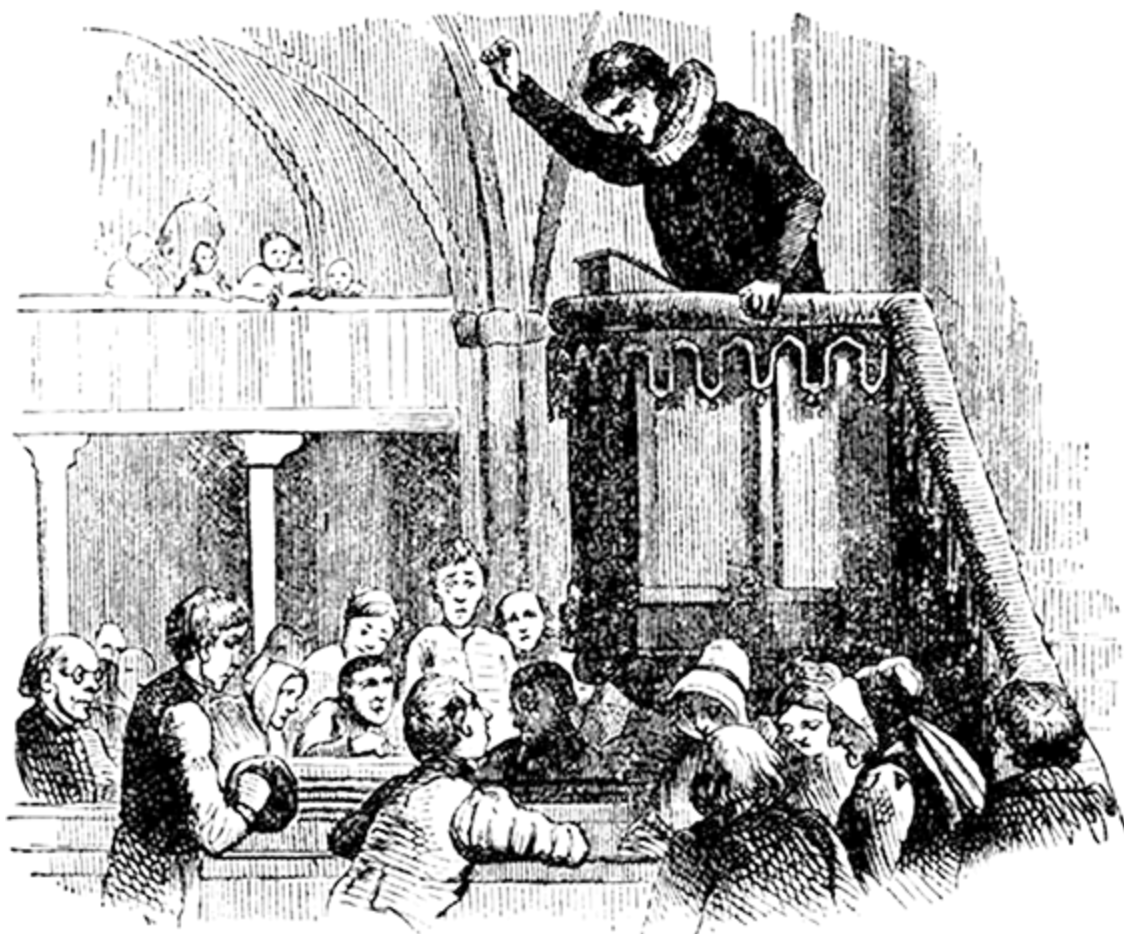
проснулся и увидал, что все еще сижу на сундуке. Теперь я был вполне счастлив: я убедился, что мое прежнее желание было просто глупостью. Я справился о кандидате, но он исчез, как исчезали греческие и римские боги. С тех пор и я остаюсь счастливейшим человеком. Ну, не счастливый ли я в самом деле директор? Труппа моя не рассуждает, публика тоже, а забавляется себе от всей души. И я свободно могу сам сочинять для себя пьесы. Из всех пьес я беру что хочу – самое лучшее, и никто не в претензии. Есть такие пьесы, которыми теперь директора больших театров пренебрегают, но которые лет тридцать тому назад давали полные сборы, заставляли публику проливать слезы: я даю эти пьесы на своей сцене, и малыши плачут, как, бывало, плакали их папаши и мамыши. Я даю «Иоганну Монфокон» и «Дювеке» – конечно, в сокращенном виде: малыши не любят длинной любовной канители; им хоть несчастливо, да скоро. Так-то изъездил я всю Данию и вдоль и поперек, знаю всех, и меня знают все. Теперь вот направляюсь в Швецию; посчастливится мне там, наживу деньжонок – сделаюсь скандинавом (приверженцем идеи объединения всех трех северных государств), а иначе – нет; говорю вам откровенно, как своему земляку!

А я в качестве такового, конечно, не замедлил рассказать о своей встрече вам; такая уж у меня повадка – рассказывать.

## Сон

Все яблони в саду покрылись бутонами – цветочкам хотелось опередить зеленые листья. По двору разгуливали утята, на солнышке потягивалась и нежилась кошка, облизывая свою собственную лапку. Хлеба в полях стояли превосходные, птички пели и щебетали без умолку, словно в день великого праздника. В сущности, оно так и было – день-то был воскресный. Слышался благовест, и люди, разодетые по-праздничному, с веселыми, довольными лицами шли в церковь. Да, право, и вся природа вокруг как будто сияла! Денек выдался такой теплый, благодатный, что так вот и хотелось воскликнуть: «Велика милость божья к нам, людям!»

Но с церковной кафедры раздавались не такие речи; пастор громко и сурово доказывал слушателям, что все люди – безбожники, что Бог накажет их, ввергнет по смерти в геенну огненную, где огонь неугасающий и червь неумирающий! Вечно будут они мучиться там, без конца, без отдыха! Просто ужас брал, слушая его! Он говорил ведь так уверенно, так подробно описывал преисподнюю, эту смрадную яму, куда стекаются нечистоты со всего мира и где грешники задыхаются в серном, удушливом воздухе, погружаясь, среди вечного безмолвия, в бездонную трясику все глубже и глубже!.. Да, страшно было даже слушать, тем более что пастор говорил с такой искренней верой; все бывшие в церкви просто трепетали от ужаса.



А за церковными дверями так весело распевали птички, так славно сияло солнышко, и каждый цветочек как будто говорил: «Велика милость божья к нам всем!». Все это было так непохоже на то, о чем говорил пастор.

Вечером, перед тем как ложиться спать, пастор заметил, что жена его сидит в каком-то грустном раздумье.

– Что с тобой? – спросил он ее.

– Что со мной? – проговорила она. – Да вот, я все не могу хорошенько разобраться в своих мыслях. Не могу взять в толк того, что ты говорил сегодня утром... Неужели и в самом деле на свете так много безбожников, и все они, будут гореть в огне вечно?... Подумать только, так долго – вечно! Нет, я только слабая, грешная душа, как и все, но если и у меня не хватило бы духа осудить на вечные муки даже самого злейшего грешника, то как же может решиться на это Господь Бог? Он ведь бесконечно милосерден и знает, что грех бывает и



вольный и невольный! Нет, что ты там ни говори, а я не пойму этого никогда!

Настала осень; вся листва с деревьев пооблетела; серьезный, суровый пастор сидел у постели умирающей. Благочестивая, верующая душа отходила в другой мир. Это была жена пастора.

– Если кого ждет за гробом вечный покой и милость божья, так это тебя! – промолвил пастор, сложил умершей руки и прочел над ней молитву.

Ее схоронили; две крупные слезы скатились по щекам сурового пастора. В пасторском доме стало тихо, пусто – закатилось его яркое солнышко, умерла хозяйка.

Ночью над головою пастора пронеслась вдруг холодная струя ветра. Он открыл глаза. Комната была словно залита лунным светом, хотя ночь не была лунная. Свет этот шел от стоявшей у постели прозрачной фигуры. Пастор увидел перед собою тень своей покойной жены. Она устремила на него скорбный взгляд и как будто хотела сказать что-то.

Пастор слегка приподнялся, простер руки к призраку и сказал:

– Неужели и ты не обрела вечного покоя? И ты страдаешь? Ты, добродетельнейшая, благочестивейшая душа?!

Тень утвердительно кивнула головой и прижала руку к сердцу.

– И от меня зависит дать тебе это успокоение?

– Да! – донеслось до него.

– Но как?

– Дай мне волос, один-единственный волос с головы того грешника, который будет осужден на вечные муки, ввергнут Богом в геенну огненную.

– Так мне легко будет освободить тебя, чистая, благочестивая душа! – сказал он.

– Следуй же за мною! – сказала тень. – Нам разрешено лететь с тобой всюду, куда бы ни повлекли тебя твои мысли! Незримые ни для кого, заглянем мы в самые тайники человеческих душ, и ты твердою рукой укажешь мне осужденного на вечные муки. Он должен быть найден, прежде чем пропоет петух.

И вот они мгновенно, словно перенесенные самой мыслью, очутились в большом городе. На стенах домов начертаны были огненными буквами названия смертных грехов: высокомерие,

скупость, пьянство, сладострастие... Словом, тут сияла вся семицветная радуга грехов.

– Так я и думал, так и знал! Вот где обитают обреченные вечно гореть в огне преисподней! – сказал пастор.

Они остановились перед великолепно освещенным подъездом. Широкие лестницы, устланные коврами, уставленные цветами, вели в покои, где гремела бальная музыка. У подъезда стоял швейцар, разодетый в шелк и бархат, с большою серебряною булавой в руках.

– Наш бал поспорит с королевским! – сказал он, оборачиваясь к уличной толпе, а вся его фигура так и говорила: «Весь этот жалкий сброд, что глазеет в двери, мразь в сравнении со мною!»

– Высокомерие! – сказала тень усопшей. – Заметил ты его?

– Его! – повторил пастор. – Да ведь он просто плувец, шут! Кто же осудит его на вечную муку?

– Шут! – пронеслось эхом по всей этой обители высокомерия; все жильцы ее были таковы!

Пастор и призрак понесли дальше и очутились в жалкой каморке с голыми стенами. Тут обитала скупость. Исхудалый, дрожащий от холода, голодный и изнывающий от жажды старик цеплялся всею душой, всеми помыслами за свое золото. Они видели, как он, словно в лихорадке, вскакивал с жалкого ложа и вынимал из стены кирпич – за ним лежало в старом чулке его золото, потом ощупывал дрожащими влажными пальцами свой изношенный кафтан, в котором тоже были защиты золотые монеты.

– Он болен! Это жалкий безумец, не знающий ни покоя, ни сна! – сказал пастор.

Они поспешно унеслись прочь и очутились в тюрьме, у нар, на которых спали вповалку преступники. Вдруг один из них испустил ужасный крик, вскочил со сна, как дикий зверь, и принялся толкать своими костлявыми локтями спящего рядом соседа. Тот повернулся и проговорил спросонья:

– Замолчи, скот, и спи! И это каждую ночь!..

– Каждую ночь! – повторил первый. – Да, он каждую ночь и приходит ко мне, воет и душит меня... Сгоряча я много делал злого, таким уж я уродился! Оттого я опять и угодил сюда! Но коли я грешил, так теперь и несу наказание! В одном только я не повинился еще. Когда меня в последний раз выпустили отсюда на волю и я проходил

мимо двора моего хозяина, сердце во мне вдруг так вот и закипело... Я чиркнул о стенку спичкою, огонек слегка лизнул соломенную крышу, и все вспыхнуло разом. Пошла тут кутерьма не хуже, чем была у меня в душе!.. Я помогал спасать скот и имущество. Не сгорело ни одной живой души, кроме стаи голубей, которые влетели прямо в огонь, да цепного пса. О нем-то я и не вспомнил. Слышно было, как он выл в пламени... Вой этот и до сих пор отдается у меня в ушах, как только я начну засыпать, а засну – пес тут как тут, большущий, лохматый!.. Он наваливается на меня, воет, давит меня, душит... Да ты слушай, что я тебе рассказываю! Успеешь выспаться! Небось храпишь всю ночь, а я не могу забыться и на четверть часа!

И глаза безумца палились кровью, он бросился на соседа и стал бить его по лицу кулаками.

– Злой Мас опять взбесился! – слышались голоса, и другие преступники бросились на него, повалили, перегнули так, что голова его очутилась между ногами, и крепко-накрепко связали его. Кровь готова была брызнуть у него из глаз и изо всех пор кожи.

– Вы убьете несчастного! – вскричал пастор и протянул руку на защиту грешника, который так жестоко страдал еще при жизни, но обстановка вокруг опять изменилась.

И вот они пролетали через богатые дворцы, через бедные хижинки; сладострастие, зависть – все смертные грехи проходили перед ними. Ангел возмездия громко перечислял грехи людей и затем все, что могло послужить в их оправдание. Немногое можно было сказать в защиту людей, но Бог читает в сердцах, видит все смягчающие обстоятельства, знает, что грех бывает вольный и невольный, да и велика милость его, всемилосердного, всеблагого! И рука пастора дрожала, он не смел протянуть ее, чтобы сорвать волос с головы грешника. Слезы ручьем полились из его глаз, слезы жалости и любви, которые могут залить даже огонь преисподней.

Запел петух.

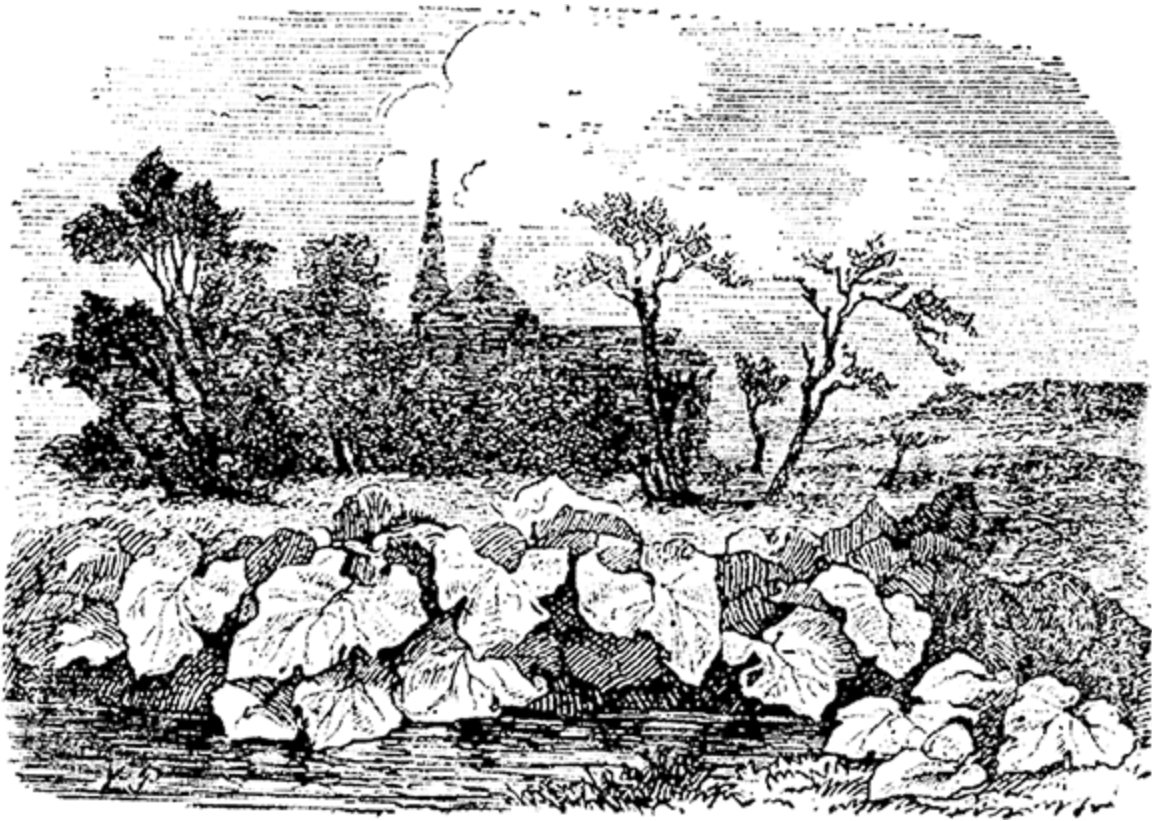
– Милосердный боже! Даруй же ты ей тот покой, которого не в силах был доставить я!

– Я уже обрела его! – сказала тень. – Меня привели к тебе твои жестокие слова, мрачное недоверие к Богу и к его творению! Познай же душу людей! Даже в самых злых грешниках жива божья искра!

Она теплится в их душе, и ее благодатное пламя сильнее огня преисподней!..

Тут пастор почувствовал на своих губах крепкий поцелуй: было совсем светло, ясное солнышко светило в окошки; жена его, живая, ласковая и любящая, разбудила его от сна, ниспосланного ему самим Богом.

## Немая книга



У проселочной дороги, в лесу, стоит одинокий крестьянский дом. Проходим прямо во двор; солнышко так и сияет, все окошки отворены, жизнь кипит ключом, но в беседке из цветущей сирени стоит открытый гроб. В нем лежит покойник; его будут хоронить сегодня утром, а пока поставили в беседку. Никто не стоит возле гроба, никто не скорбит об умершем, никто не плачет над ним. На лицо его наброшен белый покров, а голова покоится на большой, толстой книге; листы ее из простой, серой бумаги; между ними скрыты и забыты засушенные цветы. Книга эта – целый гербарий, собранный по разным местам, и должна быть зарыта вместе с умершим: так он велел; с каждым цветком связана была ведь целая глава из его жизни.

– Кто он? – спросили мы, и нам ответили:

– Старый студент из Упсалы! Когда-то он был способным малым, изучал древние языки, пел и даже, говорят, писал стихи. Но потом с ним что-то приключилось, и он стал топить свои мысли и душу в

водке; в ней же потонуло и его здоровье, и вот он поселился здесь, в деревне; кто-то платил за его помещение и стол. Он был кроток и набожен, как дитя, но иногда на него находили минуты мрачного отчаяния; тогда с ним трудно было справиться, и он убегал в лес, как гонимый зверь. Стоило, однако, залучить его домой да подсунуть ему книгу с засушенными растениями, и он сидит, бывало, по целым дням, рассматривая то тот, то другой цветок. Иной раз по его щекам бежали при этом крупные слезы. Бог знает, о чем он думал в такие минуты! И вот он просил положить эту книгу ему в гроб; теперь она лежит у него под головой. Сейчас гроб заколотят, и бедняга успокоится в могиле навеки!

Мы приподняли покров. Миром и спокойствием веяло от лица покойного; солнечный луч озарял его чело; стрелой влетела в беседку ласточка, быстро повернулась на лету над головой покойника, прощебетала что-то и скрылась.

Какое-то странное чувство, знакомое, вероятно, всем, овладевает душой, когда начнешь перечитывать старые письма, относящиеся к дням нашей юности. Перед взором словно всплывает целая жизнь со всеми ее надеждами и печалью. Сколько из тех людей, с которыми мы когда-то жили душа в душу, умерло с тех пор для нас! Правда, они живы и до сих пор, но мы столько лет уже не вспоминали о них! А ведь когда-то думали, что вечно будем делить с ними и горе и радость.

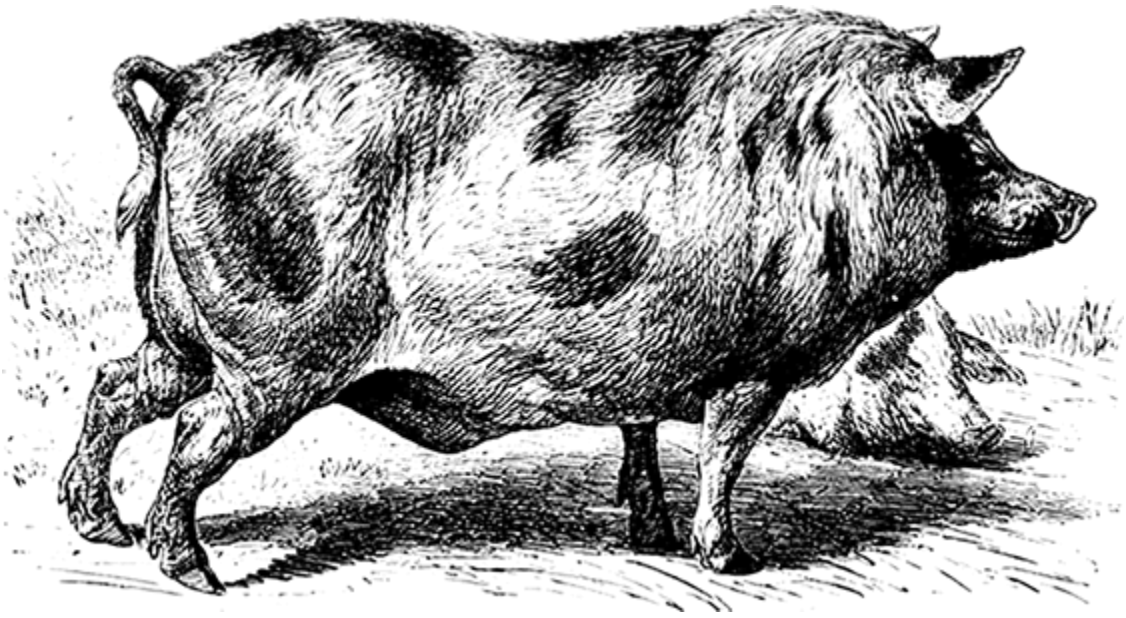
Вот засушенный дубовый листок. Невольно приходит на ум друг, товарищ школьных лет, друг на всю жизнь! Он сам воткнул этот листок в фуражку студента, сорвав его в зеленом лесу, где был заключен товарищеский союз на всю жизнь! Где же этот друг теперь?.. Листок был спрятан, друг забыт! А вот веточка какого-то чужеземного тепличного растения, слишком нежного, чтобы расти в садах севера. Сухие листики как будто еще сохранили свой аромат! Эту веточку дала ему она... она – цветок, взлелеянный в дворянской теплице! Вот белая кувшинка; он сам сорвал и оросил горькими слезами этот цветок – дитя тихих, стоячих вод. Вот крапива! О чем говорят ее листья? О чем думал он сам, срывая и пряча ее? Вот лесной ландыш; вот веточка козьей жимолости из цветочного горшка, стоявшего на окне постоянного двора, а вот голые, острые травяные стебли!

Душистые, усыпанные цветами ветви сирени склоняются к челу усопшего; снова пролетает ласточка: «кви-вит, кви-вит!..» Приходят люди с молотком и гвоздями; покойник скрывается под крышкой навеки; голова его покоится на немой книге. Скрыто – забыто!

1851

## **Свиньи**

Стоило милейшему Чарлзу Диккенсу рассказать нам о свинье, мы и смеемся теперь, едва заслышим ее хрюканье. Святой Антоний тоже взял свиней под свое покровительство, а вспомнив о блудном сыне, непременно вспомнишь и о свином закутке. Перед таким-то закутком и остановился однажды наш экипаж. У самой дороги стоял крестьянский дом, а тут же, под боком у него, и свиной закуток. Другой такой вряд ли бы где нашелся! Это была огромная старинная парадная карета. Вынули из нее сиденья, сняли колеса и без дальнейших церемоний ткнули в землю брюхом. Теперь в ней сидели четыре свиньи, но были ли они первыми, попавшими сюда, – сказать мудрено. О том же, что нынешнее помещение их – урожденная парадная карета, свидетельствовало все, до сафьянового лоскутка, остатка внутренней обивки, включительно. И все, что мы рассказываем, истинная правда!



«Хрю-хрю!» – слышалось из кареты, а сама карета скрипела и трещала, жалуясь на судьбу. Да, конец печальный! «Конец, конец красным денькам!» – вздыхала она или по крайней мере могла бы вздыхать.

Случилось нам опять проехать мимо нее осенью. Карета стояла на том же месте, но свиней в ней уже не было. Они теперь хозяйничали в лесу. Дождь так и сек деревья, а ветер рвал с них листья, ни на минуту не давая им отдыха. Птички все давно улетели. «Конец красным денькам!» – вздыхала карета. То же самое твердила и вся природа, и ей вторило человеческое сердце: «Конец красным денькам! Конец чудному зеленому убору леса, теплomu солнышку и пению птичек, всему, всему!»

То же слышалось и в скрипенье дерев, тот же скорбный глубокий вздох слышался и из самой сердцевины розового куста. Это вздыхал царь роз. Знаешь ли ты его? Его нетрудно узнать: он весь одна борода, чудеснейшая красно-зеленая борода. Подойди к розовому кусту осенью, когда цветов на нем уже нет, а лишь одни красноватые плоды. Между ними часто сидит и большой красно-зеленый поросший мхом цветок. Это-то и есть царь роз, единственный мужчина на всем розовом кусте; на маковке у него торчит маленький зелененький листочек; это его султан. Так вот этот-то царь и вздыхал:

– Конец! Конец! Конец красным денькам! Конец розам! Листья все опали! Птички замолкли! Сыро, мокро! Свиньи пошли по желудям,



свиньи хозяйничают в лесу!

Ночи пошли холодные, дни серые, но ворон, сидя на ветке, все-таки кричал: «Браво! браво!» Вороны и вороны облепили все ветви; эта семейка ведь не из маленьких! И все кричали одно и то же: «Браво! браво!» А большинство всегда ведь право.

Под высокими деревьями в овраге образовалось настоящее месиво, и тут-то валялись свиньи – и большие, и маленькие; уж так-то им здесь было вольготно! «Oui! Oui!» – твердили они. Больше они по-французски не знали, но ведь и это уже кое-что. Ах, они были такие умные и такие жирные. Старые лежали смирно; они что-то думали. Молодые, напротив, резвились напропалую. У одного маленького поросенка кончик хвостика завернулся в колечко. Мать поросенка не могла налюбоваться на эту завитушку, гордилась ею. И ей казалось, что все только и смотрят на завитушку, только и думают о ней, – а хоть бы кто! Каждый думал о самом себе да о том, что можно извлечь из этого леса.

Свиньи всегда полагали, что желуди растут на корнях деревьев, оттого всегда и рылись в земле, и вдруг явился один такой молокосос-поросенок – это уж вообще дело молодежи являться с новостями – и объявил, что желуди падают с ветвей. Ему самому один желудь угодил прямо в голову. Это подало ему первую идею, он стал наблюдать и окончательно уверился в своем предположении. Старые свиньи сбились головами в кучу и хрюкали: «Конец убранству! Конец птичьей пискотне! Подавайте нам теперь плодов! Что можно слопать, то и годится, а слопать можно все!»

«Oui! Oui!» – хрюкали все.

А мамаша поросенка плядела на сыночка с завитушкой на хвостике и говорила: «Нельзя же вовсе забыть и о красоте!»

«Браво! Браво!» – закаркал ворон, слетевший сюда, чтобы занять амплуа соловья. Кому-нибудь да надо занимать его, вот ворона и приняла.

«Конец! Конец! – вздыхал царь роз. – Конец красным денькам!»

Было сыро, холодно и ветрено; дождь повис над лесом и полем, точно морской туман, и так и сек, так и хлестал их. Куда подевались все певуны-птички, куда подевались цветы с лугов и сладкие ягоды из леса? Конец, конец всему!

И вдруг в домике лесника блеснул, словно звездочка, огонек, и между деревьями проскользнул длинный луч света. Из домика слышалась песня. Это играли вокруг старичка дедушки ребятишки. Он же сидел с Библией на коленях, читал им из нее о Боге и о вечной жизни и говорил, что весна опять придет, лес опять зазеленеет, розы вновь расцветут, соловьи запоют, и красота снова взойдет на трон!

Но царь роз ничего этого не слышал. Он сидел в сырости и мокроте и вздыхал: «Конец! Конец!»

А свиньи все хозяйничали в лесу, и мамаша поросенка все любовалась на его завитушку.

«Всегда ведь найдутся ценители прекрасного!» – твердила она.

## **«Есть же разница!»**

Стоял май месяц; воздух был еще довольно холодный, но всё в природе – и кусты, и деревья, и поля, и луга – говорило уже о наступлении весны. Луга пестрели цветами; распускались цветы и на живой изгороди, а возле как раз красовалось олицетворение самой весны – маленькая яблонька вся в цвету. Особенно хороша была на ней одна ветка, молоденькая, свеженькая, вся осыпанная нежными полураспустившимися розовыми бутонами. Она сама знала, как она хороша; сознание своей собственной красоты трепетало у нее в каждой жилке. Ветка поэтому ничуть не удивилась, когда проезжавшая по дороге коляска остановилась прямо перед яблоней и молодая графиня сказала, что прелестнее этой веточки трудно и сыскать, что она живое воплощение юной красавицы весны. Веточку отломали, графиня взяла ее своими нежными пальчиками и бережно повезла домой, защищая от солнца шелковым зонтиком.

Приехали в замок, веточку понесли по высоким, роскошно убранным покоем. На открытых окнах развевались белые занавеси, в блестящих, прозрачных вазах стояли букеты чудесных цветов. В одну из ваз, словно вылепленную из свежевыпавшего снега, поставили и ветку яблони, окружив ее свежими светло-зелеными буковыми ветвями. Прелесть как красиво было!

Ветка возгордилась, и что же? Это было ведь в порядке вещей!

Через комнату проходило много разного народа; каждый посетитель смел высказывать свое мнение лишь в такой мере, в какой за ним самим признавали известное значение. И вот некоторые не говорили совсем ничего, некоторые же чересчур много; ветка смекнула, что и между людьми, как между растениями, есть разница.

«Одни служат для красоты, другие только для пользы, а без третьих и вовсе можно обойтись», – думала ветка.

Ее поставили как раз против открытого окна, откуда ей были видны весь сад и поле, так что она вдоволь могла наглядеться на разные цветы и растения и поразмыслить о разнице между ними; там было много всяких: и роскошных и простых, даже слишком простых.

– Бедные отверженные растения! – сказала ветка. – Большая, в самом деле, разница между нами! Какими несчастными должны они

себя чувствовать, если только они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные! Да, большая между нами разница! Но так и должно быть, иначе все были бы равны!

И ветка смотрела на полевые растения с каким-то состраданием; особенно жалким казался ей один сорт цветов, которыми кишмя кишели все поля и даже канавы. Никто не собирал их в букеты – они были слишком просты, обыкновенны; их можно было найти даже между камнями мостовой, они пробивались отовсюду, как самая последняя сорная трава. И имя-то у них было прегадкое: чертовы подойники.

– Бедное презренное растение! – сказала ветка. – Ты не виновато, что принадлежишь к такому сорту и что у тебя такое гадкое имя! Но и между растениями, как между людьми, должна быть разница!

– Разница! – отозвался солнечный луч и поцеловал цветущую ветку, но поцеловал и желтые чертовы подойники, росшие в поле; другие братья его – солнечные лучи – тоже целовали бедные цветочки наравне с самыми пышными.

Ветка яблони никогда не задумывалась о бесконечной любви Господа ко всему живому на земле, никогда не думала о том, сколько красоты и добра может быть скрыто в каждом Божьем создании, скрыто, но не забыто. Ничего такого ей и в голову не приходило, и что же? Собственно говоря, это было в порядке вещей!

Солнечный луч, луч света, понимал дело лучше.

– Как же ты близорука, слепа! – сказал он веточке. – Какое это отверженное растение ты так жалеешь?

– Чертовы подойники! – сказала ветка. – Никогда из них не делают букетов, их топчут ногами – слишком уж их много! Семена же их летают над дорогой, как стриженная шерсть, и пристают к платью прохожих. Сорная трава, и больше ничего! Но кому-нибудь да надо быть и сорною травой! Ах, я так благодарна судьбе, что я не из их числа!

На поле высыпала целая толпа детей. Самого младшего крошку принесли на руках и посадили на травку посреди желтых цветов. Малютка весело смеялся, шалил, колотил по траве ножками, валялся, рвал желтые цветы и даже целовал их в простоте невинной детской души. Дети постарше обрывали цветы прочь, а пустые внутри стебельки сгибали и вкладывали один их конец в другой, потом

делали из таких отдельных колец длинные цепочки и цепи и украшали ими шею, плечи, талию, грудь и голову. То-то было великолепие! Самые же старшие из детей осторожно срывали уже отцветшие растения, увенчанные перистыми коронками, подносили эти воздушные шерстяные цветочки – своего рода чудо природы – ко рту и старались сдуть разом весь пушок. Кому это удастся, тот получит новое платье еще до Нового года – так сказала бабушка.

Презренный цветок оказывался в данном случае настоящим пророком.

– Видишь? – спросил солнечный луч. – Видишь его красоту, его великое значение?

– Да, для детей! – отвечала ветка.



Приплелась на поле и старушка бабушка и стала выкапывать тупым обломком ножа корни желтых цветов. Некоторые из корней она собиралась употребить на кофе, другие – продать в аптеку на лекарство.

– Красота все же куда выше! – сказала ветка. – Только избранные войдут в царство прекрасного! Есть же разница и между растениями, как между людьми!

Солнечный луч заговорил о бесконечной любви Божьей ко всякому земному созданию: все, что одарено жизнью, имеет свою долю во всем – и во времени и в вечности!

– По-вашему это, может быть, и так! – сказала ветка.

В комнату вошли люди; между ними была и молодая графиня, поставившая ветку в прозрачную, красивую вазу, сквозь которую просвечивало солнце. Графиня несла в руках цветок – что же еще? – обернутый крупными зелеными листьями; цветок лежал в них как в футляре, защищенный от малейшего дуновения ветра. И несла его графиня в высшей степени бережно, как не несла даже нежную ветку яблони. Осторожно отогнула она зеленые листья, и из-за них выпянула воздушная, перистая семенная корона презренного желтого цветка. Его-то графиня так осторожно сорвала и так бережно несла, чтобы ветер не сдул ни единого из тончайших перышек его пушистого шарика. Она донесла его целым и невредимым и не могла налюбоваться красотой, прозрачностью, всем своеобразным построением этого чудо-цветка, вся прелесть которого – до первого дуновения ветра.

– Посмотрите же, что за чудо создал Господь Бог! – сказала графиня. – Я срисую его вместе с веткой яблони. Все любят ее, но милостью Творца и этот бедненький цветочек наделен не меньшею красотой. Как ни различны они, все же оба – дети одного царства прекрасного!

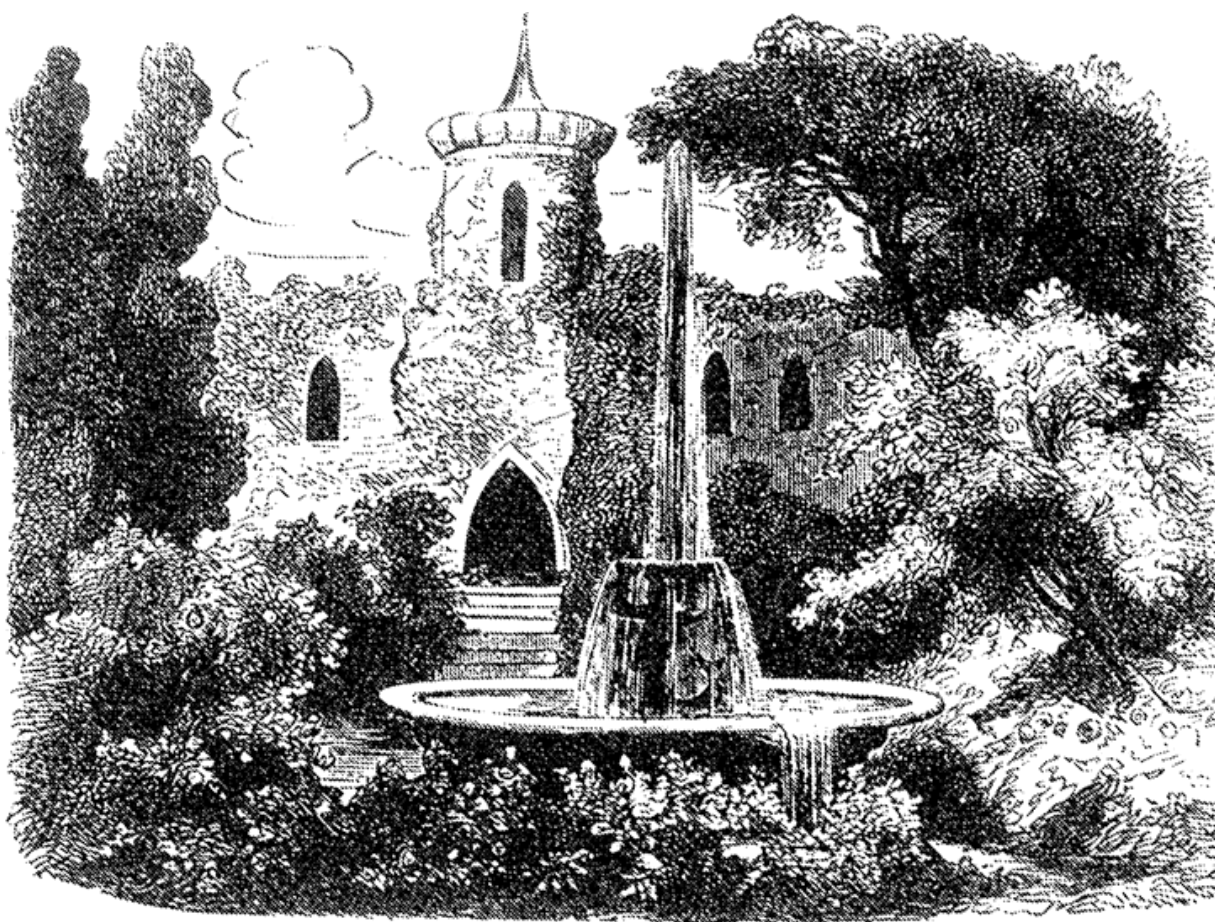
И солнечный луч поцеловал бедный цветочек, а потом поцеловал цветущую ветку, и лепестки ее как будто слегка покраснели.

## Прекраснейшая роза мира

В саду могущественной королевы были собраны цветы всех времен года, всех частей света; особенно же много было роз, любимых цветов королевы, роз всех родов и видов – от дикого шиповника с зелеными душистыми листьями до прекраснейших роз Прованса. Они вились по стенам дворца, обвивали колонны и окна, пробивались в коридоры и тянулись к самым потолкам дворцовых покоев. Что за дивное разнообразие запахов, форм и красок было в саду королевы!

Но в самом дворце царили печаль и горе. Королева лежала на смертном одре; врачи объявили, что час ее кончины близок.

– Единственное средство спасти королеву, – сказал мудрейший из врачей, – принести ей прекраснейшую розу мира, эмблему высшей, чистейшей любви. Королева не умрет, если узрит эту розу прежде, нежели сомкнет глаза навеки.



И вот стар и млад потянулись к одру королевы с самыми прекраснейшими розами, какие только цвели в стране, но между ними не было той розы! Та роза цвела в саду любви! Но какая же именно была эмблемой высшей, чистейшей любви?

И скальды пели о прекраснейшей розе мира, но каждый воспевал свою. Тогда кликнули клич по всей стране, воззвали ко всем сердцам, бьющимся любовью, обратились ко всем сословиям, всем возрастам!

– Никто еще не назвал настоящей розы! – сказал мудрец. – Никто не указал, где она цветет во всей своей красе. Не из гроба Ромео и Джульетты, не из могилы Вальборг выросла она, – хотя розы с их могил вечно будут благоухать в преданиях и песнях, – не из окровавленных копий Винкельрида, не из священной крови, брызнувшей из груди героя, умершего за отечество, – хотя и нет смерти слаще этой, нет розы краснее пролитой за отечество крови! И не ей посвящает свою молодую жизнь человек, проводящий годы за годами, целые дни и долгие, бессонные ночи, ухаживая за магической розой науки!

– Я знаю, где цветет та роза! – сказала счастливая мать, явившаяся к одру королевы с крошечным ребенком на руках. – Я знаю, где надо искать прекраснейшую розу мира – эмблему высшей, чистейшей любви. Она цветет на румяных щечках моего милого крошки, когда он, подкрепившись сном, открывает веселые глазки и любовно улыбается мне!

– Прекрасна эта роза, но есть еще прекраснее! – сказал мудрец.

– Да, куда прекраснее! – сказала одна из женщин. – Я видела ее. Священнее этой розы нет на свете, но она была бледна, как лепестки чайной розы. Я видела ее на щеках королевы; она сняла свою королевскую корону и ходила всю долгую, томительную ночь, баюкая свое больное дитя, плача над ним, целуя его и молясь за него, как только может молиться мать в часы смертельного страха за дорогого ребенка!

– Священна белая роза скорби, велико могущество ее, но все же это не та роза!

– Я видел ее, прекраснейшую розу мира, видел перед алтарем Господним! – сказал благочестивый старик епископ. – Она сияла, как светлый лик ангела. Молодые девушки шли к причастию, возобновить



обет, данный при крещении, и на их свежих щечках цвели алые и белые розы. И вот перед алтарем стояла одна молодая девушка; всей душой, полной небесной чистоты и любви, возносилась она к Богу. Вот она – чистейшая, высшая любовь!

– Благословенна такая любовь, но все же никто не назвал еще прекраснейшей розы мира! – сказал мудрец.

Вдруг в комнату вошел маленький сынок королевы; в глазах его стояли слезы, щеки были влажны; он нес в руках большую раскрытую книгу в бархатном переплете с серебряными застёжками.

– Мама! – сказал ребенок. – Послушай, что я сейчас прочел!

И дитя присело у постели больной и прочло из книги о Том, Кто добровольно умер на кресте ради спасения всех людей, даже ради не родившихся еще поколений!

– Нет выше этой любви!

И щеки королевы окрасились румянцем, глаза широко раскрылись: она увидела, что из листов книги выросла вдруг прекраснейшая роза мира, живое подобие той, что выросла из крови Христа, пролитой на кресте!

– Я вижу ее! – сказала она. – И вовеки не умрет тот, кто узрел перед собою эту розу, прекраснейшую розу мира!

1851

## **Через тысячи лет**

Да, через тысячи лет обитатели Нового Света прилетят в нашу старую Европу на крыльях пара, по воздуху! Они явятся сюда осматривать памятники и развалины, как мы теперь осматриваем остатки бывшего величия Южной Азии.

Они прилетят в Европу через тысячи лет! Темза, Дунай, Рейн будут течь по-прежнему; Монблан все так же гордо будет подымать свою снежную вершину, северное сияние – освещать полярные страны, но поколения за поколениями уже превратятся в прах, длинный ряд минутных знаменитостей будет забыт, как забыты имена тех, что почивают в кургане, на котором благодушный мельник, собственник его, поставил себе скамеечку, чтобы сидеть тут и любоваться волнующейся нивой.

– В Европу! – воскликнут юные поколения американцев. – В страну наших отцов, в страну чудных воспоминаний, в Европу!

Воздушный корабль прибывает; он переполнен пассажирами – он ведь мчится куда быстрее парохода. Электромагнитный провод, протянутый под морем, уже передал, как велико число пассажиров воздушного поезда. Вот показалась и Европа, берега Ирландии, но пассажиры еще спят; они велели разбудить себя только над самой Англией. Тут они спустятся на землю и очутятся в стране Шекспира, как зовут ее сыны муз, или в стране машин и политики, как называют ее другие.

Целый день стоит здесь поезд – вот сколько времени может недосужее поколение уделить великой Англии и Шотландии!

Дальше путь идет по подводному туннелю; ведет он во Францию, страну Карла Великого и Наполеона. Вспоминается имя Мольера, ученые заводят разговор о классической и романтической школах седой древности, восхваляют героев, поэтов и людей науки, которых еще не знает наше время, но которые должны народиться в европейском кратере – Париже.



Из Франции воздушный корабль несется в страну, откуда вышел Колумб, где родился Кортес, где слагал звучными стихами свои драмы Кальдерон. В ее цветущих долинах еще живут черноокие красавицы, а в старинных песнях живет имя Сида, упоминается Альгамбра.

Перелетают море, и вот путешественники в Италии, где лежал когда-то древний вечный город Рим. Он исчез с лица земли, Кампанья превратилась в пустыню, от собора Святого Петра осталась одна полуразрушенная стена; ее показывают всем путешественникам, но подлинность ее подлежит сомнению.

Дальше – в Грецию, чтобы проспать ночь в роскошном отеле на вершине Олимпа; тогда дело сделано: были, дескать, и там! Поезд направляется к берегам Босфора, чтобы остановиться на несколько часов у того места, где некогда лежала Византия. Бедные рыбаки

закидывают свои сети у тех берегов, где, по преданию, расстилались во времена турецкого владычества гаремные сады.

Пролетают над развалинами больших городов по берегам Дуная – городов этих наше время еще не видало. То тут, то там спускается воздушный поезд, останавливаясь в местах, богатых воспоминаниями, которые еще породит время.

Вот внизу Германия, некогда сплошь опутанная густою сетью железных дорог и каналов, страна, где проповедовал Лютер, пел Гёте, держал композиторский скипетр Моцарт. И другие великие имена сияют в науке и искусстве, имена, которых мы еще не знаем. Один день посвящается обозрению Германии, один – странам севера: родине Эрстеда, родине Линнея, и Норвегии, стране древних героев и юных норвежцев; Исландию захватывают на обратном пути. Гейзер не кипит более, Гекла потухла, но могучий скалистый остров возвышается из пены морских волн, как вечный памятник саг.

– В Европе есть на что посмотреть! – говорят юные американцы. – И мы осмотрели всё в одну неделю. Это вполне возможно, как уже доказал и великий наш путешественник – называют имя современника – в своем знаменитом сочинении «Вокруг Европы в восемь дней».

## Лебединое гнездо



Между Балтийским и Северным морями со времен седой древности лежит лебединое гнездо; зовут его Данией; в нем родились и рождаются лебеди с бессмертными именами.

Давно-давно вылетела оттуда целая стая лебедей, перелетела через Альпы и спустилась в зеленые долины благословенного юга; звали их лангобардами.

Другая стая, в блестящем оперении, с ясными и честными глазами, улетела в Византию. Там лебеди уселись вокруг трона императора и распростерли на защиту его свои широкие белые крылья, словно щиты. Лебедей тех звали варягами.

С берегов Франции раздался крик ужаса: с огнем под крылами неслись с севера кровожадные лебеди, и народ молился: «Боже, храни нас от диких норманнов».

На зеленом дерне, покрывающем открытый берег Англии, стоял датский лебедь, увенчанный тремя коронами, протягивая над страну свой золотой скипетр.

Язычники на берегах Померании преклонились перед датскими лебедями, явившимися к ним со знаменем креста и с поднятыми мечами.

«Все это было во времена седой древности!» – скажешь, пожалуй, ты.

Но и ближайшие к нам времена видели вылетающих из гнезда могучих лебедей.

Вот дивный свет разлился в воздухе и озарил все части света – лебедь прорезал своими могучими крылами нависший над землею туман, и звездное небо явилось глазам людей во всей своей красе, стало к ним словно ближе. Лебедь этот был Тихо Браге.

«Да и это было давно! – говоришь ты. – А в наши дни?»

И в наши дни вылетают из гнезда могучие лебеди. Один скользнул крылами по струнам золотой арфы, и струны зазвенели на весь Север, скалы Норвегии как будто стали еще выше и заблестели, освещенные солнцем седой древности, зашумели сосны и ели, и северные боги, герои и благородные жены ясно выступили на темном фоне дремучих лесов.

Другой лебедь ударил крылами по мраморной глыбе, она раскололась, и заключенные в камне образы вечной красоты вышли на свет Божий. Люди всех стран света подняли головы, чтобы узреть эти дивные творения.

А третий лебедь дал крылья мысли, создал провод, который перекинули из страны в страну по всей земле, и теперь слова бегут по нему и облетают землю с быстротою молнии.

Господь возлюбил старое лебединое гнездо между Балтийским и Северным морями. Пусть-ка попробуют хищные птицы налететь и разорить его! «Не бывать этому!» Даже не оперившиеся еще птенцы усядутся по краям гнезда и – как мы уже видели не раз – грудью встретят врага, станут из всех сил защищаться клювами и когтями!

И долго еще будут вылетать из гнезда лебеди на диво всему миру! Века пройдут, прежде чем воистину можно будет сказать: «Вот последний лебедь, вот последняя песнь, раздавшаяся из лебединого гнезда!»

## Старая могильная плита

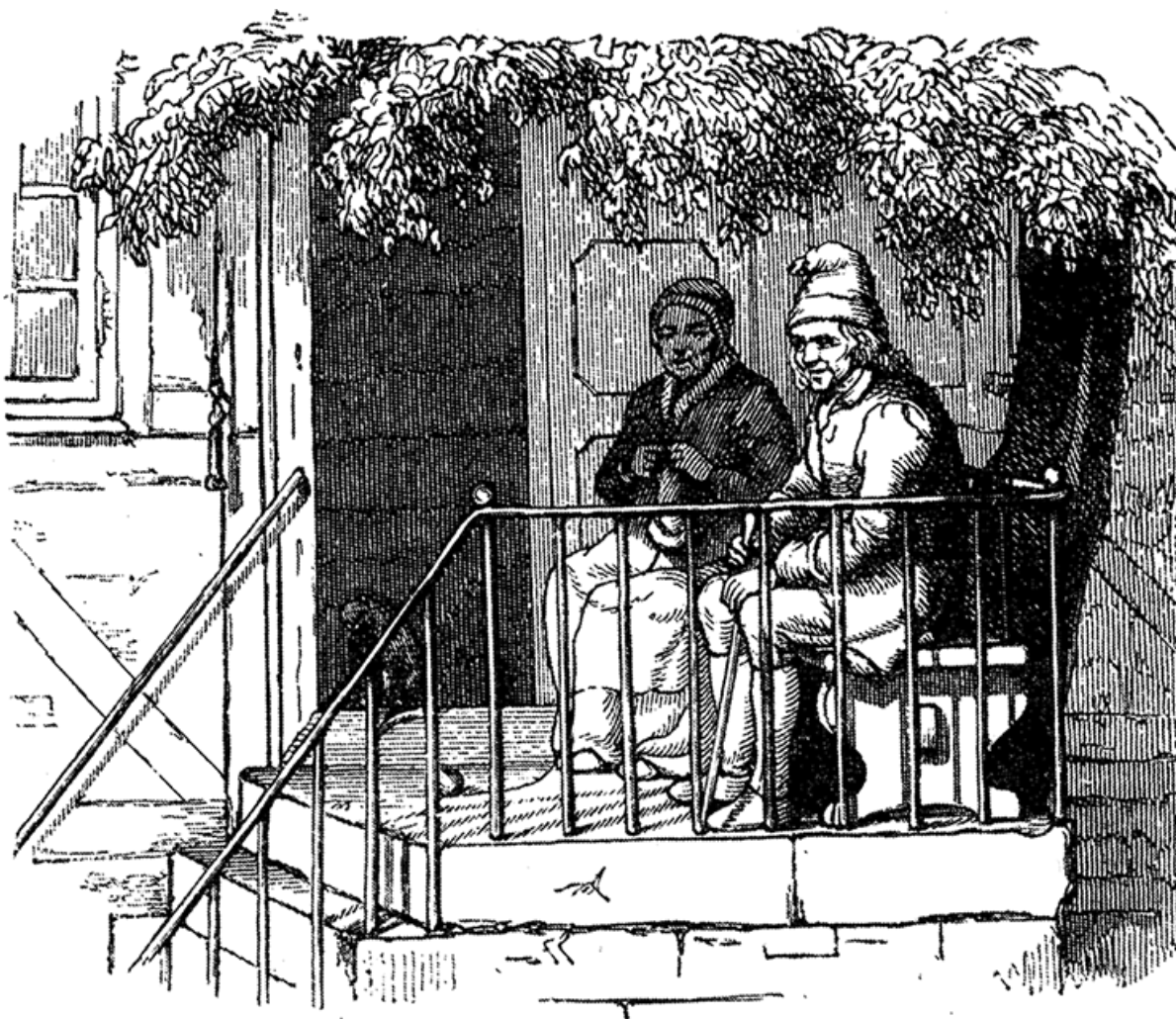
Все домашние одного почтенного горожанина, имевшего в маленьком провинциальном городке собственный дом, собрались вечером в кружок и вели приятную беседу. Дело было как раз в ту пору года, когда, как говорится, «вечеру прибывает», но погода стояла еще мягкая и теплая. В комнате горела лампа, длинные оконные занавеси спускались до самого пола, закрывая собою стоявшие на окнах цветы. На дворе ярко сиял месяц, но разговор шел не о нем, а о большом старом камне, что лежал во дворе у самого кухонного порога; на него опрокидывала прислуга вычищенную медную посуду, чтобы она пообсохла на солнышке, на нем любили играть и ребятишки, по-настоящему же камень этот был старою могильною плитой.

– Я думаю, – сказал хозяин дома, – что она со старого монастырского кладбища. Когда монастырь упразднили, все ведь пошло в продажу – и кафедры, и доски с эпитафиями, и могильные плиты. Покойный отец мой купил много таких плит; их разбивали в мелкие куски и мостили ими улицу, а эта вот одна уцелела, да так и осталась лежать на дворе.

– Сразу видно, что это могильная плита! – сказал старший из детей. – На ней еще можно разглядеть песочные часы и часть фигуры ангела; зато надпись почти совсем стерлась, и можно разобрать только имя «Пребен», затем большую букву «С», а пониже имя «Марта», – да и то лишь после дождя или после того, как плиту хорошенько вымоют.

– Ах, господи! Так это плита с могилы Пребена Сване и его жены! – сказал один старичок, который по годам мог быть дедушкой всех присутствовавших в комнате. – Да, они чуть ли не последними были погребены на старом монастырском кладбище. Славные, почтенные были старички! Я помню их еще с детских лет. Все в городе знали и любили их; они были у нас тут старейшею супружескою четой – королем с королевой. Говорили, будто у них сундуки ломаются от золота, а они одевались всегда так просто, в платье из самой грубой материи, и только белье на них всегда отличалось ослепительною белизной. Славною парочкой были старички Пребен и Марта! Любо было посмотреть на них, когда они, бывало, сидят под тенью старой

липы на скамеечке, стоявшей на площадке высокой каменной лестницы их дома, и так ласково, приветливо кивают всем прохожим! Они делали много добра, и делали его с толком и по-христиански, кормили и одевали десятки честных бедняков.



Первою умерла жена. Я так живо помню этот день! Я был тогда еще мальчишкой, и мы с отцом зашли к старому Пребену как раз в самый день ее смерти. Старик был в такой горе, плакал как ребенок. Тело умершей лежало в спальне, рядом с той комнатой, где мы сидели. Кроме нас с отцом пришли еще двое-трое соседей, и старик стал говорить нам о том, как пусто, одиноко будет теперь в доме — она ведь была душою его, — как счастливо жили они столько лет, а потом перешел к воспоминаниям о том времени, когда они только что



познакомились и полюбили друг друга... Я, как сказано, был тогда еще очень мал, но все же слушал с большим вниманием, смешанным с каким-го удивлением. И немудрено: старик с таким жаром рассказывал о днях помолви, о красоте своей невесты, о том, к каким невинным хитростям он прибегал, чтобы встретить ее, и лицо его оживлялось все больше и больше, щеки зарумянились! Затем он стал рассказывать о свадьбе, и глаза его заблестали еще ярче. Он словно опять переживал счастливейшие годы своей жизни... А подруга-то его уже лежала в это время в соседней комнате мертвая, и сам он был дряхлым-дряхлым стариком!..

Да, так-то оно бывает на свете! Вот и я в те времена был мальчуганом, а теперь – такой же старик, каким помню Пребена Сване! Время идет, и все на свете меняется!.. Я так живо помню день похорон старушки! Пребен шел за гробом. Еще года за два до того старики заказали себе могильную плиту; на ней были уже вырезаны и надпись и имена, недоставало только года смерти. Вечером в тот же день плиту свезли на кладбище и положили на могилу старушки. Через год плиту приподняли – старик Пребен лег рядом с женою.

После них не осталось никаких богатств, о которых болтали люди. А то, что осталось, отошло к какой-то дальней родне, про которую тут ничего и не знали. Домик старичков, со скамеечкой на площадке лестницы, под тенью липы, был снесен по распоряжению магистрата – больно уж он был ветх. Позже, когда пришел в ветхость и старый монастырь, кладбище упразднили и могильная плита Пребена и Марты пошла в продажу вместе со всем остальным. И вот случилось же ей уцелеть! Теперь на ней играют дети, а прислуга сушит кухонную посуду! Новая же улица идет как раз над местом вечного успокоения старого Пребена и его супруги. И никто больше и не вспомнит их!

Тут старик рассказчик грустно покачал головой.

– Забыты! Все на свете предается забвению! – добавил он.

Разговор перешел на другое, но самый младший мальчик с большими серьезными глазами вскарабкался на стул, откинул занавеси и стал смотреть на двор, где лежала вся залитая ясным лунным светом большая каменная плита. Прежде она казалась ему простым, гладким камнем, теперь же стала для него как бы страницей, вырванной из старой хроники. Старый камень хранил в

себе все, что слышал сейчас мальчик о Пребене и Марте. И мальчуган смотрел на него, смотрел на ясный, светлый месяц, на чистый, прозрачный воздух, и ему казалось, что с месяца смотрит на землю лик самого Творца.

– Забыты! Все на свете предается забвению! – раздалось в комнате, и в ту же минуту незримый ангел поцеловал ребенка в грудь и в лоб и тихо прошептал:

– Сохрани в душе зароненные туда семена. Храни их, пока они не созреют. Знай, дитя, что благодаря тебе стертая надпись старой могильной плиты вновь засияет перед грядущими поколениями золотыми буквами! Старые супруги опять побредут рука об руку по улице, опять будут сидеть на скамеечке под тенью липы, такие же бодрые, свежие, с румянцем на щеках, и ласково кивать головою и бедному и богатому. Пройдут годы, и зароненные в твою душу семена взойдут поэтическим творением. Доброе и прекрасное не предается забвению, оно вечно живет в преданиях и песнях!

## История года



Дело было в конце января; бушевала страшная метель; снежные вихри носились по улицам и переулкам; снег залеплял окна домов, валился с крыш комьями, а ветер так и подгонял прохожих. Они бежали, летели стремглав, пока не попадали друг другу в объятия и не останавливались на минуту, крепко держась один за другого. Экипажи и лошади были точно напудрены; лакеи стояли на запятках спиною к экипажам и к ветру, а пешеходы старались держаться за ветром под прикрытием карет, медленно тащившихся по глубокому снегу. Когда же, наконец, метель утихла и вдоль домов прочистили узенькие дорожки, прохожие беспрестанно сталкивались и останавливались друг перед другом в выжидательных позах: никому не хотелось первому шагнуть в снежный сугроб, уступая дорогу другому. Но вот, словно по безмолвному соглашению, каждый жертвовал одною ногой, опуская ее в снег.

К вечеру погода совсем стихла; небо стало таким ясным, чистым, точно его вымели, и казалось даже как-то выше и прозрачнее, а звездочки, словно вычищенные заново, сияли и искрились голубоватыми огоньками. Мороз так и трещал, и к утру верхний слой

снега настолько окреп, что воробьи прыгали по нему, не проваливаясь. Они скакали с сугроба на сугроб, прыгали и по прочищенным тропинкам, но ни тут, ни там не попадалось ничего съедобного. Воробышки порядком иззябли.

– Пип! – говорили они между собою. – И это новый год?! Да он хуже старого! Не стоило и менять! Нет, я недоволен, и не без причины!

– А люди-то, люди-то, что шуму наделали, встречая Новый год! – сказал маленький иззябший воробышек. – И стреляли, и глиняные горшки о двери разбивали, ну, словом, себя не помнили от радости – и все оттого, что старому году пришел конец! Я было тоже радовался, думал, что вот теперь наступит тепло; не тут-то было. Морозит еще пуще прежнего! Люди, видно, сбились с толку и перепутали времена года!

– И впрямь! – подхватил третий, старый воробей с седым хохолком. – У них ведь имеется такая штука – собственного их изобретения – календарь, как они зовут ее, и вот они воображают, что все на свете должно идти по этому календарю! Как бы не так! Вот придет весна, тогда и наступит новый год, а никак не раньше, так уж раз навсегда заведено в природе, и я придерживаюсь этого счисления.

– А когда же придет весна? – спросили другие воробьи.

– Она придет, когда прилетит первый аист. Но он не особенно-то аккуратен, и трудно рассчитать заранее, когда именно он прилетит! Впрочем, уж если вообще разузнавать об этом, то не здесь, в городе – тут никто ничего не знает толком, – а в деревне! Полетим-ка туда дожидаться весны! Туда она все-таки скорее придет!

– Все это прекрасно! – сказала воробыха, которая давно вертелась тут же и чирикала, но в разговор не вступала. – Одно вот только: здесь, в городе, я привыкла к некоторым удобствам, а найду ли я их в деревне – не знаю! Тут есть одна человечья семья; ей пришла разумная мысль – прибить к стене три-четыре пустых горшка из-под цветов. Верхним краем они плотно прилегают к стене, дно же обращено наружу, и в нем есть маленькое отверстие, через которое я свободно влетаю и вылетаю. Там-то мы с мужем и устроили себе гнездо, оттуда повывлетели и все наши птенчики. Понятное дело, люди устроили все это для собственного удовольствия, чтобы полюбоваться нами; иначе бы они и пальцем не шевельнули! Они бросают нам

хлебные крошки – тоже ради своего удовольствия, – ну а нам-то все-таки корм! Таким образом, мы здесь до некоторой степени обеспечены, и я думаю, что мы с мужем останемся здесь! Мы тоже очень недовольны, но все-таки останемся.

– А мы полетим в деревню – поглядеть, не идет ли весна! – сказали другие и улетели.

В деревне стояла настоящая зима и было, пожалуй, еще холоднее, чем в городе. Резкий ветер носился над снежными полями. Крестьянин в больших теплых рукавицах ехал на санях, похлопывая руки одна об другую, чтобы выколотить из них мороз; кнут лежал у него на коленях, но исхудалые лошади бежали рысью; пар так и валил от них. Снег скрипел под полозьями, а воробьи прыгали по санным колеям и мерзли.

– Пип! Когда же придет весна? Зима тянется что-то уж больно долго!

– Больно долго! – слышалось с высокого холма, занесенного снегом, и эхом прокатилось по полям. Может статься, это и было только эхо, а может быть, и голос диковинного старика, сидевшего на холме на куче снега. Старик был бел как лунь – с белыми волосами и бородою и одет во что-то вроде белого крестьянского тулупа. На бледном лице его так и горели большие светлые глаза.

– Что это за старик? – спросили воробьи.

– Я знаю его! – сказал старый вóрон, сидевший на плетне. Он снисходительно признавал, что «все мы – мелкие пташки перед Творцом», и потому благосклонно взялся разъяснить воробьям их недоумение. – Я знаю, кто он. Это Зима, старый прошлогодний повелитель. Он вовсе не умер еще, как говорит календарь, и назначен регентом до появления молодого принца, Весны. Да, Зима еще правит у нас царством! У! Что, дрогнете небось, малыши?

– Ну, не говорил ли я, – сказал самый маленький воробышек, – что календарь – пустая человеческая выдумка! Он совсем не приноровлен к природе. Да и разве у людей есть какое-нибудь чутье? Уж предоставили бы они распределять времена года нам – мы потоньше, почувствительнее их созданы!

Прошла неделя, другая. Лес уже почернел, лед на озере стал походить на застывший свинец, облака... нет, какие там облака?! Сплошной туман окутал всю землю. Большие черные вороны летали

стоями, но молча, без крика; все в природе словно погрузилось в тяжелый сон. Но вот по озеру скользнул солнечный луч и лед заблестел, как расплавленное олово. Снежный покров на полях и на холмах уже потерял свой блеск, но белая фигура старика Зимы сидела еще на прежнем месте, устремив взор к югу. Он и не замечал, что снежная пелена словно все уходила в землю, что там и сям проглянули клочки зеленого дерна, на которых толклись кучи воробьев.

– Кви-вит! Кви-вит! Уж не весна ли?

– Весна! – прокатилось эхом над полями и лугами, пробежало по темно-бурым лесам, где стволы старых деревьев оделись уже свежим, зеленым мхом. И вот с юга показалась первая пара аистов. У каждого на спине сидело по прелестному ребенку: у одного – мальчик, у другого – девочка. Ступив на землю, дети поцеловали ее и пошли рука об руку, а по следам их расцветали прямо из-под снега белые цветочки. Дети подошли к старику Зиме и прильнули к его груди. В то же мгновение все трое, а с ними и вся местность исчезли в облаке густого, влажного тумана. Немного погодя подул ветер и разом разогнал туман; просияло солнышко – Зима исчезла, и на троне природы сидели прелестные дети Весны.

– Вот это так новый год! – сказали воробьи. – Теперь, надо полагать, нас вознаградят за все зимние невзгоды!

Куда ни оборачивались дети – всюду кусты и деревья покрывались зелеными почками, трава росла все выше и выше, хлеба зеленели ярче. Девочка так и сыпала на землю цветами; у нее в переднике было такое изобилие цветов, что, как она ни торопилась разбрасывать их, передник все был полнехонек. В порыве резвости девочка брызнула на яблони и персиковые деревья настоящим цветочным дождем, и деревца покрылись белоснежной пеной цветов, даже не успев еще как следует одеться зеленью.

Девочка захлопала в ладоши, хлопал и мальчик, и вот откуда ни возмись налетели с пением и щебетанием стаи птичек: «Весна пришла!»

Любо было посмотреть кругом! То из одной, то из другой избушки выползали за порог старые бабушки поразмять на солнышке свои косточки и полюбоваться на желтые цветочки, золотившие луг точь-в-точь как и в дни далекой юности старушек. Да, мир вновь помолодел, и они говорили: «Что за благодатный денек сегодня!»

Но лес все еще оставался буро-зеленым, на деревьях не было еще листьев, а одни почки; зато на лесных полянах благоухал уже молоденький дикий яминник, цвели фиалки и анемоны. Все былинки налились живительным соком; по земле раскинулся пышный зеленый ковер, и на нем сидела молодая парочка, держась за руки. Дети Весны пели, улыбались и всё росли да росли.



Теплый дождичек накрапывал с неба, но они и не замечали его; дождевые капли смешивались со слезами радости жениха и невесты.



Юная парочка поцеловалась, и в ту же минуту лес оделся зеленью. Встало солнышко – все деревья стояли в роскошном лиственном уборе.

Рука об руку двинулись жених с невестой под этот свежий густой навес, где зелень отливала, благодаря игре света и теней, тысячами различных оттенков. Девственно-чистая, нежная листва распространяла живительный аромат, звонко и весело журчали ручейки и речки, пробираясь между бархатисто-зеленой осокой и пестрыми камушками. «Так было, есть и будет во веки веков!» – говорила вся природа. Чу! Закуковала кукушка, зазвенела песня жаворонка! Весна была в полном разгаре; только ивы все еще не снимали со своих цветочков пуховых рукавичек; такие уж они осторожные – просто скучно!

Дни шли за днями, недели за неделями, землю так и обдавало теплом; волны горячего воздуха обдавали хлебные колосья, и они стали желтеть. Белый лотос севера раскинул по зеркальной глади лесных озер свои широкие зеленые листья, и рыбки прятались под их тенью. На солнечной стороне леса, за ветром, возле облитой солнцем стены крестьянского домика, где пышно расцветали под жгучими ласками солнечных лучей роскошные розы и росли вишневые деревья, осыпанные сочными, черными, горячими ягодами, сидела прекрасная жена Лета, которую мы видели сначала девочкой, а потом невестой. Она смотрела на темные тучи, громоздившиеся друг на друга высокими сизыми угрюмыми горами; они надвигались с трех сторон и наконец нависли над лесом, как окаменелое, опрокинутое вверх дном море. В лесу все затихло, словно по мановению волшебного жезла; прилегли ветерки, замолкли птички, вся природа замерла в торжественном ожидании, а по дороге и по тропинкам неслись сломя голову люди в телегах, верхом и пешком – все спешили укрыться от грозы. Вдруг блеснул ослепительный луч света, словно солнце на миг прорвало тучи, затем вновь воцарилась тьма и прокатился глухой раскат грома. Вода хлынула с неба потоками. Тьма и свет, тишина и громовые раскаты сменяли друг друга. По молодому тростнику с коричневыми султанами на головках так и ходили от ветра волны за волнами; ветви деревьев совсем скрылись за частой дождевой сеткою; свет и тьма, тишина и громовые удары чередовались ежеминутно. Трава и колосья лежали пластом; казалось, они уже

никогда не в силах будут подняться. Но вот ливень перешел в крупные редкие капли, выплянуло солнышко, и на былинках и листьях засверкали крупные жемчужины, запели птички, заплескались в воде рыбки, заплясали комары. На камне, что высовывался у самого берега из соленой морской пены, сидело и грелось на солнышке Лето, могучий, крепкий, мускулистый муж. С кудрей его стекали целые потоки воды, и он смотрел таким освеженным, словно помолодевшим после холодного купания. Помолодела, освежилась и вся природа, все вокруг цвело с небывалою пышностью, силой и красотой! Наступило лето, теплое, благодатное лето!

От густо взошедшего на поле клевера струился сладкий живительный аромат, и пчелы жужжали над местом древних собраний. Жертвенный камень, омытый дождем, ярко блестел на солнце; цепкие побеги ежевики одели его густою бахромой. К нему подлетела царица пчел со своим роем; они возложили на жертвенник плоды от трудов своих – воск и мед. Никто не видал жертвоприношения, кроме самого Лета и его полной жизненных сил подруги; для них-то и были уготованы жертвенные дары природы.

Вечернее небо сияло золотом; никакой церковный купол не мог сравниться с ним; от вечерней и до утренней зари сиял месяц. На дворе стояло лето.

И дни шли за днями, недели за неделями. На полях засверкали блестящие косы и серпы, ветви яблонь согнулись под тяжестью красных и золотистых плодов. Душистый хмель висел крупными кистями. В тени орешника, осыпанного орехами, сидевшими в зеленых гнездышках, отдыхали муж с женою – Лето со своею серьезною, задумчивою подругою.

– Что за роскошь! – сказала она. – Что за благодать, куда ни поглядишь! Как хорошо, как уютно на земле, и все-таки – сама не знаю почему – я жажду... покоя, отдыха... Других слов подобрать не могу! А люди уж снова вспахивают поля! Они вечно стремятся добыть себе больше и больше!.. Вон аисты ходят по бороздам вслед за плугом... Это они, египетские птицы, принесли нас сюда! Помнишь, как мы прилетели сюда, на север, детьми?.. Мы принесли с собой цветы, солнечный свет и зеленую листву! А теперь... ветер почти всю ее оборвал, деревья побурели, потемнели и стали похожи на деревья юга; только нет на них золотых плодов, какие растут там!

– Тебе хочется видеть золотые плоды? – сказала Лето. – Любуйся! – Он махнул рукою – и леса запестрели красноватыми и золотистыми листьями. Вот было великолепие! На кустах шиповника засияли огненно-красные плоды, ветви бузины покрылись крупными темно-красными ягодами, спелые дикие каштаны сами выпадали из темно-зеленых гнезд, а в лесу снова зацвели фиалки.

Но царица года становилась все молчаливее и бледнее.

– Повеяло холодом! – говорила она. – По ночам встают сырые туманы. Я тоскую по нашей родине!

И она смотрела вслед улетающим на юг аистам и протягивала к ним руки. Потом она заглянула в их опустевшие гнезда; в одном вырос стройный василек, в другом – желтая сурепка, словно гнезда только для того и были свиты, чтобы служить им оградой! Залетели туда и воробьи.

– Пип! А куда же девались хозяева? Ишь, подуло на них ветерком – они и прочь сейчас! Скатертью дорога!

Листья на деревьях все желтели и желтели, начался листопад, зашумели осенние ветры – настала поздняя осень. Царица года лежала на земле, усыпанной пожелтевшими листьями; кроткий взор ее был устремлен на сияющие звезды небесные; рядом с нею стоял ее муж. Вдруг поднялся вихрь и закрутил сухие листья столбом. Когда вихрь утих – царицы года уже не было; в холодном воздухе кружилась только бабочка, последняя в этом году.

Землю окутали густые туманы, подули холодные ветры, потянулись долгие темные ночи. Царь года стоял с убеленною сединой головою; но сам он не знал, что поседел, – он думал, что кудри его только запушило снегом! Зеленые поля покрылись тонкою снежною пеленою.

И вот колокола возвестили наступление сочельника.

– Рождественский звон! – сказал царь года. – Скоро народится новая царственная чета, а я обрету покой, унесусь вслед за нею на сияющую звезду!

В свежем, зеленом сосновом лесу, занесенном снегом, появился рождественский ангел и освятил молодые деревца, предназначенные служить символом праздника.

– Радость в жилищах людей и в зеленом лесу! – сказал престарелый царь года; в несколько недель он превратился в белого как лунь

старика. – Приближается час моего отдыха! Корона и скипетр переходят к юной чете.

– И все же власть пока в твоих руках! – сказал ангел. – Власть, но не покой! Укрой снежным покровом молодые ростки! Перенеси терпеливо торжественное провозглашение нового повелителя, хотя власть еще и в твоих руках! Терпеливо перенеси забвение, хотя ты и жив еще! Час твоего успокоения придет, когда настанет весна!

– Когда же настанет весна? – спросила Зима.

– Когда прилетят с юга аисты!

И вот седоволосая, седобородая, обледеневшая, старая, согбенная, но все еще сильная и могущественная, как снежные бури и метели, сидела Зима на высоком холме, на куче снега, и не сводила глаз с юга, как прошлогодняя Зима. Лед трещал, снег скрипел, конькобежцы стрелой скользили по блестящему льду озер, вороны и вороны чернели над убеленной снегами землей; не было ни малейшего ветерка. Среди этой тишины Зима сжала кулаки – и толстый лед сковал все проливы.

Из города опять прилетели воробьи и спросили:

– Что это за старик там?

На плетне опять сидел тот же ворон или сын его – все едино – и отвечал им:

– Это Зима! Прошлогодний повелитель! Он не умер еще, как говорит календарь, а состоит регентом до прихода молодого принца – Весны!

– Когда же придет Весна? – спросили воробьи. – Может быть, у нас настанут лучшие времена, как переменится начальство! Старое никуда не годится!

А Зима задумчиво кивала голому черному лесу, где так ясно, отчетливо вырисовывались каждая веточка, каждый кустик. И землю окутали облака холодных туманов; природа погрузилась в зимнюю спячку. Повелитель года грезил о днях своей юности и возмужалости, и к утру все леса оделись сверкающей бахромой из инея – это был летний сон Зимы; взошло солнышко, и бахрома осыпалась.

– Когда же придет Весна? – опять спросили воробьи.

– Весна! – раздалось эхом со снежного холма.

И вот солнышко стало пригревать все теплее и теплее, снег стаял, птички защелкали: «Весна идет!»

Высоко-высоко по поднебесью неся первый аист, за ним другой; у каждого на спине сидело по прелестному ребенку. Дети ступили на поля, поцеловали землю, поцеловали и безмолвного старика Зиму, и он, как Моисей на горе Синайской, исчез, сокрытый тучей!

История года кончена.

– Все это прекрасно и совершенно верно, – заметили воробьи, – но не по календарю, а потому никуда не годится!

*1852*

## В день кончины



Самый торжественный, великий день в жизни человека – день его кончины, священный день великого перерождения. А думали ли вы когда-нибудь серьезно, как следует, об этом важнейшем, неминуемом, последнем дне нашей жизни?

Жил на земле строго верующий человек, «борец за букву закона», как его называли, – ревностный слуга сурового Бога. И вот смерть приблизилась к его одру; он узрел перед собою строгие небесные черты ангела смерти.

– Час твой настал, следуй за мною! – сказал ангел, коснулся холодною как лед рукою ног человека – ноги окоченели; затем коснулся его чела и, наконец, сердца – оно перестало биться, и душа умершего последовала за ангелом смерти.

Но в те несколько секунд, что протекли, пока смертный холод подымался от ног к сердцу умирающего, перед взором его, словно огромные волны морские, пронеслось все пережитое и перечувствованное им во время земной его жизни. Так измеряет человек одним взглядом бездонную головокружительную глубину, обнимает одним молниеносным движением мысли неизмеримый, бесконечный путь, охватывает одним взглядом всю совокупность бесчисленных звездных миров, светил и планет, разбросанных в мировом пространстве.

В такие минуты грешника объемлет непобедимый трепет, ему не на что опереться, он как будто падает стремглав в какую-то бесконечную пустоту. Праведник же спокойно, как дитя, предает дух свой в руки Божьи со словами: «Да будет воля Твоя!»

Но этот умирающий не обладал душою ребенка; он чувствовал себя мужем. Он и не трепетал, как жалкий грешник, сознавая, что был истинно верующим, крепко держал все заветы, строго выполнял все религиозные обряды; а между тем сколько людей – как он знал – шли широкою дорогой греха, которая ведет прямо в ад! И он сам готов был истребить огнем и мечом здесь, на земле, их тела, как были и будут истреблены там их души. Его же путь лежал прямо к небесам; небесное милосердие должно было раскрыть перед ним райские врата, как это обещано всем верующим.

И душа последовала за ангелом смерти, кинув последний прощальный взор на ложе, где под белым саваном покоилась ее бренная оболочка, чуждое ей теперь олицетворение ее прежнего «я».

И вот они то летели, то шли не то по какому-то обширному покою, не то по лесу, где природа являлась, однако, подстриженной, подтянутой, подвязанной, искусственной, как в старинных французских садах. Тут давался маскарад.

– Вот тебе жизнь человеческая! – сказал ангел смерти.

Все фигуры были более или менее замаскированы, так что не те из них, собственно, были благороднейшими или могущественнейшими, которые драпировались в бархат и золото, и не те низшими и ничтожнейшими, которые были одеты в рубища бедняков. Диковинный был маскарад, что и говорить! А всего диковиннее было старание каждого скрыть от других что-то такое под складками своего платья и в то же время распахнуть платье другого, чтобы открыть то,

что прятал он! При удаче из-под платья всегда выставлялась голова какого-нибудь зверя: у того – гримасницы-обезьяны, у этого – гадкого козла, скользкой змеи или полужаснувшей рыбы!

Одним словом, из-под платья каждого человека выглядывал тот зверь, которого он носил в душе. И зверь этот прыгал, метался и порывался вырваться на волю, а человек старался плотно прикрыть его платьем, но другие люди срывали с него платье и кричали:

– Вот он каков, вот она какова, глядите, люди добрые!

Каждый стремился обнажить больное место ближнего.

– Какой же зверь сидел во мне? – спросила странница-душа, и ангел смерти указал ей на горделивую фигуру впереди них; голова ее была окружена радужным ореолом, но у самого сердца виднелись ноги павлина; радужный ореол был не что иное, как хвост его!

Дальше на пути они увидали в ветвях деревьев безобразных птиц; они кричали человеческими голосами: «Странница, помнишь ли ты нас?» То были все дурные земные мысли и дела души; и вот теперь они кричали ей: «Помнишь ли ты нас?»

И душу объял трепет – она узнала по голосу все свои дурные мысли и дела, которые теперь свидетельствовали против нее.

– Плоть человеческая немощна, природа греховна! – сказала душа. – Но дурные мысли мои не переходили в дела и мир не видел злых плодов!

И она заторопилась изо всех сил, стараясь скорее уйти от этих гадких черных птиц, но они так и кружились над ней и кричали все громче и громче, словно желая расславить ее на весь мир. Душа неслась, как гонимая лань, но чуть не на каждом шагу спотыкалась об острые кремни и ранила себе ноги до крови.

– Откуда берутся тут эти острые камни? Вся земля усыпана ими, точно сухими листьями!

– А это – твои неосторожные, необдуманные слова, вырывавшиеся у тебя при жизни! Они уязвляли сердца твоих ближних куда глубже, больнее, чем теперь ранят эти камни твои ноги.

– Этого мне и в голову не приходило! – сказала душа.

– Не судите, и не судимы будете! – прозвучало в воздухе.

– Все мы грешны! – сказала душа и вновь понеслась по воздуху. – Я строго держалась закона и Евангелия, делала все, что должно. Я не такова, как другие!



И вот они очутились у врат рая. Стоявший тут на страже ангел спросил:

– Кто ты? Скажи мне, какой ты веры, и свидетельствуй о ней делами своими!

– Я строго выполнял все заповеди Божьи! Я смирялся перед очами света, ненавидел и преследовал зло и злых, что идут широким путем к вечному осуждению, и готов преследовать их огнем и мечом и теперь, насколько это будет в моей власти.

– Так ты из последователей Магомета? – спросил ангел.

– Я? Никогда!

– «Взявшиеся за меч – от меча и погибнут», – говорит Сын Божий; ты не его веры. Может быть, ты сын Израиля, повторяющий за Моисеем: око за око, зуб за зуб. Ты сын Израиля, и суровый Бог твой есть только Бог отцов твоих?

– Я христианин!

– Не узнаю тебя ни по вере, ни по делам твоим! Христос проповедовал прощение, любовь и милосердие!

– Милосердие! – прозвучало в бесконечном мировом пространстве, врата рая распахнулись, и душа устремилась в небесные чертоги.

Но оттуда струился такой ослепительный, всепроникающий свет, что душа отступила как перед внезапно блеснувшим в воздухе мечом. Послышались дивные, нежные, за душу хватающие звуки... Описать их не в силах никакой человеческий язык, и душа вся затрепетала, голова ее стала клониться все ниже и ниже, колени подгибались! Небесный свет озарил ее, и она почувствовала, сознала то, чего раньше никогда не чувствовала, не сознавала, – всю тяжесть своих грехов: высокомерия и жестокосердия. Она вся просветлела и воскликнула:

– Все, что я сделала доброго, сделала я не сама по себе, а потому, что не могла иначе, зло же... исходило от меня самой!

И душа почувствовала, что как-то вся смешалась под лучами небесного света, бессильно пала на колени и как-то вся съежилась, ушла, спряталась в самое себя. Она чувствовала себя такою подавленной, ничтожною, недостойною войти в Царство Небесное, а при мысли о строгом правосудии Божьем не смела даже воззвать к Его милосердию.

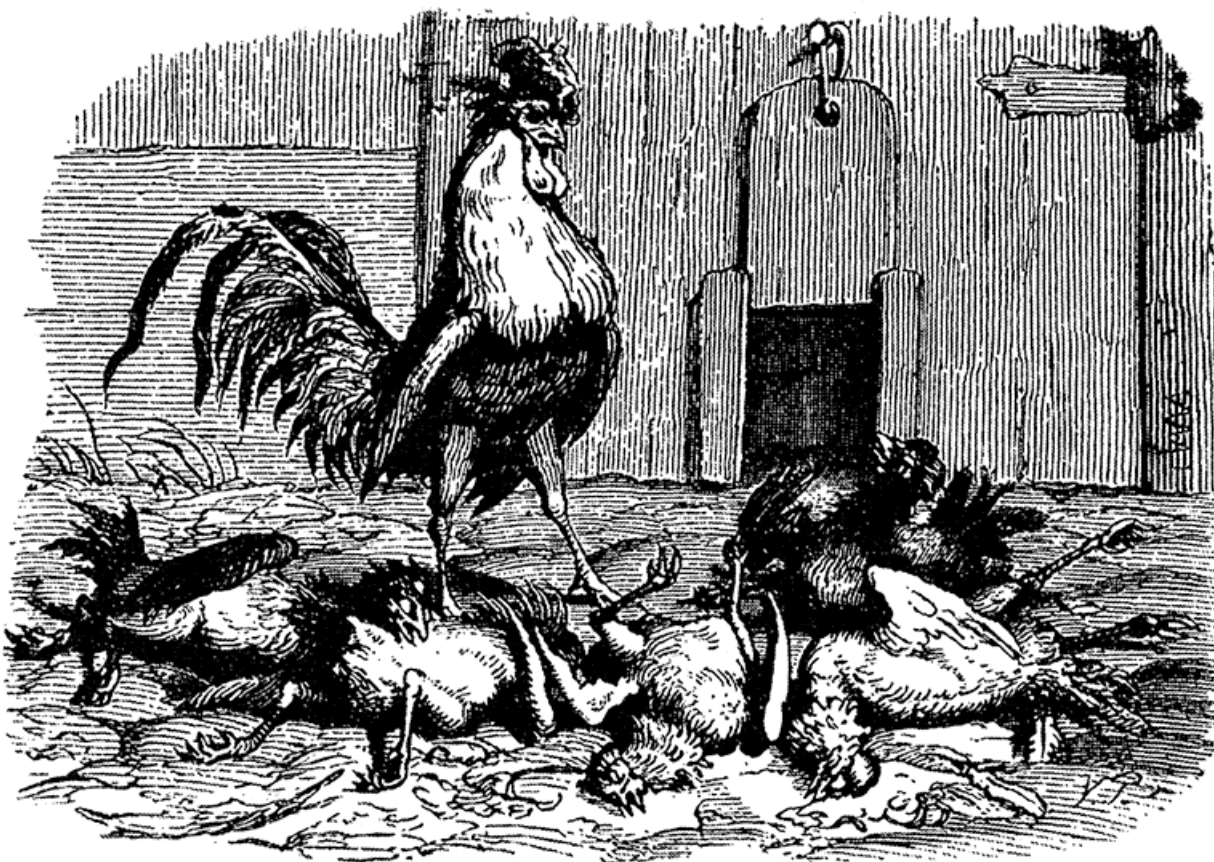
И было ей явлено милосердие там, где она не ждала его.

Божье царство занимает бесконечное пространство, но любовь Божья наполняет его все с несказанною полнотой!

– Священна, блаженна и любима будь ты вовеки, душа человеческая! – прозвучало в воздухе.

И все мы, все задрожим в день нашей земной кончины перед блеском и великолепием небесными, низко опустим голову, смиренно преклоним колени, но, вновь воздвигнутые любовью и милосердием Божиим, пойдем путями новыми и, становясь все лучше, чище и светлее, совершенствуясь все больше и больше, приблизимся наконец к небесному чертогу, и Он сам введет нас в светлую обитель вечного блаженства!

## Истинная правда!



Ужасное происшествие! — сказала курица, проживающая совсем на другом конце города, а не там, где случилось происшествие. — Ужасное происшествие в курятнике! Я просто не смею теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на нашесте!

И она принялась рассказывать, да так, что у всех кур перышки повставали дыбом, а у петуха съежился гребешок. Да, да, истинная правда!

Но мы начнем сначала, а началось это в курятнике на другом конце города.

Солнце садилось, и все куры уже были на нашесте. Одна из них, белая коротконожка, курица во всех отношениях исправная и почтенная, усевшись поудобнее, стала перед сном чиститься и расправлять носиком перышки. И вот одно перышко вылетело и упало на пол.

– Ишь как полетело! – сказала курица. – Право, чем больше я чишусь, тем делаюсь красивее!

Это было сказано так, в шутку, – курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенною курицей. С тем она и заснула.

В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, и та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще; она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, а так, слушала краем уха, – так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними! И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке:

– Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее!

Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками; у сов уши острые, и они не пропустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали зрачками, а совиха махала крыльями, точно опахалами.

– Тс-с! Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уж слышали? Я тоже. Ах! Просто уши вянут! Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха!

– Prenez garde aux enfants!<sup>[16]</sup> – сказал сова-отец. – Детям вовсе не подобает слушать подобные вещи!

– Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке сове, она такая милая особа!

И совиха полетела к соседке.

– У-гу, у-гу! – загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней. – Вы слышали? Вы слышали? У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха! Она замерзнет, замерзнет до смерти! Если уже не замерзла! У-гу!

– Кур-кур! Где, где? – ворковали голуби.

– На соседнем дворе! Это почти на моих глазах было! Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда!

– Верим, верим! – сказали голуби и заворковали сидящим внизу курам: – Кур-кур! Одна курица, говорят, даже две, выщипали себе все перья, чтобы отличаться перед петухом! Рискованная затея! Можно ведь простудиться и умереть, да они уж и умерли!

– Ку-ка-ре-ку! – запел петух, взлетая на забор. – Проснитесь.

У него самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уж кричал:

– Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!

– Пусть, пусть! – запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи. – Пусть, пусть!

И история разнеслась – со двора во двор, из курятника в курятник и дошла, наконец, до того места, откуда пошла.

– Пять куриц, – рассказывалось тут, – выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху! Потом они заклевали друг друга насмерть, в позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам!

Курица, которая выронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории и, как курица во всех отношениях почтенная, сказала:

– Я презираю этих кур! Но таких ведь много! О подобных вещах нельзя, однако, молчать! И я, со своей стороны, сделаю все, чтобы история эта попала в газеты! Пусть разнесется по всему свету – эти куры и весь их род стоят того!

И в газетах действительно напечатали всю историю, и это истинная правда: одному маленькому перышку куда как нетрудно превратиться в целых пять кур!

1852

**Веселый нрав**



Отец оставил мне лучшее наследство – свой веселый нрав. А кто был мой отец? Ну, это к делу не относится! Довольно сказать, что он был живой весельчак, кругл и толст, – словом, и душа и тело его были в разладе с его должностью. Да какую же он занимал должность, какое положение в обществе? Э, в том-то и дело, напиши или напечатай я это в самом начале, многие, пожалуй, отложили бы книжку в сторону – дескать, это слишком мрачно и не по нашей части! И однако мой отец не был ни палачом, ни заплечных дел мастером; напротив, по своей должности он часто занимал место во главе почетнейших лиц города! Место это было его по праву, вот и приходилось ему быть впереди всех – даже впереди епископа и самих принцев крови: он восседал на козлах погребальной колесницы!

Ну, теперь все сказано! Я могу только прибавить, что, глядя на моего отца, восседающего на колеснице смерти, укутанного в длинный широкий черный плащ, в обшитой черными каймами треуголке на голове, глядя на его веселое, круглое, как солнце, смеющееся лицо, никому и в голову не шли скорбные мысли о смерти

и похоронах. Лицо моего отца так и говорило: «Пустяки, все обойдется, все будет лучше, чем думают!»

Так вот, от него-то я и унаследовал свой веселый нрав и привычку посещать кладбище; это очень приятная прогулка, если только предпринимаете ее в хорошем расположении духа. Кроме того, я тоже выписываю «Листок объявлений», как и мой покойный отец.

Я уже не очень молод, у меня нет ни жены, ни детей, ни библиотеки, но, как сказано, я выписываю «Листок объявлений» – и будет с меня! По-моему, это самая лучшая газета; то же говорил и покойный отец. «Листок» приносит свою пользу, дает все нужные человеку сведения; из него узнаешь, кто проповедует с церковных кафедр и кто – со страниц новых книг, где можно найти себе помещение, прислугу и где приобрести одежду, пищу, где открывается распродажа и где будут похороны; тут же знакомишься с положением благотворительности и с невинными стишками, узнаешь, кто желает вступить в законный брак, кто назначает или отвергает свидания! Тут вообще все так просто и естественно! И по-моему, можно счастливо прожить весь свой век, до самой смерти, довольствуясь одним «Листком объявлений», а к тому времени так разбогатеешь бумагою, что можно будет устроить себе из нее мягкую подстилку в гроб, если не любишь лежать на стружках!

Да, «Листок объявлений» и кладбище – вот два моих любимых места духовных и физических экскурсий, два самых благодатных средства поддержания веселого нрава.

В редакцию «Листка» каждый может отправиться сам, без провожатого, но на кладбище пусть идет со мною! Пойдемте-ка туда в ясный, солнечный день, когда деревья уже все покрыты зеленью, и погуляем между могилами! Каждая могила – своего рода закрытая книга; она лежит корешком кверху, так что всякий может прочесть ее заглавие, говорящее о ее содержании и в то же время ничего не говорящее! У меня же имеются более обстоятельные сведения, которые отчасти перешли ко мне от отца, отчасти собраны мною лично. Надо вам знать, что я веду особую могильную книгу, и мне от нее столько же пользы, сколько удовольствия. В нее занесены все эти могилы да еще кое-какие!

Ну, вот мы и на кладбище!

Вот тут, за выкрашенной белой краской оградой, где рос когда-то розовый куст (теперь его нет больше, и только плющ с соседней могилы пробирается сюда, желая хоть немножко скрасить и чужую могилу), покоится глубоко несчастный человек, хотя при жизни-то он, как говорят, и пользовался полным благополучием, имел все, что нужно, и даже кое-что лишнее. Вся беда его была в том, что он уж слишком близко принимал к сердцу все на свете, главным же образом искусство. Сидит, бывало, вечером в театре; тут-то бы ему и наслаждаться от всей души, так нет, куда! То зачем машинист пустил слишком сильный лунный свет, то зачем холщовое небо повисло впереди кулис, а не позади, то, наконец, зачем пальмы выросли на Амагере, кактусы – в Тироле, а буки – в горах Норвегии! Как будто это не все равно! И кому нужно думать об этом? Ведь тут идет представление, ну и будь доволен тем, что дают! А то, бывало, ему вдруг покажется, что публика хлопает слишком уж усердно или, наоборот, слишком скуп. «Вот сырые-то дрова, – сейчас же заметит он, – никак не загорятся сегодня!» И он оборачивается посмотреть, что за публика собралась сегодня; видит, что люди смеются совсем невпопад, и начинает злиться еще пуще. Так он и злился вечно, вечно страдал и был несчастнейшим человеком в мире. Теперь он успокоился в могиле.

А вот здесь погребен счастливец, то есть очень знатный господин, высокого происхождения, – в этом-то и было все его счастье, иначе бы из него никогда ничего не вышло! Да, просто приятно подумать, как премудро устроено все на белом свете! Платье он носил расшитое золотом и спереди и сзади и употреблялся только для парада, как дорогая, вышитая жемчугом полоска, прикрывающая прочный шнурок звонка; за ним тоже скрывался прочный шнурок – помощник его, который, собственно, и нес службу, да продолжает нести ее и теперь – за другую вышитую полоску. Премудро устроено все на белом свете! Как же тут впасть в меланхолию!

Здесь схоронен... да, печальная это история! Здесь схоронен человек, который шестьдесят семь лет все придумывал красное словцо, только для того и жил; когда же наконец ему действительно удалось придумать такое словцо, не пережил своего счастья, умер от радости! Так его словцо и пропало даром, никто и не услышал его! Могу себе представить, как мучит оно его даже в могиле! Как же!



Подумайте только, вдруг словцо-то было такого рода, что его следовало пустить в ход именно за завтраком, а покойник, как и все мертвецы, имеет, по общему поверью, право выходить из могилы лишь в полночь! Куда ж ему деваться со своим словцом?! Скажи он его не вовремя – оно ведь не произведет никакого впечатления, никого и не рассмешит даже! Так бедняге и приходится схорониться вместе со своим словцом в могиле. Да, печальная история!

Тут погребена одна скупая-прескупая дама. При жизни она вставала по ночам и мяукала, чтобы соседи подумали, будто она держит кошку, – вот какая была скупая!

Здесь покоится одна барышня из хорошего семейства; она вечно доставляла обществу удовольствие своим пением и пела обыкновенно: «Mi manca la voce»<sup>[17]</sup>. Правдивее этого она ничего не сказала за всю свою жизнь!

А вот здесь схоронена девица иного рода. Известно, что когда канарейка, обитающая в сердце, начинает свистать вовсю, разум затыкает себе уши, и вот душа-девица очутилась в положении, подобающем одним замужним! История печальная, но весьма обыкновенная. Пусть, однако, покоится с миром, не будем тревожить мертвых!

Тут лежит вдова; на устах у нее щебетали малиновки, а в сердце завывала сова. Она ежедневно отправлялась на добычу, выслеживая недостатки знакомых, как в старину выслеживал, бывало, «Друг полиции» неисправных домовладельцев, перед домами которых не было установленных мостиков через водосточные канавки.

А вот семейная могила. Между членами этой семьи царило такое трогательное единодушие, что если весь свет и даже их газета говорили так, а маленький сынишка приходил из школы и говорил: «А я слышал иначе», то он один и был прав, – он был ведь членом семьи. Да случись даже, что дворовый их петух запел бы свое утреннее «ку-ка-ре-ку» в полночь, значит, и было утро, что там ни говори все ночные сторожа и все городские часы вместе!

Великий Гёте заканчивает историю своего Фауста словами: «Продолжение может последовать»; то же я могу сказать и о нашей прогулке по кладбищу. Я часто прихожу сюда. И случись, что кто-либо из моих друзей или недругов уж очень досадит мне, я иду сюда, выбираю местечко под зеленым дерном и отвожу его ему или ей, то

есть тем, кого хочу похоронить, а затем и в самом деле хороню их. Вот они и лежат тут, мертвые, бессильные, пока не встанут вновь обновленными и лучшими людьми. Я записываю всю их жизнь и деяния – как я их вижу и понимаю – в мою «могильную книжку». Вот так следовало бы поступать и всем: не сердиться, когда кто-нибудь насолит им, а сейчас же хоронить обидчиков, но ни за что не изменять своему веселому нраву да «Листку объявлений»; в нем пишет ведь сама публика, хоть иногда ее рукою и водят при этом другие!

Итак, когда придет время, что повесть и моей жизни переплетут в могилу, – пусть на корешке напишут:

«Веселый нрав».

Вот она, повесть моей жизни!

1852

## Сердечное горе

Рассказ этот состоит, собственно, из двух частей: первую можно бы, пожалуй, и пропустить, да она дает кое-какие предварительные сведения, а они небесполезны.

Мы гостили у знакомых в имении. Случилось так, что наши хозяева уехали куда-то на день и как раз в этот самый день из ближайшего городка приехала пожилая вдова с мопсом. Она объявила, что желает продать нашему хозяину несколько акций своего кожевенного завода. Бумаги были у нее с собой, и мы посоветовали ей оставить их в конверте с надписью: «Его превосходительству генерал-провиант-комиссару...» и прочее.



Она внимательно выслушала нас, взяла в руки перо, задумалась и попросила повторить титул еще раз, только помедленнее. Мы

исполнили ее просьбу, и она начала писать, но, дойдя до «генерал-пров...», остановилась, глубоко вздохнула и сказала:

– Ах, я ведь только женщина!

Своего мопса она спустила на пол, и он сидел и ворчал. Еще бы! Его взяли прокатиться ради его же удовольствия и здоровья и вдруг спускают на пол?! Сплюснутый нос и жирная спина – вот его внешние приметы.

– Он не кусается! – сказала его хозяйка. – У него и зубов-то нет. Он все равно, что член семьи, преданный и злющий... Но это все оттого, что его много дразнят: внуки мои играют в свадьбу и хотят, чтобы он был подружкой невесты, а это тяжеленько для бедного создания!

Тут она передала нам свои бумаги и взяла мопса на руки.

Вот первая часть, без которой можно бы и обойтись.

Мопс умер – вот вторая.

Это случилось через неделю. Мы уже переехали в город и остановились на постоялом дворе. Окна наши выходили во двор, который разделялся забором на две части; в одной были развешаны шкуры и кожи, сырые и выделанные; тут же находились и разные снаряды для кожевенного дела. Эта часть принадлежала вдове.

Мопс умер утром и был зарыт здесь же, на дворе. Внуки вдовы, то есть вдовы кожевника, а не мопса – мопс не был женат, насыпали над могилой холмик, и вышла прелесть что за могилка; славно, должно быть, было лежать в ней!

Холмик обложили черепками, посыпали песком, а посредине воткнули пивную бутылку горлышком вверх, но это было сделано без всякой задней мысли.

Дети поплясали вокруг могилки, а потом старший мальчик, практичный семилетний юноша, предложил устроить выставку могилки мопса для всех соседних детей. За вход можно было брать по пуговке от штанишек: это найдется у каждого мальчика; мальчики же могут заплатить и за девочек.

Предложение было принято единогласно.

И вот все соседние ребята пришли на выставку и заплатили по пуговке; многим мальчикам пришлось в этот день щеголять об одной подтяжке; зато они видели мопсенькину могилку, а это ведь чего-нибудь да стоило!

Но за забором у самой калитки стояла маленькая оборванная девочка, прехорошенькая, кудрявая, с такими ясными голубыми глазами, что просто загляденье! Она не говорила ни слова и не плакала, она жадно вытягивала шейку и старалась заглянуть дальше, как можно дальше во двор. У нее не было пуговицы, и потому она печально стояла на улице, пока другие дети входили и выходили. Наконец перебывали все и ушли. Тогда девочка присела на землю, закрыла глаза своими загорелыми ручонками и горько, горько заплакала. Только она одна не видала мопсенькиной могилки! Не видала!.. Вот было горе так горе, великое, сердечное горе, каким бывает горе взрослого.

Нам все это было видно сверху, а когда смотришь на свои ли, чужие ли горести сверху, то они кажутся только забавными.

Вот и весь сказ. Кто не понял, пусть купит у вдовы акции кожевенного завода.

1852

**«Всему свое место!»**



Тому минуло уж больше ста лет.

За лесом у большого озера стояла старая барская усадьба; кругом шли глубокие рвы с водой, поросшие осокой и тростником. Возле мостика, перекинутого через ров перед главными воротами, росла старая ива, склонявшаяся ветвями к тростнику.

С дороги слышались звуки рогов и лошадиный топот, и маленькая пастушка поторопилась отогнать своих гусей с мостика в сторону. Охотники скакали во весь опор, и самой девочке пришлось поскорее прыгнуть с мостика на большой камень возле рва – не то бы ей несдобровать! Она была совсем еще ребенок, такая тоненькая и худенькая, с милым, добрым выражением лица и честными, ясными глазками. Но барину-то что за дело? На уме у него были одни грубые шутки, и вот, проносясь мимо девочки, он повернул хлыст рукояткой вперед и ткнул им пастушку прямо в грудь. Девочка потеряла равновесие и чуть не упала.

– Всяк знай свое место! Твое – в грязи! – прокричал барин и захохотал. Как же! Ему ведь удалось сострить! За ним захохотали и

остальные; затем все общество с криком и гиканьем понеслось по мостику; собаки так и заливались. Вот уж подлинно, что

Богатая птица шумно бьет крылами!

Богат ли был барин, однако, еще вопрос.

Бедная пастушка, падая, ухватилась за ветку ивы и, держась за нее, повисла над тиной. Когда же господа и собаки скрылись за воротами усадьбы, она попробовала было опять вскарабкаться на мостик, но ветка вдруг обломилась у самого ствола и девочка упала в тростник. Хорошо, что ее в ту же минуту схватила чья-то сильная рука. По полю проходил коробейник; он видел все и поспешил девочке на помощь.

– Всяк знай свое место! – пошутил он, передразнивая барины, и вытащил девочку на сушу. Отломанную ветку он тоже попробовал поставить на свое место, но не всегда-то ведь поговорка оправдывается! Пришлось воткнуть ветку прямо в рыхлую землю. – Раста, если сможешь, и пусть из тебя выйдет хорошая дудка для этих господ!

При этом он от души пожелал, чтобы на ней сыграли когда-нибудь для барины и всей его свиты хороший шпицрутен-марш. Затем коробейник направился в усадьбу, но не в парадную залу – куда такой мелкой сошке лезть в залы, – а в людскую. Слуги обступили его и стали рассматривать товары, а наверху, в зале, шел пир горой. Гости вздумали петь и подняли страшный рев и крик: лучше этого они петь не умели! Хохот, крики и собачий вой стоном стояли в воздухе; вино и старое пиво пенилось в стаканах и кружках. Любимые собаки тоже участвовали в трапезе, и то тот, то другой из молодых господ целовал их прямо в морду, предварительно обтерев ее длинными, обвислыми ушами собаки. Коробейника тоже призывали в залу, но только ради потехи. Вино бросилось им в головы, а рассудок, конечно, и вон сейчас! Они налили коробейнику пива в чулок – выпьешь, мол, и из чулка, торопись только! То-то хитро придумали! Было над чем зубоскалить! Целые стада, целые деревни вместе с крестьянами ставились на карту и проигрывались.

– Всяк знай свое место! – сказал коробейник, выбравшись из Содома и Гоморры, как он назвал усадьбу. – Мое место – путь-дорога, а в усадьбе мне совсем не по себе!

Маленькая пастушка ласково кивнула ему на прощанье из-за плетня.

Дни шли за днями, недели за неделями; сломанная ветка, посаженная коробейником у самого рва, не только не засохла и не пожелтела, но даже пустила свежие побеги; пастушка глядела на нее да радовалась: теперь у нее завелось как будто свое собственное дерево.

Да, ветка-то все росла и зеленела, а вот в господской усадьбе дела шли все хуже и хуже: кутежи и карты до добра не доводят.

Не прошло и шести лет, как барин пошел с сумою, а усадьбу купил богатый коробейник, тот самый, над которым баре потешались, наливая ему пива в чулок. Честность и трудолюбие хоть кого поставят на ноги, и вот коробейник сделался хозяином усадьбы, но с того же часа карты были изгнаны из нее навсегда.

– Из этих листков ничего хорошего не вычитаешь! – говорил хозяин. – Ведь откуда они взялись? Когда черт увидал в первый раз Библию, он тоже захотел сочинить что-нибудь такое – взял и придумал карты!

Новый хозяин усадьбы женился, и на ком же? На бывшей пастушке! Она всегда отличалась добронравием, благочестием и добротой, а как нарядилась в новые платья, так стала ни дать ни взять красавицей барыней! Как же, однако, все это случилось? Ну, об этом больно долго рассказывать, а в наш недосужий век, известно, все торопятся! Случилось так, ну и все, а дальше-то вот пойдет самое важное.

Славно жилось в старой усадьбе; хозяйка сама вела все домашнее хозяйство, а хозяин управлял всеми делами; благосостояние их все росло; недаром говорится, что деньга родит деньгу. Старый дом подновили, выкрасили, рвы очистили, всюду насадили плодовых деревьев, и усадьба смотрела настоящею игрушечкой. Пол в комнатах так и блестел; в большой зале собирались зимними вечерами все служанки и с самою хозяйкой во главе пряли шерсть и лен, по воскресным же вечерам юстиц-советник читал им из Библии. Да, да, бывший коробейник стал юстиц-советником, – правда, только на старости лет. Были у них и дети; дети подрастали, всем им дали



хорошее образование, но не у всех были одинаковые способности — так оно бывает ведь и во всех семьях.



Ветка же стала славным деревом; оно росло на свободе, его не подстригали, не подвязывали.

— Это наше, родовое дерево! — говорили старики и внушали всем детям, даже тем, которые не отличались особенными способностями, чтить и уважать его.

И вот с тех пор прошло сто лет.

Дело было уже в наше время. Озеро стало болотом, а старой усадьбы и вовсе как не бывало; виднелись только какие-то канавки с грязной водой да с камнями по краям – остатки прежних глубоких рвов. Зато старое родовое дерево красовалось по-прежнему. Вот что значит дать дереву расти на свободе! Правда, оно треснуло от самых корней до вершины, слегка покривилось от бурь, но стояло все еще крепко; из всех трещин и щелей, куда ветер занес разные семена, росли травы и цветы. Особенно густо росли они повыше, там, где ствол раздваивался. Тут образовался точно висячий садик: из середины дупла росли малина, мокричник и даже небольшая стройная рябинка. Старая ива отражалась в черной воде канавки, когда ветер отгонял зеленую ряску к другому краю. Мимо дерева вилась тропинка, уходившая в хлебное поле.

У самого же леса, на высоком холме, откуда открывался чудный вид на окрестность, стоял новый роскошный дом. Окна были зеркальные, такие чистые и прозрачные, что стекол словно и не было вовсе. Широкий подъезд казался настоящей беседкой из роз и плюща. Лужайка перед домом зеленела так ярко, точно каждую былинку охорашивали и утром и вечером. Залы увешаны были дорогими картинами, уставлены крытыми бархатом и шелком стульями и диванами, которые чуть только не катались на колесиках сами. Тут же стояли столы с мраморными досками, заваленные альбомами в сафьяновых переплетах и с золотыми обрезами... Да, богатые, видно, тут жили люди! И богатые и знатные – тут жило семейство барона.

И все в доме было подобрано одно к одному. «Всяк знай свое место» или «всеу свое место», – говорили владельцы, и вот картины, висевшие когда-то в старой усадьбе на почетном месте, были вынесены в коридор, что вел в людскую. Все они считались старым хламом, в особенности же два старинных портрета. На одном был изображен мужчина в красном кафтане и в парике, на другом – дама с напудренными, высоко взбитыми волосами, с алой розой в руках. Оба были окружены венками из ветвей ивы и оба усеяны круглыми дырочками. Маленькие барончики стреляли в портреты стариков из луков, как в мишень. А старики-то эти были – сам юстиц-советник и советница, родоначальники баронской семьи.

– Ну, они вовсе не из нашего рода! – сказал один из барончиков. – Он был коробейником, а она пасла гусей! Это совсем не то, что папá и

маман.

Портреты, как сказано, считались хламом, а так как «всеу свое место», то прабабушку и прадедушку и отправили в коридор.

Домашним учителем в семье был сын пастора. Раз как-то он отправился на прогулку с маленькими барончиками и их старшей сестрой, которая только недавно конфирмовалась. Они шли по тропинке мимо старой ивы; молодая баронесса составляла букет из полевых цветов.

Правило «всеу свое место» соблюдалось и тут, и в результате вышел прекрасный букет. В то же время она внимательно прислушивалась к рассказам пасторского сына, а он рассказывал о чудесных силах природы, о великих исторических деятелях, о героях и героинях. Баронесса была здоровою, богато одаренною натурой, с благородною душой и сердцем, способным понять и оценить всякое Божье создание.

Возле старой ивы они остановились – младшему барончику захотелось дудочку; ему не раз вырезали их из ветвей других ив, и пасторский сын отломил одну ветку.

– Ах, не надо! – сказала молодая баронесса, но дело было уже сделано. – Ведь это же наше знаменитое родовое дерево! Я так люблю его, хоть надо мною и смеются дома! Об этом дереве рассказывают...

И она рассказала все, что мы уже знаем о старой усадьбе и о первой встрече пастушки и коробейника, родоначальников знатного баронского рода и самой молодой баронессы.

– Славные, честные старички не гнались за дворянством! – сказала она. – У них была поговорка: «Всяк знай свое место», а им казалось, что они не будут на своем, если купят себе дворянство за деньги. Сын же их, мой дедушка, сделался бароном. Говорят, он был такой ученый и в большой чести у принцев и принцесс; его постоянно приглашали на все придворные празднества. Его у нас дома особенно любят, я же, сама не знаю почему, больше симпатизирую двум старичкам. Могу себе представить их уютную патриархальную жизнь: хозяйка сидит и прядет вместе со своими служанками, а старик хозяин читает вслух Библию!

– Да, славные, достойные были люди! – сказал пасторский сын.

Завязался разговор о дворянстве и о мещанстве, и, слушая пасторского сына, право, можно было подумать, что сам он не из

мещан.

– Большое счастье принадлежать к славному роду – тогда сама кровь твоя как бы прищипоривает тебя, подгоняет делать одно хорошее. Большое счастье носить благородное родовое имя – это входной билет в лучшие семьи! Дворянство означает благородство крови; это чеканка на золотой монете, означающая ее достоинство. Но теперь ведь в моде, и ей следуют даже многие поэты, считать все дворянство дурным и глупым, а в людях низших классов открывать тем большие достоинства, чем ниже их место в обществе. Я другого мнения и нахожу такую точку зрения ложною. У людей высших сословий можно подметить много поразительно прекрасных черт характера. Мать моя рассказывала мне об одной, и я сам могу привести их много.

Мать была раз в гостях в одном знатном доме – бабушка моя, если не ошибаюсь, выкормила госпожу этого дома. Мать стояла в комнате, разговаривая со старым высокородным господином, и вдруг он увидал, что по двору ковыляет на костылях бедная старуха, которая приходила к нему по воскресеньям за милостыней. «Бедняга! – сказал он. – Ей так трудно взбираться сюда!» И прежде чем мать успела опянуться, он был уже за дверями и спустился по лестнице. Семидесятилетний старик генерал сам спустился во двор, чтобы избавить бедную женщину от труда подниматься за милостыней! Это только мелкая черта, но она, как «лепта вдовицы», шла прямо от сердца, из глубины человеческой души, и вот на нее-то должен был указать поэт, в наше-то время и следовало бы воспеть ее! Это принесло бы пользу, умиротворило и смягчило бы сердца! Если же какое-нибудь подобие человека считает себя вправе – только потому, что у него, как у кровной арабской лошади, есть родословная, – становиться на дыбы и ржать на улице, а входя в гостиную после мещанина, говорить: «Здесь пахнет человеком с улицы!» – то приходится признаться, что в лице его дворянство пришло к разложению, стало лишь маской, вроде той, что употреблял Феспис. Над такую фигурой остается только посмеяться, хлестнуть ее хорошенько бичом сатиры!

Вот какую речь держал пасторский сын; длинновата она была, да зато он успел в это время вырезать дудку.

В баронском доме собралось большое общество, наехали гости из окрестностей и из столицы; было тут и много дам – и одетых со

вкусом и без вкуса. Большая зала была полна народу. Священники из окрестных приходов сбились в кучу в один угол. Можно было подумать, что люди собрались сюда на похороны, а на самом-то деле — на праздник, только гости еще не разошлись как следует.



Предполагалось устроить большой концерт, и маленький барончик тоже вышел со своею дудкой, но ни он, ни даже сам папá не сумели извлечь из нее ни звука, – значит, она никуда не годилась!

Начались музыка и пение того рода, что больше всего нравятся самим исполнителям. Вообще же все было очень мило.

– А вы, говорят, виртуоз! – сказал один кавалер, папенькин и маменькин сынок. – Вы играете на дудке и даже сами вырезали ее. Вот это высший сорт гения! Помилуйте! Я вполне следую за веком; так ведь и должно! Не правда ли, вы доставите нам высокое наслаждение своею игрой?

И он протянул пасторскому сыну дудку, вырезанную из ветви старой ивы, и громко провозгласил, что домашний учитель сыграет соло на дудке.

Разумеется, над учителем только хотели посмеяться, и молодой человек отнекивался, как мог, хотя и умел играть. Но все ужасно пристали к нему, и вот он взял дудку и поднес ее ко рту.

Вот так дудка была! Она издала звук, протяжный и резкий, точно свисток паровоза, даже еще резче; он раздавался по всему двору, саду и лесу, прокатился эхом на много миль кругом, а вслед за ним пронесся бурный вихрь. Вихрь свистел: «Всяк знай свое место!» И вот папá, словно на крыльях ветра, перелетел двор и угодил прямо в пастуший шалаш, пастух же перелетел – не в залу, там ему было не место, – но в людскую, в круг разодетых лакеев, щеголявших в шелковых чулках.

Гордых лакеев чуть не хватил паралич от такой неожиданности. Как? Такое ничтожество и вдруг смеет садиться за стол рядом с ними!

Молодая баронесса между тем была перенесена вихрем на почетное место, во главе стола, которого она была вполне достойна, а пасторский сын очутился возле нее, и вот они сидели рядом, словно жених с невестою! Старый граф, принадлежавший к одной из древнейших фамилий, не был смещен со своего почетного места, – дудка была справедлива, да так и следует. Остроумный же кавалер, маменькин и папенькин сынок, полетел вверх ногами в курятник, да и не он один.

За целую милю слышен был этот звук, и вихрь успел-таки наделать бед. Один богатый глава торгового дома, ехавший на четверке

лошадей, тоже был подхвачен вихрем, вылетел из экипажа и не мог потом попасть даже на запятки, а два богатых крестьянина, из тех, что разбогатели на наших глазах, угодили прямо в тину. Да, преопасная была дудка! Хорошо, что она дала трещину при первом же звуке, и ее спрятали в карман – «всему свое место».

На другой день о происшествии не было и помину, оттого и создалась поговорка «Спрятать дудку в карман». Все опять пришло в порядок, только два старых портрета, коробейника и пастушки, висели уже в парадной зале; вихрь перенес их туда, а один из настоящих знатоков искусства сказал, что они написаны рукой великого мастера; вот их и оставили там и даже подновили. А то прежде и не знали, что они чего-нибудь стоят, – где ж было знать это! Таким образом, они все-таки попали на почетное место: «всему свое место!» И так оно, в конце концов, всегда и бывает – вечность ведь длинна, куда длиннее этой истории!

## Домовой мелочного торговца



Жил-был заправский студент, — ютился он на чердаке и ровно ничего не имел за душой, — и жил-был заправский мелочной торговец — этот занимал целый нижний этаж, да и весь дом принадлежал ему. У него-то и прижился домовой. Еще бы! Тут он каждый сочельник угощался кашей с маслом; у мелочного торговца хватало средств на такое угощение! Итак, домовой жил да жил в лавке, и это очень поучительно.

Раз вечером из задних дверей появился студент; ему понадобилось купить свечку и сыру; послать ему было некого, он и пришел в лавку сам. Получив от него плату за покупки, лавочник и лавочница пожелали ему доброго вечера, а лавочница-то была из таких женщин, что могли сказать и побольше, чем «добрый вечер», — она отличалась



даром красноречия. Студент кивнул им в ответ, продолжая читать то, что было напечатано на бумаге, в которую завернули ему сыр. Бумага оказалась листом, вырванным из какой-то старой книги поэтического содержания.

– У меня этого добра еще много! – сказал лавочник. – Книжка досталась мне от одной старухи за горсточку кофейных зерен. Хотите дать восемь скиллингов, так берите все остальные листы.

– Спасибо! – сказал студент. – Дайте мне их вместо сыра! Я могу обойтись и одним хлебом с маслом! Грех был бы, если бы всю книгу изорвали в клочки! Вы отличный человек, практический человек, но в поэзии смыслите не больше этой бочки!

Он выразился довольно невежливо, особенно по отношению к бочке, но лавочник рассмеялся, и студент тоже: он ведь, так сказать, пошутил только. Зато домовый обиделся: как смели сказать такую вещь самому домовладельцу, продавцу лучшего масла!

Наступила ночь, лавку заперли, и все, кроме студента, улеглись спать.

Домовой вошел в спальню и взял язычок хозяйки – он ей ведь не нужен был, пока она спала. Стоило домовому прикрепить этот язычок к какому-нибудь предмету в лавке – тот сейчас получал дар слова и мог высказать все свои мысли и чувства не хуже самой лавочницы. И хорошо, что язычок мог служить лишь одному предмету зараз, а то они просто бы оглушили друг друга.

Домовой прикрепил язычок к бочке, в которую сваливались старые газеты, и спросил ее:

– Вы в самом деле не знаете, что такое поэзия?

– Знаю! – отвечала она. – Это обыкновенно печатается в подвальных столбцах газеты и потом отрезается. Полагаю, что во мне этого добра побольше, чем у студента, а я ведь только ничтожная бочка в сравнении с самим лавочником.

Потом домовой прикрепил язычок к кофейной мельнице – то-то она замолела! Затем к кадочке из-под масла и, наконец, к денежному ящику. Все оказались одного мнения, а с мнением большинства приходится уж считаться!

– Постой же ты, студентик! – сказал домовый и тихонько поднялся по черной лестнице на чердак, где жил студент. В каморке было светло; домовой приложился глазком к замочной скважине и увидал,

что студент сидит и читает рваную книгу; но какой свет разливался от нее! Один яркий луч, исходивший из книги, образовывал как бы ствол великолепного дерева, которое упиралось вершиной в самый потолок и широко раскинуло свои ветви над головой студента. Листья его были один свежее другого, каждый цветок – прелестною девичьею головкой с жгучими черными или с ясными голубыми глазами, а каждый плод – яркою звездой. И что за дивные пение и музыка звучали в каморке!

Нет, крошка домовой не только никогда не видел и не слышал ничего такого на самом деле, но и представить себе не мог! Он так и замер на цыпочках у дверей и все глядел, глядел, пока свет не потух. Студент уже потушил лампу и улегся в постель, а домовой все стоял на том же месте; дивная мелодия все еще звучала в комнате, убаюкивая студента.

– Вот так чудеса! – сказал домовой. – Не ожидал. Право, я думаю переселиться к студенту! – Подумав хорошенько, он, однако, вздохнул: – У студента ведь нет каши!

И он спустился – да, спустился опять вниз к лавочнику. И хорошо сделал, – бочка чуть было не истрепала весь язычок хозяйки, высказывая, как следует смотреть на содержимое ее с одной стороны, и уже собиралась было повернуться, чтобы выяснить дело и с другой. Домовой снес язычок обратно хозяйке, но с тех пор вся лавка – от денежного ящика до растопок – была одного мнения с бочкой и стала относиться к ней с таким уважением, так уверовала в ее богатое содержание, что, слушая, как лавочник читал что-нибудь в вечернем «Вестнике» о театре или об искусстве, твердо верила, что и это все взято из бочки.

Но крошка домовой уже не сидел, как бывало прежде, спокойно на своем месте, прислушиваясь ко всей этой премудрости; едва только в каморке у студента показывался свет, домового неудержимо влекло туда, словно лучи этого света были якорными канатами, а сам он якорем. Он глядел в замочную скважину, и его охватывало такое же чувство, какое испытываем мы при виде величавой картины взволнованного моря в час, когда над ним пролетает ангел бури. И домовой не мог удержаться от слез; он и сам не знал, почему плачет, слезы лились сами собою, а самому ему было и сладко и больно. Вот бы посидеть вместе со студентом под самым деревом! Но чему не бывать, тому и не бывать – домовой рад был и замочной скважине. И

он простаивал целые часы в холодном коридоре, даже когда наступила осень. Из слухового окна дуло, стоял страшный холод, но крошка домовой не чувствовал ничего, пока свет не погасал и чудное пение не замирало окончательно. У! как он дрожал потом и торопился пробраться в свой уютный и теплый уголок в лавке. Зато когда дело доходило до рождественской каши с маслом, то на первом плане был уже лавочник.

Но вот раз ночью домовой проснулся от страшного грохота; в ставни барабанили с улицы кулаками, ночной сторож давал свистки; где-то загорелось, и вся улица была как в огне. Где же был пожар, в самом ли доме или у соседей? Вот ужас! Лавочница так растерялась, что выхватила из ушей свои золотые сережки и сунула их в карман, чтобы хоть что-нибудь спасти; лавочник кинулся к своим процентным бумагам, а служанка к своей шелковой мантилье – франтиха была! – словом, каждый старался спасти, что получше. И вот крошка домовой в два прыжка очутился на верху чердачной лестницы и шмыгнул в каморку студента, который преспокойно смотрел на пожар в открытое окно, – горело у соседей. Крошка домовой схватил со стола дивную книгу, сунул ее в свой красный колпачок и прижал его обеими руками к груди: лучшее сокровище дома было спасено! Потом он взобрался на самую крышу, на верхушку трубы, и сидел там, освещенный ярким заревом пожара, крепко держа обеими руками красный колпачок с сокровищем. Теперь он узнал, чему, собственно, принадлежит всем сердцем! Но когда пожар затушили и домовой пришел в себя, он сказал:

– Да, я разделюсь между обоими! Нельзя же мне совсем оставить лавочника – а каша-то?

И он рассудил совершенно по-человечески! И мы все тоже ведь держимся лавочника – ради каши!

## Под ивою



Окрестности Кёге довольно голы; положим, город лежит на самом берегу моря, а это уж само по себе красиво, но все же окрестности могли бы быть покрасивее. А то куда ни обернешься – плоское, ровное пространство, до леса не скоро и доберешься. Освоившись хорошенько с местностью, можно, впрочем, и тут напасть на такие красивые местечки, что потом будешь скучать о них даже в самом восхитительном уголке земного шара. Вот, например, на самой окраине города сбегали вниз, к быстрой речке, два простеньких, бедненьких садика, и летом здесь было прелесть как хорошо! Особенно для двоих ребяташек: Кнуда и Йоханны, которые день-деньской играли тут; они были соседями и пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника, разделявшего их садики. В одном из садиков росла бузина, в другом – старая ива. Под ивою-то дети

особенно и любили играть – им позволяли, хотя дерево и стояло почти у самой речки, так что они легко могли упасть в воду. Ну, да Господь Бог сам охраняет «малых сих», а не то было бы плохо! Впрочем, дети были очень осторожны, а мальчик, так тот просто боялся воды: другие ребяташки весело плещутся себе, бывало, в заливе, бегают по воде, шалят, а его и не заманить туда. Зато Кнуду и приходилось сносить немало насмешек; но вот Йоханне раз приснилось, что она плыла по заливу в лодке и Кнуд преспокойно пошел к ней навстречу прямо по воде, а вода-то сначала была ему по шею, потом же покрыла его с головой! Полно с тех пор Кнуду терпеть насмешки! Назовут его трусом, а он сейчас и указывает на сон Йоханны – вон я какой храбрый! Очень он гордился своею храбростью, но от воды все-таки держался подальше.

Бедняки родители ребяташек были соседями, виделись друг с другом ежедневно, а Кнуд и Йоханна целыми днями играли вместе в садиках и на дороге, обсаженной по обеим сторонам, вдоль канав, ивами. Красотой эти ивы не отличались, верхушки их были обломаны, ну да они и стояли-то тут не для красоты, а для пользы. Старая ива в саду была куда красивее, и под нею ребяташки провели немало веселых часов.

В Кёге есть большая площадь, и во время ярмарки на ней выстраивались целые улицы из палаток, в которых торговали лентами, сапогами и разную разностью. В эти дни здесь всегда бывала давка и суматоха и почти всегда шел дождик; во влажном воздухе так и пахло крестьянскими кафтанами и – что куда приятнее – медовыми коврижками. Целая лавка битком бывала набита коврижками! Славно! А что еще лучше – хозяин лавочки останавливался у родителей Кнуда, и мальчику, конечно, перепадало всякий раз по коврижке, которую он сейчас же делил с Йоханной. Важнее же всего было то, что продавец коврижек умел рассказывать чудесные истории почти обо всякой вещи, даже о своих коврижках. Однажды вечером он и рассказал детям историю, которая произвела на них такое сильное впечатление, что они не могли забыть ее никогда. Не мешает, пожалуй, и нам послушать ее, тем более что она очень коротка.

– На прилавке лежали две коврижки, – рассказывал торговец. – Одна изображала кавалера в шляпе, другая – девицу без шляпы, но с полоской сусального золота на голове. Лицо у них было только на

одной стороне, которой они лежали кверху. С этой-то лицевой стороны на них и надо было смотреть, а отнюдь не с оборотной, и так следует смотреть и на всех людей вообще. У кавалера в левом боку торчала горькая миндалинка – это было его сердце, девица же была просто медовою коврижкой. Лежали они на прилавке как образцы, лежали долго, ну и полюбили друг друга, но ни тот, ни другая ни гугу об этом, а так нельзя, если хочешь, чтобы любовь привела к чему-нибудь!

«Он мужчина и должен заговорить первый!» – думала девица, хотя и была бы довольна одним сознанием, что любовь ее встречает взаимность.

Кавалер же, как и все мужчины, питал довольно кровожадные замыслы. Он мечтал, что он – живой уличный мальчишка, в кармане у него четыре скиллинга, и вот он покупает девицу и съедает ее!..

Так они лежали на прилавке дни за днями, недели за неделями и сохли; мысли девицы становились все нежнее и женственнее. «Я довольна и тем, что лежу на прилавке рядом с ним!» – думала она и вдруг треснула пополам. «Знай она, что я люблю ее, она, пожалуй, еще продержалась бы!» – подумал он.

Вот вам и вся история, а вот и сами коврижки! – добавил торговец сластями. – Они замечательны историей своей жизни и своею немою любовью, которая никогда ни к чему не ведет! Ну, возьмите их себе!

И он дал Йоханне уцелевшего кавалера, а Кнуду – треснувшую девицу. Рассказ, однако, так подействовал на детей, что они не могли решиться съесть эту парочку.

На другой день они отправились с коврижками на кладбище; церковные стены были густо обвиты и летом и зимою чудеснейшим плющом – словно зеленый ковер был повешен! Дети положили коврижки на травку, на самое солнышко, и рассказали толпе ребятишек историю немой любви, которая никуда не годится, то есть любовь, а не история. История-то была прелестна, все согласились с этим и поглядели на медовую парочку, но... куда же девалась девица? Ее съел под шумок один из больших мальчиков – вот какой злой! Дети заплакали о девице, а потом – верно, из жалости к бедному одинокому кавалеру – съели и его, но самой истории не забыли.

Кнуд и Йоханна были неразлучны, играли то под бузиною, то под ивою, и девочка распевала своим серебристым, звонким, как

колокольчик, голосом прелестные песенки. У Кнуда слуха не было никакого, зато он твердо помнил слова песен – все-таки хоть что-нибудь! Горожане останавливались послушать Йоханну; особенно же восхищалась ее голосом жена торговца скобяными изделиями.

– Соловьиное горлышко у этой малютки! – говорила она.

Да, славные то были денечки, но не вечно было им длиться!.. Соседям пришлось расстаться: мать Йоханны умерла, отец собирался жениться в Копенгагене на другой и, кстати, рассчитывал пристроиться там посыльным при одном учреждении – должность, как говорили, была очень доходная. Соседи расстались со слезами; особенно плакали дети, но старики обещали писать друг другу по крайней мере раз в год. Кнуда отдали в учение к сапожнику – не пристало такому большому мальчику слоняться без дела! А потом его и конфирмовали.

Как хотелось ему в этот торжественный день отправиться в Копенгаген, повидать Йоханну! Но, конечно, он не отправился ни в этот день, ни потом, хотя Копенгаген и лежит всего в пяти милях от Кёге и в ясную тихую погоду через залив видны были столичные башни. В день же конфирмации Кнуд ясно видел даже золотой крест собора Богоматери.

Ах, как он скучал по Йоханне! А вспоминала ли о нем она?

Да! К Рождеству родители Кнуда получили письмо от ее отца. В нем говорилось, что в Копенгагене им повезло и что серебряный голосок Йоханны сулит ей большое счастье. Она была уже принята в театр, где поют, и даже зарабатывала кое-что. Из заработка своего она и посылала дорогим соседям на рождественские удовольствия целый риксдалер! Пусть в Кёге выпьют за ее здоровье! В письме была и собственноручная приписка Йоханны: «Дружеский привет Кнуду!»

Все плакали от радости. У Кнуда только и дум было, что об Йоханне, а теперь выходило, что и она о нем думает! И вот чем ближе подходил срок его учению, тем яснее ему становилось, что он любит Йоханну; значит, она должна стать его женою! При этой мысли все лицо его озарялось улыбкой, и он еще бойчее дергивал дратву, в то время как нога натягивала ремень. Он проколол себе шилом палец и даже не заметил! Уж он-то не будет молчать, как те коврижки, – их история научила его кое-чему.

И вот он подмастерье. Теперь – котомку на спину, и марш в первый раз в жизни в Копенгаген! У него уже был там на примете один мастер. Вот Йоханна-то удивится и обрадуется ему! Ей уже теперь семнадцать лет, а ему девятнадцать.

Кнуд хотел было тут же, в Кёге, запастись золотым колечком для нее, да потом сообразил, что в Копенгагене можно купить получше. Простившись со стариками родителями, он бодро зашагал по дороге; пора стояла осенняя: дождь, непогода, листья с деревьев так и сыпались. Усталый, промокший до костей, добрался наконец Кнуд до столицы и до нового хозяина.

В первое же воскресенье он собрался навестить отца Йоханны, надел новое платье и – в первый раз в жизни – новую шляпу, купленную еще в Кёге; она очень шла к нему; до сих же пор он ходил всегда в фуражке. Вот Кнуд отыскал дом и поднялся вверх по лестнице. Сколько тут было ступенек! Просто голова кружилась при одной мысли о том, что люди могут жить так, почти на головах друг у друга.

Зато в самой квартире было уютно, и отец Йоханны встретил Кнуда очень ласково. Для хозяйки дома Кнуд был совершенно посторонним человеком, но и она подала ему руку и угостила чашкой кофе.

– Вот Йоханна-то обрадуется тебе! – сказал отец. – Ишь ты, каким молодцом стал! Ну, сейчас увидишь ее! Да, ну и девушка! Она нас так радует и, Бог даст, порадует еще больше! У нее своя комната, она платит нам за нее!

И папаша очень вежливо, словно чужой, постучался в дверь дочки. Они вошли. Папаша! Какая прелесть! Такой комнаты не нашлось бы во всем Кёге! У самой королевы вряд ли могло быть лучше! Тут были и ковер, и длинные занавеси до самого пола, бархатный стул, цветы, картины и большое зеркало, в которое можно было с разбега ткнуться лбом, приняв его за дверь. Все это сразу бросилось в глаза Кнуду, но видел он все-таки одну Йоханну. Она стала совсем взрослою девушкой, но вовсе не такую, какую воображал ее себе он, – куда лучше! Во всем Кёге не сыскать было такой девушки. Какая она была нарядная, изящная! Но как странно взглянула она на Кнуда – точно на чужого. Зато в следующую же минуту она так и бросилась к нему, словно хотела расцеловать. Поцеловать-то она не поцеловала, но готова была. Да, очень она обрадовалась другу детства! Слезы



выступили у нее на глазах, а уж сколько вопросов она назадавала ему – и о здоровье родителей его, и о бузине, и об иве, которых она звала, бывало, «матушкой» и «батюшкой», точно деревья были людьми. Впрочем, ведь смотрели же Кнуд с Йоханной когда-то и на коврижки как на людей. Йоханна вспомнила и о них, об их немой любви, о том, как они лежали рядом на прилавке и как девица треснула пополам. Тут Йоханна весело рассмеялась, а Кнуд вспыхнул, и сердце его так и застучало. Нет, она совсем не переменялась, не заважничала! И он отлично заметил, что это она заставила родителей попросить его остаться у них на целый вечер. Йоханна разливала чай и сама подала Кнуду чашку, а потом принесла книгу и прочла им из нее кое-что вслух. И Кнуду показалось, что она прочитала как раз историю его собственной любви, – так подходило каждое слово к его мыслям. Затем она спела простенькую песенку, которая, однако, превратилась в ее устах в настоящую поэму; казалось, в ней вылилась вся душа Йоханны. Разумеется, она любила Кнуда! Слезы текли по его щекам, он не мог справиться с собою, не мог даже слово выговорить. Самому ему казалось, что он выглядит таким глупым, но она пожала ему руку и сказала:

– У тебя доброе сердце, Кнуд! Оставайся таким всегда!

Что это был за чудный вечер! И мыслимо ли было заснуть после того? Кнуд так и не спал всю ночь. На прощанье отец Йоханны сказал:

– Ну, не забывай же нас! Не пропусти всю зиму, не заглянув к нам!



Значит, ему можно было опять прийти к ним в воскресенье; так он и решил сделать. Но каждый вечер по окончании работ – а работали они еще долго и при огне – Кнуд отправлялся бродить по городу, заходил в улицу, где жила Йоханна, и смотрел на ее окно. В нем почти всегда виднелся свет, а раз он увидел на занавеске тень ее профиля! Вот-то был чудный вечер! Жена его хозяина, правда, не очень была довольна «такими вечерними прогулками», как она выражалась, покачивая головой, но сам хозяин только посмеивался:

– Э, пусть себе! Человек он молодой!

«В воскресенье мы опять увидимся, – размышлял Кнуд, – и я скажу ей, что она не выходит у меня из головы и потому должна быть моею женой. Правда, я еще бедный подмастерье, но могу сделаться и мастером, по крайней мере „вольным мастером“; я буду работать, стараться!.. Да, да, я скажу ей все! Из немой любви ничего не выйдет! Я уж знаю это из истории о коврижках».

Воскресенье настало, и Кнуд явился к родителям Йоханны, но как неудачно! Все трое собирались куда-то – гостю так и сказали с сожалением; Йоханна же пожалала ему руку и спросила:

– А ты был в театре? Надо побывать! Я пою в среду, и, если ты свободен вечером, я пришлю тебе билет. Отец знает, где живет твой хозяин.

Как это было мило с ее стороны! В среду Кнуд получил запечатанный конверт, без всякого письма, но с билетом. Вечером Кнуд в первый раз в жизни отправился в театр. Кого же он увидел там? Йоханну! И как она была прелестна, обворожительна! Правда, она выходила замуж за какого-то чужого господина, но ведь это же было только так, представление. Кнуд отлично знал это, иначе разве она прислала бы ему билет на такое зрелище? Народ хлопал в ладоши и кричал, и Кнуд тоже закричал «ура».

Сам король улыбнулся Йоханне, как будто и он обрадовался ей. Каким маленьким, ничтожным показался теперь самому себе Кнуд! Но он так горячо любил ее, она его тоже, а первое слово ведь за мужчиной – так думали даже коврижки. О, в той истории было много поучительного!

Как только настало воскресенье, Кнуд пошел к Йоханне; он был в таком настроении духа, словно шел причащаться. Йоханна была дома одна и сама отворила ему дверь; случай был самый удобный.

– Как хорошо, что ты пришел! – сказала она ему. – Я чуть было не послала за тобой отца. Но у меня было предчувствие, что ты придешь сегодня вечером. Дело в том, что я уезжаю в пятницу во Францию. Это необходимо, если я хочу стать настоящей певицей.

Комната завертелась перед глазами Кнуда, сердце его готово было выпрыгнуть из груди, и хотя он и не пролил ни одной слезинки, видно было, как он огорчен. Йоханна заметила все и чуть не расплакалась сама.

– Верная, честная ты душа! – сказала она.

И тут уж язык у Кнуда развязался, и он сказал ей все, сказал, что горячо любит ее и что она должна выйти за него замуж. И вдруг он увидал, что Йоханна побледнела. Она выпустила его руку и сказала ему печальным, серьезным тоном:

– Не делай ни себя, ни меня несчастными, Кнуд! Я всегда буду для тебя верною, любящею сестрою, но... не больше! – И она провела своею мягкою ручкой по его горячему лбу. – Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!

В эту минуту в комнату вошла ее мачеха.

– Кнуд просто сам не свой оттого, что я уезжаю! – сказала Йоханна. – Ну, будь же мужчиной! – И она потрепала его по плечу, как будто между ними только и разговору было, что об ее отъезде. – Дитя! – прибавила она. – Ну, будь же паинькой, как прежде под ивою, когда мы оба были маленькими!

Но Кнуду казалось, что мир переломился надвое, а собственные мысли его спутались, как оборванные нити на ветру. Он остался сидеть, хоть и не знал, просили ли его оставаться. Хозяева были с ним, впрочем, очень милы и приветливы. Йоханна опять угощала его чаем и пела, – хотя и не по-прежнему, но все же очень хорошо, так что сердце Кнуда просто разрывалось на части. И вот они расстались. Кнуд не протянул ей руки, но она сама схватила его руку и сказала:

– Дай же на прощанье своей сестре руку, мой милый товарищ детства!

И она улыбнулась ему сквозь слезы и шепнула:

– Мой брат!

Нашла тоже, чем утешить его! Так они и расстались.

Йоханна отплыла во Францию, а Кнуд по-прежнему бродил вечерами по грязным улицам города. Другие подмастерья спрашивали его, чего это он все философствует, и звали его пойти с ними повеселиться, – ведь и в нем небось кипит молодая кровь.

И вот однажды он пошел с ними в увеселительное заведение. Он увидел много красивых девушек, но ни одной такой, как Йоханна, не было. И тут-то как раз, где он думал забыть ее, она не выходила у него из головы, стояла перед ним как живая. «Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!» – сказала она ему, и душою его овладело серьезное, торжественное настроение, он даже сложил руки, как на молитве, а в зале визжали скрипки, кружились пары... И

он весь затрепетал: в такое место ему не следовало бы водить Йоханну, – она всегда ведь была с ним, в его сердце! И он ушел, пустился бежать по улицам к тому дому, где она жила. В окнах было темно, кругом тоже темно, пусто, безотрадно... И никому не было дела до Кнуда; люди шли своею дорогою, а он своею.

Настала зима, реки замерзли, природа словно готовилась к смерти. Но с наступлением весны и открытием навигации Кнуда охватило вдруг тоскливое желание уйти отсюда, бежать куда глаза глядят – только не во Францию.

И вот он вскинул котомку на спину и пошел бродить по Германии, переходя из одного города в другой, не зная ни отдыха, ни покоя. Только в старинном прекрасном городе Нюрнберге тоска его как будто затихла немного и он смог остановиться.

Нюрнберг – диковинный городок, словно вырезанный из старинной иллюстрированной хроники. Улицы идут, куда и как хотят сами, дома не любят держаться в ряд, повсюду выступы, какие-то башенки, завитушки, из-под сводов выплывают статуи, а с высоты диковинных крыш сбегают на улицы водосточные желоба в виде драконов или собак с длинными туловищами.

Кнуд стоял с котомкою за плечами на нюрнбергской площади и смотрел на старый фонтан, на его библейские и исторические фигуры, орошаемые брызгами воды. К фонтану подошла зачерпнуть воды красивая девушка; она дала Кнуду напиться и подарила розу – в руках у нее был целый букет роз. Кнуд счел это добрым предзнаменованием.

Из церкви доносились до него могучие звуки органа; что-то знакомое, родное слышалось в них – как будто они неслись из кёгской церкви. И он зашел в величественный собор. Солнышко светило сквозь расписные стекла окон, играло на стройных, высоких колоннах, и душой Кнуда овладело тихое, благоговейное настроение.

Скоро он нашел себе хорошего хозяина, стал работать и учиться языку.

Рвы, окружавшие город в старину, давно были превращены жителями в маленькие огороды, но каменные крепостные стены с башнями возвышались еще по-прежнему. Канатный мастер вил свои канаты в старой бревенчатой галерее, тянувшейся вдоль одной из стен. Из всех щелей и дыр галереи росла бузина; она свешивала свои ветви к маленьким, низеньким домикам, уютившимся внизу, а в одном-

то из них как раз и жил хозяин Кнуда. Ветви бузины лезли прямо в окошко его каморки, помещавшейся под самую крышей.

Кнуд прожил тут лето и зиму, но когда пришла весна, здесь стало невыносимо: бузина зацвела, и аромат ее так напоминал Кнуду его родину и сад в Кёге, что он не выдержал и перебрался от своего хозяина к другому, жившему ближе к центру города, – тут уж бузины не было.

Новый хозяин жил возле старого каменного моста, перекинутого через бурливую речку, словно ущемленную между двумя рядами домов; прямо против дома стояла вечно шумящая водяная мельница. У всех домов были балконы, но такие старые и ветхие, что дома, казалось, только и ждали удобной минуты, чтобы стряхнуть их с себя в воду. Тут, правда, не росло ни единого кустика бузины, на окнах не виднелось даже цветочных горшков с какой-нибудь зеленью, зато перед самыми окнами стояла большая, старая ива! Она словно цеплялась за дом, чтобы не свалиться в реку, и свешивалась к воде своими гибкими ветвями – точь-в-точь как ива в саду в Кёге.

Кнуд убежал от «матушки» и наткнулся на «батюшку»! Дерево это, особенно лунными вечерами, казалось Кнуду таким родным, таким знакомым, что он переносился душой в Данию.

Но дело-то было вовсе не в лунном свете, а в старой иве.

И тут Кнуду стало невтерпёж, а почему? Спросите иву, спросите цветущую бузину! Кнуд распростился с хозяином и с Нюрнбергом и пошел дальше.

Ни с кем не говорил он об Йоханне, глубоко в сердце схоронил он свое горе; история же о двух коврижках приобрела теперь для него особенно глубокое значение. Теперь он понял, почему у кавалера сидела в груди горькая миндалина: и у него самого вся душа была отравлена горечью; Йоханна же, всегда такая ласковая, приветливая, была просто медовой коврижкой!.. И ему стало не по себе; должно быть, ремень котомки слишком давил ему грудь, трудно было дышать. Он ослабил ремень, но толку не вышло: окружающий его мир давно ведь уже как-то сузился для него, как бы убавился на целую половину, и эту-то половину Кнуд носил в себе – вот оно что! Вот отчего ему было так тяжело.

Только при виде высоких гор он почувствовал, что на сердце у него стало как будто полегче, границы света опять как будто расширились,

мысли невольно обратились к окружающему, и на глазах выступили слезы. Альпы показались ему сложенными крыльями земли. Что, если бы она развернула, распустила эти огромные крылья, испещренные чудными рисунками: темными лесами, бурными водопадами, облаками и снежными шапками! «В день Страшного суда так и будет! Земля развернет свои широкие крылья, полетит к Богу и лопнет, как мыльный пузырь, в лучах его света! Ах, если бы это было сегодня!» – вздыхал Кнуд.

Тихо брел он по стране, казавшейся ему цветущим плодовым садом. С деревянных балкончиков кивали ему головками девушки-кружевницы; вершины гор горели под лучами вечернего солнца, как жар. Он взглянул на зеленые озера, окруженные темными деревьями, и вспомнился ему берег Кёгского залива... Но в душе его уже не было прежней смертной тоски, она сменилась тихой грустью.

Там, где Рейн одною бесконечною волною стремится вперед, обрывается со скалы и, разбиваясь о камни, выбрасывает в воздух охапки белоснежной пены – как будто тут была колыбель облаков, где радуга порхает над водою, словно выходящая по ветру лента, Кнуду вспомнилась водяная мельница в Кёге, где вода тоже кипела и разбивалась в облачную пену под колесами.

Он охотно остался бы в тихом прирейнском городке, но здесь так много было ив и бузины! И он отправился дальше, за высокие, величественные горы, проходил по ущельям и по горным тропинкам, лепившимся возле отвесных, как стены, скал, словно ласточкины гнезда. В глубине пропастей шумели водопады, облака ползли под его ногами, а он все шел да шел, под теплыми лучами солнца, по чертополоху, альпийским розам и снегам, дальше и дальше, и вот наконец – прощай, север! Кнуд спустился в долину и очутился в тени каштанов, дорога вела мимо виноградников и маисовых полей. Горы встали стеною между ним и всеми воспоминаниями; так оно и следовало.

Вот Кнуд и в большом, великолепном городе Милане; он нашел здесь немецкого мастера и стал у него работать. Хозяева его оказались славными, честными и трудолюбивыми людьми; они от души полюбили тихого, кроткого и набожного юношу, который мало говорил, но много работал. И у него самого на душе стало как будто

полегче; казалось, Бог наконец сжалился над ним и снял с его души тяжелое бремя.

Первым удовольствием стало для Кнуда взбираться на самый верх величественного мраморного собора, словно изваянного со всеми своими остроконечными башнями, шпилями, высокими сводами и лепными украшениями из снегов его родины. Из-за каждого выступа, из-под каждой арки улыбались ему белые мраморные статуи. Он взбирался на самый верх: над головою его расстиралось голубое небо, под ногами – город, а кругом вширь и вдаль раскинулась Ломбардская долина, ограниченная к северу высокими горами, вечно покрытыми снегом. Он вспоминал при этом кёгскую церковь, ее красные, увитые плющом стены, но воспоминание это не будило в нем тоски по родине. Нет, пусть его схоронят тут, за горами!

Целый год прожил он в Милане; прошло уже три года с тех пор, как он покинул родину. И вот раз хозяин повел его на представление – не в цирк, смотреть наездников, а в оперу. Что это был за театр, какая зала! Стоило посмотреть! Во всех семи ярусах – шелковые занавеси, и от самого пола до потолка – просто голова кружится, как поглядишь! – сидят разряженные дамы, с букетами в руках, словно на бал собрались. Мужчины тоже в полном параде; многие в серебре и золоте. Светло было в зале, как на ярком солнышке, и вдруг загремела чудесная музыка. Да, тут было куда лучше, чем в копенгагенском театре, но там зато была Йоханна, а тут... Что это за колдовство? Занавес поднялся, и на сцене тоже стояла Йоханна, вся в шелку и золоте, с золотою короною на голове! Она запела, как могут петь разве только ангелы небесные, и выступила вперед... Она улыбалась так, как могла улыбаться одна Йоханна, она смотрела прямо на Кнуда!..

Бедняга схватил хозяина за руку и вскричал: «Йоханна!» Но крик его был заглушен музыкой; хозяин же кивнул в ответ головою и сказал: «Да, ее зовут Йоханной!» И он показал на печатный листок – там стояло ее полное имя.

Да, это был не сон! И весь народ ликовал; ей бросали цветы и венки, и, стоило ей уйти, ее опять звали назад; она уходила и выходила, уходила и опять выходила.

На улице карету ее окружила толпа, выпрягла лошадей и повезла ее. Кнуд был впереди всех, веселее всех, и, когда они добрались до



великолепно освещенного дома, где жила Йоханна, Кнуд встал перед самыми дверцами кареты. Дверцы отворились, и она вышла. Свет падал ей прямо в лицо; она улыбалась и ласково благодарила всех; она была растрогана... Кнуд не сводил с нее глаз, она тоже посмотрела на него, но не узнала. Господин со звездой на груди подал ей руку; это был ее жених, толковали в народе.

Кнуд пришел домой и – котомку на плечи! Он хотел, он должен был вернуться на родину, к бузине, к иве... Ах, под иву! Иной час стоит целой жизни.



Хозяева просили его остаться, но все уговоры были напрасны. Они говорили ему, что дело идет к зиме, что все горные проходы уже занесены снегом. Нужды нет, он мог идти за медленно движущейся почтовой каретой – для нее-то ведь уж расчистят дорогу!

И он побрел с котомкой за спиной, опираясь на свою палку, взбирался на горы, опять спускался; силы его уже начали слабеть, а он все еще не видел перед собою ни города, ни жилья; шел он все на север, над головой его загорались звезды, ноги его подкашивались, голова кружилась... В глубине долины тоже загорались звездочки, словно и под ногами у него расстилалось небо. Кнуду нездоровилось. Звездочки внизу все прибывали и прибывали, становились все светлее, двигались туда и сюда. Это блестели в одном маленьком городке огоньки в окнах домов, и, когда Кнуд сообразил, в чем дело, он собрал последние силы и кое-как доплелся до постоянного двора.

Целые сутки пробыл он тут; все тело его просило отдыха. Сделалась оттепель, в долине стояла страшная слякоть и грязь, но на другое утро явился шарманщик, заиграл датскую песню, и Кнуд сейчас же отправился в путь. Много дней он шел не останавливаясь, торопясь изо всех сил, как будто дело шло о том, чтобы застать в живых домашних. Ни с кем не говорил он о своей тоске, никто не мог и подозревать о его глубочайшем сердечном горе; да и что за дело людям до такого горя – оно неинтересно; нет до него дела даже друзьям; у Кнуда, впрочем, и не было друзей. Чужой всем, он пробирался по чужой земле на родину, на север. В единственном, полученном им больше года назад из дому письме говорилось: «Ты не настоящий датчанин, как мы все: мы ужасно привязаны к своей родине, а тебя все тянет в чужие страны!» Да, родители могли так писать – они ведь знали его.

Смеркалось. Кнуд шел по большой дороге; воздух уже становился холоднее, а самая почва – ровнее, больше встречалось лугов и полей. У дороги стояла большая ива, и вся окрестность смотрела такую родною, чисто датскою! Кнуд сел под иву; он очень устал, голова его упала на грудь, глаза закрылись, но он ясно чувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями. Дерево было похоже на могучего, сильного старца... на самого батюшку! Батюшка нагнулся к Кнуду, взял его в объятия, как усталого сына, и понес домой, в Данию, на открытый морской берег, в садик, где он играл еще ребенком... Да, это был сам батюшка из Кёге, он пошел искать сына по белу свету, нашел его и принес в садик возле речки! Тут же стояла и Йоханна, разодетая, с короной на голове, – какую Кнуд видел ее в последний раз. И она встретила его радостным «Добро пожаловать!».

Тут же, возле, стояли две чудные фигуры, и все же они походили теперь на людей куда больше, чем во времена детства Кнуда, – и они тоже изменились. То были две коврижки: кавалер и девица; они стояли к Кнуду лицевою стороной и были на вид хоть куда.

– Спасибо тебе! – сказали они. – Ты развязал нам язык! Ты объяснял нам, что нужно свободно высказывать свои мысли, а иначе не будет никакого толку! Ну вот теперь и вышел толк: мы жених и невеста!

И они пошли рука об руку по улицам Кёге и даже с оборотной стороны были ничего себе, вполне приличны! Они направились прямо в церковь; Кнуд с Йоханной – за ними, тоже рука об руку. Церковь ничуть не переменилась, чудесный плющ все так же вился по красным стенам. Главные двери были отворены настежь; слышались звуки органа. Коврижки вошли в церковь и вдруг отступили в сторону. «Господа, вперед!» – сказали они, и Кнуд с Йоханной очутились впереди. Оба преклонили колена, и Йоханна склонилась головкой к лицу Кнуда. Из глаз ее текли холодные, ледяные слезы – это растаял от горячей любви Кнуда лед ее сердца. Слезы ее упали на его пылающие щеки, и он проснулся и увидел, что сидит под старою ивой, в чужой стороне, в холодный зимний вечер, один-одинешенек... Ледяной град так и колот ему лицо.

– Я пережил сейчас блаженнейшие минуты в моей жизни! – сказал он. – Но это был сон! Боже, верни мне его! – И он закрыл глаза, заснул и снова увидел сон.

Утром пошел снег, совсем занес его ноги, а он все спал. Сельчане шли в церковь и увидали на дороге мертвого подмастерья; он замерз под ивою.

## Пятеро из одного стручка



В стручке сидело пять горошин; сами они были зеленые, стручок тоже, ну, они и думали, что и весь мир зеленый; так и должно было быть! Стручок рос, росли и горошины; они принаравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее; горошинам было хорошо и уютно, светло днем и темно ночью, как и следует. Они все росли да росли и все больше и больше думали, сидя в стручке, — что-нибудь да надо же было делать!

— Век, что ли, сидеть нам тут? — говорили они. — Как бы нам не зачерстветь от такого сидения!.. А сдастся нам, есть что-то и за нашим стручком! Уж такое у нас предчувствие!

Прошло несколько недель; горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел.

– Весь мир желтеет! – сказали они, и кто ж бы им помешал говорить так?

Вдруг они почувствовали сильный толчок; стручок был сорван человеческой рукой и сунут в карман, к другим стручкам.

– Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю! – сказали горошины и стали ждать.

– А хотелось бы мне знать, кто из нас пойдет дальше всех! – сказала самая маленькая. – Впрочем, скоро увидим!

– Будь что будет! – сказала самая большая.

Крак! – стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузинной трубочки. И вот одна горошина живо очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

– Лечу, лечу куда хочу! Лови, кто может! – закричала она, и след ее простыл.

– А я полечу прямо на солнце; вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! – сказала другая.

Простыл и ее след.

– А мы куда придем, там и заснем! – сказали две следующие. – Но мы-таки до чего-нибудь докатимся!

Они и правда прокатились по полу, прежде чем попасть в бузинную трубочку, но все-таки попали в нее.

– Мы дальше всех пойдем!

– Будь что будет! – сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель как раз под окошком чердачной каморки. В щели был мох и рыхлая земля, мох спрятал горошину; так она и осталась лежать там, скрытая, но не забытая Господом Богом.

– Будь что будет! – говорила она.

А в каморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу: чистила печи, пилила дрова, словом, исполняла всякую тяжелую работу; сил у нее было довольно, охоты работать тоже не занимать, но из нужды она все-таки не выбивалась! Дома оставалась у нее ее единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая, тщедушная; целый год уж лежала в постели: не жила и не умирала.

– Она уйдет к сестренке! – говорила мать. – У меня ведь их две было. Тяжеленько было мне кормить двух; ну, вот Господь Бог и поделил со мною заботу, взял одну к себе! Другую-то мне хотелось бы сохранить, да он, видно, не хочет разлучать сестер! Заберет и эту!

Но больная девочка все жила, терпеливо, смирно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе.

Дело было весною, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол, и больная девочка посмотрела в оконце.

– Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра!

Мать подошла к окну и приотворила его.

– Ишь ты! – сказала она. – Да это горошинка пустила ростки! И как она попала сюда в щель? Ну, вот у тебя теперь будет свой садик!

Придвинув кроватку больной поближе к окну, чтобы девочка могла любоваться зеленым ростком, мать ушла на работу.

– Мама, я думаю, что поправлюсь! – сказала девочка вечером. – Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже поправлюсь, встану на ноги и выйду на солнышко.

– Дай-то бог! – сказала мать, но не верила, что это сбудется.

Однако она подперла зеленый росток, подбодривший девочку, небольшою палочкой, чтобы он не сломился от ветра; потом взяла тоненькую веревочку и один конец ее прикрепила к гвоздику, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту веревочку побеги горошины могли цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло: побеги заметно росли и ползли вверх по веревочке.

– Смотри-ка, да она скоро зацветет! – сказала женщина однажды утром и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная дочка ее поправится.

Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живее, по утрам сама приподымалась на постели и долго сидела, любуясь своим садиком, где росла одна-единственная горошина, а как блестели при этом ее глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как рада она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался распутившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и

нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для нее настоящим праздником.

– Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитяtko, да и меня тоже! – сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному, посланцу Божьему.

Ну а другие-то горошины? Та, что летела куда хотела, – лови, дескать, кто может, – попала в водосточный желоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона во чреве кита. Две ленивицы ушли не дальше – их тоже проплотили голуби. Что ж, все-таки они принесли существенную пользу. А четвертая, что собиралась залететь на солнце, упала в канавку и лежала себе да разбухала в заплесневелой воде.

– Как я славно раздобрела! – говорила горошина. – Право, я скоро лопну, а уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти!

Канавка была с нею вполне согласна.

А у окна, выходявшего на крышу, стояла девочка с блестящими глазками, румяная и здоровая; она сложила руки и благодарила Бога за гороховый цветочек.

– А я все-таки стою за мою горошину! – сказала канавка.



## «Пропавшая»



Городской голова стоял у открытого окна; на нем была крахмальная рубашка, в манишке красовалась дорогая булавка, выбрит он был безукоризненно – сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги.

– Эй ты, малый! – закричал он.

«Малый» был не кто иной, как прачкин сынишка; он проходил мимо, но тут остановился и почтительно снял фуражку с переломанным козырьком – тем удобнее было совать ее в карман. Одет мальчуган был бедно, но чисто; на все дыры были аккуратно наложены заплатки; обут он был в тяжелые деревянные башмаки и стоял перед городским головою навывтяжку, словно перед самим королем.

– Ты славный мальчик! – сказал городской голова. – Почтительный мальчик! Мать твоя, верно, полощет белье на речке, а ты тащишь ей

кое-что? Вишь, торчит из кармана! Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя там?

– Полкосушки, – ответил мальчик тихо, испуганно.

– Да утром ты отнес ей столько же? – продолжал городской судья.

– Нет, это вчера! – сказал мальчуган.

– Две полкосушки – вот уже и целая! Пропадающая она женщина! Просто беда с этим народом! Скажи своей матери, что стыдно ей! Да гляди, сам не сделайся пьяницей! Впрочем, что и говорить; конечно, сделаешься! Бедный ребенок... Ну, ступай!

Мальчик пошел; фуражка так и осталась у него в руках, и ветер развеивал его длинные белокурые волосы. Вот он прошел улицу, свернул в переулок и дошел до реки. Мать его стояла в воде и колотила вальком разложенное на деревянной скамье мокрое, тяжелое белье. Течение было сильное; мельничные шлюзы были открыты – простыню, которую женщина полоскала, так и рвало у нее из рук, скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась.

– Я чуть-чуть не уплыла сама! – сказала она. – Хорошо, что ты пришел, надо мне подкрепиться маленько. Вода холодная-прехолодная, а я вот уже шесть часов стою тут! Принес ты что-нибудь?

Мальчик вытащил бутылочку; мать приложила ее ко рту и хлебнула.

– Как славно! Сразу согреешься, точно поешь чего-нибудь горяченького, а стоит-то куда дешевле! Хлебни и ты, мальчуган! Ишь ты, какой бледный! Холодно тебе в легоньком платишке! Осень ведь на дворе! У! Вода прехолодная! Только бы мне не захворать! Дай-ка мне еще плотненько, да плотненько и сам, только чуть-чуть! Тебе не надо привыкать к этому, бедняжка мой!

И она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на берег. Вода бежала с рогожки, которою она обвязалась вокруг пояса, текла с подола юбки.

– Я работаю изо всех сил, кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей!.. Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик!

В это время к ним подошла бедно одетая старуха; она прихрамывала на одну ногу, и один глаз у нее был прикрыт большим

локоном, отчего изъян был еще заметнее. Старуха была дружна с прачкой, а звали ее соседи «хромою Марен с локоном».

– Бедняжка, вот как приходится тебе работать! Стоишь по колено в холодной воде! Как тут не плотнуть разок-другой, чтобы согреться! А люди-то считают каждый твой поток!

И она пересказала прачке слова городского головы. Марен слышала, что он говорил мальчику, и очень рассердилась на него, – можно ли говорить так с ребенком о его же собственной матери да считать всякий ее поток, когда сам задаешь званый обед, где вино будет литься рекою, и вино-то дорогое, крепкое! Небось сами пьют – не считают, и все-таки они не пьяницы, люди достойные, а ты вот «пропащая»!

– Так он и сказал тебе, сынок? – спросила прачка, и губы ее задрожали. – Мать твоя – пропащая! Что ж, может быть, он и прав! Но не следовало бы говорить этого ребенку!.. Да, не впервой терпеть мне от этого семейства!

– Правда, вы ведь служили еще у родителей головы. Давненько это было, много пудов соли съедено с тех пор, немудрено, что и пить хочется! – И Марен рассмеялась. – Сегодня у городского головы назначен званый обед; хотели было отменить, да уж поздно было, все было готово. Я от дворника все это узнала. С час тому назад пришло письмо, что младший брат головы умер в Копенгагене.

– Умер! – проговорила прачка и побледнела как смерть.

– Что с вами? – спросила Марен. – Неужто вы так близко принимаете это к сердцу? Ах да, ведь вы знали его!

– Так он умер!.. Лучше, добрее его не было человека на свете! Не много у Господа Бога таких, как он! – И слезы потекли по ее щекам. – О господи, голова так и кружится! Это оттого, что я выпила всю бутылку! Не следовало бы! Мне так дурно!

И она схватилась за забор.

– Ох, да вы совсем больны, матушка! – сказала Марен. – Ну, ну, придите же в себя!.. Нет, вам и взаправду плохо! Сведу-ка я вас лучше домой!

– А белье-то!

– Ну, я возьмусь за него!.. Держитесь за меня! Мальчуган пусть покараулит тут, пока я вернусь и дополощу. Сущая безделица осталась!

Ноги у прачки подкашивались.

– Я слишком долго стояла в холодной воде! И с самого утра у меня не было во рту ни крошки! Лихорадка так и бьет! Господи Иисусе! Хоть бы до дому-то добраться! Бедный мой мальчик!

И она заплакала.

Мальчик тоже заплакал и остался у реки один-одинешенек стеречь белье. Женщины продвигались вперед шаг за шагом, прачка едва тащилась, прошли переулок, улицу, но перед домом городского головы больная вдруг свалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марен побежала во двор за помощью. Голова со своими гостями смотрел из окна.

– Это прачка! – сказал он. – Хлебнула лишнее! Пропадающая женщина! Жаль только славного мальчугана, сынишку ее! А мать-то пропащая!

Прачку привели в себя, отнесли домой в ее жалкую каморку и уложили в постель. Марен приготовила для больной питье – теплое пиво с маслом и с сахаром, лучшее средство, какое она только знала, а потом отправилась дополаскивать белье. Выполоскала она его очень плохо, зато от доброго сердца; собственно говоря, она только повытаскала мокрое белье на берег и уложила в корзину.

Вечером Марен опять сидела в жалкой каморке возле прачки. Кухарка городского головы дала ей для больной славный кусок ветчины и немножко жареного картофеля; все это пошло самой Марен и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом.

– Он такой питательный! – говорила она.

Мальчик улегся на ту же самую постель, на которой лежала и мать; он лег у нее в ногах, поперек кровати, и покрылся старым половиком, собранным из голубых и красных лоскутков.

Прачке стало немножко полегче; горячее пиво подкрепило ее, а запах теплого кушанья подбодрил.

– Спасибо тебе, добрая душа! – сказала она Марен. – Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все! Да он уж и спит, кажется! Взгляни, какой он славный, хорошенький с закрытыми глазками! Он и не знает, каково приходится его бедной матери, да бог даст, и никогда не узнает!.. Я служила у советника и советницы, родителей головы, и вот случись, что самый младший из сыновей приехал на побывку домой; студент он был. Я в ту пору была еще молоденькою, шустрою, но честною девушкой – вот как перед Богом говорю! И студент-то был

такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете! Он был хозяйский сын, а я простая служанка, но мы все-таки полюбили друг друга... честно и благородно! Поцеловаться разок-другой ведь не грех, если любишь друг друга всем сердцем. Он во всем признался матери; он так уважал и почитал ее, чуть не молился на нее! И она была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал, но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Как уехал он, меня и призывает сама госпожа и начинает говорить со мною так серьезно и вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне, какое между мною и им расстояние по уму и образованию: «Теперь он плядит лишь на твое личико, но красота ведь пройдет, а ты не так воспитана, не так образованна, как он. Неровня вы – вот в чем вся беда! Я уважаю бедных, и в Царствии Небесном они, может быть, займут первые места, но тут-то, на земле, нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед, – и экипаж сломается, и вы оба вывалитесь! Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик-перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный, – подумай же хорошенько!» Каждое ее слово резало меня как ножом, но она говорила правду, вот это-то и мучило меня! Я поцеловала у нее руку и заплакала... Еще горше плакала я в своей камерке, лежа на постели... Один Бог знает, что за ночь я провела, как я страдала и боролась с собою! Утром – это было в воскресенье – я отправилась к причастию в надежде, что Бог просветит мой ум. И вот он точно послал мне свое знамение: иду из церкви, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала и колебаться – и впрямь, ведь мы были парой, хоть он и был человеком зажиточным. Вот я и подошла к нему, взяла его за руку и сказала:

«Ты все еще любишь меня по-прежнему?»

«Люблю и буду любить вечно!» – отвечал он.

«А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит, хотя, может быть, и полюбит со временем?»

«Полюбит непременно!» – сказал он, и мы подали друг другу руки. Я вернулась домой к госпоже. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди – я не смела надевать его на палец днем и надевала только по вечерам, когда ложилась спать. Я поцеловала кольцо так крепко, что кровь брызнула у меня из губ, потом отдала его госпоже и сказала, что на следующей неделе в церкви будет оглашение, – я

выхожу за Эрика. Госпожа обняла меня и поцеловала... Она вот не говорила, что я «пропадающая». Но, может статься, я в те времена и правда была лучше, хоть и не испытала еще столько горя! Сыграли свадьбу, и первый год дела у нас шли отлично; мы держали подмастерья и мальчика, да ты, Марен, служила у нас...

– И какую славную хозяйскою были вы! – сказала Марен. – Оба вы с мужем были такие добрые! Век не забуду!..

– Да, ты жила у нас в хорошие годы! Детей у нас тогда еще не было... Студента я больше не видала... Ах нет, видала раз, но он-то меня не видел! Он приезжал на похороны матери. Я видала его у ее могилы. Какой он был бледный, печальный! Понятно – горевал по матери. Когда же умер его отец, был в чужих краях и не приезжал, да и после не бывал ни разу. Он так и не женился! Кажется, он сделался адвокатом. Обо мне он и не вспоминал и, если бы даже увидел меня, не узнал бы – такою я стала безобразною. Да так оно и лучше.

Потом она стала рассказывать про тяжелые дни, когда одна беда валилась на них за другою. У них было пятьсот талеров, а в их улице продавался дом за двести; выгодно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Каменщики и плотники сделали смету, и вышло, что постройка будет стоить тысячу двадцать риксдалеров. Эрик имел кредит, и ему ссудили эту сумму из Копенгагена, но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним и деньги.

– Тогда-то вот и родился мой милый сынок! А отец впал в тяжелую, долгую болезнь; девять месяцев пришлось мне одевать и раздевать его, как малого ребенка. Все пошло у нас прахом, задолжали мы кругом, все прожили; наконец умер и муж. Я из сил выбивалась, чтобы прокормиться с ребенком, мыла лестницы, стирала белье, и грубое, и тонкое, но нужда одолевала нас все больше и больше... Так, видно, Богу угодно!.. Но когда-нибудь да он сжалится надо мною, освободит меня и призрит мальчугана!

И она уснула.

Утром она чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она ступила в холодную воду, с ней сделался озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой, сделала шаг вперед и упала. Голова попала на сухое место, на землю, а ноги остались в воде; деревянные башмаки ее с соломенною подстилкой

поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

А от городского головы пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему: ему надо было что-то сообщить ей. Поздно! Послали было за цирюльником, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла.

– Опилась! – сказал голова.

А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Оказалось, что он отказал вдове перчаточника, служившей когда-то его родителям, шестьсот риксдалеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку – как найдут лучшим – ей и ее сыну.

– Значит, у нее были кое-какие дела с братцем! – сказал голова. – Хорошо, что ее нет больше в живых! Теперь мальчик получит все, и я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник.

И Господь Бог благословил это решение.

Голова призвал к себе мальчика и обещал заботиться о нем, а мать, дескать, отлично сделала, что умерла, – пропащая была!

Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марен посадила на могиле розовый куст; мальчик стоял тут же.

– Мамочка моя! – сказал он и заплакал. – Правда ли, что она была пропащая?

– Неправда! – сказала старуха и взглянула на небо. – Я успела узнать ее, особенно за последнюю ночь! Хорошая она была женщина! И Господь Бог скажет то же самое, когда примет ее в Царство Небесное! А люди пусть себе называют ее пропащею!

## Последняя жемчужина



То был богатый, счастливый дом! Все в доме – и господа, и слуги, и друзья дома – радовались и веселились: в семье родился наследник – сын. И мать и дитя были здоровы.

Лампа, висевшая в уютной спальне, была задернута с одной стороны занавеской; тяжелые, дорогие шелковые гардины плотно закрывали окна; пол был устлан толстым, мягким, как мох, ковром; все располагало к сладкой дремоте, ко сну, к отдыху. Немудрено, что сиделка заснула; да и пусть себе – все обстояло благополучно. Гений домашнего очага стоял у изголовья кровати; головку ребенка, прильнувшего к груди матери, окружал словно венчик из ярких звезд; каждая была жемчужиной счастья. Все добрые феи принесли новорожденному свои дары; в венце блестели жемчужины здоровья,



богатства, счастья, любви – словом, всех благ земных, каких только может пожелать себе человек.

– Все дано ему! – сказал гений.

– Нет! – раздался близ него чей-то голос. То говорил ангел-хранитель ребенка. – Одна фея еще не принесла своего дара, но принесет его со временем, хотя, может быть, и не скоро. В венце недостает последней жемчужины!

– Недостает! Этого не должно быть! Если же это так, нам надо отыскать могущественную фею, пойти к ней сейчас же!

– Она явится в свое время и принесет свою жемчужину, которая должна замкнуть венец!

– Где же обитает эта фея? Где ее жилище? Скажи мне, и я пойду за жемчужиной!

– Хорошо! – сказал ангел-хранитель ребенка. – Я сам провожу тебя к ней, все равно, где бы ни пришлось нам искать ее! У нее нет ведь постоянного жилища! Она появляется и в королевском дворце, и в жалкой крестьянской хижине! Она не обойдет ни одного человека, каждому принесет свой дар – будь то целый мир или пустяк! И к этому ребенку она придет в свое время! Но, по-твоему, выжидание не всегда впрок, – хорошо, поспешим же отправиться за жемчужиной, последнею жемчужиной, которой недостает в этом великолепном венце!

И они рука об руку полетели туда, где пребывала в тот час фея.

Они очутились в большом доме, но в коридорах было темно, в комнатах пусто и необыкновенно тихо; длинный ряд окон стоял отворенным, чтобы впустить в комнаты свежего воздуха; длинные белые занавеси были спущены и колыхались от ветра.

Посреди комнаты стоял открытый гроб; в нем покоилась женщина цветущих лет. Покойница вся была усыпана розами, виднелись лишь тонкие, сложенные на груди руки да лицо, хранившее светлое и в то же время серьезное, торжественное выражение.

У гроба стояли муж покойной и дети. Самого младшего отец держал на руках, они подошли проститься с умершею. Муж поцеловал ее пожелтевшую, сухую, как увядший лист, руку, которая еще недавно была такою сильною, крепкою, с такой любовью вела хозяйство и дом. Горькие слезы капали на пол, но никто не проронил

ни слова. В этом молчании был целый мир скорби. Молча, подавляя рыдания, вышли все из комнаты.

В комнате горела свеча; пламя ее колебалось от ветра и вспыхивало длинными красными языками. Вошли чужие люди, закрыли гроб и стали забивать крышку гвоздями. Гулко раздавались удары молота в каждом уголке дома, ударяя по сердцам, обливавшимся кровью.

– Куда ты привел меня? – спросил гений домашнего очага. – Тут нет феи, чей дар, жемчужина, принадлежал бы к лучшим благам жизни!

– Она тут! – сказал ангел-хранитель и указал на фигуру, сидевшую в углу. На том самом месте, где сиживала, бывало, при жизни мать семейства, окруженная цветами и картинами, откуда она, как благодетельная фея домашнего очага, ласково улыбалась мужу, детям и друзьям, откуда она, ясное солнышко, душа всего дома, разливала вокруг свет и радость, – там сидела теперь чужая женщина в длинном одеянии. То была скорбь; теперь она была госпожой в доме, она заняла место умершей. По щеке ее скатилась жгучая слеза и превратилась в жемчужину, отливавшую всеми цветами радуги. Ангел-хранитель подхватил ее, и она засияла яркою семицветною звездой.

– Вот она, жемчужина скорби, последняя жемчужина, без которой неполон венец земных благ! Она еще ярче оттеняет блеск и красоту других. Видишь в ней сияние радуги – моста, соединяющего землю с небом? Теряя близкое, дорогое лицо здесь, на земле, мы приобретаем друга на небе, по которому будем тосковать. И в тихие звездные ночи мы невольно обращаем взор к небу, к звездам, где ждет нас иная, совершенная жизнь. Взгляни на жемчужину скорби: в ней скрыты крылья Психеи, которые уносят нас из этого мира!

1853

## **Отпрыск райского растения**



Высоко-высоко, в светлом, прозрачном воздушном пространстве, летел ангел с цветком из Райского сада. Ангел поцеловал цветок, и от него оторвался крошечный лепесток и упал на землю. Упал он на рыхлую, влажную лесную почву и сейчас же пустил корни. Скоро между лесными растениями появилось новое.

– Что это за чудной росток? – говорили те, и никто – даже чертополох и крапива – не хотел знаться с ним.

– Это какое-то садовое растение! – говорили они и подымали его на смех.

Но оно все росло да росло, пышно раскидывая побеги во все стороны.

– Куда ты лезешь? – говорил высокий чертополох, весь усеянный колючками. – Ишь ты, распыжился! У нас так не водится! Мы тебе не подпорки!

Пришла зима, растение покрылось снегом, но от его ветвей исходил такой блеск, что блестел и снег, словно освещенный снизу

солнечными лучами. Весною растение зацвело; прелестнее его не было во всем лесу!

И вот явился раз профессор ботаники – так он и по бумагам значился. Он осмотрел растение, даже попробовал, каково оно на вкус. Нет, положительно оно не значилось в ботанике, и профессор так и не мог отнести его ни к какому классу.

– Это какая-нибудь разновидность! – сказал он. – Я не знаю его, оно не внесено в таблицы.

– Не внесено в таблицы! – подхватили чертополох и крапива.

Большие деревья, росшие кругом, слышали сказанное и тоже видели, что растение было не из их породы, но не проронили ни одного слова: ни дурного, ни хорошего. Да оно и вернее промолчать, если не отличаешься умом.

Через лес проходила одна бедная невинная девушка.

Сердце ее было чисто, ум возвышен верою; всё ее достояние заключалось в старой Библии, но со страниц ее говорил с девушкой сам Господь: «Станут обижать тебя, вспомни историю об Иосифе; ему тоже хотели сделать зло, но Бог повернул злое на доброе. Если же будут преследовать тебя, плумиться над тобою, вспомни о Нем, невиннейшем, лучшем из всех, над которым надругались, которого пригвоздили ко кресту и который все-таки молился: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают!”»

Девушка остановилась перед чудесным растением; зеленые листья его дышали таким сладким, живительным ароматом, цветы блестели на солнце радужными переливами, а из чашечек их лилась дивная мелодия, словно в каждой был неисчерпаемый родник чарующих созвучий. С благоговением смотрела девушка на дивное растение Божье, потом пригнула одну из веток, чтобы поближе рассмотреть цветы, поглубже вдохнуть в себя их аромат, – и душа ее просветлела, на сердце стало так легко! Как ей хотелось сорвать хоть один цветочек, но она не посмела – он ведь так скоро завял бы у нее. И она взяла себе лишь один зеленый листик, принесла его домой и положила в Библию. Там он и лежал, все такой же свежий, благоухающий, неувядаемый.

Да, он лежал в Библии, а сама Библия лежала под головою молодой девушки в гробу: несколько недель спустя девушка умерла. На лице ее застыло выражение торжественной, благоговейной серьезности,

только оно и могло отпечататься на бренной земной оболочке девушки, в то время как душа ее стояла перед престолом Всевышнего.

А чудесное растение по-прежнему благоухало в лесу; скоро оно разрослось и стало словно дерево; перелетные птицы слетались к нему стаями и низко преклонялись перед ним, в особенности ласточка и аист.

– Иностранные кривляки! – говорили чертополох и крапива. – У нас это не принято! Такое ломанье нам не к лицу!

И черные лесные улитки плевали на чудесное растение.

Наконец пришел в лес свинопас надергать чертополоху и других растений, которые он сжигал, чтобы добыть себе золы, и выдернул в том числе со всеми корнями и чудесное растение. Оно тоже попало в его вязанку!

– Пригодится и оно! – сказал свинопас, и дело было сделано.

Между тем король той страны давно уже страдал глубокою меланхолией. Он прилежно работал – толку не было; ему читали самые ученые, мудреные книги, читали и самые легкие, веселые – тоже напрасно. Тогда явился посол от одного из первейших мудрецов на свете; к нему обращались за советом, и он отвечал через посланного, что есть одно верное средство облегчить и даже совсем исцелить больного: «В собственном государстве короля есть в лесу растение небесного происхождения, такого-то и такого-то вида, – ошибиться нельзя». Затем следовал точный рисунок растения, по которому его нетрудно было узнать. «Оно зеленеет и зиму и лето; поэтому пусть берут от него каждый вечер по свежему листочку и кладут на лоб короля; тогда мысли его прояснятся и чудесный сон подкрепит его к следующему дню!»

Яснее изложить дело было нельзя, и вот все ученые доктора, с профессором ботаники во главе, отправились в лес. Но... куда же девалось растение?

– Должно быть, попало ко мне в вязанку, – сказал свинопас, – и давным-давно стало золою. Мне и невдомек было, что оно может понадобиться!

– Невдомек! – сказали все. – О невежество, невежество, нет тебе границ!

Свинопас должен был намотать эти слова себе на ус; свинопас, и никто больше, думали остальные.

Не нашлось даже ни единого листика небесного растения: уцелел ведь только один, да и тот лежал в гробу, и никто и не знал о нем.

Сам король пришел в лес на то место, где росло небесное растение.

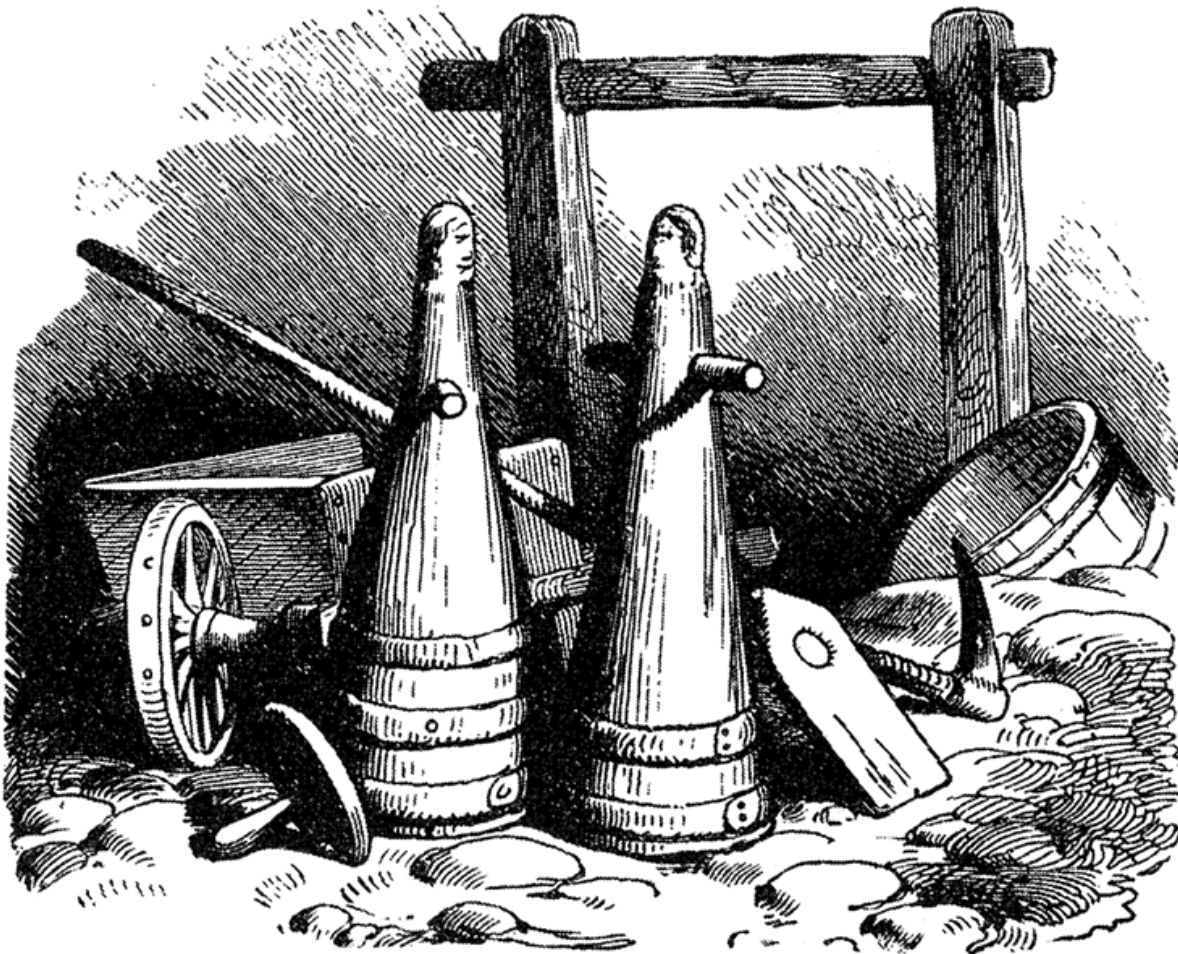
– Вот где оно росло! – меланхолично сказал он. – Священное место!

И место огородили вызолоченною решеткою и приставили сюда стражу; часовые ходили и день и ночь.

Профессор ботаники написал целое исследование о небесном растении, и его за это всего озолотили – к большому его удовольствию. Позолота очень шла и к нему, и ко всему его семейству, и вот это-то и есть самое радостное во всей истории: от небесного растения не осталось ведь и следа, и король по-прежнему ходил, повесив голову.

– Ну, да он и прежде был таким! – сказала стража.

## Две девицы



Видали вы когда-нибудь девицу, то есть то, что известно под именем девица у мостовщиков – инструмент для утрамбовывания мостовой? Девица вся деревянная, шире книзу, охвачена в подоле железными обручами, кверху же суживается, и сквозь талию у нее продета палка – концы ее изображают руки девицы.

На одном дворе, при складе строительных материалов, и стояли две такие девицы вместе с лопатами, саженьями и тачками. Разговор шел о том, что девиц, по слухам, не будут больше звать девицами, а штемпелями, – это новое название самое-де верное и подходящее для того инструмента, который мы исстари привыкли звать девицей.

У нас, как известно, водятся так называемые эмансипированные женщины; к ним принадлежат содержательницы пансионов,

повивальные бабки, танцовщицы, что стоят по долгу службы на одной ноге, модистки и сиделки. К этому-то ряду эмансипированных примыкали и две девицы. Они числились девицами министерства путей сообщения и ни за что на свете не хотели поступиться своим добрым старым именем, позволив назвать себя штемпелями.

– Девица – имя человеческое! – говорили они. – А штемпель – вещь! И мы не позволим называть себя вещью – это прямая брань!

– Мой жених, пожалуй, еще откажется от меня! – сказала младшая, помолвленная с копром – большой машиной, что вбивает сваи и, таким образом, служит хоть и для более грубой, но однородной работы с девицей. – Он готов жениться на мне, как на девице, а пожелает ли он взять за себя штемпель – еще вопрос. Нет, я не согласна менять имя!

– А я скорее дам обрубить себе руки! – сказала старшая.

Тачка же была другого мнения, а тачка ведь не кто-нибудь! Она считала себя целою четвертью кареты – одно-то колесо у нее ведь было.

– А я позволю себе заметить вам, что название «девица» довольно вульгарно и уж во всяком случае далеко не так изысканно, как штемпель. Ведь штемпель – та же печать. Назвавшись штемпелями, вы примкнете к разряду государственных печатей! Разве это не почетно? Вспомните, что без государственной печати не действителен ни один закон. Нет, на вашем месте я бы отказалась от имени девицы.

– Никогда! Я уже слишком стара для этого! – сказала старшая девица.

– Видно, вы еще незнакомы с так называемою «европейскою необходимостью»! – сказала почтенная старая сажень. – Приходится иногда сократить себя, подчиниться требованиям времени и обстоятельствам. Если уж велено девицам зваться штемпелями, так и зовитесь! Нельзя все мерить на свой аршин!

– Нет, уж коль на то пошло, пусть лучше зовут меня барышней, – сказала младшая. – Слово «барышня» все же ближе к слову «девица».

– Ну а я лучше дам изрубить себя в щепки! – сказала старшая девица.

Тут они отправились на работу – их повезли на тачке; обращались с ними, как видите, довольно-таки деликатно, но звали их уже штемпелями!



– Дев...! – сказали они, ударившись о мостовую. – Дев...! – И чуть было не выговорили всего слова: девица, да прикусили языки на половине – не стоит, дескать, вступать в пререкания.

Но между собой они продолжали называть себя девицами и восхвалять доброе старое время, когда каждую вещь называли своим именем: коли ты девица, так и звали тебя девицей! Девицами обе они и остались, – копер, эта машинища, ведь и в самом деле отказался от младшей, не захотел жениться на штемпеле.

1853

### На краю моря



Северному полюсу было послано несколько кораблей отыскать крайнюю точку земли, на которую может ступить нога человеческая.

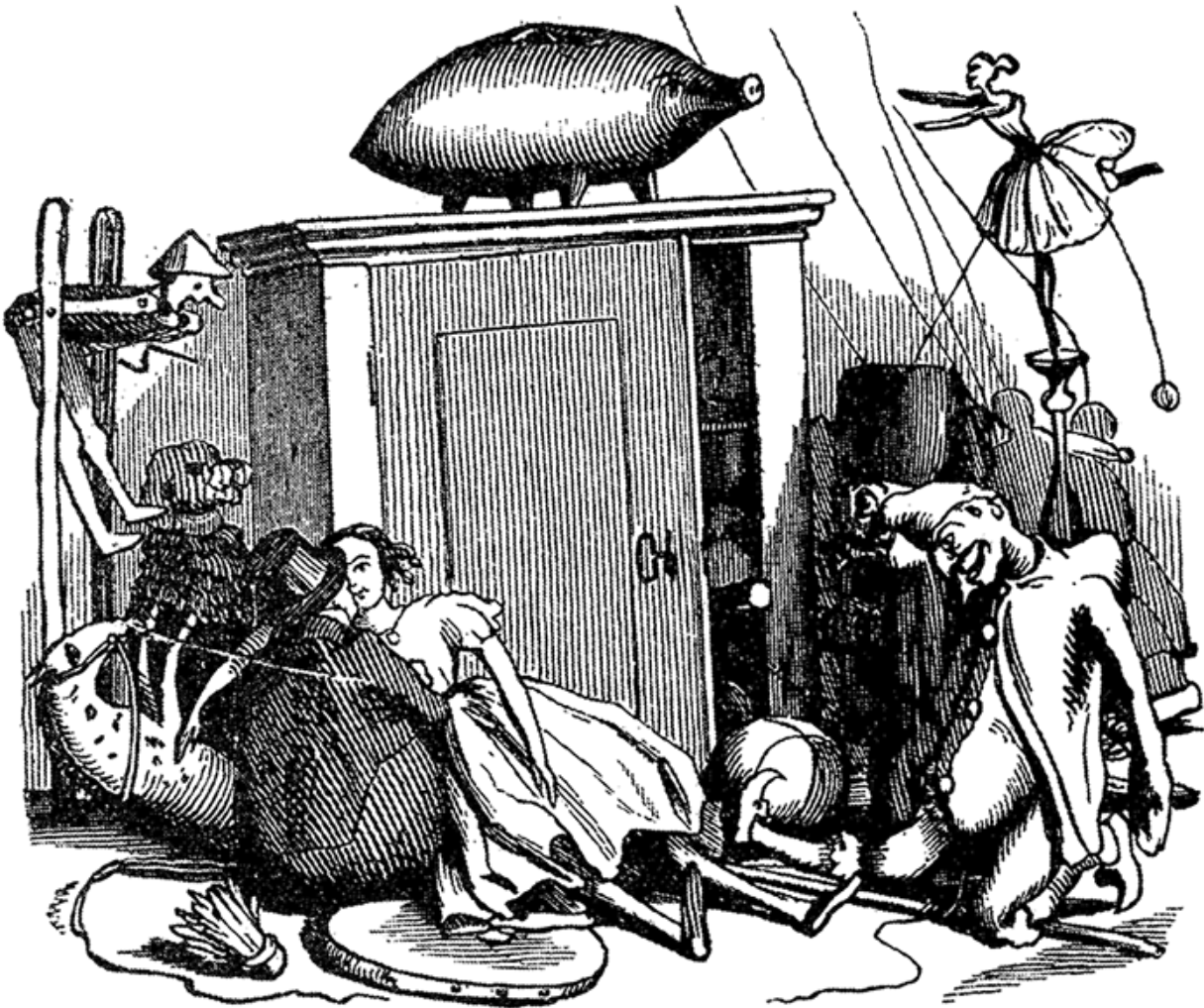
Уже больше года плыли корабли среди туманов и льдов, преодолевая страшные трудности. Но вот наступила зима, солнце скрылось, и настала долгая-долгая полярная ночь. Все видимое пространство сплошь покрылось льдом, и корабли были словно закованы во льдах. Вся земля была занесена снегом; из него-то и понаделали себе моряки невысоких ульеобразных жилищ. Некоторые из них были большие, величиной с наши древние могильные курганы, другие поменьше – так что вмещали не больше двух – четырех человек. Стояла ночь, но было довольно светло. Северное сияние разбрасывало целые снопы красных и голубых искр. Вечный величественный фейерверк! Снег так и сверкал, и ночь походила скорее на вспыхивающий рассвет. Когда северное сияние горело особенно ярко, к морякам являлись туземцы в диковинных одеждах из тюленьих и оленьих шкур, вывороченных мехом наружу; приезжали они на салазках, сбитых из льдин, и привозили груды мехов. Моряки делали себе из них одеяла и постели и, зарывшись в них, отлично спали под своими снежными кровлями, не чувствуя холода. А на воле в это время трещал такой мороз, о котором мы здесь и понятия не имеем даже в самые суровые зимы. У нас в то время стояла еще осень, и моряки вспоминали среди полярной природы теплое родное солнышко и ярко-желтую осеннюю листву.

Часы показывали поздний час вечера, время было ложиться спать. В одном из снежных жилищ двое матросов и улеглись уже. Младший из них привез с собою из родного дома лучшее его сокровище – Библию, которую подарила ему на прощанье бабушка, и ночью книга всегда лежала у юноши под изголовьем. С детства знал он каждое слово в ней, каждый день прочитывал из нее страницу-другую и не раз, лежа, как теперь, в постели, вспоминал утешительные слова Священного Писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Утешенный и подкрепленный верою, он закрыл глаза, заснул и увидел сон – откровение Божье. Тело покоилось, душа же бодрствовала и жила напряженной жизнью.

Ему чудилось, что вокруг него раздаются звуки знакомых, любимых песен, он чувствовал над собою какое-то теплое, мягкое веяние, видел сверху какой-то белый свет, словно струившийся сквозь крышу. Он поднял голову – белое сияние исходило не от стен или потолка, но

лилось от больших крыльев ангела. Матрос взглянул на его кроткий, светлый лик. Ангел поднялся из страниц Библии, словно из чашечки лилии, распротер руки, и стены хижины растаяли, как легкий туман. Взору матроса открылись зеленые поля и холмы, темно-коричневые леса, чудно освещенные осенним солнышком. Гнезда аистов уж опустели, но на диких яблонях еще висели яблоки, хотя листья и опали. Ярко-красные плоды шиповника горели на солнышке, как жар; в маленькой зеленой клетке над окном крестьянской избушки насвистывал свою песенку скворец. Матрос узнал свой дом, свой родной дом! Скворец свистел заученную песенку, а бабушка давала ему свежего мокричника, как, бывало, делывал ее внук. Молоденькая, хорошенькая дочка кузнеца брала из колодца воду и поклонилась бабушке, а бабушка поманила ее к себе письмом. Оно пришло сегодня утром из холодных стран, с дальнего Севера, где находился ее внук – под покровом десницы Господней. Женщины плакали и смеялись, читая письмо, а он, осененный крылами ангела, видел и слышал все из своей снежной хижины в минуту духовного просветления, смеялся и плакал вместе с ними! Были прочитаны из его письма и слова Священного Писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Дивный псалом прозвучал в воздухе, и ангел накрыл спящего своим крылом, словно мягким покрывалом; видение исчезло, в снежном домике стало темно, но Библия по-прежнему лежала под головою матроса, вера и надежда жили в его сердце. И Бог был с ним, и родину он носил с собою всюду, даже «на краю моря».

## Свинья-копилка



Ну и игрушек было в детской! А высоко, на шкафу, стояла копилка — глиняная свинья. В спине у нее, конечно, была щель, и ее еще чуть-чуть расширили ножом, чтобы проходили и серебряные монеты покрупнее. Таких в свинье лежало целых две, не считая мелких, — она была набита битком и даже не брякала больше, а это для всякой свиньи-копилки — высшее достижение! Стояла она на шкафу и смотрела на все окружающее сверху вниз — ей ведь ничего не стоило купить все это: брюшко у нее было тугое, ну а такое сознание удовлетворит хоть кого.

Все окружающие и имели это в виду, хоть и не говорили о том, — у них было о чем поговорить и без этого. Ящик комода стоял

полуоткрытым, и оттуда высунулась большая кукла. Она была уже немолода и с подклеенною шеей. Поглядев по сторонам, она сказала:

– Будем играть в людей – все-таки какое-то занятие!

Поднялась возня, зашевелились даже картины на стенах, показывая, что и у них есть обратная сторона, хотя вовсе не имели при этом в виду вступать с кем-либо в спор.

Была полночь; в окна светил месяц, предлагая всем даровое освещение. Участвовать в игре были приглашены все, даже детская коляска, хотя она и принадлежала к более громоздкому, низшему сорту игрушек.

– Всяк хорош по-своему! – говорила она. – Не всем же быть благородными, надо кому-нибудь и дело делать, как говорится!

Свинья с деньгами одна только получила письменное приглашение: она стояла так высоко, что устное могло и не дойти до нее, думали игрушки. Она и теперь не ответила, что придет, да и не пришла! Нет, уж если ей быть в компании, то пусть устроят так, чтобы она видела все со своего места. Так и сделали.

Кукольный театр поставили прямо перед ней – вся сцена была как на ладони. Начать хотели комедией, а потом имелось в виду общее угощение чаем, затем каждый начал излагать свое мнение. С этого, впрочем, и началось. Лошадь-качалка заговорила о тренировке и о чистоте породы, детская коляска – о железных дорогах и силе пара: все это было по их части, так кому же было и толковать об этом, как не им? Комнатные часы держались политики – тики-тики! Они знали, когда надо «ловить момент», но отставали, как говорили о них злые языки. Камышовая тросточка гордилась своим железным башмачком и серебряным колпачком: она была ведь обита и сверху и снизу. На диване лежали две вышитые подушки, премиленькие и преглупенькие. И вот началось представление.

Все сидели и смотрели; зрителей просили щелкать, хлопать и грохотать в знак одобрения. Но хлыстик сейчас же заявил, что не «щелкает» старухам, а только непросватанным барышням.

– А я так хлопаю всем! – сказал пистон.

«Где-нибудь да надо стоять!» – думала плевательница.

У каждого были свои мысли!

Комедия не стоила медного гроша, но сыграна была блестяще. Все исполнители показывались публике только раскрашенною стороною;

с обратной на них не следовало и смотреть. Все играли отлично, правда, уже не на сцене: нитки были слишком длинные; зато исполнителей было виднее. Склеенная кукла так расчувствовалась, что совсем расклеилась, а свинья с деньгами ощутила в брюшке такое благодущие, что решила сделать что-нибудь для одного из актеров, – например, упомянуть его в своем завещании как достойного быть погребенным вместе с нею, когда придет время.

Все были в таком восторге, что отказались даже от чаю и снова начали излагать свое мнение, – это и называлось играть в людей, и отнюдь не в насмешку. Они ведь только играли, причем каждый думал лишь о самом себе да о том, что подумает о нем свинья с деньгами. А свинья совсем задумалась о своем завещании и погребении:

«Когда придет время...»

Увы! Оно приходит всегда раньше, чем ожидают, – бац! – свинья свалилась со шкафа и разбилась вдребезги; монетки так и запрыгали по полу. Маленькие вертелись волчками, крупные солидно катились вперед. Особенно долго катилась одна – ей очень хотелось людей посмотреть и себя показать. Ну и отправилась гулять по белу свету; отправились и все остальные, а черепки от свиньи бросили в помойное ведро. Но на шкафу на другой же день красовалась новая свинья-копилка. У нее в желудке было еще пусто, и она тоже не брякала, – значит, была похожа на старую. Для начала и этого довольно; довольно и нам, кончим!

1854

**Ханс Чурбан**

*Старая история, пересказанная вновь*



Была в одной деревне старая усадьба, а у старика владельца ее было два сына, да таких умных, что и вполтину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно — она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре.

Оба брата готовились к испытанию целую неделю — больше времени у них не было, да и того было довольно: предварительные знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года — одинаково хорошо и с начала, и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина; значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки — вот какой был искусник!

— Уж я-то добуду королевскую дочь! — говорили и тот и другой.

И вот отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки, белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче

открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат – всего-то их было трое, да третьего никто и не считал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Ханс Чурбан.

– Куда это вы так разрядились? – спросил он.

– Едем ко двору «выговорить» себе королевну! Ты не слыхал разве, о чем барабанили по всей стране?

И ему рассказали, в чем дело.

– Эге! Так и я с вами! – сказал Ханс Чурбан.

Но братья только засмеялись и уехали.

– Отец, дай мне коня! – закричал Ханс Чурбан. – Меня страсть забрала охота жениться! Возьмет королевна меня – ладно, а не возьмет – я сам ее возьму!

– Пустомеля! – сказал отец. – Не дам я тебе коня. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья твои – те молодцы!

– Коли не даешь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня!

И Ханс Чурбан уселся на козла верхом, всадил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. Эх ты, ну как понесся!

– Знай наших! – закричал он и запел во все горло.

А братья ехали себе потихоньку, молча; им надо было хорошенько обдумать все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с королевной, – тут ведь надо было держать ухо востро.

– Го-го! – закричал Ханс Чурбан. – Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!

И он показал дохлую ворону.

– Чурбан! – сказали те. – Куда ты ее тащишь?

– В подарок королевне!

– Вот, вот! – сказали они, расхохотались и уехали вперед.

– Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге!

Братья опять обернулись посмотреть.

– Чурбан! – сказали они. – Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха! И это тоже подаришь королевне?

– И это ей! – ответил Ханс Чурбан.

Братья засмеялись и уехали от него вперед.



– Го-го! Вот и я! – опять закричал Ханс Чурбан. – Нет, чем дальше, тем больше! Го-го!

– Ну-ка, что ты там еще нашел? – спросили братья.

– А нет, не скажу! Вот обрадуется-то королевна!

– Тьфу! – плюнули братья. – Да ведь это грязь из канавы!

– И еще какая! – ответил Ханс Чурбан. – Первейший сорт, в руках не удержишь, так и течет!

И он набил себе грязью полный карман.

А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им и шевельнуться было нельзя. И хорошо, что так, не то они распороли бы друг другу спины за то только, что один стоял впереди другого.

Все остальные жители страны собрались около дворца. Многие заглядывали в самые окна – любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется!

– Не годится! – говорила королевна. – Вон его!

Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себя вверх ногами, у каждого окна по три писца, да еще один старшина, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга, – просто ужас! К тому же печку так натопили, что она раскалилась докрасна.

– Какая жара здесь! – сказал наконец жених.

– Да, папаше сегодня вздумалось жарить петушков! – сказала королевна.

Жених и рот разинул, такой речи он не ожидал и не нашелся что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее.

– Не годится! – сказала королевна. – Вон!

Пришлось ему убираться восвояси. За ним явился к королевне другой брат.

– Ужасно жарко здесь! – начал он.

– Да, мы жарим сегодня петушков! – ответила королевна.

– Как, что, ка...? – пробормотал он, и все писцы написали: «Как, что, ка...?»

– Не годится! – сказала королева. – Вон его!

Тут явился Ханс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу.

– Вот так жарю! – сказал он.

– Да, я поджариваю петушков! – ответила королева.

– Чудесно! – сказал Ханс Чурбан. – Так и мне можно будет зажарить мою ворону?

– Можно! – сказала королева. – А у тебя есть, в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковородки!

– У меня найдется! – сказал Ханс Чурбан. – Вот посудинка, да еще с ручкой!

И он вытащил из кармана сломанный деревянный башмак и положил в него ворону.

– Да это целый обед! – сказала королева. – Но где ж нам взять подливки?

– А у меня в кармане! – ответил Ханс Чурбан. – У меня ее столько, что девать некуда, хоть бросай!

И он зачерпнул из кармана горсть грязи.

– Вот это я люблю! – сказала королева. – Ты скор на ответы, за словом в карман не лазишь, тебя я и возьму в мужья! Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца да еще один старшина? А старшина-то хуже всех – ничего не понимает!

Это все она наговорила, чтобы испугать Ханса. А писцы заржали и посадили на пол кляксы.

– Ишь какие господа! – сказал Ханс Чурбан. – Вот я сейчас угощу его!

И он, недолго думая, выворотил карман и залепил старшине все лицо грязью.

– Вот это ловко! – сказала королева. – Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!

Так и стал Ханс Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты, которую издает старшина, а на нее не след полагаться.

## Иб и Кристиночка



Неподалеку от реки Гудено, по Силькеборгскому лесу проходит горный кряж, вроде большого вала. У подножия его, с западной стороны, стоял, да и теперь стоит крестьянский домик. Почва тут скудная; песок так и просвечивает сквозь редкую рожь и ячмень. Тому минуло уже много лет. Хозяева домика возделывали землю, держали трех овец, свинью да двух волов – словом, кормились кое-как: что есть – то и хорошо, а нет – и не спрашивай! Могли бы они держать и пару лошадей, да говорили, как и другие тамошние крестьяне:

– Лошадь сама себя съедает – коли дает что, так и берет столько же!

Йеппе Йенс летом работал в поле, а зимою прилежно резал деревянные башмаки. Держал он и помощника, парня; тот умел выделывать такие башмаки, что они и крепки были, и легки, и фасонисты. Кроме башмаков они резали и ложки и зашибали-таки денежки, так что Йеппе Йенса с хозяйкой нельзя было назвать бедняками.

Единственный их сынишка, семилетний Иб, глядя на отца, тоже резал какие-то щепочки, конечно, резал себе при этом пальцы, но, наконец, вырезал-таки из двух обрубков что-то вроде маленьких деревянных башмачков – «в подарок Кристиночке», сказал он. Кристиночка, дочка барочника, была такая хорошенькая, нежная,

словно барышня; будь у нее и платья под стать ей самой, никто бы не поверил, что она родилась в бедной хижине, крытой вереском, в степи Сейс. Отец ее был вдов и занимался сплавкой дров из лесу на Силькеборгские угринные тони, а иной раз и дальше, в Раннерс. Ему не на кого было оставлять шестилетнюю Кристиночку дома, и она почти всегда разъезжала с отцом взад и вперед по реке. Если же тому приходилось плыть в Раннерс, девочка оставалась у Йеппе Йенса.

Иб и Кристиночка были большими друзьями и в играх, и за столом. Они копались и рылись в песке, ходили повсюду, а раз решились даже одни влезть на кряж и – марш в лес; там они нашли гнездо кулика и в нем яички. Вот было событие!

Иб сроду еще не бывал в степи, не случалось ему и проплывать из реки Гудено в озеро; вот барочник и пригласил раз мальчика прокатиться с ними и еще накануне взял его к себе домой.

Ранним утром барка отплыла; на самом верху сложенных в поленницы дров восседали ребятишки, уплетая хлеб и малину; барочник и помощник его отталкивались шестами, течение помогало им, и барка летела стрелою по реке и озерам. Часто казалось, что выход из озера закрыт плухой стеной деревьев и тростника, но подплывали ближе, и проход находился, хотя старые деревья и нависали над водою сплошною сенью, а дубы старались преградить дорогу, простирая вперед обнаженные от коры ветви, – вековые деревья словно нарочно засучили рукава, чтобы показать свои голые жилистые руки! Старые ольхи, отмытые течением от берега, крепко цеплялись корнями за дно и казались маленькими лесными островками. По воде плавали кувшинки... Славное было путешествие! Наконец добрались и до тоней, где из шлюзов шумно бежала вода. Было на что посмотреть тут и Кристиночке и Ибу!

В те времена здесь еще не было ни фабрики, ни города, а стоял только старый дом, в котором жили рыбаки, и народу на тонях держали немного. Местность оживлялась только шумом воды да криками диких уток. Доставив дрова на место, отец Кристины купил большую связку угрей и битого поросенка; припасы уложили в корзину и поставили на корме барки. Назад пришлось плыть против течения, но ветер был попутный, они поставили паруса, и барка подвигалась, словно ее везла пара добрых коней.

Доплыв до того места в лесу, откуда помощнику барочника было рукой подать до дому, мужчины сошли на берег, а детям велели сидеть смирно. Да, так они и усидели! Надо же было заглянуть в корзину, где лежали угри и поросенок, вытащить поросенка и подержать его в руках. Держать, конечно, хотелось и тому и другому, и вот поросенок очутился в воде и поплыл по течению. Ужас что такое!

Иб spryгнул на берег и пустился удирать, но едва пробежал несколько шагов, как к нему присоединилась и Кристина.

– И я с тобою! – закричала она, и дети живо очутились в кустах, откуда уже не видно было ни барки, ни реки. Пробежав еще немножко, Кристиночка упала и заплакала. Иб поднял ее.

– Ну, пойдем вместе! – сказал он ей. – Дом-то ведь вон там!

То-то, что не там. Шли, шли они по сухим листьям и ветвям, которые так и хрустели под их ножонками, и вдруг раздался громкий крик, как будто звали кого-то. Дети остановились и прислушались. Тут закричал орел: какой неприятный крик! Детишки струхнули было, да увидали как раз перед собою невероятное множество чудеснейшей голубики. Как тут устоять? И оба взапуски принялись рвать да есть горстями, вымазали себе все руки, губы и щеки! Опять послышался оклик.

– А достанется нам за поросенка! – сказала Кристина.

– Пойдем лучше домой, к нам! – сказал Иб. – Это ведь здесь же, в лесу!

И они пошли, вышли на проезжую дорогу, но она не вела домой. Стемнело, жутко стало детям. В лесу стояла странная тишина; лишь изредка раздавался резкий, неприятный крик филина или другой какой-то незнакомой детям птицы... Наконец дети застряли в кустах и расплакались. Наплакавшись, они растянулись на сухих листьях и уснули.

Солнышко было уже высоко, когда они проснулись. Дрожь пробрала их от утренней свежести, но на холме между деревьями просвечивало солнышко; надо было взобраться туда, решил Иб: там они согреются, и оттуда же можно будет увидеть дом его родителей. Увы! Дети находились совсем в другом конце леса, и до дому было далеко! Кое-как вскарабкались они на холм и очутились над обрывом; внизу сверкало прозрачное, светлое озеро. Рыбки так и толклись на поверхности, блестя на солнце чешуей. Такого зрелища дети и не

ожидали. Вдобавок края обрыва все поросли орешником, усыпанным орехами; в некоторых гнездышках сидело даже по семи! Дети рвали, шелкали орехи и ели нежные ядрышки, которые уже начали поспевать. Вдруг – вот страх-то! – из кустов вышла высокая старуха с коричневым лицом и черными как смоль волосами; белки ее глаз сверкали, как у негра; за спиной у нее был узел, в руках суковатая палка. Это была цыганка. Дети не сразу разобрали, что она им говорила, а она вытащила из кармана три ореха и сказала, что это волшебные орехи – в каждом спрятаны чудеснейшие вещи!

Иб поглядел на нее; она смотрела так ласково; он собрался с духом и попросил у нее орехи. Она отдала и нарвала себе полный карман свежих.

Иб и Кристиночка таращились на волшебные орехи.

– Что ж, в нем карета и лошади? – спросил Иб, указывая на один.

– Да еще золотая, и лошади тоже золотые! – ответила старуха.

– Дай его мне! – сказала Кристиночка.

Иб отдал, и старуха завязала орех в шейный платочек девочки.

– А в этом есть такой хорошенький платочек, как у Кристины? – спросил Иб.

– Целых десять! – ответила старуха. – Да еще чудесные платья, чулочки и шляпа!

– Так дай мне и этот! – сказала Кристина.

Иб отдал ей и другой, и у него остался лишь один, маленький, черненький.

– Этот оставь себе! – сказала Кристина. – Он тоже хороший.

– А что в нем? – спросил Иб.

– То, что для тебя будет лучше всего! – сказала цыганка.



И Иб крепко зажал орех в руке. Цыганка пообещала детям вывести их на дорогу, и они пошли, но совсем не туда, куда надо. Из этого, однако, вовсе не следовало, что цыганка хотела украсть детей.

Наконец уж дети наткнулись как-то на лесничего Крэна. Он знал Иба и привел детей домой, где все были в страшном переполохе. Детей простили, хоть они заслуживали хороших розог, во-первых, за то, что упустили в воду поросенка, а во-вторых, за то, что убежали.

Кристина вернулась домой в степь, а Иб остался в лесном домике. Первым его делом в тот же вечер было вытащить из кармана свой орешек. Он прищепил его дверью, и орех раскололся, но в нем не оказалось даже зернышка – одна черная пыль, земляца, вроде нюхательного табаку. Орех-то был с червоточинкой, как говорится.

– Так я и думал! – сказал себе Иб. – Как могло бы «то, что для меня лучше всего», уместиться в таком крошечном орешке? И Кристина не получит из своих ни платьев, ни золотой кареты!

Пришла зима, пришел и Новый год.

Прошло несколько лет. Иб начал готовиться к конфирмации и ходить к священнику, а тот жил далеко. Раз зашел к ним барочник и рассказал родителям Иба, что Кристиночка поступает в услужение, – пора ей зарабатывать свой хлеб. И ей везет: она поступает к хорошим, богатым людям – подумайте, к самим хозяевам постоянного двора в Хернинге! Сначала она просто будет помогать хозяйке, а потом, как привыкнет к делу и конфирмуется, они оставят ее у себя совсем.

И вот Иб распрощался с Кристиной, а их давно уже прозвали женихом и невестой. Кристиночка показала Ибу на прощанье те два орешка, что он когда-то дал ей в лесу, и сказала, что бережет в своем сундучке и деревянные башмачки, которые он вырезал для нее еще мальчиком. С тем они и расстались.

Иба конфирмовали, но он остался жить дома с матерью, прилежно резал зимою деревянные башмаки, а летом работал в поле; у матери не было другого помощника – отец Иба умер.

Лишь изредка, через почтальона да через рыбаков, получал он известия о Кристине. Ей жилось у хозяев отлично, и после конфирмации она прислала отцу письмо с поклонами Ибу и его матери. В письме говорилось также о чудесном платье и полдюжине сорочек, что подарили ей хозяева. Вести были, значит, хорошие.



Следующею весною в один прекрасный день в дверь домика Иба постучали и явился барочник с Кристиной. Она приехала навестить отца – выдался случай доехать с кем-то до Тэма и обратно. Она была прехорошенькая, совсем барышня на вид и одета очень хорошо; платье сидело на ней ловко и очень шло к ней – словом, она была в полном параде, а Иб встретил ее в старом, будничном платье и от смущения не знал, что сказать. Он только взял ее за руку, крепко пожал, видимо, очень обрадовался, но язык у него как-то не ворочался. Зато Кристиночка щебетала без умолку; мастерица была поговорить! И, здороваясь, она поцеловала Иба прямо в губы!

– Разве ты не узнаешь меня? – спрашивала она его.

А он, даже когда они остались вдвоем, сказал только:

– Право, ты словно важная дама, Кристина, а я такой растреп! А как часто я вспоминал тебя... и доброе старое время!

И они пошли рука об руку на кряж, любовались оттуда рекою и степью, поросшею вереском, но Иб все не говорил ни слова, и только когда пришло время расставаться, ему стало ясно, что Кристина должна стать его женой; их ведь еще в детстве звали женихом и невестою, и ему даже показалось, что они уже обручены, хотя ни один из них никогда и не обмолвился ни о чем таком ни словом.

Всего несколько часов еще оставалось им провести вместе: Кристине надо было торопиться в Тэм, откуда она на следующее утро должна была выехать обратно домой. Отец с Ибом проводили ее до Тэма; ночь была такая светлая, лунная. Когда они дошли до места, Иб стал прощаться с Кристиной и долго-долго не мог выпустить ее руки. Глаза его так и блестели, и он, наконец, заговорил. Немного он сказал, но каждое слово шло прямо от сердца:

– Если ты еще не очень привыкла к богатой жизни, если думаешь, что могла бы поселиться у нас с матерью и выйти за меня замуж, то... мы могли бы когда-нибудь пожениться!.. Но, конечно, надо обождать немного!

– Конечно, подождем! – сказала Кристина и крепко пожала ему руку, а он поцеловал ее в губы. – Я верю тебе, Иб! – продолжала она. – И думаю, что люблю тебя сама, но все же надо подумать!

С тем они и расстались. Иб сказал ее отцу, что они с Кристиной почти сговорились, а тот ответил, что давно ожидал этого. Они

вернулись вместе к Ибу, и барочник переночевал у него, но о помолвке больше не было сказано ни слова.

Прошел год. Иб и Кристина обменялись двумя письмами. «Верный – верная – до гроба», подписывались они оба. Но раз к Ибу зашел барочник передать ему от Кристины поклон и... да, тут слова как будто застряли у него в горле... В конце концов дело, однако, выяснилось. Кристине жилось очень хорошо, она была такою красавицей, все ее любили и уважали, а старший сын хозяев, приезжавший навестить родителей – он занимал в Копенгагене большое место в какой-то конторе, – полюбил ее. Ей он тоже понравился, родители, казалось, были не прочь, но Кристину, видно, очень беспокоило то, что Иб так много думает о ней... «И вот она хочет отказаться от своего счастья», – закончил барочник.

Иб не проронил сначала ни словечка, только весь побелел как полотно, затем тряхнул головою и сказал:

– Кристина не должна отказываться от своего счастья!

– Так напиши ей! – сказал отец Кристины.

Иб и написал, но не сразу; мысли все что-то не выливались у него на бумагу, как ему хотелось, и он перечеркивал и рвал письмо за письмом в клочки. Но к утру письмо все-таки было написано. Вот оно:

*«Я читал твое письмо к отцу и вижу, что тебе хорошо и будет еще лучше. Посоветуйся с своим сердцем, Кристина, подумай хорошенько о том, что ожидает тебя, если выйдешь за меня. Достатков больших у меня ведь нет. Не думай поэтому обо мне и каково мне, а думай только о своем счастье! Я тебя не связывал никаким словом, а если ты и дала его мне мысленно, то я возвращаю тебе его. Да пошлет тебе Бог всякого счастья, Кристиночка! Господь же утешит и меня!*

*Вечно преданный друг твой Иб».*

Письмо было отправлено, и Кристина получила его.

Около Мартынова дня в ближней церкви огласили помолвку Кристины; в одной из церквей в Копенгагене, где жил жених, тоже. И скоро Кристина с хозяйкой отправились в столицу – жених не мог

надолго бросать свое дело. Кристина должна была, по уговору, встретиться со своим отцом в местечке Фундер – оно лежало как раз на пути, да и старику было до него недалеко. Тут отец с дочерью свиделись и расстались. Барочник зашел после того к Ибу сообщить ему о свидании с дочерью; Иб выслушал его, но не проронил в ответ ни словечка. Он стал таким задумчивым, по словам его матери. Да, он много о чем думал, между прочим, и о тех трех орехах, что дала ему в детстве цыганка. Два из них он отдал Кристине; то были волшебные орехи: в одном была золотая карета и лошади, в другом – чудеснейшие платья. Вот и сбылось все. Вся эта роскошь и ждет ее теперь в Копенгагене! Да, для нее все вышло как по писаному, а Иб нашел в своем орешке только черную пыль, землю. «То, что для тебя будет лучше всего», – сказала ему цыганка; да, так оно и есть: теперь он понимал смысл ее слов – в черной земле, в могиле, ему и будет лучше всего!

Прошло еще несколько лет; как долго тянулись они для Иба! Старики хозяева постоянного двора умерли один за другим, и все богатство, много тысяч риксдалеров, досталось сыну. Теперь Кристина могла обзавестись даже золотой каретой, а не только чудесными платьями.

Потом целых два года о Кристине не было ни слуху ни духу; наконец отец получил от нее письмо, но не радостные оно принесло вести. Бедняжка Кристина! Ни она, ни муж ее не умели беречь денег, и богатство их как пришло, так и ушло; оно не пошло им впрок – они сами того не хотели.

Вереск в поле цвел и отцветал, много раз заносило снегом и степь, и горный кряж, и уютный домик Иба. Раз весною Иб шел по полю за плугом; вдруг плуг врезался во что-то твердое – кремьень, как ему показалось, и из земли высунулась как будто большая черная стружка. Но когда Иб взял ее в руки, он увидал, что это не дерево, а металл, блестящий в том месте, где его резануло плугом. Это было старинное, тяжелое и большое золотое запястье времен языческой древности. На том месте, где теперь расстиралось вспаханное поле, возвышался когда-то древний могильный курган. И вот пахарь нашел сокровище. Иб показал кольцо священнику, тот объяснил ему, какое оно дорогое, и Иб пошел к местному судье; судья дал знать о

драгоценной находке в Копенгаген и посоветовал Ибу лично представить ее куда следует.

– Лучше этого земля не могла дать тебе ничего! – прибавил судья. «Вот оно! – подумал Иб. – Так все-таки земля дала мне то, что для меня лучше всего! Значит, цыганка была права!»

Иб отправился из Орхуса морем в Копенгаген. Для него это было чуть не кругосветным плаванием – до сих пор он ведь плавал лишь по своей речке Гудено. И вот он добрался до Копенгагена. Ему выплатили полную стоимость находки, большую сумму: целых шестьсот риксдалеров. Несколько дней бродил степняк Иб по чужому, огромному городу и однажды вечером, как раз накануне отъезда обратно в Орхус, заблудился, перешел какой-то мост и вместо того, чтобы идти к Западным воротам, попал в Кристианову гавань. Он, впрочем, и теперь шел на запад, да только не туда, куда надо. На улице не было ни души. Вдруг из одного убогого домика вышла маленькая девочка. Иб попросил ее указать ему дорогу; она испуганно остановилась, поглядела на него, и он увидел, что она горько плачет. Иб сейчас же спросил – о чем; девочка что-то ответила, но он не разобрал. В это время они очутились у фонаря, и свет упал девочке прямо в лицо – Иб глазам не поверил: перед ним стояла живая Кристиночка, какую он помнил ее в дни ее детства!

Иб вошел вслед за малюткой в бедный дом, поднялся по узкой, с истертыми ступенями лестнице на чердак, в маленькую каморку под самой крышей. На него пахнуло тяжелым, удушливым воздухом; в каморке было совсем темно и тихо; только в углу слышались чьи-то тяжелые вздохи. Иб чиркнул спичкою. На жалкой постели лежала мать ребенка.

– Не могу ли я помочь вам? – спросил Иб. – Малютка зазвала меня, но я приезжий и никого здесь не знаю. Скажите же, нет ли тут каких-нибудь соседей, которых бы можно было позвать к вам на помощь?

И он приподнял голову больной.

Это была Кристина из степи Сейс. Много лет при Ибе не упоминалось даже ее имени – это бы потревожило его, тем более что слухи о ней доходили самые неутешительные. Молва правду говорила, что большое наследство совсем вскружило голову мужу Кристины; он отказался от места, поехал за границу, прожил там полгода, вернулся обратно и стал прожигать денежки. Все больше и больше наклонялась

телега и наконец опрокинулась вверх дном! Веселые друзья собутыльники заговорили, что этого и нужно было ожидать, – разве можно вести такую сумасшедшую жизнь? И вот однажды утром его вытащили из дворцового канала мертвым!

Дни Кристины тоже были сочтены; младший ребенок ее, рожденный в нищете, уже умер, и сама она собиралась последовать за ним... Умиравшая, всеми забытая, лежала она в такой жалкой каморке, какою могла еще, пожалуй, довольствоваться в дни юности, в степи Сейс, но не теперь, после того как успела привыкнуть к роскоши и богатству. И вот случилось, что старшая ее дочка, тоже Кристиночка, терпевшая холод и голод вместе с матерью, встретила Иба!

– Я боюсь, что умру, оставлю мою бедную крошку круглой сиротой! – простонала больная. – Куда она денется?!

Больше она говорить не могла.

Иб опять зажег спичку, нашел огарок свечки, зажег его и осветил жалкую каморку.

Потом он взглянул на ребенка и вспомнил Кристиночку – подругу детских лет... Да, ради той Кристиночки он должен взять на себя заботы об этой чужой для него девочке! Умиравшая взглянула на него, глаза ее широко раскрылись... Узнала ли она его? Неизвестно; он не слышал от нее больше ни единого слова.

Мы опять в лесу, у реки Гудено, близ степи Сейс. Осень; небо серо, вереск оголился, западные ветры так и рвут с деревьев пожелтевшие листья, швыряют их в реку, разметывают по степи, где по-прежнему стоит домик, крытый вереском, но живут в нем уже чужие люди. А у подножия горного кряжа, в защищенном от ветра месте, за высокими деревьями, стоит старый домик, выбеленный и выкрашенный заново. Весело пылает огонек в печке, а сама комнатка озаряется солнечным сиянием: оно льется из двух детских плазок, из розового смеющегося ротика раздается щебетание жаворонка; весело, оживленно в комнате: тут живет Кристиночка. Она сидит у Иба на коленях; Иб для нее и отец и мать, настоящих же своих родителей она забыла, как давний сон. Иб теперь человек зажиточный и живет с Кристиночкой

припеваючи. А мать девочки покойся на кладбище для бедных в Копенгагене.

У Иба водятся в сундуке деньжонки; он достал их себе из земли, говорят про него. У Иба есть теперь и Кристиночка!

*1855*

## Тернистый путь славы



В старой сказке говорится: «Тернист был путь славы для егеря Брюде; он хоть и достиг славы и почестей, но лишь после многих мытарств и бедствий». Многие из нас, конечно, слышали эту сказку в детстве, может быть, читали ее уже взрослыми и думали о своем никем не замеченном тернистом пути и о многих мытарствах. Сказка и действительность очень схожи; но в сказке счастливая развязка наступает здесь же, на земле, тогда как в действительности человек может рассчитывать на нее чаще всего лишь *там*, в жизни вечной и бесконечной.

Всемирная история – волшебный фонарь, показывающий нам на темном фоне жизни светлые образы благодетелей человечества, мучеников ума, пробиравшихся по тернистому пути славы.

На этом фоне отражаются картины всех времен, всех стран, каждая – лишь на мгновение, но это мгновение охватывает всю земную жизнь человека с ее борьбою и победами. Взглянем же хоть на

некоторых из длинного, бесконечного ряда мучеников, которому и не будет конца, пока держится мир.

Перед нами переполненный зрителями амфитеатр; «Облака» Аристофана отравляют толпу ядом остроумного издевательства. Со сцены осмеивают – и с нравственной, и с физической стороны – замечательнейшего мужа Афин, спасшего народ от тридцати тиранов, спасшего в пылу битвы Алкивиада и Ксенофонта, осмеивают Сократа, воспарившего духом выше богов древности. Сам он тоже в числе зрителей. И вот он встает со своего места и выпрямляется во весь рост – пусть видят хохочущие афиняне, похожа ли на него карикатура. Твердо, несокрушимо стоит он, возвышаясь надо всеми.

Сочная, зеленая, ядовитая цикута! Тебе служить эмблемою Афин, а не оливковой ветви!

Семь городов спорили о чести считаться родиной Гомера – после его смерти. А при жизни? Он проходил эти города, распевая свои песни ради куска хлеба; волосы его седали при мысли о завтрашнем дне! Он, могучий провидец, был слеп и одинок! Острый терн рвал в клочья плащ царя поэтов.

А песни его живут и поныне, и в них одних живут древние боги и герои.

Картина за картиною выступает на темном фоне; в одной отражается восток, в другой – запад, в одной – седая древность, в другой – недавнее прошлое; но, несмотря на все различие их по времени и месту, все они изображают одно – тернистый путь славы, на котором терн зацветает лишь к тому времени, когда нужно украсить цветами могилу.

В тени пальм движутся верблюды, нагруженные индиго и другими драгоценными товарами; они посланы владельцем страны в дар тому, чьи песни – радость народа, слава страны, тому, кого зависть и клевета изгнали из родной страны. Караван приближается к маленькому городку, где певец нашел убежище; из города выносят навстречу каравану бедный гроб. Хоронят как раз того, кого ищет караван: Фирдоуси. Тернистый путь славы пройден им до конца!

На мраморной лестнице дворца в столице Португалии сидит негр с грубыми чертами лица, с толстыми губами и черными жесткими волосами и просит милостыню. Это – верный раб Камоэнса; без него



и без тех грошей, что бросают ему прохожие, господин его, «певец Лузиады», умер бы с голода.

Теперь над могилою Камозенса – великолепный памятник.

Еще картина.

За железною решеткой виднеется человек: лицо его бледно, длинная борода всклокочена. «Я сделал величайшее открытие! – кричит он, – а меня больше двадцати лет держат в заключении!»

Кто он? «Безумец! – говорит сторож. – Чего ведь не взбредет на ум человеку. Он воображает, что можно двигаться вперед силою пара!» Это Саломон де Ко, открывший силу пара, но не сумевший растолковать неясно брезжившей в его уме идеи могущественному Ришелье. Несчастный провел весь остаток жизни в сумасшедшем доме.

Вот Колумб! Над ним глумились когда-то даже уличные мальчишки – он ведь хотел открыть Новый Свет! Он и открыл его! И звон колоколов встречает торжественный въезд его, но колокола зависти скоро заглушают этот звон, и вот того, кто открыл Новый Свет, как бы поднял золотой Американский материк со дна моря и подарил его своему королю, – награждают железными цепями! Он велит положить их с собою в гроб, как знаменательное выражение благодарности света и современников.

Картина сменяет картину; никогда не пустеет тернистый путь славы!

Вот в глубоком мраке сидит тот, кто измерил лунные горы, кто как бы пронизал мировое пространство своим острым духовным взором, уловил могучим умом «сокровенное» природы, понял, что земля движется под ним, – Галилей. Слепой, глухой старец как бы пригвожден к месту колючками терна – так терзает его отречение. Теперь он не в силах даже поднять ногу, которою когда-то, в минуту душевной боли, при виде попираемой истины топнул о землю и вскричал: «А все-таки она движется!»

Вот стоит женщина, дитя душою, исполненная божественного восторга и веры; знамя несет она перед воинствующей ратью и дарует своему отечеству победу и спасение. Раздаются крики ликования, и зажигается костер: Жанну Д'Арк, колдунью, сжигают. А следующие поколения забрасывают белую лилию грязью: Вольтер, сатир остроумия, воспекает «La pucelle».

Вот в Виборге датское дворянство сжигает законы короля. Они горят ярким пламенем, освещая эпоху и самого законодателя, отбрасывая сияние вовнутрь мрачной темницы, где он сидит седой, согбенный, проводя пальцем борозду вокруг каменного стола. Это он – некогда повелитель трех северных государств, любимец народа, друг крестьян и граждан – Христиан Второй. Суровая была в нем душа, да и в суровое время жил он. Враги писали его историю. Но мы, вспоминая его кровавые деяния, припомним и двадцать семь лет его заключения.

От берегов Дании отплывает корабль; прислонясь к высокой мачте, стоит человек и бросает прощальный взгляд на остров Вэн. Это Тихо Браге. Он вознес имя Дании к звездам и вознагражден за то обидами и огорчениями. Теперь он отплывает в чужую землю, говоря: «Небо есть везде, чего же мне больше?» Он отплывает из родной земли, наш знаменитейший муж; в чужой земле ждут его почести и свобода.

«Ах свобода... свобода – хотя бы от невыносимых страданий тела!» – долетает до нас стон из глубины времен. Это что за картина? Гриффенфельд<sup>[18]</sup>, датский Прометей, прикованный к скалистому острову Мункгольму!

Мы в Америке, у одной из больших рек; по берегам толпится народ; сейчас должен поплыть корабль против течения и ветра, преодолевая сопротивление стихий. Роберт Фултон верит в возможность этого. Корабль трогается, и вдруг – стоп! Толпа хохочет, свищет, в том числе и отец самого Фултона. «И поделом тебе, гордец, безумец. Под замок сумасброда!» Но вот маленький гвоздик, остановивший на минуту движение машины, ломается, колеса вертятся, лопасти преодолевают сопротивление волн, и корабль плывет! Паровой челн превращает часы в минуты, проплывая расстояния между землями с неведомою доселе быстротой.

Род человеческий! Понятно ли тебе блаженство такой минуты – высокого просветления духа, сознания им своей миссии, минуты, когда все истязания, претерпенные на тернистом пути славы, становятся целебным бальзамом, дающим здоровье, силу и ясность, когда дисгармония становится гармонией, и люди видят откровение Божье, данное одному, а через него ставшее достоянием всех?

Тернистый путь славы опоясывает землю сияющею лентой; блаженны избранные, идущие по нему, без заслуг поставленные на

этот мост, созданный Великим Зодчим, чтобы соединить землю с небом.

На мощных крылах несется дух истории через тьму времен и показывает нам, чтобы ободрить, утешить нас, пробудить в нас кротость, сияющие на черном фоне тернистого пути славы яркие картины. Путь этот не завершается, как в сказке, блеском и радостью здесь же, на земле, но ведет туда, в жизнь вечную и бесконечную.

*1855*

## Еврейка



В школе для бедных, между другими детьми, сидела девочка-еврейка, добрая, развитая и самая прилежная из всех. Но в одном из уроков она не могла принимать участия – в Законе Божием: школа была христианская. Ей позволили в это время учить урок по географии или решать задачи, но она скоро справлялась и с уроком, и с задачами, и книжка только так лежала перед нею раскрытою – она в нее и не заглядывала, прислушиваясь к словам учителя. Скоро тот заметил, что она следит за уроком, пожалуй, внимательнее всех остальных.

– Учи свой урок! – сказал он ей кротко и серьезно, но она продолжала смотреть на него своими черными лучистыми глазами; он задал ей несколько вопросов, и оказалось, что она поняла и усвоила из его уроков больше, чем кто-либо из других детей. Она слушала, понимала и слагала все в сердце своем.

Отец ее, честный бедняк, отдавая дочь в школу, поставил условием, чтобы ее не учили догматам христианской веры; но отсылать ее в эти часы из класса было неудобно – это могло возбудить в других детях различные мысли и соображения, – и она оставалась. Теперь же учитель понял, что так дело оставить нельзя.

Он отправился к ее отцу и заявил, что тот должен или взять свою дочь из школы, или позволить ей принять христианство.

– Я не могу равнодушно видеть ее горящего взора, в котором так и светится вся ее душа, жаждущая света истины Христовой! – добавил учитель.

Отец заплакал:

– Сам я малосведущ в законе отцов моих, но мать ее была истинною дочерью Израиля, крепко держала свою веру и взяла с меня на смертном одре слово – никогда не позволять нашей дочери креститься. Я должен сдержать свое обещание: оно для меня священно, как обет, данный Богу.

И девочку взяли из христианской школы.

Прошло много лет. В одном из маленьких городков в Ютландии служила в семействе небогатого горожанина бедная девушка-еврейка. Это была Сара. Волосы ее были черны, как эбеновое дерево, темные глаза сияли огнем, как у дочерей Востока. Но выражение их ничуть не изменилось со времени ее детства, когда она еще сидела на школьной скамейке и внимала словам учителя.

По воскресеньям в церкви звучал орган и раздавалось пение псалмов; торжественные звуки доносились через улицу и до соседнего домика, где прилежно и неутомимо занималась своим делом еврейка. Заповедь «Помни день субботний, чтобы святить его!» – была для нее законом, но суббота была у христиан рабочим днем, и девушка могла праздновать ее лишь в сердце своем, а этого ей казалось мало. Но что значат для Бога дни и часы? Мысль эта пробудилась в ее душе, и девушка стала праздновать субботу в христианское воскресенье. И когда звуки органа и пение псалмов доносились до ее уголка в кухне, даже и это место проникалось святою тишиною храма. Сара читала в это время Ветхий Завет, сокровище и собственность ее народа; только его она и могла читать: слова ее отца, сказанные учителю, обещание, данное им ее умирающей матери, глубоко залегли в душу Сары: она не должна

принимать христианства, не должна отрекаться от веры отцов своих, и Новый Завет должен оставаться для нее закрытой книгой! Но она уже так много знала из него, знания эти хранились в душе ее вместе с воспоминаниями детства.

Раз вечером она сидела в углу комнаты и слушала, как хозяин читал вслух. Она могла слушать – читали не Евангелие, а старую хронику. Из нее прочитано было об одном венгерском рыцаре, попавшем в плен к турецкому паше. Турок велел впрячь христианина вместе с волами в плуг, погонять кнутом, словом, надругался над ним и терзал его всячески! Жена рыцаря продала все свои драгоценности, заложила замок и земли, друзья его также сложились, и наконец составила нужная сумма – паша требовал за рыцаря невероятно огромный выкуп. Деньги были доставлены, и рыцарь освобожден из тяжелого рабства. Больной, страждущий, прибыл он домой. Но скоро опять кликнули клич против врагов христианства, и рыцарь забыл всякий покой и отдых, велел оседлать своего боевого коня. Щеки его опять окрасились румянцем, силы вернулись, и он помчался разить врагов. И вот тот самый паша, что держал его в плену, запрягал в плуг, мучил и терзал, стал теперь его пленником. Пашу отвели в темницу, но не прошло и часа, как к нему явился сам рыцарь и спросил его:

– Как ты думаешь, что ожидает тебя?

– Возмездие! – отвечал турок.

– Да, но возмездие христианское! – сказал рыцарь. – Закон Христа запрещает воздавать за зло злом, велит прощать врагам нашим и любить ближнего! Бог есть любовь! Ступай с миром в дом свой и будь добр и милостив к страждущим!

Пленник залился слезами:

– Мог ли я ожидать этого? Напротив, я знал, что меня ожидают муки и терзания, и принял яд. Он скоро убьет меня, я умру, спасения нет! Но не дай мне умереть, не познав учения, которое вмещает в себе такую любовь и милосердие! Оно велико и божественно! Дай мне умереть христианином!

И мольба его была исполнена.

Вот какую историческую легенду прочел хозяин; все слушали внимательно, но живее, пламеннее всех внимала чтению сидевшая в углу служанка Сара, еврейка. Крупные слезы сверкали в ее блестящих черных как уголь глазах. Она сохранила ту же детскую душу, которая

так жадно стремилась когда-то познать учение Евангелия. Слезы текли по ее лицу.

«Не позволяй нашей дочери стать христианкой!» – были последние слова ее матери на смертном одре, и она хранила их в сердце своем вместе со словами заповеди Божией: «Чти отца твоего и мать твою!»

«Меня ведь и не крестили! – говорила она себе. – Все зовут меня еврейкою! Еще в воскресенье соседние мальчишки дразнили меня, когда я остановилась у открытой церковной двери и заглянула туда, где горели свечи и пел народ. Но со времени детства и до сих пор христианство неодолимо влечет меня к себе; оно, словно солнечный свет, проникает в мое сердце, даже когда я нарочно закрываю глаза. Но я не огорчу тебя в могиле, матушка. Я не изменю обету, который дал тебе отец! Я не стану читать христианской Библии: у меня есть свое прибежище – Бог отцов моих!»

Прошли еще годы.

Хозяин Сары умер, хозяйка впала в бедность, служанку надо было отпустить, но Сара не ушла. Она стала поддержкой вдовы в нужде, работала с утра до поздней ночи и кормила ее трудами рук своих. У вдовы не было никого из близких родственников, кто бы помогал ей, а она между тем слабела день ото дня и по целым месяцам лежала в постели. Кроткая, благочестивая Сара была для нее в это время истым благословением Божиим – она бодрствовала по ночам и ухаживала за больной.

– Вон там Библия! – сказала однажды больная. – Почитай мне немножко! Вечер такой длинный, и я так нуждаюсь в утешении словом Божиим.

Сара покорно склонила голову, взяла христианскую Библию, раскрыла и стала читать больной. На глаза девушки часто набегали слезы, но они становились от того еще яснее, а на душе у нее делалось все светлее. «Мать, дочь твоя не примет крещения, не будет причислена к христианам – ты так потребовала, и я исполню твой завет. Мы останемся одной веры, эта связь не будет мною нарушена здесь, на земле, но *там* нас ждет высшее единение в Боге! Он спасает нас от смерти. Он посещает землю, и если делает ее жаждущею, то и обогащает ее сторицею! Я понимаю это, хотя и сама не знаю, как дошла до того!.. Это все он разъяснил мне – Христос!»

И она вся задрожала, называя его святое имя; огненное крещение пронизало ее душу молнией, и слабое тело не вынесло: без чувств упала девушка возле больной, за которую ухаживала день и ночь.

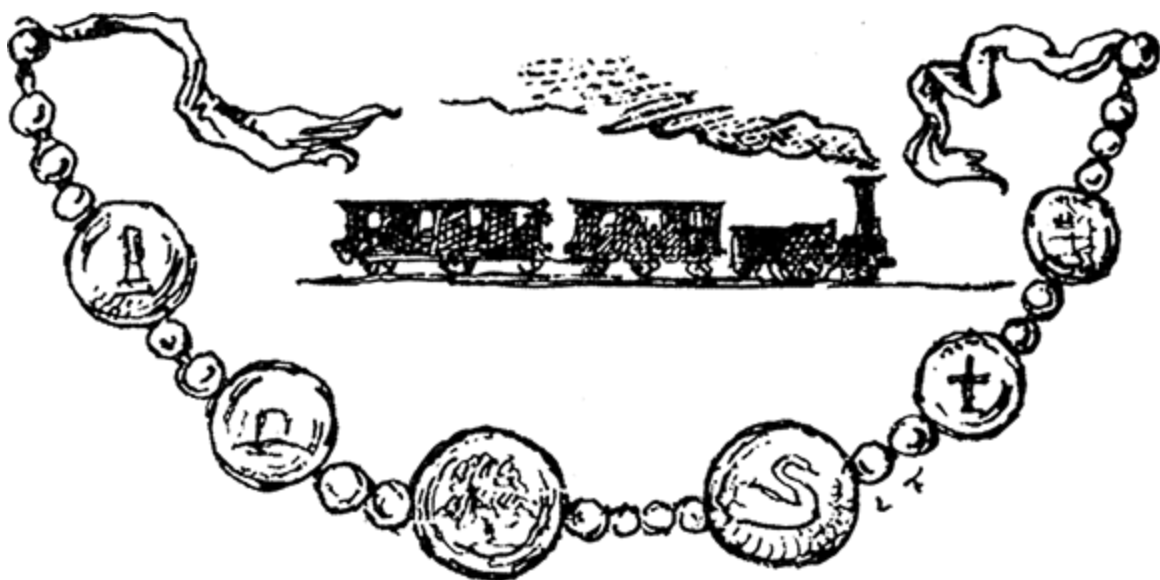
– Бедная Сара! – сказали люди. – Она переутомила себя работой и бодрствованием!

Ее отвезли в больницу для бедных, там она и умерла; ее схоронили, но не на христианском кладбище – там было не место еврейке, а за оградой, у самой стены.

Но Божье солнышко, что светило на могилы христиан, ласкало и могилу еврейки; пение псалмов, раздававшееся над их могилами, доносилось и до ее могилы. Да, и до нее доносились слова: «И воскреснем все во Христе, Боге нашем, сказавшем ученикам своим: “Иоанн крестил вас водою, я же буду крестить Духом Святым”».



## Обрывок жемчужной нити



Железная дорога проведена у нас в Дании пока только от Копенгагена до Корсёра; дорога эта – настоящий обрывок жемчужной нити, каких в Европе множество. Драгоценнейшими жемчужинами, нанизанными на них, являются Париж, Лондон, Вена, Неаполь!!! Многие укажут, впрочем, не на эти большие города, а на какой-нибудь незначительный городок, где родились и где живут милые их сердцу; в глазах иных жемчужиною является одинокий, маленький домик, приютившийся в зелени; миг – и он промелькнул перед глазами путешественника, смотрящего из окна вагона.

Много ли жемчужин нанизано на нить, что протянута от Копенгагена до Корсёра? Можно указать на шесть, на которые редко кто не обратит внимания; старые песни и поэзия придали этим жемчужинам такой блеск, что они вечно сияют в нашей памяти.

Вот близ холма, где возвышается замок Фредрика VI, где стоит отчий дом Эленшлегера, блестит на лесной поляне в Сеннермаркене одна из этих жемчужин; прозвали ее «хижиной Филемона и Бавкиды», то есть хижиной любящей супружеской четы. Здесь жил когда-то Рабек со своею женой Каммой. Под их гостеприимною кровлей собирались в течение полувека представители умственных сфер шумной столицы – Копенгагена; в те времена здесь был приют ума, а теперь!.. Но не говорите «как изменчивы времена»! Здесь и

теперь «приют ума», теплица для больных растений! Бутоны, что не в силах распуститься, все-таки скрывают в себе ростки, лепестки и семена. Солнце ума светит в этот мирный приют, оживляет растения, пробуждает к жизни зародыши. Впечатления окружающего мира, воспринимаемые темною душою, отражаются в глазах. «Приют слабоумных», воздвигнутый человеколюбием, – священное место, теплица для больных растений, которые должны быть некогда пересажены и расцвести в саду Божиим. Слабоумные собраны ныне здесь, где когда-то встречались гиганты ума, встречались, обменивались мыслями и возносились душою туда, туда!.. Туда же стремится душевное пламя из «хижины Филемона и Бавкиды» и поныне.

Город, где почивают короли, где журчит источник Роара, старый Роскилле лежит перед нами! Стройные, остроконечные башни собора возвышаются над маленьким городком и отражаются в Иссе-фьорде. Отыщем же здесь одну могилу – блестящую жемчужину. Это не будет могила могущественной королевы Маргреты Объединительницы, нет, мы отыщем на кладбище, мимо белых стен которого мчится поезд, скромную надгробную плиту; под нею почивает царь органистов, обновитель датского романса. Благодаря ему старые предания звучат для нас родными, близкими сердцу мелодиями, мы чувствуем, где «катятся прозрачные волны», где «жил-был в Лейре король!».

Роскилле, город, где почивают короли, твоею жемчужиной является скромная могила; на плите, покрывающей ее, высечена лира и имя: Вейсе.

Теперь мы у местечка Сигерстед близ города Рингстеда; река обмелела, и желтая рожь растет там, где приставала некогда лодка Хагберта к терему Сигне. Кто не знает сказания о Хагберте, висевшем на дубу, и о Сигне, сгоревшей в терему, о их пламенной любви?..

«Чудный Сорё, в венке из лесов!» Монастырски тихий городок выглядывает из-за обросших мхом деревьев. Юношеским взором смотрит он из окон академии на озеро, на мировую дорогу и прислушивается к пыхтению паровоза, пролетающего через лес. Сорё, жемчужина поэзии, хранящая прах Хольберга! Словно могучий белый лебедь, покоится над глубоким озером в чаще леса «Дворец науки», а вблизи его взор наш отыскивает блестящий, как беленький полевой цветочек, скромный домик. Оттуда разносятся по всей стране

благочестивые псалмы; к раздающемуся оттуда слову прислушивается даже крестьянин и узнает из него о давно минувших временах и судьбах Дании. Зеленый лес и пение птиц, Сорё и Ингеманн – одинаково нераздельные понятия.

Теперь в город Слагельсе! Какая жемчужина блестит здесь? Исчез Антверсовский монастырь, исчезли роскошные дворцовые покои, даже покинутый, одинокий флигель. Сохранился лишь один памятник старины – его подновляли не раз – деревянный крест на холме, где, по преданию, пробудился перенесенный сюда из Иерусалима в одну ночь священник святой Андерс.

Корсёр! Здесь родился ты, Кнуд Зеландец, мастер слова, виртуоз остроумия! О месте, где находился твой отчий дом, свидетельствуют ныне одни обвалившиеся старые валы. На заходе солнца от них падает тень как раз на то местечко, где стоял дом твоего детства. С этих валов смотрел ты, «когда был ребенком», на холмы острова Спроге и воспевал в бессмертных стихах «месяц, что скользит над островом», как воспел впоследствии и горы Швейцарии! Да, тут жил ты, исходивший мировой лабиринт и нашедший, что

Нигде, нигде так ярко не алеют розы,  
Нигде не сыщем мельче мы шипов,  
Нигде нас не баюкают так сладко грезы,  
Как там, где наш родной, наш отчий кров!

Певец остроумия! Мы сплетем тебе венок из дикого яминника, бросим его в море, и волны отнесут его в Кильский залив, на берегу которого покоится твой прах. Венок принесет тебе привет от молодого поколения, поклон от родного города Корсёра, где обрывается жемчужная нить.

– Да, это и впрямь обрывок жемчужной нити! – сказала бабушка, выслушав то, что мы ей прочли. – Дорога от Копенгагена до Корсёра, по-моему, настоящая жемчужная нить; так я стала смотреть на нее еще сорок с лишком лет тому назад. Тогда железных дорог у нас еще

не водилось и приходилось ехать дни, тогда как теперь нужны только часы. Было это в тысяча восемьсот пятнадцатом году, мне тогда шел двадцать второй год; славный возраст! Впрочем, и шестьдесят лет – славный, благословенный возраст! В те времена поездка в Копенгаген, город городов, как мы называли его, была редким событием, не то что теперь. Мои родители собрались повторить такую поездку только через двадцать лет и решили и меня взять с собою; о поездке этой мы толковали много лет, и наконец она должна была состояться. Мне казалось, что теперь для меня начнется новая жизнь; да так оно отчасти и вышло.

Пошло шитье, упаковка; когда же настало время отъезда, сколько добрых друзей понашло к нам пожелать счастливого пути! Нам предстояло ведь большое путешествие! Поутру мы выехали из Оденсе в собственном старомодном возке; из окон высовывались и кланялись знакомые; поклоны и пожелания провожали нас по всей улице, пока мы не выехали из ворот Святого Йоргена. Погода стояла чудная, птицы пели, все было так хорошо, что забывалось, какая предстоит нам долгая, утомительная дорога до Ньюборга; к вечеру, однако, мы благополучно добрались до него. Почта приходила туда только ночью, а раньше не отправлялся и корабль, на который мы сели. Перед нами лежала огромная водяная равнина – глазом не окинуть! Мы улеглись на койках не раздеваясь и заснули. Утром я проснулась и вышла на палубу – не было видно ни зги, нас окружал густой туман. Я услышала крик петухов и почувствовала, что восходит солнце; зазвонили колокола; где же мы были? Туман рассеялся, и я увидела, что мы находимся прямехонько против... Ньюборга. Днем наконец подул ветер, но как раз навстречу нам. Мы лавировали, лавировали и часам этак к двенадцати ночи добрались-таки до Корсёра. Таким образом, мы в двадцать два часа сделали четыре мили.

То-то приятно было выйти на берег!.. Но в городе царил темнота; фонари горели прескверно, все казалось мне тут таким чужим – я ведь ни разу еще не бывала ни в каком другом городе, кроме своего родного Оденсе.

«Вот тут родился Баггесен! – сказал мне отец. – Тут же жил и Биркнер!»

И старый город с маленькими домами сразу показался мне как-то светлее и больше. К тому же мы так радовались, что у нас наконец под

ногами твердая почва. Но заснуть в эту ночь я так и не могла от наплыва массы новых впечатлений. И подумать, что мы выехали из дома всего третьего дня! На следующее утро пришлось подняться рано; нам предстояла ужасная дорога по холмам, по рытвинам, до самого Слагельсе, да и за ним, говорили нам, пойдет не лучше, а нам хотелось вовремя прибыть в гостиницу «Рак», чтобы успеть в тот же день побывать в Сорё и навестить «мельникова Эмиля», как мы его звали. Это и был наш дедушка, мой покойный муж, священник. Тогда он был студентом академии в Сорё и только что сдал свой второй экзамен.

После полудня мы прибыли в гостиницу «Рак»; в те времена это была лучшая гостиница на всем пути. Окрестности ее были тогда удивительно живописны, да вы, конечно, скажете, что они и теперь не хуже. Расторопная хозяйка, госпожа Пламбек, держала свое заведение в безукоризненной чистоте и порядке. На стене, в рамке за стеклом, висело письмо Баггесена к ней – на него стоило взглянуть! В моих глазах это была такая достопримечательность!.. Потом мы пошли в Сорё и разыскали Эмиля. Вот-то обрадовался он нам, а мы ему! Как он был мил, внимателен к нам! Вместе пошли мы в церковь, где находится могила Абсалона и гробница Хольберга, осматривали старинные надписи на стенах, сделанные монахами, переправлялись через озеро на Парнас – словом, провели чудеснейший вечер, какой только запомню! И мне, право, казалось, что если где-нибудь на свете можно писать стихи, так это именно в Сорё, среди его мирной, чудной природы. При свете луны мы прошли по «аллее философов», как называют прелестную уединенную дорожку вдоль озера и болота, ведущую на проезжую дорогу к гостинице. Эмиль остался у нас ужинать; отец и мать мои нашли, что он стал таким умным и похорошел. Он пообещал нам через пять дней приехать в Копенгаген к родным и навестить нас, – через пять дней наступала ведь Троица. Часы, проведенные нами в Сорё и в гостинице «Рак», принадлежат к прекраснейшим жемчужинам моей жизни.

На другое утро мы выехали очень рано, – нам предстояла длинная дорога, а мы должны были прибыть в Роскилле засветло, чтобы успеть осмотреть собор; вечером же отец хотел навестить одного старого школьного товарища. Так все и вышло; ночь мы провели в Роскилле, утром выехали и, наконец, только около полудня – тут пошла самая

ужасная, избитая дорога – добрались до Копенгагена. Итак, мы почти три дня добирались от Корсёра до Копенгагена, а вам теперь нужно на это всего три часа. Жемчужины не стали от того прекраснее, это невозможно, но теперь они нанизаны на новую диковинную нить!

Мы пробыли в Копенгагене три недели; Эмиль почти не расставался с нами и потом проводил нас обратно до Корсёра; там мы обручились и расстались! Теперь вы понимаете, отчего и я называю дорогу от Копенгагена до Корсёра обрывком жемчужной нити.

Позже, когда Эмиль получил приход в Ассенсе, мы поженились. Часто вспоминали мы поездку в Копенгаген и собирались повторить ее, но тут явилась сначала ваша мать, потом другие ее братья и сестры, хлопот и забот прибыло, и тут дедушка наш получил повышение и стал пробстом, дела шли хорошо, в семье у нас была тишь да гладь да Божья благодать, но в Копенгаген мы так и не попали. Ни разу больше я не побывала там, хоть мы и часто думали и говорили о поездке. Теперь же я состарилась, не гоюсь ездить по железным дорогам. Но радоваться им – радуюсь. Чистая благодать! Теперь вы можете быстрее приезжать ко мне! Теперь Оденсе не дальше от Копенгагена, чем в дни моей молодости был от Ньюборга! Вы можете теперь слетать в Италию за столько же времени, сколько мы употребили тогда на поездку в Копенгаген, вот что!.. Но я все-таки не двигаюсь с места – пусть ездят другие ко мне! Нечего вам смеяться над тем, что я такая домоседка! Мне предстоит иное путешествие, куда более далекое и скорое. Когда Господь Бог призовет меня, я отправлюсь к «дедушке», а когда вы совершите ваше земное дело, порадуетесь вдоволь на этот чудный мир, я знаю, что и вы придете к нам, и мы поговорим тогда о нашей земной жизни. И поверьте, дети, я и тогда скажу, как теперь:

«Дорога от Копенгагена до Корсёра – настоящая жемчужная нить!»

## Колокольная бездна

«Бом-бом!» – раздается звон из колокольной бездны реки Оденсе. Это что за река? Ее знает любой ребенок в городе Оденсе; она огибает сады и пробегает под деревянными мостами, стремясь из шлюзов к водяной мельнице. На речной поверхности плавают желтые кувшинки, колышутся темно-коричневые султанчики тростника и высокая бархатная осока. Старые, дуплистые, кривобокие, скорчившиеся ивы, растущие возле монастырского болота и луга белильщика, нависают над водою. По другому берегу тянутся сады. И все они разные. В одних растут чудесные цветы, красуются чистенькие, словно игрушечные, беседки, в других виднеется одна капуста, а иных так и самих не видно: густые, раскидистые кусты бузины теснятся к самой реке, которая местами так глубока, что веслом и не достать до дна. Самое глубокое место – против Девичьего монастыря; зовется оно колокольной бездной, и в бездне этой живет дедушка Водяной. Весь день, пока солнечные лучи проникают в воду, он спит, а ночью, при свете месяца и звезд, всплывает на поверхность. Он очень стар. Еще бабушка моя слышала от своей бабушки, что он живет один-одинешенек и нет у него другого собеседника, кроме огромного старого церковного колокола. Когда-то колокол этот висел на колокольне церкви Санкт-Альбани; теперь ни от колокольни, ни от церкви не осталось и следа.

«Бом-бом-бом!» – звонил колокол, когда еще висел на колокольне, и раз вечером, на закате солнца, раскачался хорошенько, сорвался и полетел... Блестящая медь так и засверкала в пурпурных лучах заходящего солнца.

«Бом-бом! Иду спать!» – зазвонил колокол и полетел прямо в реку Оденсе, в самое глубокое место, которое и прозвали с тех пор колокольной бездной. Но не удалось колоколу уснуть, успокоиться: он звонит в жилище водяного так, что слышно иной раз и на берегу. Люди говорят, что звон его предвещает чью-нибудь смерть, но это неправда. Колокол звонит, беседуя с водяным, и тот теперь уже не так одинок, как прежде.

О чем же звонит колокол? Колокол очень стар; говорят, что он звонил на колокольне еще раньше, чем родилась бабушкина бабушка,

и все-таки он ребенок в сравнении с самим водяным, диковинным стариком, в штанах из угриной кожи и чешуйчатой куртке, застегнутой желтыми кувшинками вместо пуговиц, волосы у него опутаны тростником, борода покрыта зеленою тиной, а от этого красивее не будешь!



Чтобы пересказать все, о чем звонит колокол, понадобились бы целые годы. Он звонит обо всем, часто повторяет одно и то же, иногда пространно, иногда вкратце – как ему вздумается. Он звонит о старых, мрачных, суровых временах...

«На колокольню церкви Санкт-Альбани взбирался монах, молодой, красивый, но задумчивый, задумчивее всех... Он смотрел в слуховое оконце на реку Оденсе, русло которой было тогда куда шире, на болото, бывшее тогда озером, и на зеленый Монастырский холм. Там возвышался Девичий монастырь; в келье одной монахини светился огонек... Он знал ее когда-то!.. И сердце его билось сильнее при воспоминании о ней!.. Бом-бом!»



Так вот о чем звонит колокол.

«Подымался на колокольню и слабоумный послушник настоятеля. Я мог бы разбить ему лоб своим тяжелым медным краем: он садился как раз подо мною, да еще в то время, когда я раскачивался и звонил. Бедняк колотил двумя палочками по полу, словно играл на цитре, и пел: „Теперь я могу петь громко о том, о чем не смею и шептать, петь обо всем, что скрыто за тридевятью замками!.. Холодно, сыро!.. Крысы пожирают их заживо!.. Никто не знает о том, никто не слышит – даже теперь, – колокол гудит: бом-бом!”»

«Жил-был король, звали его Кнудом. Он низко кланялся и епископам и монахам, но, когда стал теснить ютландцев тяжелыми поборами, они взяли за оружие и прогнали его, как дикого зверя. Он укрылся в церкви, запер ворота и двери. Разъяренная толпа обложила церковь; я слышал ее рев; вороны, сороки и галки совсем перепугались и в смятении то взлетали на колокольню, то улетали прочь, таращились на толпу, заглядывали в окна церкви и громко вопили о том, что видели. Король Кнуд лежал распростертый перед алтарем и молился; братья его, Эрик и Бенедикт, стояли возле него с обнаженными мечами, готовясь защищать короля; но вероломный слуга Блаке предал своего господина.

Толпа узнала, где находится король, и в окно был пущен камень, убивший его на месте... То-то ревела и выла дикая толпа, птицы кричали, а я гудел и звонил: бом-бом-бом!»

Церковный колокол висит высоко, видит далеко! Его навещают птицы, и он понимает их язык! Посещает его и ветер, врываясь в слуховые окна, во все отверстия и щели, а ветер знает обо всем от воздуха – воздух облегает ведь землю и все живое, проникает даже в легкие человека и воспринимает каждый звук, каждое слово, каждый вздох... Воздух знает обо всем, ветер рассказывает, колокол внимает ему и звонит на весь мир: бом-бом-бом!..

«Но уж слишком много приходилось мне слушать и узнавать, сил не хватало звонить обо всем! Я устал, отяжелел, и балка обломилась, а я полетел по сияющему воздуху прямо в глубину реки, где живет водяной! Он одинок, и вот я рассказываю ему из года в год о том, что слышал и видел на свете: бом-бом-бом!»

Так вот какой звон раздается из колокольной бездны реки Оденсе – я слышал об этом от бабушки.

А школьный учитель наш говорит: «Какой там может звонить колокол? Никакого там нет колокола! Нет и водяного – водяных вообще нет!»

Когда же слышится веселый звон церковных колоколов, он говорит, что это звучат, собственно, не колокола, а воздух; воздух производит звук.

То же ведь говорила и бабушка со слов церковного колокола; в этом учитель сошелся с нею, значит, это так и есть.

«Гляди в оба и на себя оглядывайся!» – говорят и бабушка и учитель.

Да, воздух знает обо всем! Он и вокруг нас, и в нас, он оглашает все наши мысли, все наши деяния и будет разносить их куда дольше, чем колокол, что лежит на дне у водяного. Воздух разглашает все в небесной бездне, и звуки уносятся выше, дальше, бесконечно далеко, пока не дойдут до небесных колоколов, и те в свою очередь не зазвонят: бом-бом-бом!

## Бутылочное горлышко



В узком, кривом переулке в ряду других жалких домишек стоял один – узенький, высокий, наполовину каменный, наполовину деревянный, готовый расползтись со всех концов. Жили в нем бедные люди; особенно бедная, убогая обстановка была в каморке, ютившейся под самой крышею. За окном каморки висела на солнышке старая клетка, в которой не было даже настоящего стаканчика с водой; вместо него служило бутылочное горлышко, заткнутое пробкой и опрокинутое вниз закупоренным концом. У открытого окна стояла старая девушка и угощала коноплянку свежим мокричником, а птичка весело перепрыгивала с жердочки на жердочку и заливалась песенкой.

«Тебе хорошо петь! – сказала бутылочное горлышко, конечно, не так, как мы говорим, – бутылочное горлышко не может говорить – оно только подумало, сказала это про себя, как иногда мысленно говорят сами с собою люди. – Да, тебе хорошо петь! У тебя небось все кости целы! А вот попробовала бы ты лишиться, как я, всего туловища, остаться с одной шеей да ртом, к тому же заткнутым пробкой, небось не запела бы! Впрочем, и то хорошо, что хоть кто-нибудь может веселиться! Мне не с чего веселиться и петь, да я и не могу нынче

петь! А в былые времена, когда я была еще целою бутылкой, и я певала, если по мне водили мокрою пробкой. Меня даже звали когда-то жаворонком, большим жаворонком! Я бывала и в лесу! Как же, меня брали с собою в день помолвки скорняковой дочки. Да, я помню все так живо, как будто дело было вчера! Много я пережила, как подумаю, прошла через огонь и воду, побывала и под землею, и в поднебесье, не то что другие! А теперь я парю в воздухе и греюсь на солнышке! Мою историю стоит послушать! Но я не рассказываю ее вслух, да и не могу».

И горлышко рассказало ее самому себе, вернее, продумало ее про себя. История и в самом деле была довольно замечательная, а коноплянка в это время знай себе распевала в клетке. Внизу по улице шли и ехали люди, каждый думал свое или совсем ни о чем не думал, – зато думало бутылочное горлышко!

Оно вспоминало огненную печь на стеклянном заводе, где в бутылку вдунули жизнь, помнило, как горяча была молодая бутылка, как она смотрела в бурлящую плавильную печь – место своего рождения, – чувствуя пламенное желание броситься туда обратно. Но мало-помалу она остыла и вполне примирилась со своим новым положением. Она стояла в ряду других братьев и сестер. Их был тут целый полк! Все они вышли из одной печки, но некоторые были предназначены для шампанского, другие для пива, а это разница! Впоследствии случается, конечно, что и пивная бутылка наполняется драгоценным *Lacrimae Christi*<sup>[19]</sup>, а шампанская – ваксою, но все же природное назначение каждой сразу выдается ее фасоном – благородная останется благородной даже с ваксой внутри!

Все бутылки были упакованы; наша бутылка тоже; тогда она и не предполагала еще, что кончит в виде бутылочного горлышка в должности стаканчика для птички, – должности, впрочем, в сущности, довольно почтенной: лучше быть хоть чем-нибудь, нежели ничем! Белый свет бутылка увидела только в погребе виноторговца; там ее и других ее товарок распаковали и выполоскали – вот странное было ощущение! Бутылка лежала пустая, без пробки, и ощущала в желудке какую-то пустоту, ей как будто чего-то недоставало, а чего – она и сама не знала. Но вот ее налили чудесным вином, закупорили и запечатали сургучом, а сбоку наклеили ярлычок: «Первый сорт». Бутылка как будто получила первый диплом на экзамене; но вино и в

самом деле было хорошее, бутылка тоже. В молодости все мы поэты, вот и в нашей бутылке что-то так и играло и пело о таких вещах, о которых сама она и понятия не имела: о зеленых, освещенных солнцем горах с виноградниками по склонам, о веселых девушках и парнях, что с песнями собирают виноград, целуются и хохочут... Да, жизнь так хороша! Вот что бродило и пело в бутылке, как в душе молодых поэтов, — они тоже зачастую сами не знают, о чем поют.

Однажды утром бутылку купили — в погреб явился мальчик от скорняка и потребовал бутылку вина самого первого сорта. Бутылка очутилась в корзине рядом с окороком, сыром и колбасой, чудеснейшим маслом и булками. Дочка скорняка сама укладывала все в корзинку. Девушка была молоденькая, хорошенькая; черные глазки ее так и смеялись, на губах играла улыбка, такая же выразительная, как и глазки. Ручки у нее были красивые, мягкие, белые-пребелые, но грудь и шейка еще белее. Сразу было видно, что она одна из самых красивых девушек в городе, и — представьте — еще не была просватана!

Вся семья отправлялась в лес; корзинку с припасами девушка везла на коленях; бутылочное горлышко высывалось из-под белой скатерти, которою была накрыта корзина. Красная сургучная головка бутылки глядела прямо на девушку и на молодого штурмана, сына их соседа живописца, товарища детских игр красоти, сидевшего рядом с нею. Он только что блестяще сдал свой экзамен, а на следующий день уже должен был отплыть на корабле в чужие страны. Об этом много толковали во время сборов в лес, и в эти минуты во взоре и в выражении личика хорошенькой дочки скорняка не замечалось особенной радости.

Молодые люди пошли бродить по лесу. О чем они беседовали? Да, вот этого бутылка не слыхала: она ведь оставалась в корзине и успела даже соскучиться, стоя там. Но наконец ее вытащили, и она сразу увидела, что дела успели за это время принять самый веселый оборот: глаза у всех так и смеялись, дочка скорняка улыбалась, но говорила как-то меньше прежнего, щечки же ее так и цвели розами.

Отец взял бутылку с вином и штопор... А странное ощущение испытываешь, когда тебя откупоривают в первый раз! Бутылка никогда уже не могла забыть той торжественной минуты, когда пробку

из нее точно вышибло и у нее вырвался глубокий вздох облегчения, а вино забулькало в стаканы: клю-клю-клюк!

– За здоровье жениха и невесты! – сказал отец, и все опорожнили свои стаканы до дна, а молодой штурман поцеловал красотку невесту.

– Дай Бог вам счастья! – прибавили старики.

Молодой моряк еще раз наполнил стаканы и воскликнул:

– За мое возвращение домой и нашу свадьбу ровно через год!

И когда стаканы были осушены, он схватил бутылку и подбросил ее высоко-высоко в воздух.

– Ты была свидетельницей прекраснейших минут моей жизни, так не служи же больше никому!

Дочке скорняка и в голову тогда не приходило, что она опять увидит когда-нибудь ту же бутылку высоко-высоко в воздухе, а пришлось-таки.

Бутылка упала в густой тростник, росший по берегам маленького лесного озера. Бутылочное горлышко живо еще помнило, как она лежала там и размышляла: «Я угостила их вином, а они угощают меня теперь болотной водой, но, конечно, от доброго сердца!» Бутылке уже не было видно ни жениха, ни невесты, ни счастливых старичков, но она еще долго слышала их веселое ликование и пение. Потом явились два крестьянских мальчугана, заглянули в тростник, увидели бутылку и взяли ее – теперь она была пристроена.

Жили мальчуганы в маленьком домике в лесу. Вчера старший брат их, матрос, приходил к ним прощаться – он уезжал в дальнее плавание; и вот мать возилась теперь, укладывая в его сундук то то, то другое, нужное ему в дорогу. Вечером отец сам хотел отнести сундук в город, чтобы еще раз проститься с сыном и передать ему благословение матери. В сундук была уложена и маленькая бутылочка с настойкой. Вдруг явились мальчики с большою бутылкой, куда лучше и прочнее маленькой. В нее настойки могло войти гораздо больше, а настойка-то была очень хорошая и даже целебная – полезная для желудка. Итак, бутылку наполнили уже не красным вином, а горькою настойкой, но и это хорошо – для желудка. В сундук вместо маленькой была уложена большая бутылка, которая, таким образом, отправилась в плавание вместе с Петером Йенсенем, а он служил на одном корабле с молодым штурманом. Но молодой штурман не увидел бутылки, да если бы и увидел – не узнал бы; ему

бы и в голову не пришло, что это та самая, из которой они пили в лесу за его помолвку и счастливое возвращение домой.

Правда, в бутылке больше не было вина, но было кое-что не хуже, и Петер Йенсен частенько вынимал свою «аптеку», как величали бутылку его товарищи, и наливал им лекарства, которое так хорошо действовало на желудок. И лекарство сохраняло свое целебное свойство вплоть до последней своей капли. Веселое то было времечко! Бутылка даже пела, когда по ней водили пробкой, и за это ее прозвали «большим жаворонком» или «жаворонком Петера Йенсена».

Прошло много времени; бутылка давно стояла в углу пустою; вдруг стряслась беда. Случилось ли несчастье еще на пути в чужие края или уже на обратном пути, бутылка не знала – она ведь ни разу не сходила на берег. Разразилась буря; огромные черные волны бросали корабль, как мячик, мачта сломалась, в корабле образовалась пробоина и течь, помпы перестали действовать. Тьма стояла непроглядная, корабль накренился и начал погружаться в воду. В эти-то последние минуты молодой штурман успел набросать на клочке бумаги несколько слов: «Господи помилуй! Мы погибаем!» Потом он написал имя своей невесты, свое имя и название корабля, свернул бумажку в трубочку, сунул в первую попавшуюся пустую бутылку, крепко заткнул ее пробкой и бросил в бушующие волны. Он и не знал, что это та самая бутылка, из которой он наливал в стаканы доброе вино в счастливый день своей помолвки. Теперь она, качаясь, поплыла по волнам, унося его прощальный, предсмертный привет.



Корабль пошел ко дну, весь экипаж тоже, а бутылка понеслась по морю, как птица: она несла ведь сердечный привет жениха невесте! Солнышко вставало и садилось, напоминая бутылке раскаленную печь, в которой она родилась и в которую ей так хотелось тогда кинуться обратно. Испытала она и штиль, и новые бури, но не разбилась о скалы, не угодила в пасть акуле. Больше года носилась она по волнам туда и сюда; правда, она была в это время сама себе госпожой, но и это ведь может надоест.

Исписанный клочок бумаги, последнее «прости» жениха невесте, принес бы с собой одно горе, попади он в руки той, кому был адресован. Но где же были те беленькие ручки, что расстилали белую скатерть на свежей травке в зеленом лесу в счастливый день обручения? Где была дочка скорняка? И где была родина бутылки? К какой стране она теперь приближалась? Ничего этого она не знала. Она носилась и носилась по волнам, так что под конец даже соскучилась. Носиться по волнам было вовсе не ее дело, и все-таки она носилась, пока наконец не приплыла к берегу чужой земли. Она не понимала ни слова из того, что говорилось вокруг нее: говорили на каком-то чужом, незнакомом ей языке, а не на том, к которому она привыкла на родине; не понимать же языка, на котором говорят вокруг, — большая потеря!

Бутылку поймали, осмотрели, увидали и вынули записку, вертели ее и так и сяк, но разобрать не разобрали, хоть и поняли, что бутылка была брошена с погибающего корабля и что обо всем этом говорится в



записке. Но что именно? Да, вот в том-то вся и штука! Записку сунули обратно в бутылку, а бутылку поставили в большой шкаф, что стоял в большой горнице большого дома.

Всякий раз, как в доме появлялся новый гость, записку вынимали, показывали, вертели и разглядывали, так что буквы, написанные карандашом, мало-помалу стирались и под конец совсем стерлись – никто бы и не сказал теперь, что на этом клочке было когда-то что-либо написано. Бутылка же простояла в шкафу еще с год, потом попала на чердак, где вся покрылась пылью и паутиной. Стоя там, она вспоминала лучшие дни, когда из нее наливали красное вино в зеленом лесу, когда она качалась на морских волнах, нося в себе тайну, письмо, последнее «прости»!..

На чердаке она простояла целых двадцать лет; простояла бы и дольше, да дом вздумали перестраивать. Крышу сняли, увидали бутылку и заговорили что-то, но она по-прежнему не понимала ни слова – языку ведь не выучишься, стоя на чердаке, стой там хоть двадцать лет! «Вот если бы я оставалась внизу, в комнате, – справедливо рассуждала бутылка, – я бы, наверное, выучилась!»

Бутылку вымыли и выполоскали – она в этом очень нуждалась. И вот она вся прояснилась, просветлела, словно помолодела вновь; зато записку, которую она носила в себе, выплеснули из нее вместе с водой.

Бутылку наполнили какими-то незнакомыми ей семенами; заткнули пробкой и так старательно упаковали, что ей не стало видно даже света Божьего, не то что солнца или месяца. «А ведь надо же что-нибудь видеть, когда путешествуешь», – думала бутылка, но так-таки ничего и не увидала. Главное дело было, однако, сделано: она отправилась в путь и прибыла куда следовало. Тут ее распаковали.

– Вот уж постарались-то они там, за границей! Ишь как упаковали, и все-таки она, пожалуй, треснула! – услышала бутылка, но оказалось, что она не треснула.

Бутылка понимала каждое слово; говорили на том же языке, который она слышала, выйдя из плавильной печи, слышала и у виноторговца, и в лесу, и на корабле – словом, на единственном, настоящем, понятном и хорошем родном языке! Она опять очутилась дома, на родине! От радости она чуть было не выпрыгнула из рук и едва обратила внимание на то, что ее откупорили, опорожнили, а

потом поставили в подвал, где и позабыли. Но дома хорошо и в подвале. Ей и в голову не приходило считать, сколько времени она тут простояла, а ведь простояла она долгие годы! Но вот опять пришли люди и взяли все находившиеся в подвале бутылки, в том числе и нашу.

Сад был великолепно разукрашен; над дорожками перекидывались гирлянды из разноцветных огней, бумажные фонари светились, словно прозрачные тюльпаны. Вечер был чудный, погода ясная и тихая. На небе сияли звездочки и молодая луна; виден был, впрочем, не только золотой, серповидный краешек ее, но и весь серо-голубой круг – виден, конечно, только тому, у кого были хорошие глаза.

В боковых аллеях тоже горела иллюминация, хоть и не такая блестящая, как в главных, но вполне достаточная, чтобы люди не спотыкались впотьмах. Здесь, между кустами, были расставлены бутылки с воткнутыми в них зажженными свечами; здесь-то находилась и наша бутылка, которой суждено было в конце концов послужить стаканчиком для птички. Бутылка была в восторге: она опять очутилась среди зелени, опять вокруг нее шло веселье, раздавались пение и музыка, смех и говор толпы, особенно густой там, где качались гирлянды разноцветных огней и отливали яркими красками бумажные фонари. Сама бутылка, правда, стояла в боковой аллее, но тут-то и можно было помечтать; она держала свечу – служила и для красоты, и для пользы, а в этом-то вся и суть. В такие минуты забудешь даже двадцать лет, проведенных на чердаке, – чего же лучше!

Мимо бутылки прошла под руку парочка, ну точь-в-точь как та парочка в лесу – штурман с дочкой скорняка; бутылка вдруг словно перенеслась в прошлое. В саду гуляли приглашенные гости, гуляли и посторонние, которым позволено было полюбоваться гостями и красивым зрелищем; в числе их находилась и старая девушка, у нее не было родных, но были друзья. Думала она о том же, о чем и бутылка; ей тоже вспоминался зеленый лес и молодая парочка, которая была так близка ее сердцу, – ведь она сама участвовала в той веселой прогулке, сама была той счастливою невестой! Она провела тогда в лесу счастливейшие часы своей жизни, а их не забудешь, даже став старою девою! Но она не узнала бутылки, да и бутылка не узнала ее.

Так случается на свете сплошь да рядом: старые знакомые встречаются и расходятся, не узнав друг друга, до новой встречи.

И бутылку ждала новая встреча со старою знакомою – они ведь находились теперь в одном и том же городе!

Из сада бутылка попала к виноторговцу, опять была наполнена вином и продана воздухоплавателю, который в следующее воскресенье должен был подняться на воздушном шаре. Собралось множество публики, играла полковая музыка; шли большие приготовления. Бутылка видела все это из корзины, где она лежала рядом с живым кроликом. Бедняжка кролик был совсем растерян, – он знал, что его спустят вниз с высоты на парашюте! Бутылка же и не знала, куда они полетят – вверх или вниз; она видела только, что шар надувался все больше и больше, потом приподнялся с земли и стал порываться ввысь, но веревки все еще крепко держали его. Наконец их перерезали и шар взвился в воздух вместе с воздухоплателем, корзиною, бутылкою и кроликом. Музыка гремела, и народ кричал «ура».

«А как-то странно лететь по воздуху! – подумала бутылка. – Вот новый способ плавания! Тут, по крайней мере, не наткнешься на камень!»

Многотысячная толпа смотрела на шар; смотрела из своего открытого окна и старая девушка; за окном висела клетка с коноплянкой, обходившейся еще вместо стаканчика чайною чашкой. На подоконнике стояло миртовое деревцо; старая девушка отодвинула его в сторону, чтобы не уронить, высунулась из окна и ясно различила в небе шар и воздухоплателя, который спустил на парашюте кролика, потом выпил из бутылки за здоровье жителей и швырнул ее кверху. Девушке и в голову не пришло, что это та самая бутылка, которую подбросил высоко в воздух ее жених в зеленом лесу в счастливейший день ее жизни!

У бутылки же и времени не было ни о чем подумать – она так неожиданно очутилась в зените своего жизненного пути. Башни и крыши домов лежали где-то там внизу, люди казались такими крохотными!..

И вот она стала падать вниз, да куда быстрее, чем кролик; она кувыркалась и плясала в воздухе, чувствовала себя такою молодою, такою жизнерадостною, вино в ней так и играло, но недолго –

вылилось. Вот так полет был! Солнечные лучи отражались на ее стеклянных стенках, все люди смотрели только на нее – шар уже скрылся; скоро скрылась из глаз зрителей и бутылка. Она упала на крышу и разбилась. Осколки, однако, еще не сразу успокоились – прыгали и скакали по крыше, пока не очутились во дворе и не разбились о камни на еще более мелкие кусочки. Уцелело одно горлышко; его словно срезало алмазом!

– Вот славный стаканчик для птицы! – сказал хозяин погребка, но у самого у него не было ни птицы, ни клетки, а обзаводиться ими только потому, что попало ему бутылочное горлышко, годное для стаканчика, было бы уж чересчур! А вот старой девушке, что жила на чердаке, оно могло пригодиться, и бутылочное горлышко попало к ней; его заткнули пробкой, перевернули верхним концом вниз – такие перемены часто случаются на свете, – налили в него свежей воды и подвесили к клетке, в которой так и заливалась коноплянка.

«Да, тебе хорошо петь!» – сказала бутылочное горлышко, а оно было замечательное – летало на воздушном шаре! Остальные обстоятельства его жизни не были известны никому. Теперь оно служило стаканчиком для птицы, качалось в воздухе вместе с клеткой, до него доносились с улицы грохот экипажей и говор толпы, из каморки же – голос старой девушки. К ней пришла в гости ее старая приятельница-ровесница, и разговор шел не о бутылочном горлышке, но о миртовом деревце, что стояло на окне.

– Право, тебе незачем тратить двух риксдалеров на свадебный венец для дочки! – говорила старая девушка. – Возьми мою мирту! Видишь, какая чудесная, вся в цветах! Она выросла из отростка той мирты, что ты подарила мне на другой день после моей помолвки. Я собиралась свить из нее венец ко дню своей свадьбы, но этого дня я так и не дождалась! Закрылись те очи, что должны были светить мне на радость и счастье всю жизнь! На дне морском спит мой милый жених!.. Мирта состарилась, а я еще больше! Когда же она начала засыхать, я взяла от нее последнюю свежую веточку и посадила ее в землю. Вот как она разрослась и попадет-таки на свадьбу: мы сошьем из ее ветвей свадебный венец для твоей дочки!

На глазах у старой девушки навернулись слезы; она стала вспоминать друга юных лет, помолвку в лесу, тост за их здоровье, подумала о первом поцелуе... но не упомянула о нем – она была ведь

уже старою девай! О многом вспоминала и думала она, только не о том, что за окном, так близко от нее находится еще одно напоминание о том времени – горлышко той самой бутылки, из которой с таким шумом вышибло пробку, когда пили за здоровье обрученных. Да и само горлышко не узнало старой знакомой, оно и не слушало, что она рассказывала, да и вообще думало только о себе.

## **Суп из колбасной палочки**

### **1. Суп из колбасной палочки**

Ну и обед был вчера! – рассказывала старая мышь другой, не участвовавшей в пире. – Я сидела двадцать первой от самого мышиноного царя – место довольно почетное! Блюда, скажу я вам, были подобраны прекрасно! Затхлый хлеб, жирная кожа от окорока, сальные свечи и колбаса, а потом то же самое сначала – как будто два раза пообедали! Настроение за обедом было самое оживленное, болтали всякий вздор – совсем как в семейном кружке! Съедено было все до крошки; одни колбасные палочки остались. О них-то и зашла речь, то есть, собственно, о супе из колбасной палочки. Кто не слышал о нем, но кто едал его, не говоря уже о том, кто умел его готовить?! Был предложен прелестный тост за изобретателя супа: сказали, что он заслуживает быть попечителем бедных! Остроумно, не правда ли? А старый мышинный царь встал и объявил, что сделает царицей ту из молодых мышек, которая сварит ему из колбасной палочки самый вкусный суп. На размышление дается целый год!

– Недурно! – заметила собеседница. – Ну а как же варят этот суп?

– Да, то-то вот и есть! Об этом-то и спрашивают наперерыв все мышки – и молодые и старые. Каждой хочется стать царицей, а вот побеспокоить себя, походить по белу свету да поучиться стряпать этот суп ни одной не хочется, а надо! Да, не всякой-то по плечу оставить семью и насиженный уголок! На чужой стороне небось не всё по сырным коркам придется ходить, не всё свиное сало нюхать, нет, придется и поголодать, а пожалуй, и угодить в когти кошке!



Вот эти-то мысли и удерживали молодых мышек от странствования по белу свету. Вызвались пуститься в поиски за знанием только четыре, молодые, юркие, но бедные мышки. Каждой предстояло отправиться в одну из четырех сторон света, а там уже все зависело от счастья! Каждая запаслась в дорогу вместо дорожного посоха колбасною палочкой, чтобы не забыть о цели путешествия.

Первого мая они отправились в путь и первого же мая ровно через год вернулись, но только три, четвертая не явилась и не дала о себе знать, а день, когда решалась их судьба, настал.

– Увы! к лучшим нашим удовольствиям всегда примешивается капля горечи! – произнес мышиный царь, но все-таки отдал приказ созвать всех мышей – и ближних и дальних.

Все должны были собраться в кухне. Три мышки-странницы стояли в ряд, отдельно от прочих; на месте же отсутствующей четвертой водрузили колбасную палочку, обвитую черным крепом. Никто не смел высказывать своего мнения, пока не выскажутся все три мышки, а мышиный царь не подскажет, что должно говорить дальше.

Так вот, послушаем!

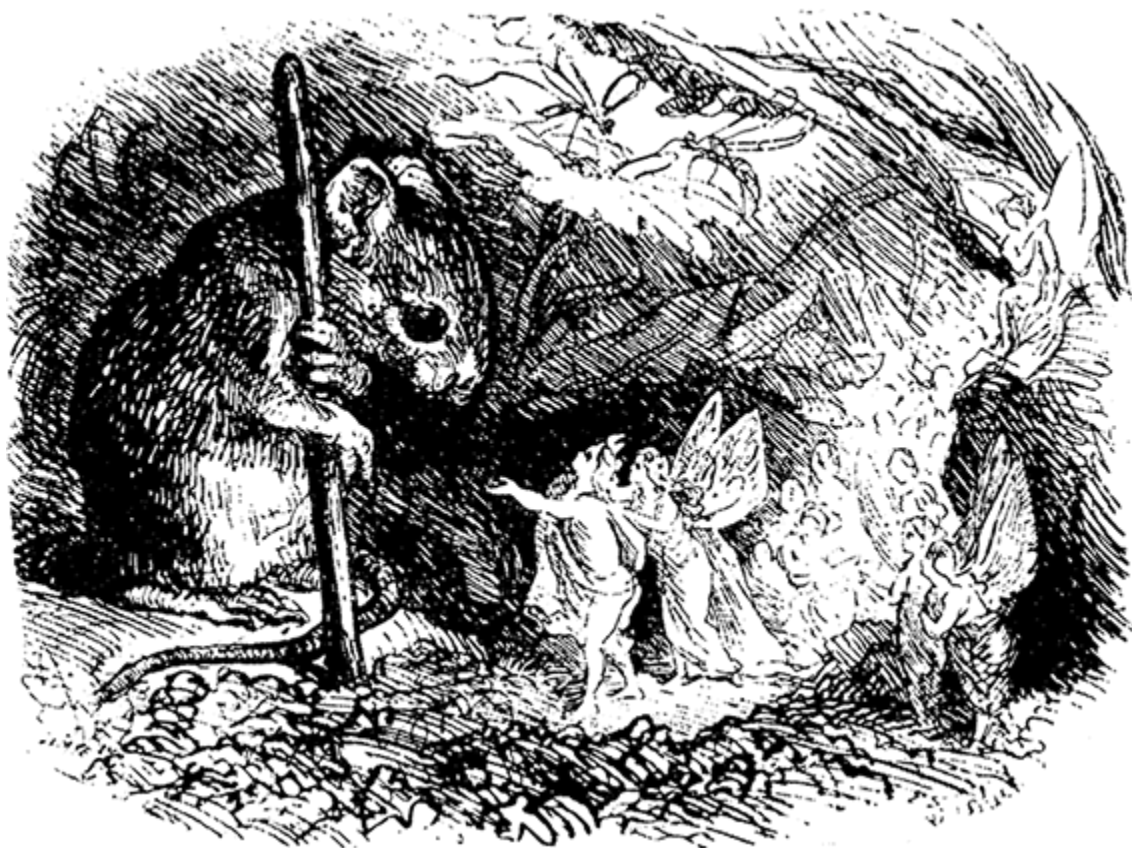
## **2. Что вынесла из своего странствования первая мышка**

– Пускаясь в свет, – начала мышка, – я, как и многие мои ровесницы, воображала, что успела уже проглотить всю житейскую премудрость; как бы не так! Много воды утечет, пока оно будет так на деле! Я решилась отправиться морем и села на корабль, отплывавший на север. Мне случалось слышать, что корабельный повар должен уметь обойтись малым; да зачем ему это, когда под рукой целые свиные туши, полные бочки солонины и затхлои муки! Что и говорить, стол на корабле прекрасный, но нечего и думать о том, чтобы научиться там варить суп из колбасной палочки! Много ночей и дней плыли мы; и качало нас, и обдавало солеными брызгами – всего было! Когда же мы, наконец, прибыли куда следовало, я оставила корабль; оказалось, что мы были далеко-далеко от родины, на севере.

А странно в самом деле: покидаешь свой дом, свой насиженный уголок, плывешь на корабле, где у тебя тоже образуется своего рода уголок, и плядь – очутилась за сотни миль от родины на чужой стороне! Там были дремучие сосновые и березовые леса; как сильно пахли эти деревья! Но я не охотница до такого запаха! А лесные и полевые травы испускали такой пряный аромат, что я расчихалась и сейчас же подумала о колбасе. Были тут и большие лесные озера; вблизи вода в них казалась такою прозрачною, светлою, а издали – черною, как чернила. По озерам плавали белые лебеди. Сначала я приняла было их за пену – так неподвижно они лежали на воде, но потом увидала, что они летают и ходят, и узнала их. Они ведь из породы гусей – сразу видно по их походке. Вообще от родни не следует отпираться! И я тоже держалась своей родни – лесных и полевых мышей, но они оказались ужасными невеждами, особенно по части угощения, а ведь для чего же я и пустилась в далекий путь?! Самая мысль о том, что можно сварить суп из колбасной палочки, до того их поразила, что сразу же облетела весь лес. Что же касается осуществления ее, то его сочли прямо невозможным. Да, и не думала я, и не гадала, что именно там, да еще в ту же ночь, меня посвятят в



тайну изготовления супа!



Была как раз середина лета, оттого-то в лесу так сильно и пахло, растения испускали такой пряный аромат, озера были такими прозрачными и вместе с тем такими темными, а на них неподвижно лежали белые лебеди. На опушке леса, где стояли три-четыре домика, возвышался шест вышиною с мачту; верхушка его была украшена венком и лентами. Это был «майский шест». Девушки и парни плясали вокруг него и пели взапуски со скрипками. Солнышко закатилось, взошла луна, а веселье все продолжалось. Я в нем участия не принимала: куда уж нашей сестре соваться в танцы! Я сидела себе на мягком мху, крепко держа в лапках свою колбасную палочку. Одно местечко в лесу было просто залито лунным светом; там стояло дерево, обросшее таким мягким, нежным мхом, как... да, смею сказать, как шкурка самого мышиноного царя, но цвета он был зеленого, – просто благодать для глаз! И вдруг откуда ни возьмись под

деревом появился целый полк прелестнейших малюток ростом мне по колено! Вообще они были похожи на людей, но куда лучше сложены. Они называли себя эльфами; платица на них были из цветочных лепестков с отделкой из мушиных и комариных крылышек – очень недурно! Видно было, что они ищут чего-то, но чего? Вдруг несколько крошек подошли ко мне, и один, по-видимому самый знатный из них, указал на мою колбасную палочку и сказал:

«Вот какую нам нужно! Она заострена на конце, как раз подходит!»

И чем дольше он смотрел на нее, тем больше восхищался.

«Одолжить – одолжу, но, чур! вернуть попрошу!» – сказала я.

«Вернем, вернем!» – сказали все в один голос, взялись за палочку – я ее выпустила из лапок, – вприпрыжку добежали с нею до освещенного луной местечка и водрузили ее там в травке.

Им тоже хотелось устроить свой «майский шест», и моя палочка подошла им как раз; точно по заказу была сделана! Затем они принялись убирать ее. И преобразилась же моя палочка!

Маленькие паучки опутали ее золотыми нитями, прозрачным флёром и развевающимися флажками; они были так нежны, так воздушны, что колыхались от малейшего дуновения ветерка, и так сверкали при свете луны, что просто глазам было больно! А эльфы еще взяли разноцветной пыльцы с крыльев бабочек, посыпали ею эти блестящие ткани, и они вмиг загорелись радужными огнями, словно усыпанные бриллиантами! Я просто не узнавала своей колбасной палочки; другого такого майского шеста, в какой превратилась она, наверно, не нашлось бы в целом свете! Вот тут-то я и увидела настоящее великосветское общество эльфов; все они были без платьев – изящнее наряда и быть не могло. Меня пригласили полюбоваться на праздник, но издали: я была для них слишком велика ростом.

Ну и пошло у них веселье! Сначала как будто зазвенели тысячи стеклянных колокольчиков, потом мне показалось, что запели лебеди, потом как будто закуковали кукушки, защелкали дрозды, а под конец стало казаться, что поет весь лес! Детские голоса, звон колокольчиков и пение птиц – все сливалось в чудеснейшую мелодию, а инструментом был один майский шест эльфов! Моя колбасная палочка задала целый концерт! Никогда я не думала, чтобы из нее

можно было извлечь столько, но все, видно, зависит от того, в чьи руки попадет вещь! Я даже растрогалась и заплакала от удовольствия.

Ночь была слишком коротка! Но там в это время года они длиннее не бывают. На заре подул ветерок, зарябил поверхность лесного озера и развеял по воздуху тонкие, воздушные знамена и флёр. Качающихся киосков из паутины, висячих мостов и балюстрад, — или как они там называются, — что перекидывались с листка на листок, тоже как не бывало! Шестеро эльфов принесли мне мою колбасную палочку и спросили, нет ли у меня какого-нибудь желания, которое бы они могли исполнить. Я попросила их сказать мне, как готовят суп из колбасной палочки.

«Как мы готовим его? — переспросил самый знатный и засмеялся. — Да ты ведь только что видела это! Ты, пожалуй, едва узнала свою колбасную палочку!»

«Вы не так поняли меня! — ответила я и рассказала начистоту, зачем пустилась странствовать по белу свету и чего ожидали от моего странствования у нас, на родине. — Какая польза, — добавила я, — нашему царю и всему нашему славному мышинному царству от того, что я видела все это великолепие? Ведь не могу же я тряхнуть своею колбасною палочкой и сказать: „Вот вам палочка, а вот и суп!“ А это бы годилось хоть на десерт — после очень сытного обеда!»

Тогда эльф опустил свой мизинчик в чашечку голубой фиалки и сказал мне:

«Смотри! Я проведу пальцем по твоему дорожному посоху, и, когда ты вернешься домой, во дворец мышинного царя, дотронься кончиком палочки до теплой груди царя — из палочки посыплются фиалки, хотя бы это было среди суровой зимы! Теперь у тебя будет с чем явиться домой! В придачу же...»

Но мышка не договорила, что дали ей в придачу, дотронулась до груди царя своею палочкою, и в самом деле из нее дождем посыпались чудеснейшие фиалки. Благоухали они так сильно, что мышиный царь велел мышам, стоявшим поближе к печке, немедленно сунуть хвосты в огонь и покурить ими в кухне, а то сил не было выносить благоухание фиалок — этого сорта духов он не любил.

«Ну а что же эльфы дали в придачу?» — спросил он потом.

«А это, видите ли, так называемый эффект! — Она подняла колбасную палочку кверху, и цветы перестали сыпаться; в руках у

мышки была опять голая палочка. Мышка взмахнула ею, как капельмейстер своим жезлом перед началом увертюры. – Фиалки услаждают зрение, обоняние и осязание! – сказала она. – Но нужно еще удовлетворить слух и вкус!»

И вот она замахала палочкой – в ту же минуту загремела музыка, не такая, как в лесу на празднике эльфов, но какая слышится в кухнях. Вот так потеха пошла! Тут как будто и ветер свистел в трубах, и котлы с горшками кипели и бурлили напропалую, и лопаточка для углей барабанила по медному котлу! Вдруг все смолкло. Послышалось тихое пение чайного котла... И не разобрать было, начинается ли он только свою арию или уже кончает. Но вот закипел маленький горшочек, за ним большой, и пошли каждый кипеть по-своему, не обращая внимания друг на друга, – ни дать ни взять пустые горшки! А мышка махала своею палочкой все скорее и скорее; горшки пенились, пузырились, кипели через край, ветер выл, в дымовых трубах свистело... Жж! Все это было так ужасно, что и сама мышка уронила палочку от страха.

«Ну, этот суп не скоро переваришь! – сказал мышиный царь. – А десерта не будет?»

«Нет, это все!» – отвечала мышка, приседая.

«Все? Ну, так послушаем, что скажет нам следующая!» – решил мышиный царь.

### **3. Что сумела рассказать вторая мышка**

– Я родилась в дворцовой библиотеке! – начала вторая мышь. – Ни мне, ни моим родным никогда не выпадало на долю счастья попасть в столовую, не говоря уже о кладовой. Я и в кухне-то всего во второй раз в жизни, – первый раз я была здесь, когда откланивалась перед отъездом. Да, мы таки частенько голодали в библиотеке, но зато поглощали массу знаний. И вот до нас дошел слух о царской награде, обещанной за приготовление супа из колбасной палочки. Тогда-то моя бабушка и вытащила на свет Божий одну рукопись; сама бабушка не умела читать, но слышала, как эту рукопись читали вслух. В ней, между прочим, говорилось, что «поэт способен сварить суп из колбасной палочки». Бабушка спросила меня – не поэт ли я? Я

отвечала, что в чем другом, а уж в этом-то я неповинна. Тогда бабушка сказала: «Так ступай и постарайся сделаться поэтом!» «А что нужно для этого?» – спросила я. Додуматься до этого самой было для меня ведь не легче, чем сварить суп! Но бабушка моя слыхивала и об этом и сказала, что поэту прежде всего нужны три вещи: ум, фантазия и чувство! «Ступай и добудь их, а раз ты станешь поэтом, нетрудно будет справиться и с колбасною палочкой!» – прибавила бабушка.

Ну вот, я и пустилась на запад, чтобы сделаться поэтом.

Я знала, что ум вообще главное, фантазия же и чувство не в таком почете. Поэтому я решила пуститься прежде в поиски за умом. Только где его искать? «Ступай к муравью и поучись у него мудрости!» – сказал великий царь Соломон – это я узнала еще в библиотеке, – и я шла не останавливаясь, пока не наткнулась на муравейник. Тут-то я и наострила уши, чтобы набраться ума!

Очень почтенный народ эти муравьи! Они – воплощение ума! Вся их жизнь – верно решенная арифметическая задача. «Работать и класть яйца, – говорят они, – значит жить настоящим и заботиться о будущем». Так они и поступают. Делятся они на два класса: на благородных и рабочих. Чин же у них всего один, чин первого класса; представительницей его является одна их царица, и только ее мнение считается непогрешимым – она, как казалось, проплотила всю мудрость на свете! Мне это было очень важно узнать. Она говорила так много и так умно, что мне показалось все это просто глупостью. Она говорила, что их куча выше всего на свете, но рядом с кучей росло дерево куда выше! Этого нельзя было даже отрицать, и потому об этом вовсе умалчивалось. Но раз вечером один муравей заблудился на том дереве и вполз по стволу его хоть и не до самой вершины, но все же выше, чем вползал раньше кто-либо из его муравейника. Повернув назад и добравшись наконец до дому, он поспешил рассказать, что есть кое-что и повыше их муравейника! Но муравьи нашли, что он оскорбляет своим рассказом все их общество, и присудили ему носить намордник, а также пребывать в длительном одиночестве. Вскоре случилось побывать на том дереве другому муравью; он сделал то же самое открытие и начал докладывать о нем обществу, но более рассудительно и туманно, чем первый. Этот муравей был всеми уважаем, принадлежал к числу благородных – ему и поверили, а когда он умер, даже поставили ему памятник из яичной

скорлупы – всё из уважения к науке. Видела я тоже, – продолжала мышка, – что муравьи постоянно носят со своими яичками на спине. Случалось одному из них потерять свое. Батюшки, как хлопотал он, чтобы как-нибудь опять взвалить его на спину! Но дело все не ладилось; тогда явились на помощь двое других и с таким жаром принялись помогать товарищу, что чуть было сами не потеряли своих яичек; но тут они сразу оставили всякое попечение: своя шкурка ведь ближе к телу! И царица их объявила, что в данном случае было выказано и сердце и ум. «А эти две вещи ставят нас, муравьев, во главе всех разумных творений! Но ум все-таки должен преобладать, и я умнее всех!» Тут она приподнялась на задние лапки и сразу бросилась мне в глаза; ошибки быть не могло – я и проплотила ее. Сказано: «Ступай к муравью и поучись у него мудрости», – а я запаслась теперь самою царицей муравьев!

Потом я подошла поближе к упомянутому высокому дереву. Это был старый, могучий развесистый дуб. Я знала, что в ветвях каждого дерева живет одно существо, женщина, «дриада», как ее зовут. Она рождается и умирает вместе с деревом. Я слышала об этом еще в библиотеке. И вот передо мною стояло дерево, а в ветвях его сидела дриада. Она вскрикнула от испуга, увидав меня так близко, – она, как и все женщины, очень боялась мышей, да у нее и были на то причины: я могла ведь перегрызть ствол дуба, так что жизнь ее, так сказать, висела на волоске! Но я заговорила с ней ласково, приветливо, и она ободрилась, даже взяла меня на руки, а узнав, почему я отправилась странствовать по белу свету, обещала доставить мне случай – может быть, даже в этот самый вечер – обрести одно из двух искомых сокровищ: фантазию. Она рассказала мне, что гений Фантазии – ее добрый друг, что он прекрасен, как сам бог любви, и часто отдыхает в тени ее дерева, убаюкиваемый шелестом листьев, – они шумят в эти минуты сильнее обыкновенного. Он зовет ее своею дриадой, рассказывала она, а дерево – своим любимым деревом. Сучковатый, могучий красавец дуб пришелся ему по душе; корни дуба так глубоко и крепко сидят в земле, а ствол и вершина возносятся высоко-высоко к небу и знакомы и с снежной вьюгой, и с резкими ветрами, и с ясным солнечным светом. Потом дриада прибавила: «Птицы гнездятся в ветвях моего дерева и поют нам о чужих странах, а на единственной засохшей ветви свил себе гнездо аист, – это и красит дерево, и дает

случай узнать кое-что о стране пирамид! Все это как нельзя больше по душе гению Фантазии, но ему и этого всего мало, и он заставляет меня рассказывать ему о жизни в лесу с того времени, как я была еще крошкой, а дуб таким маленьким ростком, что его могла заглушить крапива. Я должна рассказывать ему всю нашу жизнь вплоть до настоящего времени, когда мы с дубом достигли полного расцвета и красоты. Присядь же тут под диким яминником и карауль: как только гений Фантазии придет, я улучу минутку, вытащу у него из крыла одно перышко и дам тебе. А уж больше этого не получить ни одному поэту! Так хватит и с тебя!»

И гений Фантазии явился, перышко было вытащено, и я схватила его! – продолжала мышка. – Я подержала его в воде, пока оно не размякло, и все-таки трудно было с ним сладить! Ну, да я сладила, все изгрызла! Да, нелегко догрызться до звания поэта! Переварить-то сколько приходится! Теперь во мне были и ум и фантазия, и они-то мне и подсказали, что третью вещь я найду в библиотеке. Один великий человек сказал и даже написал, что есть такие романы, которые только для того и существуют, чтобы освободить людей от лишних слез, иными словами, являются чем-то вроде губок для вбирания в себя чувств. Я даже помнила пару таких книг; они всегда особенно возбуждали мой аппетит – такие они были истрепанные, засаленные; должно быть, они восприняли в себя целое море чувств!



Я вернулась домой, в библиотеку, и живо проглотила почти целый роман, то есть более существенную часть, мякоть, а корки, переплет оставила. Когда я переварила этот роман и еще один, я уже почувствовала, как что-то во мне всколыхнулось, когда же поела еще немножко из третьего – стала поэтом. Я сказала это самой себе и повторила другим. У меня болела и голова, и все внутренности и не знаю уж, что только во мне не болело! Тут я стала придумывать, какие истории можно было бы привести в связь с колбасного палочкой, и в мыслях у меня так и заскакали разные палочки, – муравьиная царица, как видно, была необыкновенно умна! Я вспомнила и о человеке, которому стоило взять в рот белую палочку, чтобы сделаться невидимкой, и многие другие истории, пословицы и поговорки, в которых упоминается о палочках. Все мои мысли повисли на этих палочках! И о каждой можно сочинить стихи, если ты поэт, а я – поэт, я добилась этого звания собственными зубами! Так вот, я ежедневно могу потчевать вас историями про палочки. Вот каков мой суп!

– Посмотрим, что скажет нам третья! – проговорил мышиный царь.

– Пи-пи! – послышался вдруг писк за дверью, и в кухню стрелой влетела четвертая мышка, которая считалась погибшею. Она опрокинула палочку с флёром и объявила, что бежала день и ночь,



ехала по железной дороге на товарном поезде – случай такой выдался – и все-таки чуть-чуть не опоздала. Она протолкалась вперед; вид у нее был довольно растрепанный; палочку свою она потеряла, но язык – нет и в ту же минуту принялась им работать, словно ее только и ждали, ее и готовились слушать, а до всего остального никому в свете не было и дела. Она спешила высказаться. Явилась она так неожиданно, что никто не успел и рта разинуть, и с мыслями собраться, а она уж говорила.

Послушаем!

#### **4. Что сумела рассказать четвертая мышка, говорившая раньше третьей**

– Я прямо направилась в самый большой город! – тараторила она. – Имени его не упомяну, я вообще плохо запоминаю имена. Приехала я по железной дороге, а с вокзала меня вместе с конфискованными товарами отвезли в ратушу. Там я подбежала к тюремщику. Он рассказывал о своих заключенных, особенно об одном, который сидел за свои необдуманные слова. Об этих словах и толковали, и совещались, и читали, и писали!.. «А и все-то дело – суп из колбасной палочки! Но как бы бедняге не поплатиться за него головой!» – прибавил тюремщик. Конечно, я заинтересовалась этим заключенным, улучила минутку да и прошмыгнула к нему: как ни запирай двери, всегда останется мышьяная лазейка! Какой он был бледный, бородатый! Большие глаза так и горели. Лампа чадила, но стены уж привыкли к этому и больше не чернели. Заключенный чертил на них разные рисунки и стихи – белым на черном; я их, впрочем, не читала. Скучно ему, я думаю, было, и я явилась желанною гостьей. Он стал приманивать меня хлебными крошками, принялся насвистывать и ласково уговаривать меня; он так рад был мне! Я почувствовала к нему доверие, и мы скоро стали друзьями. Он делился со мной хлебом и водою, давал мне сыру и колбасы, словом, жилось мне привольно, но главным образом, признаюсь, привязало меня к нему хорошее обращение. Он позволял мне бегать по своей ладони, по руке, забираться в рукав, цепляться за бороду и звал меня своим

маленьким другом. И я его полюбила – это, кажется, всегда бывает взаимно. Я забыла даже цель своего путешествия, а колбасную палочку свою оставила в щели в полу; там она и посейчас! Я и не желала никуда уходить оттуда – уйди я, у бедняги не осталось бы никого на свете, а это уж больно мало! Я и осталась, но он-то не остался! Как печально он говорил со мною перед разлукой! Дал мне двойную порцию хлеба и сырной корки, послал мне воздушный поцелуй, ушел... и больше не вернулся! Я не знаю его истории. «Суп из колбасной палочки», – говорил сторож, я и отправилась к нему. Но не следовало бы мне доверяться ему. Он, правда, взял меня на руки, но потом засадил в клетку, в колесо! Один ужас! Бежишь, бежишь, а все ни с места, только смеются над тобою!

Но у тюремщика была внучка, прелестная крошка с золотыми кудрями, веселыми глазками и смеющимся ротиком. «Бедная мышка!» – сказала она, заглянув в мою гадкую клетку, открыла дверку – я прыг на подоконник, а оттуда на крышу. «Опять на воле! Опять на воле!» – только это и вертелось у меня в голове, а цель путешествия вылетела.

Темно было; дело шло к ночи, я и заночевала в старой башне. Тут жили сторож и сова. Я решила не доверяться ни тому, ни другому – особенно ей! Она похожа на кошку и обладает тем недостатком, что любит поедать мышей! Но всем свойственно ошибаться, ошиблась и я; сова оказалась почтенною, в высшей степени образованною старушкой. Она знала побольше самого сторожа, столько же, сколько я! Совята привязывались к каждому слову, к каждой вещи, заводили споры и разговоры. «Полно вам стряпать суп из колбасной палочки!» – говорила им мать, строже этого она уж выразиться не могла – она была такою любящею мамашей. Я почувствовала к ней доверие и пискнула из щели, где сидела. Доверие это ее тронуло, и она пообещала мне свое покровительство; ни один зверь не смел теперь меня съесть, это сова собиралась сделать сама – зимою, когда корма будут плохие.

Умница она была большая! Она доказала мне, что сторож не мог завывать без помощи рога, который всегда висел у него через плечо. «А он-то чванится, воображает себя совою в башне! Высоко залетает, да низко садится! Суп из колбасной палочки, и больше ничего!» – добавила.

Я сейчас же попросила у нее рецепт этого супа, и вот что она сказала мне:

«Суп из колбасной палочки – только поговорка людская, ее понимают на разные лады, и всякий думает, что он-то как раз понимает ее вернее всех. В сущности же, суп из колбасной палочки – один пшик! – Пшик!» – сказала она.

Я была поражена. Истина не всегда бывает приятной, но все-таки она выше всего! То же сказала и старуха сова. Я обдумала все это и поняла, что, если я принесу домой самое высшее, я принесу побольше, чем суп из колбасной палочки. И я заспешила изо всех сил, чтобы успеть вовремя принести домой самое высшее и лучшее – истину. Мыши – народ просвещенный, мышиный царь стоит во главе его и способен сделать меня царицей во имя истины!

– Твоя истина – ложь! – сказала третья мышь, которой еще не дали говорить. – Я могу сварить суп из колбасной палочки и сварю!

## **5. Как был сварен суп**

– Я не рыскала по белу свету! – продолжала третья мышь. – Я оставалась дома, оно и вернее. Нечего ездить за границу – всему не хуже можно выучиться и здесь! Я осталась, и то, что я знаю теперь, я узнала не от сверхъестественных существ, не выгрызла из книг, не выпытала от сов; нет, я дошла до всего собственным умом. Прикажите поставить котел на плиту!.. Теперь налейте воды! Полнее, до самых краев!.. Разведите огонь!.. Пусть вода закипит ключом!.. Теперь палочку в воду! А затем не угодно ли мышиному царю опустить в кипяток свой хвост и помешивать им суп! Чем дольше будет царь мешать суп, тем крепче выйдет навар. Затрат никаких, приправ тоже, только мешать и мешать!

– Нельзя ли мешать кому-нибудь другому? – спросил мышиный царь.

– Нет! – ответила мышь. – Вся сила в хвосте мышиного царя!

Вода закипела, мышиный царь примостился поближе – небезопасно-таки было! – и вытянул хвост, словно собирался снять им устой со сливок и потом облизать его, как это часто делают в

молочных ловкие мышки. Но едва он сунул хвост в горячий пар – подпрыгнул и соскочил на пол.

– Разумеется, ты будешь моею царицей! – вскричал он. – Суп же погодим варить до нашей золотой свадьбы, – бедным, по крайней мере, будет чего ожидать, чему радоваться, да еще как долго!

И вот сыграли свадьбу. Но некоторые из мышей, вернувшись домой, сказали:

– Какой же это суп из колбасной палочки? Это скорее суп из мышинового хвоста!

Кое-что из рассказанного они одобряли, но, в общем, все могло, по их мнению, быть иначе!

– Я бы рассказала это вот так-то и так-то! – рассуждала каждая.

Это была уж критика, а критика всегда ведь бывает так умна – задним числом.

История эта обошла весь свет; мнения о ней разделились, но сама она уцелела, а это самое главное и в больших, и в малых вещах, даже в супе из колбасной палочки; не надо только ожидать за него благодарности!

## Ночной колпак старого холостяка

В Копенгагене есть улица с забавным названием – Хюскенстред. Почему она так называется и что означает это название? Слывет оно немецким, но немецкое слово сильно пострадало. Следовало бы выговаривать Хойсхен, а выговаривают Хюскен; Хойсхенстред же значит улица Маленьких домиков. На ней в старину и правда ютились домишки вроде деревянных ярмарочных балаганчиков, разве чуть побольше да с окошками. Но стекол в окнах не было, их заменяли роговые пластинки или бычьи пузыри – в то время стекло было еще так дорого, что не всем по карману было вставлять его в окна. Давно ведь это было, так давно, что даже прадедушкин прадед, рассказывая о тех временах, называл их «старыми временами». Не одно столетие прошло с тех пор.

В Копенгагене вели в те времена торговлю богатые купцы из Бремена и Любека, разумеется не сами, а через своих приказчиков. Последние-то и занимали эти деревянные лачуги на улице Маленьких домиков; в нижнем этаже каждого домика находилась лавочка, где шла торговля пивом и пряностями. Немецкое пиво в те времена славилось, и сколько сортов его было! И бременское, и прусское, и эмское, и брауншвейгское. Из пряностей же бойко торговали шафраном, анисом, имбирем, а бойчее всего – перцем: перец являлся главным предметом торговли, оттого и немецких приказчиков прозвали в Дании «перечными молодцами». Хозяева брали с них обязательство не жениться на чужбине, они и не женились, доживали до старости холостяками. Некому было о них позаботиться – обшить, обмыть; самим приходилось им хлопотать по хозяйству, самим тушить огонь в очагах – тем, у кого он разводился. Многие, как сказано, доживали так до глубокой старости; у них заводились свои вкусы, свои привычки, и старые холостяки кое-как коротали свой век. С тех пор-то и вошло в обычай величать пожилых неженатых мужчин «перечными молодцами».

Все это нужно знать, чтобы понять рассказ.

Над старыми холостяками все подсмеиваются, они, дескать, знают одно – нахлобучить свой ночной колпак да завалиться на боковую! О холостяках даже песенку сложили:

Пили́, пили́ дрова  
Ты, старый холостяк!  
Седая голова,  
Твой друг – ночной колпак!

Да, вот что поют о них! Смеются и над холостяком, и над его колпаком, а все оттого, что так мало знают о них. Ах, никогда не желай себе этого «ночного колпака»! Почему так? А вот послушай!

В те времена на улице Маленьких домиков не было мостовой, и люди попадали из колдобины в колдобину, словно на изрытой проезжей дороге. А что за теснота там была! Домишки лепились один к другому, и между двумя противоположными рядами их оставался такой узенький проход, что летом с одного домика на другой перекидывали парусину; надо всей улицей образовывался навес, под которым так славно пахло перцем, шафраном и имбирем. За прилавком мало попадалось молодых приказчиков, больше все старики. Но не подумай, что все они носили парики или ночные колпаки, короткие кожаные панталоны до колен и куртки или кафтаны, застегнутые на все пуговицы. Нет, так одевался прадедушкин прадед, в таком костюме он и на портрете написан. «Перечным молодцам» не по карману было заказывать свои портреты, а стоило бы списать портрет хоть с одного из почтенных стариков в то время, как он стоял за прилавком или шел в праздник к обедне! Наряд их состоял из широкополой, с высокой тульей шляпы (приказчики помоложе часто украшали свои шляпы перышками), шерстяной рубашки с отложным полотняным воротником, куртки, застегнутой наглухо, плаща и панталон, всунутых в широконосые башмаки, – чулок они не носили. За поясом у каждого были заткнуты нож, ложка и еще большой нож для защиты – в те времена случалась и в этом нужда. Так одевался по праздничным дням и старый Антон, один из старейших обитателей улицы Маленьких домиков, только вместо шляпы он носил шапку с длинными наушниками, а под ней вязаный колпак, настоящий ночной колпак. Старик так привык к колпаку, что не мог обойтись без него ни днем ни ночью, и у него так и было заведено два колпака для смены. Вот с Антона-то и стоило бы списать

портрет: худ он был, как щепка, вокруг рта и глаз ежились сотни морщинок, пальцы были длинные, костлявые, над глазами нависли густые седые брови, над левым же торчал целый пучок длинных волос, который если и не красил Антона, то служил зато характерною приметой. Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии, из города Эйзенаха, что близ Вартбурга. Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться – зато много думал о ней.

Старые приказчики нечасто виделись друг с другом, каждый больше держался в своем уголке. Запирались лавочки рано, и домишки сразу погружались в мрак; лишь из крошечного рогового окошечка чердачной каморки, под самой крышей, чуть светился огонек; старичок, обитатель каморки, чаще всего сидел в это время на своей постели, с немецким молитвенником в руках, и напевал вечерний псалом или же далеко за полночь хлопотал по хозяйству, прибирая то одно, то другое. Несладко-то жилось ему: чужой всем, на чужбине – что уж за житье! Никому до него нет дела, разве станет кому поперек дороги!

Улица в глухую, темную, ненастную ночь выглядела такую пустынною, мрачною; на всю улицу приходился один фонарь, да и тот висел в самом конце ее, перед нарисованным на стене образом Божьей Матери. Слышался лишь плеск воды, сбегавшей по деревянной обшивке набережной, – другой конец улицы выходил на канал. Таким вечерам и конца не бывает, если не займешься чем-нибудь. А чем заняться старому холостяку? Развертывать и завертывать товары, свертывать фунтики, чистить весы не приходится ведь каждый день; надо, значит, заняться чем-нибудь другим.

Старый Антон и находил себе занятия – сам чинил свое платье, сам ставил заплатки на сапоги. Улегшись же, наконец, в постель в своем неизменном колпаке, он обыкновенно нахлобучивал его пониже, но вслед за тем опять приподнимал его, чтобы посмотреть, хорошо ли погашена свечка, ощупывал ее на столике и прижимал фитиль двумя пальцами, потом ложился опять, повертывался на другой бок и опять надвигал колпак на брови. Но часто в эту самую минуту ему приходило на мысль: а прогорели ли все уголья в жаровне, оставленной внизу, в лавочке, потухла ли зола? Довольно ведь одной искорки – и не миновать беды!

И вот он вставал с постели, осторожно слезал по приставной лесенке – лестницей ее и назвать было нельзя – и, добравшись до жаровни, убеждался, что в ней не тлело ни уголька. Теперь можно было вернуться обратно в свою каморку, но часто еще на полдороге его брало сомнение: заперты ли на крюк двери и ставни? – и он снова ковылял на своих тонких ногах вниз. Дрожь прохватывала его, зубы так и стучали, когда он опять добирался до постели; известно ведь, что дрожь тогда-то и принимается хорошенько трепать человека, когда видит, что тот спасся от нее в теплую постель. Антон повыше натягивал на себя перину, нахлобучивал колпак на глаза, и мысли его наконец отрывались от дневных хлопот и забот, но не на радость ему! На смену тревогам и заботам настоящего являлись воспоминания прошлого и развешивали перед ним на стене свои картины. Но в них часто попадаются острые булавки, уколут так, что невольно закричишь от боли, а если воткнутся тебе в живое тело поглубже – даже слезы прошибут! С Антоном это случалось не раз. Падая на перину или на пол, эти чистые, прозрачные, как жемчужины, слезы звенят, словно лопаются наболевшие сердечные струны. Слезы скоро испаряются, но вспыхивают перед тем ярким пламенем и успевают осветить картину прошлого, одну из тех, что никогда не изглаживаются из памяти. Антон отирал эти слезы ночным колпаком – и слеза и картина стирались, но источник их, разумеется, оставался – источником было ведь сердце старика. Картины жизни являлись ему не в том порядке, в каком они следовали друг за другом в действительности; чаще всего рисовались самые печальные, мрачные, но являлись и светлые, радостные; эти-то и наводили на него самую сильную грусть, сгущая тени настоящего.

«Хороши датские буковые леса!» – говорят у нас, но для Антона буковые леса в окрестностях Вартбурга были куда лучше! Мощнее, почтеннее датских казались ему родные немецкие дубы, росшие вокруг гордого рыцарского замка, где вьющиеся растения обвивали каменистые склоны; слаще благоухали для него родные цветущие яблони, нежели датские! Он все еще как будто вдыхал их аромат!.. Слеза скатилась, зазвенела и вспыхнула, ярко осветив двух играющих детей: мальчика и девочку. У мальчика были румяные щеки, светлые кудри и честные голубые глаза; он был сыном богатого торговца, звали его Антоном... Да, это он сам! У девочки же были карие глаза и



черные волосы, умный и смелый взгляд; это была дочка бургомистра, Молли. Дети играли яблоком: трясли его и прислушивались, как гремят в нем зернышки.



Потом они разрезали яблоко, и каждому досталась половинка. Зернышки они тоже поделили и съели все, кроме одного. Его надо было закопать в землю, – так придумала девочка.

– Вот увидишь потом, что из него выйдет! Ты и не отгадаешь – что! Целая яблоня, только не сразу!

И дети принялись хлопотать: достали цветочный горшок с землей, мальчик проткнул в земле пальцем ямку, девочка положила туда зернышко, и оба старательно закопали его.

– Только смотри, не вздумай завтра вытаскивать зернышко, чтобы поглядеть, пустило ли оно ростки! – сказала Молли Антону. – Этого нельзя делать! Я вот так сделала со своими цветочками всего два раза, – я хотела поглядеть, растут ли они, тогда я еще не понимала, что этого нельзя, – и цветочки погибли!

Цветочный горшок остался у Антона, и мальчик каждый день подходил к нему поглядеть, не выросло ли чего-нибудь, но, кроме черной земли, в горшке ничего не было. Наконец настала весна, солнышко стало пригревать теплее, и из земли выплянули два крошечных зеленых листочка.

– Это я и Молли! – сказал Антон. – Вот чудесно-то!

Скоро появился и третий листочек – а это кто же? Потом еще и еще! День за днем, неделя за неделей, и из зернышка выросло целое деревцо. Все это осветила одна слезинка; вот ее стерли, и все исчезло. Но источник слез был неиссякаем – источником было ведь сердце старого Антона.

Близ Эйзенаха проходит гряда каменистых возвышенностей; круглая вершина одной из них совершенно оголена – ни деревца, ни кустика, ни травки; зовут ее горой Венеры: по преданию, здесь жила Венера, древняя языческая богиня; но немцы переименовали ее в госпожу Холле, которую знает в Эйзенахе каждый ребенок. Она заманила к себе благородного рыцаря Тангейзера, миннезингера из Вартбурга.

Молли и Антон часто подходили к горе, и раз девочка сказала:

– Ну-ка постучи и крикни: «Госпожа Холле, госпожа Холле! Отвори Тангейзеру!»

Антон не посмел, а Молли посмела, но громко и ясно она сказала только: «Госпожа Холле, госпожа Холле», остальное же пробормотала так невнятно, что, по мнению Антона, ничего, собственно, не сказала. Смелая была эта Молли! Такая смелая, что одна из всей толпы сверстниц целовала Антона, хотя хотелось всем – именно потому, что он не хотел и отбивался от поцелуев руками и ногами.



– А я его поцелую! – говорила Молли гордо и обвивала шею Антона рукой.

Это было ее торжеством, Антон же покорялся ей, вовсе не думая о том, что делает. Ах, какая она была хорошенькая, какая смелая!

Госпожа Холле, что жила в горе, тоже, говорят, была хороша собою, но ее красота была соблазнительною красотой зла. Высшею красотой считалась, напротив, красота святой Елизаветы, покровительницы страны, благочестивой тюрингенской герцогини, добрые дела которой живут в легендах и сказаниях, освящающих здешние места. В часовне висел ее образ, а перед ним – серебряная лампада. Но святая Елизавета несколько не была похожа на Молли.

А яблонька, которую посадили дети, росла да росла, так что, наконец, пришлось пересадить ее в сад, под открытое небо, где ее кропило росой, пригревало солнышком, и она окрепла настолько, что могла выдержать и зиму. Весной же, словно от радости, что пережила суровую зиму, она зацвела и осенью принесла два яблочка: одно для Молли и одно для Антона – меньше уж никак нельзя было.

Деревцо торопилось расти, Молли не отставала; она напоминала своею свежестью цветок яблони, но недолго Антону пришлось любоваться на этот цветок. Все проходит, все изменяется! Отец Молли оставил родину и уехал с Молли далеко-далеко. В наше время торжества пара понадобилось бы всего несколько часов, тогда же надо было ехать больше суток, чтобы добраться до того города, куда они уехали. Он находился на восток от Эйзенаха, совсем в другом конце страны, – это был город Веймар.

Молли плакала, и Антон плакал – все эти слезы соединились теперь в одну, отливавшую яркими, радужными красками: Молли ведь сказала Антону, что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре!

Прошел год, два, три. За это время от Молли пришло два письма: одно привез с собой торговый комиссионер, другое какой-то проезжий. Дорога была длинная, трудная, извивавшаяся мимо разных городов и местечек.

Всякий раз как Антон с Молли слушали легенду о Тристане и Изольде, ему почему-то казалось, что говорят про него и Молли, хотя имя Тристан означало «рожденный для скорби», а это совсем не подходило к Антону. Ему ведь не придется, как Тристану, вздыхать: «Она забыла меня!» Изольда, впрочем, и не забывала друга сердца, и, когда оба умерли и были похоронены по разные стороны церкви, на могилах их выросли две липы и сплелись ветвями над церковною крышей. История эта казалась Антону такую поэтическою и такую печальною... Но в его отношениях к Молли не могло быть ничего печального, и он принимался насвистывать песенку миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде:

Ах, под липой, в степи!

Особенно дивно звучали следующие строки:

Раздается из леса душистого –  
Тиндарадай! –

Трель певца, соловья голосистого!

Песня эта вечно вертелась у него на языке; он напевал и насвистывал ее и в ту ясную, лунную ночь, когда неся на коне в Веймар навестить Молли; он хотел явиться неожиданным гостем – так и вышло.

Приняли его ласково; вино запенилось в бокалах; он встретил здесь веселое знатное общество, нашел уютную комнатку и мягкую постель, и все же не того ожидал он, не о том мечтал! Он сам не понимал себя, не понимал других, но мы-то поймем, в чем было дело! Можно быть хорошо принятым в доме, в семействе, и все-таки чувствовать себя чужим; разговоры ведешь как в почтовой карете, знакомишься как в почтовой карете, стесняешься, желаешь или сам уйти, или как-нибудь спровадить своего доброго соседа! Нечто подобное испытал и Антон.

– Я честная девушка! – сказала ему Молли. – И сама хочу сказать тебе все. Многое изменилось с той поры, как мы были детьми. Перемены эти и внешние и внутренние. Привычка и желание ничего не могут поделать с сердцем! Антон! Уезжая отсюда далеко-далеко, я не желала бы расстаться с тобою как с недругом! Верь мне, я расположена к тебе, но любить тебя так, как, я знаю теперь, можно любить другого человека, я тебя никогда не любила! Примиришь с этим!.. Прощай, Антон!

И Антон отвечал: «Прощай!» Ни одной слезинки не выступило у него на глазах, но он понял, что перестал быть другом Молли. И раскаленная и замерзшая пластинки железа одинаково сдирают кожу с губ, если станешь целовать их, Антон же одинаково крепко целовался и с любовью, и с ненавистью!

Не прошло и суток, как Антон был уже дома. Зато он и загнал лошадь.

– Пусть! – сказал он. – Я сам загнан и хотел бы загнать все, уничтожить все, что напоминает мне о ней – госпоже Холле, госпоже Холле, госпоже Венере, проклятой язычнице!.. Яблоню я вырву с корнем, изломаю в куски! Не цвести ей больше, не приносить плодов!

Но не дерево было сломлено, а сам Антон: жестокая лихорадка уложила его в постель. Что же могло поставить его на ноги? Подоспело лекарство, самое горчайшее из всех, которое встряхивает

больное тело и изнывающую душу, – удар судьбы: отец Антона разорился. Тяжелые дни, дни испытаний стучались в дверь, беда уже вломилась в нее, хлынула в когда-то богатый дом волною. Отец Антона обеднел, горе и заботы надломили его здоровье, и у Антона нашлись занятия, кроме любовной хандры да злобы на Молли. Теперь он должен был заменить в доме и хозяина и хозяйку, распоряжаться всем, привести в порядок все. Потом пришлось покинуть родину, идти на чужую сторону зарабатывать кусок хлеба. Отправился он в Бремен, немало изведal нужды и горя, а это либо закаляет душу, либо расслабляет ее – иной раз даже чересчур. Как, однако, не соответствовали свет и люди сложившемуся у него в пору детства представлению о них! «А песни миннезингеров, что они такое? – рассуждал он теперь. – Звук пустой!» Но иногда в его душе опять звучала сладкая мелодия, и он смягчался.

«Бог все устривает к лучшему! – говорил он себе. – И хорошо сделал он, что не дал Молли привязаться ко мне сердечно. К чему бы это привело теперь, когда счастье отвернулось от меня? Она оттолкнула меня раньше, чем могла знать или предполагать о моем разорении. Бог оказал мне милость! Все было к лучшему! Он устривает все премудро! Она не была виновата ни в чем, а я-то возненавидел ее!»

Годы шли. Отец Антона умер; чужие люди поселились в родном доме. Антону пришлось все-таки увидеть его еще раз. Хозяин послал его по торговым делам, и ему случилось проезжать через свой родной город Эйзенах. Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему; по-прежнему окружали его каменные «монахи» и «монахини» и мощные дубы; все было как во времена его детства. Гора Венеры по-прежнему блестела на солнце своею серою голою вершиною. Как охотно постучался бы в нее Антон и сказал: «Госпожа Холле, госпожа Холле! Отвори мне, укрой меня в недрах родной земли!»

Грешная это была мысль, и он осенил себя крестом; тут в кустах запела птичка, и Антону вспомнилась старая песня:

Раздается из леса душистого –  
Тиндарадай! –

Трель певца, соловья голосистого!

Сколько воспоминаний пробудилось в его душе при виде города, где протекло его детство; слезы застилали его глаза. Отцовский дом стоял все на том же месте, но часть сада была уничтожена, отошла под проезжую дорогу, и яблоня, которой он так и не вырвал, очутилась за оградой, по ту сторону дороги. Но солнышко по-прежнему пригревало ее, роса кропила, и ветви ее гнулись под обилием плодов к самой земле.

– Растет себе! – сказал Антон. – Что ей делается!

Но одна из самых больших ветвей яблони была надломлена чьею-то шальной рукой; дерево стояло ведь у проезжей дороги!

«Обрывают ее цветы, не говоря даже спасибо, крадут плоды и ломают ветви! Да, и про дерево можно сказать то же, что говорится иногда про человека: „Не пели над его колыбелью, что ему придется когда-нибудь стоять вот так!“ Заря его жизни занялась так ярко, красиво, а что дала ему судьба? Садовому дереву пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги! Стоит оно тут одинокое, забытое, беззащитное! Все его теребят, ломают! Оно еще не вянет от этого, но с годами цветов на нем будет все меньше, плодов не будет вовсе, а потом и дереву конец».

Вот что думал Антон под деревом; те же мысли часто бродили у него в голове в долгие бессонные ночи, которых немало провел он в своей одинокой каморке, в деревянной лачуге, на чужой стороне, на улице Маленьких домиков в Копенгагене, куда послал его богатый бременский купец, хозяин его, взяв с него сначала слово никогда не жениться.

– Жениться! Хе, хе! – рассмеялся он странным, глухим смехом.

Зима установилась в этот год рано; мороз так и трещал; на дворе разыгралась такая вьюга, что все, кто только мог, сидели у себя в теплом углу. Оттого соседи Антона и не заметили, что лавочка старика не отпирается вот уже два дня, – кто бы высунул нос в такую погоду, если только можно было оставаться дома?

Дни стояли серые, мрачные, и в жилище Антона с маленьким, подслеповатым оконцем долгая ночь сменялась лишь тоскливыми сумерками. Старый Антон два дня не вставал с постели – силы его

оставили. Непогода давала себя знать ломотой во всем теле. Одиноким, беспомощным, оставленным всеми, лежал старый холостяк в кровати и едва мог даже дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья. Но вот в кружке не осталось больше ни капли. Уложила Антона в постель не лихорадка, не другая болезнь, а старость. Для Антона как бы наступила долгая-долгая ночь. Маленький паучок, которого Антон не мог видеть, весело и прилежно пряд над ним свою паутинку, словно спеша приготовить новый, свежий траурный креп к тому времени, когда старик закроет глаза.

Антон одолевала тяжелая дремота. Слез у него не было, боли он тоже не чувствовал, о Молли и не вспоминал. Ему казалось, что мир с его шумом и суетой был уже не для него, — он остался как-то в стороне: никому не было до него дела. Вдруг ему показалось, что он голоден и хочет пить... Да, правда, он ощущал и голод и жажду. Но никто не приходил утолить их, никто и не придет. И он вспомнил о других голодающих и о святой Елизавете, покровительнице его родины и детства, благородной герцогине тюрингенской, которая сама заходила в жалкие лачуги и приносила страждущим надежду и облегчение. Благодетельные дела ее сияли в его памяти: он вспомнил, как она являлась к страдальцам со словами утешения, омывала их раны, приносила голодным пищу, хотя ее суровый муж и гневался на нее за это. Антон вспомнил и легенду о святой Елизавете. Однажды она отправилась, по обыкновению, с корзинкой, наполненной съестными припасами, как вдруг ей преградил дорогу муж, следивший за каждым ее шагом, и спросил, что у нее в корзинке. Святая в испуге отвечала: «Розы из сада». Муж сорвал салфетку, и — чудо совершилось ради благодетельной женщины: вино и хлеб превратились в розы!

Святая Елизавета не выходила из головы Антона; как живая стояла она перед его усталым взором, возле его кровати, в жалкой каморке, в чужой земле. Он обнажил голову, взглянул в ее кроткие глаза, и — все вокруг него вдруг засияло, каморка наполнилась розами... Как они благоухали! К их аромату примешивался запах цветов яблони... Антон очутился под яблоней, осенявшей его своими ветвями. Она выросла из семечка, которое посадили когда-то в землю Антон с Молли.



Дерево роняло свои благоухающие листья на пылающий лоб Антона, и они освежали его, на его запекшиеся губы, и ему казалось, что он вкушает хлеб и вино, на его грудь, и ему вдруг стало так легко, так захотелось забыться сладким сном.



– Теперь я засну! – прошептал он. – Сон подкрепляет! Завтра я опять буду здоров, опять встану! Как хорошо, как хорошо! Я вижу, как великолепно расцвела яблоня, выросшая из зернышка любви.

И он заснул.

На другой день – это был уже третий день, что лавка Антона не отпиралась, – вьюга утихла, и соседи хватились старика. Его нашли мертвым в постели; в руках он крепко сжимал свой старый ночной колпак. Но его не положили с Антоном в гроб: в запасе был еще один, чистый, ненадеванный.

Куда же девались теперь все слезы Антона? Куда исчезли эти жемчужины? Они остались в его ночном колпаке, их ведь нельзя было отмыть никаким мылом, они так и остались в колпаке скрытыми и забытыми. Все мечты, все мысли тоже остались в колпаке старого холостяка. Не пожелай его себе! Лоб твой разгорячится, пульс забьется ускоренно, и тебе приснятся сны, похожие на действительность. Это пришлось испытать первому же, кто надел колпак, а случилось это спустя целых пятьдесят лет! Надел его сам бургомистр, человек женатый, отец одиннадцати детей, живший в свое удовольствие, и ему сейчас же приснились во сне несчастная любовь, банкротство и борьба из-за куска хлеба!

– Фу, как этот колпак греет! – сказал он, срывая его с себя, и из колпака выкатилась жемчужина, потом другая; как они зазвенели и заблестели! – Это ревматизм! – решил голова. – И в ушах звенит, и из глаз искры сыплются!

А это были слезы, пролитые пятьдесят лет тому назад стариком Антоном из Эйзенаха.

И кому ни попадал этот колпак на голову, тому сейчас снились подобные же сны; он как будто сам переживал историю Антона. Выходила целая сказка, да и не одна. Но пусть рассказывают их другие, а мы одну уж рассказали и кончим ее словами:

«Никто не пожелай себе колпака старого холостяка!»

## «Кое-что»

Хочу добиться чего-нибудь! – сказал самый старший из пяти братьев. – Хочу приносить пользу! Пусть мое положение в свете будет самое скромное, – раз я делаю что-нибудь полезное, я уже не даром копчу небо. Займусь выделкою кирпичей. Они нужны всем, значит, я сделаю кое-что.

– Но очень мало! – сказал второй. – Выделка кирпичей – дело самое пустое. Стоит ли браться за такой труд, который может выполнить и машина? Нет, вот сделаться каменщиком – это кое-что повыше; каменщиком я и буду. Это все-таки цех, а попав в цех, сделаешься гражданином, у тебя будет свое знамя и свой кабачок! Если же повезет, я стану держать и подмастерьев. И меня будут звать мастером, хозяином, а жену мою хозяйскою! Вот это кое-что повыше!

– И все же не бог весть что! – сказал третий. – Каменщик никогда не может возвыситься до более почетного положения в обществе, чем простой ремесленник. Ты можешь быть честнейшим человеком, но ты «мастер», значит, из «простых». Нет, я добиваюсь кое-чего повыше! Я хочу быть строителем, вступить в область искусства, достигнуть высших степеней в умственных сферах. Конечно, придется начать снизу, сознаюсь откровенно: придется поступить в ученики, носить фуражку, хотя я и привык к цилиндру, бегать за пивом и водкой – словом, быть на побегушках у простых подмастерьев, которые станут меня тыкать, – что и говорить, обидно! Но я буду думать, что все это один маскарад, маскарадные вольности, а завтра, то есть когда я сам выйду в подмастерья, я пойду своею дорогой; до других мне и дела не будет! Я поступлю в академию, научусь рисовать, добьюсь звания архитектора – вот это уже кое-что повыше! Я могу сделаться «высокоблагородием» и буду строить, строить, как и другие до меня! Вот что называется занять настоящее положение в обществе!

– Ну а мне ничего такого не нужно! – сказал четвертый. – Не хочу идти по проторенной дорожке, не хочу быть копией! Я гений и перещеголяю вас всех! Я изобрету новый стиль, новый вид построек, соответствующий климату и материалам страны, нашей национальности и современному развитию общества! А ко всему

этому я прибавлю еще один этаж ради моей собственной гениальности!

– А если и климат и материалы никуда не годны? – сказал пятый. – Будет худо! Это ведь сильно влияет! Национальность тоже может развиваться в ущерб естественности, а желание идти в уровень с веком заставит тебя, пожалуй, бежать во всю прыть, как это часто и случается с молодежью. Нет, как вижу, никто из вас не добьется ничего путного, сколько вы там ни воображайте о себе! Но делайте как знаете! Я не стану подражать вам, буду держаться в стороне и обсуждать ваши дела! В каждой вещи найдется изъянчик, вот я и стану выискивать его да рассуждать о нем! Вот это – кое-что повыше!



Так он и сделал, и люди говорили о нем: «В нем есть кое-что! Умная голова! Одно вот – ничего не делает!» Таким образом, и он добился кое-чего.

Вот вам и история; не велика она, а конца ей нет, пока держится мир!

Но разве из пяти братьев так и не вышло ничего особенного? Стоило тогда и заводить о них разговор! А вот послушайте, что вышло. Целая сказка!

Самый старший из братьев, тот, что выделявал кирпичи, скоро узнал, что из каждого готового кирпича выскакивает скиллинг, правда медный, но много медных скиллингов, сложенных вместе, дают уже серебряный далер, и стоит только постучать им в дверь к булочнику, мяснику, портному, к кому хочешь, – дверь сейчас настезь и получай что нужно. Так вот на чтогодились кирпичи; некоторые из них шли, конечно, и в брак, так как трескались или ломались пополам, но и эти пригодились.

Бедной бабушке Маргрете хотелось выстроить хижину над самой плотиной, на берегу моря. И вот старший брат отдал ей все обломки кирпичей да еще несколько штук целых в придачу – он был человек добрый, даром что простой рабочий. Старушка сама кое-как слепила себе из кирпичей лачужку; тесненька она вышла, единственное оконце смотрело криво, дверь была слишком низка, а соломенная крыша могла бы быть пригнана лучше, но все-таки в лачужке можно было укрыться от дождя и непогоды, а из оконца открывался вид на море, бившееся о плотину. Соленые брызги частенько окачивали жалкую лачугу, но она держалась крепко; умер и тот, кто пожертвовал для нее кирпичи, а она все стояла.

Второй брат, тот умел строить получше! Выйдя в подмастерья, он вскинул котомку на спину и запел песенку подмастерьев:

Конец ученью! В путь-дорогу!  
Искать работы я пущусь!  
Здоров я, молод, слава богу,  
Работник знатный, побожусь!  
Когда ж на родину вернуся,  
Женюсь на любушке своей!  
Сидеть без хлеба не боюсь,  
Ведь мастер нужен всем, ей-ей!

Так он и сделал. Вернувшись в родной город и став мастером, он строил дом за домом и застроил целую улицу. Дома стояли крепко, а улица украшала собою город – и вот все эти дома выстроили в свою очередь домик самому мастеру. Разве дома могу строить? А вот спроси у них; они-то не ответят, но люди скажут: «Конечно, это улица выстроила ему дом!» Домик был невелик, с глиняным полом, но, когда мастер плясал по этому полу с своею невестой, он заблестел, что твой паркет, а из каждого кирпича в стене выскочил цветок – не хуже дорогих обоев вышло!

Да, славный это был домик и счастливая парочка! Над домиком развеялся цеховой флажок, а подмастерья и ученики кричали хозяину «ура!». Вот он и добился кое-чего, а потом умер – добился кое-чего еще!

Теперь очередь за архитектором, третьим братом, который был сначала мальчиком-учеником, ходил в фуражке и был на побегушках у подмастерьев. Побывав в академии, он в самом деле стал архитектором и высокоблагородием! Дома в улице выстроили домик второму брату, каменщику, а сама улица получила имя третьего брата, и самый красивый дом на улице принадлежал ему. Вот этот брат добился кое-чего, добился даже длинного титула и впереди, и после имени. Дети его стали благородными, и вдова его, когда он умер, числилась благородною вдовой. Имя же его осталось на углу улицы и не сходило с уст народа. Да, этот добился кое-чего!

За ним шел четвертый брат, гений, который стремился создать нечто новое, особенное, да еще один этаж сверх того. Увы! Этот этаж обрушился, и гений сломал себе шею. Зато ему устроили пышные похороны с музыкой, знаменами и цветами красноречия в газетах и живыми – на мостовой. Над могилою же были произнесены три речи, одна длиннее другой. Чего же ему больше? Он ведь так желал заставить говорить о себе. Со временем ему поставили и памятник на могиле, правда одноэтажный, но и это кое-что значит!

Итак, умер и четвертый брат, как первые три, но пятый, критик, пережил их всех. Оно так и следовало, чтобы последнее слово осталось за ним; это было для него важнее всего. Недаром он слыл «умною головой»! Но вот пробил и его час, он тоже умер и явился к вратам рая. А здесь подходят всегда попарно, вот и с ним рядом

очутилась другая душа, которой тоже хотелось войти в рай. Это была как раз бабушка Маргрете с плотины.

– Эту душонку поставили со мною в пару, верно, ради контраста! – сказал резонер. – Ну, кто ты такая, бабушка? И тебе тоже хочется туда? – спросил он.

Старушка присела чуть не до земли, подумав, что с нею говорит сам святой Петр.

– Я бедная, безродная старуха Маргрете с плотины.

– Ну а что же ты сделала, что совершила на земле?

– Ох, ничего я такого не сделала, за что бы мне отворили двери рая! Разве уж из милости впустят?

– Как же ты распростилась с жизнью? – спросил он, чтобы как-нибудь скоротать время; он уж соскучился стоять тут и ждать.

– Да и сама не знаю как! Больная я была, старая, ну, верно, и не вынесла мороза да стужи, как выползла за порог! Зима-то ведь нынче какая лютая была, натерпелась я всего! Ну да теперь все уж прошло!

Денька два выдались таких тихих, но страсть морозных, как сами знаете, ваша милость. Все море, куда ни взглянешь, затянуло льдом, весь город и высypал на лед, кататься на коньках и веселиться. Играла музыка, затеяли пляс да угощение. Мне все это слышно было из моей каморки. Дело было к вечеру; месяц уж выплянул, но еще не вошел в полную силу. Я лежала на постели и глядела в окошко на море; вдруг вижу там, где небо сливается с морем, стоит какое-то диковинное белое облако с черной точкой в середине! Точка стала расти, и тогда я догадалась, что это за облако. Стара ведь я была и много видала на своем веку! Такое знамение нечасто приходится видеть, но я все-таки видела его уже два раза и знала, что облако это предвещает страшную бурю и внезапный прилив, которые могут застигнуть всех этих бедных людей! А они-то так веселятся, пьют и пляшут на льду! Весь город ведь, все, и стар и млад, были там! Кто же их предупредит, если никто не знает того, что видела и знала я?! От испуга я просто помолодела, ожила, смогла даже встать с постели и подойти к окну. Растворила я его и вижу, как люди бегают и прыгают по льду, вижу красивые флаги, слышу, как мальчики кричат «ура», девушки и парни поют... Веселье так и кипело, но облако подымалось все выше и выше, черная точка все росла... Я крикнула что было сил, но никто не услышал меня – далеко было! А скоро ударит буря, лед разобьется в



куски, и все провалятся – спасения нет! Услышать меня они не могли, дойти туда самой мне тоже было невмочь! Как же мне выманить их на берег? Тут-то и надоумил меня Господь поджечь мою постель. Пусть лучше сгорит весь дом, чем погибнет столько людей такою ужасною смертью! Я подожгла постель, солома ярко вспыхнула, а я – скорее за порог, да там и упала...

Дальше отойти я уж не смогла. Огненный столб взвился вслед за мною из дверей и из окна, пламя охватило крышу!.. На льду увидели пожар и пустились со всех ног на помощь мне, бедной старухе, – они думали, что я сгорю заживо!.. Все до одного прибежали ко мне; я слышала, как они обступили меня, и в ту же минуту в воздухе засвистело, загремело, точно из пушки выпалило; лед взломало, но весь народ был уже на плотине, где меня обдавало дождем искр. Я спасла их всех. Только мне-то, верно, не под силу было перенести холод и весь этот страх, вот я и очутилась тут, у ворот рая. Говорят, они открываются даже для таких бедняг, как я! На земле у меня нет больше крова, но, конечно, это еще не дает мне права войти в рай!

Тут врата райские открылись, и ангел ввел туда старуху. Входя туда, она обронила соломинку из своей постели, которую подожгла, чтобы спасти столько людей, и соломинка превратилась в чисто золотую, стала расти и принимать самые причудливые, красивые очертания.

– Вот что принесла с собою бедная старуха! – сказал ангел. – А ты что принес? Да, да, знаю, ты не ударил пальцем о палец во всю свою жизнь, не сделал даже ни единого кирпичика. Ах, если бы ты мог вернуться на землю и принести оттуда хоть такой кирпич! Кирпич твоей работы навряд ли годился бы куда-нибудь, но все же он показывал бы хоть доброе желание сделать кое-что. Но возврата нет, и я ничего не могу сделать для тебя!

Тогда вступилась за него бедная старуха с плотины:

– Брат его сделал и подарил мне много кирпичей и обломков; из них я слепила свою убогую лачужку, и это уж было огромным счастьем для меня, бедняги! Пусть же все эти обломки и кирпичи сочтутся ему хоть за один кирпич! Его брат оказал мне милость, теперь этот бедняга сам нуждается в милости, а тут ведь царство высшей милости!

– Брат твой, которого ты считал самым ничтожным, – сказал ангел, – честное ремесло которого находил унижительным, вносит

теперь за тебя лепту в небесную сокровищницу. Тебя не отгонят прочь, тебе позволят стоять тут, за дверями, и придумывать, как бы поправить твою земную жизнь, но в рай тебя не впустят, пока ты воистину не совершишь кое-чего.

«Ну, я бы сказал все это куда лучше!» – подумал резонер, но не высказал этого вслух, – и это уже было с его стороны кое-что.

## Последний сон старого дуба

### *Рождественская сказка*



В лесу, на крутом берегу моря, рос старый-старый дуб; ему было ни больше ни меньше, как триста шестьдесят пять лет, но это ведь для дерева все равно, что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, а спим и видим сны ночью, дерево же бодрствует три времени года и спит только зимою. Зима – время его сна, ночь, сменяющая длинный день: весну, лето и осень.

В теплые летние дни около дуба кружились и плясали мухи-подёнки. Каждая жила, порхала и веселилась, а устав, опускалась в сладкой истоме отдохнуть на один из больших свежих листьев дуба. И дерево всякий раз говорило крошечному созданию:

– Бедняжка! Вся твоя жизнь – один день! Как коротко, как печально твое существование!

– Печально?! – отвечала муха. – Что ты говоришь? Гляди, как светло, тепло и чудесно! Мне так весело!

– Да ведь всего один день, и – конец!

– Конец! – говорила муха. – Кому конец? И тебе разве тоже?

– Нет, я-то проживу, может быть, тысячи твоих дней; мой день равен ведь трем четвертям года! Ты даже и представить себе не можешь, как это долго!

– Нет, я и не понимаю тебя вовсе! Ты живешь тысячи моих дней, а я живу тысячи мгновений, и каждое несет мне с собою радость и веселье!.. Ну а с твоею смертью придет конец и всему этому великолепию, всему свету?

– Нет! – отвечало дерево. – Свет будет существовать куда дольше, так бесконечно долго, что я и представить себе не могу!

– Ну, так нам с тобою дана одинаково долгая жизнь, только мы считаем по-разному!

И муха-подёнка плясала и кружилась в воздухе, радуясь своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радуясь теплему воздуху, напоенному ароматом клевера, шиповника, бузины и каприфолий; не говоря уже об аромате дикого яминника, примулы и душистой мяты! Воздух был такой душистый, что муха словно пьянела от него слегка. Что за длинный, чудный был день, полный радости и сладких ощущений! Когда же солнце заходило, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылышки отказывались ее носить, и она тихо опускалась на мягкую волнующуюся травку, кивала головкой и сладко засыпала – навеки.

– Бедняжка! – говорил дуб. – Чересчур уж короткая жизнь!

И каждый летний день повторялась та же история: та же пляска, те же речи, вопросы и ответы; одно поколение подёнок сменялось другим, и все они были веселы и счастливы. Дерево бодрствовало весеннее утро, летний день и осенний вечер; теперь дело шло к ночи, ко сну – приближалась зима.

Вот запели бури: «Покойной ночи, покойной ночи! Листья опали, листья опали! Их мы оборвали, их мы оборвали! Усни теперь, усни! Мы убаюкаем тебя, укачаем, потрепем во сне! Старые ветви трещат от удовольствия! Спи же, усни! Скоро настанет твоя триста шестьдесят пятая ночь! Для нас же ты только годовалый ребенок! Спи, усни! Тучи посыплют тебя снегом, накинут на твои ноги мягкое, теплое покрывало! Спи, усни!»

И дерево сбросило с себя свою зеленую одежду, собираясь на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.

И дуб когда-то был крошкой; колыбелью ему служил маленький желудь. По человеческому счету он переживал теперь четвертое столетие. Больше, великолепнее его не было дерева во всем лесу! Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его! В ветвях дуба гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались и другие перелетные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но вот настала зима, дерево стояло обнаженное, без листьев, и было видно, какие у него кривые, сучковатые ветви; вороны и галки садились на них и толковали о тяжелых временах, о том, как трудно будет зимою добывать корм!

В ночь под Рождество дубу приснился самый чудный сон из всех, виденных им в жизни. Послушаем же!

Дерево как будто чувствовало, что время праздничное, слышало звон колоколов, и ему грезился теплый, тихий летний день. Оно пышно раскинуло свою зеленую могучую крону; солнечные зайчики бегали между листьями и ветвями; воздух был напоен ароматом трав и цветов; пестрые бабочки играли в пятнашки; мухи-подёнки плясали, как будто всё только существовало для их пляски и веселья. Всё, что пережило и видело вокруг себя дерево за всю свою долгую жизнь, проходило теперь перед ним в торжественном шествии. Оно видело, как через лес проезжали верхом благородные рыцари и дамы; на шляпах их развевались перья; у каждого всадника, у каждой всадницы сидел на руке сокол; звучали охотничьи рога, лаяли собаки. Видело дерево и неприятельские войска в блестящих латах и пестрых одеждах; вооруженные копьями и алебардами воины разбивали и опять снимали палатки; ярко пылали сторожевые огни; воины располагались под деревом на ночлег, пели и отдыхали в тени его ветвей. Видело оно и влюбленных, встречавшихся около него при свете луны и вырезывавших свои инициалы на его серо-зеленой коре. На ветвях его как будто опять висели цитры и эоловы арфы, которые развешивали, бывало, веселые странствующие подмастерья, и ветер

опять играл на них нежные мелодии. Лесные голуби ворковали, точно хотели рассказать, что чувствует могучее дерево, а кукушка куковала, сколько еще лет оставалось ему жить.

И вот словно новый, могучий поток жизни заструился по всем, даже мельчайшим корешкам, по всем ветвям и листьям дерева. Оно потянулось и почувствовало всеми своими корнями, что и внизу, под землею, струятся жизнь и тепло. Оно почувствовало прилив новых сил, чувствовало, что растет все выше и выше. Ствол быстро, безостановочно тянулся ввысь, вершина его становилась все раскидистее и кудрявее... И по мере того как дерево росло, увеличивалась и его сладостная тоска, стремление вырасти еще выше, подняться к самому красному солнышку!

Вершина дуба уже поднялась выше облаков, которые, как стаи перелетных птиц или белых лебедей, неслись внизу.

Дерево видело каждым листком своим, словно в каждом были глаза. Оно видело и звезды, хотя стоял ясный день. Какие они были большие, блестящие! Каждая светила, точно пара ясных, кротких очей. И дубу вспомнились другие знакомые милые очи: очи детей и очи влюбленных, встречавшихся под его сенью в ясные, лунные ночи.

Дуб переживал чудные, блаженные мгновения. И все-таки он ощущал какую-то тоску, какую-то неудовлетворенность... Ему не доставало его лесных друзей! Ему так хотелось, чтобы и все другие деревья, все кусты, растения и цветы поднялись так же высоко, ощутили бы ту же радость, видели тот же блеск, что и он! Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить свое счастье со всеми – и малыми и большими; он желал этого так страстно, так горячо, каждою своею ветвью, каждым листком, как желают иногда чего-нибудь люди всеми фибрами своей души!

Вершина дуба качалась в порыве тоскливого томления, смотрела вниз, словно ища чего-то, и вдруг до него явственно донеслось благоухание дикого яминника, потом сильный аромат каприфолий и фиалок; ему показалось даже, что он слышит кукование кукушки!

И вот сквозь облака проглянули зеленые верхушки леса! Дуб увидел под собою другие деревья; они тоже росли и тянулись к небу; кусты и травы тоже. Некоторые даже вырывали из земли свои корни, чтобы лететь к облакам быстрее. Впереди всех была береза; гибкий ствол ее,

извилистый, как зигзаги молнии, тянулся все выше и выше, ветви развевались, как зеленые флаги. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам; птицы с пением летели за ними, а на стебельке травки, развевавшемся по ветру как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Майские жуки гудели, пчелы жужжали, каждая птица заливалась песенкой; в небесах все пело и ликовало!

– А где же красный водяной цветочек? Пусть и он будет с нами! – сказал дуб. – И синий колокольчик и малютка ромашка!

Дуб всех хотел видеть возле себя.

– Мы тут, мы тут! – зазвучало со всех сторон.

– А прошлогодний дикий яминник? А чудный ковер ландышей, что расстился в лесу три года тому назад? А прелестная дикая яблонька и все другие растения, украшавшие лес в течение этих многих, многих лет? Ах, если бы и они все дожили до этого мгновения, были бы вместе с нами!

– Мы тут, мы тут! – зазвучало в вышине, как будто отвечавшие были уже впереди.

– Как хорошо, как дивно хорошо! – ликовал старый дуб. – Они все тут, со мной, и малые и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое блаженство?

– В небесах все возможно! – прозвучало в ответ.

И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.

– Вот это лучше всего! – сказал он. – Теперь я совсем свободен! Все узы порвались! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною! И малые и большие, все!

– Все!

Пока дуб грезил, над землей и морем разразилась в рождественскую ночь страшная буря. Мощные волны морские дико бились о берег, дерево трещало, качалось и, наконец, было вырвано с корнями в ту самую минуту, когда ему грезилось, что оно отделяется от земли. Дуб свалился. Триста шестьдесят пять лет минули для него, как день для мухи-подёнки.

В рождественское утро, на рассвете, буря утихла; слышался праздничный звон церковных колоколов; из всех труб, даже из трубы

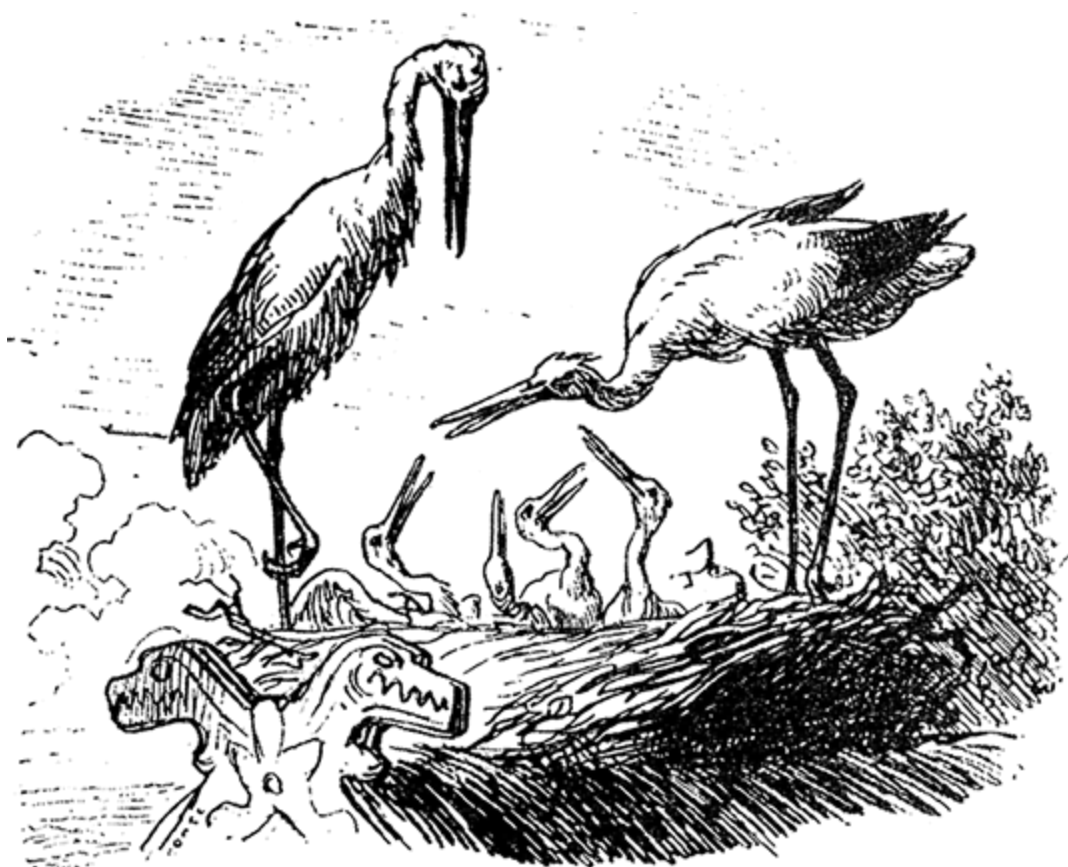
беднейшего крестьянина, вился синий дымок, словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море успокоилось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, взвились флаги.

– А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила наш могучий дуб, нашу приметку на берегу! – сказали моряки. – Кто нам заменит его? Никто!

Вот какую надгробную речь, краткою, но сказанною от чистого сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный ковер. Донесся до дерева и старинный псалом, пропетый моряками. Они пели о рождественской радости и спасении людей, и сердца всех возносились вместе со звуками псалма высоко-высоко к небу, как возносился к нему в своем последнем сне и старый дуб.



## Дочь болотного царя



Много сказок рассказывают аисты своим птенцам – всё про болота да про трясины. Сказки, конечно, принаравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать «крибле, крабле, плурремурре» – для них и это куда как забавно; но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше, по крайней мере того, чтобы в ней упоминалось об их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Всем известно, что впоследствии он стал великим человеком, но где похоронен – никому не известно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает.

Другой сказки еще никто не знает, может быть, именно потому, что она родилась у нас, здесь. Вот уже тысячи лет, как она переходит из уст в уста, от одной аистихи-мамаша к другой, и каждая мамаша

рассказывает ее все лучше и лучше, а мы теперь расскажем ее лучше их всех!

Первая пара аистов, пустившая эту сказку в ход и сама принимавшая участие в описываемых в ней событиях, всегда проводила лето на даче в Дании, близ Дикого болота, в Венсюзселе, то есть в округе Йеринг, на севере Ютландии, если уж говорить точно. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор еще есть огромное болото; о нем можно даже прочесть в официальном описании округа. Местность эта, говорится в нем, была некогда дном морским, но потом приподнялась; занимает она несколько квадратных миль и представляет собой топкие луга, трясину и торфяные болота, поросшие морошкой да жалким кустарником и деревцами. Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет семьдесят тому назад тут еще водились волки — Дикое болото вполне заслуживало свое прозвище! Представьте же себе, что было тут тысячу лет тому назад! Конечно, и в те времена многое выглядело так же, как и теперь: зеленый тростник с темно-лиловыми султанчиками был таким же высоким, березки щеголяли такою же белоснежною корою, такими же нежно-зелеными листьями; что же до живых обитателей, то мухи и тогда щеголяли в таких же прозрачных платицах того же самого фасона, любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным, чулки они носили такие же красные, только люди в те времена одевались иначе. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, мог проваливаться в трясину и тысячу лет тому назад, так же как теперь: ведь стоит только ступить на зыбкую почву ногой — и конец, живо очутишься во владениях болотного царя! Его можно было бы назвать и трясинным царем, но болотный царь звучит как-то лучше. К тому же и аисты его так величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно, да оно и лучше, пожалуй.

Недалеко от болота, над Лим-фьордом, возвышался бревенчатый замок викинга, в три этажа, с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты. Аистиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно!

Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный.

— Что я расскажу тебе! Один ужас! — сказал он аистихе.

– Ах, перестань, пожалуйста! – ответила она. – Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них!

– Нет, ты послушай! Она таки явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина! Не побоялась такого путешествия! А теперь и поминай ее как звали!

– Что? Принцесса, египетская принцесса из рода фей здесь?! Ну, говори же! Ты знаешь, как вредно заставлять меня ждать, когда я сижу на яйцах!

– Видишь, она, значит, поверила докторам, которые сказали, что болотный цветок исцелит ее больного отца, – помнишь, ты сама рассказывала мне? – и прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с двумя другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть! Ну, прилететь-то она прилетела, да и нет ее!

– Ах, как ты тянешь! – сказала аистиха. – Ведь яйца могут остыть! Мне вредно так волноваться!

– Я видел все собственными глазами! – продолжал аист. – Сегодня вечером хожу это я в тростнике, где трясина понадежнее, смотрю, летят три лебедки. Но видна птица по полету! Я сейчас же сказал себе: гляди в оба, это не настоящие лебедки, они только нарядились в перья! Ты ведь такая же чуткая, женка! Тоже сразу видишь, в чем дело!

– Это верно! – сказала аистиха. – Ну, рассказывай же про принцессу, мне уж надоели твои перья!

– Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподымись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его! Там-то, на поросшей тростником трясине, лежал большой ольховый пенек. Лебедки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом; потом одна из них сбросила с себя лебедины перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные черные волосы одели ее, как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за ее перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померещился ей под водою. Те пообещали, схватили ее оперение в клювы и взвились с ним в воздух. «Эге! Зачем же это?» – подумал я. Должно быть, и она спросила их о том же. Ответ был яснее ясного. Они взвились в воздух и крикнули ей сверху: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой! Не видать родины! Сиди в болоте!» –

и расщипали перья в клочки! Пушинки так и запорхали в воздухе, словно снежинки, а гадкие принцессы улетели!



– Какой ужас! – сказала аистиха. – Сил нет слушать!.. Ну а что же дальше-то?

– Принцесса принялась плакать и убиваться! Слезы так и бежали ручьями на ольховый пенёк, и вдруг он зашевелился! Это был сам болотный царь – тот, что живет в трясине. Я видел, как пенёк повернулся, глядь – уж это не пенёк! Он протянул свои длинные, покрытые тиной ветви-руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, прыгнула и пустилась бежать по трясине. Да где! Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей! Она сейчас же провалилась вниз, а за ней и болотный царь. Он-то и втянул ее туда! Только пузыри пошли по воде, и – все! Теперь принцесса похоронена в болоте. Не вернуться ей с цветком на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, женушка!

– Тебе бы и не следовало рассказывать мне таких историй! Ведь это может повлиять на яйца!.. А принцесса выпутается из беды! Ее-то уж выручат! Вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда бы – пиши пропало!

– Я все-таки буду настороже! – сказал аист и так и сделал.

Прошло много времени.

Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зеленый стебелек; потом на поверхности воды показался листочек; он рос, становился все шире и шире. Затем выплынул из воды бутон, и, когда аист пролетал над болотом, он под лучами солнца распустился, и аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что аист сначала и принял ее за самую принцессу, которая опять стала маленькою, но, подумав хорошенько, решил, что, вернее, это дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежала в кувшинке.

«Нельзя же ей тут оставаться! – подумал аист. – А в нашем гнезде нас и без того много! Постой, придумал! У жены викинга нет детей, а она часто говорила, что ей хочется иметь малютку. Меня все равно обвиняют, что я приношу в дом ребятишек, так вот я и взаправду притащу эту девочку жене викинга, то-то обрадуется!»

И аист взял малютку, полетел к дому викинга, проткнул в оконном пузыре клювом отверстие, положил ребенка возле жены викинга, а

потом вернулся в гнездо и рассказал обо всем жене. Птенцы тоже слушали – они уж подросли.

– Вот видишь, принцесса-то не умерла – прислала сюда свою дочку, а я ее пристроил! – закончил свой рассказ аист.

– А что я твердила тебе с первого же раза? – отвечала аистиха. – Теперь, пожалуйста, подумай и о своих детях. Отлет-то ведь на носу! У меня даже под крыльями чесаться начинает. Кукушки и соловьи уже улетели, а перепелки поговаривают, что скоро начнет дуть попутный ветер. Птенцы наши постоят за себя на маневрах, насколько я их знаю!

И обрадовалась же супруга викинга, найдя утром у своей груди крошечную прелестную девочку! Она принялась целовать и ласкать малютку, но та начала кричать и отбиваться ручонками и ножонками: ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она, наконец, уснула, и тогда нельзя было не залюбоваться прелестным ребенком! Жена викинга не помнила себя от радости; на душе у нее стало так легко и весело, – ей пришло на ум, что и супруг ее с дружиной явится так же неожиданно, как малютка. И вот она поставила на ноги весь дом, чтобы успеть подготовиться к приему желанных гостей. По стенам развешали ковры собственной ее работы и работы ее служанок, затканые изображениями языческих богов и богинь – Одина, Тора и Фрейи. Рабы чистили старые щиты и тоже украшали ими стены; по скамьям были разложены мягкие подушки, а на очаг, находившийся посреди главного покоя, навалили груды сухих поленьев, чтобы сейчас же можно было развести огонь. Под вечер жена викинга так устала от всех этих хлопот, что уснула как убитая.

Проснувшись рано утром, еще до восхода солнышка, она страшно перепугалась: девочка ее исчезла! Она вскочила, засветила лучину и осмотрелась: в ногах постели лежала не малютка, а большая противная жаба. Жена викинга в порыве отвращения схватила тяжелый железный дверной болт и хотела убить животное, но оно устремило на нее такой странный, скорбный взгляд, что она не решилась его ударить. Еще раз осмотрелась она кругом; жаба испустила тихое жалостное кваканье; тогда жена викинга отскочила от постели к отверстию, заменявшему окно, и распахнула деревянную ставню. В эту минуту как раз вошло солнце; лучи его упали на постель и на жабу... В то же мгновение широкий рот чудовища сузился, стал маленьким, хорошеньким ротиком, все тело вытянулось

и преобразилось – перед женой викинга очутилась ее красавица дочка, жабы же как не бывало.

– Что это? – сказала жена викинга. – Не злой ли сон приснился мне? Ведь тут лежит мое ненаглядное дитя, моя маленькая эльфа!

И она прижала девочку к сердцу, осыпая поцелуями, но та кусалась и царапалась, как дикий котенок.

Не в этот день и не на другой вернулся сам викинг, хотя и был уже на пути домой. Задержал его противный ветер, который теперь помогал аистам, а им надо было лететь на юг. Да, один и тот же ветер, попутный одному, может быть противным другому!

Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над ребенком тяготели злые чары. Днем девочка была прелестна, как эльфа, но отличалась злым, необузданным нравом, а ночью становилась отвратительной жабой, но с кротким и грустным взглядом. В девочке как бы соединялись две натуры: днем ребенок, подкинутый жене викинга аистом, наружностью был весь в мать, египетскую принцессу, а характером в отца; ночью же, наоборот, внешностью был похож на последнего, а в глазах светились душа и сердце матери. Кто мог снять с ребенка злые чары? Жена викинга и горевала, и боялась, и все-таки привязывалась к бедному созданию все больше и больше. Она решила ничего не говорить о колдовстве мужу: тот, по тогдашнему обычаю, велел бы выбросить бедного ребенка на проезжую дорогу – пусть берет кто хочет. А жене викинга жаль было девочку, и она хотела устроить так, чтобы супруг ее видел ребенка только днем.

Однажды утром над замком викинга раздалось шумное хлопанье крыльев: на крыше отдыхали ночью, после дневных маневров, сотни пар аистов, а теперь все они взлетели на воздух, чтобы пуститься в дальний путь.

– Все мужья готовы! – прокричали они. – Жены с детьми тоже!

– Как нам легко! – говорили молодые аисты. – Так и щекочет у нас внутри, будто нас набили живыми лягушками! Мы отправляемся за границу! Вот счастье-то!

– Держитесь стаей! – говорили им отцы и матери. – Да не болтайте так много – вредно для груди!

И все полетели.

В ту же минуту над степью прокатился звук рога: викинг с дружиной пристал к берегу. Они вернулись с богатою добычей от

берегов Галлии, где, как и в Британии, народ в ужасе молился: «Боже, храни нас от диких норманнов!»

Жизнь закипела в замке викинга! В главный покой вкатили целую бочку меда; запылал костер, закололи лошадей, готовился пир на весь мир. Главный жрец окропил теплою лошадиною кровью всех рабов. Сухие дрова затрещали, дым столбом повалил к потолку, с балок сыпалась на пирующих мелкая сажа, но к этому им было не привыкать стать. Гостей богато одарили; раздоры, вероломство – все было забыто; мед лился рекою; подвыпившие гости швыряли друг в друга обглоданными костями в знак хорошего расположения духа. Скальд, нечто вроде нашего певца и музыканта, но бывший в то же время и воином, который сам участвовал в походе и потому знал, о чем поет, пропел песню об одержанных ими в битвах славных победах. Каждый стих сопровождался припевом: «Имущество, родные, друзья, сам человек – все минет, все умрет; не умирает одно славное имя!» Тут все принимались бить в щиты и стучать ножами или обглоданными костями по столу; стон стоял в воздухе. Жена викинга сидела на почетном месте, разодетая, в шелковом платье; на руках ее красовались золотые запястья, на шее – крупные янтари. Скальд не забывал прославить и ее, воспел и сокровище, которое она только что подарила своему супругу. Последний был в восторге от прелестного ребенка; он видел девочку только днем во всей ее красе. Дикость ее нрава тоже была ему по душе. Из нее выйдет, сказал он, смелая воительница, которая сумеет постоять за себя. Она и глазом не моргнет, если опытная рука одним взмахом острого меча сбреет у нее в шутку густую бровь!

Бочка с медом опустела, вкатили новую – в те времена люди умели пить! Правда, и тогда уже была известна пословица: «Скотина знает, когда пора оставить пастбище и вернуться домой, а неразумный человек не знает меры в еде!» Знать-то каждый знал, но ведь знать – одно, а применять знание к делу – другое. Знали все и другую пословицу: «И дорогой гость надоест, коли засидится не в меру», и все-таки сидели себе да сидели: мясо да мед – славные вещи! Веселье так и кипело! Ночью рабы, растянувшись на теплой золе, раскапывали жирную сажу и облизывали пальцы. То-то хорошее было времечко!

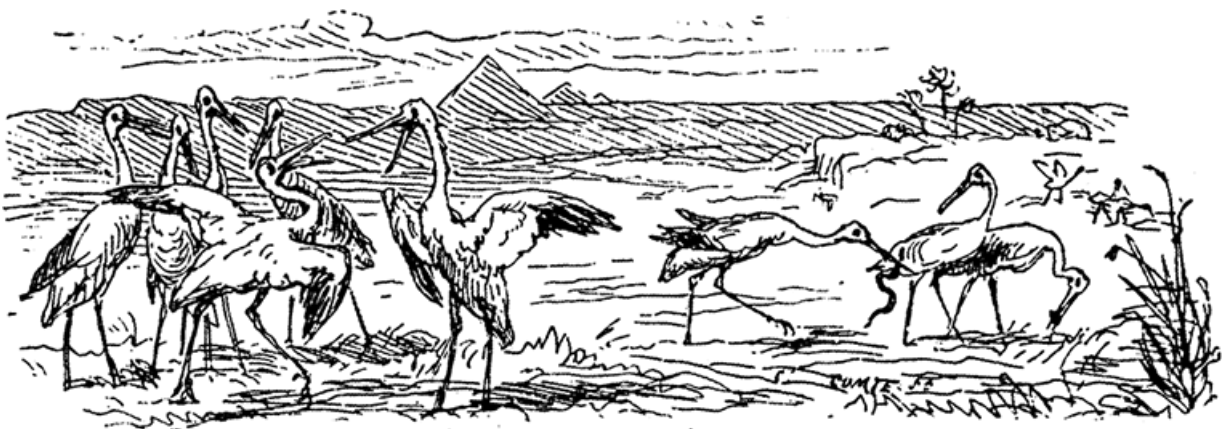
В этом же году викинг еще раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Но он собирался нагреться с дружиной на берега



Британии, а туда ведь было рукой подать. «Только через море махнуть», – сказал он. Супруга его опять осталась дома одна с малюткою, и скоро безобразная жаба с кроткими глазами, испускавшая такие глубокие вздохи, стала ей почти милее дикой красавицы, отвечавшей на ласки царапинами и укусами.

Седой осенний туман, «беззубый дед», как его называют, все-таки обгладывающий листву, окутал лес и степь. Бесперые птички-снежинки густо запорхали в воздухе; зима глядела во двор. Воробьи завладели гнездами аистов и судили да рядили о бывших владельцах. А где же были сами владельцы, где был наш аист со своею аистихой и птенцами?

Аисты были в Египте, где в это время солнышко светило и грело, как у нас летом. Тамаринды и акации стояли все в цвету; на куполах храмов сверкали полумесяцы; стройные минареты были облеплены аистами, отдохавшими после длинного перелета. Гнезда их лепились одно возле другого на величественных колоннах и полуразрушившихся арках заброшенных храмов. Финиковые пальмы высоко подымали свои верхушки, похожие на зонтики. Темными силуэтами рисовались сероватые пирамиды в прозрачном голубом воздухе пустыни, где щеголяли быстротою своих ног страусы, а лев посматривал большими умными глазами на мраморного сфинкса, наполовину погребенного в песке. Нил снова вошел в берега, которые так и кишели лягушками, а уж приятнее этого зрелища для аистов и быть не могло. Молодые аисты даже глазам своим верить не хотели – уж больно хорошо было!



– Да, вот как тут хорошо и всегда так бывает! – сказала аистиха, и у молодых аистов даже в брюшке защекотало.

– А больше мы уж ничего тут не увидим? – спрашивали они. – Мы разве не отправимся туда, в глубь, в самую глубь страны?

– Там нечего смотреть! – отвечала аистиха. – За этими благословенными берегами – лишь дремучий лес, где деревья растут чуть не друг на друге и опутаны ползучими растениями. Одни толстоногие слоны могут пролагать там себе дорогу. Змеи же там чересчур велики, а ящерицы – прытки. Если же вздумаете пробраться в пустыню, вам засыплет глаза песком, и это еще будет милостиво, а то прямо попадете в песочный вихрь! Нет, здесь куда лучше! Тут и лягушек и саранчи вдоволь! Я останусь тут и вы со мною!

Они и остались. Родители сидели в гнездах на стройных минаретах, отдыхали, охорашивались, разглаживали себе перья и обтирали клювы о красные чулки. Покончив со своим туалетом, они вытягивали шеи, величественно раскланивались и гордо подымали голову с высоким лбом, покрытую тонкими плянцевитыми перьями; умные карие глаза их так и сверкали. Молоденькие барышни-аистихи степенно прохаживались в сочном тростнике, поглядывали на молодых аистов, знакомились и чуть не на каждом шагу плотали по лягушке, а иногда забирали в клюв змейку и ходили да помахивали ею – это очень к ним шло, думали они, а уж вкусно-то как было!.. Молодые аисты заводили ссоры и раздоры, били друг друга крыльями, кусались – даже до крови! Потом, глядишь, то тот, то другой из них становился женихом, а барышни одна за другою невестами; все они для этого только ведь и жили. Молодые парочки принимались вить себе гнезда, и тут опять не обходилось без ссор и драк – в жарких странах все становятся такими горячими, – ну а вообще-то жизнь текла очень приятно, и старики жили да радовались на молодых: молодежи все к лицу! Изо дня в день светило солнышко, в еде недостатка не было – есть не хочу, живи да радуйся, вот и вся забота.

Но в роскошном дворце египетского хозяина, как звали его аисты, радостного было мало.

Могущественный владыка лежал в огромном покое с расписными стенами, похожими на лепестки тюльпана; руки, ноги его не слушались, он высох, как мумия. Родственники и слуги окружали его ложе. Мертвым его еще назвать было нельзя, но и живым тоже.

Надежда на исцеление посредством болотного цветка, за которым полетела на далекий север та, что любила его больше всех, была теперь потеряна. Не дожидаясь владыке своей юной красавицы дочери! «Она погибла!» – сказали две вернувшиеся на родину принцессы-лебедки. Они даже сочинили о гибели своей подруги целую историю:

– Мы все три летели по воздуху, как вдруг заметил нас охотник и пустил стрелу. Она попала в нашу подружку, и бедная медленно, с прощальною лебединою песнью, опустилась на воды лесного озера. Там, на берегу, под душистою плакучею березой, мы и схоронили ее. Но мы отомстили за ее смерть: привязали к хвостам ласточек, живших под крышей избушки охотника, пучки зажженной соломы, – избушка сгорела, а с нею и сам хозяин ее. Зарево пожара осветило противоположный берег озера, где росла плакучая березка, под которой покоилась в земле наша подруга. Да, не видать ей больше родимой земли!

И обе заплакали. Аист, услышав их речи, защелкал от гнева клювом.

– Ложь, обман! – закричал он. – Ох, так бы и вонзил им в грудь свой клюв!

– Да и сломал бы его! – заметила аистиха. – Хорош бы ты был тогда! Думай-ка лучше о себе самом да о своем семействе, а все остальное побоку!

– Я все-таки хочу завтра усесться на краю открытого купола того покоя, где соберутся все ученые и мудрецы совещаться о больном. Может быть, они и доберутся до истины!

Ученые и мудрецы собрались и завели длинные разговоры, из которых аист не понял ни слова; да не много толку вышло из них и для самого больного, не говоря уже о его дочери. Но послушать речи ученых нам все же не мешает – мало ли что приходится слушать!

Вернее, впрочем, будет послушать и узнать кое-что из предыдущего, тогда мы поближе познакомимся со всею историей; во всяком случае, узнаем из нее не меньше аиста.

«Любовь – родоначальница жизни! Высшая любовь рождает и высшую жизнь! Лишь благодаря любви может больной возродиться к жизни!» Вот что изрекли мудрецы, когда дело шло об исцелении больного владыки; изречение было необыкновенно мудро и хорошо изложено – по уверению самих мудрецов.

– Мысль недурна! – сказал тогда же аист аистихе.

– А я что-то не возьму ее в толк! – ответила та. – И уж конечно это не моя вина, а ее! А впрочем, меня все это мало касается; у меня есть о чем подумать и без того!

Потом ученые принялись толковать о различных видах любви: любовь влюбленных отличается ведь от любви, которую чувствуют друг к другу родители и дети, или от любви растения к свету – говорили, что солнечный луч целует тину и из нее выходит росток. Речи их отличались такою глубиной и ученостью, что аист был не в силах даже следить за ними, не то что пересказать их аистихе. Он совсем призадумался, прикрыл глаза и простоял так на одной ноге весь день. Ученость была ему не по плечу.

Зато аист отлично понял, что болезнь владыки была для всей страны и народа большим несчастьем, а исцеление его, напротив, было бы огромным счастьем, – об этом толковал весь народ, все от мала до велика. «Но где же растет целебный цветок?» – спрашивали все друг у друга, рылись в ученых рукописях, старались прочесть о том по звездам, спрашивали у всех четырех ветров – словом, добивались нужных сведений всевозможными путями, но все напрасно. Тут-то ученые и мудрецы, как сказано, и изрекли: «Любовь – родоначальница жизни; она же возродит к жизни и владыку!» В этом был глубокий смысл, и хоть сами они его до конца не понимали, но все-таки повторили его еще раз и даже написали вместо рецепта: «Любовь – родоначальница жизни!» Но как же приготовить по этому рецепту лекарство? Да, вот тут-то все и стали в тупик. В конце концов все единогласно решили, что помощи должно ожидать от молодой принцессы, так горячо, так искренне любившей отца. Затем додумались и до того, как следовало поступить принцессе. И вот ровно год тому назад, ночью, когда серп новорожденной луны уже скрылся, принцесса отправилась в пустыню к мраморному сфинксу, отгребла песок от двери, что находилась в цоколе, и прошла по длинному коридору внутрь одной из больших пирамид, где покоилась мумия древнего фараона, – принцесса должна была склониться головой на грудь умершего и ждать откровения.

Она исполнила все в точности, и ей было открыто во сне, что она должна лететь на север, в Данию, к глубокому болоту – место было

обозначено точно – и сорвать там лотос, который коснется ее груди, когда она нырнет в глубину. Цветок этот вернет жизнь ее отцу.

Вот почему принцесса и полетела в лебедином оперении на Дикое болото. Все это аист с аистихой давно знали, а теперь знаем и мы получше, чем раньше. Знаем мы также, что болотный царь увлек бедную принцессу на дно трясины и что дома ее уже считали погибшею навеки. Но мудрейший из мудрецов сказал то же, что и аистиха: «Она выпутается из беды!» Ну и решили ждать – иного ведь ничего и не оставалось.

– Право, я стащу лебединые оперения у этих мошенниц, – сказал аист. – Тогда небось не прилетят больше на болото да не выкинут еще какой-нибудь штуки! Перья же их я припрячу там на всякий случай!

– Где это там? – спросила аистиха.

– В нашем гнезде, близ болота! – ответил аист. – Наши птенцы могут помочь мне перенести их; если же будет чересчур тяжело, то ведь по дороге найдутся места, где их можно припрятать до следующего перелета в Данию. Принцессе хватило бы и одного оперения, но два все-таки лучше: на севере не худо иметь в запасе лишнюю одежду.

– Тебе и спасибо-то за все это не скажут! – заметила аистиха. – Но ты ведь глава семьи! Я имею голос, лишь когда сижу на яйцах!

Девочка, которую приютили в замке викинга близ Дикого болота, куда каждую весну прилетали аисты, получила имя Хельга, но это имя было слишком нежным для нее. В прекрасном теле обитала жестокая душа. Месяцы шли за месяцами, годы за годами, аисты ежегодно совершали те же перелеты: осенью к берегам Нила, весною к Дикому болоту, а девочка все подрастала; не успели опомниться, как она стала шестнадцатилетнею красавицей. Прекрасна была оболочка, но жестко самое ядро.

Хельга поражала своею дикостью и необузданностью даже в те суровые, мрачные времена. Она тешилась, купая руки в теплой, дымящейся крови только что зарезанной жертвенной лошади, перекусывала в порыве дикого нетерпения горло черному петуху, приготовленному в жертву богам, а своему приемному отцу сказала однажды совершенно серьезно:

– Приди ночью твой враг, поднимись по веревке на крышу твоего дома, сними самую крышу над твоим покоем, я бы не разбудила тебя, если бы даже могла! Я бы не слышала ничего – так звенит еще в моих ушах пощечина, которую ты дал мне много лет тому назад! Я не забыла ее!

Но викинг не поверил, что она говорит серьезно; он, как и все, был очарован ее красотой и не знал ничего о двойственности ее души и внешней оболочки. Без седла скакала Хельга, словно приросшая, на диком коне, мчавшемся во весь опор, и не соскакивала на землю, даже если конь начинал грызться с дикими лошадьми. Не раздеваясь бросалась она с обрыва в быстрый фьорд и плыла навстречу ладье викинга, направлявшейся к берегу. Из своих густых, чудных волос она вырезала самую длинную прядь и сплела из нее тетиву для лука.

– Все надо делать самой! Лучше выйдет! – говорила она.

Годы и привычка закалили душу и волю жены викинга, и все же в сравнении с дочерью она была просто робкою, слабою женщиной. Но она-то знала, что виной всему были злые чары, тяготевшие над ужасною девушкой.

Хельга часто доставляла себе злое удовольствие помучить мать: увидав, что та вышла на крыльцо или на двор, она садилась на самый край колодца и сидела там, болтая руками и ногами, потом вдруг бросалась в узкую, глубокую яму, ныряла с головой, опять выплывала и опять ныряла, точно лягушка, затем с ловкостью кошки выкарабкивалась наверх и являлась в главный покой замка вся мокрая; потоки воды бежали с ее волос и платья на пол, смывая и унося устилавшие его зеленые листья.

Одно только немного сдерживало Хельгу – наступление сумерек.

Под вечер она утихала, словно задумывалась, и даже слушалась матери, к которой влекло ее какое-то инстинктивное чувство. Солнце заходило, и превращение совершалось: Хельга становилась тихою, грустною жабою и, съежившись, сидела в уголке. Тело ее было куда больше, чем у обыкновенной жабы, и тем ужаснее на вид. Она напоминала скорее уродливую карлицу с головой жабы и плавательною перепонкой между пальцами. В глазах светилась кроткая грусть, из груди вылетали жалобные звуки, похожие на всхлипывание ребенка во сне. В это время жена викинга могла брать

ее к себе на колени и невольно забывала все ее уродство, глядя в эти печальные глаза.

– Право, я готова желать, чтобы ты всегда оставалась моею бессловесною дочкой-жабой! – нередко говорила она. – Ты куда ужаснее, когда бываешь в обличье красавицы!

И она чертила руны, разрушающие чары и исцеляющие недуги, и перебрасывала их через голову несчастной, но толку не было.

– Кто бы поверил, что она умещалась когда-то в чашечке кувшинки! – сказал аист. – Теперь она совсем взрослая и лицом – вылитая мать, египетская принцесса. А ты мы так и не видали больше! Не удалось ей, видно, выпутаться из беды, как вы с мудрецом предсказывали. Я из года в год то и дело летаю над болотом вдоль и поперек, но она до сих пор не подала ни малейшего признака жизни! Да уж поверь мне, я знаю, о чем говорю! Все эти годы я ведь прилетал сюда раньше тебя, чтобы починить наше гнездо, поправить кое-что, и целые ночи напролет – словно я филин или летучая мышь – летал над болотом, да все без толку! И два лебединых оперения, что мы с таким трудом в три перелета перетащили сюда, негодились! Вот уж сколько лет они лежат без пользы в нашем гнезде. Случись пожар, загорись этот бревенчатый дом – от них не останется и следа!

– И от гнезда нашего тоже! – сказала аистиха. – Но о нем ты думаешь меньше, чем об этих перьях да о болотной принцессе! Отправлялся бы уж и сам к ней в трясину. Дурной ты отец семейства! Я говорила это еще в ту пору, когда в первый раз сидела на яйцах! Вот подожди, эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелою! Она ведь сама не знает, что делает! А мы-то здесь подольше живем, чем она, – хоть бы об этом помнила! И повинности наши мы уплачиваем честно: перо, яйцо и одного птенца в год, как положено! Думаешь, мне придет теперь в голову слететь вниз, во двор, как бывало в старые годы или как и нынче в Египте, где я держусь на дружеской ноге со всеми, – нисколько не забываясь, впрочем, – и сую нос во все горшки и котлы? Нет, здесь я сижу в гнезде да злюсь на эту девчонку! И на тебя тоже! Оставил бы ее в кувшинке, пусть бы себе погибла!

– Ты гораздо добрее в душе, чем на словах! – сказал аист. – Я тебя знаю лучше, чем ты сама!

И он подпрыгнул, тяжело взмахнул два раза крыльями, вытянул ноги назад, распустил оба крыла, точно паруса, и полетел так, набирая высоту; потом опять сильно взмахнул крыльями и опять поплыл по воздуху. Солнце играло на белых перьях, шея и голова вытянулись вперед... Вот это был полет!

– Он и до сих пор красивее всех! – сказала аистиха. – Но ему-то я об этом не скажу!

В эту осень викинг вернулся домой рано. Много добычи и пленных привез он с собою. В числе пленных был молодой христианский священник, один из тех, что отвергали богов древнего севера. В последнее время в замке викинга – и в главном покое, и на женской половине – то и дело слышались разговоры о новой вере, которая распространилась по всем странам юга и благодаря святому Ансгарию проникла даже сюда, на север. Хельга тоже слышала о вере в белого Христа, пожертвовавшего собою из любви к людям и ради их спасения. Она все эти рассказы, как говорится, в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Слово «любовь» находило доступ в ее душу лишь в те минуты, когда она в образе жабы сидела, съежившись, в запертой комнате. Но жена викинга чутко прислушивалась к рассказам и преданиям, ходившим о сыне единого истинного Бога, и они будили в ней новые чувства.

Воины, вернувшись домой, рассказывали о великолепных храмах, высеченных из драгоценного камня и воздвигнутых в честь того, чьим заветом была любовь. Они привезли с собой и два тяжелых золотых сосуда искусной работы, из которых исходил какой-то удивительный аромат.

Это были две кадила, которыми кадили христианские священники перед алтарями, никогда не окроплявшимися кровью. На этих алтарях вино и хлеб превращались в кровь и тело Христовы, принесенные им в жертву ради спасения всех людей – даже не родившихся еще поколений.

Молодого священника связали по рукам и ногам веревками из лыка и посадили в глубокий, сложенный из камней подвал замка. Как он был прекрасен! «Словно сам Бальдр!» – сказала жена викинга, тронутая бедственным положением пленника, а Хельге хотелось,



чтобы ему продернули под коленками толстые веревки и привязали к хвостам диких быков.

– Я бы выпустила на них собак: то-то бы травля пошла! По лесам, по болотам, прямо в степь! Любо! А еще лучше – самой нестись за ними по пятам!

Но викинг готовил пленнику иную смерть: христианин, как отрицатель и поноситель могучих богов, был обречен в жертву этим самым богам. На жертвенном камне, в священной роще, впервые должна была пролиться человеческая кровь.

Хельга выпросила позволение обрызгать кровью жертвы изображения богов и народ, отточила свой нож и потом с размаху всадила его в бок пробегавшей мимо огромной свирепой дворовой собаке.

– Для пробы! – сказала она, а жена викинга сокрушенно поглядела на дикую, злую девушку.

Ночью, когда красота и безобразие Хельги, по обыкновению, поменялись местами, мать обратилась к ней со словами горячей укоризны, которые сами собою вырвались из наболевшей души. Безобразная, похожая на тролля жаба устремила на нее свои печальные карие глаза и, казалось, понимала каждое слово, как разумный человек.

– Никогда и никому, даже супругу моему, не проговорила я о том, что терплю из-за тебя! – говорила жена викинга. – И сама не думала я, что так жалею тебя! Велика, видно, любовь материнская, но твоя душа не знает любви! Сердце твое похоже на холодную тину, из которой ты явилась в мой дом!

Безобразное создание задрожало, как будто эти слова затронули какие-то невидимые нити, соединявшие тело с душой; на глазах жабы выступили крупные слезы.

– Настанет время и твоего испытания! – продолжала жена викинга. – Но много горя придется тогда изведать и мне!.. Ах, лучше бы выбросили мы тебя на проезжую дорогу, когда ты была еще крошкой; пусть бы ночной холод усыпил тебя навеки!

Тут жена викинга горько заплакала и ушла, полная гнева и печали, за занавеску из звериной шкуры, подвешенной к балке и заменявшей перегородку.

Жаба, съежившись, сидела в углу одна; мертвая тишина прерывалась лишь ее тяжелыми, подавленными вздохами; казалось, в глубине сердца жабы с болью зарождалась новая жизнь. Вдруг она сделала шаг к дверям, прислушалась, потом двинулась дальше, схватилась своими беспомощными лапами за тяжелый дверной болт и тихонько выдвинула его из скобы. В горнице стоял зажженный ночник; жаба взяла его и вышла за двери; казалось, чья-то могучая воля влекла ее вперед. Вот она вынула железный болт из скобы, прокралась к спавшему пленнику и дотронулась до него своею холодною, липкою лапой. Пленник проснулся, увидел безобразное животное и задрожал, словно перед наваждением злого духа. Но жаба перерезала ножом связывавшие его веревки и сделала ему знак следовать за нею.



Пленник сотворил молитву и крестное знамение – наваждение не исчезало; тогда он произнес:

– Блажен, кто разумно относится к малым сим, – Господь спасет его в день несчастья!.. Но кто ты? Как может скрываться под оболочкой животного сердце, полное милосердного сострадания?

Жаба опять кивнула головой, провела пленника по уединенному проходу между спускавшимся с потолка до полу коврами в конюшню и указала на одну из лошадей. Пленник вскочил на лошадь, но вслед за ним вскочила и жаба и примостилась впереди него, уцепившись за гриву лошади. Пленник понял ее намерение и пустил лошадь вскачь по окольной дороге, которой никогда бы не нашел один.

Скоро он забыл безобразие животного, понял, что чудовище было орудием милости Божьей, и из уст его полились молитвы и священные псалмы. Жаба задрожала – под влиянием ли молитвы или от утреннего предрассветного холодка? Что ощущала она – неизвестно, но вдруг приподнялась на лошади, как бы желая остановить ее и спрыгнуть на землю. Христианин силою удержал жабу и продолжал громко петь псалом, как бы думая победить им злые чары. Лошадь понеслась еще быстрее: небо заалело, и вот первый луч солнца прорвал облако и брызнул на путников. В ту же минуту произошло превращение: жаба стала молодой красавицей с демонски злою душой! Молодой христианин увидел, что держит в объятиях красавицу девушку, испугался, остановил лошадь и соскочил на землю, думая, что перед ним новое наваждение. Но и Хельга в один прыжок очутилась на земле; короткое платье едва доходило ей до колен; выхватив из-за пояса нож, она бросилась на остолебеневшего христианина.

– Постой! – крикнула она. – Постой, я проколю тебя ножом насквозь. Ишь побледнел, как солома! Раб! Безбородый!

Между нею и пленником завязалась борьба, но молодому христианину, казалось, помогали невидимые силы. Он крепко стиснул руки девушки, а старый дуб, росший у дороги, помог ему одолеть ее окончательно: Хельга запуталась ногами в узловатых, переплетающихся корнях дуба, вылезших из земли. Христианин крепко охватил ее руками и повлек к протекавшему тут же источнику. Окропив водою грудь и лицо девушки, он произнес заклинание против

нечистого духа, сидевшего в ней, и осенил ее крестным знамением, но одно наружное крещение водою не имеет настоящей силы, если душа не омыта внутренним источником веры.

И все-таки во всех действиях и словах христианина, совершавшего таинство, была какая-то особая, сверхчеловеческая сила, которая и покорила Хельгу. Она опустила руки и удивленными глазами, вся бледная от волнения, смотрела на молодого человека. Он казался ей могущественным волшебником, посвященным в тайную науку. Он ведь чертил над ней таинственные знаки, творил заклинания! Она не моргнула бы глазом перед занесенным над ее головой блестящим топором или острым ножом, но когда он начертил на ее челе и груди знак креста, она закрыла глаза, опустила голову на грудь и присмирела, как прирученная птичка.

Тогда он кротко заговорил с нею о подвиге любви, совершенном ею в эту ночь, когда она в образе отвратительной жабы явилась освободить его от уз и вывести из мрака темницы к свету и жизни. Но сама она, говорил он, опутана еще более крепкими узами, и теперь его очередь освободить ее и вывести к свету и жизни. Он повезет ее в Хедебю, к святому Ансгарии, и там, в этом христианском городе, чары с нее будут сняты. Но он уже не смел везти ее на лошади перед собою, хотя она и покорила ему.

– Ты сядешь позади меня, а не впереди! Твоя красота обладает злою силой, и я боюсь ее! Но с помощью Христа победа все-таки будет на моей стороне.

Тут он преклонил колени и горячо помолился; безмолвный лес как будто превратился в святой храм: словно члены новой паствы, запели птички; дикая мята струила аромат, как бы желая заменить ладан. Громко прозвучали слова Священного Писания: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет!»

И он стал говорить девушке о духовной тоске, о стремлении к высшему всей природы, а ретивый конь в это время стоял спокойно, пощипывая листики ежевики; сочные, спелые ягоды падали в руку Хельги, как бы предлагая ей утолить ими жажду.



И девушка покорно дала христианину усадить себя на круп лошади; Хельга была словно во сне. Христианин связал две ветви наподобие креста и высоко поднял его перед собою. Затем они продолжали путь по лесу, который все густел и густел, дорожка становилась все уже и уже, а где и вовсе пропадала. Терновые кусты преграждали путь, точно опущенные шлагбаумы; приходилось объезжать их. Источник превратился не в быстрый ручей, а в стоячее болото; и его надо было объехать. В лесной чаще веяло отрадною, подкрепляющею и

освежающею душу прохладой, но не меньше подкрепляли и освежали душу кроткие, дышащие верою и любовью речи христианина, воодушевленного желанием вывести заблудшую из мрака к свету и жизни.

Говорят, дождевая капля долбит твердый камень, волны морские обтачивают и округляют оторванные обломки скал – роса Божьего милосердия, окропившая душу Хельги, также продолбила ее жесткую оболочку, сгладила шероховатости. Но сама Хельга еще не отдавала себе отчета в том, что в ней совершается: ведь и едва выплывший из земли росток, впивая благотворную влагу росы и поглощая теплые лучи солнышка, тоже мало ведает о заложенном в нем семени жизни и будущем плоде.

И как песня матери незаметно западает в душу ребенка, ловящего одни отдельные слова, не понимая их смысла, который станет ему ясным лишь с годами, так западали в душу Хельги и животворные слова христианина.

Вот они выехали из леса в степь, потом опять углубились в дремучий лес и под вечер встретили разбойников.

– Где ты подцепил такую красотку? – закричали они, остановили лошадь и стащили всадника и всадницу; сила была на стороне разбойников.

У христианина для защиты был лишь нож, который он вырвал в борьбе у Хельги. Один из разбойников замахнулся на него топором, но молодой человек успел отскочить в сторону, иначе был бы убит на месте. Топор глубоко врезался в шею лошади; кровь хлынула ручьем, и животное упало. Тут Хельга словно очнулась от глубокой задумчивости и припала к издыхающей лошади. Христианин тотчас заслонил девушку собою, но один из разбойников раздробил ему голову секирой. Кровь и мозг брызнули во все стороны, и молодой священник пал мертвым.

Разбойники схватили Хельгу за белые руки, но в эту минуту солнце закатилось и она превратилась в безобразную жабу. Бледно-зеленый рот растянулся до самых ушей, руки и ноги стали тонкими и липкими, а кисти рук превратились в веерообразные лапы с перепонкой между пальцами. Разбойники в ужасе выпустили ее. Безобразная тварь постояла перед ними с минуту, затем, как и следует лягушке, высоко подпрыгнула и скрылась в лесной чаще. Разбойники

поняли, что это или Локи сыграл с ними злую шутку, или перед ними совершилось страшное колдовство, и в ужасе убежали прочь.

Полный месяц осветил окрестность, и безобразная жаба выползла из кустов. Она остановилась перед трупами христианина и коня и долго смотрела на них полными слез глазами; из груди ее вырвалось тихое кваканье, похожее на всхлипывание ребенка. Потом она начала бросаться то к тому, то к другому, черпала своею глубокою перепончатою горстью воду и брызгала на убитых. Но мертвых не воскресишь! Она поняла это. Скоро набегут дикие звери и растерзают их тела! Нет, не бывать этому! Она выроет для них такую глубокую могилу, какую только сможет. Но у нее не было никаких орудий, кроме толстого обломка ветви да своих перепончатых лап, которые плохо рыли землю. В пылу работы она разорвала перепонку; из лап полилась кровь. Тут она поняла, что ей не справиться с работою; она опять зачерпнула воды и обмыла лицо мертвого; затем прикрыла тела свежими зелеными листьями, на них набросала больших ветвей, сверху еще листьев, на все это навалила тяжелых камней, какие только в силах была поднять, а все отверстия между ними заткнула мхом. Она надеялась, что под таким могильным курганом тела будут в безопасности. За эту тяжелую работу прошла вся ночь; выпянуло солнышко, и Хельга опять превратилась в красавицу девушку, но руки ее были все в крови, а по розовым девичьим щекам в первый раз в жизни струились слезы.

В первую минуту по превращении в ее двойственной натуре произошла борьба. Она задрожала всем телом и тревожно оглянулась кругом, словно только пробудясь от страшного сна, затем бросилась к стройному буку, крепко уцепилась за ветви, ища точку опоры, и в один миг, как кошка, вскарабкалась на вершину. Там она крепко примостилась на ветвях и сидела, как пугливая белка, весь день одна-одинешенька среди пустынного безмолвия леса. Пустынное безмолвие леса! Да, тут было и пустынно и безмолвно, только в воздухе кружились бабочки, не то играя, не то борясь между собою; муравьиные кучи кишмя кишели крохотными насекомыми; в воздухе плясали бесчисленные рои комаров, носились тучи жужжащих мух, божьих коровок, стрекоз и других крылатых созданий; дождевой червяк выползал из сырой почвы; кроты выбрасывали комья земли, — словом, тихо и пустынно здесь было лишь в том смысле, в каком

принято говорить и понимать это. Никто из лесных обитателей не обращал на Хельгу внимания, кроме сорок, с криком летавших над вершиной дерева, где она сидела. Они даже перепрыгивали с ветки на ветку, подбираясь поближе к ней, – такие они смелые и любопытные! Но довольно было ей метнуть на них взгляд, и они разлетались; так им и не удалось разгадать это странное явление, да и сама Хельга не могла разгадать себя!

Перед закатом солнца предчувствие приближавшегося превращения заставило Хельгу слезть с дерева; последний луч погас, и она опять сидела на земле в виде съезжившейся жабы с разорванной перепонкою между пальцами. Но глаза безобразного животного сияли такою красотою, какую вряд ли отличались даже глаза красавицы Хельги. В этих кротких, нежных глазах светились глубоко чувствующая душа и человеческое сердце; ручьями лились из них слезы, облегчая переполненную горем душу.

На кургане лежал еще крест – последняя работа умершего христианина. Хельга взяла его, и ей сама собою пришла в голову мысль утвердить крест между камнями над курганом. При воспоминании о погребенном под ним слезы заструились еще сильнее, и Хельга, повинувшись какому-то внутреннему сердечному влечению, вздумала начертить знаки креста на земле вокруг всего кургана – вышла бы такая красивая ограда! Но едва она начертила обеими лапами первый же крест, перепонка слетела с них, как разорванная перчатка. Она омыла их в воде источника и удивленно посмотрела на свои белые тонкие руки, невольно сделала ими тот же знак в воздухе между собою и могилою, губы ее задрожали, и с языка слетело имя, которое она столько раз во время пути слышала от умершего: «Господи Иисусе Христе!»

Мгновенно оболочка жабы слетела с Хельги, и она опять стала молодою красавицей девушкой; но голова ее устало склонилась на грудь, все тело просило отдыха, она заснула.

Недолго, однако, спала она; в полночь она пробудилась: перед нею стояла убитая лошадь, полная жизни, вся окруженная сиянием; глаза ее метали пламя; из глубокой раны на шее тоже лился свет. Рядом с лошадью стоял и убитый христианин, «прекраснее самого Бальдра» – сказала бы жена викинга. Он тоже был весь окружен сиянием.



Кроткие глаза его смотрели испытующе-серьезно, как глаза праведного судии, проникающего взглядом в самые сокровенные уголки души. Хельга задрожала, память ее пробудилась мгновенно, словно в день последнего суда. Все доброе, что выпало ей на долю, каждое ласковое слово, слышанное ею, — все мгновенно ожило в ее памяти, и она поняла, что в эти дни испытаний ее, дитя живой души и мертвой тины, поддержала одна любовь. Она сознала, что повиновалась при этом лишь голосу внутреннего настроения, а сама для себя не сделала ничего. Все было ей дано, все она совершила не сама собою, а руководимая чьею-то высшею волею. Сознавая все свое ничтожество, полная стыда, смиренно преклонилась она перед тем, кто читал в глубине ее сердца. В ту же минуту она почувствовала, как зажглась в ней, как бы от удара молнии, светлая, Божественная искра, искра Духа Святого.

— Дочь тины! — сказал христианин. — Из тины, из земли ты взята, из земли же ты и восстанешь! Солнечный луч, что животворит твоё тело, сознательно стремится слиться со своим источником; но источник его не солнце, а сам Бог! Ни одна душа в мире не погибает; но медленно тянется время человеческого испытания здесь на земле, хотя вся жизнь земная и есть лишь единый миг вечности. Я явился к тебе из обители мертвых; некогда и ты совершишь тот же путь через глубокие долины в горные светлые селения, где обитают Милость и Совершенство. Я поведу тебя теперь, но не в Хедебю для восприятия крещения, — ты должна сначала прорвать пелену, стелющуюся над глубоким болотом, и освободить живой корень твоей жизни и колыбели, выполнить свое дело, прежде нежели удостоишься посвящения!

И, посадив ее на лошадь, он протянул ей золотую кадильницу, похожую на ту, что Хельга видела раньше в замке викинга; из кадильницы струился ароматный фимиам. Рана на лбу убитого христианина сияла, точно диадема. Он взял крест, возвышавшийся над курганом, и высоко поднял его перед собою; они понеслись по воздуху над шумящим лесом, над курганами, под которыми были погребены герои верхом на своих добрых конях. И могучие тени поднялись, выехали и остановились на вершинах курганов; лунный свет играл на золотых обручах, красовавшихся на лбах героев; плащи их развевались по ветру. Дракон, страж сокровищ, поднял голову и смотрел воздушным путникам вслед. Карлики выглядывали на них из

холмов, из борозд, проведенных плугом, мелькая голубыми, красными и зелеными огоньками, – словно сотни искр перебегали по золе, оставшейся после сгоревшей бумаги.

Они пролетали над лесами, степями, озерами и трясинами, направляясь к Дикому болоту. Долетев до него, они принялись реять над ним; христианин высоко поднимал крест, блестящий, точно золотой, а из уст его лились священные песнопения; Хельга вторила ему, как дитя вторит песне матери, и кадила при этом золотую кадельницей. Из кадельницы струился такой сильный, чудодейственный фимиам, что осока и тростник зацвели, а со дна болота поднялись зеленые стебли; всё, что только носило в себе зародыш жизни, пустило ростки и вышло на свет Божий. На поверхности воды раскинулся роскошный цветочный ковер из кувшинок, а на нем покоилась в глубоком сне молодая женщина дивной красоты. Хельга подумала, что видит в зеркале вод свое собственное отражение, но это была ее мать, супруга болотного царя, египетская принцесса.

Христианин повелел спящей подняться на лошадь, и та опустилась под новую тяжестью, точно свободно висящий в воздухе саван, но христианин осенил ее крестным знаменем, и тень вновь окрепла. Все трое выехали на твердую почву.



Пропел петух во дворе замка викинга, и видения рассеялись в воздухе, как туман от дуновения ветра. Мать и дочь очутились лицом к лицу.

– Не себя ли я вижу в глубокой воде? – спросила мать.

– Не мое ли это отражение в водяном зеркале? – промолвила дочь.

Они приблизились друг к другу и крепко обнялись. Сердце матери забилося сильнее, и она поняла почему.

– Мое дитя, цветок моего сердца, мой лотос из глубины вод!

И она опять обняла дочь и заплакала; эти слезы были для Хельги новым крещением, возрождавшим ее к жизни и любви.

– Я прилетела на болото в лебедином оперении и здесь сбросила его с себя! – начала свой рассказ мать. – Ступив на зыбкую почву, я погрузилась в болотную тину, которая сразу же сомкнулась над моей головой. Скоро я почувствовала приток свежей воды, какая-то неведомая сила увлекала меня все глубже и глубже; веки мои отяжелели, и я заснула... Во сне мне грезилось, что я опять внутри египетской пирамиды, но передо мной по-прежнему стоял колеблющийся ольховый пенек, который так испугал меня на

поверхности болота. Я рассматривала трещины на его коре, и они вдруг засветились и стали иероглифами – передо мной очутилась мумия. Наружная оболочка ее вдруг распалась, и оттуда выступил древний царь, покоившийся мумиею тысячи лет, черный как смоль, лоснящийся, как лесная улитка или как жирная, черная болотная грязь. Был ли передо мною сам болотный царь или мумия – я уж перестала понимать. Он обвил меня руками, и мне показалось, что я умираю. Очнулась я, почувствовав на своей груди что-то теплое; на груди у меня сидела, трепеща крылышками, птичка, щебетала и пела. Потом она взлетела с моей груди кверху, к черному, тяжелому своду, но длинная зеленая лента привязывала ее ко мне. Я поняла ее тоскливое щебетание: «На волю, на волю, к отцу!» Мне вспомнился мой отец, залитая солнцем родина, вся моя жизнь, моя любовь... И я развязала узел, отпустила птичку на волю, к отцу! С той минуты я уже не видела никаких снов и спала непробудно, пока сейчас меня не вызвали со дна болота дивные звуки и аромат!

Где же развевалась, где была теперь зеленая лента, привязывавшая птичку к сердцу матери? Видел ее лишь аист, лентой был ведь зеленый стебель, узлом – яркий цветок – колыбель малютки, которая теперь превратилась в юную красавицу девушку и опять покоилась на груди у матери.

А в то время как они стояли, обнявшись, на берегу болота, над ними кружился аист. Он быстро слетал назад, в гнездо, за спрятанными там давным-давно оперениями и бросил их матери с дочерью. Они сейчас же накинули их на себя и поднялись на воздух в виде белых лебедек.

– Теперь поговорим! – сказал аист. – Теперь мы пойдем друг друга, хотя клюв и не у всех птиц скроен одинаково!.. Хорошо, что вы явились как раз сегодня ночью: днем нас бы уж не было тут. И я, и жена, и птенцы – все улетаем поутру на юг! Я ведь старый знакомый ваш с нильских берегов! И жена моя тут же, со мною; сердце у нее добрее, чем язык! Она всегда говорила, что принцесса выпутается из беды! А я и птенцы наши перенесли сюда лебедины перья!.. Ну, очень рад! Ведь это просто счастье, что я еще здесь! На заре мы улетаем всей компанией! Мы полетим вперед, только не отставайте, и вы не собьетесь с дороги! Мы с птенцами будем, впрочем, присматривать за вами.

– И я принесу с собою на родину лотос! – сказала египетская принцесса. – Он летит рядом со мною в лебедином оперении! Цветок моего сердца со мною – вот как это все разрешилось! Домой теперь, домой!

Но Хельга сказала, что не может покинуть Данию, не повидавшись со своею приемною матерью, доброю женою викинга. Хельга припомнила всю ее доброту, каждое ее ласковое слово, каждую слезу, пролитую ею из-за приемной дочери, и в эту минуту девушке казалось даже, что она любит ту мать сильнее, чем эту.

– Да нам и надо слетать в замок викинга! – ответил аист. – Там ведь ждет нас жена с пленцами! Вот-то заворочают они глазами и затрещат! Жена – та, пожалуй, не много скажет! Она вообще скупа на слова, выражается кратко и вразумительно, а думает еще лучше! Сейчас я затрещу, чтобы предупредить их о нашем приближении!

И он затрещал, защелкал клювом. Скоро они подлетели к замку викинга.

В замке все было погружено в глубокий сон. Забылась сном и жена викинга, но только позднею ночью; страх и беспокойство долго не давали ей уснуть. Прошло ведь уже три дня, как Хельга исчезла вместе с пленным христианином; должно быть, это она помогла ему бежать: в конюшне не доставало именно ее лошади. Но как могло все это случиться? И жене викинга невольно припомнились рассказы о чудесах, которые творил сам белый Христос и веровавшие в него. Все эти мысли, бродившие в ее голове наяву, облеклись во сне в живые образы, и вот ей пригрезилось, что она по-прежнему сидит на постели, погруженная в думы о Хельге; все кругом тонет в сплошном мраке, надвигается буря. С обеих сторон – и со стороны Северного моря, и со стороны Каттегата – слышится грозный шум прибоя. Чудовищная змея, обвивающая в глубине морской кольцом всю землю, бьется в судорогах. Приближается страшная ночь – Рагна-рек, как древние называли последнюю ночь, когда рухнет мир и погибнут великие боги. Вот слышится громкий звук рога и по радуге выезжают верхом на конях боги, закованные в светлые доспехи, выезжают на последнюю битву! Перед ними летят крылатые валькирии, а замыкается поезд рядами умерших героев. Воздух весь осветился северным сиянием, но мрак скоро победил. Приближался ужасный час.

А рядом с испуганной женой викинга сидит на полу Хельга в образе безобразной жабы, дрожит от страха и жметя к ней. Она берет жабу на колени и с любовью прижимает к себе, несмотря на ее внешнее безобразие. Вот воздух задрожал от ударов мечей и палиц, засвистели стрелы – словно град посыпался с неба. Настал тот час, когда земля и небо должны были рухнуть, звезды упасть с неба и все погибнуть в пламени Суртура.

Но жена викинга знала, что после того возникнут новое небо и новая земля и хлебная нива заволнуется там, где прежде катило свои волны по желтому песчаному дну сердитое море. Она знала, что воцарится новый неведомый Бог, и к нему вознесется кроткий, светлый Бальдр, освобожденный из царства теней. И вдруг она видит его перед собою! Она узнала его с первого взгляда – это был пленный христианин.

– Белый Христос! – воскликнула она и, произнося это имя, поцеловала в лоб свое безобразное дитя-жабу. В ту же минуту оболочка с жабы спала и перед ней очутилась Хельга, прекрасная, как всегда, но такая кроткая и с таким сияющим любовью взглядом! Она поцеловала руки жены викинга, как бы благодаря ее за все заботы и любовь, которыми она окружала свою приемную дочь в тяжелое время испытания, за все добрые мысли и чувства, которые она пробудила в ее душе, и за произнесенное ею сейчас имя белого Христа. Хельга повторила это имя и вдруг поднялась на воздух в виде лебедя: белые крылья распустились и зашумели, словно взлетала на воздух целая стая птиц.



Тут жена викинга проснулась. На дворе в самом деле слышалось хлопанье крыльев. Она знала, что настала пора обычного отлета аистов, и догадалась, что это они шумели крыльями. Ей захотелось еще раз взглянуть на них и попрощаться с ними. Она встала, подошла к отверстию, заменявшему окно, распахнула ставню и выглянула во двор. На крыше пристройки сидели рядышком сотни аистов, а над двором, над высокими деревьями, летали стаями другие; прямо же против окна, на краю колодца, где так часто сиживала, пугая свою приемную мать, красавица Хельга, сидели две лебедки, устремив свои умные глаза на жену викинга. Она вспомнила свой сон, который произвел на нее такое глубокое впечатление, что почти казался ей действительностью, вспомнила Хельгу в образе лебедя, вспомнила христианина, и сердце ее вдруг радостно забилося.

Лебедки захлопали крыльями и изогнули шеи, точно кланяясь ей, а она, как бы в ответ на это, протянула к ним руки и задумчиво улыбнулась им сквозь слезы.

Аисты, шумя крыльями и щелкая клювами, взвились в воздух, готовясь направить свой полет к югу.

– Мы не станем ждать этих лебедек! – сказала аистиха. – Коли хотят лететь с нами, пусть не мешкают! Не оставаться же нам тут, пока не соберутся лететь кулики! А ведь лететь так, как мы, семьями, куда пристойнее, чем так, как летят зяблики или турухтаны: у тех мужья летят сами по себе, а жены сами по себе! Просто неприлично! А у лебедей-то, у лебедей-то что за полет?!

– Всяк летит по-своему! – ответил аист. – Лебеди летят косою линией, журавли – треугольником, а кулики – змеею!

– Пожалуйста, не напоминай теперь о змеях! – заметила аистиха. – У птенцов может пробудиться аппетит, а чем их тут накормишь?

– Так вот они, высокие горы, о которых я слышала! – сказала Хельга, летевшая в образе лебедки.

– Нет, это плывут под нами грозовые тучи! – возразила мать.

– А что это за белые облака в вышине? – спросила дочь.

– Это вечно снежные вершины гор! – ответила мать, и они, перелетев Альпы, продолжали путь по направлению к Средиземному морю.

– Африка! Египет! – ликовала дочь нильских берегов, завидев с высоты желтую волнистую береговую полосу своей родины.

Завидели берег и аисты и ускорили полет.

– Вот уж запахло нильскою тиной и влажными лягушками! – сказала аистиха птенцам. – Ох, даже защекотало внутри! Да, вот теперь сами попробуете, каковы они на вкус, увидите марабу, ибисов и журавлей. Они все нашего же рода, только далеко не такие красивые. А важничают! Особенно ибисы – их избаловали египтяне; они делают из ибисов мумии, набивая их душистыми травами. А по мне, лучше быть набитой живыми лягушками! Вот вы узнаете, как это приятно! Лучше при жизни быть сытым, чем после смерти попасть в музей! Таково мое мнение, а я всегда права.



– Вот и аисты прилетели! – сказали обитатели дворца на нильском берегу. В открытом покое на мягком ложе, покрытом шкурой леопарда, лежал сам царственный владыка, по-прежнему ни живой, ни мертвый, ожидая целебного лотоса из глубокого северного болота. Родичи и слуги окружали ложе.

И вдруг в покой влетели две прекрасные белые лебедки, прилетевшие вместе с аистами. Они сбросили с себя оперения, и все присутствовавшие увидели двух красавиц, похожих друг на друга как две капли воды. Они приблизились к бледному, увядшему старцу и откинули назад свои длинные волосы. Хельга склонилась к деду, и в ту же минуту щеки его окрасились румянцем, глаза заблестали, жизнь вернулась в окоченевшее тело. Старец встал помолодевшим, здоровым, бодрым! Дочь и внучка заключили его в объятия, точно для утреннего приветствия после длинного тяжелого сна.

Что за радость воцарилась во дворце! В гнезде аистов тоже радовались – главным образом, впрочем, хорошему корму и обилию лягушек. Ученые впопыхах записывали историю обеих принцесс и целебного цветка, принесшего с собою счастье и радость всей стране и всему царствующему дому, аисты же рассказывали ее своим птенцам, но, конечно, по-своему и не прежде, чем все наелись досыта, – не то у них нашлось бы иное занятие!

– Теперь и тебе перепадет кое-что! – шепнула аистиха мужу. – Уж не без того!

– А что мне нужно? – сказал аист. – И что я такое сделал? Ничего!

– Ты сделал побольше других! Без тебя и наших птенцов принцессам вовек не видать бы Египта и не исцелить старика. Конечно, тебе перепадет за это! Тебя, наверно, удостоят степени доктора, и наши следующие птенцы уже родятся в этом звании, их птенцы – тоже и так далее! На мои глаза, ты и теперь ни дать ни взять – египетский доктор!

А ученые и мудрецы продолжали развивать основную мысль, проходившую, как они говорили, красною нитью через все событие, и толковали ее на разные лады. «Любовь – родоначальница жизни» – это была основная мысль, а истолковывали ее так: «Египетская принцесса, как солнечный луч, проникла во владения болотного царя, и от их встречи произошел цветок...»

– Я не сумею как следует передать их речей! – сказал подслушавший эти разговоры аист, когда ему пришлось пересказать их в гнезде. – Они говорили так длинно и так мудрено, что их сейчас же наградили чинами и подарками; даже лейб-повар получил орден – должно быть, за суп!

– А ты что получил? – спросила аистиха. – Не следовало бы им забывать самое главное лицо, а самое главное лицо – это ты! Ученые-то только языком трепали! Но дойдет еще очередь и до тебя!

Позднею ночью, когда весь дворец, все его счастливые обитатели спали сладким сном, не спала во всем доме лишь одна живая душа. Это был не аист – он хоть и стоял возле гнезда на одной ноге, но спал на страже, – не спала Хельга. Она вышла на террасу и смотрела на чистое, ясное небо, усеянное большими блестящими звездами, казавшимися ей куда больше и ярче тех, что она привыкла видеть на севере. Но это были те же самые звезды! И Хельге вспомнились кроткие глаза жены викинга и слезы, пролитые ею над своею дочкой-жабой, которая теперь любовалась великолепным звездным небом на берегу Нила, вдыхая чудный весенний воздух. Она думала о том, как умела любить эта язычница, какими нежными заботами окружала она жалкое создание, скрывавшее в себе под человеческою оболочкой звериную натуру, а в звериной – внушавшее такое отвращение, что противно было на него и взглянуть, не то что дотронуться! Хельга смотрела на сияющие звезды и вспоминала блеск, исходивший от чела убитого христианина, когда они летели вместе над лесом и болотом. В ушах ее снова раздавались те звуки и слова, которые она слышала от него тогда, когда сидела позади него на лошади: он говорил ей о великом источнике любви, высшей любви, обнимающей все поколения людские!..

Да, чего только не было ей дано, чего она не достигла! Дни и ночи думала Хельга о выпавшем на ее долю счастье, созерцала свою жизнь, которая вела ее чудесными путями все к высшей радости и блаженству, и так и застыла в этом созерцании, как ребенок, который быстро переносит взор от дарящего к подаркам. Она вся ушла в думы о своем настоящем счастье и о будущем, которое ожидало ее, должно было ожидать ее впереди, и совсем забыла о том, кто даровал ей это счастье. В ней кипела отвага молодости, глаза ее блистали от восторга. Но вот слух ее был привлечен страшным шумом на дворе.

Она взглянула туда и увидела двух больших, сильных страусов, бегавших сломя голову кругом по двору. Хельга в первый раз видела этих огромных, тяжелых, неуклюжих птиц с точно обрубленными крыльями. Они бегали, встревоженные, испуганные, словно их кто обидел. Хельга спросила, что с ними случилось, и впервые услышала египетское предание о страусе.

Когда-то страусы славилась красотой; крылья их были велики и сильны. Однажды вечером другие могучие лесные птицы сказали страусу: «Брат, завтра, бог даст, полетим к реке напиться!» И страус ответил: «Захочу и полечу!» На заре птицы полетели. Все выше и выше взвивались они, все ближе и ближе к солнцу, Божьему оку. Страус летел один, впереди всех, горделиво, стремясь к самому источнику света и полагаясь лишь на свои силы, а не на подателя их; он говорил не «Бог даст», а «я хочу», и вот ангел возмездия сдернул с раскаленного солнечного диска тонкую пелену — в ту же минуту крылья страуса опалило, как огнем, и он, бессильный, уничтоженный, упал на землю. Никогда больше он и весь его род не могли подняться с земли! Испугавшись чего-нибудь, они мечутся как угорелые, описывая все один и тот же узкий круг, и служат нам, людям, живым напоминанием и предостережением, и мы каждую нашу мысль, каждое дело должны начинать словами: «Бог даст».

Хельга задумчиво опустила голову, посмотрела на страусов, мечущихся не то от ужаса, не то от глупой радости при виде своей собственной тени на белой, освещенной луною стене, и душою ее овладело серьезное настроение. Да, ей выпала на долю богатая счастьем жизнь, что же ждет ее впереди? Еще высшее счастье — «Бог даст!».

Раннею весною, перед отлетом аистов на север, Хельга взяла золотое кольцо, начертила на нем свое имя и подозвала к себе своего знакомого аиста. Когда тот приблизился, Хельга надела ему кольцо на шею, прося отнести его жене викинга, — кольцо скажет ей, что приемная дочь ее жива, счастлива и помнит о ней.

«Тяжеленько это будет нести! — подумал аист. — Но золото и честь не выбросишь на дорогу! „Аист приносит счастье“, — скажут там, на севере!..»

– Ты несешь золото, а я яйца! – сказала аистиха. – Но ты-то принесешь его только раз, а я несу яйца каждый год! Благодарности же не дожидается ни один из нас! Вот что обидно!

– Довольно и собственного сознания, женушка! – сказал аист.

– Ну, его не повесишь себе на шею! – ответила аистиха. – Оно тебе ни корму, ни попутного ветра не даст!



И они улетели.

Маленький соловей, распевавший в тамариндовой роще, тоже собирался улететь на север; в былые времена Хельга часто слышала его возле Дикого болота. И она дала поручение и соловью: с тех пор как она полетала в лебедином оперении, она могла объясняться на птичьем языке и часто разговаривала и с аистами, и с ласточками, которые понимали ее. Соловей тоже понял ее: она просила его поселиться на Ютландском полуострове в буковом лесу, где возвышался курган из древесных ветвей и камней, и уговорить других певчих птичек ухаживать за могилой и не умолкая петь над нею свои песни.

Соловей полетел стрелой, полетело стрелой и время!

Осенью орел, сидевший на вершине пирамиды, увидел приближавшийся богатый караван; двигались нагруженные сокровищами верблюды, гарцевали на горячих арабских конях разодетые и вооруженные всадники. Серебристо-белые кони с красными раздувающимися ноздрями и густыми гривами, ниспадавшими до тонких стройных ног, горячились и фыркали. Знатные гости, в числе которых был и один аравийский принц, молодой и прекрасный, каким и подобает быть принцу, въехали во двор могучего владыки, хозяина аистов, гнездо которых стояло теперь пустым. Аисты находились еще на севере, но скоро должны были вернуться.

Они вернулись в тот самый день, когда во дворце царила шумная радость, кипело веселье – праздновали свадьбу. Невестой была разодетая в шелк, сиявшая драгоценными украшениями Хельга; женихом – молодой аравийский принц. Они сидели рядом за свадебным столом, между матерью и дедом.

Но Хельга не смотрела на смуглое мужественное лицо жениха, обрамленное черною курчавою бородой, не смотрела и в его огненные черные глаза, не отрывавшиеся от ее лица. Она устремила взор на усеянный светлыми звездами небесный свод.

Вдруг в воздухе послышались шум и хлопанье крыльев – вернулись аисты. Старые знакомые Хельги были тут же, и как ни устали они оба

с пути, как ни нуждались в отдыхе, сейчас же спустились на перила террасы, зная, что за праздник идет во дворце. Знали они также – эта весть долетела до них, едва они приблизились к границам страны, – что Хельга велела нарисовать их изображение на стене дворца: аисты были ведь тесно связаны с историей ее собственной жизни.

– Очень мило! – сказал аист.

– Очень и очень мило! – объявила аистиха. – Меньшего уж нельзя было и ожидать!

Увидав аистов, Хельга встала и вышла к ним на террасу погладить их по спине. Старый аист наклонил голову, а молодые смотрели на это и чувствовали себя польщенными.

Хельга опять подняла взор к небу и засмотрелась на блестящие звезды, сверкавшие все ярче и ярче. Вдруг она увидела, что между ними и ею витает прозрачный, светлый, светлее самого воздуха, образ. Вот он приблизился к Хельге, и она узнала убитого христианина. И он явился к ней в этот торжественный день, явился из небесных чертогов!

– Небесный блеск и красота превосходят все, что может представить себе смертный! – сказал он.

И Хельга стала просить его так кротко, так неотступно, как никогда еще никого и ни о чем не просила, взять ее туда, в небесную обитель, к Отцу, хоть на одну минуту, позволить ей бросить хоть один-единственный взгляд на небесное величие!

И он вознесся с ней в обитель сияющего света и гармонии. Дивные звуки и мысли не только звучали и светились вокруг Хельги в воздухе, но и внутри ее, в глубине ее души. Словами не передать, не рассказать того, что она чувствовала!

– Пора вернуться! Тебя ищут! – сказал он.

– Еще минутку! – молила она. – Еще один миг!

– Пора вернуться! Все гости уже разошлись!

– Еще одно мгновение! Последнее...

И вот Хельга опять очутилась на террасе, но... все огни и в саду, и в дворцовых покоях были уже потушены, аистов не было, гостей и жениха – тоже; всё словно ветер развеял за эти три кратких мгновения.

Хельгу охватил страх, и она прошла через огромный, пустынный покой в следующий. Там спали чужеземные воины! Она отворила

боковую дверь, которая вела в ее собственный покой, и вдруг очутилась в саду – все стало тут по-другому! Край неба алел, занималась заря.

В три минуты, проведенные ею на небе, протекла целая земная ночь!

Тут Хельга увидела аистов, подозвала их к себе, заговорила с ними на их языке, и аист, подняв голову, прислушался и приблизился к ней.

– Ты говоришь по-нашему! – сказал он. – Что тебе надо? Зачем ты пришла сюда, незнакомка?

– Да ведь это же я, Хельга! Ты не узнаешь меня? Три минуты тому назад я разговаривала с тобой тут, на террасе!

– Ты ошибаешься! – ответил аист. – Ты, верно, видела все это во сне!

– Нет, нет! – сказала она и стала напоминать ему о замке викинга, о Диком болоте, о полете сюда...

Аист заморгал глазами и сказал:

– А, это старинная история! Я слышал ее еще от моей прапрапрабабушки! Тут, в Египте, правда, была такая принцесса из Дании, но она исчезла в самый день своей свадьбы много-много веков тому назад! Ты сама можешь прочесть об этом на памятнике, что стоит в саду! Там же высечены лебедки и аисты, а на вершине памятника стоишь ты сама, изваянная из белого мрамора!

Так оно и было. Хельга увидела памятник, поняла все и пала на колени.

Взошло солнце, и как прежде с появлением его спадала с Хельги безобразная оболочка жабы и из нее выходила молодая красавица, так теперь из брэнной телесной оболочки, очищенной крещением света, вознесся к небу прекрасный образ, чище, прозрачнее воздуха; солнечный луч вернулся к Отцу!

А тело распалось в прах; на том месте, где стояла коленопреклоненная Хельга, лежал теперь увядший лотос.

– Новый конец истории! – сказал аист. – И совсем неожиданный! Но ничего, мне он нравится!

– А что-то скажут о нем детки? – заметила аистиха.

– Да, это, конечно, важнее всего! – сказал аист.

1858



## Скороходы



Был назначен приз, даже два, один большой, другой маленький, за наибольшую быстроту – не на состязании, а вообще за быстроту в течение целого года.

– Я получил первый приз! – сказал заяц. – Можно ведь, я думаю, ожидать справедливости, если судьи – твои близкие друзья и родные. Но присудить второй приз улитке? Мне это даже обидно!

– Но ведь надо же принимать во внимание и усердие и добрую волю, как справедливо рассудили высокоуважаемые судьи, и я вполне разделяю их мнение! – заметил заборный столб, бывший свидетелем присуждения призов. – Улитке, правда, понадобилось полгода, чтобы переползти через порог, но все-таки она очень спешила и даже сломала себе второпях бедренную кость! Она всею душой и телом отдавалась своему делу да еще таскала при этом на спине весь свой дом! Такое усердие достойно всякого поощрения, вот она и получила второй приз.

– Могли бы, кажется, и на меня обратить внимание! – сказала ласточка. – Быстрее меня на лету, смею думать, никого нет! И где

только я не побывала! Везде, везде!

– То-то вот и горе ваше, – сказал столб. – Уж больно много вы рыскаете! Вечно рветесь в чужие края, чуть здесь холодком пахнёт. Вы не патриотка! Нечего на вас и обращать внимание!

– А если бы я проспала всю зиму в болоте, тогда на меня обратили бы внимание? – спросила ласточка.

– Принесите удостоверение от самой болотницы, что проспали на родине хоть полгода, и на вас сейчас же обратят внимание!

– Я-то заслуживала первого приза, а не второго! – заметила улитка. – Я ведь знаю, что заяц бежит, только когда думает, что за ним гонятся, – из трусости! А я смотрела на движение как на свою жизненную задачу и пострадала на службе! Да, уж если кому следовало присудить первый приз, так это мне! Но я не охотница кричать о себе! Презираю все подобное!

И она плюнула.

– Я могу засвидетельствовать, что каждый приз, по крайней мере с моей стороны, был присужден справедливо! – заявила межевая вежа, одна из судей. – Я вообще держусь порядка, меры, расчета. Я уже восьмой раз имею честь участвовать в присуждении призов, но только на этот раз поставила на своем. Дело в том, что я всегда присуждаю призы по алфавиту: для первого приза беру букву с начала, для второго – с конца. Потрудитесь теперь обратить внимание на мой счет: восьмая буква с начала – «з», я и подала голос за зайца, а шестнадцатая, то есть дважды восьмая, с конца – «у», и вот я присудила второй приз улитке. В следующий раз первый приз назначу букве «и», а второй – букве «с». Главное дело, всегда и во всем порядок! Иначе не на что и опереться.

– Не будь я сам в числе судей, я бы подал голос за себя! – сказал осел. – Надо обращать внимание не на одну быстроту, но и на другие качества, например на груз. На этот раз я, впрочем, не хотел упираться на это обстоятельство, равно и на ум зайца или на ловкость, с какою он путает свои следы, спасаясь от погони. Нет, есть еще одно обстоятельство, на которое вообще принято обращать внимание и которое никоим образом нельзя упускать из виду, – красота. Я взглянул на прелестные уши зайца – а на них, право, залюбуешься, – и мне показалось, что я вижу самого себя в детском возрасте! Я и подал голос за зайца!

– Дз-з! – зажужжала муха. – Я не собираюсь держать речь, я хочу только сказать несколько слов. Я-то уж попроворнее всякого зайца, это я хорошо знаю! Недавно я даже раздробила одному зайчишке заднюю ногу! Я сидела на паровозе – я это часто делаю: таким образом лучше всего следить за собственной быстротой. Заяц долго бежал впереди поезда: он и не подозревал моего присутствия! Наконец ему пришлось свернуть в сторону; тут-то паровоз и переехал ему заднюю ногу – я ведь сидела на нем. Заяц остался на месте, а я помчалась дальше. Кто же победил? Полагаю – я! Но я не нуждаюсь в призе!

«А по-моему, – подумала дикая роза, вслух она ничего не сказала, что было не в ее характере, хотя и лучше было бы, если бы она высказалась, – по-моему, и первого и второго приза заслуживал солнечный луч! Он в одно мгновение пробегает бесконечное пространство, отделяющее землю от солнца, и пробуждает от сна всю природу. Поцелуй его дарят красоту – мы, розы, алеем и благоухаем от них! А высокие судьи, кажется, совсем и не заметили его! Будь я лучом, я бы отплатила им солнечным ударом, нет, это бы отняло у них последний ум, а они и без того им небогаты! Лучше промолчу! В лесу мир и тишина! Как хорошо цвести, благоухать, упиваться светом и росой и жить в сказаниях и песнях! Но солнечный луч переживет нас всех!»

– А какой первый приз? – спросил дождевой червяк; он проспал событие и сейчас только явился на сборный пункт.

– Свободный вход в огород с капустой! – ответил осел. – Я сам назначал призы! Первый приз должен был получить заяц – я, как мыслящий и деятельный член комиссии, и обратил надлежащее внимание на потребности и нужды зайца. Теперь он обеспечен. А улитке мы предоставили право сидеть на придорожном камне и греться на солнышке да лизать мох. Кроме того, она избрана в главные члены нашей комиссии, как это принято называть у людей. Комиссии ведь вообще нуждаются в специалистах! И, скажу прямо, судя по такому прекрасному началу, можно ожидать от нашей комиссии многого!

Ты ведь знаешь сказание о Хольгере Датчанине? Мы не собираемся пересказывать его, а просто спрашиваем, помнишь ли ты, что Хольгер Датчанин покорил великую Индию до восточного края света, до самого «солнечного дерева», как рассказывает Кристьян Педерсен. Ты ведь знаешь, кто был Кристьян Педерсен? А и не знаешь – не беда! Хольгер Датчанин вручил власть над страной священнику Йоне. Знаешь ты что-нибудь о священнике Йоне? А и не знаешь – тоже не беда! Он не играет в нашем рассказе никакой роли. Мы расскажем тебе о солнечном дереве, растущем «в Индии, на восточном краю света», как толковали во время оно люди, – они не учились географии, как мы с тобою, но и это ведь не беда!

Солнечное дерево было чудо что за дерево, какого и мы не видывали, и ты никогда не увидишь. Густолиственная вершина его бросала тень на несколько миль кругом; дерево было, в сущности, настоящим лесом, каждая отдельная маленькая ветвь – целым деревом; тут были и пальмы, и буки, и платаны, и пихты; словом, всевозможные породы деревьев, какие только существуют на белом свете, росли в виде побегов на больших ветвях. Большие же ветви, извилистые и суковатые, являлись настоящими долинами и холмами, устланными мягким, как бархат, зеленым ковром, который пестрел цветами. Каждая ветвь напоминала висящий в воздухе цветущий луг или чудеснейший сад. Солнышко вечно ласкало дерево своими благодатными лучами, – недаром же оно звалось солнечным деревом. К нему слетались птицы со всех концов света: из дальних девственных лесов Америки, из розовых садов Дамаска, даже из лесных пустынь Африки, где львы и слоны мнят себя полновластными хозяевами. Прилетали сюда и полярные птицы, и – само собою – и аисты с ласточками. Но не одни птицы обитали на дереве; олень, белка, антилопа и другие быстроногие, прекрасные животные тоже чувствовали себя здесь как дома. И немудрено: густая, кудрявая вершина дерева была ведь огромным, благоухающим садом. Посреди же этого сада, там, где раскинулись зеленые склоны самых больших ветвей, возвышался хрустальный замок; из окон его открывался вид на все четыре страны света.

Каждая башня замка напоминала лилию, по стебельку которой можно было подняться на самый верх – в стебельке была ведь внутренняя лестница, понимаешь? – и ступить на края отогнутых

лепестков, изображавших балконы; в самой же чашечке находилась чудеснейшая, блестящая зала, но потолком здесь служило голубое небо, озаренное солнцем или усеянное звездами. Хорошо было, хоть и на другой лад, и в нижних залах замка: на стенах отражался весь мир, все, что происходило на земле, – и газет не надо было; кстати, их в замке и не получали. Все можно было увидеть и узнать из этих живых картин, лишь бы хватило времени да охоты, но невозможное – невозможно даже для первого мудреца в свете, а в замке как раз и жил такой мудрец. Имя его трудно и произнести; тебе ни за что не выговорить, да и невелика беда. Он знал все, что только может знать или узнать человек на земле, был посвящен во все открытия прошлого, настоящего и будущего; но дальше этого его знания не простирались – всему есть границы! Сам мудрый царь Соломон был лишь вполовину так умен, как он, а царь Соломон ведь очень умен; он повелевал силами природы и могучими духами; сама смерть обязана была каждое утро присылать ему список людей, которых собиралась похитить днем. И все-таки царь Соломон должен был умереть – вот эта-то мысль и не давала покоя мудрецу, могущественному владельцу замка на солнечном дереве. И он, как ни возвышался своею мудростью над всеми людьми, должен был когда-нибудь умереть, и дети его – тоже. Все они должны были увянуть, опать и превратиться в прах, как древесные листья; он знал это, он видел, как осыпались и превращались в прах поколения людские. На месте опавших листьев вырастали на дереве новые, те же, что опали, никогда не возрождались вновь, а превращались в прах, переходили в другие растительные части; но что же происходило после смерти с людьми? Что такое самая смерть? Тело превращается в прах, а душа? Чем является душа в теле и чем она становится потом? Что ее ждет? «Жизнь вечная», – утешает нас религия, но как же свершается переход в эту жизнь? Где живет душа и как? «На небе, – говорят благочестивые люди, – И мы пойдем туда же!» – «Туда! – повторял мудрец, глядя вверх на голубое небо, на солнце и на звезды, – Туда!»

Но, бросив с круглого шара Земли испытующий взор в пространство, он нашел, что и верх и низ тут безразличны, – все зависит от того, с какой точки земного шара смотреть в пространство! А поднявшись на высочайшие горы, он увидал, что самое воздушное пространство, которое кажется нам с земной плоскости таким

голубым, прозрачным, это «ясное небо», как мы его называем, есть, в сущности, сплошной густой мрак, тяжело облегающий землю; увидел, что солнце – огромный раскаленный шар, без лучей, а наша земля – шарик, окутанный оранжевым туманом. Да, телесный взор человека везде встречает границы, и за них не в силах проникнуть даже духовный взор его. Как же ничтожны наши знания, если и мудрейший из людей знал о том, что для нас важнее всего, так мало!

В потайной комнате замка хранилось величайшее земное сокровище – «книга Истины». И мудрец читал из нее страницу за страницей. Эту книгу может читать каждый человек, но лишь отрывками: в иных местах буквы так прыгают перед глазами, что нельзя разобрать ни единого слова, а в иных они до того бледны, что глаз видит лишь чистую неисписанную страницу. Чем мудрее человек, тем больше он может прочесть из этой книги, и наш мудрец прочел ее почти всю.

Он умел собирать свет звезд, свет солнца, вызывать скрытый свет сокровенных сил природы и свет ума, и благодаря такому яркому освещению становились видимыми даже самые бледные буквы. Но в конце книги, в главе «Жизнь после смерти», и он не мог прочесть ничего, кроме самого заглавия. Это сильно огорчало мудреца. Неужели ему так и не удастся найти здесь, на земле, такого сильного источника света, который осветил бы содержание этих последних страниц «книги Истины»?

Мудрец, как и царь Соломон, понимал язык животных, умел вслушиваться в речи зверей и пение птиц, но толку от этого было мало. Он умел извлекать из растений и металлов целебные силы, которые могли изгонять болезни, даже отгонять смерть, но победить ее совсем не могли. Во всей природе, во всем, что было ему доступно, искал он света, который бы мог озарить для него будущую жизнь, но не находил, и последние страницы «книги Истины» оставались для него белыми страницами. Христианское учение, правда, предлагало ему утешение, обещая вечную жизнь за гробом, но про эту-то жизнь ему и хотелось прочесть не в Библии, а в своей книге, однако там его глаза видели лишь белую страницу.

У мудреца было пятеро детей, четверо сыновей, которым он дал такое воспитание и обучение, какое только может дать своим детям мудрейший из отцов, и дочь, красавица, кроткая, умная, но слепая.

Она, впрочем, казалось, и не ощущала этого недостатка: отец и братья заменяли ей глаза, а необыкновенная душевная чуткость – непосредственные зрительные ощущения.

Сыновья никогда не уходили далеко от дома, никогда не переступали черты, за которую уже не падала тень от ветвей солнечного дерева; сестра их и подавно. Хорошо жилось детям в родительском доме, под сенью чудесного, благоухающего солнечного дерева. Как и все дети, они очень любили слушать рассказы, и отец рассказывал им много, чего другие дети и не поняли бы, но эти были так умны, как у нас бывают разве только умудренные долгою жизнью старцы. Отец объяснял им живые картины, отражавшиеся на стенах замка, объяснял ход земных событий и деяния людей, и сыновья часто выражали желание побывать в свете, чтобы самим окунуться в водоворот жизни, но отец говорил им, что в свете живется трудно и горько, что действительность не совсем такова, какою они ее себе представляют отсюда, из своего чудесного детского мирка. Он говорил детям о Добре, Истине и Красоте, говорил, что из них-то, под тяжким давлением света, образуется драгоценный камень, светлее бриллианта самой чистейшей воды; блеск его угоден Богу и затмевает собою решительно все; этот-то камень, собственно, и есть то, что называют философским камнем. Затем он сказал им, что, как можно прийти к уверенности в существовании Творца, изучая сотворенное, так можно прийти к уверенности в существовании упомянутого камня, изучая людей. Большого о камне он рассказать им не мог – большего он и сам не знал. Другим детям трудно было бы понять все это, но дети мудреца поняли, а впоследствии поймут, может быть, и другие.

Выслушав отца, они начали расспрашивать его об Истине, Добре и Красоте подробнее, и он рассказал им все, что знал сам. Между прочим, он сказал им, что Бог, создав человека из земли, подарил его пятью огненными сердечными поцелуями и с каждым поцелуем человек получал одно из своих пяти чувств, как мы их называем. Ими-то мы и познаем Красоту, Истину и Добро, ими Истина, Добро и Красота оцениваются, защищаются и поощряются; каждое из этих пяти чувств подразделяется на внешнее и внутреннее, духовное; одно из них корень, другое верхушка, одно тело, другое душа.

Дети много думали о словах отца, философский камень не выходил у них из головы ни днем ни ночью. Наконец старшему приснился

чудный сон, но – вот диво! – то же самое приснилось и второму, и третьему, и четвертому! Каждому брату снилось, что он отправляется странствовать по белу свету и находит философский камень, который горит у него во лбу ярким пламенем в то время, как он мчится по бархатным лугам к отцовскому саду на своем быстром как ветер коне обратно в отчий дом. И драгоценный камень отбросил на страницы «книги Истины» такой небесный свет, что стали видны и письма в главе «Жизнь после смерти». Сестре же не снилось ничего такого; ей и в голову не приходило пуститься странствовать по свету – весь свет заключался для нее в отцовском доме.

– Я отправлюсь в путь! – сказал старший. – Пора мне узнать, что творится на белом свете, и самому окунуться в море житейское. Я стремлюсь только к Добру и Истине, а благодаря им я стану защитником Красоты! Многое изменится в мире, когда я возьмусь за дело!

Да, замыслы-то у него были отважные и великие, как и у всех нас, пока мы сидим у себя в углу за печкой, не испытав еще ни дождя, ни непогоды, не изранив себе ног терниями, растущими на пути жизни!

У каждого брата все пять чувств – и внешние и внутренние – были развиты превосходно, но одно все-таки играло преобладающую роль. У старшего брата таким чувством являлось зрение. Оно-то и должно было сослужить ему главную службу. Он, по его словам, проникал взором во все времена, во все деяния людские, даже в недра земли, где скрываются сокровища, и в сердца людей, словно люди были из прозрачного стекла! Иначе говоря, он видел побольше, чем можем видеть мы, глядя на вспыхивающее румянцем или бледнеющее лицо и всматриваясь в смеющиеся или плачущие глаза. Олень и антилопа проводили старшего брата до западной границы, а там он увидел диких лебедей, летевших к северо-западу, и последовал за ними. Скоро он очутился далеко-далеко от родины, от «восточного края света».





Вот глаза-то у него и разбежались! Было-таки на что посмотреть тут! А видеть что-нибудь в действительности совсем иное, нежели на картинках, хоть бы и на хороших, — те, что были у него дома, в отцовском замке, были ведь необыкновенно хороши. В первую минуту он чуть не ослеп от удивления при виде всего того хлама, что выдавался людьми за прекрасное; но, видно, глаза ему еще могли пригодиться, — конечно, не для того же они были ему даны! — и он не ослеп.

Придя в себя, он решил основательно и добросовестно приступить к изучению Истины, Добра и Красоты; но что же, собственно, было Истиною, Добром и Красотой? Он увидел, что люди зачастую венчают цветами вместо Красоты уродство, истинного Добра не замечают, награждают посредственность рукоплесканиями, а не свистками, смотрят на имя, а не на достоинство, на платье, а не на самого человека, на должность, а не на призвание. Да и чего от них требовать?

«Да, надо мне хорошенько взяться за дело!» – подумал он и взялся.

Но пока он доискивался Истины, явился дьявол, отец лжи и сам ее воплощение. Он бы с удовольствием выцарапал провидцу оба глаза, но это был бы уж слишком резкий прием, дьявол обыкновенно приступает к делу более тонко. Он оставил провидца отыскивать Истину да разглядывать Добро, но пока тот разглядывал, вдунул ему сучок сперва в один глаз, а затем и в другой, ну а это не послужит в пользу никакому зрению, даже самому острому! Потом дьявол принялся раздувать сучки в бревна, и тогда – прощай зрение! Провидец очутился на торжище жизни слепым и не хотел довериться никому. Теперь он стал иного мнения о свете, отчаялся во всем и во всех, даже в самом себе, а раз человек дошел до такого отчаяния – он пропал.

– Пропал! – запели дикие лебеди, улетаая на восток.

– Пропал! – защебетали ласточки, тоже направлявшиеся к востоку, к солнечному дереву.

Недобрые вести дошли до дому.

– Провидцу, как видно, не повезло! – сказал второй брат. – Авось мне, с моим чутким слухом, посчастливится больше!

У него из всех чувств особенно изощрен был слух, он слышал, как растет трава, – вот до чего дошел!

Сердечно распрощавшись с семьей, отправился применить к делу свои богатые дарования, осуществить свои добрые намерения и второй брат. Ласточки провожали его далеко-далеко, а лебеди указывали путь. Наконец он очутился среди людской толпы.

Вот уж правда говорится, что «хорошенького понемножку». Слух у него был ведь до того богат, что он слышал, как растет трава, различал биение человеческого сердца в минуты радости от биения его в минуты горя, слышал вообще каждое биение всех сердец, так что свет представился ему огромною мастерскою часовщика, где тикают и бьют часы всех сортов, и маленькие и большие. Сил не было вынести эту стукотню! А он все-таки слушал в оба уха, пока мог, но наконец совсем обезумел от людского шума и гама. Еще бы! Чего стоили одни уличные шестидесятилетние мальчишки – годы тут ведь ни при чем, – горланившие во всю мочь! Ну, да это-то еще было только смешно, но потом на смену простому крику и гаму являлась Сплетня и, шипя, ползла по всем домам, улицам, переулкам и дальше по большой

дороге. Наконец, громогласно раздавалась Ложь и верховодила всем, а шутовские бубенчики звенели, как будто были церковными колоколами. Нет, это было уж слишком! Он заткнул себе уши пальцами, но все продолжал слышать фальшивое пение и злые речи. Языки людские не знали удержу, мололи всякий вздор, болтали без умолку о выеденном яйце, так что добрые отношения между людьми трескали по всем швам. Шум и гам, трескотня и стукотня и внутри и снаружи – ужас! Ничьих сил не хватило бы вынести все это! Просто с ума можно было сойти. И второй брат запускал пальцы в уши все глубже и глубже, пока, наконец, не прорвал барабанной перепонки. Теперь уж он стал глух ко всему, даже к Добру, Истине и Красоте. Он присмирел, стал подозрительным, не доверял никому, под конец – даже себе самому, а это большое несчастье. Не ему было отыскать и принести домой драгоценный камень! Он и махнул на свою задачу рукой, махнул рукой на всех и все, даже на самого себя, а уж хуже этого нет ничего. Птицы, летевшие на восток, принесли о том весть на родину его, в замок солнечного дерева, но письма от него никакого не пришло, да и почта-то в те времена еще не ходила.

– Теперь я попытаю счастья! – сказал третий брат. – У меня есть нюх!

Не особенно-то изящно он выражался, но таков уж он был, таким надо его и принимать. Он отличался веселым нравом и был поэтом, настоящим поэтом. Он мог спеть все, чего не мог высказать. О многом он догадывался куда раньше, чем другие.

– Уж такой у меня нюх! – говорил он, и правда, обоняние было у него развито в высшей степени; это чувство играло, по его мнению, весьма важную роль в царстве прекрасного.

– Одному приятен аромат яблони, другому аромат конюшни! – говорил он. – Каждая область ароматов в царстве прекрасного имеет свою публику. Одни люди чувствуют себя как дома в кабачке, дыша воздухом, пропитанным копотью и чадом сальных свеч, запахом сивухи и табачным дымом, другие предпочитают одуряющий аромат жасмина или умащают себя крепким гвоздичным маслом, – а это хоть кого прошибет! Третьи, наконец, ищут свежего морского ветерка, свежего воздуха, взбираются на вершины гор и смотрят оттуда вниз на мелочную людскую сутолоку!

Да, вот как рассуждал он. Казалось, он имел уже случай пожить в свете между людьми и узнать их, а на самом-то деле эти познания были результатом его внутренней мудрости – он был поэтом. Господь одарил его поэтическим чутьем при самом рождении.

И вот он простился с родными и, выйдя за черту отцовских владений, сел на быстроногого страуса, который мчится куда быстрее коня, а потом, увидав стаю диких лебедей, пересел на спину к самому сильному – он любил перемену. Перелетев море, он очутился в чужой стране, где расстилались огромные леса, сверкали глубокие озера, возвышались высокие горы и роскошные города. И куда он ни являлся – всюду словно восходило солнышко, каждый кустик, каждый цветочек начинал благоухать сильнее, почуяв приближение друга, защитника, который оценит и поймет аромат их. Даже зачахший, всеми забытый розовый куст расправил ветви, развернул листики, и на нем распустилась чудеснейшая роза. Всякому она бросалась в глаза, даже черная, скользкая лесная улитка и та заметила ее красоту.



– Я хочу отметить этот цветок! – сказала улитка. – Ну вот, теперь я плюнула на него – большего я уж не могу сделать.

– Вот что бывает на этом свете с прекрасным! – сказал поэт, сложил о том песню и пропел ее, как умел, но никто даже и не прислушался.

Тогда он дал барабанщику два скиллинга и павлинье перо и велел ему переложить песню для барабана да пробарабанить ее по всему городу, по всем улицам и переулкам. Тогда люди слышали песню и объявили, что поняли ее, – в ней, дескать, замечательно глубокий смысл! Теперь поэт мог продолжать слагать и петь свои песни. Он пел об Истине, Добре и Красоте, и его слушали и в кабачках, где чадили сальные свечи, и на свежем воздухе в поле, в лесу и в открытом море. Казалось, что этому брату повезло больше, чем первым двоим, но дьявол этого не потерпел, живо явился и начал воскурять перед ним фимиам самый крепкий и благовонный, какой только может изготавливать из всех существующих на свете сам дьявол. А уж он мастер добывать такой удушливый фимиам, от которого закружится голова у любого ангела, не то что у бедного поэта. Дьявол знает, чем пронять человека! Поэта он пронял фимиамом: бедняк совсем утонул в волнах его, забыл свою миссию и родину, всё, даже себя самого, – всё поглотил дым фимиама!

Все птички, услышав о том, затосковали и умолкли на целых три дня, а черная лесная улитка почернела пуще прежнего – не от горя, а от зависти.

– Ведь это мне, – сказала она, – следовало бы воскурять фимиам – я ведь дала ему идею первой знаменитой песни, которую переложили на барабан! Я плюнула на розу и могу даже представить свидетелей!

А домой, на родину, не дошло даже и весточки о судьбе поэта; птички горевали и не раскрывали рта целых три дня, и скорбь их оказалась такой сильной, что к концу трехдневного срока ее они даже забыли, о чем горевали! Вот как!

– Ну, теперь пора и мне отправиться в путь! – сказал четвертый брат.

Он тоже был веселого нрава, как и предыдущий, притом же он не был поэтом, значит, ничто и не мешало ему сохранять свой веселый нрав. Оба эти брата были душой и весельем всей семьи; теперь из нее уходило и последнее веселье! Зрение и слух вообще считаются у

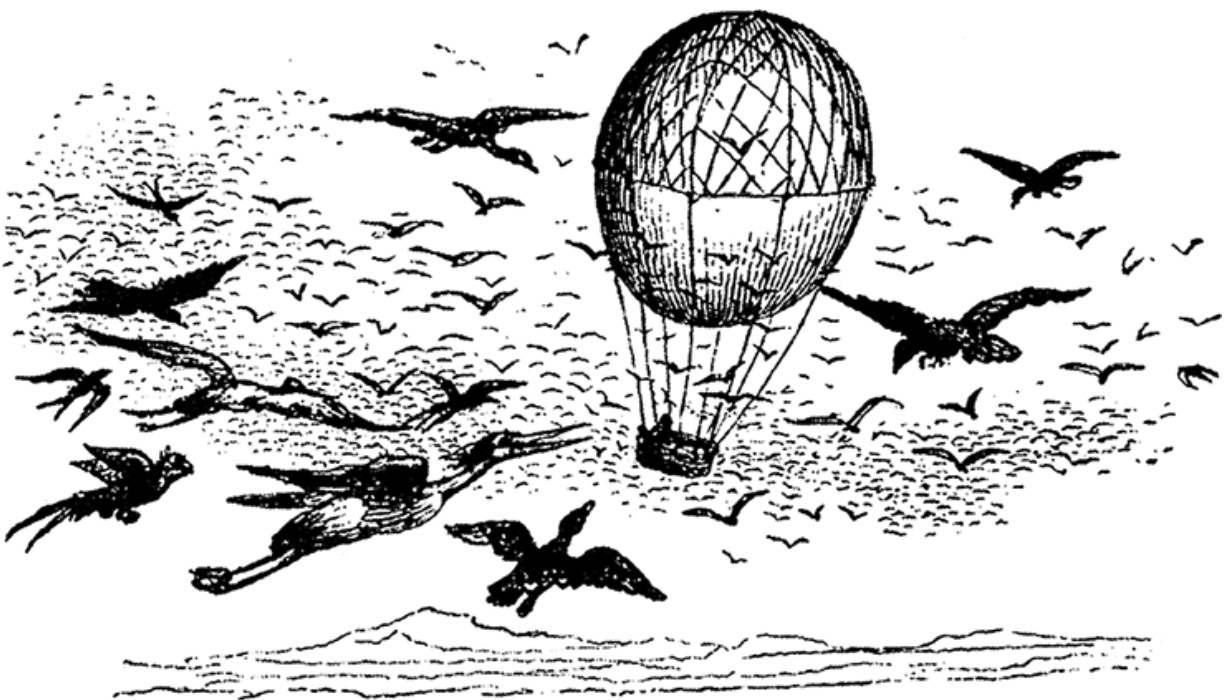
людей главными чувствами; на их развитие обращается особенное внимание, три же остальных чувства считаются менее существенными. Не так думал младший брат; у него особенно развит был вкус – в самом широком смысле этого слова. А вкус и в самом деле играет большую роль: он ведь руководит выбором всего, что поглощается и ртом и умом. И младший брат не только перепробовал все, что вообще подается на сковородах, в горшках, в бутылках и других сосудах, – это была грубая физическая сторона дела, говорил он, – но и на каждого человека смотрел как на горшок, в котором что-нибудь варится, на каждую страну как на огромную кухню, и это являлось уже тонкою, духовною стороною его миссии. На эту-то сторону он теперь и собирался приналечь.

– Может быть, мне и посчастливится больше братьев! – сказал он. – Итак, я отправлюсь в путь, но какой же способ передвижения избрать мне? Что, воздушные шары изобретены? – спросил он отца – тот ведь знал о всех изобретениях и открытиях прошедшего, настоящего и будущего.

Оказалось, что воздушные шары еще не были изобретены, так же, как пароходы и паровозы.

– Ну, так я отправлюсь на воздушном шаре! – решил он. – Отец-то ведь знает, как они снаряжаются и управляются, и научит меня! Людям эти шары еще неизвестны, и, увидя мой, они примут его за воздушное явление! Я же, воспользовавшись им, сожгу его, – отец должен снабдить меня несколькими штучками грядущего изобретения, так называемыми «химическими спичками».

Все это он получил и полетел. Птицы провожали его дальше, нежели старших братьев: им любопытно было поглядеть, что выйдет из его полета. К этим птицам приставали по пути все новые и новые, – птицы очень любопытны, а шар показался им новою диковинною птицей. И у младшего брата составила такая птичья свита, что хоть убавляй! Птичья стая неслась черною тучей, точно египетская саранча; даже света дневного из-за нее не было видно. Наконец шар залетел далеко-далеко.



– У меня хороший друг и помощник – Восточный ветер! – сказал младший брат.

– То есть два – Восточный и Южный! – сказали оба ветра. – Мы попеременно направляли твой шар, а то как бы ты попал на северо-запад!

Но он и не слышал, что они ему говорили, да и не все ли равно! Птицы больше не сопровождали его: когда их собралось уж очень много, двум-трем из них наскучило лететь.

– Нет, эту вещь слишком раздули! – объявили они. – И он, пожалуй, еще бог весть что вообразит о себе! Да и незачем лететь за ним! Все это пустое! Просто неловко даже!

И они отстали; за ними и все другие. Все нашли, что это – пустое.

А шар спустился в одном из самых больших городов, и воздухоплаватель очутился на высочайшей точке – на башенном шпиге. Шар опять поднялся на воздух, хоть это и не предполагалось, куда он улетел – сказать трудно, да и не все ли равно, раз он не был еще изобретен?

Итак, младший брат восседал на башенном шпиге, но птицы уже не слетались к нему: и он им надоед, и они ему. Все дымовые трубы в городе дымили и благоухали.

– Это всё алтари, воздвигнутые тебе! – сказал ветер – он хотел сказать гостю что-нибудь приятное.

А тот сидел себе преважно и посматривал вниз на улицы и прохожих. Один шел и чванился своим кошельком, другой – ключом, подвешенным сзади на поясе, хоть ему и нечего было этим ключом отпирать; третий – своим кафтаном, а его уж ела моль; четвертый – своим телом, а его уж точил червяк!..

– Суета сует! Да, пора мне сойти вниз, помешать в котле жизни да отведать, каково на вкус его содержимое! – сказал он. – Но я еще посижу тут немножко: ветер так чудесно щекочет мне спину; очень приятно! Я посижу здесь, пока ветер дует с той стороны. Надо же мне отдохнуть немножко. Хорошо подольше понежиться утром в постели, когда предстоит трудный день, говорят ленивцы, а леность – мать пороков, но ведь наша семья не заражена никакими пороками, говорю я, и то же скажет о своей семье любой прохожий! Я посижу тут, только пока ветер дует с той стороны – он мне по вкусу!

И он остался сидеть, но сидел-то он на флюгере шпица, и тот все вертелся с ним, а он думал, что дует все тот же ветер; он продолжал сидеть и мог сидеть так без конца!

А в индийской стране, в замке на солнечном дереве, стало так пусто и тихо, когда братья разошлись один за другим.

– Им не повезло! – говорил отец. – Никогда не принесут они домой сверкающего драгоценного камня, никогда я не обрету его! Они ушли, погибли!..

И он склонялся над «книгой Истины», впиваясь взглядом в страницу, на которой хотел прочесть о жизни после смерти, но по-прежнему ничего не видел на ней.

Слепая дочь была его утешением и отрадой; она так искренне была к нему привязана, так любила его, и, ради его счастья, она горячо желала, чтобы драгоценный камень был найден и принесен домой. Но о братьях она очень горевала: где они и что с ними? Как ей хотелось увидеть их хоть во сне, но, удивительно, даже во сне она не могла с ними свидеться! Но вот однажды ночью ей приснилось, что она слышит их голоса; они зовут ее, они кричат ей из пучины житейского моря, и она пускается в путь, уходит далеко-далеко и в то же время все-таки как будто не выходит из отцовского дома. Братьев она так и не встречает, но в руке чувствует какое-то пламя, которое, однако, не



жжет ее... В руке у нее сверкающий драгоценный камень, и она приносит его отцу! В первую минуту по пробуждении ей показалось, что она все еще держит камень в руке, но оказалось, что рука ее крепко сжимала прялку. В долгие бессонные ночи она беспрерывно пряла, и на веретене была намотана нить тоньше той, что прядет паук; человеческим глазом нельзя было и разглядеть ее. Но девушка смачивала нить своими слезами, и нить становилась крепче якорного каната.

Слепая встала; она решилась, сон должен был сбыться. Была ночь, отец ее спал, она поцеловала его руку, прикрепила конец нити к отцовскому дому – иначе как бы она, бедная слепая, нашла дорогу домой? За эту нить она должна была крепко держаться, – ей она доверялась, а не самой себе, не другим людям. Потом она сорвала с солнечного дерева четыре листочка; она хотела, в случае, если сама не встретит братьев, пустить эти листья по ветру, чтобы тот отнес по одному каждому брату вместо письма-поклона от нее.

Что-то будет с бедняжкой слепой, как станет она пробираться по белу свету? Но она ведь держалась за невидимую путеводную нить и, кроме того, над всеми пятью чувствами преобладала у нее внутренняя, душевная чуткость, благодаря чему она как бы видела кончиками пальцев, слышала сердцем.

И вот она отправилась бродить по белу свету. Море житейское шумело и гудело вокруг нее, но где только ни проходила она – всюду на небе сияло солнышко, ласкавшее ее своими теплыми лучами, всюду из черных облаков исходила сияющая радуга, всюду девушка слышала пение птичек, вдыхала аромат апельсиновых и яблоневых садов; аромат был так силен, что ей казалось даже, будто она вкушает самые плоды. До слуха ее доносились нежные ласкающие звуки, дивное пение, но доносились также завывание и дикие крики; мысли и чувства людские вступали между собою в борьбу, и в глубине ее сердца сталкивались отзвуки двух мелодий – задушевной сердечной мелодии и мелодии рассудка. Один людской хор пел:

Земная жизнь – борьба и слезы,  
Сплошная тьма, просвета нет!

Другой:

Нет, люди рвут и счастья розы,  
Их взор ласкает солнца свет!

Опять доносилась горькая жалоба:

Мир жив лишь злом, враждой, гоненьем,  
Брат губит брата, сын – отца!

В ответ звучало:

Любовью, благостью, прощеньем  
Людей исполнены сердца!

Потом слышалось:

Мир тонет в мраке лжи, притворства,  
Вся жизнь – лишь суета сует!

Но вот раздавалось:

Но с тьмой и ложью в ратоборство  
Вступают Истина и Свет!

Тут хор дико грянул:

Махни рукой на все и смейся,

Людей и мир весь презирай!

Но в сердце слепой девушки звучало:

На Бога и себя надейся,  
Ему судьбу свою вверяй!

И стоило девушке появиться в кругу мужчин и женщин, старых и молодых, души всех загорались светом Истины, Добра и Красоты; повсюду, где она ни появлялась – в мастерской ли художника, в богатом ли, празднично убранном покое, на фабрике ли среди жужжащих машин, – всюду словно восходило солнышко, звучали невидимые струны, благоухали цветы, ниспадала на изнывающие от жажды листья живительная роса.

Но дьявол не мог с этим примириться, а он ведь умнее целых десятков тысяч умных людей, вместе взятых, и додумался-таки, чем помочь горю. Он отправился в болото, взял пузырей стоячей воды, велел прозвучать над ними семикратному эху лжи, чтобы они окрепли, потом истолок в порошок всевозможные, оплаченные похвальные оды и лживые надгробные речи, какие только мог достать, сварил порошок вместе с пузырями в слезах, пролитых завистью, посыпал полученную смесь румянцем, соскобленным с увядшей щеки старой девы, и создал из всего этого девушку по образу и подобию богатой благодатью слепой. Люди стали звать создание дьявола «кротким ангелом душевной чуткости», и все пошло теперь как по маслу, – дьявол одолел: свет не знал, которая из двух была настоящею, да и где ему было знать это!

На Бога и себя надейся,  
Ему судьбу свою вверяй! –

раздавалось между тем в сердце слепой, но просветленной твердою верой девушки. Четыре зеленых листка солнечного дерева она отдала

ветру, чтобы тот отнес их вместо письма-поклона ее братьям, и твердо верила, что ветер доставит листья по назначению. Так же твердо верила она и в то, что драгоценный камень, затмевающий блеском все земное великолепие, будет ею найден. С чела человечества должен он сиять дивным блеском, озаряя и дом ее отца.

– Дом моего отца! – повторила она. – Да, на земле обретается этот камень, и я принесу домой не одну уверенность в его существовании; я уже ощущаю его пламя; оно пышет все сильнее и сильнее в моей зажатой руке! Я подхватывала ведь каждое крошечное зерно Истины, носившейся по ветру, и крепко берегла его; я давала ему пропитаться ароматом всего прекрасного, чего немало на земле, – даже для слепой. Я ловила каждое биение человеческого сердца во имя Добра и вкладывала их в зернышки Истины. Я несु домой одни песчинки, но все они в совокупности и составят драгоценный камень, который я искала; у меня их полная горсть!

И она протянула руку отцу – она была уже дома; с быстротою мысли очутилась она там: она ведь не выпускала из рук невидимой путеводной нити, связывавшей ее с отцовским домом.

Злые духи налетели на солнечное дерево с грохотом урагана, с шумом и свистом ворвались в открытые ворота и в потайную комнату.

– Вихрь развеет песчинки! – вскричал отец, хватая ее разжатую руку.

– Нет! – с твердой уверенностью возразила она. – Их нельзя развеять. Я чувствую, как от них струится луч света, согревающий мою душу!

И отец увидел, что сверкающие песчинки бросали яркий луч на белую страницу «книги Истины», на ту страницу, где он искал доказательств жизни вечной. Он взглянул на страницу – на ней ослепительным блеском сияли четыре буквы, составлявшие единственное слово:

## ВЕРА

В ту же минуту рядом с отцом очутились и четверо его сыновей. Зеленый листок, брошенный ветром на грудь каждому, пробудил в них тоску по родине, и они вернулись вместе с перелетными птицами, оленями, антилопами и другими лесными обитателями. Животные

тоже хотели принять участие в радости, и почему же нет, раз они способны были радоваться?

И вот как солнечный луч, пробравшийся в пыльную комнату через узенькую щелочку в двери, образует косой столб сияющей пыли, так и тут, но куда легче, воздушней и ярче – сама радуга померкла бы перед этим зрелищем, – подымался от сияющего слова «Вера» светозарный столб песчинок Истины. Каждая песчинка соединяла в себе свет Истины, блеск Красоты и сияние Добра, отчего столб и светился ярче огненного столба – путеводаителя Моисея и народа израильского в пустыне; он был мостом Надежды, перекинутым от Веры к всеобъемлющей, бесконечной Любви.

## Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях

Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит легкая зыбь, словно по водяной поверхности; пронесется над нивою, и она взволнуется, как море: это пляска ветра. А послушай его рассказы! Он поет их, и голос его звучит на разные лады: в лесу – так, в доме, куда он врывается через слуховые окна, щели и дыры, – иначе. Гляди, как ветер гонит облака; они несутся, точно стадо овец! А слышишь, как он воет в воротах? Будто сторож трубит в рог! Как странно свищет он в трубе и в камине! Дрова трещат и разбрасывают искры; яркий отблеск пламени забирается даже в самые дальние углы комнаты. Как тут тепло, как уютно, как приятно сидеть у камелька и слушать! Пусть только рассказывает сам ветер! Он один знает историй и сказок больше, чем мы все вместе. Слушай же, он начинает. «У-у-у-у! Проносись!» – это его припев.

– На берегу Большого Бельта есть старая усадьба с красным кирпичным господским домом! – начал ветер. – Мне там знаком каждый кирпич: я видел их все, когда еще из них сложен был замок Марека Стига; замок разрушился, а кирпичи опять пошли в дело – из них выстроили новые стены, новый дом в усадьбе Борребю; он стоит и посейчас.

Знавал я и всех высокородных владетелей и владетельниц усадьбы; много поколений сменилось на моих глазах! Я расскажу теперь о Вальдемаре До и его дочерях!

Высоко держал он свою голову – в нем текла королевская кровь! И умел он не только оленей травить да кубки осушать, а кое-что получше! Что же именно? «А вот со временем выяснится!» – говорил он.

Супруга его, разодетая в парчовое платье, гордо выступала по блестящему мозаичному полу; обстановка дома была роскошная: гобелены, дорогая резная мебель. А сколько серебряной и золотой посуды принесла госпожа с собой в приданое! В погребах хранилось немецкое пиво – пока там вообще что-то хранилось! В конюшнях ржали великолепные вороные кони. Да, богат был владелец Борребю, пока богатство не ушло.

Были у него и дети, три нежных цветка: Ида, Йоханна и Анна Дортея; я еще помню, как их звали!

Да, богаты были обитатели Борребю, родились в роскоши и воспитаны были в роскоши! У-у-у! Проносись! – прогудел ветер и опять продолжал свой рассказ: – Тут мне не случалось видеть, как в других старинных усадьбах, чтобы высокородная госпожа сидела в парадной зале вместе со своими девушками за прялкой. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни старые датские песни, а чужеземные, на чужих языках. В усадьбе жилось весело, наезжали знатные гости и из ближних, и из дальних мест, раздавалась музыка, звенели бокалы, и даже мне не под силу было залушить их! Да, тут царили шум и треск, царила господская спесь, тут были господа, но не было Господа!..



Был майский вечер, – продолжал ветер, – я только что вернулся с запада; я смотрел там, как разбивались о ютландский берег корабли, пронесся над степью и покрытым зелеными лесами берегом, прошумел, просвистел над островом Фюн и водами Большого Бельта и успокоился только у берегов Зеландии. Здесь я улегся возле Борребю в великолепном дубовом лесу – он был еще цел тогда.

По лесу бродили молодые парни из окрестностей и собирали сухой хворост и самые сухие и крупные ветви, какие только могли найти. Набрав охапку, они возвращались в селение, складывали хворост и ветви в кучи, поджигали их и с песнями принимались плясать вокруг костров. Девушки не отставали от парней.

Я лежал смирно, – рассказывал ветер, – и только тихонько дул на ветку, положенную самым красивым молодым парнем. Она вспыхнула ярче всех, и парня выбрали в майские короли, а он выбрал себе из девушек королеву. То-то было веселья, то-то радости! Побольше, чем в богатом господском доме!

А к господскому двору направлялась запряженная шестью лошадьми золоченая карета. В ней сидели сама госпожа и ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была пышным тюльпаном; она сидела, вытянувшись в струнку, и не отвечала ни на один поклон, ни на один книксен, которыми приветствовали ее приостановившие пение и пляску поселяне; она словно боялась переломить свою стройную талию, если поклонится!

«А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, – да, я, как сейчас, вижу их перед собою, – чьими королевами будете со временем вы? – подумал я. – Вашими избранниками будут благородные рыцари, может быть, принцы».

У-у-у! Проносись, проносись!

Карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс.

Так-то встречали лето в Борребю, в Тьеребю и других окрестных селениях!

А ночью, когда я поднялся, – продолжал ветер, – высокородная госпожа слегла и уж больше не вставала. С нею случилось то же, что случается и должно случиться со всеми людьми, – нового тут нет ничего. Вальдемар До постоял с минуту в серьезном раздумье, но «гордое дерево лишь гнется, а не ломается», звучало в его душе. Дочери плакали, дворня тоже ходила с мокрыми глазами. Но госпожа До все-таки унеслась, унесся и я! У-у-у! – прогудел ветер.



Я вернулся назад – я часто возвращался назад, проносясь над островом Фюн и водами Бельта, – и улегся на берегу моря, в Борребю, возле великолепного дубового леса. В лесу вили себе гнезда морские орлы-рыболовы, лесные голуби, иссиня-черные вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна; в одних гнездах лежали яйца, в других уже пищали птенцы, а птичьи стаи кричали и летали над лесом как шальные! В лесу раздавались удары топоров; высокие дубы были обречены на сруб. Вальдемар До собирался выстроить дорогой трехпалубный военный корабль, – его, наверное, купит король! Вот отчего и вырубали лес, приметку моряков, убежище птиц. Сорокопуты в ужасе летали взад и вперед, гнезда их были опустошены; морские орлы и другие лесные птицы тоже лишились своих жилищ и кружились в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их! А вороны и галки выпускали насмешливые крики: «Крах! Разорение! Крах, крах!»

В лесу возле толпы рабочих стоял сам Вальдемар До с тремя дочерьми. Все они смеялись над дикими криками птиц, все, кроме младшей дочери, Анны Дортеи. Ей было жаль птиц, и когда дело дошло до полузасохшего дуба, на голых ветвях которого свил себе гнездо черный аист, она со слезами на глазах стала просить отца не давать рубить дерево, не губить птенцов, высовывавших из гнезда головки. И дуб был пощажен ради черного аиста – стоило ли говорить об одном дереве!



И пошло: рубили и пилили деревья, строили трехпалубный корабль. Сам строитель был не из важного, но все-таки благородного рода. Глаза и лоб обличали его ум, и Вальдемар До охотно слушал рассказы молодого человека. Заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая, пятнадцатилетняя дочка владельца Борребю. Строитель же, сооружая корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок для самого себя и для Иды: они сидели в этом замке рядышком, как муж с женою! Оно бы так и случилось, будь его замок настоящим, с каменными стенами, валами, рвами, лесами и садами. Но куда уж воробью соваться в журавлиную пляску! Как ни умен был молодой строитель, все же он был бедняком. У-у-у! Я умчался, и он умчался – он не смел тут больше оставаться, а Ида примирилась с своею судьбой, больше ведь ничего не оставалось.

В конюшнях ржали вороные кони, – продолжал ветер, – стоило на них посмотреть! На них и смотрели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко

восхищался ретивыми конями. Я отлично слышал все — я ведь проходил вслед за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому. Вальдемару До желательно было получить золото, адмиралу же — вороных коней, оттого-то он и выхвалял их. Но его не поняли, и покупка не состоялась. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками, как Ноев ковчег; не суждено было ему плавать по синему морю! У-у-у! Проносись! Проносись! — прогудел ветер — Жалко было смотреть на него!

Зимою, когда снежный ковер покрыл поле, когда по Бельту поплыли льдины, а я тешился, швыряя их на берег, на корабль налетели стаи черных воронов и ворон, одни чернее других; птицы садились на пустое, брошенное, одинокое судно и злобно шипели и вопили о срубленном лесе, о разоренных, дорогих им гнездах, о лишенных приюта старых и молодых птицах. И все ради чего? Ради этого хлама, этого гордого корабля, которому никогда не суждено быть спущенным на воду!

Я поднял снежный вихрь, и хлопья ложились вокруг корабля волнами. Я дал ему послушать мое пение и музыку бури: пусть привыкает, на то он и корабль! У-у-у! Проносись!

Пронеслась и зима; зима и лето проносятся, как проношусь я, как сыплется снег, осыпаются цветы яблони, опадает листва. Проноситесь! Проноситесь! И люди тоже!

Но дочери были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее длинными русыми локонами, когда она задумчиво стояла под яблонею, не замечая, что я осыпаю ее распустившиеся волосы дождем цветов. Она смотрела на красное солнышко и золотой небесный свод, просвечивавший между густыми деревьями сада.

Сестра ее Йоханна была похожа на стройную, блестящую лилию, с гордо откинутаю назад головкой и такою же тонкою, хрупкою талией, какая была у матери. Она любила заходить в огромный покой, где висели на стенах портреты ее предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и унизанных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в мелкие косы волосы. Как они были прекрасны! Мужья их носили панцири и латы или плащи на беличьем меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Мечи у них висели на бедрах, а не у пояса. Где-то будет красоваться со

временем портрет Йоханны и каков-то будет на вид ее благородный супруг? Да, вот о чем она думала, вот что тихо шептали ее губы. Я подслушал все это, носясь взад и вперед по длинному коридору и врываясь в огромный покой.

Анна Дортея, бледный гиацинт, еще четырнадцатилетняя девочка, была тиха и задумчива. Большие светло-голубые глаза смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел.

Я часто встречал Анну Дортею в саду, на дороге и в поле; она собирала цветы и травы, которые могли, как она знала, пригодиться ее отцу: он готовил из них питье и капли. Вальдемар До был горд и смел, но также и знающ! Он много знал! Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его комнате даже летом, а дверь всегда была на замке; он работал там дни и ночи, но не любил разговаривать о своей работе: силы природы нужно испытывать в тиши; скоро, скоро он найдет самое лучшее, самое драгоценное на свете – красное золото!

Вот почему валил из трубы дым, трескали дрова и пылал в камине огонь! Я сам помогал раздувать его! – рассказывал ветер. – «Будет! Будет! – гудел я в трубу Вальдемару До. – Все станет дымом, сажей, золой, пеплом! Ты прогоришь! У-у-у! Проносись! Проносись! Будет! Будет!» Но Вальдемару До все еще было мало.

Куда же девались из конюшен великолепные лошади? Куда девалась из шкафов серебряная и золотая посуда, с полей – коровы, все добро и имение? Да, все это можно расплавить, растопить... расплавить в золотом тигле, но золота из того не получится!

Пусто стало в кладовых, в погребах и на чердаках. Убавилось людей, прибавилось мышей. Одно стекло трескалось, другое разбивалось, и мне уже не нужно было входить непременно в двери! «Где дымится труба, там готовится еда», а тут дымились такая труба, что пожирала всякую еду ради красного золота!

Я гудел в ворота усадьбы, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа! Я вертел башенный флюгер, и он скрипел, будто сторож храпел на вышке, но и там не было больше сторожа! Там были только крысы да мыши. Нищета накрывала в господском доме стол, нищета разместились в шкафах и буфетах; двери соскочили с

петель, всюду появились щели и дыры – мне на руку: доступ становился свободнее! Оттого-то я и знаю, что там творилось.

От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей волосы и борода владетеля Борребю поседели, кожа на лице сморщилась и пожелтела, но впалые глаза по-прежнему горели жадным блеском в ожидании золота, желанного золота!

Я дул и обдавал ему лицо и бороду дымом и пеплом; золото все не являлось, зато являлись долги. Я пел свои песни в разбитые окна, щели и дыры, пробирался и в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья, – носить их пришлось без конца, без перемены! Да, не то сулили девушкам песни, что пелись над их колыбелями! Господское житье стало горемычным житьем. Лишь я один пел там громко! – рассказывал ветер. – Я осыпал весь дом снегом, говорят, что снег греет; дров же у них не было, лес был ведь вырублен. Мороз так и трещал. Я носился взад и вперед по всему дому, врвался в слуховые окна и щели, носился над крышей и стенами – надо было поддержать в себе бодрость! А благородные девицы попрятались от холода в постели; сам отец заполз под меховое одеяло. Ни еды, ни топлива – вот так господское житье! У-у-у! Проносись! Будет! Будет! Но господину До все было мало.

«За зимою идет весна! – говорил он. – Нужда сменится довольством! Но оно заставляет себя ждать! Теперь имение заложено, ждать больше нельзя, но золото явится скоро... к Пасхе!»

Я слышал, как он шептал пауку: «Ты прилежный, маленький ткач, ты учишь меня терпению! Разорвут твою ткань, ты начинаешь сначала и опять доводишь ее до конца! Разорвут опять – опять начинаешь сначала, сначала, сначала! Так и следует! Награда же впереди!»

Но вот и первый день Пасхи; зазвонили колокола, в небе заиграло солнышко. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, варил, охлаждал, мешал, перегонял. Я слышал, как он тяжело вздыхал, как горячо молился, я видел, как он сидел за работой, боясь перевести дух. Лампа его потухла – он не замечал. Я раздул уголья, они затлели и осветили его бледное как мел лицо и впалые глаза. Вдруг они расширились, еще, еще... глаза готовы были выскочить!

Гляди в стеклянный сосуд! Блестит. Горит, как жар... Что-то яркое, тяжелое! Он подымает сосуд дрожащею рукою и, задыхаясь от

волнения, восклицает: «Золото! Золото!» Он шатался, я мог бы свалить его с ног одним дуновением! Но я только раздул горячие угли и проводил его в комнату, где мерзли дочери. Платье его все было в золе, борода и всклокоченные волосы – тоже. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, лежавшее в хрупком стеклянном сосуде. «Нашел! Нашел! Золото!» – закричал он и протянул им сосуд, заискрившийся на солнце, но... рука его дрогнула, сосуд упал на пол и разбился вдребезги! Последний радужный мыльный пузырь надежды лопнул! У-у-у! Проносись! И я унесся из дома алхимика.

Позднею осенью, когда настали короткие дни, а туман развесил свои мокрые лохмотья и выжимал их над красными ягодами и обнаженными ветвями деревьев, я вернулся, свежий и бодрый, подул и прочистил небо да кстати пообломал гнилые ветви – работа не бог весть какая, но сделать ее все-таки нужно. В господском доме в Борребю тоже было чисто, словно ветром выметено, но на другой лад. Недруг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, явился в Борребю с закладным листом на имение: теперь и дом, и все имущество принадлежали ему! Я изо всех сил принялся гудеть в разбитые окна, хлопать сорвавшимися с петель дверями, свистеть в щели и дыры: у-у-у! Пусть не захочется господину Ове остаться тут! Ида и Анна Дортея заливались горькими слезами; Йоханна стояла, гордо выпрямившись, бледная как смерть, и так стиснула зубами свой палец, что брызнула кровь. Но помощи от этого было мало! Ове Рамель позволил господину До остаться жить в доме до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я ведь все слышал и видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такою силою ударил по крыше и по старым липам, что сломал самую толстую и вовсе не гнилую ветвь; она упала возле ворот и осталась там лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вымести – прежних владельцев!

Тяжелый выдался день, горький час, но душа была тверда, спина не гнулась.

Ничего у них не осталось, кроме того, что было на теле, да вновь купленного стеклянного сосуда, в который собрали с пола рассыпавшееся сокровище, так много обещавшее, но не сдержавшее своих обещаний. Вальдемар До спрятал его на груди, взял посох в руки; и вот некогда богатый владелец поместья вышел со своими

тремя дочерьми из Борребю. Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел: «У-у-у! Проносись! Проносись!» Вот каков был конец дворянского великолепия!

Ида и Анна Дортея шли рядом с отцом; Йоханна, выходя из ворот, обернулась назад. К чему? Счастье ведь не обернется! Она посмотрела на красные кирпичные стены, выстроенные из кирпичей замка Марека Стига, и вспомнила о его дочерях.

И старшая, младшую за руку взяв,  
Пустилась бродить с ней по свету.

Вспомнила ли Йоханна эту песню? Теперь изгнанник было три да четвертый отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смидструпа, к жалкой мазанке, нанятой ими за десять марок в год. Новое господское жилье, пустые стены, пустая посуда. Вороны и галки летали над ними и насмешливо кричали: «Крах! Крах! Разорение! Крах!» – так же кричали они в лесу во время рубки.

Господин До и его дочери хорошо поняли эти крики, хоть я и дул им в уши изо всех сил, – стоило ли слушать?!

Они вошли в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и общипанными лесами, к открытому морю, в другие страны. У-у-у! Проносись! Проносись! И так из года в год.

Но что же случилось с Вальдемаром До, что случилось с его дочерьми? А вот сейчас ветер расскажет:

– Последней я видел Анну Дортею, бледный гиацинт, но она была уже слабою старухой – прошло ведь целых пятьдесят лет. Она пережила всех и знала обо всем.

В степи, близ города Выборга, стоял новый красивый красный кирпичный дом священника. Густой дым струей вился из трубы. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели через кусты садового терна в степь. Что же они видели там?

Они смотрели на гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся избушки. Крыша вся поросла мхом и диким чесноком, и покрывала-то избушку главным образом не она, а гнездо аиста! Оно только одно ведь и чинилось; держал его в порядке сам аист.

На избушку эту можно было только смотреть, но уж никак не дотрагиваться до нее! Даже мне приходилось дуть здесь с опаскою! – сказал ветер. – Только ради гнезда аиста избушку и оставляли стоять, а то бы такой хлам давно сломали. Семья священника не хотела выгонять аиста, и вот избушка уцелела, а в ней жила бедная старуха. За приют она могла благодарить египетскую птицу, или, может быть, это аист благодарил ее за то, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Борребю? В те времена нищая старуха была нежным ребенком, бледным гиацинтом из дворянского цветника. И Анна Дортея помнила все.

«О-ох! – Да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. – О-ох! Не звонили колокола над твоею могилою, Вальдемар До! Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Борребю опускали в землю!.. Да, всему, всему наступает конец, даже злосчастью!.. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Вот это нанесло отцу жесточайший удар! Муж его дочери – жалкий раб, которого господин может посадить на кобылку! Теперь и он, наверно, в земле, и сестра Ида!.. Да, да! Только мне, бедной, Бог конца не посылает! Ох, освободи же меня, Иисусе Христе!»

Так молилась Анна Дортея в своей жалкой избушке, уцелевшей лишь благодаря аисту.

О самой же здоровой и смелой из сестер я сам позаботился! – продолжал ветер. – Она надела платье, которое больше было ей по вкусу: переделалась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупа была она на слова, сурова на вид, но с делом своим справлялась, только лазить не умела! Ну, я и сдул ее в воду, пока не узнали, что она женщина, и хорошо сделал!





Был первый день Пасхи, как и тогда, когда Вальдемар До думал, что нашел золото, и я услышал под крышей с гнездом аиста пение псалма, последнюю песнь Анны Дортеи.

В избушке не было даже окна, а просто отверстие в стене; взошло солнце, словно золотой шар, и лучи его проникли в отверстие. Что за блеск разлился по избушке! Взор Анны Дортеи не вынес и закрылся навеки, сердце перестало биться! Солнце, впрочем, было тут ни при чем; случилось бы то же, если бы оно и не всходило в то утро.

Аист давал Анне Дортее кров до самой ее смерти. Я пел и над ее могилою, и над могилою ее отца, — я знаю, где и та и другая, а кроме меня, не знает никто.

Новые времена, другие времена! Старая проезжая дорога упирается теперь в огороженное поле, по могилам проходит новая, а скоро пронесется тут и паровоз, таща за собою ряд вагонов и шумно гремя над забытыми могилами. У-у-у! Проносись!

Вот вам и вся история про Вальдемара До и его дочерей. Расскажи ее лучше, кто сумеет! – закончил ветер и повернул в другую сторону.

И след его простыл.

*1859*

## Девочка, наступившая на хлеб



Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано и напечатано.

Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки, ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зеленый листик или клочок бумаги. Бедное насекомое ухватывалось ножками за бумагу, вертелось и изгибалось, стараясь освободиться от булавки, а Ингер смеялась:

— Майский жук читает! Ишь как переворачивает листок!

С летами она становилась скорее хуже, чем лучше; к несчастью своему, она была прехорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да все не такие, какие следовало.

— Крепкий нужен щелчок для этой головы! — говаривала ее родная мать. — Ребенком ты часто топтала мой передник, боюсь, что, выросши, ты растопчешь мне сердце!

Так оно и вышло.

Ингер уехала и поступила в услужение к знатым господам в помещичий дом. Господа обращались с нею как с своею родной дочерью, и в новых нарядах Ингер, казалось, еще похорошела, зато и спесь ее все росла да росла.

Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей:

– Ты бы навестила своих стариков, Ингер!

Ингер отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Ингер повернула назад: ей стало стыдно, что у нее, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Ингер даже не пожалела, что не повидалась с родителями, ей только досадно было.

Прошло еще полгода.

– Надо тебе навестить своих стариков, Ингер! – опять сказала ей госпожа. – Вот тебе белый хлеб, снеси его им. То-то они обрадуются тебе!

Ингер нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков, – ну, за это и упрекать ее нечего. Но вот тропинка свернула на болотистую почву; приходилось пройти по грязной луже. Недолго думая, Ингер бросила в грязь свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одною ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею все глубже и глубже в землю. – только черные пузыри пошли по луже!

Вот такая история!

Куда же попала Ингер? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится теткой девицам-эльфам; эти-то всем известны: про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинах их изображали не раз, о болотнице же известно очень мало; только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят: «Болотница пиво варит!» Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Ингер, а тут долго не выдержишь! Клоака – светлый, роскошный покой в сравнении с пивоварней болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут видимо-невидимо, и стоят они плотно-

плотно один возле другого; если же между некоторыми и отыщется где щелочка, то тут сейчас наткнешься на съезжившихся в комок мокрых жаб и жирных ужей. Да, вот куда попала Ингер! Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Ингер задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собой, как янтарный шарик соломинку.

Болотница была дома; пивоварню посетили в этот день гости: черт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздною, даже в гости берет с собою какое-нибудь рукоделие: шьет из кожи башмаки, надев которые человек делается непоседой, или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка, – все во вред и на пагубу людям! Да, чертова прабабушка – мастерица шить, вышивать и вязать!

Она увидела Ингер, поправила очки, посмотрела на нее еще и сказала:

– Да у этой девочки есть кое-какие задатки! Я попрошу вас уступить ее мне на память о сегодняшнем посещении! Из нее выйдет отличная статуя для передней моего правнука!

Болотница уступила ей Ингер, и девочка попала в ад, – люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем, а окольным!

Передняя занимала покой, уходящий в бесконечность; поглядеть вперед – голова закружится, оглянуться назад – тоже. И вся она была запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать! Большущие, жирные, переваливающиеся с боку на бок пауки оплели их ноги тысячелетнею паутиной; она сжимала их, точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечною мучительною тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика, другие... да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников!

Ингер пришлось испытать весь ужас положения статуи; ноги ее были словно привинчены к хлебу.

«Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмаки, и вот каково мне теперь! – говорила она самой себе. – Ишь таращатся на меня!» Действительно, все грешники глядели на нее; дурные страсти

так и светились в их глазах, говоривших без слов; ужас брал при одном взгляде на них!



«Ну, на меня-то приятно и посмотреть! – думала Ингер. – Я и сама хорошенькая, и одета нарядно!» И она повела на себя глазами – шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне болотницы! Об этом она и не подумала! Платье ее все сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее, а из каждой складки платья выплядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! «Ну, да и другие-то здесь выплядут не лучше моего!» – утешала себя Ингер.

Но хуже всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались, она вся будто окаменела и могла только поводить глазами во все стороны, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед; она моргала глазами, но мухи не улетали: крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука! А тут еще этот голод! Под конец Ингер стало казаться, что внутренности ее пожрали самих себя и внутри у нее стало пусто, ужасно пусто!

– Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу! – сказала Ингер, но выдержать ей пришлось, терпеть надо было немало.

Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб; за нею другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Ингер?

А разве у нее не оставалось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего! Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек! Ей казалось, что все внутри ее пожрало само себя и она стала тонкою, пустою тростинкой, вытягивавшею в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что говорили о ней там, наверху, а говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько, искренне оплакивала ее, все-таки повторяла:

– Спесь до добра не доводит! Спесь и сгубила тебя, Ингер! Как ты огорчила меня!

И мать Ингер, и все там, наверху, уже знали о ее грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма и рассказал другим.

– Как ты огорчила свою мать, Ингер, – повторяла мать. – Да я другого и не ждала!

«Лучше бы мне и не родиться на свет! – думала Ингер. – Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне!»

Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею как с дочерью:

– Она большая грешница! Она не чтит даров Господних, попирает их ногами! Не скоро откроются для нее двери милосердия!

«Воспитывали бы меня получше, построже! – думала Ингер. – Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!»

Слышала она и песню, которую сложили о ней люди, песню «о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков». Ее распевали по всей стране.

«И чего только мне не приходится выслушивать! Как я страдаю за мою провинность! – думала Ингер. – Пусть бы и другие заплатились за свои! А скольким бы пришлось! У, как я терзаюсь!»

И душа Ингер становилась еще грубее, еще ожесточеннее.

– В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да я и не хочу! Ишь таращатся на меня! – говорила она и вконец озлобилась на всех людей. – Обрадовались, нашли теперь, о чем галдеть! У, как я терзаюсь!

Слышала она также, как историю ее рассказывали детям, и малыutki называли ее безбожницею.

– Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько! – говорили дети.

Только одно дурное слышала о себе Ингер из детских уст.

Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной невинной маленькой девочке, и малыутка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Ингер.

– И неужели она никогда не вернется сюда, наверх? – спросила малыутка.

– Никогда! – ответили ей.

– А если она попросит прощения, обещает никогда больше так не делать?

– Да она вовсе не хочет просить прощения!

– Ах, пусть бы она попросила прощения! – сказала девочка и долго не могла утешиться. – Я бы отдала свой кукольный домик, только бы



ей позволили вернуться на землю! Бедная, бедная Ингер!

Слова эти дошли до сердца Ингер, и ей стало как будто полегче: в первый раз нашлась живая душа, которая сказала: «Бедная Ингер!» – и не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая невинная девочка плакала и просила за нее!.. Какое-то странное чувство охватило душу Ингер; она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением.

На земле годы летели стрелою, под землею же все оставалось по-прежнему. Ингер слышала свое имя все реже и реже – на земле вспоминали о ней все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох: «Ингер! Ингер! Как ты огорчила меня! Я всегда это предвидела!» Это умирала мать Ингер.

Слышала она иногда свое имя и из уст старых хозяев. Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно: «Может быть, мы еще свидимся с тобою, Ингер! Никто не знает, куда попадет!»

Но Ингер-то знала, что ее почтенной госпоже не попасть туда, куда попала она.

Медленно, мучительно медленно ползло время.

И вот Ингер опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки: это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о «бедной Ингер»; малютка успела вырасти, состариться и была отозвана: Господь призвал ее к себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и ее горькие слезы об Ингер, да так живо, что она невольно воскликнула: «Господи, может быть, и я, как Ингер, сама того не ведая, попирала ногами Твои всеблагие дары, может быть, и моя душа была заражена спесью, и только Твое милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня! Не оставь же меня в последний мой час!»

И телесные очи умирающей закрылись, а духовные отверзлись, и так как об Ингер была ее последняя мысль, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного, – увидела, как низко пала Ингер. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу Царя Небесного, плача и молясь о грешной душе так же искренне, как плакала ребенком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе

терзающуюся душу, и у Ингер душа перевернулась от этой неожиданной любви к ней на небе. Божий ангел плакал о ней! Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на все содеянное ею и залилась слезами, каких никогда не знавала Ингер. Жалость к самой себе наполнила ее: ей казалось, что двери милосердия останутся для нее закрытыми на веки вечные! И вот едва она с сокрушением осознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снежного истукана, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на теплых губах ребенка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Ингер. Маленькая птичка молнией взвилась из глубины на волю. Но, очутившись на белом свете, она съежилась от страха и стыда – она всех боялась и стыдилась и поспешно спряталась в темную трещину в какой-то полуразрушенной стене. Тут она и сидела, съежившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука, – у нее и не было голоса. Долго сидела она так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться всем, что ее окружало. Да, было чем полюбоваться! Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали; в уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платице из перышек на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в Божьем мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песне, но птичка не могла петь, как ей ни хотелось этого; не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни защелкать, как соловей! Но Господь слышит даже немую хвалу червяка и услышал и эту бесполезную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде нежели он нашел для него слова и мелодию.

Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле.

Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса – пусть и птички весело справят праздник Рождества Спасителя!

В рождественское утро встало солнце и осветило сноп; живо налетели на угощение щебетуны птички. Из расщелины в стене тоже раздалось: пи-пи! Мысль вылилась в звук, слабый писк был настоящим гимном радости; мысль готовилась воплотиться в добром

деле, и птичка вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка.

Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом, для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летела над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санями, зернышки, а возле стоянок для кормежки лошадей – крошки хлеба, но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев накрошенные из окна милосердною рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим.

За зиму птичка собрала и раздала так много хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Ингер, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.

– Вон летит морская ласточка! – сказали дети, увидав белую птичку.

Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видал, куда она делась.

– Она улетела на солнышко! – сказали дети.

## Колокольный сторож Оле



В мире все идет то в гору, то под гору, то под гору, то в гору! Мне уж выше не подняться! — говаривал колокольный сторож Оле. — В гору — под гору, под гору — в гору, это всем приходится испытать! Под конец же все мы, в сущности, становимся колокольными сторожами — смотрим на жизнь и вещи сверху вниз.

Так говаривал мой приятель Оле, колокольный сторож, веселый, словоохотливый старик. Казалось, у него что на уме, то и на языке, но он много чего таил у себя на душе. Происхождения он был хорошего; поговаривали, что он сын важного чиновника или мог бы быть им; он получил образование, побывал помощником учителя, потом помощником пономаря, но толку из того не вышло! Оле жил у пономаря на всем готовом, а он был в те времена еще молод и любил-таки щегольнуть, как говорится; ну вот он и требовал для своих сапог глянец-ваксы, а пономарь отпускал ему только простую смазку, оттого они и не ладили. Один заговорил о скупости, другой — о суетности; вакса стала черною причиной их ссоры, и они расстались. Но требования Оле остались те же: он и от всего света требовал глянец-ваксы, а получал всегда только простую смазку; вот он и ушел от людей, сделался отшельником. Но отшельническую келью, да еще с куском хлеба, можно найти в большом городе только на колокольне. Туда-то и забрался Оле и прохаживался там один-одинешенек, покуривая свою трубочку. Глядел он вниз, глядел и вверх и

рассказывал о том, что видел и чего не видел, что прочел в книгах и что – в своей душе. Я часто снабжал его книгами, только хорошими: скажи, с кем водишься, и я скажу, кто ты таков! Оле не любил назидательных английских романов, не любил и французских, состряпанных из ветра и изюмных стебельков. Он просил у меня описаний жизни людей и чудес природы. Я навещал Оле по крайней мере раз в год, обыкновенно вскоре после Нового года: в это время у приятеля моего всегда находилось о чем поговорить, всегда было в запасе что-нибудь такое, имеющее связь с переменной года.

Расскажу здесь о двух посещениях, стараясь, по возможности, держаться собственных слов Оле.

## Посещение первое

В числе книг, данных мною Оле в последний раз, была одна о валунах; она-то особенно и понравилась ему.

– Вот чей юбилей следует отпраздновать – юбилей валунов! – сказал мне Оле. – А мимо них проходят, даже не замечая их. Я сам так делал, гуляя по полю и по берегу, где их лежат сотни. На мостовой же эти остатки седой старины равнодушно попираются ногами! И я делал то же! Но теперь я смотрю на каждый камень мостовой с глубоким почтением! Спасибо за эту книжку! Она овладела моим вниманием, освободила меня от старых предрассудков и привычек и возбудила желание прочесть побольше таких книг. Роман земли все-таки интереснее всех романов! Жаль только, что нельзя прочесть первых его глав: они написаны на таком языке, которому мы не учились; приходится читать по слоям, кремневым пластам различных земных периодов, а действующие лица, Адам и Ева, появляются только в шестой главе. Некоторым читателям такое появление кажется несколько запоздалым: им подавай живых лиц в самом начале земного романа, ну а мне все равно. Да, это роман самый что ни на есть увлекательный, и все мы выведены в нем! Мы барахтаемся, копошимся, ползаем и – всё ни с места, а шар-то вертится себе да вертится, не выливая на нас океана. Корка, по которой мы ходим, тверда, так что мы не проваливаемся, и вот роман тянется миллионы лет, а продолжение все впереди. Спасибо за книгу о валунах! Вот

молодцы! Умей они говорить, они бы рассказали кое о чем! Право, забавно, сидя так высоко, как я, превратиться в нуль, вспомнив, что все мы со всею нашею глянц-ваксой, орденами, продвижением вперед – только минутные муравьи в муравейнике! Да, чувствуешь себя таким молокососом в сравнении с этими миллионнолетними валунами, что просто неловко становится. Я читал книгу как раз под Новый год и так углубился в нее, что позабыл доставить себе обычное удовольствие – поглядеть, как «мчится на Амагер дикая орда». Да вы-то, пожалуй, об этом и не знаете!

О полете ведьм на шабаш знают все; это бывает в Иванову ночь, и слетаются они на гору Брокен. Но у нас бывает свой, местный и современный шабаш на Амагере в ночь под Новый год. Все плохие поэты и поэтессы, музыканты, журналисты и другие никуда не годные артистические величины мчатся в ночь под Новый год по воздуху на Амагер; летят они верхом на кисточках или гусиных перьях – стальные не годятся: слишком тверды, не гнутся. Я, как сказано, смотрю на эту дикую орду каждый год и многих из путешественников мог бы назвать вам по именам – не стоит только связываться! Им смерть не хочется, чтобы люди знали об их ежегодном ночном путешествии верхом на перьях на Амагер, но у меня есть одна дальняя родственница, торговка рыбой и поставщица бранных слов в три уважаемые газеты, как она говорит, – и она раз присутствовала на таком шабаше в качестве гостьи. Ее принесли туда, так как сама она не держит в руках пера и верхом ездить не умеет. Так вот, она-то мне обо всем и рассказала. Половина ее рассказов – ложь, но и остальной половины довольно. Начался праздник песнями; каждый из гостей написал свою и пел свою – она ведь была лучше всех! Да и не все ли равно? Все пели на один лад! Затем «труженики языка» маршировали небольшими кучками. Тут были и звонари, что звонят по домам, и маленькие барабанщики, что барабанят в семействах. Потом те, кому нужно было, познакомились с писаками, что пускают свои статейки без подписи, – чтобы смазка могла сойти за глянц-ваксу! Между ними были палач и его подручный; подручный-то и был самым резким на язык – иначе на него ведь не обратили бы внимания! Был тут и мусорщик, который вываливал из ящика мусор, приговаривая: «Хорошо, очень хорошо, замечательно хорошо!» В самый разгар «веселья» из помойной ямы вырос стебель, дерево, чудовищный

цветок, огромная поганка, целая крыша; это была «елка» честного собрания; на ней было навешано все, что они в продолжение старого года дали миру. От нее сыпались искры – словно блуждающие огоньки летали; это были заимствованные мысли и взятые напрокат идеи, которыми участники веселья пользовались; теперь они освободились и взлетели на воздух фейерверком. Началась игра в «жгут горит», поэтишки же играли в «сердце горит», краснобаи сыпали остротами – иначе они не могут, – и остроты гремели, точно разбивались о двери пустые горшки или горшки с золою. Ужасно весело было, по словам моей родственницы! Собственно говоря, она высыпала еще с три короба злых, но остроумных замечаний, но я не стану повторять их: надо быть добрыми людьми, а не критиками. Теперь вы поймете, что я, зная о таком празднике, не упускаю случая ежегодно в ночь под Новый год посмотреть, как мчится дикая орда. Иной год случается мне хватиться некоторых прошлогодних путешественников, зато прибавляется обыкновенно и несколько новых. Нынешний же год я прозевал зрелище, катясь вместе с валунами через миллионы лет. Я видел, как они отрывались от скал севера, скатывались вниз, плавали на льдинах задолго до построения Ноева ковчега, падали в воду, погружались на дно и вновь подымались на поверхность вместе с песчаною отмелью, которая говорила: «Здесь будет Зеландия!» Я видел, как эти камни служили прибежищем для неизвестных нам пород птиц, тронем для предводителей диких дружин, имен которых мы тоже не знаем; видел, наконец, как на некоторых из камней вырубили топором рунические знаки. Этим камням, таким образом, отведено место в счислении времени, зато сам я окончательно потерял всякое представление о времени, превратился в нуль... В это время с неба упали три-четыре прелестные звездочки, и мысли мои приняли другой оборот. Вы знаете, что такое падающие звезды? Ученые ведь этого не знают! Я смотрю на них по-своему.

Как часто посылают люди тайную, немую благодарность и благословение человеку, свершившему нечто прекрасное, доброе; благодарность эта беззвучна, но она не пропадает даром. По-моему, эта молчаливая, тайная благодарность подхватывается солнечным лучом, который затем и возлагает его на голову благодетеля. Если же случается, что целый народ посылает такую благодарность давно умершему благодетелю, с неба падает на его могилу яркий букет –

звездочка. И мне доставляет истинное удовольствие угадывать, – особенно в ночь под Новый год, – кому назначается этот благодарственный букет. В последний раз звезда упала на юго-западе; это была благословенная благодарность многим, многим! Кому же именно? По-моему, звезда, наверное, упала на крутой берег Фленсбургского залива, где веет Даннеброг над могилами Шлеппегреля, Лессе и их товарищей. Потом раз я видел, как скатилась звезда в самую средину страны – в Соре, на могилу Хольберга. Это было спасибо от многих читателей его дивных комедий!

И что за великая, радостная мысль – сознавать, что на твою могилу скатится такая звездочка!.. На мою-то не упадет ни одна, ни один солнечный луч не принесет мне спасибо – не за что! Мне не удалось добиться глянца-ваксы; моя судьба – довольствоваться простою смазкой.

## **Посещение второе**

В первый день Нового года я поднялся на колокольню, и Оле заговорил о тостах, под которые осушаются бокалы по случаю перехода от старой канители – как он назвал год – к новой. Тут я услышал от него историю о бокалах, и в ней была недурная мысль.

– Едва часы в ночь под Новый год пробьют двенадцать, люди встают с мест с полными бокалами в руках и пьют за Новый год. Год начинают с бокалами в руках – недурное начало для пьяниц! Начинают год тем, что ложатся спать, – хорошее начало для лентяев! И сон и бокалы действительно играют в течение года немалую роль! А знаете вы, что в бокалах? – спросил меня Оле. – В них здоровье, радость и веселье! Но в них же и злополучие, и величайшие несчастья! Считая бокалы, я, конечно, подразумеваю степени опьянения.

Вот первый бокал, бокал здоровья! В нем растет цветок здоровья, посади его в своем доме и к концу года будешь сидеть в беседке здоровья!

Возьмете второй бокал – из него вылетает птичка; она невинно-радостно щебечет; человек прислушивается и невольно подпевает ей:



«Жизнь прекрасна! Не надо вешать носа! Смело вперед!»

Из третьего бокала вылетает маленькое крылатое существо; ангелочком его назвать нельзя – он из породы домовых, но не издевается, а только шутит. Он прильнет к уху человека и начнет нашептывать забавные выдумки, уляжется у его сердца и так согревает его, что человеку хочется шалить и острить, и он действительно становится остряком – по мнению других таких же остряков.

В четвертом бокале нет ни цветка, ни птички, ни крылатого шалуна; в нем черта, проводимая разумом, и за нее никогда не следует переходить.

Если же возьмешь пятый бокал, заплачешь над самым собою, растрогаешься или, наоборот, расшумишься: из бокала выскочит с треском принц Карнавал, невоздержанный на язык, шальной!.. Он увлечет тебя, ты забудешь свое достоинство – если оно у тебя есть! Забудешь многое, больше чем можешь и смеешь. Пляска, пение, звон бокалов!.. Маски увлекают тебя в бешеный вихрь... Перед тобой дочери Сатаны с распущенными волосами, разодетые в газ и шелк, стройные, красивые... Оторвись от них, коли сможешь!

Шестой бокал!.. Ну в этом уже сидит сам Сатана, прекрасно одетый, красноречивый, привлекательный, в высшей степени приятный человек! Он вполне понимает тебя, находит, что ты прав всегда и во всем, он – твое второе «я»; он является с фонарем, чтобы проводить тебя восвояси. Да, в одной старой легенде рассказывается о святом, который должен был выбрать один из семи смертных грехов и выбрал, как ему казалось, наименьший – пьянство, но благодаря ему впал и во все остальные. В шестом бокале – кровь Сатаны, смешанная с человеческою. Только выпей его – все дурные семена, что прячутся в твоей душе, пустят ростки, и каждое разрастется, подобно евангельскому горчичному зерну, в целое дерево, которое может покрыть своею тенью весь свет. Большинству людей остается после этого только отправиться в переплавку!

– Вот вам история бокалов! – заключил Оле. – Ее можно подавать под соусом и из плянц-ваксы, и из простой смазки. Я подаю ее под обоими.

Это было мое второе посещение Оле; захочешь послушать еще, придется продолжать посещения.

1859

## Анне Лисбет

Анне Лисбет была красавица, просто кровь с молоком, молодая, веселая. Зубы сверкали ослепительной белизной, глаза так и горели; легка была она в танцах, еще легче в жизни! Что же вышло из этого? Дрянной мальчишка! Да, некрасив-то он был, некрасив! Его и отдали на воспитание жене землекопа, а сама Анне Лисбет попала в графский замок, поселилась в роскошной комнате; одели ее в шелк да в бархат. Ветерок не смел на нее дунуть, никто – грубого слова сказать: это могло расстроить ее, она могла заболеть, а она ведь кормила грудью графчика!

Графчик был такой нежный, что твой принц, и хорош собою, как ангелочек. Как Анне Лисбет любила его! Ее же собственный сын ютился в избушке землекопа, где не каша варилась, а больше языки трещали, чаще же всего мальчишка плакал в пустой избушке один-одинешенек. Никто не слышал его криков, так некому было и пожалеть! Плакал он, пока не засыпал, а во сне не чувствуешь ведь ни голода, ни холода; сон вообще чудесное изобретение!



Годы шли, а с годами и сорная трава вырастает, как говорится; мальчишка Анне Лисбет тоже рос, как сорная трава. Он так и остался в семье землекопа, Анне Лисбет заплатила за него и этим развязалась с ним окончательно. Сама она стала горожанкой, жилось ей отлично, она даже носила шляпки, но к землекопу с женой не заглядывала никогда – далеко было, да и нечего ей было у них делать! Мальчишка принадлежал теперь им, и так как есть-то он умел, говорили они, то и должен был сам зарабатывать себе на харчи. Пора было ему взяться за дело, вот его и приставили пасти рыжую корову Мадса Йенсена.

Цепной пес на дворе белильщика гордо сидит в солнечные дни на крыше своей конуры и лает на прохожих, а в дождь забирается в конуру; ему там и сухо и тепло. Сынишка Анне Лисбет сидел в солнечные дни у канавы, стругая кол, и мечтал: весною он заприметил три цветка земляники – «наверно, из них вырастут ягодки!». Мысль эта была его лучшей радостью, но ягод не вышло. В дождь и непогоду он промокал до костей, а резкий ветер просушивал его. Если же

случалось ему забраться на барский двор, его угощали толчками и пинками; он такой дрянной, некрасивый, говорили девушки и парни, и он уже привык не знать ни любви, ни ласки!

Так как же сынку Анне Лисбет жилось на белом свете? Что выпало ему на долю? Не зная ни любви, ни ласки!

Наконец его совсем сжили с земли – отправили в море на утлом судне. Он сидел на руле, а шкипер пил. Грязен, прожорлив был мальчишка; можно было подумать, что он отроду досыта не наедался! Да так оно и было.

Стояла поздняя осень, погода была сырая, мглистая, холодная; ветер пронизывал насквозь, несмотря на толстое платье, особенно на море. А в море плыло однопарусное утлое судно всего с двумя моряками на борту, можно даже сказать, что их было всего полтора: шкипер да мальчишка. Весь день стояли мглистые сумерки, к вечеру стало еще темнее; мороз так и щипал. Шкипер принялся прихлебывать, чтобы согреться; бутылка не сходила со стола, рюмка – тоже; ножка у нее была отбита и вместо нее к рюмке приделана деревянная, выкрашенная в голубой цвет подставка. «Один плоток – хорошо, два – еще лучше», – думал шкипер. Мальчик сидел на руле, держась за него обеими жесткими, запачканными в дегте руками. Некрасив он был: волосы жесткие, унылый, забитый вид... Да, вот каково приходилось сынишке землекопа, по церковным книгам – сыну Анне Лисбет.

Ветер резал волны по-своему, судно по-своему! Парус надулся, ветер подхватил его, и судно понеслось стрелой. Сырость, мгла... Но этим еще не кончилось! Стоп!.. Что такое? Что за толчок? Отчего судно взметнулось? Что случилось? Вот оно завертелось... Что это, хлынул ливень, обдало судно волною?.. Мальчик-рулевой вскрикнул: «Господи Иисусе!» Судно налетело на огромный подводный камень и погрузилось в воду, как старый башмак в канаву, потонуло «со всеми людьми и мышами», как говорится. Мышей-то на нем было много, а людей всего полтора человека: шкипер да сынишка землекопа. Никто не видал крушения, кроме крикливых чаек и рыб морских, да и те ничего не разглядели хорошенько, испуганно метнувшись в сторону, когда вода с таким шумом ворвалась в затонувшее судно. И затонуло оно всего на какую-нибудь сажень! Сгинули в пучине шкипер и мальчишка, точно и не бывало! На поверхность всплыла только рюмка с голубую деревянную подставкой – подставка-то и заставила всплыть

рюмку. Волны понесли ее и выкинули на берег в осколках! Когда, где? Не все ли равно; она отслужила свой век, была любима, не то что сын Анне Лисбет! Но, вступив в небесные чертоги, ни одной душе не приходится больше жаловаться на то, что ей суждено было век не знать ни любви, ни ласки!

Анне Лисбет жила в городе уже много лет, и все звали ее «сударыней». А уж как подымала она нос, если речь заходила о старых временах, когда она жила в графском доме, разъезжала в карете и имела случай разговаривать с графинями да баронессами! И что за красавчик, ангелочек, душка был ее графчик! Как он любил ее и как она его! Они целовали друг друга, гладили друг друга; он был ее радостью, половиной ее жизни.

Теперь он уж вырос, ему было четырнадцать лет, и он был обучен разным наукам и хорош собой. Но она не видала его с тех пор, как еще носила на руках; ни разу за все это время она не побывала в графском замке: далеко было, целое путешествие!

– Когда-нибудь да все-таки надо собраться! – сказала Анне Лисбет. – Надо же мне взглянуть на мое сокровище, моего графчика! И он-то, верно, соскучился обо мне, думает обо мне, любит по-прежнему! Бывало, уцепится своими ангельскими ручонками за мою шею да и лепечет: «Ан Лис!» Голосок – что твоя скрипка! Да, надо собраться взглянуть на него!

И она отправилась; где проедет часть дороги на возке с телятами, где пешком пройдет, так помаленьку и добралась до графского замка. Замок был все такой же огромный, роскошный; перед фасадом по-прежнему расстилался сад, но слуги все были новые. Ни один из них не знал Анне Лисбет, не знал, что она значила когда-то здесь, в доме. Ну, да сама графиня скажет им, объяснит все, и графчик тоже. Как она соскучилась по нему!

Ну, вот Анне Лисбет и вошла. Долго пришлось ей ждать, а когда ждешь, время тянется еще дольше! Перед тем как господам сесть за стол, ее позвали к графине, которая приняла ее очень благосклонно. Дорогого же графчика своего Анне Лисбет могла увидеть только после обеда. Господа откушали, и ее позвали опять.

Как он вырос, вытянулся, похудел! Но чудные плазки и ангельский ротик все те же! Он взглянул на нее, но не сказал ни слова. Он, кажется, не узнал ее. Он уже повернулся, чтобы уйти, как она вдруг

схватила его руку и прижала ее к губам. «Ну, ну, хорошо, хорошо!» – сказал он и вышел из комнаты. Он, ее любовь, ее гордость, сокровище, так холодно обошелся с нею!



Анне Лисбет вышла из замка очень печальная. Он встретил ее как чужую, он совсем не помнил ее, не сказал ей ни слова, ей, своей кормилице, носившей его на руках день и ночь, носившей его и теперь в мыслях! Вдруг прямо перед ней слетел на дорогу большой черный ворон, каркнул раз, потом еще и еще.

– Ах ты, зловещая птица! – сказала Анне Лисбет.

Пришлось ей идти мимо избушки землекопа; на пороге стояла сама хозяйка, и женщины заговорили.

– Ишь ты, как раздобрела! – сказала жена землекопа. – Толстая, здоровая! Хорошо живется, видно!

– Ничего себе! – ответила Анне Лисбет.

– А судно-то с ними погибло! – продолжала та. – Оба утонули – и шкипер Ларс, и мальчишка! Конец! А я-то думала, мальчишка вырастет, помогать станет нам! Тебе-то ведь он грош стоил, Анне Лисбет!

– Так они потонули! – сказала Анне Лисбет и больше о погибших не упоминала. Она была так огорчена – графчик не удостоил ее разговором! А она так любила его, пустилась в такой дальний путь, чтобы только взглянуть на него, в такие расходы вошла!.. Удовольствия же – на грош. Но, конечно, она не проговорила о том ни словом, не захотела излить сердца перед женою землекопа: вот еще! Та, пожалуй, подумает, что Анне Лисбет больше не в почете у графской семьи!.. Тут над ней опять каркнул ворон.

– Ах ты, черное пугало! – сказала Анне Лисбет. – Что ты все пугаешь меня сегодня!

Она захватила с собою кофе и цикорию; отсыпать щепотку на угощение жене землекопа значило бы оказать бедной женщине сущее благодеяние, а за компанию и сама Анне Лисбет могла выпить чашечку. Жена землекопа пошла варить кофе, а Анне Лисбет присела на стул да задремала. И вот диковина: во сне ей приснился тот, о ком она никогда и не думала! Ей приснился собственный сын, который голодал и ревел в этой самой избушке, рос без призора, а теперь лежал на дне моря, бог ведает где. Снилось ей, что она сидит, где сидела, и что жена землекопа ушла варить кофе; вот уже вкусно запахло, и вдруг в дверях появился прелестный мальчик, не хуже самого графчика, и сказал ей: «Теперь конец миру! Держись за меня крепче – все-таки ты мне мать! У тебя есть на небесах ангел-заступник! Держись за меня!»

И он схватил ее; в ту же минуту раздался такой шум и гром, как будто мир лопнул по всем швам. Ангел взвился на воздух и так крепко держал ее за рукав сорочки, что она почувствовала, как отделяется от земли. Но вдруг на ногах ее повисла какая-то тяжесть и что-то тяжелое навалилось на спину. За нее цеплялись сотни женщин и



кричали: «Если ты спасешься, так и мы тоже! Цепляйтесь за нее, цепляйтесь!» И они крепко повисли на ней. Тяжесть была слишком велика, рукав затрещал и разорвался, Анне Лисбет полетела вниз. От ужаса она проснулась и чуть было не упала со стула. В голове у нее была путаница, она и вспомнить не могла, что сейчас видела во сне, – что-то дурное!

Попили кофе, поговорили, и Анне Лисбет направилась в ближний городок; там ждал ее крестьянин, с которым она хотела нынче же вечером доехать до дому. Но когда она пришла к нему, он сказал, что не может выехать раньше вечера следующего дня. Она порассчитала, что будет ей стоить прожить в городе лишний день, пораздумала о дороге и сообразила, что если она пойдет не по проезжей дороге, а вдоль берега, то выиграет мили две. Погода была хорошая, ночи стояли светлые, лунные, Анне Лисбет и порешила идти пешком. На другой же день она могла уже быть дома.

Солнце село, но колокола еще звонили к вечерне. Нет, это вовсе не колокола звонили, а лягушки квакали в прудах. Потом и те смолкли; не слышно было и птичек: маленькие певчие улеглись спать, а совы, должно быть, не было дома.

Безмолвно было и в лесу, и на берегу. Анне Лисбет слышала, как хрустел под ее ногами песок; море не плескалось о берег; тихо было в морской глубине: ни живые, ни мертвые не подавали голоса.

Анне Лисбет шла, как говорится, не думая ни о чем; да, она-то могла обойтись без мыслей, но мысли-то не хотели от нее отстать. Мысли никогда не отстают от нас, хотя и выдаются минуты, когда они спокойно дремлют в нашей душе, дремлют как те, что уже сделали свое дело и успокоились, так и те, что еще не просыпались в нас. Но настает час, и они просыпаются, начинают бродить в нашей голове, заполняют нас.

«Доброе дело и плод приносит добрый!» – сказано нам. «А в грехе – зародыш смерти» – это тоже сказано. Много вообще нам сказано, но много ли знающих и помнящих то, что нам сказано? Анне Лисбет, по крайней мере, к таким не принадлежала. Но для каждого рано или поздно наступает минута просветления.

В нашем сердце, во всех сердцах, и в моем и в твоём, скрыты зародыши всех пороков и всех добродетелей. Лежат они там крошечными, невидимыми семенами; вдруг в сердце проникает

солнечный луч или прикасается к нему злая рука, и ты сворачиваешь вправо или влево – да, вот этот-то поворот и решает все: маленькое семечко встряхивается, разбухает, пускает ростки, и сок его смешивается с твоею кровью, а тогда уж дело сделано. Страшные это мысли! Но пока человек ходит как в полусне, он не сознает этого, мысли эти только смутно бродят в его голове. В таком-то полусне бродила и Анне Лисбет, а мысли в свою очередь начинали бродить в ней! От Сретения до Сретения сердце успевает занести в свою расчетную книжку многое; на страницах ее ведется годовая отчетность души; все внесено туда, все то, о чем сами мы давно забыли: все наши грешные слова и мысли, грешные перед Богом, и людьми, и перед нашею собственною совестью! А мы и не думаем о них, как не думала и Анне Лисбет. Она ведь не совершила преступления против государственных законов, слыла почтенною женщиной, все уважали ее, о чем же ей было думать?

Она спокойно шла по берегу, вдруг... что это лежит на дороге?! Она остановилась. Что это выброшено на берег? Старая мужская шапка. Как она попала сюда? Видно, упала как-нибудь за борт. Анне Лисбет подошла ближе и опять остановилась... Ах! Что это?! Она задрожала от испуга, а пугаться-то вовсе было нечего: перед ней лежал большой продолговатый камень, опутанный водорослями, – с первого взгляда казалось, что на песке лежит человек. Теперь она разглядела ясно и камень и водоросли, но страх ее не проходил. Она пошла дальше, и ей припомнилось поверье, которое она слышала в детстве, поверье о береговике, призраке непогребенных утопленников. Сам утопленник никому зла не делает, но призрак его преследует одинокого путника, цепляется за него и требует христианского погребения. «Цепляйся! Цепляйся!» – кричит призрак. Как только Анне Лисбет припомнила это, в ту же минуту ей вспомнился и весь ее сон. Она словно наяву услышала крик матерей, цеплявшихся за нее: «Цепляйтесь! Цепляйтесь!» Вспомнила она, как рушился мир, как разорвался ее рукав и она вырвалась из рук своего сына, хотевшего поддержать ее в час Страшного суда. Ее сын, ее собственное, родное, нелюбимое дитя, о котором она ни разу не вспоминала, лежал теперь на дне моря и мог явиться ей в виде берегового призрака с криком: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня в землю по-христиански!» От этих мыслей у нее даже в пятках закололо, и она прибавила шаг. Ужас сжимал ее

сердце, словно кто давил его холодною, влажною рукой. Она готова была лишиться чувств.

Туман над морем между тем все густел и густел; все кусты и деревья на берегу тоже были окутаны туманом и приняли странные, дикийннне очертания. Анне Лисбет обернулась взглянуть на месяц. У, какой холодный, мертвенный блеск, без лучей! Словно какая-то страшная тяжесть навалилась на Анне Лисбет, члены ее не двигались. «Цепляйся, цепляйся!» – пришло ей на ум. Она опять обернулась взглянуть на месяц, и ей показалось, что его бледный лик приблизился к ней, заглянул ей в самое лицо, а туман повис у нее на плечах, как саван. Она прислушалась, ожидая услышать: «Цепляйся! Цепляйся! Зарой меня!» – и в самом деле раздался какой-то жалобный, глухой стон... Это не лягушка квакнула в пруде, не ворона каркнула – их не было видно кругом. И вот ясно прозвучало: «Зарой меня!» Да, это призрак ее сына, лежащего на дне морском. Не знаять ему покоя, пока его тело не отнесут на христианское кладбище и не предадут земле! Надо скорее на кладбище зарыть его! Анне Лисбет повернула по направлению к церкви, и ей сразу стало легче. Она было хотела опять повернуть назад, чтобы кратчайшею дорогой добраться до дому, – не тут-то было! На нее опять навалилась та же тяжесть. «Цепляйся! Цепляйся!» Опять словно квакнула лягушка, жалобно прокричала какая-то птица, и явственно прозвучало: «Зарой меня! Зарой меня!»

Холодный, влажный туман не редел; лицо и руки Анне Лисбет тоже были холодны и влажны от ужаса. Все тело ее сжимало, как в тисках; зато в голове образовалось обширное поле для мыслей – таких, каких она никогда прежде не знавала.

Весной на севере буковые леса, бывает, распускаются в одну ночь; взойдет солнышко, и они уже в полном весеннем уборе. Так же, в одну секунду, может пустить ростки и вложенное в нас нашею прошлою жизнью – мыслью, словом или делом – семя греха; и в одну же секунду может грех сделаться для нас видимым, в ту секунду, когда просыпается наша совесть. Пробуждает ее Господь, и как раз тогда, когда мы меньше всего того ожидаем. И тогда нет для нас оправдания: дело свидетельствует против нас, мысли облакаются в слова, а слова звучат на весь мир. С ужасом глядим мы на то, что носили в себе, не стараясь заглушить, на то, что мы в нашем высокомерии и

легкомыслии сеяли в своем сердце. Да, в тайнике сердца кроются все добродетели, но также и все пороки, и те и другие могут развиваться даже на самой бесплодной почве.

У Анне Лисбет бродило в мыслях как раз то, что мы сейчас высказали словами; под бременем этих мыслей она опустилась на землю и проползла несколько шагов. «Зарой меня! Зарой меня!» – слышалось ей. Она лучше бы зарылась в могилу сама – в могиле можно было найти вечное забвение! Настал для Анне Лисбет серьезный, страшный час пробуждения совести. Суеверный страх бросал ее то в озноб, то в жар. Многое, о чем она никогда и думать не хотела, теперь пришло ей на ум. Беззвучно, словно тень от облачка в яркую лунную ночь, пронеслось мимо нее видение, о котором она слыхала прежде. Близко-близко мимо нее промчалась четверка фыркающих коней; из очей и ноздрей их сверкало пламя; они везли горевшую как жар карету, а в ней сидел злой помещик, который больше ста лет тому назад бесчинствовал тут, в окрестностях. Рассказывали, что он каждую полночь въезжает на свой двор и сейчас же поворачивает обратно. Он не был бледен, как, говорят, бывают все мертвецы, но черен как уголь. Он кивнул Анне Лисбет и махнул рукой: «Цепляйся, цепляйся! Тогда опять сможешь ездить в графской карете и забыть свое дитя!»

Анне Лисбет опрометью бросилась вперед и скоро достигла кладбища. Черные кресты и черные вороны мелькали у нее перед глазами. Вороны кричали, как тот ворон, которого она видела днем, но теперь она понимала их карканье. Каждый кричал: «Я воронья мать! Я воронья мать!» И Анне Лисбет знала, что это имя подходит и к ней: и она, быть может, превратится вот в такую же черную птицу и будет постоянно кричать, как они, если не успеет вырыть могилы.

Она бросилась на землю и руками начала рыть в твердой земле могилу; кровь брызнула у нее из-под ногтей.

«Зарой меня! Зарой меня!» – звучало без перерыва. Анне Лисбет боялась, как бы не раздалось пение петуха, не показалась на небе красная полоска зари, прежде чем она выроет могилу, – тогда она погибла! Но вот петух пропел, загорелась заря, а могила была вырыта только наполовину!.. Холодная, ледяная рука скользнула по ее голове и лицу, соскользнула на сердце. «Только полмогилы!» – послышался вздох, и видение опустилось на дно моря. Да, это был береговой

призрак! Анне Лисбет, подавленная, упала на землю без сознания, без чувств.

Она пришла в себя только среди бела дня; двое парней подняли ее с земли. Анне Лисбет лежала вовсе не на кладбище, а на самом берегу моря, где выкопала в песке глубокую яму, до крови порезав себе пальцы о разбитую рюмку; острый осколок ее был прикреплен к голубой деревянной подставке. Анне Лисбет была совсем больна. Совесть перетасовала карты суеверия, разложила их и вывела заключение, что у Анне Лисбет теперь только половина души: другую половину унес с собою на дно моря ее сын. Не попасть ей в Царство Небесное, пока она не вернет себе этой половины, лежащей в глубине моря! Анне Лисбет вернулась домой уже не тем человеком, каким была прежде; мысли ее путались, словно нити, которые прядут, и только одна нить осталась у нее в руках: мысль, что она должна отнести береговой призрак на кладбище и предать его земле, – тогда она опять обретет всю свою душу.

Много раз схватывались ее по ночам и всегда находили на берегу, где она ожидала береговой призрак. Так прошел целый год. Однажды ночью она опять исчезла, но найти ее не могли; весь следующий день прошел в бесплодных поисках.

Под вечер пономарь пришел в церковь звонить к вечерне и увидел перед алтарем распростертую на полу Анне Лисбет. Тут она лежала с раннего утра, силы почти совсем оставили ее, но глаза сияли, на лице горел розоватый отблеск заходящего солнца, лучи его падали и на алтарь и играли на блестящих застежках Библии, которая была раскрыта на странице из книги пророка Иоилия: «Раздерите сердца ваши, а не одежды, и обратитесь к Господу!»

– Ну, случайно так вышло! – говорили потом люди, как и во многих подобных случаях.



Лицо Анне Лисбет, освещенное солнцем, дышало ясным миром и спокойствием, ей было так хорошо! Теперь у нее отлегло от сердца — ночью береговой призрак ее сына явился ей и сказал: «Ты вырыла только полмогилы для меня, но вот уж год ты носишь меня в своем

сердце, а в сердце матери самое верное убежище ребенка!» И он вернул ей другую половину ее души и привел ее сюда, в церковь.

«Теперь я в Божьем доме, – сказала она, – а тут спасение!»

Когда солнце село, душа ее вознеслась туда, где нечего бояться тому, кто здесь боролся и страдал до конца, как Анне Лисбет.

*1859*

## Ребячья болтовня



У богатого купца был детский праздник; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был сначала простым прасолом, но честным и трудолюбивым человеком и сумел составить себе капиталец, а сын еще приумножил его. Купец был человек умный и добрый, хоть люди не так много говорили об этих качествах, как о его богатстве.

Он вел знакомство и с аристократами крови, и с аристократами ума, как это называют, а также с аристократами и крови и ума в одном лице и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом.



Итак, у него в доме собралось большое общество, но исключительно детское; дети болтали без умолку; у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь не вбили, а «вцеловали» в нее, и не родители, а слуги – родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».

– Я камер-юнкерская дочка! – сказала она.

Она точно так же могла бы быть лавочниковой дочкой, – и то и другое одинаково не во власти самого человека. И вот она рассказывала другим детям, что в ней течет «настоящая кровь», а в ком ее нет, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но если в тебе нет настоящей крови, толку не выйдет.

– А уж из тех, чье имя кончается на «сен», – прибавила она, – никогда ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока да и держаться подальше от всех этих «сен, сен»!

И она уперлась прелестными ручками в бока и выставила локти, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, а она знала, что эта фамилия тоже кончается на «сен», и вот она гордо закинула головку и сказала:

– Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксдалеров и разбросать их народу! А твой может?

– Ну а мой папа, – сказала дочка писателя, – может и твоего папу, и твоего, и всех «пап» на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама, – ведь это он распоряжается газетой!

И девочка прегордо закинула головку – ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворенною дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в комнату: куда было такому бедняку соваться к богатым и знатым детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных, веселящихся детей в щелку; и это уж было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне быть на их месте!» – думалось ему. Вдруг он услышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было упасть духом. Ведь у

родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, не то что самим издавать ее. Хуже же всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственная как раз кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но кровь в нем все-таки была самая настоящая, как ему казалось; иначе и быть не могло.

Так вот что произошло в тот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Ну, это легко угадать! Нет, не очень! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» – Торвальдсен.

А другие дети? Дети кровной, денежной и умственной спеси, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети как дети! Вышло из них одно хорошее: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были – ребячьей болтовней!

1859

## **Перо и чернильница**



Кто-то сказал однажды, глядя на чернильницу, стоявшую на письменном столе в кабинете поэта: «Удивительно, чего-чего только не выходит из этой чернильницы! А что-то выйдет из нее теперь?... Да, поистине удивительно!»

— Именно! Это просто непостижимо! Я сама всегда это говорила! — обратилась чернильница к гусиному перу и другим предметам на столе, которые могли ее слышать. — Замечательно, что только не рождается во мне! Просто невероятно даже! Я и сама, право, не знаю, что выйдет, когда человек опять начнет черпать из меня! Одной моей капли достаточно, чтобы исписать полстраницы, и чего-чего только не уместится на ней! Да, я нечто замечательное! Во мне рождаются всевозможные поэтические творения! Все эти живые люди, которых узнают читатели, эти искренние чувства, юмор, дивные описания природы! Я и сама не возьму в толк — я ведь совсем не знаю природы, — как все это вмещается во мне? Однако же это так! Из меня вышли и выходят все эти воздушные, грациозные девичьи образы,

отважные рыцари на фыркающих конях и кто там еще? Уверяю вас, все это получается совершенно бессознательно!

– Конечно! – сказала гусиное перо. – Если бы вы отнеслись к делу сознательно, вы бы поняли, что вы только сосуд с жидкостью. Вы смачиваете меня, чтобы я могло высказать и выложить на бумагу то, что ношу в себе! Пишет перо! В этом не сомневается ни единый человек, а полагаю, что большинство людей понимают в поэзии не меньше старой чернильницы!

– Мало же вы опытни! – возразила чернильница. – Вы состоите на службе всего неделю, а уж почти совсем износились. Так вы воображаете, что это вы творите? Вы только слуга, и много вас у меня перебивало – и гусиных, и английских стальных! Да, я отлично знакома и с гусиными перьями, и со стальными! И много вас еще перебивает у меня в услужении, пока человек будет продолжать записывать то, что почерпнет из меня!

– Чернильная бочка! – сказала перо.

Поздно вечером вернулся домой поэт; он пришел с концерта скрипача-виртуоза и весь был еще под впечатлением его бесподобной игры. В скрипке, казалось, был неисчерпаемый источник звуков: то как будто катились, звеня, словно жемчужины, капли воды, то щебетали птички, то ревела буря в сосновом бору. Поэту чудилось, что он слышит плач собственного сердца, выливавшийся в мелодии, похожей на гармоничный женский голос. Звучали, казалось, не только струны скрипки, но и все ее составные части. Удивительно, необычайно! Трудна была задача скрипача, и все же искусство его выглядело игрою, смычок словно сам порхал по струнам; всякий, казалось, мог сделать то же самое. Скрипка пела сама, смычок играл сам, вся суть как будто была в них, о мастере же, управлявшем ими, вложившем в них жизнь и душу, попросту забывали. Но не забыл о нем поэт и написал вот что: «Как безрассудно было бы со стороны смычка и скрипки кичиться своим искусством. А как часто делаем это мы, люди, – поэты, художники, ученые, изобретатели, полководцы! Мы кичимся, а ведь все мы – только инструменты в руках Создателя. Ему одному честь и хвала! А нам гордиться нечем!»

Так вот что написал поэт и озаглавил свою притчу «Мастер и инструменты».

– Что, дождались, сударыня? – сказала перо чернильнице, когда они остались одни. – Слышали, как он прочел вслух то, что я написало?

– То есть то, что вы извлекли из меня! – сказала чернильница. – Вы вполне заслужили этот щелчок своею спесью! И вы даже не понимаете, что над вами посмеялись! Я дала вам этот щелчок из собственной души. Уж позвольте мне узнать свою собственную сатиру!

– Чернильная душа! – сказала перо.

– Щелкопер! – ответила чернильница.

И каждый решил, что ответил хорошо, а такое сознание вещь приятная; с таким сознанием можно спать спокойно, они и заснули. Но поэт не спал; мысли волновались в нем, как звуки скрипки, катились жемчужинами, шумели, как буря в лесу, и он слышал в них голос собственного сердца, ощущал дыхание Самого Творца.

Ему одному честь и хвала!

## На могиле ребенка



В доме воцарилась печаль; все сердца были полны скорби: младший ребенок, четырехлетний мальчик, единственный сын, радость и надежда родителей, умер. Правда, у них оставались еще две дочери, старшая должна была в этом году конфирмоваться, – славные, добрые девочки, но умерший ребенок всегда кажется самым дорогим, а этот к тому же был самый младший, да еще сын. Да, тяжелое испытание выпало на долю родителей!

Сестры печалились, как и вообще юные сердца, главным образом глядя на скорбь родителей, отец грустил, но мать совсем была подавлена горем. День и ночь ухаживала она за больным ребенком, лелеяла его, подымала и носила на руках; страдала ведь ее собственная плоть и кровь, часть ее самой! Она не могла и представить себе, что дитя ее умрет, что его положат в гроб и зароят в землю! Господь не мог отнять у нее ребенка, думала она, и вот когда это все-таки случилось, она в порыве болезненного отчаяния воскликнула:

– Господь не знает об этом! У него бессердечные слуги здесь, на земле. Они делают что хотят, не внимая мольбам матери!

В своем отчаянии она отшатнулась от Бога, и ею овладели мрачные мысли, мысли о вечной смерти, внушавшие ей, что человек становится прахом во прахе и что этим все кончается. Охваченная такими мыслями, она утратила всякую точку опоры и все больше и больше погружалась в мрачную бездну отчаяния.

Слез у нее в эти тяжелые часы не было. Она не думала больше о юных дочерях; слезы мужа падали ей на лоб, но она и не замечала его. Все ее мысли были заняты умершим ребенком, она жила только воспоминаниями о нем, старалась воскресить в памяти каждое его невинное детское слово.

Наступил день похорон; несколько ночей перед тем мать не спала, и к утру усталость одолела ее – она забылась сном. В это время гроб унесли в отдаленную комнату, чтобы мать не услышала ударов молотка, когда стали забивать крышку.

Проснувшись, мать хотела опять посмотреть на ребенка, но муж со слезами сказал ей:

– Мы забили крышку; пора было.

– Если Бог так жесток ко мне, – промолвила она, – то чего же ждать от людей. – И залилась слезами.

Гроб опустили в могилу; безутешная мать сидела с дочерьми и смотрела на них, не видя их; мысли ее отшатнулись от семьи, от дома; она предалась скорби и стала ее игрушкой, как становится игрушкой волн корабль без руля и парусов.

Так прошел день похорон, за ним потекли однообразные, тяжелые, скорбные дни. Со слезами на глазах, печально смотрели на мать

домашние, – она не слушала их утешений, да и какие утешения могли они предложить ей, они сами были в таком горе.

Сон, казалось, совсем покинул ее, а он один мог бы оказать ей лучшую услугу, подкрепив тело и успокоив душу. Домашние уговаривали ее ложиться в постель, она слушалась и лежала тихо, словно спала. Но однажды ночью муж прислушался к ее дыханию, и ему показалось, что она действительно нашла наконец покой и облегчение во сне. Он набожно сложил руки, помолился и скоро заснул сам здоровым, крепким сном. Он не слышал, как она поднялась, накинула на себя платье и тихонько вышла из дома, чтобы направиться туда, куда день и ночь влекли ее мысли, – на могилу своего ребенка. Она прошла через сад, прилегавший к дому, в поле и свернула на тропинку, которая вела за город, на кладбище. Никто не видел ее, и она никого не видела.

Стояла чудная, ясная, звездная ночь. Воздух был еще так мягок, сентябрь только начался. Мать вошла на кладбище и остановилась у могилки, похожей скорее на большой букет благоухающих цветов. Опустившись на колени, она припала лицом к могиле, словно надеясь увидеть сквозь толстый земляной покров своего мальчика. Как живо помнила она его улыбку, любовное выражение глаз! Они были все те же даже на одре болезни! Не забыть ей их никогда! Как много говорил его взор, когда она наклонялась к нему и брала его за руку, которую сам он уже не в силах был приподнять!.. И вот как прежде, бывало, сидела она возле его кровати, так теперь сидела у его могилки! Но теперь она могла дать полную волю своим слезам, и они ручьем бежали на могилу.

– Хочешь туда, к твоему ребенку? – раздался возле нее чей-то голос. Он прозвучал так ясно и так глубоко отозвался в ее сердце. Она оглянулась; возле нее стоял некто, закутанный в длинный черный плащ. Она заглянула в строгое лицо под капюшоном, в лицо, внушавшее доверие, и в глаза, горевшие молодым огнем.

– К моему ребенку! – повторила с отчаянной мольбой мать.

– Осмелишься ли ты последовать за мною? – спросило видение. – Я смерть!

Мать утвердительно кивнула головой. В то же мгновение ей показалось, что каждая звезда над нею вспыхнула, словно полная луна, и осветила разноцветный цветочный ковер на могиле, затем



земляной покров мягко осел под нею, точно развевавшийся по воздуху покров, и она стала погружаться в землю. Видение накрыло ее своим черным плащом, и вокруг нее воцарился могильный мрак. Мать опустилась глубже, чем проникает могильный заступ; кладбище легло кровлей над ее головой.



Плащ отодвинулся в сторону. Мать очутилась в огромном, приветливом покое. Здесь царил какой-то полусвет, но она в то же мгновение почувствовала, что прижимает к сердцу своего ребенка. Он

улыбался ей, сияя новою, незнакомою ей красотой; она вскрикнула, но крика ее не было слышно: возле нее, то удаляясь, то приближаясь, раздавалась чудная музыка. Никогда в жизни не слыхала она таких дивных звуков; они раздавались за черною, плотною занавесью, отделявшею этот покой от великой страны вечности.

– Мамочка! Милая моя мамочка! – услышала она голос своего ребенка.

Это был его милый, знакомый ей голос! Поцелуи сыпались за поцелуями; мать не помнила себя от радости, но дитя указало на черную занавесь:

– Как там чудесно! Не так, как на земле! Видишь, мама! Видишь их всех, блаженных?

И мать смотрела туда, куда указывал ребенок, но не видела ничего, кроме черной мглы; она смотрела ведь телесными очами, а не так, как ребенок, призванный Богом к Себе. Мать слышала звуки, но не могла уразуметь слов, которые бы могли вернуть ей веру.

– Теперь я умею летать, мама! – сказала дитя. – Могу улететь вместе с другими добрыми детьми прямо к Богу! Мне очень хочется лететь к Нему, но если ты будешь так плакать, я не могу оставить тебя! А мне очень хочется! Можно ведь? Ты и сама скоро придешь ко мне, мамочка!

– О, побудь, побудь со мною! – молила она. – Еще минутку! Дай еще разок взглянуть на тебя, поцеловать тебя, прижать к сердцу!

И она крепко прижимала его к себе, осыпая поцелуями. Вдруг кто-то сверху окликнул ее по имени, жалобно звучал призыв. Кто бы это мог звать ее?

– Слышишь? – сказала дитя. – Это папа зовет тебя!

Через несколько минут послышались глубокие вздохи, словно всхлипывали дети.

– Это сестры плачут! – сказал ребенок – Мама, ты ведь не забыла их?

Она вспомнила покинутых ею на земле, и ужас охватил ее; она стала пристально вглядываться в пролетавшие мимо нее тени, и ей показалось, что она узнала некоторые. Они пролетали через покой смерти и скрывались за черною занавесью. Что, если она увидит тут и мужа, и дочерей своих? Нет, их призывы и вздохи раздавались еще там, наверху. Она чуть было совсем не забыла их ради умершего!..

– Мама, зазвонили небесные колокола! Мама, встает солнышко! – сказал ребенок.

Навстречу ей хлынул ослепительный поток света, дитя исчезло, а она поднялась вверх. Холод охватил ее, она подняла голову и увидела, что лежит на кладбище, на могиле своего ребенка. Бог во сне послал ей утешение и поддержку, просветил ее разум. Она пала на колени и сказала:

– Прости меня, Господи, что я хотела остановить полет бессмертной души, забыла свой долг перед живыми, долг, который возложил на меня Ты!



Молитва облегчила ее душу. А тут возшло солнце, над головой ее запела птичка, колокола зазвонили к заутрене. Как чудесно стало вокруг! И святой мир водворился в ее душе. Она познала Бога и свой

долг и поспешила домой. Вот она наклонилась над мужем, разбудила его горячим поцелуем, и из уст ее полились теплые, сердечные слова, полные мужества и утешения. Она, как и подобает мужественной и крепкой духом супруге, открыла для него в своем сердце источник утешения: «Божья воля все направляет к лучшему!»

И муж спросил ее:

– Где почерпнула ты эту силу утешения?

Она поцеловала его, поцеловала дочерей и ответила:

– Бог послал мне ее на могиле моего ребенка!

## Дворовый петух и флюгерный



Стояли два петуха; один на навозной куче, другой на крыше, но спесивы оба были одинаково. Кто же из них совершил больше? Ну, кто, по-твоему? Скажи, а мы... все-таки останемся при своем мнении.

Птичий двор был отделен от другого двора деревянным забором, а на том дворе была навозная куча, и на ней рос большой огурец, сознававший, что он – растение парниковое.

«А таковым нужно родиться! – рассуждал он сам с собою. – Но не всем же родиться огурцами, надо существовать и другим живым породам. Куры, утки и все население птичьего двора тоже ведь создания Божьи. Вот дворовый петух стоит на заборе. Он будет почище флюгерного! Тот хоть и высоко сидит, а даже и скрипеть не может, не то что петь. Нет у него ни кур, ни цыплят, он занят только самим собою и потеет ярьмедянкой! Нет, дворовый петух – вот это так петух! Как выступает! Словно танцует! А запоем – что твоя музыка!

Как начнет, так узнаешь, что значит настоящий трубач! Да приди он сюда, проплоти меня целиком – вот была бы блаженная смерть!»

Ночью разыгралась непогода; куры, цыплята и сам петух – все попрятались. Забор повалило ветром: шум, треск!.. С крыши попадали черепицы, но флюгерный петух устоял. Он даже с места не двигался, не вертелся – он не мог, хоть и был молод, недавно отлит. Флюгерный петух был очень разумен и степенен, он уж так и родился стариком и не имел ничего общего с легкими птичками небесными, воробьями и ласточками, которых презирал, как «ничтожных, вульгарных пискуний». Голуби – те побольше, и перья у них отливают перламутром, так что они даже немножко смахивают на флюгерных петухов, но толсты и глупы они ужасно! Только и думают о том, как бы набить себе зоб! Прескучные создания! Перелетные птицы тоже навещали флюгерного петуха и рассказывали ему о чужих странах, о воздушных путешествиях, о разбойничьих нападениях хищных птиц... Это было ново и интересно – в первый раз, но затем пошли повторения одного и того же, а это куда как скучно! Надоели ему и птицы, надоело и все на свете. Не стоило ни с кем и связываться, все такие скучные, пошлые!..

– Наш мир никуда не годится! – говорил он. – Все на свете – одна ерунда!

Флюгерный петух был, что называется, петухом разочарованным и, конечно, очень заинтересовал бы собою огурец, знай тот об этом, но огурец был занят одним дворовым петухом, а этот как раз и пожаловал к нему в гости.

Забор был повален ветром, но гром и молнии давно прекратились.

– А что вы скажете о ночном петушином крике? – спросил у куриц и цыплят дворовый петух. – Грубоват он был, ни малейшей тонкости!

За петухом взобрались на навозную кучу и куры с цыплятами; петух двигался вперевалку, как кавалерист.

– Садовое растение! – сказал он огурцу, и последний сразу уразумел высокое образование петуха и даже не заметил, что тот клюет и поедает его.

«Блаженная смерть!»

Подбежали куры и цыплята – куры ведь всегда так: куда одна, туда и другая. Они кудахтали, пищали, любовались на петуха и гордились, что он из их породы.



– Ку-ка-ре-ку! – запел он. – Цыплята тотчас же превратятся во взрослых кур, если я провозглашу это на весь мир в курятнике!

Куры и цыплята закудахтали и запищали. А петух объявил великую новость:

– Петух может снести яйцо! И знаете, что в нем? Василиск! Никто не может вынести его вида! Люди это знают, а теперь знаете и вы, знаете, что есть во мне, знаете, что я из петухов петух!

И дворовый петух захлопал крыльями, поднял гребешок и опять запел. Куриц и цыплят даже озноб прошиб, но до чего ж им было лестно, что один из их семейства – петух из петухов! Они кудахтали и пищали, так что даже флюгерному петуху было слышно, но он и не шевельнулся.

– Все ерунда! – говорил он сам себе. – Никогда дворовому петуху не снести яйца, а я – не хочу! А если бы захотел, я бы снес ветряное яйцо! Но мир не стоит ветряного яйца! Все ерунда!.. Я и сидеть-то здесь даже больше не хочу!

И флюгерный петух переломился и слетел вниз, но не убил дворового петуха, хоть и рассчитывал на это, как уверяли куры.

Мораль?

Лучше петь петухом, чем разочароваться в жизни и слететь с крыши!

1859

**«Как хороша!»**



Ты ведь знаешь скульптора Альфреда? Все мы знаем его; он получил золотую медаль, ездил в Италию и опять вернулся на родину, тогда он был молод, да он и теперь не стар, хотя, конечно, состарился на десять лет.

Вернувшись на родину, он поехал погостить в один из зelandских городков. Весь город узнал о приезде, узнал, кто он такой. Одно из богатейших семейств города дало в честь его большой вечер. Все, кто хоть мало-мальски чем-нибудь выдавался – деньгами или положением в свете, были в числе приглашенных. Вечер являлся настоящим событием; весь город знал о том и без барабанного оповещения. Мальчишки-мастеровые и другие ребяташки мелких горожан, а с ними кое-кто и из родителей стояли пред освещенными окнами и глядели на спущенные занавески. Ночной сторож мог вообразить, что на его улице праздник, такое тут собралось большое общество. Для зевак даже стояние на улице было огромным удовольствием, а уж там,

в доме-то, как было весело! Там ведь находился сам господин Альфред, скульптор!

Он говорил, рассказывал, а все остальные слушали его с удовольствием и чуть ли не с благоговением, особенно одна пожилая вдова-чиновница. Она напоминала собою промокательную серую бумагу – впитывала в себя каждое слово господина Альфреда и просила говорить еще и еще. Невероятно восприимчивая была эта женщина, но и невежественная до невероятия – настоящий Каспар Гаузер в юбке.

– Вот Рим бы я посмотрела! – сказала она. – То-то, должно быть, чудесный город! Сколько туда наезжает иностранцев! Опишите нам Рим! Что видишь теперь, въезжая в ворота?

– Ну, это не так-то легко описать! – ответил молодой скульптор. – Видите ли, там большая площадь, а посреди ее возвышается обелиск, ему четыре тысячи лет.

– Вот так василиск! – проговорила вдова, она отроду не слыхивала слова «обелиск».

Многим, в том числе и самому скульптору, стало смешно, но усмешка его мгновенно испарилась, как только он увидел рядом с чиновницей пару больших, синих, как море, очей. Очи принадлежали дочке вдовы, а матушка такой дочки не может, конечно, быть глупою!..

Матушка была неисчерпаемым источником вопросов, дочка – прекрасною молчаливою наядою источника. Как она была хороша! Скульптору легко было заплестись на нее, но не заговорить с ней, – она совсем не говорила или по крайней мере очень мало!

– А у Папы большая семья? – спросила вдова.

И молодой человек ответил, как следовало бы ответить при более умной постановке вопроса:

– Нет, он не из большой семьи.

– Я не про то! – возразила вдова. – Я спрашиваю, есть ли у него жена и дети?

– Папа не имеет права жениться! – ответил скульптор.

– Ну, это не в моем вкусе! – сказала она.

Конечно, и вопросы и ответы могли бы быть поумнее, но если бы они не были так глупы, стала ли бы дочка выглядывать из-за плеча матери с такою трогательною улыбкою?

И господин Альфред продолжал рассказывать. Рассказывал о ярких красках Италии, о синеющих горах, о голубом Средиземном море, о южном небе. Подобную синеву можно встретить здесь, на севере, разве только в очах северных дев! Сказано это было с ударением, но та, к кому относился намек, не подала и виду, что поняла его. И это тоже вышло чудо как хорошо!

– Италия! – вздыхали одни.

– Путешествовать! – вздыхали другие. – Как хорошо, как хорошо!

– Вот когда я выиграю пятьдесят тысяч, – сказала вдова, – мы с дочкой поедем путешествовать! И вы, господин Альфред, с нами! Поедем втроем да еще прихватим с собою кое-кого из добрых друзей!

И она благосклонно кивнула всем окружающим, так что каждый получал право надеяться, что именно его-то она и прихватит с собою.

– Мы поедем в Италию, только не туда, где водятся разбойники. Будем держаться Рима да больших дорог, где безопаснее.

Дочка слегка вздохнула. Что может заключаться в одном маленьком вздохе или что можно вложить в него! Молодой человек вложил в этот вздох многое! Голубые очи осветили ему в этот вечер скрытые сокровища сердца и души, богаче всех сокровищ Рима! И он оставил общество сам не свой, он весь принадлежал красавице.

С тех пор дом вдовы, как видно, особенно полюбился господину Альфреду, скульптору; но видно было также, что он посещал его не ради мамы – хотя с нею только и вел беседу, – а ради дочки; звали ее Кала; то есть, собственно говоря, ее звали Карен Малена, а уж из этих двух имен сделали одно – Кала. Как она была хороша! «Только немножко вялая», – говорили про нее. Она таки любила по утрам понежиться в постели.

– Так уж она привыкла с детства! – говорила мамаша. – Она у меня балованное дитя, а такие легко утомляются. Правда, она любит полежать в постели, зато какие у нее ясные глазки!

И что за сила была в этих ясных, синих, как море, тихих и глубоких глазах! Наш скульптор и утонул в их глубине. Он говорил, он рассказывал, а матушка расспрашивала с такою же живостью и развязностью, как и в первый раз. Ну, да и то сказать, послушать рассказы господина Альфреда было настоящим удовольствием. Он рассказывал о Неаполе, о восхождениях на Везувий и показывал раскрашенные картинки, на которых было изображено извержение

Везувия. Вдова ни о чем таком сроду не слыхивала, ничего такого ей и в голову не приходило.

– Господи помилуй! – сказала она. – Вот так огнедышащие горы! А вреда от них не бывает?

– Как же! Раз погибли целых два города: Геркуланум и Помпеи!

– Ах, несчастные люди! И вы сами все это видели?

– Нет, извержений, что изображены на этих картинках, я не видал, но вот я покажу вам мой собственный набросок одного извержения, которое было при мне.

И он вынул карандашный набросок, а мамаша, насмотревшись на ярко раскрашенные картинки, удивленно воскликнула:

– Так вы сами видели, как он извергает огонь!

Уважение господина Альфреда к мамаше пережило критический момент, но присутствие Калы скоро придало сказанному иную окраску, – он сообразил, что матушка ее просто не обладает глазом, чутьем красок, вот и все! Зато она обладала лучшим, прекраснейшим сокровищем – Калою.

И вот Альфред обручился с Калою; этого и следовало ожидать. О помолвке было оповещено в местной газете. Мамаша достала себе тридцать номеров, вырезала печатное оповещение и разослала его в письмах друзьям и знакомым. Жених с невестой были счастливы, теща тоже; она, по ее словам, будто породнилась с самим Торвальдсеном!

– Вы ведь его преемник!

И Альфред нашел, что она сказала довольно умную вещь. Кала не говорила ничего, но глаза ее сияли, улыбка не сходила с уст, каждое движение дышало пленительной грацией. Как она была хороша, как хороша!..

Альфред вылепил бюсты Калы и мамашы. Они сидели перед ним и смотрели, как он мял и сглаживал мягкую глину.

– Ах, ради нас вы взялись сами за эту грубую работу! – сказала мамаша. – Пусть бы мальчик мял глину!

– Нет, мне необходимо лепить самому! – сказал он.

– Ну да, ведь вы всегда так любезны! – сказала матушка, а дочка тихонько пожала ему руку, запачканную в глине.

Во время работы Альфред толковал им о красоте природы и всего мироздания, о превосходстве живого перед мертвым, растения перед минералом, животного перед растением, человека перед животным;

объяснял, что скульптор воплощает высшее проявление красоты в земных образах.

Кала молчала, убаюканная его речами, а теща изрекала:

– Трудно, знаете, уследить за вашими словами! Но хоть я и медленно соображаю, а мысли так и жужжат у меня в голове, я все-таки держу их крепко.

И его тоже крепко держала красота; она наполняла все его помыслы, завладела им всецело. Красотой дышало все существо Калы – и глаза и ротик, даже каждое движение пальцев. Все это было по части скульптора, и он говорил только о красавице, думал только о ней. Оба они составляли теперь одно, поэтому много говорила и она, раз говорил много он.

Так прошел день помолвки, затем настал и день свадьбы. Явились подруги невесты, пошли подарки, о которых было упомянуто в поздравительных речах, – словом, все как водится.

Мамаша поместила за свадебным столом, в качестве почетного гостя бюст Торвальдсена в шлафроке – это была ее собственная идея. Пели задравные песни, осушали бокалы, веселая была свадьба и чудесная пара!

«Пигмалион обрел свою Галатею», – говорилось в одной из песен.

– Ну, это что-то из мифологии! – сказала мамаша.

На другой день молодая чета отправилась в Копенгаген; мамаша с ними – взять на себя грубую часть семейной жизни, хозяйство. Кала пусть живет как в кукольном домике! Все так ново, уютно, красиво! Ну, вот наконец все трое и сидели в своем домике. Альфред – тот сидел, по пословице, словно епископ в гусином гнезде.

Его околдовала красота форм, он глядел только на футляр, а не на то, что в нем, а это большой промах, особенно если дело идет о браке! Износится футляр, сотрется позолота, и пожалеешь о покупке. Очень неприятно заметить в гостях, что у тебя оторвались пуговицы у подтяжек, что пряжки ненадежны, что их совсем нет, но еще неприятнее замечать, что жена твоя и теща говорят глупости, и не быть уверенным, что всегда найдешь случай затушевать глупость остроумною шуткой.

Часто молодая чета сидела рука об руку; он говорил, она изредка роняла слово – тот же тон, те же два-три мелодичных звука... София, подруга новобрачной, вносила с собою в дом освежающую струю.

София красотой не отличалась, но и изъянов не имела. Правда, по словам Калы, она была слегка кривобока, но это было заметно лишь глазу подруги. София была девушка умная, но ей и в голову не приходило, что она может стать опасной. Она вносила в кукольный домик струю свежего воздуха, а здесь-таки чувствовался в нем недостаток. Все понимали это, всем хотелось проветриться, и решили проветриться: теща и молодые новобрачные отправились в Италию.

– Слава богу, вот мы и дома опять! – сказали мамаша и дочка, вернувшись через год вместе с Альфредом на родину.

– Ничего нет хорошего в путешествии! – говорила мамаша. – Даже скучно! Извините за откровенность! Я просто соскучилась, хотя со мною и были мои дети. И как это дорого, как дорого! Все-то галереи надо осмотреть, все обегать! Нельзя же: приедешь домой, спросят обо всем! И все-таки в конце концов узнаешь, что самого-то лучшего и не видали! А эти бесконечные, вечные Мадонны надоели мне вот до чего!.. Право, того и гляди, сама станешь Мадонной!

– А стол-то! – говорила Кала.

– Даже порядочного бульона не достанешь! – подхватывала мамаша. – Просто беда с их стряпней!

Кала была очень утомлена путешествием, сильно утомлена и – что хуже всего – долго не могла оправиться. София переселилась к ним совсем и была очень полезна в доме.

Мамаша отдавала Софии должное – она была весьма сведущей в хозяйстве и в искусстве, во всем, отдаться чему она до сих пор не могла за неимением собственных средств. Вдобавок она была девушка вполне порядочная, искренне преданная, что и доказала во время болезни Калы.

Если футляр – всё, то футляр должен быть прочен, не то беда; так оно и вышло – Кала умерла.

– Как она была хороша! – говорила мамаша. – Не то что антики, те все с изъянами, а Кала во всем была безупречно хороша! Вот это и есть настоящая красота!

Альфред плакал, мамаша тоже; оба надели траур. Черный цвет особенно шел мамаше, и она носила его дольше, дольше и грустила, тем более что грусть ее нашла новую пищу: Альфред женился на Софии, не отличавшейся приятной внешностью.

– Он ударился в крайность! – говорила мамаша. – От красоты перешел к безобразию! И он мог забыть свою первую жену! Вот вам мужское постоянство! Нет, мой муж был не таков! Он и умер-то прежде меня!

– «Пигмалион обрел свою Галатею» – так говорилось в свадебной песне! – сказал Альфред. – Да, я в самом деле влюбился в прекрасную статую, которая ожила в моих объятиях. Но родственную душу, которую посылает нам само небо, одного из тех ангелов, что живут одними чувствами, одними мыслями с нами, поддерживают нас в минуты слабости, я обрел только теперь. Тебя, София! Ты явилась мне не в ореоле внешней красоты, но ты добра и красива, даже более чем необходимо! Суть все же остается сутью! Ты явилась и научила скульптора, что творение его – только глина, прах, оболочка внутреннего ядра, которое нам следует искать прежде всего. Бедная Кала! Наша совместная жизнь прошла как свадебная поездка. Там, где встречаются родственные души, мы, быть может, окажемся чуждыми друг другу.

– Ну, это нехорошо с твоей стороны говорить так! – возразила София. – Не по-христиански! Там, на небе, где не женятся и не выходят замуж, но где, как ты говоришь, встречаются родственные души, где всякая красота разворачивается в полном блеске, ее душа, может быть, расцветет так пышно, что совсем затмит меня, и ты опять воскликнешь, как в первом любовном порыве: «Как хороша! Как хороша!»



## На дюнах



Рассказ пойдет о ютландских дюнах, но начинается он не там, а далеко-далеко на юге, в Испании; море ведь соединяет все страны, перенесись же мыслью в Испанию!

Как там тепло, как чудесно! Среди темных лавровых деревьев мелькают алые цветы граната; прохладный ветерок веет с гор на апельсиновые сады и великолепные мавританские галереи с золочеными куполами и расписными стенами. По улицам двигаются процессии детей со свечами и развевающимися знаменами в руках, а в вышине, над улицами города, раскинулось ясное, чистое небо, усеянное сияющими звездами! Люются звуки песен, щелкают кастаньеты, юноши и девушки кружатся в пляске под сенью цветущих акаций; нищий сидит на ступенях мраморной лестницы, утоляет жажду сочным арбузом и затем опять погружается в привычную

дремоту, сладкий сон! Да и все здесь похоже на какой-то чудный сон! Все манит к сладкой лени, к чудным грезам! Таким грезам наяву предавалась и юная новобрачная чета, осыпанная всеми благами земными; все было ей дано: и здоровье, и счастье, и богатство, и почетное положение в обществе.

– Счастливее нас никого и быть не может! – искренне говорили они.

И все же им предстояло подняться по лестнице человеческого благополучия еще на одну ступень, если бы Бог даровал им ожидаемое дитя, сына, живое физическое и духовное изображение их самих.

Счастливое дитя! Его бы встретили общее ликование, самый нежный уход и любовь, все благополучие, какое только может дать человеку богатство и знатная родня. Вечным праздником была для них жизнь.

– Жизнь – милосердный дар любви, почти слишком великий, необъятный! – сказала супруга. – И представить себе, что эта полнота блаженства должна еще возрасти там, за пределами земной жизни, возрасти до бесконечности! Право, я даже не в силах справиться с этою мыслью, до того она необъятна!

– Да она и чересчур самонадеянна! – ответил муж. – Ну, не самонадеянно ли, в сущности, воображать, что нас ожидает вечная жизнь, как богов? Стать подобными богам – ведь эту мысль внушил людям змий, отец лжи!

– Но не сомневаешься же ты в будущей жизни? – спросила молодая супруга, и словно темное облачко скользнуло впервые по безоблачному горизонту их мыслей.

– Религия обещает нам ее, священники подтверждают это обещание! – сказал молодой муж. – Но именно теперь, чувствуя себя наверху блаженства, я и сознаю, насколько надменно, самонадеянно с нашей стороны требовать после этой жизни еще другой, требовать продолжения нашего блаженства! Разве не дано нам уже здесь, в этой жизни, так много, что мы не только можем, но и должны вполне удовлетвориться ею?

– Да, нам-то дано много, – возразила жена, – но для скольких тысяч людей земная жизнь – сплошное испытание; сколько людей от самого рождения бывают обречены на бедность, унижение, болезни и несчастье! Нет, если бы за этою жизнью не ждала людей другая,

земные блага были бы распределены слишком неровно, и Бог не был бы судьей всеправедным!

– И у нищего бродяги есть свои радости, по-своему не уступающие радостям короля, владельца пышного дворца! – ответил молодой человек. – И разве не чувствует, по-твоему, тяжести своей земной участи рабочий скот, которого бьют, морят голодом и работою? Значит, и животное может требовать себе загробной жизни, считать несправедливостью свое низкое положение в ряду других созданий?

– «В доме Отца моего небесного есть много обителей», сказал Христос! – возразила молодая женщина. – Царство Небесное беспредельно, как и любовь Божья! Животные – тоже его творения, и, по-моему, ни одно живое существо не погибнет, но достигнет той ступени блаженства, на какую только способно подняться!

– Ну а с меня довольно и этой жизни! – сказал муж и обнял свою красавицу жену.

Дым от сигареты уносился с открытого балкона в прохладный воздух, напоенный ароматом апельсиновых цветов и гвоздики; с улицы доносились звуки песен и шелканье кастаньет; над головами их сияли звезды, а в глаза мужу глядели нежные очи, сияющие огнем бесконечной любви, очи его супруги.

– Да, одна такая минута стоит того, чтобы человек родился, пережил ее и исчез! – продолжал он, улыбаясь.

Молодая женщина ласково погрозила ему пальчиком, и темное облачко пронеслось, – они были чересчур счастливы!

Обстоятельства складывались для них так благоприятно, что жизнь сулила им впереди еще большие блага. Правда, их ждала перемена, но лишь места, а не счастливого образа жизни. Король назначил молодого человека посланником при императорском российском дворе, – происхождение и образование делали его вполне достойным такого почетного назначения.

Молодой человек и сам имел большое состояние, да и молодая супруга принесла ему не меньшее: она была дочерью богатого, уважаемого коммерсанта. Один из самых больших и лучших кораблей последнего как раз должен был в этом году идти в Стокгольм. На него и решили отправить дорогих детей, дочь и зятя, в Петербург. Корабль был разубран с королевскою роскошью, всюду мягкие ковры, шелк и бархат.

В одной старинной, всем нам, датчанам, известной песне об английском королевиче говорится, как королевич этот отплывает на богато разубранном корабле, с якорями из чистого золота и шелковыми снастями. Вот об этом-то корабле и вспоминали, глядя на испанский корабль; та же роскошь, те же мысли при отплытии: «О, дай же нам, Боже, счастливо вернуться!»

Подул сильный попутный ветер, минута прощания была коротка. Через несколько недель корабль должен был достигнуть конечной цели путешествия. Но когда он был уже далеко от земли, ветер улегся, сияющая ровная поверхность моря, казалось, застыла; вода блестела, звезды сияли, а в богатой каюте словно праздник шел.

Под конец, однако, все стали желать доброго попутного ветра, но он и не думал являться, если же временами и дул ветер, то не попутный, а встречный. Недели шли за неделями, прошло целых два месяца, пока дождались благоприятного ветра с юго-запада. Корабль находился в это время между Шотландией и Ютландией; ветер надул паруса и понес корабль – совсем как в старинной песне об английском королевиче:

И ветер подул, небеса потемнели;  
Куда им укрыться? Где берег, где порт?  
Свой якорь на дно золотой опустили,  
Но к Дании злобный их ветер несет!

Это было очень давно. В те времена на троне Дании сидел юный король Кристиан VII. Много событий совершилось за это время, многое изменилось, переменилось. Озера и болота стали сочными лугами, степи – обработанными полями, а на западном берегу Ютландии, под защитой стен крестьянских избушек, выросли яблони и розы. Но их приходится отыскивать глазами, так ловко они прячутся от резкого западного ветра. И все же тут, на этом берегу, легко перенестись мыслью даже во времена еще более отдаленные, нежели царствование Кристиана VII: в Ютландии и теперь, как в старину, стелется необозримая бурая степь, родина миражей, усеянная могильными курганами, изрезанная перекрещивающимися

кочковатыми песчаными дорогами. На западе же, где большие реки впадают в заливы, по-прежнему расстилаются луга и болота, защищенные со стороны моря высокими дюнами. Зубчатые вершины дюн тянутся по берегу, словно горная цепь, прерываемая в иных местах глинистыми откосами; море из года в год откусывает от них кусок за куском, так что выступы и холмы наконец рушатся, точно от землетрясения. Такова Ютландия сейчас. Такова она была и в те далекие времена, когда счастливая чета плыла на богатом корабле.

Сентябрь был на исходе; погода стояла солнечная; было воскресенье; звуки колоколов догоняли друг друга, разносясь вдоль берега Ниссум-фьорда. Церкви в этих местах напоминали обтесанные каменные плиты, – каждая была высечена в скале. Море перекачивало через них свои волны, а они себе стояли да стояли. Большинство из них было без колоколен; колокола, укрепленные между двумя столбами, висели под открытым небом.

Служба в церкви кончилась, и народ высыпал на кладбище, на котором и тогда, как теперь, не виднелось ни деревца, ни кустика, ни цветка, ни даже венка на могилах. Только небольшие холмы указывали места, где покоились усопшие; все кладбище поросло острою, жесткою травой; ветер так и трепал ее. Кое-где на могилах попадались и памятники – полусгнившие обломки бревен, обтесанные в виде гроба. Обломки эти доставлял «прибрежный лес» – открытое море. В море «растут» для берегового жителя и готовые балки, и доски, и деревья; доставляет же их на берег прибой. Но ветер и морской туман скоро заставляют их сгнить.

Такой обломок лежал и на детской могилке, к которой направилась одна из женщин, вышедших из церкви.

Она стояла молча, устремив взор на полуистлевший деревянный обломок. Немного погодя к ней присоединился ее муж. Они не обменялись ни словом, он взял ее за руку, и они пошли по бурой степи и болоту к дюнам. Долго шли они молча, наконец муж промолвил:

– Хорошая была сегодня проповедь! Не будь у нас Господа, у нас не было бы ничего!

– Да, – ответила жена, – он посылает нам радости, он же посылает и горе! И он прав всегда. А сегодня нашему мальчугану исполнилось бы пять лет, будь он жив.

– Право, напрасно ты так горюешь! – сказал муж. – Он счастливо отделался и находится теперь там, куда и нам надо проситься у Бога.

Больше они не говорили и направились к дому. Вдруг над одною из дюн, на которой песок не был укреплен никакою растительностью, поднялся как бы столб дыма: сильный вихрь взрыл и закрутил мелкий песок. Затем пронесся новый порыв ветра, и развешанная на веревках для просушки рыба забарабанила в стены дома, потом опять все стихло, солнце так и пекло.

Муж с женой вошли в свою избушку и, живо поснимав с себя праздничные платья, поспешили опять на дюны, возвышавшиеся на берегу, словно чудовищные, внезапно остановившиеся на пути песчаные волны. Некоторое разнообразие красок вносили росшие на белом песке голубовато-зеленые острые стебельки песочного овса и песчанки. На берегу собралось еще несколько соседей, и мужчины соединенными силами втащили лодки повыше на песок. Ветер все крепчал, становился все резче и холоднее, и, когда муж с женою повернули обратно домой, песок и острые камешки так и полетели им прямо в лицо. Сильные порывы ветра срезывали белые гребешки волн и рассыпали их мелкою пылью.

Свечерело, в воздухе как будто выл, свистел и стонал целый легион проклятых духов. Муж с женою не слышали даже грохота моря, а избушка их стояла чуть не на самом берегу. Песок так и летел в оконные стекла, порывы ветра грозили иногда повалить избушку. Стемнело, но около полуночи должна была проглянуть луна.

Небо прояснилось, но буря бушевала на море с прежнею силой. Муж и жена давным-давно улеглись в постели, но нечего было и думать заснуть в такую непогоду; вдруг в окно к ним постучали, дверь приотворилась, и кто-то сказал:

– На дальнем рифе стоит большой корабль!

В одну минуту муж и жена вскочили и оделись.

Луна светила довольно ярко, но бушующий песчаный вихрь слепил глаза. Ветер дул такой, что хоть ложись на него; только с большим трудом, чуть не ползком, пользуясь паузами между порывами урагана, можно было перебраться через дюны. На берег, словно лебяжий пух, летела с моря соленая пена; море с шумом и ревом катило кипящие волны. Надо было иметь опытный глаз, чтобы сразу различить в море

судно. Это был великолепный двухмачтовый корабль; его несло к берегу через рифы, но на последнем он сел.

Подать помощь кораблю или экипажу нечего было и думать, – море слишком разбушевалось; волны нещадно хлестали корпус судна и перекатывались через него. Рыбакам чудились крики и вопли отчаяния, видно было, как люди на корабле беспомощно, растерянно суеились. Вот встал огромный вал и обрушился на бушприт. Миг – и бушприта как не бывало; корма высоко поднялась над водою, и с нее прыгнули в этот момент две обнявшиеся человеческие фигуры, прыгнули и исчезли в волнах... Миг еще, и огромная волна выкинула на дюны тело молодой женщины, по-видимому бездыханное. Несколько рыбаков окружили ее, и им показалось, что она еще подает признаки жизни. Сейчас перенесли ее в ближайшую избушку. Как хороша и нежна была бедняжка! Верно, знатная дама!



Ее уложили на убогую кровать без всякого белья, прикрытую одним шерстяным одеялом, но в него-то и следовало укутать незнакомку – чего уж теплее!

Ее удалось вернуть к жизни, но она оказалась в жару и не сознавала ничего: ни того, что случилось, ни того, куда попала. Да и слава богу: все, что было ей дорого в жизни, лежало теперь на дне морском. Все случилось как в песне об английском королевиче:

Ужаснее вида и быть не могло:  
Разбилось судно о риф, как стекло.

Море выбросило на берег обломки корабля, из людей же уцелела одна молодая женщина. Ветер все еще выл, но в избушке на несколько мгновений воцарилась тишина: молодая женщина забылась; потом начались боли и крики, она раскрыла свои дивные глаза и сказала что-то, но никто не понял ни единого слова.

И вот в награду за все перенесенные ею страдания в объятиях ее очутилось новорожденное дитя. Его ожидали великолепная колыбель с шелковым пологом, роскошное жилище, ликование, восторги и жизнь, богатая всеми благами земными, но Господь судил иначе: ему довелось родиться в бедной избушке, и даже поцелуя матери не суждено было ему принять.

Жена рыбака приложила ребенка к груди матери, и он очутился возле сердца, которое уже перестало биться, – мать умерла. Дитя, которое должно было встретить в жизни одно богатство, одно счастье, было выброшено морем на дюны, чтобы испытать нужду и долю бедняка.

Испанский корабль разбился немного южнее Ниссум-фьорда, на берегу, который господин Бугге некогда называл своим. Жестокие, бесчеловечные времена, когда береговые жители промышляли грабежом, обирая потерпевших кораблекрушение, давным-давно миновали. Теперь несчастные встречали тут любовное, сердечное отношение, широкую готовность прийти на помощь. Наше время может гордиться истинно благородными чертами характера! Умиравшая мать и несчастный ребенок нашли бы приют и уход в любом домике на берегу, но нигде не отнеслись бы к ним участливее, сердечнее, чем в том именно, куда они попали: у бедной рыбачки, так



грустно стоявшей вчера возле могилы своего ребенка, которому в этот день должно было бы исполниться пять лет.

Никто не знал, кто такая была умершая женщина или откуда. Корабельные обломки были немые.

В Испании, в доме богатого купца, так и не дождались ни письма, ни весточки о дочери или зяте. Узнали только, что они не достигли места назначения и что в последние недели на море бушевали страшные бури. Ждали месяцы, наконец пришла весть: «Корабль разбился; все погибли».

А в рыбацкой избушке на дюнах появился новый маленький жилец.

Там, где Господь посылает пищу для двоих, хватит и на третьего; на берегу моря хватит рыбы на голодный желудок. Мальчика называли Йоргеном.

– Это, верно, еврейское дитя! – говорили про него. – Ишь, какой чернявый!

– А может быть, он испанец или итальянец! – сказал священник.

Но все эти три народности были в глазах жены рыбака одним и тем же, и она утешалась, что дитя крещено. Ребенок подрастал; благородная кровь питалась бедною пищей; отпрыск благородного рода вырастал в бедной избушке. Датский язык, западноютландское наречие, стал для него родным языком. Зернышко граната с испанской почвы выросло на западном берегу Ютландии песчанкой. Вот как может приспособляться человек! Он сросся с новою родиной всеми своими жизненными корнями. Ему суждено было изведать и голод, и холод, и другие невзгоды, но также и радости, выпадающие на долю бедняка.

Детство каждого человека имеет свои радости, которые бросают светлый отблеск на всю его жизнь. В играх и забавах у Йоргена недостатка не было. На морском берегу было раздолье для игр: весь берег был усеян игрушками, выложен, словно мозаикою, разноцветными камешками. Тут попадались и красные, как кораллы, и желтые, как янтари, и белые, крупенькие, как птичьи яички, – словом, всевозможные мелкие обточенные и отшлифованные морем камешки. Высохшие остовы рыб, сухие водоросли и другие морские растения, белевшие на берегу и опутывавшие камни точно тесемками, тоже служили игрушками, забавой для глаз, пищей для ума. Йорген был мальчуган способный, богато одаренный. Как он запоминал

разные истории и песни! А уж что за руки у него были – просто золотые! Из камней и ракушек мастерил он кораблики и картинки для украшения стен. Мальчик мог, по словам его приемной матери, выразить свои мысли резьбой на кусочке дерева, а он был еще невелик. Как чудесно звенел его голосок; мелодии так сами собой и лились из его горлышка. Да, много струн было натянуто в его душе; они могли бы зазвучать на весь мир, сложись его судьба иначе, не забрось она его в эту глухую рыбацью деревушку.

Однажды поблизости разбился корабль и на берег выбросило волнами ящик с редкими цветочными луковицами. Некоторые из них были искрошены в похлебку – рыбаки сочли их съедобными, другие остались гнить на песке. Им не суждено было выполнить свое назначение – развернуть взорам всю скрытую в них роскошь красок. Будет ли Йорген счастливее? Луковицы скоро погибли, его же ожидали долгие годы испытания.

Ни ему, ни кому другому из окружающих никогда и в голову не приходило, что дни тянутся здесь скучно и однообразно: здесь было вдоволь работы и рукам, и глазам, и ушам. Море являлось огромным учебником и каждый день открывало новую страницу, знакомило береговых жителей то со штилем, то с легким волнением, то с ветром и штормом. Кораблекрушения были крупными событиями, а посещения церкви – настоящими праздниками. Из посещений же родных и знакомых особенную радость доставлял семейству рыбака приезд дяди, продавца угрей из Фьялтринга, что близ Бовбьерга. Он приезжал сюда два раза в год на красной тележке, полной угрей; тележка представляла собою ящик с крышкой и была расписана по красному фону голубыми и белыми тюльпанами; тащила ее пара чалых волов. Йоргену позволялось покататься на них.

Торговец угрями был остряк, весельчак и всегда привозил с собою бочонок водки. Всякому доставался полный стаканчик или кофейная чашечка, если не хватало стаканов; даже Йоргену, как ни мал он был, давалась порция с добрый наперсток. Надо же выпить, чтобы удержать в желудке жирного угря, говорил торговец и при этом всякий раз рассказывал одну и ту же историю, а если слушатели смеялись, рассказывал еще раз сначала. Такая уж слабость у словоохотливых людей! И так как Йорген сам зачастую руководился этой историей и в

отрочестве, и даже в зрелом возрасте, то надо и нам познакомиться с нею.

«В реке плавали угри; дочери все просились у матери погулять на свободе, подняться вверх по реке, а мать говорила им: „Не заходите далеко! Не то придет злой рыбак и всех вас заколет!” Но они все-таки зашли слишком далеко, и из восьми дочерей вернулись к матери только три. Они принялись жаловаться: „Мы только чуть-чуть вышли из дома, как явился злой рыбак и заколол сестриц своим трезубцем до смерти!” „Ну, они еще вернутся к нам!” – сказала мать. „Нет! – ответили дочери. – Он ведь содрал с них кожу, разрезал их на куски и зажарил!” „Вернутся!” – повторила мать. „Да ведь он съел их!” „Вернутся!” – повторила мать. „Он запил их водкой!” – сказали дочери. „Ай! Ай! Значит, они никогда не вернутся! – завывала мать. – Водка хоронит угрей!”»

– Вот и следует всегда запивать это блюдо водочкою! – прибавлял торговец.

История эта прошла через всю жизнь Йоргена красною нитью, давая обширный материал для забавных острот, поговорок и сравнений. И Йоргену по временам страсть как хотелось выплянуть из дома, погулять по белу свету на корабле, а мать его тогда говорила: «На свете много злых людей – рыбаков!» Ну а недалеко от дюн, в степи, побывать было можно, и он побывал. Четыре веселых дня осветили собой все его детство; в них отразилась для него вся красота Ютландии, вся радость и счастье родного края.

Родителей Йоргена пригласили на пир – правда, на похоронный. Умер один из их состоятельных родственников. Жил он в степи, к северо-востоку от рыбацкой слободки. Родители взяли Йоргена с собою. Миновав дюны, степь и болото, они пошли по зеленому лугу, где прорезывает себе путь река Скерум, изобилующая угрями. В ней-то и жила угриная матка со своими дочками, которых злые люди убили, ободрали и разрезали на куски. Но часто люди поступали не лучше и с себе подобными. Вот и рыцарь Бугге, о котором говорится в старинной песне, был убит злыми людьми, да и сам он, как ни был добр, собирался убить строителя, что воздвигнул ему толстостенный замок с башнями. Замок этот стоял на том самом месте, где приостановился теперь Йорген со своими родителями, при впадении реки Скерум в Ниссум-фьорд. Валы еще виднелись, и на них –

остатки кирпичных стен. Рыцарь Бугге, посылая своего слугу в погоню за ушедшим строителем, сказал: «Догони его и скажи: „Мастер, башня падает!“ Если он обернется, сруби ему голову и возьми деньги, что он получил от меня, а если не обернется, оставь его идти с миром».

Слуга догнал строителя и сказал, что было велено, но тот не оборачиваясь ответил: «Башня еще не падает, но когда-нибудь придет с запада человек в синем плаще и заставит ее упасть». Так оно и случилось сто лет спустя: море затопило страну, и башня упала, но владелец замка Предбьёрн Гюльденстьерне выстроил себе новую усадьбу на более высоком месте; она и поныне стоит и называется Северный Восборг.



Мимо этого замка им тоже пришлось проходить. Все эти места давно были знакомы Йоргену по рассказам, услаждавшим для него долгие зимние вечера, и вот теперь он сам увидел и двор, окруженный двойными рвами, деревьями и кустами, и вал, поросший папоротником. Но лучше всего были здесь высокие липы, достававшие вершинами до крыши и наполнявшие воздух сладким ароматом. В северо-западном углу сада рос большой куст, осыпанный цветами, что снегом. Это была бузина, первая цветущая бузина, которую видел

Йорген. И она да цветущие липы запечатлелись в его памяти на всю жизнь; ребенок запасся на старость воспоминаниями о красоте и благоухании Дании.

Остальную часть пути совершили гораздо скорее и удобнее: как раз у Северного Восборга, где цвела бузина, Йоргена с родителями нагнали другие приглашенные на пир, ехавшие в тележке, и предложили подвезти их. Конечно, всем троим пришлось поместиться позади, на деревянном сундуке, окованном железом, но это было все-таки лучше, чем идти пешком. Дорога шла по кочковатой степи; волы, тащившие тележку, время от времени останавливались, встретив среди вереска клочок земли, поросший свежей травкой; солнышко припекало, и над степью курился диковинный дымок. Он вился клубами и в то же время был прозрачнее самого воздуха; казалось, солнечные лучи клубились и плясали над степью.

– Это Локеман гонит свое овечье стадо! – сказали Йоргену, и ему было довольно – он сразу перенесся в сказочную страну, но не терял из виду и окружающей действительности.

Какая тишина стояла в степи!

Во все стороны разбегалась необозримая степь, похожая на драгоценный ковер; вереск цвел, кипарисово-зеленый можжевельник и свежие отпрыски дубков выглядывали из него букетами. Так и хотелось броситься на этот ковер повалиться – не будь только тут множества ядовитых гадюк!.. Об них-то да о волках и пошла речь; последних водилось тут прежде столько, что всю местность звали Волчьей округой. Старик возница рассказывал, что в старину, когда еще жив был его покойный отец, лошадям часто приходилось жестоко отбиваться от кровожадных зверей, а раз утром и ему самому случилось набрести на лошадь, попиравшую ногами убитого ею волка, но ноги ее были все изгрызены.

Слишком скоро для мальчика проехали они кочковатую степь и глубокие пески и прибыли в дом, где было полным-полно гостей. Повозки жались друг к другу; лошади и волы пощипывали тощую травку. За хутором возвышались песчаные дюны, такие же высокие и огромные, как и в родной слободке Йоргена. Как же они попали сюда с берега, ведь оттуда три мили? Ветер поднял и перенес их; у них своя история.

Пропели псалмы, двое-трое старичков и старушек прослезились, а то было очень весело, по мнению Йоргена: ешь и пей вволю, – угощали жирными угрями, а их надо было запивать водочкой. «Она удерживает угрей!» – говаривал старик торговец, и тут крепко держались его слов.

Йорген шнырял повсюду и на третий день чувствовал себя тут совсем как дома. Но здесь, в степи, было совсем не то, что у них в рыбацкой слободке, на дюнах: степь так и кишела цветочками и голубикой; крупных, сладких ягод было так много, что некуда ступить, и когда они лопались под ногой, вереск орошался красным соком.

Там и сям возвышались курганы; в тихом воздухе курился дымок; горит где-нибудь степь, говорили Йоргену. Вечером же над степью подымалось зарево – вот было красиво!

На четвертый день поминки кончились, пора было и домой, на приморские дюны.

– Наши-то настоящие, – сказал отец, – а в этих никакой силы нет.

Зашел разговор о том, как они попали сюда, внутрь страны. Очень просто. На берегу нашли мертвое тело; крестьяне схоронили его на кладбище, и вслед за тем началась страшная буря, песок погнало внутрь страны, море дико лезло на берег. Тогда один умный человек посоветовал разрыть могилу и поглядеть, не сосет ли покойник свой большой палец. Если да, то это водяной и море требует его. Могилу разрыли: покойник сосал большой палец. Сейчас же взвалили его на телегу, запрягли в нее двух волов, и те как ужаленные помчали ее через степь и болото прямо в море. Песчаная метель прекратилась, но дюны, как их намело, так и остались стоять внутри страны. Йорген слушал и сохранял все эти рассказы в своей памяти вместе с воспоминаниями о счастливейших днях детства, о поминках.

Да, то ли дело вырваться из дома, увидеть новые места и новых людей! И Йоргену предстояло-таки вырваться опять. Ему еще не минуло четырнадцати лет, а он уже нанялся на корабль и отправился по белу свету. Узнал он и непогоду, и море, и злых, жестоких людей. Недаром он был юнгой! Скучная пища, холодные ночи, плетъ и кулаки – всего пришлось ему отведать. Было от чего иногда вскипеть его благородной испанской крови; горячие слова просились на язык;

но умнее было прикусить его, а для Йоргена это было то же, что для угря позволить себя ободрать и положить на сковороду.

«Ну, да я возьму свое!» – говорил он сам себе.

Довелось ему увидеть и испанский берег, родину его родителей, даже тот самый город, где они жили в счастье и довольстве, но он ведь ничего не знал ни о своей родине, ни о семье, а семья о нем и того меньше.

Парнишке не позволяли даже бывать на берегу, и он ступил на него в первый раз только в последний день стоянки: надо было закупить кое-какие припасы, и его взяли с собою на подмогу.

И вот Йорген, одетый в жалкое платьишко, словно выстиранное в канаве и высушенное в трубе, очутился в городе. Он, уроженец дюн, впервые увидел большой город. Какие высоченные дома, узенькие улицы, сколько народу! Толпы сновали туда и сюда; по улицам как будто неслась живая река: горожане, крестьяне, монахи, солдаты... Крик, шум, гам, звон бубенчиков на ослах и мулах, звон церковных колоколов, пение и щелканье кастаньет, стукотня и грохот: ремесленники работали на порогах домов, а то так и прямо на тротуарах. Солнце так и пекло, воздух был тяжел и удушлив; Йоргену казалось, что он в раскаленной печке, битком набитой жужжащими и гудящими навозными и майскими жуками, пчелами и мухами; голова шла кругом. Вдруг он увидел перед собою величественный портал собора; в полутьме под сводами мерцали свечи, курился фимиам. Даже самый оборванный нищий имел право войти в церковь. Матрос, с которым послали Йоргена, и направился туда; Йорген – за ним. Яркие образа сияли на золотом фоне. На алтаре, среди цветов и зажженных свечей, красовалась Божья Мать с младенцем Иисусом. Священники в роскошных облачениях пели, а хорошенькие, нарядные мальчики кадили. Вся эта красота и великолепие произвели на Йоргена глубокое впечатление; вера и религия его родителей затронули самые сокровенные струны его души; на глазах у него выступили слезы.

Из церкви они направились на рынок, закупили нужные припасы, и Йоргену пришлось тащить часть их. Идти было далеко, он устал и приостановился отдохнуть перед большим великолепным домом с мраморными колоннами, статуями и широкими лестницами. Йорген прислонил свою ношу к стене, но явился раззолоченный швейцар в



ливрее и, подняв на него палку с серебряным набалдашником, прогнал прочь – его, внука хозяина! Но никто ведь не знал этого. Сам Йорген – меньше всех.

И вот он снова на корабле, и снова потянулась та же жизнь, толчки, ругань, недосыпание, тяжелая работа. Что ж, не мешает отведать всего! Это ведь, говорят, хорошо – пройти суровую школу в юности. Хорошо-то хорошо, если потом ждет тебя счастливая старость!

Рейс кончился, корабль опять стал на якорь в Рингкёбинг-фьорде, и Йорген вернулся домой, в рыбацью слободку, но, пока он гулял по свету, приемная мать его умерла.



Настала суровая зима. На море и суше бушевали снежные бури; просто беда была пробираться по степи. Как в самом деле разнятся между собою разные страны: здесь – ледящий холод и метель, а в Испании – страшная жара! И все же, увидав в ясный, морозный день большую стаю лебедей, летевших со стороны моря к Северному

Восборгу, Йорген почувствовал, что тут все-таки дышится легче, что тут, по крайней мере, можно насладиться прелестями лета. И он мысленно представил себе степь всю в цветах, усеянную спелыми, сочными ягодами, и цветущие липы у Северного Восборга. Ах, надо опять побывать там!

Подошла весна, началась ловля рыбы, Йорген помогал отцу. Он сильно вырос за последний год, и дело у него спорилось. Жизнь так и была в нем ключом; он умел плавать и сидя и стоя, даже кувыркаться в воде, и ему часто советовали остерегаться макрелей – они плавают стадами и нападают на лучших пловцов, увлекают их под воду и пожирают. Вот и конец! Но Йоргену судьба готовила иное.

У соседей был сын Мортен; Йорген подружился с ним, и они вместе нанялись на одно судно, которое отплывало в Норвегию, потом в Голландию. Серьезно ссориться между собою им вообще было не из-за чего, но мало ли что случается! У горячих натур руки ведь так и чешутся; случилось это раз и с Йорге́ном, когда он повздорил с Мортеном из-за каких-то пустяков. Они сидели в углу за капитанскою рубкой и ели из одной глиняной миски; у Йоргена был в руках нож, и он замахнулся им на товарища, причем весь побледнел и дико сверкнул глазами. А Мортен только промолвил:

– Так ты из тех, что готовы пустить в дело нож!

В ту же минуту рука Йоргена опустилась; молча доел он обед и взялся за свое дело. По окончании же работ он подошел к Мортену и сказал:

– Ударь меня по лицу – я того стою! Кровь во мне, право, вечно так и бурлит через край, точно горшок с кипятком!

– Ну ладно, забудем это! – отвечал Мортен, и с тех пор дружба их стала чуть не вдвое крепче.

Вернувшись домой, в Ютландию, на дюны, они рассказывали о житье-бытье на море, рассказали и об этом происшествии. Да, кровь в Йоргене бурлила через край, но все же он был славный надежный горшок.

– Только не ютландский – ютландцем его назвать нельзя! – сострил Мортен.

Оба были молоды и здоровы, оба – парни рослые, крепкого сложения, но Йорген отличался большею ловкостью.

На севере, в Норвегии, крестьяне пасут свои стада в горах на сетерах, а на западном берегу Ютландии, на дюнах, понастроены хижины для рыбаков; они сколочены из корабельных обломков и крыты торфом и вереском; по стенам внутри идут нары для спанья, здесь рыбаки живут в начале весны, здесь и ночуют. У каждого рыбака есть своя девушка-помощница; обязанности ее — насаживать на крючки приманки, встречать хозяина, возвращающегося с лова, теплым пивом, готовить ему кушанье, вытаскивать из лодок пойманную рыбу, потрошить ее и прочее.

Йорген, отец его и еще несколько рыбаков с их работницами помещались в одной хижине. Мортен жил в соседней.

Между девушками была одна, по имени Эльсе, которую Йорген знал с детства. Оба были очень дружны между собою; в их нравах было много общего, но наружностью они резко отличались: он был смуглый и черноволосый, а она беленькая; волосы у нее были желтые, как лен, а глаза голубые, как освещенное солнцем море.

Раз они шли рядом; Йорген держал ее руку в своей и крепко пожимал ее. Вдруг Эльсе сказала ему:

— Йорген, у меня есть что-то на сердце! Лучше бы мне работать у тебя — ты мне все равно что брат, а Мортен, к которому я нанялась, мой жених. Не надо только болтать об этом другим!

Песок словно заколыхался под ногами Йоргена, но он не проронил ни слова, только кивнул головой — согласен, мол. Большого от него и не требовалось. Но он-то в ту же минуту почувствовал, что всем сердцем ненавидит Мортена. Чем больше он думал о случившемся, — а раньше он никогда так много не думал об Эльсе, — тем яснее становилось ему, что Мортен украл у него любовь единственной девушки, которая ему нравилась, то есть Эльсе; вот оно как теперь выходило!

Стоит посмотреть, как рыбаки переносятся в свежую погоду по волнам через рифы. Один из рыбаков стоит на носу, а гребцы не спускают с него глаз, выжидая знака положить весла и отдаться надвигающейся волне, которая должна перенести лодку через риф. Сначала волна подымает лодку так высоко, что с берега виден киль ее; минуту спустя она исчезает в волнах; не видно ни самой лодки, ни людей, ни мачты; море как будто поглотило все. Но еще минута, и лодка вновь показывается на поверхности по другую сторону рифа,

словно вынырнувшее из воды морское чудовище; весла быстро шевелятся – ни дать ни взять ноги животного. Перед вторым, перед третьим рифом повторяется то же самое; затем рыбаки спрыгивают в воду и подводят лодку к берегу; удары волны помогают им, подталкивая ее сзади.

Не подать вовремя знака, ошибиться минутой – и лодка разобьется о риф.

«Тогда бы конец и мне и Мортену!» – эта мысль мелькнула у Йоргена, когда они были на море. Отец его вдруг серьезно занемог, лихорадка так и трепала его; между тем лодка приближалась к последнему рифу; Йорген вскочил и крикнул:

– Отец,пусти лучше меня! – И взгляд его скользнул с лица Мортена на волны. Вот приближается огромная волна. Йорген взглянул на бледное лицо отца и не мог исполнить злого намерения. Лодка счастливо миновала риф и достигла берега, но злая мысль крепко засела в голове Йоргена, кровь в нем так и кипела; со дна души всплывали разные соринки и волокна, запавшие туда за время дружбы его с Мортеном, но он не мог выпрясть из них цельную нить, за которую бы мог ухватиться, и он пока не приступал к делу. Да, Мортен испортил ему жизнь, он чувствовал это! Так как же ему было не возненавидеть его? Некоторые из рыбаков заметили эту ненависть, но сам Мортен не замечал ничего и оставался тем же добрым товарищем и словоохотливым – пожалуй, даже чересчур словоохотливым – парнем.

А отцу Йоргена пришлось слечь; болезнь оказалась смертельной, и он через неделю умер. Йорген получил в наследство дом на дюнах, правда маленький, но и то хорошо, у Мортена не было и этого.

– Ну, теперь не будешь больше наниматься в матросы! Останешься с нами навсегда! – сказал Йоргену один из старых рыбаков.

Но у Йоргена как раз было в мыслях другое – ему именно и хотелось погулять по белу свету. У торговца угрями был дядя, который жил в Старом Скагене. Он тоже занимался рыболовством, но был уже зажиточным купцом и владел собственным судном. Слыл он милым стариком; у такого стоило послужить. Старый Скаген лежит на крайнем севере Ютландии, далеко от рыбацкой слободки и дюн, но это-то обстоятельство особенно и было по душе Йоргену. Он не хотел

пировать на свадьбе Эльсе и Мортена, а ее готовились сыграть недели через две.

Старый рыбак не одобрял намерения Йоргена: теперь у него был собственный дом, и Эльсе, наверно, склонится скорее на его сторону.

Йорген ответил на это так отрывисто, что нелегко было добраться до смысла его речи, но старик взял да и привел к нему Эльсе. Не много сказала она, но все-таки сказала кое-что:

– У тебя дом... Да, тут задумаешься!..

И Йорген сильно задумался.

По морю ходят сердитые волны, но сердце человеческое волнуется иногда еще сильнее, его обуревают страсти. Много мыслей пронеслось в голове Йоргена, наконец он спросил Эльсе:

– Если бы у Мортена был такой же дом, кого из нас двоих выбрала бы ты?

– Да ведь у Мортена нет и не будет дома!

– Ну, представь себе, что он у него будет?

– Ну, тогда я, верно, выбрала бы Мортена – люб он мне! Но этим сыт не будешь!

Йорген раздумывал об этом всю ночь. Что такое толкало его, он и сам не мог дать себе отчета, но безотчетное влечение оказалось сильнее его любви к Эльсе, и он повиновался ему – пошел утром к Мортену. То, что Йорген сказал Мортену при свидании, было строго обдуманно им в течение ночи. Он уступил товарищу свой дом на самых выгодных для того условиях, говоря, что сам предпочитает наняться на корабль и уехать. Эльсе, узнав обо всем, поцеловала Йоргена прямо в губы – ей ведь был люб Мортен.

Йорген собирался отправиться в путь на другой же день рано утром. Но вечером, хотя и было уже поздно, ему вздумалось еще раз навестить Мортена. Он пошел и на пути, на дюнах, встретил старого рыбака, который не одобрял его намерения уехать. «У Мортена, верно, зашит в штанах утиный клюв, что девушки так льнут к нему!» – сказал старик. Но Йорген прервал разговор, простился и пошел к Мортену. Подойдя поближе, он услышал в доме громкие голоса: у Мортена кто-то был. Йорген остановился в нерешимости; с Эльсе ему вовсе не хотелось встречаться. Подумав хорошенько, он не захотел и выслушивать лишний раз изъявлений благодарности Мортена и повернул назад.

Утром, еще до восхода солнца, он связал свой узелок, взял с собой корзинку со съестными припасами и сошел с дюн на самый берег; там идти было легче, чем по глубокому песку, да и ближе: он хотел пройти сначала в Фьяльтринг к торговцу угрями, благо обещал навестить его.

Ярко синела блестящая поверхность моря; берег был усеян ракушками и раковинами; игрушки, забавлявшие его в детстве, так и хрустели под его ногами. Вдруг из носа у него брызнула кровь – пустячное обстоятельство, но и оно, случается, приобретает важное значение. Две, три крупные капли упали на рукав его рубашки. Он замыл их, остановил кровь и почувствовал, что от кровотечения ему стало как-то легче и в голове, и на сердце. В песке вырос кустик морской капусты; он отломил веточку и воткнул ее в свою шляпу. «Смело, весело вперед! Белый свет посмотреть, выплянуть из дома, – как говорили угри, – Берегитесь людей! Они злые, убьют вас, разрежут и зажарят на сковороде! – повторил он про себя и рассмеялся. – Ну, я-то сумею сберечь свою шкуру! Смелость города берет!»



Солнце стояло уже высоко, когда он подошел к узкому проливу, соединявшему западное море с Ниссум-фьордом. Оглянувшись назад, он увидел вдали двух верховых, а на некотором расстоянии за ними — еще нескольких пешеходов; все они, видимо, спешили. Ну, да ему-то что за дело?

Лодка была у другого берега; Йорген кликнул перевозчика; отчалили, но не успели выехать на середину пролива, как мчавшиеся во весь опор верховые доскакали до берега и принялись кричать, приказывая Йоргену именем закона вернуться обратно. Йорген в толк не мог взять, что им от него надо, но рассудил, что лучше всего вернуться, сам взялся за одно весло и принялся грести обратно к берегу. Едва лодка причалила, люди, толпившиеся на берегу, вскочили в нее и скрутили Йоргену руки веревкою; он и опомниться не успел.

– Погоди! Поплатишься головой за свое злодейство! – сказали они. – Хорошо, что мы поймали тебя!

Обвиняли его ни больше ни меньше как в убийстве: Мортена нашли с перерезанным горлом. Один из рыбаков встретил вчера Йоргена поздно вечером на пути к жилищу Мортена, Йорген уже не раз угрожал последнему ножом, значит, он и убийца! Следовало крепко стеречь его; в Рингкёбинге – самое верное место, да не скоро туда доберешься. Дул как раз западный ветер; в какие-нибудь полчаса, а то и меньше можно было переправиться через залив и выехать на реку Скерум, а оттуда уж всего четверть мили до Северного Восборга, где тоже есть крепкая усадьба с валами и рвами. В лодке был вместе с другими брат старосты, и он полагал, что им разрешат посадить Йоргена в яму, где сидела вплоть до самой своей казни цыганка Долговязая Маргрете.

Оправданий Йоргена не слушали, капли крови на рубашке уличали его. Сам-то он знал, что невиновен, но другие этому не верили, и он решил покориться судьбе.

Лодка пристала как раз у того вала, где возвышался некогда замок рыцаря Бугге и где останавливались отдохнуть Йорген и его родители по пути на пир, на поминки. Ах, эти четыре счастливых, светлых дня детства! Теперь его вели по той же самой дороге, по тем же лугам к Северному Восборгу, где по-прежнему стояли осыпанная цветами бузина и цветущие, душистые липы. Он словно только вчера проходил тут.

В левом крыле усадьбы под одною из высоких лестниц открывался спуск в низкий сводчатый подвал. Оттуда выведена была на казнь Долговязая Маргрете. Она съела пять детских сердец и думала, что, если съест еще два, приобретет умение летать и делаться невидимкою. В стене была пробита крошечная отдушина, но освежающий аромат душистых лип не мог через нее пробраться. Сырость, плесень, голые доски вместо постели – вот что нашел Йорген в подвале. Но чистая совесть, говорят, мягкая подушка, значит, Йоргену спалось хорошо.

Толстая дверь была заложена тяжелым железным болтом, но призраки суеверия проникают и через замочную скважину, проникают и в барские хоромы, и в рыбацьи хижины, а сюда, к Йоргену, пробирались и по-прежнему. Он сидел и думал о Долговязой Маргрете, о ее злодеянии. В воздухе как будто витали еще ее



последние мысли, мысли, которым она предавалась в ночь перед казнью. Приходили Йоргену на ум и рассказы о чудесах, какие совершались тут при жизни помещика Сванведея: собаку, сторожившую мост, каждое утро находили повешенною на цепи на перилах моста. Все эти мрачные мысли осаждали и пугали Йоргена, и лишь одно воспоминание озаряло подвал солнечным лучом – воспоминание о цветущей бузине и липах.

Впрочем, недолго сидел он тут: его перевели в Рингкёбинг, в такое же суровое заточение.

В те времена было не то, что в наши, – плохо приходилось бедному человеку. У всех еще в памяти было, как крестьянские дворы и целые селения обращались в новые господские поместья, как любой кучер или лакей становился судьей и присуждал бедняка крестьянина за самый ничтожный проступок к лишению надела или к плетям. Кое-что подобное и продолжало еще твориться в Ютландии. Вдали от королевской резиденции и просвещенных блюстителей порядка и права не очень-то чтили законы. Так что это было еще с полгоря, что Йоргену пришлось томиться в заключении!

Что за холод стоял в помещении, куда его засадили! Когда же будет конец всему этому? Он невиновен, а его предали позору и бедствиям – вот его судьба! Да, тут он мог поразмыслить о ней на досуге. За что она так преследовала его?.. Все выяснится там, в будущей жизни, которая ждет нас всех! Йорген вырос с этою верою. То, чего не мог уяснить себе отец, окруженный роскошною, залитою солнцем природою Испании, то светило отрадным лучом сыну среди окружавшего его мрака и холода. Йорген твердо уповал на милость Божью, а это упование никогда не бывает обмануто.

Весенние бури опять давали себя знать. Грохот моря слышен на много миль кругом, даже в глубине страны, но лишь после того, как буря уляжется. Море грохотало, словно катились по твердому, взрытому грунту сотни тяжелых телег. Йорген чутко прислушивался к этому грохоту, который вносил в его жизнь хоть какое-нибудь разнообразие. Никакая старинная песня не доходила так до его сердца, как музыка катящихся волн, голос бурного моря. Ах, море, дикое, вольное море! Ты да ветер носите человека из страны в страну, и всюду он носится вместе с домом своим, как улитка, всюду носит с собою часть своей родины, клочок родной почвы!

Как прислушивался Йорген к глухому ропоту волн и как в нем самом волновались мысли и воспоминания! На волю! На волю! На воле – рай, блаженство, даже если на тебе башмаки без подошв и заплатанное грубое платье! Кровь вскипала в нем от гнева, и он ударял кулаком о стену.

Так проходили недели, месяцы, прошел и целый год. Вдруг поймали вора Нильса, по прозвищу Барышник, и для Йоргена настали лучшие времена: выяснилось, как несправедливо с ним поступили.

К северу от Рингкёбинг-фьорда была корчма; там-то и встретились вечером, накануне ухода Йоргена из слободки, Нильс и Мортен. Выпили по стаканчику, выпили по другому, и Мортен не то чтобы опьянел, а так... разошелся больно, дал волю языку – рассказал, что купил дом и собирается жениться. Нильс спросил, где он взял денег, и Мортен хвастливо ударил по карману:

– Там, где им и следует быть!

Хвастовство стоило ему жизни. Он пошел домой, Нильс прокрался за ним и всадил ему в шею нож, чтобы отобрать деньги, которых не было.

Все эти обстоятельства были изложены в деле подробно, но с нас довольно знать, что Йоргена выпустили на волю. Ну а чем же вознаградили его за все, что он вытерпел, – годовое заключение, холод и голод, отторжение от людей? Да вот, ему сказали, что он, слава богу, невиновен и может уходить. Бургомистр дал ему на дорогу десять марок, а несколько горожан угостили пивом и хорошою закуской. Да, водились там и добрые люди, не все они такие, что готовы «заколоть, ободрать да на сковородку положить»! Лучше же всего было то, что в город приехал в это время по делам тот самый купец Брённе из Скагена, к которому Йоргену хотелось поступить год тому назад.

Купец узнал всю историю и захотел вознаградить Йоргена за все перенесенные им страдания; сердце у старика было доброе, он понял, чего должен был натерпеться бедняга, и решил доказать ему, что есть на свете и добрые люди.

Из темницы на волю, на свет Божий, где его ожидали любовь и сердечное участие! Да, пора ему было испытать и это. Чаша жизни никогда не бывает наполнена одною полыньёю – такой не поднесет ближнему ни один добрый человек, а уж тем меньше сам Господь – любовь всеобъемлющая.

– Ну, поставь-ка ты на всем этом крест! – сказал купец Йоргену. – Вычеркнем этот год, как будто его и не было, сожжем календарь и через два дня – в путь, в наш мирный, богоспасаемый Скаген! Его зовут медвежьим углом, но это уголок уютный, благословенный, с открытыми окнами на весь белый свет!

Вот была поездка! Йорген вздохнул полной грудью. Из холодной темницы, из душного, спертого воздуха вновь очутиться на ярком солнышке!

Вереск цвел, вся степь была в цветах; на кургане сидел пастушонок и наигрывал на самодельной дудочке из бараньей кости. Фата-моргана, чудные воздушные видения степи: висячие сады и плавающие в воздухе леса, диковинное колебание воздушных волн – явление, о котором крестьяне говорят: «Это Локеман гонит свое стадо», – все это увидел он вновь.

Путь их лежал к Лим-фьорду, к Скагену, откуда вышли «длиннобородые люди», лангобарды. В царствование короля Снию здесь был голод, и тогда решили убить всех стариков и детей, но благородная женщина Гамбарук, владелица одного из северных поместий, предложила лучше выслать молодых за пределы страны. Йорген знал это предание – настолько он был учен, – и если не знал вдобавок и самой страны лангобардов, лежащей за высокими Альпами, то знал, по крайней мере, на что она приблизительно похожа. Он ведь еще мальчуганом побывал на юге, в Испании, и помнил сваленные горами плоды, красные цветы граната, шум, гам и колокольный звон в огромном городе, напоминавшем собою улей. Но самой лучшей страной остается все-таки родина, а родиной Йоргена была Дания.

Наконец они достигли и Вендил-Скага, как называется Скаген в старинных норвежских и исландских рукописях. Уже и в те времена тянулась здесь по отмели, вплоть до маяка, необозримая цепь дюн, прерываемая обработанными полями, и находились города: Старый Скаген, Вестербю и Эстербю. Дома и усадьбы и тогда были рассыпаны между наносными, подвижными песчаными холмами, и тогда взметал буйный ветер ничем не укрепленный песок, и тогда оплустительно кричали здесь чайки, морские ласточки и дикие лебеди. Старый Скаген, где жил купец Брённе и должен был поселиться Йорген, лежит на милю юго-западнее мыса Скагена. Во дворе купца

пахло смолой; крышами на всех надворных строениях служили перевернутые кверху дном лодки; свиные хлева были сколочены из корабельных обломков; двор не был огорожен – не от кого и нечего было огораживать, хотя на длинных веревках, развешанных одна над другою, и сушилась распластанная рыба. Весь морской берег был покрыт гнилыми сельдями: не успевали закинуть в море невод, как он приходил битком набитый сельдями; их и девать было некуда – приходилось бросать обратно в море или оставлять гнить на берегу.

Жена, и дочь купца, и все домочадцы радостно встретили отца и хозяина, пошло пожимание рук, крик, говор. А что за славное личико и глазки были у дочки купца!

В самом доме было просторно и уютно. На столе появились рыбные блюда – такие камбалы, какими бы полакомился сам король! А вина были из «скагенских виноградников» – из великого моря: виноградный сок притекает в Скаген прямо в бочках и бутылках.

Когда же мать и дочь узнали, кто такой Йорген, слышали, как жестоко и безвинно пришлось ему пострадать, они стали глядеть на него еще ласковее; особенно ласково смотрела дочка, милая Клара. Йорген нашел в Старом Скагене уютный, славный семейный очаг; теперь сердце его могло успокоиться, а этому бедному сердцу пришлось изведать немало, даже горечь несчастной любви, которая либо ожесточает его, либо делает еще мягче, чувствительнее. Сердце Йоргена не ожесточилось, оно было еще молодо, и теперь в нем оставалось незанятое местечко. Кстати подоспела поездка Клары в гости к тетке, в Кристиансанн, в Норвегию. Она собиралась отправиться туда на корабле недели через три и прогостить там всю зиму.

В последнее воскресенье перед отъездом Клары все отправились в церковь причащаться. Церковь была большая, богатая; построили ее несколько столетий тому назад шотландцы и голландцы; недалеко от нее выстроился и самый город. Церковь уже несколько обветшала, а дорога к ней вела очень тяжелая, с холма на холм, то вверх, то вниз, по глубокому песку, но жители все-таки охотно шли в Божий храм пропеть псалмы и послушать проповедь. Песчаные заносы достигали уже вершины кладбищенской ограды, но могилы постоянно очищались.

Это была самая большая церковь к северу от Лим-фьорда. На алтаре словно живая стояла Божья Мать с младенцем на руках; на хорах помещались резные деревянные изображения апостолов, а наверху, по стенам, висели портреты былых скагенских бургомистров и судей; под каждым портретом красовалась условная подпись данного лица. Кафедра тоже была вся резная. Солнце весело играло на медной люстре и на маленьком кораблике, подвешенном к потолку.

Йоргена охватило то же чувство детского благоговения, которое он испытал еще юношей в богатом соборе в Испании, но здесь к этому чувству присоединялось еще сознание, что и он принадлежит к пастве.

После проповеди началось причащение. Йорген тоже вкусил хлеба и вина, и случилось так, что он преклонил колена как раз рядом с Кларою. Но мысли его были обращены к Богу, он всецело был занят совершавшимся таинством и заметил, кто была его соседка, только тогда, когда уже встал с колен. Взглянув на нее, он увидал, что по щекам ее струятся слезы.

Два дня спустя она уехала в Норвегию, а Йорген продолжал исправлять разные работы по дому, участвовал и в рыбной ловле, а в те времена там было-таки что ловить, побольше, чем теперь. Стада макрелей оставляли за собою по ночам светящийся след, выдававший их движение под водою; керцы хрипели, а крабы издавали жалобный вой, когда попадались ловцам; рыбы вовсе не так немые, как о них рассказывают. Вот Йорген – тот был помолчаливее их, хранил свою тайну глубоко в сердце, но когда-нибудь и ей суждено было всплыть наружу.

Сидя по воскресеньям в церкви, он набожно устремлял взоры на изображение Божьей Матери, красовавшееся на алтаре, но иногда переводил их ненадолго и на то место, где стояла рядом с ним на коленях Клара. Она не выходила у него из головы. Как она была добра к нему!

Вот и осень пришла; сырость, мгла, слякоть. Вода застаивалась на улицах города, песок не успевал ее всасывать, и жителям приходилось пускаться по улицам вброд, если не вплавь. Бури разбивали о смертоносные рифы корабль за кораблем. Начались снежные и песчаные метели; песок заносил дома, и обывателям приходилось зачастую вылезать из них через дымовые трубы, но им это было не в

диговинку. Зато в доме купца было тепло и уютно; весело трещали в очаге торф и корабельные обломки, а сам купец громко читал из старинной хроники сказание о датском принце Амлете, вернувшемся из Англии и давшем битву при Бовбьерге. Могила его находится близ Рамме, всего милях в двух от того места, где жил старый торговец угрями; в необозримой степи возвышались сотни курганов; степь являлась огромным кладбищем. Купец Брённе сам бывал на могиле Амлета. Наскучив читать, принимались за беседу; толковали о старине, о соседях, англичанах и шотландцах, и Йорген пел старинную песню об английском королевиче, о том, как был разубран корабль:

Борта золоченые ярко сияют,  
Написано слово Господне на них;  
А нос корабля галион украшает:  
Принц девицу держит в объятьях своих.

Эту песню Йорген пел с особенным чувством; глаза его так и блестели; они уж с самого рождения были у него такие черные, блестящие.

Итак, пели, читали; в доме царила тишь да гладь да Божья благодать; все чувствовали себя как в родной семье, даже домашние животные. А уж что за порядок был в доме, что за чистота! На полках блестела ярко вычищенная оловянная посуда, к потолку были подвешены колбасы и окорока – немалые зимние запасы. В наши времена все это можно увидеть на западном берегу Ютландии в богатых крестьянских домах: такое же обилие съестных припасов, такое же убранство в горницах, веселье и здравый смысл; вообще дела у них поправились. И гостеприимство здесь царит такое же, как в шатрах арабов.

Никогда еще не жилось Йоргену так хорошо, так весело, если не считать тех веселых четырех дней детства, проведенных в гостях на поминках. А между тем здесь еще не было Клары. То есть не было ее дома, а в мыслях и разговорах она присутствовала постоянно.

В апреле купец решил послать в Норвегию свое судно; на нем отправлялся и Йорген. Вот-то повеселел он! Ну, да и дородства у него за это время прибавилось, как говорила сама матушка Брённе, приятно было взглянуть на него.

– И на тебя тоже! – сказал ей муж. – Йорген оживил наши зимние вечера, да и тебя, старушка! Ты даже помолодела за этот год. Ишь какая стала – любо посмотреть. Ну, да ведь ты и была когда-то первою красавицей в Виборге, а это много значит: нигде я не видал таких красивых девушек, как там.

Йорген не проронил ни слова, да это было и ни к чему, а только подумал об одной девушке из Скагена. К ней-то он и отправлялся теперь. Судно, подгоняемое свежим ветром, прибыло в Кристиансанн, пробыв в пути всего полдня.

Рано утром купец Брённе отправился на маяк, что возвышается далеко в море, близ самой крайней точки мыса Скагена. Когда он поднялся на вышку, огонь был уже давно потушен, солнце стояло высоко. На целую милю от берега тянулись в море песчаные мели. На горизонте показалось в этот день много кораблей, и купец надеялся с помощью подзорной трубы отыскать между ними и свою «Карен Брённе». В самом деле она приближалась; на ней были и Клара с Йоргеном. Вот они уже увидели вдали Скагенский маяк и церковную колокольню, казавшиеся издали цаплей и лебедем на голубой воде. Клара сидела у борта и смотрела, как на горизонте вырисовывались одна за другою родные дюны. Продолжай дуть попутный ветер, они бы меньше чем через час были дома. Так близка была радость встречи – так близок был и страшный час смерти.

В одном из боков судна сделалась пробоина, и вода хлынула в трюм. Бросились выкачивать воду, затыкать отверстие, подняли все паруса, выкинули флаг, означавший, что судно терпит бедствие. До берега оставалось плыть всего какую-нибудь милю, вдали уже показались рыбацьи лодки, спешившие на помощь, ветер гнал судно к берегу, течение помогало, но судно погружалось в воду с ужасающей быстротою. Йорген обвил правою рукою стан Клары.

Как она посмотрела ему в глаза перед тем, как он, призывая имя Божье, бросился с нею в волны! Она вскрикнула, но ей нечего было бояться – он не выпустит ее. Помните слова старинной песни:

Принц девицу держит в объятьях своих!





Йорген тоже решился на это в час страшной опасности. Умение плавать пригодилось ему теперь; он то работал обеими ногами и свободною рукой – другою он крепко прижимал к себе девушку, – то отдавался течению, лишь слегка шевеля ногами, – словом, пользовался всеми приемами, какие знал, чтобы сберечь силы и достигнуть берега. Вдруг он почувствовал, что Клара глубоко вздохнула и судорожно затрепетала... Он прижал ее к себе еще крепче. Волны перекатывались через их головы; течение подымало их; вода была так чиста и прозрачна. Одну минуту ему казалось, что он видит в глубине стаю блестящих макрелей, или, может быть, это было само морское чудовище, готовившееся поглотить их?.. Облака, проплывая по небу, бросали на воду легкую тень, потом на ней опять играли лучи солнца. Стаи птиц с криком носились над головой Йоргена; сонливо покачивавшиеся на волнах дикие утки при его приближении испуганно взлетали кверху. А силы пловца все падали... Он чувствовал это. До берега оставалось плыть еще немало, но помощь была близка, лодка подходила. Вдруг он ясно увидел под водою белую, смотревшую на него в упор фигуру... Волна подхватила его, фигура приблизилась... Он почувствовал удар... все померкло в глазах!..

На рифе под водою засел обломок корабля с галионом, изображавшим женщину, опиравшуюся на якорь. Об его-то острие, торчавшее кверху, и ударился Йорген, подгоняемый течением. Без чувств погрузился он в воду вместе со своею ношей, но следующая волна опять вскинула их кверху.

Рыбаки втащили обоих в лодку; лицо Йоргена было все в крови; он лежал как мертвый, но девушку держал так крепко, что ее едва высвободили у него из рук. Безжизненную, бледную, положили ее на дно лодки и поплыли к Скагену.

Были пущены в ход все средства, но вернуть Клару к жизни не удалось. Давно уже плыл Йорген с трупом в объятиях, боролся и изнемогал, спасая мертвую.

А сам Йорген еще дышал, и его отнесли в ближайший дом за дюнами. Какой-то фельдшер, бывший в то же время и кузнецом и мелочным торговцем, перевязал его рану в ожидании лекаря, за которым послали в Йёринг.

У больного был затронут мозг; он лежал в бреду, испуская дикие крики, но на третий день впал в забытие. Его жизнь, казалось, висела на волоске, и, по словам лекаря, лучше было бы, если бы волосок этот порвался:

– Дай бог, чтобы он умер! Ему не бывать больше человеком!

Но он не умер, волосок не порвался; зато порвалась нить воспоминаний, были подрезаны в корне все умственные способности – вот что ужасно! Осталось одно тело, которое готовилось выздороветь и жить по-своему.

Купец Брённе взял Йоргена к себе.

– Он пострадал, спасая наше дитя! – сказал старик. – Теперь он наш сын.

Йоргена стали звать полоумным. Но это было не совсем верно; он походил на инструмент с ослабевшими, переставшими звучать струнами. Лишь на какое-нибудь мгновение, в редкие минуты, они обретали прежнюю упругость и звучали, да и то раздавалось всего несколько отдельных аккордов старых мелодий. Картины прошлого всплывали и опять исчезали, и Йорген снова сидел, бессмысленно вперив в пространство неподвижный взор. Надо думать, что он, по крайней мере, не страдал. Черные глаза утратили свой блеск, смотрели безжизненно, тускло.

«Бедный слабоумный Йорген!» – говорили про него.

Так вот до чего дожило дитя, которое мать носила под сердцем для жизни, столь богатой счастьем, что было бы «непростительной гордостью желать, не говоря уже – ожидать, за пределами ее другой»! Итак, все богатые способности души пошли прахом? Нужда, горе и бедствие были его уделом. Он, как роскошная цветочная луковица, был выдернут из богатой почвы и брошен на песок – гнить! Разве не достойно было лучшей участи творение, созданное по образу и подобию Божьему? Разве все на свете лишь игра пустых случайностей? Нет! Милосердный Господь, несомненно, готовил ему в другой жизни награду за все, что он выстрадал в этой. «Милосердие Божье превыше всех дел его!» Эти слова псалмопевца Давида с верою повторяла благочестивая жена купца, и сердечною молитвой ее была молитва о скорейшем переселении Йоргена в царство Божьей милости, где царит вечная жизнь.

Клару похоронили на кладбище, которое все больше и больше заносило песком. Но Йорген, казалось, и не сознавал этого; это не входило в узкую сферу его мыслей: они ловили только обрывки прошлого. Каждое воскресенье сопровождал он семейство купца в церковь и сидел смирно, уставившись перед собою бессмысленным взором. Но однажды, слушая пение псалмов, он вздохнул, глаза его заблестели и остановились на том месте близ алтаря, где он год тому назад стоял на коленях рядом со своею умершею возлюбленной. Он назвал ее имя, побледнел как полотно и заплакал.

Ему помогли выйти из церкви, и он сказал, что ему совсем хорошо. Он уже не помнил, что с ним случилось, не помнил ничего. Да, Господь тяжко испытывал его! Но может ли кто сомневаться в мудрости и милосердии Творца нашего? Наше сердце, наш разум говорят нам о Его мудрости и милосердии, а Библия подтверждает: «Милосердие Его превыше всех дел Его!»

А в Испании, где теплый ветерок ласкает апельсиновые и лавровые деревья, веет на мавританские золоченые купола, где льются звуки песен, щелкают кастаньеты, где по улицам движутся процессии детей со свечами и развевающимися знаменами, сидел в роскошном доме бездетный старик, богатейший купец. Чего не отдал бы он из своего богатства, чтобы только вернуть своих детей, дочь или ее ребенка, которому, может быть, и не суждено было увидеть света, а следовательно, и жизни вечной? «Бедное дитя!»

Да, бедное дитя! Именно дитя, хотя ему и шел уже тридцатый год; вот до какого возраста дожил Йорген в Скагене.

Песчаные заносы уже покрывали кладбище до самой стены церкви, но умирающие все же хотели быть погребенными рядом с ранее отошедшими в вечность родными и милыми их сердцу. Купец Брённе и его жена тоже легли под белый песок возле своей дочери.

Пришла весна, время бурь; дюны курились, море высоко вздымало волны, птицы тучами летали над дюнами, испуская крики. О рифы разбивался корабль за кораблем.

Однажды вечером Йорген сидел в комнате один, и в его груди вдруг вспыхнуло какое-то беспокойное влечение, стремление вдаль, которое так часто увлекало его еще в детстве из дома на дюны и в степь.

– Домой, домой! – твердил он.

Никто не слышал его; он вышел из дома и направился на дюны; песок и мелкие камешки летели ему в лицо, крутились вокруг него столбами. Вот он дошел до церкви. Песок занес всю стену и даже окна до половины, но проход к дверям был прочищен. Двери не были заперты и легко отворились; Йорген вошел.

Ветер выл над городом. Разразился страшный ураган, какого не запомнили жители, но Йорген был уже в доме Божьем. Вокруг стояла темная ночь, а на душе у него было светло, в ней разгорался духовный огонь, который никогда не потухает совсем. Он почувствовал, что тяжелая глыба, давившая его голову, вдруг с треском свалилась. Ему чудились звуки органа, но это была буря и стонало море. Йорген сел на свое место; церковь осветилась огнями; одна свеча вспыхивала за другою; такой блеск он видел только раз в жизни, в испанском соборе. Старые портреты бургомистров и судей ожили, сошли со стен, где висели годы, и заняли места на хорах. Церковные врата и двери растворились, и вошли все умершие прихожане в праздничных платьях, какие носили в их время. Они шествовали под звуки чудной музыки и усаживались на свои места. Хор запел псалмы; мощными волнами полились звуки. Старики, приемные родители Йоргена, купец Брённе с женою, тоже были тут, а рядом с Йоргеном сидела и милая, любящая дочь их Клара. Она протянула Йоргену руку, и они пошли вместе к алтарю, преклонили колени, и священник соединил их руки, благословил их жить в мире и любви! Раздались звуки труб; полные звуки блаженно рыдали, словно сотни детских голосов, разрастались в мощные, возвышающие душу, бурные аккорды органа и снова переходили в нежные, чарующие, но вместе с тем способные потрясти могильные склепы!

Кораблик, что висел под потолком, спустился вниз, стал вдруг таким большим, великолепно разубранным, с шелковыми парусами, золочеными реями, золотыми якорями и шелковыми канатами, как тот корабль, о котором поется в старинной песне. Новобрачные взошли на корабль, все остальные прихожане – за ними; всем нашлось место, всем было хорошо. Стены и своды церковные зацвели, как бузина и душистые липы, и ласково протянули к кораблю свои ветви и листья, сплелись над ним зеленою беседкою. Корабль поднялся и поплыл по воздуху. Все свечи в церкви превратились в звездочки, ветер пел псалмы, пели и самые небеса: «Любовь! Блаженство! Ни одна жизнь

не погибнет, но спасется! Блаженство! Аллилуйя!...» Слова эти и были последними словами Йоргена: порвалась нить, удерживавшая бессмертную душу... В темной церкви лежало только безжизненное тело, а вокруг него по-прежнему бушевала буря, вихрем крутился песок.

Следующий день был воскресный; утром прихожане и священник отправились в храм. Трудно было туда пробираться: дорога сделалась почти непроходимой. Наконец добрались, но церковные двери оказались заваленными песком; перед ними возвышался целый холм. Священник прочел краткую молитву и сказал, что Господь закрыл для них дверь этого своего дома и им надо воздвигнуть Ему в другом месте новый. Пропели псалом и разошлись по домам.

Йоргена не нашли ни в городе, ни на дюнах и решили, что его смыло волнами.

А его тело было погребено в грандиозном саркофаге – в самом храме. Господь повелел буре забросать его гроб землею, и он остается под тяжелым песчаным покровом и поныне.

Пески покрыли величественные своды храма, и над ним растут теперь терн и дикие розы. Из песков выглядывает лишь одна колокольня – величественный памятник над могилой Йоргена, видный издали за несколько миль. Ни один король не удостоивался более великолепного памятника! Никто не нарушит покоя умершего; никто и не знает или, по крайней мере, не знал до сих пор, где он погребен. Мне же рассказал обо всем ветер, разгуливающий над дюнами.

## Два брата



На одном из датских островов, где среди хлебных полей лежат полукругами камни, обозначающие места древних тингов, а в лесах зеленеют мощные буки, есть городок; застроен он низенькими домишками, крытыми красной черепицей. В одном из домиков на очаге пылали уголья и стряпалось что-то диковинное: в стеклянных сосудах что-то варилось, что-то такое мешали, перегоняли, в ступке толклись корни... Заправлял всем делом пожилой человек.

— Надо добиваться настоящего! — говорил он. — Настоящего, истинного, самой истины во всем и всюду! Добиваться и крепко держаться ее.

В горнице сидели возле доброй хозяйки двое сыновей; они были еще малы, но развиты умственно не по летам. Мать тоже постоянно твердила им о настоящем, истинном добре, учила держаться истины — в ней ведь отражается на земле лик самого Господа.

Взор старшего мальчугана блеснул смышленостью и смелостью; больше всего любил он читать о силах природы, солнце, о звездах. Никакая сказка не занимала до такой степени его воображения. Ах, какое счастье пуститься в далекие странствования по белу свету,

совершать открытия, или изобрести крылья, подобные птичьим, на которых бы можно было летать! Вот это значит «дойти до настоящего»! Отец и мать правы: истинною держится мир.

Младший брат был тише, замкнутее, весь зарывался в книги. Читая об Иакове, надевшем козью шкуру, чтобы выманить у отца благословение на первородство, он сжимал кулачки в гневе на обманщика. Читая о тиранах, о несправедливостях и злых деяниях, что творятся на свете, он готов был заплакать. Его всецело поглощала мысль, что торжествовать в мире должно одно «настоящее», сама истина.

Раз вечером мальчик улегся в постель, но половинки полога были задернуты неплотно, к нему проникал луч света, и он мог еще читать. Он и улегся в постель с книгой: ему непременно надо было дочитать историю о Солоне. И мысли унесли мальчугана далеко-далеко; кровать стала кораблем, который поплыл на всех парусах. Во сне это все было или..? Корабль скользил по волнам, по могучим волнам времени, и мальчик явственно слышал голос Солона; понятно, хотя и на чужом языке, прозвучал девиз Дании: «Законом строится государство!»

Гений человечества витал в эту минуту в бедной комнатке над постелью ребенка и целовал его в лоб: «Будь тверд и честен, крепок в борьбе с жизнью! Будь хранителем истины на земле и стремись в царство вечной истины!»

Старший брат еще не ложился, а стоял у окна и смотрел на туман, подымавшийся с лугов. Это не эльфы водили хороводы, хоть так и говорила ему старая честная служанка. Нет, мальчик знал, что это пары: они теплее и легче воздуха, оттого и поднимаются вверх. Вдруг с неба скатилась светлая звездочка, и мысли мальчика мгновенно перенеслись от земных испарений к блестящему метеору. Звезды небесные сияли; от них как будто тянулась к земле длинная золотая нить. «Летим со мною!» – зазвучало в сердце мальчика, и могучий гений человечества унес его в бесконечное пространство, где вращаются связанные между собою световыми лучами планеты. Они унеслись туда быстрее птицы, быстрее стрелы, быстрее всякого земного существа. Наша земля двигалась, окруженная слоем тонкой атмосферы; города как будто жались один к другому. И вот прозвучало: «Что значит “близко”, что значит “далеко”, если тебя поднимает на своих крылах могучий гений духа!»

И ребенок опять очутился у окна, где стоял и смотрел на туман; младший брат лежал в постели; мать окликнула обоих: «Андерс, Ганс Христиан!»

Дания знает эти имена; знает и весь свет двух братьев Эрстедов.

1859





1860-е

### «День переезда»

Ты ведь помнишь колокольного сторожа Оле? Я рассказывал тебе о двух своих посещениях Оле, теперь расскажу и о третьем, но еще не последнем.

Обыкновенно я навещал его около Нового года, но на этот раз взобрался на колокольню в самый «День переезда». Внизу, на улицах, в этот день пренеприятно: всюду сор, осколки, черепки, обломки, не говоря уже о ворохах соломы, выкинутой из негодных матрацев!.. Шагаешь, шагаешь по ним!.. Да! Пришлось-таки мне пошагать! И вот вижу: в опрокинутой мусорной бочке играют двое ребятишек. Они затеяли игру «в спанье» – бочка так и манила улечься в нее. Они и влезли туда, зарылись в гнилую солому и накрылись вместо одеяла куском старых, ободранных обоев – то-то любо! Но с меня было уже довольно, и я поспешил наверх, к Оле.

– Сегодня «День переезда»! – сказал он. – Улицы и переулки превращаются в гигантские мусорные бочки, а мне довольно бывает и одного ящика: я и из него могу выловить кое-что и выловил-таки однажды, вскоре после сочельника. Я спустился на улицу; было сыро, грязно, серо и холодно. Мусорщик остановился со своим возом у одного дома. Ящик его был полнехонек и мог бы послужить примерным образцом того, во что превращаются копенгагенские улицы в «День переезда». Сзади на возу торчала елка, совсем еще зеленая, на ветвях уцелела мишура; она покрасовалась в сочельник, а затем ее выбросили на улицу, и вот мусорщик водрузил ее на свой воз. Смеяться было или плакать, глядя на эту картину? Это зависит, конечно, от того, что думать при этом. Я смотрел на нее и думал; думали, вероятно, и кое-какие из сваленных в кучу предметов или, по крайней мере, могли думать, а это ведь почти одно и то же. Лежала там, между прочим, разорванная дамская перчатка. О чем она думала? Сказать ли вам? Она лежала, указывая мизинчиком прямо на елку, и думала: «Мне жаль это деревцо! И я тоже была создана блистать при свете огней! И моя жизнь продолжалась одну бальную ночь! Пожатие

руки – и я лопнула! Тут обрывается нить моих воспоминаний; больше мне не для чего было жить!» Вот что думала или могла думать перчатка!

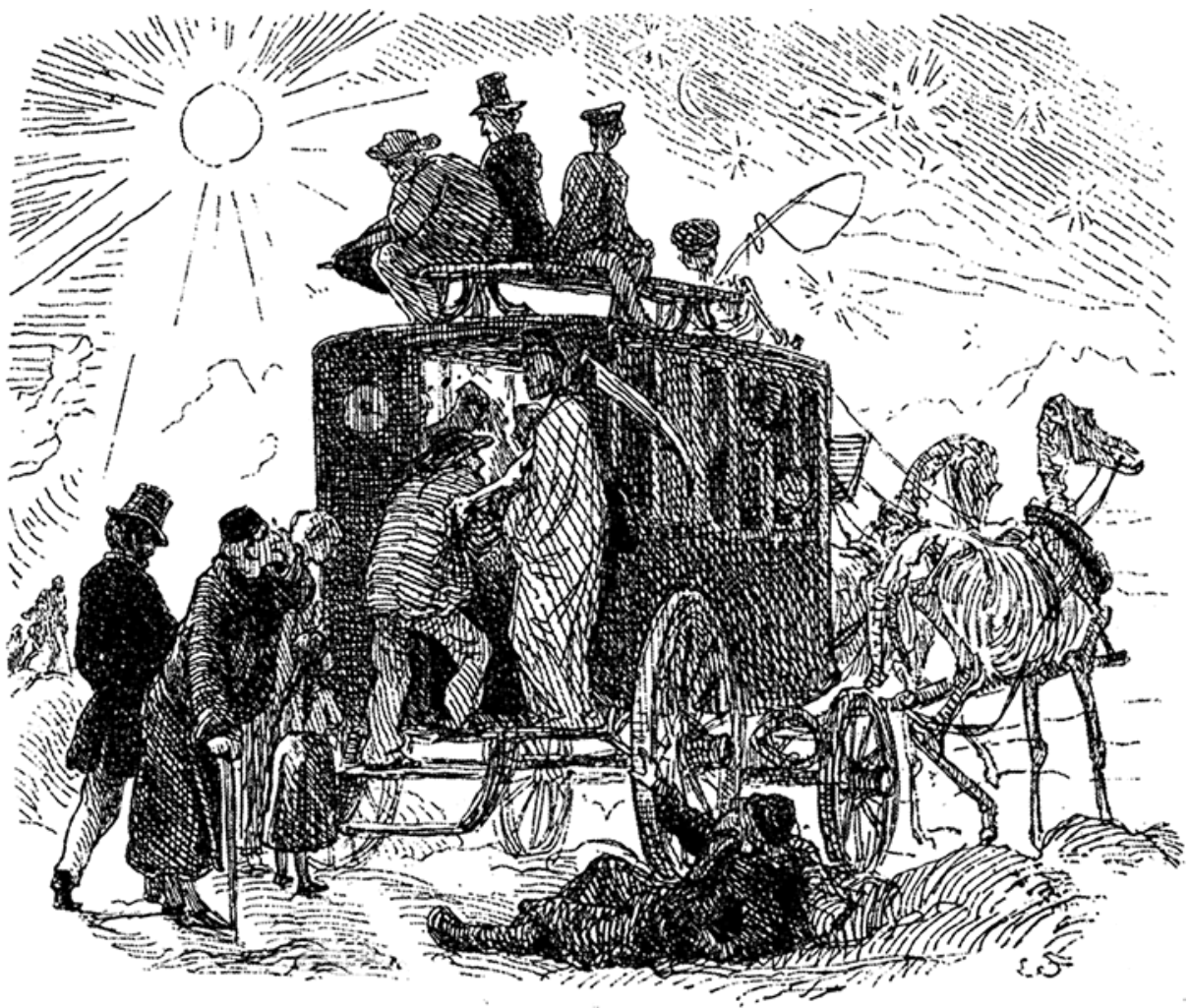
«Глупая эта елка! – думал черепок от горшка. Черепки всегда и все находят глупым. – Уж раз попала в мусорную кучу, нечего нос задирать и чваниться своею мишурой! Я-то вот знаю, что приносил пользу на свете, не то что эта зеленая розга!»

Что ж, и такое мнение имеет много сторонников, но елка все-таки смотрелась очень красиво, вносила хоть немножко поэзии в эту мусорную кучу, а сколько таких куч на улицах в «День переезда»!.. Мне стало тяжело бродить по улицам и потянуло наверх, на колокольню. Тут я сижу себе да благодушно посматриваю вниз.

Вот теперь добрые люди играют там в перемену квартир! Они возятся, перетаскивают свое добро, а домовый сидит на возу и переезжает вместе с ними: домашние дразги, семейные неурядицы, печали и заботы – все перебирается из старого жилища в новое. Так какой же смысл во всей этой кутерьме? В «Справочной газете» давным-давно как-то было напечатано старое доброе изречение: «Помни о великом переезде в страну вечности!»

Вот серьезная мысль, и, надеюсь, вам не будет неприятно послушать кое-что на эту тему? Смерть, несмотря на кучу дел, была и останется самым исправным чиновником. Вы когда-нибудь думали об этом?

Смерть – кондуктор, паспортист, выдающий нам аттестаты, и директор великой сберегательной кассы человечества. Понимаете вы меня? Все наши земные деяния, и большие и малые, составляют наш вклад в эту кассу, а вот когда Смерть подъедет к нам со своим дилижансом, в котором мы должны отправиться в страну вечности, она выдаст нам на границе вместо паспорта наш аттестат! Вместо же суточных кормовых денег мы получим из сберегательной кассы то или другое наиболее характерное деяние наше. Для иного это очень приятно, для иного же ужасно!



Никто еще не избегнул этого переезда в дилижансе Смерти. Правда, рассказывают, что был один такой – иерусалимский башмачник, которому не позволили сесть в него. Ему пришлось бежать позади дилижанса. Но, случись ему попасть туда, он бы ускользнул от поэтов! Загляните же когда-нибудь мысленно в дилижанс Смерти. В нем самое смешанное общество! Тут сидят рядом и король и нищий, гений и идиот. Всем приходится пуститься в дальний путь налегке, без всякого багажа, без денег, с одним аттестатом да с тем, что выдаст им из сберегательной кассы Смерть. Какое же из всех деяний человека вынимает она из сберегательной кассы и дает ему в дорогу? Может быть, самое маленькое, незаметное, как горошинка? Но ведь из горошинки вырастает длинный цветущий стебель!

Жалкий бедняк, сидевший всю жизнь в углу на кособокой скамейке и знавший только толчки да пинки, получит, может быть, в дорогу эту

самую скамейку. Но она сейчас же превратится в паланкин, в золотой трон или в цветущую беседку, в которой беднягу и отнесут в страну бессмертия.

Тот же, кто постоянно пил из роскошной чаши наслаждения, чтобы забывать содеянное им зло, получит в дорогу простую плошку с чистым, прозрачным питьем, проясняющим мысли. Человек пьет его и видит то, чего прежде не хотел или не мог видеть. Наказание его в том пложущем черве совести, который никогда не умирает. Если на чаше земных наслаждений была надпись «забвение», то на этой плошке будет написано «воспоминание».

Когда я читаю хорошую книгу, историческое сочинение, я всегда задумываюсь над тем, какое деяние вынула Смерть из сберегательной кассы и дала в дорогу такому-то или такому-то лицу, о котором я читаю. Вот, например, жил один французский король; имя его я позабыл – имена добрых всегда забываются, но дела их нет-нет да и всплывут в памяти. Этот король явился в голодный год благодетелем своего народа, и народ воздвиг ему памятник из снега с надписью: «Помощь твоя являлась быстрее, чем тает этот памятник!» Я думаю, что Смерть дала этому королю одну снежинку из его памятника, которая никогда не может растаять, и она проводила короля, порхая над его головой белою бабочкою, в страну вечности. А вот еще жил другой король, Людовик XI; его имя я помню – люди не забывают зла. Мне особенно памятно одно его деяние, и всякий раз, как я вспоминаю о нем, мне так и хочется назвать историю ложью. Он велел казнить своего коннетабля; ну, это он мог, справедливо или несправедливо – его дело; но у коннетабля были невинные дети, один восьми, другой семи лет; так король велел и их привести на эшафот и обрызгать теплою кровью отца! Затем он приказал посадить детей в Бастилию, в железную клетку; бедняжкам не дали даже одеяла, чтобы покрываться ночью. А король присылал к ним каждую неделю палача, которому было приказано вырывать у детей по зубу, чтобы им жилось «не слишком вольготно». И старший мальчик сказал однажды палачу: «Матушка умерла бы с горя, если бы знала, что мой маленький брат так страдает! Выдерни же лучше два зуба у меня и оставь его в покое!» У палача выступили на глазах слезы, но воля короля была сильнее слез, и королю еженедельно продолжали подавать на серебряном блюде по два детских зуба. Он требовал их и получал. Так

вот, я думаю, что эти-то два зуба Смерть и вынула из сберегательной кассы человечества и вручила их королю Людовику XI в дорогу, когда он отправился в страну вечности. И зубы невинных детей летели над ним двумя огненными пчелами, жгли, жалили его всю дорогу!

Да, серьезный путь предстоит нам в день великого переезда в дилижансе Смерти! Когда-то он приедет за нами?

Вспомнишь, что мы можем ожидать его каждый день, каждый час, каждую минуту, и невольно призадумаетесь. Которое-то из наших деяний вынет тогда Смерть из сберегательной кассы и даст нам в дорогу? Да, поразмыслим-ка об этом! День этого последнего переезда не обозначен ведь в календаре!

*1860*

## Мотылек



Мотылек вздумал жениться. Конечно, ему хотелось взять за себя хорошенький цветочек.

Он посмотрел кругом: цветочки сидели на своих стебельках тихо, скромно, как и подобает еще непросватанным барышням; но выбрать было ужасно трудно – так много их тут росло.

Мотыльку скоро надоело раздумывать, и он порхнул к полевой ромашке. Французы зовут ее маргариткой и уверяют, что она умеет ворожить. По крайней мере, влюбленные всегда прибегают к ней, обрывают лепесток за лепестком и приговаривают: «Любит всем сердцем? Всею душою? Очень? Чуть-чуть? Ни капли?» – или нечто в этом роде; всякий ведь спрашивает по-своему. И мотылек тоже

обратился к ромашке, но не стал обрывать лепестков, а перецеловал их, думая, что всегда лучше действовать лаской.

– Матушка маргаритка, полевая ромашка, мудрейшая из цветов! – сказал он. – Вы умеете ворожить! Укажите же мне мою суженую! Тогда, по крайней мере, я сразу могу посвататься.

Но ромашка молчала – она обиделась. Она была девицей, а ее вдруг называли матушкой – как бы вам это понравилось?

Мотылек спросил еще раз, потом еще, ответа все не было. Он соскучился и полетел прямо свататься.

Это было раннею весной; всюду цвели подснежники и крокусы.

– Недурны! – сказал мотылек. – Миленькие подросточки! Только... зеленоваты больно!

Мотылек, как и все юноши, искал девиц постарше. Потом он оглядел других и нашел, что анемоны горьковаты, фиалки немножко сентиментальны, тюльпаны – щеголихи, нарциссы простоваты, липовые цветы и малы, да и родни у них пропасть, яблоневого цвета, конечно, чуть-чуть не розы, но уж чересчур недолговечны: ветром пахнуло, и нет их, стоит ли тут жениться? Горошек понравился ему больше всех: бело-розовый, просто кровь с молоком, нежный, изящный, да и на кухне не ударит лицом в грязь, – словом, девица хоть куда! Мотылек совсем было уж собрался посвататься, да вдруг увидел рядом стручок с увядшим цветком.

– Это... кто же? – спросил он.

– Сестрица моя! – отвечал горошек.

– Так потом и вы такая же будете?

Мотылек испугался и поскорее улетел прочь.

Через изгородь перевешивалась целая толпа каприфолий; но эти барышни с вытянутыми желтыми физиономиями были ему совсем не по вкусу. Да, но что же было ему по вкусу? Подите узнайте!

Весна прошла, прошло и лето, настала осень, а мотылек не подвинулся со своим сватовством ни на шаг. Появились новые цветы в роскошных нарядах, но что толку? С годами сердце все больше и больше начинает тосковать о весенней свежести, об оживляющем аромате юности, а не искать же их у осенних георгинов и штокров! И мотылек полетел к кудрявой мяте.

– На ней нет никаких особых цветов, но она вся один сплошной благоухающий цвет, ее я и возьму в жены!

И он посватался.

Но мята не шелохнула листочком и наконец сказала:

– Дружба – и больше ничего! Мы оба старые; друзьями мы еще можем быть, но пожениться?.. Нет, что за дурачество на старости лет!

Так мотылек и остался ни с чем. Он уж чересчур много выбирал, а это не годится – вот и остался старым холостяком.

Скоро налетела непогода с дождем и изморозью; поднялся холодный ветер; дрожь пробирала старые, скрипучие ивы. Несладко было разгуливать по такому холоду в летнем платье. Но мотылек и не разгуливал – ему как-то удалось залететь в комнату; там топилась печка и было тепло, как летом. Жить бы да поживать здесь мотыльку. Но что это за жизнь?

– Мне нужны солнце, свобода и хоть маленький цветочек! – сказал мотылек, полетел и прямо ударился об оконное стекло.

Тут его увидали, пришли от него в восторг и посадили на булавку в ящичек с прочими редкостями. Большого для него уж не могли сделать.

– Теперь и я сижу на стебельке, как цветок! – сказал мотылек. – Не особенно-то это сладко! Ну да зато это нечто вроде женитьбы: тоже сидишь крепко.

И он утешался этим.

– Плохое утешение! – сказали комнатные цветы.

«Ну, комнатным цветам не очень-то верь! – думал мотылек. – Они уж чересчур близко знают с людьми».

*1860*

**Епископ Бёрглумский и его родич**





Вот мы и на севере Ютландии, севернее Дикого болота. Тут уже слышится вой моря. Море ведь отсюда близехонько, но его загораживает от нас песчаный холм. Холм этот давно у нас перед глазами, но мы все еще не доехали до него, медленно подвигаясь вперед по глубокому песку. На холме возвышается большое, старинное здание; это бывший Бёрглумский монастырь; в самом большом флигеле его до сих пор – церковь. Мы доберемся до вершины холма лишь поздно вечером, но погода стоит ясная, ночи светлые, так что можно видеть на много-много миль кругом; с холма открывается вид на поля и болота вплоть до Ольборгского фьорда, на степи и луга, вплоть до темно-синего моря.

Ну вот мы и на холме, с грохотом катимся между гумном и овином и заворачиваем в ворота старого замка; вдоль стен его – ряды лип; тут

они защищены от ветра и непогоды и разрослись так, что почти закрыли все окна.

Мы поднимаемся по каменной витой лестнице, проходим по длинным коридорам под бревенчатыми потолками. Как странно гудит здесь ветер: снаружи или внутри – не разберешь. Жутко... А тут еще эти рассказы... Ну, да мало ли что рассказывают, мало ли что видят, когда боятся сами или хотят напугать других! Рассказывают, что давно умершие монахи скользят по коридорам в церковь, где идет обедня; звуки молитв прорываются сквозь вой ветра. Наслушаешься таких рассказов, и душою овладевает странное настроение: начинаешь думать о старине и так задумаешься, что невольно перенесешься в те времена.

О берег разбился корабль; слуги епископа уже на берегу; они не щадят тех, кого пощадило море; море смывает с берега красную кровь, струящуюся из проломленных черепов. Выброшенный морем груз становится добычею епископа, а его тут немало. Море выкатывает на берег бочки и бочонки с дорогим вином; все идет в погреба епископа, и без того битком набитые бочками с медом и пивом. Кухня его полным-полна биткою дичью, колбасами и окороками; в прудах плавают жирные лещи и караси. Богат и могуществен епископ Бёрглумский! Много у него земли и поместий, но ему все не довольно! Все должно преклоняться перед Олуфом Глобом!

В Тю умер его богатый родич. «Родич родичу хуже врага» – справедливость этой пословицы пришлось испытать на себе вдове умершего. Муж ее владел всеми землями в крае, кроме монастырских. Единственный сын находился в чужих краях, – он был отослан туда еще мальчиком познакомиться с чужими нравами и обычаями, к чему так лежала его душа, но вот уже несколько лет о нем не было ни слуха ни духа. Может быть, он давно лежит в могиле и никогда не вернется больше на родину, хозяйничать там, где хозяйничает его мать.

«Что смыслит в хозяйстве баба?» – сказал епископ и послал ей вызов на народный суд – тинг. Но что из того толку? Вдова никогда не преступала законов, и сила права на ее стороне.

Епископ Олуф Бёрглумский, что замышляешь ты? Что пишешь на гладком пергаменте? Что запечатываешь восковой печатью и

перевязываешь шнурком? Что за грамоту отсылаешь с рыцарем и оруженосцем далеко-далеко, в папскую столицу?

Начался листопад, завывали бури, пошли кораблекрушения, а вот и зима на дворе.

Два раза приходила она; в конце второй вернулись жданные посланцы. Они вернулись из Рима с буллой от Папы, предававшей проклятию вдову, оскорбительницу благочестивого епископа. «Пусть ляжет проклятие на нее и на все ей принадлежащее! Она отлучается от церкви и от людей! Да не протянет ей никто руки помощи, родные и друзья да бегут от нее, как от чумы и проказы!»

– Не гнется дерево, так его ломают! – сказал епископ Бёрглумский.

Все отвернулись от вдовы; но она не отвернулась от Бога; Он стал ее единственным покровителем и защитником.

Только одна служанка, старая дева, осталась ей верна, и госпожа сама ходила вместе с нею за плугом. И хлеб уродился, даром что земля была проклята Папою и епископом.

«Ах ты, исчадие ада! Пстой! Будет же по-моему! – говорит епископ. – Рукою Папы я достану тебя и привлеку к суду!»

Тогда вдова впрягает в телегу двух последних волов, садится на нее вместе со служанкою и едет по степи прочь из датской земли, в чужую страну, где все и всё ей чуждо: и люди, и язык, и нравы, и обычаи. Далеко-далеко заехала она, туда, где тянутся высокие, зеленые горные склоны, растет виноград. Купцы, едущие с товарами, боязливо озираются со своих нагруженных возов, опасаясь нападения разбойничьих рыцарских шаек. Две же бедные женщины на жалкой телеге, запряженной двумя черными волами, едут по опасной дороге и по густым лесам совершенно спокойно. Они теперь во Франции. Тут встречается им богато одетый рыцарь в сопровождении двенадцати оруженосцев. Он останавливается и смотрит на странную повозку, затем спрашивает женщин, откуда, куда и зачем они едут. Младшая из них называет датский город Тю, рассказывает про свою горе и обиду. Но тут и конец ее невзгодам! Так было угодно Богу! Чужестранный рыцарь – сын ее! Он протягивает ей руки, обнимает ее, и мать плачет от радости, а она не плакала вот уже много лет – только кусала себе губы до крови.

Начался листопад, завывали бури, пошли кораблекрушения; море катит в погреба епископа бочки с вином. На вертелах в кухне жарится

дичь. Уютно, тепло в замке, а на дворе мороз так и кусает. И вот разносится весть: Йенс Глоб из Тю вернулся домой вместе с матерью; Йенс Глоб вызывает епископа на суд Божий и людской!

«Много он возьмет этим! – говорит епископ. – Оставь-ка лучше попечение, рыцарь Йенс Глоб!»

Опять начался листопад, снова завывали бури, пошли кораблекрушения; вот и зима на дворе. В воздухе порхают белые пчелы и жалят в лицо, пока не растают.

«Холодно сегодня!» – говорят люди, побывав на дворе. Йенс Глоб стоит у огня, думает думу и прожигает на платье большую дыру.

«Ну, епископ Бёрглумский! Я таки осилю тебя! Закон не может достать тебя под плащом Папы, но Йенс Глоб достанет!»

И он пишет своему зятю Олуфу Хасе Саллингскому письмо, назначает ему в сочельник свидание в видбергской церкви, у заутрени. Епископ сам будет служить ее, для чего и отправляется из Бёрглума в Тю. Йенс Глоб знает это.

Луга и болота покрыты льдом и снегом; лед и снег окрепли настолько, что могут сдержать лошадей со всадниками, целый поезд; то едет епископ с канониками и слугами. Они едут кратчайшею дорогой между хрупким тростником; печально шелестит в нем ветер.

Труби в свой медный рог, трубач в лисьей шубе! Звуки гулко разнесутся в морозном, ясном воздухе. Поезд подвигается вперед по степям и болотам, где летом расстилаются луга Фаты-Морганы; направляется он к югу, к видбергской церкви.

А ветер трубит в свой рог сильнее трубача; вот завывала буря, разыгралась непогода. Путь епископа лежит к Божьему дому. Дом Божий стоит крепко, как ни свирепствует вокруг него над полями, над болотами, над фьордом и морем страшная буря. Епископ Бёрглумский доехал до церкви вовремя, а вот Олуфу Хасе вряд ли это удастся, хоть он и гонит лошадь изо всех сил. Он спешит на помощь Йенсу Глобу, вызвавшему епископа на суд Всевышнего. И вот Олуф Хасе подъезжает к фьорду... Скоро дом Божий станет судилищем, престол – судейским столом; в тяжелых медных подсвечниках затеплятся свечи, буря прочтет жалобу и приговор. Отголоски их разнесутся по воздуху, над болотами, степью и бурным морем. Но через фьорд в такую погоду нет переправы!

Олуф Хасе останавливается у Оттесунна, отпускает своих людей, дарит им лошадей и вооружение, дает отпускные листы и велит свезти поклон своей супруге. Один хочет он довериться бушующим волнам, а слуги пусть засвидетельствуют, что не его вина, если Йенс Глоб останется в видбергской церкви без подкрепления. Но верные слуги не хотят отстать от своего господина и бросаются вслед за ним в глубокие волны. Десятеро из них тонут, но сам Олуф Хасе и еще двое отроков выплывают на противоположный берег. Им остается еще четыре мили пути.

За полночь, канун Рождества. Ветер улегся; церковь освещена. Яркий свет льется сквозь окна на луга и степь. Заутреня давно отошла; в Божьем доме тишина; слышно, как каплет воск со свечей на каменный пол. Является Олуф Хасе.

В притворе встречает его Йенс Глоб:

– Здравствуй! Я помирился с епископом!

– Вот как! – отвечает Олуф. – Так ни ты, ни епископ не выйдете живыми из церкви!

И меч Олуфа Хасе сверкает из ножен, вонзается и расщепляет дверь, которую успел захлопнуть между собой и зятем Йенс Глоб.

– Повремени, дорогой зять! Погляди сперва, каково примирение! Я убил епископа со всеми его людьми! Не придется им больше распространяться об этой истории, да и я не стану больше говорить о той обиде, что понесла моя мать!

Фитили восковых свечей горят красными языками; еще краснее свет разливается по полу. Тут плавает в крови епископ с раздробленным черепом; убиты и все его спутники. Тихо, безмолвно в Видбергской церкви в ночь под Рождество.



На третий день праздника в Бёрплумском монастыре зазвонили в колокола. Убитый епископ и его слуги выставлены напоказ в церкви; тела покоятся под балдахином, кругом стоят обвернутые крепом подсвечники. В парчовой ризе, с посохом в безжизненной руке лежит епископ, некогда могущественный повелитель края. Курится ладан, монахи поют. В пении их звучит жалоба, злоба и осуждение. Ветер подтягивает им и разносит эти звуки по всей стране. Ветер утихает, успокаивается на время, но не навеки. Время от времени он просыпается и опять принимается за свои песни. Он распекает их и в наше время, поет здесь, на севере Ютландии, о епископе Бёрплумском и его родиче. Песни его слышатся темною ночью; испуганно внемлет им крестьянин, проезжающий по тяжелой песчаной дороге мимо Бёрплумского монастыря; внемлет им и бессонный обитатель толстостенных покоев Бёрплума. Вот почему так странно и шелестит по длинным, гулким коридорам, ведущим к церкви. Вход в нее давно заложен, закрыт, но не для суеверных очей. Им мерещатся открытые двери; ярко горят свечи в паникадилах, курится ладан, церковь блещет прежним великолепием, монахи отпевают убитого епископа, что

лежит в парчовой ризе, с посохом в бессильной руке. На бледном, гордом челе зияет кровавая рана; она горит, как огонь; таким огнем выжигаются дурные страсти детей света.

Прочь! Скройтесь в землю, покройте мраком забвения, ужасные воспоминания старины!

Прислушайся к порывам ветра; они заглушают шум катящихся волн морских. Разыгралась буря; многим людям будет она стоить жизни! Нрав моря не изменился с годами. В эту ночь оно является всепоглощающею пастью, утром же, может быть, опять станет ясным оком, в котором можно видеть себя как в зеркале. Так же бывало и в старину, которую мы только что схоронили. Спи же спокойно, если можешь!

Вот и утро.

Новые времена светят в нашу комнату вместе с лучами солнца. Ветер все еще бушует. Приносят весть о кораблекрушении – то же бывало и в старину.

Ночью у Лёкке, маленькой рыбацкой слободки, застроенной домиками с красными черепичными крышами, – ее видно отсюда из окон, – разбился корабль. Он сел на мель далеко от берега, но спасительная ракета перебросила мост между тонущим судном и твердою землею. Все спаслись, вышли на берег и нашли себе приют и ночлег у рыбаков. Сегодня же их перевели в Бёрглумский монастырь. В уютных покоях их встречает радушный прием и привет на родном языке. С клавиш льются звуки родных мелодий, и не успеют еще они замереть, как зазвучит иная струна, безмолвная и в то же время полная звуков; вестник мысли сообщит семьям потерпевших крушение в чужой земле о их спасении. Родные успокоены; с души спасенных сваливается бремя, и в замке Бёрглум поднимается пляс и веселье. Протанцуем же старинный вальс, споем песни о Дании и о «храбре ополченце» нового времени!

Благословенно будь ты, новое время! Вступай в страну, как новое лето! Свети своими лучами в сердца людей! Быстро промелькнут на твоём светлом фоне воспоминания о старых, суровых, жестоких временах!

*1861*



## Двенадцать пассажиров

Мороз так и трещал. Вызвездило; воздух словно застыл. Буме! – о двери разбился горшок. Паф! – выстрел приветствовал Новый год. Это было в ночь под Новый год, и часы как раз пробили двенадцать.

Тра-та-та-ра! Пришла почта. У городских ворот остановился почтовый дилижанс, привезший двенадцать пассажиров. Больше в нем и не умещалось: все места были заняты.

«Ура! Ура!» – раздавалось в домах, где люди собрались праздновать наступление Нового года. Все встали из-за стола с полными бокалами в руках и принялись пить за Новый год, приговаривая: «С Новым годом, с новым счастьем!» – «Вам славную женку!» – «Вам денег побольше!» – «Конец старым дрязгам!»

Вот какие раздавались пожелания! Люди чокались, а дилижанс, привезший гостей, двенадцать пассажиров, остановился в эту минуту у городских ворот.

Что это были за господа? У них были с собой и паспорта, и багаж, и даже подарки для тебя и для меня, для всех в городе. Кто же такие были эти гости? Что им надо было тут и что они привезли с собою?

– С добрым утром! – сказали они часовому у ворот.

– С добрым утром! – ответил он: часы ведь уже пробили двенадцать. – Ваше имя? Звание? – спросил часовой у первого вылезшего из дилижанса.

– Взгляни на паспорт! – ответил тот. – Я – я!

Это был парень здоровый, в медвежьей шубе и меховых сапогах.

– Я тот самый, на кого уповаешь столько людей. Приди ко мне утром, получишь на чай! Я так и швыряю деньгами, дарю подарки, задаю балы! Тридцать один бал! Больше ночей я тратить не могу. Корабли мои, правда, замерзли, но в конторе у меня тепло. Я коммерсант, зовут меня Январь. У меня с собою только счета.

Затем вылез второй – «увеселительных дел мастер», театральный директор, распорядитель маскарадов и других веселых затей. В багаже у него была огромная бочка.

– Из нее мы на Масленице выколотишь кое-что получше кошки! – сказал он. – Я люблю повеселить других, да и себя самого, кстати! Мне ведь уделен самый короткий срок! Мне дано всего двадцать

восемь дней, разве иногда прикинут лишний денек! Но все равно! Ура!

– Нельзя кричать! – заявил часовой.

– Мне-то? Я принц Карнавал, а путешествую под именем Февраля!

Вышел и третий. Вид у него был самый постный, но голову он задирает высоко: он ведь был в родстве с сорока мучениками и числился пророком погоды. Ну, да эта должность не из сытных, вот он и восхвалял воздержание. В петлице у него красовался букет фиалок, только крошечных-прекрошечных!

– Март, марш! – закричал четвертый и толкнул третьего. – Март, марш! Марш в караулку, там пунш пьют! Я чую.

Однако это была неправда: Апрелью все бы только дурачиться – он с этого и начал. Выглядел он парнем разудалым, делами много не занимался, а все больше праздновал. С расположением духа он вечно играл то на повышение, то на понижение, то на повышение. Дождь и солнце, переезд из дома, переезд в дом.

– Я ведаю переездами, к тому же состою распорядителем и на свадьбах, и на похоронах, готов и посмеяться и поплакать! В чемодане у меня есть летнее платье, но надеть его было бы глупо! Да вот я! Ради парада и щеголяю в шелковых чулках и муфте!

Затем из дилижанса вышла барышня.

– Девушка Май! – отрекомендовалась она. На ней были легкое летнее платье и калоши; платье шелковое, буково-зеленое, в волосах анемоны; от нее так пахло диким яминником, что часовой не выдержал, чихнул. – Будьте здоровы! – сказала она в виде приветствия.

Как она была мила! И какая певица! Не театральная, а вольная, лесная. Да и не из тех, что поют в увеселительных палатках, нет, она бродила себе по свежему зеленому лесу и пела для собственного удовольствия. В ридикюле у нее лежали «Гравюры на дереве» Кристиана Винтера – они поспорят свежестью с буковым лесом, и «Стишки» Рикарда – эти благоухают, что твой дикий яминник!

– Теперь идет молодая дама! – закричали из дилижанса.

И дама вышла. Молодая, изящная, гордая, прелестная! Она задавала пир в самый длинный день года, чтобы гостям хватило времени покончить с многочисленными блюдами. Средства позволяли ей ездить и в собственной карете, но она приехала в дилижансе вместе со

всеми, желая показать, что совсем не спесива. Но, конечно, она ехала не одна: ее сопровождал младший брат Июль.

Июль был здоровяк; одет по-летнему, в шляпе-панаме. У него с собою очень небольшой запас дорожной одежды: в такую жару да возиться еще! Он и взял с собою только купальные панталоны да шапочку.

За ним вылезла матушка Август, оптовая торговка фруктами, владельница многочисленных рыбных садков, земледелец в кринолине. Толстая она и горячая, до всего сама доходит, даже сама обносит пивом работников в поле. «В поте лица своего ешь хлеб свой, – приговаривает она, – Так сказано в Библии! А вот осенью – милости просим! Устроим вечеринку на открытом воздухе, пирушку!» Она была молодец баба, хозяйка хоть куда.

За нею следовал опять мужчина, живописец по профессии. Он собирался показать лесам, что листья могут и переменить цвета, да еще на какие чудесные, если ему вздумается! Стоит ему взяться за дело, и леса запестреют красными, желтыми и бурыми листьями. Художник насвистывал, что твой черный скворец, и мастер был работать! Пивную кружку его украшала ветка хмеля – он вообще знал толк в украшениях. Весь его багаж заключался в палитре с красками.



Вылез и десятый пассажир, помещик. У него только и дум было, что о пашне, о посевах, о жатве да еще об охотничьих забавах. Он был с ружьем и собакою, а в сумке у него гремели орехи. Щелк! Щелк! Багажа у него было пропасть, между прочим даже английский плуг.

Он что-то говорил о сельском хозяйстве, но его почти и не слышно было из-за кашля и пыхтения следующего пассажира – Ноября.

Что за насморк у него был, ужасный насморк! Пришлось вместо носового платка застаться целую простынею! А ему, по его словам, приходилось еще сопровождать служанок, поступающих на места! Ну, да простуда живо пройдет, когда он начнет рубить дрова. А он это непременно сделает – он ведь старшина цеха дровосеков. Вечерами он вырезывал коньки, зная, что эта веселая обувь скоро понадобится.

Вышел и последний пассажир – бабушка Декабрь с грелкою в руках. Она дрожала от холода, но глаза ее так и сияли, словно звезды. Она несла в цветочном горшочке маленькую елочку. «Я ее выхожу, выращу к сочельнику! Поднимется от пола до потолка, обрастет зажженными свечками, вызолоченными яблоками и разноцветными сеточками с гостинцами. Грелка согревает не хуже печки, я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. Все детки в комнате притихнут, зато куколки на елке оживут, восковой ангелочек на самой верхушке ее затрепещет золочеными крылышками, слетит и расцелует всех, кто в комнате, и малюток, и взрослых, и даже бедных деток, что стоят за дверями и славят Христа и звезду вифлеемскую».

– Теперь дилижанс может отъехать! – сказал часовой. – Вся дюжина тут! Пусть подъезжает следующий!

– Пусть сначала войдут эти двенадцать! – сказал дежурный капитан. – По одному зараз! Паспорта остаются у меня. Каждому паспорт выдан на один месяц; по истечении срока я сделаю пометку о поведении каждого. Пожалуйста, господин Январь! Не угодно ли вам войти?

И тот вошел.

Когда год кончится, я скажу тебе, что эти двенадцать пассажиров принесли тебе, и мне, и всем остальным. Теперь я этого еще не знаю, да и сами они не знают, – удивительные ведь времена у нас настали!

## Навозный жук

Лошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

За что?

Она была чудо как красива: с тонкими ногами, умными глазами и шелковистой гривой, ниспадавшей на ее шею длинной мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Она защищалась зубами и отбивалась копытами, одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и самую жизнь его, что подороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

А навозный жук тут как тут.

– Сперва великие мира сего, потом уж малые! – сказал он. – Хотя и не в величине, собственно, тут дело! – И он протянул свои тощие ножки.

– Что тебе? – спросил кузнец.

– Золотые подковы! – ответил жук.

– Ты, видно, не в своем уме! – сказал кузнец. – И ты золотых подков захотел?

– Да! – ответил жук. – Чем я хуже этой огромной скотины, за которую еще надо ухаживать? Чисть ее, корми да пои! Разве я-то не из императорской конюшни?

– Да за что лошади дают золотые подковы? – спросил кузнец. – Вдомек ли тебе?

– Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят оскорбить! – сказал навозный жук. – Это прямая обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!

– Проваливай! – сказал кузнец.



– Невежа! – ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванда.

– Правда ведь, здесь чудо как хорошо? – спросила жука красненькая жесткокрылая божья коровка в черных крапинках. – Как тут сладко пахнет, как все красиво!

– Ну, я привык к лучшему! – ответил навозный жук. – По-вашему, тут прекрасно?! Даже ни одной навозной кучи!..

И он отправился дальше, под сень большого левкоя. По стеблю ползла гусеница.

– Как хорош Божий мир! – сказала она. – Солнышко греет! Как весело, приятно! А после того как я наконец засну или умру, как это говорится, я проснусь уже бабочкой!

– Да, да, воображай! – сказал навозный жук. – Так вот мы и полетим бабочками! Я из царской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь?! Да, вот мы так сейчас улетим! – И он улетел. – Не хотелось бы сердиться, да поневоле рассердишься!

Тут он бухнулся на большую лужайку, полежал-полежал да и заснул.

Батюшки мои, какой припустил дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал уплыть и на спине, и на брюшке – улететь нечего было и думать, но все напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым! Он и остался лежать где лежал.

Дождь приостановился немножко; жук смахнул воду с глаз и увидел невдалеке что-то белое; это был холст, что разложили бабы белить. Жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то, что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался тут весь день и всю ночь – дождь все лил. Утром навозный жук выполз; ужасно он сердит был на климат.

На холсте сидели две лягушки, глаза их так и блестели от удовольствия.

– Славная погодка! – сказала одна. – Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние лапки зачесались: так бы вот и поплыла!

– Хотела бы я знать, – сказала другая, – нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас? Этакie дожди, сырость – чудо! Право, словно сидишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не сын своего отечества!

– Вы, значит, не бывали в царской конюшне? – спросил их навозный жук. – Там и сыро, и тепло, и пахнет чудесно! Вот к чему я привык! Там климат по мне, да его не возьмешь с собою в дорогу! Нет ли



здесь, в саду, хоть парника, где бы знатные особы вроде меня могли найти приют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки не поняли его или не хотели понять.

– Я никогда не спрашиваю два раза! – заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа.

Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти приют. Под ним и жило несколько семейств уховертков. Им простора не требовалось – было бы общество. Уховертки необыкновенно нежные матери, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.

– Наш сынок помолвлен! – сказала одна мамаша. – Милая невинность! Его заветнейшая мечта – заползти в ухо к священнику. Он совсем еще дитя; помолвка удержит его от сумасбродств. Ах, какая это радость для матери!

– А наш сын, – сказала другая, – едва вылупился, а уж сейчас за шалости! Такой живчик! Ну, да надо же молодежи перебеситься! Дети – большая радость для матери! Не правда ли, господин навозный жук? – Они узнали пришельца по фигуре.

– Вы обе правы! – сказал жук, и уховертки пригласили его приползти к ним, если только он мог подлезть под черепок.

– Надо вам взглянуть и на моих малюток! – сказала третья, а потом и четвертая мамаша. – Ах, это милейшие малютки и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик, а от этого в их возрасте не убережешься!

И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках – дергали ими навозного жука за усы.

– Чего только не выдумают эти шалунишки! – сказали мамыши, потея от умиления; но все это уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника.

– О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы! – сказали в один голос уховертки. – Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру!

– Ну а я попробую добраться туда! – сказал навозный жук и ушел не прощаясь – это самый высший тон.

У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.

– А мы тут живем! – сказали они. – У нас преуютно! Милости просим в наше злачное местечко! Вы, верно, утомились в пути?

– Да! – ответил жук. – Пока дождь лил, я все лежал на холсте, а такая чистота хоть кого уходит, не то что меня. Пришлось постоять и под глинным черепком на сквозняке, ну и схватил ревматизм в надкрылье! Хорошо наконец очутиться среди своих.

– Вы, может быть, из парника? – спросил старший из навозных жуков.

– Подымай выше! – сказал жук. – Я из царской конюшни; я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не расспрашивайте меня, я все равно ничего не скажу.

И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать.

– Они еще не просватаны! – сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения.

– Прекраснее барышень я не встречал даже в императорской конюшне! – сказал жук-путешественник.

– Ах, не испортите мне моих девочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений!.. Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам свое благословение!

– Ура! – закричали остальные, и жук стал женихом. За помолвкой последовала и свадьба – зачем откладывать?

Следующий день прошел хорошо, второй – так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены, а может быть, и деток.

«Вот-то поддели меня! – сказал он себе. – Так и я ж их поддену!» Так и сделал – ушел. День нет его, ночь нет его – жена осталась вдовою. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена теперь осталась у них на шее!

– Так пусть она опять считается барышней! – сказала мамаша. – Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил ее!

А он себе переплыл канаву на капустном листке. Утром явились двое людей, увидели жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть какие ученые, особенно мальчик.

– «Аллах видит черного жука на черном камне черной скалы» – так ведь сказано в Коране? – спросил он и, назвав навозного жука полатыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит.

Старший ученый не советовал мальчику брать жука с собою домой – не стоило, у них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливою, он взял да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко, долетел до самой теплицы и очень удобно проскользнул в нее – одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.

– Ах, как славно! – сказал он.

Скоро он заснул и увидел во сне, что лошадь императора пала и сам господин навозный жук получил ее золотые подковы, причем ему пообещали дать и еще две. То-то было приятно! Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце; внизу же всюду зеленела травка, пестрели цветы, огненно-красные, янтарно-желтые и белые, как свежее выпавший снег.

– Бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда все это сгниет! – сказал навозный жук. – Знатная кладовая! Здесь, верно, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски, найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим! – И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах.

Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать.

В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем; они увидели навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому озеру. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкиперы и должен был отправиться в плавание.

Озеро было большое-пребольшое; навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и

задрывал ножками.

Башмак относил от берега течением, но как только он отплывал чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они впопыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог – он был привязан к мачте. В гости к нему прилетела муха.



– Какая славная погода! – сказала она. – У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке! Вам тут очень хорошо.

– Болтаете сами не знаете что! Не видите, что ли, я привязан?

– А я нет! – сказала муха и улетела.

– Вот когда я узнал свет! – сказал навозный жук. – Как он низок! Я один только порядочный! Сначала меня обходят золотыми подковами, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену! Едва же я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня, связанного, в бурное море! А лошадь императора щеголяет себе в золотых подковах! Вот что меня больше всего мучит. Но на этом свете справедливости не жди! История моя очень интересна, а что толку, если ее никто не знает? Да свет и недостоин знать ее, иначе он дал бы золотые подковы мне, когда лошадь императора протянула за ними ноги. Получи я золотые подковы, я бы стал украшением конюшни, а теперь я погиб для них, свет лишился меня, и всему конец!

Но конец всему, видно, еще не наступил: на озере появилась лодка, а в ней сидело несколько молодых девушек.

– Вот плывет деревянный башмак! – сказала одна.

– И бедная букашка привязана крепко-накрепко! – сказала другая.

Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.

– Ползи, ползи, лети, лети, коли можешь! – сказала она ему. – Свобода – великое благо!

И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой царской лошади, стоявшей в конюшне, родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя от усталости.

– Ну, вот я и сижу на любимой царской лошади, как всадник! Что я говорю?! Теперь мне все ясно! Вот это мысль! И верная! «За что лошадь удостоилась золотых подков?» – спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю! Она удостоилась их из-за меня!

И жук опять повеселел.

– Путешествие проясняет мысли! – сказал он. Солнышко светило прямо на него и светило так красиво! – Свет, в сущности, не так уж дурен! – продолжал рассуждать навозный жук. – Надо только уметь за него взяться!

Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков из-за того только, что на ней ездил верхом навозный жук?

– Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали! Расскажу и обо всех прелестях заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков.

*1861*

## Что муженек ни сделает, все хорошо



Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше: и с историями ведь бывает то же, что со многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо!

Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые крестьянские избушки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно.



Хлебные печи выпячивают на улицу свои толстенные брюшки, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужа, по которой плавают утки или утята, там уж, глядишь, приткнулась и корявая ива. Возле избушки есть, конечно, и цепная собака, что лает на всех и каждого.

Вот точь-в-точь такая-то избушка и стояла у нас за городом, а в ней жили старички, муж с женой. Как ни скромно было их хозяйство, им все-таки было чем одолжить других, – была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, ну а уж известно, за услугу отплачивают услугой! Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или променять на что-нибудь более полезное. Только на что бы такое?

– Ну, уж тебе это лучше знать, муженек! – сказала жена. – Теперь как раз ярмарка в городе, поезжай туда да и продай лошадку или променяй с выгодой! Уж что ты сделаешь, то всегда хорошо! Поезжай с богом!

И она повязала ему на шею платок – это-то она все-таки умела делать лучше мужа, завязала его двойным узлом; очень шикарно вышло! Потом она приладила шляпу старика ладонью и поцеловала его прямо в губы. И вот он поехал на лошади, которую надо было или продать, или променять в городе. Уж он-то знал свое дело!

Солнце так и пекло, на небе не было ни облачка! Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу – кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная, солнцепек и ни малейшей тени по всей дороге.

Шел тут и какой-то человек с коровой; вот уж была корова так корова, чудесная! «Верно, и молоко дает чудесное! – подумал наш крестьянин. – То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь!»

– Эй, ты, там с коровой! – крикнул он. – Поговорим-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит подороже твоей коровы! Но так и быть: мне корова нужнее! Поменяемся?

– Ладно! – ответил тот, и они поменялись.

Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси – он ведь сделал, что было нужно. Но раз уж он вздумал побывать на ярмарке, так и надо было – хотя бы для того только, чтобы поглядеть на нее. Вот он и пошел с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и

они скоро нагнали человека, который вел овцу. Овца была добрая, в теле, с густою шерстью.

«Вот от такой бы я не прочь! – подумал крестьянин. – Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимою ее можно держать в избе. По правде-то, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться разве?»

Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидел человека с большим гусем под мышкой.

– Ишь гусище-то у тебя какой! – сказал крестьянин. – У него и жира и пера вдоволь! А ведь любо было бы поглядеть, стой он на привязи у нашей лужи! И старухе моей было бы для кого собирать объедки да очистки! Она часто говорит: «Ах, кабы у нас был гусь!» Ну вот теперь есть случай добыть его... и она его получит! Хочешь меняться? Я дам тебе за гуся овцу да спасибо в придачу!

Тот не отказался, и они поменялись; крестьянин получил гуся. Между тем он дошел до городской заставы. Тут была толкотня, вся дорога была запружена народом, многие гнали по ней скотину, иным не хватало места, и они шагали по обочине и даже по картофельному полю сторожа. В поле бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкою, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазом и вообще на вид была курица хоть куда. «Кок, кок!» – бормотала она; что хотела она этим сказать, я не знаю, но крестьянин, увидев ее, подумал: «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее наседки священника; вот бы нам ее! Курица везде сыщет себе зернышко, почитай что сама себя прокормит! Право, хорошо было бы сменять на нее гуся».

– Хочешь меняться? – спросил он у сторожа.

– Меняться? Отчего ж! – ответил тот, и они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин курицу.

Немало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить! А постоялый двор тут как тут. К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях.

– Что у тебя там? – спросил крестьянин.

– Гнилые яблоки! – ответил работник. – Несу полный мешок свиньям!

– Таковую-то уйму?! Вот бы поглядела моя старуха! У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока оно не сгнило! «Все же это показывает достаток в доме!» – говорила старуха. – Вот бы посмотрела она, какой бывает достаток! Хотел бы я порадовать ее!

– А что вы дадите за мешок? – спросил парень.

– Что дам? Да вот курицу!

И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и – прямо к прилавку, а мешок свой прислонил к печке. Она топилась, но он и не подумал о том. В горнице было пропасть гостей: барышники, торговцы скотом и два англичанина. Эти были такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники до пари. Теперь слушайте!

«Зу-сс! Зу-сс!» Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься.

– Что это такое? – спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее – вплоть до мешка с гнилыми яблоками.

– Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься! – сказали они. – То-то гвалт поднимется!

– Поцелует она меня, вот и все! – сказал крестьянин. – Старуха моя скажет: «Что муженек ни сделает, все хорошо!»

– А вот посмотрим! – сказали англичане. – Бочку золота на пари! В мере сто фунтов!

– И полной мерки золота довольно! – сказал крестьянин. – А я могу поставить только полную мерку яблок да нас со старухой в придачу! Так мерка-то выйдет уж с верхом!

– Ну-ну! – сказали те и ударили по рукам.

Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, и тележка покатила к избушке крестьянина.

– Здравствуй, старуха!

– Здравствуй, муженек!

– Ну, я променял!

– Да ведь ты уж знаешь свое дело! – сказала жена, обняла его и забыла и о мешке, и об англичанах.

– Я променял лошадь на корову!

– Слава богу! С молоком будем! – сказала жена. – Будем кушать и масло и сыр. Вот это так мена!

– Так-то так, да я корову-то сменял на овцу!

– Да оно и лучше! – ответила жена. – Ты обо всем подумаешь! У нас и травы-то как раз на овцу! Теперь у нас будут овечье молоко и сыр да еще шерстяные чулки и даже фуфайки! А корова-то этого не даст! Она линяет! Вот какой ты, право, умный!

– Я и овцу променял – на гуся!

– Как, неужели у нас в этом году будет к Мартынову дню жареный гусь, муженек?! Все-то ты думаешь, чем порадовать меня! Как ты это славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартынову дню!

– Я и гуся променял – на курицу! – сказал муж.

– На курицу! Вот это дело! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, и обзаведёмся мы целым птичником! Вот чего мне давно хотелось!

– А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок!

– Ну, так дай же мне расцеловать тебя! – сказала жена. – Спасибо тебе, муженек! Вот ты послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я и подумала: «Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее – яичницу с луком! Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, что у них есть лук, но она ведь скупая-прескупая. Я попросила ее одолжить мне луку, а она: “Луку? Ничего у нас в саду не растёт, даже гнилого яблока не отыщешь!”» Ну а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок! Вот смеху-то, муженек!

И она опять поцеловала мужа прямо в губы.

– Вот это нам нравится! – вскричали англичане. – Все хуже да хуже, а ей все нипочем! За это и деньги отдать не жаль!

И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую мерку червонцев.

Да уж, если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он ни делает, находит хорошим, – это без награды не останется!

Так вот какая история! Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь: что муженек ни сделает, все хорошо!

## Снеговик



Так и хрустит во мне! Славный морозище! — сказал снеговик. — Ветер-то, ветер-то так и кусает! Просто любо! А эта что плазет,

пучеглазая? – Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. – Нечего, нечего! Я и не смигну! Устоим!

Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы, вместо рта – обломок старых граблей; значит, он был и с зубами.

На свет он появился при радостных «ура» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов.

Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная!

– Ишь, с другой стороны ползет! – сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. – Я все-таки отучил ее паять на меня глаза! Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне видно было себя!.. Ах, кабы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки! Беда, не могу двинуться с места!

– Вон! Вон! – залаяла старая цепная собака; она немножко охрипла – ведь когда-то она была комнатного собачкой и лежала у печки. – Солнце выучит тебя двигаться! Я видела, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже! Вон! Вон! Все убрались вон!

– Что ты толкуешь, дружище? – сказал снеговик. – Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? – Снеговик говорил про луну. – Она сама-то удрала от меня давеча: я так пристально посмотрел на нее в упор! А теперь вон опять выползла с другой стороны!

– Много ты смыслишь! – сказала цепная собака. – Ну да, ведь тебя только что вылепили! Та, что глядит теперь, луна, а то, что ушло, солнце; оно опять вернется завтра. Ужо оно подвинет тебя – прямо в канаву! Погода переменится! Я чую – левая нога заныла! Переменится, переменится!

– Не пойму я тебя что-то! – сказал снеговик. – А сдается, ты сулишь мне недоброе! Та пучеглазая, что зовут солнцем, тоже не друг мне, я уж чую!

– Вон! Вон! – пролаяла цепная собака, три раза повернувшись вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать.

Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом; потом подул резкий, леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота была, когда взошло солнышко!

Деревья и кусты в саду стояли все осыпанные инеем, точно лес из белых кораллов! Все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками! Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны; от каждой ветки как будто лилось сияние! Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила; длинные ветви ее с пушистою бахромой тихо шевелились – точь-в-точь как летом! Вот было великолепие! Встало солнышко... Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными ослепительно белыми огоньками! Все было точно осыпано алмазною пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты!

– Что за прелесть! – сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. – Летом такого великолепия не увидишь! – сказала она, вся сияя от удовольствия.

– И такого молодца – тоже! – сказал молодой человек, указывая на снеговика. – Он бесподобен!

Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговiku и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку; так и захрустело у них под ногами, точно они бежали по крахмалу.

– Кто такие эти двое? – спросил снеговик цепную собаку. – Ты ведь живешь тут подольше меня; знаешь ты их?

– Знаю! – сказала собака. – Она гладила меня, а он бросал косточки; таких я не кусаю.

– А что же они из себя изображают? – спросил снеговик.

– Паррочку! – сказала цепная собака. – Вот они поселятся в конуре и будут вместе плодать кости! Вон! Вон!

– Ну а значат они что-нибудь, как вот я да ты?

– Да ведь они господа! – сказала собака. – Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет Божий! Это я по тебе вижу! Вот я так умудрена и годами и знанием! Я всех, всех знаю здесь! Да, я знавала времена получше!.. Не мерзла тут в холоде на цепи! Вон! Вон!

– Славный морозец! – сказал снеговик. – Ну, ну, рассказывай, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!

– Вон! Вон! – залаяла цепная собака. – Я была щенком, крошечным хорошеньким щенком, и лежала на бархатных креслах там, в доме, лежала на коленях у знатных господ! Меня целовали в мордочку и

вытирали лапки вышитыми платками! Звали меня Милкой, Крошкой!.. Потом я подросла, велика для них стала, и меня подарили ключнице, я попала в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда: с твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я и зажила барыней, да, барыней! Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху: меня не таскали и не тискали дети. Ела я тоже не хуже, если еще не лучше! У меня была своя подушка, и еще... там была печка, самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода! Я совсем уползала под нее!.. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке! Вон! Вон!

– Разве уж она так хороша, печка-то? – спросил снеговик. – Похожа она на меня?

– Ничуть! Вот сказал тоже! Печка черна как уголь, у нее длинная шея и медное пузо! Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта! Рядом с нею, под нею – настоящее блаженство! Ее видно в окно, погляди!

Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом, в животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание – в нем как будто зашевелилось что-то... Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик.

– Зачем же ты ушла от нее? – спросил снеговик собаку. – Как ты могла уйти оттуда?

– Пришлось поневоле! – сказала цепная собака. – Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусила за ногу младшего барчука – он хотел отнять у меня кость! «Кость за кость!» – думаю себе... А они осердились, и вот я на цепи! Потеряла голос... Слышишь, как я хриплю? Вон! Вон! Вот тебе и вся недолга!

Снеговик уже не слушал; он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снеговика.

– Во мне что-то так странно шевелится! – сказал он. – Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание, отчего ж бы ему и не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней... Прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы пришлось разбить окно!



– Туда тебе не попасть! – сказала цепная собака. – А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Вон! Вон!

– Мне уж и так конец подходит, того и гляди, свалюсь!

Целый день снеговик стоял и смотрел в окно; в сумерки каморка выглядела еще приветливее: печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне! Куда им! Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки так и метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице и на груди снеговика.

– Не выдержи! – сказал он. – Как мило она высовывает язык! Как это идет ей!

Ночь была длинная-длинная, только не для снеговика; он весь погрузился в чудные мечты – они так и трещали в нем от мороза.

К утру все окна подвального этажа покрылись чудесным ледяным узором, цветами; лучших снеговiku нечего было и требовать, но они скрывали печку! Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку! Мороз так и трещал, снег хрустел, снеговiku радоваться бы да радоваться, так нет! Он тосковал о печке! Он был положительно болен.

– Ну, это опасная болезнь для снеговика! – сказала собака. – Я тоже страдала этим, но поправилась. Вон! Вон! Будет перемена погоды!

И погода переменялась, началась оттепель.

Капли поприбавилось, а снеговик поубавился, но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак.

В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки; на ней-то мальчишки и укрепили его.

– Ну, теперь я понимаю его тоску! – сказала цепная собака. – У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нем! Теперь все прошло! Вон! Вон!

Скоро прошла и зима.

– Вон! Вон! – лаяла собака, а девочки на улице пели:

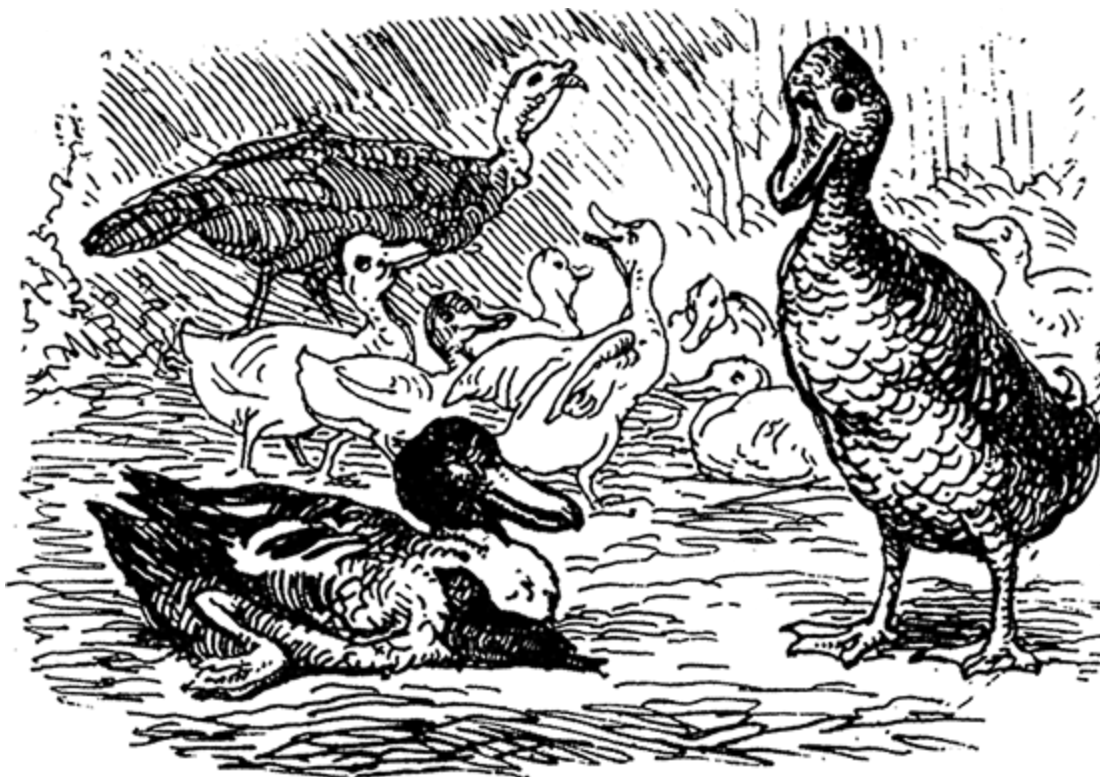
Цветочек лесной, поскорей распускайся!  
Ты, вербочка, мягким пушком одевайся!  
Кукушки, скворцы, прилетайте,  
Весну нам красну воспевайте.

И мы вам подтянем: ай, люли-люли,  
Деньки наши красные снова пришли!

О снеговике же и думать забыли!

*1861*

## На утином дворе



Из Португалии – а кто говорит из Испании, но это все едино – вывезли утку; прозвали ее Португалкою; она несла яйца, потом ее зарезали, зажарили и подали на стол – вот и вся ее история. Выводков из ее яиц тоже звали Португалками, и это кое-что значило. Наконец из всего потомства первой Португалки осталась на утином дворе только одна утка. На этот утиный двор допускались и куры с петухом, неизмеримо задиравшим нос.

– Он просто оскорбляет меня своим неистовым криком! – говорила Португалка. – Но он красив – этого нельзя у него отнять, хоть и не сравнится с селезнем. Ему бы следовало быть посдержаннее, но ведь сдержанность – это целое искусство, требующее высшего образования. Этим отличаются певчие птички, что гнездятся вон там, в соседском саду на липах! Как мило они поют! В их пении есть что-то такое трогательное, португальское – как я это называю! Будь у меня такая певчая птичка, я бы заменила ей мать, была бы с нею ласкова, добра! Это уж у меня в крови, в моем португальстве.

И как раз в эту минуту к ней и свалилась с крыши певчая птичка. Она шарахнулась оттуда, спасаясь от кошки, и отделалась сломанным крылом.

– Как это похоже на кошку, на эту кровопийцу! – сказала Португалка. – Я знаю ее еще с той поры, как у меня самой были утята! И подумать, что такому созданию позволяют жить и бегать тут по крышам! Нет уж, в Португалии, я думаю, этого не увидишь!

И она принялась соболезновать бедной певчей птичке. Соболезновали и простые утки, не португальские.

– Бедная крошка! – говорили они, подходя к ней одна за другой. – Сами мы не из певчих, но в нас есть внутренний резонанс или как это назвать иначе? Мы чувствуем, хоть и не говорим о том!

– Так я поговорю! – сказала Португалка. – И сделаю для нее кое-что! Это прямой долг каждого! – С этими словами она подошла к корыту и зашлепала по воде крыльями, так что чуть не потопила птичку под дождем брызг, но от доброго сердца. – Вот это доброе дело! – сказала Португалка. – Пусть смотрят и берут пример.

– Пип! – пискнула птичка; сломанное крылышко не давало ей встряхнуться хорошенько; но она все-таки понимала, что ее выкупали от доброго сердца. – Вы очень добры, сударыня! – прибавила она, но о повторении душа не просила.

– Я никогда не думала о своей доброте! – ответила Португалка. – Но я знаю, что люблю всех моих близких, кроме кошки! А этого уж от меня и требовать не вправе. Она съела у меня двух утят!.. Ну, будьте же теперь здесь как дома! Это можно! Сама я тоже нездешняя, что вы, конечно, видите по моей осанке и оперению. А селезень мой здешний, не моей крови, но я не спесива!.. Если вас вообще кто-нибудь поймет здесь во дворе, то, смею думать, это я!

– У нее Портулакия в зобу! – сострил один маленький простой утенок; остальные простые утки нашли это бесподобным: Портулакия звучит ведь совсем как Португалия! И они подталкивали друг друга, крикая:

– Кряк! Вот остряк!

Потом они опять заговаривали с певчею птичкой.

– Португалка – мастерица поговорить! – сказали они. – У нас нет таких громких слов в клюве, но и мы принимаем в вас не меньшее

участие! И если мы ничего не делаем для вас, то не кричим об этом! По-нашему, так благороднее.

– У вас прелестный голос! – сказала одна из пожилых уток. – То-то, должно быть, приятно сознавать, что радуешь многих, как вы! Я, впрочем, мало смыслю в пении! Оттого и держу язык в клюве. Это лучше, чем болтать глупости, каких вам столько приходится выслушивать.

– Не надоедайте ей! – вмешалась Португалка. – Ей нужен отдых и уход. Хотите, я опять вас выкупаю, маленькая певунья?

– Ах нет, нет! Позвольте мне остаться сухою! – попросила та.

– А мне только водяное лечение и помогает! – продолжала Португалка. – Развлечения тоже очень полезны! Вот скоро придут в гости соседки куры; между ними есть две китаянки; они ходят в панталончиках и очень образованны. Они тоже нездешние, и это очень подымает их в моих глазах.

Куры явились; явился и петух. На этот раз он был настолько вежлив, что не грубиянил.

– Вы настоящая певчая птица! – сказал он птичке. – И делаете из своего крохотного голоса что можете. Но надо иметь свисток посильнее, чтобы слышно было, что ты мужчина!

Обе китаянки пришли от птички в восторг: она после купания была вся взъерошенная и напомнила им китайского цыпленка.

– Как она мила! – сказали они и вступили с нею в беседу. Говорили они шепотом, да еще и пришепетывали, как и полагается знатным китаянкам. – Мы ведь вашей породы! А утки, даже сама Португалка, принадлежат к водяным птицам, как вы, вероятно, заметили. Вы нас еще не знаете, но и многие ли нас здесь знают или дают себе труд узнать? Никто, даже из кур никто, хотя мы и рождены для более высокого нашего, нежели большинство! Ну да пусть! Мы мирно идем своею дорогой среди других, хотя у нас и другие принципы: мы смотрим только на одно хорошее, говорим только о хорошем, хотя и трудно найти его там, где нет ничего! Кроме нас двоих да петуха, во всем курятнике нет даровитых и в то же время честных натур. Об утином дворе и говорить нечего. Мы предостерегаем вас, милая певунья! Не верьте вон той короткохвостой утке – она хитрая! А вот та, пестрая, с кривым узором на крыльях, страшная спорщица, никому не дает сказать последнего слова и сама всегда не права! Та жирная

утка обо всех отзывается дурно, а это противно нашей природе: уж если нельзя сказать хорошего, лучше молчать! Португалка одна отличается хоть некоторым образованием, и с нею еще можно водиться, но она тоже пристрастна и слишком много говорит о своей Португалии.

– И что эти китайки расшептались! – удивлялись две простые утки. – На нас они наводят скуку; мы никогда с ними не разговариваем.

Вот явился и селезень. Он принял певчую птичку за воробья.

– Ну да, я много не разбираю! – сказал он. – Все едино! Она из породы шарманок; есть они – ну и ладно.

– Пусть себе говорит, а вы не обращайтесь внимания! – шепнула птичке Португалка. – Он зато весьма деловитый селезень, а дела ведь главное!.. Ну а теперь я прилягу отдохнуть. Это прямой долг по отношению к самой себе, если хочешь разжиреть и быть набальзамированной яблоками и черносливом.

И она улеглась на солнышке, помигивая одним глазом. Улеглась она хорошо, сама была хороша и заснула хорошо. Певчая птичка почесала сломанное крылышко и прилегла к своей покровительнице. Солнышко так славно пригревало, тут было чудесное местечко.

Соседские куры принялись рыться в земле; они, в сущности, и приходили сюда только за кормом. Потом они стали расходиться; первые ушли китайки, за ними и остальные. Остроумный утенок сказал про Португалку, что старуха скоро впадет в «утиное детство». Другие утки закричали от смеха. «Утиное детство»! Ах, он бесподобен! Вот остряк! И они повторяли и прежнюю его остроту: «Портулакия». Ужасно забавно было! Затем улепись и они.

Прошел час, вдруг на двор выплеснули помои и всякие кухонные отбросы. От этого всплеска вся спящая компания проснулась и забила крыльями. Проснулась и Португалка, перевалилась на другой бок и пребольно придавила певчую птичку.

– Пип! – пискнула та. – Вы наступили на меня, сударыня!

– Не попадайтесь под ноги! – ответила Португалка. – Да не будьте такую неженкой! У меня тоже есть нервы, а я никогда не пишу!

– Не сердитесь! – сказала птичка. – Это у меня так вырвалось!

Но Португалка не слушала, бросилась на поживу и отлично пообедала. Покончив с едой, она опять улеглась. Птичка снова

подошла к ней и хотела было доставить ей удовольствие своим пением:

Чу-чу-чу-чу!  
Уж я не промолчу,  
Я вас воспеть хочу!  
Чу-чу-чу-чу!

– Теперь мне надо отдохнуть после обеда! – сказала утка. – Пора вам привыкать к здешним порядкам! Я спать хочу!

Бедная птичка совсем растерялась: она ведь хотела услужить! Когда же госпожа Португалка проснулась, птичка уж опять стояла перед нею и поднесла ей найденное зернышко. Но утка не выпалась как следует и, разумеется, была не в духе.

– Отдайте это цыпленку! – крикнула она. – Да не стойте у меня над душой!

– Да вы сердиты на меня? – спросила птичка. – Что же я сделала?

– «Сделала»! – повторила Португалка. – Выражение не из изящных, позвольте вам заметить!

– Вчера светило солнышко, – сказала птичка, – а сегодня так серо, темно! Мне так грустно!

– Вы не сильны во времяисчислении! – сказала Португалка. – День еще не кончился! Да не смотрите же так глупо!

– Теперь у вас точь-в-точь такие же злые глаза, как те, от которых я спаслась сюда!..

– Ах, бесстыдница! – сказала Португалка. – Вы меня приравниваете к кошке, этой хищнице? В моей крови нет ни единой злой капельки! Я приняла в вас участие и научу вас приличному обхождению!

И она откусила птичке голову; птичка упала мертвая.

– Это еще что?! – сказала Португалка. – И этого перенести не могла? Ну, так она и не жилица была на этом свете! А я была для нее матерью, это я знаю! Сердце у меня есть!

Соседский петух просунул голову на двор и закукарекал, что твой паровоз.

– Вы изводите меня своим криком! – сказала утка. – Это все вы виноваты! Она потеряла голову, да и я свою скоро потеряю!

– Не много-то места она теперь занимает! – сказал петух.

– Говорите о ней почтительнее! – сказала Португалка. – У нее был голос, она умела петь, была образованна! Она была нежная и любящая, а это так же приличествует животным, как и так называемым людям!

Вокруг мертвой птички собрались все утки; утки вообще сильно чувствуют и выражают свои чувства – и зависть и жалость. Тут завидовать было нечему, так они жалели. Пришли и куры-китайки.

– Такой певчей птички у нас больше не будет! Она была почти что китайка! – И они всхлипывали; другие куры тоже, а утки ходили с красными глазами.

– Сердце-то у нас есть! – говорили они. – Этого уж у нас не отнимут!

– Сердце! – повторила Португалка. – Да, этого-то добра у нас здесь почти столько же, сколько и в Португалии!

– Подумаем-ка лучше, чем бы набить зобы! – заметил селезень. – Это важнее всего! А если и разбилась одна шарманка, что ж? Их еще довольно осталось на свете!



## Муза нового века



Когда же проявит свое существование Муза нового века, которую узрят наши правнуки, а может быть, и еще более поздние поколения? Какова будет она? О чем споет? Каких душевных струн коснется? На какую высоту подымет свой век?

Да можно ли задавать столько вопросов в наше суетливое время, когда поэзия является чуть ли не помехой, когда ясно сознают, что от большинства «бессмертных» произведений современных поэтов останется в будущем что-то вроде надписей углем, встречающихся на тюремных стенах и привлекающих внимание разве некоторых случайных любопытных?

При таком положении дел поэзии поневоле приходится принимать известное участие в политике, играть хотя бы роль пыжа в борьбе партий, когда люди проливают кровь или чернила.

Это односторонний взгляд, скажут многие; поэзия не забыта и в наше время.

Нет, нет. Находятся еще люди, у которых в «ленивые понедельники» просыпается потребность в поэзии; испытывая от голода духовное урчание в соответствующих благородных частях своего организма, они посылают слугу в книжный магазин купить поэзии, особенно рекомендуемой, на целых четыре скиллинга! Некоторые же довольствуются и тою поэзией, которую могут получить в придачу к покупкам, или удовлетворяются чтением тех листков, в которые лавочники завертывают им покупки. Так выходит дешевле, а в наше суетливое время нельзя не обращать внимания на дешевизну. Итак, существующие потребности удовлетворяются – чего же еще? Поэзия же будущего, как и музыка будущего, – только донкихотство, и говорить о них все равно что говорить о путешествии с научною целью на Уран!

Время слишком дорого, чтобы тратить его на фантазии, а ведь что такое, в сущности, если рассуждать трезво, что такое поэзия? Эти звучные излияния чувств и мыслей – только движение и колебание нервов. Восторг, радость, боль, даже материальные стремления – все это, по словам ученых, только колебание нервов. Каждый из нас, в сущности, нечто вроде арфы или другого струнного инструмента.

Но кто же затрагивает эти струны? Кто заставляет их колебаться и дрожать? Дух, незримый Божественный дух; его голос приводит их в колебание; они колеблются, звучат, и мелодия их или сливается с основным звуком в один гармонический аккорд, или образует могучий диссонанс. Так оно было, так и будет всегда в великом прогрессе человечества на пути свободного сознания.

Каждый век, можно даже сказать – каждое тысячелетие, находит свое высшее выражение в поэзии. Рожденная в конце одной эпохи, она выступает и царствует только в следующую.

Муза нового века родилась в наше суетливое время под грохот и стук машин. Привет ей! Она услышит или, может быть, прочтет его когда-нибудь между только что упомянутыми надписями, сделанными углем.

Колыбель ее раскачивалась в пространстве, ограниченном с одной стороны крайнею точкой, которой касалась нога человека в его изысканиях на севере, а с другой – крайними пределами видимого

человеку темного полярного горизонта. Мы не слышали скрипа ее колыбели из-за шума стучащих машин, свиста паровозов, взрывов скал материализма и грохота сбрасываемых духовных оков.

Она родилась на великой фабрике, представляемой ныне нашею землею, в эпоху господства пара, в эпоху неустанной работы мастера «Бескровного» и его подручных.

У нее великое любвеобильное сердце женщины, в ее душе горит священное пламя весталки и огонь страсти. Одарена она быстрым, ярким как молния умом, проникающим через тьму тысячелетий; в нем, как в призме, отражаются все оттенки господствовавших когда-либо людских мнений, сменявшихся согласно моде. Силу и сокровище новой Музы составляет лебединое оперение фантазии, вытканное наукой и оживленное первобытными силами природы.

Она дитя народа по отцу; здравомыслящая, со здоровою душою, серьезными глазами и улыбкой на устах. По матери же она ведет род от знатных, академически образованных эмигрантов, хранящих память о золотой эпохе рококо. Муза нового века уродилась душой и телом в обоих.

На зубок ей положили в колыбель великолепные дары. В изобилии были насыпаны туда, словно лакомства, загадки природы с их разгадками; из водолазного колокола высыпали ей разные безделушки и диковинки морского дна. На пологе была отпечатана карта неба, напоминающего океан с мириадами островов – миров. Солнце рисовало ей картинки; фотография должна была доставлять игрушки.

Кормилица пела ей песни северного скальда Эйвинда и восточного певца Фирдоуси, песни миннезингеров и песни, что выливались из глубины истинно поэтической души шаловливого Гейне. Много, даже слишком много рассказывала ей кормилица. Муза знает и наводящие ужас предания прапрабабушки Эдды, предания, в которых как бы слышится свист кровавых крыл проклятий. Она прослушала в четверть часа и всю восточную фантазию – «Тысячу и одну ночь».



Муза нового века еще дитя, но она уже выпрыгнула из колыбели; она полна стремления, но еще и сама не знает, к чему ей стремиться.

Она еще играет в своей просторной детской, наполненной сокровищами искусств и безделушками стиля рококо. Тут же и чудные мраморные изваяния греческой трагедии и римской комедии; по стенам развешаны, словно сухие травы, народные песни разных стран; стоит ей поцеловать их, и они пышно распустятся, свежие,

благоухающие! Вокруг нее раздаются бессмертные созвучия Бетховена, Глюка, Моцарта и других великих мастеров. На книжной полке теснятся произведения авторов, считавшиеся в свое время бессмертными, но на ней хватило бы места и для трудов всех тех, чьи имена передаются нам по телеграфной проволоке бессмертия, но замирают вместе с передачей телеграммы.

Много, слишком много она читала; она ведь родилась в наше время, многое придется ей забыть, и она сумеет позабыть.

Она еще не думает о своей песне, которая будет жить в новом веке, как живут теперь вдохновенные творения Моисея и золотые басни Бидпая о хитростях лиса. Она еще не думает о своей миссии, о своем будущем, она играет под шум борьбы наций, потрясающий воздух и образующий разные звуковые фигуры из гусиных перьев или из ядер – руны, которые трудно разгадать.

Она носит гарибальдийскую шапочку, читает Шекспира, и у нее мелькает мысль: «А ведь его еще можно будет ставить, когда я вырасту!» Кальдерон покоится в саркофаге своих произведений; надпись на нем говорит о его славе. Хольберга же – да, Муза ведь космополитка – она переплела в один том с Мольером, Плавтом и Аристофаном, но охотнее всего она читает все-таки Мольера.

Ей незнакомо то беспокойство, которое гонит горную серну, но и ее душа жаждет соли жизни, как горная серна – раздолья гор. В сердце ее разлит такой же покой, каким дышат сказания древних евреев, этих номадов, кочевавших в тихие звездные ночи по зеленым равнинам, и все же, когда она поет их, сердце ее бьется сильнее, чем билось оно у вдохновенного древнего воина с фессалийских гор.

Ну а насчет ее религии как? Она изучила все философские таблицы, сломала себе на «происхождении первоначальных сил» один из молочных зубов, но получила взамен новый, вкусила плода познания еще в колыбели и стала так умна, что бессмертие кажется ей гениальнейшей мыслью человечества.

Когда же настанет новый век поэзии? Когда выступит его Муза? Когда мы услышим ее?

В одно прекрасное весеннее утро она примчится на паровом драконе, с шумом пронесется по туннелям, по мостам над пропастями, или по бурному морю на пыхтящем дельфине, или по воздуху на птице Рок, созданной Монгольфье, и спустится на землю,

откуда и раздастся впервые ее приветствие человечеству. Откуда же? Не из земли ли Колумба, страны свободы, где туземцы стали гонимыми зверями, а африканцы – выючными животными, страны, откуда прозвучала «Песнь о Гайавате»? Или из земли наших антиподов, золотого острова в южном море, страны контрастов, где наша ночь является днем, где в мимозовых лесах поют черные лебеди? Или из той страны, где звенит и поет нам колосс Мемнона, хотя мы и не понимаем пения сфинкса пустыни? С каменноугольного ли острова, где со времен Елизаветы господствует Шекспир? Из отчизны ли Тихо Браге, где его не оценили, или из страны сказочных приключений, Калифорнии, где возносит к небу свою главу царь лесов – Веллингтоново дерево? Когда же заблестит звезда с чела Музы? Когда распустится цветок, на лепестках которого будет начертан символ красоты века, красоты форм, красок и благоухания?

«А какова будет программа новой Музы? – спросят сведущие депутаты от нашего времени. – Чего она хочет?»

Спросите лучше, чего она не хочет.

Она не хочет выступить тенью истекшего времени! Не хочет мастерить новые драмы из сданных в архив сценических эффектов или прикрывать убожество драматической архитектуры ослепительными лирическими драпировками! Она на наших же глазах шагнет в этой области так же далеко, как далеко шагнул мраморный амфитеатр от колесницы Фесписа. Она не хочет разбивать в куски естественную человеческую речь и потом лепить из них затейливые колокольчики с вкрадчивыми звуками времен состязаний трубадуров. Она не захочет признать поэзию дворянкой, а прозу мещанкой – она сделает и стихи и прозу равными по звучанию, полноте и силе. Не захочет она и вновь ваять старых богов из скал исландских саг! Те боги умерли, и у нового века нет к ним сочувствия; они чужды ему! Не захочет она и приглашать своих современников отдыхать мыслью в вертепах французских романов. Не захочет и усыплять их «обыкновенными историями»! Она хочет поднести современникам жизненный эликсир! Песнь ее и в стихах и в прозе будет сжата, ясна и богата содержанием! Биение сердца каждой национальности явится для нее лишь буквою в великой азбуке мирового развития, и она возьмет каждую букву с одинаковой любовью, составит из них слова, и они ритмично польются в гимне, который она воспоет своему веку!

Когда же наступит это время?

Для нас, еще живущих здесь, на земле, не скоро, а для улетевших вперед – очень скоро.

Скоро рухнет китайская стена; железные дороги Европы достигнут недоступных культурных архивов Азии, и два потока культуры сольются! Они зашумят, может быть, так грозно, что мы, престарелые представители современности, затрепещем как перед наступлением Рагнарёка, когда должны пасть старые боги. Но нам не следовало бы забывать, что эпохи и поколения человеческие должны сменяться и исчезать, что от них остаются лишь миниатюрные отражения, заключенные в рамки слова, которые и плывут по потоку вечности, словно цветы лотоса, говоря нам, что все эти поколения таких же людей, как и мы, только одетых иначе, действительно жили. Картина жизни древних евреев предстает со страниц Библии, греков – из «Илиады» и «Одиссеи», а нашей жизни? Спроси у Музы нового века, спроси у нее во время Рагнарёка, когда возникнет новая, преображенная Гимле.

Вся сила пара, всякое давление современности послужат для Музы рычагами! Мастер «Бескровный» и его юркие подручные, которые казались могучими господами нашего времени, явятся лишь слугами, черными рабами, украшающими залы, подносящими сокровища и накрывающими столы для великого празднества, на котором Муза, невинная, как дитя, восторженная, как молодая девушка, и спокойная, опытная, как матрона, зажжет дивный светоч поэзии, являющийся богатым переполненным человеческим сердцем, в котором горит Божественный огонь.

Привет тебе, Муза поэзии нового века! Привет наш вознесется и будет услышан, как бессловесный гимн червя, перерезанного плугом. Когда настанет новая весна, плуг опять пойдет взрезывать землю и перерезывать нас, червей, ради удобрения почвы для новой богатой жатвы, нужной грядущим поколениям.

Привет тебе, Муза нового века!

## Дева Льдов



### 1. Руди

Заглянем-ка в Швейцарию, в эту дивную горную страну, где по отвесным, как стены, скалам растут темные сосновые леса. Выберемся на ослепительные снежные склоны, опять спустимся в зеленые равнины, по которым торопливо пробегают шумные речки и ручьи, словно боясь опоздать слиться с морем и исчезнуть. Солнце палит и внизу, в глубокой долине, и в вышине, где нагромождены тяжелые снежные массы; с годами они подтаивают и сплавляются в блестящие ледяные скалы или катящиеся лавины и громоздкие глетчеры. Два таких глетчера возвышаются в широком ущелье под «Шрекхорном» и «Веттерхорном», близ горного городка Гриндельвальда. На них стоит посмотреть; поэтому в летнее время сюда наезжает масса иностранцев



со всех концов света. Они переходят высокие, покрытые снегом горы или являются снизу из глубоких долин, и тогда им приходится взбираться ввысь в продолжение нескольких часов. По мере того как они восходят, долина опускается все глубже и глубже, и они смотрят на нее сверху, точно из корзины воздушного шара. В вышине над ними, на горных выступах, виснут тяжелыми, плотными, дымчатыми занавесями облака, а внизу в долине, где разбросаны бесчисленные темные деревянные домики, еще светит солнце, и залитый его лучами зеленый клочок земли выделяется так ярко, что кажется почти прозрачным. Внизу воды шумят, бурлят и ревут, в вышине же мелодично журчат и булькают; ручейки выются по скалам, точно серебряные ленты.

По обеим сторонам дороги, ведущей вверх, расположены бревенчатые дома; при каждом – картофельный огородик; тут это необходимо: в каждом домике много ртов, целая куча ребят, а они-то есть мастера. И ребяташки ежедневно высыпают на дорогу и обступают туристов, и пеших, и приехавших в экипажах. Вся эта толпа малышей торгует изящно вырезанными из дерева домиками, моделями настоящих здешних домов, и другими безделушками. Малыши не смотрят на погоду – и в дождь, и в солнце они одинаково на своих местах.

Лет двадцать тому с небольшим стаивал тут иногда, но всегда в сторонке от других детей один маленький мальчуган. Он тоже выходил торговать, но стоял всегда с таким серьезным личиком и так крепко сжимал в руках корзинку с товарами, как будто ни за что не желал расставаться с ними. Именно эта серьезность крохотного мальчугана и привлекала к нему общее внимание. Его подзывали, и он почти всегда торговал счастливее всех своих товарищей, сам не зная почему. Повыше, на горе, жил его дедушка, который и вырезывал все эти изящные, прелестные домики. В хижине у них стоял старый шкаф, битком набитый разными резными вещами; там были и орешные щелкуны, и ножи, и вилки, и шкатулки, украшенные затейливою резьбой: завитушками, гирляндами и скачущими сернами. У любого ребенка разбежались бы глаза, но Руди – так звали мальчика – больше заглядывался на старое ружье, подвешенное к потолку. Дедушка сказал мальчику, что ружье будет со временем его,

но не раньше, чем он подрастет и окрепнет настолько, что сумеет справляться с такой вещью.

Как ни мал был Руди, ему уже приходилось пасти коз, и если уметь лазить, как козы, значит быть хорошим пастухом, то Руди был отличным. Он лазил даже повыше коз, взлезал за птичьими гнездами на самые высокие деревья. Большой смельчак был Руди, но улыбку на его лице видели лишь в те минуты, когда он прислушивался к шуму водопада или грохоту лавины. Никогда не играл он с другими детьми и сходил с ними, лишь когда дедушка высылал его продавать разные безделушки, что Руди не особенно-то было по вкусу. Он больше любил карабкаться один по горам или сидеть подле деда и слушать его рассказы о старине и о народе, живущем вблизи, в Мейрингене, откуда он сам был родом. Народ этот не жил тут с сотворения мира, рассказывал дедушка, но пришел сюда с севера, оставив там своих родичей, шведов. Такие сведения обогащали ум Руди, но он получал сведения и иным путем – от домашних животных. У них была большая собака по имени Айола, принадлежавшая еще покойному отцу Руди, и кот. Последний-то и играл в жизни Руди особенно важную роль – он выучил мальчика лазить.

– Пойдем со мной на крышу! – говаривал кот самым ясным, понятным языком.

Дитя, еще не умеющее говорить, отлично ведь понимает и кур, и уток, и кошек, и собак; они говорят так же понятно, как и папаша с мамашей, но, чтобы понимать их, надо быть очень, очень маленьким! Тогда и дедушкина палка может заржать, стать лошадью, настоящею лошадью с головой, ногами и хвостом! Иные дети утрачивают такую понятливость позже, чем другие, и слынут поэтому неразвитыми, отстающими; о них говорят, что они чересчур долго остаются детьми. Мало ли ведь что говорят!

– Пойдем со мной на крышу, Руди! – вот первое, что сказал кот, и Руди понял. – Говорят, что можно упасть, – вздор! Не упадешь, если не будешь бояться! Иди! Одну лапку сюда, другую сюда! Упирайся передними лапками! Гляди в оба! И будь половчее! Встретится расщелина – перепрыгни, да держись крепко, как я!

Руди так и делал; оттого он часто и сиживал рядом с котом на крыше, но сиживал и на верхушках деревьев, и высоко на уступе скалы, куда даже кот не забирался.

«Выше! Выше! – твердили деревья и кусты. – Видишь, как мы лезем вверх, как крепко держимся, даже на самом крайнем, остром выступе!»

И Руди часто взбирался на гору еще до восхода солнца и пил там свое утреннее питье – свежий, крепительный горный воздух, питье, которое может изготавливать лишь сам Господь Бог, а люди только могут прочесть его рецепт: «Свежий аромат горных трав да запах мяты и тмина, растущих в долинах». Все тяжелые частицы воздуха впиваются облаками, которые ветер расчесывает потом гребнем сосновых лесов, и вот воздух становится все легче, все свежее! Так вот какое питье пил Руди по утрам.

Солнечные лучи, благодатные дети солнца, целовали Руди в щечки, а Головокружение стояло настороже, но не смело приблизиться. Ласточки же, жившие под крышей дедушкиного дома – там лепилось по крайней мере семь гнезд, – вились над Руди и его стадом и щебетали: «Вы и мы! Мы и вы!» Они приносили Руди поклоны из дому, между прочим, даже от двух кур, единственных птиц в доме, с которыми Руди, однако, не водился.

Как ни мал он был, ему уже доводилось путешествовать на своем веку, и не близко для такого малыша. Родился он в кантоне Вале, по ту сторону гор, и был перенесен сюда еще годовалым ребенком. А недавно он ходил пешком к водопаду Штауббах, который развеивается в воздухе серебряною вуалью перед лицом вечно снежной, ослепительно белой Юнгфрау. Побывал Руди и на большом Гриндельвальдском плетчере, но с этим связана грустная история! Мать его нашла там себе могилу; там же, по словам деда, маленький Руди потерял свою детскую веселость. Когда мальчику не было еще года, он больше смеялся, чем плакал, писала о нем деду мать, но с тех пор, как ребенок полежал в ледяном ущелье, он словно переродился душевно. Дед не любил много говорить об этом происшествии, но все соседи знали о нем.

Отец Руди был почтальоном; большая собака Айола постоянно сопровождала его в переходах через Симплон к Женевскому озеру. В долине Роны, в кантоне Вале, и теперь еще жили родственники Руди по отцу. Дядя его был отважным охотником за сернами и известным проводником. Руди был всего год, когда отец его умер, и матери захотелось переселиться с ребенком к своим родным в Бернское

нагорье. Недалеко от Гриндельвальда жил ее отец, занимавшийся резьбой по дереву и с избытком зарабатывавший себе на прожиток. Пустилась она с ребенком в путь в июне вместе с двумя охотниками за сернами. Путники уже прошли наибольшую часть дороги, перебрались через гребень горы на снежную равнину, и молодая женщина уже видела перед собою родную долину с разбросанными по ней знакомыми домиками; оставалось только одолеть еще одну трудность – перейти большой плетчер. Недавно выпавший снег прикрыл расщелину, хоть и не доходившую до самого дна пропасти, где шумела вода, но все же довольно глубокую. Молодая женщина, несшая на руках ребенка, поскользнулась, провалилась в снег и исчезла. Спутники не слышали даже крика, услышали только плач малютки. Прошло больше часа, пока им удалось принести из ближайшей хижины веревки и шесты, с помощью которых с большими усилиями и извлекли из расщелины два трупа, как им показалось сначала. Были пущены в ход все средства, и ребенка удалось вернуть к жизни, но мать умерла. Старый дедушка принял в дом вместо дочери только внука, ребенка, который прежде больше смеялся, чем плакал, а теперь, казалось, совсем разучился смеяться. Перемена эта произошла в нем, верно, оттого, что он побывал в расщелине плетчера, в холодном ледяном царстве, где – по поверью швейцарских крестьян – осуждены томиться души грешников до дня Страшного суда.

Словно быстрый водопад, застывший в воздухе неровными зеленоватыми стеклянными глыбами, блещет плетчер; одна ледяная скала громоздится на другую. А в глубине пропастей режут бурные потоки, образовавшиеся из растаявшего снега и льда. Глубокие ледяные пещеры и огромные ущелья образуют там дикий хрустальный дворец – обиталище Девы Льдов, королевы плетчеров. Губительная, уничтожающая Дева – наполовину дитя воздуха, наполовину могущественная повелительница вод. Она перелетает с одного острого ледяного уступа горных вершин на другой с быстротой серны, тогда как смелейшие горные проводники должны вырубать себе здесь во льду ступеньки. Она переплывает режущие потоки на тонкой сосновой веточке, перепрыгивает со скалы на скалу, причем ее длинные, белые как снег волосы и зеленовато-голубое, блестящее, как воды альпийских озер, платье развеваются по ветру.

– Раздавлю, уничтожу! Здесь мое царство! – говорит она. – У меня украли прелестного мальчика; я уже отметила его своим поцелуем, но не успела зацеловать до смерти. Теперь он опять между людьми, пасет коз на горах, карабкается вверх, все вверх, хочет уйти от других, но от меня ему не уйти! Он мой, я доберусь до него!



И она просила Головокружение помочь ей, – самой ей становилось летом слишком душно среди горной растительности, где благоухает

мята. Головокружения же носятся тут целою стаей – их ведь много сестер, – Дева Льдов и выбрала из них самую сильную, властную и в домах, и на вольном воздухе. Головокружения сидят по перилам лестниц и по перилам башен, бегают белками по краю скал, спрыгивают, плывут по воздуху, как пловцы по воде, и заманивают своих жертв в пропасть. И Головокружения, и Дева Льдов хватают людей, как полипы хватают все, что мимо них проплывает. Так вот Головокружению-то Дева Льдов и поручила поймать Руди.

– Да, поди-ка поймай его! – сказало Головокружение. – Я не могу! Дрянной кот обучил его всем своим штукам! Ребенка этого охраняет какая-то сила, что отталкивает меня. Я не могу схватить этого мальчишку, даже когда он висит, зацепившись за ветку, над пропастью, а уж как бы мне хотелось пощекотать его под подошвами или спустить кувырком в воздух! Да нет, не могу!

– Вдвоем-то мы сможем! – говорила Дева Льдов. – Ты или я! Я, я!

– Нет! Нет! – зазвучало им в ответ, словно в горах раздалось эхо колокольного звона. Это пели хором другие духи природы, кроткие, любящие, добрые дети солнца. Они как венком окружают вечернею порой горные вершины, паря на своих распростертых розовых крыльях, пламенеющих по мере того, как солнце садится, все ярче и ярче. Люди называют это сияние гор «альпийским заревом». Когда же солнце сядет, они взлетают на самую вершину и ложатся на снег спать до восхода солнца. Они больше всего любят цветы, бабочек и людей. Из последних же они избрали и особенно полюбили Руди. – Не поймать вам его! Не поймать! – говорили они.

– Ловила я людей и постарше и посильнее! – отвечала Дева Льдов.

Тогда дети солнца затягивали песнь о путнике, с которого вихрь сорвал плащ. Оболочку только унес ветер, а не самого человека! Вы, дети грубой силы, можете схватить его, но не удержать! Он сильнее духов, даже сильнее нас! Он взбирается на горы выше солнца, нашей матери! Он знает вещее слово, которому покорны ветер и воды, так что они должны служить и повиноваться ему! Не властна над ним ваша тяжкая сила, стремится он ввысь, и вам его не сдержать.

Голоса их звенели в воздухе, словно колокольчики.

И каждое утро светили солнечные лучи в единственное окошечко дедушкиного домика на тихого ребенка. Дети солнца целовали его; они хотели оттаять, согреть его щеки, стереть с них ледяные поцелуи

владычицы плетчеров, которые она запечатлела на них в то время, как ребенок лежал в объятиях умершей матери в глубокой ледяной расщелине, откуда спасся как бы чудом.

## 2. В новую семью

Руди исполнилось восемь лет. Дядя его по отцу, живший по ту сторону гор, в долине Роны, предложил взять мальчика к себе, – у него ребенок мог лучше подготовиться зарабатывать себе средства к жизни. Дед понял это и согласился расстаться с внуком.

И Руди собрался в путь. Со многими приходилось ему прощаться, не считая дедушки; прежде всего со старушкой Айолою.

– Отец твой был почтальоном, а я почтовой собакой! – сказала она Руди. – Мы то и дело подымались в гору да спускались вниз; я знаю и собак и людей по ту сторону гор. Я не болтлива по природе, но теперь нам уж немного времени остается беседовать друг с другом, так я на этот раз дам волю языку. Расскажу я тебе историю, которая все бродит у меня в голове. Я ее никак не пойму, не поймешь и ты, да и не надо! Вывела же я из нее вот что: не всем собакам и не всем людям досталась на свете одинаковая доля! Не всем суждено нежиться у господ на коленях да лакать молоко! Я к этакому житью не привыкла, но видела раз такую собачку. Она ехала в почтовом дилижансе, занимала пассажирское место! Дама, госпожа ее, – или, вернее, та дама, чьею госпожою была сама собачонка, – везла с собою бутылку молока и поила им собачку, кормила ее сладкими сухариками, а собачонка даже не изволила жрать, только нюхала, и госпожа подъедала их сама. А я бежала по грязи рядом с почтовой каретой, голодная, как настоящая собака, и думала свою думу. «Непорядок!» – думала я, да мало ли о чем приходится сказать то же, если приглядеться ко всему хорошенько! Дай тебе Бог нежиться на коленях да ездить в карете, но зависит-то это не от нас самих! Мне вот, сколько я ни лаяла, не удалось этого добиться!

Вот что сказала Руди Айола, и мальчик обнял собаку за шею и поцеловал прямо в морду. Потом он взял на руки кота, но этот ошетинился.



– Теперь мы с тобой больше не товарищи, а царапать тебя я все-таки не хочу! Карабкайся себе по горам, как я тебя учил! Только не бойся, что упадешь, и – не упадешь никогда! – И кот убежал – ему не хотелось, чтобы Руди заметил, как он огорчен, а это так и светилося в его глазах.

Куры бегали по полу; одна была бесхвостая; какой-то путешественник, мнивший себя охотником, принял ее за хищную птицу да и отстрелил ей хвост.

– Руди-то собирается за горы! – сказала одна курица.

– У него вечно спешка! – сказала другая. – А я страсть не люблю прощаться! – И обе засеменили дальше.

С козами он тоже простился, и они жалобно заблеяли: «И мы-ы! И мы-ы!»

Очень это грустно было!

Случилось как раз, что двум известным проводникам из окрестности понадобилось побывать по ту сторону гор; с ними-то и отправился Руди пешком. Это был большой переход для такого малыша, но силы у него были, смелости тоже не занимать было стать!

Ласточки проводили их недалеко, распевая: «Вы и мы! Мы и вы!»

Дорога шла над быстрою Лючиною, которая разбивается здесь на множество мелких потоков и быстро несется вниз из черного ущелья Гриндельвальдского плетчера. Вместо мостов служат тут перекинутые с одного берега на другой деревья и каменные глыбы. Вот путники достигли Эллернвальда и стали подыматься вверх, как раз неподалеку от того места, где плетчер уже отделился от каменистой почвы горы. Дальше пошли по самому плетчеру, то шагая прямо по ледяным глыбам, то обходя их. Но Руди и ходок был хороший, и карабкаться мастер. Глаза его так и блестели от удовольствия, и он так твердо ступал своими крепкими ногами, обутыми в подкованные башмаки, точно хотел отпечатать по дороге свои следы. Черный землистый осадок, оставленный горными потоками, придавал плетчеру вид покрытого штукатуркою, из-под которой проглядывал местами зеленовато-голубой хрустальный лед. То и дело приходилось обходить маленькие пруды, образовавшиеся между нагроможденными одна на другую ледяными глыбами. Встретился им также по пути огромный камень, качавшийся на краю расщелины; вдруг он потерял равновесие

и с грохотом покатился вниз; эхо гулко прокатилось по глубоким горным ущельям.

Путники все подымались да подымались. Самый глетчер напоминал бурно разлившуюся и внезапно застывшую беспорядочно нагроможденными одна на другую ледяными массами реку, сжатую между отвесными скалами. Руди вспомнилось на минуту, как он, по рассказам, лежал вместе с матерью в глубине одной из этих дышащих холодом расщелин. Но затем мысли его приняли другой оборот – история эта была для него не диковиннее всех остальных, слышанных им в таком изобилии. В иных местах, где, по мнению спутников Руди, такому мальчугану трудно было карабкаться вверх, они протягивали ему руки, но он отказывался от помощи, говоря, что не устал, и держался на скользкой ледяной поверхности, как серна. Путники шли то по обнаженным скалам, то пробирались между огромными голыми камнями, то по низенькому сосновому кустарнику, то опять шли по зеленой траве; природа вокруг них все менялась, рисуя им все новые и новые виды. Кругом подымались снежные горы, которые знает тут каждый ребенок: Юнгфрау, Менх и Эйгер. Никогда еще не случилось Руди взбираться на такую высоту, где расстилалось безбрежное снежное море. В самом деле, куда ни взглянешь – всюду неподвижные снежные волны, с которых ветер как будто срезал верхушки и разбросал их по сторонам отдельными пенистыми клочьями. Глетчеры стояли тут такую тесною толпой, словно хороводы водить собирались, если можно так выразиться. И каждый глетчер являлся хрустальным дворцом Девы Льдов; здесь ее царство; ее воля здесь закон! А воля ее – губить людей. Солнце светило ярко, снег сверкал ослепительною белизной и казался усеянным голубоватыми блестящими брильянтиками. Мертвые насекомые, преимущественно бабочки и пчелы, местами густо устилали снежный покров; они отважились подняться слишком высоко – а может быть, их занесло в это безжизненное царство холода ветром – и погибли. На Веттерхорне висело что-то вроде свитка тонко расчесанной черной шерсти – грозное облако. Оно опускалось все ниже и ниже; что оно предвещало? Ураган, «фен», как называют здесь ужасный южный ветер. Впечатления этого путешествия навсегда врезались в память Руди: и ночлег в горах, и подъем, и глубокие ущелья, в которых вода точила каменные плиты с незапамятных времен.

Покинутая каменная постройка по ту сторону снежного моря дала путникам приют на ночь. Они нашли тут древесный уголь и сосновые ветки. Запылал костер, путники устроились на ночь как могли удобнее. Оба проводника уселись возле огня, курили трубки и потягивали из кружек теплое, пряное питье, которое сами приготовили. Руди тоже получил свою порцию и сидел, прислушиваясь к рассказам о таинственных существах, населяющих Альпы, о диковинных гигантских змеях, живущих в глубоких озерах, о ночных привидениях, переносящих сонных людей по воздуху в дивный плавающий город Венецию, о диком пастухе, пасущем своих черных овец на горных пастбищах. Если никому никогда и не удавалось увидеть их, то, по крайней мере, часто слышали звон колокольчиков и отдаленное дикое блеяние стада. Руди с любопытством, но без всякого страха – его он не знал – стал прислушиваться, и вдруг ему почудилось, что он действительно слышит это таинственное, глухое блеяние... Да, оно слышалось все явственнее и явственнее! Мужчины тоже услышали его, смолкли, прислушались и сказали Руди, чтобы он постарался не засыпать.

Это начался «фен», дикий ураган, который несется с гор в долины и в своем неистовстве ломает деревья, как тростинки, переносит с одного берега рек на другой целые хижины, словно шахматные фигурки.

Прошел час, проводники сказали Руди, что теперь все кончилось и он может уснуть. Усталый мальчуган заснул как по приказу.

Рано утром опять пустились в путь. В этот день солнце осветило для Руди новые, незнакомые ему горы, плетчеры и снежные равнины. Они уже вступили в кантон Вале, перевалив через горный хребет, который виднелся из Гриндельвальда, но до нового жилища Руди было еще далеко. Иные ущелья, иные горные лужайки, леса и горные тропинки развertyвались перед взором мальчика; показались иные дома, иные люди. И какие люди! Уроды с жирными, желтыми лицами, с зобастыми шеями! Это были кретины. Они еле таскали ноги и глупо поглядывали на пришельцев. Особенным безобразием отличались женщины. Такие ли люди ждут Руди на его новой родине?

### 3. Дядя

Слава богу! В доме своего дяди Руди увидал таких же людей, к каким привык на родине. Тут был всего-навсего один кретин, слабоумный бедняга Саперли. Бедные создания эти распределены в кантоне Вале по домам жителей и проводят в каждом по очереди месяца по два. Когда явился Руди, Саперли жил как раз у его дяди.

Дядя был еще сильный, ловкий охотник и, кроме того, бондарь по ремеслу. Жена его была маленького роста, но очень живая, подвижная женщина с каким-то птичьим лицом: глаза как у орлицы, шея длинная, покрытая пушком.

Все было тут ново для Руди – и одежда, и нравы, и обычаи, даже самый язык. Но ухо ребенка скоро освоилось с ним, и мальчик стал понимать окружающих. Все здесь показывало достаток и благосостояние, куда большие, нежели знал Руди в доме деда: горница, в которой помещалась семья, была гораздо просторнее, стены изукрашены рогами серн и отполированными ружьями, и над дверями висело изображение Божьей Матери, окруженное венком из свежих альпийских роз и освещенное лампадой.

Дядя слыл, как уже сказано, за отважнейшего охотника и лучшего проводника в окрестности. Руди скоро сделался баловнем семьи, хотя здесь и до него был уже таковой – старый пес. Он не годился больше ни к чему, но когда-то был прекрасною охотничьею собакой. Хозяева помнили это и смотрели на него чуть ли не как на члена семьи, так что собаке жилось отлично. Руди первым долгом погладил ее, но она не так-то скоро подружилась с «чужим», каким явился для нее Руди. Мальчик, впрочем, скоро пустил прочные корни в сердцах всех домашних.

– Не так-то уж худо у нас, в кантоне Вале! – говаривал дядя. – Серны у нас еще водятся; они вымирают медленнее, чем каменные бараны. И в наши времена живется много лучше, чем в старину. Как там ни расхваливают ее, наше время все же лучше. В нашем мешке прорезали дырку, впустили в нашу замкнутую долину свежего воздуха! На смену старому, отжившему всегда является новое и лучшее!

Так говаривал дядя, а если уж очень разговорится, то расскажет, бывало, и о своих детских годах, и о той поре, когда еще был в цвете лет отец его. Вот в те-то времена, по его рассказам, Вале и был «глухим мешком», набитым больными жалкими крестинами.

– Но вот явились французские солдаты. То-то были заправские доктора! Живо уничтожили болезнь, да и людей вместе. Да, они умели драться на разные лады! И девушки их умели не хуже! – И дядя, смеясь, подмигивал своей жене, француженке родом. – Французы так ударяли по камням, что камни поддавались! Они пробили в скалах Симплонский проход, проложили такую дорогу, что я могу сказать теперь трехлетнему ребенку: ступай в Италию, только держись проезжей дороги! – И дядя затягивал французскую песню и провозглашал «ура» Наполеону Бонапарту.

Тут Руди впервые услышал о Франции и о Лионе, большом городе на Роне, в котором дяде его случалось бывать.

В несколько лет из Руди должен был выработаться искусный охотник за сернами – задатки в нем для этого были, по словам дяди. И дядя принялся учить мальчика держать в руках ружье, прицеливаться и стрелять, брал его с собою на охоту и заставлял пить теплую кровь серны, чтобы не знаять головокружения. Учил он также племянника узнавать время, когда скатятся лавины в различных частях гор – в полдень или вечером, смотря по тому, когда на них светило солнце; учил наблюдать за сернами и учиться у них прыгать: падать прямо на ноги и стоять твердо, а если на скалистом выступе не окажется опоры для ног, удерживаться локтями, пускать в дело каждый мускул в ляжках и икрах, впиваться в скалы, если понадобится, шейными позвонками! Серны умны и выставляют стражей, но охотник должен быть умнее их и заходить с подветренной стороны. И дядя умел-таки обманывать серн: вешал на свою альпийскую палку плащ и шляпу, и серны принимали чучело за человека. Эту штуку дядя и применил раз на охоте, в которой участвовал и Руди.

Горная тропинка была очень узка, можно даже сказать, что ее не было вовсе, а был лишь узкий карниз, лепившийся по краю скалы над пропастью. Снег, покрывавший его, наполовину растаял, камни осыпались под ногами; дядя растянулся во всю длину и пополз вперед на животе. Каждый камешек, отрывавшийся от скалы, падал, прыгал и катился вниз, перепрыгивая с уступа на уступ, пока не успокаивался в бездне. Руди остался стоять шагах в ста от дяди, на последнем прочном выступе скалы. Вдруг он увидал, что в воздухе парит над охотником огромный ягнятник, видимо собиравшийся сбить ползущего червяка ударами крыльев в бездну и там пожрать его. А

дядя не видел ничего, кроме серны да козленка, по ту сторону ущелья. Руди зорко следил за птицей, он понял ее намерение и держал ружье наготове... Вдруг серна сделала скачок – дядя выстрелил, и животное было пронизано пулей; козленок же убежал, как будто всю жизнь свою только и делал, что спасался от погони. Огромная птица, испуганная выстрелом, улетела, и дядя только от Руди узнал о грозившей ему беде.

Веселые, довольные возвращались они домой; дядя насвистывал песенку, знакомую ему еще с детских лет; вдруг невдалеке послышался какой-то странный шум. Они оглянулись и увидели, что снежный покров отделяется от вершины горы, вздувается, точно широкий кусок холста от ветра, и несется вниз по склону. Хребты снежных волн трещали и ломались в куски, словно мраморные плиты, распускались в пену и бешено стремились вниз с грохотом, подобным раскатам грома. Это была лавина, катившаяся хоть и не прямо на Руди и его дядю, но близко-близко.

– Держись крепче, Руди! – закричал дядя. – Изо всех сил!

И Руди схватился за ближайший древесный ствол; дядя вскарабкался на одну из ветвей и тоже держался крепко. Лавина катилась в нескольких саженях от них, но ураган, поднявшийся вокруг, ломал в щепки кусты и деревья, как тонкие тростинки, и разбрасывал их во все стороны. Руди был брошен на землю; ствол, за который он держался, как будто перепилили, и вершину дерева отбросило далеко в сторону. Между изломанными ветвями лежал дядя с раздробленною головой; рука его была еще тепла, но лицо неузнаваемо. Руди стоял над ним бледный, дрожащий. Это был первый страшный испуг в его жизни; тут он впервые пережил час ужасной опасности.



Поздно вечером принес он весть о смерти дяди в его дом, который отныне становился домом печали. Тетка стояла без слез, не говоря ни слова, и, только когда труп принесли, горе ее вырвалось наружу. Бедный кретин заполз в свою постель, и целый день его не было видно нигде; только вечером он подошел к Руди.

– Напиши мне письмо! Саперли не умеет! Саперли отнесет его на почту!

– Письмо? – переспросил Руди. – От тебя? Кому?

– Господу Христу!

– Кому?!

Идиот, как они звали кретина, посмотрел на Руди глазами, полными слез, сложил руки и набожно, торжественно произнес:

– Иисусу Христу! Саперли хочет послать Ему письмо, попросить Его, чтобы умер Саперли, а не хозяин!

Руди пожал ему руку.

– Письмо не дойдет! Оно не вернет нам дядю!

Но трудно было Руди объяснить крестину, почему это невозможно.

– Теперь ты опора дома! – сказала тетка, и Руди стал ею.

#### 4. Бабетта

Кто первый стрелок в кантоне Вале? Спроси у серн, они знают. «Берегись Руди!» – сказали бы они. А кто первый красавец? «Руди!» – сказали бы девушки, но они не говорили: «Берегись Руди!» Не говорили этого и степенные матушки: он кланялся им так же приветливо, как и молоденьким дочкам. Да, красивый он был парень! Смелый, веселый, смуглый, с белыми, блестящими зубами и черными как уголь сверкающими глазами. И всего-то ему было двадцать лет! Он не боялся купаться в ледяной воде, плавал как рыба, карабкался по горам как никто, лепился к отвесным скалам не хуже улитки, – мускулами и жилами он похвалиться мог. Прыгать он тоже умел; первым его учителем был ведь кот, а потом серны. Лучшим, надежнейшим проводником тоже считался Руди, и этим занятием он мог бы составить себе целое состояние. Бондарным же ремеслом, которому также научил его дядя, он не занимался: его страстью была охота за сернами, но и это занятие приносило доходы. Руди считался поэтому «хорошою партией» для любой девушки; только бы он не занесся слишком высоко! Отличался он и в танцах, да так, что о красавце танцоре бредили и во сне, и наяву все девушки.

– А меня он поцеловал во время танцев! – сказала дочка школьного учителя Аннетта своей лучшей подруге. Такие вещи трудно ведь хранить про себя: они так вот сами и бегут с языка, как песок из дырявого мешка! Скоро все узнали, что скромник Руди целуется в танцах, а он хоть поцеловал, да не ту, которую ему больше всего хотелось.

– Ишь его! – сказал один старый охотник. – Он поцеловал Аннетту! Начал с буквы А и, верно, перецелует всю азбуку.

Один поцелуй в танцах – вот и все; больше болтать о Руди было нечего. Но он хоть и поцеловал Аннетту, а сердце его было занято не ею.



Возле города Бе, в тени ореховых деревьев, на берегу быстрого горного потока, жил богатый мельник. Занимал он большой дом, в три этажа, с маленькими башенками, обшитый тесом и крытый жестяными листами, так и горевшими при солнечном и лунном свете. На самой большой башне флюгером служило яблоко, пронзенное блестящею стрелою, – в память о выстреле Вильгельма Телля. Мельница тоже смотрела такою нарядною и красивою, что так и просилась на картинку или в описание. Но дочку мельника нельзя было ни нарисовать, ни описать! Так, по крайней мере, сказал бы Руди, и все-таки образ ее был нарисован в его сердце. Глазки ее зажгли в нем целое пламя, и вспыхнуло оно вдруг, внезапно, как вспыхивает и всякий пожар. Удивительнее же всего было то, что сама-то дочка мельника, красotka Бабетта, и не подозревала о пожаре, который зажгла: дай бог, чтобы она обменялась с Руди парой слов!

Мельник был богат, и потому Бабетта сидела очень высоко! Но нет такой высоты, на которую бы нельзя было взобраться, думалось Руди. Надо карабкаться да не думать о том, что упадешь, и не упадешь! Этою мудростью он запасся еще в доме у бабушки.

И вот Руди понадобилось побывать в Бе, а туда было недалеко – целое путешествие! Железной дороги в то время еще не существовало. От Ронского плетчера до подножия Симплонской горы, между многочисленными и разнообразными горными высотами, тянется широкая долина Вале; по ней несется могучая река Рона, которая часто выходит из берегов и катит свои волны по полям и дорогам, разрушая на своем пути все. Между городами Сьоном и Сен-Морисом долина делает изгиб и близ самого Сен-Мориса становится до того узкою, что на ней только и остается место для русла реки да для узкой проезжей дороги. Ветхая сторожевая башня кантона Вале, который здесь оканчивается, стоит на горном склоне и смотрит через каменный мост на таможду, что на другом берегу. Там уже начинается кантон Во, и ближайший город тут – Бе. Тут путник вступает в роскошную плодородную область; идешь точно по саду, усаженному каштанами и ореховыми деревьями; там и сям поднимаются кипарисы и гранатовые деревья; здесь совсем юг, словно попал в Италию.

Руди добрался до Бе, уладил свои дела, потом стал разгуливать по городу, присматриваясь к людям, но, увы! ему не встретился даже ни

один работник с мельницы, не то что сама Бабетта. Не того он ожидал!

Свечерело, воздух был напоен благоуханием тмина и липового цвета; на поросшие зелеными лесами горы была как будто наброшена сияющая голубоватая дымка; стояла тишина, но не сонная или мертвая, нет! Вся природа как будто притаила дыхание, притихла, словно позируя перед голубым небесным сводом, на котором должна была появиться ее фотография. Там и сям среди деревьев и по зеленому полю возвышались столбы, поддерживавшие телеграфную проволоку, проведенную через эту тихую долину. К одному из этих столбов прислонился какой-то предмет, до того неподвижный, что его можно было принять за обрубок дерева, но это был Руди. Он стоял не шевелясь, притаив дыхание, как и все окружающее. Он не спал и подавно не умер, но как по телеграфной проволоке часто пробегают известия о великих мировых событиях или о жизненных моментах, полных значения для какого-нибудь отдельного человека, а самая проволока не выдает этого ни малейшим колебанием, так и в мозгу Руди проносились мысли, мощные, всепоглощающие мысли о счастье всей его жизни, ставшие отныне его постоянными мыслями, сам же он оставался неподвижным. Глаза его были прикованы к одной точке, к огоньку, мелькавшему между листвою деревьев: он горел в светелке мельниковой дочки. Глядя на неподвижного Руди, можно было подумать, что он застыл, прицеливаясь в серну, но он сам в эту минуту был серною; серна тоже стоит иногда в одном месте, будто изваянная из скалы, и вдруг внезапно, услышав шум от скатившегося камня, делает прыжок и мчится прочь. То же было и с Руди, но его заставила встрепенуться мысль.

«Никогда не надо падать духом! – сказал он самому себе. – Надо прямо отправиться на мельницу! Поздороваться с мельником и Бабеттою! Не упадешь, если сам о том не думаешь! Должна же Бабетта увидеть меня, раз я буду ее мужем!»

И Руди засмеялся, ободрился и пошел на мельницу; он знал, чего хотел, а хотел он жениться на Бабетте.

Желтоватая вода шумно бежала по своему руслу; к ней свесились ветвями ивы и липы; Руди прошел по тропинке, но, как и тот добрый молодец, о котором поется в детской песенке,

К дому мельника пришел,  
Никого там не нашел,  
Кроме серого кота!

И тут тоже на лестнице стояла кошка, изгибала спинку и мяукала, но Руди не до нее было, и он постучал в дверь. Никто не отозвался, никто не отпер. «Мяу!» – сказала кошка. Будь Руди маленьким, он бы понял ее речь: «Никого нет дома!» – а вот теперь ему пришлось идти справляться о хозяевах на мельнице. Там ему сказали, что хозяин уехал в город Интерлакен – «inter lacus»<sup>[20]</sup>, Междуозерный, как объяснял школьный учитель, ученый отец Аннетты. Так вот туда-то и отправились мельник с Бабеттою; завтра там начинается праздник, большое состязание стрелков, и будет длиться целую неделю. На этот праздник стекаются люди из всех немецких кантонов.

Бедняга Руди! Не вовремя попал он в Бе. Приходилось ему повернуть обратно; так он и сделал – направился мимо городков Сен-Морис и Сьон к родной долине, родным горам, но духом не пал. На следующее утро солнце только еще встало, а уж расположение его духа давно было в зените; оно, впрочем, никогда и не закатывалось.

«Бабетта в Интерлакене, в нескольких днях ходьбы отсюда! – сказал он сам себе. – Далеко, если идти по проторенной дороге, но куда ближе, если пуститься напрямик через горы, а это и есть настоящая дорога для охотника за сернами. Да она и знакома мне, я уже ходил по ней: там за горами моя старая родина, там я жил ребенком у дедушки!.. Так в Интерлакене праздник стрелков! Ну, я хочу получить первый приз, хочу быть там первым, как и в сердце Бабетты, когда познакомлюсь с нею!»

С легонькой котомкой за плечами, в которой лежало его праздничное платье, с ружьем и охотничьей сумкою пустился Руди по горам, самую короткую дорогой. И все же путь ему предстоял неблизкий! Но праздник ведь только что начался и продлится еще больше недели, а все это время, как сказали Руди рабочие, мельник с дочкой останутся у своих родственников в Интерлакене. Руди и пошел через Гемми, намереваясь спуститься в Гриндельвальдскую долину.

Весело, бодро шагал он, впивая в себя свежий, легкий, живительный горный воздух. Долина опускалась все плубже и плубже, горизонт все расширялся; вот уже стали попадаться снежные вершины, и скоро он вступил в область снегов. Руди был знаком тут каждый уступ, каждая вершина; он направился прямо к Шрекхорну, высоко подымавшему к небу свой словно обсыпанный мукой каменный перст.

Наконец Руди перешел хребет. Зеленые пастбища спускались к его родимой долине; воздух был легкий, на душе у него тоже было легко; гора и долина были убраны цветами и зеленью; сердце Руди билось от переполнявшего его чувства юношеской радости. Старость никогда не придет, смерть тоже! Жить, царствовать, наслаждаться! Руди чувствовал себя свободным, легким, как птица! Ласточки сновали над ним, щебеча, как и во времена его детства: «Вы и мы! Мы и вы!» Все в природе было полно жизни и радостного движения.

Внизу расстилался бархатисто-зеленый луг с разбросанными по нему темными деревянными домиками; река шумела и гудела. Руди смотрел на плетчер, на его зеленоватые хрустальные края, выделявшиеся на грязном снегу, на глубокие трещины, смотрел на верхний и на нижний плетчер. До слуха его доносился звон церковных колоколов, точно приветствовавших его возвращение на старую родину. Сердце Руди забилося сильнее, расширилось и переполнилось воспоминаниями до того, что Бабетта на минуту совсем исчезла в нем.

Он опять шел тою же дорогою, на которой стаивал, бывало, мальчиком вместе с другими ребятишками и продавал резные деревянные домики. Вон там, за соснами, виднеется еще домик его дедушки; в нем живут теперь чужие. Ребятишки сбежались на дорогу, желая продать ему что-нибудь; один мальчуган протянул ему альпийскую розу, и Руди взял ее, как добрый знак, подумав при этом о Бабетте. Скоро он перешел мост, переброшенный через слившиеся вместе два рукава Лючины; лиственные деревья попадались все чаще, ореховые были уже так высоки и густы, что давали тень. И вот наконец Руди увидал развевающийся флаг – белый крест на красном поле, флаг швейцарцев и датчан. Перед ним лежал Интерлакен.

Красивее городка и быть не могло, как казалось Руди. В самом деле, швейцарский городок смотрел в своем праздничном наряде так приветливо, не то что другие провинциальные города, с кучей

громоздких каменных домов, тяжелые, неприветливые, надменные! Нет, тут деревянные домики как будто сами сбежали с горы в зеленую долину, к ясной, быстрой реке, и расположились в неправильный ряд, чтобы наскоро образовать улицу, да какую еще! Лучшую, прекраснейшую улицу в свете! Как она выросла с тех пор, как Руди видел ее в последний раз! Право, она как будто образовалась из всех тех хорошеньких деревянных домиков, которые вырезывал когда-то его дедушка и которыми был набит старый шкаф, только домики успели с тех пор подрасти, как и старые каштаны. Каждый домик был гостиницей; окна и балконы были изукрашены резьбой, крыши выдавались вперед. Домики смотрели такими чистенькими, нарядными; перед каждым красовался цветник, обращенный к широкой, вымощенной камнями проезжей дороге. Дома шли вдоль всей дороги, но лишь по одной стороне, а то бы закрылся вид на зеленый луг, на котором паслись коровы с колокольчиками на шее, звучавшими как и на горных альпийских пастбищах. Луг был окаймлен высокими горами, которые в самой середине вдруг расступались и открывали вид на сияющую снежную вершину Юнгфрау, первой красавицы Швейцарии.

Какое сборище разодетых иностранных господ и дам, какое смешение поселян из разных кантонов! На украшенных венками шляпах стрелков красовались номера, чтобы каждый знал свою очередь. Музыка, пение, звуки шарманок и духовых инструментов, крик и гам! Все дома и мосты были убраны щитами со стихотворными надписями и эмблемами; всюду развевались флажки и знамена, раздавался выстрел за выстрелом! Это было для Руди лучшей музыкою, и в эту минуту он совсем забыл про Бабетту, ради которой явился сюда.

Стрелки толпились перед мишенями. Руди тоже был в их числе и оказался самым счастливым: он без промаха попадал в самое яблочко.

— Кто этот чужой молодец? — спрашивали все.

— Он говорит по-французски, как говорят в кантоне Вале, но хорошо объясняется и по-нашему, по-немецки! — говорили некоторые.

— Он жил ребенком в окрестностях Гриндельвальда! — сказал кто-то.

Да, жизнь била в молодце ключом; глаза его блестели, глаз и рука были тверды, и он не давал промаха! Счастье придает смелости, а Руди и без того был смел. Скоро вокруг него образовался целый

кружок друзей, его чествовали, хвалили, и Бабетта почти совсем вылетела у него из головы. Вдруг на плечо его легла тяжелая рука и грубый голос спросил по-французски:

– Вы из кантона Вале?

Руди обернулся и увидал перед собою красное, довольное лицо толстого богача мельника из Бе. Он совсем закрывал своею широкою массивною фигурою тоненькую, миловидную Бабетту; скоро, однако, ее блестящие темные глазки выпянули из-за его спины. Толстый мельник был польщен, что лучшим стрелком, героем праздника, оказывался его земляк. Руди в самом деле был счастливцем: те, ради кого он явился сюда и кого в эту минуту почти позабыл, сами шли ему навстречу.

Случись двум землякам встретиться на чужбине, они сейчас узнают друг друга, сейчас разговоятся. Руди был здесь на празднике первым благодаря своей меткой стрельбе, а мельник был первым у себя в Бе благодаря своим денежкам и хорошей мельнице, и вот они теперь пожали друг другу руки, чего никогда не делали прежде. Бабетта тоже доверчиво протянула Руди ручку, и он так пожал ее, так поглядел на девушку, что она вся вспыхнула.

Мельник принялся рассказывать о том, какой длинный путь им привелось сделать, какие большие города они видели. Да, им таки пришлось попутешествовать! И на пароходе-то они плыли, и по железной дороге ехали, и в почтовых дилижансах!

– А я шел кратчайшею дорогою! – сказал Руди. – Я перешел через горы; высоконько это, но все-таки взобраться можно!

– Да и сломать себе шею! – сказал мельник. – И вы таки сломите ее себе со своею отвагой!

– Не думай, что упадешь, и не упадешь никогда! – ответил Руди.

Родственники мельника, у которых гостили он и Бабетта в Интерлакене, пригласили Руди зайти к ним – он ведь был земляком их родственников. Приглашение это было для Руди как раз кстати; счастье благоприятствовало ему, как и всегда тому, кто надеется на самого себя, памятуя, что «Господь Бог дает нам орехи, да не раскалывает их для нас!».

И вот Руди сидел в семейном кружке, у родственников мельника; все стали пить за здоровье первого стрелка, и Бабетта тоже чокнулась с Руди, а он горячо поблагодарил за тост.

Вечером все отправились гулять по красивой дороге, окаймленной старыми ореховыми деревьями, мимо разукрашенных гостиниц. Но тут была такая давка и толкотня, что Руди пришлось предложить Бабетте руку. Он говорил ей, что ужасно рад встрече с земляками из кантона Во; кантоны Во и Вале ведь соседи! И он высказал свою радость так искренне, что Бабетта сочла долгом пожать ему за это руку. Так они шли рука об руку и болтали, точно старые знакомые. А презанимательная была эта миленькая красоточка Бабетта! Она вышучивала смешные и эксцентричные одеяния и манеры барынь-иностранок, и Руди находил, что все это выходило у нее премоило! Она ведь только шутила, а вовсе не имела в виду надсмехаться над людьми, – они могли быть очень и очень почтенными и даже милыми и любезными барынями! Бабетта хорошо это знала, у нее самой была крестная мать, такая же знатная дама, англичанка. Восемнадцать лет тому назад, когда Бабетту крестили, дама эта жила в Бе; она-то и подарила крестнице дорогую булавку, которую теперь Бабетта носила на груди. Крестная мать писала им два раза, а нынешний год они должны были опять свидеться с нею в Интерлакене, куда она собиралась приехать с двумя своими дочерьми, старыми девами, – им ведь уж было под тридцать, а самой Бабетте всего восемнадцать!

Хорошенький ротик все время был в движении, но все, что болтала Бабетта, казалось Руди необыкновенно важным, и он в свою очередь рассказал ей все, что было нужно: рассказал, как часто бывал в Бе, как знакома ему мельница, как часто он любовался на Бабетту – хотя она-то, вероятно, и не замечала его. Рассказал он и о своем последнем посещении мельницы, куда пришел с такими намерениями, которых не смел теперь и высказать, но не застал дома ни ее, ни отца ее и узнал, что они уехали далеко-далеко! Не так, однако же, далеко, чтобы нельзя было перелезть через стену, преграждавшую путь!

Да, он сказал ей все это и даже еще больше – сказал, что любит ее и что явился сюда... только ради нее, а вовсе не ради состязания!

Бабетта совсем притихла: уж очень много, пожалуй, даже слишком много, доверил он ей зараз!

Пока они гуляли, солнце село за высокие горы, но Юнгфрау еще сияла в огненном венце, окруженная темно-зеленою рамкою соседних лесов. Толпы людей безмолвно любовались величавою картиною; Руди с Бабеттой тоже засмотрелись.

- Нигде в свете не может быть лучше! – сказала Бабетта.
- Нигде! – отозвался Руди и взглянул на Бабетту. – Завтра я должен отправиться домой! – прибавил он немного спустя.
- Навести нас в Бе! – прошептала Бабетта. – Отец будет очень доволен!

## **5. По пути домой**

Нелегкую ношу пришлось тащить на себе Руди, возвращаясь на следующий день домой: три серебряных кубка, два великолепных ружья и серебряный кофейник! Ну, этот-то пригодится, когда Руди обзаведется домком! Но не это было главное. Кое-что поважнее нес он, вернее, несло его самого через горы. А погода между тем была сырая, серая, туманная, дождливая. Облака нависали над горами траурным крепом и заволакивали сияющие горные вершины. Из глубины леса доносились удары топора, и по горным склонам катились вниз деревья; сверху они казались щепками, а вблизи оказывались мачтовыми деревьями. Лючина однообразно шумела, ветер свистел, облака неслись по небу. Вдруг возле Руди очутилась молодая девушка; он заметил ее только тогда, когда она поравнялась с ним. Она тоже собиралась перейти через горы. В глазах ее была какая-то притягательная сила, заставлявшая смотреть в них; они были удивительно прозрачные, ясные, как хрустальные, и глубокие-глубокие, какие-то бездонные!..





— Есть у тебя милый? — спросил ее Руди; он теперь ни о чем другом и думать не мог.

— Никого у меня нет! — ответила она и рассмеялась; но видно было, что она лукавит. — Зачем же идти в обход? — продолжала она. — Возьмем левее, короче будет!

— Да, да, возьмем левее, да и угодим в расщелину! — сказал Руди. — Так-то ты знаешь дорогу? А еще в проводники набиваешься!

— Я знаю настоящую дорогу! — сказала она. — И у меня голова на плечах, а твоя осталась там внизу, в долине! Но здесь на высоте надо помнить о Деве Льдов! Говорят, она не очень-то благоволит к людям!

— Не боюсь я ее! — сказал Руди. — Ей пришлось выпустить меня из своих лап, когда еще я был ребенком, а теперь-то я и подавно сумею

уйти от нее!

Между тем стемнело, полил дождь, пошел снег, блестящий, ослепительно белый.

– Дай сюда руку! Я помогу тебе взбираться! – сказала девушка и дотронулась до его руки холодными как лед пальцами.

– Ты поможешь мне? – ответил Руди. – Я и без бабьей помощи давно умею лазить по горам!

И он ускорил шаги. Метель укутывала его словно саваном; ветер свистел, а позади охотника раздавались смех и пение девушки. Какие странные звуки! Должно быть, это было наваждение Девы Льдов. Руди много слышал об ее проделках в ту ночь в горах, когда он отправлялся из дедушкиного дома к дяде.

Снег поредел, облака остались внизу; он оглянулся назад – никого уже не было видно, но хохот и пение раздавались по-прежнему. Странно, не по-человечески звучали они!

Наконец Руди достиг высочайшей горной площадки, откуда уже начинался спуск в долину Роны; тут он увидел в той стороне, где лежит долина Шамуни, на узкой голубой полоске неба, проглянувшей из облаков, две ясные звездочки. Руди вспомнилась Бабетта, он стал думать о ней, о себе самом, о своем счастье, и на сердце у него стало так тепло!

## **6. В гостях у мельника**

– Вот так барские вещи принес ты с собою, Руди! – сказала ему старая тетка, и ее странные орлиные глаза засверкали и худая шея заворочалась еще быстрее. – Везет тебе, Руди! Дай я расцелую тебя, милый мой мальчик!

И Руди позволил себя целовать, хотя по лицу его видно было, что он только покоряется обстоятельствам, примиряется с маленькими домашними неприятностями.

– Какой ты красавец, Руди! – прибавила старуха.

– Ну, ну, рассказывай сказки! – сказал Руди и засмеялся; слова старухи, однако, польстили ему.

– А я все-таки повторю! – сказала она. – Везет тебе!

– Ну, насчет этого-то я согласен с тобой! – ответил он, и ему вспомнилась Бабетта.

Никогда еще он так не скучал по глубокой долине.

«Теперь они, верно, дома! – сказал он сам себе. – Ведь прошло уже два дня с того срока, который они назначили! Надо пойти в Бе!»

И Руди пошел в Бе. Хозяева оказались дома. Приняли его очень радушно и передали поклоны от интерлакенских родственников. Бабетта говорила немного; она стала вдруг молчалива; зато говорили ее глаза, и Руди этого было довольно. Мельник вообще любил поговорить сам – он ведь привык, что над его прибаутками и красными словцами всегда дружно смеялись: еще бы! он был такой богач! Но теперь он, по-видимому, предпочитал слушать рассказы Руди о его охотничьих приключениях. Руди рассказывал о трудностях и опасностях, которые приходится испытывать охотнику за сернами на высоких скалах, как приходится карабкаться по ненадежным снежным карнизам, которые прилепляют к краю скал ветер да погода, перебираться по опасным мостам, переброшенным через пропасти снежною метелью. И глаза Руди так и блестели, когда он рассказывал об этих приключениях, о смышленности серн, об их смелых прыжках, о свирепом «фене» и катящихся лавинах. Он отлично замечал, что рассказы его все больше и больше располагали к нему мельника; особенно же понравились тому рассказы об ягнятниках и отважных королевских орлах.

Неподалеку оттуда, в кантоне Вале, рассказывал, между прочим, Руди, находилось орлиное гнездо, хитро устроенное под выступом скалы. В гнезде был один птенец, но до него уж не добраться было! Еще на днях один англичанин предлагал Руди целую горсть золота, если он достанет птенца живым. «Но всему есть границы! – ответил ему Руди. – Орленка достать нельзя; надо быть сумасшедшим, чтобы взяться за такое дело!»

Вино текло, текла и беседа, и вечер показался Руди чересчур коротким, а между тем он простился с хозяевами только далеко за полночь.

Свет еще виднелся несколько времени в окнах дома и мелькал между ветвями деревьев. Из слухового окна вышла на крышу комнатная кошка, а по водосточной трубе поднялась туда кухонная.

– Знаешь новость на мельнице? – спросила комнатная кошка. – В доме тайная помолвка! Отец-то еще ничего не знает! А Руди и Бабетта целый вечер то и дело наступали друг другу под столом на лапки! Они и на меня наступили два раза, но я и не мяукнула, чтобы не возбудить подозрений.

– А вот я так непременно мяукнула бы! – сказала кухонная кошка.

– Ну, что можно в кухне, то не годится в комнате! – сказала комнатная. – А хотелось бы мне знать, что скажет мельник, когда услышит о помолвке!

Да, это-то хотелось знать и Руди, и ждать долго он не смог. Через несколько дней по мосту, перекинутому через Рону и соединявшему кантоны Вале и Во, катился дилижанс, а в нем сидел Руди, бодрый и смелый, как всегда, и предавался чудным мечтам о согласии, которое получит сегодня же вечером.

Когда же вечер настал и дилижанс покатился по той же дороге обратно, в нем опять сидел Руди, а комнатная кошка опять явилась с новостью.

– Эй, ты, из кухни! Знаешь что? Мельник-то ведь узнал все. Нечего сказать, славный конец вышел! Руди явился сегодня под вечер и о чем-то долго шептался с Бабеттой в сенях, как раз перед комнатой мельника. Я лежала у самых их ног, но им не до меня было. «Я прямо пойду к твоему отцу! – сказал Руди. – Все будет честь по чести». – «Не пойти ли мне с тобою? – спросила Бабетта. – Я подбодрю тебя!» – «Я и без того бодр! – ответил Руди. – Но, пожалуй, пойдем вместе: при тебе он волей-неволей будет сговорчивее!» И они вошли в комнату; по пути Руди пребольно наступил мне на хвост! Он ужасно неуклюж! Я мяукнула, но ни он, ни Бабетта и ухом не повели. Они отворили дверь, вошли оба, а я прошмыгнула вперед и вспрыгнула на спинку стула, – кто ж его знал, как Руди станет тут расшаркиваться! А вот мельник так шаркнул его! Любо! Вон из дома, в горы, к сернам! Пусть метит в них, а не в нашу Бабетточку!

– Ну а что же Руди говорил? – спросила кухонная кошка.

– Говорил что? Да что всегда говорится при сватовстве: «Я люблю ее, а она меня! А раз в кринке хватает молока на одного, хватит и на двоих!» – «Но она сидит слишком высоко! Тебе не достать ее! – сказал мельник. – Она сидит на мешке с крупой, да еще с золотою вдобавок! Вот что! Тебе не достать до нее!» – «До всего можно достать, была бы

охота!» – ответил Руди – он ведь смелый такой. «А вот орленка-то все-таки не можешь достать, сам же сказал! Ну а Бабетта сидит еще повыше!» «Я достану обоих!» – сказал Руди. «Так я подарю тебе Бабетту, когда ты подаришь мне живого орленка! – сказал мельник и захохотал так, что слезы покатились у него по щекам. – А теперь спасибо за посещение, Руди! Приходи опять завтра, нас не будет дома! Прощай!» Бабетта тоже мякнула «прощай», да так жалобно, словно котенок, потерявший матку. «Давши слово – держись! – сказал Руди. – Не плачь, Бабетта! Я добуду орленка!» – «И надеюсь, сломишь себе шею! – сказал мельник. – А мы избавимся от твоей беготни!»

Да, вот это я называю «шаркнуть»! Теперь Руди нет, Бабетта сидит и плачет, а мельник напевает немецкую песню: он выучился ей во время поездки! Ну, что до меня, то я горевать не стану – толку из этого не будет!

– Ну, все же хоть для вида надо! – сказала кухонная кошка.

## 7. Орлиное гнездо

С горной тропинки неслись в долину веселые, громкие «йодли», дышавшие удалью и бодростью духа. Это шел Руди; он шел к другу своему Везинану.

– Ты должен помочь мне! Мы прихватим еще Рагли – мне надо достать орленка из гнезда под выступом скалы!

– Не хочешь ли сперва снять пятна с луны, это так же легко! – сказал Везинан. – Ты, видно, весело настроен сегодня!

– Да! Я ведь собираюсь жениться! Ну а теперь поговорим серьезно: тебе надо знать все!

И скоро и Везинан и Рагли узнали, чего хотел Руди.

– Смелый ты парень! – сказали они. – Но это дело не выгорит! Сломаешь себе шею!

– Не упадешь, если не будешь думать об этом! – ответил Руди.

Около полуночи они пустились в путь, запасшись шестами, лестницами и веревками. Дорога шла кустарником, по скатывающимся камням, все вверх. Было темно; воды шумели внизу, журчали в вышине; серые облака ползли над головами путников. Наконец они поднялись на верхнюю площадку; здесь стало еще

темнее; отвесные утесы почти сходилисьверху, и оттуда светился лишь узенький клочок голубого неба. Внизу же у самых ног охотников разверзалась бездна, где глухо шумела вода. Тихо сидели они все трое, дожидаясь зари и вылета орлицы из гнезда. Надо было сначала застрелить ее, а потом уж думать о поимке птенца. Руди сидел на низеньком камне так неподвижно, как будто и сам был из камня. Ружье он держал наготове и не сводил глаз с верхнего уступа, под которым лепилось гнездо. Долго пришлось охотникам ждать.

Вдруг в вышине над ними послышался свист могучих крыльев и какой-то огромный предмет заслонил им свет. Два ружейных дула направились на орлицу в ту же минуту, как она вылетела из гнезда. Раздался выстрел... одно мгновение распростертые крылья еще шевелились, затем птица стала медленно опускаться вниз; казалось, эта огромная тяжелая масса с широко распростертыми крыльями наполнит собою все ущелье и увлечет в бездну охотников. Но вот птица исчезла в пропасти; послышался треск древесных сучьев и ветвей кустарника, которые обламывало в своем падении тело орла.

И вот началась суетня: связали вместе три самые длинные лестницы и укрепили их на краю обрыва. Но оказалось, что они не достигали гнезда; над последнею ступенью возвышался еще порядочный уступ отвесной, гладкой, как стена, скалы, под верхним огромным выступом которой и находилось гнездо. После краткого совещания остановились на том, что иного ничего сделать нельзя, как взобраться на самую вершину скалы и спустить оттуда вниз еще пару связанных вместе лестниц и прикрепить к трем, стоявшим на нижней площадке. С большим трудом втащили по тропинке вверх две лестницы и крепко связали их там веревками. Затем лестницы были спущены с уступа и свободно повисли в воздухе над пропастью. Руди живо очутился на самой нижней ступени колеблющихся лестниц.

Утро было холодное, над черным ущельем клубился густой туман. Руди сидел как муха на колеблемой ветром соломинке, которую обронила на краю высокой фабричной трубы строящая там гнездо птица. Но муха-то может улететь, если соломинку сдунет ветром, а Руди мог только сломать себе шею. Ветер свистел у него в ушах; внизу с шумом бежала вода, вытекавшая из таявшего глетчера, дворца Девы Льдов.

Вот Руди раскачал лестницу, как паук раскачивает свою длинную, колеблющуюся паутинку, собираясь прикрепить ее к чему-нибудь. Коснувшись в четвертый раз края лестницы, подымавшейся снизу, он поймал ее, и скоро лестницы были связаны вместе верною, крепкою рукою; тем не менее они колебались и качались, точно скрепленные истершимися петлями.

Все пять лестниц казались колеблющеюся тростинкой, вертикально упиравшеюся в стену скалы. Теперь предстояло самое трудное – вскарабкаться по ней, как кошка, но Руди умел и это: кот выучил его. Головокружения он не знал, и оно плыло по воздуху позади него, протягивая к нему свои полипы руки. Вот Руди остановился на верхней ступеньке лестницы, но и отсюда он еще не мог заглянуть в самое гнездо. Руди попробовал, крепко ли держатся нижние, толстые ветви, из которых сплетено было дно гнезда, выбрал самую надежную, уцепился за нее и приподнялся на руке. Теперь голова и грудь его были выше гнезда; он заглянул туда, но его так и отшибло удушливым зловонием падали: разложившихся овец, серн и птиц. Головокружение, не смевшее схватить его, нарочно дунуло ему в лицо эти ядовитые испарения, чтобы помутить его сознание. Внизу же, в черной зияющей глубине, на хребте снежных волн, сидела сама Дева Льдов с распущенными длинными зеленоватыми волосами и вперила в охотника свои мертвящие глаза – ни дать ни взять два ружейных дула! «Теперь я поймаю тебя!»



В углу гнезда Руди увидал большого, сильного орленка, который еще не умел летать. Руди пристально вперил в него взор и, крепко держась за ветку одною рукой, другою набросил на орленка петлю... Орленок был пойман живым! Петля захлестнулась вокруг его ноги; Руди вскинул петлю с птицей на плечи, так что она висела ниже его ног, сам же с помощью спущенной ему со скалы веревки опять утвердился на верхней ступени лестницы.



«Держись крепко! Не думай, что упадешь, и не упадешь никогда!» И он следовал этому мудрому совету, держался крепко, карабкался, был уверен, что не упадет, и – не упал.

Раздался сильный, торжествующий «йодль»: Руди с орленком в руках стоял на твердой площадке скалы.

## **8. У комнатной кошки опять новости**

– Вот вам требуемое! – сказал Руди, войдя в горницу мельника, поставил на пол большую корзинку, снял с нее холст, и оттуда выплянули два желтых, окруженных черными ободками глаза. Как они дико сверкали! Точно хотели впиться в тех, на кого смотрели, и испепелить их; короткий, сильный клюв широко раскрывался, собираясь укусить; красная шея была покрыта пухом.

– Орленок! – закричал мельник.

Бабетта вскрикнула и отскочила в сторону, но не могла глаз оторвать от Руди и от орленка.

– Ну, ты не даешь себя запугать! – сказал мельник.

– А вы всегда верны своему слову! У всякого своя особенность! – сказал Руди.

– Но отчего ты не сломал себе шеи? – спросил мельник.

– Оттого что держался крепко! – сказал Руди. – Так я и буду продолжать – крепко держаться за Бабетту!

– Получи ее сперва! – сказал мельник и засмеялся: это было добрым знаком – Бабетта уж знала. – Ну, давай-ка вытащим его из корзины! Ишь ты! Страх просто, как он таращится! Как ты схватил его?

Руди пришлось рассказать обо всем; он говорил, а мельник все шире и шире раскрывал глаза.

– С твоею удалью да счастьем ты прокормишь трех жен! – сказал он наконец.

– Спасибо! Спасибо! – вскричал Руди.

– Ну, да Бабетты-то ты все-таки еще не получил! – сказал мельник и шутливо похлопал молодого охотника по плечу.

– Знаешь новости? – спросила комнатная кошка кухонную. – Руди принес нам орленка и взамен берет Бабетту. Они уж целовались прямо на плазах у отца! Это ведь почти то же, что помолвка! Старик уже не

порывался «шаркнуть» Руди за дверь, припрятал когти и прикорнул после обеда, а молодежь оставил миловаться! А уж сколько им надо пересказать друг другу! Они не кончат и до Рождества.

Они и не кончили. Ветер крутил опавшую и побуревшую листву, снег шел и в долине, и на горах. Дева Льдов сидела в своем гордом замке, который вырастал зимою. На скалах повисли толстые хоботообразные ледяные сосульки – это застыли горные потоки, которые летом извиваются тут, по скалам, словно серебристые ленты. Напудренные сосны сверкали ледяными кристаллами и фантастическими гирляндами... Дева Льдов со свистом носилась над глубокою долиною на крыльях буйного ветра; снежный ковер покрывал всю местность вплоть до Бе, так что она могла явиться и туда и узнать, что Руди сделался домоседом, – вечно сидел у Бабетты! Свадьбу собирались сыграть летом, и у жениха и невесты часто звенело в ушах: друзья не переставали толковать о них. Резвая, веселая Бабетта сияла, как солнышко, цвела, как альпийская роза, была прелестна, как сама приближавшаяся весна, по мановению которой все птички должны были запеть о лете и о свадьбе!

– И как только они могут вечно шушукаться да нежничать? Мне это вечное их мяуканье просто надоело! – сказала комнатная кошка.

## 9. Дева Льдов

Весна убралась в зеленые, сочные гирлянды из ветвей ореховых и каштановых деревьев. Пышнее же всего оделись зеленью деревья у моста близ Сен-Мориса, у берегов Женевского озера и по берегам Роны, дико выбегающей из-под зеленого плетчера, хрустального дворца Девы Льдов. Там ее царство; там она переносится с одной снежной равнины на другую на крыльях буйного ветра, нежится на залитых солнцем, мягких снежных пуховиках, сидит и смотрит своими дальнотзорными глазами вниз, в глубокие долины, где, словно муравьи на освещенном солнцем камне, копошатся люди.

– Вы, «избранники духа», как называют вас дети солнца! – говорила она. – Козявки вы! Спустить на вас комок снега, и вы будете сплюснуты, раздавлены со всеми вашими домами и городами!

И она гордо вскидывала голову и озидала своим мертвящим взглядом окружающее, потом опять смотрела вниз. Снизу, из долины, доносился грохот взрывов – люди взрывали скалы, прокладывая туннели и мосты для железных дорог.

– Они играют в кротов! – сказала Дева Льдов. – Копают себе проходы, вот откуда эта ружейная трескотня. А вот двинь слегка мои дворцы я – раздастся грохот посильнее громовых раскатов!

Из долины подымался дымок; он двигался вперед, развеваясь в воздухе; это развевался султан локомотива, который мчал по вновь проложенным рельсам извивающуюся змею – поезд; каждое звено было вагоном. Змея ползла вперед с быстротою стрелы.

– Они играют там в господ, эти «избранники духа»! – сказала опять Дева Льдов. – Но силы природы все же могущественнее их!

И она засмеялась, запела; грохотом отдались эти звуки в долине.

«Вот лавина катится!» – сказали люди. А дети солнца еще громче запели о человеческом уме, который господствует над миром, покоряет моря, двигает горы, засыпает пропасти. Ум человеческий господствует над силами природы!

В ту же самую минуту на снежную равнину, где сидела Дева Льдов, взобралась компания путешественников. Они крепко связались все вместе веревкою, чтобы устойчивее двигаться по скользкой ледяной поверхности, у краев пропасти.

– Козявки! – сказала Дева Льдов. – Вам быть господами над силами природы?!

И, отвернувшись от них, она вперила насмешливый взгляд в глубокую долину, по которой, пыхтя, мчался поезд.

– Вот они сидят, эти «умы»! Я вижу каждого! Вон один восседает особняком, словно король! А вон там их целая куча! Половина из них спит! Когда же паровой дракон остановится, они вылезут и пойдут каждый своею дорогой. «Умы» разбредутся по свету!

И она рассмеялась.

«Опять лавина катится!» – говорили люди в долине.

– До нас она не доберется! – сказали двое путников, сидевших на спине дракона. Эти двое были, как говорится, «одной душою, одною мыслью». То ехали по железной дороге Руди и Бабетта; ехал с ними и мельник.



– В виде багажа! – говорил он. – Меня взяли с собою как бесплатное приложение.

– Вот она сидит, эта парочка! – сказала Дева Льдов. – Сколько серн я раздавила, сколько миллионов роз раздробила так, что не осталось и корешков. Сотру я и их всех в порошок! «Умы!» «Избранники духа»!

И она засмеялась.

«Опять катится лавина!» – сказали люди в долине.

## 10. Крестная мать

В Монтрё, одном из ближайших городков, образующем вместе с городами Клараном, Берне и Креном гирлянду вокруг северо-восточной части Женевского озера, жила крестная мать Бабетты, знатная барыня, англичанка, со своими дочерьми и молодым родственником. Они только что прибыли туда, но мельник уже успел побывать у них и сообщить им и о помолвке Бабетты с Руди, и об орленке, и о празднике в Интерлакене – словом, обо всем. Все это очень понравилось дамам и сильно расположило их в пользу Руди, Бабетты и самого мельника. И вот их всех троих пригласили приехать в Монтрё; они и приехали: надо же было крестной матери повидать Бабетту, а Бабетте – крестную мать.

На пароход садились как раз у небольшого городка Вильнёва, у конца Женевского озера, и через полчаса приезжали в Берне, что лежит чуть пониже Монтрё. Берег этот воспет поэтами; тут в тени ореховых деревьев сиживал у глубокого голубовато-зеленого озера Байрон и писал свою дивную поэму о Шильонском узнике; тут, где отражаются в воде плакучие ивы Кларана, ходил Руссо, обдумывая свою «Элоизу». Рона скользит у подножия высоких снежных гор Савойи; неподалеку от впадения реки, на озере, лежит островок, такой маленький, что с берега кажется просто лодкой. Собственно говоря, это небольшая скала, которую лет сто тому назад одна дама велела обложить камнями, покрыть землей и засадить акациями. Три акации покрывали теперь своею тенью весь островок. Бабетта пришла в восторг от этого клочка земли, он показался ей милее всего, что они видели по пути, и ей непременно захотелось побывать на нем. Там должно быть чудесно, восхитительно! Непременно надо заехать туда! Но пароход прошел, как и следовало, мимо – прямо в Берне.

Оттуда маленькая компания отправилась по дороге в Монтрё; дорога шла в гору между двумя рядами белых, освещенных солнцем стен, которыми были обнесены виноградники; дома поселян ютились в тени фиговых деревьев, в садах росли лавры и кипарисы. Пансион, где жила крестная мать, лежал на полпути между Берне и Монтрё.

Гостей ожидал самый радушный прием. Крестная мать оказалась высокою, приветливою дамой с круглым улыбающимся лицом. В

детстве она, наверно, походила на одного из рафаэлевских херувимов; теперь же херувим успел состариться; выющиеся волосы, окружавшие когда-то его личико золотым ореолом, были теперь седые. Дочери ее были нарядно одетые, изящные, длинные и стройные особы. Молодой их кузен, одетый с ног до головы в белое, рыжеволосый, с рыжими же и притом такими густыми бакенбардами, что их хватило бы на трех джентльменов, выказал Бабетте величайшее внимание.

На большом столе в гостиной лежала масса книг в богатых переплетах, ноты и рисунки; дверь на балкон была открыта, а с балкона открывался чудный вид на озеро, такое тихое и гладкое, что Савойские горы с разбросанными по ним городками, лесами и снегами на вершинах отражались в нем как в зеркале.

Руди, всегда такой бодрый, жизнерадостный, живой, чувствовал себя тут не в своей тарелке и еле-еле двигался по блестящему, скользкому полу, точно по нему был рассыпан горох. Да и время-то тянулось бесконечно! Попался Руди, словно белка в колесо, а тут еще вздумали отправиться на прогулку! Время потянулось еще медленнее. Руди положительно приходилось делать один шаг вперед да два назад, чтобы не забежать вперед других. Дойдя до старого, мрачного Шильонского замка, они зашли посмотреть на позорный столб темницы, куда сажали приговоренных к смерти, на ржавые цепи, ввинченные в скалистые стены, на каменные нары и на люки, в которые проваливались несчастные, попадая прямо на железные острые зубцы и затем – в водоворот. И смотреть на все это называлось удовольствием! Байрон воспел и опоэтизировал это ужасное место, но Руди видел в нем лишь то, чем оно было в действительности, – место истязаний. Он облокотился на каменный выступ окна и смотрел на глубокую зеленовато-голубую воду и на уединенный островок с тремя акациями. Как ему хотелось туда, уйти от всей этой болтливой компании! Но Бабетте, как она призналась потом, было страсть как весело! Кузена она нашла настоящим джентльменом.

– Настоящий болван он, вот что! – сказал Руди.

И Бабетте в первый раз не понравилось то, что говорил Руди. Англичанин подарил ей на память о Шильоне книжечку; это была поэма Байрона «Шильонский узник», во французском переводе, так что Бабетта могла прочесть ее.

– Книга-то, может статься, и хороша, – сказал Руди, – но этот лохотный молодчик, который подарил ее тебе, ничего, по-моему, не стоит.

– Он точно мучной мешок без муки! – сказал мельник и сам захохотал над своей остроумною шуткою.

Руди тоже рассмеялся, вполне соглашаясь с мельником.

## 11. Кузен

Явившись через несколько дней в гости на мельницу, Руди нашел там молодого англичанина; Бабетта как раз угощала его вареною форелью, которую, конечно собственноручно, украсила зеленью петрушки, чтобы блюдо смотрелось аппетитнее. Это уж было совсем лишнее! И что нужно тут этому англичанину? Чего он хотел? Чтобы Бабетта угощала его, любезничала с ним? Руди ревновал, и это тешило Бабетту. Ей весело было знакомиться со всеми сторонами его характера – и сильными и слабыми. Любовь еще была для нее игрою, вот она и играла с сердцем Руди, несмотря на то что он был ее счастьем, мечтой ее жизни, самым дорогим для нее человеком на свете! И чем мрачнее глядел он, тем веселее смеялись ее глазки; она готова была расцеловать белокурого англичанина с золотистыми бакенбардами, только бы Руди взбесился и убежал прочь. Это бы показало ей, как сильно он ее любит! Неумно это было со стороны Бабетты! Ну и то сказать, ей ведь шел всего девятнадцатый год! Где ей было сообразить, что она поступает нехорошо, что англичанин может истолковать себе ее поведение совсем иначе, принять честную, только что просватанную дочку мельника за особу более веселую и легкомысленную, чем следовало.

Мельница стояла у проезжей дороги, которая бежала от самого Бе под покрытыми снегом, скалистыми вершинами, носящими на местном наречии название Diablerets<sup>[21]</sup>; неподалеку от мельницы, клубясь и пенясь, струился быстрый горный ручей. Двигал мельницу, однако, не он, а другой ручей, поменьше, который, низвергаясь с утеса по другую сторону реки, пробегал сначала по каменной трубе под дорогою, потом с силой выбивался наверх и протекал по закрытому,

широкому деревянному желобу, проведенному над водой с одного берега реки на другой. Этот-то ручей и вертел мельничные колеса. Желоб всегда так переполнялся водой, что представлял мокрый, скользкий и очень ненадежный мост для того, кому бы вздумалось ради сокращения пути перебраться по нему на мельницу. А вот эта-то фантазия как раз и пришла молодому англичанину. Одетый с ног до головы в белое, как мельник, он перебирался вечером по желобу, руководимый светом, мелькавшим в окошке Бабетты. Но он не учился лазить и карабкаться и чуть было не выкупался в воде с головою, да, по счастью, отделался мокрыми рукавами и обрызганными панталонами. Мокрый, грязный явился он под окно Бабетты, вскарабкался на старую липу и давай кричать по-совиному – другой птице он подражать не умел. Бабетта услышала и поглядела сквозь тоненькие занавески, но, увидя человека в белом и догадавшись, кто это такой, она и испугалась и рассердилась, быстро потушила свечку и, убедившись, что все задвижки окна задвинуты плотно, предоставила англичанину петъ и выть на здоровье.

Вот ужас был бы, если бы Руди находился на мельнице! Но Руди не было на мельнице. Нет, хуже – он был как раз тут, внизу! Послышался громкий, крупный разговор... Ну – быть драке, а пожалуй, и до убийства дойдет!

Бабетта в ужасе открыла окно, окликнула Руди и попросила его уйти: она не могла позволить ему остаться!

– Не можешь позволить мне остаться! – произнес он. – Так у вас уговор был! Ты поджидаешь дружка получше, чем я! Стыдно, Бабетта!

– Гадкий! Противный! – сказала Бабетта. – Я ненавижу тебя! – И она заплакала. – Уходи! Уходи сейчас же!

– Не заслужил я этого! – сказал он и ушел.

Щеки его горели как в огне, сердце тоже.

Бабетта кинулась на постель, заливаясь слезами.

– Я тебя так люблю, Руди, а ты считаешь меня такою гадкою!..

И она рассердилась, ужасно рассердилась на него. Но то и хорошо было, иначе бы она уж чересчур разогорчилась. Теперь же она заснула здоровым, подкрепляющим сном юности.

## 12. Злые силы



Руди, уйдя из Бе, кинулся в горы, в этот свежий, холодный воздух, в область снегов, в царство Девы Льдов. Внизу виднелись лиственные деревья; они смотрели отсюда картофельною ботвою; сосны и кустарники становились все мельче, там и сям попадались альпийские розы, росшие прямо на снегу, который местами напоминал разостланный для беления холст. Руди попала голубая горечавка; он смял ее ружейным прикладом. В вышине показались две серны; глаза Руди заблестели, мысли приняли другой оборот. Но серны были еще слишком далеко, чтобы рассчитывать на верный выстрел. Руди поднялся еще выше; здесь между каменными глыбами пробивалась уже одна жесткая трава. Серны спокойно расхаживали по снежной равнине. Руди прибавил шаг, но туман вокруг все сгущался, и он внезапно очутился перед отвесной скалой; начался проливной дождь.

Руди чувствовал жгучую жажду, голова его горела, а во всем теле ощущался озноб. Он схватился за свою охотничью фляжку, но она была пуста, он забыл про нее, как и про все на свете, кидаясь в горы. Никогда еще не хворал он, а теперь чувствовал что-то похожее на болезнь, им овладела какая-то усталость... Так бы вот и бросился ничком да заснул! Но кругом было мокро, всюду струилась вода, и Руди старался овладеть собою. Все предметы как-то прыгали перед его глазами, и вдруг он увидел новую, только что построенную хижину, которую никогда не видывал здесь прежде. Хижина лепилась к скале; в дверях стояла молодая девушка, похожая, как ему показалось, на Аннетту, дочку школьного учителя, которую он раз поцеловал в танцах. Нет, это была не Аннетта! И все-таки лицо девушки было ему как будто знакомо. Где же он видел ее раньше? Может быть, в Гриндельвальде, в тот вечер, когда возвращался с состязания стрелков из Интерлакена?

– Как ты попала сюда? – спросил он.

– Я тут живу! – ответила она. – Пасу свое стадо!

– Где же оно пасется? Тут один снег да голые скалы!

– Много ты знаешь! – рассмеялась она. – Тут позади, немножко пониже, чудесное пастбище! Там и ходят мои козы! Я стерегу их крепко! У меня уж не пропадет ни одна; что мое, то моим и останется!

– Ишь ты, какая храбрая! – сказал Руди.

– Ты тоже! – ответила она.

– Если у тебя есть молоко, дай мне! Смерть пить хочется!

– У меня есть для тебя кое-что получше! – молвила она. – Вчера тут были путешественники с проводниками и позабыли полбутылки вина. Ты еще и не пробовал такого! Они за ней не пришлют, сама я не пью, так выпей ты!

И она вышла с вином, налила его в деревянную чашку и подала Руди.

– Славное вино! – сказал он. – Такого горячего, жгучего мне еще не приходилось пробовать! – И глаза его заблестели, он ожил, огонь пробежал по его жилам; горе его словно рукой сняло. Он снова чувствовал себя свежим, бодрым, кипящим силой и молодостью.

– Да ведь это и впрямь Аннетта! – произнес он. – Поцелуй меня!

– А ты отдай мне твое хорошенькое колечко!

– Мое обручальное кольцо?!

– Вот, вот! – сказала девушка, опять налила в чашку вина и поднесла к его губам; он выпил.

Кровь в нем заиграла; весь свет – его, стоит ли горевать, все манит к радости, к наслаждению!.. Река жизни – река наслаждения! Броситься в нее, отдаться течению – вот блаженство!.. Он взглянул на молодую девушку; это была Аннетта и в то же время как будто не Аннетта, но никак и не злое наваждение, каким она показалась ему на Гриндельвальдском глетчере. Свежая, как только что выпавший снег, пышная, как альпийская роза, легкая, проворная, как серна, девушка все же была создана из ребра Адама, была таким же человеком, как и Руди. И он обвил ее руками, заглянул ей в удивительные, ясные глаза всего на одно мгновение, и – да, вот объясните, найдите для этого подходящее выражение – исполнилась ли его душа высшей духовной жизни или почувствовала холод смерти? Взлетел он ввысь или глубоко-глубоко опустился в ледяную пучину? Вокруг него вздымались зеленовато-голубые хрустальные ледяные стены, зияли ущелья, мелодично журчали струйки воды, звеня, словно колокольчики, и сияя светлым голубоватым пламенем... Дева Льдов поцеловала Руди, смертельный холод пробежал по его спине в мозг, он вскрикнул, рванулся, зашатался и упал. В глазах у него померкло, но скоро он открыл их опять. Злые силы сыграли-таки с ним шутку!



Девушка исчезла, хижина тоже, с голой скалы стекала вода, кругом лежал снег. Руди дрожал от холода — он промок до костей! Обручальное кольцо, кольцо, данное ему Бабеттою, тоже исчезло!

Ружье валялось на снегу возле него; он взял его, хотел выстрелить – осечка. В ущельях лежали густые облака, точно исполинские снежные сугробы. На скале сидело Головокружение и стерегло обессиленную жертву. Внизу, в глубине ущелья, раздался гул, словно рушилась целая скала, раздробляя и увлекая за собою в бездну все, что попадалось ей на пути.

А Бабетта сидела на мельнице и плакала: Руди не показывался вот уже целых шесть дней! А ведь виноватым-то был он, он должен был просить у нее прощения – она ведь любила его всем сердцем.

### 13. В доме мельника

– Ну и бестолковщина же идет у этих людей! – сказала комнатная кошка кухонной. – Теперь у Бабетты с Руди опять все врозь пошло! Она плачет, а он и знать ее не хочет больше!

– Не люблю я этого! – сказала кухонная кошка.

– И я тоже! – сказала первая. – Но горевать уж я не стану! Пусть Бабетта возьмет себе другого жениха – того, с рыжими бакенбардами! Впрочем, и он не бывал здесь с тех пор, как собирался влезть на крышу.

Злые силы творят свое и вне и внутри нас; это Руди испытал на себе и крепко задумался над этим. Что случилось с ним, что творилось в нем самом там, на горах? Было ли то злое наваждение или горячечный бред? Но до сих пор он ведь не знал ни лихорадки, ни других недугов! Осуждая Бабетту, он заглянул на минуту и в глубь собственной души, и ему вспомнилась бушевавшая в ней дикая буря, жгучий «фен», который вырвался из нее наружу. Мог ли он сам открыть Бабетте каждую свою мысль, которая в час искушения могла перейти в дело? Он потерял ее кольцо, и именно благодаря этой потере Бабетта вновь обрела Руди. А она, могла ли она открыть ему всю свою душу? Сердце его как будто рвали на части, когда он думал о ней; в нем просыпалось столько воспоминаний! Он видел ее перед собой как живую – веселую, смеющуюся, детски шаловливую! Ласковые слова, которых он столько слышал от нее в минуты сердечного упоения, прокрались в его душу солнечными лучами, и

скоро она вся была залита ими – Бабетта опять могла воцариться в ней! Да, она, наверно, могла открыть ему всю свою душу и – откроет!

И вот он пришел на мельницу. Приступили к исповеди; началась она поцелуем, а кончилась тем, что виновным был признан Руди. Он был страшно виноват, позволив себе усомниться в верности Бабетты! Он поступил просто непозволительно, гадко! Такое недоверие, такая горячность могли погубить их обоих. Конечно! И вот Бабетта прочитала ему маленькое нравоучение; это очень шло к ней и доставило ей большое удовольствие. Но в одном все-таки Руди был прав: родственник крестной мамы был просто шалопай! Она даже хотела сжечь книгу, которую он подарил ей, чтобы ничто больше не напоминало ей о нем.

– Ну, опять все уладилось! – сказала комнатная кошка. – Руди опять тут, они столковались и говорят, что это величайшее счастье!

– А я слышала сегодня ночью от крыс, что величайшее счастье – пожирать сальные свечи и всегда иметь в запасе протухшее сало! Кому же теперь верить: крысам или людям?

– Ни тем, ни другим! – сказала комнатная кошка. – Это вернее всего!

Но величайшее счастье для Руди и Бабетты было еще впереди; их ожидал прекраснейший день их жизни – день свадьбы.

Свадьбу собирались праздновать не в местной церкви и не в доме мельника: крестная пожелала, чтобы свадьбу сыграли у нее, а обряд был совершен в красивой маленькой церкви в Монтрё. И мельник решил уважить требование крестной матери: он один знал, что собиралась она подарить молодым, и нашел, что такой свадебный подарок стоил маленькой уступки. День был назначен. Вечером накануне мельник, жених и невеста должны были выехать в Вильнёв, а с утренним пароходом заблаговременно прибыть в Монтрё, чтобы дочери крестной матери успели одеть невесту к венцу.

– Полагаю все-таки, что они справят свадьбу и здесь, хоть на другой день! – сказала комнатная кошка. – Иначе я не дам и «мяу» за всю эту историю!

– Попируем и здесь! – ответила кухонная кошка. – Недаром зарезали столько уток и голубей, а на стене висит целая коза! У меня уж зубы чешутся, как попляжу! Завтра они уедут!

Да, завтра! Сегодня же вечером Руди и Бабетта в последний раз сидели на мельнице женихом и невестою.

«Альпийское зарево» пылало, вечерние колокола звонили, дети воздуха пели: «Да свершится все к лучшему!»

## 14. Ночные видения

Солнце зашло, облака спустились в долину Роны, окруженную высокими горами, ветер дул с юга, из Африки. Он бурно проносился над высокими Альпами и рвал облака в клочья. Минутами «фен» утихал, и тогда воцарялась тишина. Разорванные облака нависали над поросшими лесом горами и быстрою Роною какими-то фантастическими образами: тут вырисовывалось допотопное морское чудовище, там – парящий орел, здесь – какие-то скачущие лягушки. Они спускались к ревущему потоку, как будто плыли по нему, и все-таки плыли по воздуху. Поток нес вырванную с корнями сосну; по воде перед ней ходили круги: это волновали воду Головокружения, кружившиеся на бурлящем потоке. Луна освещала снежные вершины гор, темные леса, белые причудливые облака и видения ночи, духов природы. Горные жители часто видят их сквозь стекла окон. Теперь они толпами проплывали перед Девой Льдов, которая вышла из своего хрустального дворца и плыла по быстрому потоку на утлом корабле – вырванной из земли сосне – прямо в широкое озеро.

«Свадебный поезд мчится!» – шумело и шелестело в воздухе и на воде.

Видения и тут и там.

Бабетте приснился удивительный сон.

Она как будто уже была много лет замужем за Руди. Он ушел на охоту, а она осталась дома, и у нее сидел в гостях молодой англичанин с золотистыми бакенбардами. Глаза его смотрели так ласково, из уст лились такие чарующие слова, он протягивал ей руку, и она невольно пошла за ним!

Они ушли из ее родного дома, стали спускаться все ниже и ниже... На сердце у Бабетты было так тяжело и с каждой минутой становилось все тяжелее. Она знала, что совершает грех, грех против Руди, грех против Бога!.. Вдруг она очутилась одна, покинутая!

Платье ее было все изорвано колючим терновником, волосы поседели. Тоскливо взглянула она вверх и на скалистом уступе увидела Руди. Она протянула к нему руки, но не смела окликнуть его или обратиться к нему с мольбой о прощении. Да это и не повело бы ни к чему: она скоро заметила, что это был вовсе не Руди, а лишь его охотничья куртка и шляпа, повешенные на альпийскую палку, чучело, часто устраиваемое охотниками, чтобы обмануть серн. В приливе безграничной скорби Бабетта простонала: «О, лучше бы умереть мне в день моей свадьбы, счастливейший день моей жизни! Боже милосердный, это было бы для меня высшею милостью, величайшим счастьем и для меня, и для Руди! Никто не знает своего будущего!» И, полная скорби и отчаяния, она бросилась в пропасть. Порвалась струна, прозвучал печальный аккорд!..

Бабетта проснулась; сон кончился и улетучился из ее памяти, но она помнила, что ей снилось что-то страшное, снился молодой англичанин, которого она не видела наяву вот уже несколько месяцев и о котором даже не вспоминала. Пожалуй, он теперь в Монтрё? Неужели он будет на ее свадьбе?

Легкая гримаса тронула изящный ротик, брови сдвинулись, но скоро в глазах засияла улыбка – солнышко светило так ярко, и завтра ее свадьба!

Сойдя вниз, Бабетта уже нашла там Руди; скоро все трое отправились в Вильнёв. Жених и невеста были бесконечно счастливы, мельник просто сиял весь – он был добрый отец, честная душа!

– Теперь мы господа в доме! – сказала комнатная кошка.

## 15. Конец

Трое счастливых прибыли в Вильнёв еще до наступления вечера. После обеда мельник уселся в кресло, закурил трубку и задремал, а молодая парочка вышла рука об руку из города и направилась по проезжей дороге, проходившей под обросшими кустарником скалами, вдоль голубовато-зеленого озера. Серые стены и громоздкие башни угрюмого Шильонского замка отражались в чистой, прозрачной воде. Маленький островок с тремя акациями лежал совсем близко и смотрел настоящим букетом, плавающим по озеру.

– Там должно быть чудесно! – сказала Бабетта.

Ей опять страшно захотелось туда, и желание это могло быть удовлетворено сейчас же. У берега качалась лодка; ничего не стоило отвязать ее. Позволения просить было не у кого: вблизи не виднелось ни души живой. Руди с Бабеттой, недолго думая, уселись в лодку, грести Руди умел.

Весла, точно рыбы плавники, забирали послушную, легко поддающуюся воду. Послушную! Да, она послушна, гибка и в то же время крепка; чего только не носит она на своем хребте, чего не поглощает ее пасть! Она любовно улыбается, на вид – сама мягкость, сама нежность и все же внушает людям страх своею мощною, всесокрушающею силой. Лодка оставляла за собой пенящийся след; через несколько минут она пристала к острову, и молодые люди вышли на берег. Тут можно было даже устроить танцы, но не больше, как для одной парочки.

Руди сделал с Бабеттой два, три тура; потом оба уселись на скамеечку под тень развесистых акаций, взялись за руки и долго сидели молча, любовно глядя друг на друга. Все кругом было залито сиянием заходящего солнца. Горные сосновые леса приняли лиловатые оттенки цветущего вереска, голые же выступы скал сияли, словно освещенные изнутри. Облака горели ярким пламенем, озеро алело, как свежий розовый лепесток. Но вот мало-помалу на снежные вершины Савойских скал стали ложиться темно-синие тени; только самые верхние зубцы еще горели, точно раскаленная лава, воскрешая в памяти наблюдателя момент образования самих гор, когда эти раскаленные массы поднялись из недр земли и еще не успели остыть. Руди и Бабетте сдавалось, что они никогда не видали подобного «альпийского зарева». Покрытая снегами Дан-дю-Миди блестела, словно только что выплывший на небосклон полный месяц.

– Какое великолепие! Какое счастье! – повторяли влюбленные.

– Большого, высшего счастья земля не может дать мне! – сказал Руди. – Такой вечер, как сегодня, стоит ведь целой жизни! И как часто я ощущал такой же прилив счастья, как теперь, и думал, что, если бы даже с этим днем кончилась вся моя жизнь, мне нечего было б жалеть о том, столько я уже испытал счастья! Но дивно хорош Божий мир! День тот проходил, наступал новый и казался мне еще лучше предыдущего! Господь бесконечно благ, Бабетта!



– Я так счастлива! – сказала она.

– Большого, высшего счастья земля не может дать мне! – повторил Руди.

С гор Савойи, с Швейцарских гор доносился звон вечерних колоколов; на западе стояла в золотом венце темно-синяя Юра.

– Да устроит для тебя Господь все к лучшему! – воскликнула Бабетта.

– Устроит! – сказал Руди. – И это будет завтра! Завтра ты всецело будешь моею! Моею собственною милою женой!

– Лодка! – вскрикнула вдруг Бабетта.

Лодка, на которой они должны были переправиться обратно, отвязалась и отплыла от острова.

– Я поймаю ее! – сказал Руди, сбросил куртку и сапоги, кинулся в воду и быстрыми взмахами поплыл к лодке.

Прозрачная голубовато-зеленая вода, вытекавшая из горного плетчера, была холодна как лед и глубока. Руди бросил в глубину быстрый взгляд, и перед глазами его как будто замелькало, закружилось, засияло золотое колечко, то самое, которое он потерял! Кольцо стало расти, расширилось в сияющий круг, а в середине его заблестел плетчер. Вокруг зияли бездонные пропасти, вода журчала, звеня, словно колокольчики, и сияя голубоватым пламенем. Все, что мы должны описать столькими словами, Руди увидел в мгновение ока. Молодые охотники, девушки, женщины и мужчины, некогда провалившиеся в расщелины скал, стояли перед ним как живые, широко раскрыв глаза и улыбаясь, а из глубины, из погребенных под лавинами городов, доносился колокольный звон; молящиеся преклонили колени под сводами церкви; льдины образовали орган, горные потоки загудели... На ясном, прозрачном дне сидела сама Дева Льдов; вот она поднялась к Руди, поцеловала его в ноги, и по телу его пробежал смертельный холод, электрический ток... Огонь и лед!.. При мимолетном прикосновении к ним их ведь не различишь!

«Мой! Мой! – зазвучало вокруг него и в нем самом. – Я целовала тебя еще маленького! Целовала тебя в губы, теперь же целую твои подошвы и пятки – ты весь мой!»

И Руди исчез в ясной синеватой глубине.

В воздухе стояла тишина; последние звуки колоколов замирали в воздухе, а вместе с ними исчезал и последний отблеск вечерней зари

на облаках.

«Мой!» – звучало в глубине. «Мой!» – звучало в бесконечной вышине небес.

Блажен вознесшийся от любви к любви, от любви земной – к любви небесной! Порвалась струна, прозвучал печальный аккорд, смерть запечатлела на брэнной оболочке свой ледяной поцелуй; пролог жизненной драмы кончился; диссонанс разрешился гармоническим аккордом.

Что ж, разве это печальная история?

Бедняжка Бабетта! Для нее это был час ужаса и скорби! Лодку относилло все дальше и дальше. Никто на берегу не знал, что жених с невестой отправились на островок. Сумерки все сгущались, облака садились ниже, наступила тьма. Несчастлиная, покинутая Бабетта одна осталась на острове. Над Юрой, Швейцарскими горами и Савойей разразилась гроза; молнии блистали, удары грома следовали один за другим, раскаты продолжались по несколько минут. Молнии сверкали, как солнечные лучи; на мгновение становилось светло как днем, и можно было явственно различить каждую тычинку, но затем опять все погружалось в мрак. Молнии бороздили небо, извиваясь по нему хвостами, зигзагами, лентами, ударяли прямо в озеро, и оно вспыхивало то тут, то там; раскаты грома раздавались еще громче благодаря гулкому эху. На противоположном берегу торопливо вытаскивали на землю лодки; все живое спешило куда-нибудь укрыться!.. И вот полил дождь.

– Где же, однако, Руди и Бабетта в такую непогоду? – сказал мельник.

Бабетта сидела, скрестив руки, опустил голову на грудь, онемев от скорби, обессилев от криков и жалоб.

«Там, на дне! – сказала она самой себе. – Глубоко, глубоко под водою, словно погребен в пропасти плетчера!»

И ей вспомнились рассказы Руди о смерти его матери, о том, как его вытащили из ледяного ущелья безжизненным. Дева Льдов поймала-таки его!



Блеснула ослепительная молния. Бабетта вскочила; озеро на мгновение приподнялось, точно сверкающий глетчер; на нем стояла Дева Льдов, величественная, вся озаренная голубым сиянием, и у ног ее лежало тело Руди!.. «Мой!» – сказала она, и все опять потонуло во мраке. Дождь все лил.

– Ужасно! – стонала Бабетта. – Зачем, зачем было ему умирать как раз на заре нашего счастливейшего дня! Господи, просвети мой ум! Просвети мое сердце! Пути Твои темны для меня! Я не могу уразуметь Твоего всемогущества и мудрости!

И Господь просветил ее: как луч Божественного милосердия мелькнуло в ее мозгу воспоминание – ее последний сон! Он восстал перед нею как наяву; она вспомнила каждое свое слово, вспомнила, чего просила у Бога: «лучшего для себя и для Руди».

– Горе мне! Неужели зародыш греха таился в моем сердце? Неужели мой сон предвещал наше будущее и нить его жизни должна была порваться ради моего спасения? О, я несчастная!

Так просидела она в слезах всю ночь. Среди глубокой тишины, казалось, звучали еще последние слова Руди: «Большого, высшего счастья земля не может дать мне!» Они были сказаны в минуту блаженства, и теперь она повторяла их в час безысходной скорби.

Прошло два года. Озеро улыбается, берега тоже; в виноградниках висят пышные гроздья; разукрашенные флагами пароходы проплывают мимо; лодочки с распушенными парусами проносятся по зеркальной поверхности, словно бабочки. Железная дорога к Шильонскому замку открыта; она ведет далеко в глубь долины Роны. На каждой станции выходят туристы-иностранцы и сейчас же справляются о местных достопримечательностях в книжке с красным переплетом. Они посещают Шильон, смотрят из его окон на островок с тремя акациями и читают в «Путеводителе» о женихе и невесте, отправившихся туда на лодке однажды вечером 1856 года, о смерти жениха и о том, что «лишь на следующее утро услышали с берега отчаянные вопли невесты».

Но «Путеводитель» ничего не говорит о замкнутой, тихой жизни Бабетты у своего отца – не на мельнице – там живут теперь чужие, но в хорошеньком домике близ вокзала. Часто стоит она вечерами у окошка и смотрит через верхушки каштановых деревьев на снежные горы, по которым карабкался когда-то Руди, смотрит на «альпийское зарево» – сияние распростертых крыл детей солнца, поющих о путнике, с которого ветер сорвал плащ; оболочку унес он, а не самого человека.

На снегах горит розовый отблеск зари; ясная заря горит и в каждом человеческом сердце, которое верит, что «Бог все устраивает к лучшему для нас!». Но не всегда это бывает нам открыто, как было открыто во сне Бабетте.

*1861*

## Психея

На заре в румянном утреннем небе горит крупная, яркая звезда. Луч ее дрожит на белой стене, словно хочет начертить на ней рассказы обо всем, виденном ею там и сям на нашей вращающейся земле.

Послушай же один из ее рассказов!

Недавно (недавнее для звезды для нас, людей, означает событие, совершившееся несколько столетий тому назад) лучи мои следили за одним молодым художником; жил он в папской столице, во всемирном городе Риме. Многое изменилось там с течением времени, хотя такие перемены и совершаются далеко не так быстро, как человек становится из ребенка стариком. Императорский дворец и тогда уже был в развалинах; между поверженными во прах мраморными колоннами и над расписанными золотом стенами полуразрушенных терм возвышались фиговые и лавровые деревья. Колизей тоже лежал в руинах. Но церковные колокола звонили; ладан курился; по улицам проходили процессии со свечами и сияющими балдахинами. Рим был городом церковной пышности, но здесь также процветало и высоко почиталось искусство. В Риме жили величайший художник мира Рафаэль и величайший ваятель того времени Микеланджело. Сам Папа отдавал честь обоим, удостоивал их своими посещениями. Искусство признавали, чттили и награждали. Но, конечно, не всё достойное замечалось и удостоивалось награды.

В маленькой, узенькой улице стоял старый дом, бывший некогда храмом. В доме этом жил молодой ваятель, бедный, безвестный. Но у него, конечно, были друзья, тоже молодые художники, юные душою, богатые надеждами и мыслями. Они говорили ему, что у него большой талант и что он просто глуп, если сам этому никак поверить не может. А он и в самом деле постоянно разбивал вдребезги созданное им накануне, никогда не бывал доволен своею работой и не доводил ее до конца, а это необходимо: иначе кто же ее увидит, признает и заплатит за нее деньги?

— Ты мечтатель! — говорили ему друзья. — И в этом твое несчастье! Происходит же все это оттого, что ты еще не жил как надо, не вкусил жизни, не пил жадными плотками жизненного нектара. А ведь в

молодости-то именно и надо слиться с жизнью воедино! Вот тебе пример – величайший художник мира Рафаэль; его чтит сам Папа, ему дивится весь свет, а он и ест и пьет, как все, ни от чего не отказывается!

– Даже от самой булочницы, прекрасной Форнарины! – сказал Анджело, один из первых весельчаков молодой компании.

И много еще чего наговорили они! Они говорили, что подсказывали им их молодость, разум и желание увлечь молодого художника в круговорот веселья, шалостей – пожалуй, даже сумасбродств. Временами и он сам был не прочь от этого, кровь в нем была горячая, душа пылкая, и он мог участвовать в застольных беседах, смеяться от души не хуже других! И все-таки так называемая веселая жизнь Рафаэля казалась ему каким-то чадом, туманом в сравнении с Божественным блеском, которым сияли картины великого мастера. А как волновалась его грудь, когда он стоял в Ватикане перед образами нетленной красоты, изваянными из мрамора художниками древних времен! Какой ощущал он тогда подъем духа, какую силу, какой священный огонь жег его сердце! В нем загоралось желание создать из мрамора подобные же образы. Он хотел воплотить в мраморе то чувство, которое стремилось из глубины его души вознестись к вечному и бесконечному. Но как воссоздать его, в каком образе? Мягкая глина послушно принимала под его пальцами прекрасные формы, но на другой день он, как и всегда, уничтожал созданное им накануне.

Однажды он проходил мимо одного из многочисленных роскошных римских палаццо, остановился перед большими открытыми воротами и увидел внутри двора, за расписанными аркадами, садик, полный душистых роз. Сочные зеленые листья змеиной травы купались в мраморном бассейне, наполненном прозрачною водой. Тут же перед ним промелькнуло видение – молодая девушка, дочь хозяина дома. Как она была нежна, воздушна, прелестна! Никогда в жизни не видывал он такой женщины! Ах нет, видел в одном из римских палаццо на картине Рафаэля, в образе Психеи. Там она была написана красками, здесь явилась ему живая.

Она ярко запечатлелась в его сердце и мыслях; вернувшись в свою бедную мастерскую, он принялся лепить из глины Психею – знатную

молодую римлянку, и впервые остался доволен своею работою. Она имела в его глазах значение, то было ведь ее изображение.

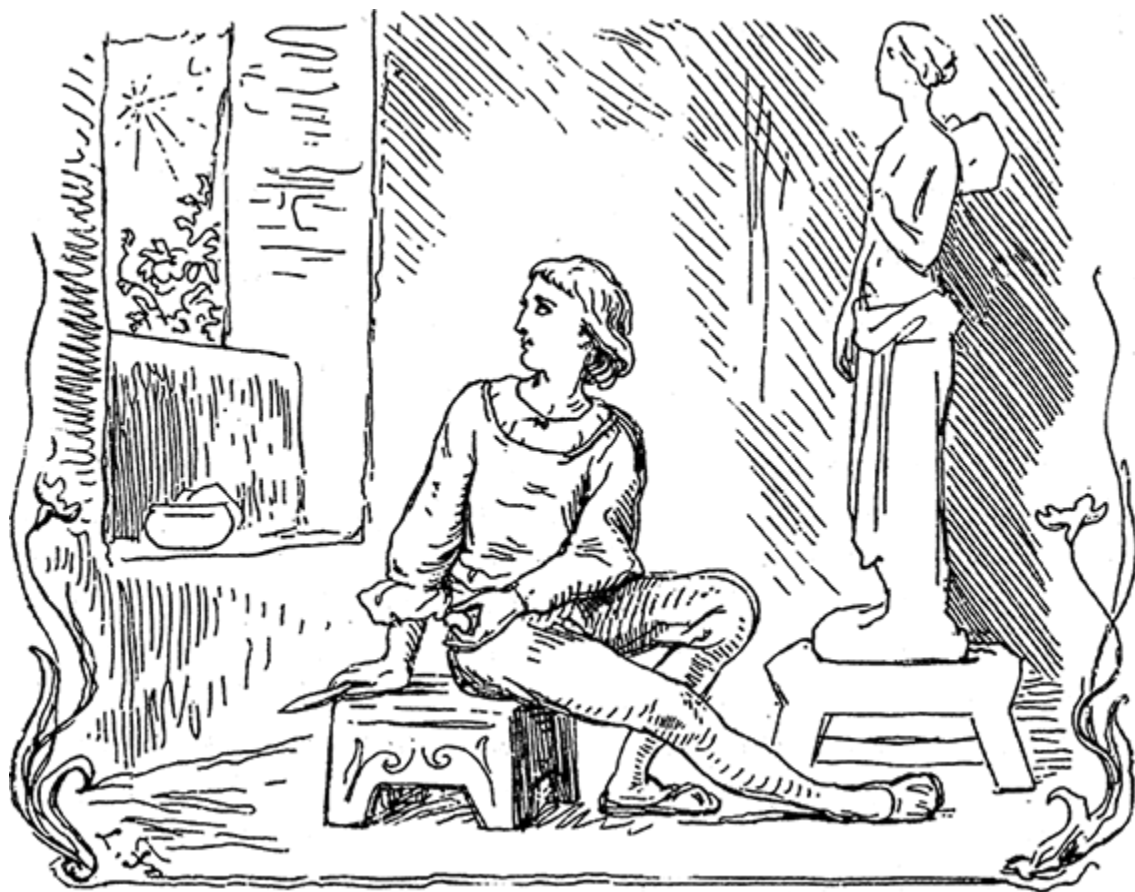
Друзья, увидав статую, громко возликовали: в этой работе талант его выразился необычайно ярко; до сих пор его признавали только одни они, теперь его признает весь свет!

Глина прекрасно передает ощущение живого, теплого тела, но не обладает белизной и прочностью мрамора. Психея должна была ожить в мраморе, и у художника даже имелся этот драгоценный материал: во дворе с давних пор лежала мраморная глыба, принадлежавшая еще его родителям. На ней валялся разный мусор, осколки стекла, обрезки овощей; все это грязнило, пачкало ее снаружи, но внутри мрамор сиял снежною белизною; из него-то и должна была восстать Психея.

В один прекрасный день – звезда об этом ничего не рассказывает, она не видала этого, но мы-то знаем, что оно было так, – узенькую, бедную улицу посетило знатное общество. Посетители оставили карету неподалеку от дома и пешком прошли к жилищу художника. Явились они посмотреть на его работу, о которой случайно услышали. Кто же такие они были? Бедный юноша! Или лучше: слишком счастливый юноша! В его студии стояла она, сама молодая красавица! И как улыбнулась она, когда отец ее сказал: «Да ведь это ты, как живая!» Эту улыбку нельзя было передать, этого взора удивления нельзя было изобразить! Он поднимал, облагораживал и – повергал во прах!

– Психею нужно изваять из мрамора! – сказал знатный посетитель. И слова эти вызвали к жизни мертвую глину и тяжелую мраморную глыбу, равно как и самого взволнованного художника. – Когда работа будет окончена, я покупаю ее! – прибавил знатный римлянин.





Словно новая эра настала в бедной мастерской; в ней закипели жизнь, веселье, работа. Сияющая утренняя звезда созерцала, как работа подвигалась вперед. Самая глина, казалось, ожила с тех пор, как побывала здесь она, и послушно принимала под руку художника желаемые формы, передавала знакомые черты. Скоро они засияли высшею, совершеннейшею красотою.

— Теперь я знаю, что такое жить! — ликовал художник. — Это значит — любить, увлекаться возвышенным, восхищаться прекрасным! То же, что называют жизнью мои товарищи, — обман, пузыри, вскакивающие на бродящей гуще, а не чистый, небесный напиток, приобщающий человека к истинной жизни!

Мраморная глыба была поднята на подставку, и от нее начали откалывать кусок за куском. Художник мерил, ставил черточки и точки, и мало-помалу грубая работа была выполнена, камень стал принимать формы живого тела, очертания божественно прекрасного образа молодой девушки. Тяжелый камень превратился в воздушную,

порхающую прелестную Психею, улыбающуюся небесною улыбкой, навеки запечатлевшеюся в сердце молодого ваятеля.

Звезда, сиявшая на румянном утреннем небе, видела все это и, право, поняла, что творилось в душе молодого человека, поняла и краску, вспыхивавшую на его щеках, и блеск его глаз в то время, как он воплощал в мраморе создание Божье.

– Ты мастер, какие жили во времена древних греков! – говорили ему восхищенные друзья. – Скоро весь свет будет дивиться твоей Психеей!

– Моей Психеей! – повторил он. – Моей! Да, она и должна быть моею! И я такой же художник, как мои великие предшественники. Милосердный Господь даровал мне талант, превознес меня как своего избранника! Я не ниже кровных аристократов!

И он упал на колени и со слезами благодарил Бога, потом опять забывал Его ради нее, ради ее мраморного изображения, ради Психеи, словно вылепленной из снега и разрумяненной утренним солнцем.

Но ему предстояло увидеть ее живую, прекрасную, воздушную, предстояло опять услышать ее музыкальный голос! Он должен был явиться в роскошное палаццо с известием о том, что мраморная Психея исполнена. Он и явился туда; прошел по двору мимо мраморного бассейна, куда бежала вода из пасти дельфинов и где в изобилии росли змеиная трава и свежие, пышные розы, а затем вступил в обширную, высокую переднюю. Стены и потолок ее были расписаны картинами и гербами. Разодетые слуги, гордые, увешанные погремушками, как лошади во время карнавала, ходили вниз и вверх по лестницам, некоторые лениво развалились на резных скамьях; сдавалось, что господа в доме – они! Молодой человек сказал, зачем пришел, и его повели по гладкой мраморной лестнице, устланной мягкими коврами; по обеим сторонам ее стояли статуи. Затем молодой человек прошел через анфиладу роскошных, изукрашенных картинами покоев с блестящими мозаичными полами. При виде всей этой роскоши ему стало как-то не по себе, у него захватило дух, но скоро он преодолел это чувство, и ему опять стало легко.

Старый знатный господин принял его очень ласково, почти дружески и, поговорив с ним, предложил ему пройти к молодой синьоре – она тоже желала видеть художника. Слуги опять повели его по роскошным покоем и залам, и вот он очутился в комнате синьоры, лучшим украшением которой была она сама.

Она заговорила с ним; никакое «Miserere», никакой церковный гимн не могли бы так потрясти сердце, так взволновать душу! Он схватил ее руку и прижал к своим губам; рука была мягче, нежнее лепестка розы, но от этого лепестка исходил огонь! Он прожег молодого человека насквозь, поднял его высоко-высоко!.. И из уст его полились слова, в которых он и сам не отдавал себе отчета. Разве знает кратер, что выбрасывает раскаленную лаву? Он высказал ей свою любовь. Она стояла пораженная, негодующая, гордая, с таким выражением гадливого презрения на лице, как будто внезапно дотронулась до мокрой лягушки. Щеки ее горели огнем; губы совсем побелели; черные как ночь глаза метали молнии.

– Безумец! – сказала она. – Прочь! Прочь! – И повернулась к нему спиною. Прекрасное лицо приняло выражение знаменитой окаменелой головы со змеями вместо волос.

Упавший духом, осунувшийся, беспомощный, побрел он по улицам, как лунатик. Очнулся он только у себя дома и тут, в приливе бешенства и отчаяния, схватил молоток, замахнулся и хотел раздробить прекрасную мраморную статую. Он и не заметил, что друг его Анджело стоял позади него. Анджело с силою схватил его за руку:

– С ума ты сошел?! Что с тобою?

Началась борьба. Анджело был сильнее, и молодой ваятель, тяжело дыша, бросился на стул.

– Что случилось? – продолжал Анджело. – Приди в себя! Говори!



Но что он мог сказать? Что мог рассказать? Анджело не добился от него ничего и махнул рукой.

— У тебя просто кровь сгустилась от твоих вечных мечтаний! Будь же человеком, как мы все, не живи одними идеалами — не выдержишь! Хлебни вина, увидишь, как чудесно заснешь! Возьми доктором красивую девушку. Девушки Кампаньи прелестны, не хуже принцесс из мраморных палаццо: и те и другие ведь дочери Евы, и в раю их не различишь! Пойдем со мною! Я буду твоим ангелом-хранителем! А придет время — состаришься, тело одряхлеет, и в один прекрасный день, когда все кругом будет веселиться на солнце и ликовать, ты будешь валяться, как высохшая былинка, которой больше уж не расти! Я не верю тому, что говорят патеры, — будто за могилою нас ждет другая жизнь; это прекрасная мечта, детская сказка, довольно утешительная, если верить в нее. Но я не предаюсь мечтам, я живу действительностью. Пойдем со мною! Будь человеком!

И он увлек его с собою; ему удалось это в данную минуту: в крови молодого ваятеля горел огонь, в душе произошел переворот, пробудилось непреодолимое желание порвать со всем старым, привычным, отрешиться от своего прежнего «я». Вот почему он и последовал за Анджело.

На одной из окраин Рима находился излюбленный трактирчик художников. Устроен он был в уцелевшей части древних терм; старые желто-красные стены скрывались за темною, блестящею зеленью лимонных деревьев, сквозь которую сверкали золотистые крупные плоды. Трактир помещался под глубоким сводом, так что напоминал пещеру. Внутри перед образом Богоматери горела лампада; в очаге пылал огонь; тут жарили, варили и пекли; в саду под тенью лимонных и лавровых деревьев стояло несколько накрытых столиков.

Друзья встретили вновь пришедших с распростертыми объятиями, и закипело веселье. Закусили немножко, порядочно выпили — это веселит и подбадривает — и принялись петь и играть на гитарах. Зазвучала сальтарелла, и начались танцы. Две молодые римлянки, натурщицы художников, закружились в пляске. Две прелестные вакханки! Да, они не были похожи на Психею, не были нежными, прекрасными розами, но свежими, сочными, пышными гвоздиками.

Какая жара стояла в этот день! Она не спала и после заката солнца! Огонь в крови, огонь в воздухе, огонь во взглядах! Воздух отливало золотом и розами. Казалось, и вся жизнь полна золота и роз!

— Ну, наконец-то и ты с нами! Отдайся же течению жизни!

— Никогда еще не чувствовал я себя таким здоровым и веселым! — сказал молодой художник. — Ты прав, вы все правы; я был глупцом, мечтателем! Человек принадлежит действительной жизни, а не фантазии!

С пением под аккомпанемент гитар вышли молодые люди из трактира и направились по переулкам города; вечер был ясный, звездный. Обе роскошные гвоздики, дочери Кампаньи, сопровождали их.

В комнатке Анджело, заваленной разбросанными повсюду эскизами, листками и картинами, изображавшими сцены, полные красоты и вдохновения, голоса зазвучали глуше, но так же весело и страстно. По полу были раскиданы рисунки, изображавшие дочерей Кампаньи; рисунки дышали жизнью и красотой, но сами девушки

были еще куда красивее. Канделябр о шести свечах пылал всеми огнями, и при их свете красота девушек выступала еще ярче; из телесного образа просвечивал образ божества.

«Аполлон! Юпитер! Я возношусь к вам, на небо! В моем сердце как будто распускается цветок жизни!»

Да, он распустился... поблек и опал, распространяя одуряющие испарения. Лицо побледнело, мысли спутались... Фейерверк страстей погас, и наступила тьма.

Он добрался до своего дома, бросился на постель и тогда только немного собрался с мыслями. «Тьфу! – вырвалось из его уст, из глубины его сердца. – Безумец! Прочь! Прочь!» И он горько, глубоко вздохнул.

«Прочь! Прочь!» Эти слова живой Психеи не переставали раздаваться в его сердце, срываться с его уст. Он уронил голову на подушку, мысли его спутались, и он заснул.

На заре он проснулся и стал припоминать вчерашнее. Что такое случилось накануне? Не во сне ли все это было? И ее жестокие слова, и пирушка в трактире, и вечер, проведенный в обществе пунцовых гвоздик Кампаньи? Нет, все это было наяву, было действительностью, новою для него действительностью!

На алеющем небе светила яркая звезда; лучи ее упали на ваятеля и на мраморную Психею. И он задрожал, взглянув на этот нетленный образ: ему казалось, что его нечистый взгляд не смел больше смотреть на нее. Он торопливо набросил на статую покров; потом опять было хотел снять его и раскрыть Психею, но нет! Он был не в силах больше смотреть на свое создание!

Тихий, угрюмый, весь уйдя в себя, просидел он весь этот длинный день, не сознавая, что творилось вокруг, и никто не знал, что творилось в нем самом.

Дни шли за днями, недели за неделями; особенно долго тянулись ночи. Однажды утром яркая звезда увидала, как он, смертельно бледный, дрожащий, словно в лихорадке, вскочил с постели, подбежал к мраморной статуе, сдернул с нее покров, посмотрел на свое творение долгим скорбным взглядом и затем, почти изнемогая под тяжестью статуи, стащил ее в сад. Там был глубокий высохший колодец, скорее яма; в нее-то он и опустил свою Психею, забросал ее землею, а свежую могилу прикрыл хворостом и крапивою.

«Прочь! Прочь!» Коротка была надгробная речь.

Звезда видела все это с румяного небосклона, и лучи ее задрожали в двух крупных слезах, скатившихся по бледным щекам молодого человека, заболевшего лихорадкой, – заболевшего смертельно, говорили о нем, когда он слег.

Монах, брат Игнатий, стал для него другом и врачом. Он явился к одру больного со словами религиозного утешения, заговорил о мире, о счастье, даруемых церковью, о греховности человеческой, о милосердии Бога и спасении через него.

Слова его были солнечными лучами, падавшими на влажную вспаханную почву, и из нее стали подыматься испарения, превращавшиеся в облака – в мысленные образы, бывшие в то же время и действительными. С этих-то воздушных, скользящих в пространстве островов молодой человек и стал смотреть вниз на жизнь человеческую; вся она была обман, разочарование, по крайней мере для него! Самое искусство было волшебницею, вовлекающею нас в грех суетного земного тщеславия! Мы лжем и самим себе, и друзьям, и Богу. Змея, скрывающаяся в нас, твердит нам: «Вкуси и станешь подобным Богу!»



Теперь только – казалось ему – он понял самого себя, уразумел путь истины и мира. В церкви был свет Божий и ясный мир, в монашеской келье – покой; там только древо человеческой жизни могло возрасти для вечности!

Брат Игнатий укрепил в нем эти мысли, и он решился: дитя света стало слугою церкви, молодой ваятель отрекся от мира, ушел в монастырь.

Как сердечно, любовно приветствовала его братия! Как торжественно было посвящение! Сам Господь, казалось ему, присутствовал в церкви, в озарявших ее солнечных лучах, в сиянии, окружавшем лики святых и кресты. И, стоя вечером, на закате солнца, у открытого окна в своей маленькой келье, он окинул взором старый



Рим, разрушенные храмы, величественный, но мертвый Колизей, узрел все это в весеннем уборе цветущих акаций, свежей зелени плюща, пышных роз, золотистых апельсинов и роскошных веерных пальм и ощутил в своей груди такую полноту блаженства, какой никогда еще не знал прежде! Открытая тихая долина Кампаньи убегала к блестящим, покрытым снегом горам, точно нарисованным на небе. Все сливалось, дышало миром и красотой, все как будто грезило, расплывалось в мечтах, весь мир был мечтою!

Да, мир был мечтою, а мечта может покорить человека на час, много – на два, затем опять вернуться на некоторое время, жизнь же в монастыре должна была длиться годы, многие, долгие годы!

И ему пришлось сознаться, что изнутри человека выходит многое, оскверняющее его! Что это за огонь жег его временами? Что это был в нем за источник зла, которое вырывалось наружу, несмотря на его сопротивление? И он бичевал свою плоть, но источник зла не иссякал. Что такое заставляло его ум обвиваться змеею вокруг его совести и заползать вместе с нею под плащ Божественной любви? Чей это голос шептал ему: «Святые ведь молятся за нас, Божья Матерь тоже, а сам Иисус Христос отдал за нас свою плоть и кровь!» В силу ли ребячества, или легкомыслия он отдавался под покровительство высшей милости и чувствовал себя превознесенным над прочими людьми? Как же! Он ведь оттолкнул от себя мирскую суету, стал сыном церкви!

Однажды, спустя много лет, он встретился с Анджело; тот узнал его.

– Ну вот! – сказал Анджело. – Так это ты! Что ж, счастлив ты теперь? Ты согрешил против Бога, отбросил его дар, загубил свой талант! Прочти притчу о доверенных талантах! Учитель, рассказавший ее, принес в мир истину! Ну, чего же ты добился, чего достиг? Не создал ли ты себе жизнь праздного мечтателя? Не создал ли ты себе собственную религию, как и все монахи? А что, если все это лишь мечта, фантазия, прекрасные вымыслы?

– Отойди от меня, Сатана! – сказал монах и отошел прочь от Анджело. – Это сам дьявол! Я видел его сегодня воочию! – шептал монах. – Я протянул ему однажды палец, а он схватил всю мою руку!.. Нет! – вздыхал он потом. – Зло во мне самом! В этом человеке тоже есть зло, но он не падает под его бременем, носит голову высоко,

счастлив! А я ищу счастья в утешениях религии... А что, если это и впрямь только утешение?.. Что, если и это, как все то, от чего я отказался в мире, лишь красивый вымысел, обман, как красота розовых вечерних облаков, как голубая волнующаяся даль за горами?! Ведь вблизи все оказывается иным! О вечность! Ты, как великий, безграничный, безмятежный океан, манишь, зовешь к себе, наполняешь нашу душу предчувствиями, а дойдешь до тебя – и, может быть, погрузишься в бездну, исчезнешь, умрешь... перестанешь существовать! Обман! Прочь! Прочь!

Без слез, углубившись в самого себя, стоял он на своем жестком ложе, преклонив колени, – перед кем? Перед каменным распятием, вделанным в стену? Нет, только привычка заставила его преклонить колени!

Чем плубже заглядывал он в свою душу, тем она казалась ему темнее; пустота внутри, пустота вне! «Даром загубил свою жизнь!» И мысли катились и росли, словно ком снега, росли, давили, стирали его с лица земли.

«И никому не смею я открыть этого червяка, пложущего мою душу! Моя тайна – мой пленник; выпущу я его – я стану его пленником!» И частица Божественного духа в нем продолжала страдать и бороться.

– Господи, Господи! – молился он в отчаянии. – Сжался надо мною, пошли мне веру!.. Я зарыл в землю твой дар – свой талант! У меня не хватило сил, ты не дал их мне! Бессмертная Психея в моей груди... Прочь, прочь!.. И ее предадут земле, как ту, лучший проблеск моей жизни!.. Никогда не восстанет она из своей могилы!

Звезда сияла на румянном небе. И она когда-нибудь потухнет, исчезнет, а души все будут вечно жить и сиять! Дрожащий луч ее упал на белую стену, но не начертил на ней ничего о величии Бога, о его милости и любви, отголоски которых звучат в душе каждого верующего.

– Нет, Психея тут, во мне, никогда не умрет!.. Жить сознательно?.. Может ли сбыться непостижимое?.. Да, да! Непостижимо – мое «я»! Непостижим и ты, Господи! Весь Твой мир непостижим! Он чудо Твоей силы, великолепия и любви!..

Глаза его засияли и потухли навеки. Звуки колокола проводили его в могилу. Он был зарыт в землю, привезенную из Иерусалима и смешанную с прахом благочестивых умерших.

По истечении нескольких лет остов вынули, как и остоны всех умерших до него монахов, закутали его в темную рясу, надели на руку четки и поставили его в нишу, сложенную из человеческих костей, найденных на монастырском кладбище. Туда светило солнце, доносился благоуханный дым ладана, звуки молитв.

Прошло много лет.

Кости скелетов рассыпались; черепа собрали и сложили в ряды, так что они образовали целую ограду вокруг церкви. В числе прочих лежал тут под жгучими лучами солнца и череп ваятеля; много-много было их тут, но никто не знал, кому они принадлежали, не знали и его имени. И вот однажды при свете солнца в глазных впадинах черепа мелькнуло что-то живое. Что это было? В пустой череп пробралась пестрая ящерица и шмыгала взад и вперед через пустые глазные впадины. Итак, в голове опять была жизнь, в той самой голове, где некогда бродили великие мысли, сияли мечты, любовь к искусству, ко всему прекрасному, откуда катились жгучие слезы, где жила надежда на бессмертие! Ящерица выпрыгнула и пропала; череп истлел; стал прахом во прахе.

Прошли столетия. Яркая звезда светила по-прежнему, все такая же светлая, крупная, какою была тысячелетия. Небо отливало пурпуром, нежным, как пурпур роз, алым, как кровь.



Там, где некогда проходила узенькая улица, на которой находились развалины храма, была теперь площадь, а на ней возвышался женский монастырь. В саду рыли могилу: умерла молодая монахиня и в это утро ее хотели похоронить. Вдруг заступ наткнулся на камень,

сверкавший ослепительною белизной. Показался белый мрамор; он округлился в плечо, потом обнажилась и вся рука. Стали действовать заступом осторожнее, и из земли показалась женская голова, потом крылья бабочки... Из могилы, куда хотели зарыть тело молодой монахини, извлекли при свете розовой утренней зари чудную статую Психеи, изваянную из белого мрамора. «Как она прелестна! Какое совершенство! Памятник искусства лучших времен! – говорили люди. – Кто создал ее?» Никто не знал этого, никто, кроме сияющей тысячелетия утренней звезды. Она одна знала земную жизнь творца Психеи, его испытания, его слабость и его веру в человеческое достоинство. Бренная оболочка его перестала жить, распалась в прах, как и должно, но результат его стремлений, воплощение таившейся в нем искры Божьей – Психея осталась!.. И она никогда не умрет, она переживет самую память о своем творце, будет служить здесь, на земле, проблеском его бессмертной души! И вот ее нашли, оценили и полюбили!

Ясная утренняя звезда, горевшая на румянном небе, обливала своим дрожащим светом Психею и освещала блаженно улыбавшиеся уста и глаза зрителей, созерцавших в немом восторге душу, изваянную из мрамора.

Все земное истлевает, рассыпается в прах, забывается. Помнит о нем лишь звезда, свидетельница бесконечных времен; все же небесное само сияет и живет в памяти. Но и эта память может угаснуть, тогда как Психея живет вечно!

## Улитка и розовый куст



Вокруг сада шла живая изгородь из орешника; за нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст; под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием – она содержала самое себя.

– Постойте, придет и мое время! – сказала она. – Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы!

– Я многого ожидаю от вас! – сказал розовый куст. – Позвольте же узнать, когда это будет?

– Время терпит! Это вот вы все торопитесь! А торопливость ослабляет впечатление!

На другой год улитка лежала чуть ли не на том же месте, на солнышке, под розовым кустом, снова покрытым бутонами. Бутоны распускались, розы цвели, отцветали, а куст выпускал все новые и новые.

Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки и опять подобрала их.

– Все то же да то же! Ни шагу вперед! Розовый куст остается при своих розах, ни на волос не подвинулся вперед!

Лето прошло, настала осень, розовый куст цвел и благоухал, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно, розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю.

Опять настала весна, снова зацвели розы, выползла и улитка.

– Теперь вы уж стары! – сказала она розовому кусту. – Пора бы вам и честь знать! Вы дали миру все, что могли дать; многое ли – это вопрос, которым мне некогда заниматься. А что вы ровно ничего не сделали для своего внутреннего развития – это ясно! Иначе из вас вышло бы кое-что другое. Что вы скажете в свое оправдание? Вы скоро ведь обратитесь в палку! Понимаете вы, что я говорю?

– Вы меня пугаете! – сказал розовый куст. – Я никогда об этом не думал!

– Да, да, вы, кажется, мало затрудняли себя думаньем! А вы пробовали когда-нибудь заняться этим вопросом, дать себе отчет: почему, собственно, вы цветете и как это происходит, почему так, а не иначе?

– Нет! – сказал розовый куст. – Я радовался жизни и цвел – я не мог иначе. Солнце так грело, воздух так освежал меня, я пил живую росу и обильный дождь, я дышал, я жил! Силы подымались в меня из земли, вливались из воздуха, я жил полной жизнью, счастье охватывало меня, и я цвел – в этом была моя жизнь, мое счастье, я не мог иначе!

– Да, вы-таки жили не тужили, нечего сказать!

– Да! Мне было дано так много! – сказал розовый куст. – Но вам дано еще больше! Вы одна из глубокомыслящих, высокоодаренных натур!.. Вы должны удивить мир!

– Была охота! – сказала улитка. – Я знать не знаю вашего мира! Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя!

– Да, но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что есть в нас!.. Я мог дать миру только розы!.. Но вы? Вам дано так много! А что вы дали миру? Что вы дадите ему?

– Что я дала? Что дам?! Плюю я на него! Никуда он не годится! И дела мне нет до него! Снабжайте его розами – вас только на это и хватит! Пусть себе орешник дает ему орехи, коровы и овцы – молоко, у них своя публика! Моя же – во мне самой! Я замкнусь в себе самой, и – баста! Мне нет дела до мира!

И улитка заползла в свою раковину и залепилась там.

– Как это грустно! – сказал розовый куст. – А я так вот и хотел бы, да не могу замкнуться в самом себе; у меня все просится наружу, я должен цвести! Розы мои опадают и разносятся по ветру, но я видел, как одну из них положила в молитвенник мать семейства, другую приютила у себя на груди прелестная молодая девушка, третью целовали улыбающиеся губки ребенка!.. И я был так счастлив! Вот мои воспоминания; в них – моя жизнь!

И розовый куст цвел и благоухал, полный невинной радости и счастья, а улитка тупо дремала в своей раковине – ей не было дела до мира.

Года шли за годами.

Улитка стала землей в земле, розовый куст стал землей в земле, роза воспоминания истлела в молитвеннике... Но в саду цвели новые розовые кусты, под ними ползали новые улитки; они заползали в свои домики и плевались – им не было дела до мира!

Не рассказать ли эту историю сначала? Она не меняется!

1861

## **Старый церковный колокол**

*Написано для «Шиллеровского альбома»*





В немецкой земле, в Вюртемберге, где весною так чудесно цветут придорожные акации, а осенью яблоневые и грушевые деревья гнутся под изобилием зрелых плодов, есть городок Марбах. Он из числа маленьких, неважных городков, но расположен очень живописно у реки Неккара, что стремглав бежит мимо городов, старых рыцарских замков и зеленых виноградников, торопясь слить свои воды с гордым Рейном.

Стояла поздняя осень; виноградные листья окрасились в красноватый цвет; лили дожди, дул холодный ветер; для бедняков

наступило не особенно веселое время. Дни стояли серенькие, мрачные, а еще мрачнее было внутри старых городских домишек. Один из этих домишек был обращен к улице не лицевой, а боковой стеной, с низенькими окошечками; неказист, беден был он с виду. Не богаче была и семья, обитавшая в нем, хотя честная, трудолюбивая и богобоязненная. Скоро Господь должен был подарить им еще ребенка. Настал час, мать лежала в муках, вдруг на колокольне ударили в большой колокол – был торжественный час богослужения. Глубоко отдался этот звук в сердце матери и наполнил его благоговейной верой. Мысли ее устремились к Богу, и в тот же момент Бог послал ей радость – у нее родился сын. Церковный колокол, казалось, звонил о радости матери на весь город, на всю страну. На мать глядели ясные детские глазки, кудри ребенка отливали золотом. Ребенок был встречен при своем вступлении в жизнь, в темный ноябрьский день, колокольным звоном. Мать и отец поцеловали сына и занесли в свою Библию: «Десятого ноября 1759 года. Господь даровал нам сына»; позднее было приписано, что при крещении он получил имя Иоганна-Христофа-Фридриха.

Что же вышло из маленького парнишки, из бедного мальчугана, уроженца городка Марбаха? Да тогда-то еще никто не знал, что из него выйдет; не знал даже сам старый колокол, как ни высоко он висел и как ни громко звонил, приветствуя появление того, кто впоследствии сам спел чудеснейшую «Песнь о колоколе».

Мальчик подрастал, вырастал в его глазах и весь мир. Родители переехали в другой город, но друзья их остались в Марбахе, поэтому мать с сыном и приехали туда однажды в гости. Мальчику было тогда всего шесть лет, но он уже знал кое-что из Библии, знал псалмы и часто слушал, сидя на своем плетеном креслице, как отец читал по вечерам басни Геллерта и Мессиаду. У мальчугана наворачивались на глаза слезы; сестра его, двумя годами старше, тоже плакала, слушая о Том, Кто принял крестную смерть ради нашего спасения.

Город, на взгляд вернувшихся сюда в гости, не особенно изменился; да и времени-то с их отъезда прошло не Бог весть сколько. Дома по-прежнему выставляли напоказ свои остроконечные кровли, покривившиеся стены и низенькие окна, только на кладбище прибавились новые могилы, а у самой стены, в густой траве, лежал

старый колокол. Он упал с колокольни, получил трещину и не годился больше к службе; на его месте висел уже новый.

Мать с сыном прошли на кладбище, остановились перед старым колоколом, и мать стала рассказывать мальчику, как колокол этот в продолжение столетий делал свое дело, звонил и к крестинам, и к свадьбе, и к погребению, возвещал и о праздничной радости, и об ужасах пожара, словом — сопровождал звоном все важнейшие моменты человеческой жизни! И ребенок запомнил рассказ матери; он звучал в детском сердце, пока мальчик не вырос и сам не воспел колокол. Мать рассказала также, как этот колокол утешил, обрадовал ее своим звоном в час скорби и страха, приветствуя рождение ее маленького сына. И мальчик посмотрел на огромный старый колокол с чувством, близким к благоговению, потом наклонился и нежно поцеловал его, даром что он был стар, надтреснут и валялся брошенный в крапиве.

Колокол запечатлелся в памяти мальчика, росшего в бедности. Худой он был, длинный, с рыжими волосами, весь в веснушках; зато у него были чудесные, ясные, глубокие, как море, глаза. Как же жилось ему? Хорошо, завидно хорошо! Он по особой высшей милости был принят в военную школу, в отделение, где воспитывались все дети знатных особ. Это была для него такая честь, такое счастье! Он носил штиблеты, высокий галстук и напудренный парик. И обучали его всему под звуки: «Марш! Стройся! Во фронт!» Как не выйти проку из такого обучения?

Старому колоколу, конечно, суждено было попасть в переливку; а что же из него должно было выйти? Ну, этого предсказать было невозможно, как нельзя было предсказать и того, что выйдет из колокола, звучавшего в груди юноши. Этот колокол был из чистого металла, и звон его должен был разнестись по всему свету! И чем громче звучал он в груди юноши, тем теснее становилось тому в школьных стенах, тем оглушительнее раздавались в его ушах эти: «марш!», «стройся!», «во фронт!» Он и воспел этот колокол в кругу товарищей, но песня унеслась далеко за пределы страны! Но не за это же давались юноше воспитание и образование, одежда и пища! Он был занумерованным винтиком и должен был, как и все мы, приносить осязаемую пользу в огромном часовом механизме. Что ж, если мы и сами-то зачастую не понимаем самих себя, как же

требовать, чтобы понимали нас другие, хотя бы и лучшие люди в свете! Но алмаз образуется именно высоким давлением; недостатка в давлении здесь не было, только суждено ли было свету узреть со временем алмаз?

Столица той страны праздновала большое торжество; горели тысячи лампочек, вспыхивали ракеты; весь этот блеск вспоминается еще и поныне благодаря юноше, который в это время в слезах и горе пытался незаметно перебраться в чужую страну. Он должен был выбрать одно из двух: покинуть свое отечество, мать, всех близких или – захлебнуться в общем течении.

Старому колоколу было хорошо: он стоял в укромном месте, защищенный церковной стеной. Над ним гулял ветер и мог рассказать ему о том мальнике, чье рождение колокол приветствовал своим звоном. Ветер мог рассказать, каким холодом обдавал путника, устало опустившегося на землю в лесу соседней страны, путника, все богатство которого, все надежды на будущее заключались в исписанных листах, повествовавших о «Фиеско». Он мог бы рассказать и о единственных ценителях – всё, ведь, художниках, – которые улизнули из комнаты во время чтения этого произведения и занялись игрою в кегли! Он мог бы рассказать о бледном беглеце, жившем недели, месяцы на бедном постоялом дворе, где сам хозяин пил и бушевал, где царило буйное веселье, в то время как юноша воспевал идеалы. Тяжелые, мрачные дни! Но сердце должно выстрадать все, о чем ему суждено петь.

Мрачные дни, холодные ночи пронеслись и над старым колоколом, но он-то не чувствовал их, как чувствует тяжесть своего земного испытания колокол в человеческой груди. Как же жилось молодому человеку? Как жилось старому колоколу? Да колокол отправился в далекий путь, куда дальше, чем разносился когда-то с колокольной его звон, а звон колокола, звучавшего в груди молодого человека, разнесся еще куда дальше; дальше, чем когда-либо ступала нога юноши, дальше, чем видел его глаз; звон этот разносится по всему свету еще и до сих пор. Но послушай сперва о церковном колоколе! Его увезли из Марбаха, продали, как старую медь, в баварскую землю. Как же он туда попал и когда? Об этом пусть расскажет он сам, коли может; это неважно. Нам довольно знать, что он попал в столицу Баварии. Много лет прошло с тех пор, как он упал с колокольной; пора было его

перелить, и вот из него решили отлить часть памятника великому сыну немецкого народа и страны. Послушай же, что вышло! Какие чудесные совпадения бывают на белом свете! В Дании, на одном из зеленых островов, где шумят буковые леса, где такое множество курганов, жил-был бедный, бедный мальчик; он ходил в деревянных башмаках и носил в стареньком платочке обед своему отцу, резчику, работавшему на верфи. Этот бедный мальчик сделался гордостью своей родины – он высекал из мрамора чудные статуи, дивившие весь мир. Ему-то именно и выпало на долю вылепить из глины прекрасный, величавый образ, который потом отлили из металла, изображение того, чье имя отец занес в свою Библию, Иоганна-Христофа-Фридриха.

И металл раскаленной струей полился в форму. Из старого колокола – да никто и не вспомнил о его происхождении и умолкнувшем звоне! – вышли голова и грудь статуи, которая теперь красуется в Штутгарте, перед старым замком, на той самой площади, по которой ходил при жизни тот, кого изображает статуя. Да, по ней ходил терпевший тяжелый гнет нужды и борьбу со светом мальчик из Марбаха, воспитанник военной школы, беглец, великий, бессмертный немецкий поэт, воспевший освободителя Швейцарии и боговдохновенную французскую девственницу.

Стоял чудный солнечный день; на башнях и крышах домов в Штутгарте развевались флаги, все колокола торжественно и радостно звонили. Только один колокол безмолвствовал, блистая при свете солнца с лица и груди статуи. В этот день как раз минуло сто лет с того дня, как марбахский колокол зазвонил на радость и утешение страждущей матери, рожавшей ребенка. Ребенок родился в бедном доме, в бедной обстановке, но стал впоследствии великим обладателем сокровищ, которые благословляет весь мир. Кто же он?

Поэт, воспевший благородные женские сердца, певец всего великого и прекрасного, Иоганн-Христоф-Фридрих Шиллер.

## Серебряная монетка

Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки, чистенькая, светленькая, покатила и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!» И пошла.

Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными, липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали в руках много раз, а молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последнею отечественною монеткой в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попала ему под руку.

– Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка! – сказал он. – Ну, пусть едет со мною путешествовать!

И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые все сменялись: одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась на своем; это уж было некоторого рода отличием!

Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда – не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления: не много увидишь, сидя в мешке, как она! Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт; ей вздумалось выплунуть на свет Божий, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну и это не прошло ей даром! Она упала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол; никто не слышал, никто не видал этого.

Утром платье опять внесли в комнату; путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу; она очутилась вместе с тремя другими монетками.

«Вот славнo-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей, новые обычаи!» – подумала монетка.

– Это что за монетка? – слышалось в ту же минуту. – Это не ходячая монета. Фальшивая! Никуда не годится.

Тут-то и начались для монетки мытарства, о которых она сама потом рассказывала.

– «Фальшивая! Никуда не годится!» Меня так и пронизало насквозь! – рассказывала она. – Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона и настоящей чеканки! Верно, люди ошиблись – не могли они так отзываться обо мне! Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивою, это я никуда не годилась! «Ну, я сбуду ее с рук в сумерках!» – сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Никуда не годится!», «Надо ее поскорее сбыть с рук!».

И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо ходячей местной монеты.

– Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему! В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет! Как же, должно быть, ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело потому только, что я кажусь виновною!.. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу того взгляда, который упадет на меня сейчас: я ведь знаю, что меня сейчас же отшвырнут в сторону, бросят, точно я обманщица!

Раз я попала к одной бедной женщине: она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбыть меня с рук – никто не хотел брать меня; я была для бедняги сущим несчастьем.

«Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! – сказала женщина. – Где мне, при моей бедности, беречь фальшивые деньги! Отдам-ка ее богатому булочнику, он-то не разорится от этого! Но все-таки нехорошо это! Сама знаю, что нехорошо!»

«Ну, вот теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! – вздохнула я. – Неужели же я в самом деле так изменилась от времени?»

И женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо знал все ходячие монеты, и мне не пришлось долго лежать

там, куда меня положили, – он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим! Это я-то, я, когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, добродушно-ласково поглядела на меня и сказала:

«Не хочу я никого обманывать! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Пстой, мне пришло на ум – может быть, ты счастливая монетка? Право, так! Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу на шейку соседкиной девочке – пусть носит на счастье!»

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитою, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки; малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала, – я сейчас же догадалась! Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок.

«Счастливая монетка! – сказала она. – Посмотрим!»

И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить на счастье билетик.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивою, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою. Но нет! Я проскользнула! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что не глядя бросил меня в выручку, к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет – не знаю, но знаю, что на другой же день меня признали фальшивою, отложили в сторону и опять отправили обманывать – все обманывать! А ведь это просто невыносимо при честном характере – его-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко!



Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за ходячую монету. Но когда он в свою очередь хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Фальшивая! Не годится!»

«Мне дали ее за настоящую! – сказал путешественник и взглянул на меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась улыбка, а ведь на меня уже давно никто не смотрел с улыбкой. – Нет, что же это! – сказал он. – Ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка с моей родины, а в ней пробили дырку и зовут ее фальшивой! Вот забавно! Надо будет сберечь тебя и взять с собою домой!»

То-то я обрадовалась! Меня опять называют хорошою, честною монеткой, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре: искры испускает сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетами и не затерять; вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересною, не говоря ни слова!

И вот я попала домой! Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как в фальшивой: что за беда, если на самом деле ты не фальшивая! Да, надо только иметь терпение, и со временем непременно дождешься справедливости. Уж в это я теперь твердо верю! – заключила свой рассказ монетка.

## Подснежник



Зима; холодно; ветер так и режет, но в земле хорошо, уютно; там и лежит цветочек в своей луковице, прикрытой землею и снегом.

Но вот выпал дождь; капли проникли сквозь снежный покров в землю к цветочной луковице и сообщили ей о белом свете, что над нею. Скоро пробрался туда и солнечный луч, тонкий, как иголочка; он пробуравил снег и землю и слегка постучался в луковицу.

– Войдите! – сказал цветок.

– Не могу! – ответил луч. – Я еще слаб теперь, и мне не раскрыть луковицы! А вот к лету я соберусь с силами!

– А когда будет лето? – спросил цветок и спрашивал то же самое у каждого нового гостя – солнечного луча. Но до лета было еще долго; снег еще не весь стаял, и лужицы каждую ночь затягивало льдом. – Как это долго тянется! – говорил цветок. – А мне просто не сидится на месте! Хочется потянуться, вытянуться, раскрыться, выйти на волю, повидаться с летом! То-то блаженное времечко!

И цветок потянулся в своей тонкой скорлупке, размягченной водою, согретой снегом и землею, пронизанной солнечными лучами. Скоро из земли, под снегом, пробился зеленый стебелек со светло-зеленым бутоном, окруженным, словно ширмочкой, узенькими, толстенькими

листочками. Снег был еще холодный, но весь залит лучами солнца, – он был уже настолько рыхл, что им легко было пробиться сквозь него, да и сами они стали теперь сильнее.

– Добро пожаловать! Добро пожаловать! – запели они, и цветок выплянул из-под снега. Солнечные лучи ласкали и целовали малютку, так что белоснежная с зелеными жилками чашечка его совсем раскрылась. Радостно и скромно склонил он головку. – Милый цветочек! – пели солнечные лучи. – Как ты свеж и нежен! Ты первый, единственный! Ты наше возлюбленное дитя! Ты возвещаешь лето, чудное лето! Скоро весь снег растает, холодные ветры унесутся прочь! Царствовать будем мы! Все зазеленеет! И у тебя появятся подружки: зацветут сирень и желтая акация, а потом розы, но ты все-таки первый, такой нежный, прозрачный!

Вот была радость! Казалось, самый воздух пел и звучал, солнечные лучи проникали в самые лепестки и стебелек цветка. И он стоял, такой нежный, хрупкий и в то же время полный сил, в пышном расцвете юной красоты, такой нарядный в своем белом платьице, с зелеными ленточками, и славил лето. Но до лета было еще долго; облака закрыли солнышко, подули холодные, резкие ветры.

– Рановато ты появился! – сказали они цветку. – Сила еще на нашей стороне! Постой, мы зададим тебе! Сидеть бы тебе да сидеть в тепле, а не торопиться франтить на солнышке – не пришло еще время!

Холод так и щипал. Дни шли за днями, а не показывалось ни единого солнечного луча. Нежному цветочку хоть замерзнуть было в пору. Но он был сильнее, чем подозревал сам; его укрепляла радостная вера в обещанное лето. Оно должно было скоро прийти! Недаром же о нем возвестили солнечные лучи. Цветок твердо верил их обещанию и терпеливо стоял на белом снегу в своем белом наряде, склоняя головку под тяжелыми, густыми хлопьями снега; вокруг него бушевали холодные ветры.

– Ты сломишься! – говорили они. – Завянешь, замерзнешь! Что тебе надо было тут? Зачем ты дал себя выманить? Солнечный луч обманул тебя! Вот и поделом тебе теперь! Эх ты, подснежник!

– Подснежник! – прозвучало в холодном утреннем воздухе.

– Подснежник! – ликовали дети, выбежавшие в сад. – Вот тут растет один, такой миленький, прелестный, первый, единственный!

И слова эти пригрели цветок, словно солнечные лучи. От радости он даже не почувствовал, что его сорвали. Он очутился в детской ручонке, детские губки целовали его. Потом его принесли в теплую комнату, полюбовались на него и поставили в воду. Цветок ожил, возродился к жизни, подумал, что вдруг наступило лето.

У старшей дочери, прелестной молодой девушки – она уже была подтверждена, – был друг сердца; он тоже был подтвержден и теперь проходил курс наук.

– Вот пошучу с ним! Он подумает, что у нас уже лето! – сказала девушка, взяла нежный цветочек и положила его в душистый листок бумаги, на котором были написаны стихи о подснежнике. Они начинались словом «подснежник», а кончались словами: «Теперь, дружок мой, ты на всю зиму останешься дурачком!» Да, вот что говорилось в стихах, которые она послала другу вместо письма. Цветок очутился в конверте. Как там было темно! Он точно опять попал в луковицу! И вот он отправился в путь, побывал в почтовой сумке, его тискали, комкали; приятного тут было мало, но и этому пришел конец.

Письмо дошло по назначению; его распечатали и прочли. Друг сердца был так доволен, что расцеловал цветок и спрятал его вместе со стихами в ящик. Там лежало много таких же дорогих писем, но все они были без цветов; этот явился первым, единственным, как называли его солнечные лучи, и цветок не нарадовался этому!

А времени радоваться было у него довольно: прошло лето, прошла и длинная зима, снова настало лето, и тогда только его опять вынули. Но на этот раз молодой человек не был весел и так сердито принялся рыться в письмах и бумагах, что листок со стихами полетел на пол и подснежник выпал из него. Правда, он высох и сплюснулся, но из-за этого не следовало все-таки швырять его на пол! И все же лежать на полу было лучше, чем сгореть в печке, куда угодили все письма и стихи. Что же случилось? То, что часто случается. Подснежник обманул молодого человека – это была шутка; девушка обманула его – это уж была не шутка. Она избрала себе летом нового друга сердца.

Утром солнышко осветило маленький сплюснутый подснежник, смотревший словно нарисованным на полу. Девушка, подметавшая пол, подняла его и вложила в одну из книг на столе; она думала, что нечаянно выронила оттуда цветок, приводя стол в порядок. И вот

цветок снова очутился между стихами, но на этот раз напечатанными, а они ведь важнее написанных, по крайней мере обходятся дороже.

Прошли годы; книга все стояла на полке; но вот ее взяли, открыли и стали читать. Книга была хорошая, стихи и песни датского поэта Амвросия Стуба; с ними стоит познакомиться. Человек, читавший книгу, перевернул страницу.

– Подснежник! Недаром его положили сюда. Бедняга Амвросий Стуб! Ты тоже был подснежником среди своих собратьев! Ты явился слишком рано, опередил свое время, и тебя встретили буйные ветры и непогода. Пришлось тебе скитаться из дома в дом, от одного фюнского помещика к другому, разыгрывая роль цветка в стакане с водою или вложенного в рифмованное письмо! Да, и ты был подснежником, обманчиво возвестившим лето, недоразумением, шуткой, но все же ты был первым, единственным дышащим юношескою свежестью датским поэтом. Оставайся же тут, подснежник! Ты положен сюда недаром.

И подснежник опять положили в книгу; он был и польщен и обрадован, узнав, что положен в это прекрасное собрание песен недаром и что сам певец был таким же подснежником, над которым подшутила зима. Подснежник понял все по-своему, как и мы всякую вещь понимаем по-своему.

Вот и вся сказка о подснежнике.

## Чайник



Жил-был гордый чайник. Он гордился и фарфором своим, и длинным носиком, и изящной ручкою – всем-всем, и об этом говорил. А вот что крышка у него разбита и склеена – об этом он не говорил, это ведь недостаток, а кто же любит говорить о своих недостатках, на то есть другие. Весь чайный сервиз – чашки, сливочник, сахарница охотнее говорили о хилости чайника, чем о его добротной ручке и великолепном носике. Чайнику это было известно.

«Знаю я их! – рассуждал он про себя. – Знаю и свой недостаток и признаю его, и в этом – мое смирение и скромность. Недостатки есть у всех нас, зато у каждого есть и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы – крышка, а у меня и то и другое да и еще кое-что, чего у них никогда не будет, – носик. Благодаря ему я – король всего чайного стола. Сахарнице и сливочнице тоже выпало на долю услаждать вкус, но только я истинный дар, я главный, я услада всего жаждущего человечества: во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в китайский ароматный напиток».

Так рассуждал чайник в пору беспечальной юности. Но вот однажды стоит он на столе, чай разливает чья-то тонкая изящная рука. Неловка оказалась рука: чайник выскользнул из нее, упал – и носика как не бывало, ручки тоже, о крышке же и говорить нечего, о ней сказано уже достаточно. Чайник лежал без чувств на полу, из него

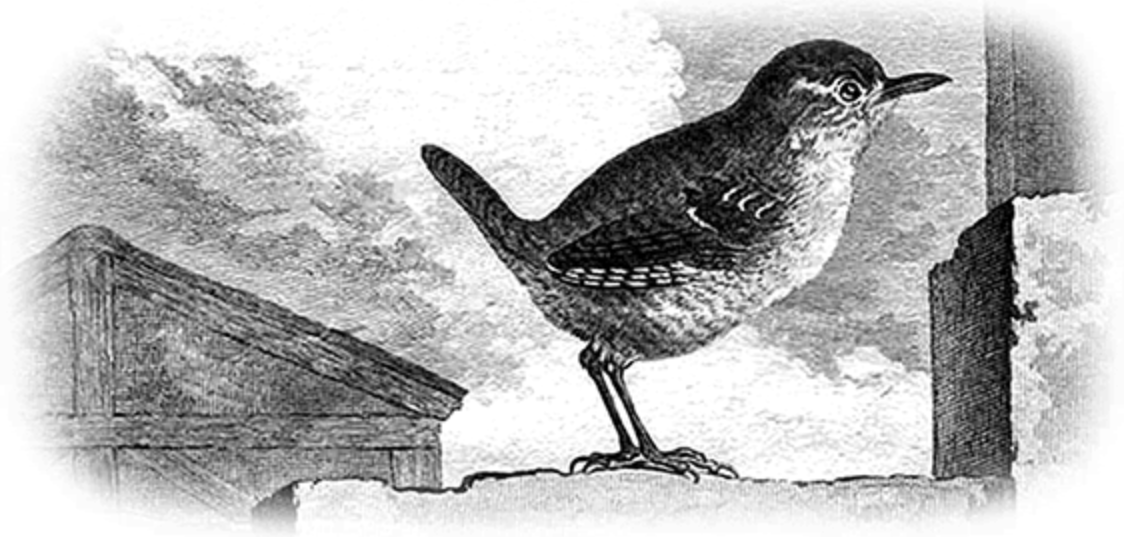
бежал кипяток. Ему был нанесен тяжелый удар, и тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкою рукой, а над ним самим.

«Этого мне никогда не забыть! – говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. – Меня прозвали калекою, сунули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, просившей немного сала. И вот попал я в бедную обстановку и пропадал без пользы, без всякой цели – внутренней и внешней. Так стоял я и стоял, как вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь... Да, бываешь одним, а становишься другим. Меня набили землею – для чайника это все равно что быть закопанным, – а в землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю, но дали мне ее взамен китайских листочков и кипятка, взамен отбитой ручки и носика. Луковица лежала в земле, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне никогда не было. И во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс. Луковица пустила ростки, она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. И они вылились в цветке.

Я любовался им, я держал его в своих объятиях, я забывал себя ради его красоты. Какое блаженство забывать себя ради других! А цветок даже не сказал мне спасибо, он и не думал обо мне, – им все восхищались, и если я был рад этому, то как же должен был радоваться он сам! Но вот однажды я услышал: “Такой цветок достоин лучшего горшка!” Меня разбили, было ужасно больно... Цветок пересадили в лучший горшок, а меня выбросили на двор, и теперь я валяюсь там, но воспоминаний моих у меня никто не отнимет!»

1863

## **Птица народной песни**



Зимняя пора; земля покрыта снежной корой, словно пластом мрамора, высеченного из скалы; небо ясное, чистое; ветер колет, как острие выкованного гномами меча; деревья похожи на белые кораллы, на цветущие миндальные деревья; свежо здесь, как на вершинах Альп. Чудная ночь озаряется северным сиянием и мерцанием бесчисленных звездочек.

Завыли бури, облака собираются на небе стаями и отряхивают свое лебединное оперение; снежные хлопья порхают в воздухе и усыпают дорогу, дом, открытое поле и глухие переулки. А мы-то сидим у себя в уютной комнате, у пылающей печки, и слушаем рассказ о старине – сагу.

«У открытого моря возвышается могильный курган; на нем появляется в полночный час призрак погребенного там героя, конунга. Золотой обруч блестит на его челе, волосы развеваются по ветру, грудь закована в латы. Он печально поник головой и глубоко, горько вздыхает, словно дух, обреченный на муки.

Мимо плывет корабль. Мореплаватели бросают якорь и пристают к берегу. Между ними скальд; он подступает к призраку и вопрошает его: “О чем ты скорбишь и страждешь?”

Мертвец отвечает: “Никто не воспел моих подвигов; они забыты, умерли вместе со мною. Песнь не разносит мою славу по свету, не говорит о ней сердцам людей – вот отчего я не знаю покоя в могиле!”

И он поведал о своих славных делах и подвигах, оставшихся невоспетыми в его время, – не было скальда.



Старый скальд схватывает свою арфу, ударяет по струнам ее... и льется песнь о мужестве героя в юности, о силе его в годы зрелости, о всех его великих и добрых деяниях! Лицо умершего проясняется, словно край облака, освещенный луной. Яркое сияние озаряет призрак... Мгновение – и оно погасает, словно сноп северного сияния, а вместе с ним исчезает и самый призрак».

На том месте остались только зеленый холм да голые камни без надписей. Но над ними взвилась, одновременно с последним ударом скальда по струнам, прелестная птичка. Она как будто вылетела из самой арфы. Это певчая птичка; она рассыпает трели, как звонкий дрозд, поет и задушевым человеческим голосом; в ее пении слышатся родные отголоски. Птичка понеслась над скалами, над долинами, над полями и лесами – то была бессмертная птица народной песни!

Мы слушаем ее пение, слушаем его сейчас, сидя вечерней порой в теплой комнате; на дворе же в это время летают белые пчелы и воет буря. Птичка поет нам не только суровые богатырские песни, но и нежные любовные мелодии о любви северян; она знает их без конца, без счета. Знает она и сказки, и пословицы, и поговорки в стихах; она истолковывает нам на нашем родном языке руны – язык мертвецов, заставляет говорить умершие поколения, и мы узнаем их житье-бытьё; оно воскресает перед нами.

В древние языческие времена, во времена викингов, гнездо птицы качалось на струнах арфы скальда. А в рыцарскую эпоху, когда кулак склонял чаши весов правосудия, когда сила была правом, когда крестьян меняли на собак, – тогда где находила себе приют птица народной песни? Невежеству и мелочности не до нее было, но в оконной нише сидела за пергаментом благородная владетельница замка и записывала старые предания в песнях, которые сказывала ей старушка из крестьянской хижины или странствующий коробейник, и вот тут-то вилась и щебетала бессмертная птичка! Птица народной песни не умрет, пока на земле останется для ее ног хоть единая точка опоры!

Теперь она поет нам в теплой, уютной комнате, а на дворе бушует снежная метель, царит мрак. Птица переводит на наш язык древние руны, и благодаря ей мы познаем свою родину. Сам Бог говорит нам на нашем родном языке устами птички. Старые предания восстают из

могил, потускневшие краски освежаются. Песня и сказание – благодатный напиток, возвышающий душу и мысль. Простой зимний вечер становится рождественским сочельником! Вьюга крутится, лед трещит, буря бушует; она сильна, она господствует, но над нею есть еще Господин.

Зимняя пора; ветер колет, как острие меча, выкованного гномами; вьюга крутится; сдается, что она крутится уже целые дни, недели, что весь город погребен под снежными сугробами и погружен в тяжелый зимний сон. Все занесено снегом; над белой насыпью возвышается только золотой крест церкви, символ веры в Распятого, и сияет под лучами солнца.

И вот над погребенным городом пролетают птички небесные, большие и малые. Они щебечут, поют, каждая по-своему.

Прежде всех являются воробьи. Они чирикают о малых мира сего, обитающих в улицах и переулках, гнездах и домах. Они знают, что творится и в больших домах, и в надворных флигелях. «Знаем мы этот погребенный город! – говорят они. – Все живое в нем чирикает по-своему! Пип! Пип!»

Над белой снежной пеленой пролетают и черные вороны и вороны. «Кар! Кар! – кричат они. – Город похоронен! Но там все-таки найдется еще чем набить зобы! А это ведь первое дело! Так думает большинство, а оно всегда пра-пра-право!»

Пролетают, шумя крылами, и дикие лебеди и поют о всем великом и прекрасном, что еще пробивается из сердец и мыслей людей, обитающих в этом занесенном снегом городе.

Но не смерть там царит, там кипит жизнь. Мы внемлем ей; она выливается в звуках, мощных, как звуки церковного органа, хватающих за сердце, как мелодии из «Лесного холма», как песнь Оссиана, как бурный полет валькирий! Какие созвучия! Они говорят нашему сердцу, возвышают мысли, мы внемлем им в пении птицы народной песни! Мы внемлем ее пению, и – с неба веет теплым дыханием Божиим, ледяная кора дает трещины, в них проникают лучи солнца, вестники шествующей весны, прилетают птицы – новые птицы все с теми же старыми, родными песнями! Слушай же, слушай эпос года! Неистовство снежной бури, тяжелый сон зимней ночи – все исчезает, все забывается при звуках чудного пения бессмертной птицы народной песни!

*1864*

## «Блуждающие огоньки в городе!»

Жил-был человек. Он когда-то знал много-много новых сказок, но теперь запас их, по словам его, истощился. Сказка, которая является сама собою, не приходила больше и не стучалась к нему в двери. Почему? По правде-то сказать, он сам несколько лет не вспоминал о ней и не поджидал ее к себе в гости. Да она, конечно, и не приходила: была война, и в стране несколько лет стояли плач и стон, как и всегда во время войны.

Аисты и ласточки вернулись из дальнего странствования – они не думали ни о какой опасности; но явиться-то они явились, а гнезд их не оказалось больше: они сгорели вместе с домами. Границы страны были почти стерты, неприятельские кони топтали древние могилы. Тяжелые, печальные то были времена! Но и им пришел конец.

Да, им пришел конец, а сказка и не думала стучаться в двери к сказочнику; и слуха о ней не было!

«Пожалуй, и сказкам пришел конец, как многому другому! – вздыхал сказочник. – Но нет, сказка ведь бессмертна!»

Прошел год с чем-то, и сказочник стал тосковать.

«Неужели же сказка так и не придет, никогда больше не постучится ко мне?» И она воскресла в его памяти как живая. В каких только образах она ему не являлась! То в образе прелестной молодой девушки, олицетворенной весны, с сияющими, как глубокие лесные озера, очами, увенчанной диким яминником, с буковою ветвью в руке. То в образе коробейника, который, открыв свой короб с товарами, развевал перед ним ленты, испещренные стихами и преданиями старины. Милее же всего было ему ее появление в образе старой, убеленной сединами бабушки с большими, умными, светлыми глазами. Вот у нее так был запас рассказов о самых древнейших временах, куда древнее тех, когда принцессы еще пряли на золотых прялках, а их сторожили драконы и змеи! И она передавала их так живо, что у слушателя темнело в глазах, а на полу рисовались кровавые пятна. Жутко было слушать и все-таки куда как занятно! Все это было ведь так давно-давно!

«Неужели же она так-таки и не постучится больше?» – спрашивал себя сказочник, не сводя взгляда с двери. Под конец у него потемнело

в глазах, а на полу замелькали черные пятна; он и сам не знал, что это – кровь или траурный креп, в который облеклась страна после тяжелых, мрачных дней скорби.

Сидел он, сидел, и вдруг ему пришла мысль: а что, если сказка скрывается, как принцесса добрых старинных сказок, и ждет, чтобы ее разыскали? Найдут ее, и она засияет новою красой, лучше прежнего!

«Кто знает! Может быть, она скрывается в брошенной соломинке, колеблющейся вон там, на краю колодца? Тише! Тише! Может быть, она спряталась в высохший цветок, что лежит в одной из этих больших книг на полке?»

Сказочник подошел к полке и открыл одну из новейших просветительных книг. Не тут ли сказка? Но там не было даже ни единого цветка, а только исследование о Хольгере Датчанине. Сказочник стал читать и прочел, что история эта – плод фантазии одного французского монаха, роман, который потом взяли да перевели и «тиснули на датском языке», что Хольгера Датчанина вовсе и не существовало никогда, а следовательно, он никогда и не появится опять, о чем мы поем и чему так охотно верим. Итак, Хольгер Датчанин, как и Вильгельм Телль, оказывался одним вымыслом! Все это было изложено в книге с подобающею ученостью.

– Ну а я во что верю, в то и верю! – сказал сказочник. – Без огня и дыма не бывает!

И он закрыл книгу, поставил ее на полку и подошел к живым цветам, стоявшим на подоконнике. Не тут ли спряталась сказка? Не в красном ли тюльпане с желтыми краешками, или, может быть, в свежей розе, или в яркой камелии? Но между цветами прятались только солнечные лучи, а не сказка.

«Цветы, росшие тут в тяжелое, скорбное время, были куда красивее, но их срезали все до единого, сплели из них венок и положили в гроб, который накрыли распущенным знаменем. Может быть, с теми цветами схоронили и сказку? Но цветы знали бы о том, самый гроб, самая земля почувствовали бы это! Об этом рассказала бы каждая пробившаяся из-под земли былинка! Нет, сказка умереть не может! Она бессмертна!..

А может быть, она и приходила сюда, стучалась в дверь, но кому было услышать ее стук, кому было дело до нее? В то мрачное время и на весеннее солнышко-то смотрели чуть ли не с озлоблением,

сердились, кажется, даже на щебетание пташек, на жизнерадостную зелень! Язык не поворачивался тогда пропеть хоть одну из старых, неувядающих народных песен, их схоронили вместе со многим, что было так дорого сердцу! Да, сказка отлично могла стучаться в двери, но никто не слышал этого стука, никто не пригласил ее войти, она и ушла!

Придется пойти поискать ее!

Скорее за город! В лес, на берег моря!»

За городом стоит старый замок; стены сложены из красного кирпича, на башне развевается флаг. В тонко вырезной листве буковых деревьев поет соловей, любясь на цветы яблони и думая, что перед ним розы. Летом здесь суетятся пчелы, носясь гудящим роем вокруг своей царицы, а осенью бури рассказывают о дикой охоте, об увядающих и опадающих человеческих поколениях и листьях. На Рождестве сюда доносится с моря пение диких лебедей, а в самом старом доме у печки в это время так уютно, так приятно сидеть и слушать сказки и предания!

В нижней, старой части сада находилась каштановая аллея, так и манившая своим полумраком. Туда-то и направился сказочник. Здесь некогда прогудел ему ветер о Вальдемаре До и его дочерях, а дриада, обитавшая в дереве – это и была сама бабушка-сказка, – рассказала последний сон старого дуба. Во времена прабабушки здесь росли подстриженные кусты, теперь же – только папоротник да крапива. Они разрослись над валявшимися тут обломками старых каменных статуй. Глаза статуй заросли мхом, но видели они не хуже прежнего, а вот сказочник и здесь не увидел сказки.

Куда же, однако, она девалась?

Высоко над его головой и над старыми деревьями носились стаи ворон и каркали: «Кра-кра! Прочь! Прочь!»

Он и ушел из сада на вал, окружавший дом, а оттуда – в ольховую рощу. Здесь стоял шестиугольный домик, при котором был птичий двор. В горнице сидела старуха, смотревшая за птицею; у нее было на счету каждое снесенное яйцо, каждый вылупившийся цыпленок, но все-таки она не была сказкой, которую разыскивал наш сказочник, – на это у нее имелись доказательства: метрическое свидетельство и свидетельство о привитии оспы; оба хранились в ее сундуке.

Неподалеку от домика возвышался холм, поросший терном и желтою акацией. Тут же лежал старый могильный памятник, привезенный сюда много лет тому назад со старого кладбища как память об одном из честных отцов города. Памятник изображал его самого, а вокруг него были высечены из камня его супруга и пять дочерей, все со сложенными руками и в высоких стоячих воротничках. Долгое, пристальное созерцание памятника действовало на мысли, а мысли в свою очередь действовали на камень, и тот начинал рассказывать о старине. Так, по крайней мере, бывало с человеком, разыскивавшим сказку. Придя сюда, он увидел на лбу каменного отца города живую бабочку. Вот она взмахнула крылышками, полетела-полетела и уселась на травку неподалеку от памятника, как бы желая обратить внимание сказочника на то, что там росло. А рос там четырехлистный клевер; да не одна такая былинка, а целых семь, одна подле другой. Да, счастье коли привалит, так уж привалит разом! Сказочник сорвал их все и сунул себе в карман. Счастье ведь не хуже наличных денег, но новая хорошая сказка была бы, однако, еще лучше, думалось сказочнику. Сказки-то он, однако, так и не нашел.

Солнце садилось, большое, красное; луга дымились – болотница варила пиво.

Свечерело. Сказочник стоял один в своей комнате и смотрел через сад и луг на болото и морской берег. Ярко светил месяц; над лугами стоял такой туман, что луг казался огромным озером. Он и был им когда-то, пласили предания; теперь же благодаря лунному свету предание превратилось в действительность. Сказочнику вспомнилось то, что он прочел сегодня в книге о Вильгельме Телле и Хольгере Датчанине – будто они никогда не существовали. Они, однако, жили в народном поверье, как вот и это озеро, вновь ставшее вдруг действительностью! Значит, и Хольгер Датчанин может воскреснуть!

В эту минуту что-то сильно стукнуло в окно. Что это? Птица, летучая мышь, сова? Ну, таким гостям не отворяют, даже если они стучатся в дом! Но вдруг окно распахнулось само собою и в него просунулась старушечья голова.

– Это еще что? – спросил сказочник. – Кто это? И как она может заглянуть в окно второго этажа? Что она, на лестнице стоит?

– У вас в кармане четырехлистный клевер! – отозвалась старуха. – У вас даже целых семь таких былинков, и одна из них шестилистная!

– Кто ты? – спросил ее сказочник.

– Болотница! – ответила она. – Болотница, что варит пиво. Я и возилась с пивом, да один из болотных чертенят расшалился, выдернул из бочки втулку и бросил ее сюда во двор, прямо в окно. Теперь пиво так и бежит из бочки, а это невыгодно.

– А скажите... – начал было сказочник.

– Пойдите маленько! – прервала его болотница. – Теперь у меня есть дело поважнее! – И она исчезла.



Сказочник только что собрался затворить окно, как старуха показалась опять.

– Ну вот дело и сделано! – сказала она. – Остальную половину пива я доварю завтра, коли погода будет хороша. О чем же вы хотели спросить меня? Я вернулась потому, что всегда держу слово, да к тому же у вас в кармане семь былинков четырехлистного клевера, из



которых одна даже шестилистная, – это внушает уважение! Такой четырехлистник – что твой орден; правда, он растет прямо у дороги, но находит-то его не всякий! Так что же вы хотели спросить? Ну, не мямлите же, я тороплюсь!

Сказочник и спросил о сказке, спросил, не встречала ли ее болотница.

– Ох ты, пиво мое, пиво! – сказала старуха. – Вы все еще не сыты сказками? А я так думаю, что они всем уж набили оскомину. Теперь у людей есть чем заняться другим! Даже дети-то и те переросли сказки. Теперь подавайте мальчикам сигары, а девочкам кринолины, вот что им по вкусу! А то сказки! Нет, теперь есть чем заняться поважнее!

– Что вы хотите сказать? – спросил сказочник. – И что вы знаете о людях? Вы ведь имеете дело только с лягушками да блуждающими огоньками!

– Да, берегитесь-ка этих огоньков! – сказала старуха. – Они теперь на воле! Вырвались! Об них-то мы и поговорим с вами! Только приходите ко мне на болото, а то меня там дело ждет. Там я и расскажу вам обо всем. Но торопитесь, пока ваши четырехлистные да одна шестилистная былинки клевера не завяли и месяц не зашел.

И болотница исчезла.

Башенные часы пробили двенадцать, и не успели еще они пробить четверть первого, как сказочник, выйдя из дома и миновав сад, стоял на лугу. Туман улегся. Болотница кончила варку пива.

– Долгонько же вы собирались! – сказала ему она. – Нечистая сила куда проворнее людей; я рада, что родилась болотницею!

– Ну, что же вы мне скажете? – спросил сказочник. – Что-нибудь о сказке?

– Вы ни о чем другом и говорить не можете? – ответила старуха.

– Так речь пойдет о поэзии будущего?

– Только не залетайте слишком высоко! – сказала болотница. – Тогда я и буду с вами разговаривать. Вы только и бредите поэзией, говорите только о сказке, точно она всему миру голова! А она хоть и постарше всех, да считается-то самою младшею, вечно юною! Я хорошо знаю ее! И я когда-то была молода, а молодость ведь не то что детская болезнь. И я когда-то была хорошенькою лесною девой, плясала

вместе с подругами при лунном свете, заслушивалась соловья, бродила по лесу и не раз встречала девицу-сказку – она вечно шатается по свету. То она ночует в полураспустившемся тюльпане, то в чашечке лютика, то шмыгнет в церковь и закутается там в креп, ниспадающий с подсвечников на алтарь!

– Да, вы очень сведущи! – заметил сказочник.

– Должна же я знать по крайней мере с ваше! – отозвалась болотница. – Поэзия и сказка – обе одного поля ягоды, и пора им обоим убираться подобру-поздорову! Их теперь можно отлично подделывать; и дешево и сердито выходит! Хотите, я дам вам их сколько вам угодно задаром! У меня полный шкаф поэзии в бутылках. В них налита эссенция, самый экстракт поэзии, извлеченный из разных корней – и горьких и сладких. У меня имеются все сорта поэзии, в которой нуждаются люди. По праздникам я употребляю эти эссенции вместо духов – лью несколько капель на носовой платок.

– Удивительные вещи вы рассказываете! – проговорил сказочник. – Так у вас поэзия разлита по бутылкам?

– И у меня ее столько, что вам и не переварить! – ответила старуха. – Вы ведь знаете историю о девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать новых башмачков? Она и написана и напечатана.

– Я сам рассказал ее! – сказал сказочник.

– Ну, так вы знаете ее и знаете, что девочка провалилась сквозь землю, ко мне в пивоварню, как раз в то время, когда у меня была в гостях чертова прабабушка; она пришла посмотреть, как варят пиво, увидела девочку и выпросила ее себе в истуканы, на память о посещении пивоварни. Чертова прабабушка получила что желала, меня же отдала такую вещь, которая мне совсем не ко двору! Она изволила подарить мне дорожную аптечку, шкаф, полнехонький бутылок с поэзией! Прабабушка сказала, где надо поставить шкаф, – там он и стоит до сих пор. Взгляните! У вас в кармане семь четырехлистных былинков клевера, из которых одна даже шестилистная, так вам можно взглянуть!

И в самом деле – посреди болота лежало что-то вроде большого ольхового пня, но оказалось, что это-то и есть прабабушкин шкаф. Он был открыт для самой болотницы и для всякого, кто только знал, где должен стоять шкаф, сказала болотница.

Шкаф открывался и спереди и сзади, со всех сторон и углов. Прехитрая штука! И все же на вид он был ни дать ни взять старый ольховый пенёк! Тут имелись в искусных подделках всевозможные поэты, но преобладали все-таки туземные. Из творений каждого был извлечен самый их дух, квинтэссенция их содержания; затем добытое было раскритиковано, обновлено, сконцентрировано и закупорено в бутылку. Руководимая высоким инстинктом, – как принято говорить в тех случаях, когда нежелательно назвать это гениальностью, – чертова прабабушка отыскивала в природе то, что отзывалось тем или другим поэтом, прибавляла немножко чертовщины и таким образом запасалась поэзией данного рода.

– Ну, покажите же мне эту поэзию! – попросил сказочник.

– Сперва вам надо послушать кое о чем поважнее! – возразила болотница.

– Да ведь мы как раз у шкафа! – сказал сказочник и заглянул в шкаф. – Э, да тут бутылки всех величин. Что в этой? Или в этой?

– В этой так называемые майские духи. Я еще не нюхала их, но знаю, что стоит чуть плеснуть из этой бутылки на пол, и сейчас перед тобой будет чудное лесное озеро, поросшее кувшинками. Если же капнуть всего капельки две на тетрадку ученика, хотя бы из самого низшего класса, в тетрадке окажется такая душистая комедия, что хоть сейчас ставь ее на сцену да засыпай под нее – так сильно от нее пахнет! На бутылке написано: «По рецепту болотницы», – вероятно, из уважения ко мне!

А вот бутылка со скандальной поэзией. С виду в ней налита одна грязная вода. Так оно и есть, но к этой воде подмешан шипучий порошок из городских сплетен, три лота лжи и два грана истины, все это перемешано березовым прутом – не из розог, помоченных в рассоле и обрызганных кровью преступника, даже не из пучка школьных розог, нет, просто из метлы, которою прочищали уличную канаву.

Вот бутылка с минорно-набожной поэзией. Каждая капля издает визг, напоминающий скрипение ржавых петель в воротах ада; извлечена же эта эссенция из пота и крови самобичующихся. Поговаривают, правда, что это только голубиная желчь, но другие спорят, что голубь – птица благочестивая и в ней даже желчи нет; видно, что эти мудрецы не учились естественной истории!

Потом сказочник увидел еще бутылку. Вот так была бутылка! Из бутылок бутылка! Она занимала чуть не половину шкафа; это была бутылка с «Обыкновенными историями». Горлышко ее было обвязано свиною кожей и обтянуто пузырем, чтобы эссенция не выдохлась. Каждый народ мог добыть из нее свой национальный суп, – все зависело от того, как повернуть и потрянуть бутылку. Тут был и старинный немецкий кровавой суп с разбойничьими клетками, и жиденский датский супец, сваренный из настоящих надворных советников вместо корней; на поверхности его плавали философские жирные точки. Был тут также и английский гувернантский суп, и французский *potage à la Cook*, сваренный из петушьей ноги и воробьиного яйца и на датском языке носящий название суп канкан. Лучшим же из всех супов был копенгагенский. Так, по крайней мере, говорили свои люди.

В бутылке из-под шампанского содержалась трагедия; она могла и должна была вышибать пробку и хлопать; комедия же была похожа на мелкий-мелкий песок, пыль, которую можно было бы пустить людям в глаза; это была, конечно, высокая комедия. Низкая комедия, впрочем, тоже имелась в особой бутылке, но она состояла из одних афиш будущего репертуара, в которых название пьесы играло главную роль. И тут попадались замечательные названия, например, «А ну плюнь-ка в нутро!», «В морду!», «Душка-скотина!», «Пьяна в стельку!».

Сказочник слушал-слушал и совсем задумался, но мысли болотницы забежали вперед, и ей хотелось поскорее положить этому думанью конец.

– Ну, теперь насмотрелись на это сокровище! Знаете теперь, в чем тут дело! Но есть кое-что поважнее, чего вы еще не знаете: блуждающие огоньки в городе! Это поважнее всякой поэзии и сказки. Мне бы следовало, конечно, держать язык за зубами, но судьба сильнее меня, на меня точно нашло что-то, язык так вот и чешется! Блуждающие огоньки в городе! Вырвались на волю! Берегитесь их, люди!

– Ни слова не понимаю! – сказал сказочник.

– Присядьте, пожалуйста, на шкаф! – сказала старуха. – Только не провалитесь в него да не перебейте бутылок! Вы ведь знаете, что в них. Я расскажу вам сейчас о великом событии; случилось оно не

далее как вчера, но случалось и прежде. Длиться же ему еще триста шестьдесят четыре дня. Вы ведь знаете, сколько дней в году?

И она повела рассказ:

– Вчера в болоте была такая суета! Праздновали рождение малюток! Родилось двенадцать блуждающих огоньков из того сорта, что могут по желанию вселяться в людей и действовать между ними как настоящие люди. Это великое событие в болоте, вот почему по болоту и лугу и началась пляска. Плясали все блуждающие огоньки – и мужского и женского пола. Среди них есть и женский пол, но о нем не принято упоминать. Я сидела на шкафу, держа на коленях двенадцать новорожденных огоньков. Они светились, как светлячки, начинали уже попрыгивать и с каждой минутой становились все больше и больше. Не прошло и четверти часа, как все они стали величиной со своих папаш или дядюшек. По древнему закону блуждающие огоньки, родившиеся в такой-то час и минуту, при таком именно положении месяца, какое было вчера, и при таком ветре, какой дул вчера, пользуются особым преимуществом принимать человеческий образ и действовать как человек – но, конечно, сообразно с своею натурой – целый год. Такой блуждающий огонек может обежать всю страну, даже весь свет, если только не боится упасть в море или погаснуть от сильного ветра. Он может прямехонько вселиться в человека, говорить за него, двигаться и действовать по своему усмотрению. Он может избрать для себя любой образ, вселиться в мужчину или женщину, действовать в их духе, но сообразно своей натуре. Зато в продолжение года он должен совратить с прямого пути триста шестьдесят пять человек, да совратить основательно. Тогда блуждающий огонек удостоивается у нас высшей награды: его жалуют в скороходы, что бегут перед парадною колесницей черта, одевают в огненно-красную ливрею и даруют ему способность изрыгать пламя прямо изо рта! А простые-то блуждающие огоньки глядят на это великолепие да только облизываются! Но честолубивому огоньку предстоит тоже немало хлопот и забот и даже опасностей. Если человек разгадает, с кем имеет дело, и сможет задуть огонек – тогда этот пропал: полезай назад в болото! Если же сам огонек не выдержит срока испытания, соскучится по семье, он тоже пропал: не может уже гореть так ярко, скоро потухает, и навсегда. Если же год пройдет, а он не успеет за это

время совратить с пути истинного трехсот шестидесяти пяти человек, его наказывают заключением в гнилушку: лежи себе там да свети, не шевелись! А это для шустрого блуждающего огонька хуже всякого наказания.



Все это я знала и рассказала двенадцати молодым огонькам, которых держала на коленях, а они так и бесились от радости. Я сказала им, что вернее, удобнее всего отказаться от чести и ничего не

делать. Но огоньки не захотели этого: все они уже видели себя в огненной ливрее и с пламенем изо рта! «Оставайтесь-ка дома!» – советовали им некоторые из старших. «Подурачьте людей! – говорили другие. – Люди осушают наши луга! Что будет с нашими потомками?»

«Мы хотим гореть, пламя нас возьми!» – сказали новорожденные огоньки, и слово их было твердо.

Сейчас же устроился минутный бал – короче балы уже не бывают! Лесные девы сделали по три тура со всеми гостями, чтобы не показаться спесивыми; вообще же они охотнее танцуют одни. Потом начали дарить новорожденным на зубок, как это называется. Подарки летели со всех сторон, словно в болото швыряли камушки. Каждая из лесных дев дала огонькам по клочку от своего воздушного шарфа.

– Возьмите их, – сказали они, – и вы сейчас же выучитесь труднейшим танцам и изворотам, которые могут понадобиться в минуту трудную, а также приобретете надлежащую осанку, так что не ударите лицом в грязь в самом чопорном обществе!

Ночной ворон выучил всех новорожденных огоньков говорить: «Браво! Браво!» – и говорить всегда кстати, а это ведь уж такое искусство, которое никогда не остается без награды. Сова и аист тоже кое-что обрели в болото, но «о такой малости не стоит и говорить», заявили они сами, мы и не будем говорить. Тут как раз мимо проносилась «дикая охота короля Вальдемара». Господа узнали, что за пир у нас идет, и прислали в подарок двух лучших собак; они мчатся с быстротою ветра и могут снести на спине хоть трех блуждающих огоньков. Две старые бабы-кошмарихи, которые промышляют ездой, тоже присутствовали на пиру и научили огоньков искусству пролезать в замочную скважину, – таким образом, перед ними были открыты все двери. Они предложили также отвезти молоденьких огоньков в город, где знали все ходы и выходы. Обыкновенно кошмарихи ездят, сидя верхом на собственных косах, – они связывают их на кончике в узелок, чтобы сидеть тверже. Теперь же они уселись верхом на диких охотничьих собак, взяли на руки молоденьких огоньков, которые отправлялись в свет соблазнять людей, и – марш!

Все это было вчера ночью. Теперь блуждающие огоньки в городе и взялись за дело, но как, где? Да, вот скажите-ка мне! Впрочем, у меня большой палец на ноге что твой барометр и кое о чем да дает мне знать.



– Да это целая сказка! – воскликнул сказочник.

– Нет, только присказка, а сказка-то еще впереди! – ответила болотница. – Вот вы и расскажите мне, как ведут себя огоньки, какие личины на себя надевают, чтобы совращать людей?

– Я думаю, что об огоньках можно написать целый роман в двенадцати частях, по одной о каждом, или, еще лучше, народную комедию! – сказал сказочник.

– Ну и напишите! – сказала старуха. – Или лучше отложите попечение!

– Да, оно, пожалуй, и удобнее и приятнее! – отозвался сказочник. – По крайней мере, тебя не будут трепать в газетах, а от этого ведь приходится иной раз так же тяжело, как блуждающему огоньку – от сидения в гнилушке!

– Мне-то все едино! – сказала старуха. – А лучше все-таки предоставьте писать об этом другим – и тем, кто может, и тем, кто не может! Я же дам им старую втулку от моей бочки; ею они могут открыть себе шкаф с поэзией, разлитой по бутылкам. Пусть черпают оттуда все, чего у них самих не хватает. Ну а вы, милый человек, по моему, довольно попачкали себе пальцы чернилами, да и в таких уже годах, что пора вам перестать круглый год гоняться за сказкой! Теперь есть чем заняться поважнее. Вы ведь слышали, что случилось?

– Блуждающие огоньки в городе! – ответил сказочник. – Слышать-то я слышал и понял! Но что же мне, по-вашему, делать? Меня забросают грязью, если я скажу людям: «Берегитесь, вон идет блуждающий огонек в почетном мундире!»

– Они ходят и в юбках! – сказала болотница. – Блуждающие огоньки могут принимать на себя всякие личины и являться во всех местах. Они ходят и в церковь – не ради молитвы, конечно! Пожалуй, кто-нибудь из них вселится в самого пастора! Они произносят речи и на выборах, но не ради пользы страны и государства, а ради своей собственной. Они вмешиваются и в искусство, но удастся им утвердить там свою власть – прощай искусство! Однако я все болтаю да болтаю, язык у меня так и чешется, и я говорю во вред своей же семье! Но мне, видно, на роду написано быть спасительницей рода человеческого! Конечно, я действую не по доброй воле и не ради медали! Что ни говори, однако, я творю глупости: рассказываю все поэту – скоро об этом узнает и весь город!

– Очень ему нужно знать это! – сказал сказочник. – Да ни один человек и не поверит этому! Скажи я людям: «Берегитесь! Блуждающие огоньки в городе!» – они подумают, что я опять сказки рассказывать принялся!

## Ветряная мельница



На холме горделиво возвышалась мельница; она таки и была горденька.

— И вовсе я не горда! — говорила она. — Но я очень просвещена и снаружи и внутри. Солнце и месяц к моим услугам и для внутреннего, и для наружного употребления; кроме того, у меня есть в запасе стеариновые свечи, лампы с ворванью и сальные свечки. Смею сказать, что я просвещена! Я существо мыслящее и так хорошо устроена, что просто любо. В груди у меня отличный жернов, а на голове, прямо под шляпой, четыре крыла. У птиц же всего по два крыла, и они таскают их на спине! Я голландка родом — это видно по моей фигуре, — «летучая голландка»! «Летучий голландец», я знаю, явление сверхъестественное, но во мне нет ничего неестественного! Вокруг живота у меня идет целая галерея, а в нижней части — жилое

помещение. Там живут мои мысли. Главная, которая всем заправляет, зовется остальными мыслями «хозяином». Он знает, чего хочет, стоит куда выше крупы и муки, но и у него есть ровня: зовут ее «хозяйкою». Она – душа всего дела; у нее губа вообще не дура, она тоже знает, чего хочет, и знает, что ей по силам; нежна она, как дуновение ветерка, сильна, как буря, и умеет добиваться своего исподволь. Она моя чувствительная сторона, «хозяин» же – положительная; но оба они составляют, в сущности, одно и зовут друг друга «своею половиной». Есть у них и малышки, маленькие мысли, которые могут со временем вырасти. Малыши эти поднимают порою такую возню! На днях я умно и рассудительно позволила «хозяину» и его подручному исследовать в моей груди жернова и колеса, – я чувствовала, что там что-то неладно, а ведь нужно же знать, что происходит в тебе самой! Так вот, малыши подняли тогда такую возню! А это некстати, если стоишь так высоко, как я! Надо же помнить, что стоишь на виду и при полном освещении; суд людской – то же освещение! Да, что, бишь, я хотела сказать? Ах да, малыши подняли ужасную возню! Самый младший добрался до моей шляпы и принялся трещать языком так, что у меня защекало внутри. Но маленькие мысли могут вырасти, я это испытала. Да и извне могут прийти мысли, и не совсем моей породы: я, как далеко ни смотрю кругом, нигде не вижу себе подобной, никого, кроме себя! Но и в бескрылых домах, где мелют без жерновов, одними языками, тоже водятся мысли. Эти мысли приходят к моим и выходят за них замуж – как они это называют. Удивительно! Да, много есть на свете удивительного. Вот, например: со мной или во мне что-то совершилось, что-то как будто изменилось в механизме. Мельник как будто переменил свою половину на более нежную, молодую, благочестивую и сам стал оттого мягче душою; половина его как будто изменилась, а в сущности, осталась тою же самою, только смягчилась с годами. И вот все горькое улетучилось, и дело пошло еще лучше. Дни идут за днями, все вперед да вперед, на радость и счастье, и вот наконец – да об этом и сказано и написано в книгах – придет день, когда меня не станет, и все-таки я останусь! Я разрушусь, чтобы восстать вновь в еще лучшем виде. Я перестану существовать – и все-таки буду продолжать существовать. Стану другою – и в то же время останусь сама собою! Мне трудно понять это, как ни просвещена я солнцем, луною, стеарином, ворванью и

салом! Но я твердо знаю, что мои старые бревна и кирпичи восстанут из мусора. Надеюсь, что я сохраню и свои старые мысли: «хозяина», «хозяйку», всех больших и малых, всю семью, как я называю их, всю мыслящую компанию, – без них я не могу обойтись! Надеюсь тоже, что я останусь самою собою, такою, какова я есть, с жерновом в груди, крыльями на голове и галереею вокруг живота, а не то и я не узнаю самое себя, да и другие не узнают меня и не скажут больше: «Вот у нас на холме гордо возвышается мельница, но сама-то она вовсе не горда!»

Так вот что говорила мельница; говорила она и еще много чего, но это главное.

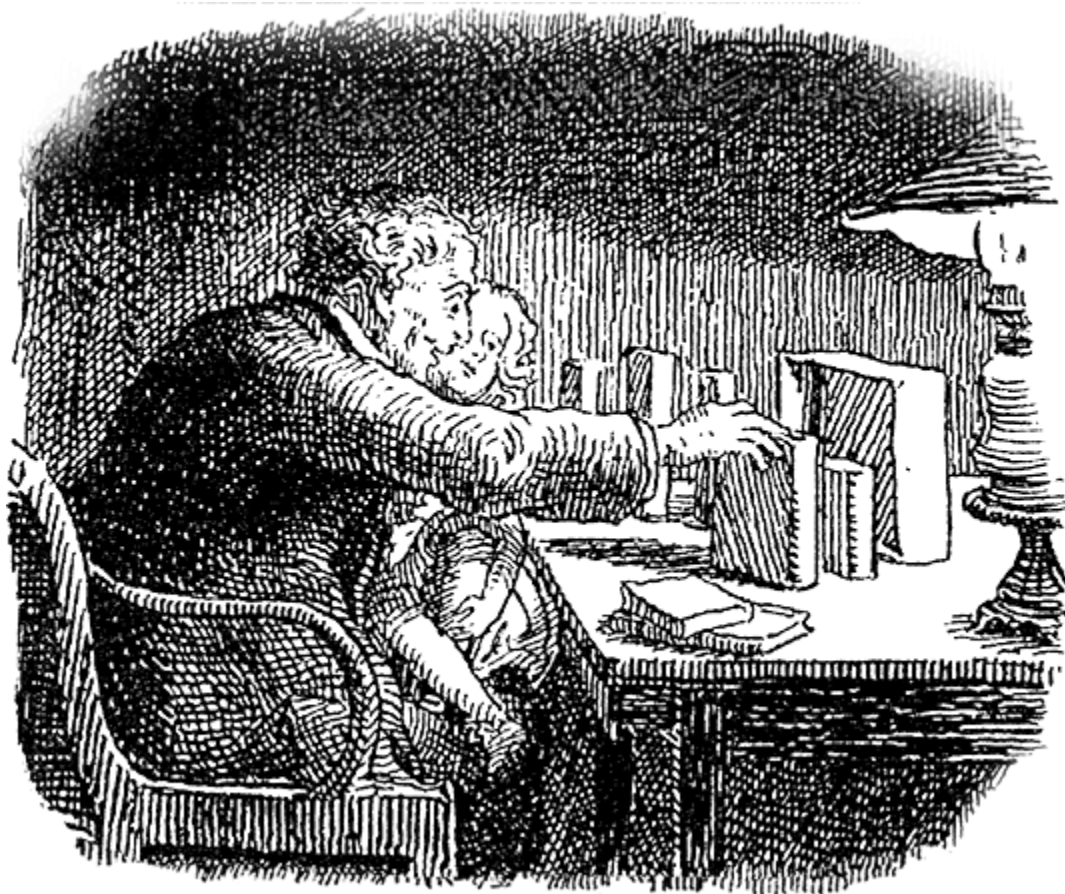
И дни шли за днями, и последний из них был для нее последним.

Мельница загорелась. Пламя вспыхнуло, бросилось наружу, внутрь, лизнуло бревна и доски, а потом и пожрало их все. Мельница обрушилась, и от нее осталась одна зола; пожарище еще дымилось, но скоро ветер развеял дым.

С живыми обитателями мельницы ничего не случилось при этой оказии; они только выиграли. Семья мельника – одна душа, много голов, составлявших одно целое, – приобрела новую, чудесную мельницу, которою могла быть вполне довольна. Мельница была с виду точь-в-точь такая же, как старая, и о ней тоже говорили: «Вон на холме гордо возвышается мельница!» Но эта была устроена лучше, более современно, – все ведь идет вперед. Старые же бревна, источенные червями, истлели, превратились в прах, в золу, и тело мельницы не восстало из праха, как думала она. Она понимала все сказанное в буквальном смысле, а нельзя же все понимать буквально!

1865

**В детской**



Папаша с мамашей и все братья и сестры уехали в театр; дома остались маленькая Анна да ее крестный.

– Мы тоже устроим себе театр! – сказал он. – Сейчас же начнем представление.

– Да ведь у нас нет театра! – возразила Анна. – Нет и актеров! Моя старая кукла не годится, она стала такая гадкая, а новую нельзя взять – платьице изомнешь!

– Актеры найдутся, если только не брезговать тем, что есть под рукой! – сказал крестный. – Ну, построим сначала театр. Вот сюда одну книжку, сюда другую, сюда третью, все три поставим вкось. Теперь по другую сторону еще три – вот и кулисы готовы. А этот старый ящик будет заднею стеною – мы повернем его сюда дном. Сцена, как всякий видит, представляет комнату. Теперь дело за актерами! Посмотрим-ка, не найдется ли чего подходящего в ящике с игрушками. Сначала надо отыскать действующих лиц, а потом уж сочинить пьесу; одно ведет за собою другое, и выходит чудесно! Вот

трубка от чубука, а вот перчатка без пары; пусть это будет папаша и дочка!

– Так это всего только два лица! – сказала Анна. – А вот старый мундирчик брата. Нельзя ли и его взять в актеры?

– Отчего же нет? Ростом-то он для этого вышел. Он будет у нас женихом. В карманах у него пусто – вот уж и интересная завязка: тут пахнет несчастною любовью!.. А вот еще сапог со шпорою от орешного щелкунчика. Топ, топ! То-то лихо он танцует мазурку! Он топает и прищелкивает! Он будет у нас немым женихом. Ну, какую ж пьесу ты хочешь? Драму или комедию из семейного быта?

– Комедию! – сказала Анна. – Все так любят комедии. А ты знаешь какую-нибудь?

– Целую сотню! – ответил крестный. – Самый большой успех имеют французские, но они неподходящи для девочек. Мы возьмем лучше какую-нибудь из своих: они все ведь на один лад. Ну, я встряхиваю мешок! «Кукареку! Обновись!» Вот теперь все комедии обновились! Слушай же, что написано в афише.

И крестный взял газету и стал читать как будто по афише:

## **Трубка и умный малый**

### ***Комедия в одном действии***

#### **Действующие лица:**

Господин Трубка – отец.

Госпожа Перчатка – дочь.

Господин Мундир – милый.

Фон Сапог – немилий.

– Теперь начнем! Занавес поднят – у нас его нет, ну, значит, он поднят. Все лица налицо. Я поведу речь за папашу. Он сегодня сердит, – видишь, потемнел весь от курения!

«Вздор, вздор, ерунда! Я хозяин в доме! Я отец своей дочери! Извольте слушаться меня! Фон Сапог такая персона, что хоть плядись

в него как в зеркало! Он из сафьяна да еще со шпорою! Трин-бринь! Тринь-бринь! Он и женится на моей дочери!»

Теперь следи за Мундиром, Анна, – продолжал крестный. – Теперь он начнет. Он носит отложной воротничок, очень скромн, но сознает собственное достоинство и имеет право говорить так:

«На мне нет ни одного пятна! Добрые качества тоже надо принимать в расчет. А я ведь из самой добротной материи, да еще с галунами!»

«Ну, они только до свадьбы и продержатся. В стирке полиняют. – Это говорит опять господин Трубка. – Фон Сапог – тот непромокаем, из крепкой и в то же время тонкой кожи, может скрипеть, щелкать шпорою и похож на Италию!»

– Но они должны говорить стихами, – заметила Анна. – Говорят, это выходит так красиво!

– Можно и так, – ответил крестный. – Захочет публика, актеры говорят и стихами. Ну, гляди же на барышню Перчатку, гляди, как она ломает пальчики:

Лучше век мне быть без пары,  
Только бы избегнуть кары –  
Жизнь с постылым проводить!  
Мне того не пережить!  
Ох, ох, ох!  
Лопну, лопну, вот вам Бог!

«Вздор!» – это уж отвечает папаша Трубка. А вот теперь говорит господин Мундир:

Перчатка-душа,  
Ты так хороша!  
Ты мне суждена,  
Моей быть должна!



Тут фон Сапог шаркает, топает, щелкает шпорою и опрокидывает три кулисы разом.

– Чудо как хорошо! – воскликнула Анна.

– Тсс! – сказал крестный. – Молчаливое одобрение говорит о высокой степени воспитанности зрителей первых рядов. Теперь барышня Перчатка споет свою большую арию с руладами:

Я так убита,  
Так сердита,  
Что вам клянусь,  
Я разреву-у-усь!

Теперь самый интересный момент, Анна! Видишь, господин Мундир расстегивается и обращает свою речь прямо к тебе, чтобы ты похлопала ему! Но ты не хлопай! Так бонтоннее! Послушай, как он шуршит: «Чаша терпения моего переполнилась! Берегитесь! Я подведу интригу! Вы – Трубка, а я – малый с головой! Фьють! И – нет вас!» Гляди, Анна! Это самая интересная сцена во всей комедии! Мундир схватывает Трубку и засовывает к себе в карман – лежи тут! – а затем говорит: «Вы теперь у меня в кармане и не выйдете оттуда, пока не обещаете соединить меня узами брака с вашей дочерью, Перчаткой с левой руки! Я протяну ей свою правую».

– Ужасно хорошо! – опять воскликнула Анна.

– А старая Трубка отвечает:

Что делать мне?  
Горю, как в огне!  
Ах, где ж мой чубук?  
Ведь я как без рук!  
О, сжальтесь, простите,  
Меня отпустите!  
Я дочь вам отдам,  
Венчаю вас сам!

– И конец? – спросила Анна.  
– Что ты! – ответил крестный. – Конец только для фон Сапога.  
Жених и невеста опускаются на колени.

Первая поет:

Отец, оживаю!

Второй:

Я вас отпускаю!

Господин Трубка благословляет их, а вся мебель поет хором:

То-то любящий отец!  
Он повел их под венец!  
Тут и пьесе всей конец!

Вот теперь похлопаем! – прибавил крестный. – И вызовем их всех, вместе с мебелью: она ведь красного дерева!

– А что, наша комедия так же хороша, как та, что идет в настоящем театре? – спросила Анна.

– Она еще лучше! – ответил крестный. – Она короче, даром доставлена нам прямо на дом и помогла скоротать время до чаю!

## Золотой мальчик

Жена барабанщика была в церкви и смотрела на новый алтарь, украшенный картинами и резными херувимчиками. Какие они были хорошенькие! И те, с золотым сиянием вокруг головок, что были нарисованы на холсте, и те, что были вырезаны из дерева, а потом раскрашены и вызолочены. Волоски у них отливали золотом; чудо как было красиво! Но солнечные лучи были еще красивее! Как они сияли между темными деревьями, когда солнышко садилось! Какое блаженство было глядеть на солнце – зрак Божий! И жена барабанщика загляделась на красное солнышко, думая при этом о малютке, которого скоро принесет ей аист. Она ждала его с радостью и, глядя на красное солнышко, желала одного: чтобы блеск его отразился на ее малютке; по крайней мере, чтобы ребенок походил на одного из сияющих херувимов с алтаря!

И вот когда она наконец действительно держала в объятиях новорожденного малютку и подняла его показать отцу, оказалось, что ребенок в самом деле был похож на херувима: волосы у него отливали золотом, на них как будто легло сияние закатившегося солнышка.

– Золотой мой мальчик, сокровище, солнышко мое! – воскликнула мать и поцеловала сияющие кудри.

В комнатке барабанщика словно загремела музыка, раздалось пение, воцарились радость, веселье, шум! Барабанщик принялся выбивать на своем барабане такую дробь, что держись! Барабан – большой пожарный барабан – так и гремел: «Рыжий! У мальчишки рыжие волосы! Слушай, что говорит барабанная кожа, а не мать! Там-там-там!»

И весь город повторял то же, что барабан.

Мальчика снесли в церковь и окрестили. Ну, против имени сказать было нечего: ребенка назвали Петер. Весь город и барабан звали его рыжий барабанщиков Петер, но мать целовала золотистые волосы сына и звала его золотым мальчиком.

На глинистом откосе у дороги было выцарапано много имен.

– Слава! Она что-нибудь да значит! – сказал барабанщик и выцарапал там свое имя и имя сына.

Прилетели ласточки, они видели в своих странствиях надписи попрочнее, вырезанные на скалах и на стенах храмов в Индостане, надписи, вещавшие о могучих, славных владыках, но они были такие древние, что никто уже не мог прочесть их, никто не мог выговорить этих бессмертных имен.

Слава! Знаменитое имя!

Ласточки устраивали себе на откосе гнезда, выкапывая в мягкой глине ямки. Дождь и непогода тоже помогали стирать выцарапанные там имена. Скоро исчезли и имена барабанщика и Петера.

– Петерово имя все-таки продержалось полтора года! – сказал отец.

«Дурак!» – подумал пожарный барабан, но сказал только: «Дур-дур-дур-дум-дум-дом!»

Рыжий барабанщиков Петер был мальчик живой, веселый. Голос у него был чудесный. Он мог петь и пел, как птица в лесу, не зная никаких мелодий, – и все-таки выходила мелодия.

– Он будет певчим! – говорила мать. – Будет петь в церкви, стоять под теми прелестными вызолоченными херувимчиками, на которых так похож!

– Рыжий кот! – говорили городские остряки. Барабан часто слышал это от соседок.

– Не ходи домой, Петер! – кричали уличные мальчишки. – А то ляжешь спать на чердаке, а в верхнем этаже загорится! Вашему пожарному барабану будет дело!

– Берегитесь-ка вы барабанных палок! – сказал Петер и, как ни был мал, храбро пошел прямо на мальчишек и ткнул кулаком в брюхо ближайшего. Тот полетел вверх ногами; остальные – давай Бог ноги!

Городской музыкант, такой важный, знатный – он был сыном придворного буфетчика, – очень полюбил Петера, часто призывал его к себе, давал в руки скрипку и учил его играть. Руки у мальчика оказались золотые; из него должно было выйти кое-что получше простого барабанщика – городской музыкант!



– Солдатом я буду. – говорил сам Петер.

Он был еще маленьким мальчуганом, и ему казалось, что лучше всего на свете – это носить мундир и саблю да маршировать под команду: раз-два, раз-два!

– Выучишься ходить под барабан! Там-там-там! – сказал барабан.

– Хорошо, кабы он дошел до генерала! – сказал отец. – Но тогда надо войну!

– Боже упаси! – сказала мать.

– Нам-то нечего терять! – заметил отец.

– А мальчугана нашего? – возразила мать.

– Ну а подумай, если он вернется с войны генералом!

– Без руки или без ноги! Нет, пусть лучше мой золотой мальчик останется целым!

«Трам-там-там!» – загремел пожарный барабан, загремели и все барабаны: началась война. Солдаты выступили в поход, с ними ушел и барабанщиков Петер, рыжая макушка, золотой мальчик. Мать плакала, а отец уже видел сына знаменитым; городской же музыкант находил, что Петеру следовало не ходить на войну, а служить искусству дома.

«Рыжая макушка!» – говорили солдаты, и Петер смеялся, но если кто-нибудь говорил «лисья шкура», он закусывал губы и смотрел в сторону, пропуская эти слова мимо ушей.

Мальчик был шустрый, прямой и веселый, а «веселый нрав – лучшая походная фляжка», говорили его старшие товарищи.

Часто приходилось ему проводить ночи под открытым небом, мокнуть в дождь и непогоду, но веселость не покидала его, барабанные палки весело выбивали: «Трам-там-там! В поход!» Да, он и впрямь рожден был барабанщиком!

Настал день битвы. Солнце еще не вставало, но заря уже занялась; в воздухе было холодно, а бой шел жаркий. Стоял густой туман, но пороховой дым был еще гуще. Пули и гранаты летали над головами и в головы, в тела, в руки и ноги, но солдаты всё шли вперед. То тот, то другой из них падал, пораженный в висок, побелев как мел. Но маленький барабанщик не бледнел, пули его не задевали, и он весело посматривал на полковую собаку, прыгавшую впереди так беззаботно, как будто кругом шла игра, как будто ядра были только мячиками!

«Марш! Вперед!» Эта команда была переложена на барабан, и такой команды не берут назад, но тут ее пришлось взять назад – разум приказывал! Вот и велено было бить отбой, но маленький барабанщик не понял и продолжал выбивать: «Марш! Вперед!» И солдаты повиновались барабанной коже. Славная то была барабанная дробь! Она помогла победить тем, кто только что готов был отступить.

Битва многим стоила жизни; гранаты рвали мясо в клочья, поджигали вороха соломы, в которые заползали раненые, чтобы лежать там брошенными много часов, может быть – всю жизнь! Но что пользы думать о таких ужасах! И все же о них думается – даже далеко от поля битвы, в мирном городке. Барабанщик с женою тоже не переставали о них думать. Петер был ведь на войне!

«И надоело же мне это хныканье!» – сказал пожарный барабан.

Дело было в самый день битвы. Солнце еще не вставало, но было уже светло. Барабанщик с женою спали, – они долго не засыпали накануне, разговаривая о сыне: он был ведь там, «в руках Божьих». И вот отец увидел во сне, что война кончена, солдаты вернулись и у Петера на груди серебряный крест. Матери же приснилось, будто она стоит в церкви, смотрит на резных и нарисованных херувимов с золотыми кудрями и видит среди них своего милого золотого

мальчика. Он стоит в белой одежде и поет так чудесно, как поют разве только ангелы! Потом он стал возноситься вместе с ними на небо, к солнцу, ласково кивая матери головою...

– Золотой мой мальчик! – вскрикнула она и проснулась. – Ну, значит, Господь отозвал его к себе! – И она прислонилась головой к пологу, сложила руки и заплакала. – Где-то он покоится теперь? В огромной общей могиле? Может быть, в глубоком болоте? Никто не знает его могилы! Никто не прочтет над нею молитвы! – И из уст ее вырвалось беззвучное «Отче наш». Потом голова ее склонилась на подушку, и усталая мать задремала.

Дни проходили; время шло во сне и наяву!

День клонился к вечеру; над полем сражения перекинулась радуга, упираясь одним концом в лес, другим в глубокое болото. Народ верит, что там, куда упирается конец радуги, зарыт клад, золото. Тут и действительно лежало золото – золотой мальчик. Никто не думал о маленьком барабанщике, кроме его матери, вот почему ей и приснился такой сон.

Дни проходили; время шло во сне и наяву!

Но с его головы не упало ни единого волоска, ни единого золотого волоска!

«Трам-там-там, вот и он сам!» – мог бы сказать барабан, могла бы пропеть мать, если бы она ожидала сына или увидала во сне, что он возвращается.

С песнями, с криками «ура», увенчанные свежей зеленью, возвращались солдаты домой. Война кончилась, мир был заключен. Полковая собака бежала впереди, описывая большие круги, словно ей хотелось удлинить себе дорогу втрое.



Проходили дни, проходили недели, и вот Петер вступил в комнатку родителей. Он загорел, как дикарь, но глаза и лицо его так и сияли. Мать обнимала, целовала его в губы, в глаза, в рыжие волосы. Мальчик ее опять был с нею! Он, правда, вернулся без серебряного креста на груди, как снилось отцу, но зато целым и невредимым, чего и не снилось матери. То-то было радости! И смеялись и плакали вместе. Петер даже обнял старый барабан.

– Ты все еще тут, старина! – сказал он, а отец выбил на барабане громкую, веселую дробь.

«Подумаешь, право, в доме пожар! – сказал пожарный барабан. – Макушка вся в огне, сердце в огне, золотой мальчик вернулся! Трам-там-там!»

А потом? Потом что? Спроси-ка городского музыканта!

– Петер перерос барабан! Петер перерастет и меня! – говорил он, даром что был сыном придворного буфетчика! Но все, чему он



выучился за целую жизнь, Петер прошел в полгода.

В сыне барабанщика было что-то такое открытое, сердечное. А глаза и волосы у него так и сияли – этого уж никто не мог отрицать.

– Ему бы следовало красить свои волосы! – говорила соседка. – Вот дочери полицмейстера это отлично удалось, и она сделалась невестою!

– Да, но ведь потом волосы у нее позеленели, как тина, и ей теперь вечно придется краситься!

– Так что ж! Средств у нее на это хватит! – отвечала соседка. – И у Петера они есть! Он вхож в самые знатные семейства, даже к самому бургомистру – обучает игре на фортепьяно барышню Лотту!

Да, играть-то он умел! Он вкладывал в игру всю свою душу, и из-под его пальцев выливались чудные мелодии, которых не было ни на одной нотной бумаге. Он играл напролет все ночи – и светлые и темные. Это было просто невыносимо, по словам соседей и барабана.

Он играл, а мысли уносили его высоко-высоко, чудные планы роились в голове... Слава!

Дочка бургомистра Лотта сидела за фортепьяно. Изящные пальчики бегали по клавишам и ударяли прямо по струнам Петерова сердца. Оно как будто расширялось в груди, становилось таким большим-большим! И это было не раз, не два, а много раз, и вот однажды Петер схватил эти тонкие пальчики, эту прекрасную руку, поцеловал ее и заглянул в большие карие глаза девушки. Бог знает, что он сказал ей при этом! Мы можем только догадываться. Лотта покраснела до ушей, но не ответила ни слова: как раз в эту минуту в комнату вошел посторонний, сын статского советника; у него был большой, гладкий лоб, доходивший до самого затылка. Петер долго сидел с ними, и Лотта так умильно улыбалась ему.

Вечером, придя домой, он заговорил о чужих краях и о том кладе, который лежал для него в скрипке.

Слава!

«Трум-тум-тум! Туммелум! – сказал барабан. – Он совсем спятил! Право, в доме как будто пожар!»

На другой день мать отправилась на рынок.

– Знаешь новость, Петер? – спросила она, вернувшись оттуда. – Славная новость! Дочка бургомистра Лотта помолвлена вчера вечером с сыном статского советника!

– Не может быть! – воскликнул Петер, вскакивая со стула.

Но мать сказала «да», она узнала эту новость от жены цирюльника, а муж той слышал о помолвке от самого бургомистра. Петер побледнел как мертвец и упал на стул.

– Господи Боже! Что с тобой? – воскликнула мать.

– Ничего, ничего. Только оставь меня! – ответил он, и слезы так и побежали у него по щекам ручьем.

– Дитяtko мое милое! Золотой мой! – сказала мать и тоже заплакала. А барабан напевал, конечно, про себя: «Lotte ist tot! Lotte ist tot!»<sup>[22]</sup>

Вот и песенке конец!

Но песне еще не был конец, в ней оказалось еще много стрóf, чудных, золотых стрóf.

– Ишь, ломается, из себя невесть что строит! – оговаривала соседка мать Петера. – Весь свет должен читать письма ее золотого мальчика да слушать, что пишут газеты о нем и о его скрипке. Он и денег ей высылает немало, а это ей кстати теперь – овдовела!

– Он играет перед королями и государями! – говорил городской музыкант. – Мне этого не выпало на долю, но он мой ученик и не забывает своего старого учителя.

– Отцу когда-то снилось, что Петер вернулся с войны с серебряным крестом на груди, но там трудно заслужить его! Зато теперь у него командорский крест! Вот бы отец дожил! – рассказывала мать.

«Он – знаменитость!» – гремел пожарный барабан.

И весь родной город повторял: сын барабанщика, рыжий Петер, бегавший мальчиком в деревянных башмаках, бывший барабанщик, музыкант, игравший на вечеринках танцы, – знаменитость!

– Он играл у нас раньше, чем в королевских дворцах! – говорила жена бургомистра. – В те времена он без ума был от нашей Лотты. Он всегда метил высоко! Но тогда это было с его стороны просто дерзостью! Муж мой так смеялся, узнав об этой плупости. Теперь наша Лотта – статская советница!

Золотые были сердце и душа у бедного мальчугана, бывшего маленького барабанщика, который заставил идти вперед и победить тех, кто уже готов был отступить.

В груди у него был золотой клад, неисчерпаемый источник звуков. Они лились со скрипки, словно она была целым органом, словно по струнам ее танцевали эльфы летней ночи. В этих звуках слышалось и пение дрозда, и полнозвучный человеческий голос. Вот почему были так очарованы его слушатели, вот почему слава его прогремела далеко за пределами его родины. Он зажигал в сердцах святой огонь, пламя, целый пожар восторга.

– И как он хорош собою! – восторгались и молодые и старые дамы. Самая пожилая из них даже завела себе альбом для локонов знаменитостей ради того только, чтобы иметь предлог выпросить прядь роскошных волос молодого скрипача.

И вот он вернулся в бедную комнатку барабанщика, разодетый, как принц, счастливый, как король! Глаза и лицо его так и сияли, как солнце. Мать целовала его и плакала от радости, а он обнимал ее и ласково кивал головою всей знакомой мебели – и сундуку, на котором стояли чайные чашки и цветы в стаканах, и деревянной скамье, на которой спал мальчиком. А старый барабан он вытащил, поставил посреди пола и сказал:

– Отец непременно выбил бы теперь на нем дробь! Так я сделаю это за него! – И он выбил на барабане такую дробь, что твой град! А барабан был так польщен этим, что кожа на нем взяла да и лопнула.

«Кулак-то у него здоровый! – заметил барабан. – Теперь у меня на всю жизнь останется воспоминание о нем! Да и мать-то, того и гляди, лопнет от радости, глядя на своего золотого мальчика!»

Вот и вся история о золотом мальчике.

## **Буря перемещает вывески**

Встарину, когда дедушка, отец моей матери, был еще совсем маленьким мальчуганом, щеголял в красных штанишках, в красной курточке с кушачком и в шапочке с перышком, – вот как тогда наряжали маленьких мальчиков, – так в то время и все было иначе, чем теперь. Тогда часто устраивались такие уличные торжества, каких нам уж не видать: мода на них прошла, устарели они. Но куда как занятно послушать о них!

Что было за торжество, когда сапожники меняли свое главное цеховое помещение и переносили цеховую вывеску на новое место! Они шли целою процессией; впереди несли цеховое знамя, на котором красовался большой сапог и двуглавый орел; затем шли младшие подмастерья с «заздравным кубком» и «цеховым ларцом»; на рукавах у них развевались красные и белые ленты; старшие же несли шпаги с воткнутыми на острие лимонами. Музыка гремела вовсю, и лучшим из инструментов была «птица», как называл дедушка большой шест с полумесяцем на верхушке; на шесте были навешаны всевозможные бубенчики и позвонки, – настоящая турецкая музыка! Шест подымали кверху и потряхивали им: динг-данг! В глазах рябило от сияющих на солнце золотых, серебряных и медных погремушек и украшений!

Перед шествием бежал арлекин в платье, сшитом из разноцветных лоскутков; лицо его было вымазано сажей, на голове колпак с бубенчиками – ну словно лошадь во время карнавала! Он раздавал своею складною палкой удары направо и налево; треску было много, а совсем не больно. В толпе же просто давили друг друга! Мальчишки и девчонки шныряли повсюду и шлепались прямо в канавы; пожилые кумушки проталкивали себе дорогу локтями, хмурились и бранились. Повсюду говор и смех; на всех лестницах, во всех окнах, даже на крышах виднелись люди. Солнышко так и сияло; случалось, что процессию вспыскивал и дождичек, но дождик – благодать для земледельца, так не беда, если даже горожане промокнут насквозь!

Ах, как дедушка рассказывал! Он ведь сам видел все эти торжества во всем их блеске. Цеховой старшина взбирался на помост под повешенною на новое место вывеской и держал речь в стихах, будто сам был стихотворцем. Да оно так и было: он сочинял эти стихи

вместе с двумя другими товарищами, а чтобы дело шло на лад, они предварительно осушали целую миску пунша. Народ кричал ему в ответ «ура», но еще громче раздавалось «ура» в честь арлекина, когда тот выходил и передразнивал оратора.

Шут презабавно острил, попивая мед из водочных рюмок, которые потом бросал в толпу, а люди ловили их; у дедушки даже хранилась такая рюмочка; ее поймал один каменщик и подарил ему. То-то было веселье! И вот вывеска висела на новом доме вся в зелени и цветах.

«Такого торжества не забудешь никогда, до какой бы глубокой старости ни дожил!» – говаривал дедушка; и он таки не забыл, хотя и много хорошего видел на своем веку. Много о чем мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как распорядилась вывесками в большом городе буря.

Дедушке еще мальчиком довелось побывать в этом городе вместе со своими родителями, и это было в первый раз в его жизни. Увидя на улице толпы народу, он вообразил, что здесь тоже готовится торжество перемещения вывесок, а сколько их тут было! Если бы собрать да развесить их по стенам, понадобилась бы сотня комнат! На вывеске портного были нарисованы всевозможные костюмы; он мог перекроить любого человека из грубого в изящного. На вывеске табачного торговца красовались прелестные мальчуганы с сигарами во рту – ну совсем как живые! На некоторых вывесках было намалевано масло, на других – селедки, на третьих – пасторские воротнички, гробы и всевозможные надписи. Можно было с утра до вечера ходить взад и вперед по улицам и досыта налюбоваться этими картинками да кстати и разузнать, где какие живут люди, – они ведь сами вывешивали свои вывески. А это очень хорошо в таком большом городе, говорил дедушка: очень полезно знать, что делается за стенами домов!

И надо же было случиться с вывесками такой оказии, какая случилась с ними как раз к прибытию в город дедушки. Он сам рассказывал об этом, и без всяких плутовских ужимок, означавших, как уверяла мама, что он собирался подурочить меня. Нет, тут он смотрел совсем серьезно.

В первую же ночь по прибытии его в город разыгралась такая буря, о какой и в газетах никогда не читали, какой не запомнили и старожилы. Кровельные черепицы летали в воздухе, старые заборы

ложились плашмя, а одна тачка так прямо покатила по улице, чтобы спастись от бури. В воздухе шумело, гудело, выло, буря свирепствовала. Вода выступала из каналов, – она просто не знала, куда ей деваться в такой ветер. Буря проносилась над городом и срывала с крыш дымовые трубы. Сколько покривилось в ту ночь церковных шпилей! И они не выпрямились уже никогда!

Против дома старого, почтенного и вечно опаздывавшего брандмайора стояла караульная будка; буря не захотела оставить ему этот знак почета, сорвала будку со шкворня, покатила по улице и – что всего удивительнее – оставила ее перед домом, где жил бедняк плотник, спасший на последнем пожаре из огня троих человек. Конечно, сама-то будка не имела при этом никакого злого умысла!

Вывеску цирюльника, большой медный таз, сорвало и занесло в оконное углубление дома советника. Это уж смахивало на злой умысел, говорили соседи: все ведь, даже ближайшие приятельницы, называли госпожу советницу «бритвою». Она была так умна и знала о людях куда больше, чем они сами о себе!

Вывеска с нарисованною на ней сушеною треской перелетела на дверь сотрудника одной из газет. Со стороны бури это было плоской шуткой: буря, видно, забыла, что с сотрудником газет шутки плохие, – он царь в своей газете и в собственных глазах.

Флюгерный же петух перелетел на крышу соседнего дома да там и остался – в виде злейшей насмешки, говорили соседи.

Бочка бочара перенеслась к мастерской дамских нарядов.

Меню кухмистера, висевшее в тяжелой рамке над его дверью, буря поместила над входом в театр, мало посещаемый публикою. Забавная вышла афиша: «Суп из хрена и фаршированная капуста». Но тут-то публика и повалила в театр.

Лисья шкурка, вывеска честного скорняка, повисла на ручке колокольчика у дверей одного молодого человека, который не пропускал ни одной церковной службы, был скромным и незаметным, как сложенный дождевой зонтик, стремился к истине и был «примерным молодым человеком», по отзыву своей тетки.



Вывеска с надписью: «Высшее учебное заведение» перенеслась на бильярдный клуб, а самое учебное заведение получило вывеску с надписью: «Здесь вскармливают детей на рожке». И остроумного в

том ничего не было – одна неучтивость, но с бурей ведь ничего не поделаешь – вздумала и сделала!

Ужасная выдалась ночка! К утру – подумайте только! – все вывески в городе были перемещены, причем в иных местах вышла такая злая насмешка, что дедушка даже и говорить о том не хотел, а только посмеивался про себя – я это отлично заметил, – значит, у него было что-то на уме!

Бедные городские жители, особенно же приезжие, совсем сбились с толку, попадали совсем не туда, куда хотели, и что мудреного, если они руководились только вывесками! Иным хотелось, например, попасть в серьезное собрание пожилых людей, занимающихся обсуждением дельных вопросов, и вдруг они попадали в школу к мальчишкам-крикунам, готовым прыгать по столам!

Многие ошибались церковью и театром, а это ведь ужасно!

Подобной бури в наши дни уже не было, это только дедушке довелось пережить такую, да и то мальчуганом. Подобной бури, может быть, и вовсе не случится в наше время, а разве при наших внуках. Но уж надеемся и пожелаем, чтобы они благоразумно оставались по домам, пока буря будет перемещать вывески!



## Скрыто – не забыто!

Стоял старый замок, окруженный тинистыми рвами; вел к нему подъемный мост, который чаще бывал поднят, чем опущен, – не всякий гость приятен! В стенах под крышей были бойницы; из них стреляли, лили кипяток и даже растопленный свинец на головы врагов, если те подступали чересчур близко. Потолки в замковых покоях были высокие, и хорошо, что так, – по крайней мере, было куда деваться дыму, выходившему из камина, где шипели огромные сырые коряги. По стенам висели портреты закованных в латы мужчин и гордых дам в платьях из тяжелой материи. Но стройнее и величественнее всех была сама нынешняя владельница замка, Метте Могенс.

Раз вечером на замок напали разбойники, убили троих слуг и цепную собаку, а вместо нее посадили на цепь госпожу. Сами же расселись в зале и начали бражничать, попивая доброе вино и пиво из погребов замка.

И вот госпожа Метте сидела на цепи и даже лаять не могла.



Вдруг явился слуга разбойников; он подкрался к ней потихоньку, чтобы не заметили разбойники, – они бы убили его.

– Госпожа Метте Могенс! – сказал он. – Помнишь ли ты, как твой муж посадил на «кобылку» моего отца? Ты просила за него, но просьбы не помогли, он должен был сидеть, пока не искалечится; тогда ты подкралась к нему, как я теперь к тебе, и сама подложила ему камешек сперва под одну, потом под другую ногу, чтобы дать ему отдохнуть. Никто не заметил этого, или все сделали вид, что не заметили, – ты была ведь молодой доброю госпожой их! Вот что рассказывал мне мой отец, и я скрыл это в моем сердце, скрыл, но не забыл! Теперь я освобожу тебя, госпожа Метте Могенс.

Они вывели из конюшни лошадей и помчались в дождь и ветер прочь от замка, за помощью.

– Ты щедро платишь за мою маленькую услугу старику! – сказала Метте Могенс.

– Скрыто – не забыто! – сказал слуга.

Разбойников повесили.

Стоял старый замок; стоит он и посейчас, но владеет им не Метте Могенс, а другой дворянский род.

Было это уже в наше время. Золоченые шпили башен сияли на солнце, маленькие лесные островки выплывали из воды, словно букеты, а вокруг них плавали белые лебеди. В саду цвели розы, но сама владетельница замка была свежее, прекраснее лепестка розы. Она вся сияла от радости, от сознания сделанного ею доброго дела. Добрые дела ее не кричат о себе по свету, но находят себе приют в сердцах людей; там они скрыты, но не забыты.

Вот она идет из замка к одинокой лачужке в поле. В ней живет бедная параличная девушка. Единственное окошечко ее каморки было обращено на север, и солнце не заглядывало к ней никогда. Она видела в окно только краешек поля, ограниченного высокою насыпью. Но сегодня в комнатке сияет солнышко, теплое Господне солнышко! Оно светит с юга в новое окошко, прорубленное в прежде глухой стене.

Параличная сидит и греется на солнышке, любит лесом и берегом морским; свет вдруг так расширился для нее, приобрел новую красоту, и все это – по одному слову ласковой владетельницы замка.



— Мне ничего не стоило сказать его и сделать это маленькое доброе дело! — говорит она. — А оно доставило мне такую огромную, бесконечную радость!

Вот почему она и продолжает творить добро, думать обо всех нуждающихся в утешении и в бедных хижинах, и в богатых домах — и там находятся такие. Добрые дела ее остаются скрытыми, но не забытыми Господом Богом.



В большом, шумном городе стоял старый дом. В нем было много комнат и зал, но мы туда не пойдем, а останемся в кухне. Тут светло, уютно, чисто и мило. Медная посуда так и блестит, стол чисто выскоблен, лоханка тоже. Все это дело рук служанки. Она одна служанка в доме и все-таки находит еще время, убравшись по дому, приодеться, словно собирается в церковь. На голове у нее чепчик с черным бантиком; это означает траур, скорбь. Но у нее нет никого, о ком бы ей печалиться, — ни отца, ни матери, ни родственников, ни милого; она бедная одинокая девушка. Когда-то, впрочем, у нее был жених, такой же бедняк, как и она сама; они горячо любили друг друга, но вот однажды он сказал ей:

— У нас с тобой нет ничего! А богатая вдова-трактирщица давно нашептывает мне ласковые слова. Она хочет мне добра! Но мое сердце полно тобою! Что ты посоветуешь мне?

— Делай так, как, по-твоему, будет для тебя лучше! — сказала она. — Будь добр и ласков с нею, но помни, что, раз мы расстанемся, больше уж не увидимся!

Прошло несколько лет; и вот она встретила на улице своего прежнего жениха. Он выглядел так плохо, что она не могла пройти мимо него, не спросив:

– Что с тобою? Как тебе живется?

– Хорошо и богато! – ответил он. – Жена моя добрая, славная женщина, но в моем сердце одна ты. Я отстрадал свое, скоро конец! Мы свидимся теперь только на том свете.

Прошла неделя, и сегодня утром в газете появилось извещение о его смерти; вот почему у девушки черный бантик на чепчике. Жених ее умер, «потерян для жены и трех пасынков», как сказано в извещении. Звучит-то оно как-то фальшиво, но самый колокол из чистого металла.

Черный бантик говорит о горе; лицо девушки говорит о нем еще сильнее. В сердце ее он скрыт и никогда не будет забыт!

Вот и все три истории, три листка, выросшие на одном стебельке. Хочешь еще таких трилистников? Их много хранится в памятной книжке сердца.

Многое там скрыто, но не забыто!

*1866*

**Сын привратника**



Генеральская семья проживала в бельэтаже, семья привратника – в подвале. Их разделяло большое расстояние – весь первый этаж да табель о рангах. Но все же обе семьи жили под одною крышею и из обоих жилищ открывался вид на улицу и двор. На дворе была лужайка, а на ней росла цветущая акация – цветущая в пору цветения. Под нею часто сиживала в летнее время разряженная мамка с еще более разряженною генеральскою дочкой, «малюткой Эмилией». А перед ними выплясывал босоногий черноглазый, темноволосый сынишка привратника. Малютка улыбалась ему и протягивала ручонки; случалось увидеть в окно такую картинку самому генералу,

он кивал головой и говорил: «Charmant!»<sup>[23]</sup> Молодая же генеральша – она была так молода, что могла бы быть дочкой своего мужа от раннего брака, – никогда не смотрела из окна во двор, но раз навсегда отдала кормилице приказание, чтобы она позволяла мальчику из подвала забавлять малютку, но отнюдь не дотрагиваться до нее. И кормилица строго соблюдала приказ.

А солнышко одинаково светило и в бельэтаж и в подвал. Акация цвела, потом цветы опадали, но на следующий год появлялись новые. Дерево цвело из года в год, цвел и привратников сынишка – ни дать ни взять свежий тюльпан!

Генеральская же дочка была бледненькая, нежненькая, как бледно-розовый лепесток акации. Теперь она редко появлялась во дворе под деревом, – она дышала свежим воздухом в карете, катаясь вместе с тапан. Увидя из окна кареты привратникова Георга, она всегда кивала ему головкою и даже посылала воздушные поцелуи, пока мать не объявила ей, что она уже слишком велика для этого.

Раз утром Георгу пришлось подняться к генералу с газетами и письмами. Проходя мимо чуланчика под лестницей, он услышал там какой-то писк и подумал было, что туда забился цыпленок. Но оказалось, что там всхлипывает генеральская дочка в кисее и кружевах.

– Только не говори папе и маме – они рассердятся! – сказала она.

– О чем, барышня? – спросил Георг.

– Все сгорит! – ответила она. – Там горит!

Георг отворил дверь в детскую; оконные занавески почти все обгорели, карниз пылал. Георг подпрыгнул, сорвал занавески, созвал людей. Не будь его, вспыхнул бы настоящий пожар.

Генерал и генеральша подвергли Эмилию допросу.

– Я только взяла одну спичку, чиркнула, она тотчас загорелась – и занавеска тоже! Я стала плевать на нее, чтобы потушить, плевала, плевала, но у меня не хватило слюней... Тогда я убежала и спряталась, – я боялась, что рара и тапан рассердятся!

– Плевала, плевала! – заметил генерал. – Это еще что за слово? Ты его слышала когда-нибудь от рара или от тапан? Это все оттуда, из подвала!

Маленькому Георгу все-таки дали целых четыре скиллинга. Он спустил их не в булочной, а в копилку, и скоро там набралось их

столько, что он мог купить себя ящичек с красками – раскрашивать свои рисунки, а рисовал он много. Картинки как будто сами собой сыпались на бумагу с кончика его карандаша. Первые же раскрашенные рисунки пошли в подарок Эмилии.

– Charmant! – изрек генерал, и даже генеральша признала, что вполне можно догадаться, что именно хотел изобразить мальчуган.

«В нем есть талант!» – вот с каким известием вернулась в подвал жена привратника.

Генерал и генеральша были люди знатные; на карете их красовалось целых два герба – у каждого из супругов был свой. Генеральшин герб красовался и на всем ее белье, даже на ночном чепчике и туалетном мешке. Ее герб был такой ценный! Он стоил ее папаше много блестящих червонцев, – ни папаша, ни даже дочка не родились с гербом. Она появилась на свет за семь лет до приобретения его папашею. Это отлично помнили все, кроме них самих. Герб же генерала был древний и крупный. И один-то герб довольно тяжело носить на себе, а тут их было целых два – поневоле затрепишь по всем швам! И немудрено, что разряженная, гордая генеральша выезжала на придворные балы с таким шумом и треском.

Генерал был стар и сед, но хорошо держался в седле. Он это знал и ежедневно выезжал верхом в сопровождении слуги – на почтительном расстоянии. Являясь в общество, он тоже держал себя так, как будто смотрел на всех с высоты седла. Орденов у него было столько, что просто уму непостижимо; сам он, впрочем, был тут ни при чем. Он вступил на военное поприще еще очень молодым человеком и участвовал во всех больших осенних маневрах, которые проводились в мирное время. От этой эпохи у него сохранилось еще воспоминание, анекдот, единственный, который он знал и рассказывал. Его унтер-офицер отрезал от свиты и взял в плен одного из принцев, и тому пришлось со своим маленьким отрядом въехать в город позади генерала в качестве его военнопленного. Об этом-то незабвенном происшествии генерал и рассказывал вот уже многие годы, никогда не упуская случая привести памятные слова, которые были при этом сказаны. Генерал, возвращая принцу шпагу, сказал: «Только мой унтер-офицер мог взять в плен ваше высочество; я – никогда!» А принц ответил: «Вы неподражаемы!» На настоящей же войне генерал никогда не бывал; когда шла война, он шел дипломатическою дорогой



и прошел три иностранных двора. По-французски он говорил так хорошо, что почти забыл свой родной язык, отлично танцевал, ездил верхом, и ордена вырастали у него на груди, точно грибы. Солдаты отдавали ему честь, и одна из первых красавиц отдала ему честь – сделалась генеральшею. Скоро у них появилась прелестная дочка, словно упавшая с неба – так она была прелестна! Едва она начала понимать, сынишка привратника стал выплясывать перед нею во дворе, а потом, когда она подросла, дарить ей все свои раскрашенные картинки. Она принимала их, играла ими и рвала в клочки. Она была такая миленькая, нежненькая!

– Мой розовый лепесток! – говорила генеральша. – Ты рождена для принца!

А принц-то уж стоял за дверями, только никто не знал этого. Люди не видят дальше порога.

– А намедни наш мальчуган поделился с нею бутербродом! – сказала жена привратника. – Он был без сыра, без мяса, но понравился ей, что твой ростбиф! То-то бы шум поднялся, узнай об этом генерал с генеральшею! Но они ничего не видели!

Да, Георг поделился с Эмилией бутербродом; он бы поделился с ней и своим сердцем, знай только, что это доставит ей удовольствие. Он был мальчик добрый, развитой, умный и уже посещал вечерние рисовальные классы, чтобы хорошенько научиться рисовать. Эмилия тоже преуспевала в науках: она говорила по-французски с своею бонной и брала уроки у танцмейстера.

– К Пасхе Георг наш будет конфирмован! – сказала жена привратника.

Вот как успел вырасти Георг.

– Хорошо бы потом отдать его в учение! – заметил отец. – Надо только выбрать ремесло почище. Ну и тогда – с хлеба долой!

– Но он все же будет ведь приходить домой ночевать! – возразила мать. – Нелегко-то найти мастера, который бы взял его к себе совсем. Одевать его нам, значит, тоже придется. Так уж найдется у нас для него и кусок хлеба: пара вареных картошек – он и доволен! Учится же он и теперь задаром. Пусть его идет своею дорогою; увидишь, как он порадует нас! Это ведь и профессор говорит!

Платье для конфирмации было готово; мать сама сшила его, кроил же портной, а он хорошо кроил, даром что должен был по бедности

своей пробиваться починкой старой одежды. Поставь он себя иначе да будь в состоянии держать мастерскую и подмастерьев, говорила жена привратника, он мог бы стать придворным портным!

Итак, платье сшили, и Георг конфирмовался. В день конфирмации он получил от самого богатого из своих крестных отцов, старого приказчика, большие томпаковые часы. Старинные они были, испытанные и имели привычку забегать вперед, но это лучше, чем отставать. Это был дорогой подарок! От генеральской семьи тоже явился подарок – псалтырь в сафьяновом переплете. Прислан он был от имени барышни, которой Георг дарил картинки. На первой, чистой страничке книги было написано его имя и ее имя с прибавлением «благосклонная»: «Георгу на память – благосклонная Эмилия». Написано это было под диктовку генеральши. Генерал прочел и сказал: «Charmant».

– В самом деле, это большое внимание со стороны таких важных господ! – сказала жена привратника, и Георга, как он был – в новом наряде и с псалтырем в руках, – послали благодарить господ.

Генеральша сидела вся закутанная – она страдала своею обычною «ужасною мигренью», как и всегда, когда ей было скучно. Но все-таки она взглянула на Георга очень ласково и пожелала ему всего хорошего, а также – никогда не страдать такую головную болью, как она.

Генерал расхаживал в халате, в ермолке и в русских сапогах с красными отворотами. Он прошелся по комнате раза три, предаваясь собственным мыслям и воспоминаниям, потом остановился и сказал:

– Итак, Георг стал теперь полноправным членом христианского общества! Будь же честен и уважай начальство! Состаришься – можешь сказать, что этому учил тебя генерал!

Длиннее этой речи генералу никогда не приходилось держать. Проговорив ее, он опять углубился в себя и принял важный вид.

Из всего виденного наверху сильнее всего запечатлелась в памяти Георга барышня Эмилия. Как она была мила, нежна, воздушна, изящна! Если срисовать ее, так уж разве на мыльном пузыре. От ее платья, от золотистых локонов пахло духами, ни дать ни взять как от только что распустившейся розочки! И с нею-то он когда-то делился бутербродом! Она уничтожила свою порцию с жадностью, не переставая благодарно кивать ему головкой, – говорить с набитым ртом было неудобно. Помнит ли еще она об этом? Конечно! Красивая

книжка была ведь подарена ему «на память». И вот в первое же новолуние после Нового года он вышел на двор с хлебом, медным скиллингом и псалтырем и раскрыл книгу наугад – что-то ему выйдет? Книга раскрылась на благодарственном псалме. Он опять закрыл псалтырь, чтобы загадать на Эмилию, но постарался при этом не открыть книги в том месте, где были похоронные псалмы. И все-таки она открылась как раз там! Конечно, верить этому было нечего, но он все-таки струсил порядком, когда вслед за тем Эмилия слепла и к воротам стал каждый день подъезжать экипаж доктора.

– Не вылечить им ее! – говорила жена привратника. – Господь Бог знает, кого ему прибрать к себе!

Но ее удалось вылечить! И вот Георг опять принялся рисовать и отсылать ей картинки. Между прочим, он нарисовал царский дворец, древний Московский Кремль с башенками и куполами, похожими на гигантские зеленые и вызолоченные огурцы, – так, по крайней мере, выходило по рисунку Георга. Эмилию эти картинки очень развлекали, и через неделю Георг прислал ей еще несколько. На всех были нарисованы разные здания: глядя на них, она могла дать волю фантазии – сама рисовать себе, что происходит там за стенами и окнами.

В числе рисунков был и китайский домик в шестнадцать этажей, весь увешанный колокольчиками, и два греческих храма, окруженных стройными мраморными колоннами и террасами, и норвежская церковь причудливой постройки, вся из бревен; лучше же всего был «Эмилиин замок». В нем она должна была жить сама. Георг придумал для него особый стиль – смесь всего красивого из всех других стилей. От норвежской церкви он взял покрытые резьбой бревна, от греческого храма – мраморные колонны, от китайского домика – колокольчики, а от царского Кремля – зеленые и золотые купола.

То-то был детский замок! И под каждым окошком было подписано: «тут Эмилия спит», «тут танцует», «тут играет в гости» и так далее. Вот-то весело было разглядывать все это! И рисунок-таки разглядывали.

– Charmant! – сказал генерал.

Но старик граф (был еще старый граф, куда важнее самого генерала, владевший замком и поместьем) не сказал ничего, хотя при нем и говорили, что рисунок придуман и нарисован маленьким сынишкой

привратника. Не очень-то он, впрочем, был мал — он ведь уже конфирмовался. Старик граф только посмотрел на рисунки и намотал себе все слышанное на ус.

И вот один серенький, ненастный день оказался самым радостным, светлым днем в жизни Георга. Профессор Академии художеств призвал его к себе.

— Послушай, дружок! — сказал он. — Поговорим-ка! Господь одарил тебя способностями, он же посылает тебе и добрых покровителей. Старик граф, что живет на углу, говорил мне сегодня о тебе. Я тоже видел твои рисунки... Ну, на них-то мы поставим крест — в них много найдется погрешностей! А вот теперь ты можешь два раза в неделю приходить в мою рисовальную школу и скоро выучишься рисовать получше. Я думаю, однако, что в тебе больше задатков для архитектора, чем для художника. Ну, да со временем сам увидишь! Но смотри, сегодня же сходи в угловой дом, к графу, поблагодари его, да поблагодари и Бога за такого покровителя!

На углу стоял огромный дом, над окнами красовались лепные слоны и верблюды; все носило отпечаток старины. Но старый граф предпочитал наше время со всем, что в нем было хорошего, не разбирая, откуда оно идет — из бельэтажа, из подвала или с чердака.

— Право, кажется, чем кто знатнее, тем тот и проще! — сказала жена привратника. — Как просто держит себя старый граф! Говорит ну вот как ты да я! Генерал с генеральшею так не могут! Георг вчера в себя прийти не мог от восторга, так ласково граф с ним обошелся! Да и я сегодня, после милостивого приема его сиятельства, тоже сама не своя! Ну, не хорошо ли, что мы не отдали Георга в учение? У него такие способности!

— Да, но им нужна помощь со стороны! — заметил отец.

— Помощь у него будет! — ответила мать. — Граф насчет этого так ясно и милостиво выразился!

— А все-таки вышло-то все благодаря генеральской семье! — заметил отец. — Ее тоже надо поблагодарить.

— Отчего же не поблагодарить! — ответила мать. — Только, по-моему, не за что особенно! А вот Господа Бога так я поблагодарю от всего сердца! Поблагодарю Его и за то, что барышня Эмилия поправляется!

Да, генеральская дочка быстрыми шагами шла вперед по пути выздоровления; шел быстрыми шагами вперед и Георг. В тот же год он

удостоился малой серебряной медали, а затем, попозже, и большой.

– Ох, лучше бы мы отдали его в учение! – со слезами причитала жена привратника. – Тогда, по крайней мере, он остался бы при нас! И что ему делать в Риме? Никогда-то нам больше не свидеться с ним, хоть бы он и вернулся!.. Да он и не вернется, мое дитяtko!

– Да ведь все это для его же счастья и славы! – уговаривал ее муж.

– Спасибо тебе, дружок! – отвечала жена. – Ты только говоришь так, а и сам тому не веришь! И тебе так же горько, как мне!

Так оно и было. Отцу и матери горько было расстаться с сыном, а все только и твердили: «Какое счастье выпало молодому человеку!»

И вот Георг простился со всеми; отправился прощаться и наверх, к генералу. Генеральша не показалаcь – у нее опять была мигрень. Генерал же на прощание рассказал молодому человеку единственный свой анекдот о том, что он сказал принцу и что принц ему, а затем протянул Георгу два пальца.

Эмилия тоже подала Георгу ручку и выглядела как будто печальною, но сам Георг был еще печальнее.

Время идет и в деле и в безделье; время проходит одинаково, только не с одинаковою пользою. Для Георга оно проходило с пользою и совсем не казалось долгим, исключая тех минут, когда он вспоминал о своих. Как-то они там проживают все – и нижние и верхние? Положим, он получал из дома письма, а в письма можно вложить многое, из них льются в сердце солнечные лучи, от них же на сердце ложится тяжелая мгла. Такая мгла легла на сердце молодого человека, когда он получил письмо, извещавшее о смерти его отца. Мать осталась вдовой. Эмилия была для нее ангелом-утешителем, спускалась к ней в подвал, писала мать, и сама устроила так, что должность привратницы осталась за вдовою покойного.

Генеральша вела дневник. Она описывала каждый прием, каждый бал, на которых она была, а также все визиты знакомых к ней. Иллюстрациями к дневнику служили карточки дипломатов и других высокопоставленных особ. Генеральша гордилась своим дневником, и он все рос да рос в объеме с течением времени – в течение многих,

многих дней, мигреней и бессонных ночей, то есть придворных балов. Наконец и Эмилию повезли на придворный бал. Мамаша была в розовом с черными кружевами – в испанском вкусе! Дочка – вся в белом, такая прозрачная, изящная! В золотых локонах виляла, словно водоросль, зеленая шелковая лента, на головке красовался венок из белых кувшинок. Глазки у девушки были такие голубые, ясные, ротик нежный, пунцовый – ну ни дать ни взять морская царевна; прелесть что такое! Три принца танцевали с нею; конечно, не все зараз, а по очереди. У генеральши целую неделю не было мигрени.

Но первый бал был не последний, а Эмилии это оказалось не по силам. Хорошо, что подоспело лето и можно было отдохнуть на лоне природы.

Вся генеральская семья была приглашена погостить в графский замок.

Графский сад стоило посмотреть. Одна часть его была разбита в старинном вкусе: всюду шли, точно зеленые ширмы, прямые подстриженные живые изгороди, а в них были понаделаны круглые отверстия вроде слуховых окошечек; буки и тисовые деревца были подстрижены в виде звезд и пирамид; там и сям виднелись обложенные раковинами гроты, а в глубине их били фонтаны; всюду красовались статуи из самого массивного камня, – это видно было и по драпировкам, и по лицам. Каждая цветочная клумба также имела свою форму – рыбы, герба, инициала. Эта часть сада была во французском вкусе. Из нее же попадали в свежий роскошный парк, где деревья росли как хотели и потому разрослись на славу, густые, огромные! Трава тут так и зеленела, и по ней можно было ходить, даром что за нею всячески ухаживали. Это было уж в английском вкусе.

– Старина и современность! – говорил граф. – Тут они отлично гармонируют друг с другом! А вот года через два и вся усадьба примет иной вид, будет предпринято столько разных перемен и улучшений! Я покажу вам чертежи и рисунки, да и самого архитектора, кстати. Он сегодня обедает у меня!

– Charmant! – сказал генерал.

– Тут просто рай земной! – сказала генеральша. – А вот и древний замок!

– Это птичник! – сказал граф. – В башне помещаются голуби, во втором этаже – индейки, а в первом живет сама повелительница этого птичьего царства, старуха Эльса. Из ее помещения во все стороны идут двери в помещения ее постояльцев. Наседки на яйцах помещаются особо, наседки с цыплятами особо, а для уток сделан даже особый ход к воде!

– Charmant! – сказал генерал.

И все отправились любоваться на эту прелесть.

Старуха Эльса стояла посреди горницы, а рядом с нею архитектор Георг. Вот где довелось ему встретиться с Эмилией после стольких лет разлуки – в птичнике.

Да, он стоял тут, и на него можно было залюбоваться – такой красивый! Открытое, энергичное лицо, черные блестящие волосы и плутовская усмешка на губах, так и говорившая: «Знаю я вас всех вдоль и поперек!» Старуха Эльса заблаговременно сняла свои деревянные башмаки и осталась в одних чулках из почтения к знатым гостям. Куры кудахтали, петухи кричали, утки крякали: «кряк! кряк!» Изящная молодая девушка, подруга детства, генеральская дочка, стояла тут же, и на ее обыкновенно бледных щеках цвели розы, глазки так и сияли, уста говорили без слов, и она поклонилась молодому архитектору так мило, как только может этого пожелать молодой человек, если он не в родстве с молодой девушкой или не танцевал с нею очень часто на балах. А Георг ведь ни разу не танцевал с Эмилией.

Граф пожал ему руку и представил гостям:

– Наш молодой друг, господин Георг, не совсем чужой вам!

Генеральша поклонилась, дочка чуть было не протянула ему руку.

– Так это наш господин Георг! – сказал генерал. – Как же, мы старые знакомые, соседями были! Charmant!

– Вы совсем превратились в итальянца! – заметила генеральша. – И, верно, говорите по-итальянски как уроженец Италии?

Сама генеральша, заметил генерал, только пела по-итальянски, а не говорила.

За столом Георг сидел по правую руку Эмилиии. Вел же ее к столу сам генерал, а граф вел генеральшу.

Господин Георг вел беседу, рассказывал, и прекрасно рассказывал. Он был душой общества, хотя граф тоже мог бы постоять за себя в

этом отношении. Эмилия молчала, вся превратившись в слух, а глаза ее так и блеснули.

После обеда она и Георг очутились на террасе; высокие кусты роз скрывали их от взоров остального общества. Георг заговорил первый.

– Позвольте поблагодарить вас за ваше дружеское отношение к моей матери! – начал он. – Я знаю, что в ночь смерти моего отца вы не оставляли ее, пока он не закрыл глаза! Благодарю вас!

И он взял ручку Эмилии и поцеловал. Что ж, это было вполне кстати. Девушка вся вспыхнула, но все-таки пожала в ответ его руку и взглянула на него своими славными голубыми глазами.

– Ваша матушка была такая милая! Как она любила вас! Она давала мне читать все ваши письма, так что я, пожалуй, немножко знаю вас!.. Как вы были добры ко мне в детстве, дарили мне картинки!..

– А вы их рвали! – подхватил Георг.

– Нет, «мой замок» еще цел! – ответила она.

– Теперь я могу построить вам настоящий! – сказал Георг с увлечением.

Генерал и генеральша разговаривали в своей комнате о сыне привратника. Как он умел держать себя, как говорил, какие приобрел познания!

– Он мог бы быть домашним учителем! – сказал генерал.

– Гений! – сказала генеральша и больше не прибавила ни слова.





Хорошее выдалось лето. Господин Георг был в графском замке частым и желанным гостем. О нем скучали, если он не являлся.

— Как щедро одарил вас Господь в сравнении с нами, бедными! — говорила ему Эмилия. — А цените ли вы это как следует?

Георгу очень льстил такой взгляд, и он сам считал прелестную молодую девушку необыкновенно даровитою натурою.

А генерал все больше и больше убеждался в том, что Георг не мог быть такого низкого происхождения.

— Но, конечно, мать его была женщина вполне почтенная! — прибавлял он. — Надо отдать справедливость покойной!

Лето прошло, наступила зима, и господин Георг опять заставил о себе говорить. Он был принят в лучших домах, у самых знатных особ. Генерал встретил его даже на придворном балу. Для Эмилии тоже предполагали дать бал. Пригласить ли на него Георга?

— Кого приглашает король, может пригласить и генерал! — сказал генерал и выпрямился так, что вырос на целый вершок.

Георга пригласили, и он был на балу. Были там и принцы и графы. Один танцевал лучше другого, но Эмилии удалось протанцевать только первый танец: она как-то неловко ступила на ногу и, хотя повредила ее неопасно, должна была все-таки поберечься и не

танцевать больше. Пришлось сидеть да любоваться на других. Она и сидела и любовалась, а господин архитектор стоял возле.

– Вы, пожалуй, распишете ей весь собор Святого Петра! – сказал генерал, проходя мимо и благосклонно улыбаясь.

С тою же благосклонною улыбкою принял он господина Георга и несколько дней спустя. Молодой человек явился, разумеется, поблагодарить за приглашение на бал, а то зачем же? Но... о ужас, о безумие! Генерал не верил своим ушам. Господин Георг ударился в «высшую декламацию», просьба его была неслыханная! Он просил руки Эмилии!

– Молодой человек! – сказал генерал, покраснев как рак. – Я вас не понимаю! Что вы говорите? Чего вы хотите?.. Я вас не знаю!.. Господин!.. Молодой человек!.. Вы врываетесь в мой дом!.. Я здесь хозяин или вы?.. Куда мне деться?..

И он, пятась, дошел до дверей своей спальни, переступил порог и запер за собою дверь на ключ, оставив Георга одного. Молодой человек постоял с минуту, потом повернулся и ушел. В коридоре его встретила Эмилия.

– Что он сказал? – спросила она дрожащим голосом.

Георг пожал ей руку.

– Он убежал от меня! Но будем надеяться на лучшие времена!

У Эмилии выступили на глазах слезы; в глазах же молодого человека светились уверенность и мужество. А солнце озаряло обоих, словно благословляя их.

Генерал сидел в своей комнате точно ошпаренный. В груди у него так и клокотало еще.

«Безумие! Привратническое сумасшествие!..»

Не прошло и часа, как генеральша узнала от супруга обо всем, позвала Эмилию и усадила ее возле себя.

– Бедное дитя! Так оскорбить тебя! Оскорбить нас! Ты тоже плачешь!.. Слезы так идут к тебе! Ты прелестна в слезах! Ты похожа на меня в день моей свадьбы! Плачь, плачь, моя дорогая!

– И буду плакать, – ответила Эмилия, – если вы с папой не дадите своего согласия!

– Дитя! – воскликнула генеральша. – Ты нездорова! Ты бредишь! Ах, у меня опять разболится голова! Этот удар!.. Не заставь свою мать умереть от горя, Эмилия! Тогда у тебя не будет матери!

И у генеральши навернулись слезы — она совсем не выносила мыслей о своей смерти.

В газетах было опубликовано о разных назначениях; между прочим, и о назначении профессором и возведении в чин пятого класса архитектора Георга.

— Жалко, что родители его уж в могиле и не могут прочесть этого! — сказали новые привратник и привратница, жившие в подвале под генералом. Они знали, что профессор увидел свет в их каморке.

— Теперь его занесут в табель о рангах, и ему придется платить налог! — заметил муж.

— Да, это много значит для сына таких бедняков! — сказала жена.

— Восемнадцать талеров в год! — сказал муж. — Конечно, деньги немалые.

— Нет, я не о том, я насчет почета! — возразила жена. — Что ему эти деньги! Он их заработает много раз за год! И уж конечно возьмет богатую невесту. Будь у нас дети, муженек, наш сын тоже бы мог стать архитектором и профессором!

Хорошо отзывались о Георге в подвале; хорошо отзывались о нем и в бельэтаже, там это позволил себе старый граф.

Поводом послужили детские рисунки архитектора. Почему же о них зашел разговор? Да вот заговорили о России, о Москве, ну, дошли и до Кремля, который когда-то нарисовал и подарил Эмилиии Георг. Он дарил ей много картинок, но из них особенно запечатлелась в памяти у графа одна: «Эмилиин замок», с комнатами, где «она спала», «танцевала» и «играла в гости». И вот граф высказал, что профессор одарен большим талантом и, наверно, умрет в высоком чине. В этом нет ничего невозможного! Так почему ж бы ему и в самом деле не построить замка для молодой девицы?

— Граф был сегодня необыкновенно шутливо настроен! — заметила генеральша по уходе графа. Генерал покачал головой, выехал на прогулку верхом в сопровождении лакея — на почтительном расстоянии, — и посадка его была еще величественнее обыкновенного.

Настал день рождения Эмилиии; посыпались цветы, книги, письма, визитные карточки. Генеральша поцеловала дочь в губки, генерал — в лоб: они были нежные родители. Семью осчастливили в этот день

посещением высокие гости – двое из принцев. Говорили о балах, о театре, о дипломатических назначениях, о политике. Говорили и о выдающихся деятелях – и чужих и своих; тут уж и молодой профессор сам собой подвернулся на язык. «Он вступит в храм бессмертия! Вступит, вероятно, и в одну из лучших наших фамилий!» Вот что было, между прочим, сказано о нем.

– В одну из лучших фамилий! – повторил генерал, когда остался один с генеральшею. – В какую же бы это?

– Я знаю, на какую намекали! – ответила генеральша. – Но не скажу! И думать не хочу! Конечно, один Бог знает... Но я буду очень удивлена!

– И я тоже! Я даже и представить себе ничего не могу!.. – сказал генерал и стал выжидать минуту просветления.

А ведь в самом деле невыразимая сила кроется в милости свыше, в благоволении двора, знаменующем и Божье благоволение! И благоволение это выпало на долю Георга в самых широких размерах. Но мы забыли день рождения!..

Комната Эмилии утопала в цветах, присланных от друзей и подруг; на столе лежали прекрасные подарки, свидетельствовавшие о памяти и дружбе. Но от Георга не было и не могло быть ничего, да и зачем? Дом и без того был полон воспоминаниями о нем. Цветок воспоминаний выплывал даже из чуланчика под лестницей, где плакала Эмилия, когда в детской загорелись занавески, а Георг опередил всех пожарных. Из окна была видна акация, тоже воскрешавшая воспоминания детства. На ней не было теперь ни цветов, ни листьев, только бахрома из инея, так что дерево напоминало гигантскую коралловую ветвь. Месяц просвечивал между ветвями, все такой же большой, яркий! Он, несмотря на всю свою изменчивость, ничуть не изменился с того времени, когда Георг делился с Эмилией бутербродом.

Молодая девушка вынула из ящика рисунки «Кремль» и «Эмилиин замок». Они тоже говорили о Георге, и она загляделась на них. Много дум пробудили в ней они! Ей припомнилось, как она тайком от родителей спустилась вниз к жене привратника, лежавшей на смертном одре, как села возле нее, взяла ее за руку и приняла ее последний вздох, ее последнюю молитву: «Георг... благословляю!..»

Мать думала только о сыне, но Эмилия вложила в ее слова особенный смысл. Да, Георг провел-таки с Эмилией день ее рождения!

На другой день тоже случилось рождение – рождение самого генерала. Он родился днем позже своей дочери – конечно, многими годами раньше. Опять посыпались подарки. В числе их было превосходное, необыкновенно удобное и дорогое седло; такое имелось пока только у одного из принцев. Кто бы это мог прислать его? Генерал был от него в полном восхищении. К седлу была приложена записка. Гласи она: «Спасибо за вчерашнее!» – все догадались бы, от кого оно было, но она гласила: «От лица, которого господин генерал не знает!»

– Кого же я не знаю в свете? – сказал генерал. – Всех знаю! – И мысли его отправились гулять по большому свету. Нет, там он знал всех. – Это от жены! – решил он наконец. – Она вздумала интриговать меня! Charmant!

Но она и не думала интриговать его – миновала та пора.

Опять готовилось празднество, но уж не у генерала, а у одного из принцев. Назначен был костюмированный бал: разрешалось быть и в масках.

Генерал явился Рубенсом; он был в испанском костюме с небольшим стоячим воротником, при шпаге и щеголял своею осанкой. Генеральша изображала супругу Рубенса и задыхалась от жары в закрытом черном бархатном платье с жерновом на шее, то есть с большим плоеным воротником. Костюм был скопирован с картины фламандского художника, принадлежавшей генералу; на картине особенно хороши были руки, а руки генеральши были точь-в-точь такие же.

Эмилия, вся в тюле и кружевах, изображала Психею. Она напоминала порхающую лебяжью пушинку и совсем не нуждалась в крылышках, составлявших принадлежность костюма Психеи.

Что это был за бал! Что за блеск, что за великолепие! Какие цветы, сколько вкуса! Глаза разбегались – где уж тут было смотреть на руки прекрасной супруги Рубенса!

Черное домино с веткой акации на капюшоне танцевало с Психеей.

– Кто это? – спросила генеральша.

– Его королевское высочество! – ответил генерал. – Я уверен в этом; я сразу узнал его по рукопожатию!

Генеральша сомневалась. Генерал Рубенс ничуть – подошел к черному домино и начертил на его ладони инициалы принца. Тот отрицательно покачал головой, но дал намек:

– Записка при седле! Лицо, которого генерал не знает!

– Но тогда я вас знаю! – сказал генерал. – Это вы прислали мне седло!

Домино подняло правую руку и исчезло в толпе.

– Кто это черное домино, Эмилия? – спросила генеральша. – Ты сейчас с ним танцевала!

– А я не спросила его имени! – ответила дочь.

– Потому что знала его! Это профессор!.. Ваш протеже, граф, здесь! – продолжала генеральша, обращаясь к графу, стоявшему возле. – Черное домино с веткой акации!

– Очень возможно! – ответил он. – Впрочем, один из принцев одет точно так же!

– Я узнал его по рукопожатию! – настаивал генерал. – От принца же я получил и седло. Я так уверен в этом, что приглашу его к нам обедать!

– Что ж, делайте так! Если это принц – он придет! – ответил граф.

– А если это тот... другой, он не придет! – сказал генерал и приблизился к черному домино, которое только что кончило беседовать с королем. Генерал обратился к домино с почтительным приглашением, выражая желание познакомиться с ним поближе. Генерал говорил так громко, отчетливо, так самоуверенно улыбался при этом, – он знал ведь, кого приглашал!

Домино сняло маску: это был Георг.

– Повторит ли генерал свое приглашение? – спросил он.

Генерал словно вырос на целый вершок, осанка его стала еще величественнее; он отступил на два шага назад, потом сделал шаг вперед, точно в менуэте, и на лице его появилось самое знаменательное выражение, какое только он вообще мог придать своим благородным генеральским чертам.

– Я никогда не беру своих слов назад! Профессор приглашен!

И он удалился, косясь на короля, который, наверное, слышал весь разговор.

Обед у генерала состоялся; приглашены были только старик граф да его протеже.

«Теперь лед сломан!» – думал Георг. И лед действительно был сломан при самой торжественной обстановке.

Да, молодой человек снова появился в доме генерала и говорил и держал себя совсем как человек из лучшего общества – генерал не мог этого не видеть. Кроме того, он оказался в высшей степени интересным собеседником, так что генералу несколько раз пришлось прибегнуть к своему восклицанию: «Charmant!» Генеральша не преминула рассказать об этом обеде в обществе, и одна из самых умных и уважаемых придворных дам выразила генеральше желание обедать у нее в следующий же раз, как будет приглашен молодой профессор. Пришлось снова пригласить его. Он принял приглашение и был опять в высшей степени мил; оказалось даже, что он играет в шахматы!

– Положительно он не подвального происхождения! – сказал генерал. – Наверное, он сын знатной особы! Таких много, и молодой человек тут ни при чем.

Профессор, бывавший при дворе у короля, мог, конечно, бывать и у генерала, но предполагать, что он пустит в семье корни?! Об этом не могло быть и речи – в городе же только о том и говорили.

Он и пустил-таки корни!

Милость свыше пролилась на него, и когда он сделался статским советником, Эмилия сделалась статскою советницею, что никого не удивило.

– Жизнь либо трагедия, либо комедия! – сказал генерал. – В трагедии влюбленные умирают, в комедии сочетаются браком.

Георг с Эмилией сочетались, и у них родились трое славных мальчуганов – не зараз, конечно.



Милые детки, бывая в гостях у дедушки и бабушки, ездили по всем комнатам и залам верхом на палочках, а за ними гарцевал на палочке и сам генерал – «в качестве жокея маленьких статских советников!».

Генеральша же сидела на диване и улыбалась, глядя на внуков, даже в те дни, когда страдала своею «ужасною мигренью».

Так вот как далеко пошел Георг. Да он пошел и еще дальше, иначе не стоило бы и разговор заводить о сыне привратника!



## Тетушка

Знали бы вы тетушку – прелесть что такое! То есть прелесть не в обыкновенном смысле слова, не красавица, а милая, славная и по-своему презабавная. Вот над кем можно было пошутить, посмеяться! Хоть сейчас сажай ее в комедию! И все это потому только, что она жила лишь театром и всем, что к нему относится. Вообще же тетушка была особа почтенная, даром что агент Болман, или «болван», как звала его тетушка, величал ее «театральной маньячкой».

– Театр – моя школа, – говаривала она, – источник моих познаний. Благодаря театру я освежила свое знание священной истории: «Моисей», «Иосиф и его братья» – это все ведь оперы! Благодаря театру я познакомилась и со всемирною историей, и с географией, и с психологией! Из французских пьес я узнала парижскую жизнь; легкомысленна она, но в высшей степени интересна! Как я плакала над «Семейством Рикбур»! Подумать только – герой допивается до смерти, чтобы героиня могла выйти замуж за любимого человека! Да, много слез я пролила за те пятьдесят лет, что абонируюсь!

Тетушка знала каждую пьесу, каждую кулису, каждого актера, который выступал на сцене теперь или прежде. Она жила, собственно говоря, только девять месяцев в году; летние три месяца, театральные каникулы, прямо-таки старили ее, тогда как один вечер в театре, затягивавшийся за полночь, просто молодил. Она не говорила, как другие люди: «Вот скоро придет весна! Аист прилетел!», «В газетах уже пишут, что появилась свежая земляника!». Она, напротив, приветствовала осень: «Видели, абонемент уже открыт?.. Скоро начнутся представления!»

Достоинство и удобство квартиры она измеряла близостью ее к театру. Как горько было ей оставить маленький переулок, проходивший позади театра, и переехать на большую улицу немного подальше да вдобавок поселиться в доме, напротив которого был пустырь.

– Я и дома хочу иметь свою ложу – окошко! Нельзя же все с самою собою рассуждать, надо и на людей поглядеть! А вот теперь я живу точно в деревне, в захолустье! Если мне вздумается посмотреть на людей, приходится идти на кухню и влезать на стол, – только оттуда я

и вижу соседей. То ли дело было в переулке! Там из моего окошка открывался вид прямо на квартиру торговца льном, да и до театра было всего три шага, а теперь целых три тысячи, и каких еще – гвардейских!

Случалось тетушке и захворать, но как бы плохо она себя ни чувствовала, пропустить представление все-таки не могла. Раз доктор предписал ей поставить себе вечером к ногам кислое тесто. Она поставила, но в театр все-таки поехала и высидела все представление с тестом на ногах. Умри она в этот вечер, она была бы даже довольна. Ведь умер же в театре Торвальдсен, и такую смерть она называла блаженною.

Тетушка и рая не могла себе представить без театра. Конечно, нам этого не обещано, но ведь довольно же правдоподобно, что для прекрасных актеров и актрис, которые отправились туда до нас, найдется и там арена деятельности!

В комнатку тетушки был проведен из театра своего рода телеграф; телеграмма являлась каждое воскресенье к кофе. Проволокою служил господин Сивертсен, театральный машинист, подававший сигналы к поднятию занавеса, перемене декораций и прочее.

От него-то тетушка и получала краткие, но вразумительные сведения о репертуаре. «Бурю» Шекспира он звал чертовщиной: столько хлопот с ней! В первом же действии – «море вплоть до первой кулисы»! Это он хотел объяснить, как далеко должны были заходить волны морские. Если же сцена во всех пяти действиях изображала все одну и ту же комнату, он называл такую пьесу разумною, толково написанною, на которой можно отдохнуть. Она, дескать, играет сама собой, без всяких фокусов.

В прежние времена – то есть лет тридцать тому назад, когда и сама тетушка, и вышепоименованный господин Сивертсен, уже и тогда служивший машинистом, были помоложе, он, по словам тетушки, был настоящим благодетелем для нее. В те времена в единственном большом городском театре существовал обычай допускать зрителей на особые места, находившиеся под потолком по обеим сторонам сцены. Каждый машинист располагал там местом или двумя. И места эти зачастую бывали битком набиты самою избранною публикою; говорили даже, что туда жаловали генералыши и коммерции

советницы. Ведь так интересно было заглянуть за кулисы, увидеть, как держат себя герои сцены после того, как занавес опустится!

Тетушка частенько бывала там, когда шли трагедии и балеты. В этих пьесах участвовала наибольшая часть труппы, и на них-то особенно интересно было смотреть сверху. Зрители сидели там в потемках, но очень удобно; почти все запасались закуской на ужин, и однажды в темницу Уголино, где он должен был умереть с голода, упали колбаса и три яблока! В публике, конечно, надорвали животики со смеху. Вот эта-то колбаса и была одною из главнейших причин, по которым дирекция закрывала для зрителей места наверху.

– Но я все-таки успела побывать там тридцать семь раз! – говорила тетушка. – И никогда я не забуду этого господину Сивертсену!

В последний вечер, когда места под потолком еще были открыты для публики, давался «Суд Соломона»; тетушка отлично помнила это. В этот раз она благодаря любезности господина Сивертсена достала входной билет для агента Болмана, хоть он и не заслуживал этого за свое зубоскальство и вечные насмешки над театром. Но ему очень хотелось видеть «театральную канитель с изнанки». Он именно так и выразился, и это было куда как похоже на него, говорила тетушка.

И вот он смотрел, смотрел «Суд Соломона» сверху, да и заснул там. Право, точно он пришел в театр с большого обеда, за которым была провозглашена пропасть тостов! Итак, он заснул, проспал конец представления, и его заперли в темном, пустом театре.

– Когда я проснулся, – рассказывал он потом (тетушка, впрочем, не верила ни единому его слову), – «Суд Соломона» был кончен, все лампы и свечи потушены, весь народ разошелся, но тогда-то и началось настоящее представление – эпилог. И это было всего интереснее! Все ожило, пошел уже не «Суд Соломона», а «Страшный суд в театре».

И подобной ерундой агент Болман думал морочить тетушку в благодарность за то, что она устроила его под потолком.

Все, что рассказывал агент, могло со стороны показаться довольно забавным, но, в сущности-то, за всем этим скрывалась одна злая насмешка.

– Темно там было наверху! – рассказывал он. – Но вот началось волшебное представление «Страшный суд в театре» У дверей стояли контролеры и требовали у каждого из зрителей аттестат, чтобы

удостовериться, имеет ли он право входить в театр не связанный по рукам и без намордника. Господа, являющиеся в театр слишком поздно, – трудно ведь сообразоваться с временем! – привязывались у входа и подковывались войлочными подошвами, чтобы могли без шума войти в театр в начале следующего действия. Кроме того, на них надевались намордники. Затем начался «Страшный суд».

– Все только ехидничанье и злость, неугодные Господу Богу! – ворчала тетушка.

Агент же продолжал:

– Декоратор, желавший попасть на небо, должен был взбираться на него по им самим нарисованной лестнице, а лестница-то эта являлась сплошным отрицанием всяких законов перспективы! Заведующий же монтажной частью, прежде чем попасть на небо, должен был перенести в подходящие места все здания и растения, водворенные им в не соответствующие страны, – и все это раньше, чем пропоет петух!

– Господину Болману следовало бы лучше заботиться о том, как бы самому-то попасть на небо!



Вообще все, что он рассказывал об актерах – и комических и драматических, о певцах и балетных танцорах, было, по словам тетушки, со стороны Болмана (болвана!) черною неблагодарностью! Он не заслуживал счастья попасть наверх! Тетушка не желала даже повторять его сквернословия. А он уверял, что все это записано и попадет в печать после его смерти – не раньше! Не то тетушка, пожалуй, загрызет его!

Только один раз довелось тетушке набраться страха в своем храме блаженства – театре. Дело было зимою, в один из коротких, «двухчасовых», серых дней. На дворе стоял холод, шел снег, но тетушке непременно надо было попасть в театр. Давали «Германа фон Унна», небольшую оперу и большой балет, да еще пролог и эпилог вдобавок. Спектакль должен был затянуться до поздней ночи. Как же

пропустить такое представление? К тому же квартирант тетушки снабдил ее парой высоких меховых сапог, заходивших ей за колена.

Тетушка явилась в театр, уселась в ложу, но сапог не сняла, хоть ей и жарко было в них. Вдруг закричали: «Пожар!» Из-за одной кулисы и под потолком показался дым. Поднялся переполох. Народ хлынул в двери. Тетушка осталась последней в своей ложе второго яруса с левой стороны; оттуда декорации кажутся красивее, говорила тетушка, их ведь ставят так, чтобы они смотрелись лучше из королевской ложи! Наконец и тетушка добралась до двери, но оказалось, что зрители, выскочившие раньше, заперли ее за собою впопыхах. Тетушка очутилась в западне. Прямо в коридор выйти было нельзя, через соседнюю ложу тоже – перегородка была слишком высока. Тетушка закричала – никто не услышал. Она заглянула вниз, в следующий ярус, там тоже было пусто, но до него было близко, просто рукой подать. Тетушка от страха вдруг помолодела, почувствовала себя такою легонькою, проворною и совсем уж собралась было перелезть через барьер вниз, даже перекинула через него одну ногу, а другую поставила на скамейку. Так она и сидела, словно верхом на лошади, такая нарядная, в платье с цветочками, свесив вниз ногу в необъятном меховом сапожище! То-то была картина! Когда на нее обратили внимание, услышали и крики тетушки, и она была спасена от опасности сгореть... со стыда, так как театр и не думал гореть.

По ее словам, это был самый памятный вечер в ее жизни. И хорошо, что она тогда не могла видеть самое себя, – она бы умерла со стыда.

Благодетель ее, машинист Сивертсен, приходил к ней каждое воскресенье, но от воскресенья до воскресенья долго было ждать, и вот тетушка стала в последнее время приглашать к себе по средам «кормиться» (то есть пользоваться остатками от стола) маленькую девочку. Девочка участвовала в балетах и тоже нуждалась в пище. Выступала она в ролях эльфов и пажей; труднейшею же ролью ее была роль «задних лап льва» в «Волшебной флейте». Потом она доросла и до передних лап, но за них ей платили уже только три марки разовых, тогда как задние лапы оплачивались целым риксдалером. Зато, исполняя их, ей приходилось сгибаться в три погибели и задыхаться! Все это тетушку живо интересовало.

Она бы заслуживала прожить до самого закрытия старого театра, но нет, не выдержала! Не пришлось ей и умереть в театре! Умерла она

чинно и благородно в собственной постели. Последние слова ее были, впрочем, довольно-таки характерны. Она спросила: «А что идет завтра?»

После тетушки осталось что-то около пятисот риксдалеров. Так мы заключаем из процентов на капитал, составлявших двадцать риксдалеров. Их завещала тетушка в виде пожизненной пенсии достойной старой безродной девице, с тем чтобы она абонировалась на одно место в ложе второго яруса с левой стороны, и непременно на субботние представления, — тогда даются лучшие пьесы. На пенсионерку налагалось лишь одно обязательство — поминать по субботам в театре покойную тетушку.

Так вот чему поклонялась и служила тетушка всю свою жизнь!

## Жаба

Колодец был глубокий, поэтому и веревка была длинная; она медленно наворачивалась на ворот, когда вытаскивали полное ведро. Как ни прозрачна была вода в колодце, в ней никогда не играли солнечные лучи, – они не достигали до ее поверхности. По стенкам же колодца и между камнями, куда они проникали, росла зелень.

Здесь ютилась целая семья жаб; она была не туземного происхождения, а, так сказать, слетела сюда кувырком в лице старой жабы, которая была еще жива и посейчас. Давнишние обитательницы колодца, зеленые лягушки, плававшие в воде, признали жаб родственницами и обошлись с ними как с гостями, прибывшими на воды. А гости-то взяли да и поселились здесь совсем: жилось им тут очень вольготно, они чувствовали под собою твердую почву!

Старой бабушке-лягушке довелось раз совершить путешествие в ведре, она поднялась в нем наверх, но там ей показалось чересчур светло, у нее даже в глазах зарябило! К счастью, ей удалось выпрыгнуть из ведра. Шлепс! Она так бухнулась в воду, что три дня спины не чувствовала. Многого о белом свете она рассказать не могла, но знала, да это и все знали, что колодец – еще не весь свет. Вот старая жаба – та бы могла порассказать о нем кое-что побольше, но она никогда не отвечала на вопросы, ну, ее и не спрашивали.

– Безобразная, жирная толстуха! – говорили про нее зеленые лягушки. – И детки ее все в нее будут!

– Может статься! – отвечала жаба. – Но у одной из них, или у меня самой, сидит в голове драгоценный камень!

Зеленые лягушки слушали ее, вытаращив глаза, но слова ее им не понравились – они передразнили ее и шлепнулись на дно. Зато молодые жабы даже задние ножки вытянули от пущей важности. Каждая мнила себя обладательницей драгоценного камня и сидела возле старой жабы смирно-смирно, боясь шевельнуть головой. Но вдруг все зараз зашевелились и спросили у старухи, чем, собственно, им гордиться, что это за камень?

– А это нечто такое великолепное и дорогое, что и описать нельзя! – ответила старая жаба. – Носят же это ради собственного удовольствия и другим назло. Но не спрашивайте больше! Я не стану отвечать!



– Ну, уж во мне-то нет драгоценного камня! – сказала самая младшая из жаб. Она была безобразная-пребезобразная! – Да и с какой стати завелась бы во мне такая драгоценность? А если она к тому же будет сердить других, то какая мне от нее радость? Нет, мне бы хотелось только одного – взобраться когда-нибудь на край колодца и посмотреть оттуда на белый свет! То-то там, должно быть, чудесно!

– Оставайся-ка лучше на своем месте! – сказала старуха. – Здесь тебе, по крайней мере, все знакомо! Берегись ведра, оно раздавит тебя! А попадешь в него – еще вывалишься, и не всем ведь удастся упасть так счастливо, цело и невредимо, как мне!

– Квак! – вздохнула молодая жаба; по-нашему, по-человечьи, это означало «ах».

Уж как ей хотелось взобраться на край колодца, поглядеть на белый свет! Ее так и тянуло кверху! И вот на следующее утро ведро с водой случайно приостановилось перед камнем, на котором сидела жаба... Сердечко у нее так и ёкнуло, миг – и она прыгнула в ведро и погрузилась на дно.

Ведро вытянули и воду выплеснули.

– Ах, чтоб тебе! – вскрикнул парень, увидав жабу. – Такой гадины я еще не видывал!

И он ткнул ее ногой в деревянном башмаке, так что чуть не изувечил бедняжку. Жаба едва спаслась в высокую крапиву. Тут она стала оглядываться: стебли стояли рядышком один возле другого, а сверху, сквозь листья, просвечивало солнышко, так что листья казались совсем прозрачными. Для жабы разгуливать в крапиве было то же, что для нас гулять в густом лесу, где сквозь листву просвечивает солнышко.

– Здесь куда лучше, чем у нас в колодце! Право, так бы и осталась тут навсегда! – сказала жаба. Прошел час, прошел другой, а она все лежала в крапиве. – А что же там, дальше? Если уж я зашла так далеко, надо идти и дальше!

И она поползла, как могла скорее, и выползла на дорогу. Солнышко пригревало ее, пыль пудрила, а она себе ползла да ползла через дорогу.

– Вот тут так сушь да гладь! – сказала она. – Право, тут уж больно хорошо! Мне просто щекотно от удовольствия!

Вот она доплелась до канавы, обросшей по краям незабудками и таволгою. Повыше же шла живая изгородь из бузины, белого терна и

вьюнка. Да, много тут было цветов! Просто загляденье! Вот вспорхнула бабочка, и жаба приняла ее за цветок, который сорвался со стебелька, чтобы лучше познакомиться с белым светом. Что ж, жаба отлично это понимала!

– Вот бы полететь, как он! – сказала она. – Квак! Ах! Что за красота!

Целую неделю прожила она у канавы; недостатка в пище тут не было. Но на девятый день жаба подумала: «Пора дальше! Вперед! Поищу еще чего-нибудь получше!» Но что же могла она найти? Может быть, подружку-жабу или зеленых лягушек? Ночью ветер доносил до нее кваканье; должно быть, поблизости жила родня.



«Как хорошо жить на свете, выбраться из колодца, лежать в крапиве, ползать по пыльной дороге и нежиться в сырой канаве! Но дальше, дальше! Надо отыскать лягушек или подружку-жабу! Без этого обойтись нельзя, одной природы мало!» И она опять пустилась в путь.

Вот она доползла до большого пруда, поросшего тростником. Туда она и забралась.

– Тут, пожалуй, чересчур сыро для вас! – сказали лягушки. – Но милости просим! Вы дама или кавалер? Впрочем, все равно! Милости просим!

И ее пригласили на вечерний семейный концерт. Восторг был полный, голоса тоненькие – дело известное! Угощения не было никакого, только даровое питье – целый пруд, если угодно.



– Теперь мне надо дальше! – сказала жаба. Она все рвалась к лучшему.

Видела она над собою звезды, такие большие, ясные, видела и новорожденную луну, видела и солнце, которое подымалось все выше и выше.

«Я, значит, все-таки еще в колодце, только в большом. Надо взобраться еще выше! Ах, меня так и тянет все дальше и дальше, все выше и выше!»

Вот настало полнолуние, и бедняжка подумала: «Не ведро ли это спускается? Вот бы прыгнуть в него да подняться кверху! Или, может быть, солнце – большое ведро? Какое оно огромное, яркое! В нем бы хватило места для всех нас! Надо будет ловить случай! Ах, как оно засветилось у меня в голове! Драгоценный камень вряд ли светит ярче. Ну, его-то во мне нет, да мне и горя мало! Нет, вот подняться еще выше, к еще большему блеску и радости – это дело другое! Я твердо решила на этот шаг, но все-таки и побаиваюсь слегка... Шаг ведь серьезный! Сделать его, однако, надо! Вперед! Все прямо, прямо! Знай шагай!»

И она зашагала, то есть поползла. Вот она выбралась на проезжую дорогу; тут жили люди, попадались сады и огороды.

– Сколько, однако, на свете разных тварей! Я их и не знавала прежде! И как велик, прекрасен самый свет! Но надо осматривать его, а не сидеть на одном месте. – И она прыгнула в огород. – Какая зелень! Как тут хорошо!

– Знаю, что хорошо! – сказала гусеница, сидевшая на капустном листе. – Мой листок больше всех здесь! Он закрывает от меня полсвета, но я в нем и не нуждаюсь!

– Кок-кок-кудак! – раздалось возле них.

Это явились куры. Они так и засеменили по огороду. Самая первая курица была дальнзоркая, увидала гусеницу на капустном листе и клюнула его. Гусеница свалилась на землю и принялась изгибаться и вывертываться. Курица покосилась на нее сначала одним глазом, потом другим, – она еще не знала, что выйдет из этих вывертов.

«Ну, она вертится этак не по доброй воле!» – решила она наконец и хотела было склевать гусеницу. Жаба так перепугалась, что подползла к курице вплотную.

– Э, да она выдвигает резервы! – сказала курица. – Ишь, ползучка какая нашлась! – И она повернула прочь. – Нужен мне очень этакий зеленый червячок! Только в горле от него запершит!

Остальные куры были того же мнения и тоже ушли.

– Ну, я-таки отвертелась от нее! – сказала гусеница. – Вот что значит не терять присутствия духа! Но самое трудное еще впереди! Как мне опять взобраться на мой капустный лист? Где он?

Жаба подошла к гусенице и выразила свое сочувствие, а также радость, что ее безобразие обратило курицу в бегство.

– Что вы хотите сказать? – спросила гусеница. – Я сама отвертелась от нее. Фу, на вас смотреть тошно! Оставьте меня, пожалуйста, в покое! Я, кажется, у себя дома! А, вот и мой листок! То ли дело у себя дома! Но надо взобраться повыше!

– Да, повыше! – сказала жаба. – Выше! У нас с ней симпатия! Но она не в духе теперь – от страха. Все мы хотим взобраться повыше!

И она подняла голову как только могла.

На крыше крестьянской хижины сидел аист; он трещал языком, и аистиха трещала.

«Как они высоко живут! – подумала жаба. – Вот бы забраться туда!»

Хижину нанимали два студента. Один был поэт, другой натуралист. Один радостно воспевал все сотворенное Богом так, как оно отражалось в его сердце, воспевал в кратких, ясных и звучных стихах. Другой вникал в самую суть вещей, готов был даже распотрошить их, если на то пошло. На весь мир Божий он смотрел как на огромную арифметическую задачу, производил вычисления, хотел выяснить себе все, понимать все, говорить обо всем разумно, – все в мире было ведь так разумно. Он и говорил обо всем разумно и с увлечением. Оба были добрые, веселые малые.

– Вот славный экземпляр жабы! – сказал натуралист. – Надо ее в спирт посадить!

– Да у тебя уже две сидят! – сказал поэт. – Оставь ее в покое! Пусть наслаждается жизнью!

– Да уж больно она безобразна! Прелесть просто! – сказал первый.

– Вот если бы можно было найти в ее голове драгоценный камень, я бы сам помог тебе распотрошить ее! – сказал поэт.

– Драгоценный камень! – повторил натуралист. – Силен же ты в естественной истории!

– А разве не прекрасно это народное поверье – будто жаба, эта безобразнейшая тварь, часто скрывает в своей голове драгоценный камень? Разве с людьми не бывает того же? Какой драгоценный камень скрывался в голове Эзопа, а в голове Сократа?..

Дальше жаба ничего не слыхала, да и из того, что слышала, не поняла половины. Друзья прошли, и беда на этот раз миновала ее.

– И они говорили о драгоценном камне! – сказала жаба. – Хорошо, что во мне его нет, не то не избыть бы мне неприятности!

На крыше опять затрещало. Аист-отец держал семейную речь, а семья его косилась на двух студентов, гулявших по огороду.

– Человек – самое чванное создание! – говорил аист. – Слышите, какую трескотню завели! И настоящего-то все не выходит! Они чванятся своею речью, своим языком! Хорош язык, который чем дальше едешь, тем меньше понимаешь! Вот у них как! Один не понимает другого. А наш-то язык годится всюду – и в Дании, и в Египте. И летать они не умеют! Правда, они мчатся с места на место благодаря своему изобретению – железной дороге, да часто ломают себе шеи! У! Мороз по клюву пробирает, как подумаю от этом! Свет простоял бы и без людей! Мы без них отлично бы обошлись! Оставили бы нам только лягушек да дождевых червей!

«Вот так речь! – подумала жаба. – Какой он важный и как высоко сидит! Никого еще я не видала на такой высоте!.. А как он умеет плавать!» – вырвалось у нее, когда аист широко взмахнул крыльями и полетел.

Аистиха же продолжала рассказывать детям о Египте, о Ниле, о бесподобной тамошней тине. Все это было так ново для жабы.

– Мне надо в Египет! – сказала она. – Только бы аист взял меня с собою! Или хоть один из птенцов! Я бы уж отплатила ему чем-нибудь! Да я таки и попаду в Египет: мне везет! Право, это стремление, эта тоска, что во мне, лучше всякого драгоценного камня в голове!

А в ней как раз и сидел этот камень – эта вечная тоска, стремление к лучшему, стремление вперед, вперед! Она вся светила ими.

В эту минуту явился аист. Он увидел в траве жабу, слетел и сцапал ее не особенно-то деликатно. Клюв сжался, в ушах у жабы засвистел ветер... Неприятно это было, но зато она летела вверх, в Египет!.. Она знала это, и глаза ее засияли; из них как будто вылетела яркая искра.

– Квак! Ах!

Жаба умерла, тело ее раздавили. Но куда же девалась искра из ее глаз?

Ее подхватил солнечный луч и унес – куда?



Не спрашивай об этом натуралиста, спроси лучше поэта. Он ответит тебе сказкой; в ней будут упомянуты и гусеница, и семья аиста. Подумай! Гусеница превращается в прелестную бабочку, аист летит над горами и садами в далекую Африку и все же находит кратчайшую дорогу назад, в Данию, на то же место, на ту же крышу. Да, это что-то сказочное, и все-таки это правда. Спроси хоть у



натуралиста, и он скажет то же самое. Да ты и сам знаешь, сам видел все это!

Ну а драгоценный-то камень из головы жабы куда девался?

Поищи его на солнце! Взгляни на него, коли можешь! Но блеск солнца нестерпим. У нас нет еще таких глаз, которыми бы мы могли зреть всю красоту, созданную Богом, но когда-нибудь мы обретем их. То-то будет чудесная сказка: мы сами будем в ней действующими лицами!

*1866*

## Вен и Глен

Близ Зеландского берега, напротив Гольстейнского замка, лежали когда-то два лесистых островка – Вен и Глэн – с селами и поселками. Они и от твердого берега лежали недалеко, и друг от друга тоже. Но вот один островок исчез. Ночью разразилась страшная буря, море поднялось так высоко, как и не запомнили старики; буря свирепела все больше и больше. Казалось, наступало светопредставление, разверзалась земля; колокола на колокольнях раскачивались и звонили сами собою.

В эту-то ночь остров Вен и исчез в морской глубине, и следа от него не осталось. Но часто потом в летние тихие ночи, когда море ясно и прозрачно, рыбаки, выслеживавшие угрей при свете укрепленного на носу лодки фонаря, видели (особенно более зоркие) в прозрачной глубине остров Вен, белую колокольню его церкви и высокие церковные стены. И вот у жителей другого островка сложилось поверье, что «Вэн дожидается Глэна!» Рыбаки рассказывали, что видели исчезнувший остров, слышали даже звон его колоколов; но это им только чудилось. Это, верно, пели дикие лебеди, которые часто нежатся тут на водяной поверхности, их жалобное пение напоминает собой отдаленный колокольный звон.

Было время, когда многие старики из жителей Глэна хорошо помнили ту бурную ночь, помнили еще и то время, когда они детьми переезжали во время отлива узенький пролив, отделявший их остров от Вэна, как теперь переезжают пролив, отделяющий Зеландию от Глэна; вода ведь достигает только оси телеги.

«Вэн дожидается Глэна» – сложилось поверье, и все знали, что придет время, когда оно оправдается.

Немудрено, что многие мальчики и девочки часто думали в бурные ночи: «А вдруг сегодня ночью Вэн придет за Глэном!» В страхе принимались они читать «Отче наш», потом сладко засыпали, а на утро – Глэн со своими лесами, хлебными полями, приветливыми крестьянскими домиками, увитыми хмелем, оказывался на своем месте. В лесу распевали птички, резвились лани, и крот, как ни остро у него обоняние, не чуял еще запаха морской воды.

И все-таки дни острова сочтены; мы не можем сказать наверное, сколько именно времени осталось еще существовать ему, но тем не менее дни его сочтены – в одно прекрасное утро остров исчезнет.

Может быть, ты еще вчера только был на берегу и любовался на диких лебедей, нежившихся на воде между Зеландией и Глэном, смотрел, как скользила около лесистого берега лодка с распущенными парусами, сам переезжал на остров вброд – другой дороги ведь не было, – и лошади шлепали прямо по воде, которая плескалась о колеса.

Но вот ты уезжаешь оттуда, путешествуешь, быть может, по белу свету и возвращаешься на родину лишь через несколько лет. Глядишь – перед тобою огромный зеленый луг, окруженный лесом; перед нарядными крестьянскими домиками благоухают стога сена. Куда же ты попал? Гольстейнский замок по-прежнему блещет своими золочеными шпицами, но он уже не на самом берегу, а далеко от него! Ты идешь по лесу, по полю, на берег моря... Где же Глэн? Перед тобой нет никакого острова, одно открытое море! Неужели Вэн пришел за Глэном, как говорило поверье? Когда же разыгралась эта ночная буря, когда случилось такое землетрясение, что древний Гольстейнский замок передвинуло на много тысяч петушиных шагов в глубь страны?

Такой бурной ночи и не было; случилось все при свете солнца, днем. Человеческий ум устроил плотины, выкачал воду из пролива и соединил Глэн с твердой почвой. Пролив стал зеленым лугом, покрытым сочной травой, Глэн крепко прирос к Зеландии. Старый замок стоит на прежнем месте. Это не Вэн пришел за Глэном, а Зеландия притянула его к себе своими руками – плотинами, выкачала воду, разлучавшую ее с островом, и произнесла заклинание, соединившее их брачными узами. И остров принес с собою приданое – Зеландия обогатилась многими десятинами земли! Все это правда, об этом даже опубликовано в газетах. Так вот, поверье-то оправдалось – остров Глэн исчез.

1867

**Зеленые крошки**

На окне стоял розан; недавно еще он был так свеж, а теперь что-то начал чахнуть, хиреть.

У него завелись постояльцы, которые стали пожирать его, постояльцы, впрочем, очень почтенные, носившие зеленый мундир. Я имел разговор с одним из них; ему было всего три дня от роду, а он уже имел правнуков. И знаете, что он сказал мне? Он говорил о самом себе и о прочих постояльцах, и говорил одну правду.

«Мы замечательнейшее войско в свете. В теплое время года мы производим живых малюток; погода в это время хороша, и они сейчас же сватаются и играют свадьбы. В холодное же время года мы кладем яички – малюткам тепло в них. Мудрейшие создания, муравьи – мы питаем к ним глубочайшее уважение – изучают нас, ценят нас. Они не пожирают нас тотчас же, а берут наши яички, уносят их в свою семейную кучу, в самый нижний этаж, и укладывают там очень толково по номерам, рядышком, слоями, так, чтобы каждый день иметь новорожденного малютку. Потом муравьи ставят нас в хлев и щекочут, т. е. доят. После того мы уж умираем. То-то хорошо! Муравьи называют нас прелестнейшим именем – “сладкими дойными коровками”! Все животные, одаренные муравьиным разумом, зовут нас так, все, кроме людей! И это такая обида для нас. Просто впору лишиться всей своей сладости! Не можете ли вы написать что-нибудь против этого, не можете ли как-нибудь усовестить этих людей! Они смотрят на нас так глупо, злятся, что мы поедаем листья розана, а сами пожирают на земле все живое, все, что только растет и зеленеет! Они дают нам самое презренное, самое отвратительнейшее имя! Я не произнесу его! У! Как подумаю только, у меня внутри все переворачивается! Я не могу выговорить его, по крайней мере – в мундире, а я всегда в мундире.



Я родился на листке розана; я и весь наш полк живем им, но он, в свою очередь, оживает в нас, а мы ведь принадлежим к высшему разряду творений. Люди нас не терпят, приходят и смывают нас мыльной водой. Прескверный напиток! Право, мне все кажется – где-то пахнет им?! И каково перенести такое мытье, если природа твоя совсем не терпит мытья!

Человек! Ты смотришь на меня такими сердитыми мыльными глазами, но вспомни наше место в природе, наше искусное устройство: мы кладем яйца и производим живых малюток! Вспомни, что и нам дан завет “плодиться и размножаться”! Мы родимся на розах и умираем на розах; вся наша жизнь – чистейшая поэзия. Не клейми же нас позорным, гнусным именем, которого я не произнесу

ни за что! Зови нас “дойными коровками муравьев”, “гвардией розана”, “зелеными крошками”!»

А я, человек, стоял и смотрел на розан и на зеленых крошек, которых не назову по имени, чтобы не оскорбить граждан розана, большое семейство, кладущее яйца и производящее живых малюток. Мыльную же воду, которою я хотел смыть их, — я явился именно с этим злым намерением, — я решил вспенить: буду пускать мыльные пузыри и любоваться роскошью их красок! Как знать, может быть, в каждом пузыре сидит сказка?

И вот я выдул пузырь, большой, блестящий, отливающий всеми цветами радуги; на дне его как будто лежала белая серебристая жемчужина. Пузырь колебался несколько мгновений на конце трубочки, потом вспорхнул, полетел к двери и — лопнул. В ту же минуту дверь распахнулась, и на пороге показалась сама бабушка сказка!

Ну, она лучше меня расскажет вам сказку о — нет, я не назову их — о зеленых крошках!

— О травяных вшах! — сказала бабушка сказка. — Каждую вещь следует называть настоящим именем, и если уж боятся это делать в действительной жизни, то пусть не боятся хоть в сказке!

## Домовой и хозяйка



Ты знаешь домового. А хозяйку знаешь? Жену садовника? Она была начитанна, знала наизусть много стихов и даже бойко сочиняла их сама. Вот только рифмы – «спайки», как она их называла, давались ей не без труда. Да, у нее был и писательский талант и ораторский; она могла бы быть хоть пастором, по крайней мере – пасторшею!

– Как хороша земля в воскресном уборе! – сказала она и поспешила облечь эту мысль в стихи со «спайками», очень красивые и длинные.

Семинарист, господин Киссеруп – имя тут, впрочем, ни при чем, – сын сестры садовника, гостивший у них, услышал стихи хозяйки и заявил, что они очень, очень хороши!

– Да, на вас лежит печать гения, сударыня! – прибавил он.

– Экий вздор! – сказал садовник. – Не вбивайте ей ничего такого в голову! Женщина прежде всего должна обладать наружностью, приличною наружностью, и дело ее – смотреть за тем, чтобы каша в горшке не прикипела да не подгорела!

– Пригар я очищу древесным углем! – ответила жена: – А накипь на душе у тебя сниму поцелуем! Подумаешь, право, что у тебя на уме одна капуста да картофель, а ты ведь любишь и цветы! – И она поцеловала его. – Цветы – это и есть поэзия! – прибавила она.

– Смотри за кашей! – повторил он и ушел в сад: у него была своя каша, за которою следовало смотреть.

А семинарист остался сидеть с хозяйкой. Ее слова: «Как хороша земля!» – он развил в целую проповедь в своем духе:

– Земля прекрасна; «наследуйте землю», – было сказано людям, и они стали господами на земле. Один добился этого благодаря своим духовным дарованиям, другой – физическим; один был пущен в свет вопросительно-восклицательным знаком, другой – многоточием, так что невольно спрашиваешь: зачем он, в сущности, явился? Один становится епископом, другой остается бедным семинаристом, но все на свете устроено одинаково премудро. Земля прекрасна и всегда в праздничном уборе! Это стихотворение пробуждает столько дум, сударыня! Оно полно чувства и знания географии.

– На вас тоже лежит печать гения! – заметила хозяйка. – Уверяю вас! Беседуя с вами, начинаешь ясно понимать себя!

И они продолжали беседу в том же прекрасном, возвышенном духе. А в кухне тоже кто-то вел беседу – домовой! Домовой в сером балахоне и красненькой шапочке. Ты знаешь его! Он был в кухне, обзревал там горшки. Он тоже говорил, но его никто не слушал, кроме большого черного кота – «сливкокрада», как величала его хозяйка.

А на нее домовой был очень сердит, – он знал, что она не верит в его существование. Правда, она и не видала его никогда, но все же была, кажется, достаточно просвещена, чтобы знать о его существовании и оказывать ему хоть некоторое внимание. Ей вот небось не приходило на ум угостить его в сочельник хоть ложкой каши! А ее получали все его предки, даром что хозяйки их были совсем неученые! И какую кашу! Она так и плавала в масле и в сливках!

У кота даже слюнки потекли при одном упоминании о сливках.

– Она называет меня «понятием»! – говорил домовой. – Ну, это выше всех моих понятий. Она прямо-таки отрицает мое существование. Я уж раз подслушал ее речи и теперь опять хочу



пойти подслушивать. Ишь, сидит и шушукается там с этим семинаристом! А я повторю за хозяином: «Смотри лучше за кашей!» Но она и не думает об этом. Постой же, я заставлю кашу кипеть, да так, что она поползет через край! – И домовый раздул огонь. У! Как зашипело, загорелось! Каша так и побежала из горшка. – А теперь пойду и понаделаю дыр в чулках хозяина! – продолжал он. – Больших дыр и в пятках и в носках. Будет ей тогда чем заняться, если останется досуг от рифмоплетства! Штопай-ка лучше мужнины чулки, сударыня поэтесса!

Кот в ответ на это чихнул; он простудился, хоть и ходил в шубе.

– Я открыл дверь в кладовую! – сказал домовый. – Там стоят кипяченые сливки, густые, что твой кисель! Хочешь вылакать? Не то я сам вылакаю!

– Нет, уж коли терпеть побои, так было бы за что! Я вылакаю! – ответил кот.

– Потешь язычок, а потом тебе почешут спинку! – сказал домовый. – Теперь я пойду в комнату семинариста, повешу его подтяжки на зеркало, а носки суну в умывальный таз с водою, – пусть думает, что пунш был чересчур крепок и что у него в голове шумело. Сегодня ночью я сидел на дровах возле собачьей конуры. Мне ужасно нравится дразнить цепную собаку, я и давай болтать ногами. Собака, как ни прыгала, не могла достать до них, злилась и лаяла. А я-то себе болтаю да болтаю ногами! То-то потеха была! Семинарист проснулся от шума, три раза вставал с постели и смотрел в окно, но меня-то уж ему не увидеть, даром что в очках. Он и спит в них!



– Ты мяукни, когда хозяйка придет! – сказал кот. – А то я не услышу – у меня сегодня уши болят.

– Язычок у тебя болит, вот что! Ну, лакай – выздоравливай скорее! Только оботри рыльце, а то сливки с усов капаят. Ну, а теперь я пойду подслушивать.

И домовый подкрался к двери, а дверь-то стояла полуотворенною. В комнате не было никого, кроме хозяйки и семинариста. Они говорили о том, что семинарист так прекрасно называл «печатью гения» и ставил выше всяких горшков и каш в любом хозяйстве.

– Господин Киссеруп! – начала хозяйка. – Я хочу воспользоваться случаем, показать вам что-то, чего еще не показывала ни единой живой душе, особенно мужчине, – мои маленькие стишки. Некоторые из них, впрочем, несколько длинноваты! Я назвала их «Спайки дщери Дании»; я, знаете, люблю больше старинные слова.

– Так и подобает! – сказал семинарист. – Немецкие же слова следует совсем изгнать из датского языка.

– Вот, я так и делаю! Я никогда не говорю «бутерброд» или «фефферкухен», а всегда «хлеб с маслом» и «пряники».

И она вынула из ящика стола тетрадь в светло-зеленой обложке, на которой красовались две кляксы.

– В этой тетрадке очень много серьезного! – сказала она. – Меня все больше тянет к печальному. Вот «Ночные вздохи», «Моя вечерняя заря», вот «Наконец я твоя, мой Клеменсен!» Это стихотворение посвящено моему мужу, но его можно пропустить, хотя оно и очень прочувствовано и продумано. Вот «Обязанности хозяйки» – это лучшая вещь! Но все стихи грустны – в этом моя сила. Тут есть только одна вещь в шутилом духе. Я излила в ней свои веселые мысли – находят на человека и такие – мысли о... Да вы не смейтесь надо мною! Мысли о положении поэтессы! До сих пор об этом знала только я да мой ящик, а теперь узнаете вот вы. Я люблю поэзию, и на меня часто находит поэтическое настроение. В такие минуты я сама не своя. Все это я и высказала в «Крошке домовом»! Вы ведь знаете старинное народное поверье о домашнем духе, который вечно проказит в доме? И вот я изобразила себя домом, а поэзию, волнующее меня поэтическое настроение – домовым. Я воспела могущество и величие «Крошки домового»! Но вы должны дать мне

слово никогда не проговориться об этом моему мужу или кому бы то ни было. Читайте вслух – я хочу видеть, разбираете ли вы мой почерк!

И семинарист читал, а хозяйка слушала; слушал и домовый. Он ведь, как ты знаешь, собирался подслушивать и подошел как раз в ту минуту, когда прочли заглавие «Крошка домовый».

– Э, да речь-то идет обо мне! – сказал он. – Что она могла написать про меня? Постой же, дойму я тебя! Буду воровать у тебя яйца, цыплят, выгонять жир из телят! Вот что, сударыня хозяйка! Скажите, пожалуйста!

И он наострил уши. Но вот он слышит о величии и могуществе домового, о его власти над хозяйкой, – она ведь подразумевала под домовым поэтическое настроение, но домовый понял все это буквально – и лицо его стало расплываться в улыбку, глазки заблестели от удовольствия, губы сложились в важную мину; он даже невольно привстал на цыпочки и вырос на целый вершок! Ах, он был в таком восторге от всего сказанного о «Крошке домовом»!

– А в хозяйке-то и впрямь сидит гений! И как она образованна! Я был ужасно несправедлив к ней! Она поместила меня в свои «спайки»; их напечатают и прочтут!.. Ну, уж полно теперь коту лакать хозяйкины сливки – я сам буду лакать их! Один все же выпьет меньше, чем двое, вот и экономия! Я и буду теперь соблюдать ее, буду почитать и уважать хозяйку!

«Сколько, однако, в нем человеческого! – подумал старый кот. – Стоило хозяйке польстивее мяукнуть ему, и он сейчас запел на иной лад! Хитра она, хозяйка-то!»

Но она вовсе не была хитра; хитер-то был домовый – в нем было много человеческого!

Если ты не понимаешь этой истории, то попроси объяснения – только не у домового, да и не у хозяйки.

## Пейтер, Петер и Пер



Удивительно, как хорошо разбираются во всем нынешние дети! Трудно сказать, чего только они не знают! Старую сказку о том, как аист нашел их в колодце или в мельничном пруду и принес папе с мамой, они и слушать не хотят, а между тем сказка эта – истинная правда.

Вот только вопрос – откуда дети берутся в колодцах или в мельничных прудах? Не всякий на это ответит, но кое-кому и это известно. Если ты внимательно глядел на небо в звездную ночь, то, конечно, видел множество падающих звезд. Кажется, будто звезды скатываются с неба и исчезают. Самые ученые люди не могут объяснить того, чего не понимают, но если знаешь, в чем дело, объяснить нетрудно. Звезды падают с неба, как маленькие елочные

свечки, и гаснут; это искры божьи, что летят вниз, на землю. Как только они попадают в наш густой, плотный воздух, сияние их меркнет, и наши глаза перестают различать их, потому что они нежнее и воздушнее самого воздуха. Теперь это уже не звезда, не искра, а небесное дитя, маленький ангел без крыльев, которому предстоит превратиться в человека. Тихо скользит он по воздуху, ветер подхватывает его и опускает в чашечку цветка – то в ночную фиалку, то в одуванчик, то в розу, а то в гвоздику. Там дитя лежит и набирается сил. Оно такое легкое и воздушное, что муха может унести его на своих крыльях, а пчела и подавно. И те и другие так и выются над цветком в поисках сладкого нектара. Если воздушное дитя им и мешает, то столкнуть его на землю они все равно не решаются, а переносят его на большие круглые листья кувшинок и оставляют лежать на солнышке. Малыш потихоньку сползает с листа в воду, дремлет там и все растет, растет, пока не станет таким большим, что аист увидит его, выловит и принесет людям, в какую-нибудь семью, где уже давно мечтают иметь такого милого ребенка. Вот только будет он милым или нет, зависит от воды. Хорошо, если вода в колодце, где он лежал, была чистая, но бывает, что малютка наплотается тины и грязи, и тогда добра не жди. Аист ведь хватает первого, кто попадет на глаза, не разбирая. И разносит детей, куда придется: один может попасть в хорошую семью, к безупречным родителям, другой – к людям грубым и таким несчастным, что лучше бы аист вовсе не вытаскивал малыша из пруда.

Дети больше не помнят, как они дремали под листом кувшинки, как лягушки по вечерам пели им хором «Ква-ква-ква!», что по-нашему означает: «Спите крепко, пусть вам приснятся хорошие сны!» Не помнят дети и о цветке, в который упали с неба, не помнят даже его запаха, и все-таки, когда они становятся взрослыми, что-то заставляет их выбирать себе любимый цветок, как раз тот, где они лежали, прилетев на землю.

Аист живет до глубокой старости, но не забывает о малышах, которых приносил людям, он следит за ними, узнает, как им живется. Правда, изменить их жизнь не в его власти, да и помочь им он ничем не может – у него и со своими детьми забот хватает. Но из головы его эти малыши не выходят.

Я знаком с одним старым, умудренным опытом аистом, очень почтенным. Он наносил людям уже множество детей, о каждом из них может рассказать целую историю, и в каждой будет немного тины и грязи из мельничного пруда. Я попросил его рассказать хоть об одном из этих младенцев, а он преподнес мне не одну, а целых три истории, и все о семье Петерсенов.

Прекрасное это было семейство. Глава семьи был одним из тридцати двух отцов города, а это большая честь. И самому ему как раз исполнилось тридцать два. Тут-то и появился аист и принес маленького Пейтера – так называли мальчика. На следующий год аист принес еще одного ребенка, ему дали имя Петер, а когда аист прилетел с третьим, его нарекли Пером, потому что имена Пейтер, Петер и Пер очень подходят к фамилии Петерсен.

Вот и стали расти три брата, три небесные искры. Каждый из них вырос в своем цветке, каждый дремал под своим листом кувшинки в мельничном пруду, пока аист не принес его в семью Петерсенов, что живет на углу. Ну, да ты и сам прекрасно знаешь их дом.

Братья росли, умнели и мечтали сделаться кем-нибудь поважнее, чем их отец.

Пейтер мечтал стать разбойником. Он посмотрел в театре «Фра-Дьяволо» и решил, что разбойничье дело самое приятное на свете. Петер хотел стать жестянщиком и целый день греметь железом: то-то будет музыка! А Пер был примерный, тихий мальчик, пухлый и румяный. Он, правда, грыз ногти, но это был его единственный недостаток. Пер мечтал сделаться «как папа». Так они все отвечали, когда их кто-нибудь спрашивал, кем они собираются стать, когда вырастут.

Пошли они в школу. Один стал первым учеником, другой – последним, а третий – середка на половинку. Но разве в отметках дело? Все равно все трое были умными, прекрасными мальчиками – так по крайней мере утверждали их весьма образованные родители.

Братья ходили на детские праздники, покуривали, когда никто не видел, набирались ума-разума.

Пейтер с малолетства был упрям, как и подобает будущему разбойнику. Он был ужасно непослушный, но мать говорила, что это от глистов, которые его мучают. У всех непослушных детей глисты,

виной тому тина в желудке! Скоро мать испытала на своем новом платье, до чего он строптив и непокорен.

– Не толкни стол, ягненок! – сказала она. – Опрокинешь сливки и посадишь пятно на мое новое платье.

Тут «ягненок» спокойно поднял молочник и преспокойно вылил сливки прямо матери на колени. Она только приговаривала:

– Ягненок, милый, что с тобой? Опомнись!

Но ей пришлось признать, что у ребенка есть воля. А воля свидетельствует о твердости характера, что очень приятно для матери.

Пейтер вполне мог стать разбойником, но получилось не совсем так. С виду-то он был настоящий разбойник: волосы длинные, лохматые, шея голая, шляпа нахлобучена на самый нос. Так одеваются художники, он и хотел стать художником, только дальше костюма дело не пошло. Все, кого он рисовал, выходили похожими на мальву, такие же длинные, тощие. Он и сам был в точности мальва. Понятно, что он так любил этот цветок, сказал аист, ведь мальва была его колыбелью.

Петера же нашли в цветке масличного дерева. Губы у него так и блестели, как намащенные, желтая кожа лоснилась; казалось, ущипни его за щеку, масло так и брызнет. Ему бы торговать маслом, сам себе служил бы рекламой. Но в душе он как был, так и остался жестянщиком: один из всего семейства Петерсенов он пошел по музыкальной части.

– И слава богу, что один старается за всех, – говорили соседи.

За неделю он мог состряпать семнадцать полек, а из них слатать оперу с лязгом и скрежетом. Опера получалась хоть куда!

Пер был белолиц и розовощек, ростом невелик и ничем не выделялся – ведь его баюкала скромная ромашка. Если его били другие мальчишки, он никогда не давал сдачи. Он говорил, что он самый разумный, а разумные всегда уступают. Сначала он коллекционировал грифели, потом почтовые штемпели, а потом обзавелся уголком натуралиста, где хранился скелет корюшки, три слепых крысенка в банке со спиртом и чучело крота. Пера влекло к наукам, да и природу он чувствовал. А как это было приятно и ему самому и его родителям! Пер охотнее ходил в лес, чем в школу, предпочитал естественность строгому воспитанию. Его братья уже были помолвлены, а он все еще мечтал только об одном, как бы довести до совершенства свою коллекцию – он собирал яйца



водоплавающих птиц. Животных он знал гораздо лучше, чем людей, и даже считал, что звери далеко опередили человека в самом святом – в любви. Пер заметил, что пока соловыха-мать сидит на яйцах, соловей-отец всю ночь напролет поет для своей любимой подруги, и какие трели выводит! Перу ни за что бы так не спеть, и пробовать не стоит. А аисты? Когда аистиха с аистятами сидит в гнезде, аист-отец всю ночь охраняет их, стоя на одной ноге. Да Перу так и часу не простоять! А после того, как он однажды хорошенько рассмотрел паутину, сплетенную пауком, он навсегда оставил мысли о браке. Господин паук без устали трудится над своей паутиной, ловит в нее беззаботных мух, молодых и старых, тощих и налитых кровью. Он для того и живет, чтобы плести свои сети и обеспечивать семейство пропитанием. А мадам паучиха живет только для дорогого мужа. Она так любит супруга, что пожирает его живьем, с головой, сердцем и желудком, только длинные, тонкие ноги остаются торчать в паутине, которую он плел на радость своей семье. Вот вам правдивая история из жизни животных! Пер понаблюдал все это и решил: «Вот это любовь! Как надо страстно любить, чтобы проглотить собственного мужа со всеми потрохами! Нет, люди так далеко не заходят, да и нужно ли это?»

И Пер дал себе слово никогда не жениться, никогда никого не целовать и самому не получать поцелуев, ведь поцелуй – это первый шаг к брачным узам. И все же одного поцелуя ему избежать не удалось, он достается нам всем рано или поздно – долгий поцелуй смерти. Поживет человек на земле, и смерть получает приказ: «Поцелуй его!» – и человек погиб. С неба блеснет луч света, да такой яркий, что у человека темнеет в глазах. И душа человека, некогда звездочкой упавшая на землю, снова устремляется вверх, на небо. Больше ей не качаться в чашечке цветка, не дремать под листом кувшинки. Ее ждут дела поважней. Она уносится в великую страну вечности. А какова эта страна, где она и что в ней, никто не знает. Никто ее не видел, даже аист, хоть у него глаза зоркие и он знает все на свете. Поэтому и о Пере ему больше ничего не известно, а вот о Пейтере и Петере он мог бы порассказать, но я о них вдоволь наслушался, да и ты, наверно, тоже. И я вежливо поблагодарил аиста и сказал, что на этот раз с меня хватит. А он за эту короткую историю, в которой к тому же нет ничего особенного, требует с меня трех

лягушек и одного ужонка. Он, видите ли, принимает плату съестными припасами. Ну как, ты согласен с ним расплатиться? Я – нет! У меня нет ни ужей, ни лягушек.

*1868*

## Альбом крестного



Мастер был крестный рассказывать. Сколько он знал разных историй – длинных, интересных! Умел он также вырезать картинки и даже сам отлично рисовал их. Перед Рождеством он обыкновенно доставал чистую тетрадку и начинал наклеивать в нее картинки, вырезанные из книжек и газет; если же их не хватало для полной иллюстрации задуманного рассказа, он сам пририсовывал новые. Много дарил он мне в детстве таких тетрадок, но самую лучшую получил я в тот «достопамятный год, когда Копенгаген осветился новыми газовыми фонарями вместо прежних ворванных». Это событие и было отмечено на первой же странице.

– Этот альбом надо беречь! – говорили мне отец и мать. – Его и вынимать-то следует только в особых случаях.

Но крестный надписал на обложке:

Коль книжку разорвешь – беды еще нет!  
Другие похуже творили, мой свет!

Лучше всего было, когда крестный сам показывал альбом, читал стишки и прочее, что в нем попадалось, а к этому еще многое добавлял от себя. Вот тогда-то история становилась настоящей историей!

На первой странице красовалась картинка, вырезанная из «Летучей почты»; на ней виднелась «Круглая Башня» и церковь Богоматери; левее этой картинки была наклеена другая, изображавшая старый фонарь с надписью: «Ворвань», а правее – третья, изображавшая новый фонарь с газовыми рожками и надписью: «Газ».

– Это афишка! – говорил крестный. – Она служит введением к истории, которую сейчас расскажу тебе. Из нее можно было бы выкроить хоть целую комедию: «Ворвань и газ, или Жизнь и приключения Копенгагена». Вот только сумеют ли поставить ее? А заглавие хоть куда! Внизу страницы видна еще картинка. Ее не так-то скоро поймешь! Придется пояснить. Это – мертвая лошадь; место ее на последней странице альбома, а она, вишь, забежала вперед! И забежала с целью объявить, что ни начало, ни середина, ни конец альбома никуда не годятся! Она сумела бы сделать куда лучше, если бы вообще умела. Днем – скажу я тебе – она гуляет на привязи по газетным столбцам, вечером же вырывается на волю, подбегает к дверям поэта и ржет, что поэт вот-вот Богу душу отдаст. Но поэт и не думает умирать, если только в нем действительно живая душа. Мертвая лошадь почти всегда очень жалкое существо, которое не может даже разобраться в собственном «я» и добывает себе хлеб насущный только беганием да ржанием. Я уверен, что ей наш альбом совсем не по вкусу, но из этого все-таки еще не следует, что он не стоит хотя бы бумаги, из которой сшит! Так вот тебе первая страница альбома – афишка.

Дело было как раз в тот последний вечер, когда еще горели старые фонари. Город только что обзавелся новыми газовыми, и они сияли так, что старых почти и не видно было.

– Я как раз бродил в этот вечер по улицам! – рассказывал крестный. – Люди разгуливали взад и вперед, сравнивая новое и старое освещение. Народу было много, и вдвое больше ног, чем голов. Ночные сторожа ходили, повесив головы, раздумывая о том, скоро ли и

их упразднят, как старые фонари. А те вспоминали далекое прошлое – о будущем они думать не смели. И чего-чего только ни вспоминалось им, какие тихие вечера, темные ночи!.. Я стоял, опершись о фонарный столб; фитиль в фонаре трещал и шипел; я вслушался в его речь. Послушай и ты!

«Мы делали, что могли! Мы отслужили своему времени, светили людям на радость и на горе. Много важных событий мы пережили. Мы служили, так сказать, ночными глазами Копенгагена. Пусть же теперь нас сменят новые светила. Но сколько лет им придется светить и что освещать – скажет лишь время. Правда, они светят поярче нас, стариков, но это и немудрено! У газовых фонарей столько связей, они сильны взаимной поддержкой! От них во все стороны, во все концы идут трубы, по которым к ним притекают силы из города и из-за города! А мы-то, старые фонари, обходимся собственными средствами, не прибегаем за помощью к семейным связям. Мы и наши предки светили Копенгагену с незапамятных времен. А вот теперь пришел нашему горению последний вечер, и мы стоим, так сказать, во второй шеренге, вы заслоняете нас собою, яркие товарищи! Но мы не станем хмуриться или завидовать, нет! Мы весело и добродушно уступим вам свой пост, как старые часовые молодым драбантам, одетым в более блестящий мундир, нежели их. Хотите, мы расскажем вам, что пережил и перевидел наш род, начиная с нашего прапрапрадедушки-фонаря? Расскажем вам всю историю Копенгагена и пожелаем, чтобы вы и ваши потомки до последнего газового фонаря пережили столько же, могли бы поведать о стольких же важных событиях, как мы, когда вы, в свою очередь, будете отставлены от должности. А это рано или поздно случится! Вы должны к этому готовиться. Люди додумаются до еще более яркого освещения. Я даже слышал от одного прохожего студента, что уже поговаривают о том, как бы заставить гореть воду морскую!»

И фитиль в фонаре зашипел, словно в ворвань и в самом деле влили воды.

Крестный подумал, подумал и нашел, что старый фонарь блеснул прекрасной идеей – рассказать в этот последний вечер, когда Копенгаген перешел от ворвани к газу, историю города.

– А хорошими идеями надо пользоваться! – сказал крестный. – Я живо отправился домой и сделал для тебя этот альбом, но зашел в нем

куда дальше, чем могли фонари. Вот тебе альбом, вот и история:

### **«Жизнь и приключения Копенгагена».**

Начинается она непроглядным мраком – черной страницей; это времена доисторические.

– Теперь перевернем страницу! Видишь картинку? Дикая морская пучина; над ней проносится северо-восточный ветер. Он гонит тяжелые льдины; на них плывут только огромные каменные глыбы, оторвавшиеся от скал Норвегии. Ветер гонит льдины; он хочет показать германским горам образчики северных скал. Ледяная флотилия уже в Зунде, у берегов Зеландии, где ныне расположен Копенгаген, но тогда о нем еще и помину не было. Под водой шли обширные мели; на одну-то из них и сели несколько льдин с каменными глыбами. Застряла и вся ледяная флотилия; ветер никак не мог двинуть ее дальше, расшвырял до последней степени и принялся проклинать эту «воровскую мель». Он клялся, что если только она когда-либо подыметься над поверхностью морской, на ней поселятся воры и разбойники, воздвигнутся виселицы, колеса и дыбы.

Но в то время как он клялся и бранился, выглянуло солнышко, а на его лучах качались светлые, кроткие духи, дети света. Они закружились над льдинами воздушным хороводом, те растаяли, и каменные глыбы погрузились на дно.

«Ах вы, солнечные козявки! – зашумел ветер. – Так-то вы! Это по-товарищески, по-родственному? Припомню же я вам это и оплачу! Проклинаю вас!»

«А мы благословляем! – запели дети света. – Благословляем эту мель! Она будет расти, мы станем охранять ее. На ней воцарятся истина, добро и красота!»

«Фью! Мелите чепуху!» – просвистал ветер.

– Вот об этом-то фонаре не могли рассказать тебе! – заметил крестный. – А я могу, для истории же Копенгагена эти обстоятельства имеют важное значение.

– Теперь перевернем страницу! – продолжал крестный. – Прошли годы; мель высунулась из воды. Взгляни на картинку. На первый же показавшийся из воды камень уселась морская ласточка. Прошли еще годы. Море выбрасывало на мель мертвую рыбу и сухие водоросли; все это гнило, разлагалось и удобряло почву. Скоро на ней появились разные сорта трав и злаков, и мель превратилась в зеленый остров. На него стали высаживаться для единоборств викинги – пролив между островом и Зеландией представлял удобную стоянку для кораблей.

Вот зажгли первую плошку с ворванью; над нею, пожалуй, рыбаки жарили рыбу, а ее здесь было вдоволь. Сельди шли через Зунд такими стаями, что сквозь них не пробиться было лодке. Под водой, казалось, вспыхивали зарницы, зажигались снопы северного сияния! Обилен был рыбой Зунд, и по берегам Зеландии быстро вырастали рыбацьи поселки. Стены домов были бревенчатые, а кровли крыты древесной корой; в лесу для построек недостатка тут не было. В гавань заходили корабли. На колеблющихся снастях покачивался фонарь с ворванью. А северо-восточный ветер шумел и гудел: «У-у-у!» Если же мерцал огонек на острове, то это был воровской огонек. При свете его обдeldывали свои дела воры и контрабандисты.

«Сбудется, сбудется по-моему! – шумел ветер. – Скоро тут вырастет дерево, с которого я буду стряхивать плоды!»

– Вот оно, это дерево! – прибавил крестный. – Видишь виселицы на Воровском острове? На ней висят разбойники и грабители, точь-в-точь как висели тогда. Ветер постукивал остовы мертвецов один о другой, а месяц освещал их с такой же довольной миной, с какой освещает теперь какую-нибудь пирушку в лесу. Солнце тоже самодовольно светило на них и высушивало качающиеся остовы. Дети же света пели: «Знаем, знаем все! Здесь все-таки настанут лучшие времена! Пышно расцветут здесь истина, добро и красота!...»

«Чешите, чешите языки попусту!» – ревел ветер.

– Теперь опять перевернем страницу.

В Роскильде звонят в колокола; там живет епископ Абсалон. Он и в Библии начитан, и мечом владеет. Сильна его власть, силен он и волею. И вот он хочет защитить от разбойничьих набегов и грабежей

тружеников-рыбаков, возведших город, основавших на Зеландском берегу торговый рынок. Сначала он освящает Воровской остров, кропит его святой водой, затем там воздвигается по его приказу крепость. Каменщики и плотники работали в поте лица, а солнечные лучи целовали воздвигавшиеся красные кирпичные стены.

Наконец Акселев<sup>[24]</sup> дом готов:

С башнями высокими,  
Крыльцами широкими  
Замок стоит!  
Ветер шумит,  
Мечет и рвет,  
Грозно ревет!  
Силы лишь тратит,  
С замком не сладит!

А против замка гавань, купеческая гавань —

Терем царевны морской  
В роще зеленой, прохладной.

Из чужих земель являлись покупщики рыбы; на берегу начали строиться лавки и дома с окнами, затянутыми пузырем вместо стекла — стекло было дорого. Вот уж выстроился и склад для товаров, большое здание с кровлей «щипцом», а близ него подъемный ворот. Видишь, по лавкам сидят старые приказчики? Они не смеют жениться! Торгуют же они инбирем и перцем — вот тебе и «перечные молодцы».

Северо-восточный ветер проносится над улицами и переулками, поднимает пыль, срывает соломенные крыши. По улицам расхаживают коровы и поросята.

«Разрушу, уничтожу! — ревет ветер. — Буду свистать вокруг домов и Акселева дома! Я не ошибся! Люди уже зовут этот дом Замком пыток



на Воровском острове!»

И крестный показал мне картинку, которую сам нарисовал. Замок был обнесен высокой стеной, а та частоколом, и на каждом коле скалила зубы голова казненного пирата.

– Все это так и было на самом деле! – сказал крестный. – И об этом стоит знать да поразмыслить!

Сидит раз епископ Абсалон в купальне и слышит сквозь тонкую перегородку, что в гавань вошел воровской корабль. Живо выскочил он из купальни, кинулся в свою лодку, затрубил в рог... Люди сбежались, вслед разбойникам полетели стрелы... Те гребли изо всех сил, стрелы впивались им в руки, но вынимать их было некогда. Епископ Абсалон переловил всех, со всех велел снять головы и воткнуть их на колья вокруг замка. Северо-восточный ветер надул щеки и продолжал реветь: «Тут я растянусь на отдых, буду любоваться на это зрелище!» Но отдыхал-то он часы, ревел же по суткам, и – годы шли.



– На башню замка восходит сторож и озирается во все стороны: на север, на юг, на восток и запад. Вот видишь картинку! – сказал крестный. – Ты видишь сторожа, а что видит он, я расскажу тебе.

От самых стен Замка пыток вплоть до Къёгской бухты расстилается открытое море. Широкий путь кораблям, плывущим мимо берегов Зеландии! Напротив равнин Серритслевской и Сольбьергской, где расположены большие поселки, вырастает новый город с домами наполовину из дерева, наполовину из камня. Образуются особые кварталы башмачников, кожевников, торговцев пряностями, пивом. В городе есть рынок и цеховое управление, а на самом берегу, где прежде был остров, возвышается великолепная церковь Святого Николая, с башнями и вызолоченным шпилем. Как она отражается в прозрачной воде! Неподалеку же от нее возвышается церковь Богоматери, где идут обедни, курится ладан, теплятся восковые свечи. Купеческая гавань стала резиденцией Роскильдского епископа.

В Акселевом доме живет епископ Эрландсен. В кухне шипит, в горницах льется мед и кларет, раздаются звуки скрипок и барабанов, пылают свечи и лампы; замок весь залит огнями, светится, словно фонарь для всей страны и государства. Ветер дует на башни и стены, но их не сорвешь – стоят крепко. Дует он и на восточное укрепление города – старый деревянный забор. Но и он постоит за себя!

По ту сторону забора стоит король Дании Христофор I. Бунтовщики разбили его у Скульскера, и он ищет теперь убежища в епископском городе.

А ветер свистит, повторяя ответ епископа: «Оставайся-ка там! Город закрыт для тебя!»

Беспокойные настали времена, тяжелые выпали дни. Каждый хочет быть сам себе господином. На башне замка развевается голштинское знамя. Жалобы, стенания, мрак ужаса окутали страну; междоусобица, черная смерть царят в ней, но вот над нею опять занялась заря – на престол взошел Вальдемар Аттердаг.

Епископский город стал королевской резиденцией. Есть в нем и дома с кровлями «щипцом», и узкие улицы, и сторожа, и ратуша, и даже каменная виселица у западных ворот. На ней вешают только городских жителей, пришельцы не удостаиваются такой чести. Только граждане копенгагенские могут болтаться так высоко в воздухе и любоваться городом Къёге и къёгскими курами!

«Вот так виселица! – шумит северо-восточный ветер. – Красота и впрямь здесь процветает!» И он принялся свистеть и шуметь еще пуще. Из Германии повеяло обидой и горем.

– Ганзейцы поднялись на Данию! – рассказывал крестный. – Они покинули свои склады и прилавки! Богатые купцы из Ростoka, Любека и Бремена, стащив золотого гуся<sup>[25]</sup> с Вальдемаровой башни, все-таки не угомонились! Им хочется распоряжаться всем. А они и так уж распоряжались в городе датского короля больше самого короля! И вот они явились на вооруженных кораблях; датчане были захвачены врасплох. Да король Эрик и не намеревался драться с немецкими родичами – их было так много, они были так сильны, – а взял да бежал со всем своим двором через западные ворота города в Сорё, в густую зелень лесов, к тихим озерам. Громко зазвучали там любовные песни, зазвенели кубки!..

Но в Копенгагене билось еще одно царственное сердце, осталась еще одна царственная душа. Видишь на картинке нежную, изящную молодую женщину с голубыми очами и золотисто-льняными волосами? Это королева Дании Филиппа, английская принцесса. Она осталась в смятенном городе, где на узких улицах и в переулках, возле сараев и закованных лавочек, на приставных лестницах, без толку суетились люди. Королева была женщиной и сердцем и душою. Она созвала граждан и крестьян, ободрила их, организовала защиту города. Корабли вооружились, в крепостях засели воины, загремели орудия, клубы дыма повисли в воздухе... Люди воспрянули духом. И Господь не покинул Дании! Солнышко светит во всех сердцах, все очи светятся радостью: победа, победа!

Благословенна будь ты, королева Филиппа!

Ее благословляют и в хижинах, благословляют и в хоромах, и в королевском дворце, где она заботится о раненых и больных. Я вырезал венок и окружил им эту картинку! – прибавил крестный. – Благословенна будь, королева Филиппа!

– Теперь мы перескочим через многие годы! – продолжал крестный. – Перескочит с нами и Копенгаген. Король Христиан I побывал в Риме, получил благословение папы, и на всем протяжении долгого пути народ встречал его ликованием и почестями.

Вернувшись на родину, он возводит здание из обожженного кирпича – питомник науки на латинском языке. Теперь и дети бедняков земледельцев и ремесленников могут выйти в люди, одеться в длинный черный студенческий плащ и пробиваться подачками граждан, распевая перед их дверями.

А возле дома науки, где все идет по-латыни, стоит маленький домик; в нем господствуют датский язык, датские обычаи.

К завтраку там подают хлеб, сваренный в пиве, обедают в десять часов утра. Солнышко светит через маленькие окошечки на буфет и книжный шкаф. В шкафу лежат драгоценные рукописи: «Розовый венок» и «Божественные комедии» Миккельса, «Лечебник» Генрика Гарпестренга и «Рифмованная хроника Дании» отца Нильса из Соре. Эти рукописи должен знать каждый датчанин, говорит хозяин дома, и благодаря ему их узнают. Он первый датский типографщик, голландец Готфред ван Гемен. Он «чернокнижник», печатает черной краской книги, занимается благословенным искусством книгопечатания.

Книги расходятся, попадают и во дворец короля, и в дома граждан. Старинные поговорки и песни возрождаются к вечной жизни. Птица народной песни поет о том, чего не смеет высказать в горе или радости человек, поет хоть и иносказательно, но все-таки понятно для всех. Она летает где хочет, залетает и в комнату простого горожанина, и в рыцарский замок, сидит и клеочет соколом на руке благородной девицы, проскальзывает и пискливой мышкой в щелочку к закованному в цепи крестьянину.

«Все чепуха!» – ревет свирепый северо-восточный ветер.

«Весна настала! – поют солнечные лучи. – Вон как всходят зеленые ростки!»

– Перевернем еще страницу! – сказал крестный. – Как сияет Копенгаген! Какое готовится торжество! Взгляни на благородных рыцарей в доспехах, на знатных дам в шелку и золоте! Король Ханс выдает свою дочь Елисавету за курфюрста Бранденбургского. Как она молода, как сияет радостью! Она ступает по бархату, будущее ей улыбается, ее ждет семейное счастье! Рядом с нею брат ее, принц Христиерн, смуглый, горячий юноша с мрачным взглядом. Но он

дорог народу; он знает, как подавлен народ, и будущее бедняков заполонило все его мысли.

Один Бог управляет счастьем!

– Опять перевернем страницу! – продолжал крестный. – Резкий ветер поет об острых мечах, о мрачных тяжелых временах.

Холодный апрельский день. Зачем собираются толпы народа перед дворцом, возле старой таможни? У берега стоит под парусами и с поднятым флагом королевское судно. В окнах, на крышах – всюду народ. На лицах у всех печаль, горе, боязливое ожидание. Все взоры обращены на дворец, где прежде в раззолоченных покоях шли танцы с факелами; теперь там тихо, пусто. Все смотрят на выступ с окном, из которого часто и подолгу смотрел король Христиерн через дворцовый мост в маленький переулок, где жила его Голубка, голландская девушка, вывезенная им из Бергена. Теперь ставни заперты наглухо. И вот ворота отворяются, подъемный мост опускают, из дворца выходит король Христиерн в сопровождении верной супруги; она не захотела покинуть в жестокой нужде своего царственного мужа и повелителя.

Огонь кипел в его жилах, горел в его мозгу. Он хотел порвать со стариной, разбить оковы крестьянина, оказать покровительство горожанину и подрезать крылья «хищным ястребам», но их было слишком много! И вот он покидает свою родину, свое государство, отправляется за помощью к друзьям и родичам. Супруга его и верные слуги следуют за ним на чужбину. Тяжелый час разлуки выжал у всех из глаз слезы.

Время сложило о нем песнь; в ней сливаются три хора. Слушай, что поют дворяне; их слова и записаны и напечатаны:

«Горе тебе, Христиерн Лютый! Кровь, пролитая тобою в Стокгольме, вопиет против тебя! Горе тебе! Будь проклят!»

Хор монахов тоже осуждает его: «Отринут ты Богом и нами! Ты призвал сюда ересь Лютера, отдал ей во власть церкви и кафедры, предоставил слово дьяволу!.. Горе тебе, Христиерн Лютый!»

Но крестьяне и горожане горько плачут: «Христиерн, любезный народу! “Нельзя продавать крестьян как скот или обменивать на охотничьих собак!” Закон этот послужит тебе хвалебным гимном!» Но слова бедняков разносятся по ветру, что мякина.

Корабль проплывает мимо замка, горожане бегут на вал взглянуть еще раз на уплывающее королевское судно.

Долго тянется время в нужде, и не ищи тогда опоры в друзьях и родичах!

Дядя короля, Фредерик Кильский, не прочь стать королем Дании.

И вот он уже король и подступает к Копенгагену. Видишь эту картинку с надписью «верный Копенгаген»? Над ним сгустились черные облака, образующие зловещие фигуры и картины. Рассмотрю каждую! Они говорят о тяжелых горьких временах, память о которых еще жива в народных песнях и сказаниях.

А где же скитается король Христиерн, бесприютная птица? Об этом поют птицы небесные: они летают далеко за море, в чужие страны. Ранней весной вернулся с юга аист; он пролетал над немецкой землей и видел там вот что:

«По степи, поросшей вереском, ехал беглец, король Христиерн; на пути встретила ему жалкая повозка в одну лошадь. В повозке сидела женщина, сестра короля, маркграфиня Бранденбургская. Муж прогнал ее от себя за ее верность учению Лютера. Царственные изгнанники встретились в мрачной степи! Долго тянется время в нужде, и не ищи тогда опоры в друзьях или родичах!»

Ласточка прилетела из Сендерборгского замка и жалобно запела: «Короля Христиерна обманули! Он сидит теперь в мрачной башне. Тяжелые шаги его оставляют следы на каменном полу, пальцы проводят борозду в твердом мраморе стола».

Язык так словами не выскажет горе,  
Как высказал мрамор немую чертой!<sup>[26]</sup>

Морской орел прилетел с вольного моря; по морю гуляет корабль, на нем носится отважный фионец Серен Норбю. Счастье покровительствует ему, но счастье, что ветер да погода, — переменчиво!

В Ютландии и Фионии каркают вороны и вороны: «Нам везет! Славно! Всюду падаль и трупы людей!»

Беспокойные, тяжелые времена! Идет «графская распря». Крестьянин хватается за дубину, купец за нож. «Перебьем всех волков, не оставим ни единого волчонка!» – кричат они. Над пылающими городами поднимаются облака дыма.

Король Христиерн заточен в Сендерборгском замке. Никогда не выйти ему на волю, не увидеть Копенгагена и его тяжелой беды. На «Северном выгоне» стоит сын Фредерика Христиан III. В городе – смятение, голод и чума.

Прислонясь спиной к церковной стене, сидит исхудалая женщина в лохмотьях. Она уже умерла, но двое ребятишек на ее коленях еще живы и сосут кровь из груди мертвой.

Мужество истощилось, сопротивление сломлено. О, «верный Копенгаген!»

Чу! Раздаются звуки фанфар и труб, грохот барабанов!

В роскошных одеждах из шелка и бархата, с развевающимися перьями на шляпах, верхом на конях в золотых уборах, едут благородные дворяне на Старую площадь. Едут они на обычную карусель или турнир? Горожане, также в лучших своих нарядах, стекаются туда же. Какое зрелище манит их? Воздвигнут ли на площади костер для сожжения папистских образов, или опять стоит там палач, как у того костра, на котором сожгли Слагхёка? Нет, король, господин страны, стал лютеранином, и об этом-то хотят оповестить датский народ.

Знатные дамы и благородные девицы в платьях с высокими воротниками, в шапочках, унизанных жемчугом, сидят у открытых окон и смотрят на торжество. Близ королевского трона, на разостланном сукне, под навесом из сукна, восседают, в старинных одеяниях, члены Государственного совета. Король молчит. Воля его, утвержденная советом и выраженная на датском языке, читается вслух. Жестокие упреки приходится выслушивать гражданам и крестьянам за их сопротивление высшему сословию. Граждан унижают, крестьян отдают в рабство. Затем производится суд и над епископами страны. Могуществу их конец. Все церковные и монастырские богатства и угодья отходят к королю и дворянству.

С одной стороны высокомерие, с другой – ненависть, с одной – безумная роскошь, с другой – стоны нищеты,

Да, жалобно бедная птица пищит,  
Богатая ж гордо крылами шумит!

Смутное, переходное время! Тучи чередуются с ясным солнышком. Лучи его светят во Двор науки, в жилище студентов и озаряют имена, которые продолжают сиять и поныне. Ханс Таусен, сын бедного фионского кузнеца, стал «датским Лютером, действовал словом, как мечом, и завоевал сердце датского народа». Сияющими латинскими буквами написано на фоне времен и имя Петра Палладиуса – по-датски же Петра Пладе – епископа Роскильдского, тоже сына бедного ютландского кузнеца. Из дворянских имен ярким блеском светится имя Ханса Фриса, государственного канцлера. Он сажает бедняков-студентов за свой стол, заботится и о них, и о школьниках. Но громче всего раздается «ура» в честь самого короля Христиана, покровителя наук и искусств, и оно не умолкнет, пока в Копенгагене останется хоть один студент.

Да, сквозь темные тучи прорывались в это смутное время и лучи солнца!





– Перевернем страницу.

Что за песнь несется с Большого Бельта, омывающего берега острова Самс? Из моря подымается морская царевна с зелеными, как водоросли, волосами и предсказывает крестьянину рождение принца, который станет могучим, великим государем!

Родился он в чистом поле под цветущим терновым кустом. Теперь имя его цветет в песнях и преданиях, во всех усадьбах и замках. При нем выросла биржа с башней и шпирем, воздвигся замок Розенбург и глянул вдаль через городской вал, у студентов завелся свой дом, а против него вознесла к небу свою главу Круглая башня, колонна Урании. Она смотрит на остров Веен, где возвышается замок Ураниенбург с золочеными куполами. Как они блещут при свете месяца, когда морские царевны поют о хозяине замка, которого посещали короли и величайшие люди века, об избраннике духа, о высокорожденном Тихо Браге. Он поднял имя Дании высоко-высоко, к

звездному небу, чтобы оно сияло оттуда всем просвещенным странам мира, а Дания за это оттолкнула его прочь. Он же утешал себя в изгнании:

Не то же ли небо повсюду?  
Чего же желать мне еще?<sup>[27]</sup>

И песня его обрела бессмертие народной песни, как и пророчество морской царевны о Христиане IV.

– А вот на эту страницу гляди в оба! – сказал крестный. – Тут картинка идет за картинкой, как в богатырской песне строфа за строфой. Веселое начало у этой песни, да печальный конец.

В королевском дворце резвится девочка. Как она мила! Она часто сидит у короля на коленях. Это любимая дочка Христиана IV Элеонора-Кристина. Ее воспитывают в правилах строгой нравственности и женской добродетели, и она уже обручена с знатнейшим представителем дворянства Корфицем Ульфельдом. Но она еще дитя, и строгая гофмейстераина наказывает ее розгами. Элеонора жалуется своему милому, и она права. Как она умна, воспитанна, образованна; она знает языки латинский и греческий, поет по-итальянски, играет на лютне, здраво судит и о папе, и о Лютере.

Король Христиан покоится в усыпальнице Роскильдского собора. Королем – брат Элеоноры. В Копенгагенском дворце царят блеск и роскошь, красота и остроумие. Сама королева, София-Амалия Люнебургская, на первом плане. Кто искуснее ее правит лошадью? Кто поспорит с ней в величественной грации, в уме и красноречии?

«Элеонора-Кристина Ульфельд! – это сказал французский посланник да еще прибавил: – Она всех затмевает своей красотой и умом!»

По блестящему дворцовому паркету катятся репейные шишки зависти; они растут, цепляются, пробираются всюду, и к ним пристаёт оскорбительная насмешка: «Побочная дочь! Ее колесница должна

останавливаться у дворцового моста; там, где королева проезжает в экипаже, простая женщина может пройти пешком!» Сплетни, выдумки и ложь крутятся в воздухе, словно хлопья снега в метель.

Глухой ночью Ульфельд берет свою жену за руку и выводит из дворца; ключи от городских ворот хранятся у него; за воротами ждут их оседланные кони. И вот они мчатся вдоль берега, а затем отплывают в Швецию.

Перевернем страницу. Так же повернулось спиной к беглецам счастье!

Осень; дни короткие, ночи долгие, серо, сыро; ветер так и режет, так и шумит в вершинах деревьев, растущих на валу; листва засыпает опустевший двор Педера Оксе, покинутый своими хозяевами. Шумит ветер и над Христиановой гаванью, и над домом Кая Люкке, обращенным в тюрьму. Сам Кай Люкке лишен чести и изгнан из пределов страны, герб его сломан, а изображение его повешено на высокой виселице. Так наказан он за свой непочтительный отзыв о чтимой страной королеве. Ветер воет в вышине и проносится над открытой площадью, где стоял дом бывшего государственного канцлера Ульфельда. Теперь от него остался лишь один камень. «Я пригнал его когда-то на льдине! – шумит ветер. – Камень сел на мель, ставшую впоследствии Воровским островом, проклятым мною. Потом камень попал во двор Ульфельда, где супруга его распевала и играла на лютне, читала по-гречески да по-латыни и гордо задирала голову! Теперь тут задирает голову один камень с надписью:

Изменнику Корфицу Ульфельду  
На вечный позор, поношение и посмеяние!

Но где же сама высокорожденная госпожа? «У-у-у!» – гудит ветер.

Она в Синей башне, что позади дворца; волны морские лижут осклизлые стены башни, и в ней уже много лет томится Элеонора-Кристина. Печь в ее камерке дает больше дыма, нежели тепла; маленькое окошечко высоко, под самым потолком!

Вот как плохо обставлена теперь любимица Христиана IV, изнеженная девушка и гордая супруга! Воспоминание убирает ее закоптелые стены занавесями и коврами, уносит ее в золотую пору детства. Она видит перед собою ласковые черты отца, вспоминает блестящий свадебный пир, дни своего величия и дни печали в Голландии, в Англии и на острове Борнгольме.

Ничто не тяжело для любящей супруги!  
Поддержкой служит совесть ей и долг.

Да, тогда ей ничто не казалось тяжелым – тогда с нею был *он*, теперь же она одна, навеки одна! Она даже не знает, где его могила, да и никто этого не знает.

Ее же вся вина была в любви к супругу!

И за эту вину ей пришлось сидеть в заточении годы, многие, долгие годы, в то время как за стенами тюрьмы кипела жизнь. Жизнь никогда не останавливается, но мы-то остановимся на этой картине и вспомним об Элеоноре-Кристине словами песни:

Супругу данную она сдержала клятву  
Во всех превратностях судьбы!

– А вот эту картинку видишь? – спросил крестный. – Зима; мороз перебросил мост между Лоландом и Фионией, мост для короля шведского Карла Густава, и он стремится по нему, не останавливаясь. В стране грабеж, убийства, ужас и бедствия.

Шведы обложили Копенгаген. Мороз так и щиплет, метель, вьюга. Но народ верен своему королю, верен самому себе, и мужчины и женщины храбро выходят на битву. Мастеровые, лавочники, приказчики, студенты и магистры – все на валу, все готовы защищать

родной город. Никто не боится каленых шведских ядер. Король Фредерик клянется умереть в родном гнезде. Вот он объезжает валы; с ним и королева. В рядах защитников – полный порядок: их воодушевляет мужество, любовь к родине. Пусть себе шведы облакаются в саваны, чтобы незаметно подобраться по белому снегу к городу и взять его приступом! На головы им летят бревна, камни, а женщины льют на них из котлов кипящую смолу и деготь.

В эту ночь король и горожане образовали единую несокрушимую силу, и – победа за ними! Колокола звонят, раздаются благодарственные гимны. Граждане копенгагенские, вы заслужили себе в эту войну рыцарские шпоры!

– А теперь что? Взгляни на картинку!

Супруга епископа Сване едет в закрытой колыхаге; но так могут разъезжать лишь особы из высшего дворянства, и гордые дворянчики ломают колыхагу. Жена епископа принуждена вернуться домой пешком.

И все? Нет, скоро сломят кое-что поважнее – дворянское высокомерие!

Бургомистр Ханс Нансен и епископ Сване, призывая имя Господне, протянули друг другу руки во имя общего дела. Умные и честные речи их раздаются в церквях и в домах горожан. И вот все подготовлено: гавань заперта, городские ворота тоже, бьют в набат. Власть во всей ее полноте передается королю, тому, кто не покинул своего гнезда в час опасности! Да властвует он один, нераздельно, над всеми – и большими, и малыми!

Наступает эпоха самодержавия.

– Перевернем страницу.

Галло! Галлой! Галло! Плуг в сторону, пусть поля зарастают вереском – для охоты лучше. Галло! Галлой! Чу! Раздаются звуки рогов, лай собак. Вон мчатся охотники, между ними сам король Христиан V. Как он молод, весел! Во дворце и в городе царит веселье. Покои освещены восковыми свечами, двор – факелами, а городские улицы – фонарями. Все блестит новизной! Пошло в ход все новое:

новое дворянство, вызванное из Германии, новые титулы – графы да бароны – и немецкий язык.

И вдруг раздался чисто датский голос. Это голос епископа Кинго, сына ткача; он поет свои дивные псалмы.

А вот и еще сын простого горожанина, виноторговца, Гриффенфельд; мысли его засияли в законе; составленный им свод законов стал вечным золотым фоном для имени его государя! Сын горожанина становится первым человеком в стране, возводится в дворянство и... приобретает врагов. И вот палач заносит меч над головой Гриффенфельда. Тогда раздается голос помилования, и казнь заменяется пожизненным заточением. Канцлера ссылают на скалистый остров Мункгольм близ Троньема. «О, Мункгольм – Санкт-Елена Дании!»

А во дворце по-прежнему идут танцы, все блещет роскошью, играет музыка, носятся в танцах благородные кавалеры и дамы.

– Вот правление Фредерика IV.

Взгляни на гордые корабли с развевающимися флагами! Взгляни на взволнованное море! Оно может поведать тебе о великих подвигах, о славе Дании. Мы помним славные имена Сегестеда и Гюльденлеве! Помним и Витфельда, взорвавшего, ради спасения датского флота, себя и свой корабль с Данеброгом на воздух. Мы помним морские сражения и героя, бросившегося на защиту Дании с норвежских скал, – Петра Торденскиольда. Имя его гремит над бурным морем от берега до берега.

Блеснула молния сквозь тучи пыли,  
Вдымавшейся с напудренных голов,  
Раскаты грома слабых оглушили.  
Портнишка кинул свой убогий кров,  
Иглу, верстак и в море смело прынул.  
В нем викингов воскрес могучий дух,  
И на врагов, как Божий гром, он грянул!<sup>[28]</sup>

А с берегов Гренландии струится благоухание, как из страны Вифлеемской; там распространяется свет евангельской истины миссионером Хансом Эгеде и его супругой.

Вот почему половина этой страницы золотая. Другая же половина ее траурная, пепельная с черными крапинками, словно прожжена искрами. Эта означает скорбь.

В Копенгагене чума. Улицы пусты, двери домов заколочены; почти на всех белые кресты – значит, там есть чумные больные; черный же крест означает, что все в доме вымерли.

Без колокольного звона, ночью, выносят тела умерших. Вместе с трупами подбирают с улиц и полумертвых. С грохотом разъезжают тяжелые телеги, битком набитые трупами. А из постоянных дворов несутся пьяные песни и дикие крики. Люди хотят забыться, в забытьи встретить свой конец. Всему на свете есть конец – конец и этой странице, но на ней изображено еще другое тяжкое испытание Копенгагена – пожар.

Король Фредерик IV еще царствует; волосы его поседели с годами. Он смотрит из окна дворца; на дворе бушует ветер; стоит поздняя осень.

В маленьком домике около западных ворот играет мячиком мальчуган. Мячик застрял на чердаке. Мальчуган берет зажженную сальную свечку и отправляется на чердак искать свой мячик. В домике вспыхивает пожар, горит и вся улица. Зарево разливается по небу. Пламя все растет! Пищи для огня довольно: сено, солома, сало, деготь, поленницы дров, заготовленных на зиму. Все объято пламенем. Плач, стоны, смятение. Старый король объезжает город, утешает, успокаивает, отдает приказания. Взрывают целые кварталы, чтобы остановить шествие пламени. Но вот загорается северная часть города, горят церкви: Св. Петра, Богоматери! Орган играет в последний раз: «Смилуйся над нами, Боже!»

Уцелели только Круглая башня да дворец; кругом же одни дымящиеся развалины. Но король Фредерик IV добр к народу и не оставляет его в беде: он утешает и кормит бедняков, он – друг бездомных!

Да будет благословен Фредерик IV!

– Взгляни теперь на эту страничку!

Взгляни на золоченую колесницу, окруженную слугами; впереди и сзади конвой вооруженных всадников. Она выезжает из дворцовых ворот. Вокруг дворца протянута железная цепь, чтобы народ не подходил к дворцу слишком близко. Люди недворянского происхождения обязаны переходить дворцовую площадь с непокрытыми головами. Поэтому на ней редко увидишь кого-нибудь: все избегают это место. Но вот проходит один, потупив взор и держа шляпу в руке. Это как раз тот, чье имя мы провозгласим громко: Людвиг Гольберг.

В нем гений спорит с остроумием, но датский театр, дворец его славы, закрыт теперь, словно приют соблазна.

Всякое веселье, радость похоронены; танцы, пение, музыка строго воспрещены. Это время господства мрачного ханжества.<sup>[29]</sup>

Но вот в управление страной вступил «датский принц», как звала его в детстве мать. Опять проглянуло солнышко, запели птички! На престоле Фредерик V! Цепи с дворцовой площади убираются прочь, датский театр снова открывает двери смеху, веселью и здоровому юмору. Крестьяне вновь встречают лето веселыми играми. Унылый пост сменился веселым розговением. Искусство цветет и приносит плоды – звуки и краски. Послушай музыку Гретри, взгляни на игру Лондемана! И королева Дании любит все датское. Да благословит тебя Бог, прелестная, кроткая Луиза Английская! Дети солнца воспевают хором датских королев: Филиппу, Елизавету, Луизу!

Бренные останки людей покоятся в склепах, но души живут вечно, живут и имена. Снова шлет Англия невесту королю – юную принцессу Матильду, скоро покинутую всеми! Но ее воспоют впоследствии поэты! Воспоют ее юное сердце и горькие испытания. А песня могуча: сменяются времена, народы, она же все остается властной. Взгляни на пожар Христианборгского дворца! Стараются спасти что получше. Вот рабочие с верфи тащат корзину с серебром и дорогими вещами – целое богатство. Но вдруг они видят в открытую дверь, где уже пышет пламя, бронзовый бюст короля Христиана IV, и – сокровище в сторону! Этот бюст для них дороже всех сокровищ! Его



надо спасти во что бы то ни стало. А знают эти люди Христиана IV только по песне Эвальда да по чудной мелодии Гартмана!

Да, в слове и в песне удивительная сила, и когда-нибудь да оживет в звучащей песне и бедная королева Матильда!

– Перевернем еще страницу.

На площади Ульфельда стоял позорный камень; где еще в свете возвышался подобный? У западных ворот воздвигли колонну; много ли в свете таких?

Солнечные лучи целовали каменные глыбы, послужившие основанием Колонне Свободы. Колокольный звон, всюду флаги, народ ликует и славит кронпринца Фредерика<sup>[30]</sup>. У старого и у малого в сердцах и на языке имена Бернсторфа, Ревентлова, Кольбьернсена. Сияющие взоры, благодарные сердца останавливаются на благословенной надписи на колонне: «Король повелел разбить оковы крестьянина; издал новый закон об отношениях между помещиком и свободным крестьянином, дабы последний мог стать на ноги, сделаться просвещенным, трудолюбивым, добрым, честным и счастливым гражданином!»

Какой счастливый день! Какое лето в городе!

Дети солнца поют: «Добро растет! Красота растет! Скоро уберут позорный камень с площади Ульфельда, а Колонна Свободы все будет стоять, вечно озаряемая солнцем, благословляемая Богом, королем и народом!»

Дорога широкая к нам пролегает  
И света конца достигает.

Дорога эта – открытое море. Она открыта и для друга, и для недруга. Недруг и явился. Подплывает могучий английский флот. Великая держава надвигается на маленькое государство. Жаркое вспыхнуло сражение, но датчане дрались мужественно, возбуждая удивление врагов и вдохновляя скальдов. Этот день вспоминается и поныне: Дания до сих пор чтит день славной битвы на рейде – 2

апреля.

Прошли годы. На Зунде опять показывается английский флот. Идет ли он на Россию или на Данию? Никто не знает этого, не знает никто даже на самых кораблях.

Сохранилось предание, что в то утро, когда на главном корабле был вскрыт секретный пакет, содержащий приказ напасть врасплох на Копенгаген и уничтожить весь датский флот, один молодой капитан, сын Альбиона, обратился к своему начальнику с достопамятными словами: «Я клялся до последнего вздоха бороться за честь и знамя Англии, но лишь в честном бою, а не предательски!»

И сказав это, он бросился за борт!

Враг подошел к Копенгагену; ярким заревом загорелось небо, и мы лишились нашего флота, но не мужества и веры в Бога. Он смиряет, он же и возносит! Раны заживают, как раны Эйнгериев. История Копенгагена богата утешительными примерами.

Скоро снова заблестело солнце в восставшем из пепла городе, на богатых жатвою полях и на творениях ума человеческого. Настал благодатный летний день мира, когда поэзия возродилась в чудных, ярких образах Эленшлегера!

И в области науки сделана находка, куда драгоценнее, нежели древний золотой рог: найден золотой «мост мысли». Ганс Христиан Эрстед начертил на нем свое имя.

А вот взгляни сюда! Близ дворца и собора воздвигается здание, на постройку которого жертвуют свою лепту даже бедняки.

Ты помнишь старые каменные плиты, изображенные в начале альбома? Их пригнал из Норвегии на льдинах северо-восточный ветер. Теперь они поднялись с песчаного дна по повелению Торвальдсена. Они служат фундаментом здания, в котором красуются мраморные изваяния великого мастера.

Вспомни, что я показывал и рассказывал тебе! Песчаная мель поднялась с морского дна, стала защитой для гавани, на ней воздвигся Акселев дом, дворец епископа, потом дворец короля, а ныне на нем воздвигся и храм красоты. Проклятие ветра развеяно по воздуху, а радостное пророчество детей солнца сбылось.

Много бурь пронеслось над Копенгагеном, пронесется, может быть, и еще. Но победа все же останется за добром, истиной и красотой.

Альбому тут конец, но история Копенгагена далеко не кончена. Кто знает, до чего доживешь со временем ты сам?

Часто над городом скоплялись черные тучи, бушевала буря, но свет солнца затмевался лишь на время. Бог же еще сильнее солнышка! Господь правит кое-чем и побольше Копенгагена!

Вот что сказал крестный, вручая мне альбом. Глаза его сияли, он был так уверен в том, что говорил. А я взял книгу с такой же радостью, гордостью и осторожностью, с какими взял впервые на руки свою новорожденную сестрицу.

Крестный же прибавил:

– Ты можешь показывать свой альбом кому хочешь, можешь даже сказать, что я сам сделал, вырезал и нарисовал все. Но пусть также знают все, кто подал мне мысль. Ты знаешь это и расскажи! Мысль принадлежит старым ворванным фонарям. Они вздумали в последний вечер своей службы показать новым газовым фонарям, как в туманных картинах, все, что пережил Копенгаген с того вечера, когда в нем зажегся первый ворванный фонарь, и до того, когда в нем вспыхнули бок о бок ворванные и газовые фонари.

Можешь показывать книгу всем, кому хочешь, то есть всем ласковым и доброжелательным людям; если же явится «мертвая лошадь» – сейчас закрой альбом крестного!

## Кто же счастливейшая?



Какие чудные розы! — сказал солнечный луч. — И каждый бутон распустится и будет такою же чудною розою! Все они — мои детки! Мои поцелуи вызвали их к жизни!

— Нет, это мои детки! — сказала роза. — Я кропила их своими слезами!

— А мне так кажется, что они мои родные детки! — сказал розовый куст. — Вы же только крестные отец и мать, одарившие моих деточек кто чем мог.

— Мои прелестные детки! — сказали все трое в один голос и пожелали каждому цветку всякого счастья.

Но только один из них мог оказаться самым счастливым из всех и один – наименее счастливым. Кто же именно?

– А вот я узнаю это! – сказал ветер. – Я летаю повсюду, проникаю в самые узкие щели, знаю, что делается и внутри, и снаружи домов.

Каждая роза слышала, каждый бутон понял сказанное.

В сад пришла печальная мать в трауре и сорвала одну свежую полураспустившуюся розу, которая показалась ей прекраснейшей из всех. Мать принесла цветок в тихую, безмолвную комнату, в которой несколько дней тому назад резвилась ее веселая, жизнерадостная дочка. Теперь же девочка покоилась, словно спящее мраморное изваяние, в черном гробу. Мать поцеловала умершую, поцеловала и полураспустившуюся розу и положила ее на грудь девочки, как бы надеясь, что свежий цветок, освященный поцелуем матери, заставит снова забиться ее сердечко.

И роза так и расцвела вся, пышно развернула свои лепестки, колебавшиеся от радостной мысли: «Какою любовью озарился путь моей жизни! Я как будто стала человеческим ребенком – мать поцеловала меня и благословила в путь, в неведомую страну! И я отправлюсь туда, покоясь на груди умершей! Конечно, я счастливейшая из всех моих сестер!»

Потом пришла в сад старая полольщица гряд; она тоже залюбовалась красотой куста и глаз не могла оторвать от самой большой, вполне распустившейся розы. Капля росы да один жаркий день еще – и лепестки опадут! Вот как рассуждала женщина и нашла, что роза покрасовалась довольно – пора было извлечь из нее и пользу. И вот она сорвала цветок, завернула его в газетную бумагу и отнесла домой, чтобы набальзамировать солью вместе с другими розами и смешать с засушенной голубой лавандой – выйдет чудесная душистая смесь! Такой чести, как бальзамирование, удостоиваются только розы да короли!

– Мне выпал на долю высший почет! – сказала роза, которую сорвала полольщица. – Я счастливейшая! Меня набальзамируют!

Затем явились двое молодых людей: один – художник, другой – поэт. Каждый сорвал себе по прекрасной розе.

Художник изобразил цветущую розу на холсте, так что она увидела себя как в зеркале.

– Таким образом, – сказал художник, – она будет жить многие годы, в продолжение которых успеют завясть и умереть миллионы и миллионы роз!

– Мне посчастливилось больше всех! – сказала роза. – Я достигла высшего счастья!

Поэт полюбовался на свою розу и написал о ней стихи, целую поэму, в которой высказал все, что прочел на ее лепестках. Вышла бессмертная поэма – «Альбом любви».

– Он обессмертил меня! – сказала роза. – Я счастливейшая!

Но среди этой массы прекрасных роз была одна, которая как-то заслонялась другими; по воле случая – может быть, и счастливого – у нее был изъян: она криво сидела на стебельке, лепестки ее были расположены не совсем симметрично, и из середины чашечки выглядывал маленький свернутый зеленый листок. Случаются подобные изъяны и у роз.

– Бедное дитя! – говорил ветер и целовал ее в щечку, а роза думала, что он приветствует, чествует ее.

Она сама чувствовала, что сложена как-то иначе, нежели другие розы, что из чашечки ее выглядывает зеленый листок, но смотрела на это не как на изъян, а как на отличие. Вот на нее вспорхнул мотылек и поцеловал ее лепестки; это был жених, но она не стала удерживать его. Потом явился огромный кузнечик; он уселся на другую розу и принялся влюбленно потирать ножки – это признак влюбленности у кузнечиков. Роза, на которой он сидел, не поняла этого; зато поняла роза с изъяном – свернутым зеленым листком; на нее-то как раз и уставился кузнечик, а глаза его так и говорили: «Съел бы я тебя от пущей любви!» А уж известно, дальше этого никакая любовь не может идти: один исчезает в другом! Но роза не имела ни малейшего желания исчезнуть в этом прыгуне.

Звездною ночью запел соловей.

– Это он для меня поет! – сказала роза с изъяном, или с отличием. – И за что это меня во всем постоянно отличают от других сестер! Почему именно мне выпало на долю это отличие, благодаря которому я стала счастливейшею?

Тут в сад зашли два господина; они курили сигары и вели разговор о розах и табаке: правда ли, что розы не переносят табачного дыма –

зеленеют? Надо было произвести опыт. Но они пожалели красивейшие розы и взяли для опыта розу с изъяном.

– Вот новое отличие! – сказала она. – Я уж чересчур счастлива! Я счастливейшая из счастливейших!

И она вся позеленела от этого сознания и табачного дыма.

Одна из роз, едва начавшая распускаться и, может быть, самая прекрасная на всем кусте, заняла почетное место в искусно подобранном садовником букете. Букет отнесли важному молодому господину, владельцу дома и сада, и тот повез его с собою в карете. Роза сидела между другими цветами и зеленью, словно царица красоты.

И вот она очутилась на блестящем празднике. Повсюду сидели разряженные мужчины и дамы, залитые светом тысяч ламп. Музыка гремела, театр утопал в море света. При восторженных криках зрителей на сцену выпорхнула юная танцовщица – любимица публики, и к ногам ее посыпался целый дождь цветов. Упал к ее ногам и букет с розой, сиявшей в его середине как драгоценный камень. Роза чувствовала всю честь, все безмерное счастье, выпавшие ей на долю, но вот букет коснулся пола, стебелек ее переломился, она выскочила из букета и покатилась по полу. Не пришлось ей попасть в руки виновницы торжества – она откатилась за кулисы. Там увидел ее машинист и поднял. Она была так хороша, так чудно пахла, но стебелька у нее не было! Он взял и положил ее прямо в карман, а потом отнес домой. Там роза очутилась в рюмке с водою и пролежала в ней всю ночь. Рано утром ее поставили на стол перед старою бабушкою, беспомощно сидевшею в кресле. Как она любовалась прекрасною розою без стебелька, как наслаждалась ее запахом!

– Да, ты не попала на роскошный стол важной барышни, попала к бедной старухе! Зато здесь ты заменяешь целый розовый куст! Как ты хороша!

И старушка с детскою радостью смотрела на цветок, вероятно вспоминая при этом свою давно минувшую юность.

– В оконном стекле была дырочка! – рассказывал ветер. – Я легко пробрался через нее и видел, каким молодым блеском сияли глаза старушки, любовавшейся на розу без стебелька в рюмке с водою. Я знаю, которая из роз была счастливее всех! Я могу рассказать это!

У каждой розы была, таким образом, своя история, каждая верила, что она счастливейшая, а ведь блажен, кто верует!.. Но последняя из роз на кусте все-таки считала себя счастливейшею.

– Я пережила всех! Я последнее, единственное, любимейшее дитя у отца!

– И я – отец им всем! – сказал розовый куст.

– Нет, я! – возразил солнечный свет.

– Нет, я! – сказали в один голос ветер и погода.

– Каждый имеет на них свои права! – сказал ветер. – И каждый получит свою долю!

И он развеял лепестки, окропленные сиявшими в лучах солнца капельками росы.

– И мне кое-что досталось! – прибавил он. – Я узнал историю каждой розы и разнесу их по всему свету!

Так вот, которая же из роз счастливейшая? Да, скажите-ка это мне вы, я уже сказал довольно!



## Дни недели



Дням недели тоже хотелось хоть разок собраться вместе и попить. Но каждый из них был на счету, они были так заняты круглый год, что это им никак не удавалось. Им нужно было выждать лишний день, а такой выдается только раз в четыре года – в феврале високосного года; его прикидывают для уравнивания счетов.

Так вот, в этот-то день они и порешили собраться и попить, а так как в феврале празднуется Масленица, то они решили, кстати, явиться ряжеными, сообразно вкусу и значению каждого. Решено было плотно поесть, здорово выпить, говорить речи и без церемонии высказывать друг другу приятные и неприятные истины, как оно и подобает в дружеском кружке. Герои древности перебрасывались за столом облоданными костями, а дни недели готовились перебрасываться плохими каламбурами да разными ехидными остротами, какие только могут прийти в голову во время невинных масленичных забав.

Итак, день настал, и они собрались.

Господин Воскресенье, глава дней недели, явился в черном шелковом плаще. Благочестивые люди подумали бы, что он надел пасторское облачение и собирается в церковь, дети же мирской суеты увидели бы, что он просто-напросто накинул на себя домино и собирается веселиться, а яркая гвоздика, красующаяся у него в

петличке, означает красный фонарик, который выставляется у театральных касс и гласит: «Все билеты проданы, веселитесь же на славу!»

Понедельник – молодой человек, близкий родственник Воскресенья, большой любитель удовольствий, следовал за первым. Он бросал – как рассказывал сам – мастерскую всякий раз, как у дворца происходила смена караула, сопровождающаяся музыкой.

– Я люблю освежиться, послушать музыку – особенно оффенбаховскую! Она не отягощает мозга, не затрагивает сердца, а только слегка щекочет под коленками, – так и подмывает пуститься в пляс, кутнуть, подраться и осветить себе дорогу домой фонарем под глазом, а потом всхрапнуть хорошенько! Вот на другой день – с Богом и за работу, пожалуй, – я же первенец недели!

Вторник, как известно, был посвящен у древних северян Тюру, богу силы.

– Да, это ко мне и подходит! – сказал он. – Я ретивый работник, привязываю к сапогам купцов крылья Меркурия, осматриваю, хорошо ли смазаны и вертятся ли как следует колеса на фабриках, слежу за тем, чтобы портной сидел на верстаке, а каменщик на мостовой, чтобы каждый занимался своим делом! Я смотрю за порядком, вот почему я в полицейском мундире! Коли это неостроумно придумано, так попробуйте вы придумать что-нибудь поострее!

– А вот и я! – сказала Среда. – Я стою в середине недели, меня так и зовут серединою. Я, как приказчик среди магазина, как цветок в середине букета, стою, окруженная другими почтенными днями недели. Если мы идем все в ряд, друг за другом, то у меня три дня в авангарде и три в арьергарде. Смею думать, что я самая первая персона в неделе!

Четверг – день, посвященный богу грома и молнии Тору, – был одет кузнецом и держал в руках атрибуты этого бога: молот и медный котел.

– Я самого знатного происхождения! – сказал он. – Я из языческого божественного рода! В северных странах меня посвятили Тору, в южных – Юпитеру, а они оба мастера греметь и сверкать молнией. Это уж наша фамильная черта!

И он ударил молотом по котлу, чтобы доказать свое высокое происхождение.

Пятница была одета, как и подобает молодой девушке, жрице Фрейи – в северных странах и Венеры – в южных. Она, по ее собственным словам, отличалась тихим, мягким нравом и только сегодня развернулась: сегодня ведь было двадцать девятое февраля, а этот день, согласно обычаям, являлся в старину днем свободы для женщин, – они могли свататься сами, не дожидаясь, когда к ним присватаются!

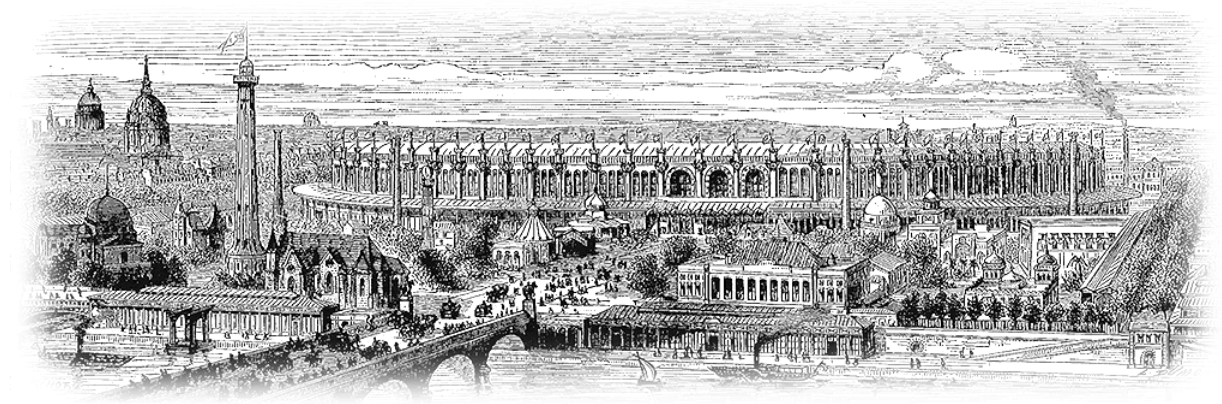
Суббота оделась старою ключницею, с метлой и прочими атрибутами чистки. Любимым блюдом ее был черствый хлеб, сваренный на пиве, но она все-таки не требовала, чтобы это блюдо было подано при сем торжественном случае всем; она готова была съесть его одна – и съела.

И затем дни расселись по местам.

Так вот они и обрисованы здесь все и могут послужить образцами для живых картин в домашних спектаклях! Там могут изобразить их в таком смешном виде, в каком только сумеют. Мы же, изображая их, имели в виду только карнавальную шутку: Февраль – единственный месяц в году, которому прикидывают иногда лишний день, месяц карнавала!

1868

## Дриада



Отправляемся в Париж, на выставку!

Вот мы и там! То-то была поездка – настоящий полет, и без малейшей примеси колдовства: пар мчал нас и по морю и по суше.

Мы живем в сказочное время!

Теперь мы в центре Парижа, в большом отеле. Лестница вся уставлена цветами, устлана мягкими коврами. Номер наш очень удобен, уютен; дверь на балкон, выходящий на большую площадь, открыта. На площади уже весна; она прибыла в Париж одновременно с нами, в лице пышного молодого каштанового дерева с только что распустившейся нежной листвой. Оно опередило своим роскошным весенним нарядом все остальные деревья на площади! Одно из них уже вычеркнуто из числа живых и лежит на земле, вырванное с корнями. На его-то место и хотят посадить свежее каштановое деревце.

Пока же оно возвышается на телеге, привезшей его в Париж из далекой окрестности. Там оно росло годы рядом с могучим дубом, под которым часто присаживался славный старый священник. Ребятишки обступали его толпою, и он вел с ними беседу. Прислушивалось к его речам и молодое каштановое деревце. Дриада, обитавшая в нем, тоже ведь была еще ребенком. Она еще живо помнила время, когда деревце было совсем маленьким, таким маленьким, что чуть только выглядывало из высокой травы и папоротников. Но те-то уж выше стать не могли, деревце же все росло да росло год от году, впитывая в себя воздух и солнечный свет, росу и дождь и получая, как водится, время от времени встрепки от буйного ветра, — это уж входило в программу воспитания.

Дриада жила и наслаждалась жизнью, солнышком, пением птичек, но больше всего человеческим голосом; она понимала речь человека так же хорошо, как и речи животных и птиц.

Бабочки, стрекозы, мухи и вся остальная летучая компания часто являлись к ней с визитом. Все они болтали без умолку, рассказывали о деревнях, о виноградниках, о лесах, о старом замке и парке, о его каналах и прудах. В этих прудах также жили разные живые создания, которые могли перелетать с места на место — только по-своему, под водою. Создания эти были очень разумны, рассудительны и от большого ума даже не говорили ничего.

Морская же ласточка, нырявшая в воду, рассказывала Дриаде о хорошеньких золотых рыбках, о жирных лещах, толстых линях и старых обросших мхом карасях. Ласточка отлично описывала, но видеть все своими глазами все же куда лучше, прибавляла она. Да как

же устроить это?! Дриаде приходилось довольствоваться зрелищем расстилавшейся перед нею роскошной равнины да прислушиваться к суете и шуму человеческой жизни издали.

И Дриада наслаждалась и тем, и другим, но больше всего любила слушать рассказы старого священника о Франции, о славных деяниях героев и героинь, чьи имена благоговейно передаются из поколения в поколение.

Дриада слушала о пастушке Жанне Д'Арк, о Шарлоте Корде, о старине, о Генрихе IV, о Наполеоне Первом и его времени, о былом и настоящем величии родины. Она слышала все эти славные имена, говорившие сердцу народа: «Франция – мировая страна, родина пытливого ума, очаг свободы!»

Деревенские ребятишки благоговейно внимали этим рассказам, Дриада тоже. И она училась наравне с прочими детьми. Плывущие по небу облака рисовали ей картину за картиной – иллюстрации ко всему слышанному ей. Облачное небо было для нее любимой книжкой с картинками.

Она чувствовала себя такой счастливой в своей прекрасной Франции, но чувствовала также, что любая птичка, любое крылатое существо куда счастливее ее! Даже мухе дано видеть на белом свете куда больше, чем ей!

Франция обширна и прекрасна, а Дриаде суждено видеть лишь крошечную часть этой чудной страны, широко раскинувшей по лицу земли свои виноградники, леса и большие города. Самым лучшим, великолепнейшим из них был Париж, и птички могли в нем побывать, Дриада же – никогда!

Среди деревенских ребятишек была одна маленькая бедная, оборванная девочка, красавица собою. Она вечно пела, вечно смеялась и вплетала в свои черные кудри красные цветочки.

– Смотри, не забирайся в Париж! – говаривал ей старый священник. – Бедное дитя, ты пропадешь там!

Но она все-таки отправилась в Париж.

Дриада часто вспоминала о ней: и ее тоже тянуло, неудержимо влекло в этот огромный город.

Прошли весна, лето, осень, зима; прошло два-три года.

Каштановое деревце впервые надело убор из нежных цветов, и птички наперерыв щебетали об этом друг другу; солнышко так и

сияло. Вдруг на дороге показалась великолепная коляска; в ней сидела знатная дама, сама правившая красивыми быстроногими конями. Разодетый мальчик-жокей сидел позади. Дриада сразу признала молодую даму, старый священник тоже и печально покачал головой:

– Ты все-таки попала туда и погибла, бедняжка Мария! «Бедняжка? – недоумевала Дриада. – Такое превращение! Она одета, как герцогиня! Вот что случилось с ней в этом волшебном городе! Ах, если бы и мне побывать там, насладиться его роскошью и блеском! Блеск его отражается даже на вечерних облаках! Я часто смотрю в ту сторону, где, знаю, находится Париж, и вижу на небе светлое сияние!»

Да, туда, в ту сторону Дриада смотрела каждый вечер, каждую ночь – на горизонте расстился какой-то светящийся туман. Как она скучала о нем в светлые, безоблачные, лунные ночи! Как скучала она тогда и о бегущих облаках, показывавших ей из жизни и истории города картину за картиной!

Дитя жадно хватается за свою книжку с картинками, Дриада хваталась за облачное небо, где отражались ее мечты.

Чистое, безоблачное летнее небо было для нее белой страницей, и вот уже несколько дней, как оно оставалось таким. Стояли жаркие летние дни, без малейшей прохлады; листья и цветы охватила какая-то истома; людей тоже.

Но вот на небе собрались облака и как раз в той стороне, где сияющий туман говорил о Париже. Облака поднялись, образуя какие-то причудливые горные цепи, загромождили все небо, нависли над всем видимым Дриаде горизонтом. И вот из этих гигантских темно-синих облачных скал вырвались лучи молнии, «тоже слуги Божий», как называл их старый священник. Голубая, ослепительная, как солнце, молния ударила в старый могучий дуб, проникла до самых его корней и расколола его пополам. Вершина и ствол дерева раздвоились и рухнули на землю, словно принимая посланницу света в свои объятия.

Громче, сильнее пушечного выстрела, приветствующего рождение принца, потряс воздух и разнесся по всей окрестности удар грома, возвестивший кончину старого дуба. Полил дождь, подул свежий ветер, буря пронеслась, и вся природа опять засияла в праздничном блеске. Деревенские жители окружили поверженный дуб; старый

священник почтил его словом, один художник срисовал его на память для потомства.

– Все сменяется, проносится, как облако, и никогда не возвращается назад! – сказала Дриада.

Не возвращался сюда и старый священник: школьной кровли и кафедры его больше не существовало. Ребятишки тоже перестали приходить сюда, зато пришла осень, за нею зима, а там и опять весна. Времена года сменялись, а Дриада все смотрела в одну сторону – в ту, где каждый вечер, каждую ночь стояло над Парижем сияющее туманное облако. Из столицы и в столицу мчались, свистя и пыхтя, паровоз за паровозом, поезд за поездом, мчались беспрерывно – и утром, и днем, и вечером, день-деньской; в одни входили, из других выходили толпы людей, высланных сюда всеми странами мира, – всех манило в Париж новое чудо света.

Какое же?

«На бесплодном песчаном Марсовом поле, – говорили одни, – распустился роскошный цветок искусства и промышленности, гигантский подсолнечник, и по лепесткам его можно изучить географию, статистику и всякую механику, искусство и поэзию, познать величину и величие всех стран света!» – «На Марсовом поле, – говорили другие, – вырос сказочный цветок, пестрый лотос, распустивший над песком свои зеленые листья, словно бархатные ковры; распустился он ранней весной, летом достигнет апогея своей красоты, а осенью ветер развеет его лепестки, и от него не останется и следа!»

Перед Военным училищем расстилается боевая арена мирного времени, поле без травы, словно вырезанное из песчаной африканской пустыни, где Фата-Моргана показывает свои диковинные воздушные замки и висячие сады. Такие же замки и сады пленяют ныне взоры и на Марсовом поле, только здесь они, пожалуй, еще богаче, еще диковиннее: благодаря гению человеческой изобретательности они стали действительностью!

«На Марсовом поле, – шел говор, – воздвигнут современный дворец Алладина и день ото дня, час от часу развертывает взорам все новые и новые красоты. Стены обширных покоев выложены мрамором, пестреют красками. В огромной круглой зале работает своими стальными и железными мускулами мастер Бескровный. Чудеса

искусств из металла, из камня, художественно выполненные ткани говорят о духовной жизни различных стран мира. Картинные галереи, роскошные цветники – все, что только могут создать ум и руки человеческие, собрано и выставлено здесь напоказ, не забыты даже памятники седой древности, извлеченные из старинных замков, из древних торфяных болот».

Но, чтобы объять взглядом, охватить эту пеструю, подавляюще грандиозную панораму в целом и описать ее, нужно сжать, уменьшить ее до игрушечных размеров.

Да, на Марсовом поле, словно на гигантском игрушечном столе, под елкой, красовался замок Алладина, воздвигнутый соединенными усилиями искусства и промышленности, а вокруг замка были расставлены дикийвинные и величественные безделушки из всех стран мира; каждая национальность могла унести отсюда воспоминание о своей родине.

Тут возвышался египетский дворец, там караван-сарай пустыни, мимо которого проносился на верблюде житель знойной степи, бедуин, здесь шли русские конюшники с огненными, великолепными конями, там ютилось крытое соломой жилище датского крестьянина с развевающимся Данеброгом на крыше, а рядом великолепный, деревянный, изукрашенный резьбой далекарлийский дом Густава Вазы. Американские хижины, английские коттеджи, французские павильоны, турецкие киоски, всевозможные церкви и театры были прихотливо разбросаны по свежей, покрытой дерном площади, где журчала вода, росли цветущие кусты, редкие породы деревьев, помещались оранжереи, сразу переносившие посетителей в тропические леса, раскинулись под навесами целые сады роз, словно перенесенные сюда из Дамаска. Какое разнообразие красок, какое благоухание!

В искусственные сталактитовые пещеры были вделаны гигантских размеров аквариумы, одни с пресной, другие с соленой водой. Тут зритель попадал в царство рыб и полипов, как будто опускался на дно морское!

Так вот что представляло теперь, по рассказам, Марсово поле, и по этому-то празднично убранному пиршественному столу двигались, словно мириады муравьев, несметные толпы людей пешком или в



ручных креслах – не всякие ноги могут ведь выдержать такое странствие!

Люди наводняли выставку с раннего утра и до позднего вечера. По Сене скользили пароход за пароходом, переполненные пассажирами, вереницы экипажей на улицах все увеличивались, пеших и верховых все прибывало; омнибусы и дилижансы были набиты битком, унижены людьми сплошь. И все это двигалось по одному направлению, к одной цели – к парижской выставке! Над всеми входами развевались французские флаги, а над «всемирным базаром» – флаги различных наций. Свист и шум машин, мелодичный звон башенных колоколов, гул церковных органов, хриплое, гнусливое пение, вырывавшееся из восточных кофеен, – все сливалось вместе! Настоящее вавилонское смешение языков!

Вот что говорили, вот как описывали «новое чудо света». Кто не слышал о нем? Дриада тоже слышала, знала все, что говорилось о новом чуде в городе городов.

«О, летите же туда, птички, летите, а вернувшись назад, – расскажите мне обо всем!» – молила Дриада.

Смутное влечение выросло в безумное желание, в заветную мечту: «в Париж, в Париж!» И вот однажды, среди безмолвной тишины лунной ночи, из полного диска луны вылетела искра, скатилась по небу, словно падающая звездочка, и перед деревом, ветви которого заколыхались, словно от бурного порыва ветра, предстало светлое величественное видение. Раздались звуки, такие нежные, ласкающие и в то же время мощные, как трубные звуки в день Страшного суда, пробуждающие к жизни и призывающие на суд мертвецов:

«Ты попадешь в этот волшебный город,пустишь там корни, познакомишься с его воздухом и солнечным светом. Но жизнь твоя сократится, длинный ряд годов, ожидавших тебя здесь, на воле, сократится в дни. Бедная Дриада, ты пропадешь там! Твоя тоска, твои желания будут все расти! Само дерево твое станет для тебя темницей, ты захочешь покинуть свою оболочку, отказаться от своей природы, вмешаться в толпу людей, и тогда годы твоего существования сократятся в полжизни мухи-поденки, твоя жизнь продолжится всего лишь одну ночь! А затем ты угаснешь, листья твоего дерева завянут, развеются по ветру и никогда уже не возродятся к жизни!»

Звуки смолкли, видение исчезло, но тоска и желание Дриады не исчезли; она вся трепетала от ожидания, как в лихорадке.

– Я попаду туда, в этот город городов! – ликовала она. – Для меня начнется новая жизнь! Она будет расти, нестись, как облако, неведомо куда!

На заре, когда месяц побледнел и облака заалели, пробил час исполнения ее желания – обещанное сбылось.

Явились люди с заступами и железными ломami и принялись выкапывать дерево; затем подъехала телега, запряженная лошадьми; дерево, со всеми его корнями и приставшей к ним землею, подняли, закутали корни в рогожи, словно в теплый ножной мешок, затем взвалили деревце на телегу и крепко привязали. Судьба назначила ему расти в великой столице Франции, в городе городов.

Телега двинулась, ветви и листья каштана задрожали, сама Дриада вся затрепетала от сладостного ожидания.

«В путь! В путь!» – слышалось ей в каждом биении пульса. «В путь! В путь!» – лепетала она дрожащим голосом и даже забыла проститься с родиной, с высокой колеблющейся травой, с невинными ромашками, смотревшими на нее как на важную особу в саду Господнем, как на юную принцессу, которая разыгрывала тут, на лоне природы, простую пастушку.

Каштановое дерево кивало с телеги ветвями, как бы говоря: «Прощайте, прощайте!» или «В путь, в путь!» – что именно, Дриада сама не знала. Она была полна одной мыслью, одной мечтой об ожидавших ее новых чудесах – новых и в то же время столь знакомых! Ни один ребенок в невинной радости сердца, ни одна пылкая человеческая натура в порыве чувственности не предавались таким радужным мечтам, как Дриада на пути в Париж.

И вместо «прости» губы ее шептали: «В путь! в путь!»

Колеса вертелись, телега продвигалась вперед, даль приближалась, затем оставалась позади; окрестности менялись, как меняются облака. Виноградники, леса, деревушки, виллы и сады выступали и пробегали мимо. Каштановое деревце все продвигалось вперед, а с ним и Дриада. Поезд за поездом пролетали мимо друг друга, скрещивали свои пути; паровозы выпускали облака дыма, принимавшие причудливые очертания и рисовавшие Дриаде картины Парижа, откуда неслись поезда и куда стремилась она.

Все вокруг как будто знало, должно было понимать, куда лежит ее путь, и ей казалось, что каждое встречное дерево протягивает к ней ветви с мольбою: «Возьми и меня с собой!» В каждом деревце ведь тоже жила Дриада, обуреваемая такою же страстной тоской!

Но какая быстрая смена картин! Какая пестрота! Дома словно вырастали из-под земли, становились все многочисленнее, все теснее жались друг к другу. Дымовые трубы вздымались на крышах одна возле другой, одна над другой, как цветочные горшки; огромные надписи, выведенные аршинными буквами, покрывали стены домов от самого фундамента до крыши.

«Где же начинается Париж, когда же я попаду туда?» – спрашивала себя Дриада. А толпы народа все росли, движение и суeta все увеличивались, экипаж следовал за экипажем, пешие сменяли всадников, справа и слева тянулись ряды магазинов, со всех сторон слышались музыка, пение, говор, крик!..

Тяжелая телега остановилась на маленькой площади, обсаженной деревьями, окруженной высокими домами, с балкончиками у каждого окна. На балкончиках стояли люди и любовались вновь привезенным молодым свежим каштановым деревом, которое должно было заменить старое, засохшее, валявшееся на земле. Прохожие останавливались и с довольной улыбкой смотрели на весеннюю зелень деревца; старые деревья, еще не успевшие развернуть почек, кивали ему ветвями и шумели: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» А фонтан, выбрасывавший в воздух свои струи, ниспадавшие затем в широкий бассейн, оросил нового гостя брызгами, словно желая поднести ему на новоселье заздравный кубок.

Дриада чувствовала, как ее дерево подняли с телеги и посадили в приготовленную яму. Корни дерева закопали в землю, прикрыли сверху свежим дерном, кругом же рассадили цветущие кусты и цветы в горшках, так что по середине площади образовалась целая цветочная клумба. Мертвое выдернутое дерево, задушенное газовыми, кухонными и другими испарениями, насыщавшими губительный для растений городской воздух, было взвалено на телегу и увезено. Толпа глазела на это зрелище; дети и старики, сидевшие на скамеечках в тени, смотрели вверх на свежую листву нового деревца. Мы же, стоя на балконе и любуясь на юную весну, прибывшую сюда из

деревенского приволья, сказали, что сказал бы на нашем месте и старый священник: «Бедная Дриада!»

– Я счастлива! Счастлива! – твердила между тем она. – Но я не могу хорошенько понять, не могу высказать того, что чувствую! Все здесь так, как я думала, и все-таки как-то не так!

Высокие-высокие дома как-то уж очень близко подступали к ней; солнышко падало только на одну стену, и та была вся залеплена разными объявлениями и афишами, собиравшими перед собою толпы народа. Мимо проезжали экипажи всех сортов – и тяжелые, и легкие. Омнибусы, эти переполненные людьми движущиеся дома, мчались по мостовой, верховые стремились обогнать их, тележки и фиакры добивались того же.

– Ах, да скоро ли, – волновалась Дриада, – и эти высокие дома, обступающие площадь, догадаются сдвинуться с места, изменят очертания, как облака, и дадут мне заглянуть в самое сердце Парижа, дадут мне весь охватить его взором! Пусть покажется мне собор Богоматери, Вандомская колонна и то чудо света, которое вызвало и вызывает сюда эти толпы иностранцев!

Но дома и не думали двигаться с места.

Вечер еще не настал, а на площади уже зажглись фонари, в магазинах заблестели газовые рожки, бросая яркий отблеск на ветви дерева, – словно опять взошло красное солнышко! На небе проглянули звездочки, те самые, которые Дриада видела у себя на родине; ей даже показалось, что на нее повеяло воздухом оттуда – чистым, мягким воздухом полей. И Дриада точно воспрянула духом, силы ее как будто удвоились, сила зрения сообщилась каждому листочку дерева, каждый корешок как будто обрел чувствительность. Она чувствовала на себе ласковые взгляды, внимала говору, звукам, любовалась всем этим блеском и пестротой!..

Из боковой улицы доносились до нее звуки духовых инструментов и плясовые мотивы шарманок, призывавшие к танцам, к веселью, к наслаждению жизнью!

Под эту музыку должны были бы, кажется, заплясать все люди, лошади, кареты, деревья и дома! Опьяняющее чувство радости охватило Дриаду.

– Как хорошо здесь! Как я счастлива! – ликовала она. – Я в Париже!

Следующий день, и следующая ночь, и последующие за тем день и ночь не принесли с собою Дриаде ничего нового: вокруг то же зрелище, то же движение, та же пестрая, разнообразная и вместе с тем однообразная жизнь!

«Теперь я знаю тут, на площади, каждое дерево, каждый цветок, каждый дом, каждый балкон и магазин! Меня засадили в такой маленький, тесный уголок, что я совсем не вижу исполинского Парижа. Где же триумфальные арки, бульвары, где чудо света? Ничего этого я не вижу! Я сижу между этими огромными домами, словно в клетке! Я знаю наизусть все эти надписи, афиши и вывески, все это уже набило мне оскомину! Где же то, о чем я слышала, знала, тосковала, к чему рвалась? Что же я нашла тут, чего добилась? Я тоскую по-прежнему! Я чувствую вокруг себя какую-то иную жизнь, хочу схватиться за нее, слиться с нею! Я хочу вмешаться в толпу людей, порхать птичкою, видеть, ощущать все, стать вполне человеком! Я готова променять на полжизни мухи-поденки годы такой тянущейся изо дня в день, скучной, вялой жизни! Я изнываю, хирею, таю от нее, как туман! Я хочу сиять в лучах солнца, плядеть на все с высоты, скользить, нестись неведомо куда – как облако!»

И вздохи Дриады перешли в пламенную мольбу: «О, возьмите годы моей жизни, дайте мне полжизни мухи-поденки, но только откройте мою темницу! Дайте мне пожить человеческой жизнью, насладиться человеческим счастьем хоть один только миг, одну эту ночь, а там карайте меня за мою смелость, за мою жажду жизни, сотрите меня с лица земли! Пусть моя оболочка, мое свежее, зеленое деревце завянет, пусть его срубят, превратят в пепел, развеют по ветру!»

И листва дерева зашелестела, затрепетала вся до последнего листочка, как будто по дереву пробежала дрожь или огненная струя. Вершина его заколыхалась в бурном порыве, раскрылась, и оттуда взвился в воздух женский образ – сама Дриада. Мгновение – и она очутилась под освещенными газом густолиственными ветвями дерева, такая же юная, прекрасная, как бедняжка Мария, которой священник предрекал гибель в Париже.

Дриада сидела у подножия своего дерева, у дверей своего дома, – она сама заперла их на ключ, и ключ этот забросила! Как она была молода, прелестна! Звезды мигали ей, газовые фонари блестели и манили ее вдаль! Она была нежна, гибка, воздушна и в то же время

полна сил: дитя и в то же время вполне сложившаяся женщина. На ней было тонкое шелковое платье цвета нежных, свежих светло-зеленых листьев каштана; в темно-каштановых волосах красовался полураспустившийся цветок родного деревца; она смотрелась самою богиней весны!

С минуту она сидела неподвижно, затем вскочила и с быстротой газели кинулась вперед, завернула за угол, неслась, летела, перебегала с места на место, быстрая, неуловимая, как солнечный зайчик, наводимый зеркалом.

Если бы можно было проследить, подметить все ее движения! Какое открылось бы удивительное зрелище! Облик ее, все ее одеяние менялись ежеминутно, принимали новые очертания и краски – сообразно месту, на котором она приостанавливалась хоть на мгновение, или падавшему на нее из окон домов свету.

Вот она на бульваре; от уличных фонарей и от газовых рожков в магазинах и кофейнях лились потоки света. Вдоль тротуаров тянулись ряды молодых и стройных деревьев; каждое скрывало от лучей искусственного света свою Дриаду. Весь бесконечно длинный тротуар представлял как будто одну сплошную залу, заставленную столами со всевозможными прохладительными напитками – от шампанского и шартреза до кофе и пива. На окнах магазинов красовались настоящие выставки цветов, картин, статуй, книг и пестрых тканей.

Насмотревшись на толпу, сновавшую около домов, Дриада устремила взор на ужасающий поток, струившийся между двумя рядами деревьев. Там неслась как будто целая река карет, кабриолетов, колясок, омнибусов, фиакров, всадников и марширующих солдат. Вздумать пробраться сквозь этот бешеный поток – значило бы рисковать жизнью. Вот замелькали какие-то голубоватые огоньки, потом опять все утонуло в море газового света, и вдруг взвилась ракета!.. Откуда? Куда?

Так вот где расстилалась широкая столбовая дорога города городов!

С одной стороны звучала нежная итальянская мелодия, с другой – испанский мотив, сопровождаемый позвякиванием кастаньет; но громче, оглушительнее всего раздавались модные шарманочные мотивы, звуки этой щекочущей нервы, канканной музыки, которой и не знавал Орфей, никогда и не слыхивала прекрасная Елена, но под которую впору было заплясать на своем единственном колесе даже

старой тачке, умей она только плясать! И Дриада плясала, кружилась, порхала, меняя цвета и краски, как колибри под лучами солнца, – она ведь воспринимала отражение от каждого дома и его внутреннего мирка. Она неслась вперед, как сияющий цветок лотоса, оторванный от стебля и увлекаемый течением; стоило же ей приостановиться – она принимала новый образ. Кто мог уследить за нею, разглядеть ее?

Все проносилось мимо нее, как облачные картины. Одно за другим мелькали перед нею лица, но хоть бы одно знакомое, родное! А в ее памяти ярко сияла пара очей: она вспоминала Марию, бедняжку Марию, оборванную, веселую девочку с красным цветком в черных кудрях. Она ведь жила тут же, в этом мировом городе, богатая, сияющая, как тогда, когда проезжала мимо дома священника, мимо дерева Дриады и старого дуба.

Она, наверно, здесь, среди этого оглушительного водоворота; может быть, только что вышла вон из той роскошной коляски, остановившейся возле ограды, перед которой уже стоял целый ряд великолепных экипажей с кучерами в галунах и лакеями в шелковых чулках. Выходили из карет все одни разодетые дамы, которые затем проходили в открытые решетчатые ворота, подымались по высокой, широкой лестнице и вступали в величественное здание с белыми, как мрамор, колоннами. Не это ли и есть чудо света? Если да, то Мария наверно там!

Изнутри здания доносилось пение: «Sancta Maria!» (Пресвятая Дева Мария!); из-под высоких расписанных и вызолоченных сводов, под которыми царствовал полумрак, струился благоуханный дым ладана.

Это была церковь Святой Магдалины. По блестящему каменному полу скользили знатные светские дамы в дорогих черных платьях, сшитых по последней моде. На серебряных застежках переплетенных в бархат молитвенников красовались гербы, на раздушенных тонких носовых платках, обшитых драгоценными брюссельскими кружевами, – тоже. Некоторые из дам преклоняли в тихой молитве колени перед алтарями, другие направлялись к исповедальням.

Дриаду охватило не то волнение, не то страх, словно она попала в такое место, куда не смела входить. Здесь царствовали тишина, таинственный полумрак, слышался лишь тихий шепот исповедавшихся.

Дриада увидела на себе такой же богатый наряд из шелка и кружев, такую же вуаль, в каких были и все другие дамы, представительницы роскоши и знати. Не были ли и они все сестрами Дриады по охватывавшей ее страстной тоске и жажде наслаждений?

Послышался глубокий, скорбный вздох. Вырвался ли он из укромного уголка исповедальни или из груди самой Дриады? Она плотнее окутала лицо вуалью...

Нет, здесь ей приходится дышать кадильным дымом, а не свежим воздухом, – не сюда влекли ее желания! Дальше, дальше, вперед, без конца, без отдыха! Муха-поденка не знает отдыха, вся жизнь ее – один полет, одно порханье!

Она опять очутилась на залитой газовыми лучами площади, у великолепного фонтана. «Но все эти струи не в силах смыть невинной крови, пролитой на этом месте!» – произнес кто-то неподалеку от Дриады.

На площади собралась толпа иностранцев; шел громкий, живой разговор. Так не смели говорить там, в той таинственной полутемной обители, откуда только что вышла Дриада.

Вот приподняли и отвернули одну из огромных плит тротуара. Дриада пришла в недоумение: она видела, что под плитой открывался спуск в какое-то подземелье. Но вот иностранцы стали спускаться туда один за другим, расставаясь с звездным небом, ярким, как солнце, пламенем газовых рожков и кипящей вокруг жизнью.

– Нет, я боюсь! – сказала одна из дам. – Я не решаюсь спуститься туда! Да меня и не интересуют эти подземные прелести! Оставайся и ты со мною!

– Как? Уехать домой, оставить Париж, не увидав самого замечательного, настоящего чуда нашего времени, созданного умом и волею одного человека? – сказал муж дамы.

– Ну, а я все-таки не спущусь! – повторила она. «Чудо нашего времени!» Дриада слышала эти слова и поняла их по-своему. Так цель ее страстных желаний – перед нею!

Собственно говоря, перед нею открывался спуск в глубину, в подземный Париж; не так она представляла себе «чудо», но иностранцы отправились искать его в подземелье, и она последовала за ними.



Железная витая лестница была широка и удобна. Спуск озарялся лампой; внизу, в глубине, светилась другая. И вот путники очутились в лабиринте бесконечно длинных перекрещивающихся сводчатых коридоров. Здесь видны были, словно в матовом зеркале, все парижские улицы и переулки; на углах можно было прочесть их названия; каждый дом имел здесь свой номер, основания домов как будто вращались в эти пустынные мощеные панели, сжимавшие, как в тисках, широкий канал, в котором быстро струилась жидкая грязь. Повыше, по трубам, протекала свежая вода, а в самом верху шла сеть газовых труб и телеграфных проводов. Лампы были разбросаны на больших расстояниях друг от друга и смахивали скорее на отражения фонарей верхнего города. Иногда оттуда доносился глухой грохот; это проезжали над подземными люками тяжелые дроги.

Куда же попала Дриада?

Вы, конечно, слышали о римских катакомбах? Парижские катакомбы имели с ними лишь слабое сходство, да и это исчезло с преобразованием этого подземного мира в «чудо нашего времени» – в «клоаки Парижа». Вот куда попала Дриада, а вовсе не на Марсово поле, не на всемирную выставку.

Вокруг нее раздавались возгласы удивления и глубокой признательности.

«Вот отчего, – услышала Дриада, – зависит жизнь и здоровье тысяч и тысяч живущих наверху! Да, наше время – время благодетельного прогресса!»

Вот как судили и рядили люди, но совсем иначе относились к делу искони обитавшие здесь твари – крысы. Эти пищали из щели старой стены так громко, ясно и понятно для Дриады.

Большая старая крыса мужского пола, с откушенным хвостом, пронзительно излагала свои ощущения, горькие впечатления и единственно верное мнение, и все члены ее семьи выражали одобрение каждому ее слову.

– Меня просто тошнит от этого человеческого мяуканья, этих невежественных речей! Как же, отлично здесь стало: теперь тут и газ, и керосин! Да я не ем ни того, ни другого! Здесь стало до того чисто и светло, что просто самого себя стыдно, а почему – и сам не знаешь! То-то опять зажили бы мы при сальных свечках! А ведь это время не так-то еще давно миновало! То была эпоха романтизма, как говорится.

– Что ты толкуешь? – спросила Дриада. – Я тебя никогда не видела раньше. О чем ты говоришь?

– О добрых старых временах! – сказала крыса. – О тех блаженных временах, когда еще здравствовали наши прадедушки и прабабушки – крысы! В те времена спуститься сюда было не шуткой! Тут было настоящее крысиное царство, не то что верхний Париж! Здесь жила сама матушка чума; она убивала людей, но крыс не трогала. Вора и контрабандистам была тут вольная дорога; здесь только они вздыхали свободно, и тут было убежище интереснейших лиц, каких теперь увидишь разве лишь в мелодрамах. Да, эпоха романтизма миновала и для нашего крысиного гнезда! И у нас завелся свежий воздух и керосин!

Вот как пищала крыса, поносила наше время и восхваляла старое вместе с матушкой чумой.

Подъехала каретка, вроде омнибуса, запряженная быстрыми маленькими лошадами. Путники уселись в нее и поехали по Севастопольскому бульвару, то есть по подземному коридору, тянувшемуся под многолюдным, известным всему миру, бульваром того же названия, что был наверху.

Каретка исчезла в полумраке; Дриада тоже исчезла, поднялась на вольный воздух и свет. Тут, при блеске газовых фонарей, а не внизу, под скрещивающимися, темными, душными сводами, найдет она чудо света, которое так жадно искала в эту короткую ночь своей жизни. Это чудо должно превосходить своим блеском все газовые фонари наверху, даже выплывший на небо полный месяц!

Да, конечно, так! Она даже видит его перед собою!.. Что за блеск, какое сияние!.. Оно светилось, вспыхивало, манило к себе, как вечерняя звезда в небесах, как сама Венера!

Дриада увидела открытый иллюминированный вход в маленький сад, тоже весь залитый огнями. В саду раздавались звуки плясовых мотивов; вокруг маленьких тихих озер и прудов блестели яркой каймой газовые огоньки, в середине же красовались искусственные водяные растения из цветной фольги, и из чашечек их били в воздух водяные струи. Красивые плакучие ивы – настоящие ивы, в весеннем уборе – свешивали к воде свои свежие густые ветви, словно прозрачное зеленое покрывало. В кустах зажжен был костер, бросавший красный отблеск на маленькие, полутемные, безмолвные

беседки, в которые врывались звуки щекочущей нервы, одуряющей, распаляющей кровь музыки.

Дриада увидела здесь молодых, красивых, нарядных, простодушно улыбавшихся, беззаботных и легкомысленных женщин, похожих на Марию, тоже с розами в волосах, но без колясок и жокеев. Как они неслись, кружились, сплетались в дикой пляске! Где голова, где ноги? Они кружились, словно укушенные тарантулом, смеялись, улыбались, готовы были в радостном упоении обнять весь мир.

Дриада почувствовала и себя увлеченной в этот вихрь танцев. Маленькую, изящную ножку ее охватывал шелковый башмачок темно-каштанового цвета, такая же лента спускалась с ее локонов на обнаженные плечи. Шелковое зеленое платье драпировалось на ней пышными складками, но не скрывало очертаний изящных, стройных ног с прелестной ступней, которая как будто описывала в воздухе перед молодым кавалером магические круги.

Куда она попала? В волшебные сады Армиды? Как называлось это место?

Над входом огненными буквами красовалось: «Mobbille».

Звуки музыки, рукоплескания, треск ракет, журчание фонтанов и хлопанье пробок от бутылок шампанского – все сливалось в один общий гул. Пляска становилась все разнузданнее, и месяц проплывал над пляшущими, слегка отвернув лицо в сторону. На небе не было ни облачка; над Мабилем расстилалась прозрачная ясная синева – можно было в упоении пляски вообразить, что глядишь прямо в небо!

Пламенная, пожирающая жажда жизни охватила Дриадy; она была в каком-то чаду, словно приняла опиум.

Глаза ее блестели, губы шептали, но слова заглушались звуками флейт и скрипок. Кавалер ее тоже шептал ей что-то под звуки канканной музыки, но она не поняла его слов; не поймем их и мы. Но вот он протянул к ней руки и заключил в свои объятия лишь прозрачный, освещенный газом воздух.

Поток воздуха подхватил и унес Дриадy, как уносит лепесток розы. В вышине перед собой Дриада видела пламя, мерцающий огонек на высокой башне. То сиял маяк, указывавший ей путь к цели ее заветных желаний, огонек на башне Марсова поля; туда-то и понес ее весенний ветер. Она обогнула башню, и рабочие подумали, что это спускается

на землю чересчур ранняя весенняя гостя-бабочка, которая скоро и погибнет.

Месяц сиял, сияли и все газовые рожки и фонари в огромных покоех и рассыпанных по полю постройках, собравшихся сюда из всех стран света. Ярким светом были залиты и холмы, покрытые дерном, и искусственные скалы, с которых низвергалась вода, приводимая в движение силою мастера Бескровного. Взорам открывались глубины соленых морей и пресных вод, царство рыб; зритель как будто опускался на дно глубокого пруда или в море в стеклянном водолазном колоколе. Вода напирала на толстые стеклянные стены со всех сторон. Саженные скользкие, похожие на гигантских угрей, на какие-то извивающиеся кишки, полипы плотно присосались ко дну. Тут же преспокойно разлегалась большущая задумчивая камбала; через нее переползал краб, похожий на огромного паука, а креветки быстро носились взад и вперед, точно морская моль или бабочки.

В пресных водах росли кувшинки, нарциссы и тростник. Золотые рыбки располагались рядами, словно рыжие коровки по лугу, повернув головки в одну сторону и разинув рты навстречу течению. Толстые, жирные линии глупо плазели сквозь стеклянные стены. Они знали, что они на парижской выставке, помнили, что совершили в бочках с водой ужасно трудное путешествие, ехали по железной дороге и страдали «сухопутной болезнью», как люди страдают на море морской. Они прибыли сюда, чтобы полюбоваться на выставку, и теперь любовались ею из своих собственных пресноводных или соленоводных лож. Смотрели они оттуда и на толпы людей, двигавшихся мимо них с утра до вечера. Все страны света выслали сюда своих представителей, чтобы старые лини и лещи да юркие окуни и обросшие мхом карпы могли составить себе понятие и высказать свое мнение об этой породе живых созданий.

— Это чешуйчатые твари! — сказала покрытая тиной килька. — Но они меняют чешую по несколько раз в день и издают ртом звуки, которые называют речью. Мы не меняем чешую так часто и объясняемся друг с другом гораздо проще: движением губ да тарашением глаз. Мы во многом опередили людей!

— Плавать-то они все-таки выучились! — сказала маленькая пресноводная рыбка. — Я из большого внутреннего озера; так вот там люди плавают в теплую погоду, но сначала снимают с себя чешуи!

Плавать же их выучили лягушки – они тоже отталкиваются задними лапами и гребут передними, но недолго выдерживают. Они хотят походить на нас, да нет, шалишь! Бедные люди!

И рыбы тарасили глаза, воображая, что толпа людей, которых они видели при ярком дневном свете, все еще движется мимо; да, они были вполне уверены, что все еще видят тех же самых людей, которые, так сказать, впервые потрясли их зрительные нервы.

Маленький окунь, с красивой тигровой чешуей и завидно горбатой спиной, уверял, что «человечья тина» все еще тянется мимо – он отлично видел ее!

– Я тоже вижу ее, ясно вижу! – подхватил золотистый линь. – Я еще вижу и эту красивую, хорошо сложенную человеческую фигуру, длинноногую женщину, или как там ее зовут? У нее были такие же движущиеся уголки губ и горящие глаза, как у нас, два шара сзади и сложенный зонтик спереди, да еще бахрома из тины и разные побрякушки! Ей бы следовало поснимать с себя все это да ходить, как мы, как создала природа, вот тогда бы и она походила на почтенного линя – насколько вообще люди способны походить на нас!

– А куда девался тот человек-самец, которого тащили на удочке? Он сидел в тележке, в руках у него была бумага, чернила и перо, и он все записывал да отмечал что-то. Что он изображает? Другие называли его репортером.

– Он все еще катается тут! – сказала обросшая мхом девица из породы карасей, поперхнувшаяся житейским опытом и потому несколько охрипшая. Она проплотила когда-то крючок и терпеливо носила его в горле до сих пор. – Репортер! – продолжала она. – Выражаясь проще, понятнее, по-рыбьи, это своего рода чернильная рыба между людьми.

Так-то судили да рядили рыбы. А в искусственном гроте раздавались удары молотка и пение рабочих; им приходилось пользоваться и ночным временем, чтобы поскорее довести дело до конца. Голоса их убаюкивали Дриаду в ее «сне в летнюю ночь». Она стояла тут же, в пещере, готовая опять улететь, исчезнуть.

– Да ведь это золотые рыбки! – сказала она, кивая им головой. – Так я все-таки увидела вас! Да, да, я знаю вас! Давно знаю! Мне рассказывала о вас на родине ласточка. Какие вы хорошенькие, блестящие, милые! Просто перецеловала бы вас всех до единой! Я и

других знаю! Вот этот, верно, жирный карась, этот – вкусный лещ, а вот и старые обросшие мхом карпы! Я знаю вас всех! Вы же меня нет!

Рыбы глазели на нее в полумраке, не понимая ни слова.

Минута – и Дриады уже не было там; она опять очутилась на вольном воздухе, где «чудо света» – исполинский цветок распространял благоухание всевозможных стран земных: страны черного хлеба, побережья, где ловится треска, царства русской кожи, берегов кельнской воды и дальнего Востока, страны розового масла.

Возвращаясь домой с бала, мы еще ясно слышим в полудремоте звуки балльных мелодий; они как бы запечатлелись в нашем ухе, мы могли бы, кажется, спеть каждую; в зрачках убитого тоже, говорят, отпечатывается снимок того, кого видели его глаза в последний момент, – так вот, и выставка так же сохраняла еще отпечатки дневной суеты и шума; жизнь не замирала здесь окончательно; даже ночью Дриада угадывала ее и знала, что завтра все опять закипит, загремит здесь по-прежнему.

Она стояла среди благоухающих роз, в которых, казалось, узнала старых знакомок со своей родины – роз из дворцового парка и сада священника. Увидела она здесь и гранатовые цветы; такие же носила в своих черных кудрях Мария!

Воспоминания детства, мысли о родине мелькали в голове Дриады одни за другими, взор же ее упивался в это время дивным зрелищем выставки, лихорадочное беспокойство быстро гнало ее по диковинным залам.

Наконец, она почувствовала усталость, и усталость эта усиливалась с каждой минутой. Дриаду манило отдохнуть на мягких, разбросанных тут восточных подушках и коврах или спуститься вместе с плакучими ивами к самой воде и погрузиться в ее глубину.

Но муха-поденка не знает покоя. Сутки кончались через несколько мгновений.

Мысли ее путались, она вся дрожала и бессильно опустилась на траву у журчащего источника.

– Ты вечно бьешь из земли живой струей! – сказала она воде. – Освежи же мой язык, утоли мою жажду!

– Я не живой родник! – ответила вода. – Меня приводит в движение машина.

– Поделись со мной своей свежестью, зеленая травка! – молила Дриада. – Дай мне хоть один из твоих душистых цветов!

– Мы умираем, если нас срывают! – ответили былинки и цветы.

– Поцелуй меня, свежий ветер! Дай мне хоть один твой животворный поцелуй!

– Скоро солнце поцелует облака, и они вспыхнут ярким румянцем! – сказал ветер. – И тогда – конец тебе, как придет в свое время конец и всему этому великолепию! Да, не минет и года, как я опять буду играть здесь, на площади, мягким, сыпучим песком, вздывать и крутить по земле пыль, прах! Все становится пылью, прахом!

Дриаду охватил страх, как женщину, которая перерезала себе в ванне сонную артерию и уже истекает кровью, но вдруг вновь проникается жаждой жизни. Она поднялась, сделала несколько шагов вперед и снова беспомощно опустилась на землю перед маленькой церковью. Дверь была открыта, на алтаре горели свечи, раздавались звуки органа.

Что за музыка! Ничего такого Дриада еще не слыхивала, и все же в этих звуках ей чудилось что-то родное, знакомое. Они выливались из глубины сердец всего сотворенного Богом. Дриада внимала в них и шелесту старого дуба, и голосу старого священника, который рассказывал о великих деяниях, называл великие имена, говорил о том, что могло, что должно дать грядущим поколениям Божье создание, чтобы стяжать себе жизнь вечную!

Звуки органа росли, гудели, пели: «Твоя тоска, твои желания вырвали тебя с корнем из родной почвы! И вот ты погибла, бедная Дриада!»

Мягкие ласкающие звуки, рыдая, замерли в воздухе; занялась заря, ветер прошумел:

– Сгиньте, мертвые призраки! Солнце встает!

Первый луч упал на Дриаду. Образ ее загорелся радужным блеском, как мыльный пузырь, готовый лопнуть, исчезнуть, превратиться в каплю, слезу, упасть на землю и испариться!

Бедная Дриада! Она блеснула росинкой, скатилась слезой и исчезла!

Солнце осветило Фату-Моргану Марсова поля, огромный Париж, маленькую площадь, обсаженную деревьями, фонтан, высокие дома и

каштановое деревце – увы! – увядшее, печально поникнувшее ветвями! А вчера еще оно было так свежо, полно жизни, как сама весна!

«Оно погибло, – говорили люди, – Дриада покинула его, исчезла, как облако, – неведомо куда!»

Сорванный увядший каштановый цветок лежал на земле; его не вернула бы теперь к жизни никакая живая вода! И люди скоро втоптали его в прах.

Все это случилось в действительности.

Мы сами были этому очевидцами во время всемирной парижской выставки 1867 года.

Да, наше время – сказочное, диковинное время!

*1868*



## Тряпье



Перед бумажной фабрикой были свалены вороха тряпок, собранных отовсюду. У всякой тряпки была своя история, каждая держала свою речь, но нельзя же слушать всех зараз! Некоторые были здешние, другие заграничные. Одной датской тряпке случилось лежать рядом с норвежской; первая была мягкой датской, вторая — суровой норвежской закваски. И вот это-то и было самое забавное в них, с чем, наверно, согласится всякий благоразумный норвежец и датчанин.

Они узнали друг друга по языку, хотя датский и норвежский языки — по словам норвежской тряпки — так же различны, как французский и еврейский.

— Мы берем свой язык из недр народа в сыром, первобытном виде, а датчане создают себе искусственно-приторный, пошлый язык! — прибавила норвежская тряпка.

Разговор вели ведь тряпки, а тряпка так уж и есть тряпка, из какой бы страны ни была; значение они приобретают лишь в ворохах, как тряпье.

– Я дочь Норвегии! – продолжала первая. – И этим, я думаю, сказано довольно! Я крепка волокнами, как древние скалы старой Норвегии, страны свободной, конституционной, которая не уступит Америке! У меня волокна так и чешутся при одной мысли о том, кто я! И мысли мои звонко выливаются в гранитных словах!

– Но мы имеем литературу! – сказала датская тряпка. – Понимаете вы, что это значит?

– Понимаете? – повторила норвежская тряпка. – Ах ты, дочь низменной страны! Поднять, что ли, тебя на скалы и осветить северным сиянием, тряпка ты этакая! Когда лед тает от лучей норвежского солнца, к нам приходят датские суденышки с маслом да сыром – благородные товары, нечего сказать! – а вместо балласта привозят с собою и датскую литературу! Мы же в ней не нуждаемся! Не диво обойтись без выдохшегося пива там, где бьет свежий ключ! Наша литература, что твой родник, а не пробуравленный колодезь! И европейскою известностью своею она обязана самой себе, а не широким газетным плоткам, не кумовству, не шлянью авторов за границу! В нас говорит «нутро», и датчанам пора привыкать к этому свободному голосу, да они и так уж цепляются в своих скандинавских симпатиях за нашу гордую скалистую страну, древнейшую кочку вселенной!

– Так не позволит себе говорить ни одна датская тряпка! – сказала представительница Дании. – Это не в нашем характере. Я хорошо знаю себя, а таковы, как я, и все наши датские тряпки. Все мы добродушны, скромны, мало верим в самих себя. Этим, конечно, много не возьмешь, но мне лично это все-таки больше по сердцу! Могу, однако, уверить вас, что я вполне сознаю свою добротность, но только не говорю о ней. В самохвальстве меня уж никто не обвинит! Я мягка, податлива, вынослива, независтлива, обо всех отзываюсь хорошо, хотя и мало кто этого заслуживает, но это уж их дело, а не мое! Мне-то что? Я только посмеиваюсь себе, как натура богато одаренная!

– Ах, замолчите! Меня просто тошнит от вашего мягкого, липкого, клейстерного языка! – сказала норвежка и перелетела по ветру в другой ворох.

Обе стали бумагой, и случай распорядился так, что норвежская тряпка стала листком бумаги, на котором один норвежец написал

любовное письмо датчанке, а датская тряпка – бумагой, на которой датчанин написал оду в честь величавой красавицы – Норвегии.

И из тряпок может выйти что-нибудь путное, раз они выберутся из общей кучи да переродятся к лучшему, просветятся, – в этом вся суть.

Вот и вся история. Она довольно забавна и никого не задает, кроме тряпья.

1868

## **Короли, дамы и валеты**

Такие чудесные игрушки можно вырезать и склеить из бумаги! Однажды вырезали и склеили игрушечный замок, такой большущий, что он занял весь стол, а раскрасили его так, будто был он выстроен из красных кирпичей. У него была блестящая медная крыша, были башни и подъемный мост, вода во рву была словно зеркало, да там и лежало зеркальное стекло. На самой высокой сторожевой башне стоял вырезанный из дерева дозорный с трубой, в нее можно было трубить, но он не трубил!

Хозяином всему этому был мальчик по имени Вильям, он сам поднимал и опускал подъемный мост, заставлял маршировать по мосту оловянных солдатиков, а потом открывал замковые ворота и заглядывал в большую рыцарскую залу, а там, как в настоящих рыцарских залах, по стенам висели портреты в рамах. Только портреты эти были картинки из карточной колоды: червонные, бубновые, трефовые и пиковые короли в короне и со скипетром, дамы в покрывалах, ниспадающих на плечи, и с цветком или веером в руке, валеты с алебардами и развевающимися на беретах перьями.

Однажды вечером мальчик, облокотившись о стол, заглянул через открытые замковые ворота в рыцарскую залу, и тут ему вдруг показалось, будто короли приветствуют его взмахами скипетра и будто в руках пиковой дамы шевельнулся золотой тюльпан, а червонная дама даже подняла свой веер. Все четыре королевы милостиво подали Вильяму знак, что он замечен. Мальчуган придвинулся ближе, чтобы лучше видеть, но уткнулся головой в стену замка, и замок зашатался. Тогда все четыре валета – трефовый,

пиковый, бубновый и червонный, выставив вперед алебарды, загородили вход в залу, чтобы он и не пытался туда проникнуть.

Малыш понял и дружески кивнул картам: дескать, не беспокойтесь. Не дождавшись ответа, он кивнул еще раз и попросил:

– Скажите что-нибудь!

Но карты не вымолвили ни слова; когда же мальчик кивнул червонному валету в третий раз, валет соскочил со своей карты и встал посредине зала.

– Как тебя зовут? – спросил он малыша. – Глазки у тебя ясные, зубы – белые, вот только руки ты мыть не любишь!

Не очень-то любезно это было с его стороны!

– Меня зовут Вильям, – ответил малыш, – а это мой замок, а ты мой валет червей!

– Я валет червонного короля и червонной королевы, а вовсе не твой! – заявил валет. – Я могу сойти с карточного листка, тем более это могут сделать мои высокие повелители. Мы могли бы пуститься в странствие по свету куда глаза глядят, но свет нам надоел; куда приятнее и спокойнее сидеть на карточных листках и оставаться самим собой!

– Значит, вы и вправду раньше были людьми? – спросил малыш.

– Людьми мы были, – ответил червонный валет, – но не очень добрыми. Зажги мне восковую свечку, лучше всего красную, потому что это масть моя и моих господ, и тогда я расскажу нашу историю владельцу замка. Только смотри не перебивай меня: раз уж я говорю, то все пусть идет как по писаному. Видишь, это мой король, король червей: он самый старший из всей четверки королей, потому что родился первым; родился он с золотой короной на голове и державой в руках. И тут же начал править. Его королева родилась с золотым веером; веер этот ты можешь видеть и сейчас. Жилось им с малых лет просто прекрасно, в школу они не ходили, а только развлекались целый день – строили и сносили замки, ломали оловянных солдатиков и играли в куклы; бутерброд им приносили намазанный маслом с обеих сторон и посыпанный сахарной пудрой. Да, ну и времечко было, доброе старое время, так называемый золотой век, но в конце концов все это им наскучило, да и мне тоже. И тогда на смену пришел бубновый король.

Больше валет ничего не сказал; мальчик хотел послушать еще, но валет не произнес больше ни слова; и тогда малыш спросил:

– А потом что было?

Червонный валет не ответил, он стоял навывтяжку и не отрываясь глядел на горящую красную восковую свечу. Малыш стал кивать ему, кивнул еще и еще раз – никакого ответа; тогда он повернулся к бубновому валету, и после третьего кивка тот тоже соскочил со своей карты, вытянулся в струнку и произнес лишь одно-единственное слово:

– Свечку!

Малыш тотчас же зажег красную свечку и поставил ее перед ним; бубновый валет сделал алебардой на караул и сказал:

– Итак, явился бубновый король – король со стеклянным окошком на груди; и у королевы было такое же. Заглянешь в окошечко и сразу видишь, что они сотворены точно такими же, как и все прочие люди. Это показалось всем таким приятным, что в честь короля и королевы воздвигли памятник, и он простоял целых семь лет, что и немудрено, ведь ставили-то его на века.

Бубновый валет снова сделал на караул и уставился на свою красную свечку.

Не дожидаясь пригласительного кивка маленького Вильяма, степенно, точно аист, вышагивающий по лугу, выступил вперед трефовый валет. Черный трилистник, будто птица, слетел с карты; он перелетел через голову валета, а потом снова вернулся на свое место в углу на карте. Трефовый валет, так и не попросив зажечь восковую свечку, как два других валета, заговорил:

– Не всем достается хлеб, намазанный маслом с обеих сторон, да еще и посыпанный сахаром. Такой бутерброд не достался ни моему королю, ни королеве; им пришлось ходить в школу и учиться тому, чему прежние короли не учились. И у них было стеклянное окошечко на груди, но никто туда не заглядывал, разве только для того, чтобы убедиться, не испортился ли часовой механизм, а если испортился, то выбрать их за это. Кому знать, как не мне: я служил моим господам много лет, из их воли я не выхожу. Моим господам неуютно, чтобы я нынче вечером еще говорил, вот я и буду молчать и сделаю на караул.

Вильям и ему зажег свечку, белую-пребелую.

«Фью!» Не успел Вильям зажечь новую свечку, как посредине рыцарской залы стоял уже валет пик, он появился мгновенно, хотя и прихрамывал, будто колченогий. Он не отдал честь; он скрипел, словно разваливался на куски; как видно, немало пришлось ему пережить. Заговорил и он.

– Каждому досталось по свечке, – сказал он, – достанется, верно, и мне, я знаю. Но если нам, валетам, зажигают по одной свечке, то нашим господам нужно зажечь в три раза больше. А уж моим королю пик с королевой, пиковой дамой, подобает не меньше как по четыре! История их испытаний так печальна! Недаром они носят траур, а в гербе у них, да и у меня тоже, – могильный заступ! Меня даже за это в насмешку прозвали Черный Пер. Есть у меня прозвище и похуже, и выговорить-то неудобно! – И он прошептал: – Меня называют Золотарь. А когда-то я был первым придворным кавалером короля пик, теперь я последняя фигура в колоде игральных карт. Историю моих господ рассказывать не стану – они этого не велели. Сам разберись в ней как знаешь. Лихие настали времена, и хорошего ждать нечего, а кончится тем, что все мы взовьемся на красных конях выше туч.

Маленький Вильям зажег по три свечки каждому королю и каждой королеве, а пиковым королю с королевой досталось по четыре. В большой рыцарской зале стало светло-светло, словно во дворце самого богатого императора, а знатные господа кротко и царственно приветствовали мальчика! Червонная дама обмахивалась золоченым веером, в руке у пиковой дамы колыхался золотой тюльпан, да так, что казалось, будто он извергает пламя. Короли и королевы соскочили со своих карт и из рам в залу и стали танцевать менуэт, и валеты тоже. Они танцевали, озаренные пламенем. Казалось, вся зала горит; огонь трещал, из окон вырывалось пламя, языки пламени лизали стены, весь замок пылал.

Вильям испуганно отпрянул в сторону и закричал:

– Папа! Мама! Замок горит!

Посыпались искры, замок пылал и пламенел, и вдруг в огне раздалось пение:

– Теперь мы взовьемся на красных конях выше туч, как и подобает рыцарственным мужам и дамам. И валеты с нами!

Вот такой конец постиг игрушечный замок Вильяма и фигуры из колоды игральных карт. А Вильям жив до сих пор и часто моет руки.

И не он виноват, что замок сгорел.

1869



## И в щепке порою скрывается счастье!



Теперь я расскажу вам историю о счастье. Все знакомы со счастьем, но иным оно улыбается из года в год, иным только в известные годы, а бывают и такие люди, которых оно дарит улыбкою лишь раз в их жизни, но таких, которым бы оно не улыбнулось хоть раз, – нет.

Я не стану рассказывать о том, что маленьких детей присылает на землю Господь Бог, что он кладет их прямо к груди матери, что это может случиться и в богатом замке, в уютной комнате, и в чистом поле, на холоде и ветре, – это знает всякий. Но вот что знает не всякий, а между тем это вернее верного: Господь Бог, ниспосылая на землю ребенка, ниспосылает вместе с ним и его счастье. Только счастье его не кладется на виду, рядом с ребенком, а прячется



обыкновенно в каком-нибудь таком местечке, где меньше всего ожидают найти его. Найдись же оно всегда, рано или поздно, найдется, и это лучше всего! Оно может скрываться в яблоке, как, например, счастье одного великого ученого по имени Ньютон. Яблоко шлепнулось перед ним на землю, и он нашел в нем свое счастье. Если ты не знаешь этой истории, то попроси рассказать тебе ее того, кто знает, я же хочу рассказать другую историю – о груше.

Жил-был бедняк; он и родился и вырос в нужде и в приданое за женою взял нужду. По ремеслу же он был токарь и точил главным образом ручки да колечки для зонтиков, но работа эта только-только позволяла ему перебиваться с семьей.

– Нет мне счастья! – говаривал он.

История эта – настоящая быль; я мог бы даже назвать и страну и местность, где жил наш токарь, но не все ли равно?

Первым и главным украшением его садика служила красная кислая рябина, но росло в саду и одно грушевое дерево, да только без плодов. И все же счастье токаря скрывалось как раз в этом дереве, в его невидимых грушах!

Раз ночью поднялась сильная буря; в газетах писали даже, что ветер подхватил большой дилижанс и швырнул его оземь, как щепку. Немудрено, что таким ветром обломило и сук у грушевого дерева.

Сук принесли в мастерскую, и токарь, ради шутки, выточил из него большую грушу, потом поменьше, еще меньше и, наконец, несколько совсем крохотных.

– Пора было дереву принести груши! – сказал он шутя и роздал груши детям – пусть играют.

К числу вещей, необходимых в сырых, дождливых странах, относится, конечно, зонтик, но вся семья токаря обходилась одним зонтиком. В сильный ветер зонтик выворачивало наизнанку, иногда даже ломало, но токарь сейчас же приводил его в порядок. Одно было досадно: пуговка, на которую застегивалось колечко шнурка, охватывавшего сложенный зонтик, часто выскакивала или ломалось самое колечко.

Раз пуговка отскочила, токарь стал искать ее на полу и нашел вместо нее одну из маленьких точеных груш, которые отдал играть детям.

– Пуговицы теперь не найти! – сказал токарь. – Но можно воспользоваться вот этой штучкой!

И он просверлил в груше дырочку, продернул сквозь нее шнурок, и маленькая груша плотно вошла в полукolečко. Так хорошо застежка еще никогда не держалась!

Посылая на следующий год в столицу ручки для зонтиков, токарь послал также вместо застежек и несколько выточенных груш с полукolečками к ним и просил хозяина магазина испытать новые застежки. Последние попали в Америку; там скоро смекнули, что маленькие груши лучше, удобнее всяких пуговиц, и потребовали от поставщика, чтобы впредь и все зонтики высылались с такими застежками.

Вот когда закипела работа! Груш понадобились тысячи! Токарь принялся за дело, точил, точил, все грушевое дерево пошло на маленькие груши. А груши приносили скиллинги и далеры!

– Так счастье мое скрывалось в грушевом дереве! – сказал токарь.

У него теперь была уже большая мастерская, он держал подмастерьев и учеников, вечно был весел и приговаривал: «И в щепке порою скрывается счастье!»

Скажу то же самое и я.

Говорят же ведь: «Возьми в рот белую щепочку, и станешь невидимкою!» Но для этого нужно взять настоящую щепочку, которая дается нам на счастье от Господа Бога. Вот и мне дана такая, и я тоже могу извлечь из нее, как и токарь, звонкое, блестящее, лучшее в свете золото, то золото, что блестит огоньком в детских глазках, звенит смехом из детских уст и из уст их родителей. Они читают мои сказки, а я стою посреди комнаты невидимкою, – у меня во рту белая щепочка! И если вижу я, что они довольны моею сказкою, я тоже говорю: «Да, и в щепке порою скрывается счастье!»



– Теперь я начну! – заявил ветер.

– Нет, уж позвольте! – сказал дождь. – Теперь мой черед! Довольно вы стояли на углу да были что было мочи!

– Так вот ваше спасибо за то, что я в честь вас вывертывал да ломал зонтики тех господ, что не желали иметь с вами дела!

– Слово за мною! – сказал солнечный луч. – Смирно!

И это было сказано с таким блеском и величием, что ветер сейчас же улегся и присмирел. Но дождь все еще не хотел уняться, теребил

ветер и говорил:

– Неужели мы это потерпим? Он вечно прорвется вперед, этот господин! Не станем его слушать! Вот еще, очень нужно!

А солнечный луч начал:

– Пролетал над бурным морем лебедь; перья его блестели, словно золотые; одно перо выпало и упало на большой торговый корабль, скользивший по морю на всех парусах. Перо запуталось в курчавых волосах молодого человека, надсмотрщика за товарами. Перо птицы счастья коснулось его чела, превратилось в его руке в писчее перо, и он вскоре стал богатым купцом, которому ничего не стоило купить себе золотые шпоры, сменить бочку золота на дворянский щит. Я сам сверкал на этом щите! – прибавил солнечный луч.

Пролетал лебедь и над зеленым лугом; в тени старого одинокого дерева лежал пастушок, семилетний мальчуган, и посматривал на своих овец. Лебедь поцеловал на лету один из листьев дерева, лист упал в руку пастушка, и из одного листка сделалось три, десять, целая книжка! Мальчик читал в ней о чудесах природы, о родном языке, о вере и знании, а ложась спать, прятал ее себе под голову, чтобы не позабыть прочитанного. И вот книжка та привела его сначала на школьную скамью, а затем и на кафедру науки. Я прочел его имя среди имен ученых! – добавил солнечный луч.

Лебедь полетел в чащу леса и спустился отдохнуть на тихое, темное лесное озеро, поросшее кувшинками; на берегу росли тростник, лесные яблони, а в их ветвях куковала кукушка, ворковали лесные голуби.

Бедная женщина собирала здесь хворост; на спине у нее была целая вязанка, у груди же лежал маленький ребенок. Она увидела золотого лебедя, лебедя счастья, который вылетел из тростника. Но что же такое блестело там? Золотое яйцо! Женщина положила его за пазуху, и яйцо согрелось, в нем зашевелилось живое существо. Оно уже стучало носиком в скорлупку, а женщина-то думала, что это бьется ее собственное сердце.

Придя домой, в свою бедную хижину, она вынула золотое яйцо. «Тик-так!» – слышалось из него, точно яйцо было золотыми часами, но это было настоящее яйцо, и в нем билась жизнь. Вот скорлупка треснула, и из яйца высунул головку маленький лебедь, покрытый золотым пушком. На шейке у него было четыре золотых кольца, и так

как у женщины было еще трое сыновей, кроме того, который был с нею в лесу, то она сразу догадалась, что кольца эти предназначались ее детям. Только что она сняла кольца – золотой птенец улетел.

Женщина перецеловала кольца, дала каждому ребенку поцеловать свое кольцо, приложила их к сердцу каждого и затем надела на пальчики детей.

– Я видел все это! – прибавил солнечный луч. – Видел и то, что из этого вышло.

Один из мальчиков копался в канаве, взял комок глины, начал мять его между пальцами, и вышла статуя Ясона, добывшего золотое руно.

Другой мальчуган сейчас же побежал на луг, поросший чудными, пестрыми цветами, набрал там целую горсть цветов, крепко стиснул их в ручонке, и цветочные соки брызнули ему прямо в глаза, омочили его золотое кольцо... В мозгу мальчика что-то зашевелилось, в руках тоже, и несколько лет спустя в большом городе заговорили о новом великом живописце.



Третий мальчуган так крепко стиснул свое кольцо зубами, что оно издало звук, отголосок того, что таилось в сердце мальчугана, и с тех

пор чувства и думы его стали выливаться в звуках, подниматься к небу, как поющие лебеди, погружаться в бездны мысли, как лебеди погружаются в глубокие озера. Мальчик стал композитором; каждая страна может считать его своим.

Четвертый же мальчик был заморыш, и на языке у него, как говорили, сидел типун; его надо было угощать маслом с перцем, как больных цыплят, да хорошими трепками, ну, его и угощали! Я же дал ему свой солнечный поцелуй! – сказал солнечный луч. – Да не один, а десять! Мальчик был поэтической натурой, и его то дарили поцелуями, то угощали щелчками, но он все-таки владел кольцом счастья, данным ему золотым лебедем, и мысли его взлетали к небу золотыми бабочками, а бабочка – символ бессмертия!

– Длинная история! – сказал ветер.

– И скучная! – прибавил дождь. – Подуй на меня, я в себя прийти не могу!

И ветер принялся дуть, а солнечный луч продолжал:

– Лебедь счастья пролетал и над глубоким заливом, где рыбаки закидывали сети. Беднейший из рыбаков собирался жениться и женился.

Лебедь принес ему кусок янтаря. Янтарь притягивает, и этот кусок притянул сердца к дому рыбака. Янтарь – чудеснейшее благовонное курение, и из дома рыбака стало исходить благоухание, как из храма; это было благоухание самой природы Божией. Бедная чета наслаждалась семейным счастьем, была довольна своею скромною домашнею обстановкой, и вся жизнь ее прошла как один солнечный день!

– Не пора ли прервать его! – сказал ветер. – Довольно уж он болтал! Я соскучился!

– И я тоже! – сказал дождь.

А что же скажем мы, прослушав эти истории?

Мы скажем:

– Ну, вот и конец им!

## Комета

И вот на небе появилась комета, ядро ее сияло, хвост грозил розгой. На нее смотрели и из богатых замков, и из бедных домов, глазели и целые толпы, устремлял взор и одинокий путник, проходивший по безлюдной степи, и каждый при этом думал свое.

– Идите смотреть на небесное знамение! Какое великолепие! – сказал кто-то, и все повысыпали из дома смотреть на комету.

Но в одной горнице еще остались двое: маленький мальчик с матерью. На столе горела сальная свечка, и мать увидала, что на фитиле образовался нагар в виде стружки, а это означало, по народному поверью, скорую смерть мальчика – стружка ведь наклонилась в его сторону.

Мать верила в эту старинную примету. Но мальчику суждено было прожить на земле долгие годы и увидеть комету во второй раз, более шестидесяти лет спустя.

Мальчик не замечал нагара на свечке, не думал о комете, появившейся при нем впервые. Перед ним стояло на столе склеенное блюдечко с мыльной водой, он погружал в нее маленькую глиняную трубочку, брал в рот другой конец ее и пускал мыльные пузыри – и большие и маленькие. Они колебались и переливались всеми цветами радуги, из желтых становились красными, из лиловых – голубыми, а потом вдруг окрашивались в ярко-зеленый цвет листьев, залитых в лесу лучами солнышка.

– Дай бог прожить тебе столько лет, сколько пустишь пузырей! – сказала мать.

– Ох, как много! – воскликнул мальчик. – Этой мыльной воды хватит на век!

И он продолжал выпускать пузырь за пузырем.





– Вот летит год! Вот еще! Гляди, как они летят! – приговаривал он. Два пузыря взлетели ему прямо в глаза, как их защипало, закусало – до слез! И в каждом пузыре мальчик видел блестящую, ослепительную картину будущего.

– Вот когда ее отлично видно! – кричали между тем соседи. – Идите же смотреть комету! Что вы засели там!

Мать взяла мальчика за руку, пришлось ему положить трубочку, расстаться со своею игрою – надо было посмотреть на комету.

И мальчуган смотрел на ее сияющее ядро и на блестящий хвост. Кто говорил, что он длиною в три аршина, кто – что он не меньше трех

миллиардов. Всякий ведь мерит на свой аршин.

– И дети и внуки наши успеют умереть, прежде чем она появится на небе опять! – толковали люди.

Большинства из них и действительно уже не было в живых, когда она появилась вторично, но мальчик, которому нагар на свечке предвещал, по мнению матери, близкую смерть, был еще жив, хотя и очень стар, весь седой. «Седые волосы – цветы старости!» – гласит поговорка, и у него была полная голова этих цветов. Он уж был старым школьным учителем.

Школьники говорили, что он страсть какой умный и ученый, знает и историю, и географию, и все, что только можно знать о телах небесных.

– Все повторяется! – говаривал он. – Только примечайте хорошенько лица и события и увидите, что они постоянно повторяются, возвращаются обратно, только в иных костюмах, в иных странах.

И школьный учитель указывал на историю о Вильгельме Телле, которому пришлось стрелять в яблоко, положенное на голову его собственного сына. Прежде чем выстрелить, он припрятал за пазуху другую стрелу – для злого Геслера. Происходило это в Швейцарии, но за много лет до этого то же самое случилось в Дании. Пальнатоку тоже пришлось стрелять в яблоко, положенное на голову его сына, и он тоже спрятал за пазуху другую стрелу, чтобы отомстить за себя. А больше чем за тысячу лет до того, читаем мы в старинных рукописях, происходила такая же история в Египте! Да, и события и лица повторяются, возвращаются, как кометы.

И он начинал рассказывать об ожидаемой комете, которую уже видел однажды в своем раннем детстве. Школьный учитель много знал о небесных телах, много думал о них, но не забывал оттого ни истории, ни географии.

Сад свой он разбил в виде карты Дании. Каждая часть, каждая провинция изображалась цветами и растениями, которые были ей наиболее свойственны.

– Ну-ка, достаньте мне гороха! – говорил он, и ученики направлялись к грядке, представлявшей Лолланн. – Достаньте мне гречихи! – и те шли к Лангеланну.

Чудесные голубые горечавки можно было найти на севере, на Скагене, блестящий христов терн – возле Силькеборга. Города

изображались статуэтками: святой Кнуд, поражающий дракона, означал город Оденсе, Абсалон с епископским посохом в руке – Сорё, маленькое весельное судно – город Орхус и так далее. Да, по саду школьного учителя можно было изучить карту Дании, но, конечно, предварительно надо было поучиться у него самого, а это было превесело!

Так вот, опять ожидали комету, и он рассказывал о ней и о толках людских, вызванных ее первым появлением, которое он так хорошо помнил.

– В год появления кометы вино бывает крепче! – говорил он. – Виноторговцы могут разбавлять его водою – никто не заметит! Оттого-то они, как говорят, очень жалуют такие годы!

Но небо было покрыто облаками вот уже целых две недели, так что кометы не было видно, хотя она и появилась уже.

Престарелый учитель сидел в своей каморке рядом с классной комнатой. В углу стояли большие старинные борнхольмские часы, доставшиеся ему еще от родителей. Тяжелые свинцовые гири уже не поднимались и не опускались больше, маятник не двигался, маленькая кукушка, которая прежде выскакивала и куковала, уже много лет молчаливо сидела взаперти; все в часах замерло, притихло, они не шли больше. Но старые клавикорды, тоже времен родителей учителя, все еще сохраняли в себе жизнь. Струны еще могли звучать, правда хриловато, но все же из них можно было извлечь мелодии целого человеческого века. И много воспоминаний будили эти мелодии в старом школьном учителе – и веселых и печальных. Много пережил он за этот длинный ряд годов, с тех пор как видел комету маленьким мальчиком и до ее вторичного появления на небе. Он помнил, что сказала его мать, увидя нагар на свечке, помнил чудесные мыльные пузыри, которые пускал тогда... Каждый означал – как он говорил – год его будущей жизни, и какие они были блестящие, радужные! Они сулили ему столько чудес и радостей, детские игры, юношеские наслаждения! Весь свет лежал перед ним, озаренный лучами солнца! То были мыльные пузыри будущего! Теперь он был уже старик и извлекал из струн клавикордов мелодии прошлого – это были уже пузыри, окрашенные цветами воспоминаний. Вот раздалась песня бабушки, которую она напевала, быстро шевеля чулочными спицами:

Вестимо, уж не амазонка  
Связала первый нам чулок!

А вот песня, которую напевала ему, когда он был ребенком, их старая служанка:

Ах, сколько испытаний  
Готовит свет тому,  
Кто млад и глуп, – известно  
Лишь Богу одному!

Потом раздались мелодии первого бала, менуэт, молинаски, за ними зазвучали нежные, грустные звуки, вызвавшие на глаза старика слезы, затем раздался военный марш, затем псалмы, а там опять веселые, игривые звуки. Они сменяли друг друга, следовали один за другим, как мыльные пузыри, что он пускал мальчиком.

Он устремил взор в окно; облака, застилавшие небо, вдруг разошлись, и он увидел комету, ее сияющее ядро и блестящий туманный шлейф.

Он как будто видел ее в первый раз только вчера, а на самом-то деле между этими двумя вечерами легла целая человеческая жизнь, богатая воспоминаниями! В тот вечер он был ребенком и видел в мыльных пузырях будущее, теперь они показывали ему прошлое. И душа его прониклась детской верою, глаза засияли, рука упала на клавиши... Раздался звук, словно порвалась струна!

– Идите же смотреть на комету! – кричали ему соседи. – Небо чудо какое ясное! Идите, теперь ее отлично видно!

Но старый школьный учитель не отвечал; он унесся в заоблачные высоты, чтобы хорошенько поглядеть на комету! Душа его готовилась пролететь пространство куда больше, обширнее, нежели пролетает комета. А на комету опять смотрели и из богатых замков, и из бедных домов, плазели и целые толпы, устремлял взор и одинокий путник, проходивший по безлюдной степи. На душу же учителя смотрел

теперь сам Господь и опередившие его на небе дорогие, близкие его сердцу, о которых он так тосковал на земле!

*1869*

## Что можно придумать



Жил-был молодой человек; он усердно готовился в поэты и хотел стать поэтом уже к Пасхе, потом жениться и зажить творчеством. Это вовсе не трудно; все дело в том, чтобы придумывать да придумывать, но что именно? То-то вот и есть! Опоздал он родиться! Все сюжеты уже были разобраны до его появления на свет, все уже было описано, воспето в поэзии.

— То-то счастье было тем, что родились тысячу лет тому назад! — сказал он. — Им-то легко было обессмертить себя! Да, счастливы были и те, что явились на свет лет за сто до нашего времени, и тогда еще оставалось кое о чем писать. Но теперь все на свете давно воспето и перепето, о чем же петь мне?

И он так усердно ломал себе голову, что наконец захворал, бедняга. Никакой доктор не мог ему помочь, одна оставалась надежда на

знахарку. Она жила в маленьком домике у околицы, которую и должна была отворять для возов и проезжих. Но она годилась кое на что и поважнее – умом-то она ведь заткнула бы за пояс любого доктора, что ездит в собственном экипаже и платит государственный налог за чин!

– Надо пойти к ней! – решил молодой человек.

Жила знахарка в маленьком, чистеньком, но скучном на вид домике: ни деревца вокруг, ни цветочка! Перед дверями только улей – вещь полезная, да картофельное поле – тоже вещь очень полезная, да еще канава, обросшая кустами терновника. Терновник уже отцвел и был осыпан ягодами, которые сводят рот, если вздумаешь есть их, прежде чем их хватит морозом.

«Точная картина нашего времени, лишенного всякой поэзии!» – подумал молодой человек. Вот уж, значит, он и нашел у дверей знахарки жемчужное зернышко, – у него блеснула идея!

– Запиши ее! – сказала старуха. – И крошки ведь тот же хлеб! Я знаю, зачем ты пришел! Ты не можешь ничего придумать, а все-таки хочешь выйти к Пасхе в поэты!

– Все сюжеты уже разобраны! – сказал он. – Наше время – не доброе старое время!

– Нет! – ответила старуха. – В то время знахарок сжигали, а поэты разгуливали с пустым желудком да с драными локтями. Наше время именно самое лучшее время! Но ты не умеешь смотреть на вещи как следует, ты не изошрял своего слуха и мало читал по вечерам «Отче наш». Есть о чем петь и рассказывать и в наше время, умей только взяться за дело! Черпай мысли откуда хочешь – из трав и злаков земных, из стоячих и текучих вод! Но для этого, конечно, нужно обладать даром разумения, уметь, как говорится, поймать солнечный луч! На вот, попробуй-ка надеть мои очки, приставь к уху мой слуховой рожок, призови на помощь Господа Бога да перестань думать о самом себе!

Последнее-то уж было чересчур трудно; нехстати бы такой умной женщине и требовать этого!

Молодой человек вооружился очками, слуховым рожком, и знахарка поставила его посреди картофельного поля, вручив ему предварительно большую картофелину. Картофелина издавала звуки. Он прислушался и услышал целую песню о житье-бытье

картофелины, «обыкновенную историю» в десяти частях. А и десяти строк было бы довольно!

Так о чем же пела картофелина?

Она пела о самой себе и своей семье, о прибытии первых картофелин в Европу и о тех испытаниях и мытарствах, через которые они прошли, пока их признали куда большею благодатью для края, нежели золотые самородки.

– Нас разослали, согласно королевскому приказу, по всем городским ратушам; всем было объявлено о нашем великом значении, но в него не верили, не знали даже, как обращаться с нами. Кто выкапывал яму и бросал в нее всю меру картофеля зараз, кто рассаживал картофелины там и сям по полю и ждал, что из них вырастут целые деревья, с которых можно будет отряхивать картофелины! Ну, вот и вырастала зелень, на ней распускались цветы, потом появлялись водянистые плоды, но затем все растение увядало, и никому в голову не приходило, что настоящая-то благодать лежит в земле – самые-то картофелины. Да, много мы перетерпели, вынесли, то есть не мы, а наши предки, но это все едино!

– Вот так история! – сказал молодой человек.

– Ну, теперь довольно! – сказала старуха. – Посмотри на терновник!

– У нас тоже есть близкая родня на родине картофеля, – заговорил терновник, – но несколько севернее, чем растет он. Туда явились норманны; они плыли навстречу туманам и бурям и попали в неведомую страну, где под снегом и льдом нашли разные травы, растения и кусты с темно-синими ягодами, похожими на виноград, из которых тоже можно делать вино. То был терновник; его ягоды созревают на морозе, как и мои. И вся страна получила имя «винной страны», «зеленой страны» – Гренландии!

– Да это целая поэма! – сказал молодой человек.

– Да, а теперь иди-ка вот сюда! – сказала знахарка и подвела его к улью.

Он заглянул туда. Что за жизнь, какое движение! Во всех проходах сидели пчелы и махали крылышками, чтобы проветрить эту огромную фабрику, – это была их обязанность. А в улей все прибывали новые и новые пчелы, нагруженные провизией; они приносили на щеточках ножек цветочную пыль, отряхали ее, сортировали – часть шла на мед, часть на воск. Пчелы прилетали и улетали; царица тоже хотела было



улететь, но за нею пришлось бы улететь и всем, а не время было, и вот они взяли да и откусили ее величеству крылышки – пришлось ей остаться на месте!

– Подымись теперь на насыпь, что возле канавы! – сказала знахарка. – Погляди на дорогу и на добрых людей!

– Да там их тьма-тьмущая! – воскликнул молодой человек. – Шум, гам! История на истории! Ох, у меня в глазах темнеет! Как бы не упасть!

– Ничего, смело иди вперед! – сказала старуха. – Иди прямо навстречу жизни, в самую густую толпу, да насторожи и глаза, и уши, и сердце! Тогда живо придумаешь что-нибудь! Но сперва отдай мне мои очки и слуховой рожок, а там и ступай себе!

И она взяла у него и то и другое.

– Теперь я ровно ничего не вижу! – сказал молодой человек. – И ничего не слышу!

– Ну, видно, не сделаться тебе поэтом к Пасхе! – сказала знахарка.

– А когда же? – спросил он.

– Ни к Пасхе, ни к Троице! Тебе никогда ничего не придумать!

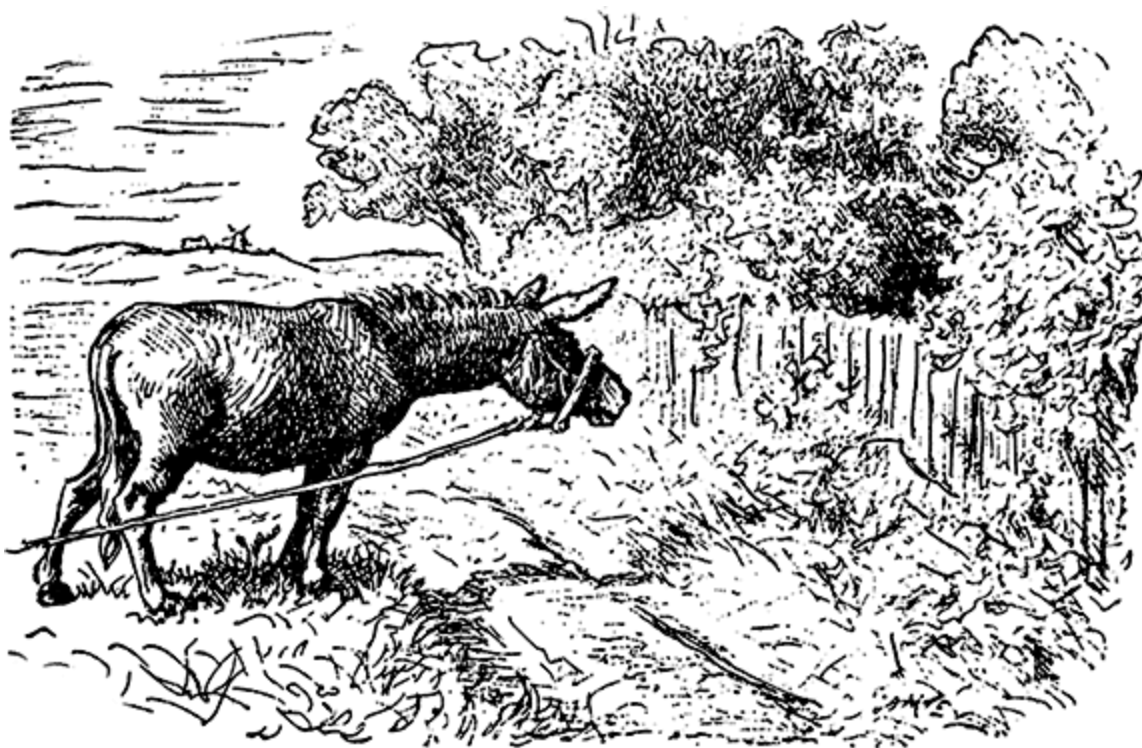
– Так за что же мне взяться, что делать, если я хочу жить творчеством?

– Ну, этого-то ты можешь добиться и к Масленице! Засади поэтов в бочку да и колоти по ней! Колоти по их творениям – это все одно, что колотить их самих! Только не падай духом, колоти хорошенько, и сколотишь себе деньжонки! Хватит на прокорм и тебе и жене!

– Вот что можно придумать! – сказал молодой человек и принялся колотить поэтов одного за другим, самому-то ему не удалось сделаться поэтом.

Мы узнали все это от знахарки; она-то уж знает, что можно придумать!

## Доля репейника



Перед богатою усадьбой был разбит чудесный сад с редкостными деревьями и цветами. Гости, наезжавшие в усадьбу, громко восхищались садом; горожане и окрестные деревенские жители нарочно приезжали сюда по воскресеньям и праздникам просить позволения осмотреть его; являлись сюда с тою же целью и ученики разных школ со своими учителями.

За решеткой сада, отделявшей его от поля, вырос репейник; он был такой большой, густой и раскидистый, что по всей справедливости заслуживал названия репейного куста. Но никто не любовался на него, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику:

– Как ты хорош! Так бы и съел тебя!

Но веревка была коротка, и ослу не удавалось дотянуться до репейника.

Как-то раз в саду собралось большое общество: к хозяевам приехали знатные гости из столицы, молодые люди, прелестные молодые девушки, и между ними одна барышня издалека, из

Шотландии, знатного рода и очень богатая. «Завидная невеста!» – говорили холостые молодые люди и их маменьки.

Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет; затем все отправились гулять по саду; каждая барышня сорвала по цветочку и воткнула его в петлицу одного из молодых людей. А юная шотландка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но так ничего и не выбрала, ни один из садовых цветков не пришелся ей по вкусу. Но вот она плюнула на решетку, где рос репейник, увидела его иссиня-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей один из них.

– Это цветок Шотландии! – сказала она. – Он красуется в шотландском гербе. Дайте мне его!

И он сорвал самый красивый, уколол себе при этом пальцы, словно цветок рос на колючем шиповнике.

Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен этим, да и каждый из остальных молодых людей охотно бы отдал свой роскошный садовый цветок, чтобы получить из ручек прекрасной шотландки хоть репейник. Но уж если был польщен хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его как будто окропило росой, осветило солнышком.

«Однако я поважнее, чем думал! – сказал он про себя. – Место-то мое, пожалуй, в саду, а не за решеткой. Вот, право, как странно играет нами судьба! Но теперь хоть одно из моих детищ перебралось за решетку да еще угодило в петлицу!»



И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. Не прошло затем и недели, как репейник услышал новость — не от людей, не от щебетуний-пташек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздавшийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери отворены настежь. Ветер сообщил, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок репейника, удостоился наконец получить и руку и сердце красавицы. Славная вышла парочка, вполне приличная партия.

– Это я их сосватал! – решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь распускавшийся цветок должен был выслушивать эту историю. – Меня, конечно, пересадят в сад! – рассуждал репейник. – Может быть, даже посадят в горшок; тесновато будет, ну, да зато почетно!

И репейник так увлекся этою мечтою, что уже с полной уверенностью говорил: «Я попаду в горшок!» – и обещал каждому своему цветочку, который появлялся вновь, что и он тоже попадет в горшок, а может быть, даже и в петлицу, – выше этого уж попасть было некуда! Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уже о петлице. Они впивали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью, цвели, принимали визиты женихов – пчел и ос, которые искали приданого, цветочного сока, получали его и покидали цветы.

– Разбойники этикие! – говорил про них репейник. – Так бы и проколол их насквозь, да не могу!

Цветы поникали головками, блекли и увядали, но на смену им распускались новые.

– Вы являетесь как раз вовремя! – говорил им репейник. – Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за решетку.

Невинные ромашки и мокричник слушали его с глубоким изумлением, искренне веря каждому его слову.

А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник, но веревка была коротка, и он никак не мог добраться до куста.

А репейник так много думал о своем родиче, шотландском репейнике, что под конец уверовал в свое происхождение из Шотландии и в то, что именно его-то родители и красовались в гербе страны. Великая то была мысль, но отчего бы такому большому репейнику и не иметь великих мыслей?

– Иной раз приходишь из такой знатной семьи, что не смеешь и догадываться о том! – сказала крапива, росшая возле, у нее тоже было какое-то смутное сознание, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться в кисею!

Лето прошло, прошла и осень, листья с деревьев пооблетели, цветы приобрели более яркую окраску, но почти утратили свой запах. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону решетки:

Вверх на горку,  
Вниз под горку  
Времечко бежит!

Молоденькие елочки в лесу начали уже томиться предрождественской тоской, но до Рождества было еще далеко.

– А я-то все еще здесь стою! – сказал репейник. – Никому как будто и дела до меня нет, а ведь я устроил свадьбу! Они обручились, да и поженились вот уже неделю тому назад! Что ж, сам я шагу не сделаю – не могу!

Прошло еще несколько недель. На репейнике красовался уже только один цветок, последний, но большой и пышный. Вырос он почти у самых корней, ветер обдавал его холодом, краски его поблекли, и чашечка, такая большая, словно у цветка артишока, напоминала теперь высеребренный подсолнечник.

В сад вышла молодая парочка, муж с женою. Они шли вдоль садовой решетки, и молодая женщина взглянула через нее.

– А вот он, большой репейник! Все еще стоит! – воскликнула она. – Но на нем нет больше цветов!

– Нет, видишь вон блаженную тень последнего! – сказал муж, указывая на высеребренный остаток цветка.

– А он все-таки красив! – сказала она. – Надо велеть вырезать такой на рамке вокруг нашего портрета.

И молодому мужу опять пришлось перелезть через решетку и сорвать цветок репейника. Цветок уколол ему пальцы – молодой человек ведь обозвал его «блаженною тенью». И вот цветок попал в сад, в дом и даже в залу, где висел портрет молодых супругов, написанный масляными красками. В петлице у молодого был изображен цветок репейника. Поговорили и об этом цветке и о том, который только что принесли; его решено было вырезать на рамке.

Ветер подхватил эти речи и разнес их далеко-далеко по всей окрестности.

– Чего только не приходится пережить! – сказал репейник. – Мой первенец попал в петлицу, мой последыш попадет в рамку! Куда же попаду я?

А осел стоял у дороги и косился на него.

– Подойди же ко мне, радость моя сладкая! Я не могу подойти к тебе – веревка коротка!

Но репейник не отвечал; он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до Рождества и наконец расцвел мыслью: «Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за решеткою!»

– Вот это благородная мысль! – сказал солнечный луч. – Но и вы займете почетное место!

– В горшке или в рамке? – спросил репейник.

– В сказке! – ответил луч.

Вот она, эта сказка!

## Предки птичницы Греты

Птичница Грета была единственной представительницей рода человеческого в новом красивом домике, выстроенном при усадьбе для кур и уток. Стоял он как раз на том же самом месте, где прежде возвышался старинный барский дом с башнями, кровлею щипцом и рвом, через который был перекинут подъемный мост. В нескольких шагах от домика начиналась дикая чаща кустов и деревьев: прежде тут был сад, спускавшийся к большому озеру, которое теперь стало болотом. Под высокими старыми деревьями кружились и кричали грачи, вороны, галки – несметные стаи. Число их не убавлялось, сколько их ни стреляли, скорее прибавлялось. Крики их слышны были даже в птичнике, где сидела Грета, любуясь утятками, то и дело переползавшими через ее ноги, обутые в деревянные башмаки. Старушка знала наперечет всех своих кур и уток и блюла их с той самой минуты, как они вылуплялись из яиц. Она гордилась ими, гордилась и великолепным домиком, построенным для них. В маленькой комнатке ее царствовал такой порядок, такая чистота – этого требовала сама госпожа, владелица птичника. Она часто приводила сюда своих знатных гостей «полюбоваться утиными и куриными казармами», как она выражалась.

В комнатке Греты были и платяной шкаф, и кресло, и даже комод, а на нем красовалась блестящая, полированная медная дощечка с вырезанною надписью: «Груббе». Так именно прозывался древний дворянский род, владевший когда-то старою, исчезнувшею усадьбой. Дощечку эту нашли в земле, когда клали фундамент для нового дома, но, по словам пономаря, она имела цену только как памятник старины, не более. Пономарь был вообще очень сведущ, сведения же свои почерпывал из книг да из старинных рукописей – их у него в ящиках лежало множество. Да, много знал он о старине, но старейшая из ворон знала, пожалуй, побольше его. Она и не таила этого, выкрикивала свои знания во всеуслышание, но по-своему, по-вороньи, а по вороньи-то пономарь, несмотря на всю свою ученость, не понимал.

Вечерами после теплых летних дней над болотом подымался густой туман, и вся местность казалась издали большим озером, доходившим



вплоть до старых деревьев, над которыми летали грачи, вороны и галки. Такое-то вот озеро и расстиралось здесь в старину, когда еще жив был господин Груббе, владелец старого барского дома с красными кирпичными стенами. Дворовая собака ходила на такой длинной цепи, что могла бегать даже за воротами, а башня была соединена с жилыми покоем бесконечно длинной кирпичной галереей. Окошечки в доме были маленькие, узенькие, даже в главной зале, где происходили танцы. Впрочем, при последнем владельце в доме уж не танцевали, хотя в зале все еще хранился старинный барабан, игравший когда-то роль в оркестре. Тут же стоял шкаф, весь покрытый искусною резьбою; в нем хранились редкие цветочные луковицы, — госпожа Груббе занималась садоводством. Супруг же ее предпочитал стрелять волков да кабанов, а за ним всюду следовала и маленькая дочка его Мария. Лет пяти от роду она уже преважно сидела на коне и смело посматривала кругом своими большими черными глазами. Ее очень забавляло щелкать бичом над головами охотничьих собак, отец же предпочитал, чтобы она щелкала им по спинам крестьянских мальчишек, которые сбегались плазеть на господ.

Возле самой усадьбы стояла землянка одного крестьянина. У него был сын Сёрен, одних лет с дочерью господина. Сёрен мастер был карабкаться по деревьям, и барышня постоянно заставляла его доставать ей птичьи гнезда. Птицы вопили что было мочи, а одна из самых больших взяла раз да и клюнула мальчишку прямо в бровь. Кровь полилась ручьем, думали, что с нею вытечет и глаз, но нет, он уцелел. Мария Груббе звала мальчика «мой Сёрен»; это было знаком большого благоволения, и оно таки пригодились однажды отцу мальчика, бедняку Иону. Он как-то раз провинился, и его посадили верхом на «кобылку», то есть на узкую острую дощечку, укрепленную на четырех деревянных подпорках, а к ногам привязали тяжелые камни, чтобы ему не сиделось чересчур удобно. Бедняк корчил страдальческие гримасы. Сёрен ревел и просил заступничества Марии. Она сейчас же велела спустить крестьянина с «кобылки», но ее не послушались. Тогда она затопала ногами по каменной мостовой двора и так рванула своего отца за рукав, что рукав треснул. Уж она умела поставить на своем! Пришлось уступить ей и освободить отца Сёрена.

Госпожа Груббе, которая в это время вышла на двор, погладила дочку по головке и ласково поглядела на нее, но Мария не поняла причины.

Ее больше тянуло к охотничьим собакам, чем к матери, и мать одна отправилась в сад, к озеру, поросшему тростником, кувшинками и другими красивыми болотными цветами и растениями. Госпожа Груббе залюбовалась этою мирною картиной. «Как хорошо здесь!» – шептали ее губы. В саду росло, между прочим, одно, в те времена очень редкое, дерево, которое она сама посадила, – красный бук. Оно было своего рода мавром среди других деревьев, такие темно-коричневые на нем росли листья. Дереву нужен был яркий солнечный свет: в тени оно стало бы зеленым, как и все прочие деревья, и лишилось бы своей достопримечательности. В ветвях высоких каштанов была пропасть гнезд, в кустах и в траве тоже. Птицы как будто знали, что они тут в безопасности, что здесь никто не смеет палить в них из ружей.

Но вот явилась маленькая Мария с Сёрен, а он ведь, как мы знаем, умел лазить на деревья за птичьими яйцами и неоперившимися пушистыми птенчиками. Птицы и большие и малые в ужасе поднимали крик, принялись летать и хлопать крыльями! Из травы взлетали пигалицы, с деревьев грачи, вороны и галки, и все это каркало, кричало, вопило, как вопят эти породы и поныне.

– Что это вы делаете, дети! – вскричала кроткая госпожа Груббе. – Ведь это безбожно!

Сёрен переконфузился, высокородная барышня тоже отвернула было личико в сторону, но потом отрывисто выпалила:

– Отец позволяет!

– Прочь! Убраться, убраться отсюда! – кричали большие черные птицы, улета.

Но на другой же день они вернулись опять – тут ведь они были у себя дома.

А вот тихая, кроткая госпожа Груббе так недолго оставалась тут; Господь Бог отозвал ее к Себе, – она больше была у себя дома на небе, нежели в барской усадьбе. Тело вынесли в церковь под торжественный звон колоколов, бедняки роняли слезы – она была добра к ним.

После нее некому было заботиться о ее растениях, и сад заглох.

Господин Груббе был, как говорили, человек жесткий, суровый, но дочь, несмотря на всю свою молодость, умела вертеть им по-своему: она смешила его и добивалась своего.

Теперь ей минуло двенадцать лет, она была крепкого сложения, смело смотрела своими черными глазами в лицо людям, ездила верхом, как мужчина, и стреляла, как опытный охотник.



В окрестность прибыли знатные-презнатные гости: сам молодой король и его сводный брат и товарищ, господин Ульрик Фредрик Гюльденлёве. Они вздумали поохотиться на диких кабанов и хотели провести денек в усадьбе господина Груббе.

Гюльденлёве сидел за столом рядом с Марией, взял ее за подбородок и поцеловал, словно они были в родстве, но она закатила ему звонкую пощечину и сказала, что терпеть его не может. Он же, а за ним и все остальные принялись смеяться, словно она ему и невесть какую приятную вещь сказала!

Да, должно быть, ее слова пришлись-таки ему по вкусу: пять лет спустя, когда Марии исполнилось семнадцать лет, на двор прискакал

гонiec с письмом, в котором господин Гюльденлёве просил руки благородной девицы. Вот как!

– Он знатнейший и любезнейший кавалер в королевстве! – сказал господин Груббе. – Такими женихами не брезгают!

– Не очень-то он мне нравится! – ответила дочка, но все-таки не побрезговала знатнейшим человеком в королевстве, столь близко стоявшим к самому королю.

Приданое – серебро, меха и белье – было отправлено в Копенгаген на корабле, сама невеста отправилась туда сухим путем. Переезд этот занял десять дней, корабль же с приданным был задержан отчасти противными ветрами, отчасти безветрием и прибыл на место лишь через четыре месяца, когда самой госпожи Гюльденлёве уж и след простыл.

– Лучше спать на соломе, чем на его шелковой постели! – сказала она. – Лучше буду ходить босиком, чем разъезжать с ним в карете!

И вот поздним ноябрьским вечером в Орхус приехали две женщины: супруга Гюльденлёве Мария Груббе и ее служанка. Они прибыли туда из Вейле, куда приплыли на корабле из Копенгагена. Скоро они въехали и в обнесенный каменной оградой двор замка господина Груббе. Неласково встретил отец дочку, но все же отвел ей комнату. Мария поселилась в ней, получала по утрам хлеб с маслом, но нельзя сказать, чтобы все остальное в ее жизни шло как по маслу. Крутой нрав отца отзывался теперь и на ней, а она к этому не привыкла, к тому же сама была не из мягких натур и за словом в карман не лезла: как аукнется, мол, так и откликнется! О своем супруге она отзывалась со злобой и ненавистью и говорила, что ни за что не сойдется с ним больше, – слишком она честна и чиста душою и телом!

Так прошел год, и нельзя сказать, чтобы приятно. Отец и дочь обменивались недобрыми словами, а это не годится: недоброе слово и плод приносит недобрый.

Бог знает, чем бы все это кончилось!

– Нет, нам с тобой не ужиться под одною кровлею! – сказал наконец старик. – Уезжай отсюда в нашу старую усадьбу да держи лучше свой язык на привязи, чем давать ход сплетням!

Отец с дочерью расстались; она переехала со своею служанкою в старую усадьбу, где родилась и выросла, где жила и умерла ее

кроткая, благочестивая мать, обретшая покой в склепе старой усадебной церкви. В усадьбе жил только старый пастух – вот и вся дворня. В комнатах насела паутина, покрытая черным слоем пыли, сад совсем заглох: между деревьями и кустами повисли густые сети хмеля и вьюнка; белена и крапива разрослись на славу. Красный бук рос теперь в тени, и листья его приняли обыкновенную зеленую окраску; миновала его краса! Но над высокими каштанами по-прежнему летали бесчисленные стаи грачей, ворон и галок. Они кричали и вопили, словно передавая друг другу великую новость: «Опять приехала сюда та девчонка, что приказывала таскать у нас яйца и птенцов! Сам же воришка карабкается теперь по дереву без сучьев и листьев, взбирается на высокие мачты и частенько получает здоровую трепку, коли ведет себя не так, как надо».

Обо всем этом рассказывал нам пономарь; он добыл все эти сведения из разных книг и записок – у него их был полный шкаф.

– На этом свете все идет то в гору, то под гору! – говаривал он. – Диковинно послушать!

Послушаем и мы о том, что случилось с Марией Груббе, но не забудем при этом и о птичнице Грете, что сидит в своем великолепном птичнике в наше время, как Мария сидела в усадьбе в свое, только не то у нее было на душе, что у птичницы Греты.

Прошла зима, прошли весна и лето, опять завывли осенние ветры, потянулись с моря сырые, холодные морские туманы. Скучно, одиноко жилось в усадьбе.

И вот Мария Груббе взялась за свое ружье, стала ходить в степь стрелять зайцев да лисиц, а то и птиц, если попадались. В поле она частенько встречала благородного господина Палле Дюре из Нёрребека. Он тоже разгуливал там с ружьем да собаками. Дородный он был, сильный мужчина и всегда хвастался этим в беседах с Марией. Он мог даже помериться силою с покойным господином Броккенхусом из усадьбы Эгеску, что на острове Фюн, о силе которого и до сих пор ходили рассказы. По его-то примеру и Палле Дюре повесил у себя в воротах железную цепь с охотничьим рожком и, возвращаясь домой, схватывался за эту цепь, приподымался на воздух вместе с лошадьёю и трубил в рог.

– Приезжайте сами посмотреть на это, сударыня! – говорил он. – У нас в Нёрребеке можно подышать свежим воздухом!

Когда именно она приехала к нему, из старинных записей не видно, но на подсвечниках в нёрребекской церкви можно прочесть, что они принесены церкви в дар господином Палле Дюре и Марией Груббе, владельцами Нёрребека.

Телом и силами Палле Дюре похвастаться мог, вино он всасывал в себя как губка, как бездонная бочка, а храпел, как целое стадо свиней. Красный он был, разбухший!

– Ехидный, да и задира вдобавок, – говорила про него госпожа Палле Дюре, урожденная Груббе.

Скоро ей наскучило вести такую жизнь, но жизнь-то от этого лучше не становилась.

И вот в один прекрасный день стол был накрыт и кушанья остыли: Палле Дюре охотился за лисицами, а госпожи нигде не могли отыскать. Палле Дюре вернулся домой около полуночи, а госпожа Дюре не вернулась ни ночью, ни на другой день утром. Она покинула Нёрребек, ушла, не простившись ни с кем.

Погода стояла сырая, серая, дул холодный ветер, над головою Марии с криком вились стаи черных птиц, – они-то не были такими бездомными беглянками, как она.

Мария сначала направилась к югу, в Германию, тут золотые перстни с драгоценными камнями были обращены в деньги, потом она направилась на восток, потом опять повернула на запад, – у нее не было перед собой никакой цели, она сердилась на всех и на все, даже на Бога, так ожесточена была ее душа. Но вот силы начали изменять ей, она едва передвигала ноги от усталости, наконец запнулась о кочку и упала. С кочки взлетела пигалица и пискнула: «Чув-чув! Ах ты, воровка!» Мария никогда не посягала на добро ближнего, но птичьи яйца и птенцов приказывала красть для себя, когда была маленькая. Теперь она припомнила это.

С того места, где она лежала, видны были береговые дюны, там жили рыбаки, но она не могла добраться до них, так она была слаба. Большие белые чайки пролетали над нею и кричали так же пронзительно, как кричали, бывало, грачи, вороны и галки в усадьбе, птицы подлетали к Марии все ближе и ближе, под конец из белых стали черными как уголь да и все потемнело в ее глазах...

Когда она опять открыла их, она увидела, что ее подняли и несут на руках. Нес ее высокий, сильный малый. Она взглянула в его бородатое

лицо – над глазом у него был глубокий шрам, бровь как будто была перерезана пополам. Он отнес несчастную женщину на судно, где служил матросом, а шкипер разругал его за это на чем свет стоит.

На другой день корабль отплыл. Марию Груббе не высадили, значит, и она тоже отправилась в плавание. Но она, конечно, вернулась обратно? Да, только когда и куда?

И об этом пономарь мог рассказать; при этом он ровно ничего не выдумывал от себя, а почерпал все свои сведения из достоверного источника – из одной старой книги, которую мы и сами можем взять да прочесть. Написал ее датский историк Людвиг Хольберг, автор многих прекрасных книг и забавных комедий, которые так живо рисуют нам его век и современников. В своих письмах Хольберг рассказывает о своей встрече с Марией Груббе. Об этом стоит послушать, но все же мы не забудем из-за этого птичницы Греты, что сидит теперь такая веселая и довольная в своем великолепном птичнике.



Остановились мы на том, что Мария Груббе отплыла на корабле.  
Прошли годы.

В Копенгагене в 1711 году свирепствовала чума. Королева Дании отплыла на родину в Германию, король тоже покинул столицу, да и все, кто только мог, бежали из нее. Старались выбраться из города и студенты, даже те, что пользовались даровым помещением и столом. В так называемой «Борховской коллегии» оставался всего один студент, да и тот собирался уехать. Было два часа утра, когда он вышел оттуда с ранцем на плечах; в нем больше было книг и рукописей, нежели платья и белья. Над городом навис густой тягучий туман, на улицах не было видно ни души. Кругом почти на всех дверях и воротах стояли кресты, — в тех домах были больные чумою или все уже вымерли. Не было видно людей и в более широкой извилистой Кёдманнергаде, как называлась тогда улица от Круглой башни до Королевского дворца. Но вот мимо прокатила тяжелая телега. Кучер пощелкивал кнутом, лошади неслись вскачь; телега была битком



набита трупами. Молодой студент поднес руку к носу и стал вдыхать крепкий спирт, в который была омочена губка, уложенная в медную коробочку. Из кабака в одном из переулков раздавались дикое пение и хохот. Люди пьянствовали там всю ночь, чтобы забыть о чуме, стоявшей за дверями и готовый уложить их в телегу к другим мертвецам. Студент направился к дворцовому мосту; у набережной стояла пара небольших судов; одно уже готовилось отплыть из зараженного города.

– Коли Бог даст, будем живы и дождемся попутного ветра, пойдем в Гренсунн к Фальстеру! – сказал шкипер и спросил студента, желавшего сесть на судно, как его зовут.

– Людвиг Хольберг! – ответил тот, и имя это прозвучало тогда как и всякое другое, теперь же оно принадлежит к славнейшим датским именам! А тогда-то он был простой, не известный никому, бедный студент.

Судно проплыло мимо дворца, и не успело рассвети, как оно уже вышло в открытое море. Поднялся легкий ветерок, паруса надулись, молодой студент сел лицом против свежего ветра да и заснул; нельзя сказать, чтобы это было с его стороны особенно благоразумно!

Уже на третье утро судно встало на якорь у Фальстера.

– Не знаете ли вы, у кого бы мне найти здесь пристанище за небольшую плату? – спросил Хольберг у капитана.

– Думаю, что лучше всего вам обратиться к перевозчице на перевозе Боррехус, – ответил тот. – Если хотите быть с нею любезнее, зовите ее матушкой Сёрен Сёренсен Мёллер! Но смотрите, не слишком-то уж любезничайте, не то она рассердится! Муж ее арестован за убийство, и она сама теперь правит перевозом – лапищи у нее здоровые!

Студент забрал свою котомку и пошел в домик перевозчицы. Дверь не была заперта; он приподнял щеколду и вошел в комнату, выстланную кирпичом. Главной мебелью была длинная скамья, покрытая большим меховым одеялом. К скамье была привязана белая насадка с цыплятами; она опрокинула блюдечко с питьем, и вода разлилась по полу. Ни в этой, ни в соседней комнате не было ни души, кроме грудного ребенка в колыбельке. Но вот показалась лодка, отплывшая от противоположного берега; в ней кто-то сидел, но кто именно – мужчина или женщина, решить было мудрено: сидевший

был закутан в широкий плащ с капюшоном, покрывавшим голову. Лодка пристала к берегу.

Из нее вышла и вступила в комнату женщина, еще очень видная собой – особенно когда выпрямляла спину. Из-под черных бровей гордо смотрели черные глаза. Это и была сама матушка Сёрен, перевозчица. Грачи, вороны и галки прокричали бы, впрочем, другое, более знакомое нам имя.

Сурово глядела она, скупа была на слова, но все же студенту удалось сговориться с нею насчет платы за стол и за помещение на то время, пока в Копенгагене будет обстоять неблагоприятно.

В домик перевозчицы частенько заглядывали из ближайшего городка некоторые почтенные граждане вроде Франца Ножовщика и Сиверта Обозревателя Мешков. Они потягивали из кружек пивцо и беседовали со студентом. Он был мастер своего дела, как выражались они, – читал по-латыни и по-гречески и умел потолковать об ученых предметах.

– Чем меньше знаешь, тем легче живется! – заметила однажды матушка Сёрен.

– Да, вот вам-то нелегко приходится! – сказал Хольберг, застав ее за стиркою белья в щелоке, причем ей самой приходилось раскалывать тяжелые плахи на подтопку.

– Ну, про то я одна знаю! – ответила она.

– Что ж вы, с малых лет так колотитесь?



– Это видно по рукам; прочесть, чай, нетрудно! – сказала она, показывая ему свои, правда, маленькие, но огрубелые и сильные руки с обкусанными ногтями. – Вы ведь ученый!

Около Рождества начались сильные метели; мороз крепчал, ветер как будто промывал людям лица царскою водкою. Но матушка Сёрен не боялась никакой погоды, завернувшись в свой плащ да надвинув капюшон на голову.

Было не поздно, но в комнатке уже совсем стемнело; хозяйка подложила в печку хвороста и вереска, сама уселась возле и принялась штопать свои чулки – другому некому было взяться за это дело. Под вечер она стала словоохотливее, чем это вообще было в ее привычках. Она заговорила о своем муже.

– Он нечаянно убил одного драгерского шкипера и должен за это три года пробыть на каторге. Что ж, он ведь простой матрос, так должно поступать с ним по закону!

– Поступают по закону и с лицами высшего сословия! – сказал Хольберг.

– Вы думаете? – сказала матушка Сёрен и поглядела в огонь, но затем начала снова: – А вы слышали о Кае Люкке? Он велел скрыть одну из своих церквей, а когда священник Мас стал громить его за это с кафедры, приказал заковать духовного отца в цепи, созвал суд и сам приговорил его к казни. И священнику отрубили голову! Это уж не было нечаянным убийством, а Кая Люкке все-таки не тронули!

– Он действовал сообразно нравам своего времени! – сказал Хольберг. – Теперь эти времена миновали!

– Рассказывайте! – сказала матушка Сёрен, встала и пошла в другую каморку, где была «девчурка», прибрала и уложила ее, потом приготовила на скамье постель студенту. меховое одеяло было отдано ему, – он был куда чувствительнее к холоду, чем они, даром что родился в Норвегии.

Утро в день Нового года было ясное, солнечное, мороз, однако, стоял такой, что нанесенный метелью снег превратился в твердую кору и по нему можно было ходить как по полу. Колокола в городе зазвонили к обедне. Студент завернулся в свой шерстяной плащ и собрался пойти в город.

Над домиком перевозчицы с криком и карканьем летали грачи, вороны и галки, из-за их крика не слышно было даже колокольного звона. Матушка Сёрен стояла за порогом и набирала в котелок снегу, чтобы вскипятить воды. Она смотрела на стаи птиц и думала свою думушку.

Студент пошел в церковь; на пути туда и обратно ему пришлось проходить мимо дома Сиверта Обозревателя Мешков. Когда студент проходил во второй раз, его зазвали выпить кружку теплого пива с сиропом и имбирем. Речь зашла о матушке Сёрен, но хозяин не много мог сообщить о ней, знал только, что она не здешняя, что у нее когда-то водились деньжонки и что муж ее, простой матрос, убил сгоряча одного драгерского шкипера. «Он бивал и жену, но она стоит за него горой!»

– Я бы такого обращения не потерпела! – сказала хозяйка. – Ну, да и то сказать, я лучшего происхождения! Мой отец ведь был королевским ткачом чулок!

– Да и замужем-то вы за королевским чиновником! – сказал Хольберг и откланялся хозяйке.

Вот подошел и вечер, а в вечер Нового года празднуется память трех восточных царей, пришедших на поклонение младенцу Иисусу, и матушка Сёрен зажгла для Хольберга в честь трех царей особую «тройную» сальную свечу собственного изделия.



– По одной свечке для каждого мужа! – сказал Хольберг.

– Для каждого мужа? – спросила женщина и пристально посмотрела на него.

– Ну да, для каждого из восточных мужей! – сказал студент.

– Ах, вы вот о чем! – сказала она и долго сидела молча.

Но все-таки в этот вечер студенту удалось вывести от нее кое-что.

– Вы любите своего мужа? – начал Хольберг. – А поговаривают, что он обходился с вами жестоко.

– Это никого не касается, кроме меня, – ответила она. – Такие побои принесли бы мне большую пользу в детстве, теперь же они достаются мне, вероятно, за мои грехи! О том же, сколько добра он мне сделал, знаю я одна!

И она выпрямилась.

– Я валялась в степи больная, и никому не было дела до меня, кроме разве грачей да ворон, которые готовы были заклевать меня! А он взял меня на руки и отнес на судно, не побоялся головомойки шкипера за такой груз! Я не из хворых и скоро оправилась. Каждый живет по-своему, и Сёрен по-своему. Нельзя судить клячу по узде! С ним мне все-таки жилось куда лучше, нежели с любезнейшим и знатнейшим из всех подданных короля. Я ведь была замужем за наместником Гюльденлёве, сводным братом короля. Потом я вышла за Палле Дюре. Оба – одного поля ягоды! У каждого свой вкус, и у меня свой! Заболталась я, однако, с вами, ну, да зато теперь вы знаете все!

И она ушла из комнаты.

Это была Мария Груббе! Вот как обернулось для нее колесо счастья! Немного еще новогодних вечеров довелось ей пережить. Хольберг пишет, что она умерла в июне 1716 года, но он не пишет о том, – да он и не знал этого, – что, когда матушка Сёрен, как ее называли, лежала в гробу, над домом молча носились стаи больших черных птиц, – они как будто знали, что там, где похороны, надо соблюдать тишину. После же того, как тело предали земле, черные птицы улетели, и никто больше не видал их в той местности. Зато в тот же вечер над старою усадьбой в Ютландии виднелись целые стаи грачей, ворон и галок, готовых перекричать друг друга. Они словно торопились поделиться вестью, что таскавший их яйца и покрытых пушком птенцов крестьянский мальчишка работает теперь в кандалах на каторге, а благородная девица окончила жизнь перевозчицей через Гренсунн. «Кра! Кра! Бра! Бра! Браво!» – кричали птицы. То же кричали они, когда срывали старую усадьбу.

– Они и теперь кричат то же, а и кричать-то уж не о чем! – сказал пономарь. – Весь род Груббе вымер, усадьба срыта, и на месте ее стоит теперь нарядный птичник с вызолоченными флюгерами, а в нем сидит птичница Грета. Как она радуется своему прелестному

жилищу! Не попади она сюда, ей ведь пришлось бы доживать век в богадельне!

Над нею ворковали голубки, вокруг хлопали индейки, кричали утки.

– Никто не знает ее! – толковали они. – Безродная она. Милость Божья, что она попала сюда. Нет у нее ни селезня-батюшки, ни курицы-матушки, ни деток!

Но она все-таки не была безродной: предки-то у нее были, только она не знала их. Не знал их и пономарь, сколько ни валялось у него в ящике стола рукописей; знала и рассказывала об этом лишь одна из старых ворон. Она еще от матери своей и бабушки слышала о матери и о бабушке Греты. Последнюю-то и мы знаем, знаем еще с тех пор, как она девочкой проезжала по подъемному мосту и гордо посматривала кругом, словно весь свет и все птичьи гнезда принадлежали ей одной. Видели мы ее потом в степи, около дюн, и, наконец, у перевоза через Гренсунн.

Внучка ее, последняя в роде, опять попала туда, где стояла старая усадьба и где кричали черные дикие птицы, но она-то сидела в кругу ручных, домашних птиц. Они знали ее, и она знала их. Птичнице Грете нечего было больше желать, она бы рада была и умереть теперь – стара уж она стала.

«Гроб! Гроб!» – кричали вороны.

И птичницу Грету положили в гроб и схоронили, но где – никто не знает, кроме старой вороны, если только и та не околела.

Так вот, мы теперь узнали историю старой усадьбы и древнего рода, узнали и о предках птичницы Греты.





## 1870-е

### Что сказала вся семья

Что сказала вся семья? А вот послушайте сначала, что сказала маленькая Мари! У Мари был день рождения, чудеснейший день в году, по ее мнению. К ней собрались поиграть все ее маленькие друзья и подруги; одета она была в лучшее свое платье, которое подарила ей бабушка.

Теперь бабушка была уже у Боженьки, но она сама скроила и сшила это платье, прежде чем улетела на ясное небо. Стол в девочкиной комнатке был весь завален подарками. Тут была и чудеснейшая маленькая кухня со всеми кухонными принадлежностями, и кукла, которая умела закрывать глаза и кричать «ай», если ей давили животик, и книжка с чудными картинками и сказками для чтения – разумеется, для тех, кто уже умел читать! Но лучше всех сказок была возможность пережить еще много-много таких дней рождения.

– То-то хорошо жить на свете! – сказала Мари, и крестный подтвердил, что жизнь – чудеснейшая из сказок.

В соседней комнате расхаживали двое братишек Мари, славные мальчики, один девяти, другой одиннадцати лет. Они тоже были довольны жизнью, находили, что жить на свете чудесно, но жить на их лад, быть не такими малютками, как младшая сестренка, а заправскими школьниками, получать хорошие отметки, всласть драться с товарищами, кататься на коньках зимою и на велосипеде летом, читать рыцарские романы с описаниями замков, рыцарей, темниц да слушать об открытиях во Внутренней Африке. Одного из мальчиков, впрочем, сокрушала забота, что к тому времени, как он успеет вырасти, все уже будет открыто, но в таком случае он решил просто-напросто пуститься по свету искать самых что ни на есть сказочных приключений. Недаром же крестный говорил, что жизнь – чудеснейшая из сказок!

Так вот какой разговор шел в детской. В следующем же этаже, повыше, проживала другая ветвь той же семьи. Здесь тоже были дети, но эти-то давно стоптали свои детские башмаки: одному сыну было

семнадцать, другому двадцать, а третий так и вовсе был стариком, по словам Мари: ему исполнилось целых двадцать пять, и он уже был женихом. Всем сыновьям удалось хорошо пристроиться, родители у них были добрые, одевались они хорошо, были одарены прекрасными способностями и знали, чего хотели: «Вперед! Долой все старые заборы, чтобы видно было на все стороны, чтобы можно было осмотреться на белом свете, чудеснейшем, какой только нам известен! Крестный прав: „жизнь – чудеснейшая из сказок”!»

Отец с матерью, оба люди пожилые, – разумеется, они должны были быть постарше своих детей – говорили с улыбкой на устах, в глазах и в сердце:

– Как они еще юны! Не все-то на свете таково, как они себе воображают, но ничего, жить все-таки можно! Жизнь в самом деле удивительная, чудесная сказка!

Над ними, поближе к небу, как говорится о жилых помещениях под самую крышей, проживал крестный. Стар он уже был, но в то же время так еще молод душою, так весел! Он всегда готов был рассказывать истории – длинные, интересные, и немудрено, что у него их был большой запас, – он таки погулял по белу свету! В его комнатке были собраны редкости из всех стран мира, стены были увешаны картинами, в окнах вставлены разноцветные желтые и красные стекла. Поглядишь через них, и кажется, будто все залито солнцем, какая бы ни стояла на дворе сырая, пасмурная погода. В большом стеклянном ящике росли зеленые растения, а внутри его помещался сосуд, в котором плавали золотые рыбки. Они глядели на вас, точно знали много-много такого, чего не хотели сообщать. В комнатке разливалось благоухание цветов даже зимою, когда в камине ярко пылал огонь. Славно было сидеть тут, глядеть на огонь да прислушиваться к трескотне и шипению в камине!

– Огонь рассказывает мне о былом! – говорил крестный, и маленькой Мари казалось даже, что огонь рисует ей картинки!

В большом шкафу рядом с камином хранились книги. Одну из них крестный читал и перечитывал особенно часто, называя ее «Книгой книг»: это была Библия. В ней отражался в ярких образах весь мир земной, история всего человечества, рассказывалось о сотворении мира, о Всемирном потопе, о царях и о «царе царей».

– В этой книге говорится обо всем, что было и что будет! – говорил крестный. – Вот как много содержит в себе она одна! Подумай! А все, о чем только может просить человек, вложено в одну краткую молитву «Отче наш!». Она – капля Божественного милосердия, жемчужина утешения, ниспосланная нам Богом. Она кладется, как лучший дар, в колыбельку ребенка, к его сердцу. Дитя, храни ее как зеницу ока! Не теряй ее никогда, даже когда вырастешь, и ты не заблудишься на спутанных тропинках жизни. Она будет светить изнутри тебя, и ты не погибнешь!

И при этих словах глаза крестного сияли радостью. Они плакали всего раз, в молодые годы, но «и это было хорошо! – говорил он. – То было время испытания, весь мир Божий казался мне пасмурным! Теперь же опять вокруг меня и во мне самом ярко светит солнышко. Да, чем старше становишься, тем яснее видишь, что всюду, и по течению, и против течения, ведет нас сам Господь и что жизнь – чудеснейшая из сказок! Такою мог сделать ее для нас лишь Он один! Он же продолжит ее для нас и в вечности!»

– То-то хорошо жить на свете! – сказала малютка Мари. То же сказали и маленькие мальчики, и молодые люди, и мать, и отец – вся семья. Но прежде всех сказал это крестный, а он-то больше всех был умудрен и опытом, и годами! Он знал всевозможные истории и сказки и все-таки сказал, и сказал от глубины сердца, что «жизнь – чудеснейшая из сказок»!

1870

**Свечи**



Жила-была большая восковая свеча; она-то уж знала себе цену.

— Я из воска и отлита в форме! — говорила она. — Я горю ярче и дольше других свеч; место мое в люстре или в серебряном подсвечнике!

— То-то, должно быть, счастливая жизнь! — сказала сальная свечка. — А я-то только из сала: фитиль мой макали в сало, и вот вышла я! Но все же я утешаюсь тем, что я настоящая толстая свечка, а не какая-нибудь захудалая! Бывают ведь и такие свечки, которые обмакиваются только два раза, меня же макали в сало целых восемь раз, пока я наконец растолстела как следует. Я довольна! Конечно, лучше, аристократичнее родиться восковою свечкой, а не сальной, но ведь не сами же мы выбираем себе положение в свете! Восковые свечи попадут в зал, в хрустальную люстру, я останусь в кухне, но и это недурное место — кухня кормит весь дом!

— Но есть кое-что и поважнее еды! — сказала восковая свеча. — Хорошее общество! Быть свидетельницей всего этого блеска, блестеть

самой!.. Сегодня вечером в доме бал, скоро меня и всю нашу семью возьмут отсюда!

Только что она проговорила это, все восковые свечи были взяты, но вместе с ними была взята и сальная. Госпожа сама взяла ее своею изящною ручкой и отнесла на кухню. Тут стоял маленький мальчик с корзиною, полною картофеля. Туда же пошли и несколько яблок. Все это дала бедняжке добрая барыня.

– А вот тебе еще свечка! – прибавила она. – Мать твоя опять будет работать ночью – ей свечка пригодится!

Маленькая дочка барыни стояла тут же и, услышав слово «ночью», радостно воскликнула:

– Я тоже не буду спать сегодня ночью! У нас бал, и на меня наденут платьице с красными бантиками!

Какою радостью сияли ее глазки! Где было восковой свечке сравниться блеском с этою парой детских глазок!

«Просто прелесть! – подумала сальная свечка. – Я никогда не забуду этих глазок! Да мне и увидеть-то их, пожалуй, больше не придется!»

Тут ее уложили в корзину, прикрыли крышкою, и мальчик унес корзинку домой.

«Куда-то я теперь попаду! – думала свечка. – К бедным людям; там, пожалуй, не найдется для меня и медного подсвечника, а восковая-то свечка будет себе сидеть в серебре, любоваться знатным обществом! То-то, должно быть, приятно освещать избранное общество! А вот меня судьба создала сальною, а не восковою свечкою!»

И свечка попала к бедным людям, к вдове с троими детьми, в низенькую каморку, что приходилась как раз напротив богатого дома.

– Бог наградит барыню за все это! – сказала мать. – Вот-то чудесная свечка! Она прогорит за полночь.

И свечку зажгли.

– Апчихи-чхи! – зачихала она. – Фу, как эти спички воняют серою! Небось таких не поднесут в богатом доме к восковой свечке!

А там тоже зажгли свечи, и из окон полился яркий свет на улицу. К дому то и дело подъезжали кареты с разряженными гостями. Заиграла музыка.

«Вот уже началось там! – подумала сальная свечка и вспомнила личико маленькой девочки, сиявшее ярче всех восковых свечей в мире. – Никогда я не забуду его!»

В эту минуту к столу подошла младшая девочка в семье и одною ручонкой обвила за шейку брата, другою сестренку: ей надо было сообщить им что-то очень важное, чего нельзя и сказать иначе, как на ушко!

– Вечером – подумайте! – у нас будет горячая картошка!

И глазки ее так и сияли от восторга. Свечка светила ей прямо в лицо и видела на нем такую же радость, такое же счастье, какими светилось личико богатой девочки, мечтавшей о красных бантиках!

«Разве горячая картошка такая же прелесть, как красные бантики? – подумала свечка. – Малютки-то ведь одинаково радуются!»

И она чихнула, то есть затрещала; сальные свечи иначе не умеют чихать.

Стол накрыли и принялись за картошку. Какая она была вкусная! Чудо! Это был целый пир, а на закуску каждому досталось по яблоку! После трапезы самая младшая девочка проговорила коротенький стишок:

Благодарю я, Боженька, тебя  
За то, что снова накормил меня!  
Аминь!

– Хорошо я прочитала, мама? – спросила она затем.

– Об этом не надо спрашивать! – ответила мать. – Ты должна думать не о себе, а только о Боженьке, который накормил тебя!

Детишки улепись спать, мать перецеловала их, и они сейчас же заснули, сама же мать села за шитье и сидела далеко за полночь, чтобы заработать себе и детям на пропитание. А там, в богатых покоях, сияли свечи, гремела музыка. Звезды же блестели на небе одинаково ярко и приветливо и для богатых, и для бедных.

«А ведь, в сущности, я провела славный вечер! – подумала сальная свечка. – Лучше ли было восковым свечам в серебряных подсвечниках? Вот бы узнать это, прежде чем сгорю!»

И она опять стала вспоминать два одинаково сияющих личика: одно освещенное восковою свечкой, другое – сальною.

Да, вот и все.

*1870*

## Прадедушка



Прадедушка был такой славный, умный и добрый, все мы так любили и уважали его. Сначала-то, с тех самых пор, как я себя помню, его звали дедушкой, но вот у моего старшего брата Фредрика родился сынок, и дедушку произвели в прадедушки. Выше этого звания ему уж не подняться было в жизни. Он очень любил нас всех, но наше время не особенно-то жаловал.

— То ли дело было в доброе старое время! — говаривал он. — То время было солидное, степенное! А теперь все несутся сломя голову, все идет вверх дном! Молодежь ораторствует, говорит о королях так, как будто они им ровня! Любой господин с улицы может обмакнуть свою тряпку в грязную лужу да выжать ее над головой почтенного деятеля!

И, говоря это, прадедушка весь краснел, но потом опять успокаивался, улыбался своею обычною ласковою улыбкой и говорил:



– Ну! Я, может быть, и не вполне прав! Но я человек старого времени и не могу попасть в ногу с новым! Предоставим же Господу Богу вести его!

Слушая рассказы прадедушки о старых временах, я как будто сам переживал их: разъезжал мысленно в золотой карете с гайдуками, видел церемонии перенесения цеховой вывески с музыкой и знаменами, участвовал в забавных святочных развлечениях и играх. Правда, и в те времена было много дурного и ужасного: колеса, дыбы, кровопролитие, но даже и эти ужасы имели в себе что-то заманчивое! Много и хорошего узнавал я из рассказов прадедушки: узнал, например, о датских дворянах, освободивших крестьян, о датском кронпринце, прекратившем торговлю рабами.

Да, славно было послушать рассказы прадедушки о днях его молодости, но предшествовавшее тому время было все-таки еще лучше – такое сильное, могучее!

– Жестокое, варварское! – отозвался брат Фредрик. – Слава богу, что оно миновало!

Он так прямо и заявил это прадедушке! Не совсем-то это было хорошо с его стороны, но я все-таки очень уважал Фредрика. Он был моим старшим братом, «мог бы даже быть моим отцом», говорил он сам; такой чудак! Он блестяще сдал свой студенческий экзамен, а в конторе у отца занимался так прилежно, что скоро его допустили к участию в делах фирмы. Он был любимцем прадедушки, но они вечно спорили друг с другом. «Эти двое никогда не поймут друг друга, никогда не столкнутся», – говорила о них вся семья, а я, как ни мал был, все-таки заметил, что эти двое и обойтись друг без друга не могут!

Когда Фредрик рассказывал или читал при прадедушке о новых научных открытиях и изобретениях, знаменующих наше время, глаза старика так и светились.

– Люди становятся умнее, но не добрее! – говаривал он, однако, вслед за тем. – Они изобретают на гибель друг другу ужаснейшие орудия истребления.

– Зато тем скорее и войне конец! – возражал Фредрик. – Теперь уже не приходится ждать мира по семи лет! Мир страдает полнокровием, и пускать ему время от времени кровь необходимо!

Раз Фредрик рассказал прадедуске о происшествии, действительно случившемся в одном городке. Часы бургомистра, большие часы на башне ратуши, устанавливали время для всего города. Часы шли не совсем верно, но все же весь город сообразовался с ними. Но вот провели железную дорогу; она была связана с железнодорожной сетью других стран, и тут уж приходилось точно рассчитывать время, а то поездам недолго было и столкнуться! На вокзале были установлены свои солнечные часы; они указывали время верно, не то что бургомистровы, и вот все жители города стали проверять свои часы по железнодорожным.

Я засмеялся – история показалась мне забавною.

Но прадедуска и не думал смеяться; напротив, он стал еще серьезнее.

– В твоём рассказе есть кое-что! – начал он, обращаясь к Фредрику. – И я понимаю, зачем ты это рассказал мне. Твои часы очень поучительны. Они приводят мне на память другие часы, старые, простые борнхольмские часы с тяжелыми свинцовыми гирями, принадлежавшие моим родителям. По этим часам жили мои родители, жил и я, когда был ребенком. Может быть, они шли и не совсем верно, но все-таки шли, а мы смотрели на стрелку и верили ей, не заботясь о колесах внутри. Так-то вот обстояло тогда дело и с государственным механизмом: люди спокойно верили тому, что показывали стрелки. Теперь же государственный механизм стал часами из стекла; все устройство их на виду: видишь, как вертятся и жужжат колеса, боишься за каждый зубчик, за каждое колесико, сомневаешься, верно ли бьют часы, ну и прежнего детского доверия уже нет! Вот слабость нашего времени!

И прадедуска кончал тем, что начинал горячиться. Они с Фредриком никак не могли столковаться, но и разлучить их было трудно – «как прошлое с настоящим». Это поняли они оба и вся семья, когда Фредрику пришлось отправиться по делам фирмы в далекий путь, в Америку. Тяжело было прадедуске перенести такую разлуку: далеко ведь отправлялся Фредрик – за море, в другую часть света!

– Каждые две недели ты будешь получать от меня по письму! – сказал Фредрик. – А еще быстрее всякого письма прилетит к вам от меня весточка по телеграфной проволоке. Вместо дней понадобятся часы, вместо часов – минуты!

Первый привет пришел от Фредрика по телеграфу из Англии; он послал его, садясь на корабль, отплывавший в Америку. А затем быстрее всякого письма – хоть бы его взяли доставить сами несущиеся облака – пришел привет из Америки, где Фредрик высадился всего несколько часов тому назад!

– Наше время озарила поистине Божественная мысль! – сказал тогда прадедушка. – Телеграф – благодеяние для человечества!

– И Фредрик говорил мне, что первое открытие этих сил сделано у нас на родине! – сказал я.

– Да! – ответил прадедушка и поцеловал меня. – Да, и я сам глядел в те ласковые очи, которые первые проникли в тайны этой новой силы природы! В них светилась такая же детская душа, как в твоих! Довелось мне и пожать ему руку!

Тут прадедушка опять поцеловал меня.

Прошло более месяца, и вот мы получили от Фредрика письмо, извещавшее о его помолвке с молодой прелестною девушкой, которую, конечно, полюбит вся семья. В письмо была вложена ее фотографическая карточка, и мы рассматривали ее на все лады – и простым глазом, и сквозь увеличительное стекло. То-то ведь и хорошо в этих фотографических снимках, что их можно рассматривать сквозь самые сильные увеличительные стекла и сходство выступает только еще сильнее! А этого не могли добиться художники-портретисты, даже самые величайшие из старинных мастеров!

– Обладай этим изобретением старое время, мы могли бы теперь видеть перед собою лицом к лицу всех великих людей и благодетелей человечества! – сказал прадедушка. – Как, однако, эта девочка мила и добра на вид! – И он опять впился глазами в карточку, лежавшую под увеличительным стеклом. – Теперь я узнаю ее, как только она ступит на порог!

Но этого могло и не случиться никогда! Чуть-чуть было так и не вышло! К счастью, мы узнали об опасности, только когда она уже миновала.

Молодые новобрачные счастливо и весело достигли Англии, а оттуда отправились на пароходе в Копенгаген. Они уже видели датские берега и белые песчаные дюны Западной Ютландии, как вдруг поднялась буря, пароход налетел на мель и сел. Волны вздымались горами и грозили разбить его; нельзя было даже спустить

спасательных лодок. Настала ночь, но вот ночной мрак прорезала яркая ракета, пущенная на погибающий пароход с берега. Ракета перебросила на пароход канат, и между судном и берегом установилось сообщение. Скоро над темными бурными волнами заскользила по канату спасательная корзина с красивою молодою женщиной. Она была высажена на твердую землю, спасена! И как же была она счастлива, когда возле нее очутился и молодой ее муж! Все пассажиры и команда парохода были спасены таким же способом еще до рассвета.

А мы-то сладко спали у себя в Копенгагене, не думая ни о какой опасности, и только когда мы все сидели за утренним кофе, до нас дошла полученная в городе по телеграфу весть о гибели английского корабля у западного берега. Сердце у нас так и упало. Но в ту же минуту подоспела и телеграмма от дорогих наших молодых: они спаслись и скоро должны были быть у нас!

Все плакали; плакали и я и прадедушка. Потом он набожно сложил руки и – я уверен – благословил новое время.

В тот же день он пожертвовал двести риксдалеров на памятник Гансу Христиану Эрстеду.

Когда вернулся со своею молодою женою Фредрик и услышал об этом, он сказал:

– Вот это дело, прадедушка! Теперь я, кстати, прочту тебе, что писал много лет тому назад о старом и новом времени сам Эрстед!

– Он, конечно, был твоего мнения? – спросил прадедушка.

– Еще бы! – ответил Фредрик. – Да и ты теперь того же мнения – иначе бы ты не внес своей лепты на памятник ему!

## Самое невероятное

Тот, кто сделает самое невероятное, возьмет за себя принцессу, а за ней в приданое полкоролевства!

Как только объявили это, все молодые люди, да и старики за ними, принялись ломать себе головы, напрягать мозги, жилы и мускулы. Двое объелись, двое опились до смерти – в надежде совершить самое невероятное на свой лад, да не так взялись за дело! Уличные мальчишки вылезали из кожи, чтобы плюнуть самим себе в спину, – невероятнее этого они ничего и представить себе не могли.

Назначен был день для представления на суд всего того, что каждый считал самым невероятным. В число судей попали люди всех возрастов, от трехлетних детей до девяностолетних старцев. Взорам судей представилась целая выставка невероятных вещей, но скоро все единогласно решили, что самую невероятную из них были большие столовые часы удивительного и внутреннего, и внешнего устройства. Каждый раз, как часы били, появлялись живые картины, показывавшие, который час. Таких картин было двенадцать, каждая с движущимися фигурами, пением и разговорами.

– Это самое невероятное! – говорили все.

Било час – и показывался Моисей на горе и чертил на скрижали первую заповедь.

Било два – взорам представлялся райский сад: жилище Адама и Евы, двух счастливых, утопавших в блаженстве, хоть у них и не было ничего – даже шкафа для платья; ну, да они в нем и не нуждались!

В три часа появлялись три царя, шедших с востока на поклонение Иисусу, один из них был черен, как голенище, но не по своей вине, – это солнце так наваксило его! Все трое держали в руках драгоценные дары и благовонные курения.

В четыре показывались четыре времени года: весна с только что распутившеюся буковою ветвью, на которой сидела кукушка; лето с колосом спелой ржи, к которому прицепился кузнечик; осень с пустым гнездом аиста, означавшим, что все птицы улетели, и зима со старою вороной-сказочницей, умевшею рассказывать в уголке за печкою старые предания.

Часы били пять – выходили пять чувств: зрение – в образе оптика, слух – медника, обоняние – продавщицы фиалок и дикого яминника, вкус – повара, а осязание, или чувствительность, – распорядителя похоронной процессии в траурной мантии, спускавшейся до самых пят.

Било шесть – выскакивал игрок, подбрасывал кость кверху, она падала и показывала высшее очко – шесть.

Затем следовали семь дней недели, или семь смертных грехов, насчет этого шли разногласия, да и впрямь трудно было различить их.

После этого выходил хор монахов – восемь человек – и пел заутреню.

Било девять – и являлись девять муз, одна занималась астрономией, другая служила в историческом архиве, а остальные посвятили себя театру.

Било десять – и опять выступал Моисей с двумя скрижалями, на которых были начертаны все десять заповедей.

Било одиннадцать – и выскакивали одиннадцать мальчиков и девочек и начинали играть в игру под названием «Пробил одиннадцатый час».

Наконец, било двенадцать – и являлся ночной сторож, в шлеме, с «утреннею звездою» в руках, и пел старинную песенку ночных сторожей:

Полночь настала,  
Спаситель родился!

А в то время как он пел, вокруг расцветали розы и превращались в головки ангелочков, парящих на радужных крылышках.

Было тут что послушать, на что посмотреть! Вообще часы являлись настоящим чудом, «самым невероятным», по общему мнению.

Художник, творец часов, был человек еще молодой, сердечный, с детски веселою душою, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих бедных родителях. Он вполне заслуживал и руки принцессы, и полкоролевства.

День присуждения награды наступил, весь город убрался по-праздничному, сама принцесса сидела на троне; подушки его набили новым волосом, но трон от этого не стал ни удобнее, ни покойнее. Судьи лукаво поглядывали на юношу, который должен был получить награду, а он стоял такой веселый, бодрый, уверенный в своем счастье, – он ведь сделал самое невероятное.

– Нет, это вот я сейчас сделаю! – закричал высокий, мускулистый парень. – Я совершу самое невероятное.

И он занес над чудесными часами тяжелый топор. Трах! – и все было разбито вдребезги! Колеса и пружины разлетелись по полу, все было разрушено!

– Вот вам я! – сказал силач. – Один удар, и я поразил и его творение, и вас всех! Я сделал самое невероятное!

– Разрушить такое чудо искусства! – толковали судьи. – Да, это самое невероятное!

Весь город повторил то же, и вот принцесса, а с нею и полкоролевства должны были достаться силачу, – закон остается законом, как бы он ни был невероятен.

С вала, со всех башен города было оповещено о свадьбе. Сама принцесса вовсе не радовалась такому обороту дела, но была чудно хороша в подвенечном наряде. Церковь была залита огнями; венчание назначено было поздно вечером – эффектнее выходит. Знатнейшие девушки города с пением повели невесту; рыцари тоже с пением окружили жениха, а он так задира л голову, словно и знать не знал, что такое споткнуться.



Пение умолкло, настала такая тишина, что слышно было бы падение иголки на землю, и вдруг церковные двери с шумом и треском растворились, а там... Бум! Бум! В двери торжественно вошли чудесные часы и стали между женихом и невестой. Умершие люди не могут восстать из могилы — это мы все хорошо знаем, но произведение искусства может возродиться, и оно возродилось; вдребезги была разбита лишь внешность, форма, но идея, одухотворявшая произведение, не погибла.

Произведение искусства вновь стояло целым и невредимым, как будто рука разрушителя и не касалась его. Часы начали бить, сначала пробили час, потом два и так далее — до двенадцати, и картина являлась за картиною. Прежде всех явился Моисей, от чела его исходил пламень, он уронил тяжелые скрижали прямо на ноги жениха и пригвоздил его к месту.



– Поднять их снова я не могу! – сказал Моисей. – Ты обрубил мне руки. Стой же где стоишь!



Затем явились Адам и Ева, восточные цари и четыре времени года; каждое лицо обратилось к нему со справедливым укором: «Стыдись!» Но он и не думал стыдиться.

Остальные фигуры и группы продолжали выступать из часов по порядку и вырастали в грозные гигантские образы; казалось, что скоро в церкви не останется места для настоящих людей. Когда же наконец пробило двенадцать и выступил ночной сторож в шлеме и с «утреннею звездой», в церкви произошло смятение: сторож прямо направился к жениху и хватил его своим жезлом по лбу.

– Лежи! – сказал он. – Мера за меру! Теперь и мы отомщены, и художник! Исчезнем!

И произведение искусства исчезло, но свечи в церкви превратились в большие светящиеся цветы; золотые звезды, рассыпанные по потолку, засияли; орган заиграл сам собою. И все сказали, что вот это-то и есть «самое невероятное»!

– Так не угодно ли вызвать сюда настоящего виновника торжества! – молвила принцесса. – Моим мужем и господином будет художник, творец чуда!

И он явился в церковь в сопровождении всего народа. Все радовались его счастью, не нашлось ни одного завистника. Да, вот это-то и было «самое невероятное»!

## Датские народные легенды

Дания богата легендами об исторических личностях, церквах и господских усадьбах, о холмах, полях и бездонных болотах, о великом моровом поветрии, о днях войны и мира. Предания эти запечатлены в книгах и живы в устных народных сказаниях; словно птичьи стаи, легенды крылаты, и все они так же разнятся одна от другой, как дрозд от совы или горlinkа от чайки. Послушайте меня, и я расскажу вам несколько из них.

Как-то в старину, когда враги напали на датскую землю, произошло сражение, в котором датчане победили, а на поле боя осталось лежать множество убитых и раненых. У одного из них, бойца вражеского войска, пушечным ядром оторвало обе ноги. Поблизости от него остановился датский солдат и достал флягу с пивом; едва он поднес горлышко к губам, как тяжело раненный враг попросил у него попить. Не успел датчанин наклониться и протянуть ему флягу, как раненый выстрелил ему в грудь из пистолета, но промахнулся. Датчанин отвел протянутую уже руку, выпил сам половину фляги, а остальное отдал врагу со словами: «Ах ты, мерзавец! Получай же теперь вполровину меньше!»

Узнав об этом, король пожаловал солдату и его потомкам дворянский герб, на котором в память о его поступке была изображена опустошенная фляга.

Прекрасная легенда о церковном колоколе из Фарума тоже просится, чтобы ее рассказать. Рядом с церковью находилась пасторская усадьба. Однажды темной осенней ночью пастор засиделся допоздна, сочиня воскресную проповедь, как вдруг ему послышался странный звук, как будто загудел церковный колокол. Стояла безветренная погода, поэтому пастор удивился, отчего гудит колокол. Он встал из-за стола, взял ключи и отправился в церковь. Когда он вошел внутрь, колокол умолк, но тут до его слуха донесся сверху чей-то глубокий вздох.

— Кто здесь? Кто нарушил покой церкви? — громко спросил пастор.

С колокольни послышались спускающиеся по лестнице шаги, и на пороге показался мальчик.

– Не сердитесь! – сказал он. – Я там спрятался во время вечерней службы. Матушка моя тяжело больна...

Дальше мальчик не мог говорить, его душили слезы. Пастор погладил ребенка по щечке, сказал, что не надо бояться, и попросил рассказать, в чем было дело.

– Говорят, что матушка – моя милая, добрая мамочка! – скоро умрет. А я знаю, что от смертельной болезни можно выздороветь, если кто-нибудь не побоится пойти ночью в церковь и соскоблить с большого церковного колокола немного ржавчины. Говорят, это может спасти человека от смерти. Поэтому я забрался на колокольню и ждал, когда часы пробьют полночь. Мне было так страшно! Я все время думал о мертвецах, которые придут в церковь. Я не смел оглянуться назад, но я сказал молитву и соскоблил немножко ржавчины с колокола.

– Пойдем отсюда, дитя мое, – сказал пастор. – Господь наш не покинет твою матушку и тебя.

И вот они вдвоем пошли в убогое жилище, где лежала больная женщина. Она мирно спала спокойным сном. Господь даровал ей жизнь, и Божье благословение воссияло над нею и над ее сыном.

Есть еще предание о бедном пареньке Поуле Вендельбо, который достиг почета и сделался знаменитым человеком. Поуль Вендельбо родился в Ютландии. Он так усердно учился, что сдал студенческий экзамен, однако больше, чем студентом, ему хотелось стать солдатом и побывать в чужих странах. Однажды, гуляя вместе с двумя молодыми приятелями из богатых семей на городском валу Копенгагена, он рассказал им о своей мечте. Нечаянно остановившись перед домом одного профессора, он поднял голову и увидел сидящую у окна девушку, ее красота поразила Поуля и его спутников. Увидев, что он покраснел, они в шутку предложили:

– Войди в дом, Поуль. Если ты добьешься, что она тебя сама поцелует на наших глазах перед открытым окном, то мы дадим тебе денег на путешествие, тогда ты сможешь поехать за границу испытать свое счастье – может быть, там тебе повезет больше, чем дома.

Поуль Вендельбо вошел в дом и постучался в гостиную.

– Отца нет дома, – сказала девушка.

– Не сердитесь на меня! – ответил юноша и залился краской. – Я пришел не к вашему батюшке!

А затем он просто и откровенно поведал ей о своем желании повидать свет и честными заслугами сделать себе имя. Он рассказал девушке и про двух приятелей, оставшихся стоять на улице, которые пообещали ему денег на путешествие при условии, что она сама его поцелует у раскрытого окна. Он смотрел на девушку, и лицо его выражало такую благородную прямогу и чистосердечие, что она перестала на него сердиться.

– Вы нехорошо поступили, обратившись с такими словами к порядочной и скромной девушке, – сказала она, – но вы мне кажетесь достойным человеком, и я не хочу мешать вашему счастью!

С этими словами она подвела его к окну и поцеловала. Друзья сдержали данное обещание и снабдили юношу деньгами. Он поступил на службу к русскому царю, участвовал в сражении под Полтавой и снискал себе славу и знатное имя. Потом, когда потребовалось послужить родной стране, он вернулся в Данию, стал знаменитым полководцем и был призван в королевский совет. В один прекрасный день он наведлся в скромное жилище профессора, но, как и в первый раз, не затем, чтобы повидаться с хозяином дома: ему опять нужна была хозяйская дочка Ингеборг Виндинг, чей поцелуй стал залогом его удачи. Спустя две недели Поуль Вендельбо Лёвенарн справил с ней свадьбу.

Однажды остров Фюн пережил страшное нашествие, все было сожжено и разграблено. Уцелела только одна деревенька, но и той грозило неминуемое разорение. На краю деревни в приземистом домишке жила чета бедняков. Дело было зимой. Смеркалось. Вот-вот должны были нагрянуть враги. Измученные тревожным ожиданием обитатели домика схватились за книгу псалмов и наугад раскрыли ее, уповая, что попадут на псалом, в котором найдут утешение и поддержку. Книга раскрылась на псалме «Оплот надежный наш Господь», они его пропели. Воспрянув духом и укрепившись в вере, оба спокойно легли и мирно проспали до утра. Когда они проснулись, кругом было темно и дневной свет не проникал в окна. Они хотели выйти, но дверь не поддавалась. Тогда они залезли на чердак, открыли слуховое окно и увидели, что на дворе ясный день, а весь дом по самую крышу завален снегом; и враги, которые ночью разграбили и спалили всю деревню, прошли мимо их дома, не заметив его. Муж и

жена набожно сложили руки, возблагодарили Бога и еще раз пропели псалом «Оплот надежный». Бог защитил их, воздвигнув вокруг домика снежный заслон.

Из Северной Зеландии пришла к нам повесть о мрачном происшествии, которое будоражит воображение. В Рёрвиге церковь стоит на самом краю города, среди песчаных дюн, за которыми волнуется бурный Каттегат. Однажды под вечер там бросил якорь большой корабль; говорят, что он принадлежал русскому военному флоту. Ночью кто-то постучался в калитку пасторской усадьбы; несколько вооруженных людей в масках велели священнику надеть облачение и следовать за ними в церковь. Они обещали ему хорошее вознаграждение, а в случае отказа угрожали расправой. Священник отправился с ними в церковь. Внутри при зажженных свечах находилось собрание незнакомых людей, в храме царило молчание. Перед алтарем стояли в ожидании жених и невеста, одетые роскошно, как особы высокого звания. Невеста была бледна как смерть. Едва кончилось венчание, раздался выстрел, и невеста бездыханную упала перед алтарем. Тело подняли и понесли вон, следом за носильщиками удалились все остальные. Наутро корабль снялся с якоря и уплыл. До сего дня никто не смог объяснить это происшествие. Священник, который был его участником, записал все, что видел, в Библию, которая сохранилась у его потомков. Старинная церковь по-прежнему стоит меж дюн на берегу бурного Каттегата, а эта история хранится в записи и в памяти людей.

Надобно рассказать вам еще одну легенду, которая тоже связана с церковью. Жила-была в Дании на острове Фальстер богатая дама из знатной фамилии; она была бездетна, и род ее обречен был пресечься с ее смертью. И вот она решила пожертвовать часть своих богатств на возведение величественной церкви. Когда строительство было закончено и свечи на алтаре возжжены, она подошла к алтарю и, преклонив колени, обратилась к Господу с молитвой, чтобы он ради ее благочестия даровал ей столько лет земной жизни, сколько простоят ее церковь. Шли годы. Поумирала ее родня, померли старинные друзья и знакомцы, все старые слуги из родового замка давно упокоились в могиле, а она, пожелавшая себе такой злой участи, все не умирала.

Одно за другим сменялись перед ней чуждые поколения, она ни с кем не зналась, и с нею не знался никто. Она давно выжила из ума и влачила бессмысленное существование, одинокая и всеми заброшенная; чувства ее притупились, она жила словно во сне, но не умирала. Каждый сочельник жизнь на миг вспыхивала в ее теле и к ней возвращался голос. Тогда слуги должны были по ее повелению укладывать ее в дубовый гроб и относить в церковь, где было приготовлено место погребения. Священник должен был в рождественскую ночь являться к ней на поклон, чтобы выслушать ее распоряжения. Ее укладывали в гроб и относили в церковь. Туда являлся по ее повелению священник, подходил к приготовленной открытой могиле посреди церкви и поднимал крышку гроба, где лежала истомившаяся ожиданием древняя старуха, которой и во гробе не было покоя.

— Стоит ли еще моя церковь? — вопрошала она дребезжащим голосом.

И, услыша ответ священника, что церковь стоит, она тоскливо и тяжело вздыхала и снова ложилась на свое смертное ложе. Священник опять закрывал его крышкой и оставлял до следующего Рождества, а там опять до следующего. Ныне церкви уж нет, от нее не осталось камня на камне, не осталось ни следа от погребенных в ней покойников. И только большой куст белого боярышника растет на этом месте; каждую весну он покрывается дивными цветами, это цветение подобно знамени, свидетельствующему о воскресении мертвых. Говорят, что этот куст вырос на том месте, где стоял гроб знатной дарительницы и где ее прах смешался с землею.

Есть старинное народное предание, в котором говорится, что когда Господь изгнал с небес падших ангелов, часть из них упала на холмы, с тех пор они там и живут, и их называют горным народом, или троллями. Тролли боятся грома и прячутся от грозы, потому что в громе они слышат голос, звучащий с неба. Другая часть упала на пустынные равнины и зовется эльфами; их женщины очень красивы, но им нельзя верить, сзади они пустотелые, и спина у них впалая, точно корыто. Другие попадали на дома и крестьянские дворы и стали домовыми, это малютки ниссы. Они не прочь по-соседски водить с людьми знакомство, и о них ходит множество удивительных историй.

Так вот! В глубине высокого холма в Ютландии жил под землею тролль с целым выводком своих соплеменников. Одна из его дочерей вышла замуж за деревенского кузнеца. Тот был злым человеком и частенько бивал свою жену. В конце концов ей надоело это терпеть, и однажды, когда он опять вздумал ее побить, она взяла в руки подкову и переломила над его головой. У нее была такая силища, что она могла бы без труда и его самого переломить, как подкову. Поразмыслив над этим, он перестал награждать ее колотушками. Однако среди людей начались толки, про кузнечиху пошла нехорошая молва – теперь все узнали, что она дочь тролля. С тех пор никто во всем приходе не хотел с нею знаться. Наконец прослышал об этом тролль. И вот как-то в воскресный день, когда кузнец с женою пришли в церковь и среди других прихожан дожидались у дверей священника, кузнечиха взглянула на фьорд и увидела, что над водой за клубился туман.

– Сейчас батюшка пожалует, – сказала она, – осерчал старый!

Тролль явился и впрямь сердитый.

– Как хочешь, дочка: ты ли будешь кидать мне людишек, а я ловить или мне кидать, а ты будешь ловить? – спросил тролль, нетерпеливо бросая на прихожан алчные взоры.

– Я буду ловить! – ответила она, зная, что в лапах тролля людям не поздоровится.

И вот тролль принялся хватать одного за другим и перебрасывать через церковную крышу, а она бережно подхватывала их по другую сторону. С этого дня у нее наладилась дружба с прихожанами: в том краю было много троллей, и люди их побаивались. Поэтому все поняли, что с такими соседями лучше не ссориться, а пользоваться по знакомству поблажкою. Всем известно, что у троллей припрятаны под землей большие котлы, полные золота; никто не отказался бы разжиться золотишком, зачерпнув оттуда горсточку, но для этого надо было так исхитриться, как сумел один находчивый мужик. Сейчас я расскажу вам про него и про мальчишку, который оказался еще хитрее.

У этого мужика среди поля был холм. Жалко ему было глядеть, что столько земли зря пропадает, и вот однажды он стал пахать на склоне, но тут из холма вылез тролль и спрашивает:

– Как ты смеешь пахать мою крышу?



– Не знал я, что здесь твое жилище, – отвечал мужик. – Только ведь нам с тобой обоим невыгодно, чтобы столько земли пропадало понапрасну. Позволь уж мне вспахать ее и засеять! А как созреет первый урожай, ты заберешь себе все, что вырастет на земле, а я то, что будет под землей, а на следующий год сделаем наоборот.

Так и сговорились. В первый год мужик посеял морковь, а на следующий – жито. От моркови троллю досталась ботва, а от жита – корешки. Так они и зажили в добром согласии.

Но вот однажды у мужика случились крестины. Как тут быть? Нельзя же обойти приглашением тролля, с которым они водили дружбу! Но коли тролль примет приглашение, что тогда подумают о нем священник и все прихожане? Мужик хоть и был хитер, а тут ничего не мог придумать, как ему выкрутиться. Он рассказал о своей беде мальчишке-свинопасу – тот был еще хитрее.

– Я тебе помогу, – сказал мальчишка.

Он взял большой мешок и отправился к холму, где жил тролль. Он постучался, его впустили. Войдя, он объявил, что пришел передать троллю приглашение на крестины. Тролль принял приглашение и обещал прийти.

– Послушай, ведь на крестины, кажется, принято дарить гостинцы? Верно?

– Верно. По обычаю так принято, – сказал мальчишка и подставил мешок. Тролль насыпал ему денег.

– Так будет довольно?

Мальчишка взвесил мешок на руке.

– По большей части как раз столько и дарят.

Тогда тролль высыпал ему все, что еще оставалось в котле.

– Так много никто не дает, обыкновенно дарят поменьше.

– А скажи-ка мне теперь, кого из именитых людей сосед ожидает в гости?

– Трех священников да одного епископа, – сказал мальчишка.

– Ишь как знатно! Ну да ничего! Эти господа смотрят, как бы им поесть да попить, до меня им и дела нет. А еще кто будет?

– Еще будет Богородица.

– Гм-гм! Ну, ничего! Авось для меня найдется местечко где-нибудь за печкой! Хорошо, а еще-то кто придет?

– Ну а еще придет Господь.

– Гм-гм-гм! Вот уж знатный гость! Да ничего! Знатные гости любят прийти попозже и уйти пораньше. А я затаюсь от них в сторонке и отсижусь где-нибудь в укромном уголке. А какая у вас будет музыка?

– Барабанная! – сказал мальчишка. – Хозяин заказал громового грохоту, под эту музыку мы и будем плясать! Гром у нас будет греметь!

– Ой! Подумать только, какие страсти! – воскликнул тролль. – Передай спасибо твоему хозяину за приглашение, но я уж лучше дома посижу. Разве он не знал, что гром и барабаны для меня и всего моего племени страх как противны? Однажды в молодости я вышел погулять, а гром как загрохочет, барабанные палочки заплясали да и съездили меня ненароком по ляжке, так что и кость пополам. Нет уж! Хватит с меня такой музыки! Скажи хозяину, что сосед, мол, благодарствует и велел ему кланяться.

Мальчишка закинул мешок за спину, воротился восвояси и принес хозяину богатые дары с поклоном от соседки.

Много есть у нас преданий в этом роде, однако на сегодня, пожалуй, хватит того, что здесь рассказано.

## «Пляши, куколка, пляши!»



– Ну, это песенка для самых маленьких ребятишек! – уверяла тетя Малле. – Я при всем своем добром желании не могу распевать ее!

Зато это могла малютка Амалия. Ей было всего три года; она играла со своими куклами, занималась их воспитанием и старалась сделать их такими же умными, как тетя Малле.

В дом хаживал студент; он давал уроки братьям Амалии, но часто и подолгу беседовал и с самою крошкой Амалией, и с ее куклами совсем не так, как все взрослые. Малютка находила эти беседы такими забавными, но тетя Малле утверждала, что студент не умеет обходиться с маленькими детьми: их маленьким головкам не переварить его болтовни. А вот Амалия все-таки отлично понимала его и даже заучила с его слов целую песенку «Пляши, куколка, пляши!» и распевала ее трем своим куклам; две были новые: барышня и кавалер, а третья старая, и звали ее Лизой. Но и Лиза тоже слушала песенку и принимала участие в танцах.

Пляши, куколка, пляши!  
Веселись от всей души!  
Разодета ты по моде,  
Кавалер твой в том же роде!  
В белом галстуке, в сапожках

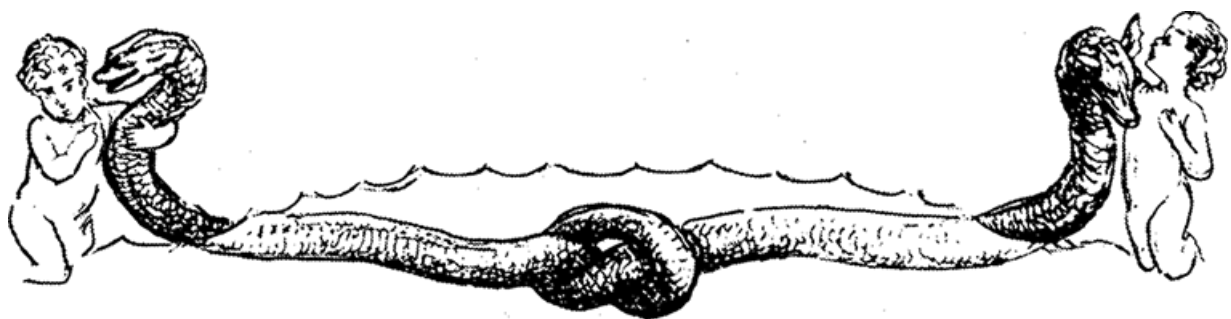
И с мозолями на ножках!  
Как вы оба хороши!  
Пляши, куколка, пляши!  
Да и ты не отставай,  
Лиза, свет мой, не зевей!  
Хоть стара ты и чумаза,  
Без волос ты и без глаза,  
Паричок мы смастерили,  
Щечки, носик приумыли –  
Вновь ты стала хоть куда!  
Так поди ж и ты сюда!  
Пляши, куколка, пляши,  
Веселись от всей души!  
Ручки в бок, вертись живее!  
Вправо! Влево! Ну, бойчее!  
Коль плясать, так уж на славу,  
На здоровье, на забаву,  
Веселиться от души!  
Пляши, куколка, пляши!

И куклы понимали песню, крошка Амалия тоже, и студент тоже. Он ведь сам сочинил ее и сказал, что она очень удалась. Не понимала ее только тетя Малле – она уж давно вышла из пеленок! Но крошка Амалия продолжала распевать песенку.

От нее-то мы ее и переняли.

*1871*

## **Большой морской змей**



Жила-была одна маленькая морская рыбка из хорошей семьи; имени ее не упомяну: это пусть скажут тебе ученые. Было у рыбки тысяча восемьсот сестриц-ровесниц; ни отца, ни матери они не знали, и им с самого рождения пришлось промышлять о себе самим, плавать как знают, а плавать было так весело! Воды для питья было вдоволь – целый океан, о пище тоже беспокоиться не приходилось – и ее хватало, и вот каждая рыбка жила в свое удовольствие, по-своему, не утруждая себя думами.

Солнечные лучи проникали в воду и ярко освещали рыбок и целый мир удивительнейших созданий, кишевших вокруг. Некоторые были чудовищной величины, с такими ужасными пастьми, что могли бы проглотить всех тысячу восемьсот сестриц зараз, но рыбки об этом и не думали – ни одной из них еще не пришлось быть проглоченной.

Маленькие рыбки плавали все вместе стадом, тесно прижавшись друг к другу, как сельди и макрели. Но вот однажды, в то время как они беззаботно плавали себе, ни о чем не думая, в самую середину их стада шумно бухнулась сверху и начала погружаться в воду какая-то тяжелая и такая длинная штука, что ей, казалось, и конца не будет! Она тянулась, стремительно шла ко дну, давя и калеча на пути попадавшихся рыбок. И все рыбы – и маленькие, и большие, и те, что держались на поверхности, и те, что гуляли в глубине, – в ужасе улепетывали в разные стороны. Страшная тяжелая штука между тем погружалась все глубже и глубже, вытягивалась все больше и больше и наконец протянулась на много-много миль по дну морскому, через все море.

Рыбы и моллюски, всё, что плавает, ползает или носится по течению, все видели эту чудовищную штуку, этого невозможного, невиданного морского угря, который так неожиданно свалился к ним в море.

Что же это была за штука? Да, мы-то знаем! Это был огромный, во много миль длиною морской телеграфный кабель, который проложили люди между Европой и Америкой.

То-то смятение, то-то переполох поднялись между законными обитателями моря! Летучие рыбы подпрыгивали на воздух, так высоко, как только могли, а морские петухи выскакивали из воды на целый ружейный выстрел – такие уж прыгуны! Другие же рыбы искали убежища на дне, да так стремительно, что далеко опередили телеграфный кабель и успели напугать и треску и камбал, которые так мирно разгуливали в глубине, поедая своих ближних.

Несколько колбасообразных голотурий так перетрусили, что выплюнули весь свой желудок и все-таки остались в живых, – им это нипочем. А сколько повышло из себя от перепуга омаров и крабов! Да еще как! Так, что под броней остались одни ножки!

Во время всего этого переполоха тысяча восьмьсот сестриц-рыбок рассеялись в разные стороны и больше уж не встречались, а может быть, и встречались, да не узнавали друг друга. С десятков сестриц удержались, впрочем, вместе и, когда первый страх прошел, вышли из оцепенения, в котором пробыли несколько часов, и принялись любопытно озираться вокруг.

Поглядели они по сторонам, поглядели вверх, поглядели вниз, и им показалось, что они видят в глубине ту ужасную штуку, которая так напугала всех: и больших и малых. Она была очень тонка на вид, но ведь, почем знать, насколько она может раздуться или насколько вообще сильна! Она лежала на дне смиренхонько, но они подозревали, что это она только так, лукавит.

– Пусть ее лежит где лежит! Нам до нее дела нет! – сказала самая осторожная из рыбок, но самая маленькая не хотела отказаться разузнать, что это была, собственно, за штука. Явилась она сверху; наверху, значит, надо и начать разведку, и вот рыбки поднялись на поверхность. Стоял штиль; море лежало как зеркало.

Там они встретили дельфина. Это такой гуляка, вертопрах, знай себе кувыркается на морской поверхности, но глаза-то у него есть, – наверное, уж он видел ту штуку и знал о ней что-нибудь! Рыбки приступили к нему с вопросами, но он был занят только самим собою и своими прыжками, ничего не видал, ни о чем не знал и горделиво помалкивал.

Тогда рыбки обратились к тюленю, который только что погрузился в воду. Этот оказался вежливее, нужды нет, что он ест маленьких рыбок; сегодня, впрочем, он был сыт. Он знал немножко побольше прыгуна-дельфина.

– Я много ночей провел далеко отсюда, лежа на мокром камне и поглядывая на землю. Прелукавые создания эти «люди», как они сами себя называют! Они всячески стараются истребить нас, но чаще всего мы ускользаем из их рук. Мне это удавалось, удалось вот и тому морскому угрю, о котором вы спрашиваете. Он попался им в лапы, вероятно, еще в незапамятные времена и с тех пор оставался на земле. Но вот они вздумали перевезти его на судне в другую, еще более отдаленную землю. Я видел, как они старались и тужились и наконец-таки одолели его, – конечно, он успел ослабеть там, на суше! И вот они согнули его в кольцо; я слышал, как он хрустел и трещал, когда они укладывали его, но потом ему все-таки удалось ускользнуть от них сюда! Они держали его изо всех сил, вцепились в него сотнями рук, а он все-таки удрал от них на самое дно и теперь лежит там пока что!

– Он что-то тонок! – сказали рыбы.

– Они заморили его голодом! – ответил тюлень. – Но погодите, он скоро оправится, опять войдет в тело! Я полагаю, что это-то и есть тот большой морской змей, о котором люди так много толкуют и которого так боятся. Раньше я никогда его не видывал и даже не верил в него, но теперь верю. Это он и есть!

И тюлень нырнул вглубь.



– Как много он знает! Как много он насказал! – затараторили рыбки. – Я сроду не знавала столько! Только бы он не наврал нам!

– Мы можем спуститься на дно и удостовериться! – сказала самая маленькая. – По дороге же узнаем, что говорят другие!

– Ну, нет, мы не шевельнем плавником, чтобы разузнавать еще! – сказали остальные рыбки и отстали.

– А я так добьюсь своего! – сказала самая маленькая и устремилась на дно. Но она оказалась далеко от того места, где лежала «длинная штука». Рыбка принялась искать ее, шныряя во все стороны.

Никогда еще не думала она, что мир их так велик. Сельди гуляли огромными стаями, блистая чешуей, словно исполинские лодки из серебра; макрели ходили такими же стаями и сияли еще ярче. Повсюду гуляли рыбы всех родов и видов, всевозможных оттенков. Медузы, точно полупрозрачные цветы, неслись по течению, со дна подымались большие растения, трава в сажень вышиной и пальмообразные деревья; на каждом листке красовались блестящие раковинки.

Наконец рыбка увидела на дне какую-то длинную темную черту и устремилась к ней, но оказалось, что это не рыба и не кабель, а борт затонувшего корабля; верхняя и нижняя палубы его были снесены волнами. Рыбка всплыла в каюту; течение унесло оттуда всех утонувших вместе с кораблем людей, исключая двоих: молодую женщину и ребенка, которого она держала в объятиях. Волны слегка приподымали их, словно баюкая; и мать и ребенок казались спящими.



Рыбка совсем перепугалась: она ведь не знала, что они не могут больше проснуться. Водяные растения обвивали борт корабля и сплелись беседкой над прекрасными трупами матери и ребенка. Как тут было тихо, пустынно! Рыбка поспешила поскорее убраться отсюда, туда, где вода была освещена ярче и где попадались живые рыбы. Немного спустя рыбка встретила молодого кита, огромного-преогромного.

– Не ешь меня! – взмолилась рыбка. – Я такая маленькая, меня и на поток-то не хватит, а мне так хочется жить!

– А что тебе понадобилось тут, в глубине? Тут ваша сестра не водится! – сказал кит.

И рыбка рассказала ему о длинном диковинном угре, или чем там была эта штука, которая погрузилась сверху и напугала даже самых храбрых обитателей моря.

– Ого! – сказал кит и так потянул в себя воду, что можно было представить себе, какой он пустит фонтан, когда опять вынырнет на поверхность! – Ого! – продолжал кит. – Так это та штука, что пощекотала меня по спине, когда я повернулся на другой бок! А я-то думал, что это корабельная мачта, и радовался было, что нашел себе хорошую чесалку! Но случилось это не тут! Нет, штука та лежит подальше! Что ж, надо от нечего делать расследовать, в чем дело!

И он поплыл вперед, а маленькая рыбка за ним – на почтительном расстоянии, – он оставлял за собою такой бурный, пенящийся след.

На пути они встретили акулу и старую меч-рыбу. Те тоже слышали о диковинном тонком и длинном угре, но еще не видели его и непременно хотели поглядеть.

Потом явился морской кот.

– И я с вами! – сказал он. – И если этот большой морской змей не толще якорной цепи, я разом перекушу его пополам! – Тут он открыл свою пасть и показал шесть рядов зубов. – Я могу оставить ими метку на корабельном якоре, так уж этакий-то стебелек и подавно перекушу!

– Вот он! – сказал кит. – Я вижу его! – Он воображал, что видит лучше других. – Глядите, как он подымается, извивается, корчится!

Но это был вовсе не морской змей, а огромный морской угорь в несколько сажен длиной.

– Ну, этого-то я и раньше видала! – заявила меч-рыба. – Не ему наделать такого переполоха в море и перепугать больших рыб!

И все рассказали угрю о новом угре и спросили, не отправится ли и он вместе с ними на разведку.

– Коли тот угорь длиннее меня, так надо ему шею свернуть! – сказал угорь.

– Да, да! – подхватили другие. – Нас довольно, чтобы не спустить ему!

И они двинулись вперед.

Но вот что-то загородило им дорогу, что-то чудовищное, превосходящее своею величиною всех их вместе! Чудовище походило на плавучий остров, который не мог удержаться на поверхности.

Это был старый-престарый кит. Голова его вся поросла водяными растениями, а черная спина была усажена разными гадами и такой массой устриц и ракушек, что казалась вся в белых пятнах.

– Пойдем с нами, старина! – сказали они ему. – Тут появилась новая рыба, которая не может быть терпима!

– Нет, я лучше останусь на месте! – сказал старый кит. – Оставьте меня в покое! О-хо-хо! Я совсем разболелся! Только и облегчения, что всплыть на поверхность да выставить из воды спину! Тогда прилетают добрые, большие морские птицы и ковыряют мне спину. Славно! Если только они не запускают клювы слишком глубоко в жир, а это часто бывает. Вот глядите! Я так и таскаю на спине целый птичий остов! Птица запустила когти слишком глубоко и не могла высвободиться, когда я нырнул вглубь. Теперь рыбки пообчистили ее. Полюбуйтесь-ка на нее да и на меня! Ох, я совсем расхворался!

– Ну, это одно воображение! – сказал молодой кит. – Я никогда не хвораю! Ни одна рыба не хворает!

– Извините! – сказал старый кит. – У угря болит кожа, у карпов бывает оспа и у всех у нас глисты!

– Чепуха! – сказала акула.

Ей не хотелось больше слушать, да и остальным тоже, – у них было другое дело.

Наконец они добрались до места, где лежал телеграфный кабель. Он тянулся через весь океан от Европы до самой Америки, по песчаным мелям, по морскому илу, скалистому грунту, сквозь чащу водяных растений, через целые леса кораллов. Тут, в глубине, течения встречаются, образуются водовороты, кишат несметными стаями рыбы; их тут больше, чем птиц в поднебесье во время перелета.

Движение, плеск, гул, шум... Отголосок этого шума слышится еще внутри больших пустых раковин, если приложить их к уху.

– Вон он лежит! – сказали большие рыбы, а за ними и маленькая, которая первая пустилась на разведку. Они увидели кабель, начало и конец которого терялись из виду.

Губки, полипы и горгоны колыхались на дне, опускались и наклонялись над кабелем, так что он то совсем скрывался под ними, то опять показывался. Морские ежи, моллюски и червяки тоже копошились около него; исполинские пауки, носившие на себе целые поселки паразитов, шагали вдоль по кабелю. Темно-голубые морские колбасы, или как там зовут тех гадов, что едят всем своим телом, лежали смирно и словно принюхивались к новому созданию, лежавшему на дне моря. Камбала и треска перевертывались в воде с боку на бок, чтобы слышать на все стороны. Морские звезды, которые вечно зарываются в ил, выставя наружу только два длинных хоботка с глазами, лежали и таращили глаза в ожидании, что выйдет из всей этой кутерьмы.

Кабель лежал недвижимо, но внутри его кипела жизнь, работали мысли, – он ведь был проводником человеческих мыслей!

– Хитрит он! – сказал кит. – Пожалуй, возьмет да и хлестнет меня в живот, а это мое самое больное место!

– Надо пощупать его! – сказал полип. – У меня длинные руки, гибкие пальцы! Я уже трогал его слегка, а теперь возьмусь покрепче! – И он протянул свои гибкие длиннейшие руки к кабелю и обвил его. – Чешуи на нем нет! – заявил полип. – И кожи нет! Он вряд ли рождает живых детенышей!

Морской угорь растянулся рядом с кабелем и вытянулся как только мог.

– Нет, эта штука длиннее меня! – сказал он. – Ну, да не в одной длине дело, надо тоже иметь и кожу, и желудок, и гибкость!

Молодой силач кит погрузился чуть не на самое дно; так глубоко он еще никогда не погружался.

– Рыба ты или растение? – спросил он. – Или ты просто человеческая выдумка? Тогда тебе не поздоровится!

Телеграфный кабель безмолвствовал; он хоть и разговаривает, да не так: он передает человеческие мысли, которые пробегают в одну секунду сотни миль.

– Или отвечай, или мы загрызем тебя! – крикнула свирепая акула, а за нею повторили то же и остальные:

– Или отвечай, или мы загрызем тебя!

Но кабель не двигался, он думал свое. И как ему было не думать, если он был полон мыслей! Он думал: «Грызите себе на здоровье! Испортите – меня вытащат да исправят! Случалось это с нашим братом, хоть и не в таких больших морях!» Вот почему он и не отвечал. К тому же он был занят другим – телеграфировал; он ведь лежал здесь на дне по служебной обязанности.

А над морем «заходило солнышко», как выражаются люди; оно горело как жар, и облака на небе тоже горели как жар, одно великолепнее другого.

– Теперь нас осветит красным огнем! – сказали полипы. – Тогда, пожалуй, и эту штуку будет виднее, если это вообще нужно.

– Ату его! Ату его! – закричал морской кот, оскаливая зубы.

– Ату его! Ату его! – закричали меч-рыба, кит и морской угорь.

Все бросились вперед, морской кот впереди всех, но только что он хотел укунить кабель, как меч-рыба сгоряча угодила ему своим мечом прямо в зад! Это была большая ошибка, и морской кот так и не укунул кабеля – ослабел!

Пошла кутерьма: большие и малые рыбы, морские огурцы и моллюски сталкивались, тискались, давили, мяли и пожирали друг друга. А кабель лежал себе смирнехонько и делал свое дело. Так оно и следует.

Над морем спустилась ночная тьма, но в море засветились мириады живых маленьких созданий. Светились даже раки величиной меньше булавочной головки! Диковинно, но это так!

Обитатели моря смотрели на кабель. Что же это за штука?

Да, вот был вопрос!

Тут явилась старая морская корова; люди зовут ее «морскою девою» или «водяным». Это была особа женского пола, с хвостом, двумя короткими лапами для гребли и висячими грудями; голова ее была покрыта водорослями и паразитами, чем она очень гордилась.

– Хотите вы знать, в чем дело? – сказала она. – Я одна могу дать вам объяснение. Но я требую за это свободного пастбища на дне морском для меня и всех моих. Я такая же рыба, как и вы, а благодаря упражнению стала и ползучим животным. Я умнее всех в море, я

имею сведения обо всем, что движается вниз и наверх. Штука эта, над которой вы ломаете себе головы, явилась сверху, а все, что является оттуда, – мертво или сейчас же умирает, становится бессильным. Так пусть она себе лежит! Это человеческая выдумка, и больше ничего.

– Ну а по-моему, она значит кое-что побольше! – возразила маленькая рыбка.



– Молчать, макрель! – сказала морская корова.

– Ах ты, колюшка! – сказали другие, и это вышло еще обиднее.

И морская корова объяснила им, что вся эта громкая штука, которая, в сущности-то, и не пискнула даже, только выдумка людская. Затем она прочла небольшую лекцию о коварстве и злобе людей:

– Им хочется изловить нас всех! Они только для того и живут! Закидывают сети, крючки с приманкой – все, чтобы подманить нас. И эта штука тоже нечто вроде большой удочки, – они думают, что мы все так сразу и вцепимся в нее зубами! Глупые! А мы-то неглупы!

Только не троньте этой дряни, она изветшает сама, станет трухой, тиной! Все, что является оттуда, сверху, – гниль, дрянь, никуда не годится!

– Никуда не годится! – подхватили все остальные, присоединяясь к мнению морской коровы, – надо же иметь хоть какое-нибудь!

Но маленькая рыбка осталась при особом мнении. «А может статься, этот огромный, тонкий змей – диковиннейшая морская рыба? Сдается мне, что так!»

«Да, это нечто диковиннейшее!» – скажем вместе с нею и мы, и скажем сознательно и уверенно.

Это-то и есть тот большой морской змей, о котором исстари твердили нам песни и предания.

Он порождение человеческого ума. Люди спустили его на дно морское, и он тянется там от восточной страны до западной, передавая вести с такою же быстротою, с какою доходит до земли луч солнца.

И змей этот все растет в длину, становится все сильнее год от году, проходит по всем морям, окружает кольцом всю землю, прячась то в бурных, то в тихих и таких прозрачных волнах, что шкипер видит в них – словно плывет в прозрачном воздухе – мириады рыб и целый фейерверк красок.

Глубоко-глубоко под водою, на самом дне, покоится этот змей, благодатный змей Мидгарда, окружающий кольцом всю землю и кусающий свой собственный хвост. О него с разлету стучаются лбами рыбы и гады и все-таки не понимают значения этой штуки, не понимают, что это – полный человеческих мыслей, говорящий на всех языках и в то же время немой хранитель тайн, чудо из морских чудес, современный большой морской змей.

## Садовник и господа

Водной миле от столицы лежало старинное барское поместье, в поместье был замок со множеством башен, окруженный толстыми стенами.

В замке жили – конечно, только в летнее время – богатые, знатные господа. Это поместье было лучшим, богатейшим из всех их имений, снаружи замок был как новенький, внутри все было очень удобно и уютно устроено. Над воротами красовался высеченный из камня родовой герб господ; и герб, и весь верхний выступ ворот были обвиты розами. Перед самым замком расстилался зеленый ковер – лужайка, покрытая дерном; в саду рос и красный, и белый терн, и разные редкие цветы – прямо на вольном воздухе, кроме тех, что росли в теплице.

Недаром же господа держали дельного садовника! Любо было посмотреть на цветник, на фруктовый сад и на огород. Но к ним примыкал еще остаток старого сада – площадка, обсаженная кустами самшита, подстриженными в виде корон и пирамид, и на ней два могучих старых дерева, почти всегда оголенных, без единого листочка и словно осыпанных во время какого-нибудь урагана большими комками навоза. На самом же деле эти комки были птичьими гнездами.

На деревьях гнездилась с незапамятных времен масса крикливых грачей и ворон. Тут был настоящий птичий городок; птицы являлись здесь владетельными господами; и то сказать, они были ведь старейшими обитателями усадьбы, а следовательно, и настоящими господами здесь! Им мало было дела до людей, которые копошились там внизу, – они, так сказать, только терпели этих низменных созданий, хотя те порою и палили в них из ружей, так что у них дрожь пробегала по спине и они в ужасе взлетали кверху с криками: «Дуррак! Дуррак!»

Садовник часто говорил господам, что следовало бы срубить эти старые некрасивые деревья и заодно избавиться от крикливых птиц, – они, наверно, улетят тогда в другое место. Но господа не желали расстаться ни с деревьями, ни с птицами: так было в усадьбе в старину, так оно должно было остаться и впредь – никаких перемен.

– Эти деревья – родовое имение птиц, пусть же они владеют им, добрейший Ларсен!

Фамилия садовника была Ларсен, но в данном случае фамилия его ни при чем.

– Да и разве мало у вас места, добрейший Ларсен? И цветник, и теплицы, и фруктовый сад, и огород – все в вашем распоряжении.

Действительно, все это было предоставлено на его полное попечение, и он ухаживал за вверенным ему участком с любовью и усердием. И господа ценили его за это, но вместе с тем и не скрывали, что в гостях им нередко приходилось кушать лучшие фрукты и любоваться более красивыми цветами, чем у себя дома. Это огорчало садовника, – он хотел иметь в господском саду все, что только было лучшего из фруктов и цветов, и употреблял для этого все старания. Он был добрый, честный слуга.

Раз господа позвали его к себе и сказали со всею господскою мягкостью и снисходительностью, что вот-де накануне им пришлось отведать у своих знатных друзей таких вкусных, сочных яблок и груш, что и они, и все остальные гости были просто поражены; конечно, эти плоды, наверно, нездешние, но их надо развести и здесь, если только климат позволит. Господа узнали, что плоды были куплены в городе, в лучшем фруктовом магазине; так вот, пусть садовник съездит туда и узнает, откуда они привезены, а затем выпишет черенки.

Садовник хорошо знал хозяина того магазина, – ему-то как раз он, с согласия господ, и продавал весь излишек фруктов из их сада.





И вот садовник отправился в город и спросил хозяина магазина, откуда он достал эти хваленные яблоки и груши.

— Да из вашего же сада! — ответил тот и показал садовнику плоды.

Садовник сразу признал их.

Как же он был рад! Живо вернулся домой и доложил господам, что и яблоки и груши из их собственного сада.

Господа и верить не хотели:

— Это просто невозможно, Ларсен! Вот если бы вы могли достать от хозяина магазина письменное удостоверение...

Конечно! Удостоверение было доставлено.

— Удивительно! — сказали господа.

С тех пор на господском столе стали ежедневно появляться большие вазы с этими великолепными яблоками и грушами из собственного сада. Стали также рассылать их бочонками всем друзьям, жившим в городе, и за городом, и даже за границу. Господам это доставляло

такое удовольствие! Но они, конечно, не забывали и того, что два последних лета были особенно благоприятны для фруктов, которые удались у всех!

Прошло немного времени. Господа были приглашены на придворный обед. На другой день садовника позвали к господам; во дворце им подавали за десертом удивительно сочные, нежные и вкусные дыни прямо из королевской теплицы.

– Надо вам отправиться к придворному садовнику, Ларсен, и добыть семян этих чудных дынь!

– Да ведь придворный садовник сам брал семена от нас! – радостно сказал садовник.

– Ну, так он сумел выходить из них удивительные плоды! – сказали господа. – Каждая дыня была превосходна!

– Тем больше чести мне! – сказал садовник. – Я могу доложить милостивым господам, что у придворного садовника дыни нынешний год совсем не удались и, увидав, как хороши и вкусны наши, он взял у меня для вчерашнего обеда три штуки.

– Ларсен! Не воображайте, что те дыни из нашего сада!

– А я думаю, что так! – ответил садовник, отправился к придворному садовнику и добыл от него письменное удостоверение, что дыни, поданные вчера к королевскому столу, были взяты из сада его господ.

Господа были поражены, но не стали держать этой истории в секрете, всем показывали удостоверение и повсюду рассылали семена дынь, как прежде черенки яблонь и грушевых деревьев.

А относительно этих черенков приходили известия, что они принялись и деревья стали приносить великолепные плоды, получившие название в честь господской усадьбы; таким образом, имя ее получило теперь известность и на французском, и на немецком, и на английском языках.

Ничего такого господам и не снилось прежде.

– Только бы наш садовник не возомнил о себе слишком много! – говорили они.

Но садовник относился к делу совсем иначе и заботился только о том, чтобы удержать за собою славу одного из лучших садовников в стране. Ради этого он прилагал все старания, чтобы ежегодно иметь в господском саду самые лучшие плоды и цветы. Тем не менее ему

часто приходилось слышать от своих господ, что из всех доставленных им фруктов лучше всего удались ему те первые яблоки и груши. Конечно, и дыни были очень хороши, но это ведь совсем другое дело! Земляника же, хоть и действительно превосходная, все же была не лучше, чем у многих других господ. А случилось один год, что у садовника не удались редиски, так только и разговору было, что о неудавшихся редисках, о том же, что удалось, совсем не говорили.

У господ как будто легче становилось на сердце, если они могли сказать:

– Не повезло вам нынешний год, добрейший Ларсен! – Им просто приятно было говорить: – Да, да, не повезло вам!

Два-три раза в неделю садовник украшал комнаты свежими букетами цветов, подобранных с таким вкусом, что все краски как-то особенно эффектно оттеняли друг друга.

– У вас есть вкус, Ларсен! – говорили господа. – Но это дар Божий, и вы сами тут ни при чем!

Однажды садовник принес в комнаты большую хрустальную вазу, в которой плавал большой лист кувшинки, а на нем покоился яркий голубой цветок величиною с подсолнечник, длинный же толстый стебель его купался в воде.

– Индийский лотос! – вскричали господа.

Никогда еще не видывали они такого цветка! И вот днем его выставляли на яркое солнышко, а вечером освещали искусственным светом, и все гости приходили в восторг от прекрасного, редкого цветка. Такое впечатление цветок произвел даже на самую знатную даму во всей стране – на молодую принцессу, а она была очень умна и добра сердцем.

Господа сочли за честь поднести ей цветок, и она увезла его с собою во дворец, а господа отправились в сад, – им хотелось сорвать себе другой такой же цветок, если только найдется еще хоть один, но ничего не нашли. Тогда они призвали садовника и спросили, откуда он взял голубой лотос.

– Мы напрасно искали его повсюду! – сказали они. – Искали и в теплице, и в цветнике!

– Да там-то вы его и не найдете! – ответил садовник. – Это ведь простой цветок из огорода! Но красив он, правда? Ни дать ни взять, цветок голубого кактуса! А на самом-то деле только цветок артишока!

– Вам следовало заявить нам это сразу! – сказали господа. – А то мы приняли его за редкий тропический цветок! Вы нас скомпрометировали перед принцессою! Она увидала его у нас, и он ей очень понравился, но она не знала, что это за цветок, даром что прошла всю ботанику! Но, конечно, этой науке нет дела до огородных растений! Как же это вам взбрело на ум принести такой цветок в комнату? Ведь нас теперь на смех подымут!

И прекрасный голубой цветок, питомец огорода, был приговорен к изгнанию из барских покоев – тут ему было не место, – а сами господа поехали к принцессе извиниться и объяснить, что это только простой огородный цветок, который садовнику вздумалось принести в комнаты, за что он уже и получил выговор.

– Ну, это и грешно и несправедливо! – сказала принцесса. – Он только открыл нам глаза на прелестный цветок, которого мы прежде не замечали, указав красоту там, где нам и в голову не приходило искать ее! Я велю придворному садовнику ежедневно, пока артишоки будут в цвету, приносить мне в комнату по такому цветку.

И как сказала, так и сделала.

Тогда и господа объявили садовнику, что он опять может приносить им в комнаты свежие цветы артишока.

– В сущности-то, они очень красивы! – сказали они. – И в высшей степени оригинальны!

И садовника даже похвалили.

– А он страсть это любит! – толковали господа потом. – Он словно балованный ребенок у нас!

Осенью случилась страшная буря; разыгралась она ночью и так свирепствовала, что выворотила с корнями много деревьев на опушке леса, а также, к большому огорчению господ, как они сами сказали, и к радости садовника, повалила и два больших старых дерева с птичьими гнездами. Сквозь завывания бури слышны были крики грачей и ворон, которые, по рассказам дворни, даже бились крыльями в оконные стекла.

– Ну, теперь вы рады, Ларсен? – сказали господа. – Буря свалила деревья, и птицы улетели в лес. Ничто больше не напоминает взору о старине! Всякий след ее стерт, уничтожен! Нас это огорчает!

Садовник не сказал ни слова, но решил поскорее приступить к осуществлению своей давнишней мечты – воспользоваться как

следует этим чудесным, залитым солнцем местечком, до которого прежде не смел касаться. Оно послужит к украшению сада, и господа сами будут довольны.

Старые деревья, падая, смяли и переломали старые кусты подстриженного самшита, и садовник решил совсем вырвать их и засадить все местечко простыми полевыми и лесными растениями. Ничего такого не пришло бы в голову другому садовнику! Он рассадил все эти растения как можно лучше: любящие тень – посадил в тени, любящие солнце – на солнышке, заботливо ухаживал за ними, и они разрослись на славу.

Среди этой группы возвышался можжевельник, питомец ютландских степей, напоминающий итальянский кипарис, и блестящий, колючий, вечнозеленый, красивый христов терн, а пониже росли папоротники всех сортов и видов; одни были похожи на миниатюрные пальмы, другие на тонкое прелестное растение венерины волосы. Рос здесь также и скромный репейник, свежие цветы которого так красивы, что их не грех поместить в любой букет. Репейник был посажен на сухом месте, а пониже, в более сыром грунте, рос лопух, также самое простое, но, благодаря своей вышине и размеру листьев, такое красивое декоративное растение. Кроме того, росли здесь и осыпанные цветами, похожие на огромные канделябры царские кудри, взятые с поля, и дикий яминник, и первоцвет, и лесные ландыши, и дикая калла, и трехлистная нежная заячья травка – ну просто запяденье!

А на первом плане опирался на проволочную ограду ряд маленьких грушевых деревьев французской породы. Росли они на самом припеке, за ними заботливо ухаживали, и они скоро стали приносить большие, сочные плоды, какие приносят у себя на родине.

Вместо же двух старых голых деревьев садовник водрузил здесь высокий шест с Даннеброгом на вершине, а рядом с ним другой, обвитый летом и осенью душистым хмелем; зимою же к верхушке его, согласно старинному обычаю, привязывался сноп необмолоченного овса – на поживу птицам небесным. Пусть и птички весело справят сочельник!

– Наш добрейший Ларсен ударился на старости лет в сентиментальность! – сказали господа. – Но нам-то он очень предан!

Около Нового года в одном из иллюстрированных журналов появилась картинка, изображающая старое господское поместье. На ней были также видны и шест с Даннеброгом, и шест с привязанным к нему снопом – рождественским угощением для птиц. К рисунку относилась заметка, в которой приветствовалась прекрасная мысль – воскресить старинный обычай, столь характерный для старого господского поместья.

– Обо всем, что ни сделает этот Ларсен, вечно трубят во все трубы! – сказали господа. – Вот счастливец! Право, кажется, нам в пору гордиться тем, что он служит у нас!

Но они вовсе не гордились этим. Они ведь сознавали себя господами, которые могут и отказать Ларсену, если вздумают. Но, конечно, они ему не отказывали – они были ведь добрые господа, и таких добрых господ немало – к счастью для разных Ларсенов.

Да, вот вам и вся история о «садовнике и господах»!

Поразмыслите же о ней на досуге!

## О чем рассказывала старая Йоханна



Ветер шумит в ветвях старой ивы.

Сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старую Йоханну из богадельни; она все знает, она ведь родилась тут, в окрестности.

Много лет тому назад, когда мимо ивы еще проходила большая столбовая дорога, ива была уже большим, могучим деревом. Стояла она, где и теперь стоит, близ пруда, перед выбеленным домиком портного. Пруд этот в те времена был так велик, что к нему пригоняли на водопой скотину, а в теплые летние дни в нем полоскались голые деревенские ребята. Под самым деревом стоял тогда большой камень, изображавший верстовой столб; теперь он свалился и оброс побегами ежевики.

Новую большую дорогу провели по ту сторону богатой крестьянской усадьбы, а старая стала проселочною, пруд же превратился в подернутую зеленою плесенью лужу. Бухнется в нее лягушка — зелень разойдется, и покажется грязная, черная вода. По краям ее росли и растут осока, тростник и желтые ирисы.

Домишко портного покосился от старости; крыша превратилась в рассадник мха и дикого чеснока. Голубятня обветшала, и в ней свил себе гнездо скворец, а под крышей налепили себе гнезда ласточки, словно домик был приютом счастья.

Когда-то оно так и было; теперь же в нем тишина и запустение. Живет в нем, или, вернее, прозябает, Дурачок Расмус, как его прозвали. Он родился в этом доме, играл тут ребенком, прыгал по полю, лазил через изгородь, полоскался в пруде и карабкался на старую иву.

Она и теперь еще подымает к небу свои роскошные, красивые, большие ветви, как и тогда. Но буря слегка погнула ее ствол, время проделало в нем трещину, ветер занес в нее землю, и из нее сами собою выросли трава, зелень и даже маленькая рябинка.

Ласточки возвращаются сюда каждую весну, начинают летать вокруг дерева и над крышей и чинить свои старые гнезда; Расмус же махнул рукою на свое гнездо, никогда не чинил его. «К чему? Что толку?» – вот какая была у него поговорка, унаследованная от отца.

И он оставался в своем гнезде, а ласточки улетали, но на следующую весну возвращались опять – верные птички! Скворец посвистывал, улетал, опять возвращался и опять насвистывал свою песенку. Когда-то и Расмус свистал с ним взапуски; теперь он и свистать и петь разучился.

Ветер шумел в ветвях старой ивы, шумит и посейчас; сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Йоханну из богадельни: она все знает, может порассказать о том, что было здесь в старину, она – живая хроника.

Дом был еще нов и крепок, когда в него перебрались на житье деревенский портной Ивар Эльсе с женою Марен, люди честные, работающие. Старуха Йоханна была в то время еще девчонкою; отец ее, выделявавший деревянные башмаки, считался чуть ли не последним бедняком в околотке. Много перепало девочке славных кусков хлеба с маслом от доброй Марен – у этой-то еды всегда было вдоволь. Она пользовалась большою благосклонностью помещицы, вечно смеялась, вечно была весела, никогда не вешала носа, болтала без умолку, но, работая языком, не покладала и рук. Иголка в ее руках двигалась так же быстро, как язычок во рту; кроме того, она смотрела и за



хозяйством, и за детьми, а их была без малого дюжина — целых одиннадцать; двенадцатый так и не явился.

— У бедняков вечно полно гнездо птенцов! — ворчал помещик. — Топить бы их, как котят, оставляя лишь одного или парочку из тех, что покрепче, так бед-то было бы меньше!

— Спаси Боже! — говорила жена портного. — Дети — благословение Божье, радость в доме! За каждого лишнего ребенка прочтешь лишний раз «Отче наш» — вот и все! А если и туго приходится, и трудно кормить столько ртов, так стоит приналечь маленько на работу, и выйдешь из беды честь честью! Господь не забудет нас, коли мы его не забываем!

Помещица одобряла Марен, ласково кивала ей головой и часто трепала ее по щеке. А было время, что она даже целовала Марен, но это тогда еще, когда сама была маленькою девочкой, а Марен — ее нянькой. Обе очень любили друг друга, и добрые отношения между ними не порывались.

Каждый год к Рождеству в доме портного появлялся запас провизии на зиму: бочка муки, свиная туша, два гуся, бочонок масла, сыр и яблоки. Все это шло с помещичьего двора и помогало пополнить кладовую. Ивар Эльсе глядел тогда веселее, но скоро опять затягивал свой вечный припев: «Что толку?»

В домике портного было чисто, уютно; на окнах занавески, на подоконниках цветы: гвоздики да бальзамины. На стене в рамке висела азбука, вышитая Марен, а рядом стихотворение, тоже ее собственной работы, — она умела даже подбирать рифмы и почти гордилась тем, что ее фамилия Эльсе (Ölse) являлась единственным словом, рифмовавшимся со словом poise (колбаса).

— Все-таки преимущество перед другими! — говаривала она, смеясь.

Она всегда была в духе, никогда не говорила, как муж: «Что толку?» У нее была своя поговорка: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Так она и делала, и весь дом держался ею. Детишки росли здоровыми, подрастали, покидали родное гнездо, становились сами на ноги и вели себя хорошо.

Самый меньшой из них, Расмус, ребенком был просто красавчик, так что один из лучших живописцев в городе даже взял его раз моделью, но нарисовал совсем голеньким, как мать родила! Картинка

эта висела теперь в королевском дворце; помещица видела ее и сейчас признала маленького Расмуса, даром что он был без платья.

Но вот настало тяжелое время. Портной схватил ревматизм в обеих руках; руки распухли; ни один доктор не мог ничего поделать, даже сама знахарка Стина.

– Не надо вешать носа! – сказала Марен. – В этом толку мало! Теперь у нас парюю здоровых рук меньше, так задам побольше дела моим! Да и Расмус умеет держать иглу в руках!

Он уже и в самом деле сидел на столе, насвистывал и шил; веселый он был мальчик!

Но целыми днями ему не след было сидеть за работою, говорила мать, грешно так мучить ребенка; надо было дать ему и побегать и порезвиться!

Первою подругою Расмуса была Йоханна; она была из еще более бедной семьи, чем Расмус, красотою не отличалась, ходила босиком и в лохмотьях, – некому было о ней заботиться, самой же зашить свои дыры ей в голову не приходило. Она была еще ребенок и весела, как птичка, порхающая на солнышке.



Чаще всего играли дети под большой ивой у каменного столба.

Расмус задавался великими замыслами: он мечтал сделаться важным портным и поселиться в городе, где живут такие мастера, что держат по десяти подмастерьев, – это он слышал от своего отца. Вот к такому-то мастеру Расмус и поступит в подмастерья, а потом сам станет мастером. Тогда Йоханна непременно должна прийти к нему в гости, а если к тому времени выучится стряпать, то может остаться у них и навсегда – готовить им кушанье, и тогда ей отведут свою комнату.

Йоханна не совсем-то этому верила, но Расмус был вполне уверен, что все оно так и сбудется.

Так они сидели вместе под старым деревом, а ветер шумел в ветвях, словно пел песню, ива же пересказывала ее.

Осенью все листья опали, с голых ветвей закапал дождь.

– Они снова зазеленеют на будущий год! – говорила матушка Эльсе.

– Что толку? – ответил муж. – Новый год – новые печали, новые заботы о куске хлеба!

– Кладовая наша полна! – возражала жена. – Спасибо доброй барыне! Я здорова, сил мне не занимать стать, – грех нам и жаловаться!

Рождество семья помещика проводила в имении, но через неделю после Нового года перебиралась обыкновенно в город, где весело проводила зиму, посещая разные балы и собрания и бывая даже при дворе.

Госпожа выписала себе из Парижа два дорогих платья, из такой материи, такого покроя и такой работы, что Марен сроду не видывала ничего великолепнее. Она и выпросила у госпожи позволение прийти в замок еще раз вместе с мужем, чтобы и он мог полюбоваться на платья.

– Ничего такого ни одному деревенскому портному ведь и во сне не снилось! – сказала она.

И вот он увидал платья, но не сказал ни слова, пока не вернулся к себе домой, да и тут сказал лишь то, что говорил всегда: «Что толку?» И на этот раз слова его оказались вещими.

Господа переехали в город, начались балы и праздники, но тут-то как раз старый помещик и умер. Не пришлось молодой госпоже и пощеголять в своих великолепных платьях! Она была очень огорчена, оделась с ног до головы в траур, не позволяла себе надеть даже белого воротничка. Все слуги тоже были одеты в траур, а парадную карету обили тонким черным сукном.

Была ясная морозная ночь, звезды сияли на небе, снег так и сверкал, когда к воротам усадебной церкви подъехала колесница с телом помещика, его привезли сюда из города, чтобы схоронить в фамильном склепе. Управляющий помещьем и деревенский староста, оба верхом, с факелами в руках, встретили гроб у калитки кладбища. Церковь была освещена, священник встретил гроб в дверях. Затем гроб внесли на возвышение перед алтарем, священник сказал приличное случаю слово, а присутствующие пропели псалом. Сама госпожа тоже находилась в церкви, она приехала в парадной траурной карете, обитой черным сукном и внутри и снаружи, ничего такого деревенские жители сроду не видывали.

Всю зиму толковали они о печальной, но пышной церемонии. Да, вот это так были господские похороны!

– Сейчас видно, какой человек умер! – говорили они. – Родился он знатным барином, и схоронили его как знатного барина!

– Что толку? – сказал опять портной. – Теперь у него ни жизни, ни имущества! У нас хоть жизнь-то осталась!

– Да не говори же таких слов! – прервала его жена. – Он ведь обрел вечную жизнь в Царствии Небесном!

– А кто тебе это сказал? – возразил муж. – Мертвое тело – хорошее удобрение для земли, и только! А этот господин даже и удобрением-то послужить не может, он слишком знатен для этого – будет себе гнить в склепе!

– Да оставь ты свои безбожные речи! – вскричала жена. – Говорю тебе, он обрел вечную жизнь!

– А кто тебе сказал это, Марен? – повторил портной.



Но Марен набросила передник на голову маленького Расмуса – ему не след было слушать такие речи, – увела его в сарай и там принялась плакать:

– Это говорил, Расмус, не отец твой, а злой дух! Он забрался в дом и овладел языком твоего отца! Прочти «Отче наш»! Прочтем вместе! –

И она сложила ручки ребенка. – Ну, теперь у меня отлегло от сердца! – сказала она. – Надейся на Бога и сам не плошай!

Год скорби подходил к концу, вдова ходила уже в полутрауре, а в сердце ее печаль давно сменилась полною радостью.

Поговаривали, что к ней присватался жених и она уже подумывает о свадьбе. Марен знала об этом кое-что, а священник и того больше.

В Вербное воскресенье, после проповеди, он должен был огласить предстоящее бракосочетание вдовы. Жених ее был какой-то не то каменотес, не то какой-то ваятель, толковали в народе. Как называть его – никто хорошенько не знал: в те времена Торвальдсен и его искусство еще не были знакомы народу.

Новый помещик был не из знатного рода, но вид у него был очень важный, и занимался он чем-то таким, о чем никто не имел настоящего понятия: знали только, что он имеет дело с глиной да с камнем, что он большой мастер своего дела и к тому же молод и красив.

– Что толку? – говорил, однако, Ивар Эльсе.

И вот в Вербное воскресенье, после проповеди, состоялось оглашение; затем пропели псалмы и приступили к причащению. Портной, Марен и Расмус были в церкви; родители подошли к причастию, мальчик остался сидеть на своем месте, – он еще не был конфирмован.

В последнее время в доме портного ощущался сильный недостаток в одежде; старые платья все изнашивались, их уж вывертывали, перешивали и чинили не раз. В этот же день все трое – и муж, и жена, и сын – были в новых платьях, но из черной, траурной материи, словно собрались на похороны, – на платья им пошла траурная обивка кареты. Мужу вышел из нее сюртук и брюки, жене – платье и Расмусу – полный костюм, да еще на рост, чтобы платье пригodiлось и к конфирмации. На все это, как сказано, пошла и внутренняя и наружная обивка траурной кареты. Никому, собственно, не было нужды добираться до первоначального употребления материи, но люди все-таки живо добрались, и знахарка, умная баба Стина, да еще несколько таких же умниц, которые, однако, не промышляли своим умом, объявили, что эти платья накличат на головы семьи несчастье: «Нельзя одеваться в обивку траурной кареты – сам отправишься на кладбище!»

Йоханна заплакала, услышав такие речи, и так как случилось, что с того самого дня портному стало хуже, то скоро должно было выясниться, на чью именно голову падет несчастье.

Наконец оно и выяснилось.

В первое же воскресенье после Троицы портной Эльсе умер. Теперь Марен осталась одна, — как знаешь, так и справляйся! Она и справлялась: надеялась на Бога и сама не плошала!

Через год Расмус конфирмовался. Пришла пора отдать его в город в учение к настоящему портному, хоть и не к такому, который держал двенадцать подмастерьев. Этот держал только одного, мальчика же Расмуса можно было считать разве за полподмастерья. Расмус был весел, рад тому, что отправляется в город, но Йоханна плакала: она любила его больше, чем сама подозревала. Мать Расмуса осталась в доме одна и продолжала заниматься своим ремеслом.

В это-то время и была открыта новая проезжая дорога, старая же, что шла мимо ивы и дома портного, стала проселочною; пруд зарос, превратился в подернутую зеленою плесенью лужу; верстовой столб свалился — ему незачем было больше стоять, но дерево стояло по-прежнему, все такое же крепкое и красивое, и ветер по-прежнему шумел в его ветвях.

Ласточки улетели, улетел и скворец, но весною все они вернулись опять, потом опять улетели и опять прилетели, когда же вернулись в четвертый раз, вернулся домой и Расмус. Он стал подмастерьем и выровнялся в красивого, но худощавого и слабого здоровьем парня. Он хотел было немедля вскинуть котомку на плечи и пуститься в чужие страны, куда его давно тянуло, но мать стала его удерживать: дома, дескать, лучше! Все дети ее разлетелись из гнезда, он был младшим, дом должен был достаться ему; работы же он и здесь мог достать вдоволь: пусть только сделается странствующим портным, переходит из дома в дом по всей окрестности, работая недели по две то тут, то там, — чем не путешествие? Расмус сдался.

И вот он опять спал под родною кровлей, опять сидел под старою ивой и прислушивался к шуму ветвей.

Он был красив, свистал, как птица, умел петь и новые и старинные песни и скоро стал желанным гостем во многих богатых крестьянских домах, особенно же в доме Клауса Хансена, чуть ли не первого богача в окрестности.

Дочка его Эльса цвела, как роза; улыбка не сходила с ее уст, и находились-таки злые люди, поговаривавшие, что она смеется только для того, чтобы показывать свои хорошенькие зубки. Что ж, такая уж она была хохотунья, вечно готова дурачиться, шутить! К ней все шло.

Она полюбила Расмуса, а он полюбил ее, но ни он, ни она не обмолвились о том друг другу ни словом.

И вот он стал задумываться и грустить: в его характере было больше отцовского, нежели материнского. Весел он был только в присутствии Эльсы; тогда они оба смеялись и шалили напропалую, но, хотя и не раз при этом представлялся удобный случай, Расмус так и не признался Эльсе в своей любви. «Что толку? – думал он. – Родители ищут ей богатого жениха, а у меня ничего нет. Так лучше бежать от нее!» Но на это у него не хватало сил: Эльса как будто держала его на привязи и могла заставить его петь и свистать, словно ручную птицу.

Йоханна служила у Клауса Хансена в работницах; на ней лежала разная черная работа по дому; она возила на поле молочную бочку и доила там вместе с другими работницами коров, возила туда и навоз, когда надо было. Она не бывала в хозяйских горницах и нечасто видала Расмуса или Эльсу, но слышала от других, что они чуть ли не жених и невеста.

«Расмус идет в гору! – думала она. – И дай ему Бог!» Но глаза ее при этом наполнялись слезами, хотя, казалось бы, о чем тут плакать?

В городе была ярмарка; Клаус Хансен отправился туда с дочерью, а с ними и Расмус. Он сидел рядом с Эльсой всю дорогу, и туда и обратно. Сердце его было переполнено любовью, но он не сказал о том Эльсе ни слова.

«Должен же он, однако, объясниться со мною! – думала девушка вполне резонно. – А не заговорит сам, так я расшевелю его!»

И скоро в доме стали поговаривать, что за Эльсу сватается самый богатый крестьянин в окрестности. Так оно и было, но никто не знал, что ответила ему Эльса.

У Расмуса и голова кругом пошла.

Однажды вечером Эльса надела на пальчик золотое кольцо и спросила у Расмуса, что оно означает.

– Обручение! – ответил тот.

– А с кем, по-твоему? – спросила она.



– С тем богачом, что сватался за тебя!

– Угадал! – сказала она, кивнула головкой и скрылась.

Скрылся и он, пришел домой к матери совсем вне себя и сейчас же принялся завязывать свою котомку: «В путь-дорогу! Куда глаза глядят!» Не помогли и слезы матери.

Он вырезал себе палку из ветви старой ивы и так насвистывал при этом, словно у него и невесть как весело было на душе, – чего-чего ведь не насмотрится он теперь на белом свете!

– Для меня-то это большое горе! – сказала мать. – Но для тебя, конечно, самое лучшее уехать, так и мне надо примириться с этим. Но надейся на Бога, да не плошай и сам, и я увижу тебя опять молодцом!

Он пошел по новой дороге и увидел издали Йоханну, которая везла на поле навоз. Она еще не успела заметить его, а ему и не хотелось этого, и он присел за изгородью у канавы. Йоханна проехала мимо.



Расмус отправился бродить по белу свету, но где бродил – никому не было известно. Мать, впрочем, надеялась, что не пройдет и года, как он вернется домой. «Теперь ведь он увидит столько нового, будет ему чем поразвлечься, ну, он мало-помалу и войдет в старую колею. Да, в его характере больно много отцовского, лучше бы он был в меня, бедное дитятко! Но он все-таки вернется домой – не может же он бросить и меня и дом!»

И мать собиралась ждать год. Эльса прождала только месяц, а потом отправилась тайком к знахарке Стине, та и полечивала, и на картах, и на кофейной гуще ворожила.

Она, конечно, сейчас же узнала, где находится Расмус, – только в кофейную гущу поглядела. Он находится в чужом городе, но названия его она не могла прочесть. В городе том было много солдат и красивых девушек, и он собирался или стать под ружье, или жениться на одной из девушек.

Тут Эльса не выдержала и заявила, что отдала бы всю свою копилку с деньгами, только бы вернуть Расмуса, но никто не должен был знать об этом!

И старуха обещала вернуть Расмуса, она знала одно средство, правда, очень опасное, так что прибегать к нему следовало только в крайних случаях. Надо было заварить кашу и поставить ее на огонь, каша будет кипеть, и Расмусу – где бы он ни был – придется вернуться, вернуться туда, где кипит каша и ждет его возлюбленная. Пройдут, может быть, месяцы, прежде чем он вернется, но вернуться он должен, если только жив. Он будет спешить домой без оглядки, без отдыха, день и ночь, через моря и горы, во всякую погоду, несмотря ни на какую усталость. Его будет неудержимо тянуть домой, и он вернется домой!

Была первая четверть луны, а это-то как раз, по словам Стины, и требовалось для ворожбы. Погода стояла бурная, старая ива так и трещала. Стина отломила от нее веточку, связала ее узлом – узел этот должен был притянуть Расмуса – и бросила ее в горшок. Затем знахарка набрала с крыши дома мху и дикого чеснока, положила в горшок и их, поставила горшок на огонь и велела Эльсе вырвать листок из молитвенника. Та случайно вырвала листок с опечатками. «Все едино!» – сказала Стина и бросила и его в кашу.

И много еще всякой всячины пришлось бросить в кашу, которая должна была кипеть не переставая, пока Расмус не вернется домой.

Черному петуху старой Стины пришлось расстаться со своим красным гребешком, а Эльсе – со своим толстым золотым кольцом. И оно пошло в кашу; Эльса так никогда и не получила его обратно; впрочем, Стина заранее предупредила ее об этом. Страсть какая была умная эта Стина! Да и не перечесть всех вещей, какие попали в кашу, которая не сходила с огня, или с горячих угольев, или с теплой золы. Знали же о том только Стина да Эльса.

Месяц нарождался и убывал, а Эльса все навевалась к Стине с тем же вопросом: «Что, все еще не видать его?»

– Много знаю я! – отвечала Стина. – Много вижу, но сколько еще остается ему идти – не вижу. Впрочем, он уже перешел первые горы! Теперь он в море и терпит непогоду! Но долго еще идти ему через дремучие леса! Ноги его покрылись волдырями, тело его треплет лихорадка, а он все должен идти, идти без конца, без отдыха!

– Ах нет, нет! – сказала Эльса. – Мне жалко его!

– Ну, уж теперь его нельзя остановить! А остановим – он упадет мертвым на дороге!

Прошел год. Стояло полнолуние; ветер шумел в ветвях ивы; на небе, при свете месяца, показалась радуга.

– Вот это хороший знак! – сказала Стина. – Значит, Расмус скоро придет!

Но он не приходил.

– Да, коли ждешь, время тянется ой-ой как долго! – говорила Стина.

– Ну а мне надоело ждать! – сказала Эльса, стала заходить к Стине все реже и реже и перестала приносить ей новые подарки.

На душе у Эльсы становилось все легче, и вот в одно прекрасное утро все узнали, что Эльса согласилась выйти за богача крестьянина.

Она отправилась взглянуть на его двор и земли, на скот и прочее добро; все оказалось в добром порядке, и свадьбу незачем было больше откладывать.

Отпраздновали ее на славу; пировали целых три дня. Плясали под звуки скрипок и кларнетов. Никто из окрестных жителей не был обойден приглашением; была на свадьбе и матушка Эльсе, и, когда веселье кончилось, дружки поблагодарили гостей за честь, а

музыканты сыграли в последний раз, она пошла домой с полной корзиной остатков от свадебного угощения.

Дверь дома она приперла снаружи, продев в колечки щепку, но, подходя к дому, она заметила, что щепка выдернута и дверь стоит настежь. В горнице сидел Расмус! Он вернулся домой, вернулся в этот самый час. Но боже, на нем не было лица! Как он пожелтел, похудел – одни кости да кожа!

– Расмус! – вскричала мать. – Тебя ли я вижу? Жалость берет, глядя на тебя! Но как же я рада, что ты вернулся!

И она угостила его вкусными кушаньями, которые принесла с пира: куском жаркого и свадебным пирожным.

А он сказал, что часто вспоминал в последнее время мать, свой дом и старую иву. Диво просто, как часто снились ему это дерево и босоногая Йоханна!

Об Эльсе он и не упомянул. Он был болен и слег в постель; мы-то не подумаем, что в болезни его и возвращении была виновата каша Стины, это думали только сама Стина да Эльса, но и они молчали о том.

У Расмуса сделалась горячка; болезнь была заразительна, и никто не заглядывал в домик портного, кроме Йоханны. Она горько плакала, глядя на больного.

Доктор прописывал ему лекарства, но он не хотел их принимать.

– Что толку? – говорил он.

– Как что? Поправишься! – уговаривала его мать. – Надейся на Бога, да и сам не плошай! Я бы жизнь отдала, только бы мне увидеть тебя опять здоровым и веселым, услышать твой свист и пение!

И Расмус избавился от болезни, но зато передал ее матери, и Господь отозвал к себе ее, а не его.

Пусто стало в доме; хозяйство пришло в упадок.

– Плох он! – говорили про него соседи. – Совсем дурачком стал!

Бурную жизнь вел он во время своих странствований, вот что высосало из него жизненные соки, а не каша! Волосы его поредели и поседели; к настоящему труду он был уже негоден. «Да и что толку?» – говорил он и охотнее заглядывал в кабачок, чем в церковь.

Однажды ненастным осенним вечером он с трудом тащился по дурной дороге из кабачка к себе домой; матери его давно не было в

живых; ласточки и скворец улетели; все покинули его, кроме Йоханны. Она догнала его и пошла с ним рядом.

– Возьми себя в руки, Расмус! – сказала она.

– Что толку? – возразил он.

– Дурная у тебя поговорка! – продолжала она. – Вспомни-ка лучше поговорку матери: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Ты вот этого не делаешь, Расмус, а надо! Никогда не говори: «Что толку?» Этим ты подрываешь в корне всякое дело!

Она проводила его до дверей дома и ушла, но он не вошел в дом, а присел под старою ивой на повалившийся верстовой столб.

Ветер шумел в ветвях дерева; слышалась не то песня, не то речь, и Расмус отвечал на нее, но никто не слышал его, кроме дерева да шумящего в ветвях ветра.

– Брр! Как холодно! Верно, пора в постель! Уснуть, уснуть!

И он пошел, да не домой, а к пруду, там споткнулся и упал. Дождь так и лил, ветер обдавал его холодом, но он ничего не чувствовал. Встало солнышко, к пруду стали слетаться вороны, и Расмус очнулся, но тело его почти заоченело. Упав он туда, где теперь лежали его ноги, головою, ему бы не встать вовеки, болотная плесень стала бы его саваном!

Днем в дом портного зашла Йоханна; не будь ее, плохо бы пришлось Расмусу; она свезла его в больницу.

– Мы знаем друг друга с детских лет! – сказала она. – Мать твою поила и кормила меня; никогда мне не воздать ей за это! Но я надеюсь, что ты выздоровеешь и опять станешь человеком!

И Господу Богу угодно было поднять его на ноги. Но в здоровье его, и телесном и духовном, пошли с тех пор скачки – то лучше, то хуже.

Ласточки и скворец по-прежнему улетали и прилетали; Расмус состарился преждевременно. Одиноким бобылем жил он в своем доме, который ветшал все больше и больше. Совсем обнищал Расмус, стал беднее Йоханны.

– Веры у тебя нет! – говорила она. – А коли у нас нет веры в Бога, так что же у нас есть? Следовало бы тебе сходить к причастию! Ты ведь не причащался с самой конфирмации.

– Что в этом толку? – ответил он.

– Ну, коли ты так рассуждаешь, так лучше и не ходи! Невольных гостей Господь не хочет видеть за своим столом. Но вспомни свою

мать, свое детство! Ты был тогда добрым, набожным мальчиком. Хочешь, я прочту тебе псалом?

– Что толку? – молвил он.

– Меня псалмы всегда утешают! – сказала она.

– Йоханна, ты стала святошей!

И он посмотрел на нее усталым, тусклым взглядом.

А Йоханна прочла псалом – не по книге, у нее не было ее, а наизусть.

– Прекрасные слова! – сказал он. – Но я не могу хорошенько вникнуть в них. Голова у меня такая тяжелая.

Расмус стал стариком, но и Эльса была уже немолода. Упомянем о ней к слову. Расмус же никогда не упоминал о ней. Она была уже бабушкой. Резвая маленькая внучка ее играла раз с другими деревенскими детьми, а Расмус проходил мимо, опираясь на палку. Увидав детей, он остановился и с улыбкой стал смотреть на их игру – в памяти его воскресло бывшее. Но внучка Эльсы указала на него пальчиком и закричала: «Дурачок Расмус!» Другие девочки подхватили: «Дурачок Расмус!» – и пустились преследовать старика.



Тяжелый то был, пасмурный день; за ним потянулись такие же, но в конце концов ненастье всегда сменяется солнышком.

Утро в день Троицы выдалось чудесное; церковь вся была убрана зелеными березками; пахло точно в лесу; солнышко играло на церковных стульях; большие свечи у алтаря так и сияли. Приступили к причащению; Иоханна была в числе причастниц, но Расмуса не было. Как раз в это утро Господь отозвал его к себе.

А у Бога всякий найдет и милосердие и сострадание!

Прошло много лет; дом портного все еще стоит, все еще держится, но в нем уже никто не живет — он, пожалуй, упадет в первую же бурю. Пруд весь зарос тростником и трилистником.

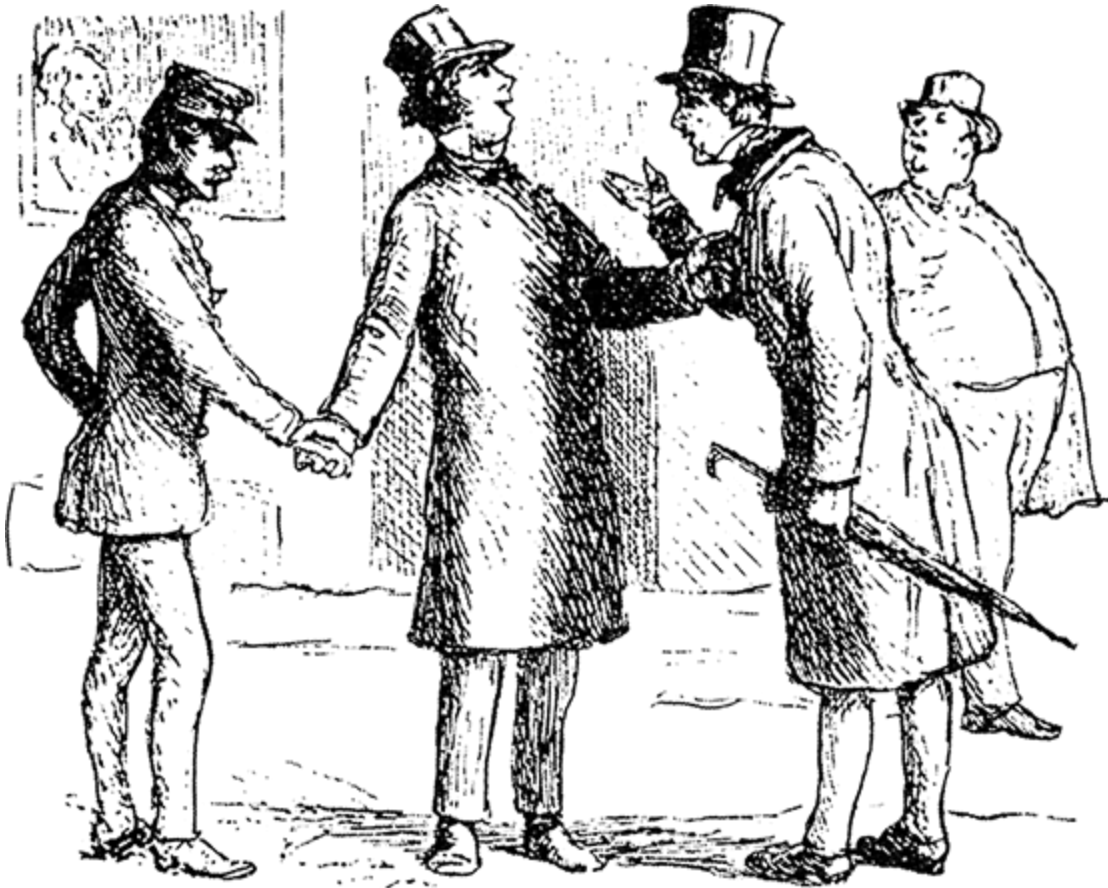
Ветер шумит в ветвях старого дерева. Сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старую Йоханну из богадельни!

Она живет там, поет свой псалом, который пела Расмусу,  
вспоминает о нем и молит за него Творца – верная душа! Она-то вот и  
может рассказать тебе о былом, растолковать, о чем шумит ветер в  
ветвях старой ивы!

*1872*



## Ключ от ворот



У каждого ключа своя история, и самих-то ключей много, есть камергерские ключи, есть часовые, есть ключи святого Петра и много других. Мы могли бы рассказать кое-что обо всех, но теперь расскажем только о ключе надворного советника.

Ключ этот делал слесарь, но самому-то ключу могло показаться, что его ковал кузнец – так тот неистово колотил и пилил его. Ключ был чересчур велик для брючных карманов – приходилось носить его в сюртучном. Тут он частенько полеживал в потемках; обычное же место его было на стене, рядом с силуэтом, изображавшим советника в детском возрасте; лицо советника напоминало на нем сдобную лепешку, окруженную курчавыми волосами.

Говорят, что в характере и манерах всякого человека есть нечто, напоминающее о созвездии, под которым он родился: например, о созвездии Быка, Девы, Скорпиона. Но советница не ссылалась ни на

одно из созвездий, поименованных в календаре, а говорила, что муж ее родился под никому не известным созвездием Тачки – его вечно надо было подталкивать. Отец толкнул его на службу, мать толкнула жениться, а жена дотолкала до чина надворного советника, о чем, впрочем, никогда не проговаривалась. Она была рассудительная, честная женщина, умела и помолчать кстати, и толкнуть вовремя.

Советник был господином в годах и довольно полным – «в пропорцию», как выражался сам. Был он также человеком начитанным, добродушным и к тому же отличался «ключевой мудростью». Смысл последнего выражения поймем потом. Он всегда был в духе, любил всех людей, охотно болтал со всеми и уж если, бывало, уйдет из дому, да еще без жены, которая вечно подталкивала его, то залучить его опять домой было мудрено. Ему надо было поговорить с каждым встречным знакомым, а знакомых у него была пропасть, так время-то и уходило, а дома всё ждали да ждали хозяина обедать.

Советница караулила мужа у окна.

– Ну, идет! – говорила она кухарке. – Подогрей суп!.. Ах нет, отставь – переварится! Советник остановился и говорит с кем-то!.. Ну, вот теперь идет! Подогревай!

Но советник и не думал приходить.

Он был способен дойти до самых ворот своего дома, кивнуть жене головою и застрять на самом пороге, если завидит на улице знакомого. Как не перекинуться словечком-другим! А случись ему в то же время завидеть еще знакомого, он брал за пуговицу пальто первого, протягивал руку второму и уже окликал проходящего мимо третьего.

Вот был настоящий искус для советницы!

– Советник! Советник! – кричала она. – Нет, этот человек положительно рожден под созвездием Тачки: сам сдвинуться с места не может, все надо его подталкивать!

Советник очень любил также заходить в книжные лавки и рыться в книгах и журналах. Он даже платил своему знакомому книгопродавцу небольшую сумму за право пробежать все новые книги, разрезая их только вдоль, а не поперек, – иначе их нельзя было бы потом продать. Вообще же советник был, не в обиду ему будь сказано, «ходячей тайной»: знал обо всех помолвках, свадьбах и похоронах, о всяких

сплетнях, и устных и печатных, и даже иногда таинственно намекал на что-то такое, о чем не знал никто, кроме него самого. Подобные секретные сведения он получал от своего ключа.

Советник и советница с самой женитьбы своей жили в собственном доме, и за все это время у них был все один и тот же ключ от ворот, но сначала-то никто и не подозревал о чудесных свойствах ключа: они обнаружились гораздо позже.

Было это в царствование короля Фредрика VI. Копенгаген в то время не имел еще газового освещения, а только ворванное; не было тогда и Тиволи, не было и «Казино», не было ни дилижансов, ни конно-железных дорог. Сравнительно с настоящим по части развлечений было тогда бедно. По воскресеньям обывателям столицы предоставлялось на выбор: или предпринять прогулку за город на кладбище, почитать там надгробные надписи, потом усесться на травку, распаковать корзинку со съестными припасами, выпить да закусить, или же отправиться в Фредриксбергский сад, где на площадке перед дворцом играла полковая музыка, а в аллеях толпился народ, смотревший, как королевская фамилия катается в лодке по узким каналам. Старый король сам правил рулем, рядом с ним сидела королева, и оба приветливо отвечали на поклоны всех подданных, не разбирая сословий и чинов. В Фредриксберг стекались по преимуществу люди несостоятельные и распивали тут чай. Кипяток можно было достать в крестьянском домике, что стоял в поле против сада, но чайники приходилось приносить свои.

В один прекрасный воскресный день советник с советницей и отправились после обеда в Фредриксбергский сад; служанка шла впереди с чайником и корзиною со съестным и водочкою.

– Захвати с собой ключ от ворот! – сказала советница. – Не то нам трудно будет попасть в дом, если мы запоздаем. Ты знаешь, ворота запираются, как только стемнеет, а проволока колокольчика вчера оборвалась!.. А ведь мы непременно запоздаем! Из Фредриксберга мы пойдем в театр смотреть пантомиму «Арлекин – старшина молотильщиков». Там еще люди спускаются на землю на облаке! И вход стоит две марки с персоны!

И вот они отправились в Фредриксберг, слушали там музыку, любовались королевскими лодками, изукрашенными флагами, видели

старого короля и белых лебедей. Напившись чаю и закусив, они заторопились в театр, но все-таки опоздали к началу представления.

Хождение по канату и пляска на ходулях уже кончились, и началась пантомима. Советник с советницей опоздали, как и всегда, и, разумеется, по вине советника: ему поминутно надо было останавливаться и болтать со знакомыми! Он и в театре встретил добрых друзей, и, когда представление окончилось, ему с женой пришлось принять настойчивое приглашение одного знакомого семейства, жившего неподалеку от театра. Приглашали их только на стаканчик пунша, что могло задержать их разве минут на десять. Но, конечно, эти минуты растянулись за разговорами в целый час. Особенно заинтересовал всех один барон – шведский ли, немецкий ли, советник не запомнил, но зато навсегда сохранил в памяти то, чему научил его барон, проделывавший разные фокусы с ключом. Это было необыкновенно занимательно! Барон мог заставить ключ отвечать на все вопросы, которые ему задавали, каких бы секретных предметов они ни касались. Особенно пригодным оказался для этих фокусов советников ключ от ворот – у него была тяжелая борода. Барон надевал кольцо ключа на указательный палец правой руки, а борода висела свободно; малейшее биение пульса могло привести ее в движение, и она повертывалась; если же нет, то барон умел незаметно заставить ее повернуться, куда ему хотелось. Каждый поворот бородки означал какую-нибудь букву азбуки; когда называли наконец настоящую букву, борода повертывалась в обратную сторону. После того начинали отгадывать следующую букву, и так выходили целые слова, а затем и целые предложения – ответы на вопросы. Конечно, все это был один обман, но очень забавный. Так сначала отнесся к делу и сам советник, но потом переменял мнение и всерьез увлекся проделками ключа.

– Муж, а муж! – крикнула вдруг советница. – Западные ворота запираются ведь в двенадцать часов! Мы не попадем в город, остается всего четверть часа!

Пришлось спешить; по дороге их то и дело обгоняли пешеходы, тоже торопившиеся попасть в город вовремя. Наконец они добрались до крайней сторожевой будки, но в ту же минуту пробило двенадцать и ворота захлопнулись! Целая толпа людей осталась за воротами: между ними и советник с советницей и служанкой, которая тащила

чайник и пустую корзину. Некоторые опешили, другие рассердились; каждый отнесся к случившемуся по-своему. Что же, однако, было делать?

К счастью, в последнее время было отдано распоряжение оставлять незапертыми на всю ночь одни из городских ворот – Северные; через них-то пешеходы и могли пробраться в город.

Неблизко было до Северных ворот, но погода стояла хорошая, ясное небо было усеяно звездами, то и дело скатывались падающие звездочки, в канавах и прудах квакали лягушки, и путники тоже мало-помалу распелись. Но советник не пел и не смотрел не только на звезды, но и себе под ноги, ну и растянулся во весь рост на краю канавы! Можно было подумать, что он выпил лишнее, но дело было вовсе не в пунше, а в ключе, который не переставал вертеться у него в голове.

Наконец добрались и до будки у Северных ворот, перешли мост и очутились в городе.

– Ну, вот теперь отлегло от сердца! – сказала советница. – Вот и наши ворота!

– Да, только где же ключ от них? – спросил советник.

Ключа не оказалось ни в заднем кармане, ни в боковых.

– Ах, господи боже мой! – сказала советница. – Так у тебя нет ключа? Верно, ты потерял его там, с этими баронскими фокусами! Как же мы попадем теперь домой? Проволока колокольчика оборвана, у сторожа другого ключа нет, – просто беда!

Служанка принялась хныкать; один советник сохранил присутствие духа.

– Надо выбить стекло в подвале у мелочного торговца! – сказал он. – Пусть он отворит нам ворота!

И он выбил одно стекло, потом другое, просунул туда ручку зонтика и закричал: «Петерсен!» Изнутри послышался крик дочери мелочного торговца. Сам торговец распахнул двери лавки и закричал: «Караул!» И, прежде чем лавочник успел хорошенько рассмотреть и признать хозяев да впустить их во двор, сторож уже дал свисток, ему откликнулся другой из соседней улицы, из окон начали выглядывать люди, посыпались вопросы: «Где пожар? Где скандал?» – и продолжались еще, когда советник давно уже был у себя дома, снял сюртук и... нашел в нем ключ от ворот. Ключ лежал не в кармане, а

между материей и подкладкой: в кармане была дыра, хотя ей вовсе и не полагалось быть там.

С того вечера ключ от ворот стал предметом особого внимания, и не только когда советник с советницей уходили по вечерам прогуляться, но и когда сидели дома, – советник показывал свое искусство, заставляя ключ отвечать на разные вопросы.

Он заранее придумывал наиболее подходящий ответ и затем заставлял ключ давать его, но под конец как-то и сам уверовал в способности ключа. А вот аптекарь, молодой человек и близкий родственник советницы, так ничему не верил.

Умный человек был этот аптекарь и с критической жилкой. Он еще на школьной скамье зарабатывал деньги рецензиями на книги и на театральные представления, причем никогда не подписывал своих статей – так выходит внушительнее. В нем, как говорится, преобладал эстетический дух, но сам он ни в каких духов, особенно в духов, обитающих в ключах, не верил.

– Впрочем, нет, я верю! – говорил он. – Верю, добрейший господин советник! Верю в ваш ключ от ворот и во всех духов ключей так же твердо, как и в новейшую науку, что открыла духов в старой и новой мебели и занимается столоверчением! Вы слышали о ней? Я слышал! Я сомневался было – вы ведь знаете, я из числа скептиков, – но теперь стал прозелитом новой веры, прочитав в одной достойной доверия заграничной газете ужасную историю. Я, впрочем, за что купил ее, за то и продаю! Представьте же себе, советник! Двое умных детей видели, как родители их вызывали духов из большого обеденного стола. Детишки остались одни и захотели в свою очередь попробовать пробудить жизнь в старом комод. Жизнь-то они в нем пробудили, духи проснулись, но не захотели слушаться ребячьей команды, поднялись – комод затрещал, выдвинул ящики и уложил в них своими ножками обоих ребят, затем выбежал в открытую дверь, спустился по лестнице на улицу, прямо к каналу, да и утопился там вместе с детьми. Тела детей предали христианскому погребению, а комод отправили в ратушу и присудили за убийство детей к сожжению живьем на костре. Вот что я вычитал в иностранной газете и передаю вам, ничего не прибавляя от себя! Ключ меня побери, если я выдумываю! Видите, я даже поклялся!

Но советник нашел, что это было со стороны аптекаря уж чересчур грубой шуткой. Не стоило и говорить с ним о ключе, аптекарь был глуп, как самый последний ключ!

Сам же советник все более и более изощрялся в «ключевой мудрости». Ключ и забавлял его, и поучал.

Однажды вечером советник уже собирался лечь в постель и стоял в спальне полураздетый, как вдруг в дверь из коридора постучали. Поздним гостем оказался лавочник, тоже полураздетый. И он было совсем уже собрался спать, да вдруг ему пришла в голову важная мысль, и он побоялся забыть ее за ночь!

– Дело-то идет о дочке моей Лотте Лене. Она девушка красивая, подтверждена, и мне хотелось бы теперь пристроить ее получше!

– Да ведь я еще не вдовец! – усмехнулся советник. – И сына у меня нет, за которого бы я мог посватать ее!

– Ну, вы поймете, в чем дело, господин советник! – сказал лавочник. – Она играет на фортепьяно, умеет петь – небось слышно по всему дому! Но вы еще не знаете всего, на что эта девочка способна. Она умеет подражать разговору и походке всякого! Она просто создана для театра, а это хорошая дорога для красивых молодых девушек из порядочных семейств! Им удастся иной раз подхватить в мужья графов! Ну, да об этом-то пока ни я, ни Лотта Лена не думаем! Так вот, она умеет петь, играть на фортепьяно, и на днях я пошел с нею в школу пения. Она спела, но оказалось, что у нее нет ни этакое пивного баса, ни канареечного визга, которые нынче требуются от певиц. Ну, ей и отсоветовали идти в певицы. «Что ж, – подумал я, – коли не в певицы, так в актрисы! Для этого нужно только уметь говорить». И сегодня я завел об этом речь с «инструктором», как он там у них называется. «А она начитанна?» – спрашивает он. «Нет, – говорю, – совсем нет!» «Ну а это необходимо для актрисы!» «Что ж, начитанность-то она еще приобрести может! – подумал я и пошел себе домой. – Пусть Лотта Лена запишется в библиотеку и перечитает все, что там есть!» Но вот сижу это я сейчас, раздеваюсь, и вдруг мне пришло на ум: «Зачем же платить за чтение, коли можно иметь его даром! У советника пропасть книг, пусть он даст их Лотте Лене почитать – вот тратиться-то и не придется!»

– Лотта Лена – славная девушка! – сказал советник. – Красивая девушка. Книги я ей дам! Но есть ли у нее, что называется, огонек,

талант? Да и, кроме того, везет ли ей вообще? Счастье ведь тоже вещь очень важная!

— Она два раза выигрывала в лотерею! — ответил лавочник. — Один раз выиграла шкаф для платья, а другой — полдюжины простынь. Разве это не счастье?

— А вот я сейчас спрошу насчет этого ключ! — сказал советник.

И он надел кольцо ключа на указательный палец правой руки себе и лавочнику и заставил ключ вертеться и указывать букву за буквой.

И ключ ответил: «Победа и счастье!» Таким образом, будущее Лотты Лены было определено.



Советник сейчас же вручил лавочнику две книги: трагедию «Дюеке» и «Обхождение с людьми» Книгге. Пусть Лотта Лена читает!

С этого вечера между Лоттой Леной и семейством советника завязалось более близкое знакомство. Она стала бывать у них, и



советник нашел ее девушкой очень разумной – она верила и в него, и в ключ. И советнице она тоже понравилась. Непринужденность и откровенность, с которыми девушка на каждом шагу сознавалась в своем невежестве, казались советнице чем-то детским, невинным. Словом, оба супруга, каждый по-своему, питали симпатию к Лотте Лене, а она к ним.

– Как у них чудесно пахнет! – говорила она.

В самом деле, в коридоре у них пахло яблоками: советница заготовила на зиму целую бочку, – а по всем комнатам распространялось благоухание роз и лаванды.

– У них все на благородную ногу! – говорила Лотта Лена, любуясь прекрасными комнатными цветами советницы. У той даже зимою цвели в комнатах ветви сирени и вишен. Она ставила срезанные оголенные веточки в воду, и они в тепле скоро одевались листьями, а потом покрывались и цветами.

– Вот можно было подумать, что жизнь совсем покинула эти голые ветви, а поглядите-ка, как они воскресли! – говорила советница.

– Мне никогда ничего такого и в голову не приходило! – отзывалась Лотта Лена. – Какая, однако, эта природа милая!

Советник же показывал ей свою «ключевую книгу», куда были занесены разные замечательные ответы и разоблачения ключа, например, относительно пропажи из шкафа половинки яблочного пирожного как раз в тот вечер, когда у кухарки был в гостях ее друг.

Советник спросил ключ: «Кто съел пирожное – кошка или друг?» И ключ ответил: «Друг!» Советник, впрочем, знал это заранее, да и служанка поспешила сознаться: еще бы, этот проклятый ключ знал решительно все!

– Ну, не замечательно ли это? – спрашивал советник. – Вот это так ключ! А на вопрос о судьбе Лотты Лены он ответил: «Победа и счастье!» Ну, вот и посмотрим! Я-то ручаюсь за него!

– Как все это мило! – говорила Лотта Лена.

Советница не была так доверчива, но не выражала своих сомнений при муже, а только после как-то призналась Лотте Лене, что муж ее молодым человеком сам без ума был от театра. Толкни его тогда кто-нибудь на сцену, он бы, наверно, сделался актером, но родители, напротив, оттолкнули его от этого. Но он все-таки желал как-нибудь пробраться на сцену и даже написал ради этого комедию.

– Я доверяю вам большую тайну, милочка! – говорила советница. – Комедия была недурна, ее приняли на королевскую сцену и – освистали! С тех пор о ней не было ни слуху ни духу, чему я очень рада. Я ведь жена его и хорошо его знаю! Теперь и вы хотите пойти по той же дороге – желаю вам всего хорошего, не сомневаюсь в успехе! Не верю я в ключ!

А Лотта Лена верила и вполне сходилась в этом случае с советником. Вообще сердца их отлично понимали друг друга, но в пределах честных и благородных отношений.

Девушка в самом деле отличалась многими достоинствами, которых не могла не ценить и сама советница. Лотта Лена умела делать крахмал из картофеля, перешивать старые шелковые чулки на перчатки и обтягивать заново свои шелковые бальные башмачки, даром что у нее хватало средств одеваться во все новое. У нее ведь были, как выражался мелочной торговец, «и монетки в шкатулке, и облигации в денежном ящике». Словом, она бы как раз годилась в жены аптекарю, думалось советнице, но она ни сама не заговаривала об этом, ни к ключу не прибегала. Аптекарь должен был в скором времени обзавестись собственной аптечкой в одном из ближайших больших провинциальных городов.

Лотта Лена все еще читала «Дюеке» и «Обхождение с людьми». Она держала у себя эти книги два года, но зато и выучила наизусть одну – «Дюеке», выучила все роли, а сама-то собиралась выступить лишь в одной, именно в роли Дюеке, но выступить не в столице, где всегда столько недоброжелателей и где ее знать не хотели. Лотта Лена решила начать свою «артистическую карьеру», как выражался советник, в провинции.

И вот случилось так, что ей пришлось дебютировать в том самом городе, где обосновался молодой аптекарь в качестве если не единственного, то самого младшего аптекаря.

Наконец настал тот великий, долгожданный вечер, в который Лотта Лена должна была, по предсказанию ключа, завоевать себе победу и счастье. Советник не мог присутствовать на представлении: он лежал в постели, и советница угощала его горячими припарками и липовым чаем – припарками на желудок, а чаем в желудок.

Итак, супруги не были на дебюте Лотты Лены, но аптекарь был и написал о нем своей родственнице советнице.

«Лучше всего был воротник на Дювеке, — писал он. — Будь у меня в кармане советников ключ, я бы вытащил его и свистнул: этого заслуживали и Лотта Лена, и сам ключ, бесстыдно напропорочивший ей победу и счастье».

Советник прочел письмо и объявил, что все это одно недоброжелательство, «ключененависть», которая отозвалась и на ни в чем не повинной девушке.

И как только он поправился, сейчас же написал аптекарю небольшое, но ядовитое письмецо. Тот в свою очередь ответил, но так, как будто принял письмо советника за самую безобидную и веселую шутку: благодарил советника за настоящее, равно как и за всякое будущее, разъяснение неподражаемого значения и важности ключа и признавался, что и сам в свободное от занятий время пишет большой роман о ключах. Все действующие лица в нем — ключи; главным же являлся ключ от ворот. Образцом для него послужил советников ключ, как одаренный даром прозорливости и пророчества. Все остальные ключи вертелись около этого ключа: и старый камергерский ключ, который знал лучшие времена и рассказывал о придворном блеске и празднествах, и часовой ключик, такой изящный и важный, стоящий у часовых дел мастера четыре скиллинга, и ключ от церковных дверей, который, оставшись однажды на ночь в замочной скважине, видел духов, и ключ от кладовой, и ключ от дровяного сарая и от винного погреба. Все они низко склонялись перед ключом от ворот, все вертелись около него. Солнечные лучи серебрили его, «всемирный дух» ветер забирался в него и свистел. Словом, этот ключ всем ключам был ключ: сначала-то он был только ключом от ворот советника, а затем стал ключом от ворот рая, ключом-папою — он ведь непогрешим!

— Сколько злобы! — сказал советник. — Чудовищной злобы!

Зато он больше и не виделся с аптекарем — до самых похорон советницы.

Она умерла первая.

В доме царили печаль и горе. Даже срезанные веточки вишневых деревьев, пустившие было свежие побеги и покрывшиеся цветами, и те до того опечалились, что завяли; о них позабыли: хозяйка не могла уже ухаживать за ними.

Советник и аптекарь шли за гробом рядом, как близкие родственники; тут было не время и не место сводить счеты.

Лотта Лена обвязала шляпу советника черным крепом. Она уже давно вернулась домой, не завоевав себе ни победы, ни счастья. Но она еще могла завоевать их – все было еще впереди, недаром же ключ предсказал ей «победу и счастье». Да и советник с ним согласился.

Она стала навещать его. Они беседовали об умершей и плакали вместе – сердце у Лотты было мягкое. Говорили они также и о театре, но тогда Лотта Лена становилась твердою.

– Жизнь актрисы прелестна! – говорила она. – Но сколько там вздора и зависти! Нет, я лучше пойду своею дорогой! Сначала надо о себе подумать, а потом уж об искусстве!

Она убедилась, что Книгге прав в своих суждениях об актерах, а ключ попросту наврал ей, но не проговаривалась об этом советнику – она любила его.

Ключ был ведь истинным его утешением в дни скорби. Советник задавал ему вопросы, а он отвечал. И вот через год, сидя вечером рядом с Лоттою Леной, советник спросил ключ: «Женюсь ли я и на ком?»

На этот раз некому было его подталкивать, он сам подталкивал ключ, и тот ответил: «На Лотте Лене!»

И Лотта Лена сделалась советницею.

«Победа и счастье!» Недаром же это было ей предсказано, и предсказано ключом.

## Сидень



В старой барской усадьбе жили славные молодые господа. Жили они богато, счастливо, себе ни в чем не отказывали и других не забывали — делали много добра: им хотелось всех видеть такими же счастливыми, довольными, какими были сами.

В сочельник в рыцарской зале замка зажигалась великолепно разукрашенная елка; в камине ярко пылал огонь, а рамы старых картин были окружены венками из еловых ветвей. К господам собирались гости, начинались музыка, танцы.

А пораньше, под вечер, рождественское веселье устраивалось и в людской. Тут тоже красовалась большая елка, пестревшая красными и белыми свечками, национальными флагами, бумажными лебедями и сеточками, наполненными сладостями. На эту елку приглашали также всех бедных ребятишек из округи с их матерями. Матери не очень-то заглядывались на елку, а больше все поглядывали на стол с подарками: шерстяными и бумажными материями на платья и штанишки. Туда же смотрели и дети постарше, и только малыши тянулись ручонками к свечам, мишуре и флагам.

Вся эта пестрая компания являлась сюда рано, после полудня, и угощалась рождественскою кашею и жареным гусем с красною

капустою; после же того как все успевали досыта налюбоваться елкой и получить свои подарки, каждому подносили еще по стаканчику пунша да по яблочной пышке.

Затем гости расходились по своим бедным лачугам, и там-то начинались разговоры о том, как славно живет барам – как они сладко едят и пьют, а наговорившись, все принимались еще раз хорошенько разглядывать свои подарки.

В услужении у господ жили также Оле и Кирстина – муж с женою. Они были приставлены к господскому саду в помощь садовнику и получали за свой труд помещение и стол. Кроме того, на их долю каждый сочельник доставались положенные подарки, и всех пятерых детей одевали на свой счет господ.

– Много делают добра наши господа! – говорили муж и жена. – Ну, да ведь на то у них и средства, чтобы доставлять себе этим удовольствие!

– Тут славные платья для четверых ребят! – сказал Оле. – Что же нет ничего для Сидня? Прежде они и его не забывали, хоть он и не бывает на елке!

Сиднем прозвали они старшего сына; звали же его, собственно, Хансом. Малышом он был резвым, крепким ребенком, но потом вдруг с чего-то «ослабел ногами», как они говорили, – не мог больше ни стоять, ни ходить и вот лежал в постели уже пятый год.

– Кое-что ему прислали! – сказала мать. – Только не бог весть что – книжку для чтения!

– Сыт он с нее будет, нечего сказать! – заметил отец.

Зато сам-то Ханс очень обрадовался книжке. Он был мальчик способный, любил читать, да и работать не ленился и трудился, насколько хватало сил и умения. Он не сходил с постели, но руки у него были проворные, и он прилежно вязал шерстяные чулки и даже одеяла, которые госпожа помещица хвалила и покупала.

Книжка, что подарили Хансу господа, оказалась собранием сказок. Было ему теперь что почитать, о чем поразмыслить!

– А в доме-то от нее все-таки пользы мало! – сказали родители. – Ну, да пусть себе почитает от скуки, не все же ему чулки вязать!

Пришла весна; начала пробиваться травка, показались первые цветочки, а с ними и сорные травы, как, например, можно обозвать крапиву, хотя о ней так прекрасно сказано в псалме:

Хотя бы всех земных царей  
Со всех концов земли созвать,  
То все же властью им своей  
Листка крапивы не создать!

В господском саду было поэтому много работы не только самому садовнику и его ученикам, но и Оле и Кирстине.

– Ну и работа! – говорили они. – Только что мы выполем и вычистим все дорожки – их опять затопчут! Гости-то ведь у господ не переводятся! И во что это обходится им! Ну, да и то сказать – куда ж им деньги-то девать?

– Да, мудроно распределено все на свете! – сказал Оле. – Все мы дети одного Отца – Господа, говорит священник, откуда же такая разница?

– Пошла она с грехопадения! – говорила Кирстина.

Об этом же зашел у них разговор и вечером, когда Сидень лежал и читал свои сказки. От нужды и тяжелого труда огрубели не только руки, но и сердце, и мысли бедняков; они не могли переварить своей бедности, не могли взять в толк ее причин и, говоря о том, раздражались все больше и больше.

– Одни живут в довольстве и в счастье, другие век свой должны мыкать горе! И с какой стати нам платиться за непослушание и любопытство наших прародителей! Мы бы на их месте ничего такого не сделали!

– Сделали бы, – сказал вдруг Сидень. – Вот тут, в книжке, все сказано!

– Что там сказано? – спросили родители.

И Ханс прочел им старую сказку о дровосеке и его жене. Они тоже бранили Адама и Еву за их любопытство, ставшее виною людского несчастья, а в это время мимо как раз проходил король той страны. «Идите за мною! – сказал он. – Вы будете жить не хуже меня; на стол вам будут подавать по семи блюд, да еще одно сверх того, но на него вы можете только смотреть. Стоит же вам дотронуться до этой закрытой миски – конец вашему сладкому житью!» «Что бы такое было в этой миске?» – спросила жена. «Это нас не касается!» –

ответил муж. «Да я и не любопытствую! – продолжала жена. – Мне только хотелось бы знать, почему нам нельзя приподнять крышку? Уж наверно там что-нибудь отменно вкусное!» – «Только бы не какая-нибудь хитрая механика! – сказал муж. – Вдруг как выстрелит да всполошит весь дом!» – «Ой-ой!» – сказала жена и не посмела дотронуться до миски. Но ночью ей приснилось, что крышка приподнялась сама собой и из миски запахло чудеснейшим пуншем, какой подают только на свадьбах да на похоронах. Еще в миске лежала серебряная монетка с надписью: «Напьетесь этого пунша и сделаетесь такими богачами, что все остальные люди будут перед вами нищими!» Тут она проснулась и рассказала мужу свой сон. «Ты слишком много думаешь об этом!» – сказал он. «А что, если чуть-чуть приподнять крышку?» – сказала жена. «Только чуть-чуть, смотри!» – сказал муж. Жена приподняла крышку – чуть-чуть... Из миски выскочили два юрких мышонка и шмыгнули в щелочку. «Спокойной ночи! – сказал король. – Можете теперь отправляться восвояси! Да не браните больше Адама и Еву – вы сами такие же любопытные и неблагодарные!»

– Как эта история могла попасть в книгу? – спросил Оле. – Ведь она точно про нас написана! Да, тут есть над чем призадуматься!

На другой день они опять пошли на работу, и за день-то их и солнцем пожгло, и дождем до костей промочило. Опять накипело у них на душе, опять принялись они пережевывать невеселые думы. Отужинали они засветло, и Оле сказал Хансу:

– Ну-ка, прочти нам опять ту историю о дровосеке!

– Да тут много других хороших! – сказал Ханс. – Вы их еще не знаете!

– И не надо! – ответил отец. – Я хочу слышать ту, которую знаю!

И муж с женою опять прослушали ту же сказку. И не раз еще возвращались они к ней по вечерам.

– Не все-то она мне, однако, распутывает! – сказал раз Оле. – Поди ж ты вот, и с людьми бывает, что с молоком, когда оно скисает: выходят и дорогой сыр, и жидкая сыворотка! Иные так уж и родятся на счастье да на радость, никакого горя, никакой нужды весь век не знают!

Сидень лежал и слушал. Он был слаб ногами, но не умом и вот взял да в ответ на это и прочел родителям из своей книжки сказку о



человеке, который сроду не знал ни горя, ни нужды. Да, где только было искать такого человека? А найти его надо было: король лежал при смерти, и спасти его могла только рубашка с человека, который бы по правде мог сказать, что сроду не знал ни горя, ни нужды. Разослали гонцов во все концы света, по всем замкам и усадьбам, ко всем зажиточным и довольным жизнью людям, но стоило хорошенько порасспросить их, и оказывалось, что все они испытывали и нужду и горе. «А вот я – нет!» – заявил один свинопас; он сидел у канавы и весело распевал песенку. «Я счастливейший человек на свете!» – «Так давай сюда твою рубашку!» – сказали посланные. – Тебе дадут за нее полкоролевства!» Но у него не было рубашки. А он все-таки считал себя счастливым!

– Вот так франт! – вскричал Оле, и оба – и он и жена – принялись смеяться, как не смеялись уже много лет.

А мимо их жилища проходил школьный учитель.

– Ишь какое у вас сегодня веселье! – сказал он. – Вот новость-то! В лотерею выиграли, что ли?

– Нет, не то! – сказал Оле. – Это вот Ханс прочел нам сказку о человеке, сроду не знавшем ни нужды, ни горя, а оказалось, что у молодца и рубашки-то на теле не было! Поневоле размякнешь душой, как слушаешь такую историю, да еще прямо из книжки! Правда, знать, у всякого свой крест, никто не избавлен от этого! Все-таки утешение!

– Откуда у вас эта книга? – спросил учитель.

– А ее прошлый год подарили Хансу на елке! Господа подарили. Они знают, что он охотник читать, да и сиденья вдобавок! Мы-то было жалели тогда, что они не подарили ему лучше на пару рубах! Но книжка-то оказалась дельною: она словно отвечает тебе на все твои мысли!

Учитель взял книжку и раскрыл ее.

– Ну-ка, пусть он прочтет нам эту историю еще разок! – попросил Оле. – Я не запомнил ее как следует. А потом пусть прочтет и другую – о дровосеке!

Этих двух сказок вполне хватало Оле; они как будто освещали солнышком все жилье и разгоняли тяжелые, мрачные думы, одолевавшие бедняков. А сам-то Ханс успел прочесть и перечесть всю

книжку не раз; сказки уносили его в недоступный ему мир, – ноги ведь не носили бедняжку.

Школьный учитель присел у постели и побеседовал с мальчиком. Беседа эта обоим доставила большое удовольствие, и с того дня учитель часто стал заходить к Хансу, когда родители были на работе. Для мальчика же каждое посещение учителя было настоящим праздником. Как внимательно он слушал рассказы старика о том, что Солнце почти в полмиллиона раз больше Земли и находится так далеко от нее, что пущенное с Солнца пушечное ядро долетело бы до Земли только через двадцать пять лет, тогда как луч света достигает до нее всего в восемь минут.

Все это известно в наше время каждому прилежному школьнику, но для Ханса все это было новостью куда более чудесною, нежели все сказки в его книжке.

Раза два в году школьного учителя приглашали отобедать в замке, и вот однажды он воспользовался случаем – рассказал господам, какое значение приобрела для бедняков та книжка, которую они подарили мальчику, какое благодетельное, отрезвляющее влияние имели на бедняков какие-нибудь две сказки! Хилый, но умный мальчик вливал своим чтением мир и отраду в сердца родителей и заставлял работать их мысли.

Когда учитель стал прощаться, госпожа вручила ему пару серебряных далеров для маленького Ханса.

– Пусть их возьмут отец с матерью! – сказал Ханс, когда учитель принес ему деньги.

А те сказали:

– Сидень-то наш тоже, оказывается, приносит нам радость и пользу!

Два дня спустя, днем, когда родители Ханса были на работе, перед жилищем их остановилась господская карета. Это пожаловала навестить Сидня сама добрая госпожа; она была так рада, что ее рождественский подарок доставил столько утех и удовольствия и родителям и мальчику! На этот раз она привезла ему белого хлеба, фруктов, бутылку сладкого сока и – что всего больше обрадовало бедняжку – вызолоченную клетку с маленькою черненькою птичкой. Как она мило насвистывала! Клетку с птичкой поставили на старый

комод, неподалеку от постели мальчика, чтобы он постоянно мог любоваться на птичку. Пение же ее слышно было даже на улице.

Оле и Кирстина вернулись домой уже после отъезда госпожи. Они хоть и видели, как рад был птичке мальчик, все-таки отнесли к подарку как к лишней обузе в доме.

– Много они рассуждают, эти баре! – сказали они. – Вот у нас теперь еще новая забота – ходить за птицей! Сам-то Сидень ведь не может! Ну и кончится тем, что кошка съест ее.

Прошла неделя, прошла другая; кошка за это время много раз побывала в горнице, не выказывая поползновения даже испугать птичку, не то что съесть. Но вот случилось удивительное событие. Дело было после обеда, родители и все дети были на работе; дома оставался один Ханс. Он сидел на постели и перечитывал сказку о жене рыбака, все желания которой исполнялись сейчас же. Захотела стать королевой и стала, захотела стать императором – тоже, но когда захотела стать самым Богом – очутилась опять в грязи, откуда только что выбралась.

История эта не имела ни малейшего отношения ни к птице, ни к кошке. Сидень только читал ее, когда произошло замечательное событие, и он навсегда запомнил это обстоятельство.

Клетка помещалась на комод; кошка стояла на полу и пристально глядела на птицу своими желто-зелеными глазами. Взгляд ее как будто говорил птичке: «Как ты мила! Так бы и съела тебя!»

Ханс прочел это во взгляде кошки и закричал: «Брысь! Вон из комнаты!» А кошка как будто готовилась к прыжку.

Ханс не мог достать до нее, и под руками у него не было ничего, кроме драгоценнейшего его сокровища – книжки со сказками. Но он все-таки бросил ее в кошку; корочки переплета оторвались и полетели в одну сторону, а книжка в другую. Кошка же только слегка отодвинулась и посмотрела на Ханса, словно говоря: «И не суйся лучше, милый мой! Я-то могу и бегать и прыгать, а ты вот нет!»

Ханс следил за каждым движением кошки и весь трепетал от волнения. Птичка тоже заметалась в клетке. Позвать было некого, и кошка точно знала это. Вот она опять стала готовиться к прыжку. Ханс принялся махать на нее своим одеялом – руками-то он мог действовать, – но кошка не обращала на одеяло никакого внимания. Наконец Ханс даже запустил в нее одеялом, но без всякой пользы:

кошка вскочила на стул, а потом на подоконник, откуда было ближе добраться до птички.



Вся кровь прихлынула к сердцу Ханса, но он о том и не думал, он думал только о кошке и птичке. Что же, однако, мог он сделать? Как ему сойти с постели? Он не мог даже встать на ноги, не то что ходить!.. Сердце мальчика как будто перевернулось в груди, когда он увидел, что кошка вдруг прыгнула с окна прямо на комод и опрокинула клетку набок. Птичка отчаянно забилась. Ханс вскрикнул, по телу его пробежал судорожный трепет, и он не помня себя спрыгнул с постели, кинулся к комоду, скинул на пол кошку, крепко схватил клетку с перепуганной птичкой и выбежал на улицу. Тут у него брызнули из глаз слезы, и он громко возликовал: «Я могу ходить! Я могу ходить!»

Он вдруг выздоровел; это иногда случается, случилось и с ним.

Учитель жил рядом, Ханс и кинулся к нему как был – босиком, в одной рубашонке да курточке, с клеткой в руках.

– Я могу ходить! – кричал он. – Господи боже мой! – И он зарыдал от радости.

Да, вот была в тот день радость в доме Оле и Кирстины!

– Счастливей этого дня нам уж не дожждаться! – сказали они оба.

Ханса позвали к господам; много лет уже не ходил он по этой дороге, и теперь ему казалось, что и деревья-то все, и кусты, которые он так хорошо знал, кивали ему ветвями и говорили: «Здорово, Ханс! Добро пожаловать!» Солнышко так и играло у него на лице и в сердце!

Добрые молодые господа усадили Ханса и так радовались его выздоровлению, словно он был им родной. Особенно радовалась сама госпожа: это она ведь подарила ему и книжку со сказками, и птичку. Птичка, правда, околела от испуга, но все-таки была виновницей выздоровления Ханса, а книжка тоже сослужила немалую службу: развлекала и утешала и мальчика, и его родителей. Он и не хотел расставаться с нею никогда, хотел беречь и постоянно перечитывать ее, до какой бы глубокой старости ни дожил! Теперь он уже мог быть в помощь своим родителям и собирался научиться какому-нибудь ремеслу – лучше всего переплетному: тогда ему можно будет читать все новые книги!

Но после обеда госпожа призвала к себе родителей Ханса; она уже поговорила о мальчике с мужем. Ханс был мальчик прилежный, набожный и способный к учению, ну и Господь не оставит его!

В этот вечер родители Ханса вернулись домой как нельзя более довольные, особенно Кирстина, но через неделю она заливалась горькими слезами, снаряжая своего Ханса в путь. Правда, его одели в хорошее платье, и сам он был мальчик хороший, но теперь его приходилось отправить за море, далеко-далеко! Он поступит в гимназию, и пройдут долгие годы, прежде чем родители опять свидятся с ним!

Книжку со сказками ему не дали с собою: родители хотели сохранить ее на память. И отец частенько перечитывал все те же две сказки – их-то он знал!

И вот от Ханса стали приходить письма, одно другого радостнее. Он жил у хороших людей, в хорошей обстановке, а лучше всего было то, что он мог посещать школу! Многому мог он там научиться! Теперь у него было только одно желание: дожить до ста лет и когда-нибудь сделаться школьным учителем!

– Дожить бы и нам до этого! – толковали родители, пожимая друг другу руки, словно шли к причастию.

– Да, вот что случилось с Хансом! – говорил Оле. – Господь, значит, печется и о детях бедняков! На нашем-то Сидне это как раз и сказалось. А право, все-таки это смахивает на сказку! Так вот и кажется, что Сидень только прочел нам обо всем этом из своей книжки со сказками!

*1872*

## Тетушка Зубная боль



Откуда мы взяли эту историю? Хочешь знать?

Из бочки мелочного торговца, что битком набита старою бумагой.

Немало хороших и редких книг попадает в бочки мелочных торговцев, не как материал для чтения, а как предмет первой необходимости: надо же во что-нибудь завертывать крахмал, кофе, селедки, масло и сыр! Годятся для этого и рукописи. И вот в бочку к лавочнику часто попадает то, чему бы там быть вовсе не следовало. Я знаком с подручным из одной бакалейной лавки; он, собственно, сын мелочного торговца из подвала, но сумел подняться оттуда в магазин первого этажа. Молодой человек очень начитан: у него ведь под рукой целая бочка всякого чтения, и печатного и рукописного. И вот мало-помалу у него составилось преинтересное собрание. В собрание это входят, между прочим, кое-какие важные документы из корзинки для ненужных бумаг чересчур занятого или рассеянного чиновника, и откровенные записочки от приятельниц к приятельницам, содержащие такие скандальные сообщения, о которых, собственно говоря, нельзя бы и заикаться. Боже сохрани! А уж передавать их дальше – и подавно! Собрание моего знакомого – настоящая спасательная станция для многих литературных произведений, и поле его деятельности тем обширнее, что в его распоряжении бочки из двух лавок – хозяйской и отцовской. Много поэтому удалось ему спасти и книг, и отдельных страниц, которые стоило перечесть и два раза.

Он и показал мне однажды свое собрание интересных печатных и рукописных произведений, извлеченных главным образом из бочки мелочного торговца. Между прочим я обратил внимание на несколько страниц, вырванных из большой тетради: необыкновенно красивый и четкий почерк сразу бросился мне в глаза.

– Это писал студент! – сказал молодой человек. – Он жил вон в том доме напротив и умер месяц тому назад. Он, как видно из этих страниц, страшно мучился зубами. Описано довольно забавно! Тут осталось не много, а была целая тетрадь; родители мои дали за нее квартирной хозяйке студента полфунта зеленого мыла; но вот все, что мне удалось спасти.

Я попросил его дать мне прочесть эти страницы и теперь привожу их здесь. Заглавие гласило:



## «Тетушка Зубная боль»

В детстве тетушка страшно пичкала меня сладстями; однако зубы мои выдержали, не испортились. Теперь я стал постарше, сделался студентом, но она все еще продолжает угощать меня сладким – уверяет, что я поэт.

Во мне, правда, есть кое-какие поэтические задатки, но я еще не настоящий поэт. Часто, когда я брожу по улицам, мне кажется, что я в огромной библиотеке; дома представляются мне этажерками, а каждый этаж – книжною полкой. На них стоят и обыкновенные истории, и хорошие старинные комедии, и научные сочинения по всем отраслям, и всякая литературная гниль, и хорошие произведения – словом, я могу тут фантазировать и философствовать вволю!

Да, во мне есть поэтическая жилка, но я еще не настоящий поэт. Такая жилка есть, пожалуй, и во многих людях, а они все-таки не носят бляхи или ошейника с надписью «поэт».

И им, как и мне, дана от Бога благодатная способность, поэтический дар, вполне достаточный для собственного обихода, но чересчур маленький, чтобы делиться им с другими людьми. Дар этот озаряет сердце и ум, как солнечный луч, наполняет их ароматом цветов, убаюкивает дивными, мелодичными звуками, которые кажутся такими родными, знакомыми, где же слышал их впервые – вспомнить не можешь.

На днях вечером я сидел в своей каморке, изнывая от желания почитать, но у меня не было ни книги, ни даже единого печатного листка, и вдруг на стол ко мне упал листок – свежий, зеленый листок липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.

Я стал рассматривать бесчисленные разветвления жилок. По листку ползала маленькая букашка, словно задавшаяся целью обстоятельно изучить его, и я невольно задумался о человеческой мудрости. Ведь и мы все ползаем по маленькому листку, знаем один лишь этот листок и все-таки сплеча беремся читать лекцию о всем великом дереве – и о корне его, и о стволе, и о вершине; мы толкуем и о Боге, и о человечестве, и о бессмертии, а знаем-то всего-навсего один листок!

Тут пришла ко мне в гости тетушка Милле. Я показал ей листок с букашкой и передал, что мне пришлось по этому поводу в голову. Глаза

у тетушки загорелись.

– Да ты поэт! – вскричала она. – Пожалуй, величайший из современных поэтов! Дожить бы мне только до твоей славы, и я бы охотно умерла! Ты всегда, с самых похорон пивовара Расмусена, поражал меня своею удивительною фантазией! – С этими словами тетушка расцеловала меня.

Кто же такая была тетушка Милле и кто такой пивовар Расмусен?



## II

Тетушкою мы, дети, звали тетку нашей матери, другого имени подобрать ей мы не умели.

Она страшно пичкала нас вареньем и сахаром, хотя все это могло испортить наши зубы, но она питала к милым деткам такую слабость, что считала просто жестоким отказывать им в сладостях, которые они так любят! Зато и мы очень любили тетушку.

Она была старою девай, и с тех самых пор, как я ее помню, все одних лет! Она как будто застыла в одном возрасте.

В молодости тетушка сильно страдала зубами и так часто рассказывала об этом, что остроумный друг ее, пивовар Расмусен, прозвал ее «тетушкой Зубною болью».

В последние годы он уже оставил свое занятие и жил доходами с капитала. Он был постарше тетушки и часто навещал ее. Вот у него так и совсем не было зубов, а кое-где торчали только черные корешки. Дело в том, рассказывал он нам, детям, что мальчиком он ел чересчур много сладкого, и вот что из этого вышло!

А тетушка так, должно быть, совсем не ела в детстве ничего сладкого – зубы у нее были белые-пребелые!

– Зато она и бережет-то их как! – говорил пивовар. – Даже не спит с ними ночью!

Мы, дети, почуяли в этих словах какой-то злой намек, но тетя уверила нас, что это он сказал только так.

Однажды за завтраком она рассказала, что ей приснился дурной сон, будто бы у нее выпал зуб!

– И это означает, – прибавила она, – что я лишусь истинного друга или подруги!

– Ну а если это был фальшивый зуб, – усмехнулся пивовар, – то, значит, вы лишитесь только фальшивого друга!

– Вы невежливый старый господин! – сердито проговорила тетушка, такую сердитою я не видывал ее никогда, ни прежде, ни после.

По уходе пивовара она, впрочем, сказала нам, что старый друг ее хотел только пошутить, что он благороднейший человек на свете и, когда умрет, станет Божьим ангелочком на небе!

Я сильно задумался над этим превращением, спрашивая себя, узнаю ли я пивовара в новом виде?

Когда и тетя и он были еще молоды, он сватался за нее, но она слишком долго раздумывала, ну и засела в девках, хотя и осталась ему верным другом.

И вот пивовар Расмусен умер.

Его везли на самой дорогой погребальной колеснице, за нею тянулся длинный хвост провожатых, между ними были даже господа в орденах и мундирах!

Тетушка, вся в трауре, смотрела на процессию из окна, собрав около себя всех нас, ребят, кроме младшего братца, которого за неделю перед тем принес нам аист.

Колесница проехала, скрылись из виду и все провожавшие ее, улица опустела, и тетушка хотела отойти от окна, но я не хотел – я ждал ангелочка: пивовар Расмусен превратился ведь теперь в ангелочка с крылышками и должен был показаться нам!

– Тетя! – сказал я. – Как ты думаешь, ангелочек Расмусен появится сейчас или, может быть, его принесет аист, когда опять вздумает прилететь к нам с маленьким братцем?

Тетушка была просто поражена моею богатою фантазией и сказала: «Из этого мальчика выйдет великий поэт!» И она повторяла это все время, пока я ходил в школу, повторяла, когда я уже конфирмовался, и даже теперь, когда я стал студентом.

Да, тетушка принимала и продолжает принимать живейшее участие и в моем поэтическом, и в зубном недуге. Я страдаю по временам припадками и того и другого.

– Только выливай на бумагу все твои мысли! – говорила она. – И бросай их в ящик стола! Так делал Жан Поль и сделался великим поэтом, хотя я и недолюбливаю его! Он как-то не захватывает! А ты должен захватывать! И будешь!

Всю ночь после этого разговора я провел в муках, сгорая желанием стать тем великим поэтом, которого видела и угадала во мне тетушка. Да, я мучился припадком поэтического недуга! Но есть еще худший недуг: зубная боль! Та могла доконать, уничтожить меня вконец, превратить в какого-то извивающегося червя, обложенного припарками и шпанскими мушками!

– Мне эта боль знакома! – говорила тетушка, сострадательно улыбаясь, а зубы ее при этом так и сверкали белизною.

Но теперь наступает новая глава как в описании моей жизни, так и в описании жизни тетушки.

### III

Я перебрался на новую квартиру, прожил в ней уже с месяц и вот как описывал свое жилище в разговоре с тетушкой.

– Живу я в «тихом семействе»; хозяева не обращают на меня внимания – даже если я звоню три раза подряд. В доме нашем постоянный крик, шум, гам и сквозняки. Комната моя приходится как раз над воротами, и стоит проехать под ними телеге – все картины так и заходят по стенам; ворота захлопываются, и весь дом содрогается, словно от землетрясения. Если я лежу в постели, сотрясение отдается у меня во всем теле, но это, говорят, укрепляет нервы. В сильный ветер, а у нас тут вечно сильный ветер, железные болты ставен раскачиваются и бьют о стену, а колокольчик на соседнем дворе звонит без умолку.

Соседи мои по дому возвращаются домой не все в один час, а так, понемножку, один за другим, кто поздним вечером, кто даже ночью. Верхний жилец, что играет на тромбоне, целый день ходит по урокам, возвращается домой позже всех и ни за что не уляжется, прежде чем не совершит маленькую ночную прогулку взад и вперед по комнате; тяжелые шаги его так и раздаются у меня в ушах, словно сапожищи у него подкованы железом.

В доме нет двойных рам, зато в моей комнате есть окно с выбитым стеклом. Хозяйка залепила его бумагой, но ветер все-таки пробивается сквозь скважину и гудит, словно шмель. Это колыбельная песня. Но едва я наконец усну под нее, меня живо разбудит петушиное «кукареку». Это петухи и куры мелочного торговца возвещают скорое наступление утра. Маленькие пони, которые помещаются в чуланчике под лестницею – для них не имеется особого стойла, – лягаются ради моциона и стучат копытами о двери.

Занимается заря; привратник, ночующий со всею семьей на чердаке, грузно спускается по лестнице; деревянные башмаки его стучат, ворота скрипят и хлопают, дом ходит ходуном. Когда же и это все кончено, над головою моею начинаются гимнастические упражнения верхнего жильца. Он берет в обе руки по тяжелой гире, но сдержать их не в силах, и они поминутно падают на пол. В это же время подымается на ноги и вся детвора в доме и с шумом и криком спешит в школу. Я подхожу к окну подышать свежим воздухом – свежий воздух так подкрепляет! Но рассчитывать на него я могу лишь в том случае, если девица, живущая в заднем флигеле, не чистит

перчаток бензином, а она этим только и живет! И все-таки это очень хороший дом, и живу я в очень тихом семействе!

Вот как я описал тетушке мое житье-бытье. Описание это вышло в устной передаче еще живее; устное слово всегда ведь свежее, жизненнее написанного!

– Ты положительно поэт! – вскричала тетушка. – Только изложи все на бумаге, и ты тот же Диккенс! А по мне, так и еще интереснее! Ты просто рисуешь словами! Слушая тебя, так вот все и видишь перед собой, сама переживаешь все! Брр! Даже дрожь пробирает! Продолжай же творить! Но вводи в свои описания и живых лиц, людей хороших, милых людей, лучше же всего – несчастных!

Вот я и описал здесь мой дом, каков он есть, со всеми его прелестями, но действующих лиц пока никаких, кроме себя самого, не вывел. Они явятся позже!

#### IV

Дело было зимою, поздно вечером, по окончании спектакля в театре. Погода стояла ужасная – такая вьюга, что с трудом можно было пробираться по улице.

Тетушка отправилась в театр и взяла меня с собой, – я должен был потом проводить ее домой. Но тут и одному-то едва-едва можно было двигаться, а не то что с дамой! Все извозчики были разобраны; тетушка жила далеко от театра, а я, напротив, очень близко; если бы не это, нам с ней пришлось бы засесть в первой сторожевой будке!

Мы вязли в сугробах, нас заносило снегом; я поддерживал, подымал, подталкивал тетушку, и мы упали всего два раза, да и то на мягкую подстилку.

Наконец мы добрались до ворот моего дома и стряхнули с себя хлопья снега, на лестнице отряхнулись опять и все-таки, войдя в самую квартиру, засыпали снегом весь пол в передней.

Затем мы поснимали с себя и верхнее и нижнее платье – все, что только можно было снять. Хозяйка моя одолжила тетушке сухие чулки и чепчик – самое необходимое, по словам доброй женщины, – и затем совершенно резонно объявила, что тетушке в такую погоду нечего и думать добраться до дому, так пусть переночует в гостинной, где ей

устроят постель на диване возле запертой на ключ двери в мою спальню.

Так все и сделали.

В печке у меня развели огонь, на столе появился чайник, в комнатке стало тепло, уютно, хоть и не так, как у тетушки. У нее зимою и двери и окна плотно завешаны толстыми гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми положен еще тройной слой толстой бумаги, – сидишь словно в закупоренной бутылке, наполненной теплым воздухом! Но и у меня, как сказано, стало очень уютно. За окном выл ветер.

Тетушка говорила без умолку; на сцену выступили старые воспоминания: юные годы, пивовар Расмусен и прочее. Тетушка припомнила даже, как у меня прорезался первый зубок и какая была по этому поводу радость в семье.

Да, первый зубок! Зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб!

Прорезался один, за ним другой, третий, и вот выстраиваются целых два ряда, один сверху, другой снизу, чудеснейших детских зубов! Но это еще только авангард, а не настоящая армия, которая должна будет служить нам всю жизнь. Но вот является и она, а за нею и зубы мудрости, фланговые, прорезывающиеся с такою болью и трудом!

А потом они мало-помалу и выбывают из строя, выбывают все до единого, и даже раньше времени, не отслужив всего срока! Наконец настает день: нет и последнего служивого, и день этот уже не праздник, а день печали. С этого дня ты старик, как бы ни был молод душой!

Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, а мы с тетушкой все-таки заговорили о них, вернулись затем к годам детства и болтали, болтали без конца. Было уже за полночь, когда тетушка наконец удалилась на покой в соседнюю комнату.

– Покойной ночи, милый мой мальчик! – крикнула она мне из двери. – Теперь я засну, словно на своей собственной постели!

И она уgomонилась. Но дом наш и погоду никакой угомон не брал! Буря дребезжала оконными стеклами, хлопала длинными железными болтами ставен и звонила на соседнем дворе в колокольчик; верхний жилец вернулся домой и принялся расхаживать перед сном взад и

вперед, потом швырнул на пол свои сапожищи и наконец захрапел так, что слышно было через потолок.

Я не мог успокоиться; не успокаивалась и погода; она вела себя непозволительно резво. Ветер выл на свой лад, а зубы мои начали ныть на свой. Это была прелюдия к зубной боли!

Из окна дуло. Лунный свет падал прямо на пол; временами по нему пробегали какие-то тени, словно облачка, гонимые бурей. Тени скользили и перебегали, но наконец одна из них приняла определенные очертания; я смотрел на ее движения и чувствовал, что меня пробирает мороз.

На полу сидело видение – худая длинная фигура, вроде тех, что рисуют маленькие дети грифелем на аспидной доске: длинная тонкая черта изображает тело, две по бокам – руки, две внизу – ноги и многоугольник наверху – голову.

Скоро видение приняло еще более ясные очертания; обрисовалось одеяние, очень тонкое, туманное, но все же ясно указывающее на особу женского пола.





Я услышал жужжание. Призрак ли то гудел или ветер жужжал, как шмель, застрявший в оконной скважине?

Нет, это гудела она! Это была сама госпожа Зубная боль, ее окаянное величество, исчадие самого ада! Да сохранит и помилует от нее Бог всякого!

– Тут славно! – гудела она. – Славное местечко, болотистая почва! Тут водились комары; у них яд в жалах, и я тоже достала себе жало, надо только отточить его о человеческие зубы! Ишь как они блестят вон у того, что растянулся на кровати! Они устояли и против сладкого, и против кислого, против горячего и холодного, против орехов и сливовых косточек! Так я ж расшатаю их, развинчу, наполню корни сквозняком! То-то засвистит в них!

Ужасные речи, ужасная гостья!

– А, так ты поэт! – продолжала она. – Ладно, я научу тебя всем размерам мук! Я примусь за тебя, прижгу тебя каленым железом, продерну веревки во все твои нервы!

В челюсть мне как будто вонзили раскаленное шило; я скорчился от боли, начал извиваться, как червь.

– Чудесный материал! – продолжала она. – Настоящий орган для игры! И задам же я сейчас концерт! Загремят и барабаны, и трубы, и флейты, а в зубе мудрости – тромбон! Великому поэту великая и музыка!

И вот она начала играть! Вид у нее был ужасный, нужды нет, что я видел одну ее руку, эту туманную, холодную как лед руку с длинными, тонкими, шилообразными пальцами. Каждый был орудием пытки: большой и указательный образовывали клещи, средний был острым шилом, безымянный – буравом и мизинец – спринцовкой с комариным ядом.

– Я научу тебя всем размерам! – опять начала она. – Великому поэту – великая и зубная боль, а маленькому поэту – маленькая!

– Так пусть я буду маленьким! – взмолился я. – Пусть совсем не буду поэтом! Да я и не поэт! На меня только находят временами припадки стихотворного недуга, как находят и припадки зубного! Уйди же! Уйди!

– Так ты признаешь, что я могущественнее поэзии, философии, математики и всей этой музыки? – спросила она. – Могущественнее всех человеческих чувств и ощущений, изваянных из мрамора и написанных красками? Я ведь и старше их всех! Я родилась у самых ворот рая, где дул холодный ветер и росли от сырости грибы. Я заставила Еву одеваться в холодную погоду, да и Адама тоже! Да уж поверь, что первая зубная боль имела силу!

– Верю! – сказал я. – Верю всему! Уйди же, уйди!

– А ты откажешься от желания стать поэтом, писать стихи – на бумаге, грифельной доске, на чем бы то ни было? Тогда я оставлю тебя! Но я вернусь, как только ты опять возьмешься за стихи!

– Клянусь, оставлю все! – сказал я. – Только бы мне никогда больше не видеть, не чувствовать тебя!

– Видеть-то ты меня будешь, только в более приятном и дорогом для тебя образе – в образе тетушки Милле, и я буду говорить тебе: «Сочиняй, мой милый мальчик! Ты великий поэт; пожалуй, величайший из наших поэтов!» Но если ты согласишься со мной и возьмешься за кропание стихов, я положу твои стихи на музыку и

разыграю ее на твоих зубах! Так-то, милый мальчик! Помни же обо мне, беседа с тетушкой Милле!

Тут она исчезла.

На прощание я получил в челюсть еще один укол раскаленным шилом. Но вот боль начала утихать... Я как будто скользил по зеркальной глади озера, вокруг меня цвели белые кувшинки с широкими зелеными листьями... Они колыхались, погружались подо мною, увядали, распадалась в прах, и я погружался вместе с ними, погружался в какую-то тихую бездну... Покой, тишина!.. «Умереть, растаять, как снежинка, испариться, превратиться в облако и растаять, как облако!» – звучало вокруг меня в воде.

Сквозь прозрачную воду я видел сияние великих имен, надписи на развевающихся победных знаменах, патенты на бессмертие, начертанные на крыльях мухи-подёнки.

Я погрузился в глубокий сон, без сновидений, и не слышал больше ни воя ветра, ни хлопанья ворот, ни звона колокольчика, ни гимнастики верхнего жильца.

Блаженство!

Вдруг налетел такой порыв ветра, что запертая дверь в комнату, где спала тетушка, распахнулась. Тетушка вскочила, надела башмаки, накинула платье и вошла ко мне. Но я спал, рассказывала она мне потом, сном праведника, и она не решилась разбудить меня. Я проснулся сам; в первую минуту я ничего не помнил, не помнил даже, что тетушка ночевала тут, в доме, но потом припомнил все, припомнил и ужасную ночную гостью. Сон и действительность слились в одно.

– А ты не писал чего-нибудь вечером, после того как мы попрощались? – спросила тетушка. – Ах, если бы ты писал! Ты ведь у меня поэт и будешь поэтом!

Мне показалось при этом, что она лукаво-прелукаво улыбнулась, и я уж не знал – любящая ли это тетушка Милле предо мною, или ужасное ночное видение, взявшее с меня слово никогда не писать стихов?

– Так ты не писал стихов, милый мой мальчик?

– Нет, нет! – вскричал я. – А ты... ты тетушка Милле?

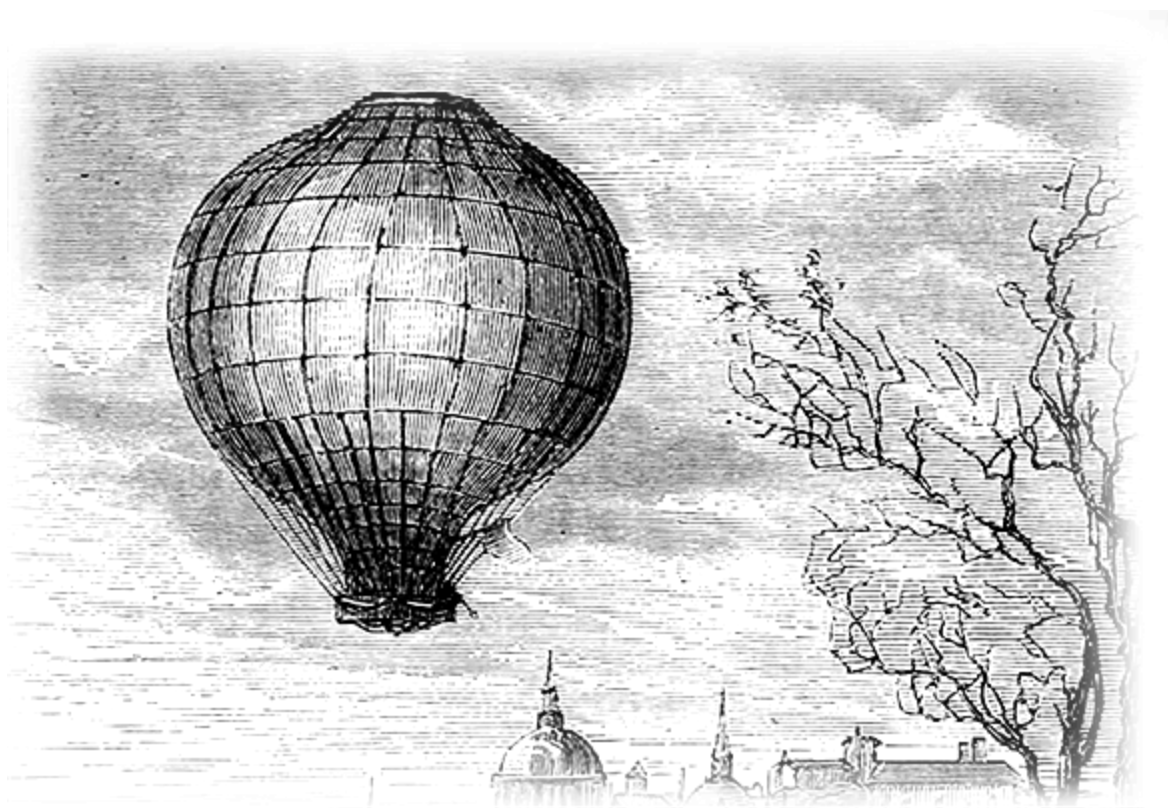
– А то кто же? – сказала она. И впрямь это была тетушка Милле. Она поцеловала меня, взяла извозчика и уехала домой.

Я, однако, решился написать то, что тут написано: это ведь не стихи, да и напечатано никогда не будет!..»

На этом рукопись обрывалась. Молодой друг мой, будущий приказчик бакалейного магазина, так и не мог добыть остальной части тетрадки; она пошла гулять по белу свету в виде обертки для селедок, масла и зеленого мыла – выполнила свое назначение!

Пивовар умер, тетушка умерла, сам студент умер, а искорки его таланта угодили в бочку. Вот каков был конец истории – истории о тетушке Зубной боли!

## Блоха и профессор



Жил-был воздухоплаватель. Ему не повезло, шар его лопнул, и сам он упал и разбился. Сына же своего он за несколько минут перед тем спустил на парашюте, и это было счастьем для мальчика – он достиг земли целым и невредимым. В нем были все задатки, чтобы сделаться таким же воздухоплавателем, как отец, но у него не было ни шара, ни средств на приобретение его.

Жить, однако, чем-нибудь да надо было, и он занялся фокусничеством и чревоуещанием. Он был молод, красив собою, и когда возмужал да отпустил себе усы и стал ходить в хороших платьях, то мог сойти хоть за природного графа. Дамам он очень нравился, а одна девица так прямо влюбилась в него за его красоту и ловкость и решила разделить его скитальческую жизнь по чужим странам. Там он присвоил себе титул профессора – меньшим уж он не мог довольствоваться.

Заветной мечтой его было приобрести себе воздушный шар и подниматься на нем вместе с молодой женой, да вот беда – денег не

было.

– Ну, когда-нибудь да они придут к нам! – говорил он.

– Если только захотят! – отвечала жена.

– Что ж, люди мы ведь еще молодые, а я уже профессор! И крошки ведь тот же хлеб!

Жена всячески помогала мужу, сидела у дверей и продавала билеты на представления, а холодное это было удовольствие зимою! Помогала она ему также и в одном фокусе. Он прятал ее в ящик стола, в большой ящик, а она оттуда перебиралась в задний ящик, и в переднем ее уже не оказывалось. Выходил как будто обман глаз.

Но однажды вечером, когда он выдвинул ящик, оказалось, что жена исчезла взаправду! Ее не было ни в переднем ящике, ни в заднем, не было во всем доме – исчезла без следа! Это уж был ее фокус! Она так и не вернулась к нему больше: жене наскучила эта жизнь, а муж стал так скучать по жене, что утратил свой веселый нрав, не мог больше шутить и паясничать, и публика перестала ходить на его представления. Заработки стали плохие, платье изнашивалось; под конец из всего имущества осталась у профессора одна большая блоха – память о жене; немудрено что он души не чаял в этой блохе! Он выдрессировал ее и обучил разным штукам: делать на караул ружьем и стрелять из пушки – конечно, из маленькой.

Профессор гордился своей блохой, а она гордилась собой: она ведь обучилась кое-чему, в ней текла человечья кровь, и, кроме того, она побывала в разных городах, показывала свои фокусы перед принцами и принцессами и удостоивалась их высокого одобрения. Об этом говорилось и в газетах, и в афишах. Блоха сознавала себя знаменитостью, знала, что в состоянии прокормить не только своего профессора, но хоть целую семью.

Она была горда, знаменита, но – увы! – путешествуя со своим профессором по железным дорогам, всегда занимала место в четвертом классе! Что ж, и в четвертом едешь ведь не тише, чем в первом! Блоха и профессор вступили друг с другом в крепкий, хотя и молчаливый союз, дали друг другу молчаливый обет никогда не разлучаться, никогда не жениться. Блоха решила остаться в девицах, профессор – вдовцом. Одно стоило другого.

– Туда, где произвел наибольший фурор, нельзя заглядывать второй раз! – говаривал профессор; он знал людей, а это ведь тоже кое-что

значит.

Но вот, наконец, он побывал во всех странах, кроме страны дикарей, и решил отправиться туда. Правда, он знал, что дикари поедают христиан, но сам он был ненастоящий христианин, а блоха ненастоящий человек, так он и порешил, что они могут отважиться на такое путешествие и даже заработать там хорошие денежки.

Часть пути они сделали на пароходу, часть на парусном судне; блоха проделывала свои штуки, и таким образом дорога окупилась. Наконец, они прибыли в страну дикарей.

Страной правила маленькая принцесса; ей было всего восемь лет, но она уже правила. Принцесса просто-напросто отняла власть у отца и матери – она была страсть какая своевольная, да к тому же на диво миленькая и непослушная.

Как только блоха показала свои штуки: сделала ружьем на караул и выстрелила из пушки, принцесса влюбилась в нее и воскликнула:

– Она или никто! Я выйду за нее замуж!

Принцесса совсем одичала от любви, а и без того-то уж была дикая.

– Милое, дорогое дитятко! Умница ты наша! – заговорил ее отец. – Да если бы можно было сначала сделать из блохи человека!

– Не твое дело, старый! – отрезала принцесса, и это было с ее стороны не очень-то мило – она ведь говорила с отцом. Но уж такая она была дикая!

Она посадила блоху себе на руку и сказала ей:

– Теперь ты человек и царствуешь вместе со мною! Но ты должна делать, что я хочу, иначе я убью тебя и съем профессора!

Профессору отвели большой зал. Стены были из сахарного тростника – знай лижи себе вволю, но он не был лакомкой. Вместо же постели ему дали висячую койку, и он покачивался в ней, как в корзине воздушного шара, о котором не переставал мечтать.

Блоха осталась у принцессы, сидела на ее маленькой ручке и на шейке: принцесса выдернула у себя из головы волос и велела профессору обвязать его вокруг ножки блохи, другой же конец волоса прикрепила к большому куску коралла, красовавшемуся у нее в ухе.

То-то настало блаженное времечко для принцессы, да и для блохи тоже – по мнению первой. Но профессор не был доволен: он был путешественник в душе, любил странствовать из города в город и читать в газетах похвалы своему терпению и ловкости, которые

помогли ему обучить блоху разным человеческим штукам. Изо дня в день качался он в своей койке, ничего не делая, только ел да пил. Пища ему отпускалась хорошая: свежие птичьи яйца, слоновьи глаза и жареные ляжки жирафа. Людоеды питаются не одним человеческим мясом; оно у них только считается самым изысканным блюдом.

– Особенно хороши детские плечики под крепким соусом! – говорила мать принцессы.

Профессор скучал и рвался вон из страны дикарей, но не мог же он оставить здесь свою блоху: она была его славой и кормилицей. Да как же заполучить ее? Задача не легкая!

Он напряг все свои мыслительные способности и наконец воскликнул: «Нашел!»

– Принцессин отец! Разреши мне заняться чем-нибудь! Разреши обучить всех жителей страны делать на караул! В величайших странах мира это служит признаком высшей образованности!

– А чему ты можешь научить меня? – спросил отец принцессы.

– Моему высшему искусству! – сказал профессор. – Искусству палить из пушки так, что вся земля начнет дрожать, а с неба посыплются вкуснейшие жареные птицы! Вот как!

– Давай сюда пушку! – сказал отец принцессы.

Но во всей стране не нашлось ни одной пушки, кроме той, которую привезла с собою блоха, но эта была чересчур мала.

– Я отолью большую! – сказал профессор. – Только дайте мне материалы! Мне нужны тонкая шелковая материя, иголка и нитки, канаты и веревки, а также желудочные капли для воздушных шаров – они раздувают, поднимают шары на воздух, они же производят и взрыв в желудке пушки.

Все, что он потребовал, было ему выдано.

Все жители страны сбежались посмотреть на большую пушку. Но профессор позвал их не раньше, чем шар был совсем готов наполниться газом и подняться.

Блоха сидела на руке принцессы и тоже смотрела. Шар наполнили газом, он раздулся, и его еле удерживали – он совсем одичал.

– Мне надо будет подняться на воздух, чтобы пушка остыла! – сказал профессор и уселся в корзину, прикрепленную под шаром. – Но одному мне не справиться! Мне нужен знающий помощник! Кроме же блохи никто не годится!



– Не очень-то я охотно отпускаю ее! – молвила принцесса, но все-таки отдала блоху профессору. Тот посадил ее себе на руку.

– Теперь отпустите веревки и канат! – закричал он народу. – Шар подымается!

И вот шар стал подыматься все выше да выше к облакам и улетел из земли дикарей.

А принцесса, мать ее, отец и весь народ все стояли да ждали. Они ждут и посейчас, а не веришь, поезжай сам в страну дикарей – там каждый ребенок говорит о блохе и профессоре и верит, что они вернутся, когда пушка остынет. Но они и не думают возвращаться: они давно дома, на своей родине, и разъезжают по железным дорогам уже в первом, а не в четвертом классе. Теперь они много зарабатывают – у них свой большой воздушный шар. Никто не спрашивает, как и где они его добыли: они ведь теперь люди со средствами, всеми уважаемые – и блоха, и профессор.

1872



????-е

## Писарь

Жил-был чиновник, и ему по должности полагалось красиво и четко писать. Дело свое он знал хорошо, а вот писать красиво и четко не умел; тогда он дал объявление в газету, что ищет человека с красивым почерком. Таких людей явилось хоть пруд пруди! Одними их именами можно было доверху набить бочку. А нужен был только один, и чиновник недолго думая нанял первого попавшегося; и верно, почерк у того был что у живой машинки чистописания. Чиновник был мастер своего дела. И теперь, когда писарь перебелил его бумаги четкими, красивыми буквами, все говорили:

– Написано отменно!

А писарь, который сам по себе и полскиллинга не стоил, рассудил по-своему:

– Писал эти бумаги ведь я!

Наслушавшись за неделю, что говорит народ, он возгордился и сам захотел занять должность чиновника.

Ему бы в пору быть хорошим учителем чистописания; надев белый галстук, он имел бы вполне пристойный вид за чайным столом в обществе, а он вдруг вздумал переплюнуть всех других писарей. Стал он писать о художниках и о скульпторах, о поэтах и о тех, кто сочиняет музыку. Он нес несусветную околесицу, а когда чересчур завирался, то на другой день писал, что-де вышла опечатка. А между тем все, что бы он ни писал, была одна сплошная опечатка. Ведь вся его сила была в почерке, но вот беда: в том, что напечатано, красивого почерка-то не разглядишь.

– Захочу – вознесу, захочу – растопчу! – бахвалился писаришка. – Сам черт мне не брат! Я, если хотите, маленький Господь Бог, а подумать, так не такой уж и маленький!

Все это, конечно, был бред, и он-то его и доконал, о чем появилось сообщение в газете. Быть может, его другу, который умеет сочинять сказки, следовало немного приукрасить всю эту скучную историю. Но

о жизни этого писаришки, о жизни, заполненной всякой чепухой, мерзостью и вздором, как ни старайся, хорошей сказки не напишешь.

1969<sup>[31]</sup>

### **«Лягушачье кваканье»**

Сидели лесные птицы на ветвях деревьев, а листьев там было не счесть; и однако же все спелись на том, что хорошо бы им обзавестись еще одним новеньким, славным «Листком», совершенно необходимым, критическим; у людей таких листков столько развелось, что и половины бы хватило.

Каждая певчая птичка мечтала о такой музыкальной критике, где бы ее хвалили, а всех других бранили, если было за что. Но им никак было не спеться: кого же среди птиц выбрать в беспристрастные критики?

– И все же критик должен быть птицей, – изрекла сова; ее избрали председателем собрания, потому что она слыла мудрейшей из птиц. – Вряд ли стоит искать его на стороне, в мире других животных, разве что среди обитателей моря. Там рыбы летают в воде, словно птицы в воздухе, однако этим, пожалуй, и ограничивается фамильное сходство. Но ведь между рыбами и птицами есть еще промежуточные существа.

Тут слово взял аист и пошел щелкать клювом:

– Между рыбами и птицами существуют еще и земноводные: дети болота, лягушки – вот за них я голосую. Они неимоверно музыкальны, их хор напоминает звон церковных колоколов в лесной глуши. И меня так и тянет вдаль! – сказал аист. – Крылья чешутся, только они начинают распевать.

– И я голосую за лягушек, – присоединилась к аисту цапля, – правда, они не рыбы и не птицы, но все-таки живут в обществе рыб, а поют как птицы.

– Ну, по музыкальной части договорились, – объявила сова, – но ведь «Листок» должен рассказывать обо всем, что есть прекрасного в лесу, стало быть, нужны сотрудники. Давайте поразмыслим об этом и поищем каждый среди своей родни.

Тут раздалась вольная и чудесная песня жаворонка:

– Не бывать лягушке хозяйкой в «Листке», нет, я – за соловья.

– Прекратить щебетание, – ухнула сова, – я призываю к порядку! Знаю я соловья, мы с ним – ночные птицы: всяк поет как умеет. Но выбирать в критики не следует ни его, ни меня, не то «Листок» станет аристократическим или философским, оперно-бравурным «Листком», где тон будут задавать высокопоставленные лица, а наш орган должен еще защищать интересы простонародья...



Птицам никак было не спеться: будет ли «Листок» называться «Утреннее лягушачье кваканье», или «Вечернее лягушачье кваканье», или просто «Лягушачье кваканье». За последнее и проголосовали.

Теперь оставалось лишь найти дельных, или хотя бы слывающих дельными, сотрудников.

Пчела, муравей и крот обещали писать о промышленности и инженерном деле, они были знатоки по этой части.

Кукушка была поэтом, воспевавшим природу; она не считается певчей птицей, но тем не менее в жизни простонародья играет огромную роль.

– Кукушка всегда сама себя славит, она самая тщеславная из всех птиц, а так невзрачна с виду, – заметил павлин.

Тут к редактору лесного «Листка» прилетели навозные мухи.

– Предлагаем свои услуги, – зажужжали они, – мы хорошо знаем людей, человеческих редакторов, да и человеческих критиков тоже; садишься на свежее мясо, откладываешь яички, а завтра, глядишь, оно уже и протухло. Пусть только понадобится редакции, и мы по долгу службы изничтожим любой настоящий талант! Если же представлять

какую-нибудь партию, то «Листок» обретет такую большую силу, что можно будет позволить себе и наглость. А потеряем подписчика – не беда: взамен найдется десять новых. Будьте бесцеремонны, поносите всех бранными словами, выставляйте к позорному столбу, свистите, сунув пальцы в рот, как члены Союза молодежи, и вы станете силой в государстве.

– Ах ты, птица перелетная! – ругнула лягушка аиста. – Лягушонком я, правда, смотрела на него снизу вверх в почтительном трепете, а когда он разгуливал по болоту и рассказывал про Египет, мой кругозор расширялся – я узнавала о чужих диковинных странах. Теперь он меня больше не вдохновляет, все в прошлом, я поумнела, стала мыслящей, приобрела влияние, я печатаю критические статьи в «Лягушачьем кваканье». Недаром одну из букв датского алфавита называют, как и меня, «лягушка» или «квакушка». Среди людей тоже попадаются такие. Я написала об этом целый подвал в нашей газете.

*1969*

## Картошка

Хорошему когда-нибудь да быть в чести, – сказала бабушка. – Вот взять хотя бы картошку; немало порассказала бы она, умей она говорить!

И впрямь долгие годы картошку ни во что не ставили. Правда, пасторы в церковных проповедях говорили, что, мол, дана она нам на радость и на пользу, а все зря: народ не верил этому. Сами короли раздавали людям картофельные клубни – пусть сажают в землю. А сажал ли их кто?

Да вот хоть в Пруссии, был там великий король, Старый Фриц по прозвищу; был он молодец, и он тоже взялся за картофель. Целый воз картофеля пожаловал одному из городов в своем королевстве и приказал бить в барабаны, чтобы созвать всех горожан на площадь. Не кто-нибудь, а отцы города показывали народу диковинные клубни и громко учили, как картофель сажать, как ходить за ним и как его готовить. Что толку: в одно ухо вошло, в другое – вышло. Люди так и не поняли, что им говорят, и стали пробовать на вкус сырую картошку.

– Тьфу, до чего противная! – говорили они, и швыряли картошку в сточную канаву, и видели собственными глазами, что даже собаки брезговали ею. Нашлись и такие, кто попытался посадить картошку: одни закопали картофелины подальше друг от друга и стали ждать, когда из них вырастут деревья и можно будет снимать плоды. Другие побросали их в одну большую яму, где клубни слиплись в ком и дали ботву. На следующий год королю пришлось все начать сначала, и немало утекло воды, пока до людей дошло, что им надо делать.

– И так было всюду! Картофель, этот лучший из плодов, дарованных нам, людям, нигде ни во что не ставили, – сказала бабушка. – Зато нынче цены ему нет! Нынче-то его признали. Всему хорошему когда-нибудь да быть в чести!

Частенько случалось мне видеть, как туго приходится людям на свете; и всякий раз вспоминал я картошку и бабушкины слова.

1969

## Яблоко



Где-то в Англии маленький мальчик и маленькая девочка играли с яблоком; они трясли его, слушая, как внутри стучат зернышки. Яблоко они разрезали, и каждому достался свой кусочек, а зернышки поделили между собой и съели. Кроме одного, которое нужно было, как считал мальчик, посадить в землю.

— Вот увидишь, что из него получится! — пообещал он. — А получится такое, что ты даже представить себе не можешь! Вырастет целое яблоневое дерево, но не сразу!

Мальчик был такой умница!

И зернышко посадили в цветочный горшок — оба они выказали при этом большое усердие. Мальчик вырыл пальчиком ямку в земле, маленькая девочка положила в нее зернышко, и они вместе прикрыли его землей.

— Только не смей завтра вытаскивать зернышко из земли, чтобы посмотреть, пустило ли оно корни, — предупредил мальчик. — Этого делать нельзя. Я поступил так со своими цветами в прошлом году, и

всего только два раза. Я хотел лишь посмотреть, не проросли ли у них корни, – тогда у меня ума не хватило, и цветы умерли!

Цветочный горшок остался в комнате у девочки, всю зиму каждое утро она присматривалась к нему, но видна была одна лишь черная земля. Но вот настала весна, солнце светило так жарко, и тогда в цветочном горшке пробились два маленьких зеленых листочка.

– Просто чудесно, невиданно! – ликовала девочка. – Теперь у нас вырастет яблоневое дерево!

И с каждым днем, с каждой неделей оно все больше пробивалось наружу. Растение становилось все выше и выше, оно превратилось в целое маленькое деревцо, с каждым годом выраставшее все больше и больше. Однако маленькой девочке не удалось увидеть, как оно зацвело. Господь призвал ее к себе из юдоли земной. Маленький же мальчик был все еще жив, но ведь дерево росло не у него, да он и думать о нем забыл. Забыл и о том, как он когда-то играл с девочкой и они положили яблочное зернышко в цветочный горшок и хотели, чтобы из него получилось такое, чего она даже и представить себе не могла. Он-то сам уехал из родительского дома, поступил в школу, чтобы из него что-нибудь да получилось. Для него такой радостью было читать, учиться, познавать! Он забыл про все свои детские игры и, само собой, не думал больше про яблочное зернышко и про то, что из него могло получиться; ведь оно стало уже маленьким деревцом, достаточно большим для того, чтобы его пересадить в сад. И туда-то оно и попало; ведь дерево тоже вышло в свет, чтобы из него что-нибудь получилось. И вот оно росло на свежем воздухе, его орошала роса, его согревало солнце, оно прибавляло в силе, помогавшей ему противостоять зиме. А после тяжкого гнета зимы деревцо, будто радуясь весне, покрылось цветами, а осенью на нем и в самом деле появилось несколько яблок. Шли годы, могила маленькой девочки зарастала травой, а в школе, год за годом, рос человек, несущий глубокую веру в сердце и благородные помыслы в голове. Когда-нибудь его имя назовут среди имен величайших мыслителей мира. Он совершенно не думал о своем яблоневом дереве, не вспоминал, как еще малышом вместе с маленькой девочкой играл с яблоком, как они поделили его и съели даже зернышки, кроме одного. Это зернышко они посадили для того, чтобы девочка увидела нечто такое, чего она даже представить себе не могла.



Шли годы, и тяжкие дни, дни испытаний, обрушились на дом, где играли дети. Родители маленькой девочки обеднели, дом и усадьба были проданы с молотка, новые хозяева стали строить и рыть, была проложена новая проселочная дорога, проходившая через старый сад. И тогда яблоневое дерево оказалось на другой стороне дороги. Но солнце согревало его, как и прежде, и, как прежде, орошала его роса, оно покрывалось прекрасными цветами, оно приносило богатый урожай плодов. Оно все так же склоняло свои ветви под тяжестью плодов, и многие из ветвей были сломаны, потому что к ним тянулись жадные руки, срывавшие плоды. Ведь дерево стояло у проезжей дороги, где каждый мог пройти мимо, оно стояло там много-много лет, это дерево у проселочной дороги, с него срывали цветы, даже не поблагодарив его, у него воровали яблоки, а вдобавок еще ломали ветки. Можно сказать, что вовсе не об этом пели у колыбели дерева, если о дереве можно говорить как о человеке; его история начиналась так красиво, а что из всего этого вышло? Покинутое и забытое садовое дерево в канаве рядом с полем и проселочной дорогой, оно росло безо всякой защиты. Его трясли и ломали, правда, оно еще не увяло, но с годами на нем появлялось все меньше цветов и еще меньше яблок. Оно вообще могло перестать плодоносить, в последний год дерево принесло осенью всего лишь три яблока; они висели рядом друг с другом на одной ветке точно так же, как тогда, в первый год, когда оно было совсем низенькое, юное и счастливое своим первым богатством. В тот раз оно тоже принесло всего три-четыре яблока, но теперь эти три были последними. И когда упало одно яблоко, а потом другое, осталось висеть только самое последнее. Когда же и оно упало, история дерева подошла к концу.

Быть может, точно такие же или подобные им мысли занимали пожилого человека, который шел по проселочной дороге. Он молча постоял возле яблони, погруженный в раздумье и устремив неотрывный взгляд на одно, самое последнее яблоко на дереве. По крайней мере, вероятно, так оно и было, потому что это был тот же самый маленький мальчик, который посадил в землю яблочное зернышко. Но он не видел, как оно вырастало, не видел того, что из него получилось. И не знал того, что Око Божье направляло его мысли, занятые в тот самый миг тайнами творения, а Мысли Божьи направляли то, что мы называем силами природы. Загадку бытия – вот

что он хотел понять. Тихое дуновение ветерка коснулось листьев яблоневого дерева – Дух Божий витал и витает надо всем. Яблоко упало с дерева – закон всемирного тяготения разрешил проблему. Человек этот был Ньютон.

*1995*

## Наш старый школьный учитель

Наш старый школьный учитель был такой умный, так много знал, особенно по географии и истории; эти предметы он так легко нам преподносил. Сад школьного учителя был разбит наподобие географической карты всей Дании; там были посажены такие растения и цветы, которые лучше всего приживались в отдельных частях нашей страны.

– Принесите мне горох! – говорил он.

И мы шли к грядке, изображавшей остров Лоллан.

– Принесите мне гречиху!

И мы шли к грядке, представлявшей собой остров Фюн.

Жасмин мы рвали на острове Лангеллан, зная, что прекрасную голубую горечавку можно найти севернее, у Скагена. Были здесь и города, но только в виде памятников. Стоял там и святой Кнуд с драконом, обозначавший Оденсе, Абсалон с епископским жезлом обозначал Сорё; маленькое гребное суденышко было символом того, что здесь расположен Орхус. Таким образом, мы очень хорошо изучили географию Дании. Историю же, как она ни обширна, мы тоже легко удерживали в памяти.

– Исторические личности и события всегда повторяются, – говаривал школьный учитель. – Их могут разделять столетия, многие столетия, но все равно сохраняется возможность увидеть тех же самых особ, только в другом одеянии и в другой эпохе. Люди одинаковы во все времена, точно так же как животные одного и того же рода и масти скроены сегодня так же, как в день сотворения мира.

И школьный учитель рассказал нам тысячекратной давности историю о крестьянине и его сыне, который собрался в город, чтобы продать осла. Сначала старик ехал верхом на осле, предоставив мальчику идти пешком. Но тут люди стали говорить, что вот, мол, он едет верхом, заставляя бедного ребенка идти пешком. И тогда он велел мальчику сесть верхом на осла, а сам пошел пешком. Но тут люди стали говорить, как это, мол, глупо позволить мальчику, у которого такие крепкие молодые ноги, ехать верхом, а старого человека заставлять идти пешком. Тогда они оба уселись верхом на осла, но люди стали тогда говорить: какой все же великий грех, что бедное

животное вынуждено тащить их обоих. Тут отец с сыном спешили и оба пошли пешком, ведя под уздцы осла. Тогда люди стали смеяться и говорить, какие же они дураки, что идут пешком, когда у них есть осел, на котором можно ехать верхом.

– Людям никогда не угодишь! – сказал старик. – У них всегда найдется о чем посудачить.

Эту историю рассказывал еще свыше тысячелетия тому назад брамин из Индии Бидпай, но она не устарела еще и сейчас и не состарится во все времена!

Учитель рассказывал и о Вильгельме Телле, который вынужден был сбить выстрелом из лука яблоко с головы своего сына. Но прежде чем выпустить стрелу, он спрятал на груди вторую, чтобы пустить ее в грудь злого Геслера, который способен был потребовать, чтобы родной отец совершил такое опасное для его сына деяние. Это случилось в Швейцарии, но на много лет раньше нечто наподобие этого произошло в Дании, с Пальнатоке. Ему тоже пришлось сбить выстрелом яблоко с головы своего сына. И он тоже спрятал на груди вторую стрелу, чтобы отомстить. А еще раньше, свыше тысячелетия до того, была записана такая же точно история, случившаяся в Египте. Кажется, это – одна история, а на самом деле – целых три: одно и то же повторяется все снова и снова. Что примечательного ни приключилось бы в наше время, все снова и снова повторится столетие спустя. Старое станет новым, оно случится вновь, но совсем в другом месте, у другого народа, в другом обличье, но все равно это – одно и то же. Сохрани в своей памяти одно, запомни другое, и ты будешь знать всю мировую историю.

– Ты помнишь, – сказал школьный учитель, – притчу о богаче, отобравшем единственного ягненка у бедняка? Теперь ее приписывают царю Давиду и указывают на него, а потом и на других, а в грядущем и на новых лиц. Это как бы путеводная нить для памяти – для того, чтобы нанизывать на нее множество событий, самых разных и в то же время таких одинаковых. С помощью воображения можно проникнуть в будущее. Недавно я думал о библейском Самсоне, который существовал в действительности, и о Самсоне поэтическом, который еще может появиться, поднять на свои плечи городские ворота, сразиться со львом и принести мед, избить филистимлян их же собственными челюстями. Но тут появится

современная Далила, Фрекен Мода, очарует его, возьмет в плен и, отрезав волосы, лишит его силы. Она выколлет ему глаза, и он окажется в рабстве и, презираемый филистимлянами, будет вынужден уничтожить и их, и самого себя.

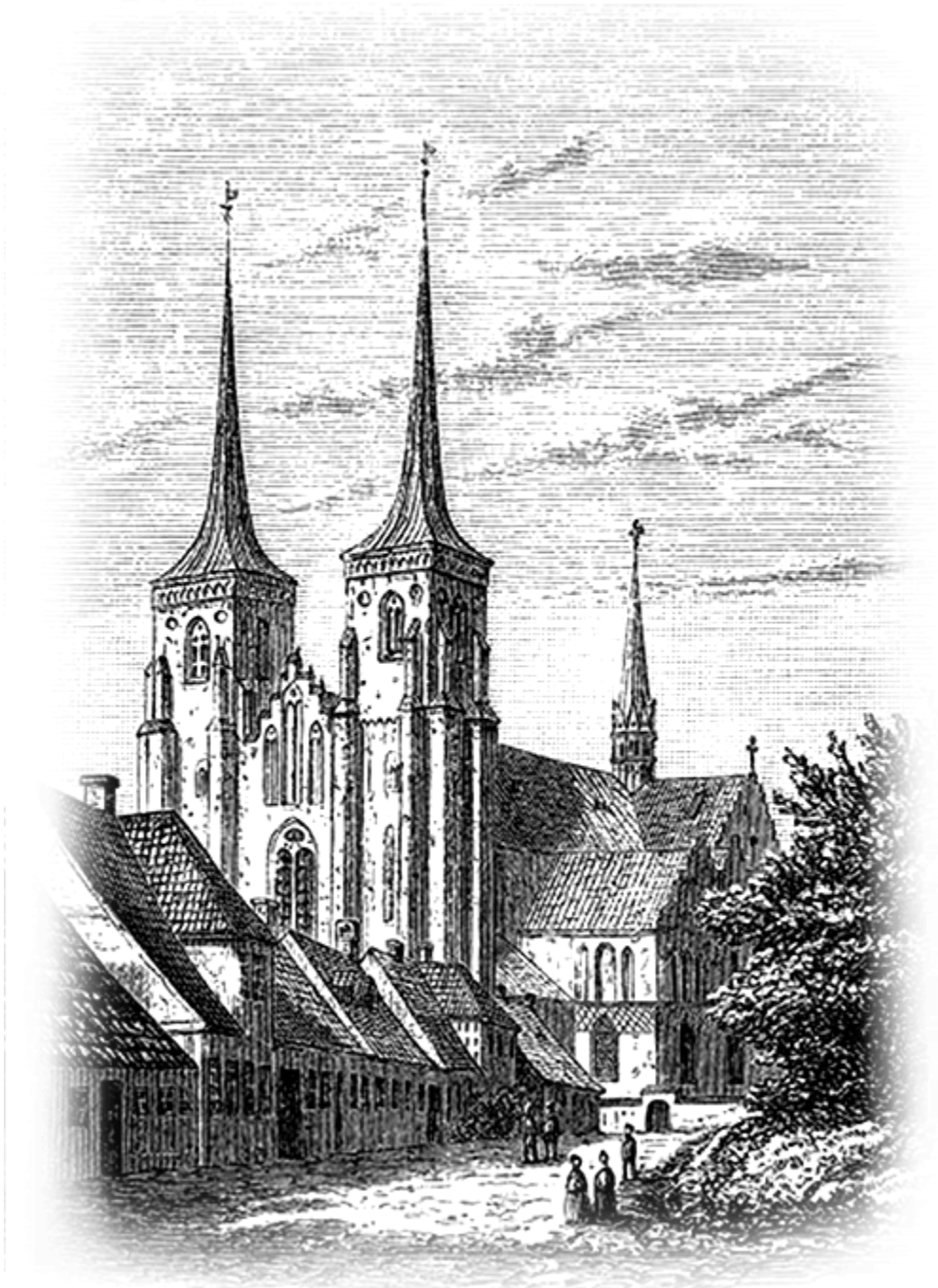
Говорят, музыка грядущего скучна, история грядущего, быть может, еще скучнее! Так что, дети, я не хочу больше ничего рассказывать вам сегодня!

Так он закончил урок в тот день. Так закончу и я, дорогой читатель! А будет ли у этой истории продолжение, зависит только от тебя.

*1995*

## **Урбанус**

Жил-был когда-то в одном монастыре прилежный и благочестивый монах по имени Урбанус; ему были вверены ключи от монастырской библиотеки, и он был ревностным хранителем сокровищ, порученных его попечению. Урбанус написал множество прекрасных книг, перечитал много других и усердно изучал Священное Писание. И вот однажды он нашел в «Деяниях святых апостолов» слова апостола Павла: «Для Бога тысяча лет – это один день и одна ночь». Юноше показалось, что это совершенно невозможно, он погрузился в глубокие размышления и, не в силах уверовать, терзался сомнениями.



И вот как-то раз случилось ему выйти из затхлого книгохранилища в озаренный солнцем нарядный монастырский сад. По саду скакала пестрая лесная пташка. Поклевав зернышек, она вспорхнула на ветку и запела так чудно! Птичка вела себя точно ручная, она подпускала инокa совсем близко, – казалось, еще немного – и он бы ее поймал, но в последний миг она взлетала и перепархивала на другое дерево.

Монах все шел за нею, а птичка все время распевала звонким и нежным голоском, но в руки никак не давалась, хотя молодой монах, следуя за ней, давно вышел из сада и забрел далеко в лесную чащу. Наконец он бросил погоню и пошел обратно, но, вернувшись назад, не узнал окрестностей. Все предметы – и строения и деревья – точно выросли, сделались выше и красивее, а на месте приземистой монастырской церковки высился огромный собор с тремя башнями. Монаху все показалось так странно, точно он попал в заколдованное царство. А когда он, очутившись у монастырских ворот, несмело позвонил в колокольчик, ему отворил какой-то незнакомый привратник, который в изумлении отступил перед пришельцем. Проходя через монастырское кладбище, Урбанус увидел такое множество надгробий, какого прежде на его памяти там никогда не бывало. Затем он вошел в стены обители. Святая братия перед ним в страхе расступалась, и лишь отец-настоятель – уже не старичок, которого знал Урбанус, а другой, более молодой, – не отшатнулся, а с распятием в руках преградил ему дорогу и воскликнул:

– Во имя Распятого отвечай, для чего ты, неуспокоенная душа, восставшая из могилы, явился и что тебе надо от нас? Зачем пришел ты бродить среди живых людей?

При этих словах монаха объял смертный холод, он зашатался, как трясущийся старец, и опустил очи долу. И тут он увидел у себя длинную седую бороду, ее белые пряди доставали до связки ключей от книжных шкафов, которую он носил на поясе. Оробевшие монахи почтительно проводили странного пришельца в покои настоятеля. Настоятель вручил молоденькому монаху ключ от книгохранилища, тот отпер дверь и принес старинную летопись, где было записано, что триста лет тому назад внезапно исчез из монастыря монах Урбанус. Никто так и не узнал, было ли это бегством или он погиб.

– О пташка небесная! Так вот какова была твоя песня! – молвил пришелец с глубоким вздохом. – Всего три минутки я шел за тобою, внимая твоей песенке, а тем временем минуло три века. Ты пропела мне песнь о вечности, которой я не мог постигнуть разумом. Ныне я понял ее и повергаюсь с молитвой перед Богом во прах, ибо есмь персть! – воскликнул он, склонил главу, и тело его рассыпалось прахом.

*1995*



## **Маленькие истории**

### **1. Эта басня сложена про тебя!**

Да, остроумный способ придумали в древности мудрецы, как, не причинив человеку прямой обиды, все же сказать ему правду в глаза. Они давали людям заглянуть в чудесное зеркало, в котором отражались всякие звери и диковинные вещи, являвшие собой зрелище столь значительное, сколь и поучительное. Мудрецы называли это зеркало басней, и что бы ни делали звери, всё – и разумное и глупое – люди поневоле относили к себе и при этом думали: эта басня сложена про тебя! Поэтому и рассердиться на басню никто не мог.

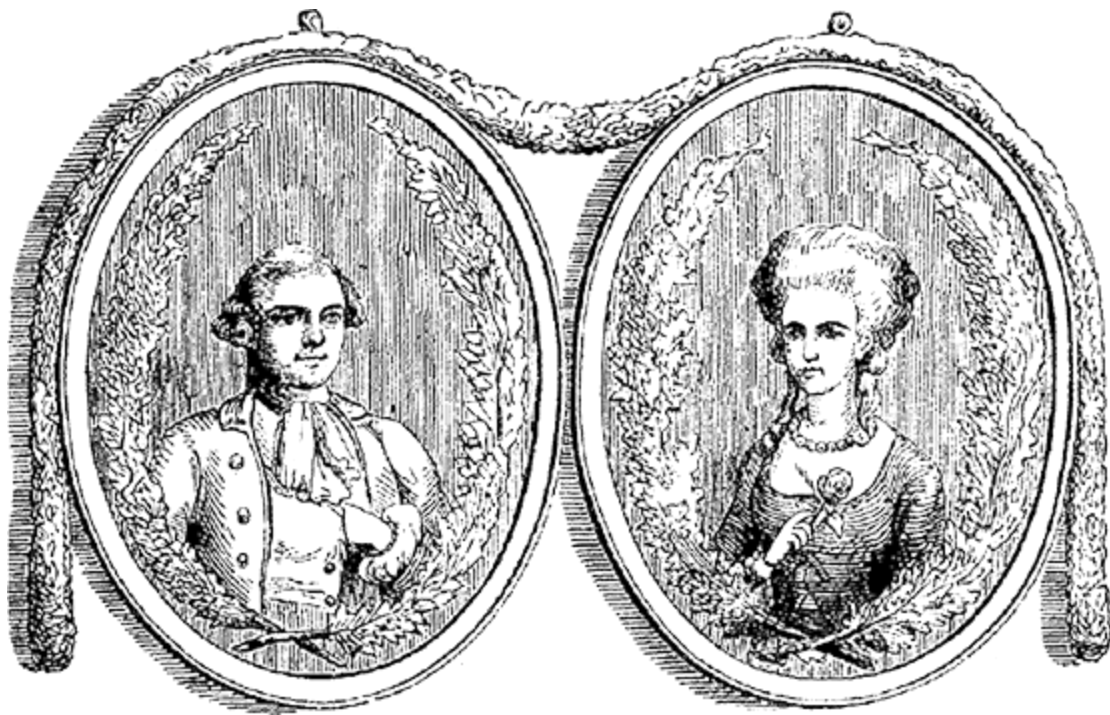
А теперь послушайте!

Стояли две высоких горы, а на их вершинах высилось по замку. Внизу, в долине, рыскала голодная собака, обнюхивая землю в поисках мышей или куропаток. Вдруг из одного замка послышался звук трубы; он возвещал, что там вот-вот сядут за стол. Собака тотчас помчалась на гору, надеясь, что и ей перепадет кусочек, но не успела она и полпути пробежать, как там перестали трубить, зато затрубили в другом замке. Тут собака подумала, что в первый замок ей не попасть, там, видно, уже отобедали, а вот во втором еще только за стол садятся. Она сбежала с этой горы и помчалась на другую. Тут снова затрубили в первом замке, во втором же труба смолкла. Собака снова сбежала вниз и снова помчалась на гору; так она и бегала взад и вперед до тех пор, пока не смолкли обе трубы, потому что и здесь и там уже отобедали.

А ну-ка, догадайся, что хотели сказать этой басней древние мудрецы и кто тот плувец, который бегают, пока не свалится с ног, но так ничего и не находит ни здесь, ни там?

1969

### **2. Талисман**



Принц с принцессой праздновали еще свой медовый месяц. Счастливы они были чрезвычайно, и только одна мысль не давала им покоя: им очень хотелось знать, будут ли они так же счастливы всю свою жизнь? Поэтому и стали они мечтать о талисмане, который оградил бы их от всяческого недовольства в супружестве. А были они очень наслышаны об одном человеке; жил этот человек в лесу, и все почитали его за мудрость. В любой беде и во всяком затруднении мог он дать дельный совет. Отправились к этому мудрецу принц с принцессой и рассказали ему обо всем, что у них было на душе. Выслушал их мудрец и сказал:

– Ступайте странствовать по белу свету и, как встретятся вам счастливые и всем довольные муж с женой, попросите у них лоскуток исподнего, а как раздобудете такой лоскуток, носите его всегда как талисман. Эта средство испытанное.

Сели принц с принцессой на коней и отправились в путь; вскоре услышали они от людей об одном знатном рыцаре, который будто бы жил со своей женой счастливее всех других. Поехали они к нему в замок и стали сами супругов расспрашивать, правда ли они так довольны своей жизнью, как говорит про то молва.

– Все правда, – ответили те, – одно только горе: детей у нас нет!

Стало быть, здесь искать талисман было нечего, и пришлось принцу с принцессой отправиться дальше на поиски счастливых и всем довольных супругов.

И вот приехали они в город, где, по слухам, был один честный горожанин, который жил со своей женой в мире, любви да согласии. К нему-то они и пошли и точно так же спросили, правда ли он так счастлив в браке, как о том рассказывают.

– Да уж, что правда, то правда! – ответил муж. – Живем мы с женой душа в душу, вот только детей у нас многовато, а с ними немало у нас и забот и горя!

Стало быть, и у него искать талисман было нечего, и принц с принцессой отправились дальше, расспрашивая повсюду, не слыхал ли кто про счастливых и довольных супругов. Но такие все не объявлялись.

Однажды, едучи полями и лугами, увидали они неподалеку от дороги пастуха, который весело играл на свирели. И видят, что к пастуху идет женщина с грудным младенцем, другого ребенка, мальчика, она ведет за руку. Как только пастух заметил женщину, он пошел к ней навстречу, поздоровался, взял малютку и стал целовать и ласкать его. А собака пастуха, прыгая и лая от радости, подбежала к мальчику и лизнула ему ручонку. Меж тем жена пастуха достала глиняный горшок, который принесла с собой, и сказала:

– Иди-ка, отец, поешь.

Муж сел на землю и принялся за еду, но первый кусок он отдал малютке, а второй разделил с мальчиком и собакой. Все это видели и слышали принц с принцессой. Подошли они поближе и заговорили с мужем и женой:

– Уж вы-то, наверное, самые что ни на есть счастливые и довольные супруги?

– Да уж, что правда, то правда, – ответил муж. – Слава богу. На свете нет ни одного принца с принцессой счастливее нас.

– Знаете что, – сказал тогда принц, – помогите нам, вы об этом не пожалеете! Дайте нам по лоскуточку от рубашек, которые вы носите на теле!

При этих словах пастух с женой как-то чудно переглянулись. А пастух сказал:

– Видит Бог, мы бы рады дать вам не то что по лоскутку, но и по целой сорочке, будь она у нас. Но у нас и тряпки-то никакой в доме нет.

Пришлось принцу с принцессой отправиться дальше не солоно хлебавши. Под конец долгие напрасные скитания им наскучили, и они повернули домой. Когда принц с принцессой проезжали мимо хижины мудреца, они упрекнули его за то, что он дал им такой плохой совет, и рассказали про свое путешествие.

Улыбнулся на это мудрец и сказал:

– Неужто вы и вовсе понапрасну съездили? Разве не вернулись вы домой умудренные опытом?

– Да, – ответил принц, – я узнал, что счастье и довольство своей судьбой – редкий дар на этом свете!

– А я, – сказала принцесса, – поняла: быть довольным очень просто, нужно только... быть довольным.

Протянул тут принц принцессе руки, и поглядели они друг на друга с такой нежной любовью! Благословил их мудрец и сказал:

– В вашем собственном сердце отыскали вы истинный талисман! Храните его бережно, и тогда злой дух недовольства никогда не овладеет вами.

### 3. Жив еще старый Бог!

Был воскресный день. Солнечные лучи, ясные и теплые, освещали горницу; мягкий и освежающий воздух вливался в растворенное окошко, а на воле, под голубыми небесами, где поля и луга цвели и зеленели, ликовали птички. На всем Божьем свете царили радость и веселье, а в доме между тем поселились горе и нищета. Даже хозяйка, которая никогда не падала духом, с самого утра глядела печально. Так и не притронувшись к завтраку, она встала из-за стола, отерла слезы и пошла к дверям.

Казалось, будто над домом этим тяготеет проклятие. Все в стране дорожало, промышленность приходила в упадок, бремя налогов становилось все тяжелее и тяжелее, средств у семьи делалось меньше и меньше, впереди ее ожидали только нищета и несчастье. Все это уже давно тяготило мужа бедной женщины, который был всю свою жизнь работающим и честным человеком. Ныне же он приходил в полное отчаяние при одной мысли о том, что его ждет, и даже стал заговаривать о том, что хочет наложить на себя руки, покончить с этим убогим, беспросветным существованием. Напрасно его жена старалась вдохнуть в него бодрость, напрасно пытались друзья утешить его доводами, почерпнутыми из житейского опыта и религии. Он делался все печальнее и все больше замыкался в себе. Неудивительно, что жена его в конце концов тоже упала духом. Только ее печаль, как мы вскоре увидим, была совсем иного рода.

Увидев, что жена его опечалена и хочет выйти из горницы, он удержал ее и молвил:

– Я не отпущу тебя, покуда ты не скажешь, что тебя мучит.

Помолчав, она глубоко вздохнула и сказала:

– Ах, дорогой муженек! Мне приснилось нынче ночью, будто старый Бог помер, а все ангелы его хоронят!

– Можно ли верить в такую чепуху! Откуда ты это выдумала? – ответил муж. – Разве ты не знаешь, что Бог бессмертен?!

Тут лицо доброй женщины озарилось радостью, и, с любовью сжав обе руки мужа, она воскликнула:

– Стало быть, жив еще старый Бог!

– Ясное дело! – отвечивал муж. – Можно ли в этом сомневаться!

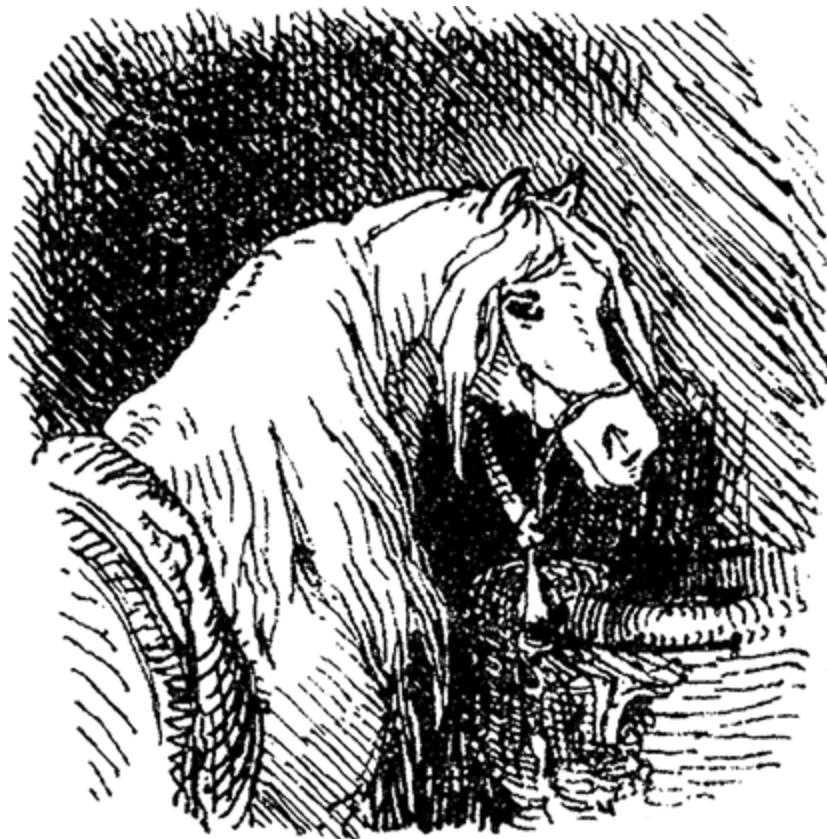
Тут она обняла его, взглянула на него ясными глазами, в которых светилось доверие, мир и радость, и молвила:

– Ах, дорогой муженек! Раз старый Бог жив еще, почему же мы не веруем в Него и не уповаем на Его помощь! Ведь он сосчитал каждый волосок на наших головах и ни один не упадет без Его воли! Ведь это Он дарует одежду лилиям в полях, дарует воробьям их корм, а воронам их добычу!

При этих словах словно пелена спала с глаз мужа, и разжались тиски, сжимавшие его сердце; впервые за долгое-долгое время он улыбнулся и поблагодарил свою милую, благочестивую женушку за ту хитрость, с помощью которой она оживила его умершую было веру и вернула ему надежды. Тут солнышко еще приветливей засияло в горнице, озарив лица довольных людей, ветерок овеял их щеки, а птицы, еще громче ликуя, воздавали сердечное спасибо Богу.

1983

#### 4. Ханс и Грета



Жили на свете два брата. Каждый владел прекрасным наделом земли, и поскольку они были соседями, то частенько хаживали друг к другу в гости и разговаривали о хозяйстве, да о достатке. Один хвалился честностью его работника, другой же – ловкостью своей служанки. У старшего брата был великолепный жеребец, у младшего – красивая кобыла, оба одного цвета и роста. Вот об этих-то животных и заходила каждый раз речь: старший брат хотел купить кобылу младшего, тот же, напротив, не отказался бы от жеребца. Что ж, согласны они были только в том, что оба животных должны принадлежать одному хозяину – но никак не могли договориться между собой.

Однажды, когда в очередной раз речь зашла о жеребце и кобыле, младший брат воскликнул:

– Ну, так спорим, что я получу жеребца без твоего ведома? Более того, твой честный работник сам мне его приведет!

– Спорим, – согласился старший. – Мой жеребец против твоей кобылы, что этого не случится. Если работник захочет украсть его, он мне сам об этом скажет.

– Это ты так думаешь! – возразил младший.

– Да я уверен в его честности!

Пари было заключено, и братья разошлись.

На следующее утро младший брат позвал свою служанку и рассказал ей о пари с братом:

– Теперь я надеюсь на твою сноровку!

– Можете на меня положиться! – заверила его Грета и тем же вечером отправилась к работнику старшего брата.

– Доброго вечера, Ханс!

– Спасибо, Греточка!

– Трудишься, как всегда...

– Да, ведь это мой долг, моя обязанность.

– Я слыхала, твой хлев такой аккуратный, ни дать ни взять, кукольный шкафчик. Да теперь я и сама это вижу!

Ханс был польщен и пригласил Грету войти внутрь. Она же похвалила то, что стоило похвалы, и помогла с тем, что работнику еще необходимо было сделать.

«Эта Грета, пожалуй, симпатичная и милая девушка!» – подумал Ханс.

На следующий день, в субботу, Грета пришла снова.

– Доброго вечера, Ханс!

– Спасибо, Греточка!

– Ты не сердишься, что я сегодня опять пришла?

– Нет, с чего бы это?

– Ты уже свободен на сегодня?

– Да, я уже все сделал! И очень торопился! А знаешь почему? Потому что мне подумалось: может, Греточка запланет сегодня?

Они присели поболтать. Ханс заметил, что Грета умеет складно говорить, да к тому же весьма умная девушка. Он возьми да и спроси ее: не хочет ли она пойти с ним на танцы в это воскресенье.

Грета согласилась, и они протанцевали до глубокой ночи, когда девушка воскликнула:

– Бог мой, уже так поздно! Мне ведь надо быть дома! Седлай-ка своего коня и отвези меня!

Ханса не надо просить дважды. Посадил Грету на коня, и поскакали они сквозь темную ночь. Чтобы девушка не упала, Ханс обхватил ее рукою и всю дорогу твердил о ее благосклонности к нему. Грета считала, что настал подходящий момент высказать все, что у ней на сердце: что ее хозяин хочет заполучить жеребца, на котором они сейчас скачут, и что он пообещал ей большое вознаграждение, и когда она получит его, оно станет хорошим приданным.

– Ты ведь pomoжешь, дорогой Ханс? – спросила она и поцеловала работника.

Бедняга Ханс! Теперь ему придется выполнить просьбу девушки – хочет он того или нет. Но как скрыть от хозяина кражу?

– Надо что-то придумать, – решила Грета. – Скажи хозяину, что во время поездки на тебя напали волки, и коня пришлось бросить. Волки же обглодали его до костей. Можешь даже привести господина сюда, а я позабочусь о том, чтобы завтра на этом месте лежали обглоданные лошадиные кости.

На том и порешили. Грета ускакала на коне, а Ханс отправился домой пешком.

Дома он никак не мог уснуть, его терзала мысль о том, как он завтра будет лгать своему хозяину. Не лежалось Хансу в постели, он



вылез из нее и решил поупражняться во лжи. Вышел за дверь, обернулся и постучал – представил, что за дверью – его хозяин:

– Доброго утра, Ханс!

– Спасибо, господин!

– Как там жеребец?

– Э-э-э, господин! Жеребец... – тут он запнулся и не мог говорить дальше. Вышел снова за дверь и повторил:

– Доброго утра, Ханс!

– Спасибо, господин!

– Как там жеребец?

– Э-э-э, господин! Жеребец... – и опять он замолчал, ложь застряла в горле и тяжким камнем лежала на сердце.

Спозаранку он отправился в комнату к хозяину.

– Доброго утра, Ханс!

– Спасибо, господин!

– Как там жеребец?

– Э-э-э, дорогой господин! Жеребец... – он запнулся было на мгновение, но продолжил, – жеребец похищен, и вор – я, теперь меня остается только повесить!

Затем Ханс рассказал, как все произошло, упомянув о том, что сообщила ему Грета.

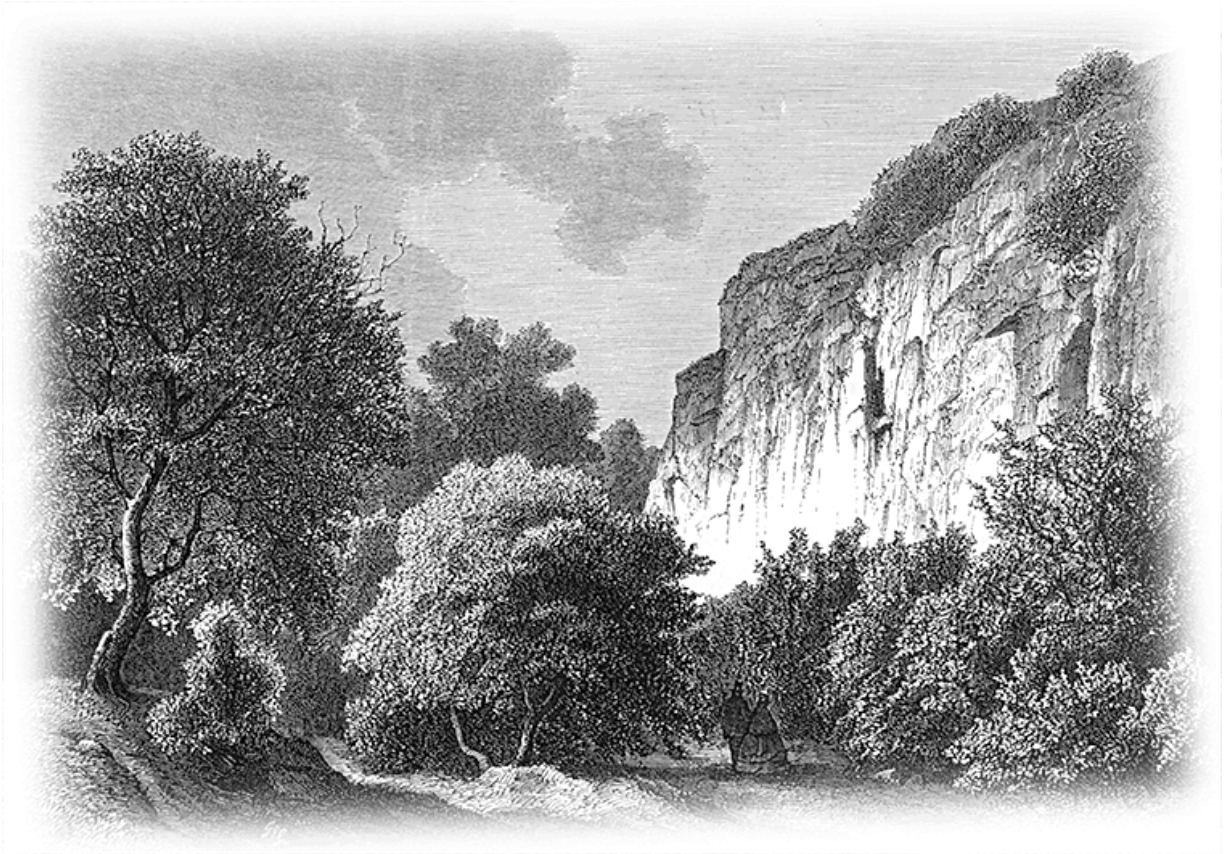
– Так что жеребец у брата господина, – заключил он.

Хозяин был обрадован подтвердившейся честностью работника, простил его и пообещал вознаграждение – такое же, как брат его обещал служанке.

– Теперь важно, чтобы ты женился на Грете, – сказал хозяин. – Тогда ты приведешь ее в мой дом, и у меня будет не только честный работник, но и ловкая служанка.

Ханс не мог и мечтать об этом. Честность победила в пари, и тому, кто положился на хитрость, пришлось лишиться и служанки, и кобылы. Да так, в сущности, и должно было произойти!

## 5. Голубые горы



Неподалеку от гор обосновалась тихая и набожная община людей. Члены ее питались той кашею, что старательность их помогала добыть им с земли, тем молоком, что получали они от животных, пасшихся на лугу. Трапеза их проходила в удовлетворении и благодарности Господу. Утренней порою люди выходили на свежий воздух и, обратив свои взоры к востоку, молились незримому Богу, который подымал в небеса солнце из-за этих прекрасных голубых гор, устремлял вниз водные потоки, напояющие их поля и луга, насылал непогоду с громом и молниями, исполненную царственного великолепия.

Но был в общине человек, который хотел подобраться к горам настолько близко, что смог бы исследовать водное течение, ветер и воздух. Однажды он отправился туда и осуществил свое намерение.

Через некоторое время человек этот воротился и провозгласил собравшимся общинникам:

– Любезные братья! То, что вы возомнили себе о голубых горах и Боге – неправда! Мы глубоко заблуждались. При ближайшем рассмотрении предметы сии предстали предо мною в совершенно ином, отличном от наших воззрений, свете. Горы, которые отсюда кажутся столь прекрасно голубыми, – в действительности, лишь неровные и бесплодные камни; воды, что струятся из ущелий – дикие и разрушительные горные потоки; ветер и воздух – суть природные миражи, происходящие сами по себе; солнце же встает далеко за этими горами, и Бога, которого мы воображали себе, там нет.

Члены общины пришли в замешательство от слов человека, суждения которого имели значительный вес, некоторые даже возмущенно зароптали: «Так наши предки обманули нас! Мы верили в сказку, как во что-то реальное!» И с тех пор они перестали возносить молитвы Богу, который творил чудеса в голубых горах, но и работать стали с неохотой, жили в постоянной неудовлетворенности.

Нашлись среди них такие, кто сами отправились в горы, чтобы увидеть все воочию – да только утомили себя напрасными хождениями вверх и вниз, а многие сорвались в пропасть или заплутали среди величественных горных круч и умерли от голода.

Однако ж на одного из таких путешественников снизошел духовный свет. Он подумал, взирая на глыбы скал: «Какая же сила их воздвигла? Вид этих громад заставляет сердце трепетать и мыслить о величии!» Почувствовав жажду, путешественник спустился к горному источнику, где увидел дикое животное, припавшее к воде; и он восславил того, кто позволил благодатной свежести хлынуть из этих скал. Отсюда, с вершины горы, открылась ему истинная природа сущего: разрушительный поток превращается в долине в мирную реку, которая несет корабли от города к городу и дарует людям нескончаемое наслаждение. Наблюдал он и движение облаков, изменение ветров и увидел, что все это подчиняется определенному закону. И солнышко просыпалось каждое утро к востоку от той вершины, где стоял путешественник. Тогда он преклонил колена пред тем незримым, что являет свою мощь во всем вокруг, и осознал истину в древней вере: да, Бог действительно царил в прекрасных голубых горах! Но одновременно с этим человек уразумел, что нельзя

привязывать себя к мертвым словам веры – необходимо следовать смыслу этих слов!

Он воротился домой и проповедовал в общине свое Евангелие. И те, кто услышал и принял его, снова работали с хорошим настроением, по утрам, как и прежде, выходили на свет Божий и, обратив свои лица к востоку, молились тому незримому, что царит в голубых горах – тому, что позволяет солнцу вставать, водным потокам струиться, а непогоде метать громы и молнии. И пока они возносили моления с верою в душе, в их повседневный труд вливалась сила, руки работали слаженнее, и каждое разумное желание сердца было исполнено.

2016

## **На смертном одре**

*История, рассказанная месяцем*



«Далеко-далеко отсюда, — так начал свой рассказ месяц, — возвышается дворец, огромный, роскошный, с мраморными барельефами на стенах, прекрасные ковры устилают его широкие лестницы и коридоры. Однажды я проплывал над венчавшим его куполом и заглянул с высоты сквозь стекла больших окон в великолепно убранную залу — то была сокровищница дивных произведений искусства. Но внутри царил невообразимая суматоха, причину которой я решил выяснить, и вот что я увидел: в спальном покое, в окружении свиты и лейб-медиков, под роскошным балдахином с тяжелыми золотыми кистями, возлежал на своем пышном ложе король. Здесь было тихо, никто не смел шелухнуться. «Он задремал, — шептались придворные, — сон укрепит его тело и дарует облегчение от недуга». Но я-то знал, что король не спит. Мой

взор уловил то, что недоступно человеческому глазу: посреди величественного ложа, на груди закованного, бледного короля, ослабившись в жуткой гримасе, восседала костлявая Смерть. Она нацепила на себя золотую корону монарха, а кончики своих заострившихся пальцев приложила к его глазам. Смерть нашептывала королю отвратительные истории, истории из его жизни, повествующие обо всех злых, жестоких деяниях, которые он когда-либо совершал. В покое стояла жуткая тишина, было так тихо, что отчетливо слышалось каждое слово, произнесенное Смертью. От ужаса на лбу короля выступили кровь и капли пота... Но меня там уже не было, — я плыл над высокими горами, оставив дворец далеко позади».

Вот о чем поведал месяц, я же лишь набросал эту картинку в свою тетрадь. Гениальный поэт, художник или композитор воспользовался бы этим материалом лучше, разукрасив мой бледный набросок пылающими красками, которые, подобно зловещим откровениям, явленным королю Смертью, прожигали бы человеческие сердца вплоть до самых потаенных их уголков.

*2016*

## О чем поведала старая ива



Дорога была проселочная, узкая и лежала в стороне от большого тракта; по бокам ее выстроились в ряд ивы, выглядевшие довольно уныло: их стволы, вместо пышной кроны, венчала обрубленная, узловатая верхушка, из которой, словно струи воды из лейки, взметнулись вверх молодые побеги – тонкие лозинки; таких деревьев здесь было много, а вот живописную иву можно было увидеть, пройдя по дороге чуть дальше; там, возле огромной лужи, которая имела все основания называться прудом, стояло старое-престарое дерево, ему, должно быть, исполнилось больше сотни лет. Во времена далекой молодости эту иву подрезали, как и все остальные деревья, и ей приходилось беспрестанно выпускать свои побеги-прутики, но вот уже с полвека ива была предоставлена самой себе и выглядела теперь поистине роскошно: ее длинные густолиственные ветви клонились к подернутому ряской и заросшему зеленым пруду; посреди ствола

проходила трещина, во время одной из сильных бурь расщепившая макушку ивы, а из этой самой трещины, куда ветром нанесло чернозему и прелых листьев, росли трава и цветы. Особенно наверху, где дерево раздваивалось, – там образовался целый висячий садик с малиной и мокричником; там даже проросла крохотная стройная рябинка, которая красовалась теперь на верхушке ивы. Казалось, что дерево, такое сгорбленное, такое дряхлое и почтенное, – это старец, а раскидистые ветви – его пышный зеленый парик. Впрочем, оно и в самом деле было стариком, которому перевалило за сотню лет.

Ива, застывшая в гордом одиночестве, была достойна кисти художника, однако стоило подойти к ней поближе, и тотчас становилось понятно, что ее окружение являет собой еще более живописное зрелище. В первую очередь, сказанное относилось к пруду, который цвел и зеленел, его заплотнили водяные растения, а потому он казался зеленым пятном, – лишь на миг, когда расходилась в стороны потревоженная плюхнувшейся лягушкой зеленая ряска, можно было увидеть черную воду. К ней-то и тянулась старая ива. Сюда же склонил свои ветви росший сбоку куст бузины, который каждую весну стоял усыпанный цветами; над лопухами и крапивой навис дикий хмель, а в самом углу вымахал здоровенный рогоз, необычайно бархатистый, могучий и крепкий.

Позади же всего этого зеленого великолепия одиноко ютилась ветхая, полуразвалившаяся крестьянская лачуга; казалось, она изнемогала под тяжестью лепившегося на ней гнезда аиста – единственного, что там не нуждалось в починке; дикий хмель оплел развалюху вплоть до темно-зеленой крыши, на которой тут и там росли среди разноцветного мха дикий чеснок и желтые цветы. На лачугу эту можно было только смотреть, но уж никак не дотрагиваться до нее – настолько она была дряхлой! Но это не смущало ни аиста, ни древнего старика, коротавшего в ней остаток своих дней, хотя ему частенько неприятно поддувало с севера, ведь к северу от лачуги не было ни единого деревца – ни ивы, ни бузины. Там расстилалась огромная барщина: овес стоял еще желто-зеленый, тогда как пшеница уже налилась золотом и созрела.

– Старик в лачуге, аист наверху, да я вот тут, у пруда, – говорила старая ива, – мы – одна семья. Я здесь дольше всех и появилась прежде остальных; а старика я помню, когда он был еще маленьким



светловолосым мальчиком. В этой самой лачуге он родился и вырос; по моей спине он карабкался, баламутил пруд своими босыми ногами, – ни на неделю этот мальчишка не пропадал у меня из виду. Как-то раз он воспылал любовью к девушке – жалкий оборванец! По пути на ярмарку он сидел с ней бок о бок в повозке, но так и не осмелился признаться в своих чувствах – и тем лучше, поскольку на следующий же день девица согласилась выйти за богача крестьянина, доставившего ей и скот, и прочие блага. «Она это заслужила», – услышала я тогда от робкого паренька. Не больно он был разговорчив, а в последний год и подавно – не чета моим ветвям: уж они-то шелестят на все лады, когда ветер резвится в них. Ни мне, ни ему торопиться некуда, а дождь с непогодой, солнечные лучи да облака пусть себе проносятся над нами! Аисту тоже не сидится на месте: каждый год ему нужно улетать отсюда Бог знает куда, в чужие страны, но он нас не забывает и каждый год возвращается обратно. Правда, воробьи чирикают, мол, на самом-то деле это потому, что здесь он не испытывает недостатка в хорошей еде, да стоит ли слушать болтунов, которые ни о чем другом и говорить не могут! Аист – преданный друг! «Благодаря ему не сносят лачугу», – сказала недавно барышня из господской усадьбы, присевшая у дороги и перенесшая на бумагу меня, лачугу, и аиста, – она назвала это зарисовкой.

Я, конечно, подсмотрела, что у нее получилось. Меня изобразили любующейся своим отражением в пруду, однако на этой картинке можно лицезреть лишь мою внешность; того, что я чувствую, там, как ни старайся, не разглядишь.

«До чего ж здесь славно, сущая благодать!» – радуется старый Якоб, живущий в лачуге. Аист же считает, что места лучше этого не сыскать: и то правда – здесь наши корни, а у него тут свое гнездо.

2016

## Букварь

Как-то раз один человек сочинил несколько новых рифм для «Букваря» – по две строки для каждой буквы, так же, как и в старой книжке. Он полагал, что просто необходимо придумать что-то свежее, ведь уже существующие стихи безнадежно отстали от века и давно

всем надоели. Новые же рифмы их сочинитель находил весьма неплохими. «Букварь», в который их поместили, был пока еще только рукописным, но он уже расположился рядом со старым, напечатанным, в огромном книжном шкафу, где стояло множество книг – как ученых, так и предназначенных для развлечения. Однако старому «Букварю» такое соседство пришлось не по вкусу: он взял, да и спрыгнул со своего места на пол, толкнув при этом новый «Букварь», так что и тот теперь очутился внизу, рассыпав свои листы по полу.

Старый «Букварь» лежал открытый на первой странице, – а она ведь самая главная в книжке, где представлены все буквы, большие и маленькие. Она одна заключает в себе то, из чего состоят все книги, которые когда-либо были написаны – алфавит, – чудесное войско символов, что управляют миром; поистине необыкновенной властью они обладают! Только прикажи им стоять в нужном порядке, – и воины эти обретут способность даровать жизнь или лишить ее, осчастливливать или опечаливать. Поодиночке-то они ничего не значат, а вот когда волею мудрого Господа оказались выстроенными в ряд, облеченными в слова, мы узнали больше, чем способны были вынести, и склонились под этой тяжестью; буквы же не дрогнули и стойко несут ее.

Так вот теперь они лежали на полу у всех на виду, и петушок, изображенный подле заглавной буквы *А* алфавита, сверкал своими яркими перьями – красными, синими, зелеными. Он горделиво приподнялся со страницы и взъерошился. Да, уж он-то прекрасно знал о важности букв и к тому же был среди них единственным живым существом!



Когда петух обнаружил, что старый «Букварь» лежит на полу, он взмахнул крыльями, взмыл вверх и пристроился на уголке книжного шкафа. Здесь он почистил клювом перья и закукарекал звонко и протяжно. Каждая из книг в шкафу, стоявших днем и ночью, словно в оцепенении, когда их никто не читал, была разбужена этим трубным гласом. Затем петух высказался громко и ясно об оскорблении, нанесенном достопочтенному старому «Букварю»:

– Все теперь должно быть по-новому, по-другому! – заявил он. – Все должно идти в ногу со временем, ведь нынешние дети такие сообразительные, что начинают читать раньше, чем выучат алфавит.

«Вот и надо им преподнести что-нибудь новенькое!» – решил умник, накропавший новые стихи, которыми теперь усеян весь пол. Я их знаю! Да-да! Раз десять я слышал, как он зачитывал их для себя вслух. Ему, видите ли, они очень нравятся! Ну, уж нет! Попрошу оставить в покое мои родные, добрые старые рифмы из «Букваря» с Ксанфом и картинками, что прилагаются к ним. За них я буду бороться, за них буду драть свое горло! Они хорошо известны любой книге в шкафу! Теперь же я зачитаю вслух все эти новомодные стишки. Постараюсь сохранять присутствие духа, да только уверен: мы единогласно решим, что они из рук вон плохи!

*A. Amte (Кормилица)*

*Кормилица* в платье воскресном шагает  
И гордо на деток хозяйских взирает.

*B. Bonde (Крестьянин)*

*Крестьянина* раньше во всем притесняли,  
Теперь слишком много ему воли дали!

– Этот стих мне кажется совершенно неуместным! – заметил петух. – Тем не менее, продолжу читать!

*C. Columbus (Колумб)*

*Колумбу* плыть пришлось немало,  
Чтоб суши вдвое больше стало!

*D. Danmark (Дания)*

О *Датском* королевстве слух идет,  
Что Бог в годину бед его спасет!

– Многим это покажется трогательным! – ухмыльнулся петух. – Но я так не считаю! Не вижу здесь ничего трогательного! Читаем дальше!

*E. Elephant (Слон)*

Хоть тяжело ступает слон,  
Конечно, молод сердцем он!

*F. Formørkelse (Затмение)*

Очень довольна затмением луна –  
Носит ермолку подолгу она!

*G. Galten (Боров)*

Боров с кольцом в пяточке – кавалер,  
Правда, лишенный хороших манер.

*H. Hurra (Ура)*

Нередко «ура», звучащее страстно,  
Весьма опрометчиво и напрасно!

– И как ребенку понять такое? – воскликнул петух. – Правда, на титульном листе указано: «*Букварь для больших и маленьких*», но только у великовозрастных-то есть дела поважнее чтения «Букваря»! Ну, а малышам его не понять! Всему ведь есть предел! Однако я продолжу!

*J. Jord (Земля)*

Земля плодородна, кругла, словно мать,  
Когда-нибудь снова в ней будем лежать.  
– Ну, это уже граничит с пошлостью! – возмутился петух.

*K. Ko. Kalv (Корова, телушка)*

Корова рябая – супруга быка,  
Телушка – всего лишь ребенок пока.

– И как объяснить детям родственные связи? – хмыкнул петух.

*L. Løve. Lorgnet (Лев, лорнет)*  
С лорнетом дикий лев не бродит,  
Лорнет партерный лев наводит.

*M. Morgensol (Заря)*  
Утром ранним *заря* занимается  
Не оттого, что петух надывается.

– Теперь оскорбления в мой адрес! – воскликнул петух. – Но и то хорошо, я хоть в приличном обществе оказался – в обществе солнца!  
Читаем дальше!

*N. Neger (Негр)*  
Сколько *негра* ты ни мой,  
Не сотрется сажи слой.

*O. Olieblad (Оливковый лист)*  
Голубь когда-то, светел и чист,  
Людам принес *оливковый лист*.

*P. Pande (Лоб)*  
Такое вместить может *лоб* человека,  
Чему не хватает пространства и века!

*Q. Qvæg (Скот)*  
Хорошее дело – *скот* разводить,

Есть и плохое – самым *скотом* быть.

*R. Rundetaarn (Круглая башня)*

Тот, кто с *Круглую башню* размером,  
Может не быть благородства примером.

*S. Sviin (Свинья)*

Друг мой, гордиться сверх меры не надо  
Тем, что *свиней* в лесу – целое стадо.

– С вашего позволения, я прочищу горло! – объявил петух. – Ведь такое длительное чтение хоть кого уходит; я должен перевести дух!

Тут он закричал, да так пронзительно, словно медная труба! Какое блаженство было слушать это – для петуха!

– Продолжим! – сказал он.

*T. Theekedel, Theemaskine (Чайник, самовар)*

Пусть *чайник* закоптился от нагара,  
Но он поет не хуже *самовара*!

*U. Uhret (Часы)*

Где бы ты ни был – мертвый, живой, –  
Стрелки *часов* не замедлят ход свой!

– А здесь, должно быть, подразумевается какая-то глубокая мысль! – проворчал петух. – Но она упрятана так глубоко, что до нее и не добраться!

*V. Vaskebjørn (Енот)*

Если за дело возьмется *енот*,  
Скоро до дыр он его изотрет!

Х...

– Здесь он не мог придумать ничего нового!

В море семейном должна быть скала:  
Так, у Сократа *Ксантиппа* была.

– Он все-таки выбрал Ксантиппу (*Xanthippe*). Ксанф (*Xanthus*) был бы здесь гораздо уместней!

*Y. Ygdrasil* (*Игдрасиль*)  
Под ясенем боги держали совет,  
Засох *Игдрасиль*, – и богов уже нет.

– Осталось совсем чуть-чуть, – заверил петух, – и это утешает!  
Дочитываю!

*Z. Zephyr* (*Зефир*)  
*Зефир* – промозглый западный шутник:  
Датчанам дует он за воротник.

*Æ. Æsel* (*Осел*)  
*Осел* упрямый будет век ослом,  
Хоть золотым укрась его седлом!

*Ø. Østers* (*Устрица*)  
*Устрица* хочет поглубже залезть:



Миру нет веры, ее могут съесть!

– Ну, вот вам, пожалуйста! Но это ведь еще не все! Сначала их напечатают, а затем и будут читать! Вот, что собираются предложить вместо благородных стихов из старого «Букваря»! А что думаете обо всем этом вы, почтенные друзья мои: ученые и не очень, отдельные произведения и собрания сочинений? Каково мнение книжного шкафа? Я уже высказался, – теперь очередь остальных!

Но книги стояли молча, да и книжный шкаф безмолвствовал; петух же слетел обратно на свое место подле заглавной буквы *А* в старом «Букваре» и горделиво посматривал по сторонам:

– Я говорил со знанием дела, а кукарекал и того лучше! Новый же «Букварь» ничего этого не умеет и долго не протянет! А если хорошенько разобраться, то он уже мертв! Ведь нет в нем такого петуха!

*2016*

## Спроси с Ам'гера фру!

Толстый дед на грядке жил,  
Он морквой корявой был.  
Захотел старик жениться  
На морковной свет-девице,  
Чтоб была нежна, юна,  
Рода знатного она.  
Так и сделал! В огороде,  
Под луною, на природе,  
Свадьбу дед наш закатил,  
Ни гроша не заплатил:  
Задарма росу с цветов  
Каждый овощ пить готов!  
Женишок своим гостям  
Слал поклоны там и сям  
И бухтел: «Бу-бу! Бу-бу!»  
Видя всю эту гульбу,  
Молодая лишь вздыхала –  
Ни словечка не сказала!

Если считаешь, что вру –  
Спроси с Ам'гера фру!

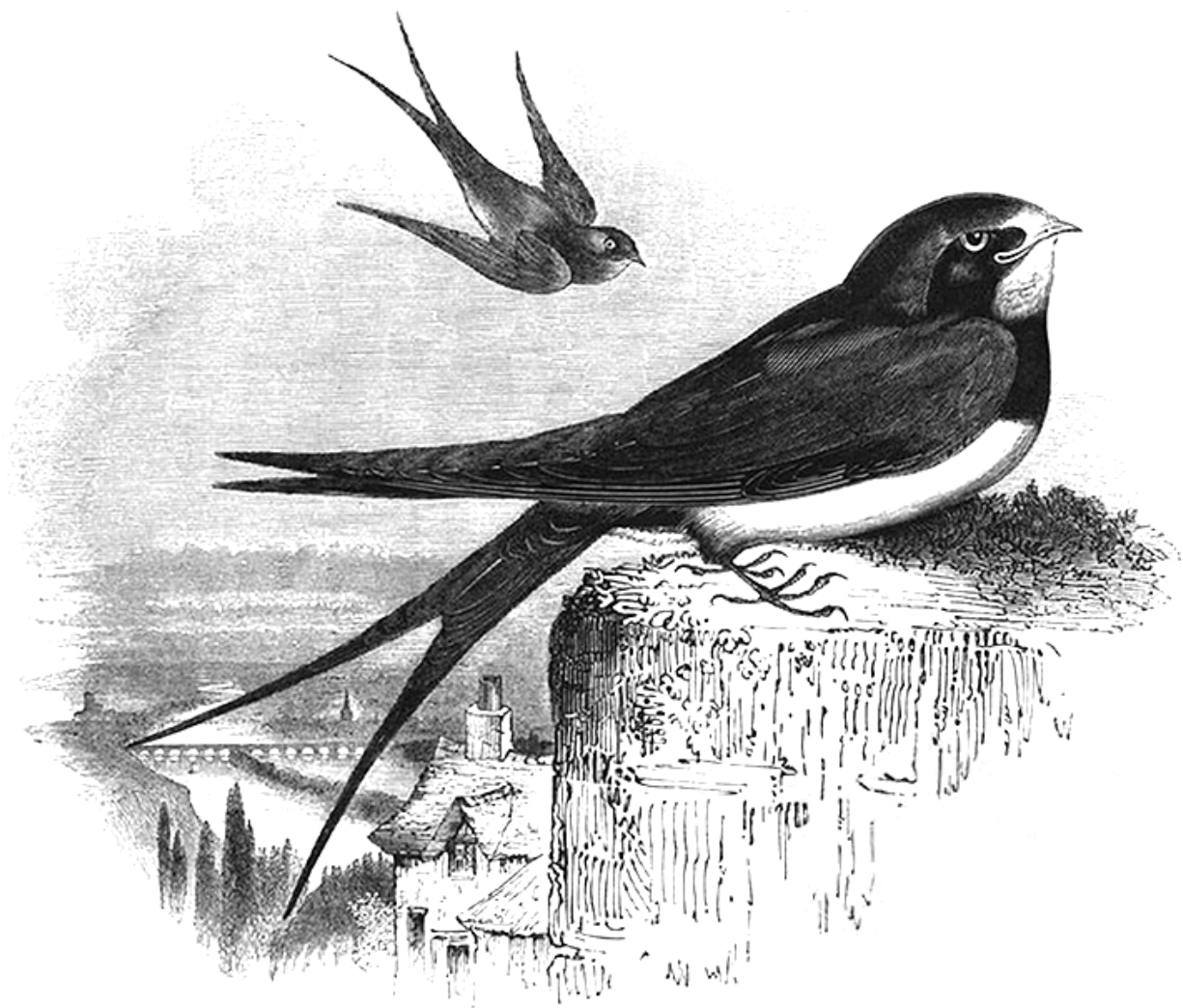
Пастор был капустой красной,  
Шли с невестою прекрасной  
Брюквы юные к венцу;  
Приглашенным: огурцу,  
Спарже – всем картофель пел,  
Здесь плясал, кто как умел!  
И жених не отставал,  
Жару, старый, поддавал –  
Прыгал выше всех вокруг:

«Крак!» – и развалился вдруг!  
От него ботва осталась...  
А невеста улыбалась,  
Ей ведь счастье привалило –  
Прыткость деда погубила,  
И теперь вдовой морковка  
Зажила свободно, ловко!  
Но не долго: юной, чистой  
Угодила в суп душистый!

Если считаешь, что вру –  
Спроси с Амагера фру!

*2016*

**Бессмертие**



В овраге, на глинистом откосе подле дороги, многие путники выцарапывали свои имена, желая тем самым увековечить себя в земной тверди. Дождь и непогода должны были в скором времени размыть и стереть их. Прилетели земляные ласточки, принялись рыть в склоне ямки и устраивать гнезда – надписи исчезли, имена канули в небытие: забытыми оказались даже те из них, что были прочитаны, ибо у людей и без того есть, о чем помнить.

– Я прилетела издалека, – сообщила одна из ласточек, – и мне доводилось видеть в своих странствиях надписи попрочнее, высеченные в камне на стене храма в Индостане. Они гласили о великих подвигах могущественных царей, о бессмертных именах, которые уже никто не в состоянии прочесть, – это я понимаю «бессмертие»!

– А я слыхала, как мелочный торговец читал какой-то листок, отложенный им для завертывания товара, – откликнулась другая ласточка. – Газеты, эти ежедневные ангелы-глашатаи, молниеносные провозвестники судного дня, – а вернее те, для кого они являются хлебом насущным, и кого перечислять слишком долго, их проще назвать одним словом: кладовая, – вот уж поистине пустой звук! Прочитанное во всеуслышание лавочником в равной степени являлось апофеозом поэтического или драматического искусства и надгробным словом, – как вам такое бессмертие? На завтра листку была уготована роль обертки для крахмала и кофейных зерен.

– У меня есть тетушка, – вменственного», как зовет его тетушка. Миру он неизвестен, лишь домочадцы да тетушка видали, как он играл, облачившись в шлафрок, – бедняжка целых три дня после этого не могла вымолвить ни словечка, ибо *он* все сказал – сказал для бессмертия! К тому же, по его словам, артист на сцене является выразителем и хранителем того, что доверил ему поэт; для лицедея бессмертие – ничто, он живет лишь настоящим моментом, который может увенчать его лаврами: одарить признанием публики, оглушить его, заставить позабыть обо всем ради него! И сказанное абсолютно верно – оно присуще всякому живому и движущемуся существу. Бессмертие – это миг! Его сияющий ореол для кухарки заключается в удавшемся у ней пудинге, и он ничуть не слабее блеска очей мещанской красавицы, пусть слегка недалекой, как и большинство красавиц, – Господь-то наш никому не дает все разом! – когда она танцует с сыном сиюминутного министришки, плуповатым пареньком, родившимся несмотря на это «превосходительством», – довольно обидное обстоятельство для его титулованных братьев, иные из которых наделены благородной душой, что тоже не редкость на белом свете.

Бессмертие! Ты – прекрасная выдумка, ты – блестящая идея, которую втемяшило себе человечество, готовое лишить себя жизни, только бы убедиться в ее осуществлении!

Взгляни-ка, все это услышал, обмозговал и записал на бумаге поэт; каждая строка тому подтверждение: сплошь обиды, не дающие покоя и больно ударяющие по самолюбию, – с таким воображением можно зайти ой как далеко! Однако ж подобное случается, когда

карабкаешься выше и выше, чтобы снискать себе только одно: бессмертие!

– А я вот знаю, в чем заключается счастье и величие! – прощепетала четвертая ласточка. – В том, чтобы по милости Божьей без устали порхать друг с дружкой. Я, положим, выражаюсь сейчас точно какой-нибудь христианский поэт, – ну, да иначе-то меня не поймут! Я роюсь в земле, строю гнезда и откладываю яйца, однако нечто более значимое не дает мне покоя, – уж не бессмертие ли это? Вот поистине грандиозная мысль! Как начну думать о бессмертии, так просто не верится, что и я, и все мои родичи, возможно, наделены им! В бесконечном мировом пространстве места хоть отбавляй: его гораздо больше, чем требуется нам, чтобы жить в свое удовольствие – всему ведь, наравне с началом, положен предел. Я так вполне довольна тем, что имею: это и разумно, и правильно – пожелай я большего, меня бы чего доброго сочли ненасытной и неблагодарной. Впрочем, что толку говорить о бессмертии: будь оно у меня, я бы сделалась гораздо рассудительней!

Король приказал проложить дорогу в другом месте, и откос сровняли с землей, ласточки улетели, напоминания о бессмертии – вот уж поистине «земные», – канули в Лету. Поэт мог бы воспеть их, но поблизости не было никого, кроме высокопоставленных лиц, наместников Всевышнего, – а им такое не под силу, этого они, ясное дело, не умеют!

Бессмертие! Спроси о нем флюгерного петуха, спроси о нем Господа, когда снизойдет Он в твои помыслы... Конечно, это лишь пространный монолог, но, представ во всей красе, описанное в нем явит собою сказку – роскошнейшую и прелестнейшую, венец всех сказок – «Бессмертие»!

## Хмелевóй шест

На хмелевóм шесте не увидишь ни веточки, ни листика, – их у него и не должно быть, потому как это шест, а не что-либо другое. Весной нарождается невеста – хмелевая лоза, которая становится его супругой; она обвивает собою шест, и у него словно вырастают листья; вместе же эта парочка выглядит настоящим деревом.

– Только держится-то она за меня, я – ее опора! – не устает повторять хмелевой шест.

А между тем его окружает роскошная листва, среди которой вскоре появляются и цветы, разливающие дивный аромат вокруг. Но на праздник хмеля лозы срезают и, обобрав с них хмель, отправляют на костер; так хмелевой шест становится вдовцом до тех пор, пока по весне не объявится новая прелестница, цветущая супруга!

– Стою по-прежнему я, уходит супруга моя! – говорит хмелевой шест. – Так уж заведено на белом свете. Но почему бы мне, в порядке исключения, не сделаться цветущим деревом навсегда? Ведь для этого только и нужно слиться с ней воедино в страстном любовном порыве!

И всякий раз парочка изо всех сил льнула друг к другу, в дождь и солнце, в пасмурные и ясные дни; вокруг царили жизнь и красота, а шест купался в счастье и блаженстве, – чего ж еще желать? Так продолжалось до тех пор, пока лозу не срезали, а незадачливый супруг забывался долгим зимним сном, чтобы с приходом весны вновь заняться своим делом и взять в жены очередную молоденькую красавицу. И стоило пригреть солнышку, как она являлась. В скором времени чета становилась «прелестнейшим деревом в лесу», – так шест нарек их союз после того, как услышал и понял на свой лад строку из старинной баллады, слова которой оказались созвучными его собственным мыслям.

Однажды в хмельник наведалься ученый муж, школьный наставник со всеми своими учениками, и беседа их представляла собой ни что иное, как упражнение на смекалку. Хмелевой шест оживился, когда в разговоре упомянули его самого, это было забавно, и он стал прислушиваться. Речь зашла о хмелевых шестах в истории; при этом говорилось, что в старину в Дании, раздираемой внешними и внутренними распрями, крестьянин был для помещика не более чем

скот в хлеву: его запросто могли обменять на хорошего охотничьего пса! И крестьянин устал от такого обращения, принялся пускать красного петуха, – много старых господских усадеб погибло в огне!

Говорили и о священнике из Сваннинге, Хансе Мадсене, которому богатый владелец поместья Сандхолт доверил свое золото и серебро; любекцы пытались заставить священника рассказать, куда он его спрятал, но тот отказался, и за это Мадсена привязали к лошади: ему пришлось бежать за нею босиком до самого Оденсе. Там, в усадьбе пробста, священника поначалу засадили в огромный шкаф, затем выволокли оттуда, чтобы пыткой выбить из него признание: несчастного подвешивали за большие пальцы рук и тыкали в подмышки раскаленным клинком, но он не проронил ни словечка и за это вновь должен был тащиться за лошадью босиком, миля за милей, от Оденсе до Фоборга, где священника опять упрятали в шкаф. А некоторое время спустя, в таком же вот хмельнике посреди ночи раздались чьи-то шаги, вслед за тем показался босой мужчина в оборванном пасторском одеянии, с косматою головой; он что-то искал, тревожно озираясь по сторонам. Присмотрев хмелевой шест, пришедший тотчас выдернул его, зажал в руке и направился к берегу моря. Тут лежала лодка, которую священник спустил на воду, после чего залез в нее сам, оттолкнулся шестом и поплыл по направлению к маячившим впереди огням датского лагеря. То был лагерь Йохана Рантцау, а священник – никто иной, как Ханс Мадсен, которого наемники связали и на поводке привели в Оденсе, в усадьбу пробста, для верности засадили в шкаф, стоявший в горнице, не подумав при этом, что отсюда пленный мог совершенно спокойно подслушать все их вражеские планы. Однажды ночью священнику удалось совершить побег, и теперь он явился предупредить лагерь о грозящей опасности. При нем все еще был хмелевой шест, которым Ханс Мадсен без устали работал, переплывая бухту, – он выпустил его из рук, лишь очутившись лицом к лицу с Рантцау и рассказав ему обо всем, что услышал от неприятелей.

2016

**Рассуждения аиста**



Датчане – мои соотечественники, хотя и недружелюбные, – зовут меня египетской птицей, а ведь я родился и набирался уму-разуму в Дании: они собственными глазами могли наблюдать мое появление из яйца, экзерсисы, которые я выделял, постигая летное искусство. Я – датчанин не хуже других, несмотря на то, что моя родня живет в Германии, Голландии и Англии. Однако ж, будучи перелетной птицей, «Fløtfugl», как говорят шведы, на зиму я должен перебираться на юг, поскольку в моей, в общем-то славной, датской родине зимой стоит невыносимая стужа. За это меня и зовут египетской птицей, но мне до этого нет дела: правды ведь все равно не скроешь, да и никто кроме людей меня так не величает.

Малюткой семи дней от роду я увидел хозяев мира; они казались мне гораздо важнее папаши и мамыши, хотя те кормили и обучали меня. Родители тоже отзывались о людях довольно любезно, но предпочитали держаться от них подальше. «Так безопасней и удобней всего», – говорили они. Обычно усваиваешь язык той страны, в которой рос, – я и владею им так же хорошо, как языком аистов: он-то более распространен и одинаков у аистов во всех уголках мира; люди же перестают понимать друг друга, стоит им переехать из одного места в другое. Я уяснил для себя, что все они – славные и хорошие, лишь когда понимают друг друга, однако под нашим гнездом притаилось нечто такое, что зовется у них чертом: он-то и опасен для людей, потому как они до такой степени начинают баламутить чистую, благословенную воду жизни, что пить им приходится помои, которыми они давятся.



Люди разделяют себя на высших и низших, но при этом, залезая в воду, выглядят одинаково: они совершенно лысые, — хоть бы для приличия купили себе оперенье! Гнездо же, в котором они чинно сидят, по-видимому, в большей степени свидетельствует о их достатке. Я и в самом деле уверовал в то, что они стоят гораздо выше нас, аистов; однако во многом, если так можно выразиться, это птицы не нашего полета: некоторые из них, правда, стали передвигаться быстрее по так называемой железной дороге, но нас им не догнать, да к тому же мы не сталкиваемся и не ломаем себе шеи! Растяпы — вот кто эти хозяева мира! Меня прямо-таки бросает в дрожь, когда я слышу о крушениях на железной дороге! Как славно, что для полета по воздуху нам не требуется ни рельсов под ногами, ни бешеных локомотивов!

Я, конечно, не певчая птица, и язык у меня не подвешен, но зато я умею так громко трещать своим клювом, что все услышат. Вот и протрещу им сейчас: Дания — моя родина, а для тех, кому это не

нравится, я — величественная птица севера, которая зимует под солнцем Африки, пока на родине холодно.

Я повидал достаточно людей, чтобы раскусить их и убедиться, что все они наделены самыми что ни на есть лучшими аистовыми сердцами и помыслами, да только им-то невдомек! Вот и начинает завариваться чертовщина, — потому как это она и есть — бурлит, брызжет из горшка, а над ним подымается такой густой пар, что людям не видать друг друга — попробуй тут не обожгись! Будь я придворным священником или газетным проповедником, — непременно бы их вразумил!

*2016*

## Осел в топчаке

Чуть ли не о каждом из моих португальских странствий можно рассказать целую сказку! Вот одна из них.

Как-то раз я возвращался с вечерней прогулки, собираясь закончить письмо. Мой путь пролегал через ближайший из разведенных здесь обширных апельсиновых садов. В них обыкновенно вырыт огромный, глубокий колодец, вода из которого подымается и попадает в систему оросительных каналов посредством топчака. Самый механизм довольно прост, им пользуются со времен предприимчивых мавров: вода зачерпывается особыми ковшами, укрепленными на колесе, денно и ночью приводимом в движение несчастным ослом с завязанными глазами, – вернее, ослами, сменяющими друг друга через каждые два часа.

Во всякое время суток животное мерно бредет в топчаке, не двигаясь с места; повязка на глазах не дает ему любоваться ни дивным мерцанием звезд в вышине, ни великолепием цветов граната, выделяющихся на фоне зеленой листвы, ни страстоцветами, карабкающимися по стене, словно какой-нибудь сорняк, ни даже высокими и крупными цветущими стеблями алоэ, вымахавшими в глубоком песчаном овраге один подле другого, подобно телеграфным столбам, только более изящным, похожим на величественные бронзовые канделябры из Помпеи, изысканность которых в бедной португальской Троже, пожалуй, сочли бы неуместной.

– Ослу неведома вся эта роскошь! – невольно вырвалось у меня.

– А может, она мне вовсе и не нужна! – услышал я в ответ. Португальский осел ведь разговаривает на том же языке, что и датский. К счастью для зверей, язык каждого их вида всюду одинаков, да и тот является лишь диалектом всеобщего языка животных, из которых осел, несомненно, самый немногословный, а соловей – истинный кладезь красноречия.

– Я занят делом, равно как и те, кому я безразличен, или те, кто без конца глазеют на меня, что, в сущности, позволительно лишь моим хозяевам! – заявил осел. – Под их кровом мне перепадает и кнут, и сено! Работа, корм да спанье – вот ради чего я, собственно, здесь

торчу. Всего же приятней полакомиться желтым цветком чертополоха, красующимся под тенистым оливковым деревом!

Следует признать, что среди переводов моих сказок иной раз встречаются посредственные: их для чего-то снабдили неким разъяснением, даже моралью, в оригинале заложенной в саму сказку и не нуждающейся в том, чтобы ее преподносили в сжатом виде. Доберись горе-переводчик и до этой крошечной истории, он, вероятно, вернул бы сюда что-то вроде: «Сколько не похожих на этого осла людей упражняются в своем почтенном занятии, но однако же, подобно ему, топчутся в колесе с завязанными глазами посреди прекрасного Божьего мира!»

И поступил бы весьма опрометчиво, поскольку это еще не конец!

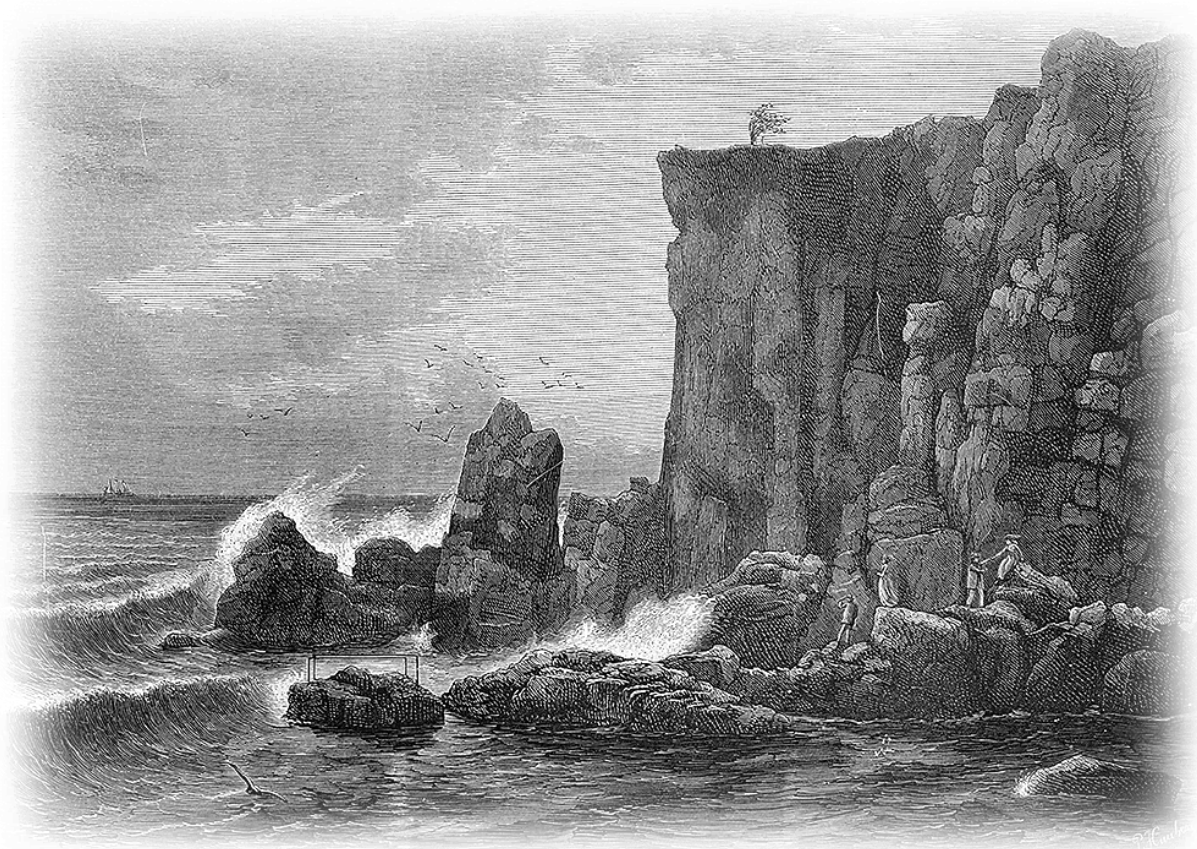
– Слышишь, как квакают лягушки в водных оазисах под той аркой? Думаешь, у них нет забот? – попытался вразумить я осла. – «Пю-пю-пю!» – стрекочет кузнечик в стенной расщелине. И у него дел предостаточно: он должен оповещать о приближении постороннего.

– Зато у кузнечика нет моих хозяев, по мнению которых, я появился на свет лишь для того, чтобы ради их выгоды крутить колесо! – горько усмехнулся осел. – Сомневаюсь, чтобы они вообще у него были. С каким удовольствием издал бы я радостный вопль, если б только был уверен, что это придется по душе моим господам, но благоразумней всего молчать и выполнять свою работу – именно так подобает всякому урожденному ослу!

Возразить было нечего, и потому, простившись с четвероногим тружеником, я продолжил путь на виллу моих португальских друзей. Цветущие апельсиновые деревья благоухали, а над всем этим приютом роскоши, с картинами и статуями, розами и кактусами, необычайно ярко сияли звезды.

2016

**Зеленые острова**



Когда после бурной, веселой ночи, проведенной на балу, возвращаешься домой в экипаже, сидишь с опущенными веками не оттого, что клонит ко сну, — просто мелодии, слышанные ночью, как бы запечатлелись в ухе, вокруг все еще сверкают огни бальной залы, мимо проносятся в вихре танца бесплотные прелестные женские образы; великолепие бальной ночи настолько живо отражается в нашей душе, словно она еще там, а мы следуем за ней, как за небесной звездой, сияющий луч которой не может угаснуть сам по себе и продолжает светить.

Изредка в минуты, подобные этим, наша душа начинает грезить о пережитом, и воспоминание это взволнует нас с новой силой, хотя на сей раз мы будем всего лишь созерцать его. Жизнь, даже богатую событиями, или многочисленными путешествиями, но при этом неторопливо проведенную в уединении, рано или поздно ожидает забвение, как засыпанные пеплом Помпеи — утраченное достояние, окруженное своеобразным священным ореолом.

Вот так же и с памятью о родине; зачастую она сопоставляется с теми картинами, которые разворачивает перед нами жизнь. В шумном городе, где улицы озарены сотнями ламп, льющих свой свет из витрин магазинов, у гренландца пробуждается воспоминание о родном его сердцу пылающем северном сиянии, ослепительно-белом снежном покрове, а еще о смертельном одиночестве, лишь изредка нарушаемом голубым песком, испускающим хриплый крик. Когда равнинный житель отправляется в горную страну, ему намного тягостней, чем ее высокогорным обитателям, путешественник тоскует по привычной плоской, обширной равнине, или, по крайней мере, вспоминает ее. Датчанин, приезжая в какую-нибудь южную страну, да еще и вновь увидев море, с удвоенной силой начинает вспоминать свою родину: волны, далеко накатывающие на земную твердь, кажутся ему рунами, которые море вырезывает у родных берегов; он обращает свой взор в сторону дома, и Дания с ее зелеными островами, предстает перед ним, подобно прелестнейшему видению Фата-Морганы.

Для меня существуют четыре вещи, которые неизменно напоминают о Дании: это вид моря, аромат клевера, старинные мелодии и «Гравюры на дереве» Кристиана Винтера. Достаточно одного из перечисленного, чтобы на чужбине, или находясь в уединении на родине, совершенно отчетливо представить себе ее образ; я перенесу эту картинку на бумагу — пусть послужит приглашением иноземцу полюбоваться нашими зелеными островами, поросшими буком и клевером лагунами, расположенными к северу от Германии; а чего мне особенно хочется, так это чтобы к нам приезжало как можно больше гостей.

Моим же соотечественникам я поведаю своего рода повесть, где каждому читателю отведена особая роль — роль зрителя, сидящего на скамье и созерцающего толпу, частью которой является он сам. Однако фигуры и их действия могут получиться трудноразличимыми: не следует забывать, что картинки, из которых я слагаю свою повесть, являются дагерротипами, а они, как известно, выходят удачными, лишь когда сидишь, не шелохнувшись, — при движении очертания становятся слегка размытыми.

## **Иведе-Аведе!**

Ты, конечно, помнишь сказку о ели, которая в счастливейший вечер своей жизни услышала историю про Клумпе-Думпе, свалившегося с лестницы, но все-таки взявшего себе в жены принцессу; дети тогда хотели послушать еще и про Йведе-Аведе, но им пришлось удовольствоваться лишь одной историей.

Что ж, теперь настал черед рассказать про Иведе-Аведе. В действительности, имя у них было гораздо длиннее – помнишь, в детском стишке: Иведе-Аведе, киведе-каведе...? Там в конце еще появляется дурачок, который, если ты не знаешь, доводится братом Клумпе-Думпе. Только сейчас речь не об этом. Иведе и Аведе были совершенно непохожи друг на друга, но послушать стоит про каждого, причем внимательно – иначе ничего не поймешь!

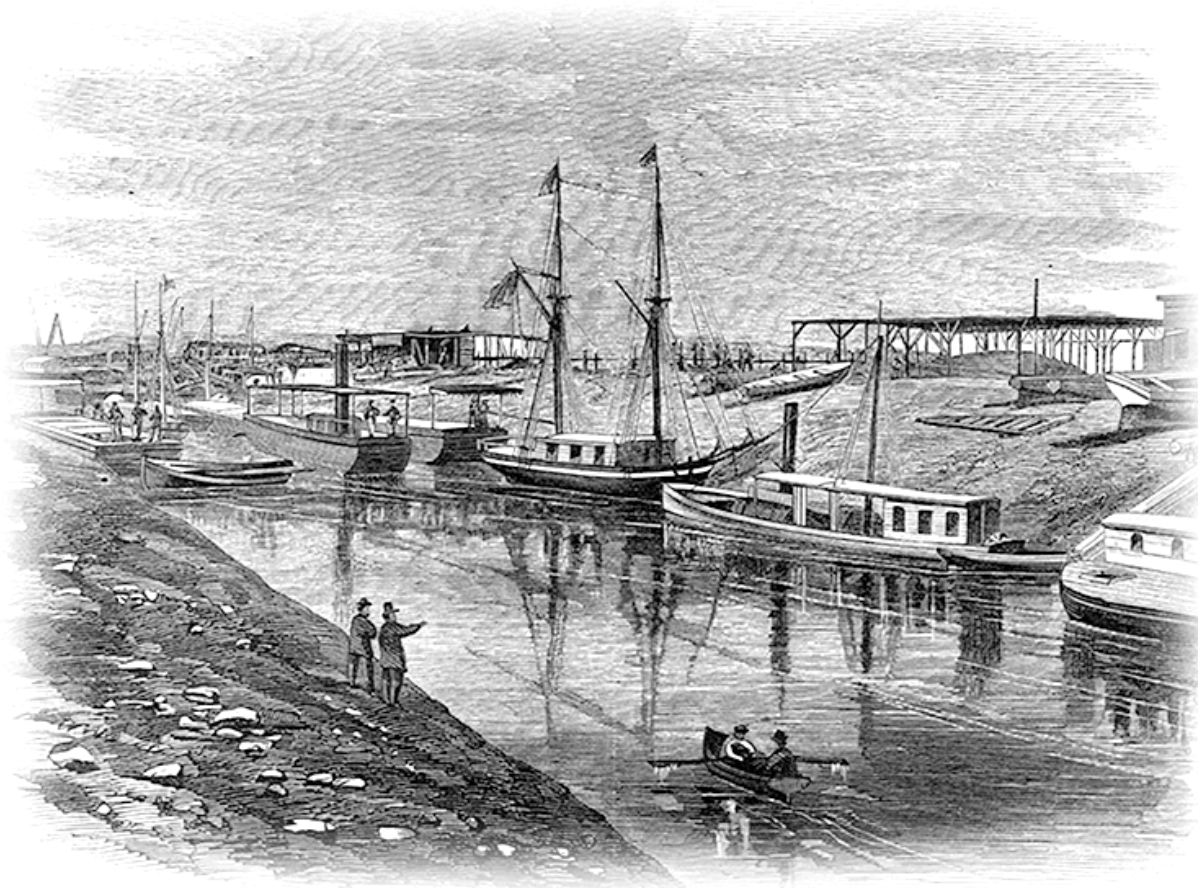
Так вот, одного звали Иведе, а другого – Аведе. Иведе был пылкий и порывистый, всегда первый в танце, на газетных столбцах, в обществе, обладал даром красноречия, был своего рода маленьким Господом Богом, совсем крохотным, но зато имел большой вес в газете, что, скажу я вам, очень много значит, – этаким машинист локомотива ежедневной прессы, который распоряжался человеческими жизнями и благополучием, приводя в движение подвластную ему машину одним лишь своим приказом.

– Сперва великие мира сего, а потом уж малые! Пора представить и меня! – обиженно вмешался господин Аведе. – К вашим услугам! Я и аристократишка, и мещанин, и ремесленник, и крестьянское отребье в одном лице – словом, кухонная тряпка для огромного мирового котла; мир отверг нашего брата. Вот какие мы, Иведе и Аведе, киведе-каведе!

*2016*

**Письмо аиста из Суэца перед открытием канала**





В сентябре, после осенних маневров, я, супруга и четыре наших отпрыска покинули прелестную, гостеприимную Данию, дом Пера Хансена на Страннвайен; мы летели много дней, прежде чем попасть в Африку, – пришлось-таки поработать нашим крыльям! Но тяготы перелета остались позади: мы в Суэце, куда все прибывает и прибывает народ для того, чтобы присутствовать на открытии канала. Сюда съехались корреспонденты со всех стран, наша родина – не исключение. Да-да, я говорю и пишу *родина*! Всем известно, что аист – египетская птица, но это несправедливо! Нам ли не быть датчанами – нам, родившимся на зеленых островах между Северным и Балтийским морями, – по крайней мере, мне и моему семейству, чья квартира на Страннвайен, у Пера Хансена на крыше, ныне пустует?

Ну, так вот, из Суэца напишут и поведают всему миру о грандиозном египетском событии дня: водный путь соединит Европу с Красным морем! Древняя мумия пришла бы в неопиcуемый восторг, доведись ей участвовать в открытии канала, о котором она и

помыслить не могла, — да где уж там! Фараон не дожил до этого дня каких-нибудь несколько тысячелетий.

Думаю, здесь будет прелюбопытно, а посему все подробности я сообщу в отдельном письме. Шлю привет Перу Хансену на Страннвайен и поклон моему гнезду: я вернусь в марте!

2016

## О чем рассказывают часы



Вот послушайте-ка!

— Мы вполне себе живые! — заверили часы. — Тик-так! С точностью показываем и отбиваем ход времени: час, два, и так далее — до двенадцати; после двенадцати все начинается сызнова. За день и ночь стрелки дважды совершают свой круг, потому-то в Италии можно встретить часы, которые показывают от первого до двадцать четвертого часа, — только уж больно они велики! Середина ночи знаменуется нашим боем: и маленькие карманные, и огромные, могучие часы на соборной башне начинают звонить, поют-

заливаются, – да-да, для этого у нас имеется металлический язычок! Ударим один раз, – и ночные сторожа выкрикивают: «Пробил час!» А между тем, час предыдущий уже уносится за пределы земли, туда, где во мраке, подобном царившему при сотворении мира, Господь, единый на небе и на земле, парит над водами.

2016

## **О чем поют волны морские**



Жил на свете мудрец, и был он настолько умен, что понимал чуть ли не все языки, на каких говорили люди в разных уголках мира; понимал даже, о чем поют птицы, что означают звуки, издаваемые тем или иным животным. Не разумел он лишь одного языка – древнейшего, появившегося прежде всякого другого человеческого или животного – языка моря, пенных волн, лепет которых в ясную погоду убаюкивает, а в бурю, многократно усилившись, грохочет, подобно могучему зову сотни сирен, и даже еще громче!

– Это настоящая песнь, мелодия прошлого, но вместе с тем и будущего, притом неизменная. Сущим наслаждением было бы слушать ее, понимая, однако, о чем в ней поется! Ведь вся сила в словах! – говорил мудрец и внимал бушующему морю на его северных берегах, где ледяной зимний ветер пробирает до костей; прислушивался к шепоту волн в краю, где никогда не бывает зимы, где круглый год благоухают розы под качающимися пальмами.

– Если б только знать язык мирового океана! Даже крошечная морская улитка владеет им в совершенстве, ведь когда она умирает, волны по-прежнему шумят и поют в опустевшей раковине, поднесенной к уху. Мне просто необходимо выучить язык моря! – вздыхал мудрец. – Пусть человек и не способен воспроизвести звуки какого-либо языка, но научиться понимать его он в состоянии, нужно лишь очень сильно этого захотеть и запастись терпением!

Мудрец сознавал, что ему не поможет объявление в газете о поиске учителя морского языка, потому он и не стал его размещать, а направился напрямик к морю, под высокие темные скалы мыса Нордкап, где во время шторма грохот волн уподобляется судному гласу; на мыс Гренен, у которого сходятся Северное и Балтийское моря, и где обломков затонувших судов и морских птиц столько, что последние кажутся снующими по небу облаками, оглашающими окрестности своими криками. Посетил мудрец и берега Средиземного моря, где растут пальмы, где цветут розы во время северной зимы, и катятся прозрачные, сине-зеленые волны цвета вод в огромных горных ледниковых озерах Швейцарии. Тут-то и случилась история, о которой пойдет речь.

У Средиземного моря, неподалеку от границы с Италией, раскинулась Ницца – залитый солнцем городок, в котором тепло и летом, и зимой; море у его берегов шумит, поет, не умолкая, год за

годом ночью и днем. Сюда приезжают иностранцы со всех концов света, чтобы подышать мягким, целебным воздухом. Сюда наведалься и наш мудрец, желавший выучить язык морских волн, и здесь он, наконец, осуществил свою мечту. Правда, ему понадобились для этого годы, рассказ о которых занял бы две-три страницы. Перелистнем их, представим, будто они уже прочитаны, – ведь тебе не терпится узнать, о чем может поведать море! Ну вот, пожалуйста:

– Я видело корабль; на его борту была женщина, темно-голубые глаза которой выдавали в ней северянку. Ее взор, исполненный любви, блуждал среди волн. Судно было объято пламенем и устремилось в мои холодные объятия в надежде потушить пожар. Так или иначе, но корабль опустился туда, где колышутся водоросли, в мой огромный заповедный сад, а я вторглось в каюты и вновь увидело ту женщину: она казалась спящей, ее руки мирно покоились на груди, едва заметная улыбка играла на устах, но Смерть уже настигла ее на цветущем дне морском. С датских островов в мои воды были пролиты слезы, горячие и соленые: оплакивали ее, сестру... Корабль стал ей гробом, а волны пропели псалом над ее могилой.

*2016*

## Сальная свеча

*Госпоже Бункефлод  
от ее покорного слуги Г.Х. Андерсена*

Ух ты, как забурило да заскворчало, когда под котлом разгорелся огонь! То была колыбель сальной свечи – из разогретой колыбели выскользнула она, совершенная, крепкая, ослепительно-белая, тонкая и такая гладкая, что всякому, кто видел ее, свеча казалась обещанием света и лучезарного будущего – обещанием, в исполнении которого, впрочем, никто и не сомневался.

Овца – славная маленькая овечка – была свече матерью, а плавильный котел – отцом. От матери достались ей блестящее белое тельце и лишь смутное представление об устройстве мира, зато от отца – страсть к пламенеющему огню, что однажды озарит ее, проникнув в самую ее сердцевину.

Да, так свеча появилась на свет, обрела форму – и с самыми радостными предчувствиями бросилась в объятия жизни. Ей пришлось иметь дело с превеликим множеством незнакомых существ, ведь свеча стремилась познать мир и – кто знает? – быть может, найти в нем свое предназначение. Но о мире она, увы, думала слишком хорошо, в то время как он был озабочен лишь самим собой, а вовсе не судьбой сальной свечи. Мир не понял, сколь ценна была свеча, а посему решил использовать ее для своей выгоды. С ней обращались как попало; черные пальцы оставляли все больше и больше пятен на ее изначальной белой невинности, – и вот невинность померкла, вся покрылась грязью окружающего мира, подступившего к ней слишком близко – гораздо ближе, чем может вынести беззащитная свеча. Она уже не понимала, где чисто, а где сажа – хотя внутри по-прежнему оставалась неоскверненной.

Когда ее ложные друзья увидели, что до этой незапятнанной сердцевины им не добраться, они в ярости отшвырнули свечу как бесполезную побрякушку.

Однако гадкий налет сажи отталкивал от свечи и все хорошее, – ее сторонились, боясь перепачкаться.

И вот бедняжка осталась совсем одна, всеми покинутая, не зная, что ей делать. Хорошее отвергло ее, и теперь она понимала, что была лишь орудием в дурных руках. Свече было невероятно грустно, ведь она так плохо прожила свою жизнь! Похоже, она просто измарала лучшее из того, что ее окружало. Она не могла постичь, для чего была создана, в чем было ее предназначение, зачем появилась она на земле – быть может, чтобы погубить себя и других?

Чем дольше и усердней она размышляла, тем тоскливей ей становилось, и не видела она ничего хорошего внутри себя, никакого смысла в своей жизни, никакой цели в своем существовании. Как будто сажа не только покрыла ее тело, но и застила ей глаза.

Но вот она повстречала маленький язычок пламени – это было огниво. И оказалось, что огниво знает свечу куда лучше ее самой. Ясным, лучистым взором посмотрело оно прямо сквозь грязную оболочку – и увидело, как прекрасна свеча изнутри; тогда огниво приблизилось к ней, и сияющая надежда охватила свечу – она загорелась, и сердце ее растаяло.

Пламя ее было подобно торжественному свадебному факелу. Светлое, яркое, оно взметнулось вверх и озарило все вокруг, – под пламенным взором свечи окружавшие ее настоящие друзья обрели возможность поиска истины.

Свеча была достаточно крепкой, чтобы нести и питать сияющее пламя. Капля за каплей скатывались по ее стволу вниз, словно ростки новой жизни – большие, круглые – они покрывали собой ее тело, и под ними исчезла старая сажа.

То были плоды союза не только плоти, но и духа.

Так сальная свеча обрела свое предназначение, сознавая, что свет ее – истинный, и светила она еще долгие годы на радость себе и всем вокруг.

2018

## **Бедная женщина и маленькая канарейка**

Жила на свете несчастная бедная женщина; питаться горемычной было нечем, супруг же ее скончался, надобно похоронить его, да при такой бедности и гроб-то купить не на что! И никто не хотел ей

помочь, ни один человек, вот она и плакала, умоляя милосердного Господа о помощи, ведь Он так милостив ко всем нам.

Окно стояло открытым, и вдруг в него влетела крохотная птичка. Это была канарейка, которая выпорхнула из своей клетки и совершила удивительный полет над крышами; теперь же, очутившись в комнатке несчастной женщины, она села у изголовья мертвеца и чудо как прелестно запела – словно хотела сказать бедняжке: «Не кручинься, неужели ты не слышишь моей радости!»

Бедная женщина насыпала на ладонь немного хлебных крошек и поманила к себе пташку. Та спорхнула к ней на руку и принялась клевать – она была так мила!

В это время кто-то постучал в дверь. Вошла другая женщина, увидела маленькую канарейку и сказала, что это, вероятно, та самая птичка, о которой нынче писали в газете: она, оказывается, улетела от неких людей, живущих на этой улице.





И вот несчастная женщина отправилась с пташкой-певуньей к тем людям, а они были очень рады видеть целой-невредимой свою беглянку и спросили, где она отыскалась; страдалица и рассказала им, как канарейка залетела к ней в окно, села у изголовья ее усопшего мужа да запела так дивно, что она даже плакать перестала, хотя бедность вконец ее замучила, ведь и гроб для покойника купить не на что, не говоря уже о еде.

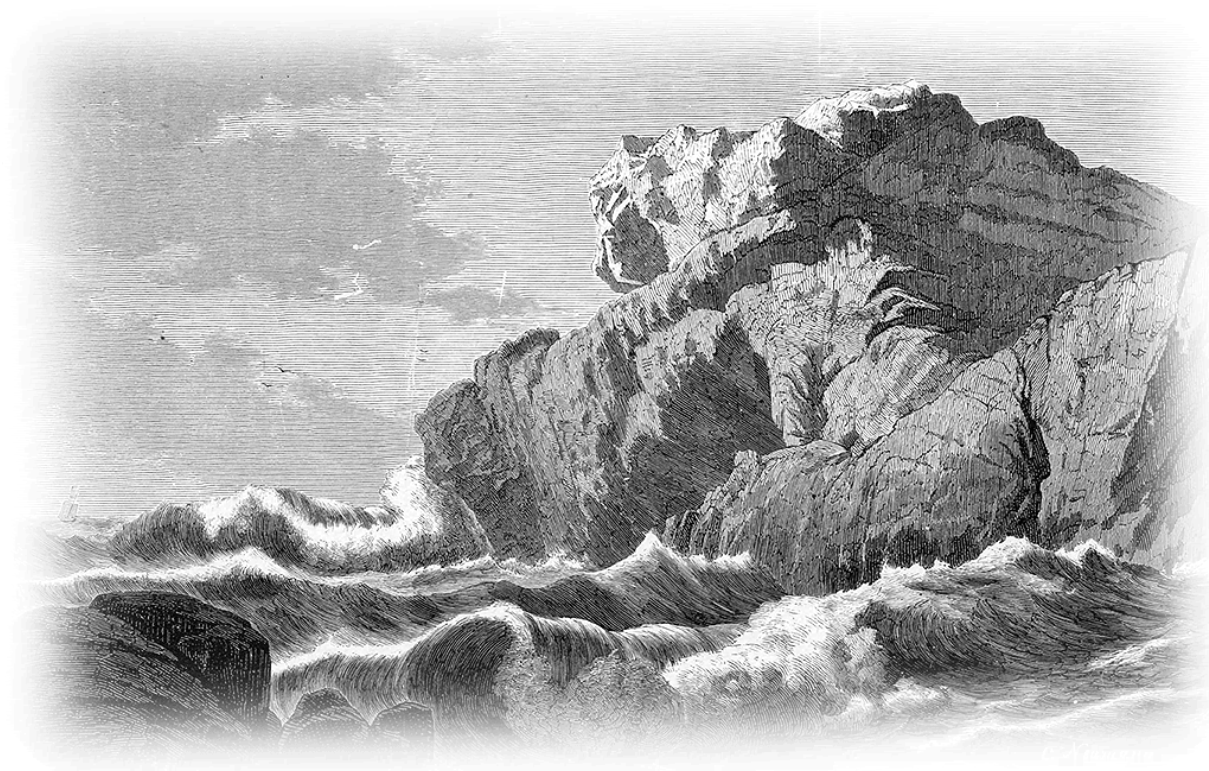
Ну, хозяева канарейки и пожалели ее, ведь были хорошими, добрыми людьми, да и больно-то радовались возвращению птички! Купили они гроб для мужа бедняжки и наказали ей приходить в их дом каждый день – здесь, мол, она найдет и еду, и питье. Страдалица не помнила себя от счастья и возблагодарила милосердного Господа за ниспосланную ей, когда она пребывала в глубокой скорби, прелестную маленькую канарейку.

*2018*

## Чего только ни говорят!

Люди говорят, и уже по одному тому, о чем говорят, можно охарактеризовать человеческую натуру! А что говорят-то? Говорят одно, а порой имеют в виду совсем другое. Говорят много, а подразумевают под сказанным столь малое! Болтают и болтают дни напролет! Неустанно молотят языками, словно ткацкие станки, создавая таким образом огромное, необозримое полотно! Злые слова, но, однако ж, и невинные, пустячные вещи, серьезные, мудрые мысли можно выкроить из такого вот полотна общественной жизни.

Твердят, к примеру, что времена чудес остались в прошлом, да ведь это не так! Эпоха чудес, время дивных дел – все еще с нами, в наших душах; оттуда и являются человеку откровения! Именно там, когда мир кажется иссохшим и унылым, Господь отверзает источник милости, велит жизни цвести и зеленеть, в душе рождается вдохновение; так вот, посредством музыки, через поэзию и науку, Господь будет раскрывать перед нами чудеса вплоть до последних дней бытия.



Говорят также, что все наши чувства и мысли возникают из-за движений и колебаний нервов, – то восторг звучит, то радость, то боль; ведь каждый из нас является – ни больше, ни меньше – музыкальным инструментом! Так-то оно так, но кто касается струн его и заставляет их колебаться и трепетать? Незримый божественный дух.

Говорят порой смешные вещи, и часто с долей злой иронии. Рассказывают, будто была дама, которой однажды приснилось, что все ее зубы выпали, она же объяснила это так: «Теперь лишусь одного из моих друзей!» Но зубоскалили, что, должно быть, друг этот ненастоящий, ведь зубы-то были фальшивыми!

Опять же, говорят, что престарелая библейская Сара не имела потомства, пока не побывала в гареме царя филистимлян Авимелеха, и что, мол, сказала она своему супругу: «Мы назовем нашего сына Исаак», а это означало на их языке: «Люди засмеют!» Старая Сара ведь хорошо знала людей, знала, как они судят-рядят, и с библейских времен ничего не изменилось.

Сказывают, будто бы далеко на севере, у самого моря, похоронен был под огромным курганом могущественный князь. Но каждую ночь мертвец вставал из могилы и неприкаянным призраком восседал на кургане. Однажды проплывал мимо корабль со скальдом-поэтом на борту, увидел скальд призрака и спросил его: «О чем скорбишь ты и страждешь?» Тот же отвечал: «Никто не воспел моих подвигов, они забыты, умерли вместе со мною. Потомки не помнят славных деяний, – вот отчего я не знаю покоя в могиле!» Заиграл скальд на арфе, воспел его великие дела, и мертвец канул в вечность, – так туман рассеивается при свете солнца. Мир и покой воцарились над дерновым покровом кургана, – мир и покой царят повсюду, где скальдовы песни передаются из уст в уста!

Говорят, – и уж это-то, вероятно, истинная правда, что один из строгих ценителей искусства стоял как-то на морском берегу, наблюдая за волнами прибоя: «Изумительно! – воскликнул он. – Изумительно и безупречно! Поистине безупречно!» Тогда Господь наш снял свою шляпу и молвил: «Благодарю вас, господин профессор!»

Еще поговаривают, что в старину под многими церквями живьем закапывали коня, а трехногий призрак его каждую ночь бродил по округе и останавливался у тех домов, где кому-то из обитателей предстояло умереть. «Там побывал конь-мертвяк!» – говорят в народе, зная, что на самом деле никакого коня-мертвяка не существует. Да, но все ж таки продолжают верить в него! Под прекрасным храмом поэзии тоже ведь таится такой трехногий призрак – конь-мертвяк словесности. Вечерком ковыляет он к театру комедии, приговаривая: «Вот сейчас умрет такой-то поэт, актер или актриса», – да только отчего ж им умирать, коли конь ржет! Попасть бы ему на газетных столбцах, пожевать бы травки – и все равно, зачастую призрак из него никудышный! Бедный конь-мертвяк словесности – нередко всего лишь молодой человек, не разобравшийся в собственном «я», оттого и обернувшийся таким жалким трехногим пугалом. Он, конечно, не чета звонарю, а, как говорят, еще куда хуже!

Эх, говорят... да-да, точно поговаривают, что довольно уже болтать. Мы и закончим на сегодня!

*2018*

# Письма

*Слагельсэ, 1823.*

Добрейшая г-жа Андерсен! Не рассердитесь, что я позволяю себе писать к Вам! <...> Теперь я попал на хорошую дорогу, по которой могу направиться к высокой цели всех моих стремлений. К тому же я теперь в таких летах, что могу понять, как много значат для меня серьезные занятия. Конечно, я все еще остаюсь таким же ребенком, как и прежде, но я даже рад этому. Если богатое событиями детство может сделать из человека поэта, то из меня непременно выйдет поэт. Только не маленький! Их и без того довольно; если же я не могу сделаться великим поэтом, то постараюсь сделаться хоть полезным членом общества. Отца у меня нет, мать очень бедная; кроме Бога у меня нет отца, но Он-то лучше всех и позаботится обо мне. Я сообщаю г. советнику Коллину мои отметки как хорошие, так и худые. Он теперь ведь единственный мой покровитель в свете, добровольно заступивший место моего отца, и я всеми силами стараюсь быть ему достойным сыном. Теперь уже скоро полгода, как я нахожусь в училище, но отличные отметки заслужил еще только по Закону Божию и по поведению. Последнее, впрочем, один из самых важных предметов, и – я спокоен.

Я совсем не пишу стихов, хотя меня часто подмывает приняться за это, но я борюсь пока, как герой. Город вообще скучен своей чопорностью. На свои занятия здесь я смотрю как на огромное толстое дерево: за корой его течет дивный сок, который может окрылить мою мысль, вдохновить меня, но прежде чем добраться до него приходится изгрызть твердую кору дерева, и больно достается зубам, особенно в первое время. Напишите же мне, добрейшая г-жа Андерсен. Преданный Вам А.

*Слагельсэ, 25 марта 1824.*

Г. ректору Мейслингу. Надеюсь, что Вы прочтете мое письмо, если я пообещаю впредь не беспокоить Вас подобными. Вы сердитесь на меня, особенно за то, что я будто бы улыбнулся, получив дурную

отметку, но клянусь Богом (а я убежден, что Вы еще не заметили во мне склонности к неправде), что я никогда ни в училище, ни по дороге домой ничем не выказывал ничего похожего на самодовольство; подобное поведение совсем не в моем характере. В письмах к г. советнику Коллину я постоянно выражал печаль, так как Вы все недовольны моими успехами в греческом языке, и сами сказали ему, что Вы не находите и следа тех дарований, которые предполагали во мне другие. Он же посоветовал мне не падать духом, так как он вообще доволен другими моими отметками, и просил меня только постараться сколько могу по греческому языку. Всякая грамматика, исключая датской, дается мне с трудом, а если я к тому же еще волнуясь, кровь приливает мне в голову, и я отвечаю Вам дурно, подавая Вам повод к неудовольствию. Вы предполагаете, что я вместо уроков забавляюсь чтением посторонних книг, но уверяю Вас, что Вы ошибаетесь; я трачу на это только несколько часов редкий раз по воскресеньям, но так как Вы этого не желаете, то я впредь не буду вовсе.

Я чересчур много думал о своих дарованиях, поступая в училище, и это вместе с непривычными занятиями и отсутствием всякого элементарного образования отзывалось на мне настолько, что только доброе отношение ко мне моих наставников могло еще придать мне силы трудиться.

Прошу у вас снисхождения еще на несколько времени; если же я и в следующей четверти не окажу успехов, то даю Вам слово, что сам откажусь от положения, в котором только подаю повод к неудовольствию. Теперь наступают светлые утра, они помогали мне в прошлом году – Вы сами признавали тогда, что я стараюсь, – помогут и теперь. Над дурными же отметками, я, право, никогда не улыбался – могу призвать в свидетели весь класс – и также никогда не позволял себе говорить чего-либо про Вас или про других преподавателей. Надеюсь, что Вы примете при этом во внимание мое поведение за все время, проведенное мною в училище. Итак, окажите мне еще на некоторое время снисхождение, и, Бог даст, дело пойдет лучше, если же нет, я покорно удалюсь, и, если я еще чем-либо обидел Вас, то прошу Вас сказать мне чем и позволить мне оправдаться; я чувствую себя в этом отношении совсем спокойным. Простите меня на этот раз, и я докажу Вам, что не употреблю Вашей доброты во зло.

Благодарный Вам *Андерсен*.

*Гельсингер, 24 октября 1826.*

(*Ионасу Коллину*.) Дорогой благодетель! Часто давал я себе слово не надоедать Вам в письмах своим нытьем и все-таки продолжаю изливать перед Вами все свои горести. Дела мои очень плохи. Ректор ежедневно высказывает мне свое нерасположение и, когда я по воскресным утрам являюсь к нему со своим латинским сочинением, он пробирает меня за каждую ошибку самым жесточайшим образом. Чего-чего ни наслушался я от Мейслинга в течение последних двух недель! Приведу Вам его слова, и Вы, верно, извините мне мое уныние. В прошлое воскресенье он, рассердившись на ошибки, сказал: «Я прихожу в отчаяние, как подумаю о выпускном экзамене. Вы за такую работу нуль получите! По-вашему одна буква ничего не значит, все равно – поставите ли вы *e* или *u*. Такого тупоумия я еще не видал, а вы еще воображаете себя чем-то. Коли вы настоящий поэт, так по боку учение, отдайтесь всецело поэзии. Но вы ни к чему не годны! На застольную песенку вас еще хватит или там на какие-нибудь стишки о луне, о солнце, но ведь это одно мальчишество, баловство. Я тоже умею подбирать рифмы, и не хуже вас, но это одни глупости. Сделаетесь студентом, вам и подавно удержу не будет, совсем свихнетесь и пропадете!»

Слова эти потрясли меня до глубины души; он был прав и видно было из дальнейшего разговора, что он говорил так не только по злобе. «Да сидите же смирно! Вот тоже один из ваших недостатков! Если вы так ведете себя, когда спокойно исправляют ваши ошибки и высказывают вам ваши недостатки, то что же будет с вами на экзаменах? Надо уметь владеть собой!» Потом он был со мной ласков, но на другой день опять пошло по-старому. «Вы лентяй! – говорит он. – Несносный болван! Помешанный! Осел!» и т. д.

Я пробовал пояснить ему мое душевное состояние, смятение, в которое повергает меня его горячность, но он не верит мне. В последнее воскресенье он сказал мне: «Вы мне до смерти надоели. К тому же я ведь знаю, что вы никогда не простите мне того, что я высказывал вам истину». Но в училище мне достается еще пуще! Последние два дня он ужасно вспыльчив, зовет меня



«бесчувственным» и «бессовестным», говорит, что не будь я таким, я вел бы себя лучше или убрался бы, как он того желает; что я помешанный, что меня надо посадить в кунсткамеру и заставить говорить по-гречески — я, наверное, собрал бы вокруг себя многочисленную публику; что он скоро отделается от меня, если я не хочу подвигаться вперед. Но всего не перескажешь! Я не могу достаточно ярко обрисовать Вам свое положение. Вечно меня бранят, никто слова доброго не скажет; за столом я не смею рта раскрыть, ректор едва плядит на меня, и в училище я — какой-то отверженец.

Дорогой благодетель! Ничего из меня не выйдет — я глуп, беспорядочен и легкомыслен. Ректору я надоел, и дела не поправишь. В конце концов я не сдам экзаменов; о частной подготовке нечего и думать, если я не успеваю у Мейслинга. Но не оставляйте меня! Я знаю, Вам мало радости возиться со мною, но я окончательно впаду в отчаяние, если и Вы оттолкнете меня. Теперь уже поздно учиться ремеслу, но есть ведь много других занятий; я честен, а это ведь что-нибудь значит; я буду трудолюбив и внимателен; по-немецки я, мне кажется, довольно хорошо знаю — может быть, можно пристроить меня в какую-нибудь контору или куда Вы пожелаете. Мне все равно, где служить — в Ютландии, в Норвегии, хоть в одной из наших колоний. Только не оставляйте меня совсем — Вы один у меня остались, в ваших руках моя жизнь и смерть. Искренно благодарный Вам *Андерсен*.

*Оденсе, 28 июля 1830.*

(*Эдварду Коллину.*) Милый, славный Коллин! <...> Теперь я до некоторой степени уже принадлежу публике, так немудрено, что на меня обращают кое-какое внимание и лечат меня от моих слабостей, составляя себе обо мне понятие по некоторым отдельным бросающимся в глаза чертам моего характера. А таким образом надлежащего понятия себе не составишь! Я не удивляюсь, что мне указывают на мои недостатки, у кого их нет! Я не знаю ни единого человека, о котором бы не говорили чего-нибудь дурного. Мои недостатки, по мнению людей, мое авторское самомнение и страсть всюду соваться со своими стихами. Но, поверьте, милый К., что — освободись я от этих недостатков, люди сейчас откроют во мне какие-

нибудь другие, за которые будут порицать меня так же усердно. Мы уже раз беседовали на эту тему, и Вы тогда согласились со мною, что люди вообще сильно преувеличивают мое «самолюбие». Что же до второй слабости, то я сознаюсь, что еще повинен в ней, но... нельзя ли приписать ее моему добродушию? Простите что я говорю о своем добродушии, но оно ведь признано всеми, и я не могу не верить этому. Разве не свойственно каждому молодому человеку желать нравиться? Красотой мне не взять, вот я и стараюсь пустить в ход другие качества. Разве это уж такой великий грех, если посмотреть на дело, как следует? Но, конечно, я не могу требовать, чтобы все люди были так прозорливы по отношению ко мне, я ведь тоже не всегда бываю таким относительно других. В том же, что я не из гордости не обращаю внимания на разные отзывы о моих стихах – Вы, конечно, убеждены и убедились бы в этом еще больше, знай Вы, какие противоречивые отзывы приходится мне выслушивать от образованных и даже от так называемых интеллигентных людей. И вздумай я следовать всем советам относительно переделок, в моих произведениях ровно ничего не осталось бы моего собственного, оригинального, осталось бы одно общее, банальное. Но, постойте, придет время, когда вы будете обо мне лучшего мнения, будете лучше понимать меня. А мне бы только знать, что Вы да отец Ваш видите и понимаете все, что есть во мне лучшего. Напишите мне, что он в сущности думает обо мне и сходится ли Вы с ним во мнении. Вы не поверите, как я дорожу его хорошим мнением как о моих умственных, так и о душевных качествах, и не из низменных причин, из желания извлечь из этого выгоду, – настолько-то дурно Вы обо мне, конечно, не думаете. Нет, я смотрю на него как на отца: он столько для меня сделал, он моя единственная твердая опора в суете мирской.

Будьте уверены, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы отнять у людей повод к пересудам. Шаг в этом направлении я уже сделал, хотя и небольшой, но надеюсь, что Вы одобрите его. В понедельник драматическое общество устраивает артистический вечер, и вот ко мне явились оба директора просить меня участвовать – прочесть хоть одно из моих стихотворений. Трудненько мне было устоять: признаться по чести, мне очень хотелось участвовать; опять это мелкое тщеславие! Но Ваше письмо заставило меня решительно отказаться. Право, мне пришлось сильно бороться с собой, тем более

что меня всячески уговаривали и даже рассердились на меня за мой отказ. Скажите же мне теперь, довольны ли Вы моим поступком? Гульберг находит, что я вел себя, как следует, но выставленные им причины слишком лестны для меня, чтобы я мог привести их. Ваш и т. д. *Андерсен.*

*Ночь 16 февраля 1833.*

(*Генриетте Вульф.*) Дорогая фрекен!<sup>[32]</sup> Я дал Вам проглядеть «книжку с картинками» моей жизни, отчего же не дать Вам заглянуть и в книжку моего сердца? Вы ведь одна из немногих действительно любящих меня, и я дорожу этим больше, чем Вы полагаете. Вы, пожалуй, скажете, что письмо это вызвано дурным настроением духа и адресовано к Вам только случайно – по капризу, но это не так. Когда-нибудь в ином мире мы еще потолкуем об этом, и Вы увидите тогда, что ко мне не вполне подходит кличка «господин Его», которую Вы дали мне – впрочем, может быть, в шутку. Неужели Вы думаете, что я не понимаю Вашего положения, тоски по братьям и многого другого? Я все это отлично понимаю, но у Вас все-таки есть родной дом, родители! А я вот сижу в своей каморке один-одинешенек и мучаюсь – пожалуй, больше, чем следовало бы, но мучение все-таки остается мучением! Бывает, что некоторые страницы в дневнике сердца так слипаются, что их может раскрыть один Господь Бог, и как я вообще ни откровенен, найдутся и у меня такие горести, причины которых я не смею, не умею даже назвать... Я и, выйдя из юношеского возраста, продолжал оставаться ребенком. Настоящей же юности я не знал никогда! И я бесконечно тоскую по ней; мне страстно хочется порвать с хандрой, со всеми привычками и наслаждаться жизнью как разумное существо. Многое мне хочется забыть, чтобы вместо этого научиться другому, лучшему, но судьба все как-то играет со мною в жмурки. Я глубоко убежден в том, что из меня ничего не выйдет, если мне не удастся вырваться отсюда. Оставаться здесь для меня равносильно гибели. Со временем Вы увидите, насколько я был прав. Эленшлегер глубоко прав, утверждая, что я – поэтическая фигура. Такой я, пожалуй, являюсь и в Ваших глазах. Ах, если бы я только мог излить в стихах всю свою душу. <...> Мне недостает гордости, сказали Вы мне однажды. На такие слова неудобно отвечать лицом к лицу, но

здесь я готов сознаться, что Вы были правы. Но уж таким я уродился. А вот дайте-ка только болотному растению развернуться, закалиться в бурях и невзгодах – небось солнце поэзии не преминет облагородить его соки, и Вы увидите, что и оно запасется характером и зазеленеет, даром что растет себе одно-одинешенько! *Г.Х. Андерсен.*

*Париж, 28 мая 1833.*

*(Эдварду Коллину.)* ...Я много работаю, и уже написал первые сцены «Агнеты», которыми очень доволен. Не отошлю вам, однако, ничего, пока не будет готово все произведение, оно должно превзойти все, что я писал до сих пор. Хочу взять своих противников приступом или по крайней мере заставить их молчать, а это лучше всего можно сделать своими трудами...

Французы мне нравятся. Самый простой поденщик читает газеты, тут жизнь и движение, тут всякий может смело высказывать свои мысли и не только в частной жизни, но и публично. Свобода эта, разумеется, не свободна от разных болезненных наростов, вроде, например, чересчур легких нравов. Здесь все нараспашку. В окнах магазинов выставлены неприличные картины, разврат считается естественной потребностью, и дамы преспокойно говорят такие вещи, от которых у нас покраснели бы мужчины. То же и на сцене, то же и на улице; но к этим наростам, к этим грибкам на прекрасном дереве свободы скоро присматриваешься и невольно преклоняешься перед всем прекрасным и величественным, что создал этот народ, которого нельзя также не любить за прекрасные душевные качества. Ваш братски преданный А.

*Ле-Локль, 13 сентября 1833.*

*(Отто Мюллеру.)* Дорогой друг! Ты ей-Богу славный малый, и я помещу тебя в свой детский мир! Ах, если бы ты был здесь со мною, я допустил бы тебя в грот, где стоит моя Агнета, не виденная еще никем посторонним, стоит, словно сама северная Афродита, только что вынырнувшая из моря. Да, она жива и так хороша вдобавок! И я бесконечно благодарен за нее Творцу. Удивительные в самом деле бывают люди на свете! Они воображают себе поэта какой-то

тщеславной птицей, которая без ума от своих песен. Совсем нет! Чем яснее он сознает, что они хороши, тем больше он смиряется душою, тем крепче льнет к Богу – не у Него ли он и научился этим звукам! Таков вот и я. Между мной и другими поэтами так много общего в остальном, что, вероятно, мы сходимся и в этом. Вторую часть *Агнеты* я написал здесь, и она, наверное, в десять раз лучше всего, что ты знаешь из моих трудов. Я немножко научил ее и грамматике – на это у нас ведь очень смотрят. Только бы они не вздумали разбить ее, чтобы посмотреть, создана ли она по всем правилам математики. Откровенно говоря, мне очень хотелось бы, чтобы она ударила у нас по сердцам – я так нуждаюсь в похвалах, поощрении, любви, – нечего грозить мне пальцем! Сердце поэта – тропическое растение, и оно может расти только под стеклянным колпачком любви, а люди грубо хватают его, точно крапиву! Редко кому приходилось бороться с такими препятствиями, как мне; несправедливая, чересчур суровая критика, если и не потушит горящего во мне пламени, то замучит меня, убьет прежде времени. Я сознаю, что это слабость с моей стороны, но такая слабость прирожденная болезнь поэтов. Она, пожалуй, напоминает болезнь устриц, которые, создав жемчужину, умирают. Но закроем лучше дверь, отделяющую нас от мрачной бездны смерти! Твой *Андерсен*.

*Милан, 24 сентября 1833.*

*(Эдварду Коллину.)* ...Я в Италии! Вот когда только я выбрался на белый свет! По эту сторону Альп я чувствую себя совсем другим человеком; не могу хорошенько объяснить, что случилось со мною, знаю только, что у меня как-то разом сложилось иное, более ясное воззрение на мир и на окружающую меня жизнь. Поверьте мне, дорогой Эдвард, поездка сильно изменила меня и, надеюсь, к лучшему. Я говорю это потому, что Вы в своем письме выражаете некоторое сомнение по этому поводу... Вы полагаете, что мне не следует знать Вашего настоящего мнения об *Агнете*, что Вы, мой испытанный, старый друг, не можете говорить со мною начистоту. Ах, Эдвард, не бойтесь! Прошло то время, когда глаза у меня были на мокром месте. Вам не нравится первая часть *Агнеты*, и во многом Вы, пожалуй, до некоторой степени правы; она все еще слишком

лирически субъективна. Действительно, в моих произведениях до сих пор преобладал лирический элемент, но теперь он уже не так заметен, и я думаю, что Агнета является в этом отношении переходным произведением. Вспомните, что труд этот начат мною вскоре же после отъезда с родины, когда во мне еще не могло произойти особенно крупной перемены. А я так надеялся, что Агнета Вам понравится, заранее радовался этому! Впрочем, многие выразятся еще строже Вашего, но, сколько бы в этом труде ни нашли недостатков, он все-таки отмечает поворот к лучшему в моей авторской деятельности. Благотворнее всего подействовали бы на меня похвалы, похвалы без конца, как я это уж не раз говорил, но Вы не можете похвалить меня, — хорошо! Я не стану вешать носа, не расплачусь, а все намотаю себе на ус и буду продолжать идти вперед — куда меня тянет. Будь рукопись еще в руках у меня, я, прочитав в Вашем письме, что Вы находите ее «неудачной», пожалуй, бросил бы ее в огонь: на что, дескать, нам посредственные произведения? Но в таком случае я поступил бы опрометчиво. Если Агнета и не из каррарского мрамора, то во всяком случае и не из булыжника. Не думаю также, что последующие мои произведения будут настолько же субъективны. Если же Вы заметите это, сообщите мне; только не указывайте при этом на одни темные места, а лучше на проступающие кое-где светлые...

Вы пишете, что я в лице Гемминга изобразил себя же самого, что многие его тирады Вы уже слышали от меня лично. Но поверьте мне, что если бы Вы знали Шиллера или Байрона так же хорошо, как меня, Вы бы и от них услышали много такого, что говорят герои их поэтических произведений. Вы все нападаете на мою «болезненную чувствительность», а вот именно ей-то — как это ни покажется Вам странным — я, по-моему, и обязан Вашей искренней, верной дружбой... Мы с Вами совсем не схожи по характеру, но именно моя чувствительность и мягкость и заставили меня подчиниться Вам. Будь я в то время таким же, как теперь, Ваша манера обращения сразу оттолкнула бы меня от Вас, прежде чем я успел бы узнать Вас получше. <...> В последнем письме Вы не передали мне ни одного поклона; но, может быть, это только так, по забывчивости. Простите же, что я вступил с Вами в пререкания, но письмо Ваше было не отзывом, а вызовом. Вот моя рука, Эдвард, мы друзья по-прежнему. И я вполне верю тому, что если Вы иногда и угощаете меня полынью, то

лишь ради моего слабого желудка. Братски преданный Вам *Андерсен*.

*Рим, 1 января 1834.*

(*Г-же Сигне Лэссё.*) Первый привет мой в первый день Нового года шлю я Вам, моей второй матери. Вы, верно, знаете, что родной моей матери теперь куда лучше прежнего? Коллин написал мне о ее смерти. Я порадовался за нее, но не мог все-таки сразу освоиться с мыслью, что теперь я круглый сирота, что теперь у меня нет никого, кто был бы *обязан* любить меня. Ей же выпала счастливейшая доля.  
<...>

*Неаполь, 18 марта 1834.*

(*Ей же.*) Завтра я уеду из Неаполя и в этот последний вечер мне хочется побеседовать с Вами, моя вторая мать! Сердце мое так полно всем тем великолепием, которым я упивался здесь и которое завтра покидаю, быть может, навсегда.

Критика, о которой я писал Вам, касается не «Агнеты», а моих лирических произведений. Написал ее Мольбек. Теперь я уже могу спокойнее относиться к этому. Он, конечно, сумасшедший, люди повторяют только то, что говорят так называемые авторитеты, и я глупо делаю, что принимаю это к сердцу. «Агнета» когда-нибудь да войдет в честь, я это предсказываю, но писать что-нибудь еще! Нет, нет, ничего я больше не написал здесь; переломили у птицы маховое перо! Вы говорите, что я мог бы найти себе хлебное место, – да, хорошо, если бы так! Но «много собак добивается этой кости»! Да кроме того, тогда я окончательно похоронил бы свое поэтическое дарование. Сам Бог даровал мне духовный дворянский диплом, а люди его разорвали. Но я все-таки поэт. Я не могу отречься от своего дворянства и слиться с общим течением. И не думайте, что я пишу это в мрачную минуту; я так спокоен, так счастлив, как только вообще могу быть, и у меня теперь одно желание: не писать больше ничего нового. Моя радость, моя надежда, мое счастье – все висело на одной нити, и ее перерезал мой лучший друг; операция совершилась, и пациент чувствует себя хорошо. О Боже! Дорогая мать, каким бы я мог быть счастливым человеком! Но прочь воспоминания!.. Вы

удивляетесь, что я так восторгаюсь природой Италии, прелестями Неаполя, – Вам это непонятно. Но подумайте, какое блаженство вдыхать этот воздух, представьте, что море здесь куда красивее нашего зимнего неба! Везувий – пламенный Игдразил<sup>[33]</sup>, а Лазурный грот наполнен небесным эфиром. Самый народ здешний – счастливый ребенок, верит еще в дьявола, жизнь его проходит, как игра. Вы бы посмотрели на этих красивых людей, послушали бы их песни вечерней порой, когда острова плывут в розовом тумане, словно облака... О Боже, грустно подумать, что скоро я прощусь со всем этим великолепием.

Вы говорите, что я могу еще влюбиться на родине и пр. и пр. Боже милосердный! Да Вы же знаете, как я некрасив, знаете, что я вечно останусь бедняком, а это такие вещи, на которые обращают внимание *все*, что бы там ни говорило сердце, и в сущности это весьма разумно...

*Мюнхен, 16 мая 1834.*

*(Людвигу Мюллеру.)* ...Я, впрочем, глубоко проникнут сознанием неизреченной доброты ко мне Господа Бога, так удивительно направлявшего все к моему благу, и я льну к Нему со всей детской верою моей души. Он даровал мне, одинокому сироте, столько верных друзей, в кругу которых я чувствую себя своим человеком; я и люблю своих друзей всей душою. Путешествие принесло мне большую пользу, оно расширило мой кругозор, все стало для меня теперь как-то яснее, чем прежде. Но вот что грустно: оно познакомило меня с южной природой, о которой я всегда буду тосковать, и показало мне мое собственное ничтожество, мои огромные личные недостатки. Бывают минуты, когда я просто прихожу от этого в отчаяние... И на родине мне теперь, наверное, многое не понравится. Люди там слишком мелочны, и в литературе нашей нет любви к самому искусству. Предчувствую, что меня ожидает там много горьких минут, но тогда, надеюсь, друзья мои меня поддержат. Только бы они не стали читать мне лекций, учить меня по-старому! Я этого не потерплю! Хочу покончить с этой старой замашкой, а то ей и конца не будет!.. Кланяйся от меня матери и милым ее дочерям. Я все-таки рад, что опять вернусь к вам. Постарайтесь же быть со мною поласковее и



вы увидите, каким я могу быть душкой... О моих новых интересах ты можешь судить по тому, что я интересуюсь даже старыми, съеденными ржавчиной монетами и многими подобными вещами, по части которых мы прежде не сходились с тобой вкусами. Обещаю тебе также больше не нежничать и не вешать носа. Если же на меня нападет тоска по Италии или я начну замерзать там у вас, возьму да запрусь у себя в каморке в ожидании, что вы придете вывести меня оттуда, но уже не прежним чувствительным, выпренным упрямым, каким вы меня звали, а вытянутым в струнку и холодным, как все обыкновенные люди... Последнее письмо от Эдварда было помечено 1 февраля. Порядочно времени ушло с тех пор. Видишься ты с ним? Хорошо было бы, если бы мне не приходилось так часто пользоваться его услугами! Такие отношения всегда нарушают должное равновесие в дружбе. Очень желал бы чем-нибудь отплатить ему в свою очередь. Думая о той помощи, которую ты, может быть, окажешь мне относительно получения мною Лассенской стипендии, я боюсь, что стану тогда в подобные же отношения и к тебе. Часто я желаю даже, чтобы она не доставалась мне, – все бы меньше зависимости. Я выражаюсь не так, как следует, но ты поймешь меня. По отношению к друзьям моим я испытываю особенную щепетильность и часто сильно страдаю от нее. Можно жить душа в душу только тогда, когда устраняются все житейские различия... Эдвард – мой вернейший друг. Ты тоже. Только бы мы встретились с радостью и сумели бы оценить то, что есть хорошего в каждом из нас! Сильно ли я изменился и в чем? В этом вы сами разберетесь при встрече; я же знаю только то, что вы хотите видеть меня другим, нежели я был прежде...

*Вена, 16 мая 1834.*

*(Генриетте Ганк.)*...Какое блаженство видеть, что мысли наши сообщаются окружающему нас поколению, верить, что они переживут нас, но блаженство это покупается величайшими страданиями. Хватит ли у Вас мужества? Подумайте, если вдруг станут плумиться над Вашими лучшими чувствами, называть глупостью и вздором самые светлые, вдохновенные мысли, и кто же? Люди, стоящие куда ниже Вас самих. Если да, то Вы поэт, звено той великой цепи красоты, которая соединяет землю с небом. Я не знаю Ваших трудов, но, судя

по Вашим письмам, я верю, что Вы можете писать на радость и пользу людям. Пусть же они услышат Ваши песни, но не падайте духом, если придется Вам за это пострадать. Люди ведь странные существа. <...> Поверьте мне, бывают минуты, когда я нахожу, что лучше бы мне никогда не писать ни одной строчки, а жить, как и все добрые, честные люди, довольные своей будничной жизнью, зарабатывать хлеб насущный и мирно дожить до могилы, не ломая себе головы ни над чем. Вам уже говорили: «Обсудите свои стихи и решайтесь!» А я к этому прибавлю: испытайте себя, хватит ли у Вас мужества! Если да, то – с Богом! Никто не может знать, что из этого выйдет. Я все еще наполовину турок и верю в предопределение. Говорят, что мы существа свободные; да, подобно дикому коню на маленьком скалистом островке: вот твои границы и дальше ни шагу!

...Не думайте, что я хочу запугать Вас и отклонить Вас от той дороги, на которой так желают видеть Вас все дорогие Вашему сердцу. Нет, я желаю только предупредить Вас, что всякий, кто желает плести для людей венки из роз или хоть из репейника, должен прежде всего взять себе на долю шипы. Маленькая наша Дания – плохая страна для писателей; здесь слишком близко стоишь к людям, личные качества слишком бросаются в глаза и смешиваются с духовными. <...> Но все это в сущности пустое, только бы Вы сами ясно сознавали истинные достоинства своих трудов и помнили при этом, как легкомысленно будет судить о Вас толпа профанов. Да подкрепит Вас Бог! Пусть Он руководит Вами и дарует Вам радости! Брат Ваш *Андерсен*.

*Гамбург, 1 августа 1834.*

*(Генриетте Вульф.)* ...В Вене получил я сильно обрадовавшее меня письмо от Ингемана. Он только что прочел мою «Агнету» и называет ее лучшим моим произведением, показывающим, «что я сделал значительный шаг вперед». «Агнета» произвела на него впечатление «северной летней ночи», и чтение ее привело его в такое поэтическое настроение, что он сам начал писать. Он и просил меня не принимать к сердцу жестоких осуждений толпы и предсказывает то же, что давно подсказало мне мое собственное сердце: «“Агнете” воздадут должное, когда меня не будет больше на свете». Да, это «отчаянное маранье, которое друзьям моим не следовало бы допускать в печать, которое

служит доказательством полнейшего упадка моего таланта», как угодно было написать в письме ко мне моему *первейшему* другу, в конце концов все же доставит мне радость за пролитые слезы, за бессонные ночи! Бог весть, что скажет *друг*, что скажут друзья, когда мне скоро выпадет счастье, блаженство вступить в их круг; да скоро меня встретят иудиными поцелуями и горчайшей приветственной чашей; что ж, вполне поэтичное положение! В качестве поэта я явлюсь ведь бабочкой, а она всего красивее, когда трепещет на булавке. И расположение духа моего, поверьте, самое превосходное, не умею только хорошенько подготовиться к ожидающим меня великим радостям. <...> Здешние мои земляки, впрочем, хвалят меня за то, что я так радуюсь возвращению на родину; но в этом отношении на языке у меня не то, что на душе или в письмах, которые отправляю отсюда; в них только я являюсь в настоящем свете. <...> Ваш преданный брат *Андерсен*.

*Копенгаген, 26 сентября 1834.*

(*Ей же.*) Дорогая сестра Иетта! Вот я и опять в Новой гавани, куда никогда не заглядывает солнце; но это в порядке вещей. Рабочий мой кабинет окутан холодной северной тенью, а из окна видны паруса и флаги. Корабли приходят и уходят по зеленым волнам канала, волны то и дело кивают мне. При лунном свете они рассказывают что-то грустное про прошедшее лето, когда их озаряло в Лазурном гроте серное пламя, когда на щеках их горел отблеск Везувия. Теперь все переменилось, да и говорить волны больше не умеют; мне просто жаль бедняжек: они, пожалуй, скоро совсем замерзнут.

Но если мой рабочий кабинет обращен на север, то зато спальня — на юг; ботанический сад расстилается точно ломбардийская равнина за альпийским кряжем дворовой стены. В саду растет высокий густолиственный тополь, при луне он кажется совсем черным, и я, глядя на него, вспоминаю черные кипарисы и все то хорошее, о чем грезилось мне на днях. Да, мне в эту зиму так явственно пригрезилось мое прошлогоднее пребывание в Италии, что я сел да и написал роман из итальянской жизни, в который вложил все пережитое, перечувствованное мною в Италии. Книга эта скоро будет готова, но и теперь уже производит на людей, побывавших в Италии,

замечательное впечатление. У них слезы навертываются на глаза и их охватывает тоска по чудной стране. Некоторые из друзей моих, которым я читал кое-какие отрывки из романа, тоже очень довольны описаниями, и все в один голос твердят: «Да, видно, что ты побывал в Италии!» Вашей добрейшей матушке тоже захотелось послушать. Я и стал читать. Она прослушала первые шесть страниц, — описание детства героя романа, и сейчас сказала: «Точь-в-точь прежний Андерсен; все это так по-детски!» Слова эти звучали упреком, но так как мне не дали разъяснить, что детство и должно быть детским, то мы и не дошли ни до возмужалости героя, ни до настоящих событий в романе. Я вывел из этого только то заключение, что не следует мне читать его даже моим друзьям несмотря на то, что все они, исключая Вашей матушки, приходят от него в восторг. Издать же я его все-таки, издам; вас ведь никто не заставит читать его.

Недавно я навестил Ингемана; некоторые не считают его более поэтом с тех пор, как он так расхвалил мою «Агнету»; он поздравил меня с окончанием нового романа, и мы выпили с ним по доброму стакану пунша за преуспевание моего детища; он пророчил ему большой успех в Дании и строил такие блестящие воздушные замки, но, конечно, это все вздор! Андерсен ведь всегда останется тем же Андерсеном!

Из Гамбурга я отправил Вам большое послание, которое, надеюсь, дошло до Вас. Несколько дней спустя, я прибыл в Копенгаген. Дорогие Ваши родители уступили мне комнату, пока я отыскал себе помещение. В тот же вечер я посетил семью Коллин, где меня встретили как сына, на глазах старика я заметил даже слезы. Эдварду я сказал, как я был сердит на него, и мы теперь стали лучше понимать друг друга. Я уже не так женственно чувствителен, как прежде, он перестал изображать ментора, мы являемся *равными*, и я искренно люблю своего испытанного друга, а он меня.

Я повсюду встречаю добрых людей; сам значительно сбавил свои требования, и все идет отлично. Расположение духа моего самое прекрасное, каким я давно уже не пользовался, я сознаю свое положение и живо разбираю, с кем имею дело. Случись, кто-нибудь опять начинает разыгрывать ментора, я сначала прислушиваюсь, не вздор ли он несет, и если да — то и задаю же ему перцу. Я, впрочем, давно уже замечаю, что большинство моих учителей берут больше

всего языком; тем не менее я очень вежлив с ними, терпеливо выслушиваю от них немало глупостей и скромно предоставляю им щеголять своими крошечными особами. Меня стали даже хвалить за эту добродетель, за скромность, хотя прежде-то, когда я так много носился с собою, я был куда скромнее, чем теперь, когда держусь в сторонке. Итак, все идет прекрасно, и я чувствую себя в сущности очень хорошо. Никто больше не обращается со мной, как с мальчишкой, — только раз после моего возвращения испытал я нечто подобное. <...> Отнеслась ко мне таким образом Ваша матушка... Она обращается со мной, точно с сыном, но сыном-неучем, которого все еще надо воспитывать, и совершенно забывает, что сын-то подросток, что с ним уже нельзя разговаривать, как с ребенком. «Полнейшее отсутствие не только основательных познаний, но даже желания учиться чему-либо», — вот что я услышал от нее. Затем она стала уверять меня, что больше всего повредило мне постоянное снисхождение ко мне рецензентов, что грамматические ошибки, встречавшиеся в прежних моих трудах, повторяются и в новых, и т. д. и т. д. Да, да, все это сушая правда, я ничего не прибавляю. Разговор начался в самом дружеском тоне, а под конец мне пришлось наслушаться таких вещей, которых я меньше всего мог ожидать именно теперь. Похвалы и ласки заставляют меня смиряться душой, несправедливое же порицание пробуждает во мне гордость, и тогда я уж не в силах смолчать. Главное же в этом случае то, что эту обиду нанесла мне Ваша мать, которой я так много обязан и которую так любил называть своей. Вечно преданный Вам брат-поэт.

*P.S.* Не забудьте в письмах на родину присылать мне поклоны.

*Копенгаген, 20 октября 1834.*

*(Эдварду Коллину.)* Позвольте мне сегодня обратиться к Вам письменно. У меня есть до Вас дело, приходится, следовательно, докучать Вам, а это очень не вяжется с моими понятиями о дружбе. Вы обещали поговорить с Рейцелем о моем романе. Не думайте, что я особенно тороплюсь выпустить его в свет. Скажу даже... пусть бы он пролежал себе хоть 9 лет, а с ним вместе и все мое творчество, если бы можно жить без денег. Но так как жить без них нельзя, то я и полагаю, что роману моему не след валяться. Финансов у меня хватит еще на

недельку, а затем предстоит новый месяц с платой за квартиру, с дырявыми сапогами и пр.; следовательно, деньги мне нужны не позже как через неделю.

Итак, не поговорите ли Вы с Рейцелом о моем рассказе (я так и хочу назвать его, а не новеллой, не романом) и внушить ему некоторое уважение к нему, сказав, что он является как бы квинтэссенцией моей поездки по Италии. Заглавие его «Импровизатор»; он составит две небольшие книжки, их можно переплести вместе, и получится подходящий по величине том. Пусть он будет напечатан в том же формате и тем же шрифтом – около 28 строк на странице, – как романы Ингемана; таким образом книжка выйдет листов в 18 не больше, а прошу я 12 риксдалеров с листа, или за все целиком 100 специй. Половина суммы должна быть выдана мне при сдаче первой части рукописи. Если мне выдадут теперь же 100 риксдалеров, то я не погонюсь за тем, чтобы книга вышла до Нового года. Если Вы можете указать мне на другие источники, в чем, впрочем, сомневаюсь, да и не охотно связываю себя обязательствами, то пусть рассказ полежит; в противном случае прошу поверить мне, что настоящая спешка вызвана вовсе не желанием поскорее увидеть свое произведение в печати. Я всегда еще успею сделаться предметом плумлений, накликать на себя обиды и огорчения. Знаю, что обрушатся и на эту бедную книгу, как на «Агнету», но я терпеливо буду носить свой терновый венок, хоть он и не красит, а только давит и колет Вашего друга *Андерсена*.

*P.S.* Извините меня, что я в последнее время снова впал в чувствительный тон и проявлял к Вам слишком нежные чувства, Вы ведь не любите этого; но мне как-то нездоровилось; постараюсь при случае проявить побольше холодности.

*Копенгаген, ноябрь 1834.*

*(Генриетте Ганк.)* ...Я ежедневно бываю в семье Коллин; зато больше почти нигде. Два раза в неделю сердце влечет меня к г-же Лэссё, и я знаю, что она охотно видит меня у себя, только у меня-то теперь мало охоты ходить куда бы то ни было, а меня, как на грех, осаждают приглашениями. Только у старика Коллина я чувствую себя,

вполне как дома: маленькие внуки его зовут меня дядей, сам старик мне точно родной отец, а дети его сестры и братья.

На днях у Коллина был обед для литераторов. Гостями были Герц, Гейберг да я, или, вернее, как сказал сам Коллин, гостями были только двое первых, так как Андерсен – сын дома. Гейберг был остроумен, Герц глух, но юн душой, я же – забавен. Да, Вы не поверите, каким я стал молодцом. Вам, верно, любопытно узнать, как отзываются обо мне? Вот Вам пара-другая характеристик. Г-жа Лэссё говорит: «Он запасаю теперь знанием людей, разыгрывает из себя чистосердечного малого, а говорит все-таки только то, что хочет. Не разберу я его хорошенько». Коллин-отец говорит: «Пожалуй, он стал теперь довольно солидным парнем, но старые замашки все еще при нем остались». Г-жа Древсен и Луиза уверяют: «Он стал таким веселым, шаловливым и таким рассеянным. Никак не разберешь его». А Вы, что думаете обо мне? Впрочем, сперва прочтите роман, а потом скажите. Вы видите из этого письма, что у меня осталась старая привычка болтать о себе очень много, но это ведь такая обширная тема...

*Дождь, слякоть и туман, 16 марта 1835.*

(*Генриетте Вульф.*) Добрейшая сестра моя Иетта! Из вышеприведенной надписи Вы увидите, что письмо это написано на нашей дорогой родине и в Копенгагене. <...> А Вы знаете, чем я был занят? Написал роман «Импровизатор» в двух частях и 30 листах и небольшую драму в 2-х действиях «Кирстинушка»; музыку к ней взялся написать Бредаль затем я написал еще несколько сказок для детей. Эрстед говорит про них, что если «Импровизатор» прославит меня, то сказки обессмертят мое имя, по его мнению, я не писал ничего лучшего. Я не согласен с ним, он не знает Италии, поэтому и пронизывающее весь роман веяние Италии не может будить в нем чарующих воспоминаний...

<...> Я обзавелся теперь новым знакомством. В один прекрасный день приходит ко мне с приглашением посыльный от старухи Бюгель, вдовы коммерсанта. Я сказал ему, что тут произошло какое-нибудь недоразумение, и отпустил его. Но он вскоре вернулся с вторичным приглашением, и тогда я принял его. Старуха полюбила меня и оказывает мне всевозможное внимание. Но, конечно, это просто

каприз с ее стороны и долго он не продлится. На днях она вдруг прислала мне прелестный французский шлафрок, вышитый розами, и шелковый пояс, потом бутылку итальянского вина, другую, третью!.. Последний же раз, когда посланный пришел приглашать меня на обед, оказалось, что ему было велено просить меня лично составить меню, а раз, когда я отказался за нездоровьем явиться к ней, барыня взяла да прислала мне детских порошков! Все теперь говорят, что я женюсь на ней, и называют ее хорошей партией, но я все-таки не согласен – уж слишком много будет у меня тогда пасынков...

*Копенгаген, 26 марта 1835.*

Дорогой Рейцель! Печатание романа заканчивается. Книга выйдет, следовательно, на будущей неделе. Желаю Вам хорошего сбыта. Я дал Вам год моей жизни и, пожалуй, самый лучший. Присылаю Вам список 18 подписчиков, собранных некоторыми из моих друзей. Это, конечно, очень немного в сравнении с сотней, на которой Вы настаивали, чтобы назначить мне гонорар в 200 риксдалеров. Я и предвидел, что больше этого пока не наберется, но, если книга пойдет ходко, дело скоро наладится. Мы предполагали выпустить ее в феврале, но Вы уже предупредили меня, что я и в таком случае не мог бы получить остатка гонорара раньше, чем в начале апреля. Теперь книга является как раз к этому сроку, но апрель так недалек, что Вы, вероятно, не сочтете непомерным требованием со стороны нуждающегося писателя просьбу выдать мне остаток гонорара теперь же. 200 р. Вы, пожалуй, не дадите, по крайней мере не раньше, чем окажется, что книга будет иметь ход; будем считать, следовательно, 180 р., но из них я, увы, уже получил 115 р. Остается дополучить пустяки. Прошу Вас выдать мне этот остаток в понедельник – день, когда я свожу свои счета, а если хотите обрадовать меня – Вы можете это, – то заготовьте для меня к четвергу, 2 апреля – время есть – два экземпляра в красивых переплетах для г-жи Коллин и принца Христиана. Надо вам сказать, что 2 апреля – день моего рождения, и мне очень хотелось бы обеспечить себя этой радостью, исполнение которой зависит только от Вас. Поверьте мне, дорогой Рейцель, будь я богат, я бы подарил Вам все свои писания, но свет уж так устроен, что ничего такого сделать нельзя. В другом свете, где все ведь



переменится к лучшему, Вы, может быть, будете поэтом, а я издателем; тогда Вам представится случай поступить со мной так, как я бы поступил по отношению к Вам, будь это в моей власти. Всего хорошего! Приду в понедельник и надеюсь, что Вы будете дома. Не забудьте также: 2 апреля! Преданный Вам *Андерсен*.

*Копенгаген, 14 мая 1835.*

(*Ионасу Коллину*). . . Тяжело у меня на сердце; мне непременно надо поговорить с Вами, но лично я не решаюсь... После моего возвращения на родину я с каждым днем все более и более чувствую зависимость и горечь своего положения. Там, где я ожидал найти поощрение и любовь, я встречаю только несправедливость и мелочную критику. Я беден, и бедность эта угнетает меня сильнее, чем последнего нищего, отнимая у меня и силы, и мужество. И я уже слишком умудрился жизненным опытом, чтобы позволить себе мечтать о лучших временах впереди. Мне предстоит такое несчастное будущее, что у меня вряд ли даже хватит мужества встретить его. Настанет время, когда мне ничего другого не останется, как искать плохенького места деревенского учителя или проситься куда-нибудь в колонии. Умри Вы, и у меня не останется никого, кто бы принимал участие во мне, а талант ничто, если обстоятельства ему не благоприятствуют.

В последнее время обстоятельства сложились для меня самым удручающим образом. Меня часто мучат такие лишения, которые со стороны могут казаться пустячными, – о них я, однако, и говорить не буду, но мне прямо грозит нужда. Я старался скрывать это и от себя, и от всех других, но больше не могу. Я Вам должен 100 риксдалеров. Других долгов у меня нет, но уже и то, что я должен все откладывать да откладывать уплату Вам, постоянно мучит меня. Гонорар за мое либретто «Ламмермурская невеста» я получу не раньше сентября; получу я, наверное, 200 р.; Бредаль тоже не берется кончить музыку для «Кирстинушки» раньше этого времени. Последнее либретто в 2-х действиях, и мне дадут за него, вероятно, 100 р., но и этих денег приходится ждать. У Рейцеля теперь нет денег, и он не берется пока издавать нового выпуска сказок, который я изготавил. Я сделал все, что мог, но все безуспешно. Летом я предполагаю написать новый

роман и одну маленькую пьесу, но это все работа для будущего, а не для текущих месяцев. Между тем у меня нет одежды, я ежемесячно должен тратиться на уплату за квартиру и на кое-какие другие нужды. В конце года у меня, конечно, будут деньги и гораздо больше той суммы, которую я должен Вам. Нельзя ли Вам поэтому достать мне из какого-либо источника еще 100 риксдалеров? Мне опять приходится просить об этом Вас и это просто доводит меня до отчаяния. Я сознаю всю Вашу доброту ко мне, Ваше снисхождение, деликатность, и меня тем больше огорчает необходимость вечно докучать Вам.

[На это письмо К. в тот же вечер написал А. такой ответ: «Не тревожьтесь и спите себе спокойно. Завтра увидимся и столкуемся насчет средств. Ваш К.».]

*Люккесгольм, 5 июля 1835.*

*(Эдварду Коллину).* Дорогой друг! ...Люккесгольм самая красивая местность в Фионии; кормят здесь прекрасно; дают и вина, и сливок сколько душе угодно. Поместье это принадлежало когда-то Каю Люкке. Один из флигелей еще сохранил свой древний стиль: глубокие рвы, сводчатые потолки и гобелены. Мне отвели самую интересную комнату в одной из больших башен; кровать старинная с красными занавесками, на гобеленах – весь Олимп, а над камином красуется герб Кая Люкке. Кроме того, тут «нечисто»; все люди в доме верят этому, но я еще ничего не замечал, даром что зорко следил, особенно в первую ночь. Если вообще существуют привидения, то, надеюсь, они настолько поумнели на том свете, чтобы не показываться лицам с особенно живым воображением, которое готово покончить с ними при случае...

Здесь прелестнейший сад с террасами, он прямо примыкает к лесу, большое озеро подходит вплоть к самому дому. Я каждый день катаюсь в лодке и распеваю баркаролу из «Ламмермурекой невесты». Владелица поместья, г-жа Линдегор, премилая и гостеприимная хозяйка. Я предполагал остаться здесь только дня два; но прекрасная местность, густые сливки и пр. заполнили мое сердце, и вот я здесь уже десятый день. Расскажите г-же Дреусен, что дамы здесь увлекаются мною, как она Байроном, и страсть как ухаживают за мною. «Импровизатором» они все восхищаются, все, что я ни говорю,

находят бесподобным, исполняют каждое мое желание, спрашивают, что я хочу к обеду, не хочу ли прокатиться... Да, поверьте, что с Эленшлегером у принца не носятся больше, чем со мною здесь. Это в первый раз, что я сознаю, как приятно быть поэтом.

...С виду я весел, счастлив, а, пожалуй, никогда еще так не горевал, как теперь, по возвращении домой. Что поделаешь! Я чувствую себя здесь чужим, мои мысли в Италии. О, Эдвард, если бы Вы подышали тем воздухом, видели все то великолепие, и Вы бы затосковали, как я. Вспомните, у меня нет ни родителей, ни родных, ни невесты – и не будет никогда! Я так бесконечно одинок! Только в доме Ваших родителей мне еще иногда грезится родной дом, но как скоро все может перемениться! Вы женитесь и уедете, Луиза выйдет замуж и тоже уедет, кружок будет становиться все меньше и меньше, пройдут года, я состарюсь и, наверное, доживу до глубокой старости – печальная перспектива! Так как же мне не вздыхать по той стране, где я чувствовал себя дома, по югу? Вот она, невеста моя, по которой я тоскую, которая очаровала меня своей красотой. О, если бы я мог продать какому-нибудь богачу годы своей жизни, я бы отдал половину ее, чтобы иметь возможность другую половину прожить в Италии. Когда-то я мог с детской верой просить Бога о разных чудесах и был счастлив надеждой, что мольба моя будет услышана; теперь же я стал таким благоразумным, что не могу и просить Бога об исполнении моей заветной мечты – вновь увидеть чудный юг. Я знаю, что этому не бывать...

*Копенгаген, 19 января 1836.*

*(Генриетте Ганк.)* ...Новый роман мой озаглавлен только двумя буквами «О. Т.»<sup>[34]</sup>, и название это вовсе не искусственное, деланное, а самое простое в свете. Эта зима прошла для меня так благополучно, как еще ни одна. «Импровизатор» доставил мне самое лестное внимание со стороны лучших людей, и большая публика стала относиться ко мне куда лучше прежнего. От забот о хлебе насущном я, слава богу, теперь избавлен, и в последнее время мог даже устроиться вполне комфортабельно. Редакции доставляют мне газеты, Рейцель – новые книги и гравюры, и вот я сижу себе в вышитых туфлях и в шлафроке, печка шипит, самовар поет на столе, а курящаяся монашка

так славно пахнет. Вспоминаю бедного мальчика в Одессе, ходившего в деревянных башмаках, и с умиленным сердцем благословляю Создателя. Теперь я в самом зените своей славы, я это вполне сознаю, а потом пойдет на убыль. Но поэт бывает в зените, кажется, лет шесть, и за это время я успею написать шесть хороших книг. А тогда дело мое сделано, и я, наверное, сумею умереть вовремя! Только бы мне удалось побывать еще раз в Италии!..

*Копенгаген, 3 февраля 1836.*

*(Генриетте Вульф.)* ...Сегодня вечером я намеревался навестить Вас, мы бы поболтали, рассказали бы друг другу разные историйки; я, как всегда, говорил бы о себе, и под конец Вы протянули бы мне руку со словами: «Узнаю старого А.!» Но я изменил свое намерение, предпочел отдать Вам визит мысленно, написать посланьице. Во-первых, в нем беседа идет плаже, во-вторых, я ведь эгоист – в этом случае Вам приходится, по крайней мере во время чтения письма, заниматься исключительно мною. Я очень редко бываю у своих друзей. Привязанности мои все те же, но во мне пробудилась новая привязанность – к работе. Пора истинного творчества началась для меня с моего возвращения из Италии; для успешной работы мне остается, может быть, еще лет пять-шесть, и ими надо пользоваться. Я устраиваюсь у себя поуютнее, развожу в камине огонь, и тогда меня навещает моя муза. Она рассказывает мне удивительные сказки, показывает забавные типы из обыденной жизни, дворянские и мещанские, и говорит: «Взгляни на них, ты ведь знаешь их! Срисуй их, и они будут жить!» Это, конечно, великое слово, но она так и говорит. Вот почему я и манкирую друзьями. Вы говорили мне недавно про Людвига Мюллера и его семейство, говорили даже, что так как я совсем перестал бывать у них, то трудно не видеть в этом какой-нибудь особой причины, но что та, на которую Вам указали, такая гадкая, что Вы не хотите даже сказать ее и сами отказались верить в нее. Я знаю, что это за «причина», мне нетрудно разобраться в разных положениях и мнениях. Вот чего вы не хотели сказать мне: «Вы не бываете там больше, так как умер отец, от которого Вы могли ожидать себе протекции». Не так ли? Так рассуждают люди, а мне это очень прискорбно.

...Новый труд, может быть, роман, начинает шевелиться у меня в голове, я еще не выяснил себе хорошенько, что именно готовится, но чувствую, что что-то будет. Мною овладело какое-то беспокойство, полное зарниц, предвестниц готовой разразиться грозы, какая-то приятная духовная лихорадка! Когда туман рассеется и перейдет в облака, я расскажу Вам поподробнее. Но я все болтаю без умолку! Перо так и бежит – бедняжке приходится записывать все, что мне взбредет на ум. Письмо это покажет Вам по крайней мере ход моих мыслей, когда я дам им волю. Ваш всегда преданный брат *Г.Х. Андерсен*.

*Оденсе, 22 июня 1836.*

*(Луизе Коллин.)* Такой холод, что чернила замерзают, и я едва могу водить пером, но не могу не написать Вам, хоть Вы и не любительница описаний. <...> Между нами будь сказано, я скучаю по Вас всех, особенно, когда вспоминаю, как вы бывало дразнили меня. Здесь со мной так нестерпимо вежливы, никто не зовет меня «ослом», «болваном» и тому подобными эпитетами, получающими особый колорит в устах Вашей сестры. Попросите ее прислать мне «осленка» или «болванчика» в конверте. <...> От Эдварда я давно не имею известий, но об этом мы не будем говорить, постараюсь по отношению к нему взять свои чувства в руки. Пожмите ему от меня руку.

Старая дева Х. (ей около 60) восторгается мной до того, что почти влюбилась в меня... От старух-то мне нет отбоя, а вот молоденькие! Был бы я красив или богат!.. Всего хорошего! Кто теперь напишет мне? Эдвард, что ли? Брат Ваш *Г.Х. Андерсен*.

*Свендборг, 4 августа 1836.*

*(Эдварду Коллину.)* Дорогой, лучший друг мой!.. Вы получите мое письмо уже женатым человеком. Хотя я и не могу быть на свадьбе, не могу даже прислать за себя песню, я все-таки присутствую на ней мысленно. Я вижу Вас обоих: вы так серьезны и в то же время радостны. От всего сердца молю Бога о вашем счастье. Слезы навертываются у меня на глаза, когда я пишу эти строки. словно

Моисей, стою я на горе и гляжу в обетованную землю брака, в которую – увы! – не войду никогда. Господь многое дал мне в этой жизни, но то, что у меня отнято – может быть, самое лучшее, счастливейшее. Собственным гнездом обзаводишься, лишь когда женишься на верной, милой подруге и увидишь самого себя возрожденным в детях. И Вам теперь предстоит это счастье. Я одинок в жизни; дружба должна заменить мне все, заполнить все пробелы; вот почему, может быть, мои требования дружбы и заходят чересчур далеко. Но дайте мне ее хоть сколько можете – Вас ведь я люблю больше всех. Я предвижу свое будущее со всеми его лишениями – я останусь одиноким, так должно. Разум мой, надеюсь, всегда будет ясно говорить мне это. Но чувства мои сильны, как и Ваши; и я любил так же горячо, как Вы теперь, но любовь моя была лишь мечтой. Мечты этой я, однако, не забуду никогда, хоть мы и не говорим о ней никогда. О таких сердечных ранах нельзя беседовать даже с лучшим другом. Да, я ведь и вылечился, и старые раны дают знать о себе лишь по временам. Лучше, может быть, было бы и промолчать вовсе, но свадьба моего Эдварда близка моему сердцу и пробуждает воспоминания...

Счастливы вы оба! Почувствуйте же, как много Вам дано сравнительно с другом. Но – я лечу на юг, Италия – моя невеста! Прощайте! Бог благослови Вас обоих! *Брат.*

*Копенгаген, 11 февраля 1837.*

(*Ингеману.*) В скором времени Вы получите новый выпуск сказок для детей, которые Вам так не нравятся. Гейберг говорит, что это лучшее из всего написанного мною. Самая последняя сказка «Русалочка» Вам все-таки понравится. Она лучше чем «Лизок с вершок» и только она одна из всех моих произведений, если не считать истории о «маленькой игуменьи» в «Импровизаторе», глубоко трогала меня самого, когда я писал ее. Вы, пожалуй, улыбаетесь? Не знаю, что бывает с другими поэтами, я же страдаю вместе с созданными мною лицами, веселюсь и хандрю вместе с ними, бываю то добрым, то злым, смотря по тому, какую сцену пишу. Этот новый третий выпуск сказок, по-моему, лучший из всех, и Вам, верно, понравится! И Вашей жене тоже! Я не поставил бессмертия души

своей русалочки, как de la Motte Fouque своей «Ундины», в зависимость от любви к ней человека. Право, это нелепо. Все в таком случае зависело бы от случая. Я заставил свою русалочку пойти более естественным и совершенным путем. Ни один поэт, кажется, еще не указывал на этот путь, и я рад, что мог указать его в своей сказке. Вот сами увидите! Ваш преданный А.

*Копенгаген, 1 декабря 1837.*

*(Генриетте Ганк.)* ...Как мне хотелось бы написать Вам настоящее веселое письмо, но сегодня я не в таком настроении. Одиночество мое все больше и больше угнетает меня! Вы пишете, что я, конечно, не стану таиться от Вас, если сделаюсь женихом. Конечно, нет, но Господи Боже мой, у меня и в помышлении этого нет! В городе же, по свойственной людям манере заниматься людьми сколько-нибудь известными, женят меня то на одной, то на другой особе, но уверяю Вас, что я и не думаю о них или вообще о браке. Настолько-то у меня ума хватит, чтобы не делать неразумного шага. И дай мне Бог всегда рассуждать так здраво! Я едва обеспечил себе сносное существование и на будущее не имею никаких видов. А между тем жене моей понадобится та же обстановка, к какой она привыкла в родительском доме, – так как же мне жениться? Я так и умру одиноким, как мой бедный Христиан в романе. Не думайте, что я преувеличиваю, сгущаю краски здесь на бумаге, нет, я чистосердечно открываю Вам свою душу как сестре. Да, будь я богат, имей я надежду зарабатывать в год тысячу-другую – я бы влюбился! Здесь есть одна девушка, прекрасная, умная, добрая, милая, принадлежащая к одному из интеллигентнейших семейств города. Но у меня нет состояния и я – даже не влюбляюсь. Кроме того, она почти вдвое моложе меня. Слава богу, что она и не подозревает о том, что я не совсем равнодушен к ней, и обращается со мною, как со старым знакомым. Она питает ко мне доверие и способна сказать мне как-нибудь на днях по секрету: «Андерсен! Поздравьте меня, я невеста!» Но нет, так она не скажет, она слишком стыдлива. Я не знаю более целомудренной девушки. О, каким, однако, можно было бы быть на этом свете счастливым! Гаух пишет мне: «Не отгоняйте от себя Вашей тоски, она-то и придает Вашим творениям высший блеск». О Господи! Так значит мне быть

бабочкой на булавке, чтобы доставлять людям удовольствие красивым зрелищем! Поэтическое положение, нечего сказать, быть переведенным на французский и немецкий языки, читать свою биографию в одном из лучших французских журналов, видеть свои портреты на гравюрах и в то же время быть одиноким бедняком, без видов на будущее, Камоэнсом севера! В этом есть нечто трагическое, что радует мою суетную душу. Прощайте, мой дорогой друг и сестра! *Брат.*

*Копенгаген, 5 января 1838.*

*(Ингеману.)*...Мои «Сказки для детей» выходят теперь в немецком переводе. Поверьте мне, что я ценю такое внимание. Бывают минуты, когда я глубоко сознаю, что я счастлив даже больше, чем того заслуживаю, что Бог мне нежный, любящий отец; но бывают также и такие минуты, и часто, когда я готов прийти в отчаяние. Я чувствую себя таким одиноким, меня тянет перелетать с места на место, сам не знаю, что со мною делается. Я сознаю, что во мне скрывается клад, который я, однако, не в силах поднять из глубины души и показать свету. Самое лучшее, что я дал, все-таки не то, что живет во мне и волнует меня денно и ночью. Ах, если бы я мог высказать все это! Вы не назовете дурным именем того, что я сейчас скажу Вам, Вам одному. Мне кажется, что ни один поэт еще не высказал того, что, как я иногда чувствую, есть настоящая поэзия. Сравнивая же написанное мною с тем, что я чувствую, я прихожу в отчаяние: «Ты ничего не сделал!» Я мучу сам себя, но таков уж мой характер. Но есть у меня горе и потяжелее, самое тяжелое, которого нельзя и высказать. Я состарился, юность покинула меня!..

На этих днях мы ждем знаменитого скрипача Оле Булля. Он родственник Эрстеда, и я ожидаю случая познакомиться с ним. Дочка Эрстеда, самая хорошенькая, самая симпатичная, которая ребенком сидела у меня на коленях и столько раз целовала меня, прося рассказывать ей сказки, теперь невеста, – ну как же я не старик! <...> Одну радость я все-таки получил на елку: встретился на улице с Мейслингом, и он почувствовал потребность сказать мне, что обходился со мной в школе нехорошо, ошибался во мне, о чем теперь очень сожалеет, что я стою теперь куда выше его и, наконец, попросил



меня позабыть его суровость, прибавив: «Теперь вы восторжествовали, а я – пристыжен!» Это тронуло меня! Прощайте! В следующий раз напишу гораздо больше! Напишите и Вы поскорее! Ваш верный и преданный *Г.Х. Андерсен*.

*Копенгаген, 23 февраля 1838.*

(*Фредерику Лэссё.*) Дорогой друг! Только в разлуке с друзьями и сознаешь хорошенько, насколько они тебе дороги. Так вот вышло и у меня с Вами. Давно уже скучаю я о Вас и собираюсь побеседовать с Вами... <...> Вы часто проявляли по отношению ко мне большую прозорливость; мне немножко досадно признаться в этом; что же касается моего тщеславия, столь вредного для дружбы, то, право, я и тут лучше своей репутации. «Только не пишите больше романов, если не можете написать такого же хорошего, как первые три!» – сказали вы мне однажды, и я с Вами вполне согласен! Имей я средства к жизни, Вы бы видели одни хорошие результаты, теперь же мне часто приходится думать о ветке хлебного дерева и отказываться от ветвей лаврового. Никто, пожалуй, не чувствует лучше, чем я, как далек я от истинного совершенства, никто больше меня не может сознавать с горечью, что лет через пятьдесят люди скажут: «Да, в свое время Андерсен мог еще считаться поэтом, но теперь – что он такое!» Такие мысли не особенно отрадны. А мой идеал поэта настолько же высок, если еще не выше Вашего. В данную минуту у меня нет ни охоты, ни мужества делать что-либо. Я, пожалуй, смог бы написать свою «Дину», но я предвижу, что она явится подражанием Виктору Гюго. Я работаю над сказкой, но уже соскучился от этого жонглирования с золотыми яблочками фантазии. Я поэт, и отдыхать под паром не могу; ну вот и вырастает из меня лирическая травка на жвачку четвероногим критикам. Ваш преданный друг *Г.Х. Андерсен*.

*Копенгаген, 9 марта 1838.*

(*Ему же.*) Дорогой, добрый друг! Ваше письмо так обрадовало меня! Оно подтверждает мое убеждение в том, что письменно можно лучше открывать друг другу свое «я», нежели лицом к лицу устно. <...> Никому не может быть противнее говорить о деньгах, чем мне;

Вы, наверное, никогда и не слыхали, чтобы я затрагивал эту тему, она действует на меня болезненно-удручающим образом; но тут я скажу Вам раз навсегда: богиня мук, имя ей нужда, одна виновата в самых крупных моих недостатках. Вы не знаете какую борьбу я вел! Детство мое прошло, а я еще ничему не успел научиться. Вырос я в бедной, невежественной среде; никто не руководил мною, никто не направлял моих душевных сил в должную сторону; они метались из стороны в сторону, как блуждающие огоньки. Когда же я наконец попал на школьную скамью, меня подвергли такой суровой и механической дрессировке, что диво, как я еще не совсем погиб. Каждый шаг моей литературной деятельности я прошел на глазах у всех, публично: она являлась своего рода представлением, во время которого не раз ходила по рукам тарелка – на нее каждый клал свою лепту на прокорм поэту! Я перенес все это, чтобы добиться имени, и добился его не только здесь, но как будто бы и за границей. А я все же беден и беспомощен, как тогда, когда вступил с своей котомкой за плечами в западные ворота Копенгагена, и, пожалуй, еще менее счастлив. Тогда я был богат прекрасными, радужными мечтами, теперь же я богат опытом, знанием жизни, показывающими мне сколько мне не хватает и сколько, почти наверное, мне никогда не добиться! Ах, если бы я мог высказать все, что у меня на душе! Никогда еще не испытывал я в ней такого брожения, как в этот последний год, и, наверное, это и отразилось на моем последнем романе «Только скрипач». <...> Теперь под конец письма надо Вас угостить поэзией, так вот Вам на закуску любовные стишки молодого офицера из моей новой сказки «Калоши счастья». Это уже старая история, то есть ей минуло около года. Тогда у меня самого скребло на сердце, но никто этого не заметил, даже Вы, мой дорогой друг. Впрочем, это ведь и было несерьезно! Теперь все это пережито и единственное, что я извлек из упомянутого маленького любовного извержения – вот эти стишки. Скоро, верно, я дождусь от Вас письма. Ваш преданный друг *Андерсен*.

*Копенгаген, 1 апреля 1838.*

*(Генриетте Ганк.)*...Что-то мне принесет с собою новый год жизни? Я не радуюсь и не боюсь заранее! Ах, только бы мне удалось

создать произведение, которое бы пережило меня! Меня пожирает честолюбие. Да, вот настоящее слово!

Здоровье мое не совсем хорошо. Я в каком-то лихорадочном состоянии, нервы напряжены, а во всем теле слабость. Теперь я предпринимаю ужаснейшее лечение – так называемой русской баней. Друзья мои, которые «знают меня так хорошо» (то есть больше, чем я сам себя), говорят, что моя болезнь одно воображение. Ну, значит, мое воображение – болезнь, и довольно-таки мучительная. <...>

Ну, а теперь, стоп машина! У Коллина ждут меня к обеду. Благодарю за все хорошее! *Брат*. Тороплюсь ужасно!

*Копенгаген, 27 апреля 1838.*

(*Ей же.*) ...Знаете, что говорят мои галантные друзья? «Андерсен стал бесподобным франтом! Носит сюртук в 60 риксдалеров с атласной подкладкой, шляпу, что твой зонтик, а фигура у него – да, положительно он день ото дня хорошеет!» Иетта Вульф говорит: «Прежде Вы были таким милым чудачком, теперь Вас не отличишь от камер-юнкера Х., от лейтенанта У., такой же изящный аристократ!» <...> Эрстед говорит: «Ну, теперь Вам не на что жаловаться, ваш талант признан всеми, у вас есть прочное имя!» Г-жа Лэссё с материнской улыбкой говорит: «Держитесь истины! – и шепчет мне на ухо. – Такой успех...» Но я уже довольно, кажется, привел Вам примеров из дружеских суждений обо мне. Теперь сложите их все вместе и сравните с Вашим наброском. Вы сказали мне как-то, что каждый год, когда я приезжаю к Вам, Вы находите во мне нового человека. Каким-то я сделался за этот год?.. Чтобы и Вы не сказали, как Иетта Вульф, что я так ужасно изменился, буду по-прежнему говорить все о себе самом и опишу Вам свой день и неделю. В 8 часов кофе, затем чтение и письмо до 10–12, когда отправляюсь в наш Студенческий союз читать газеты, потом иду купаться, гуляю и делаю визиты до 3, а там отдыхаю. От 4 до 6 обед, а остаток дня работаю дома или читаю; вечер – если в театре дают что-нибудь новенькое – провожу в театре, иначе дома. Обедаю я: в понедельник у г-жи Бюгель, где всегда обедают, точно в большом обществе; во вторник у стариков Коллин, где бывает в тот день и старший сын с женой, почему нас всегда угощают чем-нибудь особенным; в среду у

Эрстеда – в этот день у них всегда гости; в четверг опять у г-жи Бюгель; в пятницу у Вульфов: у них в этот день бывает также Вейзе и после обеда всегда импровизирует на фортепьяно. Суббота – мой свободный день, и я обедаю или где-нибудь по особому приглашению, или в ресторане; в воскресенье же – или у г-жи Лэссё, или в нашем Студенческом союзе... Вот Вам и вся неделя. Все-таки разнообразие! Вот, если бы к этому можно было бы еще каждый год ездить за границу, все было бы хорошо! *Брат.*

*Понедельник, вечером 26 ноября 1838.*

*(Ей же.)* После обеда я получил Ваше милое письмо! Поверьте, я тоже всегда караулю почтальона; он является в Новую гавань около 3–4 часов, но нечасто подымается на вышку к поэту, чаще всего он осчастлиливливает своими визитами богатых коммерсантов, моих соседей. <...> В субботу я переезжаю. Следующее письмо Вы (и тетя) посылайте в hotel du Nord, где я теперь буду жить. Живя в отеле, среди постоянной суматохи, я буду воображать, что я в дороге! Надо же хоть поморочить себя... Братски преданный Г.Х. Андерсен.

*Декабрь 1838.*

*(Ей же.)* Вы были больны! О, я знаю эту болезнь! Пережил и я такой приступ, о котором не смею говорить даже с Вами; это было незадолго до моей поездки в Италию. С тех пор я уж и не бывал вполне здоров! Моя нервная система расшаталась, да иначе и быть не могло. Но мы не будем никогда говорить об этом. Есть такие священные печали, что о них нельзя говорить даже с лучшими друзьями. Печали эти бросили отблеск на все мои стихотворения.

Сегодня я говорил с советником Адлером. Он тоже привез мне поклоны из Германии, рассказал мне, какой у меня там большой круг читателей, но разве это поможет мне здесь, на родине? Самые близкие мои друзья остаются равнодушными, безучастными, едва считают меня достойным развязать ремень от башмаков у Герца или Гейберга. О, вся эта несправедливость ко мне просто распаляет мое тщеславие! Я чувствую в своей душе Бога. Если эти письма будут когда-нибудь напечатаны, чего я не думаю, люди, верно, сочтут меня

ужасно тщеславным. Да неужели и тогда не поймут меня? Никто не знает, сколько я выстрадал, как несправедливы ко мне даже самые близкие друзья! Они желают мне добра, но, как и Мейслинг, воспитывают совсем нелепо, к своему же стыду. На том свете и они, как он, наверное, скажут: «Я ошибался и очень сожалею об этом!» Но я слишком много говорю о себе. Да, есть за мной эта слабость! <...> Братски привязанный Г.Х. Андерсен.

*Копенгаген, 6 февраля 1840.*

*(Ей же.)*...Вы, конечно, уже знаете: «Муллат» шел в понедельник с огромным успехом, какого не имела, на моей памяти, еще ни одна пьеса. Я даже сам испугался. Во время первых действий публика была ужасно сдержана, так что меня даже злость взяла; самые лучшие сцены проходили как бы незамеченными, но во время четвертого действия кровь у зрителей немножко поразогрелась, а во время пятого вся публика пришла в неистовый восторг. Занавес упал, и – взрыв восторгов! Сегодня король поручил передать мне, что я могу представиться ему, он желал видеть меня. Я явился, и он милостиво заявил мне, что очень радуется успеху пьесы и надеется, что отныне меня вообще ждет больше радости и успеха, чем прежде – я ведь уже немало испытал в жизни горя! Возвращаясь от короля, я встретил на улице редактора одной газеты, и он рассказал мне, что в редакции был уже какой-то неизвестный, требовавший, чтобы они напечатали в газете принесенный им перевод французского рассказа «Les eraves», откуда я почерпнул сюжет «Муллата». Неизвестный полагал, это обстоятельство значительно умаляет мои авторские заслуги. Редактор не согласился, но я сказал ему – пусть напечатает; я не скрываю, откуда взял материал для своего здания. Завтра «Муллат» идет опять. Ожидается полный сбор. Все газеты хвалят мой труд, и я теперь получил место в придворном паркете. <...> Вчера вечером Эдвард Коллин давал по случаю успеха «Муллата» ужин, но я был так измучен и вял, что не говорил ни слова и чуть не спал за столом. Какой-то анонимный молодой писатель прислал мне письмо, в котором просит моего позволения посвятить мне свой новый роман. Ко мне являются с визитами разные графы да генералы, но много и сплетен ходит по городу. Еще сегодня одна барыня сказала мне, что ведь «Муллата»-то

освистали. Вот народец! В сущности мне бы надо было радоваться, но видишь вокруг себя столько вздорного недоброжелательства, что поневоле бесишься! Кланяйтесь Вашим родителям. Не смею спрашивать о Вашем отце – верно, все те же мучения? Кланяйтесь сестрам! Скоро выйдет мое либретто «Ворон». Ну, а теперь бумага говорит: довольно! Прощайте! Пишите поскорее и побольше. *Брат.*

*Копенгаген, 10 сентября 1841.*

*(Ей же.)* ...Я не могу чувствовать себя счастливым среди народа, не способного увлекаться ничем, народа – я подразумеваю преимущественно копенгагенцев, – живущего критиканством и мелочами, а если уж нужно сказать больше, то я попрошу Вас прочесть последнюю критику на меня в «Литературном ежемесячнике». Рецензия относится, конечно, к «Мавританке». Она настолько отзывается личными счетами, что нечего и отвечать на нее, но и молчать, значит, давать каждой капле своей крови превращаться в яд! Две недели я только рву и мечу внутренне. То-то, должно быть, несносным казался я своим близким. Да, теперь я шучу, но ведь нужно обладать необыкновенно пылким нравом, чтобы не замерзнуть в этой холодной стране! Как обходятся со мной эти анонимные негодяи! И у меня, к сожалению, нет настолько тщеславия и самоуверенности, чтобы сохранить душевное равновесие при этой вечной травле. «Как же Вы опять пришли в хорошее расположение духа?» – спросите Вы. Меня спасло мое духовное здоровье; я вызвал в себе мужество пером! Написал два небольших очерка из путешествия по Греции и по Босфору; они мне так удались, что я почувствовал – и смею даже признаться в этом: не так-то уж я ничтожен, как мне жужжат в уши! Ну вот сердце мое и отошло, я возблагодарил Бога, а раз хорошенько вспомнишь о Боге – отчаянию уж нет места. Зло, которое выпадает мне на долю, является, может быть, возмездием за то зло, которое творю я сам. Мне таким образом удастся хоть отчасти искупить свои грехи еще на этом свете! Теперь я опять в хорошем настроении, и Ингеборга Дреусен говорит, что оно очень идет ко мне, и она не постигает, отчего я не держусь этого ампула постоянно! <...> Живите весело и хорошо; пишите поскорее! Братски преданный Вам Г.Х.

*Андерсен.*

*Париж, 28 апреля 1843.*

*(Генриетте Вульф.)* Сегодня я узнал – не от друзей моих, мне еще не писали об этом, а из «Газеты Берлина», что «Агнету» мою ошибали! Я так и думал. В следующий раз ее освищут. Но труд мой не заслужил такого приема – это все-таки поэтическое произведение! Глаза бы мои не видали больше родины, где видят только мои недостатки и не видят ничего, что даровано мне Богом. Если они меня ненавидят и презирают, так и я их! Ведь всякий раз, что меня за границей обдаёт холодным, леденящим ветром, он дует с родины! Они плюют на меня, смешивают меня с грязью! А я все-таки поэт, и такой, каких Бог дал им немного! Пусть же Он больше не даст им ни одного! Кровь моя превратилась в яд! В молодости я мог еще плакать, теперь не могу, могу только негодовать, ненавидеть, бесноваться, чтобы найти хоть минутное успокоение. Тут, в этом великом чужом для меня городе, известнейшие, благороднейшие умы Европы встречают меня ласкою, обращаются со мною, как с равным, а на родине какие-то мальчишки плюют на лучшее мое детище. <...> Глаза бы мои больше не видели этого города! Пусть там никогда больше не родится поэта, как я! Они меня ненавидят, и я плачу им тем же! Молитесь за меня, молитесь, чтобы я поскорее умер, не увидел бы больше этих мест, где я являюсь чужим, чужи, как нигде, даже на чужбине!

Но довольно об этом, и то уж чересчур много сказано! Я верю, что Вы войдете в мое положение в данную минуту! Но не огорчайтесь особенно! Когда Вы прочтете это письмо, пройдет уже дней 8–9, натура у меня гибкая, я успею поуспокоиться, горячая ненависть моя поостынет и лихорадка уже не будет бить меня, как теперь! <...> Я просто болен сегодня, совсем болен! Родина моя прислала мне сюда лихорадку из своих сырых, холодных лесов; датчане таращатся на них и воображают, что любят их; но я не верю в любовь на севере, там одна злоба да притворство. У меня самого это в крови, и лишь по этому признаку я узнаю, откуда я родом. Всего хорошего! Уезжайте подальше, в Лиссабон! Увидимся у Бога! *Брат.*

*P.S.* Напишите мне поскорее в Гамбург... Я буду там 26 мая. Разорвите это болезненное письмо! Милая Иетта Вульф! Вчера вечером, когда я писал его, я страдал, страдал ужасно! Пусть письмо это не попадет на глаза никому постороннему! Вполне доверяюсь Вам!.. Непременно дайте прочесть его г-же Лэссё; она так редко получает от меня письма.

*Нюсё, 20 ноября 1843.*

*(Ингеману.)* ...Как это мило с Вашей стороны, что Вы сейчас же написали мне, да еще заговорили языком моих сказок; это показывает, что Вам нравятся эти крылатые вещицы! Передайте тысячу спасибо Вашей дорогой жене за ее сочувствие к деткам моей фантазии. Скоро, верно, я пришлю Вам еще букетик их! То, что она говорит от моего имени насчет «Парочки», я нахожу чрезвычайно метким. В одном лишь я не согласен с нею — что кубарь ведет мучительную жизнь придворного: носит раззолоченный наряд и ежедневно терпит удары кнутом. Ведь кнут для него высшее наслаждение, своего рода шампанское! Недаром он божится: «Пусть больше не коснется меня кнутик, если я лгу!» У меня почти готовы еще две сказки: о зеркале черта, кажется, не неудачная, и «Бужинная матушка». Мне сдается, и это очень радует меня, что я нашел настоящую свою сферу в сказках! Первые, что я дал, были из тех старинных сказок, которые я слышал ребенком и только пересказал, как умел, по-своему. Но сказки, придуманные мною самим, как, например, «Русалочка», «Аисты», «Ромашка», имели гораздо больше успеха, и это дало мне толчок! Теперь я рассказываю все из собственной головы, схватываюсь за какую-нибудь идею для взрослых и рассказываю ее для детей, помня, что к чтению детей часто прислушиваются и родители, так надо и им дать кое-какую пищу для мысли! Материала у меня для сказок масса, больше, чем для какого-либо другого рода творчества. Мне часто чудится, что каждый забор, каждый цветочек говорят мне: «Погляди на меня, и у тебя будет моя история!» И вздумается мне поглядеть — вот у меня и новая история! Ваш верный *Г.Х. Андерсен*.

*Альтенбург, 2 июля 1844.*



(Эдварду Коллину.) ...Теперь я покинул милый мой Веймар, где я был все эти дни так счастлив! Да, дорогой Эдвард, я был так счастлив в городе Шиллера и Гете, я чувствовал там, что и меня Бог одарил кое-чем, что дает мне право быть признанным и на родине. Вы знаете из письма моего к Вашему отцу, как сердечно меня приняли в Веймаре. Первейшие, самые выдающиеся люди, смею сказать, только и делали, что занимались мною во все время моего пребывания там... При дворе, как говорят, я имел большой успех. В загородном дворце был устроен раз в тесном кружке литературный вечер; каждый прочел что-нибудь. Меня заставили прочесть некоторые мои сказки, да еще рассказать «Свинопаса», «Соловья» и «Безобразного утенка» – и это по-немецки! По-Вашему, это было уж чересчур смело с моей стороны, но там отнеслись к этому иначе. И насчет моего немецкого языка там говорят совсем другое, чем у нас на родине. Там все принимали меня за немца из северных провинций. Никто и не подумал, что я иностранец. Вы смеетесь? Да ведь в Дании только и делают, что смеются... Но расскажите все это тем из моих друзей, которые способны выслушать это без зависти... И разве это не весело? Я в самом деле знаменит! <...> Ваш и т. д. Г.Х. Андерсен.

Эттерсбург, 9 сентября 1847.

(Генриетте Вульф.) Дорогой друг-сестра!.. Через Бельгию я проехал в Кельн, а оттуда вниз по Рейну через Франкфурт в Веймар. <...> Я дожил до того, о чем не мечтал даже мальчиком! Звезда моя горит ярко, ее зажег сам Господь! Это путешествие открыло мне глаза на мою миссию. Я чувствую, что арена моей деятельности бесконечно велика! Боже, дай мне силы! Я чувствую, как велика и священна миссия поэта, которому дана возможность говорить тысячам! Только бы я всегда действовал, как должно, создавал бы одно хорошее, достойное! Было время, когда я любил искусство за ореол, который окружает его в глазах света. Теперь я, слава богу, люблю его за то божественное, что есть в нем! Никто не видит недостатков моих произведений лучше, чем я сам. Впредь я дам лучшие! Мне выпали на долю почести, любовь, и я говорю себе: «Стремись, стремись, пойми, что тебе предстоит сделать!» Вся душа моя полна благодарности и смирения! Вы поймете меня! Поклонитесь нашим общим дорогим

друзьям и передайте Вашему брату Христиану, когда он вернется, братский мой привет! Увидите дорогого Эленшлегера, кланяйтесь, кланяйтесь ему от меня! Именно теперь среди всех радостных и, может быть, чрезмерных почестей я и чувствую, как велик он! Сказать же ему это я не могу; да он и так поймет меня. Ваш друг и брат *Г.Х. Андерсен*.

*Лондон, 27 июня 1847.*

(*Эдварду Коллину*.) Дорогой друг! ...а Вы все-таки чересчур важны, чтобы быть со мною на «ты»! Фи! Право, тщеславие мое так и подмывает меня еще раз сказать Вам: Эдвард, будем на ты! Но Вы, пожалуй, ответили бы мне, как я заставляю отвечать свою «Тень»! Да, вы догадались, что эта сказка – камень в Ваш огород. Теперь, когда я Александр, Вы будете разыгрывать Диогена! Видите, я, как назвала бы меня сестра Ваша Ингеборга – скромный ослик. Но теперь я повертелся в высшем свете! У! Вчера я дебютировал да еще в самом важном салоне, у лорда Пальмерстона! Под конец у меня голова пошла кругом, но не от гордости, нет, Вы знаете, как я смотрю на все подобное. Но, конечно, меня очень обрадовал и взволновал такой прием, особенно после того как я столько наслышался о высокомерии английской аристократии. Ваш и т. д. *Г.Х. Андерсен*.

*Глоруп, 12 июня 1848.*

(*Генриетте Вульф*.)...Когда же заключат мир? Сердце мое жаждет мира! Каждый день прислушиваюсь я к пушечной канонаде, каждый вечер с волнением думаю о том, сколько людей закрыло сегодня глаза навеки, кого из дорогих нашему сердцу лишились мы! Конечно, в смерти на поле чести много величественного и прекрасного, но каково страдальцам, остающимся в живых! Увечить так людей – безбожно, бесчеловечно! Война – отвратительное чудовище, питающееся кровью и пылающими городами! Но бывают также минуты, когда я чувствую и все то возвышенное, что идет по его стопам. Как только прочту о какой-нибудь благородной черте характера, о каком-либо сердечном слове или деле, меня сразу охватывает какой-то восторженный трепет, и на глаза у меня выступают слезы. Будь я из другого материала, я бы

тоже пошел на войну, но я не гожусь. Вы улыбаетесь! Но уверяю Вас – я бы не побежал от врага, хоть и страшно боялся бы. Помните, бояться не то, что трусить; в первом чувстве человек не волен, второе же зависит от нашей воли! Ваш брат *Г.Х. Андерсен*.

*Копенгаген, 10 ноября 1850.*

*(Ей же.)* Дорогой друг-сестра! Мы не получаем от Вас ни словечка с тех пор, как Выплыли по каналу. Теперь Вы должны уже быть на зеленых, залитых солнцем островах Америки, а мы-то сидим по уши в грязи, слякоти, дожде и ветрах! Бедные наши солдаты! Но они держатся несмотря на непогоду бесподобно! Теперь нам незачем обращаться к старине, ища героев. У нас есть герои и сейчас. Датский ополченец достоин встать рядом со старой гвардией Наполеона! Вы не знаете, как бесподобно вели себя солдаты при Фредерикстаде, целую неделю дни и ночи напролет под огнем! Они затыкали бреши своими ранцами и стяжали нам победу и честь, а потом, когда несчастные жители вышли из города голодные, страждущие, солдаты наши делились с ними своими запасами. Еще третьего дня я надеялся, что войне конец, но теперь опять что-то неладно. Мы с жадностью ожидаем известий с почты. Россия сильно стоит за нас, Франция и Англия тоже. Впрочем, Вы из газет узнаете столь же свежие новости, как и из этого письма. Довольно поэтому о политике, перейдем к прекрасному. В четверг состоялся дивный праздник в честь Эрстеда. Праздновали его пятидесятилетний профессорский юбилей. ...Мадвиг и многие другие говорили речи. Эрстед так мило благодарил всех и говорил: «Я смиренно радуюсь!» К обеду были приглашены 50 человек только те, кто участвовал в организации празднества. Вечером явились студенты и устроили шествие с факелами. <...> Каждого угостили стаканом вина, Эрстед тоже взял стакан и принялся чокаяться с каждым отдельно. Милый, славный старик! Добрейшая жена его совсем перепугалась и закричала студентам: «Да нет, муж, право, не может пить со всеми вами!» «Ну, буду пока сил хватить!» – сказал он со своей обычной наивной простотой, и это милое пререкание стариков произвело на всех самое хорошее впечатление. Радости было много. От университета ему поднесли перстень с бриллиантами вокруг головы Минервы, а король возвел его в тайные советники. Ваш

друг и брат *Г.Х. Андерсен*.

*Максен, 1855.*

*(Жене Эдварда Коллина.)*...В Лейпциге я сломал себе передний зуб – он уже давно угрожал выбытием из строя, – и, кроме того, получил на вокзале свой чемодан с сломанным замком. Вот Вам мои злоключения; теперь о приятном – его тоже было немало. В дороге между Гамбургом и Лерте какая-то молодая дама читала вслух из одной «есподобной книги». Это были «Картинки-невидимки». Все восторгалось, а когда затем автор был узнан... да, куда как приятно быть знаменитым писателем! Потом я попал в компанию двух важных барынь, которые, узнав, что я датчанин, спросили меня – жив ли еще Андерсен? Я ответил утвердительно и, как Бурнонвиль в «Празднике в Альбано», сбросил с себя капюшон пилигрима. Вскоре в вагон к нам вошла их приятельница, и они встретили ее возгласом: «Подумай, с нами сидит датский поэт Торвальдсен!»

В Дрездене я посетил птичью выставку; был там и король. Он сейчас узнал меня и заговорил со мною. Публика, вероятно, приняла меня за какого-нибудь иностранного принца. Когда я уходил, лакеи провожали меня низкими, низкими поклонами...

Тут множество разных писательниц, одна из них, вообще прекрасная писательница, отличается тем, что бросается целовать меня, как только я прочту что-нибудь. Но она такая старая, жирная и горячая. Знай я, когда ожидать нападения, я бы приготовил отпор. Недавно за столом я опять подвергся такому неожиданному жаркому объятию, и другая писательница шепнула мне: «Ну, если Вас часто так награждают, я Вам не завидую!» Но шутки в сторону; сегодня я чувствую себя лучше, одно только – во мне сидит муха. Я проглотил ее вчера и, если она умерла, то я ведь расхаживаю теперь живым памятником мертвой мухе! Ваш и т. д. *Г.Х. Андерсен*.

*Копенгаген, 6 апреля.*

*(Г-же Скавениус.)*...Благодарю за доставку прекрасного ковра от г-жи Серре и за то, что вы и дети так мило вспоминаете 2 апреля и даже сами пишете мне в этот день. Жаль, что недавний Ваш визит не

совпал с этим днем. Теперь моя комнатка – настоящий цветник. В день рождения мне надарили массу цветов... Много получил я и разных вышитых вещей главным образом от неизвестных дам. Но особенно тронуло меня вот что, из чего я увидал, что меня читает и любит народ. Рано утром явился мой портной, земляк мой, тоже из Оденсе, и сказав, что от всего сердца радуется такому успеху и славе своего земляка, поднес мне подарок – белый атласный жилет! Представьте! Немного погодя, явился поздравить меня чисто одетый бедный столяр. Он заявил мне, что до сих пор еще никогда не говорил со мною, но что он с женою и детьми уже несколько лет подряд празднует день моего рождения – пьет шоколад... И вот он теперь явился попросить моего разрешения назвать своего новорожденного сына в честь меня Гансом Христианом Андерсеном. Это тронуло меня. В самом деле для этих людей не шутка разодеться в будний день, бросить свое дело и идти к чужому господину... Тилэ прислал мне прекрасную картину, нарисованную Эрнстом Мейером, г-жа Розенкильде пришла сама с огромным букетом цветов. Да, это был такой праздник для меня. Обедал я у Коллинов. Ваш благодарный и преданный *Г.Х. Андерсен*.

*Дрезден, 16 августа 1861.*

*(Эдварду Коллину.)*...Если я не еду в Берлин, то причиной Ваши слова в письме к Ионасу. Вы высказали, что всякое внимание ко мне возбудит недоброжелательство копенгагенцев. Я понимаю Вашу дружескую заботливость, но должен прибавить, что я почти с болезненной щепетильностью избегаю всех случаев, когда немецкие государи могли бы оказать мне какое-либо внимание. Я вот уже несколько лет не был в Веймаре, где ко мне всегда относились с бесконечной добротой, лишь переночевал раз в Берлине и промчался через Мюнхен, сломя голову. Грустно подумать, что я, человек, стоящий вне всякой политики, не смею повидаться и побеседовать с людьми, оказывавшими мне, датчанину, столько внимания и почета. Вы сами знаете, что я долго боролся с желанием навестить даже своих друзей в Максене, между тем как ф. Серре знать не знают никакой политики. Но я, к сожалению, знаю длинные языки наших земляков. Я никогда не забуду, как перед моим отъездом огорошил меня в доме

министра Фенгера своим вопросом Альфонс Гаге: у каких немецких князей я собираюсь побывать на этот раз! Я был оскорблен: в патриотизме-то я, пожалуй, мало кому уступлю. И если кто из датчан поспособствовал за границей к пробуждению симпатий к датчанам, так это, между прочим, и я. Но довольно об этом!.. Ваш преданный *Г.Х. Андерсен*.

*Баснэс, 16 октября 1866.*

(*Гартману И. П. Э.*). Дорогой друг! Вы теперь, конечно, уже покинули «Королевские могилы» и перебрались опять в «город живых». Я заключаю это из письма Эдварда Коллина, который пишет: «Теперь пойду к Гартману!» Да, скоро и я приду к Гартману! Теперь я обзавелся домом, стал опять улиткой с домиком, и, подумай, обзавелся также собственной постелью! Теперь я буду всюду таскать ее за собой. Сто риксдалеров пришлось положить на эту постель, зато она послужит мне и смертным одром. Если же она не прослужит мне до тех пор, то и не стоит таких денег! Ах, если бы мне было только двадцать лет! Чернильницу бы на спину, пару рубаш да пару носков под мышку, перо за ухо, и – марш по белу свету! А теперь я, по милому выражению жены Эдварда, «пожилой господин». Ну, вот и приходится подумать о постели да о смертном одре. А тебе пора подумать о похоронном марше для меня. За гробом моим пойдут, конечно, школьники, маленькие, а не латинисты, так принорови музыку к детским шажкам!

Я теперь живу на лоне природы и отдаю душу – не черту, а будущим читателям, если только таковые найдутся. Почти половина описания моего путешествия в Португалию уже на бумаге. Может быть, бумага эта пригодилась бы для кое-чего получше, но – у каждого своя судьба!.. Друг твой *Г.Х. Андерсен*.

*Ролигхед, 13 июля 1869.*

(*Георгу Брандесу.*) Дорогой друг! Только вчера поздно вечером получил я Ваше письмо: Вы адресовали его на старую мою квартиру, а я уже не живу там больше месяца. Я уезжал в Баснэс, а теперь живу пока у коммерсанта Мельхиора. В воскресенье я случайно увидел

«Иллюстрированный вестник» и прочел там статью о моих сказках. Увидав подпись, я очень обрадовался; я давно уже желал, чтобы Вы высказались о тех или других из моих произведений. Вы знаете, с каким удовольствием я всегда читал Ваши критические статьи, из них всегда можно научиться чему-нибудь... Вы с таким умом и искренностью молодости проникли в самую сущность деток моей фантазии, что я, читая вашу статью, исполнился радости, за которую от души желаю Вам такой же радости от Бога. Ваши отзывы о моей манере рассказывать вполне справедливы и метки, и я привел их во вчерашнем своем письме к моему нью-йоркскому издателю и обещал ему выслать номера журнала, о которых идет речь. Вчера вечером я, как сказано, получил Ваше письмо. Сердечное спасибо за него! <...> Никто больше меня не пострадал в свое время от жестоких и бессовестных критиков, как их принято называть. Они сделали все возможное, чтобы уничтожить меня. Я молчал и страдал. Гаух раз даже похвалил меня за терпение и молчание. А как несправедлив был ко мне «Литературный ежемесячник». Сколько раз говорил мне мой единственный друг-утешитель Эрстед: «К вам в высшей степени несправедливы, и просто поразительно, как это долго продолжается. Но я уверен, что придет время, когда о вас будут говорить совершенно иначе и когда вы будете также довольны нашей критикой, как теперь заграничной». Это время и пришло! Молодое поколение исправляет ошибки старого, и Вы, мой дорогой друг, принадлежите к числу молодых критиков, которых я особенно ценю и уважаю. Пустую и злую критику я уже отщелкал за ее твяканье, и так я намерен делать и впредь. Долг платежом красен. Из «Сказки моей жизни» Вы можете видеть, с какой благодарностью я вспоминаю каждый доброжелательный отзыв, каждое поощрение. Мое сердце не скупое на благодарность.

Мы когда-нибудь еще поговорим о том, что я затронул здесь, теперь же я прежде и больше всего хочу поблагодарить Вас за сердечное и серьезное отношение к моим трудам и надлежащее освещение их. Вы беретесь за произведения писателя не с тем, чтобы, разбирая их, выдвинуть собственный ум и остроумие, но чтобы порадоваться самому и порадовать других, открывая в произведениях все то хорошее, что есть в них. Попутно Вы обрываете кое-какие засохшие лепестки, которым там не место, но которые все-таки всегда

встречаются в творениях человеческих. Радуюсь при мысли, что мне еще предстоит прочесть продолжение статьи. Мы еще поговорим с Вами о некоторых ее частностях. Дай Вам Бог светлое будущее, как он дал Вам светлые богатые дарования! Ваш друг *Г.Х. Андерсен*.

*Христиания, 18 августа 1871.*

(*Морицу Мельхиору.*) Дорогой, славный друг! Сейчас только что вернулся с празднества, данного мне в Ботаническом саду, и нашел Вашу телеграмму. <...> Праздник очень удался и отличался многолюдством, несмотря на то, что не все еще съехались в город. Приглашение исходило от двадцати четырех выдающихся деятелей. За мной пришли в 4 с половиной часа. По дороге к Ботаническому саду нам попадались толпы народа. Помещение профессоров было прекрасно убрано цветами, в саду были расставлены накрытые столы и красовался мой бюст. Собиратель народных преданий Мо говорил речь. Я был очень взволнован. В речи мне ласково напомнили, что я, разъезжая по всей Европе, до сих пор не заглядывал в Норвегию. Я тоже говорил – но что? Бог весть! Знаю одно, что многие были тронуты до слез, и Бьёрнсон сказал мне, что я еще никогда так хорошо не говорил. <...> Настроение было самое радостное! Утром я прочел посвященное мне прекрасное стихотворение в «Утреннем листке», в том самом, что против Бьёрнсона. Я, таким образом, слава богу, не замешан в борьбу партий. Все со мною так ласковы.

Да, здесь горячие сердца, дивная природа; я сказал своим хозяевам, что приеду сюда опять, может быть, на следующий же год, и все хором грянули: «Добро пожаловать!» Даже странно, право, что Господь даровал мне в жизни столько радости и счастья, тогда как тысячи людей изнывают в горе и заботах... Бумаге конец! Господь благослови Вас! Ваш благодарный и верный друг *Г.Х. Андерсен*.

*Копенгаген, 1873.*

Дорогая фрекен Рослев! Только что получил Ваше милое, сердечное письмо. Вы верный, добрый друг, и Ваша матушка тоже! Давно уже собирался я написать Вам или ей, высказать Вам мою искреннюю благодарность за то, что Вы, находясь за столько миль отсюда,



постоянно справлялись о моем здоровье. Теперь мне лучше, но выздоровление идет очень медленно. Подумайте, вот уже пятый месяц я сижу в своих маленьких комнатках, да и в них два раза жестоко простудился, так что выздоровление мое еще замедлилось. Не раз я думал уже, что это моя последняя, или вернее – единственная в жизни болезнь, которая сведет меня в могилу. Но даже и болезнь имела свои приятные стороны: сколько внимания и сочувствия выказали мне мои друзья! Кронпринц навестил меня два раза, и, представьте себе мое смущение, на днях зашел даже сам король! Он был так милостив, проявил столько сердечного участия. С ним был и маленький принц Вальдемар. Г-жа Мельхиор, графиня Гольштейн и г-жа Коллин были ко мне особенно внимательны; за мной ухаживали так, что лучше нельзя; доктор мой Коллин и друг мой профессор Горнеман навещали меня каждый день. Решено, что я должен – как только это будет возможно – отправиться на юг, пожить в Швейцарии и предпринять молочное лечение. Лучше всего ехать в Аппенцель, но там сезон начинается лишь в июне, долго ждать! Бернский доктор Дор дал мне знать через друзей, что я могу начать лечение уже в мае в Глионе, что недалеко от Монтрё на Женевском озере.... Бог благослови Вас, дорогая фрекен Рослев, за Вашу дружбу к Вашему благодарному и преданному *Г.Х. Андерсену*.

*Брегентвед, 12 июля 1874.*

Дорогая, добрейшая г-жа Мельхиор! Погода продолжает стоять хорошая, теплая. Я чувствую себя здесь хорошо, чувствую, что я здесь желанный гость, но Муза моя больше не навещает меня, вот что грустно! Христиан Винтер утверждал однажды, что если поэт доживает до известного возраста – ему конец. Я не хотел верить этому! Но, конечно, я был болен и все еще не совсем поправился. Сказка не стучится ко мне. Я как будто уже наполнил весь круг радиусами-сказками, и больше нет места. Гуляю ли я в саду между розами – да, чего-чего только уже не рассказали мне и они, и даже улитки! Вижу ли широкий лист кувшинки – вспоминаю, что «Лизок с вершок» уже кончила на нем свое плавание. Прислушиваюсь ли к завыванию ветра – знаю, что он уже рассказал мне о Вольдемаре До и ничего лучшего не знает. В лесу под старым дубом я вспоминаю, что и

он давно рассказал мне свой последний сон. Таким образом, я не получаю больше новых, свежих впечатлений, а это так грустно. Но Муза знает ведь и не одни сказки. Впрочем, драматические произведения мои редко приносят мне радости. К тому же г. Бернер давно уже оставляет мои труды гнить на полках театрального архива. Для романов же, таких, какие следует теперь, по-моему, писать – у меня нет необходимых познаний. Вот, я и сижу, опустив руки...

...Спросите г-жу ... не знает ли она каплею против дурного расположения духа? Я бы с удовольствием испытал их действие – как ни хорошо мне здесь, временами я все-таки хохлюсь, как больной цыпленок. Ваш преданный, благодарный *Г.Х. Андерсен*.

*P.S.* Ревматизм не покидает меня, он переехал на дачу в мои колени, локти и руки; я на даче, и он тоже!

*Брегентвед, 12 июля 1874.*

(Г-ну Билле.) Дорогой друг! Вы всегда были мне верным другом, давали мне хорошие советы, выясняли мне вопросы и успокаивали мои чересчур восприимчивые нервы, особенно если на меня дул ветер из Америки. Теперь опять дует оттуда! Вчера вечером получаю письмо от мальчика из Америки – вероятно, из Нью-Йорка – с вложением доллара и вырезки из газеты «Долг детей». Я понял из статьи, что она приглашает американскую молодежь нести свою лепту, чтобы обеспечить мне приятную старость. Не так ли? Идея была бы сама по себе прекрасной, если бы ее пустил в обращение достойный человек и если бы она имела большой результат – к чести американской молодежи и датского поэта. Но в заметке говорится, насколько я понимаю, будто я никогда не получал из Америки за свои произведения ни доллара, будто бы я сам это говорил. Никогда я ничего такого не говорил! Все это, вероятно, из такого же источника, как и появившееся в немецких газетах ложное сообщение о посещении меня одним венгерским писателем, которому я будто бы сказал, что никогда не получал из Германии за свои произведения ни гроша, а что из Америки недавно получил 800 риксдалеров. Мне помнится, что я ясно говорил Вам однажды, дорогой друг, что из Германии я от издателя Лорка получил за собрание моих сочинений 800 риксдалеров, а в последнее время получил небольшую сумму и из

Америки. Все это перевернули, и в датских газетах было напечатано – и меня многие даже поздравляли по этому поводу, – что я получил из Америки 8000 риксдалеров. Теперь и это уж перевернули по-другому, и выходит, что я будто бы только и делаю, что ною и жалуясь на гонорары, чего – Вы и другие мои датские друзья знаете – я никогда не делаю. Скажите же мне теперь, как мне поступить. Отослать этот доллар обратно – не деликатно по отношению к доброму ребенку; писать английское письмо – слишком для меня хлопотливо, а между тем, если эта история попадет в наши газеты, один доллар, наверное, превратится в устах людей в 1000 долларов! Порадуйте меня парой слов по этому поводу! Я уж и не знаю, право, – радоваться мне или сердиться! Здоровье же мое вообще значительно лучше, я могу гулять по саду почти целый час один, но каждое душевное волнение мне вредно, а это американское послание сильно взволновало меня. Надеюсь вскоре получить от Вас успокоительное письмо. Ваш преданный *Г.Х. Андерсен*.

*Копенгаген, 6 июля 1875.*

*(Ионасу Коллину-внуку)*. Дорогой друг! Завтра ты получишь это мое письмо. Много я выстрадал с тех пор, как мы виделись в последний раз. Недавно был у меня Карл Блок, попал как раз в один из самых моих тягостных часов и несмотря на то, что я просил его не заводить речи о моем памятнике, все-таки свернул на эту тему и довел меня до того, что я взбесился и наговорил много такого, чего – хотя все это и правда – я не сказал бы в спокойном состоянии. Теперь он, конечно, сердит на меня. Вчера вечером опять был у меня Собию<sup>[35]</sup>; я раскипятился и выложил ему начистоту, что ни один из скульпторов не знает меня, все их эскизы показывают, что они совершенно не поняли меня, не схватили ни одной моей характерной черты, что я сроду не читал и не мог читать, если кто-нибудь сидел у меня за спиной или прижимался ко мне, а уж тем меньше, если дети сидели у меня на коленях, на спине или наваливались на меня толпой, что называют меня «поэтом детей» так, здорово живешь, что моей целью всегда было писать для всех возрастов, что поэтому одни дети не могут представлять моих читателей, что наивность – лишь отдельный элемент моих сказок, а суть их в юморе, и что моя национальность в

том именно и проявлялась, что я писал народным языком и т. д. Мы еще поговорим обо всем этом, дорогой друг. Я очень скучаю по тебе! В четверг 9 июня меня ждут в Брегентведе. Извести меня завтра, когда ты приедешь в город, надо нам поговорить и привести в порядок мои дела. Кланяйся своим родителям и оставайся тем же верным и добрым другом, каким ты был мне во все эти последние годы! Твой верный и благодарный *Г.Х. Андерсен*.

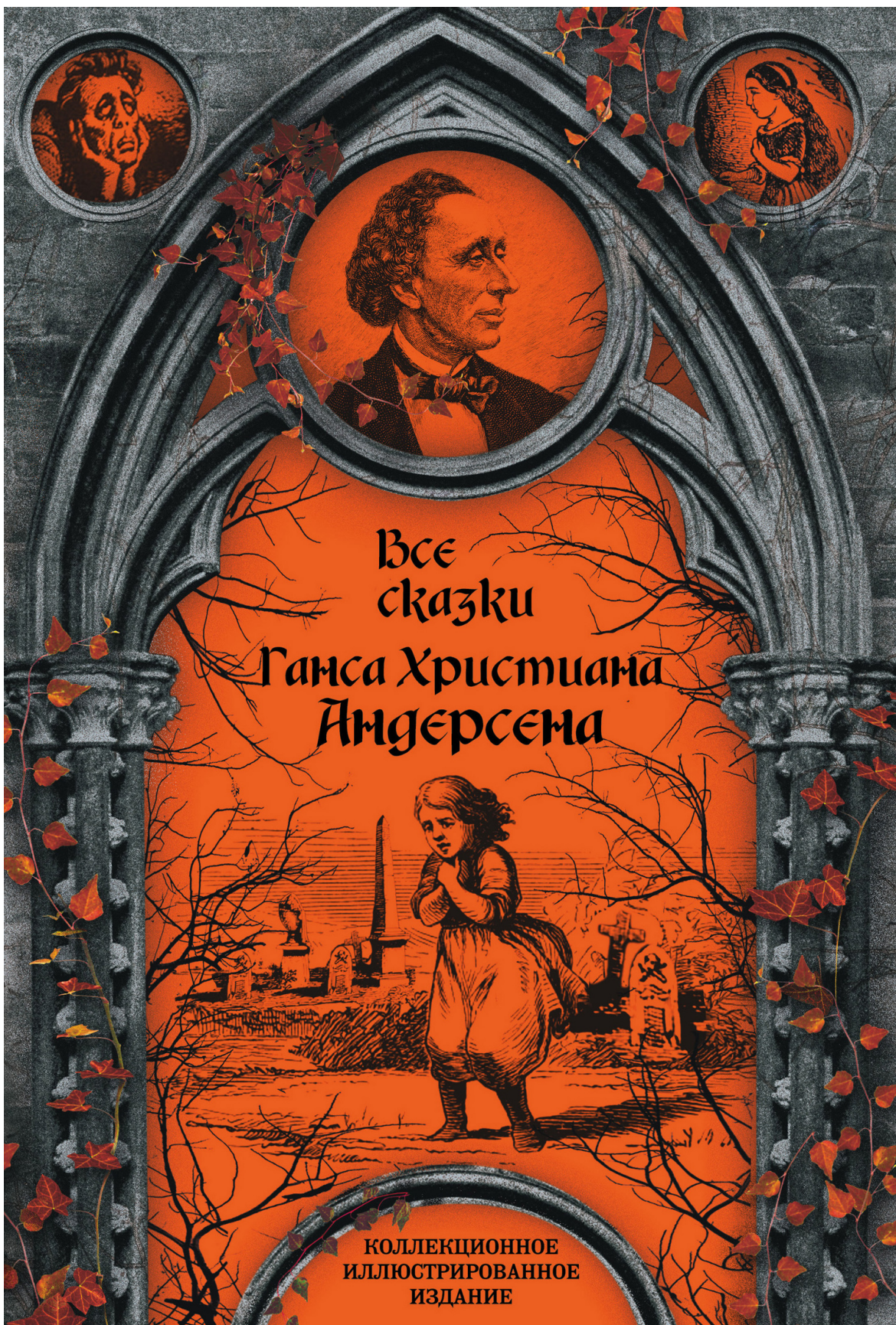
*Ролигхед, 25 июля 1875.*

*(Ему же.)* Дорогой друг! Благодарю за письмо, которое я сейчас получил от тебя! Никогда еще не казалось мне, что время так бежит, и все-таки мне трудно сказать, о чем не хочу и думать – что, пожалуй, нельзя мне ехать. Да я и не вижу никаких препятствий. Прошу тебя прийти, время я назначу. Мы увидимся! Да будет воля Божия! Твой верный, благодарный друг *Г.Х. Андерсен*.

Письмо это было продиктовано Андерсеном г-же Мельхиор, которая сделала следующую приписку: «Дорогой г-н Коллин! Я считаю нужным прибавить к этому пару слов от себя, чтобы сказать, что здоровье Андерсена ничуть не лучше. И врачи, и я находим, что силы его с каждым днем падают. Но надо радоваться, что сам он чувствует себя здоровым и счастливым. Он говорит: “Если бы не кашель с мокротой, слабость и распухшие ноги, я был бы совсем здоров!” Вчера он сказал: “Удивляюсь двум вещам: терпению Г.Х. Андерсена и терпению г-жи Мельхиор!” Я сказала на это, что тому, кому Господь посылает тяжелые испытания, Он посылает и силы нести их. Он в ответе повторил то, что уже говорил раньше: “Только бы мне дано было счастье умереть, пока я еще чувствую себя так хорошо!” Из письма к Вам видно, что и ему приходит в голову мысль о том, что ему, пожалуй, нельзя ехать, но он сейчас же отгоняет ее и просит Вас прийти переговорить. Но ехать ему совершенно не возможно; я убеждена, что эта поездка не состоится. Я взяла для него слугу до августа. Готовая к услугам *Доротея Мельхиор*». (Как известно, скончался писатель 4 августа 1875 года.)







Все  
сказки

Ганса Христиана  
Андерсена

КОЛЛЕКЦИОННОЕ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ  
ИЗДАНИЕ





# Сноски

1

Изумительно! (*фр.*)

[Вернуться](#)

2

Великолепно! (*фр.*)

[Вернуться](#)

3

Скромность (*лат.*).

[Вернуться](#)

4

Я другого мнения (*лат.*).

[Вернуться](#)

5

Суждение (*лат.*).

[Вернуться](#)

6

Место ученых бесед (*лат.*).

[Вернуться](#)



## 7

Знаменитый датский писатель Хольберг рассказывает в своей «Истории Датского государства», что король Ханс, прочитав роман о рыцарях короля Артура, шутливо заметил своему любимцу Отто Руду: «Эти господа Ифвент и Гаудиан были удивительными рыцарями, теперь что-то таких не встречается!» На это Отто Руд ответил: «Если бы встречалось много таких королей, как Артур, встречалось бы много и таких рыцарей, как Ифвент и Гаудиан» (*Примеч. автора*).

[Вернуться](#)

## 8

Господин, сжальтесь! (ит.)

[Вернуться](#)

## 9

Чудную Италию! (ит.)

[Вернуться](#)

## 10

Бесподобно! Прелестно! (фр.)

[Вернуться](#)

## 11

Ах, мой милый Августин,  
Все прошло, прошло, прошло! (нем.)

[Вернуться](#)

## 12

Неподалеку от гробницы Галилея находится гробница Микеланджело; на ней – его бюст и три аллегорических изображения: Скульптура, Живопись и Архитектура. Рядом – гробница Данте (тело его покоится в Равенне); на ней видна фигура Италии, указывающая на колоссальную статую Данте; тут же поэзия оплакивает понесенную ею утрату. В двух шагах – надгробный памятник Альфьери, украшенный лаврами, лирой и масками; над гробом плачет Италия. Гробница Макиавелли заканчивает этот ряд памятников великих людей Италии (*Примеч. автора*).

[Вернуться](#)

## 13

Бронзовый кабан – копия; оригинал же – мраморный и стоит в галерее Уфици (*Примеч. автора*).

[Вернуться](#)

## 14

Смидраки – по поверию греков, чудовище, образующееся из неразрезанных и брошенных в поле желудков убитых овец (*Примеч. автора*).

[Вернуться](#)

## 15

Священником зачастую становится первый грамотный крестьянин, но простолюдины зовут его святейшим отцом и падают при встрече с ним ниц (*Примеч. автора*).

[Вернуться](#)

## 16

Осторожнее, здесь дети (*фр.*).

[Вернуться](#)

17

Нет у меня голоса (*ит.*).

[Вернуться](#)

18

Знаменитый государственный деятель (1635–1699), провел в заключении 22 года (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

19

Слезы Христа (*ит.*).

[Вернуться](#)

20

Между озерами (*лат.*).

[Вернуться](#)

21

Дьявольская бездна (*фр.*).

[Вернуться](#)

22

«Лотта умерла» (*нем.*).

[Вернуться](#)

## 23

Прелестно! (*фр.*)

[Вернуться](#)

## 24

Датское имя епископа Абсалона (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

## 25

Флюгер с Вальдемаровой башни (близ города Вординборга) – золотой гусь – был, по преданию, украден ганзейцами, видевшими в нем насмешку над ними (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

## 26

Из стихотворения Ф. Паллюдана Мюллера (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

## 27

Из стихотворения И. Л. Гейберга.

[Вернуться](#)

## 28

Стихотворение Карла Плоуга.

[Вернуться](#)

## 29

Царствование короля Христиана VI (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

## 30

Впоследствии король Фредерик VI (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

## 31

В разделе «????-е» в конце каждой сказки указана дата ее *первой публикации* на русском языке.

[Вернуться](#)

## 32

Froken – барышня (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

## 33

Игдразил – по сев. мифол. исполинский ясень, олицетворявший вселенную. (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

## 34

Начальные буквы имени и фамилии героя Отто Тоструп, а также инициалы Odense Tugthus, то есть Одензейский смиренный дом (*Примеч. перев.*).

[Вернуться](#)

## 35

Датский скульптор, по модели которого отлит из бронзы памятник Г.Х. Андерсену, поставленный в Розенборгском саду в Копенгагене.

[Вернуться](#)